ČASOPIS PRO

SLOVANSKOU FILOLOGII

SLAVIA

VOLUME 8

1929/30



SLAVIA

ČASOPIS PRO SLOVANSKOU FILOLOGII

S podporou

ministerstva školství a národní osvěty

vydávají

O. HUJER a M. MURKO.

Ročník VIII.

TISKEM A NÁKLADEM

ČESKÉ GRAFICKÉ UNIE A. S. V PRAZE

1929—1930.

Reprinted with the permission of the Original Publishers

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LTD
Berkeley Square House, London, W1X6BA

First Reprinting 1970, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

Obsah ročníku osmého.

Články: Strana

Kritiky a referáty: Strana

VIII^e Année - Table des matières.

Articles: Page

Critiques et comptes-rendus :

Notes et informations:

Nécrologie:

Extraits des revues.

Page

К истории развития творительного предикативного в русском литературном языке.[1]

В русском языке, как и во всех славянских языках, в связочных предложениях, наряду с сказуемым именем в именительном падеже, может употребляться творительный падеж имени, на-

---

[1]) **Сокращения.**

Андр.	Андреев. Полное собрание сочин. Изд. Маркса.
Благ.	Благонамеренный.
Б-ка для чт.	Библиотека для чтения.
Богд. Душ.	Богданович — Душенька.
Вен. Хр.	Венець Христовь. Радивиловский.
Вс. Вс.	Всякая всячина.
Гол. Гоголь.	Издание Тихонравова.
Гонч. Обл.	Гончаров, Обломов. Изд. Маркса.
Дос. Ун.	Достоевский, Униженные и оскорбленные. Изд. Маркса.
Дог. Гр. Дм. Іоан. .	Договорная грамота Дмитрія Іоановича. Собр. госуд. грамотъ и договоровъ. Ч. 1. М. 1815.
Журн. для поль. . .	Журналъ для пользы и удовольствія. К.
К. И.	Карамзин, Исторія государства Россійскаго. Изд. Маркса. СПБ. 1897.
Клад. Раз.	Галятовский, Кладезь разумѣнія.
Купр.	Куприн, Полное собрание сочинений. Изд. Маркса.
Княж. Дид.	Княжнинъ, Дидона. Собр. соч. М. 1802.
Кн. Хв..	Княжнинъ, Хвастунъ. М. 1802.
Лавр.	Повѣсть временныхъ лѣтъ по Лаврентьескому списку.
Лом.	Ломоносов, Собр. сочин. Изд. Росс. Акад. Наук.
Нев.	Неверов, В садах. М. 1924.
Ореш.	Орешин, Корявый. М. 1922.
Позн.	Познер, Книга для чтения для сокр. школ. политграмоты. М. 1925.
ПРП.	Карамзин, Письма русского путешественника Изд. Суворина. СПБ. 1900.
Палин.	Палинодій Захарія Копыстенского, Русская ист. библіотека Т. 4.
Пр. вр.	Праздное время для пользы препровожденное.
Пов. О цел. вд. . .	Повѣсть о цѣломудренной вдовѣ. Древ. руск. пов.
Пов. о Мур. кн. . .	Повѣсть о Муромскомъ князѣ Петрѣ.
Пов. о Ефр.	Повѣсть о Ефросиніи.
Сум. Ком.	Сумароковъ, Комедіи (Россійскій театръ. М 1788).
Сум. Син.	Сумароковъ, Синавь и Труворъ.
С. Сп.	Новогородская лѣтопись по Синодальному харатейному списку. (Изд. Археогр. СПБ. 1888).
А. Тол. Ходж. . . .	Алексей Толстой: Хождения по мукам.
Ф. Виз.	Фон-Визин, Собр. сочин.
Чех.	Чехов, Полн. собр. сочин. Изд. Маркса.
Юрез. Зн.	Юрезанский, Зной.
Шел. Мих.	Шеллеръ-Михайлов. Собр. сочин. Изд. Маркса.
Тург.	Тургенев, Полн. собр. соч. Изд. Маркса.

зываемый в таком случае предикативным. То же наблюдается и в предложениях с более конкретной связкой, чем формы глагола »быть«, по терминологии Шахматова[1]) — в связочно-сказуемых предложениях. Выяснение происхождения и параллельного употребления этих двух падежей в связочных и связочно-сказуемых предложениях и составляет вопрос о творительном предикативном и втором именительном.

Из работ, посвященных специально этому вопросу, можно назвать статью Френкеля „Das prädikative Instrumental im Slavischen und Baltischen“ в Arch. f. slav. Phil. 40. 1926, 77—117. Кроме того, во всех общих трудах по синтаксису, как сравнительному, так и отдельных славянских языков, имеются главы, посвященные этому вопросу. Специально же русскому языку посвящены главы в »Зап. по р. гр.« Потебни,[2]) в синтаксисе Овсянико-Куликовского[3]), Пешковского, часть работы Гертель в Arch. f. sl. Phil. 34 (1912)[4]) и дан[5]) большой материал для литературного языка 19—20 века в »Синтаксисе русского языка« Шахматова.

Наибольший интерес для Потебни представляет вопрос появления творит. пред. вместо второго именительного в древнерусском языке и отчасти функциональное различие обоих оборотов в современном русском языке (т-е. языке писателей конца 18 и начала 19 века). Первую ступень творительного Потебня видит в случаях в роде »иде воеводою, игумен иде слом«, где замечается частное слияние субстанций. Эта точка зрения Потебни разделяется всеми последующими лингвистами, и останавливаться на ней не входит в задачи настоящей работы. Что касается функционального различия между оборотами с творительным предикативным и вторым именительным, то Потебня только указывает общий принцип: »творительный вызывается предчувствием соподчиненности данного состояния другим состояниям, еще не вошедшим в сознание, а в именительном признак представляется без отношения к соподчиняемости«.[6]) Овсянико-Куликовский в своем »Синтаксисе«, упоминая о происхождении творит. пред., намечает следующий основной мо-

---

[1]) Шахматов, Синтаксис русского языка (Ленинград 1925), стр. 199.
[2]) Потебня, Из зап. по русск. грам. II стр. 510 сл.
[3]) Овсянико-Куликовскій, Синт. русск. яз., стр. 154.
[4]) Emmy Haertel, Untersuchungen über Kasusanwendungen in der Sprache Turgenevs.
[5]) Пешковский, Русск. синт. в научн. освещ., изд. 2, стр. 243 сл.
[6]) Потебня, Из зап. по р. гр. II, 521 с.

мент в различии обоих оборотов: оборот с именительным обозначает те признаки, которые представляются постоянною, характерною принадлежностью подлежащего, а оборот с творительным приспособлен к обозначению того, что представляется случайным, нехарактерным признаком подлежащего.[1]) Подход к вопросу Гертель и Шахматова принципиально не исторический.

Хотя Потебня и Овсянико-Куликовский подходят к вопросу с исторической точки зрения, но внимание их останавливается только на двух пунктах в истории явления: на исходном — появление и существование творит. пред. в древнерусском языке, и на конечном — современное его состояние. На последовательном развитии явления данные лингвисты не останавливаются. Между тем, поскольку творит. пред. считается в лингвистической литературе развившимся за счет второго именительного и развившимся за сравнительно недавнее время, вполне возможно и интересно проследить ход этого развития на основании памятников письменности, закончив картиной современного состояния исследуемого явления в русском языке. Это и является задачей настоящей работы.

Начнем с древнейших памятников русского языка. Наиболее чистый, свободный от церковно-славянского влияния, материал могли бы представить памятники делового древнерусского языка (договорные грамоты, акты), но они, благодаря отсутствию в них повествовательного элемента, вообще не дают примеров именной предикации, только очень немного случаев второго именительного прилагательных. В грамотах же более поздних (14 века) можно только встретить стереотипное выражение: »А кто будетъ мнѣ брату твоему старѣйшему другъ, то и тобѣ другъ« (Дог. грам. Дм. Іоан. 1362 г.).

Памятники литературного русского языка нецерковного характера (летописи) дают несравненно больше материала, хотя по сравнению с литературным русским языком, напр. 19 века, количество связочных предложений в них незначительно.

Исследование древнейших списков летописи — Синодального списка Новгородской летописи и »Повести временных лет« по Лаврентьевскому списку — дает следующую картину.

---

[1]) Овс.-Куликовский, Синт. 165 с.

Связочные субстантивные предложения.

С различными формами глагола *быти* находим почти исключительно второй именительный.

И воевода бѣ у него Блудъ. Син. 25.
И бысть судіа въ него мѣсто Іюда. Син. 44.
И бѣ Добрыня уй Володимеру. Син. 21.
...а Малуша бѣаше сестра Добрынѣ. Син. 21.
Бѣ же Ростиславъ мужъ добръ на рать. Син. 97.
И воевода бѣ Свѣньлдъ. Лавр. 62.
Отьць же бѣ има Малько Любьчанинъ. Лавр. 81.
И бысть Стефанъ игуменъ. Лавр. 243.

Творит. пред. с формой прошедшего вр. мы встречаем в обоих памятниках почти исключительно с формой преждепрошедшего времени.

Синод. сп.

Понеже была бѣ мати его черницею. 29.
Бѣ бо у Ярополка жена Грикинѣ, бяше была прежде черницею. 29.

Лавр. сп.

У Ярополка же жена грыкинѣ бѣ и бяше была чьрницею 90.
И бяше была чьрницею. 90.
Понеже была бѣ мати его чьрницею. 94.
Изяславъ и Всеволодъ высадили стрыя своего Судислава изъ поруба ... и бысть чьрньцомь. 206.

В продолжении Новгород. летописи по более позднему списку, т. н. списку Археографической комиссии, в единичных случаях находим творит. с формами *был, бысть*.

Преставися владыка Еуфимий .. а чернцомъ былъ на сѣнѣхъ годъ и двѣ недѣли. 413.
Преставися архіепископъ Новгородчький Семеонъ, бысть владыкою пять лѣтъ и три мѣсяца. 411.

С формой причастия прошедшего времени в Синодальном списке встречаем и творительный и именительный, но и тот и другой в единичных случаях.

...Моісія преже бывша архимандритомъ у святаго Георгія. 321.
Некто прежде бывъ крестианъ. 269.

В списке Археогр. ком.:

...а патриархъ Филофѣй преже бывый Иракмейскимъ митрополитомъ. 352.

С формой будущего врем. в Пов. Врем. Лет по Лавр. сп. оборотов с творит. пред. совсем не находим. В синодальном списке один случай творит. пред., указанный Истриной в ее исследовании о синтаксисе Синодального списка I Новгородской Летописи:

Да не будетъ Новый Търгъ Новгородомъ, ни Новгородъ Тържькомъ. 165.

Обороты с именительным:

Да сь будетъ вамъ игуменъ. Лавр. 202.
Донележе извѣдахуть, кто будетъ митрополитъ руской земли.
И та будетъ ему жена. Син. 34.
Ты намъ будешь отець и игуменъ. Син. 236.

С формой инфинитива *быти* в Пов. Врем. Лет совсем не находим случаев, в Синод. списке с именит. типа:

..и помысли быти мнихъ. Син. 243.
не имеаши быти князь кесареви. 50.

Приведенные данные не позволяют согласиться с утверждением Потебни, что »в старо-русских памятниках творительный здесь еще равноправен с именительным« (Из зап. по р. гр. 510). Во-первых, творит. здесь еще безусловно реже именительного: в Пов. Врем. Лет мы находим всего три случая творит. пред. с формой прош. врем. на десятки оборотов с именительным и ни одного случая с формой буд. вр. на несколько случаев с именительным. Во-вторых, несмотря на малочисленность случаев с творит. пред. можно все же установить некоторую последовательность в его употреблении. Если мы рассмотрим существительные, встретившиеся в творительном пад. с точки зрения семасиологической, то все они (за исключеніем *да не будеть Новый Търгъ Новгородомъ*...) принадлежат к одному типу. Это слова: черница, чернец, архиепископ, поп, владыка, князь, митрополит, архимандрит. Все они называют человека по его должности, сану. В именительном эти слова, правда, встречаются, но зато в творит. иного типа слов мы не находим, тогда как в именительном довольно часто. Что касается форм глагола, с которыми встречается творительный предикативный существительных, то нужно заметить следующее: с формами будущего времени и инфинитива творит. находим в единичных случаях. С формой прошедшего врем. творительный встретился во всех, правда, очень немногих случаях преждепрошедшего времени (plusquamperfect'a). Остальные же случаи творит. пред. с формами прош. вр. и причастия прош. врем. характеризуются тем, что действие в них относится к преждепрошедшему времени по отношению к времени действия контекста: *Преставися архіепископъ Новгородчкий Семеонъ. Бысть владыкою 5 лѣтъ и 3 мѣсяца.* Наоборот, в оборотах со вторым именительным действие или относится к основному моменту повествования или время вообще не играет роли: *И воевода бѣ у него Блудъ; — и бѣ Добрыня уй Володимеру.*

Конечно, случаев с творительным предикативным слишком мало, чтобы говорить о строгом функциональном различении обоих оборотов в древне-русском языке вообще, но это все же можно утверждать для данных памятников, а для русского языка рассматривать, как тенденцию к употреблению творительного предикативного от слов определенного значения вообще, в частности же в оборотах с формами прош. врем. для выражения преждепрошедшего действия.

В связочных предложениях адъективных творит. пред. совсем не встречается. Все случаи, довольно частые, с именительным, кроме оборотов с инфинитивом быти, где мы находим и дательный.

То же бы нам лучшим быти. Син. 238.
Исавъ же бысть лукавъ. Син. 41.
Новгородци же печальни быша о томъ. Син. 213.
А въ Новгородѣ бысть хлѣбъ дорогъ. Син. 295.
Бѣ же Глѣбъ милостивъ убогимъ. Лавр. 253.
Бѣ же сь мужь не книжьнъ. Лавр. 253.
Бѣ бо великъ и силенъ Редедя. Лавр. 186.

Связочно-сказуемых предложений находим незначительное количество, главным образом, с формами глагола *называться, прозываться*:

Отъ него же и Турица прозвашася. Син. 26.
Яко же древле царь Римъ назвася. Син. 1.
И прозвашеся Ляхове. Лавр. 5.
И потомъ прочии прозвашася Русию. Син. 6.
Отъ варягъ прозвашася Русию. Лавр. 28.

Творительный находим только от существительного »Русь«.

С глаголом »стати« имеем в Син. сп. только 2 случая и оба с творит.:

И самъ царемъ ста. 180.
И самъ царемъ ста Мюрчюфлъ. 183.

С глаголом »творитися« тоже только единичные случаи, но с творит.:

Тако же уродомъ ся творя. Лавр. 294.
...творящася подугорьскыми гостьми.. Син. 5.

Хотя случаев этих очень мало, но они все же показывают, что творит. в связочно-сказуемых предложениях был уже в большем употреблении.

Обратимся к более поздним памятникам древне-русской письменности. В летописях 15—16 века творительный предикативный попрежнему встречается изредка и от слов той же категории, но уже без определенной тенденции к выражению пре-

ждепрошедшего действия. В памятниках же с более сильным церковно-славянским элементом, напр. в древне-русских повестях 16—17 в., творительный предикативный мы встречаем только с формой инфинитива. Нужно сказать, что памятникам древне-церковно-славянского языка творительный предикативный вообще не свойствен. Кроме того здесь могло играть роль и влияние греческих подлинников, через посредство которых попадали к нам некоторые повести. Вообще же связочные предложения находим мы в них довольно часто.

Когда язъ былъ царь . . . Пов. о цѣлом. вдовѣ. 333.
Такою же виною бысть Февронія княинѣ. Пов. о Мур. кн. 32.
Бѣсто бо своему граду истиньная пастыря. Там же 138.
Сей мнихъ бѣ нѣкогда. О прельщ. инокѣ. 114.
Надо всѣми тогда полками бояринъ былъ Федоръ Іоанновичъ Шеинъ. Пов. о Саввѣ Грудц. 176.
Демонъ иже бяше князь бѣсовскъ. Бѣс. князь. 207.
Азъ да буду тебѣ меньшій братъ. Пов. о Саввѣ Грудц. 174.
Аще будетъ ми супружница. Пов. о Муром. кн. 32.
А хощеши самодержавцемъ быти. Там же 32.
Позволили мнѣ надъ собои царемъ быти. Пов. о Ефрос. 350.

Несколько иное дает такой памятник, как переписка Курбского с Иоанном. В письмах Иоанна, пропитанных церковнославянизмами, на три четверти состоящих из цитат из книг Св. Писания, творительный предикативный не встречается. Даже с инфинитивом *быти* имеем:

сподобльшася быти мати Христа Бога. 171.

У Курбского же творит. пред. последовательно после:
Прич. от *быти*

и не бывше епископомъ, епископа дѣло исправляетъ. 114.

Формы будущего от *быти*

умолялъ да будетъ архіепископомъ русскіе митрополіи. 106.

После формы прош. *былъ* встречаем 12 раз именительный и два раза творит. При этом творит. оба раза с функцией обозначения должности, и весь оборот указывает на действие прошедшее по отношению к моменту рассказа.

. . . иже былъ у отца его великимъ земскимъ маршалкомъ. 7.
. . . Артемии . . . ибо тогда былъ игуменомъ Сергіева монастыря. 116.

Именительный с функцией обозначения должности, рода занятий не встречается, но в других сочетаниях довольно част.

Евдокія, яже была дщерь Князя Дмитрия. 101.
А былъ той Германъ свѣтлого рода человѣкъ. 107.

В сочинении Котошихина, относящемся к средине 17 века, мы имеем следующее: с формой прош. вр. *был* уже чаще творит., чем второй именительный. Все существительные, называющие человека по его должности, стоят в творит. пред.

А на Москвѣ былъ добрымъ порутчикомъ. 25.
Многіе люди узнали, что онъ воръ Гришка Отрепьевъ, который былъ чернецомъ. 3.
И отъ Федора родился Михайло, который былъ Царемъ. 3.

Последовательности в употреблении оборота с творит. пред. для обозначения преждепрошедшего действия подметить нельзя. Обороты с именительным существительных при форме прош. вр. *был* типа:

Оболгутъ, что бутто онъ былъ посулникъ и злоиматель. 128.
И посылаютъ ихъ, чтобъ сами были послы. 21.

С формой будущего встречаем только именительный.

Та вотчина будетъ помѣстная земля. 78.
И королевскому величеству будетъ добрый слуга. 25.

В связ. сказуемых предложениях находим гл. обр. творительный.

Учинися царемъ сынъ его. Кот. 2.
Учинился царемъ и великимъ княземъ. Т. ж. 1.
И съ того учинился онъ великій князь. Т. ж. 10.

Язык сочинения Котошихина приближается к языку приказному, деловому, не носит на себе следов такого сильного влияния церковно-славянского, как язык древне-русских повестей того же 17 века, и, следовательно, в большей степени отражает живой разговорный язык того времени.

Сделанный обзор памятников древне-русского языка дает основание нарисовать следующую картину употребления творительного предик. в русском литературном языке к половине 17 столетия.

Творительный предикативный прилагательных совсем не употребляется.

Творительный предикативный существительных более последовательно употребляется с инфинитивом, прич. прош. вр. и формой прош. вр. *был* от существительных, называющих человека по его должности, роду занятий, предпочтительно, если действие этого оборота с творительным является преждепрошедшим по отношению к моменту действия контекста. Случаи творительного предикативного с формой инфинитива даже в повестях, где он вообще не встречается, показывают, что наиболее закрепился творит. именно за оборотами с инфинитивом.

С формой повелительного наклонения и будущего врем. от глагола *быти* почти исключительно употребляется второй именительный.

С полуотвлеченными связками, как *назваться, учиниться*, в употреблении и тот и другой падеж, и последовательности проследить нельзя.

Ко всему сказанному нужно добавить, что оборот с творит. пред. был явлением, настолько мало укрепившимся в русском языке, что церковно-славянское влияние могло его парализовать совершенно, и это мы и находим в таких памятниках, как древне-русские повести. Оговорку нужно сделать только, как уже было сказано, относительно оборотов с формой инфинитива.

Вторая половина 17 столетия характеризуется сильным влиянием на русскую культурную жизнь, в частности письменность, киевской культуры, проводниками которой были воспитанники Киевской Академии, приглашавшиеся в Москву для различной культурной работы.[1]) Киевская письменность того времени была под сильным польским влиянием. Применительно к исследуемому явлению это означает следующее: в польском языке к этому времени творит. пред. уже закрепился за оборотами с существительными и отвлеченной и полуотвлеченной связкой и довольно далеко проник в обороты с прилагательными.

Находясь под сильным польским влиянием, киевские писатели широко пользовались оборотами с творительным предикативным. Напр., у Галятовского находим:

(они) бываютъ ораторами и красномовцами великими. Клад. раз.
. . . котрая есть фундаментомъ всего казаня. Науки.

У Радивиловского:

Тои, которая самому тебѣ была на земли огородкомъ роскошей полнымъ. Вѣнецъ. Хр.

У Зах. Копыстенского:

Аще и другiи апостолы таковымъ же суть каменемъ. Пал. 341.
Же есть каменемъ фундаментальнымъ. 337.
А затѣмъ Петръ есть удѣльнымъ владѣтелемъ церкве. 380.
Прямымъ способомъ апостолове вси были церкве фундаментами. 370.
Всѣ абовѣмъ были головами . . . и пастырями всей церкви. 370.
Будутъ то всѣ апостолы монархами церковными. 390.

---

[1]) См. Пекарскій, Наука и литература въ Россiи при Петрѣ Великомъ т. 1.

У Афанасия Филипповича:

Же естемъ слугою Бозским. Діаріушъ. 82.
Будь послушнымъ старшимъ своимъ. Т. ж. 86.
Былемъ намѣстникомъ въ монастыру Дубойскомъ. Т. ж. 86.

Переходим к светским писателям уже начала 18 века, эпохи Петровской и послепетровской. Влияние языка киевской письменности должно было сказаться именно на них, как на учениках многочисленных представителей киевской учености, которые в конце 17 века были почти единственными учителями в России. Как образец такого писателя можно привести Ивана Посошкова, писателя начала 18 века.

Связочные субстантивные предложения.

С инфинитивом *быти* встречаем только один случай с именительным на несколько случаев с творительным предикативным.

И вѣрный ему рабъ быти хощеши. Поуч. 46.
Дабы тебѣ не быти воромъ. 184.
Аще возжелаеши сыномъ вышнего быти. 19.

С формой прош. врем. встретился уже такой случай, как:

И положи на немъ знакъ, что онъ лжесвидѣтелемъ былъ.

Это существительное уже не подходит по своему значению под ту семасиологическую категорию существительных, от которой до сих пор мы встречали творительный предикативный.

С формой повелительного наклонения *буди* 4 раза имеем творительный и только один раз второй именительный.

Буди ты, сыне мой, Богу истинный рабъ. 193.
Не буди подражателемъ праведному Товии. 29.
Ты же буди словеснымъ человекомъ, а не скотомъ. 138.

С формой будущего врем. от *быти* имеем и творительный и именительный, но с полной последовательностью в употреблении — творит. от существительных, обозначающих должность человека, его профессию. Во втором именительном такие существительные не встречаются.

А еда будеши и старымъ подъячимъ. 211.
А аще будеши афицеромъ . . . 198.
А аще же будеши купцомъ . .

Но один случай творительного предикативного встречаем от существительного с другим значением.

Но и не только наслѣдникомъ будеши царства небесного. 139.

Второй именительный встречаем во всех остальных случаях.

Тои всегда добрый человекъ будетъ. 54
И аще господинъ твой будетъ пьяница или иной какой мотыга. 183.

На связочно-сказуемых предложениях и связочных адъективных можно не останавливаться, т. к. нового мы в них ничего не встретим.

Такую же картину употребления творительного предикативного дает и язык историка Татищева в его »Исторiи Россiйской«. Язык Татищева вообще представляет любопытный материал для изучения проникновения в литературу Петровской эпохи языка приказного. Будде в »Очерке истории русского литературного языка« придает очень большое значение этому проникновению приказного языка в литературу при Петре (Будде, Очерк, 47 с.). Применительно к данному явлению это влияние могло сыграть только благоприятную роль, так как мы видели, что в языке Котошихина, близком к приказному, творительный был несравненно больше распространен, чем в литературе с церковно-славянским уклоном в языке.

Из интересных случаев творительного предикативного у Татищева можно отметить:

...а Медвѣдевъ самъ тому бунту участникомъ и тайныхъ дѣлъ съ Милославскимъ предводителемъ былъ. 1 т. 13.
А онъ межъ тѣмъ въ 1718 году былъ... главнымъ полномочнымъ посломъ. 19.
Убогое житiе скифовъ есть причиною благонравiя. 117.

»Поучение от отца к сыну« по литературному характеру представляет из себя подражание какому-либо из целого ряда поучений, бывших одной из излюбленных форм древней светско-духовной письменности. Язык его носит на себе сильные следы церковно-славянского влияния. Однако творительный предикативный в нем мы находим гораздо чаще, чем в памятниках средины 17 века, даже не характеризуемых церковно-славянским влиянием, не говоря уже о таких, как повести. Это и можно отнести с большой вероятностью за счет влияния киевской письменности. Разрыва с предшествовавшим употреблением этого оборота мы не видим. Заметно только, во-первых, его учащение, во-вторых, проникновение его в тот язык, куда раньше не пускали его церковно-славянские образцы. Киевская письменность своим влиянием парализовала отчасти влияние этих образцов, и обороты, свойственные языку и ранее, стали теперь несравненно свободнее распространяться.

* * *

Если мы будем просматривать в отношении исследуемого явления писателей 18 века после Петровской эпохи, от Ломоносова до Карамзина, то обзор этот даст нам следующую картину.

Связочно-субстантивные предложения.

С формой прош. вр. встречаем и второй именительный и творит. пред. Творит. вполне последовательно от существительных, называющих человека по его должности, профессии. Именительного от таких существительных не находим. Это предложения типа:

> Въ то время, какъ ея мужъ былъ гофмейстеромъ при семъ принцѣ... Пр. вр. 1759 г. 403.
> Какъ ты солдатомъ былъ. Сум. Ком. 145.
> Хотя бы онъ царемъ всея вселенной былъ. Сум. Синавъ. 45.

Тип этот настолько обычен, что останавливаться на нем нет нужды. Но довольно часто начинает встречаться творит. пред. и от других существительных. Последовательности в употреблении того и другого оборота пока еще нет, но кое-какие группы существительных, от которых сравнительно чаще находим творительный, подметить можно. Это прежде всего существительные, обозначающие отвлеченные представления. При чем творит. от таких существительных находим даже в предложениях с связкой в настоящем времени.

> Когда бы не ты сама была тому причиною... Сум. Ком. 117.
> Доброе мнѣніе было лестною наградою службы моей. Ф. Виз. 70.
> Они были моимъ неблагополучіемъ. Пр. вр. 1579 г. 256.
> Сіе было причиною, что часто прохаживался я въ Афины. Там же 307.
> Конечно, нѣкто есть причиною ей мукъ сихъ. Сум. Син. 22.
> Города нынѣ суть печальными знаками непостоянства. Пр. вр. 298.

Нужно добавить, что, хотя очень редко, но встречаются случаи творит. пред. в предложениях без связки и от других существительных. У Княжнина находим: *Ты это слышала, что графомъ Верхолетъ?* (Хваст. 30).

Несколько реже, но все же встречаем творит. пред. и от существительных, которые пока поддаются простому перечислению, настолько они малочисленны. Это чаще всего существительное *свидетель*, затем *смотритель, неприятель, предводитель, наследникъ*. Большая часть их, как видим, отглагольные существительные, значение которых называние человека по его действию. До сих пор в творит. пред. мы встречали существи-

тельные, называющие человека по его длительному действию, занятию. Теперь эта группа начинает расширяться, захватывая и существительные, называющие человека по его действию в буквальном, прямом смысле слова.

Вождь нашъ, который былъ смотрителемъ сего сраженія. Пр. вр. 11.
Предводителемъ оной были друзья герцога Альбы. Т. же. 389.
Я теперь былъ свидѣтелемъ пресмѣшные сцены. Ф. Виз. 18.
Свидѣтельницею, Элиза, ты была. Княж. Дидона. 10.

Но все же чаще, чем творит. пред. встречаем мы именительный даже от упомянутых групп. При этом нужно заметить, что в журнальной переводной литературе творит. встречается гораздо чаще, чем, напр., в трагедиях Сумарокова, Хераскова, Княжнина.

Радость его была тѣнь, закрывающая весьма печальные послѣдствія. Пр. вр. 340.
Печаль королевы была только дѣйствіе дружеской любви. Т. же. 384.
Когда б мой родъ мнѣ былъ достоинства предметъ. Княж. Хваст. 15.
И ты пять лѣтъ мнѣ самъ свидѣтель былъ вседневно. Сум.
А ты, который былъ конца его свидѣтель. Сум. Син. 76.
Онъ былъ Французъ. Вс. вс. 1769 г.
Два или три дни были мы съ нимъ пріятели. Т. же.
Злато преже того былъ песокъ. Лом. 133.
Былъ я любимый сынъ у моего отца. Зап. Дан. 1771 г.

С формой будущего времени находим и творительный и именительный. При этом творительный здесь чаще, чем с формой прошедшего времени. От существительных, обозначающих должность, профессию, находимъ только творительный.

Да онъ будетъ судьею. Ф. Виз.
Буду отъ арміи бригадиромъ. Т. же.
Пусть онъ будетъ хоть царіомъ. Княжн. Хваст. 30.
Графиней будешь. Т. же. 30.
По возвращении сей принцъ будетъ первымъ министромъ. Пр. вр. 409.

Но, кроме этой группы, находим творительный предикативный от самых разнообразных по значению существительныхъ.

Я любезнѣйшимъ моимъ буду причиною страха. Лом. 169.
Оно любовнику его супруги будетъ надежнымъ средствомъ Пр. вр. 399.
Юліино первое въ монастырь вступленіе желаніямъ его препятствіемъ не будетъ. Т. же. 292.
Если я не буду ея мужемъ. Ф. Виз. 61.
Я женою буду такого дурака, который . . . Т. же. 13.
По повелѣнію ему супругой буду. Сум. Синавъ. 14.
Тіощей будете вы графа моего. Княж. Хваст. 38.

От тех же самых существительныхъ находим, однако, без всякой последовательности и второй именительный.

Люди ему будутъ непріятели. Лом. 66.
И будешь человѣкъ во всякое время. Ф. Виз.
Черезъ часъ будешь ты моя жена. Княж. Ком. 117.
Мнѣ радость та мала, что буду ей супругъ. Сум. Траг. 28.
Хотя жъ Федима мнѣ не будетъ и супруга. Т. ж. 94.
Прекрасная Сострата будетъ моя невѣста. Сум. Ком. 38.

С формой повелительного наклонения встречаем также без всякой последовательности в употреблении и творительный и именительный.

Будь самъ свидѣтелемъ ты сердцу своему. Княж. Дидона. 8.
Теперь свидѣтелемъ будь смерти и моей. Сум. Син. 76.
Если такъ, то будьте вы женихъ и невѣста. Ф. Виз. 47.
Будь мнѣ участница въ желаніи моемъ. Сум. Траг. 45.
Будьте имъ милостивый помощникъ. Лом.

С формой деепричастия и причастия встречаем творительный пред. последовательно от существительных, обозначающих должность, профессию, и случайно от других существительных.

Будучи судьею. Фон-Виз. 2.
Дядя мой, главнымъ командиромъ будучи. Зап. Шах.
Рюи — Гомецъ, будучи Обергофмейстеромъ . . . Пр. вр. 368.

С формой инфинитива находим и творительный и именительный.

У фон-Визина, напр., только творительный.

Она годится быть коллегіи президентомъ. 2.
Такой совѣтникъ достоинъ быть другомъ отъ арміи бригадиру. 1.
Тотъ нищимъ быть не можетъ.

Именительный встречаемъ, главнымъ образом, в сочетании с *должен*.

Намѣстникъ божества быть долженъ государь. Сум. Дм. Сам.
И посему риторическія распространенія не должны быть пустыя собранія реченій. Лом. 3 т. 114.

Связочно-сказуемые предложенія.

С глаголами *сделаться, казаться, остаться, являться* встречаем уже исключительно творительный.

Аминтъ, здѣлавшись ему истиннымъ другомъ . . . Пр. вр. 1759 г. 248.
А которые здѣлались дворянами лѣтъ за сто . . . Трутень 1769 г.
Сдѣлался онъ повѣсою французскимъ. Ф. Виз. 37.
Послѣ отца осталась она младенцемъ. Ф. Виз. 52.
Ты въ милостяхъ прямыхъ родителемъ казался. Сум. Хор.
Во всѣхъ являешься прекраснымъ божествомъ. Богд. Душ.

С глаголом *стать* находим и творительный и именительный. Творительный последовательно от существительных того же значения, что и в оборотах с формой прош. вр. и буд. гл. *быть*.

Я сталъ женихомъ ея. Ф. Виз.
По мнѣ она стала бригадиршей. Т. ж. 37.
Я ужъ у него стала и свинья и дура. Т. же 31.
Я твои губитель сталъ. Лом. 3 т. 249.
И ты, печальный Кремль, сталъ нынѣ ты свидѣтель . . .
Сум. Дм. Сам.

С глаголом *называться* встречаем в равной мере и именительный и творительный. У Ломоносова, дающего очень большое количество таких оборотов, можно заметить следующую тенденцию: именительный употребляется преимущественно в тех случаях, когда существительное рассматривается, как особый специальный термин, приводимый в первый раз, что часто подчеркивается кавычками.

Сей доводъ называется »энтитема«. 3 т. 66.
Глаголъ существительный »есть« называется »связка«.

Именительный здесь психологически необходимъ, чтобы незнакомое слово в первый раз назвать в его неизмененном виде в первоначальной, назывной форме. (Здесь можно, между прочим, вспомнить единственный творительный с этим глаголом в древнейших летописях: *Русью*. Это слово было безусловно самым знакомым). Творительный в этих оборотах находим у Ломоносова от существительных, обычных, известных.

Описаніемъ называется слово или часть онаго . . . 325.
Родомъ называется подобіе особенныхъ вещей. 91.

Связочные а д ъ е к т и в н ы е предложения.

С формой *был* находим тольке второй именительный. На всю пересмотренную литературу встретился только один случай творительного предикативного в фразе: *1710 годъ былъ печальнѣйшимъ въ моей жизни*. Пр. вр. 288. Обороты с формой именительного настолько обычны, что можно на них не останавливаться.

То же можно сказать и относительно оборотов с формой будущего вр. С формой инфинитива находим и именительный и дательный. Чаще всего именительный.

Разнится потомкомъ быть предковъ благородныхъ иль благороднымъ быть. Кант. Фил. и Евг.
Кто хочетъ большимъ быть, тотъ долженъ всѣмъ служить.
Лом. 3 т. 109.

В журнальной литературе творительный чаще, тогда как у Сумарокова, Княжнина, Хераскова найти его очень трудно.

Полагаю, что дочь его можетъ быть щастливою. Пр. вр. 247.
Но отъ насъ единственно зависитъ быть учтивыми, искренними.
Т. ж. 272.
Тотъ человекъ, который спокойнѣйшимъ быть могъ. Т. ж. 294.

В связочно-сказуемых адъективных предложениях творительный находим уже не в единичных случаях.

Для краткости ограничусь только примерами из журнала »Праздное Время«.

Но имъ сіе казалося великимъ.
Ему тѣ вещи кажутся несносны. 207.
Искусство его скоро и тамъ всѣмъ явно становилось. 53.
Любовь между такими людьми рѣдко бываетъ платоническою. 195.
Того признаю бѣднымъ, который въ богатствѣ никогда доволенъ не бываетъ. 260.
Нашъ Онорій при всѣхъ своихъ высокихъ чинахъ недовольнымъ является. 53.
Гассавъ здѣлался опять безпокойнымъ. 310.

С глаголом *учиниться* встретился только творительный.

Моя любезная учинилась въ супружествѣ такою злою. 256.
Будущее ихъ житіе учинилось совѣтнымъ и благополучнымъ. 254.

Хотя при общем обзоре исследуемого явления в литературе 18 в. отдельные писатели мало выделялись, но все же упоминалось о некотором различии в употреблении творительного и именительного у некоторых писателей. Если мы сравним язык трагедий Хераскова, Сумарокова, Княжнина с языком комедий Фон-Визина или особенно с журнальной и переводной литературой, то увидим, что у последних мы гораздо чаще встретим творительный предикативный. Объяснение, вероятно, даст нам »Рассуждение о трех штилях«. Трагедии обязывают по своему содержанию к »высокому штилю«, и потому пропитаны церковно-славянизмами. В комедиях, в переводной литературе благодаря их содержанию славянская стихия сведена до возможного минимума, и язык их приближен к разговорному языку.

Если мы возьмем журнальную литературу Карамзинской эпохи, то большой разницы в употреблении творительного предикативного у Карамзина и у его современников мы не найдем. Но ни у одного писателя мы не найдем такой частоты употребления связочных предложений вообще, и во-вторых, такой необычайной последовательности в употреблении того и другого оборота, как у Карамзина. Он как-будто культивирует этот оборот с творительным предикативным. Для него, как для повествователя по преимуществу, он действительно был очень удобен. Вместе с тем широкое применение его совершенно лишало язык церковно-славянского характера. Трудно сказать с уверенностью, оказал ли в этом отношении Карамзин вли-

яние на своих современников и последующих писателей. Вероятнее, что оказал, потому что в начале 19 в. да и в самые последние годы 18 в. именно в журнальной литературе употребление творительного предик. как-то сразу усилилось. Вследствие всего сказанного представляется интересным особо выделить его, не смешивая его с другими писателями.

Связочные субстантивные предложения.

С формой прош. времени *был.*

Сказуемое — имя в имен. пад.:

Сей великій человѣкъ былъ жидъ. ПРП. 164.
Мендельзонъ былъ великій человѣкъ. 164. Там-же.
Вольтеръ былъ человѣкъ очень умный, но разсуждалъ плохо (300 там-же).
Зейдлицъ былъ любимецъ королевскій, пылкой отважной воинъ (там-же 60).

Сказуемое — имя в твор. пад.:

И Матвей былъ нѣсколько лѣтъ директоромъ здѣшней школы. (105 ПРП.)
Всѣ они были моими учениками. (119 там-же).
Сей человѣкъ долгое время былъ слугою. (Там-же 125).
Игорь отецъ его былъ священникомъ. (Там-же 221).
Гдѣ громъ цѣпей былъ имъ первымъ привѣтствіемъ. (ПРП. 51).
Власы сѣдые были тогда правомъ на почтеніе людей. (К. И. Ш. 52).
Которые . . . были причиною того . . , (ПРП. 232).
Густыя тѣни каштановыхъ деревъ были свидѣтелями ихъ непорочного обхожденія. (304 ПРП.).
Тайнымъ убійцей его былъ Вельмиръ. (Ист. 12).
Одни бояре были тебѣ врагами. (Ист. 26).
. . . Безъ этого Клопштокъ не былъ бы Клопштокомъ. (ПРП. 14)

С формальной стороны предложения с 2 именительными характеризуются отсутствием слов управления, тогда как в предложениях с творительным предикат. в большинстве случаев слова управления на лицо. Подробно останавливаться на этом пока не будем.

Со стороны содержания прежде всего нужно сказать, что существительные, обозначающие отвлеченные представления, в именит. падеже совсем не стоят. Они употребляются только в творительном падеже. В этих предложениях всегда есть слова управления.

Такое закрепление творительного за этим типом может быть об'яснено, с одной стороны, большей конкретностью связки; *был* в этих предложениях, в большинстве случаев, законченное реально-прошедшее по отношению к времени действия кон-

текста. Присутствие слов управления подтверждает это предположение. С другой стороны, по своей функции этот творительный часто близко подходит к обстоятельственному слову. Обстоятельство выражает отношения, в которых мыслятся признаки. Творительный же предикат. этого типа именно и служит большей частью для выражения отношения между признаками. Подтверждение этому — то, что за существительным »причина« даже без связки закрепился творит. падеж: *Ты причиною моего несчастья.*

Колебания между творит. пред. и 2 именительными наблюдаются в тех случаях, когда сказуемое является каким-либо названием предметов одушевленных, у Карамзина исключительно человека.

Связочные субстантивные предложения этого типа могут иметь двоякую цель высказывания: или дать характеристику суб'екта посредством называния какого либо его признака, или дать понятие о прошлом или будущем действии, состоянии, занятии суб'екта путем называния его по этому действию, занятию, состоянию.

Для первого служат, главным образом, существительные и сочетания существительных — человек, женщина и т. п. с прилагательными. У Карамзина такого рода существительные в творит. предикат. не встречаются вовсе. Это тип предложений в роде -- *Вольтер был умный человек.*

Здесь слова *человек, женщина* и т. д. служат только для соединения названия лица с названием признака, как говорит Шахмат. Син. 174.

Для второй цели служат существительные, называющие человека по его действию, состоянию, по длительному действию, которое мы грубо называем занятием, профессией, и по отношению к другим лицам. Это существит.: офицер, убийца, муж, свидетель, виновник.

С подобными существительными употребляется, преимущественно, творит. предикат., но в некоторых случаях в предложениях с сказуемым-именем этого типа может стоять и 2-й именительный. В таких случаях цель высказывания меняется: цель опять характеристика, и на действие или состояние указывается только для характеристики суб'екта. Само по себе это действие или состояние роли не играет и дальнейшего развития не получает.

У Карамзина это тип предложения — *Спиноза был глубокомысленный философ.*

Таким образом, мы видим, что категории существительных, с которыми ранее употреблялся творит. предик., и которые мы грубо называем обозначением должности, профессии, у Карамзина только раздвинули свои рамки, включив в себя и название человека, как совершателя какого-либо действия и носителя какого-либо состояния.

С формой сослаг. наклон. только творительный:

Безъ него Клопштокъ не былъ бы Клопштокомъ. ПРП. 14.

С формой будущего времени у Карамзина только творительный предикативный:

Пусть вѣчно буду на землѣ странникомъ. ПРП. 11.
Клялся . . . что онъ будетъ всегда защитникомъ Новгородцевъ. III, 95.
Сей человѣкъ никогда не будетъ мнѣ другомъ. ПРП. 309.

С формой повелит. наклон. — только творительный:

Будь его судьей и защитникомъ. Ист. III, 73.
Будь моимъ отцомъ и государемъ . . . III, 51.

С формой прич. прош. и наст. времени только творит.:

Я не будучи знатокомъ, смотрелъ . . . ПРП. 177.
Будучи союзникомъ Ярослава Галицкаго . . . Ист. III, 4.
Бывъ союзникомъ Рюрика и Мстислава, онъ сталъ . . . III, 75.
Давно короли венгерскіе бывъ и друзьями и непріятелями . . . Ист. III, 73.

С формой инфинит. *быть* только творит.:

Которые для нас должны быть закономъ. П. 68.
Далъ слово быть ее сыну вторымъ, нѣжнымъ отцомъ. Ист. III, 72.
Берется он быть ее ходатаемъ. П. 115.

С глаголами *бывать, стать, сделаться, оказаться, казаться, считаться. остаться* — только творительный.

С *называться* творит., кроме одного случая с именительным:

Другая . . . называется Иванъ-Городъ. ПРП. 13.
Роскошь бываетъ гробомъ вольности и добрымъ нравамъ. ПРП. 1. 255.

Но человѣкъ вездѣ бываетъ любимымъ гостемъ. 173.
Онъ сталъ врагомъ ихъ . . . Ист. III, 76.
Въ Роттердамѣ я сдѣлался человѣкомъ. ПРП. 19.
Но мнимые непріятели оказались половцами. Ист. III, 40.
Но это время показалось мнѣ минутою. ПРП. 211.
Что теперь считается тайною. П. 229.
Кіевляне оставались равнодушными зрителями сего разбоя. Ист. III, 16.

Они называются сенаторами. ПРП. 231.
Рубенсъ по справедливости называется Фландрскимъ Рафаэлемъ. ПРП. 78.

Связочные адъективные предложения.

С формой прош. времени и творит. и именит. Соотношение приблизительное: на 100 предложений с именительным, 6 с творительным. В исследованном материале все предложения с творит. встретились в Истории Государства Росийского.

Творит.: Боголюбскій былъ, конечно, однимъ изъ мудрѣйшихъ князей. Ист. III. 19.
Побѣда не была сомнительною. Там же 100.
Церковь Михаила была великолепнѣйшею въ странахъ полуночныхъ. Там же 65.

Именит.: Уронъ былъ великъ только со стороны побѣжденныхъ. Там же 101.
Первый опытъ былъ неудаченъ. Там же 82.
Она была черноволосая. ПРП. 283.
Обедъ былъ самый изобильный. ПРП. 1. 207.

С формами будущего и повелит. наклонения.

У Карамзина находим только именительный:

Мы будемъ щастливы. ПРП. 305.
Если вы и впредь будете такъ немилостивы къ себѣ. Там же 53.
Будьте таковы, какими учитъ васъ быть Геллертъ. ПРП. 113.
Будьте здоровы, спокойны. Там же 22.

С формой инфинитива и творительный и именительный.

Большинство предложений с именительным имеют инфинитив в сочетании с *должен* и *может*.

Творит.: Только прошу васъ быть благосклоннымъ къ моей дочери. ПРП 151.
Клялся вечно быть холостымъ. Там же. 106.

Именит.: Я надѣюсь быть с тобою щастлива. ПРП. 305.
Докторъ Платнеръ долженъ быть исключенъ изъ сего числа. Там же 120.
Человѣкъ не можетъ быть совершенно доволенъ. Там же. 32.

С формой дееприч. настоящего времени, главным образом, именительный, но в единичных случаях и творительный:

Которая, не будучи ученою . . . ПРП. 76.
Я давно лишилась бы жизни, будучи такъ слаба. Там же. 322.
Пошелъ, будучи совершенно доволенъ въ своемъ сердцѣ. 123. Там же.

Связочно-сказуемые адъективные предложения. С глаголами *казаться, остаться, сделаться* у Карамзина встречаются приблизительно в равной мере и творит. и именит.

С глаголами *называться* и *считаться* почти исключительно творительный.

С глаголами *бывать, стать* – предпочтительно именительный:

Которое-жъ однако не показалось мнѣ такъ хорошо. ПРП. 1. 170.
Но теперь онъ кажется многолюднымъ. Там же 1. 30.
Дмитрій остался вѣрнымъ Константину. И. 92.

Черниговскій и Галицкій оставались независимы. Там же 1.
Графъ сдѣлался пасмуренъ. ПРП. 304.
Средство, которое въ другихъ земляхъ сдѣлалось почти необходимымъ. Там же 224.
Одинъ называется главнымъ. ПРП. 230.
Здѣшняя церковь считается высочайшею въ Германіи. 49. ПРП.
Дни бываютъ такъ ясны и теплы, какъ у насъ въ сентябрѣ. ПРП. 324.
Стала такъ жива и весела, какъ прежде. ПРП. 304.
Онъ опять сталъ совершенно здоровъ. Там же 266.

Со вторым именительным встретились у Карамзина еще следующие глаголы *стоять, приехать, встать, выходить, сразиться*

Мы видим, что данная картина употребления творит предикативного и 2-го именительного у Карамзина значительно отличается от представленной ранее картины тех же явлений у писателей 18 века.

В предложениях связочных субстантивных с формами будущего времени от *быть*, повелит. наклонен., деепричастия, инфинитива мы находим только творительный. С формой прошедшего времени *был* область употребления с 2-м именительным узко ограничена теми случаями, где существительное по функции является близким прилагательному, служит для указания признака субъекта.

В предложениях связочно-сказуемостных субстантив. творит. закрепляется совершенно.

В связочных адъективных предложениях творительный уже находим и с формой пр. вр., пока еще в единичных случаях, и с формой деепричастия и инфинитива.

В связочно-сказуемых адъективных предложениях творительный также расширяет область своего употребления, совершенно закрепляясь уже за отдельными глаголами.

Хотя, как мы видим, развитие творительного предикативного у Карамзина идет по линии, уже наметившейся в русском литературном языке 18 столетия, но все-таки различие между ним и писателями 18 века большое. Можно думать, что в живом разговорном языке, не народном, конечно, ко времени Карамзина творительный предикативный уже был закреплен за известными категориями предложений. Высокий штиль с его узаконенными церковно-славянизмами мешал свободному отражению этого явления в языке письменности. Карамзин сузил границы употребления церковно-славянизмов до возможных пределов, и обороты живого русского языка

нашли у него полное отражение. Как мы видели, предложения с именной предикацией вообще чрезвычайно часты у Карамзина. В отношении субстантивных предложений последовательность в употреблении творительного пред. и второго именительного строгая. Можно, пожалуй, думать, что оборот с творительным он сознательно укреплял в русском языке, считая его ценным средством передачи оттенков речи. Можно думать, что последовательность в употреблении того и другого оборота была несколько исскуственной, что в разговорном языке употребление было свободнее.

Дальнейшее исследование употребления оборотов с творит. пред. и вторым именит. на протяжении 19 и 20 веков показывает следующее. Творительный предикативный продолжает расширять область своего употребления только в адъективных предложениях. В субстантивных же в общем творительный остался в тех же рамках, какие мы видели у Карамзина. В частности же можно наметить три течения. В языке научной литературы, и в известной части художественной (переводной и с небольшими ограничениями в языке небольших писателей) без ярко выраженной индивидуальности в языке — употребление творительного пред., какое мы наблюдаем у Карамзина, становится известной языковой нормой, дошедшей без изменения от начала 19 в. до наших дней. В языке более крупных писателей в общем мы встретим те же типы предложений с тем и другим падежом, но разграничение их более тонкое, передающее большее число оттенков, а иногда и более свободное. Поэтому употребление второго именительного у них чаще. Наконец, в 20 веке можно заметить третье течение, о котором речь будет дальше. Два первые подразделения нельзя, конечно, понимать безусловно. Они намечаются, и довольно четко, но отклонения от них можно встретить.

Скажем прежде об адъективных предложениях.

В связочных предложениях с формой прошедшего *был* творительный употребление свое в общем расширил незначительно. Категории, за которыми закрепляется он, намечаются неопределенно, медленно. Некоторые писатели 19 века его почти не употребляют. У Пушкина, напр., находим его только с формой сослагательного наклонения.

Вы были бы моею. 560.
Письмо сие было бы весьма неприличнымъ . . . 529

У Гоголя найти его трудно. В переводной литературе до конца 19 в. он почти не встречается. То же можно сказать и о Тургеневе, Гончарове, Достоевском. У писателей конца 19 и 20 в. творительный пред. становится более част, хотя эта частота его выражается все же в соотношении (приблизительном) на сто прилагательных в именительном — 5, 6 в творительном. Нужно сделать оговорку только для языка научного, особенно, напр., современной публицистики. Здесь творительный пред. прилагательных встречается гораздо чаще.

Какие же можно заметить тенденции в употреблении того и другого оборота? Большинство случаев творительного пред. отмеченные ранее, дают прилагательные в превосходной степени сравнения. То же можно отметить и теперь. Присоединив к ним некоторые другие случаи, можно обобщить большинство случаев употребления творит. пред. прилагательных так: в русском языке есть тенденция ставить прилагательное в творительном предикативном в тех случаях, когда цель высказыванья сравнение, сопоставление субстанции или признаков ее с другими. Это предложения типа:

Онъ былъ единственнымъ сомнѣвающимся въ массѣ вѣрующихъ. Шел. Мих. 2 т. 75.
Самымъ лучшимъ былъ мой покойный мужъ. Чех. 13 т. 15.
Самымъ солиднымъ былъ гость. Чех. 9 т. 22.
Былъ самымъ маленькимъ изъ всѣхъ служащихъ. Андр. 2 т. 162.
Самым необеспеченным был бедняцкий слой. Позн. 143.
Мѣсто, гдѣ стоялъ, было послѣднимъ безопаснымъ. Ал. Тол. 6 т. 97.
Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ честныхъ людей . . . Пот.
Графъ былъ однимъ изъ главныхъ директоровъ. Шел. Мих. Вт. 93.
Он был желанным, сильным, единственным. Юрез. Зной. 105.

Близко подходят к этому семасиологическому типу предложений предложения, где имеем сравнение, сопоставление признаков во времени.

Тогда Клавденька была еще маленькой. Нев. В садах. 123.
Наша семья всегда была честной. Шел. 85.
Съ тѣхъ поръ, какъ себя помню, всегда я была такою. Т. же. 103.
Сегодня я такой, какимъ и вчера былъ. Чех. 8 т. 4.
Былъ я молодымъ, горячимъ, искреннимъ . . . и вотъ въ тридцать лѣтъ я старъ. Чех. 13 т. 96.

Таким образом, большинство случаев творительного пред. как-будто объединяется в одну группу. Но все же эти случаи слишком еще редки сравнительно с очень частым употреблением

именительного, даже при аналогичных условиях, чтобы можно было говорить об определенной последовательности. Пока можно говорить только о тенденции. Почему именно в эту категорию предложений прежде всего проник творительный предикативный, может быть объяснено следующим образом: в предложениях, в которых цель высказыванья сопоставление, сравнение признаков разных субстанций, сказуемое прилагательное ближе по функции к дополнению, чем в предложениях, где цель высказыванья только отнесение определенного признака к определению субстанции.

В предложениях с формой будущего времени творит. пред. начинаем встречать позже, чем с формой прошедшего времени. В 18 веке и у Карамзина мы его еще не находим. Но уже в журналах первого десятилетия 19 века он начинает встречаться и укрепляется быстрее, чем с формой прош. вр. Но уловить, есть ли последовательность, с которой он проникает в обороты с именительным, вытесняя именительный, невозможно. Может быть, это можно объяснить тем, что связка будущего времени более конкретна, чем связка прош. вр., и поэтому представляет меньше сопротивления проникновению творительного, тогда как связка прошедшего вр. настолько, большею частью, отвлеченна, что нужны особые условия, чтобы допустить замещение творительным именительного.

Нашла сердце, которое вѣчно будетъ моимъ. Журн. для пользы. 1805 г. 74.
Буду попрежнему вѣрнымъ. Т. ж. 79.
Для меня будетъ вѣчно незабвенною та минута . . . Б-ка для чт. 1822, 57.
Не будетъ ли эта негоція несоотвѣтствующей гражданскимъ постановленіямъ. Гог. 3 т. 33.
Но это свиданье будетъ уже послѣднимъ. Пушк. 578.
Умѣй хотѣть и будешь свободнымъ. Тург. 6 т. 337.
Я прокляну эту ночь, если она будетъ спокойною. Чех. 4 т. 7.
. . . и никогда не будетъ моею. Чех. 4 т. 7.
. . . и никогда не будет такой, как Даша, пылкой, строгой. Ал. Толст. Хожд. 30.
Наше путешествие будет очень злополучным. Лонд. 44.
Но когда оно будет действительно возможной . . . Позн. 17.
Тогда партия будет крепкой и несокрушимой. Т. ж. 8.

Именительный.

Мы вѣрно будемъ очень счастливы. Б-ка 1822, 145.
Я буду достоинъ васъ обоихъ. Дост. Ун. 50.
А то я цѣлый годъ больна буду. Т. ж. 141.
Дуэль будетъ пустяковая. Чех. 8 т. 107.
И так всегда ее жизнь будетъ полна тревог. Ал. Тол. Хожд. 62.

В предложених с формой инфинитива *быть* именительный можно считать почти закрепленным только за сочетаниями с *должен, может,* отчасти *хочет.*

Но как старался всегда быть справедливымъ . . . Благ. 1819, 81.
Вы должны быть чисты даже въ моихъ преступленіяхъ. Пушк. 629.
А въ благодарности моей можешь быть увѣренъ. Там же 600.
Опасаясь быть нескромными . . . Там же 538.
Быть къ ней близкимъ и остаться прежнимъ человѣкомъ невозможно. Тург. 5 т. 208.
Мы могли бы быть счастливы. Дост. Ун. 369.
И бѣднякъ можетъ быть счастливъ. Чех. 13 т. 119.
Такіе люди должны быть уничтожаемы. Чех. 8 т. 41.

Что касается связочно-сказуемых адъективных предложений, то устойчивости в употреблении в них данных оборотов нет. Можно, пожалуй, указать, что с глаголами *являться, казаться, считаться, сделаться, становиться* преобладает, а у некоторых и значительно господствует творительный. Глагол *стать* можно выделить; в оборотах с ним даже у Чехова часто встречаем именительный, у Пушкина же, Гоголя, Достоевского почти исключительно именительный. Но вообще нужно сказать, что у этих последних писателей (гл. обр. Гоголя и Достоевского) во всех связочно-сказуемых адъективных предложениях преобладает именительный.

Будущее для него являлось покрытымъ грозными тучами. Пушк. 608.
Жизнь моя сдѣлалась мнѣ несносна. Там же 660.
Жизнь въ крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною . . . Т. же 650.
Она сдѣлалась беременною и никакъ не могла . . . Т. же 590.
Первый взглядъ его на меня сдѣлался вдругъ привѣтливымъ и веселымъ. Дост. Ун. 176.
Какъ ты вдругъ сдѣлался такой послушный. Т. же 58.
Но шалость дочери казалась ему такъ забавна. Пуш. 581.
Поступокъ ея казался легкомысленнымъ. Т. же 578.
Она казалась менѣе ужасна и безобразна. Т. же 707.
Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною Т. же 500. 570.
Такъ смѣшна казалась ей эта змѣйка. Чех. 4 т. 203.
Старуха казалась ему довольною. Т. же.
Поединокъ мой сталъ извѣстенъ черезъ него. Пуш. 658.
Домъ коменданта сталъ для меня постылъ. 660.
Она стала чрезвычайно впечатлительна. Дост. Ун. 348.
А онъ изъ веселаго сталъ задумчивымъ. Т. же 138.
Скучный ты сталъ. Чех. 13. 155.
Я сталъ раздражителенъ, рѣзокъ, вспыльчивъ. Т. же 44.
Глаза стали маленькими. Т. же 8 т. 42.
Я стала мелочною, ничтожною. Т. же 13 т. 165.

Как мы видим даже из этих немногочисленных примеров, установить какую либо последовательность в употреблении

оборотов невозможно. Оба оборота равноправны. Дифференциации по значению не произошло, и, по всей вероятности, с течением времени в связочно-сказуемых предложениях с прилагательными также укрепится только творительний, как это происходит в подобных же предложениях с существительными.

Связочные субстантивные предложения.

У Карамзина видели мы полное закрепление творит. предикативного за существит., обозначающими отвлеченные представления. Такую последовательность в проведении этого принципа встретить можно преимущественно в языке писателей, которых мы назвали третьестепенными, не имеющими своего языка, вернее, своего стиля. Хотя даже здесь особенно в первую половину 19 века, можно встретить 2-й именит. от существит., обозначающих отвлеченное представление.

В Б-ке для чтения встречаем:

Это волшебство было дѣло случая. Б-ка 1822 г. 122 с.
Сказка о слабомъ здоровьѣ была очевидная ложь. 5 с. Б-ка, 1823 г.

Есть и крупные писатели, следующие этому принципу (Чехов, Ал. Толстой). Но большинство крупных писателей дает другое. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Гончаров, Лев Толстой (особенно два последние) дают много случаев 2-го именительного от существительных, обозначающих отвлеченные представления.

Особенно свободен в этом отношении Л. Толстой.

Пушкин: Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ Горохинцевъ. 591.
Ненависть къ нововведенію была отличительная черта его характера. 573.
Достоевский: Случай съ барономъ былъ уже второй случай. VII, 15.
Преобладающее ее качество было некоторое легкомысліе. 233.
Гончаров: Вся любовь ее была преступленіе, пятно на совести. Обл. 550.
Толстой Л.: Радости служебныя были радости самолюбія.
Радости общественныя были радости тщеславія. X, 20.
Главное мученіе Ивана Ильича было ложь, но всѣми признанная ложь.

Если мы сравним эти случаи с следующими:

Настоящею причиною перемѣны карьеры было прежнее предложеніе. Достоевский. VII, 28.
Главнымъ основаніемъ оной была слѣдующая аксіома. Пушк. 589.
Это было единственнымъ условіемъ прощенія. Дост. VII, т. 66.
Главнымъ же предлогомъ къ путешествію было свиданье съ сыномъ. Дост. VII, 20.

то мы заметим нечто общее в предложениях с 2-ым именительным. Они являются предложениями тождества, особенно ярко, определенно выявленными. Эту тенденцию употреблять именительный, а не творительный в ярких определенных предложениях тождества — даже если существительное-отвлеченное представление можно заметить у писателей крупных, в остальной же литературе, как уже было сказано, творит. предикативный от существительных, обозначающих отвлеченное представление, есть почти норма.

Тенденцию употреблять 2-й именительный в предложениях тождества можно заметить не только для существит., обозначающих отвлеченные представления. Это предложения типа:

Молодой человѣкъ былъ именно владѣлецъ деревни. Тург. VI, 2.

Скажите, эта дама была ваша невеста? Тург. Вешн. воды.

В тех случаях, когда подлежащее имя одушевленное можно установить один тип предложений, когда 2-й именительный почти без исключений. Это те предложения, когда название лиц в подлежащем соединяется с названием признака в сказуемом через посредство слов: человек, женщина, люди и т. д.

Это предложения типа:

Она была добрѣйшая женщина во всемъ нашемъ околоткѣ. Б-ка 22 г. 30.

Отецъ ея былъ человѣкъ довольно легкомысленный. Пушк. 594.

Тарантьевъ былъ человѣкъ ума бойкаго, хитраго. Гонч. Обл. 46.

Ольга Ивановна и ея друзья были несовсѣмъ обыкновенные люди. Чех. IX, 144.

Мужъ ее былъ человѣкъ не богатый. (Перев. ром.).

Лиза была странная девушка. Потап. Муж. Чести. 72 с.

Этот тип предложений по существу, конечно, подходит к типу предложений с общим содержанием характеристики лица подлежащего, но последовательность в употреблении здесь 2-го именительного настолько велика, что его необходимо выделить. Можно сказать, что это единственный тип связочных предложений с *был*, где творительный предикат. не встречается. Оговорку нужно сделать только для тех предложений, где действие ясно относится к преждепрошедшему (законченному) сравнительно с временем действия в контексте. Это предложение типа:

Тогда онъ былъ привлекательнымъ молодымъ человѣкомъ. Пот. 89.

Онъ былъ прежде очень честнымъ человѣкомъ.

Но даже и в таких случаях чаще именительный.

Последнее особенно относится к небольшим писателям. У Шел.-Михайл., напр., в связочных предложениях с *был* именительный встречаем мы почти исключительно в предложениях этого типа:

Кряжовъ былъ человѣкъ достаточный. 46.
Славная она была женщина. 64.
Значитъ Кряжевы были люди во всѣхъ отношеніяхъ достойные. 46.

В остальных случаях творительный. Оговорить нужно еще немногочисленные случаи такого типа:

Дочь его была красавица. 46,

где существит. вполне равнозначно прилагательному.

Некоторые писатели вообще ставят именительный, когда новый, неизвестный еще для данного лица, признак заключается не в существительном сказуем., а в сопровождающем его определении.

Чехов: Тригоринъ хорошій былъ писатель. Чех. XIII, 142.
Гончаров: Но если бы ее обратить в статую, она была бы статуя граціи и гармоніи. Обл. 244.
Случай съ барономъ былъ уже второй случай. Дост. Ун. 15.
Добро бы настоящій писатель былъ, писалъ бы. Чех. XX, 74.
Добрый былъ баринъ Евграфъ Александровичъ. Шел. Мих. П. 92.

В остальных типах предложений такого рода (в которых подлежащее — лицо, а сказуемое — имя существительное, называющее лицо по его действию, состоянию, отношению к другим лицам), уже можно устанавливать только более или менее прочные тенденции, но не закрепленные правила.

У Карамзина мы уже заметили общую тенденцию ставить в именит. существительное в том случае, если цель высказывания — характеристика лица подлежащего; действие, на которое указывается именем-сказуемым, само по себе роли не играет, для дальнейшего хода повествования значения не имеет. Эту тенденцию, особенно в последней ее части, можно заметить и у писателей 19—20 века. Но при этом опять нужно заметить: у крупнейших писателей это различие проводится очень тонко, более грубо у средних писателей и в языке переводной литературы часто совсем не проводится.

Я пока успѣю сказать, что Сундуковы были Владимирскіе помѣщики. Б-ка 22, 90 с.
Кирилла Петровичъ былъ великій хлѣбосолъ. Пушк. 597.
Зодчій былъ педантъ и хотѣлъ симметріи. Гонч. III, 40.
Словомъ, онъ былъ помѣщикъ, как слѣдуетъ. Гонч. II, 20.
К тому-же онъ былъ явный и не разъ наказанный сплетникъ. Дост. VII, 27.

Онъ былъ мечтатель, книжникъ, мистикъ. Тург. II, 289.
Онъ былъ взяточникъ въ душе, по теоріи. Гонч. 39.
Ананій былъ крупный торговецъ лѣсомъ, имѣлъ огромную лѣсопилку. Горьк. IV, 157.
Мой отецъ былъ крутой чиновникъ, с длиннымъ носомъ и желтой шеей. Чех. VIII, 155.
А Струковъ былъ отличный инженеръ и горячій человѣкъ. Ал. Толст. X, 172.

Творит.: Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ. Пушк. 618.
Я былъ ужаснымъ буяномъ въ арміи. 549. Там же.
Первою супругою его была легкомысленная дѣвица нашей губерніи. Дост. VII, 10.
Надо думать, что онъ былъ большимъ знатокомъ людей.
Въ короткое время своего знакомства съ Ихменевымъ онъ совершенно узналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Дост. Ун. 18.
Никогда не былъ онъ рабомъ. Обл. Гонч. 73.
Тотъ самый, который былъ главнымъ виновникомъ болтовни. Там же 69.
Для пушкарей онъ былъ степеннымъ, серьезнымъ и солиднымъ человѣкомъ. Андр. II, 4.
Зная, какимъ любителемъ былъ Савка послушать, я присѣлъ . . . Чех. IV т. 215.
Какъ будто я былъ отцомъ ребенка. Чех. IX, 87.
Этотъ лѣнивый и добродушный съ виду гигантъ былъ въ сущности очень пронырливымъ и каверзнымъ господиномъ. Купр. II, 15.
Петръ Ивановичъ былъ товарищемъ по училищу правовѣденія. Л. Толст. X, 4.
Этотъ Шампунь былъ когда-то у Камышева гувернеромъ. Чех. II, 113.
Точно онъ былъ рыцаремъ этой дѣвушки. Шел. Мих. II, 63.
Онъ былъ не только профессоромъ, но и отцомъ. Там же 52.
Груня была вполнѣ ребенкомъ, несмотря на свои лѣта. Там же 69.
Можетъ быть, онъ и дѣйствительно былъ отчасти чудакомъ. 48.
Все наши были теоретиками и мечтателями. 44.

(Как видим, у Шел.-Михайлова все характеристики имеют, однако, творит. предикативный).

Особо нужно выделить те случаи, где сказуемым служат слова, обозначающие родство лиц — отец, мать, сын, дочь . . . У Карамзина мы находим только творит. Но из последующих писателей мы находим последовательно творит. только у Чехова да в переводной литературе. Большею-же частью встретим 2-й именительный.

Отцомъ ея былъ Орловъ. Чех. X, 88.
После смерти отца, у которого она была единственной дочерью. IV, 108. Чех.
Мой Торстенъ былъ истиннымъ сыномъ своего отца. (Перев.).

Именит. Купецъ Г. былъ сынъ разбогатевшего торговца. Тург. IV, 126.

При рассмотрении случаев употребления творит. пред. обращает на себя внимание одна тенденция, о которой уже не раз упоминалось. Это тенденция через оборот с *был* и тво-

рит. предикат. передавать действие, относящееся к уже прошедшему сравнительно с временем действию в контексте. Мы видим ее на протяжении почти всей истории литературного русского языка. Причину ее можно предположить в том, что *был* для обозначения преждепрошедшего времени конкретнее, в нем резче его функция отнесения действия к прошедшему времени. Тогда как в *был* обычного типа временный оттенок сведен до минимума. Часто это *был* опускается без нарушения смысла.

Но далеко не у всех писателей видим мы проведение этой тенденции. У некоторых, как напр., у Чехова употребление творит. в предложениях этого типа обусловлено наличием словесного указания на преждепрошедшее время.

Прежде ты былъ хорошимъ мальчикомъ. Чехов. IV, 123.
Михаилъ Аверьяновичъ когда-то былъ очень богатымъ помѣщикомъ. Там же VIII, 140.

Особенно отчетливо выраженную тенденцию в связочных субстантивных предложениях с формой прошедшего *был* в творит. падеже ставить существит., если содержание предложения относится к преждепрошедшему сравнительно с временем действию в контексте, находим у Гоголя. Даже в предложениях с существительными, обозначающими отвлечѐнные представления, можно до известной степени ее заметить.

Именит.: Полицмейстеръ былъ нѣкоторымъ образомъ отецъ и благотворитель в городѣ. III, 147.
Зодчій былъ педантъ и хотѣлъ симметріи. III, 90.
Словомъ онъ былъ помѣщикъ, какъ следуетъ, изрядный помѣщикъ. II, 120.
Ковалевъ былъ Кавказскій Коллежскій ассесоръ. II, 7.
Остальные были все военные того же полка. II, 20.
Если-бы онъ былъ знатокъ человѣческой природы. II, 49
Это было уже не искусство. II, 37.
Этотъ весь день былъ для Ак Ак. точно самый большой торжественный праздникъ. II, 161.
Кучеръ Селифанъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ. III, 16.

Творит.: А вѣдь было время, когда онъ былъ только бережливымъ хозяиномъ. III, 115.
Какъ не знать, однокорытниками были. III, 123.
Былъ прежде просто грамотнымъ мальчишкой въ домѣ. III, 29.
Я былъ тогда еще ребенкомъ. III, 380.
Сначала... онъ... былъ крѣпостнымъ человѣкомъ у какого-то барина. II, 91.

В других случаях творит. очень редок.

Начальникъ отдѣленія... былъ пріятелемъ сочинителю. II, 106.
Онъ самъ не былъ кавалеромъ никакого ордена. II, 27.

Мы уже говорили, что у Карамзина не встречается в предложен. со 2-м именит. слов. управления при сказуемом. При-

близительно такую же последовательность в этом отношении мы находим только у Чехова, у Ал. Толстого. Чаще всего встречаем родит. примененной, реже (главным образом у Гоголя) падежи с предлогами.

И это волшебство было дѣло случая. Б-ка 1822 г. 122.
Дроздовы были тоже помѣщики нашей губерніи. Дост. VIII, 53.

У Гоголя: Полицмейстеръ былъ нѣкоторымъ образомъ, отецъ и благотворитель въ городѣ. Гог. III, 147.

Подводя итог обзору употребления творит. предикат. и 2-го именительного в связочных предложениях с формой прош. времени в литературном языке 19 и 20 век., нужно заметить следующее: дифференциацию по значению между двумя оборотами можно формулировать так: цель высказывания — указание на действие, состояние, отношение между субстанциями или признаками — значение оборота с творит. предикативным. Цель высказывания — характеристика субст. посредством указания на ее признаки — значение оборота с 2-м именительным. Это положение относится одинаково и к субстантивным и к адъективным предложениям. Оно вполне объясняет, почему в адъективных предложениях так редко встречается творительный.

Положение Овс.-Куликовского, Пешковского, что творит. употребляется для выражения признаков случайных, временных вполне соответствует сделанному выводу.

Признаки, рассматриваемые как только характеризующие предмет, мыслятся вне временных отношений.

Признаки же, рассматриваемые, как указывающие на действие, отношение между предметами, являются во времени.

Особо нужно выделить предложения тождества, в которых именительный вообще обязателен, кроме оборотов с существительными отвлеченными. Но и там он употребителен.

Но хотя дифференциация по значению между оборотами и имеется, безусловное проведение ее требует большой тонкости, большого языкового чутья. Поэтому она всегда на лицо в резких определенных случаях и ускользает от чутья многих в более тонких.

О связочных предложениях с формами будущего времени повелит. наклонения, дееприч. (*будучи* и *бывши*) можно прежде всего сказать то же, что и о предложениях с формой прошедшего времени. У Карамзина видим мы с этими формами только

творительный. То же мы видим в языке средних писателей, переводной литературы, научной литературы от Карамзина и до наших дней. Изредка еще встречается 2-й именительный с повелительным наклонением.

Будь кроткая христіанка. Б-ка 1822, 167.
Она будетъ монахиней. Благ. 1819, 327.
Я буду твоей матерью. Библ. 1822, 52.
Мой сынъ будетъ аббатомъ. Б-ка 1822, 82.
Она перечислила человѣкъ 20, будто-бы бывшихъ ея обожателями. Благон. 1821, 19.
Будучи непримиримымъ врагомъ умыванiй. Благ. 1819, 229.
Позвольте мнѣ быть вашей сестрой. Б-ка 1822, 74.
А другомъ Пети онъ все-таки не будетъ. 43. Шел. Мих. II, 44.
Въ первомъ случаѣ мы будемъ лишь обузой. (Пер. ром.).
Будучи совершеннымъ новичкомъ. (Пер. ром. Лонд.).
Ленин, будучи крупнейшим теоретиком марксизма. (Позн. 8). Собр. Публ.

У некоторых же из крупных писателей мы не находим такой последовательности. У Пушкина, правда, творит. гораздо чаще, но встречаем и 2-й именительный, повидимому, случайного характера.

Пускай послужитъ, да будетъ солдатъ. Пушк. 637.
Петръ вышелъ, будучи великiй охотникъ лично присутствовать . . . 535.
Бывъ прiятель покойнику, я почиталъ долгомъ . . . 54.

У Гоголя 2-й именит. от существит. *человек* последовательно.

Хозяинъ, будучи самъ человѣкъ здоровый . . . Гог. III, 92.
Чичиковъ, будучи человѣкъ весьма щекотливый . . . Гог. III, 16.
Ребенка окрестили, при чемъ онъ заплакалъ какъ будто предчувствовалъ, что будетъ титулярный совѣтникъ. II, 86.

У Достоевского 2-й именительный с формой будущего в прямой речи (несколько раз).

Я сказалъ, что буду скоро женатый человѣкъ. Дост. Ун. 74.
Тогда уже я не буду мальчикъ. Там же 49.

У Чехова: Все будетъ вздоръ и кривлянье. Чех. II, 56.
Ты опятъ будешь мужняя жена. VIII, 197.

У Чехова же именит. с формой *будете* в значении связки настоящего времени в разговорной вульгарной речи.

Мальчишка этотъ твой сынъ будетъ? VIII, 194.
Чиновникъ будете? II, 35.

С формой повелит. наклонен. *будь* обычно творит., но в предлож. типа:

Она не будь дура, и ляпни . . . Чех. II, 185.
Будь я подлецъ и анафема, если . . . Чех. XIII, 55.

Но все-таки творит. с формой буд., повелит. накл. и проч. форм преобладает и у этих писателей.

Женщина всегда была и будетъ рабой мужчины. Чех. IV, 187.
Черезъ 10 лѣтъ вы будете другимъ человѣкомъ. VIII, 90.
Будьте хорошимъ, добрымъ другомъ. IV, 198.
Когда она будетъ его женой. Дост. Ун. 177.
Ведь я буду старухой. Ал. Толст. 86, II, X.
Будучи студентомъ, онъ жилъ ... Чех. VIII, 37.

С *быть* встречаем уже исключительно творительный.

Что касается связочно-сказуемых субстантивных предложений, то у Пушкина мы еще встречаем единичные случаи именит.:

На вид он казался мужик лет 50-ти ...

но вообще в литературном языке 19 и 20 столетия вполне укрепился этого рода творит. предикативный. Останавливаться на этих предложениях нет нужды.

Если мы будем исследовать со стороны связочных предложений язык писателей 20 века, хотя-бы наиболее близких к нам, то мы встретим совершенно различные явления. С одной стороны — Ал. Толстой, Чехов, Белый, несмотря на индивидуализацию языка, в этом отношении следующие трафарету, с другой стороны — Сологуб, у которого на протяжении книги можно не встретить ни одного связочного субстантивного предложения, и ряд писателей последних лет.

У того же Сологуба или Неверова мы часто встречаем рассказ, ведущийся от настоящего времени. В таком случае, естественно, большинство связочных предложений с формой прош. времени обращается в предложения без связки. Связка прош. времени остается только в тех случаях, когда она относит действие к времени преждепрошедшему. В таких типах повествования мы в предложениях связочных субстантивных, естественно, найдем только творит. предикативный. Это типы предложений в роде:

Еще когда Клавденька была маленькой. (Нев. в сад. 124).

Вместо же ожидаемых связочных предложений встречаем:

Отец слесарь на заводе угрюмый и мрачный. Юр. Зн. 18.

Но не только в тех случаях, когда повествование ведется в настоящем времени, вместо связочных предложений с формой прошедшего времени, мы находим бессвязочные. Даже при обыкновенном повествовании мы не встречаем описаний, характеристик действующих лиц обычного типа. Вместо них — аппозиция, предложение без связки.

Ал. Максимыч Корягин, торгующий на Митрофанинском базаре, краснощекий, рыхлый человек, вышел из калитки. Ореш. Кор. 3.
Григорий Лукич — великан, крупный землевладелец . . . Он — не барин . . . Нев. Лицо жизни. 23.
Заорал Тарасов, человек очень сильный, высокий. Ореш. 4.
Татьяна Алексеевна — именно то пламя, которого он смутно ждал. Юр. 3. 23.
Боря и дядя Знай — закадычные друзья. Юр. Зн. 36.

Такого рода предложения, конечно, можно было встретить и раньше, но они терялись в общей массе связочных предложений — нормой для характеристики действующих лиц, для указания на их признак, были безусловно связочные предложения. Теперь же у очень многих писателей шаблоном становятся предложения с аппозициями, предложения без связки.

Остается сказать еще несколько слов о творительном предикатив. в бессвязочных предложениях и предложениях с связкой в настоящем времени.

Предложения с связкой в настоящем времени (*они суть причиною*) встречались в литер. языке 18 века, в 19 уже не встречаются. Можно думать, что здесь сказалось влияние киевское. Предложения с творит. предикат. без связки от существит. отвлеченных встречаются в единичных случаях уже в др. русском, частью в 18 веке и в полной силе в 19 и 20 Это предложения типа: *Ты виною моего несчастья.* Здесь творит. является обстоятельственным словом.

В 18 веке изредка встречается творит. в бессвязочных предложениях и от других категорий существит. То же и в настоящее время, особенно в разговорной речи.

Предложение: *мой отец учителем в Сумах* — в полном ходу. Наряду с ними существуют и предложения: *мой отец учитель в Сумах.*

Различие между этими оборотами то же, что и в связ. предложениях с *был.* В первых цель высказывания — указание на за нятиедействующих лиц, во вторых — их характеристика, занятие является только как-бы их характерным признаком.

Подводя итог исследованию развития творительного предикативного в русском языке, можно наметить следующие пункты:

Данные древнейших памятников позволяют установить, что творит. проник прежде всего в те предложения, где существительное обозначало должность, чин, профессию. Это явление не случайного характера, т. к. наблюдается почти без исклю-

чения до конца 17 века. Между прочим, и в современных народных великорусских говорах наблюдается то же по отношению к предложениям с *был*. Причина этого явления, вероятно, та, что эта категория существительных чаще всего употребляется в предложениях с конкретными глаголами, как *служить, работать* и т. д. в качестве дополнения, следовательно аналогия здесь может играть большую роль.

Что касается глагольных форм, которые легче допускают употребление творительного пред., то можно сказать следующее: конечно, чем конкретнее связка, тем легче замена именительного творительным падежом дополнения. Поэтому уже в древнейших памятниках очень част творительный с глаголами — *учинитися, творитися*, и к средине 18 века он почти закрепляется за предложениями связочно-сказуемыми.

Следующими по конкретности идут формы глагола *быть* (инфин., буд. время., причастие). Мы видим, что уже в начале 19 века творительный почти закрепляется за предложениями с этими формами. Наряду с этим мы видим, что не только в языке 19, но и 20 века имеются особые категории предложений с формой прош. времени *был*, где, наоборот, творительный, встречается только в единичных случаях. Причина этого, по всей вероятности, в большей отвлеченности связки прош. вр. При других формах при отсутствии конкретного значения во всяком случае всегда налицо временной оттенок. При прошедшем же времени повествования *был* почти утрачивает свой временной оттенок, служа только связью. Подтверждением этому служит то, что *был* в повествовании может быть без ущерба для смысла выпущено, что мы часто и видим. Более конкретным является *был*, обозначающее преждепрошедшее время. Поэтому в древнейших памятниках и находим творит. почти исключительно при преждепрошедшем времени, как форме; позднее постоянно замечаем тенденцию через творительный выражать преждепрошедший оттенок времени. При наибольшей отвлеченности связки прош. вр. проникновение творительного предикативного в предложениях с формой пр. вр. является наиболее затруднительным. Оно требовало особых облегчающих условий. При употреблении творит. с формой прош. вр. мы видим на протяжении всей истории развития творит. пред. в субстантивных предложениях наибольшую последовательность. До 18 века творит. с *был* только от су-

ществительных, обозначающих должность и т. д.; после, в то время, как с другими глагольными формами творит. охватывает беспорядочно, непоследовательно самые разнообразные существительные, независимо от общего значения предложения, в предложениях с *был* творит. расширяет область своего употребления последовательно, проникая только в те предложения, которые по общему своему значению ближе подходят к предложениям с дополнением. В предложениях же, не удовлетворяющих этому условию, творит. пред. и до сих пор не проник. Аналогичное явление можно заметить и в предложениях адъективных. В них тоже можно заметить тенденцию к последовательному употреблению творительного только в предложениях с формой прошедшего времени. В предложениях же с другими глагольными формами, как от *быть*, так и от более конкретных глаголов, творительный распространяется быстрее, но без всякой последовательности

Овсянико-Куликовский в »Синтаксисе русского языка«[1]) придает особое исключительное значение в истории развития творит. пред. в связочных предложениях глаголам большей конкретности, как *стать, сделаться, казаться* и т. д. Под влиянием употребления с этими глаголами творительный проник в связочные и от них же получил свойственные ему теперь смысловые оттенки случайности, временности. С этим едва-ли можно согласиться. Исходный момент развития творит. пред. в субстантивных предложениях не известен. В древнейших памятниках мы уже имеем творит. со всеми глагольными формами и от глаголов различной степени отвлеченности. Но исходный момент появления творит. в адъективных предложениях мы можем вполне проследить. И мы видим, что творительный появляется в них одновременно и при инфинитиве *быть* и при разных формах более конкретных глаголов приблизительно одинаково часто; с формами же прош. вр. только в единичных случаях. Так что можно предположить, что, если в дальнейшем более частое употребление творительного в связочносказуемых предложениях и оказывало известное влияние, то на исходный момент появления творит. в связочных предложениях решающего влияния оно не имело.

Что касается смысловых оттенков творит. пред. в связочных предложениях, то оттенок временности, случайности

[1]) Овс.-Куликовский, Синт. рус. яз., стр. 166.

не является приобретенным по аналогии с предложениями с *стать, сделаться, казаться*. ,,Оттенок этот необходимо связан с творительным падежом, как падежом дополнения. В нем, как ни побледнел он, должны остаться следы его исконного значения способа действия, т. е. признаков временных, длящихся только в течение того времени, когда совершается действие". (Пешковский, Синт. 254 с.). Именительный же, напротив, как падеж согласуемый, выражает признаки, заложенные в природе предмета, рассматривающиеся как таковые. На основании этого различия и идет дифференциация по значению предложений с творит. пред. и вторым именительным. Выбор зависит от цели высказывания. Если мы желаем указать на какое-то действие, занятие, отношение к кому-либо или чему-либо предмета, то мы рассматриваем эти признаки, как лежащие вне предмета, признаки случайного характера, и именительный здесь употреблен не может быть. Если же важно указание на какой-либо признак не само по себе, а как характеристика предмета, то признак представляется говорящему как свойственный предмету, как заложенный в природе его. Эту функцию лучше исполнит именительный. На основании этого же различения идет там медленно укрепление творительного в адъективных предложениях, т. к. главная функция прилагательного именно выражать признаки, заложеные в природе предмета.

Можно-ли считать законченным процесс развития творит. пред.?

Хотя мы видим, что в общем уже в течение 100 лет картина употребления творит. предикат. в субстантивных связочных предложениях и остается почти без изменения и в известных категориях предложений творит. так и не закрепился, но причина этого не в законченности процесса. Именительный в тех связочных субстантивных предложениях, где он еще употребителен, поддерживается, по всей вероятности, аналогией с адъективными предложениями. И можно думать, что полное закрепление творительного предикативного за субстантивными предложениями зависит от укрепления его в адъективных предложениях. Укрепление же творит. предикативного в адъективных предложениях хотя и очень медленно, но идет вперед.

Харьков. *О. В. Патокова.*

Sekundarna značenja partikule *li* u srpsko-hrvatskom jeziku.

Pregled sadržaja.

§ 1. *Li*. — 2. *ako li* = ,a ako, ako pak'. — 3. *a*) *ako li ne* bez glagola, *b*) *ako li* = ,ako li ne', *c*) *ako* = ,ako li', *d*) *ako li* = ,ako', *e*) *a ako li, ako li pak* itd., *f*) *sad — sad li*. — 4. *li* među relativnim rečenicama. — 5. *li* u pron. pitanjima i među njima. — 6. *(a) kamo li*, — 7. *(a) nekmo li*. — 8. *nego li*.

1. Partikula *li* dolazi u srpsko-hrvatskom jeziku često u pitanju, u hipotezi, u disjunkciji, dakle jednom riječju u hipotetičkom značenju; ali često i u adversativnom, pa i u kopulativnom, koje je, čini se, teško složiti s hipotetičkim. Adversativno pak značenje treba razlikovati dvojako: u jednom *li* znači ono što lat. *sed* ili *verum* (n. pr. *a-li*, advers. *nego li*, Akad. rj. VII. str. 840[a]), u drugom ono što lat. *autem* ili *vero* (n. pr. *ako li*, *nego li* kod komparativa). Značenje ,sed, verum' lako se izvodi direktno iz prvobitnijega aseverativnoga (n. pr. O narandžo, vojko plemenita! tanka *li* si, visoko *li* rasteš! N. pj.[1]) I, 74. Akad. rj. VI. str. 32[b]). Ali adversativno značenje ,autem, vero' pa kopulativno držim da je postalo drukčije (indirektno), i to ponajviše od koncesivno-hipotetičkoga, a kako li, pokušat ću u ovoj raspravi da pokažem. Ogledati valja svaki slučaj napose.

2. Za *ako li* ,si autem' navodi mnoštvo primjera Akad. rječnik I. str. 52[b]—54[b]. Ja ću ovdje navesti samo dva, da bi se vidjelo, o čemu se radi. Ako voliš carstvu zemaljskome, . . . sva će Turska izginuti vojska; *ako l'* voliš carstvu nebeskome, . . . sva će tvoja izginuti vojska. N. pj. II, 296 *(ako — ako li)*. — Dobavi mi vranca Komnenova . . .; *ako l'* mi ga dobaviti ne ćeš, neka znadeš, osjeć' ću ti glavu. N. pj. II, 455. (u prvoj rečenici ne dolazi *ako*, ali u drugoj ima opet *ako li*). U prvom primjeru, uzevši ga kao tipičan, držim da najprije nije bilo *ako* ni u jednoj rečenici, nego je prva bila hipotetička bez hipotetičke konjunkcije, a u drugoj je također hipotetičkoj kao hipotetička konjunkcija bilo samo *li*: voliš carstvu zemaljskome . . ., voliš *li* carstvu nebeskome . . . *Li* je dakle značilo ,ako'; ali poradi

[1]) *N. pj.*, *N. prip.* znači Vukovo bečko izdanje Srpskih narodnih pjesama i pripovijedaka. Drugo se citiranje slaže s onim u Akademičkom rječniku (Akad. rj.), odakle su citati najviše i uzimani.

suprotnosti s pređašnjom rečenicom dobilo je pored toga još i adversativno značenje ‚a, pak', tako da je značilo ‚a ako' ili ‚ako pak'; isp. primjere s *a ako* u Akad. rj. I. str. 52ᵇ pod 7. a. i one s *ako pak* ib. str. 53ᵇ pod c. Onda je u jednu i u drugu rečenicu došla hipotetička konjunkcija *ako*, a tim je prva dobila svoju hipotetičku konjunkciju, a od dva značenja, što ih je *li* u drugoj imalo, od hipotetičkoga i adversativnoga, zamijenilo je *ako* samo prvo, a u drugom je *li* ostalo. Tako je čitava perioda dobila onaj oblik, u kojem se u narodnoj pjesmi nalazi, a *li* u *ako li* adversativno značenje. Tako je postao i tip, gdje prva rečenica nije hipotetička, čemu je primjer naveden iz N. pj. II, 455., jer i onda može druga (hipotetička) biti suprotna prvoj, te je prvobitno *li* (‚ako') u drugoj rečenici dobilo značenje ‚ako pak', kojega se prvi dio (‚ako') poslije zamijenio konjunkcijom *ako*, a drugi (‚pak') zadržalo je *li*.

Izričaj *ašte li* dolazi s istim značenjem već u staroslovenskom jeziku; n. pr. Ašte ubo bǫdetъ oko tvoe prosto, vse tělo tvoe bǫdetъ světъlo; *ašte li* oko tvoe lǫkavo bǫdětъ, vse tělo tvoe tьmъno bǫdetъ. Zogr. Mat. 22. (isp. Maretićeve Veznike u Radu Jugosl. akad. 89. § 123). Analognim sam načinom u časopisu Philologische Wochenschrift 1928, str. 638—9. protumačio i lat. *sin* ‚ako pak' (n. pr. Si domi sum, foris est animus; *sin* foris sum, animus domist. Plaut. Merc. 589.), naime tako, da je k starijoj hipotetičkoj konjunkciji *ne*, koja kao takova još dolazi u pitanju (n. pr. scis-*ne*?), pristupila mlađa *si*, pa starija od svoga značenja ‚ako pak' zadržala samo drugi dio ‚pak', te i *si-n(e)* znači ‚ako pak' *(ako li)*.

3. Treba spomenuti još neke izričaje, koji su u svezi s *ako li*:

a) Tako dolazi *ako li ne* i bez glagola; n. pr. Iskorenite iz srca nenavidost a usadite ljubav; *akoli ne* (= ‚inače'), pripravte se obrat pokaranje. J. Banovac Pripov. 236; isp. Akad. rj. I. str. 53ᵃᵇ.

b) U dva spomenika 15. v. imadu tri primjera, u kojima *ako li* stoji mjesto *ako li ne*; tako: Za to dajte mi tej 6 satь perьperь; *ako li*, ja ću vse pitatь. Spom. sr. 1, 71. (1405.). Akad. rj. VI, str. 36, 5, a. Istu pojavu nalazimo u jeziku staroslovenskom (*ašte li* = ‚ašte li ne') pa u malo- i velikoruskom, gdje *a to* (*a* = ‚ako') može značiti ‚ako li ne'; n. pr. stsl. Podobajetь nogu jemu otьsěšči, *ašče li* to izgnijetъ vьse tělo jego. Men.-Leop. — malor. Daj jisty, *a to* vmru. Južnor.-skaz. 1, 5. (Miklošić Sint. str. 182, k.) Konstrukcija je, čini se, postala tako, da je *ašte li (ako li, a)* po tom, što uza nj nije izrečen glagol — a nije izrečen, jer bi bio isti kao u pređašnjoj negativnoj rečenici, samo bi bio pozitivan — dobilo značenje ‚inače', pa se u tom

značenju stalo upotrebljavati i onda, ako se uza nj ima razumijevati isti glagol u negativnom obliku, ako bi se dakle imalo reći *ašte li ne (ako li ne, a ne)*, jer značenje ‚inače' pristaje jednako i u tom slučaju (isp. *a.*); n. pr. Ne vьlivajutь vina nova vь měhy vetьhy, *ašte li že* (t. j. vьlivajutь) (= ‚inače')prosědutь se měsi. Mat. 9, 17. Nikol. (Miklošić Denkschriften 18. str. 349.). Tako bi u navedenom primjeru iz Men.-Leop. trebalo da stoji *ašče li ne* otьsěčetъ sja, a kako bi to značilo ‚inače' (inače izgnijetъ vьse tělo jego), a to može značiti i *ašče li*, uzelo se ovo u tom značenju. Adverbijalno dakle značenje ‚inače' spaja konstrukcije *ašte li* i *ašte li ne* te čini, da prva može zamijeniti drugu. Pretpostavlja se dakako, da se *ašte li* prije osjetilo u značenju ‚inače' nego *ašte li ne* t. j. da se prije stao izostavljati glagol uz *ašte li* (iza negativne rečenice) nego uz *ašte li ne* (iza pozitivne rečenice), što mislim da nije teško dopustiti. Tako se ima razumijevati i *a to* u malo- i velikoruskom jeziku u značenju ‚ako li ne, to' pa *ako li* u spomenutim srpsko-hrvatskim primjerima. Onaj, što je naveden, ima dakle smisao: ‚zato dajte mi tih 6 stotina perpera, inače (= ako li ne) ja ću sve pitati.' Lako da je konstrukcija u srpsko-hrvatskim primjerima načinjena po uzoru staroslovenske, jer osim ona tri primjera više ne dolazi. Isp. Miklošića Sint. str. 182, k. pa Vondráka Slav. Gramm. 2. str. 515. i d.

Analogan slučaj, koji je jamačno analognim načinom i postao, nalazimo i u grčkom i u latinskom jeziku, gdje se *εἰ δέ* upotrebljava u značenju *εἰ δὲ μή*, što je možda i na našu konstrukciju u staroslovenskom jeziku utjecalo, i *sin* u značenju ‚sin non'; n. pr. *φήμ' ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ' ἐπιστήμης πλέων· εἰ δ' οὖν (φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν), καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανθάνειν.* Sof. Ant. 720—3. ‚velim ja, da je najbolje kud i kamo biti čovjek u svemu znanja pun; ako li (= ako li ne t. j. ako li nije što = inače) (jer se rado to ne dešava tako), (velim) da je i od onih, koji dobro govore, lijepo učiti se'. U grčkom dolazi i *εἰ δὲ μή* (= ‚ako li ne') mjesto *εἰ δέ* (= ‚ako li'), jer jedno i drugo znači ‚inače'; n. pr. *μὴ ποιήσῃς ταῦτα· εἰ δὲ μή, αἰτίαν ἕξεις.* Ksen. An. 7, 1, 8. ‚ne učini to, ako li ne (mjesto ‚ako li' t. j. učiniš = ‚inače'), bit ćeš kriv.' — Latinski primjer: Si vir esse volet, praeclara *συνοδία*; *sin autem*, erimus qui solemus. Cic. Att. 10, 7, 2. ‚ako će htjeti čovjek biti, prekrasan (će biti) sastanak, ako li pak (= ako li pak ne t. j. će čovjek biti = inače), bit ćemo mi, kakvi smo obično'. Isp. Kühnera-Gertha Griech. Gramm. 2. str. 486., Kühnera-Stegmanna Lat. Gramm. 2. str. 418—9.

c) U istom značenju kao *ako li* (,ako pak') može dolaziti i samo *ako*; n. pr. *Ako* si mi snoplje povezao, tvoje ovce po strnjiki pasu; ako si mi vodice doneo, i ti si se lađane napio; ako si mi ladak načinio, i ti si se pod njim odmorio. N. pj. I. 172. (isp. i str. 352. i 404.). Adversativnost druge i treće rečenice prema prvoj i drugoj nije izrečena osobitom riječju, nego samo *ako* znači ,ako li'.

d) Kad mjesto *ako li* može dolaziti samo *ako*, nije nikakvo čudo, što i mjesto *ako* dolazi *ako li* t. j. što *ako li* znači prosto ,ako'. To se nalazi u nekih pisaca 17. i 18. v.; n. pr. Obeća, *ako li* od one nemoći ustane, da će život prominiti. A. Kanižlić Fran. 67. Akad. rj. I. str. 53[b].

e) Kad se *ako li* shvatilo u značenju ,ako', stala mu se, da bi se suprotnost ove rečenice prema pređašnjoj istakla, od 18. v. dodavati adversativna partikula, te su postali izričaji *a ako li*, *ako li pak*, *ali ako li*, *da ako li*, *nu ako li*, kojima se navode primjeri u Akad. rj. I. str. 53[b], d. i 54[a], e.; n. pr. Ponesi ovo tvojoj šćeri i reci joj neka mi iz tijeh jaja izleže piplad, pak ću je dobro darovati, *ako li pak* ne izleže, hoću te staviti na muke. N. prip. 105. — Što bijaše, ispustismo; što još nije, ne dobismo. Hoćemo li? sam bog znade, koji dilit to imade. *Al' ako li* što i dade, za čas valja da ispade. V. Došen 45.

f) Ovdje ću spomenuti i primjere, kakav je ovaj, pored kojega se u Akad. rj. VI. str. 37, 7, a. navodi samo još jedan (iz J. Gundulića 74): A ne *sad* jedno *sad li* drugo. B. Kašić Rit. XVII., gdje je smisao: ,a ne: (ako) sad, jedno; ako sad, drugo' (*li* = ,ako' ili bolje ,ako pak'); ali je hipotetički karakter jednoga i drugoga člana već tim istaknut, što je *sad* udvojeno, pa je *li* za tu službu postalo izlišno, te mu je ostalo samo značenje ,pak' (,sad jedno, sad pak drugo'); dakle *sad li* znači ,ako li sad' t. j. ,ako pak sad'.

4. *Li* može sastavljati relativnu rečenicu s drugom rečenicom, koja je pred njom, a može, ali ne mora biti relativna. Razlikovati se mogu tri slučaja: *a*) prva rečenica nije relativna; n. pr. Bivši put općeni, niko mi braniti ne može da njime ne budem hoditi . . . *komu li* moji hodi mučni su meu vami, neka uzme ter udri glavome o kami. D. Ranjina 102[b].; — *b*) prva je i druga rečenica relativna, a svaka ima svoju apodozu; n. pr. *Ko* bi mene snoplje povezao, dala bi mu moje belo lice; *ko li* bi mi vodice doneo, dala bi mu moje čarne oči; a ko bi mi ladak načinio, ja bi njemu verna ljuba bila. N. pj. I, 172.; — *c*) prva je i druga rečenica relativna, ali obadvije imaju jednu apodozu; n. pr. *Ko* to ne da, *ko l'* to smeta, Bog

nam ga smeo! N. pj. I, 426. Akad. rj. VI. str. 36[b], f. U primjerima pod *a.* i pod *b.* *li* znači ,a, pak', u onima pod *c.* *li* = ,i'. U prva dva slučaja *li* je uz relativni pronomen došlo po analogiji rečenica s *ako li.* Treba naime uzeti na um, da hipotetički relativ, a takav je u ovim primjerima, obuhvaća bez broja hipotetičkih pojmova iste vrste (ili disjunkciju njihovu), a rečenica s njim isto toliko hipotetičkih rečenica s tima pojmovima, te se relativ može shvatiti kao sinteza ili generalizacija tih pojmova, a relativna rečenica kao sinteza hipotetičkih rečenica s tima pojmovima; n. pr. *tko* = ako *a*, ako *b*, ako *c* . . . (isp. Rad Jugosl. akad. 138. str. 84. i. d., 184. str. 152. i d.). Po tom je relativna rečenica, u kojoj uz relativ dolazi *li*, sinteza hipotetičkih rečenica s *ako li,* pa stoga *li* i prianja uz relativ s istim (adversativnim) značenjem, koje ima i uz *ako.* Tako u primjeru iz D. Ranjine 102[b]. navedenom pod *a.* dobivamo: ako li (= pak) licu *a*, ako li (= pak) licu *b*, ako li (= pak) licu *c*... moji hodi mučni su = komu li (= pak) moji hodi mučni su—. U primjeru navedenom pod *b.* može se relativna perioda shvatiti kao sinteza hipotetičkih perioda s *ako* — *ako li*: ako bi *a*, ako bi *b*, ako bi *c* . . . meni snoplje povezao —; ako li bi mi (= ako bi mi pak) *α*, ako li bi mi (= ako bi mi pak) *β*, ako li bi mi (= ako bi mi pak) *γ* . . . vodice donio = ko bi meni snoplje povezao —; ko li bi mi (= ko bi mi pak) vodice donio — (u trećoj relativnoj rečenici toga primjera mjesto *li* i dolazi adversativno *a*).

Ovamo, i to pod slučaj *a.*, idu i neke osobite relativne rečenice, naime one sa *kad li* i sa *gdje li*; n. p. A vode ga pod šator veziru, *kad li* dođe momak pred vezira, triput mu se svezan poklonio. N. pj. II, 607. Akad. rj. VI. str. 36, 5, c. Drugo je *kad li* u primjerima, kakav je ovaj: Bježeći obazru se, *kad li* njezina mater za njima trči. N. prip. 94. Akad. rj. IV. str. 724[a]; *kad li* = lat. *cum* inversum; *li* = *ali* lat. ,sed, verum' postalo je adversativno direktno od asseverativnoga; isp. § 1. — Promin', starče, tvoju volju, . . . *di li* ne ćeš, na velici pogibal' si s učenici P. Hektorović (?) 89. [di (= gdje) li ne ćeš = a ako (ili: ako pak) ne ćeš].

Drukčiji su primjeri, kakav je onaj pod *c.* U tom primjeru držim da relativne rečenice čine hipotetičku disjunkciju (isp. Rad Jug. akad. 184. str. 101. i d.); *li* je dakle disjunktivna partikula = *ili* [(= ili onoga) ko to ne da, ili (onoga) ko to smeta, Bog nam ga smeo!] Hipotetička pak disjunkcija može biti ili individualna (alternativna), ako radnja glagolska vrijedi samo za jedan (makar koji) član disjunkcije, ili universalna, ako vrijedi za svaki. U našem je primjeru

disjunkcija universalna, jer radnja glagolska vrijedi za obadva člana disjunkcije (misli se: svakoga od njih Bog smeo!). Stoga i disjunktivna partikula *li* dobiva značenje kopulativne partikule (= *i*) (kao što bi ga u takovoj prilici dobilo i disjunktivno *ili, ali*); tako izlazi smisao: ‚(i onoga), ko to ne da, i (onoga), ko to smeta, Bog nam smeo!'

5. *Li* dolazi kao upitna partikula u konjunkcionalnim pitanjima; n. pr. Znaš *li*? A u njih je došla kao hipotetička, jer su takova pitanja upravo hipotetičke rečenice (isp. Rad Jugosl. akad. 172. str. 110. i d.). Ali često dolazi *li* i u pronominalnim (direktnim i indirektnim) pitanjima; n. pr. Ah moj Bože blagi! *Gdi l'* je sad moj dragi! N. pj. I, 268. (Akad. rj. VI. str. 32ª. d.) A to dolazi otuda, što je i pronominalna upitna rečenica sinteza od više konjunkcionalnih ili od jedne disjunktivne (isp. Rad Jug. ak. 184. str. 151. i d.) (tko = ako *a*, ako *b*, ako *c* . . . ili ako se mjesto *ako* uzme kao hipotetička i upitna partikula *li*: tko? = *a* li, *b* li, *c* li . . .?), pa je ***li*** iz dionih konjunkcionalnih pitanja došlo i u njihovu sintezu (*a* li, *b* li, *c* li . . .? = tko li?).

Ali to nas *li* ovdje ne zanima toliko, koliko ono, koje sastavlja dva pronominalna pitanja ili više njih: n. pr. *Đe* si bio, *đe li* poginuo? N. pj. III, 320. — *Kud* ću sade, *na koju li stranu*? N. pj. II, 496. — Daj mi, Bože, vjetar od planine, da raždene ovu maglu kletu, da pogledam i gore i dolje, *ko* pogibe, *ko l'* ostade danas. N. pj. II, 562. (indir. pit.) Ak. rj. VI. str. 34ª. i d. Takova pitanja čine (kao i analogne relativne rečenice, o kojima se govorilo u § 4. pod c.) hipotetičku disjunkciju, koja pripada, ako je pitanje indirektno, glavnoj rečenici, ako li je direktno, neizrečenomu: »kaži(te)!« Tako je smisao prvomu navedenomu primjeru: ‚(kaži) (ili) gdje si bio ili gdje si poginuo' = (kaži) (ili), ako si bio na mjestu *a*, *b*, *c* . . ., da si bio na mjestu *a*, *b*, *c* . . .; ili, ako si poginuo na mjestu *α*, *β*, *γ* . . ., da si poginuo na mjestu *α*, *β*, *γ* . . .; tako da u disjunkciji stoje upravo neizrečene unutrašnje apodoze (deklarativne rečenice) izrečenih protaza; ali je prvi clan disjunkcije bez disjunktivne partikule, a u drugom je kao takova mjesto *ili* samo *li*. Već je u pređašnjem paragrafu rečeno, da hipotetička disjunkcija može biti ili individualna ili universalna. Za individualnu evo primjer, koji se od naših razlikuje i tim, što mjesto *li* u njemu dolazi *ja(li)*, i to u obadva člana: Prvi ću ti megdan ostaviti u Kladuši a pred tvojom kulom, nek ti vidi ostarjela majka, ***ja kako*** ćeš, Ture, poginuti, ***jal' kako*** ćeš mene pogubiti. N. pj. III, 107—8. (v. Rad Jug. ak. 184. str. 208. i d.) Ovdje glavna rečenica: nek ti vidi ostarjela majka — vrijedi samo za jedan

član; majka može vidjeti samo jedno od ono dvoje, što je u disjunkciji; dakle je disjunkcija individualna. A u primjeru iz N. pj. III, 320. neizrečena glavna rečenica: »kaži!« vrijedi za svaki član; dakle je disjunkcija universalna; misli se: (kaži) (i) gdje si bio i gdje si poginuo. Tako *li* dobiva značenje kopulativne partikule (= *i*). Ako su pitanja suprotna, može *li* dobiti i adversativno značenje. Takav je navedeni primjer iz N. pj. II, 562. (kojemu je smisao: ‚da pogledam i gore i dolje, ko pogibe, a ko ostade danas'). Kadšto se pred drugo pitanje sa *li* i meće *i*; n. pr. Da vidite, pak da se divite, kakovi su *i* koliki *li* su. N. pj. II, 212. (kopulacija je izrečena dvaput, i partikulom *li* i partikulom *i*, a konstrukcija se može tumačiti kontaminacijom od »kakovi su, koliki *li* su« i »kakovi su *i* koliki su«). Može *li* kao disjunktivna partikula dolaziti i u obadva pitanja; n. pr. Česte knjige idu za knjigama, *od koga li, kome li* dolaze? N. pj. II, 502. (Akad. rj. VI. str. 35^b—36^a.) Onda obadva *li* dobivaju kopulativno značenje ili valja pitanja shvatiti kao samostalna, u kojima dolazi *li* onako, kako je u početku ovoga paragrafa rečeno; isp. Rad. Jugosl. akad. 184. str. 208. i d.

6. Ovamo idu i fraze *(a) kamo li* i *(a) nekmo li* lat. ‚nedum', o kojima sam već govorio v Radu Jugosl. ak. 184 str. 221 i d., ali mi ovdje valja to dopuniti, a štogod i ispraviti. Što se prve od rečenih fraza tiče, valja polaziti otuda, da se pitanjem s *kamo* može konstatirati, da nečega nema; n. pr. Kurvo kučko, Senjski kapetane! *kamo* ti mač i megdan junački, veće biješ ognjem iznenada? N. pj. III, 423. Akad. rj. IV. str. 810^b; Rad Jug. ak. 184. str. 170. Takav smisao može imati i pitanje sa *gdje* ili *kako*; isp. Akad. rj. III str. 120^b—121^a, IV. str. 745^{ab}. Sva su takova pitanja admirativna. Uzmimo sada primjer s *kamo li*: Ni brat brata poznat ne mogaše, *kamo li* će Turčin kaurina! N. pj. III, 244. Druga je rečenica onakovo pitanje, kojim se konstatira, da nečega nema. Smisao joj je kao pozitivnomu admirativnomu pitanju negativan: ne će Turčin kaurina.

Ali *kamo li* ne pripada upravo glagolu druge rečenice, nego stoji izvan te rečenice, pa onda stoji negacija, koju *kamo li* znači, također izvan te rečenice te je negira čitavu. To se vidi otuda, što kadšto uz *kamo li* ima *da*, koje valja shvatiti kao konjunkciju eksplikativne rečenice zavisne o neizrečenom *to*, koje ona tumači kazujući mu sadržaj; n. pr. Još mejdana ni vidio nisi, *a kamo li da* si izlazio. N. pj. III, 395. (Akad. rj. IV. str. 810^b i d.) = a kamo li (stoji) to, da si izlazio? = a ne stoji to, da si izlazio. A takav

bi smisao ova rečenica imala, da i nije u njoj *da*, a i ima ga svaka s ***kamo li***, ako u njoj i nije *da*; svagda se njom kazuje sadržaj neizrečenomu *to*, a pitanjem se negira uprava *to*. Takovo shvaćanje potvrđuje i analogija s ***nekmo ti*** (isp. § 7.) pa oblik pitanja s ***to li***, koje znači isto kao i ono s ***kamo li*** (v. malo dalje). ***Li*** je uz upitno ***kamo***, koje dolazi i bez *li* (Akad. rj. IV. str. 810ᵇ), došlo onako, kako je u prvom dijelu § 5. razloženo, ali je poradi suprotnosti upitne rečenice prema pređašnjoj dobilo adversativno značenje (‚a, pak'). U prvoj se rečenici poriče lakši, u drugoj teži slučaj, i to tako, da se poricanjem lakšega motivira poricanje težega (kad ne stoji prvo, što je lakše, još manje stoji drugo, što je teže). Otuda dolazi v drugu rečenicu smisao, koji se izriče latinskim ***nedum***, a njemačkim *geschweige* (*denn*): ‚ni brat brata poznati ne mogaše, još će manje Turčin kaurina' (= ne će poznati Turčin kaurina, jer brat brata poznati ne mogaše). Pored ***kamo*** i ***kamo li*** dolazi i ***a kamo***, ***a kamo li*** pa i ***da kamo li***. *A* u ***a kamo*** čini istu službu kao *li* u ***kamo li***, a ***a kamo li***, koje je najobičnije, postalo je kontaminacijom od ***a kamo*** i ***kamo li***. Analogno valja tumačiti i ***da kamo li***. Akad. rj. IV. str. 810ᵇ—811ᵇ.

Ali često prva rečenica nije negativna, nego pozitivna, pa da bi perioda dobila onakav smisao, kakav joj se hoće da poda, mora druga rečenica biti po smislu također pozitivna, jer kao što negativna prva rečenica traži po smislu negativnu drugu (admirativno pitanje s ***kamo li*** ili upravo: eksplikativna rečenica uz pitanje s ***kamo li*** mora biti oblikom pozitivna), tako traži pozitivna prva rečenica po smislu pozitivnu drugu (admirativno pitanje s ***kamo li*** mora biti oblikom negativno); n. pr. Mog'o b' platit sve Kosovo ravno, ***kamo l'*** ne bi za se svadbarinu? N. pj. II, 420. Sad je prvi slučaj teži, a drugi lakši; tvrdujom prvoga motivira se pitanjem izrečena tvrdnja drugoga (mog'o b' platit sve Kosovo ravno (pa) ne stoji to (= kamo li stoji to?), da ne bih za se svadbarinu = mogao bih platiti za se svadbarinu; smisao je: kad bih mogao prvo, koje je teže, još bih više mogao drugo, koje je lakše: mogao bih platiti sve Kosovo ravno, a još bih više mogao za se svadbarinu = mogao bih platiti za se svadbarinu, jer bih mogao platiti sve Kosovo ravno. Ali više puta v ovom slučaju druga rečenica nije oblikom negativno, nego pozitivno pitanje; n. pr. U zvjerki bi srce prepuknulo, ***a kamo li*** u živu junaku! N. pj. IV, 187. Smisao je isti, kao da stoji: a kamo li ne bi v živu junaku t. j. još bi više u živu junaku. Negacija čini se da je izostavljena zato,

što se pozitivnomu smislu rečenice shvatila kao smetnja, jer je rečenica izgubila značaj admirativnoga pitanja, te se sámo *kamo li* shvatilo kao izričaj gradacije kako od lakšega na teže (= još manje) tako i od težega na lakše (= još više). Isp. Rad Jugosl. akad. 184. str. 224. i d.

Isto značenje kao *kamo li* ima i *to li*, koje također uvodi admirativno pitanje; n. pr. Kad izdade ovakog junaka, koga danas u svijetu nema, *to li* mene sjutra izdat ne će! N. pj. II, 114. Više primjera navodi Akad. rj. I. str. 18^{b}. *To li* može dolaziti i u prostom admirativnom pitanju, koje nema onakoga značenja kao u navedenom primjeru; n. pr. Kučko zla, *to li* t' sam draži star neg li mlad? M. Držić 51. (= jesam li ti draži star neg li mlad, upravo: stoji li to, da sam ti draži star neg li mlad? a misli se, da to ne stoji). (Maretić, Veznici, Rad Jug. ak. 89, § 126.) Pitanje je označeno upitnom partikulom *li*, koja je u primjerima, kakav je onaj iz N. pj. II, 114., po vremenu postala adversativna (kao u *kamo li*). Da se pitanje tiče čitave rečenice, koja iza toga dolazi, dokazuje *to*, kojemu ona kazuje sadržaj, te bi mogla imati oblik eksplikativne rečenice sa *da* (kao i ona uz *kamo li*, isp. naprijed pa slov. *toda* ‚sed'). Smisao je pitanju kao negativnomu admirativnomu pozitivan. Po tom se značenje primjeru iz N. pj. II, 114. može prikazati ovako: Kad izdade ovakog junaka, stoji li to, da mene sjutra izdati ne će? Odgovor: ne stoji; hoće! Savez jedne i druge rečenice (gradacija od težega na lakše) uzrok je (kao i kod *kamo li* isti savez) smislu: još će više mene sjutra izdati. Primjer odgovara onomu sa *kamo li* iz N. pj. II, 420.; isp. i Rad Jugosl. akad. 231. str. 31.

7. Takovo značenje kao *(a) kamo li* ima i *(a) nekmo li*. Mjesto toga danas najobičnijega oblika dolaze u starom jeziku, a donekle još i danas i ovi oblici; *a ne, (a) neg(o)(li), a ner, a neka(li)*. Evo odmah par primjera: Ne može je (turske vojske) snijeti planina, *a ne* tvoja četa dočekati. Ogledalo srbsko str. 113. — Ne mogoh mu ni vidjeti vrata, *neg' li* uzet tvrda Kostur-grada. Bogišić N. pj. str. 235. — Već brat brata poznat ne mogaše, *a neka li* Turčin kaurina. N. pj. V, 102. — Ja ga ne bih ni za slugu mlada, *a nekmo li* za mog gospodara. Vuk Rj. s. v. Isp. Akad. rj. VII. str. 836^{a}, 1. (*nego*); 874^{b}, 3. (*neka*); 881^{b} *(nekmo)*; Zimine Sint. razlike str. 138—9. *Ne* u svima rečenim oblicima držim za negaciju, kao što sam već v Radu Jugosl. ak. 184. str. 222. istaknuo, a osobite oblike s navescima *-r, -g(o), -ka* dobila je negacija po tom, što nije obična, nego osobita negacija, jer ne negira glagol,

nego čiiavu već gotovu rečenicu, te po tom dobiva značenje ,ne stoji'. A *li*, koje negaciju obično prati, držim za čisto aseverativno, koje ne rečenicu, nego samu negaciju potvrđuje i ističe (isp. za aseverativno *li* § 1. Akad. rj. VI. str. 32[b]), tako da *ne-li* (tim hoću da označim tip izričajâ, o kojima govorim) znači: ,doista, nipošto ne stoji', upravo ,ne stoji li!' Ali *li* je po vremenu izgubilo svoje pravo značenje pa postalo adversativno naznačujući (kao ono u *kamo li*) suprotnost svoje rečenice prema pređašnjoj. Tako u primjeru: Niti vidi dana bijeloga, *nekmo li* će lica junačkoga. Petranović Srp. nar. pj. II, 118. — *nekmo li* znači prvobitno: ,nipošto ne stoji to, da će vidjeti lica junačkoga', a onda ,a ne stoji to, da će vidjeti lica junačkoga'. *A*, koje se također vrlo često pred negacijom kao i pred *kamo* nahodi, označivalo je kao i pred *kamo* suprotnost ove rečenice prema pređašnjoj, dok još nije *li* činilo istu službu, ali je kao i kod *kamo* vrlo često ostalo i pored *li*, što se kod jednoga i drugog izričaja može tumačiti kontaminacijom: *a ne* i *ne-li* = *a ne li* kao i *a kamo* i *kamo li* = *a kamo li* (isp. § 6.). Objekat negacije (t. j. ono, što se negira) obično nije ničim označen kao takav, ali mu se svagdje može podati oblik eksplikativne rečenice sa *da* zavisne o *ne (stoji to)* kao što je netom pokazano kod primjera iz Petranoviću N. pj. II, 118. Po tom se može reći, da *ne-li* znači ,ne stoji to, da' —. Kadšto se *da* doista dodaje; na pr. Ne mogu ni hodit, *a neg da* se igraju. M. Držič 191. (upravo: a neg da se mogu igrati). Više primjera na gore pomenutim mjestima Akad. rj. i Ziminih Sint. razlika. Značenje lat. ,nedum' dobili su naši izričaji onako kao i *kamo li*: poricanjem lakšega slučaja motivira se poricanje težega; samo je razlika u tom, da se kod *kamo li* teži slučaj poriče indirektno (pozitivnim admirativnim pitanjem), a ovdje direktno (naglašenom negacijom); tako u malo prije navedenom primjeru iz Petranovića Nar. pj. II, 118. *nekmo li* će lica junačkoga — ima smisao: još će manje lica junačkoga.

Analogija s *kamo li* ima i u tom, da se često, gdje bi se v drugoj rečenici imao poricati negativan slučaj, njegova negacija izostavlja; pa i uzrok je isti. Uzmimo primjer: Imam blaga, koliko mi drago, gradio bi deset manastira, *a nekmo li* sebe oženio. N. pj. III, 174. Smisao je: gradio bih deset manastira, a još bih više (ili: prije) sebe oženio. Ovdje se dakle tvrdnjom težega slučaja motivira tvrdnja lakšega. A za taj je smisao potrebno, da druga rečenica ne bude negirana ili da uz negaciju, koja je u *nekmo*, bude druga, koja bi negirala sam glagol, po čemu bi smisao izišao pozitivan;

isp. Bogu bi se ražalilo, *a nekmoli* ne bi tebe, moj Lazare! Vuk Živ. i ob. str. 182 pa: Mog'o b' platit sve Kosovo ravno, *kamo l'* ne bi za se svadbarinu? N. pj. II, 420. Po tom bi primjer iz N. pj. III, 174. imao upravo glasiti: Gradio bi deset manastira, *a nekmo li* ne bi sebe oženio. Ali je glagolska negacija izostavljena, jer se izričaju *a nekmo li* pravo značenje zatrlo, pa se shvaća samo kao izričaj gradacije i od lakšega na teže (= još manje) i od težega na lakše (= još više). Isp. i Rad Jugosl. akad. 184. str. 222 i d.

Drukčije tumači izričaje s *ne* Maretić u Akad. rječniku; *neka* u *a neka(li)* drži za isto *neka* (u značenju ‚pusti t. j. ne spominji, ne govori!'), koje se upotrebljava (u značenju ‚pusti!') za tvorbu imperativa (n. pr. *neka* dođe!), a tu drži da je postalo od *nehaj; nego* u *(a) neg(o)(li)* znači mu upravo ‚kako?'; a *nekmo li* misli da je postalo od *ne kamo li,* koje stoji mjesto *kamo li ne*, a potvrđuje se primjerima iz D. Obradovića. Ali se teško pomišlja, da bi *ne* u izričajima istoga značenja bilo različna izvora, osobito kad se u svima kao negacija lako razumije. K tomu se oblik *ne kamo li* javlja samo u jednoga pisca, te mi se čini vjerojatnije, da ga je pisac sam umovanjem stvorio. Moglo bi jedino to biti, da je *-mo* u *nekmo li* k *neka* došlo od *kamo li.*

I u drugim jezicima slavenskima dolaze u istom značenju izričaji, u kojima je negacija; n. pr. slov. Še videl ga nisem, *ne pa da* sem (bi bil) ž njim govoril. Pleteršnik Slovar s. v. *da.* — *Ne da* bi ga pozdravil, še pogledal ga ni. ib. s. v. *ne.* Saj se je župnik zmotil, *nikar* se ne bi jaz. ib. s. v. *nikar.* — — rus. Ne podъ silu namъ stojatь, *nelь* sъ gorodomъ voevatь. Dalь Slov. — Takuju službu (naložilъ), čto trudno i vydumatь, a *ne to čto* ispolnitь. Afanasьevъ Skazki 2. str. 291. — — češ. Ani jsem ho neviděl, *nerci-li* abych s ním mluvil. Rank Slovník jaz. čes. i něm. s. v.; kaže se i *neřku* (1. s. prez.), *neřka* (ptc.); isp. njem. *geschweige* (*denn*) — — slovač. Kďé ani ftáčka ani letáčka vidno nie bolo, *nie to* dakeho človiečika. Rimanskí Povesti str. 23. Isp. Maretićeve Veznike u Radu Jugosl. ak. 89. § 100.

Ruskomu i slovačkomu *ne to* odgovara srpskohrvatsko *ne to li* u istom značenju; n. pr. Ja Timane ni vidio nisam, ni u njojzi Kostreš harambaše, *ne to l'* ću ga ufatiti živa! Jukić Nar. pj. 537. U § 6. našli smo *to li* u admirativnom pitanju = *kamo li*?, a ovdje ga nalazimo u negativnoj tvrdnji = *nekmo li.* U jednom i u drugom slučaju *to* upućuje na čitavu rečenicu, koja se tamo admirativnim pitanjem, a ovdje negacijom *ne* negira, a može se

izreći kao eksplikativna rečenica sa *da*, tako da u navedenom primjeru druga rečenica znači: nipošto ne (stoji) to, da ću ga uhvatiti živa — sa smislom: još ću ga manje uhvatiti živa (*li* ima isto značeje kao u *ne li*, samo je metnuto iza *to*, jer aseverira *ne to*; gradacija ide od lakšega na teže).

U jeziku staroslovenskom lat. ‚nedum' znači *a ne nъ* ili *a ne nъ li*; n. pr. o svěsti zlaa i o inomь ubijstvě, *a ne nъ* o takomь *ὢ συνειδήσεως κακῆς ἐπὶ οἵῳ δήποτε φόνῳ*. Hom.-Mih. 178. Miklošić Sint. 122. 10. — a nečistyichъ ni glava jestь čista, *a ne nъ li* nozě. Zlatostr. Miklošić Lex. palaeosl. s. v. nъ. I negacija i *li* imaju istu funkciju kao u srpskohrvatskom *ne-li*; *nъ* drži Miklošić za navezak od *ne* na netom pomenutom mjestu svoje Sintakse. U istom značenju dolazi i izričaj *a li nъ*; n. pr. neispovědima sutь ni aggelomъ, *a li nъ* člověkomъ. Miklošić Lex. palaeoslov. s. v. *a*. Drugu rečenicu držim za admirativno pitanje, tako da *a li nъ* ima isto značenje kao srpskohrvatsko *a kamo li?*, *li* je dakle prvobitno upitna partikula, a *nъ* drži Miklošić i ovdje za navezak (od *li*) (isp. navedeno mjesto njegove Sintakse). Isp. i izričaje istoga značenja grč. *μὴ ὅτι*, lat. *nedum*, gdje *ὅτι* i *dum* uvode eksplikativnu rečenicu, koju negacija *μὴ*, *nē* negira.

8. *Li* u *nego li* iza komparativa valja shvatiti kao komparativnu partikulu, u kojoj ga službi nalazimo u jeziku staroslovenskom; n. pr. luče malo prijatije sъ pravьdoju *li* mnoga žita sъ nepravьdoju. Miklošić Sint. 168. A u tu je službu prešlo kao hipotetička partikula; isp. Rad Jugosl. ak. 222. str. 272. Onda je preda nj stupila općena komparativna partikula *ne* (*-go, -že*), koja je također kao hipotetička do te službe došla (isp. ib. str. 274.); n. pr. Bolja je prazna torba *nego li* vrag u torbi. Vuk. Posl. A pored *nego* je *li* kao komparativna partikula postalo izlišno pa dobilo adversativno značenje, te navedeni primjer ima smisao; bolja je i prazna torba nego pak vrag u torbi; isp. Car volede carstvu nebeskome, *a nego li* carstvu zemaljskome. N. pj. II, 296, gdje uz komparativno *nego li* dolazi adversativne *a*; a i u slovenskom jeziku znam da uz komparativno *kakor* (*ko, kot*) često dolazi adversativno *pa*; n. pr. jaz sem močnejši kakor pa ti.

Zagreb. *A. Musić.*

К вопросу о переходе *ž* в *h* в чешском языке.

(Посвящается Акад Ю. Поливке)

К числу явлений древне-чешской фонетики, все еще ждущих рационального об'яснения, принадлежит возникновение на месте этимологического *ž* звука *h* в начале следующих трех слов: *hřiebě* „жеребенок", *hřěbí* „жребий" и *hřiedlo* „отверстие, устье (рта, сосуда, печи и т. д.)." Так как их праслав. прототипы: **žerbę* (дцс. жрѣбѧ, р. *жеребенок*), **žerbьje* (б. *жрѣбие*, п. *żrzebie*), и **žerdlo* (п. *żródło*, р. *жерело*) произносились несомненно с начальным *ž*, то вывод, что в указанной триаде слов (из которой два, *hříbě* и *hřebí*, продолжают жить и в современном чешском языке) „*ž* je změněno v *h*" (Gebauer HM I 518), напрашивается сам собой. И вся трудность вопроса заключается в том, чтобы об'яснить сколько-нибудь удовлетворительно причины и условия превращения звонкого спиранта *ž* в столь отличный от него в артикуляционном отношении звонкий задненебный спирант *h*.

Такие попытки действительно были сделаны в науке, но, кажется, ни одна из них не достигла цели. Мы убедимся в этом in concreto в нижеследующем кратком этимологическом анализе каждого из трех интересующих нас слов.

Перед нами прежде всего имя

1. *hřiebě* „жеребенок". Gebauer (l. c) не отрицает, что *h* в этом слове могло возникнуть, так сказать, спонтанеически из *ž*, причем косвенное доказательство возможности такого изменения он видит в ч. диал. формах *chčestí* < *ščestí*, *chčebetat* < *ščebetať* и *chvastati* < *švastati*. Но если бы даже действительно в этих словах *ch* возникло фонетически из *š*, из этого не следовало бы, что и в *hřiebě h* возникло из *ž*: ведь условия того и другого „перехода" слишком различны; там *š* находилось перед *č* и *v*, а здесь *ž* перед *ř*! Еще более уменьшится доказательная сила диалектических параллелей, если мы обратим внимание, что 1. *chvastati* не имеет ничего общего с *švastati*, но, как и р. *хвастать*, восходит к праслав. языку; 2. глагол *ščebetati*, как образованный от звукоподражательного корня, мог легко из-

менить начальное *š* в *ch* под влиянием других ономатопоэтических глаголов с начальным *ch* (*chrkati*, *chrstati* и пр.) и 3. *chčestí* могло явиться результатом народно-этимологического сближения с *chtíti*; ведь, что такое „счастие" как не *прихоть* судьбы?

Впрочем, сам Gebauer не был вполне уверен в правильности своей гипотезы, судя по тому, что рядом с только что изложенным об'яснением он предложил и другое, а именно, что в форме **žřiebě* для облегчения произношения было вставлено *h* (*g*); так возникла форма **žhřiebě*, откуда после отпадения *ž* и получилось *hřiebě*. В подтверждение своей мысли (которая в основных чертах была принята и Vondrák'ом VSG I² 351) Gebauer ссылается, с одной стороны, на др.-чешск. формы типа *žhráti* < *žráti*, *požhřiti* < *po-žřiti*, а с другой стороны, на п. диал. и кашубск. *zgrzebię* < *żrzebię*. К сожалению, он при этом не обратил внимания, что глагол *žhráti*, вероятно проникший в литературный язык из вульгарного, мог получить *h* под влиянием *hrdlo*; едва ли случайно и глагол *shřezachu* (*sřezachu*) имеет об'ектом *hrdla*: hrdla jim *shřezachu* (Gebauer o. c. § 392); впрочем, воображению автора фразы могли предноситься еще глаголы *hrdliti*, *hrdlovati* „душить". Что касается п. диал. *zgrzebię*, то оно могло бы служить сильнейшим доказательством Гебауэровской гипотезы, если бы этимологический анализ не открывал возможности и для этого слова совсем другого и притом гораздо более простого об'яснения.

В самом деле, имя **žerbę*, как уже давно установлено наукой (Преображенский I 229, Trautmann BSW 87, Brückner SE 666) восходит к иде. двусложной базе **gᵘerebh-* „понести, воспринимать"; на это указывает простое сопоставление др.-инд. *gárbhah* „материнское чрево, плод чрева" с гр. *βρέφος* „дитя, новорожденный, плод": если первое по месту своего коренного гласного вполне сходится со слав. **žerbę*, то второе *звук в звук* совпадает с тем праслав. **grebъ*, которого уменьшительными образованиями являются **grebьcь* (ч. *hřebec*) и **grebę*. Последняя форма, перейдя на почву чешского языка, скрестилась со своим точнейшим синонимом **žřiebę*, в результате чего возникла форма *hřiebě*. Не избежали взаимного влияния (контаминации) обе формы и в польск. языке, но здесь это влияние отразилось не на *вокализме* (как в чешском языке), а на *консонантизме*; плодом союза форм *żrzebię* и **grzebię* и явилась та форма *żgrzebię*, на основании которой Gebauer так поспешно построил свою гипотезу о вставке *g* (*h*).

Если наше рассуждение верно, то **žerbьcь* и *grebьcь* представляют собой одинаково-древние праслав. (и, до известной степени, дослав.) образования: они относятся друг к другу так, как, напр., иде. **deru̯o-* (лт. *dervà,* агс. *teoru* „деготь“, кимр. *derb* „certus“, слав. *dervo*) относится к иде. **dreu̯o-* (гт. *triu,* гр. *-δρεον* в *δένδρεον,* слав. **drev'e*); ср. Kleczkowski (Prace lingw. ofiarow. Baud.-de-Court. 176).

2. В свете теории иде. двусложных баз станет ясным и отношение ч. *hřebí* „жребий“ и, конечно, неотделимых от него *hřěbí* „гвоздь“, *hřěb, hřěbík*[1]) к **žerbъ, *žerbьje, *žerbьjь.* Как совершенно верно указал Mikkola (Zbornik u slavu Jagić'a 361), эти слова, так же как агс. *ceorfan,* нем. *kerben, Kerbe,* восходят к иде. корню **gerbh-* „резать, надрезывать, чертить, делать зарубки“. А сравнение этого последнего с гр. *γράφω* (ср. Trautmann BSW 87) не позволяет сомневаться, что он представляет так наз. VS I двусложной базы **gerĕbh-.* А что в праслав. языке, рядом с последней, употреблялся потомок VS II **grĕbh-,* это лучше всего доказывает ч. *hřěb, hřěbí* и пр.

3. По примеру *hřiebě* и *hřěbí,* мы могли бы думать, что и дч. *hřiedlo* так относится к ч. *žřiedlo* (а, следовательно, и к дцс. жрѣло, сх. *ždrȉelo,* п. *żródło,* мр. *жерело́*), как иде. **gᵘrē-* к иде. **gᵘer-.* Но вопрос осложняется тем обстоятельством, что пока нашей науке не удалось доказать существования в иде. языке базы **gᵘerē-,* а только **gᵘerā-*; ср. слав. *žьra-ti* и лат. *vorare* с др.-инд. *giráti* „глотает“, слав. **žьrdlo, gъrdlo,* лт. *gurklẽ* и пр. (Hirt Ablaut § 212, IG II 157). Тем не менее один этот факт не может служить доказательством, что база **gᵘ(e)rē-* действительно никогда не была известна иде. праязыку. Ведь гр. *βιβρώσκω* и слав. *gratanь* (о котором см. ЗУА VII—VIII 62) показывают, что иде. база **gᵘ(e)rā-* чередовалась с **gᵘ(e)rō-.* А так как в иде. языке *ō* обычно чередуется с *ē*, то нет ничего невозможного в предположении, что еще на его почве, рядом с **gᵘ(e)rō-,* явилась, как результат своего рода „Entgleisung“, база **gᵘ(e)rē-,* которая в соединении с суфф. *-dlo* и продолжает жить в ч. *hřiedlo.*

А тем из наших читателей, кому эта догадка покажется слишком смелой, мы могли бы предложить еще следующее об'яснение. Так как *žřiedlo* обозначает собственно „горло“, то

[1]) Miklosich (VSG. I² 510) без всякого основания *hřěbí* в значении „clavus“ признает заимствованием из нем. *grebil.*

это имя могло (особенно через посредство **žrdlo*, ср. р. *жерло*) скреститься с *hrdlo*. Как плод их брака (sit venia verbo!), и явилась третья форма *hřiedlo*.

Но как бы ни возникла последняя форма — одно ясно: триада чешских форм с начальным *h* вм. ожидаемого *ž* никакой звуковой аномалии не представляет — *она есть факт не фонетики, а морфологии, и своими корнями восходит к глубокой дославянской древности.*

Москва.

Г. Ильинский.

Po stopách češství a české knihy v starším slovinském písemnictví.

I. Od nejstarších dob do reformace.

Ač není nad vší pochybnost jisto, zda se Slovinci přistěhovali do svých historických sídel od severu, t. j. přes Moravu nebo západní Slovensko, a zda po svém příchodu do nich přímo sousedili na Dunaji s Čechy a Slováky,[1]) přece je míti za prokázáno, že aspoň od X. stol. častěji se dostávali do přímého styku jednak s Čechy, kteří ponejvíce asi jako osadníci přicházeli na pravý břeh Dunaje,[2]) jednak se Slováky, kteří se už v 2. pol. IX. stol. octli až u Blatenského jezera.[3]) Že by se pak z těchto více méně přechodných styků na rozhraní I. a II. tisíciletí po Kr. dalo usuzovati na nějaké podstatnější vzájemné vlivy po stránce jazykové a kulturní vůbec, není lze dobře mysliti a nemáme pro to také nijakých spolehlivých svědectví. Ba ani o nějakém bezprostředním vlivu cyrilo-metodějského písemnictví na slovinské literární památky nemáme dosud bezpečných zpráv,[4]) ač je podobno pravdě, že zvláště prekmurští a východoštyrští Slovinci mohli býti přímo účastni apoštolského působení sv. Cyrila a Metoděje a že po jich smrti mohli nacházeti jejich učedníci útočiště i u mimopannonských Slovinců.[5]) Proto ani v slovinských *Frisinských památkách* z konce X. a ze začátku XI. stol.[6]) není třeba shledávati vliv češtiny (či spíše

---

[1]) L. Niederle, Slov. Star. II., 1. sv. str. 353—372. — Ramovšův referát v ČJKZ II., str. 100—103. — O sdružení Čechů a Slovinců už v VII. stol. v říši Samově vyslovili se skepticky Václ. Novotný v Českých Dějinách I. (Praha 1912), str. 216, pak L. Pivko v marib. Časopisu za zgod. in narodopisje XI. (1914) str. 155 a n. a zvláště Fr. Ramovš c. o. 102.

[2]) L. Niederle c. o. III. 212 a n.; F. Ramovš c. o. 103. Viz též Kolaričův referát Trávníčkových „Příspěvků" v Slavii VI. str. 487 a n.

[3]) L. Niederle c. o. III. 208 a 213. — R. Nachtigal, Freising III. v ČJKZ I. (1918) str. 60 a n. — V. Chaloupecký, Staré Slovensko, Bratislava 1923, str. 269 a n.

[4]) Připouští to i sám V. Vondrák, Fris. pam. Praha 1896, str. 32, předpokládaje prostřednictví charvátských glagolitů.

[5]) Fr. Grivec, Slov. apostola sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1927, str. 53 a 142.

[6]) Časovou jejich hranici (975—1025) nejnověji určili R. Nachtigall c. o. v ČJKZ I. str. 41 a 63 a zvláště M. Kos v ČJKZ IV. (1924), str. 18—30.

slovenštiny), neboť to, co se v nich dosud za čechismy považovalo,[1]) dá se spíše a přirozeněji vyložiti domácími slovinskými hláskoslovnětvaroslovnými i lexikálními jevy. Tak na př. v slovech *modliti, vsedli, vygnan* není nijak potřebno vykládati skupinu *-dl-* a předponu *vy-* působením češtiny, neboť tyto slovinské jazykové zvláštnosti jsou doloženy zejména v severoslovinských nářečích (korutanských a štyrských) už v době slovanského stěhování a vyskytují se tam i dosud.[2]) Ani po stránce lexikální není nutno považovati leckterá slova (na př. *obeti, krilatcem*) za výpůjčky z češtiny,[3]) uvážíme-li všeobecně, že se význam slov časem v ruzných nářečích téhož jazyka často podstatně měnil a že mnohdy mohlo zapadnouti v zapomenutí leckteré slovo, jehož existenci však docela oduvodněně mužeme připustiti z dochovaného jiného tvaru téhož kořene, jako tomu na př. může býti u subst. *obet*, které se sice v slovinštině nedochovalo, ač naproti tomu slovinština dosud má inf. *obetati*.[4])

V třetí čtvrti XIII. stol. dostala se sice slovinská území s vnitrorakouskými zeměmi pod vládu českého krále *Přemysla Otakara II.*, který svěřoval jejich správu většinou svým českým pánum,[5]) ale jeho vláda nad Slovinci byla celkem velice krátká, takže kromě vnějšího politického rámce neuzpůsobila nijakých podmínek k živější kulturní spojitosti mezi českými a slovinskými zeměmi (jevilo by se to zajisté nějak aspoň v pozdější době), tím méně pak mohla míti pro Slovince nějaký hlubší význam ve smyslu nacionálním.[6]) Podobně také není možno shledávati nějaký

---

[1]) Podrobně o tom V. Vondrák c. o. — Už V. Oblak v AfslPh XVIII., str. 238 zamítl možnost „slovacismů", proti nimž postavil „karantinismy".

[2]) F. Ramovš c. o. 106 a n. — V. Oblak v AfslPh XIX., 328 to vyložil sousedstvím Čechoslováků a Slovinců už v praslovanské vlasti.

[3]) Celou řadu jich ze slovinštiny vyložených snesl J. Grafenauer, Slov. čit. II. (1922) v poznámkách na str. 6—12.

[4]) Už Jagić v AfslPh XVIII., 600 a M. Murko (Dr. Vatroslav Oblak, Knez. knjižn. VI., 269.) se vyslovili proti tomuto Vondrákovu čechismu. — Viz o tom také R. Nachtigal c. o. v Čas. za zgod. in nar. XII. (1915), str. 117.

[5]) Ferd. Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou, Praha 1897, str. 201. — Aug. Dimitz, Gesch. Krains I., str. 186.

[6]) J. Benkovič, Ljubljanska škofija in škofijske sinode, Voditelj IV. Maribor 1901, str. 171, 173 a 193. tu tvrdí, že Přemysl Otakar II. podporoval *slovinské* duchovenstvo v jeho zápase o jakousi *národní jednotu* a *samostatnost* proti německé šlechtě a řádu něm. rytířů, ale nemá pro to nijakých dokladů, že to bylo skutečně *slovinské* duchovenstvo a že tu skutečné šlo v tomto zápase o tak vysoké národní cíle a uvědomění. Pravda, Otakar už v tuto dobu bojů s Rudolfem Habsburským byl proti expansi Němců, jak to jasně vysvítá z jeho manifestu k Polákům, jichž pomoci se dovolával „proti nenasytným žádostem Němcův", a to ve jméně společného slovanského původu (Jos. Pervolf, Čechové a Poláci v XV. a XVI. stol. Osvěta 1873, II., 763; Kamil Krofta, Vývoj českého národního vědomí, Česká Revue 1918, str. 3), je tedy dobře možno a skoro jisto, že z p o l

nacionální motiv nebo dokonce projev nějaké česko-slovinské kulturní vzájemnosti, jak si to tlumočil J. Benkovič,[1]) v činu *Karla IV.*, který meškaje r. 1354 nějaký čas u svého bratra Mikuláše v Akvileji, potvrdil zřízení zamýšlené university v Čedadu pro různé národnosti, mezi nimiž měli býti zastoupeni i Slovinci.

Až teprve v XV. stol., a to shodou vnějších událostí, došlo k opravdovým česko-slovinským stykům ve smyslu literárním. Důkaz o tom podává především *Stičenský* (*Stiški*) *rukopis* (dochován je v lublaňské Lycejní knih. pod č. 141.)[2]), vzniklý v první čtvrti XV. stol. v cisterciáckém klášteře Stično na Doleňsku v Krajině. V něm nalézáme nesporné stopy českého vlivu a české součinnosti. Tento kodex se skládá totiž ze tří teprve později v knihu svázaných svazků, z nichž první (ff. 1—93*b*) a třetí (ff. 148*a*—247*b*) jsou zřejmě české provenience. Z jejich obsahu je viděti, že to byly příruční knížky nějakých českých cisterciáků, kteří patrně za vypuknuvších husitských bouří musili před husity uprchnouti[3]) a nalezli konečně útočiště až u svých spolubratří v stičenském klášteře v Krajině, tedy někdy po r. *1419*. O jednom z nich (jmenujme ho všeobecně *B*, neboť jeho zápisy v tomto rukopise jsou právě označovány jako *druhá* ruka)[4]) máme už zjištěno, že mu náležel třetí svazek vzpomenutého rukopisu, mimo to z jeho písma je také už dokázáno, že byl též pisatelem druhé části husitského traktátu v prvním svazku, který, jak sám poznamenal, dokončil r. *1428*, kterýmž letopočtem je tedy ještě blíže určena doba jeho pobytu v stičenském klášteře. Do jeho majetku se mu podle všeho záhy také dostal zápisník jeho stičenského spolubratra kazatele Martina, t. j. druhý svazek (ff. 94*a*—147*b*) uvedeného kodexu, do něhož si zapsal své poznámky na str. 114 *b* a na vloženém lístku mezi ff. 118*b*—119*a*. Jinak o jeho osobě se nedochovalo nic

tických důvodů také v Kraňsku podporoval jednu část *domácího* duchovenstva proti šlechtě (ovšem německé.), po jejímž boku stál také šlechtický řád něm. rytířů, ale přece není lze z toho vyvozovati tak dalekosáhlých důsledků ve smyslu nacionálním, jako to činí Benkovič.

[1]) Ibidem 175 a n.

[2]) Iv. Grafenauer, Stiški (ljubljanski) rokopis, Dom in Svet XXIX. (1916), str. 239 a n. a 311 a n. — Milko Kos, Stiški rokopisi, Zbornik za umetnostno zgodovino V. (1925), str. 56 a n.

[3]) Čeští cisterciáci byli hlavní odpůrci husitství a proto za vypuknuvších bouří husitských (od r. 1419) největší zlost lidu se obrátila právě proti nim; kláštery jejich byly většinou zpustošeny a mniši, kteří zůstali na živu, se rozprchli, někteří až za hranice, jak to právě vidíme na českých cisterciácích stičenských. Viz o tom Zik. Winter, Život církevní v Čechách II., Praha 1896, str. 690 a 693.

[4]) M. Kos c. o. v Zbor. za umetn. zgod. V., str. 56.

bližšího. Nejvýznačnější památkou po něm jsou právě jeho zápisy v jednotlivých svazcích jmenovaného rukopisu. K nejstarším je počítati jeho náčrty latinských kázání na celý rok ve vlastním jeho svazku třetím, z kterých je viděti, že nenastaly najednou, nýbrž průběhem delšího času, takže je docela možno usuzovati, že si je nebo aspoň většinu jich už přinesl s sebou, ale v stičenském klášteře že si je doplnil a zároveň k nim přičinil *slovinské* glosy, na př. na lístku mezi ff. 149/150: *pryliſay*, *czvtvtlar* (adulator), na str. 183*b*: *goſpodar* (hospes), na str. 184 *a*: *vczenyk* (discipulus), na str. 217 *a*: *czaſtny leben* (bonam conversacionem), na str. 220 *b*. czattne (morigeratos), a to *českým* pravopisem. K těmto náčrtům kázání stařím se pak druží jeho slovinské zápisy dvou invokací: *Myloſt yno gnada naſiga goſpody* a *Czeſtyena body kralewa* (Salve Regina) na poslední straně 247 *b* jeho zápisníku. Obě tyto invokace si zapsal podle všeho buď zpaměti nebo podle slovinského diktátu, a to starým českým pravopisem předhusitským (*ſſ* = *š* (*ž*), *cz* = *č* (*c*), *g* = *j*, *y* = *i* atd.). Jazyk jejich pak je v podstatě slovinština, ale s četnými hláskoslovně-tvaroslovnými čechismy. Tak na př. v první modlitbě gen. *kryſſe* má českou koncovku (slovin. by bylo križa), také imp. *racz* (slovinsky rači) a tvar *ſmenu* (podle českého ſemnú) zřejmě prozrazují vliv češtiny. Ještě více takových čechismů nalézáme pak v mariánské invokaci,[1]) na př.: *czeſtyena* (slovinsky češčena), *ſladkoſti* (český tvar vokativu), *vpyeme*, *zdvchvgeme* (česká koncovka 1 .plur. *-me* místo slov. *-mo*); stopy češtiny je znamenati také v gen. pl. *ſlſſ* (slov. solz), v gen. sg. *jeſſyſſe*, v lok. sg. *dolynye*, ve vok. sg. *naſſe odwetnycze*, pak ve tvarech *ktebe*, *glagogicze* yno *placzecz*, *ty* (ak. pl. fem.), *potom*, *tuyſtu* (ak. sg. fem.), což vše ukazuje, že psal po sluchu; neuměje však ještě dobře slovinsky a neslyše všude dosti dobře, zapsal si i takové nesrozumitelnosti, jako jsou na př.: *glagogicze* (v slovinském znění tu byl patrně germanismus *klagujoč* [*i*]) nebo „*tuge ſabne otroczy te ewe*", t. j. *na tujem* (*po*)*zabljeni otroci te Eve*."[2]) Že by tu šlo o jeho vlastní překlad z české předlohy, kterou předpokládal V. Oblak, vyvrátil Iv. Grafenauer poukazem

---

[1]) V. Oblak, Starejši slovenski teksti I. Let. Mat. Slov. 1889, str. 123—160 považoval ji za píseň a předpokládal českou předlohu (str. 155). Že tu jde o modlitbu, ukázal Iv. Grafenauer c. o. 243. — A vskutku její nestrofičnost a metrická nepravidelnost spíše ukazují na formu modlitby, která se však neodříkávala jako dnes, nýbrž se recitovala na způsob žalmů. Srov. o tom Zd. Nejedlý, Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, Praha 1904, str. 269 a 277.

[2]) Iv. Grafenauer c. o. v D i S 1916, str. 243.

na výše uvedené nesrozumitelnosti a pak docela přijatelným důvodem, že by se vliv předpokládaného českého originálu jevil zvláště v lexikálním a syntaktickém směru, čehož však tu není, ba po té stránce je tu právě naopak správná slovinština.

Již výše bylo podotčeno, že tento český cisterciák *B* je také pokračovatelem husitského traktátu v prvním svazku od str. 45*a*—84. Ale z obsahu tohoto traktátu, který je veskrz dogmaticko-polemického rázu, je viděti, že také zapisovatel *první* jeho části od str. 1—44*a* (je to *první* ruka) byl dobře obeznámen s husitským učením a se současnými poměry v Čechách, jakož i s českou protihusitskou literaturou, z čehož lze se vší pravděpodobností usuzovati, že také on byl Čech (jmenujme ho tedy *A*), snad starší druh svého pokračovatele *B*. Svůj protihusitský traktát mohl ovšem začíti už ve své vlasti a rukopis mohl tedy už s sebou přinésti, ač není nijak vyloučeno, že jej také mohl za účelem protihusitské agitace napsati až v Stičné, neboť z té příčiny asi také připadl po jeho smrti nebo odchodu jinam tento úkol, pokračovati v něm, druhému Čechovi *B*. Podle všech těchto známek je tedy míti jmenované dva Čechy za skutečné autory tohoto protihusitského traktátu; mimo to je také viděti, že oba čerpali z týchž pramenů, které zajisté už s sebou přinesli. Dogmaticko-polemický ráz a pak četné výrazové zvláštnosti i v obsahu by ukazovaly, že mohli používati protihusitských traktátů moravského kartusiánského převora *Štěpána z Dolan*, zvaného „kladivo kacířů", zvláště jeho *Anti-Husa* a *Epistoly ad Hussitas* z l. 1417—1419. Díla Štěpánova byla totiž v katolických kruzích ve veliké oblibě a téměř ve všech klášterech hojně rozšířena[1]) a proto tím spíše mohla sloužiti i našim českým cisterciákům v Stičné jako vhodné předlohy.

Také z pravopisu **opisovače** (*pátá* ruka) slovinské zpovědní formule (*Confessio generalis*), která se nalézá právě v třetím svazku (str. 245 *b* a 246 *a*), který patřil českému cisterciáku *B*, se poznává, že byl buď Čech (tedy *C*) nebo že mu byl vzpomenutý český spolubratr „mentorem"; pro Čecha by svědčily jeho česko-slovinské glosy na str. 247 *a* (*potſtenye* — Honor — *czaſt*, *pochlewnik* (pochlebník) a latinské na str. 194 *b*, které všechny prozrazují stopy českého pravopisu stejně jako jeho zápis zpovědní formule a velikonoční písně (247 *a*). Už fakt, že opisování zpovědní formule se mu nedařilo, neboť byl nucen ji dvakrát

[1]) Johann Loserth, Die liter. Widersacher des Hus in Mähren. Zeitschrift d. V. f. d. Gesch. Mähr. u. Schles. I. Jhrg., 4. H. (Brno 1897), str. 7.

začíti,[1]) by ukazoval na cizince; pravopisné jeho zvláštnosti vyloženě českého charakteru (*cz* za *č* (*c*), *g* za *j*, *scz* za *šč*, *y* za *i* atd.) by pak potvrzovaly domněnku o jeho českém původu. Vyloučeno ovšem není, že také to mohl býti Slovinec, který od českého spolubratra *B* se poněkud zasvětil do češtiny a do české grafiky a stal se tak pokračovatelem v jeho písařské tradici.

Že tito čeští uprchlíci s sebou také přinesli potřebnou literaturu, potvrzuje dochovaný rukopis z 1. pol. XV. stol., pocházející rovněž ze stičenského kláštera a nalézající se nyní v lublaňské Lycejní knih. pod č. 61. Rukopis tento obsahuje totiž latinská kázání na celý rok, která napsal kazatel žáků pražské university (předmluva), takže o jeho *pražské* či *české* provenienci není nijaké pochyby.[2])

S tímto Stičenským rukopisem, v němž se tedy čeští cisterciáci s dostatek uplatnili i literárně, souvisí podle všeho ideově a historicky i nedávno zjištěný zápis staročeské velikonoční písně *Buoh všemohúcí* v *Žičském rukopise*, pocházejícím rovněž ze začátku XV. stol. (Chová jej štyrskohradecká universitní knihovna, do které se dostal z jihoštyrského kartusiánského kláštera v Žičích.)[3]) V tomto zápise souhlasí tato česká píseň počtem strof (10) i obsahem úplně s jejími zápisy z konce XIV. stol., dochovanými v rukopisech pražské univ. knihovny.[4]) Pravopis tohoto zápisu je starého předhusitského charakteru, docela týž, jakým si na př. český cisterciák *B* v Stičenském rukopise zapsal slovinské invokace. Jazyk písně je pak čistá staročeština se stopami archaismů, ale bez jakýchkoli příměsků slovinštiny. Na podkladě všech těchto momentů lze tedy bezpečně souditi, že si ji takto mohl zapsati jen rodilý Čech. A tato věc právě svědčí, že tento Žičský rukopis asi byl majetkem nějakého českého kartusiána v žičském klášteře, který se tam patrně utekl za husitských bouří z Čech nebo z Moravy,[5]) podobně jako se čeští cisterciáci uchýlili před husity až do stičenského kláštera v Krajině. Zmíněný rukopis mohl buď s sebou

---

[1]) Iv. Grafenauer c. o. D i S 1916, str. 240/1. a 312/3.

[2]) Milko Kos c. o. v Zbor. za umetn. zgod. V. str. 53 a 60.

[3]) J. Mravljak-V. Burian, Žički rokopis: češka velikonočna pesem, Čas. za zgod. in nar. XXII. (1927), str. 190 a n.

[4]) Zd. Nejedlý, Počátky husitského zpěvu, Praha 1907, str. 90—93 a 457.

[5]) Čeští kartusiáni (jako cisterciáci) byli hlavní odpůrci husitství a stihl je proto stejný osud; v Praze byl jejich klášter zbořen husity r. 1419 (Z. Winter c. o. 690), na Moravě v Dolanech zač. r. 1425 (J. Loserth c. o. 6). — Slovinské kartusie připadaly od r. 1355 k horní německo-české řádové provincii (Stegenšek, Dekanija konjiška 222), byly tedy v užším styku s českými kartusiány.

už přinésti nebo si jej teprve v Žičích poříditi; ježto však dosud není nijakých bližších zpráv o jeho vzniku a věcném obsahu ani zdali je psán celý rukou českého zapisovatele naší velikonoční písně, není také dosud možno určitě se vysloviti o vzniku a poslání zapsané v něm české písně. V případě pak, že ji český kartusián vskutku zapsal až v Žičích, což se mi zdá nejvíc věrohodné, by bylo tedy docela možno usuzovati, že ji také chtěl v žičském klášteře udomácniti, čemuž by zvláště nasvědčovalo už to, že ji opatřil také notami. Tomu by však se nesmělo rozuměti tak, jako by tím chtěl dosíci, aby se tu vskutku také česky zpívala,[1]) nýbrž prostě jen tolik, že by v ní chtěl poskytnouti předlohu, podle které by mohla býti i do slovinštiny upravena. Tato píseň totiž končí prosbou, aby Kristus ochránil jednotu církve a zbavil křesťanstvo bludů, což se zvlášť dobře hodilo právě na dobu husitského rozkolu, který se, jak později ještě bude vyloženo, v tu dobu nebezpečně šířil i mezi Slovinci Tím spíše mohlo tedy jíti českému kartusiánovi o její rozšíření i v slovinském prostředí a tím spíše také je věřiti, že ji právě z těchto věrských, protihusitských důvodů zapsal až v Žičích, což se ostatně mohlo docela dobře státi i v případě, přinesl-li započatý rukopisný svazek už s sebou. Zdali byla tato píseň skutečně do slovinštiny upravena a zdali se také zpívala, zůstává ovšem otázkou.

V nějaké souvislosti s písařskou činností českých řeholníků mezi Slovinci je patrně též *slovinský fragment* z XV. stol., nalezený kdysi v knihovně knížete Auersperga v Lublani.[2]) Je to úryvek nějakého rýmovaného skládání, z jehož neúplnosti je těžko bezpečně usouditi, jakého jest obsahu. Že by tu šlo o zápis nějaké národní písně, jak to naznačil Grafenauer,[3]) je sotva věřiti, spíše je to, jak se už Radics domníval, památka některé z četných písní ku poctě Panny Marie, v středověku hojně rozšířených jak v latinském, tak v národních jazycích, v nichž (aspoň v českých) často je Maria nazývána růží skvoucí, milou pannou a opěvovány její ruce, vlasy i líce docela po způsobu světské lyriky. Jazyk této památky, pokud se dá o něm z Radicsova zápisu mluviti, je sice slovinština. ale v grafice

---

[1]) Tím méně pak by si to bylo vykládati, jako by vzpomenutý český kartusián touto českou písní chtěl v novém svém prostředí dokonce zaváděti češtinu, jak tomu z mých poznámek (ČZN XXII., str. 193) špatně porozuměl dr. J. Glonar (Ljubljanski Zvon 1927, čís. 8., str. 507).

[2]) P. pl. Radics, Slovenščina v besedi in pismu, Let. Mat. Slov. 1879. str. 10 a n. —

[3]) Iv. Grafenauer, Kratka zgod. slov. slov. (1924), str. 24.

je znamenati rozhodné stopy českého pravopisu, takže podle toho i její zapisovatel byl buď Čech, který si ji však už jen opisoval, nebo Slovinec, který byl obeznámen s českou grafikou.

Z uvedeného je tedy viděti, že se mezi vzpomenutými českými a slovinskými řeholníky záhy vytvořila určitá společná duševní atmosféra, která se také brzy projevila i v literární činnosti těchto českých uprchlíků. Písařské péro jim vtiskovala do ruky především nutnost denní potřeby: aby si totiž snáze zapamatovali potřebné slovinské liturgické formule, pro které podle všech známek neměli slovinsky psaných předloh, neboť by si je z nich jistě také opisovali, jali si je sami buď podle diktátu nebo zpaměti zapisovati, užívajíce své české grafiky (na př. zmíněné zápisy invokací v Stič. ruk.). A není tedy vyloučeno, že právě tímto svým příkladem mohli dáti svému slovinskému okolí ne-li iniciativu, tedy aspoň živější popud k podobným záznamům jazykem národním. Mimo to jejich písařská produkce českým pravopisem podle všeho také poskytovala vzor a materiál k vytvářejícímu se pokusu o slovinskou grafiku (na př. pravopisné zvláštnosti v stičenském zápise zpovědní formule). Nesporná a trvalá však jejich zásluha jest, že ve svých zápisech slovinských modliteb zůstavili slovinskému písemnictví důležité památky jeho jazyka z doby na sto let před Trubarovým vystoupením. Jiný druh jejich literární činnosti spočívá pak v protihusitské propagandě, jak o tom svědčí zejména latinský traktát o husitech v Stič. ruk., který byl podle všeho napsán za tím účelem, aby poskytl látku k protihusitské agitaci domácím mnichům v okruhu jejich působnosti. To mělo zajisté svůj význam v době, kdy s křižáckými vojsky Zikmundovými odcházely proti českým husitům i zástupy ze slovinských zemí a kdy husitské učení jalo se pronikati, jak ihned bude ukázáno, i na slovinskou půdu. Není tedy pochyby, že oni první měli značný podíl na utváření slovinského protihusitského veřejného mínění, které se pak v druhé polovici XV. stol. ještě posílilo jednak propagací Kapistránovou (podle Valvasova kázal v Lublani r. 1454), jednak kazatelskou činností augustinského[1]) a františkánského[2]) řádu.

---

[1]) R. 1469 hlásal v Kraňsku křižáckou vojnu proti husitům, t. j. proti Jiřímu z Poděbrad, augustinián br. Andrej. (Jos. Gruden, Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stol. Ljubljana 1908, str. 91.)

[2]) Ještě proti konci XV. stol. se připomíná v Kraňsku a v sousedních zemích protihusitská propaganda, v které se zvlášť osvědčil výborný řečník františkánský kvardián Alexander z Bratislavy. (J. Gruden c. o. 94.)

Tento duševní kontakt mezi českými a slovinskými zeměmi v XV. stol. do určité míry oživilo i české *husitství*, o jehož pronikání mezi Slovince můžeme docela odůvodněně souditi z různých historických zpráv a narážek. Mohlo se k nim šířiti jednak přímo českými agitátory, jak by tomu nasvědčovala dochovaná zpráva o českých husitských věrozvěstech mezi prekmurskými Slovinci r. 1419,[1]) jednak také nepřímo, t. j. agitací oněch charvatských kleriků, o kterých se r. 1413 zmiňuje vídeňský profesor theologie Jan Siwart (Sybart) ve své žalobě záhřebskému biskupovi, že totiž přilnuvše za svých studií v Praze k wiklefisticko-husitskému učení, jali se je šířiti také ve Vídni a v Záhřebě.[2]) Že se husitské učení mezi Slovinci skutečně nebezpečně ujímalo, vysvítá zejména ze solnohradských synod r. 1418 a 1420. Tak 32. článek synody z r. 1418 se přímo obrací proti viklefistům a husitům, kteří se i mezi Slovinci už rozmohli. Podobně také synoda r. 1420, pojednávajíc o příčinách úpadku církevní discipliny i u Slovinců, uvádí mezi jiným zvláště husitství. Také Basilejský církevní sněm (1431—1443), zabývající se otázkou husitskou, vyhovuje společnému postupu českých a slovinských kartusiánů, pověřil tři slovinské kartusie úkolem, obraceti na víru husity v jižních krajinách.[3]) Rovněž i ve výše zmíněné protihusitské agitaci slovinských augustiniánů a františkánů v 2. pol. XV. stol. jest zajisté hledati též domácí pohnutky.

V písemnictví slovinském však nenalézáme přímých stop po husitském učení. Zato máme v něm dochovány pádné doklady protihusitského smýšlení. Tak už v první polovici XV. stol. slovinský latinský veršovec *Nicolaus Petschacher* (*Pečahar*), rodem z Kraňska (Carniolae genitus, natio *zlava* mea est)[4]) a žijící nějaký čas na Moravě v Znojmě a pak na dvoře krále Fridricha III. (pozdějšího císaře), ve svých latinských básních, z nichž jedna je namířena proti utrakvistickému mistru Rokycanovi

---

[1]) Jos. Gruden, Starine železnih in salajskih Slovenov, Čas. za zgod. in nar. XI. (1914), str. 109.

[2]) J. Loserth, Ueber d. Versuche wicklif-husit. Lehren nach Österr. Pol. Ung. u. Croatien zu verpflanzen. Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XXIV., 1886, str. 97—116; F. Kidrič, Epilog k Trubarjevemu zborniku, Naši Zapiski VI. (1909), str. 167; pak Drag. Prohaska, Husitství a bogomilstvo, ČMF V. (1916), str. 2 a n.

[3]) J. Benkovič c. o. 180, 196.

[4]) O N. Petschacherovi a jeho rukopisném díle viz Johann Huemer, Historische Gedichte aus dem XV. Jahr. (Mittheilungen des Inst. f. öst. Geschichtsforschungen XVI. Bd. (Innsbruck 1895), str. 633 a n.). Tam i bližší literatura o něm. — Srov. hlavně Arn. Kraus, Husitství v liter. I. Rozpravy ČA III. tř. č. 45, str. 96.

(*Contra Ruckenzanum*) a druhá (*Sequitur reprobatio errorum Hussitarum de suscepcione sacrae ewcaritiae*) proti husitům vůbec, zle brojí proti husitskému učení a jeho představitelům: Rokycanu posměšně nazývá filosofem, doktorem, mužem svatým a lstivým sofistou, který by byl rád Platonem, ač nezná ani tolik jako Koranda; v učení husitském pak za největší blud považuje nauku o přijímání a varuje před husitskými lžikněžími, kteří dávají jed za med. Čechu nemá rád a raduje se z jejich porážky u Bejdova (11. října 1431); po zvolení Albrechtově králem pak jim radí, aby děkovali bohu, že jim ho dal, aby mu byli věrni, a on jim obnoví bývalou jejich slávu (mezi jiným i pražskou universitu) a stane se jim druhým Karlem.[1]) V těchto jeho verších, těžkopádně zhotovených v chatrné latině, jeví se zřetelný ohlas současné protihusitské posměšné poesie a polemické literatury a leccos z jeho námětů a břitkých výrazů přímo ukazuje, že se i on cvičil v dílně výše už vzpomenutého moravského kartusiána Štěpána z Dolan, s jehož traktáty se patrně seznámil za svého pobytu v Znojmě. Jak je viděti, jeví se tedy jeho literární dílo v úzké genetické a ideové souvislosti s protihusitským traktátem českých cisterciáků v Stičné.

Stejně tak protihusitskou tendenci můžeme shledávati i v básnickém výtvoru slovinské ústní slovesnosti, t. j. v národní písni o *Pegamu a Lambergaru*, neboť v Pegamovi[2]) je zajisté po právu spatřovati jednak historickou osobu potulného husitského válečníka Jana Vítovce, jak ho slovinský lid poznal právě na své půdě,[3]) jednak pak typ soudobého Čecha vůbec, jak se v XV. stol. tradicí všeobecně ustálil, t. j. ďáblu propadlého nevěrce.[4])

---

[1]) Čerpáno z Krause.

[2]) Pegam je starý slovinský tvar z něm. Behaim, Bechamb = Böhme.

[3]) Český husita Jan Vítovec vstoupil po skončených husitských válkách (někdy po r. 1439) do služeb Celských hrabat a vryl se krvavými svými boji o celské dědictví (po r. 1457) hluboko do paměti slovinského lidu. Už Celská kronika (vydal ji Fr. Krones, Die Freien von Saneck II., Graz 1883) ho jmenuje všeobecně *Bechamb, Becham.* Literaturu o něm viz v Zíbrtově BČH II., 68; nejhistoričtěji pojednal o něm Sasinek v Let. Mat. Slovenskej X. (1873), 1. sv.; nejnověji o něm také V. Šolar ve Výroč. zpr. stát. reál. v Příbrami 1913—14, str. 24 a n.

[4]) Už od husitských válek rozšířeno bylo všeobecné mínění, že co Čech, to kacíř. Proto není divu, že i slovinský lidový básník, který zajisté byl prožat náboženskými otázkami své doby, sdružoval vzpomínky na historického českého válečníka, které v něm viděly národního nepřítele, s touto ustálenou představou Čecha vůbec. Jeví se to zajisté v jeho verši: „Hudiča ima Pegam dva.“ Není tedy správno, loučiti v písni Vítovce od Pegama, jak se o to pokusil G. Čremošnik v Lj. Zvonu 1918, 194; ještě méně pak je možno slučovati Pegama s kraňským pánem z Polheima, jak to učinil P. Bohinjec (Gorenjska knjiž. XV., 42), založiv svůj dohad na nemožné etymologii Polheim 〉 Pegam.

Tento náboženský, či lépe řečeno, věrský motiv písně je tím spíše míti na mysli, neboť i charakteristika a básnická výzdoba Pegamova soupeře Lambergara je na něm hlavně založena.[1]) Proto proti cizáckému[2]) a nevěreckému, vůbec temnému[3]) Pegamovi jest v ní postaven světlý[4]) zjev domácího[5]) křesťanského[6]) junáka Lambergara, který ho nakonec přemůže řídě se matčinou radou, aby se mu varoval stíti dvě postranní hlavy, kterými ho bude chtíti ďábel obelstít(!), a tak osvobodí císaře a svou milovanou domovinu obtížného ďáblova zaprodance. — Jak je viděti, vítězí tu národně-křesťanský ideál nad cizáctvím a nevěrectvím, symbolisovanými právě v osobě Pegamově-Vítovcově, v čemž můžeme docela přirozeně shledávati i skrytou protihusitskou tendenci. Tak tedy poskytlo české husitství (nevěrectví) osobou Vítovcovou slovinskému lidovému skladateli vhodnou látku k nové výplni starého baladického thematu středověkých avantur. V písni samé se sice nikde přímo nevzpomíná Vítovce ani husitství, ale pozornému čtenáři je docela jasno, že v Pegamovi, pojatému sice podle ustálené představy o potulných středověkých rytířích, je právě shledávati husitského Vítovce a že vzpomínky na něj nesdružovaly se jen se starými známými baladickými motivy, nýbrž i se soudobými ožehavými otázkami, z nichž zajisté nejaktuálnější bylo právě v tu dobu stále ještě české husitství.

Píseň tato, vzniknuvší podle všeho už záhy v 2. pol. XV. stol., ale vyhránivši se ve svou konečnou podobu teprve na

---

[1]) Na tento věrský motiv v písni o Lambergarovi už poněkud upozornil Simon Rutar ve vídeňském Zvonu 1879, 216. — Také některé slovinské nár. pověsti o králi Matyášovi (na př. o vojně krále Matyáše) jsou založeny na věrském motivu. Viz o tom také Зенон Кузеля, Угорський король Матвій Корвін в славянськім устній словесности, Lvov 1906, 120, 127 a na různých místech IX. kap.

[2]) Nějakého povědomí slovanské příbuznosti u slovinského skladatele ještě vůbec není.

[3]) Podobně také v sbch. národních písních je proti kralevici Markovi postaven sveřepý „crni" Arapin; i tu jde o junáka-křesťana a junáka-nevěrce. Srov. G. Čremošnik c. o.

[4]) Nár. píseň jej vyzdobila rusou hlavou. Viz K. Štrekelj, Slov. nar. pesmi I., č. 15., v. 90.

[5]) Ač v historii bojoval proti Vítovcovi-Pegamovi císař Fridrich IV., nár. píseň za soupeře Pegamova staví domácího junáka, neboť největší junáctví v epických písních jihoslovanských téměř vždy záleží v boji domácího reka s nevěreckým velikánem, v němž jsou jaksi zosobněni všickni národní nepřátelé. A takovým národním nepřítelem byl slovinskému cítění i Pegam-Vítovec; mimo to Slovinci v těchto bojích Vítovce s Fridrichem většinou stáli na straně Fridrichově.

[6]) Lambergar se podle nár. písně nebojí nikoho, leč „Marie in Bogá, Usmiljeniga Jezusa." Viz Štrekelj, c. o., č. 15, v. 20—21.

rozhraní XV. a XVI. stol., žila a udržovala se v slovinském lidu až do nejnovější doby. Připomíná ji už J. L. Schönleben (1618 až 1681) ve svém rukopisném *Appendixu* a Valvasor ve své *Ehre* z r. 1689.[1]) První ji zapsal po svědectví Pohlinově (*Bibl. Carn.* 16.) lublaňský bosonohý augustinián P. Dizma, t. j. Jožef Zakotnik, člen Pohlinova lublaňského okruhu; podle jeho zápisu, který se však nedochoval, ji svobodně zbásnil v hexametrech Anton Linhart (po otci Čech) ve svých *Blumen aus Krain*, Lublaň 1781, str. 39—49.[2]) Po druhé ji zapsal Val. Vodnik a z jeho zápisu ji vydal v slovinském originále a s německým překladem J. A. Zupančič nejprve v *Laibacher Wochenblattu* 1806 č. 37., opatřiv ji krátkou předmluvou v docela už romantickém duchu, pak r. 1807 samostatně ve formě letáku *Das Turnier zwischen den beyden Rittern Lamberg und Pegam.* Později v 1. pol. XIX. stol.[3]) byla ještě několikrát zapsána a vydána, takže je dochováno několik variant, jak je uvádí K. Štrekelj, *Slovenske narodne pesmi* I. pod č. 13—17. Píseň tato vzbudila zájem i našeho J. Dobrovského, kterému ji Kopitar také poslal.[4]) Z vydání Zupančičova ji přeložil do češtiny čtyřstopým trochejem Fr. Lad. Čelakovský ve svých *Slov. nár. písních* II., str. 187—195, připojiv i slovinský text.

II. Reformace, protireformace a období katolického písemnictví.

1. Teprve XVI. stol. znamená pro slovinského člověka veliký myšlenkový přelom, na který ho vedle jiných sekt beze sporu už připravovalo i české husitství. Je to proň doba sociál-

[1]) Iv. Grafenauer, Kratka zgod. 26.

[2]) M. Kovačić, Epska nar. pesem o Pegamu in Lambergarju, ČZN 1920, str. 41. — N. Omersa, A. T. Linhart in slovenska narodna pesem, Ibidem 1923, str. 47 a n. — Omersa ukázal, že Linhart použil tu hexametru vlivem vídeňského barda M. Denise, od něhož se už tehdy šířil k Slovincům kult národní poesie. Chápeme tedy, proč i Kopitar už před svým odchodem do Vídně byl tímto novým proudem zasažen. M. Denis se seznámil s jihoslov. nár. poesií z Pavićova „Descriptio" z r. 1764. Viz M. Murko v AfslPh XXVIII (1906) str. 353.

[3]) Už v 1. pol. XIX. stol. poskytla tato píseň látku četným německým romanticko-historickým povídkářům a básníkům z časopisů *Illyrisches Blatt* a *Carniolia*. Tak Hugo vom Schwarzthale ji volně zbásnil pod názvem „Kasper Lamberg" v Illyr. Bl. 1831, 133 n.; v Carn. I. (1838—9), str. 70 prosaicky ji zpracoval štýrský povídkář Rud. Puff v novele „Die verschworene Hand"; v Car. IV. (1841—2), str. 21 ji znovu přebásnil N. N. Vogel v básni „Ritter Pegam und Lamberger" atd. — V slovinském písemnictví jí použili: Janez Trdina v povídce „Pripovedka od Glasan-Boga", J. Kosmač v povídce „Junakinja Kamniška, Fr. Levstik ve svém „Martinu Krpanovi", Fr. Cegnar ji zbásnil, použiv motivů ze srbsko-charvatské národní poesie a staročeské národní epiky rukopisu Královédvorského, pak Malavašič atd. až k Detelovi.

[4]) V. Jagić, Kor. D K 208, 209, 225 a n.

ního, náboženského a nacionálního vzrušení. Doba selských bouří, začátků reformace a národního jeho života vůbec. Tehdy Slovinci jakožto přímí sousedé Němců docela přirozeně podlehli mohutnému vlivu jejich reformačního hnutí a opřevše se zejména o Lutherovu nauku (rozhodovaly při tom patrně nejvíc církevně-politické momenty),[1]) založili také svou reformaci a svou literární produkci v národním jazyce skoro výhradně na německých předlohách a vzorech. Ač tedy je to doba nejmohutnějšího německého působení na Slovince,[2]) přece můžeme i tu znamenati zřetelné stopy českého vlivu, a to jednak přímého, t. j. bezprostředním působením české reformační a humanistické knihy, jednak nepřímého, t. j. cestou německého prostředí a tisku. Ježto o česko-jihoslovanských a jmenovitě o česko-slovinských vztazích z této doby je dochováno velice málo přímých historických zpráv, je se tedy i tu v mnohé otázce dopracovávati pravdy jen podrobným rozborem literárního díla slovinských reformátorů a srovnáváním ho s českým soudobým písemnictvím a naopak.

Tak už *Primož Trubar* (1508—1586), zahájiv jako emigrant v Němcích pod patronací vitemberského luteránského vévody Krištofa svou reformační činnost tištěným slovem, t. j. slabikářem a malým katechismem (*Abecedarium* a *Catechismus*, Tubinky r. 1550 nebo spíše r. *1551*,[3]) jsou to první slovinské tisky!), které měly promlouvati k mládeži a k nejširším vrstvám lidovým, nenásledoval v tom jen a jen příkladu německé reformace, nýbrž i českobratrské praxe, neboť i Luther právě po vzoru Českých bratří započal svou reformační propagaci rovněž katechismy a zpěvem církevním.[4]) Tedy už v tomto prvním Trubarově počinu je po právu shledávati aspoň podružný vliv český. Mimo to také v jeho překladech evangelií dá se tu a tam postřehnouti i přímé působení českého překladu bible. Nepřekvapuje to, neboť k střediskům Lutherova učení, t. j. k Vitemberku a k Norimberku, měli čeští luteráni a Bratří už od začátku XVI. stol. čilé vztahy: do Vitemberka posílali hojně svou mládež na studie[5])

---

[1]) Fr. Ilešič, Primož Trubar in njegova doba, Zbor. Mat. Slov. X. (1908), str. XXI.

[2]) M. Murko, Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven, Slavia V., str. 508.

[3]) Fr. Kidrič, Ogrodje za bijografijo Primoža Trubarja, Razprave I., 258 a Јужнослав. Филолог II., 301—303.

[4]) Novák-Novák, Přehl. děj. čes. lit. III. vyd. (1922), 73.

[5]) Ibid. 72. — Srov. též na str. 29 poz. 3.

a v Norimberce často tiskli své knihy.[1]) Snadno se mu tedy mohla v Německu dostati do rukou česká evangelická kniha, a to tím spíše, ježto jeho tehdejší inspirátor P. P. Vergerius, který ho měl k překládání sv. Písma,[2]) sám mu opatřil různé překlady biblí, které mu měly sloužiti jako pomucka při práci.[3]) A mezi těmito pomůckami byl podle všeho i český překlad bible; Vergerius totiž, jak ještě bude na svém místě zdůrazněno, byl osobní přítel českého humanisty *Gelenia* v Basileji a sdílel patrně i jeho mínění, že čeština je pramenem a studnicí ostatních slovanských jazyků. Mimo to k české bibli jakožto jazykové pomůcce sáhali už od XV. stol. zejména polští překladatelé sv. Písma a ještě v 2. pol. XVI. stol. na př. polský překladatel Lutherovy postily Jeronym Małecki (1574) zdůrazňoval po této stránce znalost češtiny;[4]) v době Trubarově pak z týchž příčin a pohnutek sáhal k české bibli i lužický překladatel Nového zákona Nik. Jakubica (r. 1548).[5]) K české bibli tedy poukazovala už stará osvědčená překladatelská praxe a tím spíše ji tedy mohl zkušelý Vergerius doporučiti též Trubarovi. Že skutečně Trubar používal také české bible, jeví se to zvláště už v jeho prvním překladatelském pokuse, t. j. v překladě evangelia sv. Matouše (*Ta euangeli Sueitiga Mateusha*, Tubinky 1555) a také poněkud ještě v překladě prvního a druhého dílu Nového zákona (*Ta perui Deil tiga Nouiga Testamenta* 1557 a *Ta drugi Deil tiga Nouiga Testamenta* 1560). Trubar se v předmluvách k těmto tiskům o tom vůbec nikde nezmiňuje, teprve v předmluvě k první části charvatského překladu Nov. zákona hlaholským písmem (*Der erst halb Theil des newen Testaments* 1562) přiznává, že užívali, totiž on a vlastní překladatelé do charvatštiny, t. j. Stj. Consul a Dalmata, také českého překladu bible.[6]) Ale toto Trubarovo přiznání neplatí ani tak o charvatských překladatelích jako právě o jeho slovinském překladě samém, jehož

[1]) Fr. Spina, Tschechischer Buchdruck in Nürnberg am Anf. d. XVI. Jahr. Prager Deutsche Stud. IX., Prag 1908.

[2]) Iv. Grafenauer, O Trubarjevem prevodu evangelijev, Dom in Svet 1914, str. 298. — Fr. Kidrič c. o., Razpr. I., 257 a n.

[3]) F. Hubad, Petrus Vergerius, Let. Mat. Slov. 1881, 144.

[4]) J. Pervolf, Čechové a Poláci v XV. a XVI. stol. Osvěta 1873 (II.), str. 904 a n.

[5]) Týž, Славяне III. (Varšava 1890), str. 15. — Srov. též Jos. Páta, Úvod do studia lužickosrb. písem., Praha 1925, str. 20.

[6]) Píšeť na str. 23 a n. takto: „Wie wir haben vnd gebrauchen gleichwol mehr dann ein Lateinische, Teutsche vnd Wälische (vnd von wegen etlicher alten Windischen Wörter ein Behömische) Dollmetschungen der Bibel.“

tito charvatští překladatelé také používali,[1]) neboť z rozboru jeho překladu, zvláště evangelia sv. Matouše, jest zřejmo, že už při něm měl po ruce také český text, jímž si tu a tam vypomáhal při nejasných místech a obratech v Lutherovi nebo ve vulgátě. Podle všeho to byla utrakvistická *Česká biblí*, vydaná r. 1540 v Norimberce.[2]) Svědčí o tom zejména těchto několik míst:

Tr[3]) X. kap.: Vi ne imate imeiti . . . vuashih *moshnah*; Č B (ibid.): Ani *moſſny*; L(uther)[4]) (ibid.): Ir solt nicht Geld in euwren *Gürteln* haben; V(ulgata)[5]) (ibid.): neque argentum in *zonis* vestris. — Jak je viděti, použil tu Trubar z českého textu stejného výrazu *mošna* pro svůj překlad lat. slova *zona*; jeho pokračovateli Dalmatinovi (*Biblija* III. 1584) však neznělo toto slovo patrně dosti domácně a proto, přihlížeje více k Lutherovu textu, nahradil je slovem *pas* (u vaſhih Paſſeh), uved po straně méně obvyklý výraz z Trubara.

Tr XIV. kap.: k suim *ſlushabnikom*; Č B (ibid.): *ſlužebnjkuom* ſwým; L (ibid.): zu seinen *Knechten*; V (ibid.): dixit *eis*. — Že tu Trubar následoval českého překladu, vysvítá hlavně z toho, že všude jinde (na př. také v XVIII. kap.) překládá týž německý výraz *Knecht* slovinským *hlapez*.

Tr XXIII. kap.: Ve vom . . . sakai vi deſſetite to meto inu *anesh* inu kumel . . . Vi slipi *vodci*; Č B (ibid.): Běda vám . . . kteřjž dáwáte deſátky, mátu a *anez* a kmín . . . *Wuodce* ſlepj; L (ibid): Weh ihr . . . die ir verzehendet die Mintz, *Till* vnd Kümmel . . . Ihr verblendte *Leiter*; V (ibid.): Vae vobis . . . qui . . . mentham et *anethum* et cyminum . . . *Duces* caeci. — Tu Trubar použil pro *anethum*: *Till* českého tvaru *anéž* (anýž); že to nebylo slovo v slovinštině obvyklé, je viděti z toho, že Dalmatin je nahradil (*Biblija* III., XXIII.) slovem *koper*. Jmenovitě pak výraz *vodci* je považovati za nesporný čechismus; Dalmatin (ibid.) zaň má výraz *vojarni*. Ostatně sám Trubar všude jinde překládá něm. Leiter slovem *pelauez*, lat. dux pak *vyuda*.

Mimo to je také viděti, že se Trubar po vzoru českého překladu nevyhýbal užívati ani cizích výrazů, jako na př. *almoshna*

---

[1]) Iv. Polovič, Evangelij sv. Matevža v protestantskem glagolskem „Prvem delu Novoga Testamenta" iz l. 1562. Zbor. Mat. Slov. X., str. 59.

[2]) Už Dobrovský to při Trubarovi konstatoval. Srov. jeho dopis Kopitarovi ze dne 13. března 1809. — Viz V. Jagič, Kor. D a K str. 44.

[3]) Ježto mi nejsou dostupna prvotní Trubarova vydání, cituji z tisku „Ta celi Novi Testament" z r. 1582.

[4]) Lutherův „Das Neuw Testament", Frankfurt 1573.

[5]) Henr. Jos. Vogels, Novum Test. I., Düsseldorf 1922.

(VI. kap.), *maman* (ibid.), *perle* (VII.) atp. Působení češtiny jest pak asi také přičísti jeho zálibu v hojném užívání sporadicky se v slovenštině vyskytující přehlásky a > e po palatálách a měkkých souhláskách, na př.: od tiga *zludje* (místo *zludja*), *preganjejo* (m. *preganjajo*), tiga *gospodarje* (m. *gospodarja*), vašim *dušem* (m. *dušam*) atp.[1])

Rovněž i jeho překlad listu sv. Pavla k Římanům (*Ta drugi Deil* 1560) prozrazuje místy stopy české předlohy:

T (1. kap.): *Vezhna Muzh* inu *Bogaſtuu*; Č B (ibid.): *Věčná Moc* a *Božſtwj*; L (ib.): seine *Allmächtigkeit* vnd *Gottheit*; V (ib.): *Sempiterna* quoque *virtus* et *divinitas.* — Tu vyšel Trubar shodně s českým překladem z vulgáty; mimo to si patrně také podle českého výrazu *božství* (divinitas) utvořil sám slovinské slovo ***bogastvo*** v témž významu.

Tr. IX. kap.: Sakai tukai ie *dokonana* inu okrazhena ta beſſeda vti prauizi, ſakai ta Goſpud bode ſturil eno okrazheno beſſedo na ſemli; Č B (ibid.): Neb ſlowo *dokonawage* a vkracuge wſprawedlnoſti, nebo ſlowo krátké včinj pán bůh na zemi; L (ibid.): *Denn es wirt ein verderben geschehen . . . vnd der Herr wirdt dasselbige steuren thun auff Erden*; V (ibid.): Verbum enim *consummans* et abbrevians in aequitate: quia verbum breviatum faciet Dominus super terram. — Jak je viděti, opustil tu Trubar úplně Lutherův text a přidržel se znění vulgáty, v čemž ho patrně utvrzoval právě český překlad, s nímž se shoduje (až na přechodníkové vazby, které v slovinštině uplatnil teprve později Seb. Krelj) i v překladu verba *consummare* slovesem *dokonati*, jehož pak vůbec rád užívá (na př. v evang. sv. Lukáše XVIII. kap.: inu bode *dokonanu* vſe, kar ie piſſanu). Toto sloveso *dokonati* není ovšem považovati za čechismus, ale vliv českého překladu je tu možno shledávati právě ve výběru, že tu totiž Trubar použil pro týž latinský výraz slova téhož znění jako právě v češtině a nikoli rozšířenějšího asi slovesa *dopolniti*, kterého na jiných místech užívá právě v témže významu také rád nejen on sám, nýbrž zvláště pozdější jeho pokračovatel Jurij Dalmatin.

Takových a těmto podobných stop české předlohy dalo by se v jeho překladech shledati ještě více. Ale z uvedených příkladů je, trvám, s dostatek viděti, že Trubar, překládaje sv. Písmo,

---

[1]) Fr. Levec, Die Sprache in Trubers „Mathäus", Jahresbericht d. Staats-Ober-Realschule in Laibach f. d. J. 1878, str. 6. — O této přehlásce a > e v slovinštině viz F. Ramovš v AfslPh XXXVII. (1920), str. 325.

aspoň při prvních svých pokusech nahlížel i do české bible, která mu tedy sloužila především jako pomůcka při rozhodování, jakým vhodným slovem přeložiti ten který latinský či německý výraz nebo v jakém významu použíti toho kterého slovinského slova. Odtud je si tedy vyložiti leckterá jeho slova stejného znění nebo stejného významu jako v české bibli na týchž místech. Trubar to sám poněkud naznačil v předmluvě k prvnímu dílu *Nového zákona* z r. 1557, podotýkaje, že nepoužil vždy slova v jeho prvotním významu.[1]) Někdy pak také, když se mu nedostávalo rovnocenného slovinského výrazu (sám si ve výše citované předmluvě z r. 1557 stěžoval do chudoby slovinštiny a do své neznalosti),[2]) přejal z češtiny leckteré české slovo buď docela nezměněné, na př. *vodci*, *anéž*, *milost* (ve významu Barmherzigkeit), *nemilost* (Ungnade),[3]) nebo sám si utvořil po vzoru českého slova obměněný nebo docela nový výraz (na př. *bogastvo* podle čes. *božství*).

Toto vše se jeví zvlášť zřetelně v jeho *Církevním řádě* (*Cerkovna ordninga*) z r. 1564. V něm totiž Trubar byl přímo nucen tvořiti nová slova pro nové pojmy a je docela dobře myslitelno, že při tom mohl hledati pomoc zvláště v českém jazyce, v němž už existovala hotová zásoba takových výrazů v jeho vyspělém reformačním písemnictví, které mu bylo, jak už výše podotčeno, celkem snadno dostupné. Mimo to mu při tom mohl býti ku pomoci i některý polyglotní slovník, jako na př. tak zv. Codicillův *Vokabulář latinsko-česko-německý*, vydaný v Praze už r. 1546, 1550 a 1560 (Jung. Hist. IV., č. 33) anebo i Rešlovy slovníky: *Dictionarium latino-bohemicum* z r. 1560 a *bohemico-latinum* z r. 1562 (Jung. ibid., č. 34), z nichž jmenovitě Rešlův latinsko-český slovník z r. 1560 se snadno mohl nalézati mezi knihami, které českobratrští jinoši r. 1561 s sebou přivezli do Tubink a Urachu, jak o tom dále ještě podrobněji bude pojednáno.

Tak tedy podle české předlohy si mohl utvořiti zejména tyto výrazy, z nichž celou řadu už Kidrič označil jako jeho vlastní tvorbu a jejichž doklady většinou nalézáme právě v Rešlových slovnících: *mirnik*, *zmirnik* (Versöhner) č. *smírník*,

---

[1]) Iv. Grafenauer c. o. v D i S 1914, str. 299.

[2]) Ibid. 299. — Fr. Kidrič, Die protestantische Kirchenordnung der Slovenen im XVI. Jahr. Slavica I., Heidelberg 1919, str. 125.

[3]) Trubar sám doznává, že slov *milost* (Barmherzigkeit) a *nemilost* (Ungnade) v Krajině neslyšel (F. Kidrič, Die prot. Kirchenordnung str. 130); naproti tomu jsou pak obě tato slova docela běžná v češtině XVI. stol. v týchž významech. (Viz Jung. Slov. II., 440.)

smírce (conciliator, mediator, placator); *možica* (Männin) č. *mužice, mužatka* (virago); *pomilosrdje* (Barmherzigkeit) č. *milosrdie, milosrdí* (misericordia); *poročenje* (Befehl) č. *poručení* (mandatum); *obraz, spodoba* (Ebenbild) č. *obraz, podoba* (idea, figura, species); *prejemlenje* (Empfang der Sakramente) č. *přijímání* (participatio, coena dominica); *nedomiselen* (toll) č. *nedúmyslný* (demens, inops mentis), *dúmyslný* (perspicax); *odstati pokuro* (büßen) č. *odstáti*, odčiniti (agere poenitentiam); *nadložiti* (befehlen) č. *uložiti* (determinare, mandare); *pomor* (Pestilenz) č. *mor* (pestis, pestilentia); *zaznamenovati* (bezeichnen) č. *zaznamenávati* (notare, signare); *peržganu znaminje*(Brandmal) č. *připálené znamení, připáliti znamení* (tudiculare); *žleza, žliza* (Pestilenz) č. *hlíza*, morní rána (pestis).

Z češtiny tu také podle všeho přejal celou řadu zdomácnělých cizích terminů i s jejich českými významy, jako na př. *arha* (čoln) č. *archa* (koráb), *artikul* č. *artikul* (článek), *regula* č. *regule* (pravidlo), *šaft* (Testament) č. *kšaft, kšafft* (testamentum), *mordar* (razbojnik) č. *mordéř, mordýř* (latro) atp.[1])

Zdali také myšlenkově čerpal z českých pramenů při skládání tohoto slovinského Církevního řádu, který je veskrz dílo eklektické, v němž kromě vitemberského, norimberského a meklemburského zřízení se jeví stopy ještě několika (nejméně čtyř!) dosud nezjištěných předloh,[2]) nedozrálo dosud k řešení, neboť dříve bude třeba podrobného studia přímých pramenů, které mi však pro tento čas jsou naprosto nedostupny.[3]) Že to vyloučeno není, nasvědčoval by tomu už sám eklektický, k pleonasmu[4]) tíhnoucí duch Trubarův, který asi sotva se mohl ubrániti přejímání příbuzných vlivů náboženského hnutí v sousedních Čechách, kterému se neubránily ani silnější individuality německé reformace. Mimo to Trubar už od r. 1560 měl k Čechám bližší

---

[1]) Slovní materiál z tohoto Trubarova Církevního řádu jsem čerpal z Kidričova spisu „Die prot. Kirchenordnung" str. 126—137.

[2]) Ibidem str. 120 a n.

[3]) Tak jediný exemplář Trubarovy Cerkovne ordningy je dochován v Drážďanech (F. Kidrič c. o. 2.) a Lukášovy Zprávy kněžské z r. 1527, obsahující v první části též bratrskou agendu, pro kterou by mohly v této otázce především přijíti v úvahu (spisy Lukášovy byly posílány Lutherovi a byly mezi německými protestanty hojně rozšířeny), jsou u nás dochovány v jediném exempláři brněnského archivu (Jos. Th. Müller — F. M. Bartoš, Dějiny Jednoty bratrské I., Praha 1923, str. 337—341.). — Také ze spisů Husových, které v XVI. stol. byly zvláště v Německu hojně tiskem vydávány (V. Flajšhans, Lit. činnost M. Jana Husi, Sb. pram. III. tř. ČA skup. 3., čís. 3, str. 26, 70, 155), mohl Trubar leccos čerpati. To vše bude tedy ještě vyžadovati celé zvláštní studie.

[4]) Fr. Kidrič, Die prot. Kirch., str. 91.

vztahy: na krále Maxmiliána obrátil se o dobrozdání stran pravověrnosti svých slovinských spisů a později mu také posílal i charvatské tisky se svými dedikacemi;[1]) v této době pak také vstoupil, jak později ještě bude vyloženo, v bližší styk i s Českými bratry, jmenovitě s jejich biskupem Janem Černým-Nigranem († 1565), kterému r. 1562 dal poslati do Čech prostřednictvím vídeňského Maxmiliánova důvěrníka Ambrože Fröhlicha po exempláři každého jihoslovanského tisku.[2]) Možno tedy u něho docela dobře usuzovati i na vliv s české strany.

Stejně tak nejasnou dosud zůstává otázka Trubarových přímých pramenů církevní písně. Už výše bylo poukázáno, že hned v začátcích své reformační činnosti tiskem zahájil po vzoru Lutherově kult církevního zpěvu, v čemž však německá reformace (sám Luther) následovala osvědčeného prostředku českobratrského. Tak na př. už ve svém *Katechismu* z r. 1550 (či 1551) uvedl šest veršovaných výkladů nejhlavnějších článků víry, a to s melodiemi, z nichž první tři jsou v úzkém vztahu k českobratrským písním; mimo to i texty těchto jeho skladeb jeví značné odchylky od německých protestantských předloh.[3]) Bude tedy třeba se ještě přesvědčiti, zdali snad právě v textových odchylkách těchto a jiných jeho písní se nenajdou nějaké sledy po českobratrských předlohách, ať už z českých nebo německých vydání českobratrských kancionálů,[4]) jichž v tu dobu bylo hojně v oběhu i mezi německými protestanty, kteří rovněž z nich přejímali hotové písně do svých zpěvníků, a to takovou měrou, že jest celou řadu jejich *Gesangbuchů*, jak to už sám R. Wolkan přiznal, nazvati spíše českobratrskými nežli protestantskými.[5]) Podobně bude si třeba počínati i při písních jeho pokračovatelů (Krelj, Dalmatin, Bohorič, Kumpreht a j.) v dochovaných slovinských „pes-

---

[1]) Th. Elze, Primus Trubers Briefe, Bibl. d. lit. Ver. in Stuttgart CCXV. Tübingen 1897, str. 35 a n.

[2]) Franjo Bučar, Povijest hrvatske protestantske knjiž. Zagreb 1910, str. 166.

[3]) Jos. Čerin, Pesmi slovenskih protestantskih pesmaric, njih viri in njih poraba v poreformacijskih časih. Zbornik Mat. Slov. X., str. 130 a 133.

[4]) O vydáních českobratrských kancionálů viz v Zíbrtově BČH III. str. 158—160. O německých vydáních zvláště J. Jireček, Hymnologia bohemica; F. Wackernagel, Lieder d. Böhm. Brüder III. a pak Das deutsche Kirchenlied v. d. ält. Zeit. III.; R. Wolkan, Das deutsche Kirchenlied d. böhm. Brüder im XVI. Jhr., pak Das Kirchenlied d. böhm. Brüder III. a zvláště Böhmens Antheil an d. d. Lit. d. XVI. Jahr. I., II., Jos. Čihula, Poměr Jednoty Bratří českých k Mart. Luterovi ve VKČSN 1897, IV., str. 8.

[5]) R. Wolkan, Das deutsche Kirchenlied der böhm. Brüder im XVI. Jahr., Prag 1891, str. 101. — Toto Wolkanovo přiznání ještě podrobněji prokázali A. Truhlář ve svém referátě v ČČM 1891, str. 527 a n., pak V. Mourek v Alm. ČA 1896, str. 121 a n. a Ot. Hostinský v úvodě k Janu Blahoslavovi (1896).

maricích", v nichž podle Čerina patnáct písní se buď přímo nebo nepřímo vztahuje k českobratrským kancionálům.[1])

Také v otázce pravopisné shledáváme se u Trubara s jakousi českou orientací. Systém slovinského pravopisu, jak sám přiznává, činil mu značné potíže a je viděti, že za tím účelem se zahloubal i do pravopisu českého (patrně i polského), který však se mu pro hromadění souhlásek nikterak nezamlouval, jak to vysvítá z jeho předmluvy k překladu evangelia sv. Matouše z r. 1555.[2]) Ovšem nebyl podle všeho zasvěcen do Husovy pravopisné reformy, kterou ostatně teprve později přivedl k platnosti Jan Blahoslav svým překladem *Nového zákona* z r. 1564.

Do jaké míry znal Trubar česky, nedá se bezpečně zjistiti, ale podle všech známek byla ta jeho znalost asi jen pasivní a dopracoval se jí patrně až v Německu, když přistoupil k překládání sv. Písma, a to srovnáváním latinských a německých biblických textů s českým překladem, při čemž si mohl vypomáhati nějakým slovníkem, jak jsem se o tom již dříve zmínil. Jeho zájem o češtinu nešel podle všeho asi dále, než aby s její pomocí porozuměl některým nejasným slovům a místům latinského nebo německého textu sv. Písma anebo aby také v případě nejnutnější potřeby si utvořil podle tvaru nebo obsahu českého slova nový nezbytný slovinský výraz. Ježto mu pak vždy šlo o to, aby mu prostý slovinský člověk dobře rozuměl, raději užíval ve svých překladech sv. Písma zdomácnělých už nebo nově utvořených germanismů nežli čechismů, jichž tedy u něho není proto celkem mnoho. Ještě nejvíce jich lze připustiti v jeho theoretickém a spíše duchovenstvu určeném Církevním řádě. Z ducha českého jazyka pak vůbec nic nečerpal, neboť jinak nebyl by tak otrocky přikrojil svou slovinštinu podle Lutherovy němčiny. Ovšem nebyl humanista, jazyk mu byl pouze prostředkem, nikoli předmětem kultu.

Byl-li v přímém styku s českými luterány nebo Bratřími, je stejně těžko bezpečně zjistiti. Vydaná jeho korespondence[3]) a ostatní tištěná literatura by tomu mnoho nenasvědčovaly.[4]) Přesto však je možno předpokládati, že aspoň s českobratrskými studenty, kteří v jeho době hojně studovali na německých uni-

---

[1]) J. Čerin c. o. 130. a 132. Čerinovi však šlo více o melodickou stránku písní nežli o text sám.

[2]) Citát u Janka Lokara, Iz predgovorov naših protestantskih pisateljev, Zbor. Mat. Slov. X., str. 7.

[3]) Viz str 21 pozn. 1.

[4]) Ani z rukopisného Archivu Jednoty bratrské, který chová v opisech knihovna Nár. Mus. v Praze, se to nedá bezpečně zjistiti.

versitách a byli často prostředníky mezi českými a německými reformátory,[1]) se mohl dostati do bližšího styku. Tak na př. zejména r. 1561 se mohl seznámiti buď v Tubinkách, kde právě koncem října téhož roku meškal,[2]) nebo v Urachu, kde v tu dobu bylo jeho duchovní působiště,[3]) s českobratrskými jinochy (Georg Vetterus, t. j. Jiří Strejček, Jindřich Švorc, Adam Služský, Zikmund Vlnický),[4]) kteří byli Jednotou vypraveni právě na tubinskou universitu (vedl je Petr Herbert) a přivezli s sebou celý sud českých knih (takto se mohly Trubarovi dostati do rukou i české knihy, jichž mohl použíti zejména ve svém *Církevním řádě*), začež se jim dostalo patrně odměnou při návštěvě Ungnadovy tiskárny v Urachu po výtisku jihoslovanských tisků s přáním, aby je ukázali v Čechách.[5])

Podobně jako Trubarovi měla česká bible sloužiti jako vydatná pomůcka i *Klombnerově*[6]) překladatelské obci v Lublani. Co pro ně znamenala, vysvítá nejlépe z Klombnerova dopisu Ivanu Ungnadovi[7]) ze dne 11. list. 1563.[8]) Z něho jest jasně

---

[1]) Jar. Bidlo, Jednota II., str. 8 a 9.

[2]) Dosvědčuje to jeho dopis čes. králi Maxmiliánovi, datovaný v Tubinkách dne 25. října 1561. Viz Th. Elze, Briefe, str. 138 a n.

[3]) F. Kidrič c. o., Razprave I., str. 246.

[4]) Jar. Bidlo, Jednota I., str. 247; Jednota II., str. 10.

[5]) Fr. Bučar, Povijest, str. 181.

[6]) Matija Klombner, současník Trubarův a s počátku jeho stoupenec, později od r. 1560 jeho odpůrce, zosnoval někdy začátkem r. 1563 v Lublani pozoruhodný plán překladu Starého Zákona do charvatštiny. Díla se měla chopiti celá redakce, která by si rozdělila práci podle svých schopností. (Tedy docela něco podobného, k čemu se v Čechách teprve později dopracovali Čeští bratří (1577), připravujíce kritické vydání Starého Zákona, t. j. Kralickou bibli.) Jako pomůcky jim měly sloužiti zdařilé překlady v jiných jazycích, mezi těmito i česká a polská bible, jejichž prostudováním byl pověřen Jurij Juričić, po případě Cvečić (Bučar c. o. 89. a 219), kterým měl pomáhati Slovinec Kašpar z Hmelnika u Nov. Města, který byl též znalý češtiny. Českou a polskou bibli jim poslal sám baron Ivan Ungnad z Urachu. Viz o tom Ivan Kostrenčić, Urkundliche Beiträge der prot. Lit. d. Südsl., Wien 1874, str. 197 a 201 a n. — Th. Elze, Briefe str. 238, pozn. 39.

[7]) Baron Ivan Ungnad, rodem z Žineka v Korutanech, byl vedle Trubara nejvlivnější osobou reformačního hnutí slovinského a charvatského; ač Němec, byl podpůrcem veškery protestantské akce mezi Slovinci a Charvaty, jejich prostředníkem u protestantského panstva domácího a německého, jakož i u českého krále Maxmiliána, jejich finančníkem, prvním tiskařem a nakladatelem. Jsa švagrem hraběte Albrechta Šlika a maje svého syna Ludvíka ve službách českého krále Maxmiliána, byl patrně v dobrých stycích s českou luteránskou šlechtou a Prahou, kterou poznal na podzim r. 1555 na své cestě do dobrovolného vyhnanství do Němec a kde v šedesátých letech (1563) měl i svého důvěrníka Wolfa. V Čechách také zemřel o vánocích r. 1564 u své sestry ve Vintířově, chtěje odtud navštíviti v Praze nově zvoleného císaře Maxmiliána II., aby s ním vyjednával v příčině náboženské svobody. — Viz Fr. Kidrič, Ivan Ungnad v prognanstvu v ČJKZ I., 64, 153 a II., 47, 188; pak Fr. Bučar c. o. 163; Ottův Slov. Nauč. XIII., 404 a XXVI., 183, a n.

[8]) Částečně jej uveřejnil Iv. Kostrenčić c. o. 197; cituje jej též úplněji Th. Elze, Briefe 238, 39 p.

viděti, jakou váhu kladli tito slovinští a charvatští překladatelé bible zvláště na český její překlad, z něhož (jako už před nimi Trubar) čerpali především vysvětlení některých nejasných slov a obratů, považujíce češtinu a polštinu (měli totiž i polskou bibli, kterou jim rovněž obstaral Ungnad) prostě za odnož charvatštiny.[1]) K němu se uchylovali hlavně z jazykových zřetelů, nikoli co se týče znění textu, neboť v tom se důsledně drželi Luthera. Mimo to je z tohoto dopisu také docela zjevno, že se tímto jazykovým studiem slovanských, hlavně však českého překladu bible prohlubovalo a utvrzovalo jejich vědomí slovanské příbuznosti, kterou i soudobá tehdejší humanistická věda zakládala právě na jazykové souvislosti všech Slovanů. (Dokončení příště.)

Václav Burian.

---

[1]) V tom je zajisté shledávati ohlas kronikářské tradice, která za vlast Čechu a Poláků souhlasně uváděla Charvatsko, kterouž legendu po Aeneovi Sylviovi zvláště v tu dobu šířila česká Hájkova kronika z r. 1541.

Klausule Husovy.

Vyložil jsem před několika lety v Naší řeči (1925, IX, 257—263 »Husovo umění slovesné«) něco o rytmické stránce Husovy prósy; ukázal jsem tam, že si byl Hus dobře vědom rytmu svých vět i jejich členů a že s oblibou k závěru svých členů, vět a period stavěl slova trojslabičná s dvojslabičnými, formulí 3:2; že měl dobře vycvičený sluch pro zvukové kvality svého slohu a že i v tom, jako v obsahu, šel za svým vzorem, sv. Řehořem Velikým.

Zde si chci všimnouti jenom jedné části tohoto thematu, totiž *závěrečné klausule*, jak ji vypěstoval pozdější středověk, u nás zvláště císařská kancelář Jana ze Středy. Jde o to, poznati, kterak usus Husův souvisí se svou dobou a s kterými předchůdci. O této věci bylo u nás dosud celkem málo psáno; snad jen práce Fr. Novotného, Herojská klausule v české próse (1915 v Listech filologických XLII, 277—281, k níž ho ovšem vedly jeho studie, uložené v obou svazcích Eurhythmie řecké a latinské prósy v Rozpravách Č. Akad.), všímající si »tohoto formujícího principu prósy« u Ant. Staška, zabývala se zevrubněji tímto thematem — ale ovšem s hlediska metriky klasické.

Klasické klausule metrické, zkrátka 'cursus', založené na kvantitě slabik,[1]) byly vystřídány ve středověku záhy *kursem rytmickým* nebo *akcentujícím*, jehož hlavní zásady vyložil 1891/3 Wilh. Meyer (Gesammelte Abhandlungen zur mittellatein. Rhythmik, Berlin, 1905, II, 202 nn., kdež otištěny články z r. 1891 Der akzentuirte Satzschluss in der griechischen Prosa vom IV. bis XVI. Jahrhundert, a z r. 1893 Die rhythmische lateinische Prosa). Přehledně a pěkně o hlavních těchto kursech informuje *L. Traube,* Vorlesungen und Abhandlungen, II, 1911, str. 115—120; nám zde je důležitá oprava, provedená na konec XI. stol. pozdějším papežem Gelasiem II., jež vládla ještě ve XIV. stol. Podle ní tou dobou byly obvyklé tři klausule (formule):

a) *cursus planus*: mágna portábat, ábsque minístro, térre statúta . .

---

[1]) Kromě zmíněných již prací Novotného jest zejména poučná klasická kniha Nordenova, Die antike Kunstprosa 1898.

b) cursus tardus: mágna portáverat, dáre dignémini, ésse cognóvimus . .

c) cursus velox: máxima portavérunt, dúximus requiréndum, sédule deprecámur . .

Tyto formule (tak ukazuje Meyer II, 209/210) šířily se pak i do národních jazyků; texty německé již ve XIII. stol. zachovávají zákony kursů, modifikují je, rozmnožují a šíří po celé literatuře tehdejší i pozdější. Toto šíření v kanceláři Karla IV. za Jana ze Středy popisuje 1926 zevrubně Konr. Burdach ve svém velikém díle »Vom Mittelalter zur Reformation«, hlavně v díle III, 2 »Der Dichter des Ackermanns von Böhmen und seine Zeit« a v díle V »Schlesisch-böhmische Briefmuster aus der Wende des XIV. Jahrhunderts«. Podle Burdacha v listech kanceláří tehdejších vyskýtá se *cursus tardus* (–́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪) vůbec zřídka, *cursus velox* (–́ ∪ ∪ –̀ ∪ –́ ∪) hojně uprostřed textu — a *cursus planus* (–́ ∪ ∪ –́ ∪) nejčastěji na začátku a na konci listu.

Taková byla asi literární tradice doby Karlovy u nás — a trvala také, jak Burdachovy výklady ukazují, ještě za prvních let vlády Václavovy, tedy v době, kdy se Hus učil svým počátkům rhetoriky. Pohlédneme-li na formule ty, jak jsou uvedeny (je to opravený kurs starši, zvaný ‚cursus Leoninus reformatus‘ nebo ‚cursus Gregorianus‘, podle toho, že jej vyložil Řehoř VIII. ve své Forma dictandi), jest ovšem ihned patrno, že beze změny mohl staročeský autor přejmouti jenom ‚cursus velox‘ (tak na př. v Passionále končí se legenda o sv. Abdonu ‚paddesát třetie léto‘, nebo o nalezení těla sv. Štěpána ‚dvadcěti čtvrté léto‘ nebo o sv. Donátu ‚osmdesátého léta‘: ‚osm‘ jednoslabičně, leg. o sv. Ščastném a Sbožném ‚osmdesát sedmé léto‘, atd.), ale že musil zejména ‚cursus planus‘ podle českého přízvuku pozměniti, na př. v typ: ‚na věky Amen‘ (v Passionále, závěrek legendy o nar. sv. Jana Křt., o sv. Felicitas atd.) A ovšem vidíme, že i zde Čech rozmnožil typy obecné, přijav ještě Meyerův typ šestý (∪́ ∪ ; ∪ ∪ ∪́ ∪) ve formě v Passionále v závěrku velmi časté: ‚věky věkóm Amen‘.[1])

Takové tedy formule (cursus planus změněný, cursus velox nezměněný — a Meyerův typ šestý, formuli ‘věky věkóm Amen’) můžeme očekávati v lepších literárních textech českých doby Kar-

---

[1]) Formule ‚věky věkóm Amen‘ vyskýtá se v závěrku nejstaršího oddílu sedmkráte; téhož typu je na př. závěr leg. o sv. Eufemii ‚jejie svaté tělo‘ atd. Jest ovšem možný, podle počtu 6 slabik, i jiný výklad: že jest to totiž pouze jistým způsobem pozměněný ‚cursus tardus‘, jenž ve své původní formě byl v češtině nemožný. Prakticky rozdíl obou výkladů není ovšem veliký.

lovy na konci odstavců, kapitol nebo na závěrek díla; nalézáme je také vskutku v Passionále, Životě Krista Pána, Životě sv. Jeronyma atd. Ale je vždy možno namítati proti takovým nálezům, že mohou býti nahodilé, že snad nesprávně oddělujeme konec věty od ostatního kontextu, že nejsou klausule prováděny důsledně — a že tu není tedy nutící jistoty. Je třeba hledati texty, kde by tyto omyly byly vyloučeny co možná nejvíce.

Takové texty jsou české *listy Husovy*. Některé z nich máme dochovány v hojných a velmi starých rukopisech, je zde tedy dobře zajištěno písemné dochování; Hus byl autor, o němž jistě víme, že tento usus kancelářský znal a že své skladby nejen rytmisoval, nýbrž i samostatně veršoval; máme paralelní listy a práce latinské, jež se shodují formálně se soudobými texty podobnými; konečně některé jeho listy jsou psány ve vězení, kde neměl předloh ani úmyslu jiného, nežli potřebu vysloviti se jasně a zřetelně.[1])

Že Hus tyto kursy znal, o tom nemůže býti pochybnosti; jde zde ovšem o to, který kurs u něho převládá. O tom nejlepší poučení předběžné podávají ovšem texty latinské. Všimněme si zde jenom jeho latinských textů nejznámějších a nejumělečtějších.

Slavná Husova »Appellatio ad Jesum Christum« zavírá svůj text slovy ‚frívola èxcusátus', podpis Husův končí ‚hóminis iùstam cáusam'.

Největší dílo Husovo, Super Sententias, má tyto závěry: Prolog ‚(Ec)clésie dìffundátur'; I. kniha ‚(recti)túdine cònserváre'; III. kn. (konec začátku úvodu) ‚(miseri)córditer ìncarnátus': III. kn. (závěr knihy) ‚véterem lègem Móysi'; IV. kn. závěr ‚útile rèserváre'; IV. (epilog a celé dílo) ‚pótui pèrveníre'.

Nejznámější traktát Husův, v Kostnici odsouzený, »De ecclesia« zavírá ‚pósterum dìsseréndis'; spolu s ním odsouzeny traktáty »contra Páleč« a »contra Stanislaum«: první končí ‚(adhe)réntibus dèbent séqui. Amen.'; druhý ‚(fre)quéntibus sùnt conscrìpta'.

Proslavený spis 'de sex erroribus' praví na konec ‚(ef)fúgiant sèmpitérnam. Amen.'

V těchto, až dotud uvedených traktátech vidíme jednu zvláštnost již, kterou uvidíme níže ještě častěji: v traktátu ‚contra Páleč' a ‚de

[1]) Při počítání slabik v klausulích koncových jest opět již v podstatě věci samé založen rozdíl mezi texty českými a latinskými. Texty české, kladoucí přízvuk (v této době již pravidlem) na první slabiku, mají ovšem i počet slov přesně podle formule; texty latinské, jež mohou míti přízvuk až ke konci slova, mívají často přední část slova mimo formuli; tyto části slov (formule) počítá jen se slabikami přízvučnými a k nim náležícími bezpřízvučnými dávám pro názornost do závorek.

sex erroribus' Hus patrně závěrečné ,Amen' do klausule nepočítá; nemůžeme ovšem říci s jistotou, zdali toto ,Amen' náleží autoru či opisovači — ale jistě, i kdyby skutečně náleželo autoru, dovedeme si vysvětliti, proč není vpočteno do klausule.

Traktát ,De sanguine Christi' má dvě části: kvestie má na konec ,(ka)thólice èst tenénda', výklad sám ,póstmodum iùgulábunt'.

Traktát ,De corpore Christi' podle starších vydání jest odchylný; končí se slovy ,in novissimo die'. Ale z mého vydání 1903 jest viděti, že to není závěr Husův; text Husův končí slovy ,pérpetim còllocáre', jeho dovětek slovy ,(in)àniter dècertárent'.

Jest z těchto dokladů zcela jasně patrno, že u Husa vládne ,*cursus velox*', takřka bez výminky; a kde jsme výminku shledali, viděli jsme, že ji nové zkoumání rukopisné dokonale odklidilo.

Parádní Husova t. zv. kázání synodní (uvádím čísla podle norimberského vydání; čtenář nalezne pohodlně doklady v mé Liter. činnosti Husově, 1900) mají tyto závěrky:

2. ,sécula bènedíctus. Amen.'; 3. ,(eter)náliter bènedíctum. Amen'; 4., 5., 7., ,sécula sèculórum. Amen'; 6. ,(seculorum) sécula bènedícto. Amen.' a 9. ,(principa)líssimum fùndaméntum'. V žádném z nich není ,Amen' počítáno do klausule. Při tom je zajímavé, že kázání 7., na slova ,Vos estis sal terre', jsem nalezl v jiném znění, Husovi rovněž připsaném; toto jiné znění, též Husovo, končí slovy ,(inviola)bíliter cònservétur'. Veskrze tedy výhradně ,cursus velox'.

Co jsme viděli v Husových traktátech a kázáních, nalezneme ovšem také v (latinských) listech. Není arci možno, zde uváděti všechny; některé listy jsou jen pouhá všední sdělení, jiné máme dochovány ve znění nesprávném atd. Uvádím zde tedy jenom závěrky listů významnějších a lépe dochovaných.

Arcibiskupu Zbyňkovi ,témpore òpportúno'; — Rich. Wycheovi ,(ex)súperat òmnem sénsum'; — Joh. Barbato ,(superi)óribus èst paréndum' (dovětek ,cánibus òbviáre'); — Janu XXIII. ,(ca)nónicas sànccióness (nadpis končí ,(pon)tífici èxhibéndam'); — kardinálům ,(ple)nárie ìnformábunt' (nadpis ,(reve)réncia ìn mandátis); — králi Vladislavu (Magni)ficénciam prèserváre' (nadpis 'glórie cònsequénda'); — Dolanským ,(in)dícium vèl scriptúram'; — Patri 1 ,hóminem iùdicábit' (jeden rukopis čte chybně jinak); — Patri 2. (paci)éncie ìn presénti'; — přátelům 23. VI. 1415 ,dóminum Jèsum Chrístum'; — universitě 27. VI. ,(cre)díbilem vèritátem'; — Janovi z Chlumu (Docum. 89) ,(de)crévérit hìc nos páti. Amen' a dovětek ,(salu)tábitis pròpter Déum' atd.

Proti tomuto počtu ‚cursus velox' ustupují (v latinských textech) případy ostatních kursů úplně do pozadí; jsou sice případy i pro *cursus planus* (v listech n. př. Dolanským, nadpis ‚dátus est nóbis', Havlíkovi ‚Chrísti fidéles', Pražanům 4. XI. 1414 ‚ín veritáte', mnichovi ‚(va)léte in Chrísto' atd.), ale jsou mnohem řidší; případy pak ‚*cursus tardus*' jsou tak vzácné, že můžeme mluviti jen o výminkách. — —

Jest docela pochopitelné, že týmž způsobem zavíral Hus také své české práce: skládal-li své české verše týmž způsobem, jako verše latinské, je docela přirozené, že najdeme touž zálibu v týchž kursech, jako v textech latinských. Ovšem, díla česká nejsou tak vybroušena, jako parádní texty latinské; Hus se k nim obracel pozdě a psal kvapně; rukopisy nejsou přesné; ale i tu můžeme přece souditi s jistotou dosti velikou.

K nejlepším a nejdokonalejším pracím Husovým náleží Dcerka; cituji její závěrky podle vydání pí. A. Kolářové-Císařové z r. 1927; ze závěru jejích 10 kapitol a úvodu uvádím:

Úvod: Kónečně chci zavřiéti;
kap. II.: dúchovně vèsel býti;
» III.: státečně pòspiecháti
» VI.: královstvie nèbeského
» VII.: chóvaj jie vèlmi čístě
» X.: ná věky pòžehnaný:

Z 11 případů 6 cursus velox; 2 případy '*cursus planus*': kap. 8. 'ú věčnū múku' a 9. ‚mílovnīkóm svým', tři případy nejisté. — V Postile české na evang. nedělní končí

čtení 2. ná věky Jéžīš Krístus
» 3. z mílosti žívot věčný
» 4. ná světě, jákž jest ráčil
» 7. ú čtenie jiných smýslōv
» 8. svého i jého. Ámen.
» 9. pómoci milý Krístus atd.

Českých listů nemáme dochováno mnoho; některé mají nejisté dochování; tím důležitější je svědectví asi těch 15, jichž můžeme užíti. Cituji jen známé a významné, zejména rozluční veliké kostnické. I zde vidíme, že *cursus velox* má velikou převahu, ač ovšem *cursus planus* má více dokladů než v textech latinských; a i zde vidíme, že Hus závěrečné Amen do klausule nepočítá. (Citáty čtenář snadno najde v kterémkoli vydání listů.)

Soudcům zemským: ‚Mílosti pòtvrdíti. Amen.

Plzeňským: Márie ì všech svátých. Amen; (nadpis:) nášeho Jèzu Krísta;

rozluční s Pražany 1414: búdeme přèbývàti;

16. XI. 1414; (nadpis) vstúpiti v ràdost věčnū;

19. I. 1415: přéd svatým Fàbiánem;

10. VI. 1415 (nadpis) ná věky přèbývàti;

23. VI. 1415; vám i mnè vèčnū rádost; (datum): pró boží pràvdu jést sťat;

26. VI. 1415 (nadpis) ná věky přèbývàti; (záv.) mílosti àž do smŕti;

29. VI. 1415: húbiti dòbrých kněží (dovětek Martínkovi: có sem tě vèrně účil atp.)

Cursus velox (případy nejsou uvedeny všechny) má tedy rozhodnou převahu; cursus planus se jeví takto:

19. I. 1415 (první závěr) ódplatu vzéli;

p. Škopkovi jeden: v čákānī smŕti;

» druhý: mílost a přiezeň;

10. VI. 1415 (závěr) káždēmu přáli; (datum) pó dobrēm Němci (zde ovšem rukopisy mají varianty: póslu, ánjelu: po dobrém anjelu by byl cursus tardus, vzácný);

24. VI. 1415 (nadpis) státečně stáli.

Jest tedy viděti, že na konec přibývá záliby v cursus planus, ač ovšem cursus velox stále převládá.

Toto malé pozorování shoduje se se starším již mým výkladem, že Hus měl jemný smysl pro rytmiku své prósy — ale podává také jistá vodítka pro konstrukci textu, u Husa tak obtížnou v jednotlivých podrobnostech.

V. Flajšhans.

Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского.[1]

II.

Отражения „Пиковой Дамы" в творчестве Достоевского.

Памяти Бориса Львовича Модзалевского посвящаю.

1.

Образ пушкинского Германа поразил воображение Достоевского. Ведь не случайно он назвал его „колоссальным лицом, необычайным, совершенно петербургским типом". В „Подростке" герой, говоря об отрезвляющем действии утра, бросает такие знаменательные слова: „Но мимоходом, однако, замечу, что считаю Петербургское утро, казалось-бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого нибудь пушкинского Германа из „Пиковой Дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, — тип из петербургского периода!) — мне кажется должна еще более укрепиться".[2])

Есть все основания утверждать, что такое понимание Достоевским образа пушкинского Германа сложилось значительно ранее времени его работы над „Подростком".

Во время своей работы над планом будущего романа, летом 1874 года в Эмсе, Достоевский вновь читает и перечитывает Пушкина. В одном из своих первых писем жене из Эмса, 28—16 июня 1874 года он пишет: „После кофе утром я что нибудь делаю, до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что нибудь новое. Но сам за то не могу еще ничего скомпоновать из романа . . ." [3])

---

[1]) Нач. см. »Slavia«, т. VII, кн. 1, стр. 62—86.

[2]) Ч. 1, гл. 8. Полн. Собр. худ. произвед. Л.-М. 1927, т. VIII, стр. 116. Подчеркнуто здесь и далее мною. — А. Б.

[3]) Письма Ф. М. Достоевского к жене. М. 1926, стр. 110. О характере работы Достоевского над планом „Подростка", сохранившимся в его рукописях, см. там-же, примечания №№ 156 и 159 (стр. 348).

Это чтение Пушкина должно было оживить в Достоевском старые следы и вновь вызвать к жизни художественные ассоциации, с пушкинскими образами связанные. Если нам удастся одно из звеньев таких ассоциаций, нашедших свое отражение в ,,Подростке", прикрепить к более раннему времени, то и другое звено, связанное с ним, мы вправе до известной меры предполагать в сознании Достоевского имевшимся в этот, более ранний по времени, период.

В ,,Подростке" непосредственно за словами о Германе идет известное место о Петербурге, уходящем ввысь вместе с туманом:

,,Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза," говорит подросток: — ,,А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет-ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовой всадник, на жарко дышащем, загнанном коне?" Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец поэзия, а, стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уже совершенно бессмысленный вопрос: ,,Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится — и всё вдруг исчезнет."

Этот образ города-сна, исчезающего вместе с туманом, прочно ассоциировался у Достоевского с фантастическим героем его, с ,,петербургским типом", как он назвал Германа. Уже в 1861 году, в исключительных по своему значению для творческого развития Достоевского ,,Петербургских сновидениях в стихах и прозе" встречается у него тот-же образ города-сна. Набрасывая картину Петербурга в морозный вечер, Достоевский говорит здесь:

,,Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу."[1])

Но в свою очередь, почти буквальное повторение не только этого места, но и самого описания Петербурга в морозную ночь встречается в одном из ранних произведений Достоевского, в рассказе ,,Слабое сердце".[2])

Я склонен утверждать, что — при всей отдаленности сюжетов и образов ,,Пиковой Дамы" и рассказа

[1]) Полн. собр. соч. изд. ,,Просв.", т. XXII, стр. 180.
[2]) См. Полн. собр. худож. произв. Л.-М. 1926, т. I, стр. 406—407.

„Слабое сердце“, — в этом рассказе Достоевского есть следы пушкинского воздействия, вызванные наличностью прочной ассоциации между городом, исчезающим вместе с туманом и его фантастическим героем.

Этот рассказ, до сих пор не нашедший себе надлежащего места в системе развития творческих идей Достоевского, я назвал-бы, именно в этой системе: „рождением героя“. И не Вася Шумков, жалкая жертва фантастического города, является этим рождающимся героем, а его друг — Аркадий Иванович. Трагическая судьба Васи, не вынесшего своего счастья, вызвала в Аркадии Ивановиче подлинный душевный переворот. Здесь, в момент „видения на Неве“ родился новый герой Достоевского, который в размышлении о судьбе „слабых сердцем“, „униженных и оскорбленных“ — затоскует по силе, попытается утвердить свое место в жизни даже через преступление. Вчитайтесь в заключительные слова этого рассказа, — разве это не музыкальная увертюра, дающая новый трагический мотив в развитии пьесы, которая уже предчувствуется нами, но еще только не поднята палочка дирижера, чтобы захватить нас звуками нарастающей трагедии?

„Какая то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе незнаемого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту ... Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость.“ [1])

И как легко связывается это „рождение героя“ с личными переживаниями самого Достоевского. Он сам ведь прикрепил „минуту своего нового существования“ к такому же „видению на Неве“, какое пережил Аркадий Иванович.[2]) Но эту тему о личных мотивах в творчестве Достоевского сейчас придется оставить. Важнее другое, что̀ становится ясным только теперь — при таком понимании связи личного и творческого моментов в художественных замыслах Достоевского: время зарождения самого ядра „Преступления и

---

[1]) Полн. собр. худ. произв., т. I, стр. 407.
[2]) См. „Петрбургские сновидения в стихах и прозе“. Полн. собр. соч. изд. „Просв.“, т. XXII, стр. 180 и 181.

наказания" надо отнести именно к этому моменту „рождения героя".

Видение уходящего ввысь вместе с туманом Петербурга, ассоциировавшееся в глазах героя „Подростка" с образом Германа, ведет нас таким образом через фельетон 1861 года к рассказу „Слабое Сердце". Фантастический город влечет за собою и образ его героя — фантаста, мечтателя и мистика. Его рождение, или вернее перерождение мы видим в минуту раздумия Аркадия Ивановича над судьбой своего погибшего друга, Васи Шумкова. Назревает бунт человека, уязвленного зрелищем человеческого несчастья и горя. В душевном переломе Аркадия Ивановича предчувствуются роковые раздумья Раскольникова. Впервые на фоне мглистого Петербурга вырисовывается таинственное лицо пушкинского Германа. Оно только мелькнуло по ассоциации с уходящим ввысь Петербургом и скрылось. Но и эта тень Германа не прошла бесследно для сюжета рассказа „Слабое Сердце". Она наложила свои трагические черты на лицо одноименной героини с „Пиковой Дамой", на невесту погибшего Васи Шумкова — Лизу. И чтобы резче выявить это сходство — Достоевский непроизвольно кончает свой рассказ эпилогом, близко напоминающим памятные строки заключения „Пиковой Дамы", только со столь характерным для Достоевского психологическим осмыслением замолчанной Пушкиным трагедии.

Я напомню здесь оба эпилога:

У Пушкина:

„Герман сошел с ума . . . Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине." [1])

У Достоевского:

Вася сходит с ума. Его приятель Аркадий Иванович „через два года . . . встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава Богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит . . . Но вдруг среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтобы скрыть от людей свое горе . . ." [2])

---

[1]) Собр. соч. изд. Ладыжникова. Б. 1921. IV., стр. 506. Всюду дальше цитаты по этому изданію.

[2]) Полн. собр. худ. произв., т. I, стр. 407.

2.

Среди странных снов, овладевших сознанием фантазера и мистика после видения на Неве, есть один, значение которого остается еще недостаточно выясненным в общей системе творческих образов Достоевского. Это образ чиновника — Гарибальди, которому Достоевский отвел центральное место в ряду своих фантастических снов.[1]) Для ясности моей мысли мне придется этот сон передать здесь целиком:

,,Приснилось мне недавно вот что: жил был один чиновник, разумеется в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то наверное на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутом, так, из ласки, когда он перебегал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы; не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то пришепетывая, как будто замаливал у Господа свои прегрешения. Терпения не стало, наконец, ни у матери, ни у детей. Они жили в мезанине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзания дошли, наконец, до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он Гарибальди! Да! Все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских... И вот в нем образовалась мало-по малу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь Божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все... Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать сознаюсь во всем, я — Гари-

---

[1]) Хотя Достоевский делится с читателем своими творческими снами в фельетоне 1861 г., но по времени их зарождения они должны быть отнесены к началу писательской деятельности, как явствует из содержания фельетона и сопоставления намеченных сюжетов с ранними произведениями Достоевского.

бальди, делайте со мной что хотите!... Ну и сделали с ним... что надо было сделать." [1])

Вдумываясь теперь в этот сюжет Достоевского, так подробно им рассказанный, я полагаю, что в процессе художественной реализации своих замыслов главная мысль этого сюжета о „Гарибальди, флибустьере и нарушителе естественного порядка вещей" была им использована в образе Прохарчина, готового возомнить себя Наполеоном, чтобы затем позже найти свое полное воплощение в „Преступлении и Наказании".

Бунту наблюдателя чужого горя предшествовал назревавший бунт самого страдальца, безответного героя ранних повестей Достоевского. Он уже намечался в отдельных местах писем Макара Девушкина, давал о себе знать в бредовых галлюцинациях Голядкина, трагически прозвучал в безумном рапорте Васи Шумкова: „Я с телесным недостатком, Ваше Превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу..." Полнее всего этот бунт маленького человека отразился, однако, в „Господине Прохарчине". В замечательном споре Прохарчина с Марком Ивановичем этот бунт, наконец, прорвался наружу, но только с тем, чтобы окончательно сокрушить самого вольнодумца. В споре этом Прохарчин кричит Марку Ивановичу:„ Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил: пряжку тебе и пошел вольнодумец!" [2]) И впервые в разгоряченное бредовое сознание бунтаря подбрасывают со стороны образ Наполеона. Марк Иванович, возмущенный вольнодумством жалкого Прохарчина, прогремел ему в лицо: „Чты вы, один, что ли, на свете? для вас свет что ли сделан? Наполеон вы, что-ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет? Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..." На этот вопрос Прохарчин не мог уже ответить, так как наступил кризис его смертельной болезни.

---

[1]) „Петерб. сновидения в стихах и прозе." П. с. произв., изд. „Просв.", т. XXII, стр. 184—186. Я здесь не касаюсь вопроса о гоголевском влиянии на построение этого сюжета. Достоевский вполне сознательно пользуется гоголевским зачином „Шинели" („Итак, в одном департаменте служил один чиновник..."), слегка его видоизменяя („жил был один чиновник, разумеется в одном департаменте"), чтоб подчеркнуть эту связь с гоголевской „Шинелью", равно как упонинанием Поприщина связывает его с „Записками сумасшедшего".

[2]) См. у Гоголя в »Шинели«: »... выслужил он, как выражались остряки, его же товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу«.

Совершенно очевидно, что в „Господине Прохарчине“ Достоевский художественно рассказал историю чиновника, вдруг возомнившего себя Гарибальди, соединив ее с рассказом о титулярном советнике Соловьеве, этом новом Гарпагоне, который он вычитал в газетах и о котором поведал в том же своем фельетоне 1861 года:

„Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а всё-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-время не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством, и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169.022 р. с. кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент управы благочиния, а тело умершаго подлежит вскрытию . . .[1])

В отличие от „Господина Прохарчина“ в сюжете фельетона 1861 года бунт чиновника, возомнившего себя Гарибальди, связан с непереносимостью страданий близких — жены и детей. И этот „Гарибальди, флибустьер, нарушитель естественного порядка“ уже стал на перекрестке между двумя разновидностями бунтовщиков Достоевского. Он не выдержал картины человеческого страдания и пытается из стана побежденных судьбой перекинуться, хотя бы в больной фантазии своей — в стан победителей. Подобно Пушкину в „Скупом Рыцаре“ (Достоевский сам сознается в этом влиянии),[2]) Достоевский выдвигает идею властвования путем денег. И Прохарчин и Соловьев-Гарибальди оба оказались во власти идеи — утвердить свою личность путем богатства.

Но ведь эта идея заложена в иной постановке в „Пиковой Даме“ Пушкина. Герман обнаруживает тоже невероятное упорство в достижении своей мечты — „упрочить свою независимость“ путем бережливости. И только

---

[1]) Т. ж., стр. 186—187. См. также дальнейшее развитие сюжета, стр. 188—189.

[2]) »Я еще в детстве выучил наизусть монолог »Скупого Рыцаря« у Пушкина, говорит Подросток, — выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил« (П. с. худ. пр., стр. 77).

страстный характер наводит его на иной путь разрешения задачи, на путь, по которому пойдет позже Раскольников.

Вторично появляется тень Германа в творчестве Достоевского, но и здесь он не называет его имени. Только окольными путями мы обнаружим отсвет его тени.

Вспомним, что эта сторона сюжета „Пиковой Дамы" — идея бунта через власть денег — ярче всего отозвалась позже в „Подростке" Достоевского. Это самостоятельная тема, и она требует отдельного рассмотрения. Но одно несомненно, что „идея", завладевшая сознанием подростка прямыми нитями связана с центральными мыслями „Пиковой Дамы" и „Скупого Рыцаря", а следовательно эта связь нисходит и к раннему сюжету Прохарчина и Соловьева-Гарибальди. И если в „Подростке", через „Пиковую Даму", связующую эти сюжеты, фигура Германа появилась во весь свой „колоссальный" рост, то ее тень пала и на рассказ о Прохарчине. Не случайно Достоевский, назвав Германа лицом колоссальным, этим же словом выразил значительность образа своего „нового Гарпагона". Вот как он о нем говорит в фельетоне 1861 года: „И вот (у меня воображение быстрое) перед мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев *лицо колоссальное*".

Прохарчин не выдержал брошенной ему мысли о Наполеоне. Не потому-ли, что она попала на уже подготовленную почву? „Слабый" Прохарчин свой бунт искупает смертью. А что, если мысль о Наполеоне будет позже подсказана новому бунтарю, рождение которого связано с роковым „видением на Неве"? Не приведет ли это к иному концу, концу, досказанному в „Преступлении и Наказании"? И снова нити сходятся в одном узле, снова выплывает образ пушкинского Германа, „*напоминавшего портрет Наполеона*".

Но образ Германа с призраком Наполеона ведет нас непосредственно к тому произведению Достоевского, в котором он по своему переосмыслил и заострил тему пушкинской „Пиковой Дамы".

3.

Достоевский был необычайно чуток к чужому литературному воздействию; это показало уже предшествующее исследование влияния на него Гоголя. Но именно это изучение

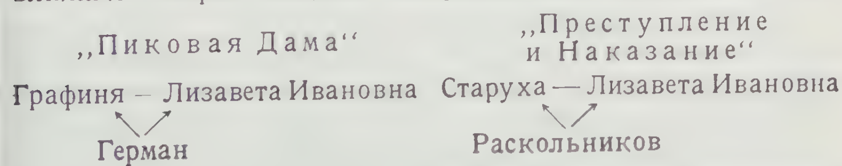
обнаружило, что возбудителем художественной восприимчивости Достоевского было не столько само литературное произведение, сколько круг идей, скрытых в нем. Достоевский преодолевал Гоголя, борясь с его „безъидейностью"; при этом он смело пользовался его сюжетами и отдельными деталями, заполняя их своим идейно-художественным содержанием. Иным было отношение Достоевского к Пушкину. Мы знаем, как высоко ставил Достоевский Пушкина уже с первых лет своей сознательной жизни. Не трудно показать, что взгляд его на Пушкина, высказанный в его лебединой песне — знаменитой пушкинской речи, почти буквально повторяет мысли, высказанные в разных местах значительно ранее. Но не эта оценочная сторона Пушкина-писателя сейчас меня интересует. Важно, в каком направлении шло влияние Пушкина на Достоевского. Здесь предстоит еще большая и детальная работа. Я могу пока что бросить только несколько общих мыслей.

Влияние Пушкина было органическим, оно вошло в плоть и кровь художественной натуры Достоевского, и следы его поэтому трудно установить в отдельных конкретных случаях. Пушкинская проза была для Достоевского тем совершенством, к которому он всегда стремился приблизиться. Но трудно было найти две более различные художественные индивидуальности, чем были Пушкин и Достоевский. Стихийному гению Достоевского не дано было следовать гармоническому Пушкину. И поэтому в влиянии Пушкина на Достоевского обнаруживается любопытная черта. Исходя от Пушкина в некоторых своих образах, он немедленно перетолковывает их, заставляя жить их иной жизнью, бурной и трагической, такой, какой только и могут жить герои Достоевского. Это раскрытие трагических возможностей в героях Пушкина особенно ярко сказалось в характере воздействия „Пиковой Дамы" на „Преступление и Наказание".

Когда я здесь говорю о влиянии Пушкина на Достоевского, я далек от того, чтобы придавать этому влиянию обычно принятое в историко-литературных работах исключительное значение. Для меня прежде всего литературные отражения в творчестве такой же материал, которым пользуется с разной степенью сознательности художник, как и всякий другой (биографический, исторический и т. п.). Я выставляю гипо-

тезу о художественном воздействии на Достоевского ,,Пиковой Дамы", как законченного художественного целого. Произведение Пушкина с его образом Германа было одним из творческих возбудителей Достоевского на протяжении многих лет. Моя гипотеза предполагает в таком случае наличие каких то реализованных в творчестве Достоевского следов этого воздействия. В отыскании этих следов и заключается моя задача. Чем более их окажется при внимательном анализе творчества Достоевского, тем гипотеза о воздействии ,,Пиковой Дамы" на творческое воображение и его закрепление в слове будет обоснованнее. Отсюда и другой вывод: пусть даже отдельные сопоставления окажутся при проверке несостоятельными, это несколько ослабляет, но еще не подрывает верность моего общего положения.

Пушкинская сюжетная схема легла в основу ,,Преступления и Наказания". В этом нельзя сомневаться, если ближе сопоставить конкретное развитие двух совпадающих схем. Ведь в основе обоих произведений лежит такая схема: через преступление к поставленной цели. Но эта общность требует той степени конкретизации, которая по крайней мере делает возможным влияние, а не случайное совпадение. Смерть старухи, виновником которой является герой на пути достижения своей цели — вот уже та степень сюжетного совпадения, которая дает право постановки вопроса о влиянии. Еще более в пользу влияния говорит сходство построения двух сюжетный схем:



Герман губит старуху-графиню и попутно морально ,,убивает" ее воспитанницу, живущую с нею в одном доме — Лизавету Ивановну. Раскольников убивает старуху-ростовщицу и здесь же убивает и ее сводную сестру — Лизавету Ивановну. Обращаю внимание на обычный прием Достоевского — усиление сюжетных положений и снижение сюжетного стиля. Этим достигается бо́льшая напряженность действия, его психологическая насыщенность и приближение к жизни, путем перенесения в иную социальную

среду. Совпадение в имени побочной жертвы не считаю случайным; оно выдает, скрытую может быть для самого Достоевского, связь обоих сюжетов. Я вообще склонен таким „пустякам“ в вопросах о влиянии придавать большее значение, чем это на первый взгляд кажется методологически оправданным. Я думаю, что там, где на-лицо нет подобного рода мелочей, факт влияния вообще остается спорным. Именно поэтому мне придется в дальнейшем довольно много останавливаться на сравнительно мелких сопоставлениях, в своей совокупности создающих, для меня по крайней мере, несомненное убеждение в прямом влияним „Пиковой Дамы“ на роман Достоевского.

Общность схемы могла обусловить и частичные совпадения в ее конкретном раскрытии. Но если подробно, шаг за шагом, проследить, как Достоевский последовательно подводит нас вместе с героем своего романа к моменту убийства, то станет ясным, что литературные припоминания „Пиковой Дамы“ сыграли здесь не малую роль. Достоевский в развертывании сюжета прибегает к приему сюжетного усложнения, имеющему цель путем оттяжки минуты рокового преступления усилить впечатление. Сцене убийства предшествует „проба“ Раскольникова: посещение старухи-ростовщицы, чтобы проверить себя. Поэтому, по сравнению с „Пиковой Дамой“, мы имеем в „Преступлении и Наказании“ известное раздвоение в планировке; с этим надо считаться при сопоставлении обоих произведений.

Не следует смущаться столь резким на первый взгляд отличием сопоставляемых ниже отрывков по своему содержанию. Я имею в виду при сравнении не это содержание, а последовательность развития и приемы художественного воздействия. Однако и содержание именно своей резкой контрастностью наводит временами на мысль о влиянии по принципу противоположения.

Я попробую одновременно, пользуясь текстом Достоевского и Пушкина, приблизить обоих героев к роковому моменту преступления.[1])

Герман — „Трепетал как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял пред домом графини“ (стр. 487).

[1]) Ссылки всюду на IV т. Собр. соч. Пушкина, изд. Ладыжникова и V т. Полн. собр. худ. произв. Достоевского, изд. Госиздата.

Раскольников: — ,,С замиранием сердца и нервной дрожью подошел .. к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другой в -ю улицу" (стр. 7).

,,*П. Д.*": ,,Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега" (стр. 487).

,,*П. и Н.*": ,,На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности снять дачу, — все это резко, неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши" (стр. 6).

,,*П. Д.*": ,,Ровно в половине 12-го Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой, в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо него." (стр. 488).

,,*П. и Н.*" В доме ,,служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, ,,черная", но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен" (стр. 7).

,,*П. Д.*": ,,Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun . . . По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные детские игрушки . . . Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева — другая, в корридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и зашел в темный кабинет" (стр. 488).

,,*П. и Н.*": ,,Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня . . . ,,Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем . . . Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана, с огромной выгнутою деревянной спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках — вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто; и мебель и полы были оттерты под лак; все блестело." . . . Раскольников ,,с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод, и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат" (стр. 9).

Спальня, куда Раскольников вбежал с ключами после убийства:

,,была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод" (стр. 66).

Наконец, сама внешность „старухи", описание которой должно ослабить моральное возмущение преступлением:

„*П. Д.*": „Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухшим ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна" (стр. 489).

. . . . „Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее отражалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее вины, но по действию скрытого гальванизма" (стр. 490).

„*П. и Н.*" „Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, малопоседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела" (стр. 8).

Попутно отмечу, что сходными приемами в обоих произведениях выделены у побочных жертв преступления — сожительниц обеих старух, черты зависимости и безответности:[1])

„*П. Д.*" „Лизавета Ивановна была пренесчастное создание . . . Лизавета Ивановна была домашней мученицею . . . Сколько раз, оставя скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, зеркальце и крошечная кровать, и где сальная свечка темно горела в медном шандале" (стр. 478—479).

„*П. и Н.*" „Лизавета Ивановна „была высокая, неуклюжая, робкая и смирная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои" (стр. 53).[2])

Опускаю сцену убийства старухи, так как она выдержана у Достоевского в иных тонах и не находит себе соот-

---

[1]) Сюжет „о воспитаннице" в связи с Пушкиным занимал Достоевского еще в 1869 г. От этого времени в его записных книжках (тетр. № 4, стр. 65—70) с планами и записями к „Вечному Мужу" и „Идиоту" сохранился набросок плана неосуществленного рассказа на тему о „воспитаннице", оставшейся после смерти „богатой барыни", и ее наслѣднике — племяннике. К этому плану имеется ценная для нас надпись: „Замысел. Рассказ вроде пушкинского (краткий, без объяснений, психологически-откровенный и простодушный)". См. Н. Бельчиков. Один из замыслов Ф. М. Достоевского. Красный Архив М. 1926, т. III (XII), стр. 225—228. Что сам Достоевский воспринимал „Пиковую Даму", как „с ю ж е т о в о с п и т а н н и ц е", свидетельствует следующее место из „Подростка", относящееся к Анне Андреевне Версиловой: „Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно, как ее воспитанница . . . но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в Пиковой Даме, воспитанница у старой графини (Ч. II, гл. 3/II. Op. cit., стр. 201).

[2]) См. также ч. I, гл. 6 (стр. 55—56).

ветствия у Пушкина. Но слишком это яркая сцена в „Пиковой Даме“, чтобы отсветы ее не падали на произведение Достоевского, в котором столько следов пушкинского воздействия. Мы увидим ниже, когда речь будет идти об идейных соприкосновениях обоих произведений, что именно горячечная речь Германа перед на смерть испуганной графиней должна была произвести решающее впечатление на Достоевского. Сейчас-же, говоря главным образом о формальных сторонах обоих произведений, я только подчеркну, что роковое „старая ведьма“, сквозь зубы сказанное Германом графине, нашло свое место по отношению к процентщице в словах Коха, стучавшегося в двери квартиры, за которой стоял убийца Раскольников. „Эй, Анна Ивановна, старая ведьма“, кричал он, потеряв всякое терпение (стр. 70).

Композиционно сходную роль в обоих произведениях играют сны-видения. Перед сновидением Раскольникова об истязаемой лошади Достоевский написал несколько мыслей вообще о снах: „В болезненном состоянии, писал он, сны отличаются часто необыкновенной выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать на яву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека . . .“ Этими словами он как-бы усиленно подчеркивает композиционную значимость сновидений в развитии всего произведения. Но значение памятного первого сна Раскольникова скорее соответствует роли „пророческого“ сна Гринева о „страшном мужике“, приснившегося ему в кибитке во время бурана. Однако, главный сон Раскольникова „видение старухи“ невольно напоминает Германовское — „видение графини“. Пусть содержание обоих сновидений разное: там — старуха, открывающая убийце тайну трех карт, здесь — старуха, неслышным смехом смеющаяся над своим убийцею, но в обоих снах много общего и по приемам письма и по композиционным заданиям. Не могу привести в доказательство оба отрывка це-

ликом, ибо это слишком бы загромоздило мою работу. Напомню только два-три места:

„*П. Д.*“ Герман „проснулся уже ночью: „луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы; было без четверти три . . . В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел . . . он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась: вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним — и Герман узнал графиню! . . . С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, что кто-то опять поглядел к нему в окошко“ (стр. 500).

„*П. и Н.*“ „. . . вся комната была ярко облита лунным светом . . . Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна . . . Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучину, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп . . . Он подошел потихонько и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидел, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она . . . Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, так и заливаясь тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась, и что там тоже как-будто засмеялись и шепчутся . . . Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли . . . Он хотел вскрикнуть и — проснулся . . . В комнате была совершенная тишина Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло . . .“ (стр. 226—227).

Обращаю внимание на „лунный свет“, который мог запомниться Достоевскому в картине „видения старухи“ и на обрамление повторным фиксированием слухового впечатления („шаркающих туфель“ и „жужжания бьющейся об стекло мухи“), как возможного возбудителя и определителя сновидения.[1])

И другое сильное место в общем построении „Пиковой Дамы“ — сцену у гроба старухи в монастырской церкви Достоевский использовал в несколько иной комбинации. Я имею в виду панихиду у гроба Катерины Ивановны. Мне не надо, я думаю, напоминать сцену в церкви из „Пиковой Дамы“, кто раз ее прочел, тому она навсегда врезалась в память. По-

[1]) В. В. Виноградов вскрывает в композиции сна Раскольникова »структурные части, общие со сном приговоренного к смерти« В. Гюго. См. »Эволюция русск. натурализма«. Л. 1929, стр. 150—152. Такое перекрещивающееся воздействие с »Пик. Д.« вполне возможно.

зволю себе, однако, в короткой выдержке напомнить, как Достоевский набрасывает картину панихиды у гроба Мармеладовой:

Раскольников „стал в дверях. Начиналась служба, тихо, чинно, грустно. В сознании смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически-ужасное, с самого детства; да и давно уже он не слыхал панихиды . . . Он смотрел на детей: все они стояли у гроба, на коленях. Полечка[1]) плакала. Сзади них, тихо и как-бы робко плача молилась Соня . . . Солнце ярко освещало комнату; кадильный дым всходил клубами; священник читал: „Упокой, Господи." Раскольников отстоял всю службу..." (стр. 358).

Та же последовательность и у Пушкина:

„Герман отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини... Церковь была полна... Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином . . . Кругом стояли ее домашние . . . Родственники в глубоком трауре — дети, внуки и правнуки... Молодой архиерей произнес надгробное слово... „Ангел смерти обрёл ее, — сказал оратор — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании Жениха полунощного. „Служба совершалась с печальным приличием . . ."

Обращает на себя внимание в сцене панихиды необычное для Достоевского изображение священника. Если у Пушкина прямо чувствуется несколько критическое отношение к „молодому оратору архиерею", так двусмысленно применившему образ „жениха полунощного", то может быть легким отражением такого изображения явился у Достоевского священник, который после окончания панихиды „благословляя и прощаясь, как-то странно осматривался".

После этой сцены:

Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более тревожило его воображение. Возвратясь домой, он бросился не раздеваясь на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы; было без четверти три . . ."

И далее следует „видение старухи", о котором я уже говорил.

В „Преступлении и Наказании" Раскольникову после встречи с Соней во время панихиды „стало ужасно

[1]) Кстати, отмечу здесь использование Достоевским имени побочной героини „Пиковой Дамы" — Полины. Ниже мы отметим появление этого имени в „Игроке" и попытаемся объяснить, почему оно вытеснило традиционную „Лизу". В „Преступлении и Наказании" Лизавета Ивановна фигурирует в роли „сожительницы" старухи, что соответствует „воспитаннице" пушкинской повести.

тяжело". Он прображил весь день по городу, заходя в трактиры, в распивочные.

„В одной харчевне, перед вечером, пели песни: он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно . . . Он вышел из харчевни и бросился чуть не бежать . . . В эту-то ночь, перед утром, он и проснулся в кустах, на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке; он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно: было два часа пополудни . . ."

Кончая формальное сопоставление „Пиковой Дамы" и „Преступления и Наказания", я еще хочу отметить, что вся замечательная сцена сознания Раскольникова перед Соней уже заключена, как возможное раскрытие, в двух предложениях пушкинской „Пиковой Дамы" — в сцене объяснения с Лизой после смерти графини:

„Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом" (стр. 495).

П. и Н. „Раскольников „закрыл руками лицо и склонил голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню, и ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель . . . Он совсем, совсем не так предполагал объявить,[1]) и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз . . . Ужас прошел по сердцу Сони . . ."

И если в дальнейшем в душе Сони верх берет жалость и сострадание к Раскольникову, то в те минуты, когда Раскольников подпадал под власть своей „дьявольской" идеи, она так-же решительна в своих осуждениях, как и Лиза в „Пиковой Даме". Напомню сжатый до предела диалог Лизы и Германа:

„— Вы чудовище — сказала наконец Лизавета Ивановна.
— Я не хотел ее смерти, — отвечал Герман: — пистолет мой не заряжен."

Но и Соня вдруг увидела в Раскольникове на один момент только убийцу:

„После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному, опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него . . ."

И Раскольников так-же нелепо пытается ослабить впечатление от убийства, как и Герман детской ссылкой на незаряженный пистолет. Раскольников, говоря о себе в третьем лице, тоже пытается оправдать убийство Лизаветы отсутствием намерения ее убить:

---

[1]) Подчеркнуто у Достоевского.

„Он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... а тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил,“ говорит Раскольников Соне срывающимся голосом. И довольно неожиданно из слов Раскольникова выясняется, что, вопреки всему предшествующему, он и старухи тогда убить не хотел. „Слушай,“ говорит он, „когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил... Так и знай.“[1])

Раскольников в этой сцене объяснения с Соней находится на распутье; в душе его идет борьба Бога с дьяволом. Недаром он восклицает: „Старушонку эту чорт убил, а не я...“ Не будь Сони в этот момент, победителем остался бы дьявол. Сцена написана с удивительным мастерством: на Соне отражается эта душевная борьба Раскольникова, и она то видит на лице его мрачные черты нераскаянного убийцы, то улавливает какие то просветы будущего его возрождения. Монолитный пушкинский Герман „не чувствует угрызения совести“, и несчастной Лизе не за что ухватиться. Она вдруг в любимом ею человеке увидела к ужасу своему только „чудовище“. Здесь Достоевский делает как-будто отклонение в понимании образа своего героя. Но это ведет нас уже к вопросу об отражениях в идейном содержании „Преступления и Наказания“ повести Пушкина.

Заканчивая сейчас главу о возможных следах формального влияния, я не могу пройти мимо одного загадочного места „Преступления и Наказания“. Когда Раскольников, придя в себя после приступа болезни, видит у себя в комнате Разумихина, он его с тревогой допытывает, о чем он бредил. Разумихин его успокаивает: „Эк ведь наладит! Уж не за секрет ли какой боишься? Не беспокойся: о графине ничего не было сказано.“ О какой графине или каком графине идет речь? Предшествующий текст не дает никакого разъяснения этому месту. И нет ли в этой фразе Разумихина намека на сюжет „Пиковой Дамы“, особенно в сочетании со словом „секрет“, не хочет-ли Разумихин в таком случае сравнить Раскольникова с Германом? Если бы внимательное изучение текста „Преступления и Наказания“, особенно же рукописного материала романа не дало иного разъяснения этого места, то мы имели бы замечательный случай своеобразных „фрейдовских“ остатков подлинного бессознательного процесса творчества, тщательно зацензурованных. Такими

---

[1]) Стр. 342. Подчеркнуто Достоевским.

„остатками" исследователь приводится к подсознательному току художественного процесса, который затем уже помогает вскрыть совершенно неподозреваемые его глубины.[1])

Мы знаем какое значение Фрейд в своем учении придает ошибкам, оговоркам и опискам.[2]) Именно такого рода обмолвки выдают те тайны душевной жизни, которые сознание скрывает даже от самого их носителя. Такого рода характерная описка есть и в черновых рукописях „Преступления и Наказания". Одно из эпизодических лиц, содержатель распивочной, крестьянин Душкин, по доносу которого были арестованы красильщики, в первоначальной редакции назван „Пушкиным".[3]) Это, конечно, случайность, но в области сознания нет ничего случайного, всё связано между собой нитями ассоциаций, в конце концов коренящихся в том центре сознания, которое именуется человеческим „Я". И думается мне, эта мелочь лишний раз свидетельствует, что творческое „Я" Достоевского в процессе создания „Преступления и Наказания" было полно образами Пушкина, в частности его „Пиковой Дамы".

(Окончание следует.)

---

[1]) В более ранней редакции, опубликованной И. И. Гливенко, соответствующее место имеется и читается так: „Бредил то? Ах ты, Господи, и вот ведь наладил! Да уж не за секрет какой боишься? Не беспокойся об графине ничего не было сказано." — „Преступление и Наказание" (Из зап. книжек Ф. М. Достоевского). Красн. Архив. 1924, VII, стр. 185.

[2]) См. „Zur Psychopathologie des Alltaglebens. Ueber Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglauben u. Irrtum. 9-te Aufl. Wien. 1923.

[3]) Красн. Арх. 1924, VII, стр. 195.

„Записки из подполья“ среди публицистики Достоевского.

I.

О „Записках из подполья“ создалось представление, как об отчаянной исповеди Достоевского, где он отрекается от прежних гуманистических идеалов, от любви к человеку, от всей прежной веры в правду любви и сострадания.

Такой взгляд впервые был заявлен Л. Шестовым.[1]) „Записки из подполья“ — писал Л. Шестов — есть публичное — хотя и не открытое — отречение от своего прошлого“. „Там и Шиллер, там и гуманность, и поэзия Некрасова, и хрустальное здание, словом все, что когда-то наполняло умилением и восторгом душу Достоевского — все осыпается целым градом ядовитейших и собственнейших сарказмов. Идеалы и умиление по поводу их вызывает в нем чувство отвращения и ужаса. Не то, чтоб он оспаривал возможность осуществления идеалов. Об этом он и не думает, и не хочет думать. Если когда-нибудь и суждено сбыться великодушным мечтам его юности—тем хуже. Если когда-нибудь осуществится идеал человеческого счастья на земле, то Достоевский заранее предает его проклятью“ (с. 53, 55). Здесь, по словам Шестова, Достоевский объявляет свою „новую правду“, правду крайнего индивидуализма: „пусть свет провалится, а чтоб мне чай был“ (с. 96).

Совсем недавно такое понимание „Записок из подполья“ было повторено Л. Гроссманом, А. Долининым и В. Комаровичем.

Для Л. Гроссмана[2]) „Записки из подполья“ — „презрительный памфлет на идеалистов и утопистов“ (с. 188), „первое открытое провозглашение эгоистического и аморального индивидуализма“ (с. 191). На основании „Записок из подполья“ Гроссман устанавливает особый период в развитии Достоев-

[1]) Л. Шестов „Достоевский и Ницше. Философия трагедии“. СПб. 1903.

[2]) А. Гроссман „Путь Достоевского“, Лнгр. 1924.

ского, когда в нем, будто-бы, „над началом филантропическим и духовно-общественным одерживает победу философия личной воли, дерзающего индивидуализма, цинического бунта против всяких попыток коллективного устроения" (с. 190).

А. С. Долинин,[1]) принимая точку зрения Л. Шестова и ссылаясь на него, называет „Записки из подполья", „манифестом о полном разрыве с прошлым" (с. 160). Идеологическое содержание „Записок" для него является „жестокой пародией Достоевского на свои же собственные общественные идеалы, которые вдохновляли его в годы 40-е, и в годы 60-е". Долининым „Записки", „воспринимаются и эмоционально, как нарочито заостренное издевательство над сладкими гуманными слезами Шиллера и других великих граждан человечества". Идеология „Подполья", утверждает далее Долинин — „сводится в сущности к тому, что князь Валковский из „Униженных и оскорбленных" вдруг наделяется особенным нравственным пафосом, и дается ему полное право, даже в обязанность вменяется, унижать и оскорблять" (с. 155).

В. Л. Комарович[2]) утверждает, что „Записками из подполья" Достоевский „исповедуется в своем отчаянии перед разрушенной верой 40-х годов; отчаяние „героя подполья" — отчаяние самого Достоевского" (с. 131). Здесь, по его словам, Достоевский подверг „злейшему осмеянию" свои прежние „юношеские верования" (с. 121); здесь „втаптываются в грязь его мечты о героизме, о героическом служении человечеству" (с. 130). „В этом поругании Достоевский не пощадил даже самое дорогое имя среди прежних своих учителей и вдохновителей" — Жорж Санд. „Весь рассказ о встрече героя с Лизой — „злейшая насмешка" над „гуманностью" 40 х годов, над наивной верой в „божественную", хотя бы и падшую душу, над поэзией Некрасова" (с. 131).

Такое понимание „Записок из подполья" является очевидным недоразумением.

„Записки из подполья" не только не отрицают гуманистических идеалов, но, наоборот, всею своею диалектикой отстаивают их неискоренимость и обязательность. Достоевский и здесь выступает тем же идеологом любви и совести, каким

[1]) А. С. Долинин. „Достоевский и Суслова". „Достоевский. Статьи и материалы" под ред. А. С. Долинина, т. II, Лнгр. 1925.

[2]) В. Л. Комарович „Мировая гармония Достоевского". „Атеней", кн. 1—2, 1924.

он был и раньше и после до самой смерти. „Записки“ органически сливаются со славянофильской (почвеннической) публицистикой „Времени“ и „Эпохи“ и защищают постоянную идею Достоевского о смирении, о необходимости отказа от индивидуалистического самоутверждения, о гибельности морального отрыва европеизованной русской интеллигенции от „народной правды“.

Подпольный человек, от лица которого ведется рассказ, правда, является защитником индивидуальности, непримиримости индивидуальной воли с принудительными категориями космической и социальной необходимости. Даже больше: правда и то, что в этой защите авторский пафос и сочувствие иногда всецело сливается с доводами и лирикой героя. Но эта защита в общей концепции „Записок“ имеет вовсе не тот смысл, какой усматривает Л. Шестов и др.

„Записки из подполья“ — произведение полемическое. Это было замечено давно. Совершенно верно также, что роль обличителя и разрушителя здесь во многом вверена подпольному человеку, от лица которого излагаются „Записки“. Но ведь столь же очевидно, что подпольный человек в „Записках“ не только обличитель, но и обличаемый. Общая концепция „Записок“ совершенно ясно говорит, где Достоевский сливается с обличителем героем и в чем, наоборот, обличает его и противопоставляет его мироотношению свое, авторское. До тех пор, пока выясняется неискоренимая потребность индивидуальной самостоятельности, пока защищается полная свобода волевого самоопределения, автор и подпольный герой выступают заодно, здесь они союзники. Подпольным героем Достоевский констатирует силу индивидуального самосознания в развитой человеческой личности. Но д о л ж н ы е и в ы с ш и е п р о я в л е н и я этой силы он усматривает и указывает н е т а м, где подпольный человек, не в эгоистической притязательности, не в разрушительном неприятии мира и человека, а как раз на противоположном полюсе: в радости любви и самоотдания (ср. публицистику К. Аксакова, Хомякова).

Мыслями и переживаниями подпольного человека Достоевский имел в виду сказать, каким должно оказаться восприятие мира у человека, обладающего обостренным чувством собственной индивидуальности и утонченно-развитым самосознанием, в том случае, если бы этот человек отказался от

подчинения натуральным нравственным влечениям. Идеологически „Записки“ говорят то же, что Достоевский потом развивал в каждом своем романе: рассудком и эгоизмом жизнь не может быть принята и оправдана; основа жизни и оправдание жизни коренится в любви, в естественном влечении человека любить и быть любимым. Кто не может и по гордости не хочет отдаться закону любви, для того нет жизни.

Создавшееся недоразумение, несомненно, возникло как результат отрывочного, частичного восприятия текста „Записок“. Яркие тирады подпольного героя в защиту безграничного индивидуального своеволия (преимущественно главы VII—X первой части) были восприняты сами по себе, без связи с общим контекстом, вне общего развития диалектики целого. В захват интерпретаторов не вошли те сопровождающие и дополняющие тематические мотивы, с которыми индивидуализм героя диалектически связан. Между тем конечные устремления художественного целого могут быть открыты только через установление взаимного соотношения всех его внутренне-тематических линий. Конечная идея вырастает, как результат сложного узора переплетающихся параллелизмов и контрастов, и только при возможно более полном учете всех логических сопоставлений открывается диалектический результат целого. Прежде чем перейти к сопоставлению „Записок“ с публицистикой Достоевского, нам представляется необходимым проследить эту общую диалектику целого. Аргументация нашего понимания „Записок“ исходит из фактов взаимного соотношения всех идеологических и психологических звеньев, составляющих собою их общую ткань. Поэтому мы принуждены были сделать обзор всего хода произведения от начала до конца, хотя это и соединялось с опасностью в некоторых местах повторить общеизвестное. Но это общеизвестное в наших глазах приобретает иной конститутивный смысл; обойти такие места без всякого упоминания и раскрытия для нас оказалось невозможным.

II.

Внутренняя диалектика „Записок“.

В своей художественной диалектике Достоевский исходит, как всегда, из установления необходимых ему фактов человеческой психики.

Как всегда, прежде чем дать читателю „понять", он заставляет его „не понять", т. е. задуматься и насторожиться как раз над теми фактами, из которых он потом сделает выводы. Недосказанность, загадочность фиксирует внимание читателя как раз в том пункте, который является для него наиболее важным и значительным. Как всегда, загадка у него и здесь является не только приемом внешней занимательности, но служит в качестве особого метода разъяснения.

В качестве такой „загадки" в первых главах выставлен факт „нарочитой злобы". Что означает эта злоба? Откуда в герое это желание быть злым? Что заставляет его утешаться злобою и ради нее заглушать какие-то „противоположные" ей элементы? И далее: почему герой при всем своем желании быть только „злым", не мог таким сделаться: да и вообще „ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым" (с. 5).[1])

В дальнейшем возможность такой напускной злобы объясняется, как проявление самолюбия, крайнего самоутверждения, совершенной неспособности подчиниться сознанию своей человеческой слабости и недостаточности. Три примера „наслаждения обидой" (II гл., III гл., IV гл.) в своем наполнении все вместе и одновременно иллюстрируют, во первых, возможность и даже неизбежность для всякого человеческого существа, при остром чувстве собственной личности, столкнуться с фактами неустранимого нарушения личного достоинства и самогосподства. Нарушение идет от природы или от людей, в последнем случае опять-таки „по законам природы" (все происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания" 9; „всего обиднее, без вины виноват, и так сказать, по законам природы" 10; „обидчик, может, ударил меня по законам природы" и пр.). Во вторых здесь же настойчиво подчеркивается неустранимость чувства обиды даже и в том случае, когда виновника обиды нет, когда ограниченность и приниженность собственного существа осознается, как нечто неизбежное, общее и естественное. От того, что отвратительное совершается „по законам природы", оно для непосредственного чувства героя не перестает быть отвратительным. Когда после совершонной „гадости", возвра-

---

[1]) Страницы текста даются по V тому собр. соч. Достоевского, изд. „Просвещение".

щаясь к себе в угол, он „усиленно сознавал“, что вышло „скверно“, что „нельзя тому иначе быть“, что вся грязь и муть, в какую он погрузился, облекла его „по нормальным законам“, от него независящим — от этого он не перестает чувствовать себя загрязненным, омерзительно гадким или невозвратимо обесчещенным, сознание собственной запачканности давит его сердце: хоть и по законам природы, а все-таки гадко („подлец“ 10), „хоть и законы природы, а все-таки обидно“ (11). В этом герой противопоставляет себя людям „с крепкими нервами“: „Перед стеной (т. е. перед неодолимой обязательностью „законов природы“ А. С.) такие господа искренно пасуют . . . Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное“ . . . „Перед невозможностью они тотчас смиряются“.

Подпольный герой не может принять такого примирения („Как будто такая каменная стена и в правду есть успокоение“ и пр. с. 15—16).[1])

При этом психологическая сущность „злобы“ во всех трех примерах раскрывается как внутренний протест внешне побежденного „я“ против неодолимости и неизбежности обиды (унижения). Нарушенный в своих желаниях и в своем самогосподстве, на которое он претендует и которого ищет, герой уже нарочито („со злости“) заявляет свое злобное пренебрежение как раз к тому, что его влечет и от лишения чего он страдает. Оскорбленный, он сейчас же вслед за сознанием своего „падения“ и „униженности“ на зло совершает такие поступки, которые засвидетельствовали бы его неподчиненность, внутреннюю независимость, самогосподство перед тем, что его давит и возносится над ним. Он уже своей волей усугубляет лишение, чтобы этим обозначить пренебрежение к нему и заявить внутреннюю несломимость перед неведомым нарушителем его волевого „я“. „Печонка болит, так пускай еще пуще болит!“ (с. 4). — „Я для вас не герой . . .

[1]) Л. Шестов в бунте героя против „стены“ увидел призыв к иммморализму. „Стена“ для Л. Шестова обозначает „кантовские a priori“, на которые герой, будто бы, и нападает ради „Ding an sich“ (Op. cit., с. 94—95). Совершенно напротив: нападение у героя идет — если выразиться терминами Л. Шестова — на Ding an sich („законы природы“) ради „кантовских a priori“ (совесть, нравственная восприимчивость и требовательность). Герой нападает на моральные компромиссы, на *уступчивость* легкой совести перед „невозможностью“. Это совершенно ясно в тексте. См. „Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например . . .“ и далее с. 15—16.

Ну так пусть же! вот я вам, сейчас еще скверней руладу сделаю“ (с. 26).

Кроме того, здесь же, как обнаружение того же „самолюбия“, отмечается наслаждение болью, страданием самим по себе. Страдающий герой находит себе в страдании повод к какой-то особой выделенности, как бы внутреннее право на особое внимание и признание, и любит боль. Все это в совокупности и названо „наслаждением обидой“. Для нас здесь важно указать, что „наслаждение обидой“ в „Записках“ ясно эксплицировано как проявление бунтующей гордости. Как обнаружится ниже, этот момент займет важное место в общей диалектике целого.

В главах V и VI-ой развертывается новый концентр. Не теряя прежней темы, признания героя фиксируют и разъясняют вторую „загадку“, брошенную в первой главе, об „излишке сознания“, как об источнике интеллектуальной и моральной неустойчивости. Сознание героя ни на чем не могло остановиться как на должном. По законам рассудка в нем все „химическому разложению подвергается“ (21). В нем нет никаких повелевающих и определяющих начал. У него не было и не могло быть деятельности. Он беспринципен. И чувства его в столкновении всяческих сомнений подвергаются тому же разложению. Его поступки случайны и противоречивы, в них нет натуры и, наоборот, много искусственно выделанного, сочиненного: „от скуки сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял“, обижался, раскаивался, умилялся, даже влюблялся — все только для того, „чтобы хоть как-нибудь да пожить“ (19). И инерция его не от лени (VI гл.). Его бездействие ничего не имеет в себе решающего и положительного, раз навсегда определившегося. Он и в бездействии непрочен. Он и на этом идеале остановиться не может, как ни на каком другом. — Во всем этом ясно выступает мысль о бессилии рассудка создать какую бы то ни было внутреннюю опору, которая имела бы безусловную, обязывающую ценность.

Что касается глав VII, VIII, IX, и X, которые до сих пор привлекали преимущественное внимание критиков и исследователей,[1]) то они в общей композиционной схеме занимают

[1]) См. В. В. Розанов „Легенда о великом инквизиторе“ СПб. 1902, с. 147 и сл.; Волжский „Религиозно-нравственная проблема у Д-го“. „Мир Божий“, 1905, № 3; Н. Бердяев „Откровение о человеке в творчестве Достоевского“. „Русская Мысль“, 1918, III—IV.

положение иллюстрационное к двум выше высказанным темам. В критике теории выгоды и благоразумия подпольный герой остается в том же кругу мыслей и фактов, которые были высказаны раньше, в первых главах.

Факты добровольного унижения, добровольного отказа от чести и даже физического благополучия (наслаждение моральным падением, пощечиной, зубной болью), психологическое наполнение которых было развернуто раньше, теперь должны явиться опорой к главному утверждению VII главы об исключительной важности самостоятельного хотения.

В VIII главе подпольный человек, теоретически допуская возможность учета всех человеческих желаний, настаивает, что и такой учет не устранил бы неожиданности поступков, ибо требование самостоятельности привело бы человека к новому отказу от прежних „хотений": как только хотение вошло бы в „табличку", оно сейчас же бы и утратило „самостоятельность", а следовательно и всю свою цену; всякой новой предписанности и предсказанности поведения личность противопоставила бы новый бунт и отрицание лишь для того, чтоб заявить свою самостоятельность и право „по своей глупой воле пожить" („если средств не окажется — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и постоит таки на своем" и пр. с. 37; ср. с этим поступки „со злости").

В IX главе, в соответствие с темой о бессилии рассудка принять какие бы то ни было решающие принципы, утверждается, что человек рядом с созидательными инстинктами имеет и разрушительные, и *нет никаких рассудочных оснований* предпочесть одно другому. Теория „благоразумной выгоды" говорит, что волю человека нужно исправить сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но если есть в человеке стремление к противоположным благоразумию „выгодам", то *откуда же известно*, что его счастье будет состоять в отказе именно от этих „выгод", а не от других? Почему одно предпочесть, а не другое?

Герой подполья отказывается от идеального „благоразумного хрустального здания" (X гл.). Оно не вмещает всех его желаний, следовательно не может быть завершающим венцом его стремлений (идеалом). Он *не может* устранить свои желания, *хотя бы они и были неисполнимы* (ср. его бунт и боль около „каменной стены"). Пусть „хрустальный дворец"

есть единственная возможность благополучно устроиться но он не примет этого благополучия, если оно не дает полного удовлетворения всем его желаниям (для него это не „дворец“, а „курятник“).

Отвергая и этот идеал, герой подполья тем самым еще раз подтверждает безвыходность своей „инерции“.[1])

В первых главах II-ой части „Записок“ продолжается описательная самохарактеристика героя. Вся совокупность деталей опять компонуется в прежних темах о самолюбии и внутренней несобранности и беспринципности. Особую разработку здесь получает тема о „прекрасном и высоком“.

Отношение героя к „прекрасному и высокому“ в литературе о „Записках“ понималось искаженно. Поэтому мы позволим себе остановить на этом особое внимание читателя. В каком смысле здесь „прекрасное и высокое“ подвергается поруганию?

У героя, в *его* „прекрасном и высоком“ выдвинуты три черты:

Во первых, здесь были и „слезы“, и „упоение“, и „восторги умиления“, и „любовь“ („Сколько любви переживал я бывало, в этих мечтах, в этих спасениях во все „прекрасное и высокое“, с. 68), но все это оставалось т о л ь к о „в м е ч т а х“: „потом на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была“ (68).

Во вторых, в его фантастических картинах „прекрасного и высокого“ на первом плане выступает в с е г д а о н с а м,

---

[1]) Подпольный герой, по мысли и заданиям автора, разрушает рационализм изнутри, доводя его логические предпосылки и возможности до последовательного конца и приходя к уничтожающему беспомощному тупику. Только этим герой отделен от других рационалистов, с которыми он полемизирует; эти, последние, с его точки зрения, лишь по недоразумению, по непоследовательности и половинчатости своей мысли, считают возможным на чём-то остановиться (ср.: „они ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают“ и пр., с. 20). В X-ой главе критикуется пример такой половинчатости — идеал „хрустального дворца“. Скептическая безвыходность и тупик подпольного человека, по общему смыслу „Записок“ есть б е з в ы х о д н о с т ь завершенного р а ц и о н а л и з м а и э г о и з м а. И только. В. К о м а р о в и ч (Op. cit., „Атеней“, 1—11, 1924, с. 128) справедливо отмечая антирационалистический смысл полемики этих глав, в скепсисе отождествляет героя с автором „Записок“ (т. е. с Д-им). Это неправильно. Как увидим ниже, тупику предельного рационализма и предельного волевого эгоизма в „Записках“ противопоставлен иной принцип, и даже не как противоположный, т. е. совсем изгоняющий „сознание“ и „своеволие“, а лишь как д о п о л н я ю щ и й и о п л о д о т в о р я ю щ и й и х с о б о ю — и в нем „Записки“ указывают выход к „живой жизни“.

самый „прекрасный“, самый „высокий“. „Второстепенной роли я и понять не мог“ . . . (67). „Я . . . над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю и пр.“

Кроме того, в его „прекрасном и высоком“ есть еще третья сторона. Рассказывая о своем „прекрасном и высоком“, герой свое самолюбование в нем подчеркивает иронически: „все, разумеется, во прахе . . . все плачут и целуют меня (иначе, что же они были за болваны), а я иду босой и голодный“ и пр. Откуда эта ирония?

На это дан совершенно определенный ответ. „Прекрасное и высокое“ принималось его самолюбием только до тех пор и в таких формах, пока давало возможность самоутешения, самовыделения, любования собой. Но, по глубокости своего сознания, он понимал, что самолюбующееся „прекрасное и высокое“ уже не есть действительно прекрасное и высокое, так что и этого самоутешения он был лишен, оно тоже в нем было отравлено его сознанием. Не сознавая этой подлинной тщеславной стороны своих умилений и упоений, он мог бы искренно умиляться своему благородству и спокойно наслаждался бы своей „красотой“ („О, еслиб я ничего не делал только из лени“ (т. е. не из за излишка сознания“ А. С.). Господи, как бы я тогда себя уважал“ и пр. с. 22—23). Но теперь, когда он сам не мог не видеть в себе подлинную цену и тщеславную суетность своего мечтательного „прекрасного и высокого“, он не мог не отнестись к своим позам „неизъяснимого благородства“ без внутренней иронии.[1])

Теперь обратимся к поступкам героя. Всего поступков рассказано три: 1. столкновение с офицером, 2. участие в товарищеских проводах Зверкова и 3. эпизод с Лизой.

Столкновение с офицером. Что этим эпизодом предлагается читателю заметить? Тщеславие — это само собою. Но тут имеется нечто большее, чем простое указание на тщеславие. Всеми этими перекидываниями от открытой ссоры к стушеванию, от злобы к „прекрасному и высокому“, обнаруживается, в какое самоискажение впадает человек под импульсом тщеславия.

---

[1]) Л. Шестов (Op. cit., с. 55) отметил иронию в словах героя о прекрасном и высоком. Да, здесь ирония, но ирония над чем и кем? Над самолюбованием в „прекрасном и высоком“. И только. Самое существо прекрасного и высокого (без кавычек) здесь не подвергается переоценке.

Негодование героя уплывает сейчас же, как только почувствовалась возможность какой-то неблаговидности его позы в глазах кого бы то ни было, хотя бы в глазах тех людей, каких он и сам в грош не ставил. Потом герой хватается за „прекрасное и высокое“, чтобы „благородством“ покорить, но и тут не вышло. Тогда долго примериваясь, коробясь и ежась от подозрений, как бы кто о нем в мыслях своих не отозвался без уважения, принимает новую и опять фальшивую позу. В каком чувстве прикинуться — ему все равно, лишь бы навесить на себя желаемую внушительность, получить какой-то нужный ему вес в глазах противника. В каждой позе ему ценно не самое существо ее выражения, а лишь та бахрома признания к нему, какое бы она собою вызвала.

Но он не знает и того, каким нужно казаться, чтобы достичь хотя бы своей цели. Оценки у людей разные, и вдруг ценители, к кому обращен поступок, подойдя с своей оценкой, не увидят того, что ему нужно („я испугался того, что все присутствующие не поймут и осмеют?“) — отсюда эта опасливость и нерешительность, неуверенность в результате („трусость“).

Второй эпизод — проводы Зверкова. Здесь даны окончательные разгадки ко многому, что до сих пор могло казаться неопределенным и неясным. Здесь картинки искусно надписаны и все обозначено не намеками, а прямо названо и формулировано, так что для читателя эпизод проходит, как показательная демонстрация всего, о чем говорилось выше.

Откуда у героя его „контрасты“ и „противоречия“?

Неосуществленность и неосуществимость претензий на превосходство в одном полюсе вызывает в нем озлобленное, демонстративное пренебрежение к тому, что он только что страстно желал, и тем самым ввергает его в противоположный полюс исключительно р а д и н а р о ч и т о г о п р е н е б р е ж е н и я к п е р в о м у. В рассказе о проводах Зверкова этому дана полная аналогия. Сначала герой претендовал „благородством“, но самолюбие здесь не получило насыщения, сейчас же явилась злоба и показное пренебрежение („нарочно“); дойдя и здесь до невозможности („они“ не реагировали на его старания „не обращать на них внимания“), герой вновь облекается в благородство (просит прощения); когда и это повернулось к новому его унижению, он в окончательной растерянности уже не знает, что предпринять: ждать ли, когда они

„на коленях будут вымаливать его дружбы“, дать ли Зверкову пощечину, драться ли на дуэли, или устроить просто скандал („схвачу за ногу, сорву шинель“ и пр.), или поехать домой; в отчаянии герой вновь впадает в „прекрасное и высокое“, мечтая о том, как он „нищий“, „в рубище“, „через пятнадцать лет“, „простит“ Зверкова и пр. (100—101).

Остается еще одна неразрешенная „загадка“. Если для его собственных, не выделанных чувств было совершенно безразлично, какую бы позу он ни принял, был ли он в одном полюсе или в другом, если ему нужен был при этом один только эффект, утешающий его тщеславие, если ему было безразлично, где получался этот эффект, в разврате ли, или в „прекрасном и высоком“, которое пока было для него только пустой выделкой — то откуда же в нем, например, после „развратика“ — „раскаяние“, откуда „стыд, не оставлявший его в самые омерзительные минуты“ (57)? а главное, с какими же, наконец, „противоположными элементами“ в себе он боролся и почему вот именно их „н е п у с к а л, н е п у с к а л, н а р о ч н о н е п у с к а л н а р у ж у?“

Ответ на это дается последним, финальным рассказом о встрече с Лизой.

В этом эпизоде все поведение героя скомпоновано в функции выражения двух психологических мотивов: рядом с раньше выясненным острым самолюбием, здесь в герое четко обозначаются вспышки живой непосредственной сердечности, т. е. инстинктов „добра“.

Его великодушие и видимая сердечность в ночном разговоре с Лизой, с одной стороны, обнаруживают знакомую уже нам игру в „прекрасное и высокое“. Его здесь вдохновляла сладость разбудить душу, проникнуть в закрытые ее тайники, задеть в ней тоскующее и смятенное. Ему было нужно насытиться ее развернутостью и покорностью и себя ощутить „прекрасным и высоким“, героем, моральным покорителем, „власть“ имеющим. Его „увлекала игра“ („Более всего меня игра увлекала“, с. 110). Но одновременно в нем было и какое-то собственное тепло. Была не одна поза, не одна ложь, не одна „игра“, „Игра, игра меня увлекала, впрочем не одна игра“ (с. 122). „Клянусь, она в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством“ (с. 111).

Из этих двух побуждений второе он приглушает: он боится „сентиментальности“: „А ну, если она вдруг расхохочется, куда я полезу?“ — Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился и теперь самолюбие как-то страдало“ (с. 116).

По уходе от Лизы в нем опять сталкиваются какие-то две противоположности. Ему стыдно „вчерашней сентиментальности“. Он злится, грызет себя за нее („Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу!“ (с. 126). С другой стороны, воспоминание о Лизе его как-то иначе мучит: „Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление“ (с. 128—129). Он карал себя за „бесчестную лживую маску“ (с. 129). Он успокаивал себя воспоминанием о том, что и в нем было „настоящее чувство“, утешал себя тем, что от его слов ей вреда не будет („Если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует“ . . . с. 130), но все-таки „никак не мог успокоиться“ (с. 130). Ему вспоминалось и давило сердце лицо Лизы „в ту минуту“, бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом“, с „жалкой, искривленной, ненужной улыбкой“ (с. 130).

Но все это подавлялось самолюбивой злобой. Его самолюбие мучилось больше всего. („Вчера я таким перед ней показался героем, а теперь, гм! . . . и пр., с. 129.) Страх за свой неизбежный стыд рождал злобу к „виновнице“ этого стыда (с. 130—131). Но все же среди негодования он сам „останавливался и даже в большом смущении“ (с. 131). После новых приступов злобы (с. 131), в отчаянии перед безвыходностью неминуемого унижения, герой впадает в самоутешения в „прекрасном и высоком“: воображение ему рисует, как он спасает Лизу, она его любит, она бросается к его ногам, он прикидывается, что не понимает („не знаю впрочем для чего прикидываюсь, так для красоты, вероятно“), говорит ей речи, полные „великодушия“ и „неизъяснимого благородства“ („зарапортовывался в какой-нибудь этакой Жорж-Зандовской, неизъяснимо благородной тонкости“, с. 131—132)[1]).

[1]) В. Комарович эту иронию о жоржзандовских тонкостях выписал как пример, где, по его словам, Достоевский „не пощадил самое дорогое имя среди прежних своих учителей и вдохновителей“ (Op. cit., 131). Но здесь не только у автора (т. е. у Д-го) нет иронии к Ж. Санд, но и герой иронизирует только над самим собою, над своим внутренним позерством, над внутренней подделкой под жоржзандовское благородство.

Перед приходом Лизы вставляется скандальная сцена с Аполлоном, и тем еще более усугубляется приниженность и мука героя за утраченное „геройство“. С приходом Лизы сцена развивается в усиленном нагнетании стыда и приниженности, а вместе с ними и мстительной злобы за свой все больший конфуз.

Наконец, в крайнем пароксизме злобы герой за предполагаемую униженность в глазах Лизы мстит ей последним средством — пренебрежением, завершительным выражением которого и является знаменитая „циническая“ тирада. Некоторые слова этой злобной тирады героя (особенно слова: „свету ли провалиться, а чтоб мне чай был“) стало принятым цитировать как циническое открытое выражение утверждающего себя полного аморализма.[1]) Но здесь этого нет. Все гадкое, сказанное здесь героем о себе, это есть и с его точки зрения нечто гадкое, унизительное, мерзкое; бросая это в лицо Лизе он тем самым лишь злобно попирает и топчет ее мнение о себе. Внутренняя фальшивость, вымученная искаженность, самоковерканье, позерство, мечтательное самолюбование, безделье и бесполезность, безучастность к чужой жизни — вся эта непроходимая внутренняя суета мелкого тщеславия выбрасывается им, как нечто и для его собственного сознания омерзительное и пакостное. Пафос тирады в том, чтобы циническим пренебрежением к мнению Лизы затоптать предполагаемое им её „презрение“ к себе и не допустить её внутреннего перевеса над своей личностью.

„Спасать! от чего спасать! Да я, может, *сам тебя хуже.* Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: „А ты, мол, сам зачем к нам зашел. Мораль что ли читать?“ . . . Потом, еще домой не дойдя, уж я тебя ругал . . . Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что *я только на словах поиграть, в голове помечтать,* а на деле мне надо знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего . . . Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я *мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй* . . . Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь; пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали и мне уж от одного воздуха больно . . . Да, ты, одна ты за все это отвечать должна, потому что ты так подвернулась, потому что я *мерзавец,* потому что я *самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый* из всех на земле червяков . . . Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!“ (с. 144—146).[2])

---

[1]) См., напр., Л. Шестов, Op. cit., с. 96.

[2]) Курсив в цитатах всюду, где не оговорено особо, принадлежит автору этой статьи.

Тирада цинична, поскольку эти признания в гадостях сказаны с вызовом и наскоком. Но гадости и здесь названы гадостью. Здесь нет ,,переоценки ценностей“, нет намека на какое бы то ни было их оправдание, нет морального приятия их. Наоборот, здесь обнаруживается, что эти ,,гадости“ в подпольном герое как-то болели, в нем что-то рыдало о том, что он не иной, не светлый, не противоположный, и от этого несчастный. Именно такой смысл этой тирады эксплицитно подчеркивается сейчас же в ответных чувствах Лизы: ,,Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив“. ,,Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки“.

Тут сердце и в нем ,,перевернулось“. Злоба отхлынула, и на минуту он остался в одной муке о самом себе: ,,Я не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало: — ,,Мне не дают . . . Я не могу быть . . . добрым! едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике“. (с. 147).

На этом внутреннее состязание в психике героя не остановилось. Он был не в состоянии отдать себя. *Отдать* не в смысле самопожертвования каким-нибудь делом, поступиться своим сторонним интересом, сделать для Лизы лишние усилия, но именно в смысле морального выхода на духовную встречу с нею, разделить с нею себя, принять ее участие, дать ей жалеть себя и самому жалеть ее.

В этой же мысли досказывается развязка эпизода. После слез в герое скоро проснулось самолюбие. Ему стало стыдно. Ему пришло в голову, что он теперь уже совсем ,,не герой“, что роли их с Лизой переменились, ,,что героиня теперь она“, а он ,,точно такое же униженное и раздавленное создание, какое она была в ту ночь“ (с. 147). ,,К давешней моей, почти беспредметной ненависти, прибавилась теперь уже *личная, завистливая* к ней ненависть“ (с. 148; подчеркнуто Достоевским). Отсюда все остальное: порыв его страсти, обладание ею — было ,,мщением, новым ей унижением“ (с. 148), тем же была и пятирублевая бумажка, всунутая ей в руку при ее уходе. Последнее было сделано уже явно ,,не от сердца, а от дурной головы“. ,,Эта жестокость была до того напускная, до того го-

ловная, нарочно подсочиненная, *книжная* (подчеркнуто Дост.), что я сам, не выдержав даже минуты . . . *со стыдом и отчаянием* бросился вслед за Лизой" (с. 150).

Все кончается новым наплывом жалости и сердечности. Волна живого порыва к любви и прощению еще раз смывает навлеченную самолюбием злобу. Он бежит за Лизой, ему хотелось „упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении" (с. 152); но сейчас же дается прогноз: его самолюбие опять не вынесет этого, простить любви он не сможет и вновь возненавидит („Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ей ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее?" с. 152).

Итак, вот те „противоположные элементы", которых он „не пускал", и вот почему „не пускал".

Под слоем злобы, ненависти и исступленного бунта герой таит и прячет в себе живое влечение к „добру", к „любви", „жалости", „раскаянию", „прощению" (термины из текста), но эти чувства в нем не могут иметь выхода. Жажда причастности к чужой душе самолюбием воспринимается, как слабость и унижение. Гордость отвергает эти чувства, страдает от них и, предолевая их, обрекает личность на злобу и одиночество. Наоборот, злоба насыщает гордость; замыкая личность в самой себе, она утверждает ее независимость. Пренебрежением морально опрокидывается всякое чужое вторжение в ее внутреннее самогосподство. Злоба „выгодна" для самолюбия. Подпольный герой питает и навлекает на себя злобу и, наоборот, преодолевает „противоположные ей элементы". Злоба для его самолюбия желанна, и он очень досадует на те непосредственные влечения своего сердца, которые противоречат ей и побеждают ее.

Все это нас возвращает к одному из самых первых заявлений героя, которым открывается первая глава „Подполья" и которое без последней главы оставалось все время загадочным: „Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, у-

я только воробьев пугаю и себя этим тешу“, и пр. (с. 4—5). Вот причины враждебности героя к прекрасному и высокому, не к тому самолюбованию в „прекрасном и высоком“, к которому он и сам прибегал, а подлинному действительному влечению к живой сердечности, которое жило в нем и противостояло его самолюбию, и которое он, „не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу“ (с. 5; ср. в этом же смысле: „прекрасное и высокое“ сильно таки надавило мне затылок в мои сорок лет“, с. 22).

Этим замыкается круг идей и внутренних переживаний, входящих в состав подпольного героя. (Окончание следует.)

А. Скафтымов.

„Провинціальные очерки“ Анненкова.

С именем П. В. Анненкова связываются представленія о высокообразованном, тонком писателѣ, которому русская литература обязана нѣсколькими незабываемыми трудами. Он издал в 1854—57 г. первое, полнѣйшее для того времени собраніе сочиненій Пушкина, которое было встрѣчено очень сочувственно тогдашними корифеями русской журналистики; Чернышевскій посвятил ему большую статью в »Современникѣ«. В высшей степени цѣнныя воспоминанія оставил Анненков о русских умственных движеніях 30-ых и 40-ых годов. Эти воспоминанія так точны и так подробны, что иногда мы как будто переселяемся в обстановку сороковых годов, когда наше образованное дворянство, свободное от забот ежедневнаго труда ради куска хлѣба, но также поневолѣ свободное от настоящей политической и общественной дѣятельности, предавалось размышленіям о государственном и національном идеалѣ Россіи. Он запомнил, о чем велись разговоры лѣтом 1845 года в селѣ Соколовѣ, куда на каникулы переѣхали Грановскіе. — »Лѣто 1845 г. — говорит Анненков: — оставило во мнѣ такія живыя воспоминанія, что я и теперь (в 1870 г.), по прошествіи слишком 25 лѣт, как будто вижу перед собой каждаго из тогдашних лиц Московскаго кружка, и как будто слышу каждое их слово. Для меня это не дальнее, на половину позабытое прошлое, а как будто событіе вчерашняго дня. Голоса, выраженіе физіономій и позы людей стоят в памяти так живо, точно мы недавно разошлись по домам. »В подтвержденіе этих слов Анненков разсказывает о нѣкоторых бесѣдах. Если вспомнить, что это был момент, когда намѣчалось раздѣленіе славянофилов и западников, завершившееся к 1846 году, то нельзя не оцѣнить значенія этих воспоминаній, таких живых и точных. Попутно Анненков сообщает множество своих наблюденій, чрезвычайно важных для исторіи наших общественных идей и настроеній. Так, напр., говоря об измѣненіи общественных отношеній к »народу«, именно

в эти годы, Анненков прибавляет: »Года два-три перед тѣм никому из западной партіи и в голову не приходило провѣрять самые смѣлые свои приговоры об обычаях, вѣрованіях, моральных свойствах народа или заботиться об основательности и справедливости своих воззрѣній на его быт, надежды и ожиданія. Все это было дѣлом личнаго вкуса и всякому предоставлено было думать об этих предметах, что угодно, без малѣйшей отвѣтственности за свои мнѣнія и за свою точку зрѣнія. Тон горделиваго, полубарскаго и полупедантическаго презрѣнія к образу жизни и к измышленіям темнаго, работающаго царства водворился незамѣтно в средѣ образованных кругов . . .« Большой пролом в этой »кичливости образованностью«, как выражался Анненков, совершил Кавелин. Воздав ему должное, он отмѣчает и заслугу Тургеневских »Записок охотника«. Это очень важно, потому что Анненков до нѣкоторой степени раздѣляет эту заслугу Тургенева. »Тургенев — замѣчает Анненков — выразил ясно и художественно сущность настроенія, которое уже носилось так сказ. в воздухѣ«.

Кромѣ этих воспоминаній, к которым всегда придется обращаться историку русскаго общества, особенно историку перваго »водораздѣла« между западниками и славянофилами, Анненков записал в статьѣ »Николай Васильевич Гоголь в Римѣ лѣтом 1841 года« свои наблюденія над Гоголем в эпоху созданія »Мертвых Душ«, его разговоры и мелкія житейскія подробности его жизни, которыя так важны для біографов, и которыя обычно так недоступны им. Позже, в февралѣ и мартѣ 1848 года, ему пришлось быть свидѣтелем февральской революціи в Парижѣ, и наблюденія иностранца, такого живого и умнаго, как Анненков, вносят множество любопытных штрихов в пеструю, запутанную картину революціонной сутолоки, в которой получаются самыя неожиданныя столкновенія интересов, а отсюда вытекают самыя непредвидѣнныя послѣдствія. Анненков сумѣл в этом разобраться, и его наблюденія очевидца, исполненныя ума и ироніи, иногда бросают такой яркій свѣт на дѣйствительную обстановку событій, какой не дают никакія офиціальныя революціонныя выступленія. Я не знаю, в какой мѣрѣ использованы воспоминанія Анненкова в исторіи февральской революціи, но, если не использованы, это большой пробѣл.

В теченіе двадцати лѣт Анненков писал критическія статьи в журналах: »Современник«, »Русскій Вѣстник« и »Отечест-

венныя Записки« и др. Как отмѣчено в вводной замѣткѣ к изданію его сочиненій, Анненков продолжал критическія преданія предшествовавшаго ему времени. Это была чисто литературная критика. Другими словами, Анненков не был оригинален ни в своих сужденіях, ни в пріемах. Нѣкоторыя мнѣнія Анненкова могут теперь показаться неправильными: напр., его утвержденіе, что взгляд Тургенева на природу сходен со взглядом Тютчева. Но эти странности, которых и не так много, должны быть отнесены на счет эпохи, когда талант и міросозерцаніе Тургенева не вполнѣ еще установились и опредѣлились, и когда, с другой стороны, Тютчев еще не дал многих лучших образцов своей поэзіи. Во всяком случаѣ, и эти критическія статьи Анненкова, которыя охватывают все важнѣйшее в період его литературпой дѣятельности, должны быть изучены, выяснены, как выявленіе опредѣленной эпохи и опредѣленных литературных теченій. Анненков в этом отношеніи явно принадлежит к тому кругу западников, который примыкал к Тургеневу. Он не был выдающейся индивидуальностью, но был только соратником, который свою роль второстепеннаго писателя и критика сыграл с честью. В книгѣ Пиксанова: »Два вѣка русской литературы« он мог бы занять мѣсто не с меньшим правом, чѣм какой нибудь Зайцев, которому посвящена спеціальная тема на практических занятіях по русской литературѣ. Анненков считался среди современников прежде всего сторонником и другом Тургенева.

Дѣйствительно мы всегда встрѣчаем в сочиненіях Анненкова особенно теплый тон, когда он говорит об этом писателѣ. Со своей стороны Тургенев вѣрит в дружбу и пониманіе Анненкова, и ему выражает свои искреннія настроенія, когда ищет сочувствія. Конечно, по самой своей натурѣ Тургенев не был склонен к особенно горячим чувствам дружбы. В этом отношеніи он был такой же »однолюб«, как и в любви, и как там его душу покорила раз на всегда Віардо, оставив мѣсто только для временных и скоропроходящих увлеченій, так и в области дружественных отношеній едва-ли только Бѣлинскій и позже дружественная семья поэта Полонскаго не ограничивают собой круга людей, к которым писатель относился безхитростно дружественно. Повидимому, с Анненковым его связывали литературныя симпатіи, необходимость имѣть в литературных кружках Россіи »своего человѣка« и так

далѣе. Может быть, это происходило и от того, что Анненков лично не был, повидимому, очень симпатичной фигурой, и напр. в воспоминаніях доктора Бѣлоголового, который знал Анненкова под старость, этот послѣдній рисуется не очень симпатичными чертами. Во всяком случаѣ, эта »литературная дружба« имѣет, несомнѣнно, значеніе и интерес в русской литературѣ. Это была одна школа, противоположная напр. Достоевскому, — не даром Достоевскій, предполагая встрѣтить на Пушкинских торжествах в Москвѣ в 1880 г. Анненкова, писал женѣ о том, какая это будетъ странная встрѣча.

В исторіи русских литературных школ и направленій должно быть наконец отведено мѣсто и этому забытому писателю, и цѣлью настоящей моей замѣтки — не монографическое изслѣдованіе об Анненковѣ, которое было бы также дѣлом далеко не лишним, а только воспоминаніе об одном его произведеніи, которое должно быть поставлено — как я думаю — в извѣстную связь с »Записками Охотника« Тургенева. Это напечатанныя въ »Современникѣ« за 1849 -1851 г. »Письма из провинціи« под общим заглавіем: »Наканунѣ пятидесятых годов«. Как видно, эти письма охватывают хронологически ту же самую эпоху, что и »Записки Охотника«. Мѣсто дѣйствія их нѣсколько иное, чѣм в тургеневских »Записках«: именно, это одна из приволжских губерній средней полосы Россіи, но, по существу, это тот же самый дворянскій быт, та же крестьянская среда, и, если у Анненкова и нѣт намѣренія осудить крѣпостное право, то его гуманное отношеніе к крестьянской жизни, о котором я уже упомянул раньше, дает нерѣдко образы, напоминающіе тургеневскіе. И что также не лишено интереса, у него мы встрѣчаем несомнѣнно прообразы »тургеневских« женщин, что свидѣтельствует о том, как в духѣ времени и литературных пріемов извѣстной школы стояло такое изображеніе женщины в эту пору.

Задача Анненкова, как он заявляет в предисловіи к своим очеркам -- »изученіе родного края. Но до тѣх пор, пока мы будем только переѣзжать из Москвы в деревню и обратно, до тѣх пор, покуда всякій город на пути к мѣсту назначенія будет для нас имѣть единственно интерес станціи, а само мѣсто назначенія глубоким успокоеніем послѣ многих станцій, цѣль будет всегда убѣгать от нас«. Слѣдуют разсужденія о том, что на первый взгляд »на городах наших лежит

какая-то безличность, а между тѣм всякій, кто ближе присматривался к ним, очень хорошо знает, что, если не всѣ, то по крайней мѣрѣ, главные города губерній имѣют свое особенное выраженіе, свою нравственную физіономію«. И вот, по его мнѣнію, задача путешествія: —»возвратить жизнь этой галлереѣ живых существ, разобрать облики их с родовыми качествами и родовыми недостатками . . .« Послѣ этих вступительных слов автор приглашает приступить к изслѣдованію его »открытія«, но опять начинаются длинныя, чрезвычайно характеристическія для того времени отступленія. Автор утверждает, что не только каждый город имѣет свою излюбленную архитектуру, которую он изображает, несомнѣнно, под вліяніем стиля »Мертвых душ«, но и каждый дом представляет, как мы сказали бы теперь, личность; говоря об этой личности домов, Анненков очень приближается к Достоевскому, который так много мѣста удѣлил в своих ранних повѣстях (напр. в »Бѣлых ночах«) разсужденіям о своем знакомствѣ с домами. И эта деталь, конечно, объясняется вкусами эпохи, а литературно восходит, вѣроятно, к »Невскому Проспекту« Гоголя. Итак, поговорив пространно и с юмором в духѣ »Мертвых Душ« о физіономіи городов и домов, Анненков переходит к описанію отдѣльных извѣстных ему своеобразных домов и дач. Он останавливается подробно на одной дачѣ в Казанской губерніи, и описав ее, продолжает: »Вечером, при заходящем солнцѣ, когда вы сидите на галлереѣ дома с лягавой собакой у ног и ружьем у стѣны, журналом или книгой в рукѣ, вы часто принуждены отводить глаза, чтобы наблюдать, как поверх, но под ружейным выстрѣлом вашим, летит дикая утка с вытянутой шеей или плавно тянется пестрый вальдшнеп на зов самки.« Чисто тургеневская замѣтка.

»Но если гдѣ преимущественно чувствуется польза и необходимость путешествія, как мы его понимаем, так это при столкновеніях с народом«, продолжает Анненков. Автор разсказывает о том, как »народ« занят до нынѣ пѣсенным творчеством, и приводит нѣсколько примѣров этого из своих личных наблюденій. Нѣт сомнѣнія, что этот разсказ заслуживает гораздо больше вниманія, чѣм это ему удѣлено историками нашего народнаго творчества. Так, Анненков имѣл еще возможность наблюдать пѣніе бурлаков, и он отмѣчает: »Рѣдко музыкант, не пренебрегающій живописью в музыкѣ,

мог бы встрѣтить что-нибудь свѣжѣе, проще и выразительнѣе этой пѣсни. Гребцы, видимо, упивались ею, работа шла дружно, и они долго колебали мотив при тихом плескѣ, при ровном паденіи весел, которыя составляли ему достойный и совершенно однохарактерный акомпаньемент. Сколько наберется подобных пѣсен игривых, серьезных, полуигривых, полусерьезных на пространствѣ нашего отечества. И слѣдуетли пренебрегать ими, потому что онѣ не представляют собой назидательности для литературнаго чтеца, не щекотят воображенія кабинетнаго любителя народной поэзіи? И если нѣкоторыя из них и попадают в сборники, то слѣдуетли их помѣщать там, как будто для одной полноты, как будто уж одно к другому, без опредѣленія наперед их физіономій, их внутренняго значенія, характера их напѣва, без разбора. И не естьли все это настоящее дѣло путешествія, его прямая задача?« Тургенев в своих »Пѣвцах« дал такую же, только болѣе яркую и талантливую характеристику народнаго пѣнія. Очевидно, в той литературной школѣ, к которой оба эти писателя принадлежали, господствовало любовное и внимательное отношеніе к народной поэзіи, противоположное исключительно научному подходу к »произведеніям народной словесности«, какое господствовало в университетских кругах. Вслѣд за этой картиной народной пѣсни Анненков приводит свое наблюденіе над народной поэтической импровизаціей, говоря об одной народной игрѣ. Это такой яркій примѣр »синкретизма«, которому удѣлил свое вниманіе А. Н. Веселовскій, и при том примѣр совершенно незаслуженно забытый и не использованный, что я позволю себѣ привести это мѣсто. Анненков повѣствует о том, как в одном сельцѣ Нижегородской губерніи он наблюдал хороводную пѣсню крестьянских дѣвушек. При пѣніи »антипоэтической« строфы: «Ты скажи, скажи, воробушко, ты скажи, скажи, молоденькій, как бара-то ходят, большіе гуляют,» при пѣніи этой пѣсни« одна из дѣвушек выступала на середину круга и начинала похаживать, то закидывая руку за спину, под припѣв, то покачивая головой, то выкидывая ножками. Хор заливался добродушным смѣхом и переходил к другой антипоэтической строфѣ, и другая дѣвушка передразнивала старосту, потом купца и т. д. В нѣсколько минут хор осмотрѣл вся сословія, извѣстныя в сельском быту, посредством той же чрезвычайно игривой и мѣткой, так сказать,

мимики, которая имѣла еще и другое достоинство, именно: была не подготовлена, а рождалась вмѣстѣ с игрой и в минуту игры. Когда хор обошел с помощью одной и той же фразы цикл всѣх своих представленій, он возвратился снова к первой строфѣ, и другая дѣвушка начала то же представленіе, но уже в новых формах, с новыми подробностями. Неизмѣнен был только ребяческій, добродушный хохот собранія. Эта мимическая импровизація, длившаяся довольно долго, так много выказывала зоркости, наблюденія и способности передачи, вѣрной своему предмету, что может быть поставлена на ряду с живописным мотивом, о котором говорено выше.«

Переходя по тогдашней литературной модѣ, согласно требованіям изящнаго, легкаго стиля, от одной темы к другой, Анненков набрасывает ряд провинціальных типов. Всѣ они напоминают нѣчто, что нам хорошо знакомо по Гоголю, Тургеневу ранняго періода, Сологубу и др. писателям сороковых годов. Вот образ нѣкоего Нила Иваныча, который считался в городѣ Н. большим философом, потому что говорил книжными фразами, проглатывал без толку кучу книг с совершенным равнодушіем к тому, что уже прочитано. »Прочитанная книга была для него то же что и уплаченный вексель, умершій человѣк, проданное с аукціона имѣніе: он развязывался с нею на всю жизнь«. Эта характеристика смѣняется опять картинами народной жизни в области, гдѣ смѣшиваются мордовская, татарская, чувашская и русская культуры. По поводу этого смѣшенія автор дает ряд замѣчаній, которыя интересны для этнографа. »В этом уголкѣ — говорит он: — всѣ племена мѣняются фразами, но на вымѣнененную фразу каждое из них кладет тотчас же свой штемпель. Как ни странны русскія заимствованія этого рода, но они еще обличают особенную сноровку, а в необходимой передѣлкѣ их ярко выступает как характер народа, так и дух его языка. Замѣчаніе это также справедливо и в отношеніи самих нравов«. Слѣдует опять нѣсколько картин народнаго быта и народных развлеченій. Попутно Анненков не без юмора набрасывает типы русских провинціальных бар, которые пытаются говорить по французски и изображать из себя тоскующих и разочарованных героев. »Никто меня не увѣрит — ядовито замѣчает писатель: что большинство говорящих у нас по французски говорят пофранцузски. Это мистификація. Франкское нарѣчіе, господствующее у нас, по

большей части, есть только новое видоизмѣненіе русскаго языка, на которое еще не обратили должнаго вниманія наши филологи«. Вѣроятно, всѣ такія замѣчанія встрѣчались в кружкѣ сочувственным смѣхом, и именно в обстановкѣ дворянской гостиной, в типично помѣщичьем, дворянском кругу, и самые »Очерки« Анненкова производили свое настоящее дѣйствіе. Всѣ эти отступленія, попутныя замѣчанія, колкія словца, которыми пересыпаны страницы статьи, должны быть отнесены на счет литературной школы, и в этом, конечно, их главный интерес для нашего времени. Напр., как любопытна характерная для русскаго, нравственно утонченнаго быта такая картинка: »Разорившійся человѣк почти вездѣ в Европѣ есть человѣк, умершій преждевременно. Для общества это не болѣе, как сновидѣніе мертвеца, подземный бред скелета, о которых говорит Гамлет«. Совсѣм другое дѣло у нас, особенно в провинціи. »Трогательное снисхожденіе к бѣдѣ собрата доходит иногда в подобных случаях до невѣроятности. Разорившійся человѣк неожиданно вступает в права домашняго друга. Он дѣлается судьей домашних распрей, причастником семейных тайн, совѣтником в предпріятіях, по правилу, что человѣк, разстроившій собственныя дѣла, уже этим самым пріобрѣл нужную опытность для управленія чужими. Вмѣстѣ с тѣм образуются в пользу разорившагося особенныя привилегіи, права, ему одному присвоенныя. Так напримѣр, за ним утверждено право играть по какой угодно цѣнѣ, получать выигрыш, а проигрыш возлагать цѣликом на хозяина дома, который и принимает его с великодушной готовностью и со всѣми признаками неподдѣльной радости. Одна из самых заманчивых выгод, предоставленных разорившемуся человѣку, состоит в том, что он может имѣть какіе угодно претензіи, требованія и капризы. Трудно представить себѣ, что за огромную сумму непріятностей и притѣсненій выдерживают фанатики гостепріимства и деликатности обращенія от несчастнаго человѣка, мало-мальски своеобычнаго. Люди, совсѣм не отличающіеся уступчивостью характера, считают преступленіем остановить порывы неосновательной раздражительности неимущаго гостя своего, храбро выдерживают его нападки и только вздыхают про себя: »а нечего дѣлать, не выгнать же его на улицу«. Я знал одного скрягу, который ссужал деньгами не иначе, как под тройной залог, и который не мог отказать разорившемуся в займѣ на с л о в о. Уж не говорю, что для него прерывается

теченіе свободной бесѣды из опасенія как-нибудь проговориться; что хозяйка трепещет за каждое слово и часто рѣшается на ненужныя издержки, лишь бы не возбудить подозрѣнія о недостаткѣ радушія и малом уваженіи своем к несчастію...« Эта интересная характеристика русских дворянских нравов 19 вѣка не вымысел: вспомним »Село Степанчиково« Достоевскаго и образ Фомы Опискина, и мы поймем, как в этой обстановкѣ безконечной (конечно, всетаки условной, направленной только на »равных«) деликатности могли, дѣйствительно, создаваться такіе типы домашних тиранов. Другой образ, хорошо извѣстный нашей литературѣ, набросан не с меньшим мастерством в разсказѣ о Зинаидѣ Лущевской . . . »Зинаида Лущевская была дѣвушка, как дѣвушка. Ничего особеннаго. Ну, собой недурна; да в нашем вѣкѣ это не рѣдкость. Надо тебѣ сказать (разсказ идет от имени сосѣда), что мать у нея чуть-чуть не сумасшедшая и в дочкѣ души не чает. Весь вѣк свой прожили онѣ в деревнѣ. Зинаида училась по-французски, музыкѣ, и танцмейстер пріѣзжал к ним из города по четвергам. Все шло своим порядком, братец, и как нельзя лучше, да на бѣду прикатил к ним сосѣд, не то кузен, не то племянник их из дальняго вояжа. Он, разумѣется, сблизился с дѣвушкой и тотчас же отыскал в ней особенныя какія-то способности. Ни мало не мѣшкая, стал он водить ее по окрестным лѣсам и объяснять ей в уединеніи весь ужас ея положенія, как мнѣ сказывали. А в чем ужас состоял, Господь его знает. Зина, по правдѣ сказать, дѣлала у себя в домѣ, что хотѣла, и женихов множество очень порядочных, братец, имѣла. Все пошло на выворот с тѣх пор. Зина принялась читать разныя книжки, которыя доставлял ей кузен, сидѣла с ним цѣлыми часами на пруду, а он учил ее, как себя и других презирать, как ни он сам, ни она существовать недостойны, и как криво течет жизнь у них. В таких разговорах прошло у них все лѣто, а с наступленіем осени, в одно прелестное утро, проклятый кузен сѣл в свою вѣнскую коляску, да и удрал в Питер — оперу смотрѣть. Зина осталась, что называется, на мели, только с одной идеей, что ей слѣдует искупить всѣ свои старые грѣхи какой-нибудь великой жертвой. Поди же ты. Я, братец, ее видѣл вскорѣ послѣ того и ужаснулся, какая перемѣна в ней сдѣлалась. Прежде она была такая хохотунья, дѣлала разныя глупости и, право, была очень хорошенькій ребенок,

а тут всю прелесть потеряла, и одѣваться стала неряхой, и ходить розвальнем, и все ѣдкости говорит: матери, сосѣдям, гостям. Характер совсѣм испортился, по милости кузена«.

Надо принять во вниманіе, что эта оцѣнка »испорченной« дѣвушки дана пошлым человѣком из типа разорившихся, праздношатающихся дворян, характеристика которых дана выше. Если же присмотрѣться к основным чертам этой дѣвушки, развившейся под вліяніем культурнаго сосѣда, то, может быть, в них можно разглядѣть извѣстныя особенности тѣх тургеневских дѣвушек, которыя в разных варіантах проходят во множествѣ в повѣстях и романах Тургенева. Этот послѣдній любил подчеркивать, какими чужими своей средѣ были эти дѣвушки со своими повышенными требованіями и часто суровой оцѣнкой жизни. Вспомним хотя бы Елену из »Наканунѣ«. У Анненкова Зина дѣлается жертвой подлой интриги, которую сплели против нея друзья-помѣщики, в том числѣ и сам разсказчик. Ее фиктивно увез иностранец музыкант, которым она увлеклась, и который за деньги согласился разыграть увоз. Зина была осрамлена, »заблудшаяся была приведена на путь истины«, а результаты были самые благотворные: »Вот она живет теперь в деревнѣ, в совершенном уединеніи, и говорят, много благодѣяній производит в околоткѣ... Правда, исторія ея пошла в огласку, пересудам и насмѣшкам еще до сих пор нѣт конца; но вѣдь нельзя же было оставить без наказанія всѣ ея оскорбленія . . .«

Вслѣд за этим ранним описаніем »тургеневской« дѣвушки в »Очерках« Анненкова слѣдует очень интересный тип, который опять таки напоминает образы из »Записок охотника«. Это один из ранних »искателей правды« на землѣ, какіе появились в русской литературѣ во второй половинѣ XIX вѣка. Их нѣт еще у Пушкина, Гоголя и Лермонтова, но уже с Тургенева они появляются, а потом у Толстого, Достоевскаго и позднѣйших писателей, вплоть до Горькаго, становятся все болѣе обычными. Большая заслуга со стороны Анненкова, что он подмѣтил этот тип, и выставил его в своих письмах о русской провинціальной жизни. Таков напр. — мѣщанин Андрей Сидорыч Бубнов, в котором, однако, еще совсѣм нѣт того надрыва, которым всегда отличались наши искатели.

Напротив, герой Анненкова, Бубнов, отличается своей жизненностью. Он »отличался, по словам писателя, вертля-

востью и в совершенствѣ обладал особеннаго рода услужливою ловкостью, которая на вѣки остается у людей, долго занимавшихся торговым ремеслом«. Бубнов стал спутником писателя в его хожденіях по городу и его окрестностям. »Денег за свои хлопоты он не брал, и эта безкорыстная услужливость с перваго же разу заставила меня призадуматься. Я ближе стал присматриваться к замѣчательному человѣку, с которым какими-то непостижимыми судьбами встрѣчался почти каждый день; но вмѣсто уясненія этой личности она с каждым днем только затемнялась в головѣ моей. Сперва, по тайному желанію отдѣлаться от благодарности, я относил великодушную услужливость Бубнова к извѣстному добродушію празднаго человѣка, который, не имѣя надобности дѣйствовать для себя, расточает даром свою дѣятельность на других, но должен был перемѣнить это мнѣніе, потому что открыл в основаніи его поступков корысть особеннаго рода. Я замѣтил именно, что он подсматривает за мной во время моих наблюденій, слѣдит на лицѣ моем знаки удивленія или удовольствія, и очевидно, дѣлается весел и счастлив при каждом одобрительном моем восклицаніи, как будто оно составляло настоящую плату за всѣ его хлопоты«. Наконец, психологическая загадка, остановившая на себѣ вниманіе писателя, разъяснилась. Именно, в окрестностях города, гдѣ они оба проживали, были красивыя мѣста. »Часто вмѣстѣ с ним любовались мы окрестностью, и тогда на сильныя и нелицепріятныя мои похвалы он отвѣчал, к великому моему удивленію, не подтвержденіем похвал природѣ, а похвалами лично мнѣ, о чем я не стал бы и упоминать, разумѣется, если бы все это не служило к характеристикѣ самого Бубнова. „Славный ты барин, говорил он обыкновенно в это время: — знатный барин. Ну, спасибо же тебѣ. Ну, вот же бывают на свѣтѣ такіе добрые люди. Ах ты, Господи мой милостивый. Право, спасибо.“ В первый раз как посыпалась на меня эта лавина неожиданных похвал, я, признаюсь, не знал, что и дѣлать . . . Вскорѣ я понял, что весь панегирик был не что иное, как способ выражать свое сочувствіе к изложенной мысли . . . Однако-ж, дѣло разгадки этого характера не подвигалось Раз вышел я на вѣнец, как называли гулянье, в полдень, и еще издали замѣтил Бубнова, не совсѣм в обыкновенном положеніи. Он сидѣл по скату горы на корточках, упираясь локтями в колѣни и положив

нечесанную голову свою в широкія руки. Шапка его валялась возлѣ. Я подкрался к нему сзади и заглянул в лицо . . . Трудно описать, какое выраженіе безотчетнаго упоенія представляло оно в эту минуту. Глаза его остановились в каком-то тупом созерцаніи, а полуоткрытый рот обнаруживал как будто болѣзненное ощущеніе. Весь он. в согнутой своей позиціи, так и просился в картину. на тип человѣка, одержимаго сильным, но не вполнѣ ясным чувством. В головѣ моей мелькнула мысль: не принадлежит-ли Бубнов к разряду людей, влюбляющихся в небо, почву, всю обстановку извѣстнаго уголка земли. Едва остановился я на этой мысли, как весь характер и все поведеніе Бубнова сдѣлались для меня понятны, словно рѣшеная загадка . . . Предо мною был меньшій брат тѣх героев, образы которых, под пером Куперов и Сисфильдов, возросли до величественных размѣров, неизгладимых в памяти читателей.« С этим другом своим Анненков дѣлился разными мыслями, и особенный род уединенія, посреди многолюдной толпы, пріобрѣл — продолжает он — »для меня невыразимую прелесть, благодаря тихой, ровной и теплой бесѣдѣ с Андреем Сидорычем, которая вскорѣ сдѣлалась необходимой для меня.« Таким образом, Бубнов принадлежит к типу искателей удовлетворенных, спокойных, подобно тургеневскому Касьяну с Красивой Мечи, который, как и Бубнов, созерцает красоту мира. Это люди, примиренные, искатели нашедшіе. Но не в русской натурѣ примиреніе и удовлетвореніе, и чаще мы имѣем дѣло не с квіетизмом, не с Каратаевыми и Ерошками, а с богоискателями, ищущими непрестанно, рвущимися к какому-то непостижимому идеалу.

Анненков дает нам и такой тип. Развертывая перед нами пеструю картину всевозможных встрѣч, случайных и старых знакомств, мнѣній и событій, автор набрасывает ряд таких литературных типов, которые в нашей литературѣ имѣют свою исторію. Здѣсь и неудачные подражатели озлобленных и разочарованных Печориных, и сухіе дѣльцы типа Адуевых — старшаго и младшаго, и проч. На все это мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе наших историков литературы, так как Анненков едва-ли кѣм-нибудь из них нынѣ читается. Я позволю себѣ только болѣе пространно остановиться на образѣ человѣка, неудовлетвореннаго жизнью. Это был коробейник, или, как его называет наш автор — лукошник. Когда Анненков встрѣтился с ним, он стоял на полянѣ, окруженный группой крестьян, взрослых и дѣтей.

»Сухощавый и блѣдный лукошник, поминутно выкладывая новыя вещи (на показ дѣтям), держал вмѣстѣ с тѣм и какой-то особенный курс морали. Он строго выговаривал мальчикам, которые, забыв естественное свое предназначеніе, хватались за ожерелья, не покидая картин, и останавливал дѣвочек, которыя с гребешками в руках бросались на изображенія сраженій. Всѣм этим противозаконным инстинктам лукошник противился со всею энергіею строгаго и опытнаго воспитателя.« Подойдя ближе к лукошнику, разсказчик купил нѣсколько картинок и нѣсколько мелких украшеній и роздал их дѣтворѣ. Дѣти поскорѣе разбѣжались с полученными драгоцѣнностями, взрослые крестьяне не без недоумѣнія посматривали на незнакомаго барина, только »лукошник не показал ни малѣйшаго удивленія; он только пристально взглянул на меня, и тут-то я увидѣл истинно прекрасные голубые глаза, которые вмѣстѣ с блѣдным лицом его составляли замѣчательную физіономію, по выраженію кротости и особенно мягкой задумчивости.« Разговорившись с лукошником, писатель узнал его біографію, типичную для того рода »богоискателей«, искателей правды, которые потом изображались в нашей литературѣ. Герой разсказа в самом буквальном смыслѣ пошел »искать новую землю«. Научившись грамотѣ и толкаясь среди людей, он жадно слушал разсказы о чужих землях. »Как только заснешь, и пойдет бѣсовское наважденіе. В ушах у тебя шумит море и перед глазами разливается, острова стоят стеклянные и прозрачные, что насквозь видны, деревья с золоченными яблоками; люди ходят и тебя манят. Ну, слово, мученіе. Раз пять вскочишь и опять заснешь, и все та же притча. Стал я хилѣть, и ѣда мнѣ опротивѣла.« Кончилось тѣм, что лукошник, по совѣту отца, оставил дом и пошел бродить по свѣту, с полной увѣренностью, что он найдет »новую землю«. Очень любопытная исторія исканій и разочарованій этого человѣка передается Анненковым с большой реальностью. Искатель »новой земли« не угомонился от всѣх пережитых бѣд. »Еще и теперь от времени до времени заходят во мнѣ вздорныя мысли, не улеглась еще проклятая кровь, и иной час подыматься начинает, словно молодость помянуть хочет, а корзина моя тут, как пугало для ребенка. Накину ее на плечи, верст пятнадцать без присѣста сдѣлаю, уляжется кровь, отупѣет мозг, и голова сама на покой запросится. Ломаю я себя прилежно и так вѣк мой помаленьку доживаю, чай немного и хлопотать осталось . . .«

Таких самих разнообразных картин в провинціальных письмах Анненкова не мало. Я не имѣл в виду ни исчерпать их, ни найти им мѣсто в тогдашней русской литературѣ. Все это завело бы слишком далеко, хотя, думаю, не лишено интереса для изученія исторіи наших литературных школ, в рамках которой онѣ и находят до извѣстной степени свое объясненіе. Вспомним, что это была эпоха так наз. цензурнаго террора, когда за невозможностью затрагиватъ сколько-нибудь серьезные общественные вопросы, наша литература особенно охотно устремилась на такую невинную тему, как путешествія. Вѣдь и Некрасов совмѣстно с Панаевой сочинял в эти годы роман, в котором пересказывал путеводители по разным странам. Анненков выбрал для себя тему болѣе интересную, болѣе тѣсно связанную с Россіей и русской жизнью. Он сумѣл в рамках этой темы набросать цѣлый ряд типов и простого русскаго народа, и приволжских »инородцев«, и русских помѣщиков, и представителей городской русской интеллигенціи. Далѣе, он сумѣл подмѣтить среди этих типов такіе, которые потом надолго становятся достояніем русской литературы, типы, которые отчасти еще только намѣчались в эту пору. Все это написано прекрасно: живо, ярко, с юмором, в тогдашней благородной манерѣ живого и простого разсказа, который тогда был обязателен для хорошаго писателя, и который впослѣдствіи так испортился. Это дает право Анненкову на большее вниманіе, чѣм ему удѣляет исторія русской повѣсти. Разумѣется, Анненков не единственный в своем родѣ. Такіе же очерки писал в тѣ же годы Панаев, женщины котораго также относятся к разряду »тургеневских«. Очерками провинціалной жизни прославился Сологуб, с них начал Григорович и т. дал. Всѣ эти типы провинціальной жизни, выставленные в тѣ годы, в 40 -50-ых годах, было бы интересно пересмотрѣть в настоящее время. Мы могли бы таким образом яснѣе увидѣть, гдѣ кончается то »документальное« творчество Тургенева, которое, по недавно открытым данным, изучено проф. Мазоном, и гдѣ начинается »школа«, к которой принадлежал не один Тургенев, но и столь многіе из его современников.

А. Погодин.

Стили русской драмы XVIII в.

В. В. Сиповский в своей статье »Из истории русской комедии XVIII века«[1]) первый поставил крайне важную и неотложную задачу — научно разобраться в литературных приемах авторов русской комедии XVIII в. В методологическом отношении однако работа эта вызвала возражения со стороны П. П. Рулина[2]). В настоящей заметке хочу коснуться одной подробности, обойденной молчанием в статье последнего.

Разбирая уже первую комедию Сумарокова »Трисотиниус«, В. В. Сиповский считает ее за комедию »типа смешанного: она отчасти »класическая« — реалистическая, бытовая« (стр. 207). Отсюда делается вывод, что »Сумароков не оказался в области комедии строгим классиком« (стр. 209). Наоборот, комедия »Откуп« отнесена к разряду чисто »классических«, потому что главное ее лицо не представляет собою »воплощения бытовых черт« (стр. 211). Ясно, что для автора бытовое является признаком, исключающим принадлежность произведения к классическому стилю. Мне приходилось уже в применении к русской трагедии указывать на крайнюю спутанность представлений наших исследователей о сущности классицизма[3]). Этой спутанности не мало способствует и то, что для этого первостепенного для всей русской литературы XVIII и первой четверти XIX века направления все еще не дано такой исторической основы, какую романтизм получил в небольшой, но очень содержательной заметке В. Ф. Лазурского[4]).

Противопоставлять реалистически-бытовое »классическому« нельзя прежде всего потому, что классическая комедия и в первую голову — ее величайшего представителя Мольера[5]) —

---

[1]) Изв. Отд. Русск. яз. и Слов. Росс. Акад. Наук., XXII (1917), 205—274.
[2]) Там-же, XXVIII (1923), 413—420.
[3]) Отзыв о книге П. О. Потапова »Жизнь и деятельность В. А. Озерова«, Одесса 1916, стр. 32 и сл. отдельного оттиска.
[4]) Происхождение слова romantic. Ж. М. Нар. Пр. 1916. авг., 264—272.
[5]) *N. Schneegans*. Molière. Berlin. 1902, стр. 249. »Каждый крупный театр всегда есть театр бытовой«, замечает совершенно справедливо Д. К. Петров. »Изв. Отд. Р. Я. Ак. Наук«. XXVIII (1923), стр. 2.

насыщена бытовым содержанием, а затем потому, что ее законодатель, Буало, постоянно настаивает на самом тщательном изучении быта, конечно, для того, чтобы им воспользоваться в целях реализма. См. песнь III, стих. 109: »Эпохи и страны Вы изучайте нравы«[1]). В применении к комедии он тоже повторяет в ст. 387–390 с прямой ссылкой на Мольера. Для определения сущности »классицизма« естественнее всего обратиться к Grande encyklopédie (XI 579), где находим следующее: »on parle aussi de litterature classique par l'opposition à la litterature romantique on designe par la les écrivains qui suivent les règles de composition de style etablies par les auteurs classiques«.

И действительно тот же Буало постоянно ссылается на »правила«: Малерб »долга правила музе указал« (I 139); именно поэтому он признан был »руководителем верным« и стал »примерным образцом« (I 139—140). Поэтому для »сочинения идиллий, например« и надо не выпускать из рук Вергилия и Феокрита (II 26—27). Любопытно, что тот самый Лессинг, который »Ach. arme Poesie: anstatt Begeisterung und Göttern in der Brust, sind Regeln jetzt genüg«[2]), в знаменитом 17 литературном письме от 16 февр. 1759 основной недостаток немецкого театра времен Нейбер еще видел в том, что тогда не знали никаких правил и не заботились ни о каких образцах[3]) и, утверждая, что в основу трагедий не надо класть мораль, невольно, по старой привычке, отдавая дань тем же »правилам«, счел долгом все таки сослаться на то, что без морали обходились и Эврипид и Сенека[4]).

Из русских писателей достаточно ярким выразителем этого взгляда явился И. А. Крылов. Он, нападая на Карамзина устами Ермалафида за то, что он »стоит за свободу словесных наук, не следует »правилам« и не подражает знаменитым авторам, руководясь тем ошибочным убеждением, что великий ум, никогда ничему не следует« (С.-Петерб. Меркурий II 28)[5]).

И »последний русский классик« гр. Д. И. Хвостов, стоя на той же самой, взятой у любезных французов, точке зрения,

---

[1]) Перев. под ред. П. С. Когана. Спб. Огни, 1914; ср. A. Schoell. Shakespeare Jahrbuch, I, 1865, 128 = Gesammelte Aufsätze zur kl. Literatur. Berl., 1884, 105.

[2]) *Erich Schmidt*. Lessing, Берл. 1899. ч. I стр. 109.

[3]) Ibid. I, 420.

[4]) Ibid. 293.

[5]) Я нашел эту выписку у *В. Сиповского*. Карамзин, стр. 513—516.

в одном из своих посланий говорит: »Не диво, что у нас стихов негодных тьма« ведь »наши Мароны пишут, в искусстве не узнав ни правил, ни конца«[1]).

Таким образом присутствие бытовых и реалистических черт вполне возможно и в классической комедии, как это правильно отметил уже Н. Л. Бродский, в своем чрезвычайно любопытном исследовании »История стиля русской комедии XVIII века«[2]) указавший, что »сочная реалистическая струя в творчестве »северного Расина« диктовалась и теорией классической комедии и теорией тогдашней игры (стр. 181). Поэтому для написания истории нашей комедии необходимо проделанную В. В. Сиповским работу »поголовного« обзора всех комедий проделать в другом направлении — выделяя, где из под гнета незыблемых »правил« и слепого подражания »образцам« прорываются свежие побеги свободного творчества »своим умом«. Эта новизна проявляет себя не только в построении пьес, начиная с самой завязки и кончая финалом, но и в подборе персонажей и в приемах их обрисовки.

Знакомство с Шекспиром заставило Екатерину написать несколько пьес в явное подражание его произведениям. Помимо двух исторических пьес из истории Рюрика и Олега, написанных, как отмечено в самых заглавиях, »без сохранения феатральных обыкновенных правил«[3]), особенно любопытны две ее комедии: »Вот каково иметь корзину и белье«[4]) и »Расточитель«[5]), представляющая собой подражание »Тимону Афинскому«. Все они относятся к одному и тому же 1786 г.

Две эти комедии, из которых последняя очень плоха и в литературном и сценическом отношениях, представляя собой, повидимому, первоначальный, далекий еще очень от окончательной отделки набросок, резко отличаются от предшествующих и современных им комедий, на что совсем не обратил внимания André Hirondelle в своей книге »Shakespeare en Russie« (Paris 1912; стр. 34 слл.)[6]), ограничившись только сличением с английским образцом и указаниями на нарушения единства места и времени. Но гораздо важнее другие их подробности,

---

[1]) *П. О. Морозов.* Русск. Стар. 1892. № 6, стр. 75; ср. № 7, стр. 86—89.
[2]) »Искусство« 1923, № 1, стр. 172—184.
[3]) Изд. А. Н. Пыпина т. II, стр. 219 и 259.
[4]) Там-же стр. 3—62.
[5]) Т. III, стр. 301—345.
[6]) Этой стороны совершенно не касается и *В. В. Сиповский* — см. стр. 261 его статьи.

сказавшиеся прежде всего в отсутствии персонажей, ставших как-бы обязательными для всякой классической комедии и в появлении, наоборот, целого ряда таких, которые были ей совершенно чужды. Достаточно указать на отсутствие в них традиционных ролей »слуг«. И развязка обеих комедий ничего общего не имеет с обязательными финалами остальных комедий. Самой существенной особенностью построения обеих комедий является отсутствие в них монологов, если не считать небольшого монолога Тратова в 1 явл. V акта »Расточителя«, хотя его характер психологически открывал широкий простор для таких самоизлияний. Кстати, фамилия Тратова указывает на необходимость составить словарь всех фамилий персонажей нашей комедии, начиная с первых пьес Сумарокова. Повидимому, так называемые »говорящие« фамилии, образцом которых могут служить Скотинин, Вральман, Милон, Правдин и другие фамилии из »Недоросля« также являются одним из характерных приемов »классиков«, которые по образцу древних старались таким образом сразу обрисовать отдельную фигуру своей пьесы. Но прием этот через Грибоедова (Молчалин) продержался вплоть до Островского, как это показывают его Дикой, Кабаниха, Белотелова, Незнамов, Кручинина и др. Для определения стиля пьесы и это давало-бы в связи с другими признаками некоторую опору.

Цельность и замкнутую выдержаность стиля комедии не могли не расшатать те инородные влияния, от которых не легко было уберечься даже правоверным классикам. Сюда прежде всего относится »слезная« или »жалостная« комедия, влиянию которой подчинены даже лучшая пьеса из XVIII века — Фонвизиновский »Недоросль«[1]).

»Классицизм«, так ярко обнаруживающийся на многих пьесах первой полосы нашего театра, находится в полном соответствии не только с несомненной напыщенностью показных сторон тогдашней жизни[2]), но и с общим художественным обликом Петербурга XVIII века, не даром при самом его основании Петром местное зодчество подпало под безусловное влияние французского классицизма[3]).

Если правильной закономерностью своих построений, со-

---

[1]) *И. Жданов.* Сочинения. Т. II. стр. 162 слл.

[2]) *Н. Н. Страхов.* Борьба с Западом. СПБ., 1883, т. II, стр. 13.

[3]) *Gustav Ebe.* Die Spät-Renaissance. Берлин. 1886, стр. 620, 716.

ставляющей характернейшую особенность классического стиля[1]), наша драма XVIII века отвечает совершенно требованиям этого стиля, то героические трагедии Сумарокова и Княжнина, рассчитанные на пышную внешнюю рамку придворного спектакля, вполне подходили к дворцовому убранству в пышном стиле барокко. Но после длительного его господства и у нас, при Елизавете наступает уже полоса рококо.[2])

Столь частые в репертуаре придворной и губернских сцен XVIII в. »парадные спектакли«[3]) являются перенесением в область театра всех характерных особенностей этого стиля, так близкого по духу ко всей обстановке парижского и саксонского двора XVIII века. Но там уже к 1760 г. начинается его падение, а к нам он, как и большинство художественно театральных направлений, попал с большим запозданием. Тексты этих оффициально хвалебных драм оставляют такое впечатление, будто с ними на сцену к нам были перенесены оживленные фарфоровые фигурки этого стиля. Для воплощения заполняющих эти пьесы аллегорических фигур матерьял дают орнаменты любого характерного здания стиля рококо, состоящие из причудливых сочетаний государственных гербов, корон, орденских звезд, венков, гирлянд, являющихся постоянными аттрибутами этих аллегорий и как раз относящихся к числу тех figures presque parlantes, в которых строитель дрезденского дворца Даниил Пеппельман[4]) видит существеннейшую принадлежность этого стиля. Выступающие в этих пьесах персонажи, от царей до пейзан включительно, словно сошли с картин наиболее ярких мастеров этого стиля Ватто и Буше, тем более, что первый из них так глубоко вошел в мир персонажей комедии: Пьеро, Арлекинов и Коломбин. Эти итальянские маски связаны со стилем рококо еще и тем, что в его картинах французский быт уступает рано место влиянию венецианской обстановки[5]). Таким образом тот-же стиль проникал на нашу сцену, нарушая замкнутый круг классицизма, также и через итальянскую оперу.

---

[1]) *Victor Klemperer*. Romanische Literaturen, в Handbuch d. Literaturwissenschaft под ред. Oskar Walzel, стр. 22.

[2]) *Т. В. Жданоз*. Барокко в России. Изд. Academia, 1926, под ред. А. И. Некрасова, стр. 97.

[3]) См. о них мою Историю театра. 2-е изд., 223—236.

[4]) О нем *G. Ebe*, ук. соч. 647 слл.

[5]) *Anton Springer*. Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. II, Bonn 1886, стр. 251 слл.

Сантиментальное обращение к »простым людям«, столь характерное для нашей музыкальной драмы XVIII века[1]), опять таки роднит наш театр с картинами излюбленного мастера XVIII века Греза: все эти Миловзоры, Прелесты, Розаны и Любимы по степени приближения к бытовой правде родные братья и сестры фигурам, которых он рисовал и в »Разбитой кружке« и в »Деревенской невесте«. Эта среда, привлекая к себе зрителя новизной своих образов, в то же время исподволь, но безусловно подтачивала основы казалось бы незыблемого классицизма.

Противопоставлением портрета Веласкеца инфанты Маргариты Австрийской и картины Мурильо »Дети с гроздью« доказывают, что простота и естественность вошла в искусство чрез изображение крестьян и простолюдинов: их дети на картине Мурильо полны жизненной простоты, тогда как весь облик инфанты искажен у Веласкеца условной манерностью. Точно также и классицизм сценической игры разрушала и расшатывала жизненность и простота, без которой нельзя было обойтись при исполнении тех крестьянских ролей, которые так обильно входили в состав комедий и особенно комических опер XVIII века.

Перейдя затем и на изображение других классов, актеры постепенно расшатали замкнутый стиль классических условностей, тем более, что и его общественный слой и их внешнее воплощение было чуждо большинству не только актеров, но, пожалуй, и самих зрителей.

Одесса. *Б. Варнеке.*

---

[1]) *А. Лобода.* Народность в русской музыкальной драме сто лет назад. Чтения Нестора Летописца. XIII, 1899 стр. 191—210.

Русь и Печенеги.

Русская историографиа приучила нас смотреть на Печенегов, как на дикое, некультурное племя, имевшее гибельное, почти роковое значение для соседней Руси[1]); историкам пробуют вторить и археологи, хотя не имеют для этого по существу достаточных оснований,[2]) поскольку печенежские древности не только не обследованы и не изучены ими, но собственно даже и не выявлены.[3]) Между тем несомненно, что Печенеги были тесно связаны с первоначальной судьбой Киевской Руси, и взаимоотношения Печенегов и Руси должны глубоко интересовать каждого, кто пытается проникнуть в тайну зарождения и первоначальной организации Киевской Руси. Оказавшись близкими соседями Киевской Руси по своем переселении на Днепр в самом конце IX в., они несомненно сыграли свою роль в первоначальных судьбах этой Руси в эпоху X и начала XI в. в. — вплоть до рокового поражения Печенегов в 1036 г., столь отразившегося также на судьбе Киевской Руси и поведшего к »закладке« и обстройке Киева Ярославом, — что, конечно, знаменовало собой новый этап в истории той же Киевской Руси.

Появление Печенегов на нижнем Днепре вряд ли могло стоять без всякой связи с теми племенными осложнениями здесь среди славянства, которые летопись изображает как борьбу Полян с Древлянами и передвижение Уличей с Днепра на Запад.[4]) Можно думать, что Печенеги не вытеснили отсюда совсем славянские племена, а вступили с ними в некоторый контакт. В последнее время не без основания с одной стороны

---

[1]) Некоторое исключение представлял П. В. Голубовский, — см. »Печенеги, Торки и Половцы« Киев, 1884.

[2]) См. напр. новую работу проф. А. С. Федоровского — »Охорона пам'яток культури на Україні«, Харьков, 1927, стр. 42.

[3]) Попытка в этом роде была сделана покойным археологом Н. Е. Бранденбургом — см. его ,,Путеводитель по С. Петербургскому Артиллерийскому музею , I, Спб., 1902 г., стр. 50—77, и др.

[4]) Подробнее об этом см. в нашей книге »У истоков русской государственности«, Ленинград, 1924 г.

подчеркивают стройную военную организацию Печенегов, а с другой — в степных племенах, подобных Печенегам, усматривают представителей социально-политической силы, лишь организующей в качестве государственной верхушки местное население.[1]) Если при этом примем во внимание сведения Константина Багрянородного о широких торговых связях Печенегов с соседями — Византией, Русью, Херсонесом, Хозарией, Зихией и Дунайской Болгарией,[2]) то у нас есть уже достаточные основания взглянуть на Печенегов и их историческую роль иначе и пересмотреть действительные исторические взаимоотношения Руси и Печенегов, на которые мы привыкли до сих пор смотреть, как на бесконечную, непримиримую вражду и борьбу. Так ли это?

Современник, писатель половины X века Константин Багрянородный на этот счет пишет так: »Россы стараются жить в мире с Печенегами«, »быть с ними в союзе и получать от них помощь, потому что покупают у них лошадей, коров и овец«, потому что далее, »если не находятся в мире с Печенегами«, »не могут вовсе отправляться на войну в чужую землю« и »не могут приблизиться к царственному граду Ромеев (Византии) ни для войны, ни по торговым делам«.[3]) Тут естественно встает вопрос о Россах и Руси. Географические указания относительно местонахождения Руси Константина Багрянородного подверждают в общем свидетельство нашего летописца о там, что »Поляне« это »яже ныне зовомая Русь« (под 898 г.). Независимо от такого или иного разрешения вопроса о происхождении имени »Русь«,[4]) чрезвычайно сложного и спорного, мы можем принять эти свидетельства в том смысле, что в определенный исторический момент понятия »Руси« и »Полян« совпадали, и это как раз был момент сожительства Руси и Печенегов, т. е. X и первая половина XI в. Создается, таким образом, как будто полное противоречие между ясным показанием Константина Багрянородного и данными нашей летописи о взаимных отношениях Руси или Полян с Печенегами; естественно, что тут требуется внимательный пересмотр летописных данных на этот счет.

---

[1]) Срв. у А. Е. Преснякова в ст. »Задачи синтеза протоисторических судеб Восточной Европы« — »Яфетический сборник«, V, Ленинград 1927; в основе последнего суждения лежат новые изыскания академика Н. Я. Марра.

[2]) См. »Περὶ ἐθνῶν«, гл. 1—8.

[3]) См. »Περὶ ἐθνῶν«, гл. 2.

[4]) О чем см. в упом. книге »У истоков русской государственности«.

Первое известие летописи о Печенегах[1]) связывается (под 915 г.) с именем родоначальника Киевской династии Игоря, погибшего впоследствии в борьбе с Древлянами за Поднепровье,— оно говорит о »мире« между Печенегами и Русью, заключенном без указания на предыдущую войну, а потом спустя некоторое время летопись свидетельствует даже о союзе[2]) Игоря с Печенегами (944 г.). Правда, после, при Святославе, мы видим военные столкновения между этим князем с одной стороны и Печенегами и Хозарами с другой; но, во-первых, Святослав ведь не есть по существу князь земли Полян — не князь Киевский еще, это князь типа »пардуса« — »ни шатра имяше« (964 г.), явно пренебрегающий Киевом и землею Полян (969 г.), географически, так сказать, не самоопределившийся, это князь, беспокоящий своими походами Хозар и Печенегов; во-вторых, в связи с этим в летописном назидательном повествовании он стал конкретным олицетворением нравоучительной сентенции —« ты, княже, чужея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив« (968 г.), при чем имеют полное основание соображения А. А. Шахматова[3]) о смутных воспоминаниях в народной памяти относительно деятельности и походов этого князя и о влиянии соображений и догадок и позднейших исторических аналогий на летописную компановку всего летописного рассказа о Святославе; наконец, в — третьих, во время похода Святослава в Дунайскую Болгарию мы видим в его войске отряд Печенегов. Зато в дальнейших исторических событиях после Святослава мы можем отметить факты военной помощи и поддержки Печенегами Полян, но при этом нужно помнить приведенную общую точку зрения Шахматова об односторонне тенденциозной трактовке летописью исторических событий за эпоху второй половины X века и даже начала XI в.[4]) и не придавать большого и решающего значения летописной генеалогии князей и их родственным связям и отношениям между собой по летописи.

---

[1]) Тут мы не входим в обсуждение степени хронологической точности летописных сообщений — это в данном случае не важно.

[2]) В связи с принимаемой нами ролью Игоря в утверждении Полян на Днепре такие взаимоотношения его с Печенегами могут говорить о связи движения к Днепру Печенегов и Полян и о контакте между ними в борьбе с Древлянами и Уличами.

[3]) »Разыскания о древнейш. русских летописн. сводах«, СПБ,. 1908, стр. 479—481, 487 и др.

[4]) Ibidem. стр. 487: »Припоминания в тексте древнейшего (летописного) свода едва ли переходят время Ярослава« и т. д., также 316 и др.

Так, после Святослава, при продолжающейся, очевидно, борьбе Полян с Древлянами, когда Ярополк Полянский победил Олега Древлянского[1]) (были ль они действительно братьями, это вопрос неясный и в данном случае второстепенный), и именно в связи с этим — как будто на помощь Древлянам против Полян, собственно в целях использования этой здешней политической ситуации того момента, приходят в Поднепровье »Варяги из-за моря« с Владимиром и побеждают Ярополка (вопрос об их родственных связах тоже неясный и второстепенный) Полянского (может быть, подобно Игорю и Святославу не имевшего еще резиденции в Киеве, в связи с чем, возможно, стоит известие об осаде его в Родне, вероятно, на устье Роси), то Печенеги являются мстителями за смерть Ярополка и как бы защитниками Полян от Варягов (980 г.), чем и можно объяснить затем упорную длительную борьбу Владимира с Печенегами.

Таким образам, с развитием варяго-греческого пути, борьба Полян с Древлянами, идущая на Днепре в X в., в конце X в. и затем в начале XI в. переходит в упорную борьбу Варягов с Печенегами, длящуюся с перерывами по летописной хронологии от 980 до 1036 г. Как и большинство летописных известий о Владимире,[2]) летописные данные о его борьбе с Печенегами носят легендарный и при том неясный характер (таковы предания о создании Переяслава 992—993 г. г. и Белгородском киселе 997 г.), но недаром сообщение известного письма Брунона говорит о заявленной Печенегами надобности в защите их от Владимира: видимо, в этой борьбе проявлялись — не столько натиск степи на север, сколько агрессивная политика в движении к морю нового Киева, создающегося при помощи варяжского оружия и византийской торговли. В соответствии с этим в деятельности Владимира замечается его враждебное отношение к степи и стремление оградиться от нее крепостями (988 г.). Вообще Владимир, видимо, скорее был сторонником Древлян, чем Полян, — недаром летописное предание ставит его в родственную связь по матери с Малом Древлянским — »Малком Любутчанином«;[3]) отсюда и стремление Владимира опереться на »старцев градских« (996 г.), — элемент,

---

[1]) Срв. в »Разысканиях«, стр. 372 и др.
[2]) См. в »Разысканиях«, стр. 487 и др.
[3]) Ibidem, 373—377.

конечно, скорее древлянский, чем полянский. Таким образом, по существу неясная из летописи в подробностях, обвеянная легендами, борьба Владимира с Печенегами была продолжением борьбы Полян с Древлянами, иначе — степи с земледельческою лесостепью.

В этом, видимо, была причина того, что Владимиру не удалось создать сильной монархии,[1]) ибо степь ставила ему препоны на путях к морю, а путь через Чернигов к юго-востоку также, очевидно, не был в руках Владимира.[2]) В событиях 1015—1019 г. г. мы снова видим продолжение старой полянско-древлянской борьбы, еще более осложненной яснее проявленным участием в ней Варягов и Печенегов. Киевский князь Святополк опирается на Вышгород — »Ольжин град«, — видимо, полянский, — одолевает враждебного Печенегам князя Бориса[3]) и князя древлянского Святослава и в момент нового движения Варягов на Киев (роль Ярослава тут, конечно, служебная) пользуется военной поддержкой Печенегов. Таким образом в лице Святополка, тенденциозно прозванного Окаянным и сильно затушеванного династически-религиозной легендой, мы видим представителя элемента полянско-степного, борющегося с Древлянами, а потом с Варягами, выставляющими против него в роли претендента на Киев Ярослава. В конечном итоге, как видно из летописи, Варяги как будто, по крайней мере пока, восторжествовали над Печенегами, продолжавшими поддерживать Святополка против Ярослава. Эта победа не могла не вызвать нового противодействия степи и повела к появлению на левом берегу Днепра в 1024 г. Мстислава с Хозарами и Касогами, в результате коего этими пришельцами с юго-востока была организована Черниговская держава, очевидно, союзная Печенегам, а Киев, вероятно, оставался под гегемонией Печенегов, ибо Варяги были отсюда прогнаны, да и Ярослав, видимо, засел на 10 лет вновь в Новгороде, где он чувствовал себя прочнее. Возможно допустить, что в это время в Киеве сидел союзник Мстислава и Печенегов — таинственный князь Судислав, пострадавший потом при катастрофе 1036 г.

---

[1]) Обычное преувеличенное представление о коей не имеет в летописи сколько-нибудь прочных оснований.

[2]) Ибо не знаем о посажении в Чернигове Владимиром своего сына.

[3]) Действительная историческая роль коего сильно потускнела от церковной легенды.

Лишь смерть в 1036 г.[1]) Мстислава открыла новые возможности для стремившихся на юг »Варягов«, — Ярослав двигается с ними на Днепр. И здесь снова последнее отчаянное сопротивление покорению Полян со стороны Варягов и Ярослава оказывают Печенеги. В событиях 1036 г. Печенеги являются скорее всего защитниками полянского Киева; недаром решительное сражение против северных завоевателей происходит почти в самом городе — на месте будущего Софийского собора и имеет такие серьозные последствия для Киева и Новгорода[2]) и в судьбе князей Ярослава и Судислава. Поэтому-то киевское поражение Печенегов 1036 г. послужило началом обстройки и расширения самого Киева и повело к установлению нового этапа в истории Киевской государственности. После этого Печенеги в массе устремляются на юго-запад — на Балканский полуостров к Византии и значительной политической роли на Днепре уже не играют, оставив здесь лишь небольшую часть своих соплеменников, которые, впрочем, еще долго сохраняют тут свою этническую обособленность (летописные упоминания лет — 1096, 1097, 1103, 1116, 1121, 1142, 1151, 1162, 1169, — Ипат.)

Такова в общих чертах схема взаимоотношений Печенегов и Полян, дающая основания утверждать, что Печенеги — дети того же »поля«,[3]) что и Поляне, действительно, согласно показаниям Константина Багрянородного и расшифровуемым свидетельствам нашей летописи, в общем жили скорее с ними в мирных и добрых отношениях, будучи связаны и экономически, и до некоторой степени государственно, ибо в критические минуты Печенеги, как видим, защищали местную полянскую государственность от иноземного завоевания, каковым следует считать по существу наступления на Киев северных Варягов (980, 1016, 1019, 1036 г. г.). И это вполне понятно, ибо Печенеги, подобно царским скифам[4]) давней поры и позднейшим запорожцам, владели порогами, закрывавшими движение из Среднего Поднепровья в море, и тем тесно экономически были связаны с Киевской торговлей; при союзе их

---

[1]) Указание года Лаврент. вернее Ипат., ибо согласуется с византийским известием.

[2]) Получающего теперь именно нового князя вместо Ярослава.

[3]) Срв. сообщение 968 г. — »прогна Печенеги в *поле*«.

[4]) Большинство наиболее важных и богатых курганов, как известно, сконцентрировано вблизи порогов (Чертомлыцкий, Солоха и др.).

осуществлялись обоюдные торговые интересы — и печенежского Запорожья, и Киева, не могшего, как это верно подметил Багрянородный, вне союзных связей с Печенегами вести торговлю с Византией и морем вообще. Однако, с уходом Печенегов и победой в Киеве Варягов вопрос об отношениях Руси со степью не был покончен, а перешел лишь в новую стадию, в связи с чем и Печенеги не исчезают совсем с Киевского горизонта в XI—XII в. в., а продолжают свое сотрудничество с князьями Руси и в новую эпоху существования Киевского государства. Но она уже носит иной характер по сравнению с предыдущей эпохой X и начала XI в., в которую, как видим, Печенеги в истории Киевской Руси играли большую роль. Эта роль Печенегов в судьбах первой Киевской державы и засвидетельствованные письменно торговые интересы их склоняют видеть в Печенегах племя, способное к государственной и культурной жизни, вследствие чего археологам следовало бы внимательнее подойти к выявлению и изучению печенежских древностей.

Владимир Пархоменко.

Kritiky a referáty.

Štěpán Kulbakin: **Mlavnice jazyka staroslověnského.** Z rukopisu přeložil Bohuslav Havranek. V Praze 1928. Nákladem Jednoty českých filologů. X. 214 str. Za 33 Kč.

Schon früher hatte Kulbakin in russischer Sprache zwei Grammatiken des Altkirchenslavischen herausgegeben, und zwar: Древне-церковнословянскій языкъ, 3. Auflage, Charkov 1917, und: Грамматика церковнословянскаго языка по древнѣйшимъ памятникамъ Petrograd 1915. Die jetzt erschienene dritte Grammatik steht, was die Methode der Beschreibung und die Anordnung des Stoffes anbetrifft, dem ersten der zwei genannten Bücher näher als dem zweiten, welches im Rahmen der Petersburger Энциклопедія славянской филологіи erschienen war und sich auf die Beschreibung der aksl. Sprachquellen und ihrer grammatischen Eigentümlichkeiten beschränkte; der Древне-церковно-словянскій языкъ dagegen war eine selbständige Ausgabe, in welcher Kulbakin dasjenige geben wollte, was die jungen Slavisten für ihre philologische und linguistische Bildung an erster Stelle nötig haben: nicht nur eine deskriptive Grammatik der Sprache der aksl. Texte, sondern auch eine historische und vergleichende Grammatik, in welcher die aksl. Sprache mit der urslavischen und diese wieder mit der indogermanischen verglichen wurde. Sowohl in der Lautlehre, wie in der Morphologie gingen den dem altkirchenslavischen Tatbestande gewidmeten Kapiteln ausführliche Abrisse der indogermanischen und urslavischen Vorgeschichte voran. Ausser einer Laut- und Formenlehre enthielt dieses Buch ein Schlusskapitel über die dialektische Differenzierung der Quellen und eine Einleitung, in welcher die wichtigsten Probleme der äusseren Sprachgeschichte und die zwei Alphabete, das glagolitische und das kyrillische, besprochen und Übersichten über die Sprachquellen und die wissenschaftlichen Hilfsmittel mitgeteilt wurden. Die „Mluvnice" ist im allgemeinen kürzer gefasst als das ältere Buch; am meisten wurde der prähistorische Teil gekürzt. Zwar fängt die Lautlehre mit einem Abschnitt über die „Hlásky jazyka praslovanského a jazykové skupiny jihoslovanské" an, aber dieser zwei Paragraphen umfassende Abschnitt (§ 15. Praslovanský systém hlásek, § 16. Hláskový systém v jihoslovanské jazykové skupině) enthält nur zwei Seiten und auch sonst sind die Bemerkungen über die indogermanischen und urslavischen Verhältnisse relativ kurz. Infolgedessen ist dieses Buch in erster Linie eine deskriptive Grammatik der aksl. Sprache des 10. und 11. Jhs., natürlich mit Berücksichtigung der in vielen Punkten rekonstruierbaren Sprache Konstantins und Methods. Auch innerhalb dieses Rahmens wäre eine streng synchronistische Sprachbetrach-

tung unmöglich gewesen: es wird ja eine Sprachperiode von mehr als zwei Jahrhunderten berücksichtigt. Dass der Verfasser noch in viel ausgedehnterem Masse als stricte notwendig war, die diachronistische Methode neben der synchronistischen zur Geltung kommen lässt, verdient m. E. alle Anerkennung. Es ist zwar möglich, Altkirchenslavisch an und für sich zu studieren, ohne Berücksichtigung anderer slavischen Sprachen, im allgemeinen aber werden die Studierenden die aksl. Philologie als einen Unterteil der Slavistik betrachten, und als Lehrbuch brauchen sie eine gewissermassen eklektische Grammatik, nicht eine einseitig synchronistische Beschreibung der aksl. Sprache, wie etwa die in der Petersburger Encyklopädie erschienene Грамматика Kulbakins gewissermassen ist.

In einem Punkte ist die Mluvnice vollständiger als der Древне-церковно-словянскій языкъ: sie enthält auch ein Kapitel über die Syntax. Bisher wurde die aksl. Syntax stark vernachlässigt. Ein reiches Material enthält die Vergleichende Syntax von Miklosich; wertvoll ist noch immer Potebňas Buch: Изъ записокъ по русской грамматикѣ; Jagić hat in seinen Beiträgen zur slavischen Syntax neues Material zusammengestellt und über viele Fragen neues Licht verbreitet; Grünenthal untersuchte in den Bänden XXXI und XXXII[1]) des Archivs „die Übersetzungstechnik der altkirchenslavischen Evangelienübersetzung.“ Die Beschränkung auf einen Text ermöglichte bei dieser Arbeit eine relative Vollständigkeit und es wäre erwünscht, dass noch mehrere Monographien dieser Art erschienen; anderseits aber ist eine aksl. Syntax unvollständig, wenn sie nicht neben den in aksl. Kodices überlieferten Texten auch die zwar nur in jüngeren Handschriften vorliegenden, aber dennoch auf die aksl. Periode zurückgehenden Texte berücksichtigt. Zwar sind unter den Händen der späteren Kopisten die alten Texte auch in syntaktischer Hinsicht vielfach verderbt oder modernisiert worden, aber wenn man kritisch verfährt, kann man sogar aus Kodices des XV. oder XVI. Jhs. manche syntaktische Altertümlichkeit des X. oder sogar des IX. Jhs. eruieren. Während die mittelbulgarischen, russisch-, serbisch-, oder kroatisch-kirchenslavischen Kodices dem Bilde, das man sich auf grund der altkirchenslavischen Quellen von der Laut- und Flexionslehre des IX., X., XI. Jhs. macht, kaum einen wesentlichen Zug hinzufügen — vereinzelte Ausnahmen wie *пал'тъ* bei Johannes Exarchos usw. bestätigen die Regel —, ist, was Syntax und auch Wortgebrauch anbetrifft, immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass jüngere Kodices des Apostels, der Vitae Cyrilli und Methodii, des Traktates Chrabrs, der Schriften des Exarchen usw. solche für das Aksl. oder für einzelne Autoren der aksl. Periode charakteristischen Eigentümlichkeiten enthalten, welche in aksl. Handschriften selten oder sogar gar nicht vorliegen. Beinahe alle Vorarbeiten sind hier aber noch zu machen; dasjenige, was Grünenthal für das Evangelium geleistet hat, muss auch für andere Texte unternommen werden, und solange das nicht geschehen ist, ist es sehr begreiflich, dass diejenigen Forscher, die einzelne Kapitel der aksl. Syntax behandeln, sich auf einen Teil der Texte beschränken,

---

[1]) Kulbakin führt S. 182 nur die zwei im XXXI. Bande erschienenen Abschnitte an.

wobei es dann nahe liegt, speziell diejenigen Texte zu berücksichtigen, welche in aksl. Kodices vorliegen: so verfuhr Słoński bei seinen Studien über die Nebensatzkonstruktionen und über das Perfektum und ebenso verfuhren Meillet und Boehme bei ihren Studien über die Aspekte des Verbums. Und auch in einer vollständigen Grammatik ist eine solche einseitige Behandlung der Syntax das Höchste, was man einstweilen erreichen kann. Vondrák und Kulbakin, welche ihrer Aksl. Grammatik bezw. Mluvnice jazyka st.-sl. Kapitel über die Syntax hinzugefügt haben, hätten zwar ohne allzu grosse Mühe einiges Material aus dem Exarchen, den Predigten Gregors von Nazianz usw. anführen können (viele Beispiele enthält Miklosichs Syntax), ein irgendwie vollständiges Bild der aksl. Syntax hätten sie aber bei dem jetzigen Stand der Forschungen nicht geben können: deshalb ist es sehr verständlich, dass sie sich beinahe ausschliesslich auf die aksl. Kodices beschränkt haben.

Auch in anderen Hinsichten gibt die Syntax Kulbakins ein unvollständigeres und einseitigeres Bild der aksl. Verhältnisse als die Laut- und Flexionslehre. Während hier die individuellen Züge der einzelnen Texte, sogar der einzelnen Handschriften, fortwährend berücksichtigt werden, geschieht das in der Syntax nur sporadisch. Sogar eine so merkwürdige Abweichung des Psalteriums von dem Usus des Evangelientextes wie die Konjunktion вънегда wird nicht verzeichnet; S. 200 wird diese Konjunktion nur als eine Eigentümlichkeit des Suprasliensis erwähnt. Sehr viele Abweichungen von der „klassischen" Syntax der ältesten Übersetzungen liegen im Suprasliensis vor; auch gibt es hier merkwürdige Unterschiede zwischen den einzelnen Partien. Und dasselbe gilt von dem Clozianus, wo speziell das Fragment unbekannter Herkunft einige auffällige Konstruktionen aufweist, welche allerdings teilweise einfach als Fehler aufzufassen sind; zum Clozianus s. Thal, Archiv XXIV, 514 ff. Auch dem Euchologium wäre ein wichtiges Material zu entnehmen, wobei auch etwaige Unterschiede zwischen den einzelnen Abschnitten zu berücksichtigen wären. Es fehlt aber an den nötigen Vorarbeiten. Wir brauchen eine Syntax des Euchologiums und des Suprasliensis, denn die diesem Kodex gewidmete Monographie von A. Marguliés, welche Kulbakin S. 209 unter den „drobné dodatky a opravy" erwähnt, enthält zwar ein Kapitel über die Syntax, darin steht aber die Frage nach den Eigentümlichkeiten der einzelnen Nummern ganz im Hintergrunde. Wo so wenig vorgearbeitet worden ist, darf man dem Verfasser keinen Vorwurf davon machen, dass er sich im allgemeinen auf die Syntax des „klassischen" Altkirchenslavischen beschränkt hat. Die hie und da vorkommenden Bemerkungen zum nachklassischen Sprachusus werden hoffentlich junge Slavisten zu neuen Detailforschungen anregen. Weil die Syntax einen viel provisorischeren Charakter hat als die Laut- und Formenlehre, gehe ich auf die Einteilung derselben (über welche das Inhaltsverzeichnis orientiert) nicht ein; nur möchte ich darauf hinweisen, dass der Gebrauch der Tempora und Modi in der Syntax, der Gebrauch der Aspekte dagegen in der Flexionslehre behandelt wird; es wäre wohl besser gewesen, in der Flexionslehre nur die Morphologie der Aspekte zu besprechen und den Gebrauch derselben in die Syntax unterzubringen. Sobald die Syntax

ebenso systematisch studiert werden wird wie man sich bisher mit den anderen Teilen der Grammatik beschäftigt hat, werden solche Inkonsequenzen in der Anordnung des Stoffes aus den Lehrbüchern schwinden.[1]) Wieviel Aufmerksamkeit Kulbakin den Problemen der Kapiteleinteilung widmet, sieht man daraus, dass er in dieser Grammatik die Substantive auf eine andere Weise in Gruppen eingeteilt hat, als im Jahre 1917 in dem Др.-ц.-сл. языкъ. Weil die Grenzen zwischen den einzelnen Stammklassen in der aksl. Periode schon bedeutend verwischt waren, hat er der Einteilung nach den Stammklassen diejenige nach den Genera übergeordnet. Dafür lässt sich Manches ins Feld führen, auch Einiges aber spricht dagegen. So empfand man in der aksl. Periode die männlichen und die weiblichen *ā*-Stämme als eine Klasse: die Flexion ist genau dieselbe, sogar steht bei den männlichen Personsbezeichnungen wie слоуга das attributive Adjektiv oft in der weiblichen Form.

Alles zusammengenommen ist m. E. diese neue Grammatik von Kulbakin die beste und brauchbarste altkirchenslavische Grammatik, welche wir bisher besitzen. Durch ihre übersichtliche Einteilung des Materiales und ihren verhältnismässig geringen Umfang ist sie für den Gebrauch durch Studenten der Slavistik besonders geeignet, und diejenigen, welche, wie ich selber, viele Zuhörer haben, die kein Čechisch können, werden es bedauern, dass dieses Buch nur in čechischer Sprache vorliegt. Zwar wird bald von demselben Verfasser eine französische Edition erscheinen, aber diese wird viel ausführlicher und deshalb vielleicht für Anfänger weniger geeignet sein. Bisher gebrauchte man gewöhnlich die „Grammatik" und das „Handbuch" Leskiens und die „Grammatik" Vondráks; das letztgenannte Buch ist aber für den Anfänger zu ausführlich, es enthält ganze Abschnitte, die sich zu wissenschaftlichen Monographien ausgedehnt haben; Leskiens „Grammatik" ist für die Vorgeschichte der aksl. Laute und Formen vorzüglich; die auf die einzelnen Sprachquellen bezüglichen Details werden vollständiger in dem „Handbuch" mitgeteilt, hier ist aber die Einteilung der Lautlehre ziemlich unbequem. Auch die in russischer Sprache geschriebenen aksl. Grammatiken Kulbakins sind nicht so bequem für den Gebrauch, wie die neue „Mluvnice". Diese hat natürlich auch noch den Vorzug, dass sie die Literatur der letzten Jahre benutzt hat; Kulbakin führt im allgemeinen die jüngste Literatur und von der ältern Literatur die wichtigsten Sachen an; infolge seiner Bescheidenheit im Zitieren seiner eigenen Schriften gibt das Buch eine zu niedrige Vorstellung von dem Anteil, das der Verfasser selber an der Arbeit des letzten Dezenniums genommen hat. Auch vermeidet er bisweilen bei der Behandlung nicht endgültig gelöster Streitfragen eine subjektive Stellungnahme; so lässt er S. 71 die Frage, ob man *b, v, t* usw. vor vorderen Vokalen hart oder mit einer leichter Mouillierung gesprochen hat, unentschieden. Und über den Ursprung der Kiever Blätter äussert er sich S. 205 ausserordentlich objektiv.

Im russischen Texte dieses Buches hatte Kulbakin den Namen »старословянскій языкъ« gebraucht. Der Übersetzer wählte dafür im

[1]) S. noch die letzte Alinea dieser Rezension.

Auschluss an andere čechische Gelehrte das Wort *staroslověnský*. Für die nicht in den Texten vorliegende, sondern nur rekonstruierbare Sprache der ältesten Übersetzungen wird der Terminus *cyrilometodějský* verwendet. Der Verfasser ist bestrebt, insofern das möglich ist, diese Sprache zu rekonstruieren; S. 203 fasst er die wichtigsten Ergebnisse dieser Rekonstruktionsarbeit zusammen.

Es versteht sich vonselber, dass über viele Einzelfragen verschiedene Ansichten möglich sind; auch ist in einem so kurz gefassten Abrisse die Wahl des aufzunehmenden Stoffes immer einigermassen subjektiv. Ich halte es aber für unnötig, alle Stellen des Buches, wo Kulbakins Ansicht von der meinigen abweicht, aufzuzählen. Es sind grösstenteils Kleinigkeiten; der sachverständige Leser weiss sowieso, welche Meinungen über die strittigen Punkte ausgesprochen worden sind, und Kulbakin ist bei dem Zitieren und Berücksichtigen der Fachliteratur vollständig unparteiisch. Für um so überflüssiger halte ich eine Besprechung vieler Details, weil ich selber in den letzten Jahren für den Berliner Grundriss eine ausführliche aksl. Sprachgeschichte geschrieben habe, mit deren Drucklegung man hoffentlich bald anfangen wird. Einige Bemerkungen möchte ich aber doch mitteilen:

S. 1. Wenn Polnisch und Kašubisch als zwei Sprachen betrachtet werden, könnten auch Ober-und Niedersorbisch und Gross-, Klein- und Weissrussisch unterschieden sein.

S. 3 f. Kulbakin könnte hier auf das Vorkommen gewisser Wörter lateinischen Ursprungs nur in bestimmten Texten (Ki. Bl., Gregorius Dialogus usw.) hingewiesen haben.

S. 10. Offenbar rechnet der Verfasser die sogenannte Liturgie von Sinai zum Euchologium, welches er als einen „liturgiář (služebnik a trěbnik)" beschreibt, er erwähnt dieselbe aber gar nicht. — Einen zuverlässigen Abdruck eines Abschnittes des Euchologiums publizierte Beneševič in der Festschrift für Jagić (1908), S. 591 ff.

S. 13. Wenn das altrussische Evangelium Ostromiri unter den altkirchenslavischen Texten genannt wird, so hätten m. E. auch die Novgoroder Blätter und das Psalterium von Sluck in das Verzeichnis aufgenommen sein sollen. Und nicht weniger wichtig für die aksl. Philologie als das Ostromir-Evangelium ist das von Kulbakin selbst eingehend untersuchte altserbische Miroslav-Evangelium. Auch andere altrussische Handschriften als das Ostromir-Evangelium haben einen kaum geringeren Wert als dieses für die Rekonstruktion der altbulgarischen Vorlagen; interessant sind die Untersuchungen Durnovos in den letzten Bänden des Јужнословенски филолог. Wenn Kulbakin S. 206 für eine aksl. Vorlage des Codex Ostromiri eine aksl. Mundart ohne Umlaut der Halbvokale annimmt, so kommt mir das wenig wahrscheinlich vor: andere abg. Hss. dieser Art kann er nicht anführen (abgesehen von den Kiever Blättern), als Russismus ist aber das Fehlen des Jer-Umlautes ohne Weiteres begreiflich. Ich leugne nicht, dass es in der der Entstehung der vorliegenden Kodices vorangehenden Periode altbulgarische Dialekte ohne Jer-Umlaut gegeben hat und dass dieser Sprachtypus auch gewissen Kodices zugrunde gelegt worden ist, ich halte es aber für durchaus un-

nötig, diesen altertümlichen sprachlichen Typus für das abg. Prototyp des Ev. Ostr. anzunehmen.

S. 21. Bei der Besprechung des Gebrauches von *o* anstatt *ǫ* im Psalterium Sinaiticum (und auch bei anderen grammatischen Erscheinungen) wäre es gut gewesen, einmal zu untersuchen, inwiefern ein Unterschied zwischen den einzelnen Partien des Kodex nachweisbar ist. Bekanntlich hat Severjanov 14 Kopisten angenommen, und schon eine oberflächliche sprachliche Analyse des Textes genügt für den Nachweis, dass an den Stellen, wo er eine Grenze zwischen zwei Abschnitten annimmt, wirklich eine solche Grenze vorliegt. Daraus folgt jedoch noch nicht, dass die Anzahl 14 richtig ist: es muss einmal gründlich untersucht werden, ob nicht die Partien der Handschrift sich in sprachlich homogene Gruppen einteilen lassen; in dem Falle käme man mit einer geringeren Anzahl Kopisten aus. Wie dem aber auch sein soll, es ist klar, dass die einzelnen Partien des Ps. sin. in sprachlicher Hinsicht bedeutend voreinander abweichen; dann muss es aber möglich sein, in manchen Fällen die Eigentümlichkeiten der einzelnen Kopisten voneinander zu unterscheiden. und eine eingehende Vergleichung zwischen den Partien muss uns weiter eine, wenn auch nur fragmentarische Charakteristik des Originals ermöglichen. Beim Psalterium sind wir in einer glücklicheren Lage als bei allen andern altkirchenslavischen Texten, wenn es gilt, das Verhältnis des vorliegenden Kodex zu seiner Vorlage zu bestimmen und die Vorlage selber in sprachlicher Hinsicht zu determinieren: Kulbakin hat das wohl verstanden; vgl. etwa seine Bemerkungen S. 35: „V předloze Ps. Sin. patrně nebylo této změny“ (*šь* > *šъ* usw.) und S. 45: „V Ps. Sin. se za slabé reduk. *i* píše **и** nebo **ь** podle písaře,“ er hätte aber in dieser Richtung viel weiter gehen können.

S. 28 f. In denjenigen Kodices, wo **ъ** in starker Stellung zu *o* werden kann, verhalten sich die einzelnen Wörter diesem Wandel gegenüber verschieden. Deshalb genügt eine Liste derjenigen Formen, wo *o* < **ъ** vorliegt, für die Charakteristik des Textes nur teilweise; man sollte auch diejenigen Formen aufzählen, wo das **ъ** an allen Stellen, wo es in starker Position vorliegt, bewahrt geblieben ist.

S. 37. Im Zographensis und in anderen Handschriften wiedersetzen sich nicht nur **к**, **г**, **х**, sondern auch **с** dem Übergange eines folgenden **ѣ** in **ь** durch sogenannten Umlaut.

S. 66 ff. Der Ablaut wird mehr, als nötig war, von indogermanischem Standpunkte betrachtet: **чрѣсти : чрьтѫ** hat der Bulgare des X. oder XI. Jhs. gewiss als ablautende Formen empfunden, **кратъкъ** aber hat sein Sprachgefühl nicht mehr zu dieser Sippe gestellt. Dasselbe gilt für die Wörter **врѣмѧ : вратити : врьста, вити : вѣньць, ковати : кꙑзнь : кꙑи, плоути : плъть, троути : трѣва, квасъ : кꙑснѫти, спѣти : споръ.**

S. 71. Ob *ŕ*, *ľ*, *ń* in der Sprache Kyrills und Methods palatal oder palatalisiert waren, lässt sich unmöglich entscheiden. Wenn wir wissen, dass im allgemeinen die russischen Laute *ť*, *ď*, *ń* die Artikulation der Zungenspitze nicht aufgegeben haben, also als palatalisierte Laute gesprochen werden, während die entsprechenden čechischen Konsonanten palatal gesprochen werden (s. O. Broch, Slavische Phonetik

35 ff.), so ist diese Kenntnis nur deshalb möglich, weil wir es hier mit lebenden Sprachen zu tun haben. Die Unterschiede zwischen den zwei Kategorien sind aber so gering und die Übergänge so allmählich, dass man bei einer nur schriftlich überlieferten Sprache wie die altkirchenslavische die Aussprache nicht genau feststellen kann; besonders bei *ń* und *ľ* ist „von einem absoluten Unterschied zwischen palatalisierter und randpalataler oder gar vorderpalataler Nuance nicht zu reden" (s. Broch S. 35). *ŕ* war wohl palatalisiert.

S. 90 f., 98, 111 f., 119. Die Einteilung der Nominalstämme nach ihren Bildungsformantien ist in der Flexionslehre nicht am Platze. Bei den *ā*-Stämmen ging mit den drei Kategorien: 1. Wörter auf *-a*, 2. Wörter auf *-ja*, 3. Wörter auf *-yńa* (S. 117) ein Flexionsunterschied zusammen: 1. **брада**, 2. **братрнꙗ**, 3. **богꙑнн** (allerdings auch **сѫднн**, **кънигъчнн** usw.), deshalb ist die Unterscheidung hier plausibeler.

S. 130. **дъвон** usw. sind vielmehr Kollektiva als Distributiva.

S. 149. Ich bezweifle, ob Aoristformen der 2. 3. Ps. Sg. wie **молн**, **бн**, **глагола** genetisch zum *s*-Aorist gestellt werden dürfen.

S. 155. Kaum richtig ist die Definition der Perfektivität: „Perfektivností slovesa rozumí se to, že je vyznačena určitá hranice děje nebo stavu, vyjádřeného slovesem": als Beispiele werden u. a. **зачѧтн** und **завръшнтн** genannt, nach dieser Definition würden aber auch **зачннатн** und **завръшатн** perfektiv sein! Ebenso **въходнтн**, **оходнтн**, **оумнратн** usw.

S. 170. Zur Klasse von **алкатн**, **алчѫ** bemerkt Kulbakin: „většinou jsou to slovesa odvozená." Das ist kaum richtig. Ich möchte auf meine Ausführungen Tauta ir Žodis IV, 77 ff. hinweisen.

S. 190. Zum prädikativen Instrumental s. Fraenkel Archiv XL, 77 ff.

S. 194 ff. Wenn der Verfasser bei der Besprechung der „druhy jednoduchých vět" von den Bedeutungskategorien, in andern Kapiteln der Syntax dagegen, z. B. in der Kasuslehre, von den Formkategorien ausgeht, so ist das eine wenig konsequente Behandlungsweise der Syntax. Auch andere Grammatiker aber verfahren in derselben Weise, was wohl daraus zu erklären ist, dass von vielen bisher der Syntax eine sehr geringe Aufmerksamkeit gewidmet wurde: in den Grammatiken spielte die Syntax oft eine untergeordnete Rolle und die Autoren versuchten sogar nicht den prinzipiellen Problemen der Syntax näher zu treten. Es ist schon als ein Schritt in der guten Richtung zu betrachten, dass Kulbakin in diese neue Grammatik überhaupt ein Kapitel über die Syntax aufgenommen hat.

Leiden. *N. van Wijk.*

Słowacki Juljusz: **Dziela wszystkie** pod redakcją Juljusza Kleinera. Tom I. Słowo wstępne Zakładu Nar. Im. Ossolińskich. O metodach wydania »Dzieł wszystkich« Słowackiego — napisał Juljusz Kleiner. Tom pierwszy poezyj: Powieści poetyczne — tom drugi Poezyj: Poezje dramatyczne — opracował Józef Ujejski, стр. V+LXXXIX+483+6 nlb. Wydawnictwo Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich. Lwów, 1924. Tom II. Tom trzeci poezyj — Kordjan — opracował Józef Ujejski,

стр. 368+4 nlb. Lwów, tamże, 1926. Tom III. Anhelli — Poema Piasta Dantyszka o piekle — Trzy poemata — kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K. — opracował Juljusz Kleiner, стр. 370. Tom IV. Balladyna — Mazepa — Lilla Weneda (wraz z Listem do Aleksandra H. i grobem Agamemnona — opracował Juljusz Kleiner, стр. 612+1 nlb., Lwów, tamże 1924. Tom X. Beniowski (dramat) — Pan Alfons — krytyka krytyki i literatury — O poezjach Bohdana Zaleskiego — opracował Juljusz Kleiner — Fantazy (Nowa Dejanira) — opracowali Jan Czubek i Juljusz Kleiner — Księgi rodzaju narodu polskiego — opracował Juljusz Kleiner — Wallenrod (dramat) — opracowali J. Czubek i J. Kleiner — Jan Kazimierz — opracował Juljusz Kleiner — Złota Czaszka — opracowali Jan Czubek i Juljusz Kleiner, Lwów, tamże, стр. 582. Отдел библиографии во всех томах составлен Виктором Ганом (Wiktor Hahn).

Интерес к произведениям Словацкого в Польше за последнее время чрезвычайно возрос. Другие два крупнейшие представители польского романтизма уступают ему в этом отношении. Сильная волна оживления этого интереса, поднявшаяся в годы столетнего юбилея поэта (1809—1909), в сущности действует до сих пор; особенно же она поднялась снова во время торжественного перевоза его останков на Вавель в прошлом году. Этот »утонченный«, »капризный« поэт, казалось бы, должен был пользоваться наибольшей популярностью не в наши дни — а именно среди своих современников — в эпоху разложения старых литературных традиций, столь характерного для романтизма во всех его проявлениях. На самом же деле не только современники отнеслись к нему холодно (он сам жаловался на равнодушие публики в предисловии к третьему тому своихъ »Poezyj«[1]), но даже и представители следующих поколений продолжали сохранять весьма сдержанный тон. Неутомимые труды Малэцкого, написавшего первую капитальную монографию о Словацком и издавшего его посмертные вещи, — далеки однако от энтузиазма. Другие выдающиеся польские историки литературы второй половины XIX века (Хмелёвский, Тарновский) смотрели на него примерно с такой же точки зрения.

Почти одновременное появление двух необычайно ценных монографий — Ю. Клейнера и Ф. Грабовского, посвященных Словацкому, свидетельствует о резкой перемене, происшедшей в нашу эпоху в отношении к поэту. Проф. Клейнер совмещает в своем лице и монографиста и издателя сочинений словацкого, о которых идеть речь. Разница между его отношением к поэту и отношением прежних исследователей ясно видна уже из предисловия к монографии. По его словам, только его поколение, »видевшее гибнущий мир ,,Небожественной Комедии'' и познавшее на деле правду мессионистических чаяний«,[2]) спо-

[1]) J. Słowacki. Dzieła wsystkie, т. II, стр. 55.
[2]) Juljusz Kleiner, Juljusz Słowacki, Dzieje twórczości, tom pierwszy, wydanie trzecie, Wydawnictwo Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1925, стр. I.

собно оценить по настоящему Словацкого. Отсюда видно, что проф. Клейнер смотрит на Словацкого не только как на представителя ушедшей эпохи, доступной историческому объективному изучению, но и как на современника, с которым его связывают жгучие злободневные интересы. Можно было бы опасаться, что такое принципиальное отношение приведет редактора издания на путь апологетизма, несовместимого с требованиями настоящей научности. Но этого не случилось; издание в целом сохраняет вполне критический характер; лишь в отдельных подробностях применения проф. Клейнером »интуитивного« метода удается подметить следы такого апологетизма.

Из различных существовавших до сих пор изданий сочинений Словацкого самым ценным считается т. н. Львовское юбилейное издание, выходившее подъ редакцией проф. В. Губрыновича.[1]) Это — действительно критическое издание, однако оно в настоящее время уже устарело: не все материалы тогда могли быть приняты во внимание, самые принципы издания в настоящее время должны быть пересмотрены и изменены. Необходимость и целесообразность нового издания, следовательно, не может подлежать сомнению.

В плане издания редактор придерживается в общем хронологического порядка, выделив лишь в особый отдел лирику, как это уже и раньше было сделано проф. Губрыновичем. Хорошо то, что всюду приводятся полные заглавные листы первопечатных изданий, но жаль, что из плана издания исключена корреспонденция, столь ценная для понимания произведений поэта . . .[2]) Как видно из вступительной статьи редактора, текст сочинений Словацкого подвергнут весьма основательной переработке, специально для данного издания: должен быть сильно изменен текст VIII песни »Podróży na Wschód«; предполагается впервые опубликовать »Le roi de Ladawa«, ряд неизвестных фрагментов и проч. К сожалению, о подавляющем большинстве таких новостей данного издания мы не в состоянии пока судить, ибо соответствующие томы еще не вышли; пока это лишь проэкты, подлежащие осуществлению. Наиболее интересен X-ый том, где редактором произведены значительные изменения в тексте драмы о Беневском. Здесь впервые помещена перечеркнутая автором парабаза, следующая после второго действия (обращение Беневского к Польше)[3]) и начало третьего действия (быть может продолжение второго) — диалог между Памфилом и Беневским. Однако и при этих условиях в тексте драмы много остается неясного; это попрежнему лишь фрагмент. »Jan Kazimierz« — также незаконченная вещь, представляющая известные трудности для понимания; в нем произведены лишь незначительные изменения, касающиеся преимущественно интерпункции. Более существенной переработке на основе рукописного материала подвергся текст »Złotej Czaszki«. Здесь выключено из ос-

---

[1]) Dzieła Juljusza Słowackiego, Pierwsze krytyczne wydanie Zbiorowe, We Lwowie, nakładem księgarni W. Gubrynowicza, 1909, 8, 10 tomów.

[2]) На этот последний недостаток уже указывалось в польской печати. См. недавно появившуюся рецензию Józefa Birkenmajera в журнале „Ruch Literacki“.

[3]) Стр. 55—58.

новной редакции первоначальное окончание 6-ой сцены второго действия, в виду того, что Словацкий, при новой переписке, »просто забыл это сделать«,[1]) но этим предположением, остающимся все-же лишь весьма вероятной гипотезой, не решаются все спорные вопросы относительно данного фрагмента; так, неясным остается вопрос о том, куда отнести последнюю сцену, находящуюся в рукописи — к концу второго, или к началу третьего действия.[2]) В других доселе вышедших томах дело ограничивается сравнительно более мелкими изменениями и поправками, на основе произведенного на-ново сличения с первопечатными изданиями и с рукописями поэта (ср. напр. »Hugo«, статью »O poezjach Zaleskiego« и др.).

Редактор весьма последовательно придерживается принципов, исчерпывающе им мотивированных во вступительной статье. Необходимо однако отметить, что он иногда преувеличивает значение формальных критериев:[3]) едва ли, напр. всегда можно очитать решающим признаком при различении редакций — наличность строфичности, тот или иной размер стиха, прозу или стихи. Ведь имея дело с рукописями, да еще с черновыми, мы можем натолкнуться на прозаически набросанный отрывок, который позднее подлежал переработке стихами; сохранившиеся черновые рукописи разных авторов весьма наглядно убеждают нас в этом... Весьма существенной стороной издания следует признать применяемую проф. Клейнером »реституцию«[4]) текста; некоторые случаи такого восстановления на основе »интуиции« как будто вполне убедительны, напр., предложение читать — »Aniołów miało nieśmiertylnych postać« вместо прежнего — »Aby słów miało nieśmiertelnych postać«.[5]) Но представляется, что, вступив на такой путь догадок и »интуиции«, редактор не всегда соблюдает должную осторожность в обращении с текстом; так напр., сомнителен случай восстановления отрывка драмы из стихов, считавшихся прежде лирическим отрывком (»Walter stadjon« — обработка трагедии Валленрода).[6]) Такие чисто внешние критерии, как строфичность, рифмовка, представляются недостаточно убедительными, если они не подтверждены бесспорными признаками: настоящим сходством содержания, идеи и т. п.

Громадный простор для такой реконструктивной работы представляют черновые рукописи Словацкого; их правильное чтение весьма затруднительно — это »хаос перемежающихся произведений«; исчислению страниц не всегда можно доверять, часто о смысле тех или иных слов можно лишь догадываться.[7]) В этом случае автор поставил одной из главных своих задач подлинное чтение рукописей, хотя и не счел возможным придерживаться здесь строго-определенного метода.[8]) *Уста-*

---

[1]) См. ibid. стр. 496.

[2]) Спорность этого вопроса признается обрабатывавшими этот отрывок, см. ibid.

[3]) Об увлечении формализмом см. также в рецензии M. Kridla, Pamiętnik Literacki. Roczn. XXII—XXIII, cz. II, стр. 745.

[4]) См. т. I, стр. LII.

[5]) Ibid. стр. LIII.

[6]) См. т. I, стр. XX—XXI.

[7]) Т. I, стр. LV.

[8]) Ibid.

новление непроставленных в рукописи драм имен действующих лиц увлекает иногда редактора слишком далеко в »интуитивном« чтении черновых набросков. Хорошо напр. восстановлена на основе рукописи беседа Беневского с крестьянином, у которого он просит воды для спасенной или княжны. Более сомнительны другие примеры, основанные на таких чисто внешних критериях, как — красная строка в рукописи — значит должно говорить новое действующее лицо, или — отсутствие разделения стихов — следовательно, говорит одно лицо (ср. напр. сделанное по этому принципу восстановление отрывка »Fantazy«, который должна говорить одна Идалия).[1]) Подобные поправки могут найти место лишь в примечаниях, а не в самом тексте.

К большим достоинствам издания следует отнести солидную работу, затраченную на разъяснение роли различных вариантов. Редактор стремился не преподносить их в сыром виде читателю, а извлечь из них то, что имеет самостоятельное значение (»Walor samoistny«)[2]). В связи с этим стоит установление разных редакций — всего того, что не носит характера простой стилистической переработки основного текста. Все такие разновидности получают свое место сразу же после главного текста с особым подзагаловком: »Pierwotny początek pieśni . . .«, »Przekreślone ustępy pieśni . . .«, »Redakcja pierwotna . . .« и т. д. Общая модернизация, котором подвергнуто правописание Словацкого (с некоторыми уступками в пользу особенностей письма поэта),[3]) не может вызывать особых возражений, тем более, что она уже применялась в предшествовавших изданиях. Жаль только, что в отдельных вещах, где по необходимости более сильно представлены диалектизмы (для введения »местного колорита«), читатель не сможет иметь достаточно ясное представление об их характере.

Очень иентересен один пример восстановления текста на основе изменения интерпункции — это о »пальмах«.[4]) Установившаяся согласно прежним изданиям идилическая картина превращается в образ ужасного пожара; при всем своем остроумии, объяснение это однако не вполне убедительно. В виду отсутствия других осязательных результатов применения этого принципа, правильнее было-бы воздержаться от »реституции« интерпункции Словацкого, за исключением случаев явных ошибок.

Как явствует из вступительной статьи проф. Клейнера, данное издание не входит в разряд изданий популярных; мы поэтому в праве были бы ожидать более углубленных примечаний к отдельным вещам, чем это до сих пор делалось. Что рамки примечаний здесь значительно расширены по сравнению с Львовским юбилейным изданием, это ясно из следующего сопоставления: »Godzina Myśli« (примечания к ней) в Льв. Юб. занимает $1^1/_2$ страницы, здесь — 4; »Lambro« в Льв. Юб.— 2 страницы, здесь — 11; »Anhelli« в Льв. Юб. — 7 страниц, здесь — 26 и т. д. При этом формат данного, издания бóльший, чем Львовского Юбилей-

---

1) Т. X, стр. 193 и 235.
2) Т. I, стр LXVIII.
3) См. т. I, стр. LIX.
4) Т. I, стр. 72, Żmija, Pieśń III.

ного. Однако в подборе этих примечаний, в противоположность работе над самим текстом, не заметно определенного принципа. Во всяком случае целый ряд этих примечаний носит явно популярный характер, и потому мог бы быт выпущен в подобном типе издания; таковы напр., в X-ом томе примечания о Вальгалле (стр. 70 и др.), о Птоломее (стр. 67), о Филемоне и Бавкиде (ibid.); в IV-ом томе сюда относится примечание о Гороскопе (стр. 349). Достаточно указать в связи с этим, что в юбилейном издании сочинений Красинского (1912 г.), предназначенном, несомненно, для более широких кругов, не сочли однако нужным объяснять это слово.[1]) Во II-ом томе сюда относятся такие слова, как одалиска (стр. 156), Данаиды (ibid), Минстрель (стр. 146).

В других случаях примечания, хотя и могут быть признаны условно необходимыми, однако страдают отсутствием ясности и точности: напр., Marzana — »słowiańska bogini śmierci i zarazy«[2]) — без всяких ссылок на источники и дальнейших указаний, где именно встречается это мифическое существо. Сюда же относятся т. н. »этнографические« примечания; возьмем, напр., из имеющихся двух примечаний относительно башкир — более подробное; оно гласит так: »lud pochodzenia mongolskiego w Gubernji Orenburskiej i Permskiej«.[3]) Однако в Пермской губернии башкиры живут лишь в нескольких уездах; повсеместно же они живут, кроме Оренбургской, еще в Уфимской губернии, на что здесь неуказано. В примечании относительно Самоедов сказано слишком лаконично; »lud sybirski«; между тем известно, что они живут и в Европейской России. В Львовском юбилейном издании это место лучше комментировано. Любопытно примечание к XVI главе »Wacława«, где говорится о жене его, которая

... »Brylanty chowa i papiery pali
Nie sama — greczyn w Arnauta stroju
Leży na złotem węzgłowiu w pokoju«.[4])

Примечание поясняет: »Arnaut — góral albański (Słowacki wymawia ten wyraz trójzgłoskowo: Ar-na-ut)«[5]) Спрашивается: а как же и кто должен иначе произносить это слово? Замечание о способе произношения Словацким этого слова во всяком случае введено лишь по недоразумению. Вполне естественно, что его нет во Львовском Юбил. издании. Едва-ли отличается точностью примечание к словам Dianny (Fantazy, akt I):

»Mój ojciec ma ojcowskie długi
A sam jest winien pół miljona w kaźnie...«[6])

— »Kazna — po rosyjsku kasa.« Ведь не всякая касса тут имеется в виду, а исключительно государственная. В более широком толковании, чем это сделано, нуждается следующее место из »Dumy o Wacławie Rzewuskim«:

---

[1]) Zyg. Krasiński, Pisma, wydanie Jubileuszowe, tom I, Kraków 1912, стр. 169.
[2]) T. X, стр. 67.
[3]) Ibid., стр. 358.
[4]) T. III. стр. 271.
[5]) Ib., стр. 310.
[6]) T. X, стр. 227.

»I stał przed kościołem i kornem bił czołem,
Jak czynią w Solimie wędrowce.«[1])

Необходимо было указать, что допущенное здесь Словацким неправильное толкование еврейского слова, как греческого, пользовалось широкой популярностью в романтической поэзии (ср. напр. у Лермонтова:

„Молитву-ль тихую читали
Иль пели песни старины,
Когда листы Твои сплетали
Солима бедные сыны?“)

Что в аналогичных случаях издатели считали необходимым шире комментировать текст, ясно из даваемого примечания к слову »Эндимион« и его популярности в романтической поэзии.[2]) Неточно также комментировано следующее место из »Godzina Myśli« (о Шпицнагеле):

»Więc pojechał do wielkiej na północ stolicy,
Gdzie długo patrzał w Koran, zwierciadło Kalifów«.[3])

В примечании поясняется: »do Petersburga na studja do Institutu wschodnich języków«.[4]) Между тем этот Институт пользовался малой популярностью в 20-ых годах прошлого столетия. Зато мы знаем, что в Университете издавна, еще до основания при нем в 1854 году факультета восточных языков, существовала кафедра восточной словесности.

В некоторых произведениях Словацкого существенной их особенностью следует признать диалектизмы, которые безусловно нуждались бы в более детальном толковании, чем это сделано. Последовательное или беспорядочное введение Словацким черт говоров далеко не безразлично и для историка литературы, ибо помогает выяснить вопрос об отделке произведения, а иногда даже о его структуре. Следовало бы поэтому хоть несколько комментировать такия слова (где дана своеобразная стилизация русской речи):

...»Bo ja umiłowal...
Tego czlowieka bardzo... a raz jemu
Winien był życie... w kriepostiej miateży.«[5])

Мало перевести для поляка значение последних слов; необходимо указать, что так по русски не говорят; под влиянием ли поспешности, или по другим причинам, но Словацкий тут не отделал этот диалектизм. В примечании к »Fantazy« (akt III. str. 202) говорится, что рифма требует изменения »jemu« на русское »jomu«;[6]) необходимо однако указать, что на практике эта форма, чуждая литературному языку, свойственна лишь северно-великорусским говорам, которые менее всего могли быть известны Словацкому; скорее всего он тут пользовался малорусским произношением »йому«, произвольно его распространяя и на великорусскую область.

---

[1]) Т. II, стр. 123.
[2]) См. т. IV, стр. 533.
[3]) Т. II, стр. 138.
[4]) Ib., стр. 169.
[5]) Т. X, стр. 323.
[6]) Именно русское, а не малорусское, как явствует из употребления термина „rosyjskie“ jomu. (Т. X. стр. 190—191.)

Сказанное вовсе не ослабляет ценности примечаний, на которые, несомненно, было затрачено много тщательного и добросовестного труда. Думается однако, что задачи таких примечаний следовало бы ограничить: углубить больше в последующих томах историко-литературный и филологический материал и устранить то, что касается терминов этнографии, физики, астрономии (весь вообще »энциклопедизм«), предоставив читателю (который в том нуждается) искать соответствующих разъяснений в сравнительно легко доступных справочниках.

К изданию приложен весьма основательно и тщательно составленный Г. Ганом отдел библиографии. Здесь зарегистрованы в систематическом порядке не только все существующие издания сочинений Словацкого, но и монографии, мелкие статьи (журнальные и газетные), сценические постановки, переводы на разные языки. В таком кропотливом труде неизбежны однако известные пропуски; на некоторые из них я позволю себе указать из более доступной мне области.

Так указан лишь старый русский перевод »Мазепы« Пушкарева (Отечеств. Записки, 1874, Июль), необходимо однако отметить новый перевод Ал. Вознесенского: »Ю. Словацкий, Мазепа. Трагедия в пяти актах. Перевод с польского, Одесса, Типография „Одесских Новостей", 1910«. Переводчик часто отступает от размера подлинника, но белыми, не стесняющими его стихами сравнительно точно передает смысл оригинала... В отношении »Anhelli« указан лишь перевод А. Виноградова, между тем существует еще другой русский перевод: »Юлий Словацкiй, Ангелли, перевод В. Высоцкаго, Москва, 1906«. Но в особенности крупным пропуском в отношении русских переводов следует признать отсутствие указания на перевод »Балладины«, сделанный К. Д. Бальмонтом (см. его книгу »Три Драмы Юлiя Словацкаго, переводъ съ польскаго стихами... Москва, изданiе М. и С. Сабашниковых, 1911« — сюда вошли: »Балладина«, »Лилла Венеда«[1]) и »Гелiонъ-Эолiонъ, отрывки из драмы«. Перевод Бальмонта страдает иногда вольностями, напр., слова »I dwa Gopłany łabędzie, Po wód błękitnym obrusie, Przypłyną do mnie z aeru...«[2]) — переданы так: »Два любимчика Гопланы, вдоль по скатерти лазурной, приплывут ко мне качаясь«.[3]) Насколько иногда перевод мало соответствует оригиналу, видно из следующего сопоставления:

»I znów lecę pod leszczynę Gdzie łania Gopłany szczypie Błyszczącą deszczem krzewinę«[4])	»И в орешину укроюсь Там, где лани листья рвут«.[5])

В конце известного монолога Балладины (акт IV-ый, сцена 4-ая) слова ее — »Bądźce mojego czynu słońcem«[6]) — передаются: »Вы будьте солнцем искристым«.[7]) Число таких примеров можно было бы зна-

[1]) В первый раз она была напечатана в „Русской Мысли" за 1909 год № 9; Г. Ган дает неточное указание 1910.
[2]) Т. IV, стр. 163.
[3]) Стр 201.
[4]) Т. IV, стр. 163—164.
[5]) Стр. 201.
[6]) Т. IV, стр. 158.
[7]) Стр. 193.

чительно увеличить. К этому нужно присоединить несоблюдение размера, потерю богатства и разнообразия ритмики оригинала; особенно это заметно в таких местах, как сцена 2-ая первого действия[1]) или упомянутая выше 4-ая сцена четвертого действия. При всех этих недостатках и субъективности Бальмонта, усматривающего в творчестве Словацкого »новый, славянский, исполненный щемящей красоты, Апокалипсис«,[2]) следует признать, что переводы его во многих местах довольно удачно и поэтически передают оригинал; а в частности, его перевод »Балладины«— представляет собою выдающееся явление в русской переводческой литературе. Эти достоинства перевода Бальмонта признает и Загорский в своей брошюре, посвещенной переводам Бальмонта;[3]) брошюру эту необходимо отметить для полноты библиографии, хотя отзыв автора местами слишком суров, а местами поверхностен; в суждениях же о поэзии Словацкого он совсем не оригинален.

Несмотря на указанные недочеты, как в плане изда ия, так и в отдельных подробностях его выполнения, необходимо признать, что редактором издания и его сотрудниками проделана чрезвычайно серьезная, вдумчивая и кропотливая работа, требовавшая часто громадных усилий и самоотвержения.[4]) Недаром проф. Клейнер говорить, что это главное дело его жизни. Достаточно указать на ценнейший труд по пересмотру всего доступного рукописного материала, обстоятельное, на-ново проделанное сличение с первопечатными изданиями, с текстом посме тных вещей, изданных Малэцким и мн. др., чтобы отдать дань уважения этой столь нужной и до сих пор все еще недоделанной работе. Необходимо поэтому закончить данную рецензию пожеланием, чтобы поскорее вышли в свет все 16 томов намеченного монументального издания. *В. Чернобаев.*

Sergij G. Vilinskij: **O literární činnosti M. Jev. Saltykova-Ščedrina.** Brno, 1928.

Автор прав: о Салтыковѣ-Щедринѣ писано или слишком много или мало — мало существеннаго и много мелочнаго и случайнаго. Неохота браться за изученіе Салтыкова объясняется, прежде всего, тѣм, что творчество его в значительной части было тѣсно связано с его современностью и пользовалось языком настолько условным и символическим, что смысл его писаній становился невразумительным, как только отходили событія, служившія для них темами. Правда, далеко этот писатель, но его не забыли, как это кажется автору настоящей книги. Салтыкова временно оставили в тѣни до того момента, когда эпоха, им отраженная, станет на очередь объективнаго историческаго изслѣдованія. Невозможно изучать ни русскую дѣйствительность извѣстнаго періода без Салтыкова, ни послѣдняго без постоянных справок с исторической

---

[1]) См. об особенностях стихотворной техники, примененной Словацким в этом месте — т. IV, стр. 210—211.

[2]) Стр. 241

[3]) Загорскій Евг Юлій Словацкій, Бальмонтъ, какъ его переводчикъ. Книгоиздательство „Польская Библіотека", Москва 1910.

[4]) Выдающееся значение этого издания признается и в вышеупомянутой рецензии M. Kridla, ibid., стр. 743.

дѣйствительностью. Такой глубокій и своеобразный писатель, каким был Салтыков, одинаково нужен и д рог и историку и изслѣдователю литературы. Но пока научный анализ не привел к ясным и точным выводам, в сочиненіях его, дѣйствительно, много такого, что современному читателю представляется загадочным и непонятным. Приходится поневолѣ ждать историка, который возстановит мозаику исчезнувших явленій, иными словами — создаст историческій комментарій к сочиненіям Салтыкова.

Тѣм болѣе слѣдует привѣтствовать попытку проф. С. Г. Вилинскаго прійти на помощь будущему историку и его стараніям, если не разрѣшить, то намѣтить в жизни и дѣятельности Салтыкова вопросы, требующіе ближайшаго изслѣдованія. Книга проф. Вилинскаго распадается на нѣсколько глав. В одной из них автор изображает личность знаменитаго сатирика и старается, насколько возможно, объяснить его міровозрѣніе условіями среды и воспитанія. В другой проф. Вилинскій дает обзор литературной дѣятельности Салтыкова, характеризуя важнѣйшіе періоды ея развитія в зависимости от развитія самой русской жизни, величайшим событіем которой была совершившаяся на глазах писателя отмѣна крѣпостного права. Третья глава выясняет общечеловѣческіе мотивы в сочиненіях Салтыкова, причем автор совершенно справедливо отводит подобающее мѣсто хроникѣ »Господа Головлевы«, этому поистинѣ геніальному, еще ı е оцѣненному произведенію. Четвертая глава заключает в себѣ обзор наиболѣе существенных особенностей салтыковскаго творчества.

Книга проф. Вилинскаго написана любовно и старательно. Автор использовал всѣ источники, какіе оказались доступны в его зарубежной работѣ, и не вина автора, если она не отличается какими-нибудь новыми выводами, обычно требующими новых матеріалов. Важна попытка разобраться в цѣлом рядѣ больших и сложных вопросов и намѣтить хотя бы общую схему их разрѣшенія. Особенно любопытна четвертая глава, составляющая результат самостоятельных наблюденій автора над характером художественнаго рисунка и стилем Салтыкова. В этом отношеніи преды ущая литература могла дать автору лишь самыя общія указанія и случайныя замѣтки. В разбираемом трудѣ читатель встрѣчает прекрасно разработанный очерк пріемов художественнаго построенія и типических образцов салтыковскаго языка, что, несомнѣнно, пролагает путь к самостоятельному изслѣдованію. Неполная количественно, упоминаемая глава чрезвычайно цѣнна качественным подбором указаній и образцов. Читателю она дает довольно отчетливую картину стилевой индивидуальности сатирика — его характерных обобщеній, иносказаній, намеков и аллегорій. Конечно, в чешском языкѣ ирраціональный элемент салтыковскаго юмора остается неуловим, несмотря на большую заботу автора как можно ближе подойти к оригиналу.

Книга проф. Вилинскаго написана по-чешски, что составляет несомнѣнную заслугу автора, знакомящаго чешское общество с замѣчательным русским писателем, ему весьма мало извѣстным. Но первоначально проф. Вилинскій имѣл в виду, надо думать, читателя русскаго, притом не рядового, но способнаго критически отнестись и к методу

изложенія и к материалам, которыми он пользовался. Так, разсчитывая на русскаго читателя, г. Вилинскій мог не пересказывать общеизвѣстных свѣдѣній из біографическаго очерка, давным-давно написаннаго К. К. Арсеньевым. Конечно, г. Вилинскій мог бы расширить очерк Арсеньева и представить рост личности Салтыкова отчетливѣе и полнѣе, чѣм это сдѣлано им в нѣсколько расплывчатых характеристиках эпохи крѣпостного права. Отсутствіе таковых свѣдѣній для не-русскаго читателя весьма ощутительно — их не замѣняют попутны и случайныя упоминанія в различных мѣстах книги. Критика матеріалов, использованных автором, весьма умѣстная в русском изданіи, едва ли необходима в чешском переводѣ. С одной стороны, в настоящей книгѣ данных, характеризующих творчество Салтыкова, совершенно достаточно, чтобы удовлетворить любознательность иностранца; с другой — частыя указанія на скудость матеріала мало убѣдительны для иностраннаго читателя.

Эти замѣчанія не мѣшают однако признать книгу проф. Вилинскаго весьма полезной. Она займет, несомнѣнно, видное мѣсто в салтыковской литературѣ. Если вѣрно, что Салтыкова нельзя оторвать от его дѣйствительности, то в этой слитности писателя и эпохи слѣдует искать объясненія кажущагося »забвенія« писателя. Современная русская жизнь должна была естественно заслонить многими своими проявленіями тѣ отступленія от идеалов этических и гражданских, какія служили темами художественной разработки Салтыкова. Отошла эпоха великих реформ, отошел писатель, тѣсно с ней связанный, но суд исторіи уже наступает для нея, а с ним вмѣстѣ наступает и время изученія ея бытописателя и моралиста. Книга проф. Вилинскаго является счастливым показателем этого изученія.

Евг. Ляцкій.

Академия наук Союза советских социалистических республик. **Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. 15. Финноугорский Сборник.** Ленинград. 1928.

Весной текущаго года Комиссія по изученію племенного состава населенія Россіи, состоящая при Академіи наук, издала в высшей степени интересный и полезный сборник, посвященный обзору того, что сдѣлано в русской наукѣ в области изученія финно-угорских племен Россіи, их прошлаго и настоящаго. Так как в прошлом область разселенія этих племен была значительно шире настоящаго положенія вещей, то составителям сборника пришлось в нѣкоторых частях своего труда выйти далеко за предѣлы современнаго поселенія финноугорских племен в Россіи. Так напр., обзор археологических изслѣдованій охватил в сущности всю сѣверную и среднюю полосу Россіи. Поэтому, эта глава »Сборника« представляет вкратцѣ исторію изученія русской археологіи в предѣлах всего распространенія великорусскаго племени, а отчасти и восточной части бѣлорусскаго племени. Может быть, не мѣшало бы именно к этой послѣдней области проявить больше вниманія, чѣм это сдѣлали составители книги. Вѣдь географическія имена »Карельскій« и т. под., слово »карела« в смыслѣ бродяги в бѣлорусском языкѣ указывают на распространеніе карельскаго племени и на русском западѣ.

Для того, чтобы выяснить значеніе изданнаго русской Академіей наук сборника, я остановлюсь на нѣкоторых вопросах финно-угорско-славянских отношеній, отмѣтив только то, что мнѣ представляется наиболѣе существенным. Прежде всего, как древни эти отношенія? Как извѣстно, западно-финскія слова из русскаго языка отражают тот хронологическій момент в исторіи русскаго языка, когда еще произносились, как звуки *й* и *ĭ*, рус. *ъ* и *ь*, когда не было еще в русском языкѣ полногласія и т. дал., т. е. отражает эпоху, когда русскій язык еще был близок к праславянскому. То же состояніе русскаго языка выражается, как извѣстно, и в древнѣйших заимствованіях из балтійских и германских языков и, обратно, в их древнѣйших заимствованіях из русскаго языка. Вопрос, стало быть, в том, имѣем-ли мы дѣло уже с русскими племенами или с »общеславянским единством«? Если бы с финнами и с литовскими племенами столкнулись славяне в эпоху своего этническаго единства, то в сербском, польском и др. славянских языках находились бы и заимствованія из литовских и западно-финских языков, как имѣются такія заимствованія из германских. Но этого нѣт. Вообще, почему-то в славянских языках нѣт совершенно общих заимствованій из иранских, а также из балтійских и финских языков: слова *топор*, *собака*, др. рус. *пъртъ* и т. п. принадлежат только русскому языку и неизвѣстны другим славянам. Отсюда можно бы, кажется, сдѣлать вывод, что только тѣ вѣтви славянства, которыя легли в основаніе русскаго народа, имѣли непосредственное общеніе с племенами, жившими в средней полосѣ Европейской Россіи, а остальныя находились в каком-то другом общеніи. Но с кѣм и гдѣ? Это, как мнѣ кажется, донынѣ большая загадка, которая еще не разъяснена изученіем славянских древностей. Балтійцы и западные финны находились в близком общеніи, видимо, в условіях этнической черезполосицы (как я думаю, в предѣлах современнаго минскаго полѣсья и отчасти к востоку отсюда): западные финны и отчасти (независимо от них) восточные и сѣверные находились в общеніи съ иранскими племенами на югѣ Россіи. Что же касается »общеславянскаго« періода, то он, несомнѣнно, имѣет мало соприкосновенія с финнами. Имѣет-ли он большія соприкосновенія с балтійскими племенами? Этот вопрос переходит уже в область вопроса о том, существовало-ли славяно-литовское языковое единство. Я думаю, что в настоящее время всѣ эти вопросы о »единствах« пріобрѣли в наших глазах иное значеніе, чѣм прежде, и не могут разрѣшаться так просто, как прежде: »единство«, повидимому, создается не общностью происхожденія (по крайней мѣрѣ, во многих случаях), а общностью жизни. Таким образом, видимо, славянство прошло через какой-то період тѣснаго единенія с балтійскими племенами, которое относится ко времени собственно до-славянскому и до-балтійскому, так что вопросы заимствованія слов здѣсь сливаются с вопросами »пра-единства«. Но потом, когда образуются обособленные балтійскіе и обособленно-славянскіе языки, мы видим только весьма неширокое заимствованіе кое-каких слов литовцами и латышами у русских славян, а потом, наступает період позднѣйшаго, огромнаго проникновенія польскаго вліянія, которое оставляет очень замѣтную полосу в литовском языкѣ. Что касается

славянских древностей, то онѣ остаются во многом загадочны: дѣйствительно, почему так мало в славянском языковом единствѣ иранизмов, если скифы и сарматы, дѣйствительно, были иранцами, как мы вѣрили, и в чем теперь как-будто начинают сомнѣваться? Может быт, и не без основанія.

Во всяком случаѣ, в древнѣйшую пору своего существованія, как еще не оформировавшейся и не раздѣлившейся массы, славянство жило, повидимому, в сторонѣ от финнов, а потом часть его, которая составила восточную группу славянства, вошла в соприкосновеніе с финнами, занимавшими вмѣстѣ с литовцами, жившими в перемежку с ними, обширныя лѣсистыя и болотистыя пространства, тянувшіяся от Полѣсья бѣлорусскаго, с тѣм же тогда характером мѣстности до средины Россіи. Медленно, просачиваясь друг сквозь друга, постепенно разбредались эти племена по глухим лѣсам и болотам, селясь не по »государственному« или племенному принципу, а только по тому, гдѣ можно было расчистить уголок для пашни или найти хорошее мѣсто для охоты. Вѣроятно, совсѣм незамѣтно происходили всяческія смѣшенія и образованія племен с отдѣльными языками, но с одинаковым бытом: »предки« славян оказались в компаніи с какими-нибудь »предками« литовцев или финнов, и так возникло то литовское, то финское, то славянское племя. Что дѣло происходило именно так, показывают факты и послѣдующей колонизаціи сѣвера, пятин новгородских, русскими людьми. Писцовыя книги с конца XV в. отражают этот процесс, который тогда уж, несомнѣнно, завершался, хотя, собственно, не закончился и до нынѣ. Наши крестьяне в Олонецком краѣ так же »финнизировались«, как весь в Тверской губ. обрусѣвала. Вот это взаимное просачиваніе различных этнических элементов необходимо учитывать при разсмотрѣніи всяческих вопросов этнографіи и археологіи на территоріи, гдѣ нѣкогда жили и смѣшивались, без сознанія того, что происходит, а просто повинуясь ежедневной потребности сношеній и близости бытовых условій, разноплеменные обитатели громаднаго однообразнаго по климату, устройству поверхности и проч. края. Особенно это надо принимать в соображеніе при изученіи археологических остатков населенія. До сих пор археологія не захотѣла быть на столько осторожной, чтобы не смѣшивать народность с культурой. До сих пор еще не утратили окончательно вѣру в краніологію, хотя и Вирхов рѣшительно предостерегал от смѣшенія формы черепа с народностью.

Эти замѣчанія мнѣ представлялись не лишенными значенія при чтеніи труда, посвященнаго исторической этнографіи средней и восточной Россіи. В этом отношеніи не вполнѣ свободны от упрека составители этого сборника.

»Финноугорский сборник« — прекрасная и полезная книга. Как я жалѣю, что не мог принять участія в составленіи его, как и в трудах самой Комиссіи, которая дѣлает такое нужное дѣло. Когда еще юношей я заинтересовался под вліяніем бесѣды с акад. Куником, который навсегда опредѣлил мои научные интересы и кругозор в области »славянских древностей«, финскими языками, в русской наукѣ мало было пониманія того значенія, которое имѣет для нас финноугорское языко-

знаніе. Это было осенью 1890 г. Тогда еще мало знали о важности финно-угорскаго языкознанія и фольклора для нас. К сожалѣнію, у меня не было возможности сдѣлаться настоящим финнологом (слишком широки, вообще, были мои интересы), но я не оставлял увѣренности, что это должно быть, что надо разъяснить, какое значеніе имѣет для нас финнологія, надо познакомить русскую научную мысль с трудами Сетэлэ, Крона и мн. др. финских ученых, к которым я сохранил на всю жизнь нѣчто в родѣ благоговѣнія. Мнѣ было очень дорого прочесть в »Сборникѣ«, что эти мои усилія не остались совсѣм забыты. Всю жизнь я представлял себѣ, как бы было хорошо, если бы были подведены итоги того, что уже сдѣлано в области финно-угорской филологіи, и указано, что еще надо сдѣлать. Поэтому, появленіе »Финно-угорскаго Сборника« я считаю одним из самых радостных моментов в моей ученой жизни. Я могу его только хвалить, хотя нѣкоторые недостатки, отмѣченные мною выше, представляют, по моему мнѣнію, методологическій промах.

»Сборник« состоит из предисловія акад. *Ольденбурга* и статей *Д. А. Золотарева*: »Обзор русских антропологических работ по финно-угорскому населению СССР«, *Н. Н. Поппе* »Этнографическое изучение финноугорских народов СССР«, *Д. В. Бубриха* »Финноугорское языкознание в СССР«, *А. В. Шмидта* »Археологическое изучение древностей севера СССР«, *А. И. Андреева* »Обзор русских исторических работ по изучению финноугорских народностей СССР« и *Д. А. Золотарева* »Карта расселения финноугорских народностей«. Кромѣ того, к книгѣ приложены два указателя: личных имен и народностей, а также карта в красках со схематическим изображением распространения финно-угорских племен. Каждая из отдѣльных статей, вошедших в »Сборник«, снабжена обширной библіографіей, в которую вошли не только важнѣйшія, но и сравнительно мелкія, второстепенныя работы. Самые эти указатели являются необходимым пособіем для изученія всевозможных вопросов финнологіи.

В предисловіи своем акад. Ольденбург говорит, что в мартѣ 1927 г., при образованіи финско-русской секціи, было рѣшено подвести итоги тому, что было сдѣлано у нас в области изученія финно-угорских народов в антропологическом, этнографическом, лингвистическом, археологическом и историческом отношеніях. »Итоги показали, что систематически ни одна область финноугровѣдѣнія не изслѣдована, что большая часть работ носит характер случайный, хотя в общем имѣется не мало цѣнных трудов.« С этим выводом нельзя не согласиться. Но, к сожалѣнію, того же не сдѣлано и в финской наукѣ. До сих пор нѣт энциклопедіи финноугровѣдѣнія.

Нѣт надобности передавать содержаніе статей, помѣщенных в сборникѣ: это прекрасные обзоры того, что сдѣлано в разных областях русскаго финноугровѣдѣнія. Любопытнѣе отмѣтить, как отразилась русская революція на изученіи этих народов. В этом отношеніи данныя, приводимыя сборником, довольно любопытны: оказывается, что в разных мѣстах Россіи, среди финскаго населенія, особенно Поволжья и Приуралья, возникло не мало центров такого изученія. »Центр тяжести

этнографическаго изученія финнов Поволжья послѣ революціи был перенесен на организацію мѣстных музеев и пополненіе старых музеев новыми коллекціями. О той огромной работѣ, которая была продѣлана в этой области в Поволжьи, всегда бывшем центром этнографическаго изученія финнов Поволжья, каковым оно останется, вѣроятно, всегда, можно судить по тѣм мѣропріятіям, которыя там удалось осуществить«. Именно возник ряд новых изданій, музеев и т. дал.« В настоящее время функционирует, кромѣ прежде существовавших музеев, ряд новых, таковы в Тетюшах, Красно-Кокшайскѣ (прежде Царево-Кокшайскѣ), Козьмодемьянскѣ, Цивильскѣ, Елабугѣ, Чебоксарах и др. городах, которым суждено сыграть извѣстную роль в дѣлѣ изученія матеріальной культуры финнов Поволжья. Вновь основанные педагогическіе техникумы, общества по изученію мѣстнаго края и другія учрежденія уже развернули во всей широтѣ свою дѣятельность. »Еще в большей мѣрѣ все это относится к изученію зырян, из которых и в старое время вышло не мало интеллигентных сил, посвящавших себя изученію родного края. Незабвенный, так мало использ ванный Лыткин — представлял явленіе не единичное среди сѣверных финнов. В послѣ революціонное время возникли новое »Общество по изученію Вотскаго края«, зырянскій журнал »Комі Му«, Общество по изученію Вотяцкой культуры в Москвѣ и т. дал. В обзорѣ вотяковѣдѣнія мы находим десятки имен лиц, посвятивших себя изученію сѣверно-финских племен. Это, несомнѣнно, в высшей степени радостное и многообѣщающее явленіе. То же относится и к финноугорскому языкознанію, которое послѣ революціи сдѣлало не мало успѣхов. Так напр., всегда остро чувствовался недостаток словарных и грамматических работ по Веси, которая имѣла особенно близкія отношения к сѣверно-русской колонизаціи русскаго Сѣвера. В настоящее время имѣется любопытная работа проф. Зеленина: »Древняя финская Весь«, словарь вепскаго языка Фомина-Свѣтляка и др. Как в области этнографіи, так и в изученіи языка и исторіи народов финноугорскаго происхожденія слѣдует отмѣтить возникновеніе новых научных центров. Таковы напр. финноугорскій кружок при Тимирязевск м Научно-изслѣдовательском институтѣ в Москвѣ, а в Петербургѣ, возникшее в 1925 г., Общество изслѣдователей культуры финноугорских народностей и др. Выд ющійся интерес в разбираемой книгѣ представляет обзор археологических изслѣдованій русских ученых в области русскаго сѣвера. Такого обзора еще не было (как, впрочем, и других обзоров), и мы видим теперь, как много уже подготовлено матеріалов для изученія древнѣйшаго быта населенія сѣверной Россіи. По тѣм вѣхам, которыя поставлены в этом обзорѣ, слѣдует продолжать изслѣдованіе, чтобы подвести наконец нѣкоторые итоги. На эту область знанія также русское общество нашего времени обратило должное вниманіе. А. В. Шмидт отмѣчает здѣсь что с 1922 г. прерванная войной и революціей научная работа мѣстных археологов возобновилась: »В Саратовѣ, Самарѣ, Казани, Перми, Костромѣ, Нижнем-Новгороддѣ, Смоленскѣ, Рыбинскѣ и других городах, нерѣдко совершенно самостоятельно друг от друга, мѣстные работники, группировавшіеся около музеев и возникших в ту пору в большом числѣ университетов, стали вновь

ставить палеонтологическія изысканія. Эти работы шли в одном руслѣ со стихійно поднимавшимся по всей территоріи союза движеніем к всестороннему изученію природы и человѣка в предѣлах родного края ... С ничтожными средствами, порою ощупью, не имѣя возможности достать необходимую литературу, научные работники провинціи самоотверженно повели изслѣдовательскую работу по систематическому археологическому изученію своих областей«. Таким образом, в послѣднее время найдено и изслѣдовано нѣсколько сѣверных стоянок палеолитической эпохи, которыя разсмотрѣны в трудах, столь мало доступных нам за границей, как книгѣ Готье »Очерки по исторіи матеріальной культуры Восточной Европы«, »Археологіи« Городцова, »Ананьинская культура« Худякова и много-много другого.

Вот это непрерывное и несомнѣнное движеніе науки в Совѣтской Россіи, вовлекающее в свой оборот множество новых вопросов и новых матеріалов и призывающее в свои ряды много новых ученых сил, которыя прежде оставались внѣ ученаго общенія: вот это есть нѣчто положительное, что напрашивается для вывода само собой при чтеніи »Финноугорскаго Сборника«.

А. Погодин.

Українська Академія Наук. Збірник Історично-філологічного відділу № 75. Проф. *Павло Смирнов.* **Волзький гилях і стародавні Руси.** (Нариси з руської історії VI—IX в. в.). У Київі. 1928 р. Ціна 3 крб. Стр. 228.

Новое исследование русского историка, случайно появившееся на украинском языке, ставит своею задачею отыскать в глубокой древности »начало русской истории«, »источники русской культуры и права« и вместе с тем подойти к разрешению загадки, »как сформировалась великорусская народность« (стр. 223). Эту свою задачу автор выполняет таким образом, что отыскивает в Восточной Европе в том месте, где потом было »ядро Московского государства«, между средней Волгой и Окой, Скандинавов живущими в большом количестве, в качестве »великого народа« — еще с VI в. Какие основания приведены для такого исторического открытия проф. Смирновым? Туманные сведения исландских саг про »Austrvegr«, легендарные упоминания о »Русе« и »Росе« у Иоссипона-Мирхонда и в »Церковной истории« Захарии-Ритора VI в., отрывочное указание летописного введения »Повести временных лет« — »По сему же морю (Варяжскому) сѣдять Варязи сѣмо къ востоку до предѣла Симова«, наконец, археологические данные о наличии скандинавских курганов в Ярославской и Владимирской губ., хотя таковые обычно археологи относят к IX—X в. в. Вот почва для этой гипотезы П. Смирнова. Пользуясь арабами и Бертинской летописью, автор идет дальше: этим Скандинавам-Руси он приписывает »русский каганат«, приурочиваемый им отчасти к VIII и к первой половине IX в. и разрушенный, по автору, в 20—30 г. г. IX в. Уграми. Затем каганат, по мысли автора, распадается на 3 »карликовых державы«, и в IX же веке основываются теми же Скандинавами известные летописные княжества Руси, распространяющие их власть по Восточной Европе. С особым глубокомыслием автор обследует известное летописное

сообщение 862 г. и видит в нем не только достоверное известие о призвании »эмигрантов« временно бежавшей за море части Руси, но и следы, указывающие на бывший пред сим »русский каганат« (стр. 151—161). Отношение П. П. Смирнова к русской летописи вообще несколько особенное: он обнаруживает небольшое знакомство с новыми критическими исследованиями ее, не считается с ними, слепо верит летописным легендам и хронологии (как и хронологии саг исландских стр. 61 и след.) за IX—X в. в. (стр. 36, 156—160, 184, 190 и др.), оказывает исключительное внимание Иоакимовской летописи и истории Татищева — вплоть до того факта, что »Рюрик был сыном одной из дочерей Гостомысла«, а »Гостомысл владел Финнами, как наследством« (стр. 154, срв. 158), — охотно верит позднейшим сказаниям (стр. 140, 179, 188 и др.), по-диллетантски расценивает показания летописных списков (стр. 151—154). Автор уделяет особенно много внимания арабским источникам, но выявляет мало удачи в объяснении их противоречий и часто толкует их довольно произвольно, в угоду своей теории [напр., когда путается в хронологии каганата, доходя даже до того, что допускает путешествие послов Руси в Ингельгейм (Бертинская 839) с Волги в течение около 10 лет (стр. 135—139, 149 и др.); когда встречается с указаниями про »каганат« позже половины IX в. (стр. 107, 112, 121, 136—137, 168 идр.); — когда приходится встречаться с противоречащими заявлениями, напр., Ибн-Хордадбега, которому он придает сам же и особую веру (112, 117, 208, срв. 99), и т. п.]. Вообще, методологически автор очень часто грешит. Что же до сути самих его гипотетических построений, то они не дают ответа на ряд серьозных вопросов: каким образом Скандинавы около VIII в. в Восточной Европе оказались такой громадной культурной и политической силой, кокой их рисует автор (напр. стр. 35, 126, 130—131, 150—154 и др.), почему в таком случае их каганат будто бы в IX в. так легко разрушили Угры, и почему это разрушение якобы повело к новым великим государственным успехам их в том же IX в, почему в X в. этот великий и культурный народ, везде торговавший и экономически сильный, так легко слился со славянами и потерял свой язык, так что в X в. уже из них образовалась по автору одна славянорусская народность (стр. 35, 159, 209, 228 и др.) и т. п.? Остались по существу необоснованными собственно главные положения, выдвинутые П. П. Смирновым: тожество »Руса« и »Роса«, упоминаемого в известиях VI—VII в. в., со Скандинавами, большое количество их на территории Восточной Европы, падение каганата Руси около 820—30 г. г. (что не увязано с известием Бертинской летописи 839 г.), различие »второй« и »третьей« »традиции« восточных известий о Руси (хронологическое обособление известий о каганате и известий о 3-х племенах Руси), образование великорусской народности в X в. — из Скандинавов — Руси и Славян и т. д. Обосновать эти гипотезы со всей серьозностью следовало бы особенно потому уже, что автору при их построении постоянно приходится вступать в конфликт с разнообразными специалистами-арабистами, археологами, историками русского языка и литературы. В теории П. П. Смирнова вообще много необоснованного — до фантастичности, немало противоречий и использования случайных сов-

падений и т. п. Работа П. П. Смирнова — это высшая, хотя и запоздалая, волна увлечения норманской теорией, ее девятый вал; в ней норманизм доведен почти до nonsens'a, и в этом особое значение данной работы; дальше итти норманистам некуда. К тому же автор, увлеченный до крайности норманизмом, совсем не ознакомился напр. с работами акад. Н. Я Марра по яфетидологии, которые как раз касаются эпохи и темы автора, и вообще прошел мимо значительной литературы, которая помешала бы ему дойти до фантастических выводов. В этом отношении особенно были бы полезны ему выводы Шахм това о необходимости осторожности в пользовании источниками ранней поры, особенно показаниями летописей за эпоху до XI в. Вообще, цитируя Шахматова в мелочах, автор совсем промолчал целый ряд гипотез и выводов его, которые как раз относились к его теме (напр., о первых государсгвах Руси IX в., о »Варягах« и »Руси« и т. п.). Общее впечатление от работы Смирнова такое, будто она писалась в эпоху норманистских споров 70—80 г. г. XIX в., — с новейшими научными течениями она очень мало увязана.

Владимир Пархоменко.

Шишић Ф., **Летопис Попа Дукљанина.** Српска Краљевска Академија. Посебна издања. Књига LXVII. Философски и филолошки списи. Књига 18. Београд-Загреб, 1928, 8°, стр. 480. У прилогу десет слика и једна карта.

Спис, познат под именом Летопис Попа Дукљанина, заузима јединствен положај међу домаћим изворима за историју Срба и Хрвата у Средњем Веку и међу литерарним радовима у српској и хрватској средњевековној књижевности. Он одудара од њих. Тешко му је одредити право место и наћи суседе у развојним серијама како извора, тако и књижевних дела. То је рад особите врсте по језику, садржини и сврхама. Преведен је са словенског на латински, садржина му је одраз писаних извора и усмене традиције, а сврха му је црквена и патриотска. Нема сасвим сличног дела ни на страни; обично се наводи као најсличнији му друг пољски Кадлубек. Мутан је и загонетан као историјск.ı извор, јасан и тачан као географски, а сасвим не еднак као литерарни рад, јер има поред потпуно примитивно написаних одељака читавих одсека високе књижевне вредности. Пошто је сачуван латински, а тиче се Словена и Романа, то је прекорачио границе српскохрватске историографије и књижевности, ушао је у светску науку и изазвао и на страни читав низ покушаја да се тачно разјасни и правилно схвати. А већ код Срба и Хрвата морао е сваки историк и писац књижевне историје заузети сво став према чудноме делу, јер се оно не да обићи, ма како био пипав и одговоран посао с њим се бавити. Но и домаћи и страни судови веома полагано су приближавали научном решењу тешко питање о вредности овога дела. Истраживачи су имали право, кад су се изговарали на слаба издања, док је био познат само талијански превод код Орбинија (1601), слабо латинско издање у Луциуса (1666) и још слабије издана хрватска редакција од Кукуљевића (1851). Још је П. Ј. Шафарик, прегледавши сва дотадашња најважнија мишљења, сасвим тачно ово нагласио: »Ohne

eine kritische Ausgabe des illyrischen und lateinischen Urtextes, ohne Lösung der Vorfragen über das Alter des Verfassers und der Handschriften, über das gegenseitige Verhältniss und die Schicksale beider Texte u. s. w. lässt sich Diokleas weder verdammen, noch zu Ehren bringen«. (Geschichte der süd-slawischen Literatur. II. 1865, 184.) Тек после смрти Шафарикове изишла је прва свестрана студија о овом делу од Фрање Рачкога (1864), у којој је положена прва основа за дања научна испитивања. Више не. Јер мутно дело допуштало је и даље множину различитих тумачења и изазивало оштре научне полемике. Рачки није све олако веровао Дукљанину, али није ни тако оштро мислио о историјској вредности овога рада, као н. пр. Луциус или, још горе, Енгел, па ипак се његов опрезни суд чинио Кости Николајевићу, српском историку, осуда, и он се латио својих студија Дукљанина „у тој поглавитој намери да поведемо парницу против те осуде". (Летопис Матице Српске, 110, 1865, 4.)

Дуго изгледано, савесно издање Дукљанина спремио је Иван Црнчић у својој важној књизи »Popa Dukljanina Lètopis po latinsku toga nekoliko i još nešto po hrvatsku . . .« 1874. Могло се мислити да ће се на основу њега брзо решити цели научни проблем о замршеном делу, тим пре, што је Црнчић учинио несумњиво много за критику текста, нарочито хрватскога; за латински текст ослонио се, нажалост, на Луциуса; није ни погледао латински рукопис, иако га је имао у Риму, где је, тако рећи, век провео. Но ни после Црнчићева издања није се јављала жељена студија, мада се тада приближаваху напону својих научних снага два истраживача који су имали највише могућности и склоности да кажу одлучну реч о овом делу — Иларион Руварац и Константин Јиречек. Руварац је искрено поновио разборниту жељу Фрање Ксавера барона Пејачевића о потреби свестране студије о Дукљанину, али је није написао. Види се само по узгредним примедбама да је на њу много мислио. Јиречек је био ближе њену остварењу. Он је јако ретко говорио о својим научним плановима, али овај га је био толико обузео да је обећао студију о Дукљанину и наменио је Јагићеву Архиву. Није је написао. Остале су и од њега, као и од толиких других, само узгредне белешке, врло драгоцене, но без везе. Вечна је штета што он није написао своју намеравану расправу, док се лако може прегорети, што Љуба Јовановић није никада израдио своју академску беседу о Дукљанину, од које је познат само нацрт (Годишњак Срп. Краљ. Академије, XV, 1901, 220—6), и што није ни Лука Јелић доспео да искупи слично обећање. (Vjesnik Hrv. arheol. društva, N. S. X. 1909. 135.) По оном што су рекли, јасно се види, да питање о Дукљанину не би приближили научном решењу. Обојица су били упали у докона домишљања, а овај заплетени научни проблем може се решити само савесним и стварним стручним истраживањем. Довијањима, на основу здрава разума, то се не да постићи.

Општу жељу за једном темељном студијом о Дукљанину, чија се потреба једнако осећала у историографији и историји књижевности, латио се да испуни познати хрватски историк, Фердо Шишић. Искусан истраживач извора и одличан познавалац литературе, унео је Шишић

у своје студије о Дукљанину врло симпатичну научну страсност да докучи истину, за којом је с тим већим жаром трагао, што ју је теже докучити. Без овакве потпуне предaности научном испитивању било би расправљање о овом тешком научном проблему унапред осуђено на неуспех. Шишић је унео у свој посао и свесрдну преданост, и приступио му је с праве стране. Сишао је до рукописа и лично је проучио земљиште, на ком се збила већина догађаја, који су код Дукљанина описани. То нико до њега није учинио.

Ја врло нерадо пишем име писца, Дукљанин, као и натпис његова дела, Летопис. Њих је, додуше, увео још у XVI в. Лудовик Туберон (»Diocleatis auctoris annales«), али сасвим нетачно. Јер, писац није Дукљанин, него Баранин, а његово дело ни е Летопис (у њему се не спомиње ни једна једина година), него сасвим разговетан Родослов, у ком се приказује историја у облику једнога непрекинутога родословља. Зашто, дакле, понављати старе, бесмислене заблуде? Дело треба звати Барски Родослов (Anonymi Antibarensis Genealogia) и свикавати се на овај тачни натпис; Јиречек је, обазрив као свагде, наглашавао да спис нема наслова.

Шишић је свој велики рад овако распоредио: Увод. О Летопису Попа Дукљанина. I Трагови наше историске литературе пре Попа Дукљанина (1—25). II Летопис Попа Дукљанина. 1. Рукописи (26—8). 2. Издања (29—30). 3. Литература (30—47). 4. Ко се све служио Летописом Попа Дукљанина пре и после Орбинова и Луцијева издања (47— 62). 5. Постанак дукљанско-барске архиепископије (63—82). 6. Кад је написан Летопис Попа Дукљанина (82—105). 7. Како је Летопис саставит; libellus Gothorum (106—13). 8. Готоманинија код Срба и Византинаца (113—21). 9. Извори Попа Дукљанина (121—49). 10. Садржина Летописа (149—54). 11. Хрватска редакција (154—63). 12. Оцена Летописа Попа Дукљанина (164—84). Екскурс. О Локрумским фалсификатима (185—225). »Pripomenak« Ivana Črnčića (229—85). Летопис Попа Дукљанина. Текст. I Латинска редакција с Орбиновим талијанским преводом (289—375). II Хрватска редакција с Марулићевим латинским преводом (377—416). Коментар (417—66). Орбинове белешке 467. ,,Кључ'' Дукљанинова текста (468—77). На крају су исправљене неколике штампарске погрешке (477), све не.

Прво је претресено питање о историјској литератури код Хрвата и Срба до Барског Родослова, јер је то по себи важно питање, а Шишић му је подигао знаменитост тиме што верује, да је писац већ у уводу нагласио писане изворе свом делу. У латинском тексту, истина, говор је само о усменим »quae a patribus nostris et antiquis senioribus veridica narratione referre audivi« 292), али у Орбинијеву преводу спомињу се и писмени (»quello che lessi e intesi da nostri padri e maggiori«, Ibid.). Ја не сумњам да су у овом Родослову употребљени и писани извори. Упозорићу чак на једну њихову врсту коју Шишић и не спомиње, па ипак не бих смео измењивати латински текст само на основу Орбинија, јер је он с текстом самовољно поступао, како и Шишић наглашује (451). О књижевним делима, насталим пре Барског Родослова на источној јадранској обали, дао је Шишић веома леп преглед. Тачно

је нагласио, да су то највише животи локалних светитеља, каталози епископа и ситније историјске белешке; расправљање о изворима Томе Архиђакона добродошло је, али му овде (8—10) нема места. Врло је занимљив претрес питања о неким далматинским писцима, што их наводе Орбини и Лукари (овај је више преписивао дотична имена из Орбинија него што је Шишић приметио) као да су живели пре XII в. За све редом, Валтазара Сплићанина, Михаила Солињанина и т. д., утврдио је Шишић да су или много познији или уопште врло сумњиви; само за »una chronica molto antica« код Лукарија (22) вољан је веровати да је збиља постојала, но ја и у њу сумњам.

У глави о рукописима Барског Родослова могао је Шишић, са жалошћу, утврдити да је рукопис латинске редакције један једини, бивши Луцијусов (данас у Риму, Vat. Lat. 6958); преписа штампаног издања и латинских превода из Орбинија има доста. Исто тако је сачувана само једна поуздана редакција хрватског превода, опет из Луцијусове оставе, и превода ове од Марка Марулића; ја бих још споменуо рукопис о ком је реч у Вуковој Преписци (III, 1909, 716). Шишић је био први који је после Луцијуса употребио рукопис латинске редакције, а то је било преко нужно, јер у Луцијусову издању има немилих погрешака и опасних пропуста.

У кратком одељку о издањима „Летописа Попа Дукљанина" требало је забележити и Пејачевићево издање великог дела текста у његовој Историји Србије (1797 или 1799); у додатку XVI—XXVI; тамо је и коментар. Словенски Орбини није добро споменут. То, прво, није превод, него извод. И, друго, није га извео Теофан Прокопович, како Шишић мисли, него Сава Владисављевић, а он је написао само додатак, највише о православљу Св. Браће, Ћирила и Методија; о овом делу требала би нарочита студија; засад се може задовољити с оним што сам ја о њему написао у Зборнику В. Н. Златарскога (353—5). Не би било рђаво споменути, да је и Милош Милојевић штампао у својим Одломцима (II, 13—110) неки превод Барског Родослова, наравно по Јовану Суботићу.

У прегледу досадашње литературе о Барском Родослову није, разуме се, Шишићу било стало до потпуности, него да спомене само самосталне судове. Па и с тога гледишта није требало изоставити мишљења Диканжа, Бандурија, Рајића и Пејачевића. Сви су они самосталнији него н. пр. Енгел и Краузе, који се наводе. Ја од споменутих писаца морам истаћи нарочито Пејачевића, који у Историји Србије, до XII в., мало на којој страни не наводи овај извор с разборитим критичким белешкама; И. Руварац је, наравно, све ове историке споменуо, јер је њихова мишљења високо ценио. Шишић је тачно осетио слабе стране скорашње студије П. Ровинскога о Барском Родослову; ја мислим о њој још лошије него он (Прилози, VII, 1927, 306—7).

До врло важних и сасвим нових научних резултата доспео је Шишић испитујући преузимање вести из Барског Родослова у повеље и историјске белешке и дела; о повељама говори у нарочитом екскурсу; позајмљивање мотива из овог извора у литературу није испитивао. Особито су важни докази да су се Барским Родословом користили већ

Тома Архиђакон и т. з. Милециjе, даље, да je био познат и писцу записа у Регистру манастира св. Петра, да су се њиме послужили Андрија Дандоло, Лудовик Туберон и т. д.; Туберон je имао пред собом сада непознату редакцију Барског Родослова. Међу делима, у која су прешле вести хрватске редакције овога извора, не наводи Шишић Томашићев Летопис (Kukuljević I., Arkiv, IX, 1868, 13—4). Вест о насилној смрти краља Звонимира преузета je, међутим, овде сасвим сигурно из додатка хрватској редакцији Барског Родослова; позајмица je тако очевидна, да je сасвим излишно стављати један текст поред другога; Шишић има своје мишљење о начину смрти Звонимирове, жели за њ што више извора, па зато и сматра Томашићев Летопис, на овом месту, самосталним извором; без икакве основе.

Наредна глава, о постанку дукљанско-барске архиепископије, била je нужна ради познавања средине у којој je Барски Родослов настао и његове сврхе. Требало ју je и зато унети, што се мора исправити одомаћено схватање о оснивању ове митрополије 1067 год., пошто je Милан Шуфлај несумњиво утврдио да je позната була папе Александра II од 1067 год., којом се оснива барска архиепископија, фалсификат; сви до њега сматрали су je автентичном, па и Ст. Станојевић у својој опширној књизи Борба за самосталност римокатоличке цркве у Немањићкој држави (1912). Барска архиепископија основана je тек булом папе Климента III од 8 јануара 1089 год. Шишићево разлагање je учено и убедљиво. Само се не могу сложити с њиме, кад верује (71 и д.) у причу Томе Архиђакона о потчињености барске цркве сплитској. То je обична фабула; и сам Шишић зове касније те ,,суфраганске везе" само ,,вероватним" (113).

Тек после овако озбиљне спреме приступио je Шишић питању о времену састављања Барског Родослова. Пре одговора на ово питање утврдио je да проблем о потпуности овога дела, изазван с et c. на крају латинског текста, уопште не постоји, jер тога et c. у рукопису нема; нема га ни Орбини. Рукопис je, дакле, потпун, али то не значи да није (можда због смрти пишчеве) нагло претргнут. Terminus ante quem non може се најпоузданије утврдити с последњим одељком Родослова. Ту се несумњиво спомиње цар Манојло Комнин (1143—80), па je тиме утврђено и време пре кога дело није могло настати. Рачки je, с доказима који нису сасвим на одмет, био за год. 1143—53 као време састављања, Јиречек за последње године цара Манојла (1160—80), а Шуфлај за ,,око 1200 год." (Архив за арбанаску старину, II, 1925, 227). Шишић je ради решења овога питања ушао у расправљање о зетској прошлости уопште, од половине XI в. па до под крај XII, с главном жељом да утврди почетке династије Немањића. То je мучан посао. Јиречек je већ подавно (1913) разборито рекао, да се о том питању, док смо овако оскудни с изворима за српски XII в., могу постављати само хипотезе. Ја сам недавно морао то исто рећи, jер се још нисмо ишчупали из дилеме, да се ломимо између Завиде и Уроша II (или Десе) као оца Стефана Немање. (Прилози Летопису Матице Српске, I, 1928, 1 и д.) Има, истина, ко je и другог мишљења, али то се не да изворима доказати. Тако je Владимир Петковић покушао у једном чланчићу утврдити Завиду као несумњива оца Немањина. (Споменица С. М. Лозанића, 1922, 45—7.) Но натпис, на који се он позива, није никако проверен. Сада жели Шишић

пресећи дуги спор о пореклу Немањину с тврдњом, да је рашки жупан Урош II Немањин отац. Много се напатио да то докаже, но није успео. Највише се ослањао на истраживања Љубе Ковачевића и Драгутина Анастасијевића, мада је Анастасијевићева студија о оцу Немањину утук познатој Ковачевићевој расправи о пореклу Немањића, која је сасвим неуспела. Нема сумње да је Анастасијевић потуљао хипотезу о Завиди као оцу Немањину, али није могао сигурно доказати, да је Урош II, или Деса, отац Немањин, јер извори то не допуштају; Анастасијевић је био свестан да поставља само једну (мало вероватнију) хипотезу. Шишић је много одлучнији у тону (ипак зове своју хипотезу једампут (94) само „највероватнијом“), премного верује Барском Родослову, много сугерира читаоцу с честим „јамачно“, али извори још не допуштају да се несумњиво утврди отац Немањин; Шишићева самовољност почиње на генеалоцкој таблици Немањића (97) већ код Петрислава и његових „синова“ Вукана и Марка; хипотезу о Завиди као оцу Немањину никако није требало муком прећи, мада Шишићу није било стало до потпуности литературе о овом сложеном питању, које остаје отворено. Ја нисам ни тако чврсто уверен, као Шишић (101), да је Деса из Historia ducum Veneticorum наш Деса. Можда је и какав маџарски. Ослањајући се на Јиречека, мисли Шишић да је Барски Родослов састављен најкасније око 1200. Ја бих га помакао још ближе години 1215, пре које је, по Јиречеку, сигурно написан, јер, једно, и последњи приказани догађаји, који се тичу времена око 1150 год., збуњено су приказани, а друго, писац нигде не спомиње себе као сведока, него само очеве и дедове.

Врло је кратка глава о питању, којим је језиком првобитно састављен Барски Родослов и шта је Libellus Gothorum. Питање о језику овога дела уопште није разрађено. Шишић је мишљења, да је Баранин цели Родослов прво написао словенски, па га у дубокој старости превео на латински. Тако он разуме увод Родослову. Има, како је познато, и других мишљења. Јеречек је делио Родослов на три дѣла: Libellus Gothorum, легенда о Владимиру и Косари и родословље дукљанских владара после њега. К. Николајевић је мислио чак на четири различита дѣла. За Libellus Gothorum готово је опште мишљење, да је прво написан словенски и онда преведен на латински; има мишљење да је то туђ рад, који је Баранин превео и онда сам наставио даље, одмах латински; хипотеза Ровинскога о неком православном састављачу и римокатоличком преводиоцу толико је без основа да се на њу не треба ни обзирати. По моме мишљењу Шишић је најближи истини, када у Барском Родослову гледа јединствено дело, написано словенски па онда од истог писца преведено на латински. Али како словенски? Да ли старословенски, српском редакцијом, или неким српским говорним језиком? То Шишић не одговора. Ни из његових мишљења о старом животу св. Јована Владимира и словенски писаним повељама у Зети и Хуму не види се, шта он уопште мисли о словенски писаној књижевности у овим странама; рекао бих да се колеба између схватања Новаковића, да је била могућа, и Златарскога, да је није било. Но ја не сумњам, да је Баранин писао првобитно овај Родослов старословенски, српском редакцијом; тај му је језик био познат, јер је несумњиво знао за животе св. Ћирила и Методија; није, дакле, потребно претпостављати (са Златарским), да би

словенски писана дела, пре свега живот св. Јована Владимира, морала бити писана у Охриду и околини, а не у Зети. За састављача Барског Родослова мисли Шишић да је био Србин (107 и 420); место где латински језик зове ,,нашим" сматра глосом (426).

У првим главама Барског Родослова идентифицирају се Готи и Словени (»Gothi, qui et Sclavi [sc. nuncupantur], et« . . . 298). Шишић верује да се први траг ове готоманије налазио у првобитном животу св. Дујма, сплитског патрона, писаном најкасније у X в. Ја сам уверен, да је Словене поистоветио с Готима тек учени прерађивач овога живота, Адам Парижанин, и то по познатим схватањима далматинских Романа у XI в., да су Словени јеретици, као што су били и Готи. Од то доба срета се готоманија код приморских писаца с јасном тенденцијом да се утврде Готи као јеретици и груба чељад. На истоку, у Византији и код Срба, извор готоманији други је. Тамо је она настала због византинског начина називања модерних народа старим именима. Тако су Византинци прозвали и Готе, који су становали, као и Гети, једно време на Дунаву, њиховим именом, а кад су Словени и Бугари заузели иста места, прозвали су и њих Гетима или Готима. Срби су звали Готима највише Бугаре. Код њих има у том називању елемената и византинских и западних. Готи су им један народ, као и Византинцима, али и груба чељад, као у јадранском приморју; Шишић је међу српским писцима, који зову Бугаре Готима, изоставио (116) патријарха Пајсија. (Л. М. С., 150, 1887, 78), а међу доказима, да су у Приморју сматрали Готе суровим светом, испустио је најјачи — познато место из Туберона, да су дубровачке госпође сматрале израз Готкиња ознаком највеће простоте (Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum, II, 120). Случајна је забуна, што је Шишић овде (115) написао Стефан Немања, место Стефан Првовенчани.

Глава о ,,Изворима Попа Дукљанина" читава је расправа, врло учена. До Шишића су утврђени као извори Барског Родослова само живот св. Бенедикта, живот св. Јована Владимира и народна традиција (без појединости). Он је прво приступио питању о животу св. Јована Владимира као извору XXXVI главе Барског Родослова, где се, на крају, упућује читалац, жељан опширнијих вести, да »librum gestorum eius relegat, quo acta eius per ordinem scripta sunt« . . . (342). Шишић гледа у овим речима каснији додатак, мислећи, да живот св. Јована Владимира није могао постојати пре Барског Родослова. Разлози су му ово: 1. Стил XXXVI главе. 2. Код Орбинија нема тих речи. 3. Тај живот није сачуван и 4. Зета није била средиште словенске књижевности. Од свих ових разлога има само други неку малу вредност. Остали никакву. Нарочито последњи не, до кога Шишић највише држи, мада је и сам мишљења да је цео Барски Родослов прво словенски написан. Па то већ значи егзистенцију словенске књижевности у Зети. А што се тиче трезвености приказа у XXXVI глави, то баш говори за њену старину, јер су тек познији редактори китили легенде. Све ране легенде дишу истом интимном једноставношћу као и ова. Она је веран одраз изгубљеног живота св. Јована Владимира, који је јамачно постојао. И онај одељак, где састављач спомиње »librum Sclavorum qui dicitur Methodius« (308) као извор за упознавање уређења државе краља Светипука, сматра Шишић глосом. Није добро тежа места избацивати из

извора проглашавањем за глосе. Сам Шишић мисли да је састављач Родослова знао за живот св. Ћирила и да је чак понешто из њега намерно мењао (140 и д.), а за ово место држи да га је унео неко ко је из живота св. Методија знао за његов превод Номоканона. Зашто то не би био и сам састављач? Шишић је несумњиво утврдио да се састављач Родослова за списак епископија барске архиепископије користио лажном булом папе Каликста II (137—40). Не знам, зашто Шишић сматра глосом познато место у Барском Родослову, где се спомиње св. Бенедикт? Ја то одлучно одбијам. Састављач је тај живот сигурно знао. Јако су проблематична наредна два случаја употребе писаних извора у Барском Родослову. Шишић, прво, упозорава на сличност тумачења постанка имена Ragusa код Константина Порфирогенита и у овом Родослову, јер се на обадва места говори о измени почетног Л у Р. Он претпоставља неки заједнички извор (145—6). Ја не, него мислим да су обадва писца знали за два начина писања имена тога града (а утврђено је да су знали) и независно дошли на неко слично тумачење. То је једноставније. Друго, Шишић упозорава на сличност тумачења имена Бугарâ (од Волге) у Барском Родослову и чак код Никифора Григоре. И ту претпоставља исти заједнички извор (146—9). Није нужно. То је једно опште место, близу памети, где год се изводило име Бугарин од Волге. Једну врсту писмених извора овога Родослова Шишић не спомиње. То су повеље, које се, сасвим јасно, у самом тексту спомињу. Ја их не смем обићи као изворе састављача овога Родослова. Оне се спомињу на крају главе XXXVIII (rex Dobroslavus plurima bona dans Antibareno illo, qui Cursilio nunciaverat, quod esset circumdatus a magna multitudine, stabilivit ei, ut nec ipse nec filii eius in perpetuum obliviscerentur hoc factum 353) и XXXIX ... »iuraverunt Radoslavo ambo fratres et privilegium ei sripserunt, ut ipse et eius heredes possiderent partem Zentae . . .« 356). На то ће се још морати нарочита пажња обратити.

Садржину Барског Родослова препричао је Шишић (149—54) прегледно (делом по Рачком), али овде не би шкодила мало већа опширност.

О хрватском преводу прве двадесет и три главе Барског Родослова, с важним додатком, написао је Шишић врло учену расправу, где су му од велике помоћи била Чрнчићева истраживања. Допунио је историју налаза хрватског рукописа (* 1509—10) и његова превода од Марка Марулића (1510); добро је учинио што је подвукао да Марулићев латински превод није тачан; сасвим је умесна тврдња да је хрватска редакција била писана ћирилицом (159—60). Много тежи био је одговор на питање, када је почетак Барског Родослова преведен на хрватски? Шишић, поред свих неологизама (које он сматра глосама и Калетићевим изменама), мисли да је превод из XIV в. и да је учињен у околини Сплита. Ја га, највише због неологизама, морам помакнути у XV в. Шишић га гура унапред због додатка о насилној смрти краља Звонимира, јер он верује у ту причу, па би, наравно, волео да је што старија. На овом месту био је, међутим, јако обазрив, па вели, да је „у језгри“ (163) тачна. Доказ му је за то врло слаб — „живахно и детаљно причање“, поред других извора који су или овај исти, или још гори од њега.

Последња глава у уводу је „Оцена Летописа Попа Дукљанина“. Несумњиво најодговорнији посао, јер је овде кренут читав низ тешких на-

учних питања. Шишић је на првом месту истакао, да је Барски Родослов не само историјски (и географски) извор, него и литерарно дело. Додирнуо је и питање језика, у ком је првобитно састављен, али га је одмах пресекао. Исто тако је само наговестио литерарни карактер Родослова, но није га доказивао, јер наглашени народни дух веје и кроз историјске као и кроз литерарне радове. По том она не добивају литерарни карактер, него по начину схватања, обради и сврси. Раније је Шишић наглашавао црквено-политичку тенденцију Барског Родослова (139), а овде истиче патриотску и дидактичко-забавну (165). У питање о литерарној обради народних традиција није уопште улазио. Знам да је оно врло деликатно, али се не сме обилазити. Велика је невоља што су народне песме, које сећају на одељке Барског Родослова, несумњиво настале или су бар измењене под његовим утицајем, пошто су све позно забележене. Зато би се морала обратити брижљива пажња не на појединости у традицији, које се мењају, него на главне мотиве. Ту је још широко поље рада у правцу истраживања како су га обележили Јагић, Јиречек и Мурко. Највише је традиција у Барском Родослову из Зете и околине, а те су сада добрим делом сабране у Цвијићевим Насељима. Састављач Родослова сужавао је, наиме, свој хоризонат постепено са Словена, свих Срба и Хрвата, и још Романа, Византије, Бугара и Маџара на Зету, с Требињем, Хумом и Дубровником и на њихове односе с Рашом. Почетак је у једном јако пространом хоризонту и пун смеле и необуздане маште, а што даље круг занимања је све ужи и приказивање несумњиво трезвеније, али нигде није без трагова моћне маште, карактеристичне за српскохрватску народну традицију. Зато историјски одељци у Барском Родослову и носе јасан печат народне традиције. Где има историјске језгре, она је обично лоше локализована, хронолошки неодређена, пренесена често на друга лица и приказана у скроз развученим и погрешним контурама. Зато се, по правилу, историјским вестима Барског Родослова и може веровати само онда, када су и с друге, вородостојније, стране потврђене. С географским обавештењима стоји ствар друкчије. Она су поузданија, нека невероватне прецизности. Но с поделом приморја на Белу и Црвену Хрватску ипак је велика неприлика, јер је назив Црвена Хрватска сасвим нејасан. Критички историци не знају шта ће с њим. Ни Шишић, наравно. Али ипак је баш због Црвене Хрватске, које не може да се одрекне, бар делимично остао уз своје старо мишљење, да је код византинских историка XI и XII в., где они говоре о Хрватима, доиста реч о њима, а не о Србима. Ја сам, међутим, скупио читав низ доказа, да се хрватско име тамо употребљује само као синоним за српско. („Како су називали Србе и Хрвате византински историци XI^ог и XII^ог века Јован Скилица, Никифор Вриеније и Јован Зонара?" Гласник Скопског Научног Друштва, II, 1926, 1—13). Из њих се јасно види да је тамо говор о свима Србима, или Дукљанима, као Хрватима, а не о једном делу, па је ипак Шишић смислио сада нову хипотезу (170—1), да се овде спомињу Хрвати као део Срба; мислио је на сличан случај код Чеха и Пољака. Извори не дају никаква права на то. У њима се говори о Србима (или Дукљанима) или Хрватима. Већ сам ја подвукао необичност овога идентифицирања и истакао, да византински писци обично дају модерним народима стара или географска имена као синонимна, а не нова. Шишић то

још више истиче. Не с пуним правом. Јер, ето, баш Мађаре, на које се он највише позива, зову Византинци и *Τοῦρκοι*, и *Οὔγγροι* и *Οὖννοι*. (Усп. Rad, 187, 1911, 91 и д. Манојловићева студија о Константину Порфирогениту). То нису старинска имена, позајмљена из класичних писаца. Што Шишић пише о Петрилу, да је био Хрват (169), то је давнашња хипотеза Клаићева, смишљена на тако слабој основи да је Шишић и не спомиње. Име Црвене Хрватске из Барског Родослова ваља покушати на други начин растумачити, ако је уопште могуће. Овај није довео до истине. Барски Родослов је, иначе, оскудан вестима о Хрватима. Шишић их је све скупио на непуне две стране (172—3) и мисли, да су и те преузете из писаних бележака, не традиције (174 и 434—8); Задар и Сплит спомињу се по једампут, Млеци уопште не. То је прави зетски спис, с много вести о Србији, коју дели на Босну и Рашу, и све више о њој говори, што је постајала важнија од Зете. Осим добрих географских вести, огледа се у Барском Родослову прилично верно и унутрашњи народни живот; то је Ровински особито подвукао; Шишић одлично тумачи дотична места и проширује своју тврдњу и на општи политички развој. С правом. Ја ћу још на понешто упозорити. Зар није одељак о Тихомиљу у XXIII гл. део основе Орбинијеве генеалогије Немањића? Глава XXIV написана је као одговор на питање: Откуда долази да рашки владари носе скромно име великих жупана? Још ово. На ову главу мислио је, држим, Љуба Јовановић, када је делове Барског Родослова бацао чак у XV и XVI в. јер, стање у њој описано слично је приликама у Србији након смрти цара Душана и Уроша. То је истина. Но један народ у сличним ситуацијама увек слично реагира. Народна душа остаје иста. Друго тумачење није потребно. Међу негативним странама Барског Родослова истакао је Шишић, с много разлога, на првом месту оскудицу хронологије, онда општу збуњеност, мењање имена владара и њихову множину. О уткивању народне традиције у овај спис говорио је одвише мало (183). Није се требао позивати на св. Августина као на извор за морализања у Барском Родослову (183), јер то није потребно. Одвише је ласкаво за састављача. Његов је морал примљен из Хришћанства и народне традиције — добро се награђује, а зло кажњава. Ништа више. Шишића је ванредно занимало питање о првим утицајима Барског Родослова, па је због тога написао опширан екскурс о чувеним локрумским фалсификатима из XI и XII в. (185—255). То је учена расправа с огромним апаратом. Али овде није на месту. Велики је терет за издање Барског Родослова. Главна питања о фалсификатима решили су, уосталом, већ Јиречек и Шуфлај; Шишић с много поштовања спомиње нарочито Јиречка и обично сматра његове разлоге као ultima ratio. Не слаже се с Јиречеком само у питању Десине исправе од 1151 год., јер је он сматрао и ову фалсификатом, док је Шишић другог мишљења. И он не сумња да су локрумске повеље фалсификати XIII в., навео је, као и Ходинка, убедљиве доказе и о њиховој међусобној зависности. Из њих је издвојио последњу шуметску повељу (из 1193 год.) и речену Десину. Њу је претресао с љубављу према предмету, која није зазирала ни од каквих напора. Докази о автентичности врло су брижљиво сабрани. Индиректни још боље него директни. Чудно је само да се Десина повеља не спомиње ни у оној цркви св. Марије на Мљету, ни папе Јована XXII, ни краља Милутина. А то би се могло очекивати.

Чрнчићев »Pripomenak« Шишић је у целини прештампао, мада га је у књизи потпуно искористио; бојим се да ће га данашње генерације тешко и разумети.

Сам Барски Родослов издао је Шишић у две групе с по два паралелна текста. У првој је латински и талијански (Орбинијев) текст, а у другој хрватска редакција с латинским преводом Марка Марулића. Највећу је услугу учинио издавач науци што је прегледао Луциусов рукопис и по њему удесио своје издање; из примедаба, с исправцима и додацима, види се колико је то било нужно. Текст је овако опремљен: Додаци издавачеви су у угластим заградама, исправци су штампани курзивом а хипотетичне глосе ситнијим словима. Исправака је, по мом мишљењу, много; има их јако смелих, н. пр. о „Војиславу" (343—4), о промени »lit« и »dušu« (401) и т. д.; и „глоса" је несумњиво одвише. Но у примедбама је редовно наведен текст рукописа, па, ко налази за добро, може и не поћи за издавачем; штета што је понегде таква примедба изостала, те је у тексту само предлог издавачев за исправак.

Коментар издању је кратак, али ипак богат новим научним резултатима, које је немогуће све наводити. Морам истаћи да се осећа употреба Цвијићевих Насеља и лично познавање терена приказаних догађаја. Главе су посматране у групама. Најопширнији је коментар уз IX гл., па ипак Шишић, с лепом скромношћу, баш овде предвиђа нужне нова студије (427). Не слажем се са Шишићем, да би одсек о крунисању краља Светипука био глоса и да почива на извештају Томе Архиђакона о крунисању Стефана Првовенчаног, још мање да се речи о крунидбеној цркви св. Марије тичу Жиче (429—30). То је готово фантастично. Не слажем се са Шишићем ни тамо, где он само због истог или сличног имена покушава идентификирање лица из Барског Родослова са српским или хрватским владарима, с опрезном слутњом: „Не крије ли се у Дукљаниновим речима ипак који трачак историске истине?" (435). Тако би испао који унук старији од деда или два далека владара рођена браћа. Не знамо, засад, о многим лицима баш ништа. Остају и многи изрази још нејасни и места нелокализована. Шта је, н. пр., Palusia, где је Sraga? Али идентифицирање жупа у Барском Родослову сада је пуније него досад; после Шишића покушао је А. Јовићевић поистоветити чувену Праптатну с Мурићима на Скадарском језеру (Записи, II, 1928, 193—8). У коментару уз хрватску редакцију Шишић је јаче него раније подвукао своје мишљене о насилној смрти Краља Звонимира (466). Ја сам о том већ рекао свој суд.

Кључ уз текст састављен је брижљиво. Репродукције повеља су добре. Приложена карта је прегледна.

Шишићево издање Барског Родослова, најстаријег већег домаћег извора за историју Срба и Хрвата и првог сачуваног литерарног дела у српској и хрватској књижевности Средњега Века, такво је да може служити као пример за углед издањима каснијих извора, која једва чекамо. Научни напор, што га је он имао с овим делом, далеко надмаша обичне издавачке невоље, јер је Барски Родослов дело особите врсте и јединствене нејасности. Шишић је овим издањем дао много више него чврсту основу за даља истраживања.

Никола Радојчић.

St. Barabasz: **Sztuka ludowa na Podhalu.** Část I. a II. Spiš a Orava. Vydala knižnice »Atlas« ve Lvově 1928.

Dílko polského autora zabývá se z lidového umění především jen dřevem a to lidovými dřevěnými stavbami, nábytkem a některým domácím náčiním ve dřevě ozdobně provedeným. Autor snesl tu v kresbách bohatý materiál lidového stavitelství ve dřevě, a zvláště cenný pokud se týče detailů vazeb a ozdob ve dřevě. Snesený materiál zaujme čistým stylem speciálně polské práce, lze-li to za polskou označiti, ale styl tento výběr má. Práce jsou charakteristické a dobře voleny vzhledem k tomu stylu podhalanských, řekněme podtatranských horalů, a byť zabírají do sebe i objekty z československého území Spiše a Oravy, patří charakterem čistě k oněm polským, s výjimkou několika zakreslených objektů, majících všeobecnou cenu, na př. dřevěný kostel v Tvrdošíně a některých lomenic ze Spiše, které jsou typicky německé. Z československých obcí ve Spiši prošel autor Starou Ves, Červený kláštor, Haligovce, Rychvald, Podolinec, Toporovce, Hanušovce, Frankovou, Hági, Rélov, kde našel hlavně mnoho pěkných stolů dřevěných a štítů domovních. Z naší Oravy předvádí autor kresby detailů domů z Čimhové, Vitanové, z Tvrdošína, ze Suché Hory, z Polské Oravy, hlavně z Jablonky, Chyžného, Zuberce, z Orávky, tedy vesměs z vesnic na našich hranicích.

Právě tímto sneseným materiálem i z našeho území jest kniha zajímavou, poněvadž my sami od dob Prouskova díla z Turnovska podobné dílo česky vydané nemáme. Textová část nepřináší celkem mnoho nového, naopak vzhledem k snesenému materiálu kreseb mohla by pověděti více. Uvádí některé pozdně gotické detaily hlavně v orámování dveří, které dle mého mínění mohly vzniknouti vlivem gotických dřevěných kostelů v těchto oblastech (Zábrežie, Tvrdošín). Za speciálně slovenský vliv považuje brány při statcích na Oravě. K nejkrásnějším ukázkám lidového umění v knize patří lžičníky bohatě ve dřevě vyřezávané, jako jednoduché rámky; jich hlavní původ klade do Jurgova a jich bohatou a cennou sbírkou honosí se právě museum v Zakopaném. Typickým pro tyto kraje jest dřevěné kolíkování konstrukce vrat a dveří, které působí velice ozdobně a vzniklo dle prof. Fischera ve Lvově z okování dveří železnými hřeby z doby gotické. Takové okolnosti autor zde vůbec neuvádí, omezuje se v textu spíše na výčet věcí. Více za něho mluví velice informativní kresby, jichž je z Oravy 132 a ze Spiše 84. Dílo řadí se čestně k bohaté literatuře polské o Podhalansku. Naši odborníci jsou při Oravě a Spiši odkázáni na daleko větší odbornou literaturu polskou a německou, kterou dlouho ještě nedohoníme.

Bratislava. *Jos. Vydra.*

Zprávy.

Za profesorem JUDrem Karlem Kadlcem.[1])

Z řad českých slavistů odešel jeden z nejvýznačnějších a nejrázovitějších pracovníků univ. prof. JUDr. Karel Kadlec. Nenadálá smrt sklátila jej do hrobu dne 4. prosince 1928 ve věku ne plných 64 let. Odešel předčasně, aniž mu bylo přáno dovršiti životní dílo, k němuž v poslední době konal přípravy; smrt zhatila všechno a odvedla jej navždy od jeho vědecké práce.

Profesor Kadlec byl rodák jihočeský; pocházel z prosté vísky Přehořova u Soběslavě, kde se narodil dne 11. ledna 1865. Na gymnasijní studia se odebral do Budějovic, na právnická do Prahy. Již ve svých studentských letech počal uveřejňovati různé články, obírající se hlavně věcmi slovanskými, pod pseudonymem Bohdan Přehořovský. Záhy si též osvojil znalost všech slovanských jazyků, které nabyl hlavně styky se studenty ze slovanských zemí, jichž kroužků se živě účastnil. Po studiích byl Kadlec nějaký čas advokátním koncipientem u známého českého politika JUDra Vašatého; r. 1890 stal se tajemníkem Národního divadla.

Toto jeho povolání, v němž zůstal Kadlec 15 let, dalo mu popud k několika spisům, jejichž látka se mu podávala z divadelní praxe. Nejobsáhlejší z nich jest »Provozovací právo k dílům dramatickým a hudebním«, které vyšlo mezi prvními spisy, jež vydala svým nákladem v r. 1892 Česká Akademie věd, zřízená tehdy právě z věnování a podnětu Josefa Hlávky. Zajímavé jsou též práce »Počátky práva autorského« (v časopise Čes. Musea 1893) a »Právo k překladu« (Atheneum IX) a j., kde Kadlcova záliba k historii zřetelně probleskuje.

Pravý směr vědecký, jenž byl Kadlcovi vlastní, prozradil menší spisek »Několik kapitol z oboru slovanského práva«, jenž vyšel v »Osvětě« r. 1894, a dále důkladný spis »Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském« (1898), v němž Kadlec vykládá v jádře celý systém slovanského práva rodinného. Spis ten vzbudil tenkrát velikou pozornost i vědecké polemiky, do nichž Kadlec sám také dvakrát zasáhl, a zůstal dosud základní pomůckou pro zmíněný obor právní, ač od jeho vydání uplynulo již 30 let. Kadlec předložil spis ten jako práci habilitační a stal se r. 1899 docentem slovanských právních dějin při právnické fakultě pražské university. R. 1905 byl jmenován profesorem mimořádným, r. 1909 pak řádným.

Jako vysokoškolský učitel věnoval se Kadlec svému oboru s plným úsilím; jedna vědecká práce následovala za druhou. Není téměř oboru z právních dějin slovanských národů, aby některá práce Kadlcova se ho nedotkla. Přes 70 spisů menších i větších vyšlo z jeho péra, nečítajíc vůbec článků příležitostných, referátů a drobných zpráv, jichž napsal veliké množství. Nejhlavnější díla jeho jsou: z právních dějin ruských »Dějiny ruského práva« (v Ottově slovníku naučném, XXII), z českých »Přehled ústavních dějin Moravy«, z jihoslovanských »Jugoslavia«, »Agrární právo v Bosně a Hercegovině«, Statutum et reformationes insulae Brachiae (v Monumenta iur. Slavorum merid., sv. XI) a j. Kadlec věnoval též pozornost právním dějinám národů se Slovany sousedících, nacházeje v nich četné slovanské prvky. Tak na př. z práva uherského mimo jiné uvésti sluší jeho velké dílo

[1]) Viz též posmrtnou vzpomínku Rud. Rauschera v »Bratislavě«, roč. II., číslo 4—5 (str. 7).



Profesor JUDr. Karel Kadlec

(naroz. 11. ledna 1865, zemř. 4. prosince 1928)

»Verböczyovo Tripartitum a soukromé právo uherské i chorvatské šlechty v něm obsažené« i zdařile sepsané »Uherské ústavní dějiny«; z práva rumunského vysoko vyniká jeho obsáhlý spis »Valaši a právo valašské«. Z četných prací, které se obírají dějinami slovanského práva vůbec a jsou psány methodou srovnávací, jest vynikajícím spisem Kadlcův »Úvod do dějin práva veřejného slovanských národů«, ojedinělé to dílo světové literatury, které podává celý systém právních dějin slovanských a v nejbližší době má vyjíti francouzsky nákladem slovanského Institutu v Paříži. Pozoruhodným dílem jsou též Kadlcovy »Dějiny veřejného práva ve střední Evropě«, které Kadlec sepsal sice jako učebnici nově zavedeného předmětu na právnických fakultách československých, ale která svým vysokým niveau daleko přesahuje účel spisu toho druhu. Kniha prozrazuje Kadlce nejen jako právního historika, nýbrž i jako výborného znalce novějšího práva státního, ze kterého zanechal také řadu spisů (na př. »Národnostní a jazyková otázka v Uhrách«, »O ústavě chorvatské«, »Z ústavního vývoje habsburského mocnářství« a j.).

Všechny práce Kadlcovy vyznačují se jak velkou sčetlostí, tak i jasným podáním látky. Kadlec byl i výborný filolog; selhávaly-li v něčem prameny, dostačilo mu mnohdy staré slovo, aby z něho právní institut osvětlil. Kladl na srdce zejména mladým právním historikům bulharským, kteří chodili k němu do semináře, aby při naprostém nedostatku právních památek bulharských v prvé řadě hleděli těžiti z pokladu jaykového a touto cestou se pokoušeli psáti právní dějiny, hledíce zároveň k právním památkám sousedů, t. j. Maďarů, Rumunů a Srbů. Své filologické nadání nemohl Kadlec ani v sobě potlačiti a vydal společně s Dr. Hellerem obsáhlé dílo »Německo-české názvosloví úřední a právnické«; mimo to pak chystal obsáhlý glosář slovanských právních starožitností«, k němuž nasbíral slovní materiál, zapisuje si po více než 30 let technické výrazy slovanské, jak na ně při četbě pramenů přicházel.

V posledních letech přikročil k uvádění tohoto svého plánu ve skutek. Měl dílo rozpočteno na několik obsáhlých svazků a doufal, že uvidí v životě aspoň prvý, který by již podával vzor, jak má dílo pokračovati dále. Letošního roku na podzim chtěl míti již v rukou prvý vytištěný sešit. Pohříchu ani toho mu přáno nebylo; smrt zmařila mu možnost uskutečniti tento velký vědecký sen . . .

Vědecká činnost Kadlcova docházela všestranného uznání. Byl členem a v poslední době též generálním tajemníkem České Akademie, členem Král. české společnosti nauk, Učené společnosti Šafaříkovy, členem Akademie věd v Záhřebě, Bělehradě, Bukurešti, Petrohradě, Krakově, Sofii a j. Na mírové konferenci v Paříži byl odborným rádcem české delegace hlavně v záležitostech Podkarpatské Rusi; jako výborný znalec poměrů maďarských zastával i čestnou funkci člena mezinárodního československo-maďarského soudu. Osobně byl člověkem vzácné skromnosti a ušlechtilosti, jehož zachovají všichni, kdož jej znali, v nejlepší paměti. Čest jeho památce! *T. Saturník.*

Les études slaves en Grèce.

Il n'existe en Grèce ni de chaires de slavistique, ni de slavistes s'occupant de linguistique ou d'histoire littéraire; cependant, plusieurs érudits grecs, tout en n'étant pas à proprement parler des slavistes, ont par leurs travaux philologiques ou historiques apporté indirectement des contributions intéressantes à l'histoire des Slaves, notamment des Slaves méridionaux. Je ne mentionnerai que pour mémoire deux ouvrages d'ensemble déjà anciens, mais qui à l'époque où ils parurent n'étaient pas dépourvus de valeur: *La Bulgarie ancienne et moderne* de A. Papadopoulos Vrettos (St. Pétersbourg 1859) et *l'Histoire des Bulgares* (en grec, Athènes 1877) de I. Kokkonis, qui paraissait presqu'en même temps que le célèbre ouvrage du grand savant thèque C. Jireček.

Mais ce n'était certes pas par des travaux d'ensemble que les savants hellènes pouvaient rendre des services réels à l'histoire des Slaves; par contre ils pouvaient le faire, et ils l'ont fait d'une manière excellente, par deux voies différentes: soit en publiant des sources de l'histoire des Slaves, soit par des

monographies. Parmi les sources de l'histoire des Slaves publiées par des savants hellènes il suffit de mentionner l'édition par Sakkelion de la correspondance du tsar Syméon avec le magistre Léon et l'empereur Romain Lecapène.[1]) la publication par Moustoxydis[2]) et ensuite par Destounis[3]) de la chronique épirote, si importante pour l'histoire serbe, l'édition du récit de Métochite sur son ambassade en Serbie par Sathas,[4]) enfin, la très importante publication de N. A. Bees (*Βέης*), *Chartes serbes et byzantines des Météores*,[5]) dont on peut dire sans éxagération qu'elle renouvelle complètement un chapitre, jusque là peu connu, de l'histoire serbe.[6])

Quant aux monographies, touchant plus ou moins directement à l'histoire des Slaves, celles-ci, en commençant par l'étude de notre historien national K. Paparregopoulos sur les migrations slaves en Grèce,[7]) sont tellement nombreuses qu'il est impossible d'en dresser ici la liste. C'est pourquoi je me bornerai à signaler les travaux les plus récents, qui sont dûs à deux byzantinistes éminents, MM. Bees et Amantos:

Par une série de monographies, qui complètent sa publication de documents citée plus haut, M. Bees a réussi à jeter encore plus de lumière sur la domination serbe en Thessalie. En voici les principales: *Contribution à l'histoire des monastères des Météores* (en grec) dans *Βυζαντίς*, I (1910) pp. 191—332; *Une icône des Météores consacrée par Marie Paléologine* (en grec) dans *'Αρχαιολογικὴ 'Εφημερίς*, 1911, pp. 177—185; *Geschichtliche Forschungsresultate und Mönchs — und Volkssagen über die Gründer der Meteorenklöster* dans *Byz.-Ngr. Jahrb.* III (1922), pp. 364—403. Mais en dehors de ces travaux, qui ont été le résultat de ces recherches aux Météores, l'infatigable érudit a publié deux monographies qui se rapportent plus directement à l'histoire serbe: *Über einen Kodex der serbischen Königin Milica* dans *Arch. f. sl. Phil.* XXXIV (1913) pp. 298—304 et *Contribution à l'histoire de Serrès sous la domination serbe* (en grec) dans Визант. Временникъ, XX (1913), pp. 302—319. De plus il a aussi touché à l'histoire bulgare par son étude *Aus Boïana* dans *Festschrift für Strzygowski*, pp. 104—111, son article *Christliche Altertümer aus dem 17. u. 18. Jahrhundert* dans *Repertorium f. Kunstwissenschaft*, LIII (1921), pp. 47—52 (où il est question de Dobromir Chrysos, de Strěz et de l'archevêque d'Achris Joasaph), et son récent travail, très remarquable, grâce aux sources nouvelles qu'il emploie: *Les incursions des Bulgares en Grèce sous le tsar Syméon et les commentaires d' Aréthas, métropolite de Césarée* (en grec) dans la revue *'Ελληνικά*, I (1928), pp. 337—370.

M. Amantos s'occupe depuis plusieurs années du si important problème des migrations slaves en Grèce et plus généralement dans la peninsule balcanique. En attendant le travail d'ensemble qu'on est en droit d'espérer de lui, le savant byzantiniste a déjà traité quelques aspects de la question dans ces trois études: *Τὰ Μακεδονικὰ* (Contributions à l'histoire et à l'éthnologie de la Macédoine au moyen-âge), Athènes 1920, pp. 85; *Remarques de géographie mediévale* (en grec) dans l'Annuaire de la Societé d'Études byzantines d'Athènes, I (1924), pp. 41—54, où l'auteur établit entre autres le sens exact du terme *'Ελλὰς* employé par Ménandre et Evagrios dans leurs célèbres passages sur les incursions slaves dans l'*'Ελλάς*; *Slaves et Slavophones dans les pays grecs* (en grec) dans la revue *'Ιατρική*, III (1926) pp. 291—293 et 317—323. M. Amantos a en outre publié un livre de vulgarisation, remarquable par sa précision et sa clarté, intitulé *Les voisins septentrionaux de la Grèce, Bulgares, Albanais, Yougoslaves,* (en grec) Athènes 1923, pp. 341.

---

[1]) *Δελτίον* de la Societé d'histoire et d'ethnologie de Grèce I-II (1883—1885).

[2]) Dans *'Ελληνομνήμων* (1845—1847) pp. 407—597.

[3]) St. Petersbourg 1858.

[4]) Sathas, *Bibliotheca graeca*, I (1872) pp. 154—193.

[5]) En grec dans *Βυζαντίς*, II (1911) pp. 1—100.

[6]) Cf. les compte-rendus de Jireček, *Arch. f. sl. Phil.* XXXIII (1912) pp. 58—59 et de Vernadskij, *Slavia* III (1925) pp. 551—552.

[7]) Dans le livre de Paparregopoulos *'Ιστορικαὶ πραγματεῖαι,* Athènes 1858, pp. 226—370.

Dans ces conditions il n'est pas étonnant si le premier slavisant grec se soit dès ses premiers travaux consacré non pas à la linguistique ou la philologie slave au sens étroit du mot, mais à l'histoire des Slaves, un champ d'études où il avait déjà derrière lui une longue et féconde tradition dans son pays.[1]) L'auteur de ces lignes a debuté par des travaux sur l'histoire serbe au moyen-âge; son livre Византиске принцезе у средњевековној Србији, Belgrade 1926, pp. 138, a servi de thèse de doctorat à l'Université de Belgrade. Depuis qu'il occupe la chaire d'histoire des peuples balcaniques à l'Université, nouvellement fondée, de Thessalonique, il a dû élargir son activité et y embrasser de plus l'histoire des Roumains, qui ont subi à deux reprises (au moyen-âge et à l'époque phanariote) si fortement l'influence de l'Hellénisme. Il a été ainsi amené à s'occuper également des rapports slavo-roumains, comme le témoigne son travail *Joachim métropolite de Moldavie et les relations de l'Église moldave avec le patriarcat de Peć et l'archevêché d'Achris*, dans le *Bulletin de la sect. hist. de l'Acad. Roumaine* XIII (1927), pp. 129—159, ainsi que plusieurs articles de lui dans la *Revue historique du S. E. européen* de M. N. Jorga (II, pp. 156—161; III, pp. 203—212; V, pp. 154—159).

Un autre jeune érudit M. Michel Dendias a publié récemment un livre sur *Les Varègues et Byzance* (en grec) Athènes 1925, pp. VIII, 85, où l'auteur fait preuve de beaucoup de zèle, mais où l'ignorance de la bibliographie russe se fait défavorablement sentir.

On voit que la liste des travaux grecs touchant à l'histoire médiévale des Bulgares, des Serbes et même des Russes est assez longue; par contre il y a très peu de contributions vraiment scientifiques à l'histoire des Slaves à l'époque moderne. Dans ce domaine il faut en première ligne mentionner un travail d'un jeune diplomate hellène qui a le double avantage d'être basé sur des documents inédits du Ministère hellénique des Affaires Etrangères et d'utiliser toute la bibliographie serbe du sujet: S. Th. Lascaris, *La première alliance entre la Grèce et la Serbie. Le traité de Voesslau du 14—26 Août 1867* dans le *Monde slave* IIIe année. № 9, pp. 390—437. On peut encore, à la rigueur, mentionner deux livres touchant aux rapports greco-russes: P. M. Kontogiannes, *Les Grecs pendant la première guerre russo-turque sous Catherine II, 1768—1774*, (en grec) Athènes 1903, pp. XV, 528 et S. Th. Lascaris, *Capodistrias avant la révolution grecque*, Lausanne 1918, pp. 120. L'auteur de ces lignes prépare en ce moment un ouvrage d'ensemble sur les relations entre la Grèce et la Serbie au XIXe siècle, ouvrage qui ne se bornera pas aux relations politiques mais qui embrassera également les rapports intellectuels et littéraires entre les deux pays.

Thessalonique *Michel Lascaris.*

Matice lužickosrbská (Maćica serbska) v Budyšíně (v Sasku) oslavila roku 1927 osmdesáté výročí svého založení. U kolébky její — dne 7. dubna r. 1847 — stáli přední nadšenci obrozené Lužice s velikým buditelem J. A. Smolefem v čele. Založení Matice lužické, uskutečněné za účasti Fr. Lad. Čelakovského a Fr. Palackého, znamenalo první význačný úspěch lužickosrbského národního obrození. Tato ústřední národní instituce, která nahrazuje zároveň Akademii nauk a umění, pojala do svého programu veškerou péči o lužický jazyk, literaturu, vědu a umění. Program svůj pečlivě plní v mezích možností a schopností již osmdesát let. Od roku 1847 vydala osmdesát ročníků vědeckého »Časopisu Maćicy Serbskeje«, jejž po M. Hórnikovi od r. 1894 podnes vede prof. dr. A. Muka, časopisu, jenž je hlavní pokladnicí poznatků a výzkumů lužické vědy. Vedle Časopisu vydala Matice lužická značné množství zábavných a poučných knížek pro lid, počínaje drobnými spisy lidového čtení a důležitým vlastivědným sborníkem »Serbske Horne Łužicy« v roce 1848 až po důležité dvě čítanky »Kwětki« a »Zahrodku«, jakož i pěkné lidové kalendáře »Předźenaky« dnešní doby.

Značný pokrok učinila Matice lužická, když se mohla dne 26. září r. 1904

[1]) Un fait analogue, bien que dû à des raisons différentes, s'est produit, comme on sait, en Roumanie, où le premier slaviste, Jean Bogdan, était surtout un historien.

nastěhovati do vlastního »Serbského domu«, v němž je lužická tiskárna, knihkupectví, bohatá matiční knihovna, lužické museum a zasedací (zároveň divadelní) sál. Výroční schůze matiční o první středě po velikonocích bývají od té doby vždy významnou schůzkou lužických předáků a pracovníků, jakož i důležitým poradním shromážděním pro další konání. Takovou schůzí bylo také jubilejní zasedání dne 20. dubna r. 1927, vedené za slavnostní nálady, za níž se zájmem a povděkem vyslechnuta obsažná zpráva předsedy dra Hermana o pronikavém působení Matice lužické nejen na poli literárním, naukovém a uměleckém, ale i v otázkách veřejných zájmů lužických, zejména školských. Pozorně vyslechnuty zprávy jednotlivých Matičních činovníků, zvláště o aktivním hospodaření Serbského domu, jenž již dávno dobře prospívá zbaviv se mnohaletého tíživého dluhu. Prospívá i Matiční knihovna a cenné lužické museum. Zvláštní zmínky zasluhuje neutuchající účast o slabší sestru — Dolnolužickou Matici v Chotěbuzi, která od r. 1880 působí — hlavně přičiněním faráře-filologa B. Šwely — ve stejném duchu v Lužici Dolní, a o své činnosti referuje také na schůzích Matice hornolužické.

V popředí jazykového zájmu Matice od jejího počátku je důležitá otázka jednotného lužického pravopisu, přes všechny snahy lužických spisovatelů — J. P. Jórdana, J. A. Smoleŕa, M. Hórnika, J. Libše, A. Muky i jiných — podnes nerozřešená. A nebude asi rozřešena dříve, pokud lužičtí evangelíci neustoupí od svého švabachu, a pokud nebude ryze lužických škol, v nichž by se soustavně a metodicky mládež učila ve své mateřštině.

Pravopisná otázka uvedena byla znova na přetřes o poslední Matiční schůzi vánoční dne 28. prosince r. 1927. Měl ji hlavním bodem programu odbor jazykový, jemuž předsedal prof. dr. A. Muka. Učitel Michał Nawka, známý spisovatel a redaktor, hlavní stoupenec reformy lužického pravopisu, přednesl velmi důkladně založenou úvahu o vývoji lužického pravopisu, vycházející z předpokladu, že dnešní lužická srbština nemá ještě definitivního pravopisu. Každý lužický časopis má svůj vlastní pravopis. Dokonce i ve slovnících jsou rozličné odchylky. Staří spisovatelé lužičtí jako Warichius 1594, Swótlik 1721, Wałda 1797 a druzí psali tak, jak slyšeli a vyslovovali, to jest foneticky. Nawka na četných příkladech dokazoval nutnost zjednodušení dosavadního analogického lužického pravopisu na zásadách fonetických. Nawka sám již delší dobu tiskne — bez schválení Matice — poněkud upraveným pravopisem fonetickým, jak na př. je zjevno z jeho obrázkové knížky pro mládež »Na wsy — Za wsu« z r. 1925, v níž vynechává hlásky, jež se nevyslovují; na př. čera místo wčera, poladać m. pohladać, nědy m. něhdy, ćenje m. ćehnje atd. ponechávaje *‚h'* jen tam, kde se opravdu vyslovuje: na př. zhubi, wupřahnyć (srv. wupřahać) atd.

Je přirozeno, že radikální návrh Nawkův vzbudil u přítomných starých literátů hotové zděšení. Přes to, že neupírali výkladům Nawkovým určité závažnosti, přece — a to, myslím, právem — poukazovali na anarchii, jaká by z toho mohla v lužickém pravopise vzniknouti. Lid mluví odchylně podle nářečí a těžko by se jistě vyhovělo všem. Po velmi živé výměně názorů formuloval Nawka svůj návrh v ten smysl, že lužický pravopis nutno zjednodušiti podle zásad psychologických. Ale ani tu se nedošlo k jednotnému souhlasu a učiněno jen všeobecné usnesení o studiu této otázky, jakož i o obnovení bývalého jazykového rádce v Serbských Nowinách.

Učitel Nawka jako dobrý znatel lužické srbštiny (mimo uvedenou knížku dokázal to v nedokončeném německém podrobném »Lehrbuchu der obersorbischen Sprache I.« 1919 a v lužickém »Přewodniku po serbskej rěči« I—II, 1920—21, jakož i svou účastí v slovnících Rězakově a Kralově) vzbudil ještě jednou živou pozornost odpolední přednáškou o »lužickém slohu«. Svým drastickým způsobem kriticky a současně humoristicky ukázal na řadu nedostatků v lužickém slohu, jež vybral z rozličných lužických spisovatelů, a ukazoval, jak by to mělo vlastně býti řečeno a napsáno. Tato přednáška byla vytištěna v knížce *„Zmysł našich słowow"* (1928) a je nyní dobrým rádcem a brusem soudobým lužickým spisovatelům.

V literárním odboru jednáno hlavně podle dopisu prof. Oty Wićaze o důstojné oslavě dvoustaletého výročí vydání úplného překladu lužické

bible z roku 1728, dále o potřebě dobré literatury pro mládež, jakož o nutné potřebě lužických divadelních kusů. Jednáno také o nutnosti prací o lužické lidovědě. S thematem tímto souvisela odpolední přednáška učitele J. Symanka o nejstarších památkách lužického jazyka, věnovaná známosti lužických národních pohádek, pověstí a písní. Řečník mluvil hlavně o sbírkách písní, o nichž dnes celkem dobře víme: Anton, Jordan, Smoleř a jeho pokračovatelé věnovali písním pozornou péči. S přednáškou Symankovou mimo nadání souvisel návrh řed. Bj. Krawce v hudebním odboru na nové vydání klasické sbírky Smolerovy z r. 1841—43.

V přírodopisném odboru jednal učitel Jan Krawc o lužických rostlinných jménech ve staré Frankově knize Hortus Lusatiae a v Ottlerově »Verzeichnissu der in Oberlausitz wild wachsenden Pflanzen« připomínaje, jakých zásluh o lužický přírodopis si získal lužický odborník M. Rostok. K návrhu učitele J. Andrického usneseno vydati Slovník lužických rostlinných jmen, jehož vypracováním pověřen Jan Krawc.

V uměleckém odboru přednášel mladý talentovaný malíř Měrćin Nowak o úkolech lužického umělce, jakožto mluvčího a strážce národního svérázu. V rozhovoru připomenuty dosavadní výstavy lužické v Matičním domě: Kubova, jakož i domácích malířů Hajny, Latkeho a Nowaka, a usneseno uspořádati v nejbližší době výstavu domácích malířů. Přípravami pověřen Měrćin Nowak.

Ve všech odborech byly radostně přijaty nejnovější matiční publikace: osmdesátý ročník Časopisu Maćicy Serbskeje 1927 s bohatým obsahem pod red. prof. dra A. Muky, dále Mukův užitečný Serbski zemjepisny słowničk již v pátém, značně rozmnoženém vydání (str. XI — 142), a posléze první díl dávno ohlášeného a potřebného hornolužického slovníku J. Krale »Serbsko-němski słownik hornjołužiskeje rěče« I. A—P (str. XXXII se stručnou mluvnicí — 400 lex. formátu), jímž má býti nahrazen rozebraný již a zastaralý slovník Pfulův z roku 1866.

Z uvedených hořejších dat je zřejmo, že se v Lužici i přes politické neúspěchy pilně pracuje. A Matice lužická se svými činovníky je v čele veškeré té práce. Neboť její členové mají vůdčí vliv jak v činnosti spolkové a organisační, tak v činnosti literární, vědecké a umělecké. Jen tak je možno, že vedle vědeckého Časopisu Maćicy Serbskeje vychází beletristická »Łužica« a vedle denních »Serbskich Nowin« ještě řada časopisů a listů jiných: Katolski Posoł, Nowy Missionski Posoł, Pomhaj Bóh, Serbski hospodar, Serbski student, Sokołske listy (se stálou Nawkovou rubrikou: »Učme se česky!«), dětský »Raj« a ilustrovaný »Naš čas we wobrazach«, k nimž se druží dolnolužický týdeník »Serbski casnik« s ilustrovanou přílohou »Naš cas we wobrazach«. Uvedený měsíčník »Łužica«, vedený prof. drem O. Wićazem a vyš. učitelem J. Symankem, sdružuje literáty z obojí Lužice.

Stejně tak členové Matice lužické pečují o to, aby vedle občasných publikací matičních vycházely drobné svazky pravidelných lužických knihoven zábavné i poučné literatury. Praktickou potřebou vyvolána byla nejdříve (v roce 1879) Mukova »Prěnja serbska dźiwadłowna zběrka«, k níž se r. 1922 připojila nová »Serbska dźiwadłowa (!) zběrka« spolku »Domowina«. Od r. 1901 začal Serbomił Tuchorski (t. j. prof. Muka) vydávati »Serbsku ludowou knihownju« pro přetisky cennějších prací ze »Serbskich Nowin«, což r. 1914 doplnil J. Deleńk svou »Serbskou knihovnjou« pro podobné přetisky z »Katolského Posoła«. Dětem má sloužiti Nawkowo »Lutkowe (klankowe) dźiwadło« (od r. 1923). Dolní Lužici určena je Šwělowa »Serbska knigłowńa« (od r. 1921) a Mukovy »Dołojcnoserbske žiwadłowne gry« (od r. 1922). Všechny tyto sbírky dnes v důsledku všeobecné krise knihy váznou. Zato pravidelně vycházejí svazky knihovny »Dom a swět«, vedené Vlad. Zmeškalem (od r. 1921) a přinášejí doklady jak domácí původní — hornolužické i dolnolužické — tak cizí překladové literatury. Dosud vyšlo třínáct svazků. K nim pojí se čtyři svazečky »Słowjanskich rozhladow« (od. r. 1923) pod touž redakcí. Obě knihovny vycházejí nákladem Koła serbskich spisowaćelow v Budyšíně.

Za četné zdárné dosavadní úspěchy na kulturním poli vděčí dnes Lužičané především své Matici. Jeť ona ohniskem, z něhož tryskají hřejivé paprsky po celé Lužici, ohniskem, u něhož na stráži stojí přední národní pracovníci, u něhož posilují se slabí a malomyslní, a čerpají sílu k další práci všichni lužičtí pracovníci vůbec. Dějiny Matice lužické jsou dojemnými dějinami zápasu o zachránění nejdražšího lidského statku — národního bytu a svérázu, zápasu, jejž musili probojovávati téměř všichni Slované. Dočítáme se o tom ve všech knížkách o Lužici. O Matici samotné podrobněji vypráví Ad. Černý ve Slov. Sborníku 1885, str. 198 a n., nověji ve Slov. Přehledu 1905, str. 3 a n. a 1906, str. 55 a n.; dále prof. Vlad. Francev v petrohradském Žurnále Min. Nar. Prosv. 1897, červen, str. 302 a n, Jos. Páta v Česko-lužickém Věstníku 1922, str. 40 a n.; o poslední vánoční schůzi píše J. Bryl-Serbin v Serb. Nowinách dne 2. ledna 1928, čís. 1. Bryl také napsal dosud nejobsažnější historii matičního Serbského domu ve spisku »Serbski dom w Budyšinje«, vydaném ve Słowj. rozhladech, Budyšín 1924. *Jos. Páta.*

Bulharské národní knihovny. *Sofijská národní knihovna,* o níž jsem zde referoval ve IV. ročníku na str. 653, vydala loni (1927) nový (XXX.) svazek knižních přírůstků za rok 1926: Библиографически бюлетинъ за депозиранитѣ книги въ софийската Народна библиотека презъ 1926 година o 267 stranách. Zpráva, jako v předešlých svazcích, uvádí abecedním pořadem především knihy bulharské, pak knihy cizojazyčné, v úhrnném počtu 2646. Pro nás by bylo zajímavé a výhodné, kdyby byl soupis zpracován odborně, to jest podle jednotlivých odborů, ale i tak je ve svých závěrečných statistikách dosti poučný. Vidíme z nich, pokud ovšem zpráva je úplná, že nejvíce bylo publikováno v krásném písemnictví (679 čísel), pak v sociologii (317), v pedagogice (304), v theologii (133), v právu (104) a nejméně ve filologii (jazykozpytu, 11). Podle tiskáren a místa vydání nejvíce knih vypravila Sofie (1609), pak Plovdiv (209), Ruse (80), Šumen (77), Trnovo (74), Varna (65), Stara Zagora (36), Vratca (30) a Kjustendil (29), celkem v 56 místech, z nichž uvedená města v čele se Sofií a Plovdivem stojí v popředí literárního a kulturního života bulharského.

Plovdivská národní knihovna, o tři léta mladší družka sofijské (založená roku 1882), má stejné úkoly a cíle jako Národní knihovna v Sofii; snad poněkud ještě větší, spojujíc ve svých moderně zřízených místnostech také museum. Poněvadž se rozhojňuje na základě stejného zákona jako knihovna sofijská a má ve svém dlouholetém řediteli B. Djakoviči znamenitého odborníka-archeologa a zároveň i neúnavného, starostlivého správce, prospívá velmi dobře. Řed. B. Djakovič pečuje také o vydávání výročních zpráv — Godišniků, jichž dosud za léta 1901 až 1926 vyšlo dvanáct. Mimo to vyšel známý Opis rukopisů a starých tisků plovdivské knihovny od prof. B. Coneva (r. 1920), jakož i pozoruhodné dílo o písmu a ornamentě slovanských rukopisů plovdivské knihovny od N. Rajnova (r. 1925).

Djakovičův Годишникъ на Народната библиотека въ Пловдивъ 1926, vytištěný v Sofii 1927, dělí se ve dva oddíly: v oddíl úřední, oficiální (str. 142) a oddíl naučný (str. 132 se 60 obrázky v textu). V oddíle úředním čteme přesná informační a statistická data o stavu knihovny, o nových přírůstcích, o duplikátech, počtem 44.315, s nimiž knihovna čítala na sklonku r. 1926 celkem 134.310 svazků. Djakovič podává dále přehledné obrazce knih a časopisů podle jazyků, podle překladů, podle velikosti i počtu stran, podle měst a odborů i podle cen, přesně statisticky zaznamenává počet návštěvníků v čítárně, podle povolání i podle zájmu o knihy a publikace vůbec, což všechno je velmi zajímavé pro poznání ducha místní kultury a místních potřeb. K zprávě knihovní připojil řed. Djakovič stejně přehlednou zprávu o museu v jeho třech odděleních — archeologickém, numismatickém (v Plovdivě zvláště bohatém) a uměleckém, se závěrečnou statistikou návštěvníků.

V naučném oddíle i cizí archeologové mohou se zájmem pročísti stati: Djakovičovu o obrazcích Dia Zbeltiurda, N. Mavrodinova o plovdivském hrobu ze IV. stol. po Kr., N. Petkova o starých mohylách klisurských, Al. Peeva o bělozemských vykopávkách, M. Apostolidisovy o významu

Plovdiva a jeho starých jménech, jakož o ezerovském nápise na prstenu, dokazující, že bulharská archeologie neleží ladem. Poslední stať Godišnika věnována je Doplňkům a opravám k V. Pogorelova Opisu starých bulharských tisků (1802—1877), vydanému v Sofii r. 1923 (psal jsem o něm v LF. 1924, roč. 60, str. 56 a n.) Doplňky, jichž je méně než oprav, podal sofijský spolupracovník St. Stanimirov.

Godišnik Djakovičův, vyzdobený titulní obálkou se starobylým bulharským ornamentem, je vpravdě vzornou publikací, jakou bychom si přáli míti nejen pro sofijskou Národní knihovnu, která se stále spokojuje s mechanickým abecedním soupisem přírůstku nových publikací, ale i pro naše knihovny. Dostává se nám tak do rukou velmi poučný obraz stavu a významu knihovny, obraz, jenž zároveň nabádá k úvahám, jak knihovna plní své poslání a jak možno ji dále zdokonalovati příslušnými doplňky, ucelováním jednotlivých oddělení a odborů, jakož i celkovým zlepšováním vůbec. Tak na př. návštěvníci plovdivské Národní knihovny mohou dostati knihy téměř ve všech cizích jazycích, známějších anebo v Orientě běžných, a to v dosti značně velikém počtu, zatím co ze slovanských literatur zastoupena je téměř výhradně ruská (9998 čísel), částečně srbská (404), ostatek (1139) připadá na literaturu chorvatskou, českou a polskou; slovinská a lužickosrbská literatura není vůbec zastoupena. Jak je tomu v sofijské Národní knihovně, kterou nyní vede řed. B. Angelov, není známo. Ale zde — ve středisku universitním — bude jistě poměr lepší. Souvisí to ostatně se zájmem návštěvníků a žadatelů publikací. *Jos. Páta.*

A. S. Puškin, **Car Nikita.** Pohádka. Přeložila Lala Gallová. Praha 1928.

Въ библіофильскомъ изданіи Камиллы Нейманновой вышелъ переводъ извѣстной сказки Пушкина, уцѣлѣвшей въ подлинной рукописи поэта лишь въ количествѣ двадцати шести начальныхъ стиховъ. Вся сказка была напечатана (Н. В. Гербелемъ, 1861, Берлинъ) по тексту, возстановленному по памяти, но реставрація эта не заслуживаетъ довѣрія и не можетъ быть признаваема за подлинный пушкинскій текстъ. Переводчица, нимало не сомнѣваясь въ принадлежности поэту всей сказки, какъ она напечатана Н. В. Гербелемъ въ берлинскомъ собраніи запрещенныхъ стихотвореній Пушкина, рѣшила познакомитъ съ нею чешскаго читателя. Переводъ ея надо признать весьма бойкимъ, удачнымъ, но о потраченномъ трудѣ ея слѣдуетъ пожалѣть. Въ литературномъ наслѣдіи русскаго поэта г-жа Галлова, конечно, легко нашла бы многое, болѣе приличествующее ея женскому перу и безспорному таланту. »Царь Никита«, по справедливому мнѣнію Вл. С. Соловьева, есть одна изъ неудачныхъ попытокъ поэта запрячь поэзію »въ ярмо сложнаго порнографическаго острословія«. Безъ этого перевода чешская литература могла бы обойтись. Для знакомства съ музой Пушкина онъ рѣшительно ничего не дастъ чешскому читателю. Изданіе вышло всего лишь въ количествѣ пятисотъ экземпляровъ. *vf.*

D. S. Mirsky: **Chekhov and the English.** (»The Monthly Criterion«, Vol. VI., October Number, 1927.)

Úcta, kterou dnes prokazují Angličané ruskému spisovateli, jejž Rusové sami pokládají za odbytého klasika nemajícího již dnešnímu Rusku co říci, přiměla knížete D. S. Mirského[1]), aby se zamyslil nad Čechovem a napsal o něm do přední anglické literární revue essay psychologicky osvětlující a zároveň do jisté míry varovný. Příčinu toho, že zejména inteligence anglická projevuje po světové válce tolik citlivosti ke kouzlu umění Čechovova, vidí Mirsky v celkovém duchovním stavu poválečné Anglie, jejž lze zhruba vystihnouti jako odmítání všeho, co se dá nazvat hrdinskými hodnotami; do takového prostředí zapadá Čechov proto tak dobře, že jeho dílo se vyznačuje také takovým odmítáním. Tu je ovšem nutno vyložiti dějinné příčiny dnešní anglické touhy po

---

[1]) Přednáší o dějinách ruské literatury při Škole slovanských studií zřízené při King's College, University of London.

nehrdinském životě; je věcí odborných historiků, aby posoudili, pokud má Mirsky pravdu, charakterisuje-li takto přítomný anglický život a hledá-li kořeny toho nejen v nervové reakci dostavivší se po perném období let 1914—1918, nýbrž hlouběji v minulosti, v reakci proti tlaku viktoriánství a proti uplynulým staletím anglického rozmachu tvůrčího a individualistického. Rus dnešních dnů nedovede již Čechova chápat jako před třiceti, čtyřiceti lety, protože počínajíc lety devadesátými začíná ruská inteligence vytvářeti kladné kulturní hodnoty, které úplně změnily pesimistický ráz ruského ducha z let osmdesátých; skrývá se v tomto tvrzení správné tušení Mirského, jak přílišné střídání generací v literárním Rusku nedovoluje, aby kterákoli z nich zanechala trvalejší stopy v ruské mysli; proto také je dnešnímu aktivistickému Rusku Čechov již úplně cizí. Naproti tomu duch anglický je do jisté míry eklektický, kulturně epikurejský, nacházeje ve všech představitelích své literatury něco, co je vždy prospěšné literárnímu vkusu a přítomnému vkusu vůbec. Tím se dá vysvětliti, proč pravý Angličan nemůže ani býti dokonalým Čechovovcem. Nemůže jím býti ani proto, že Čechovův záporný poměr ke kultuře se nedá nikdy dobře přizpůsobiti zdravému optimistickému jádru anglické povahy. Jest však jisté a zřejmé, že Čechov je dnes z ruských autorů v Anglii nejslavnější; hoví stejně zálibám klasicistickým jako romantickým a vábí Angličany dvojí stránkou svého díla: etickou a estetickou, tedy svým poměrem k civilisaci jakožto k soustavě hodnot jenom záporných (kultury sice nepopírá, ale přijímá ji jen jako soustavu, v níž není hodnot kladných), svým slohem, zanechávajícím v čtenáři dojem úplného, stejnoměrného šera, v němž se nikdy neobjeví nic oslňujícího ani vyhroceného, a dále svou výpravnou metodou, podle níž se všechno v jeho díle vyvíjí zcela jemně a nepostižitelně vlivem nejmenších sil. Jednobarevný šedivý sloh zobrazuje výstižně i Čechovův svět, v němž také není barev ani lesku a v němž celý běh života je řízen a zakřivován nejnepatrnějšími silečkami, na které však člověk sám vlivu míti nemůže. Odtud determinism v Čechovově etice; nevzpírati se nutnému průběhu událostí, nevzdorovati, nemíti k tomu ani odvahy, nýbrž podrobiti se jako trpný a jemný sensitiv — k tomu vede láska k Čechovovu umění. Jaký je Čechovův svět, takoví jsou v něm i lidé; není mezi nimi pravých osobností, jeden od druhého je isolován, nedovedou se navzájem pochopiti, každý z nich je sám neproniknutelný, ale v podstatě jsou všichni stejní. To dává Mirskému podnět, aby hledal pod povrchem Čechovova díla hluboko skrytý ruský filosofický problém, jejž vyjadřuje Svidrigajlovovým viděním »věčnosti jako ruské lázně s pavučinami v koutech«; Čechov si tento problém řeší tím, že ho vlastně vůbec neřeší, nechávaje tíživé otázky nehrdinsky v klidu, jehož dosahuje ukolébávajícím rytmem svého umění, monotonním větným paralelismem a jakýmsi zemdlením dostavujícím se ke konci uměleckého výtvoru. Rytmus Čechovův má povahu opia, utěšuje, mírní bolesti a konejší. Mirsky to pokládá za nebezpečí, neboť čtenář podlehnuvší kouzlu Čechovovu vydává se zároveň nebezpečí »nejsladší duchovní smrti«, nebezpečí dáti se příjemně a krásně uspat a neprobudit se již k novému životu dokonalé osobnosti; po té stránce vytváří Čechov, hlasatel antiheroismu, ze svých čtenářů lidi nehrdinné, ač sám je při tom hrdinou; je jím potud, že z útěchy a ukonejšování, jež poskytuje jiným, sám útěchy neměl, sám se jimi neukonejšil. Nebezpečí, které tak Mirsky spatřuje v přílišné oblibě Čechovova díla, vztahuje se ovšem především na Angličany, jeho nejoddanější ctitele. Chovají-li svrchovanou úctu k Čechovovi jako k mistru umění novelistického, nemůže to býti anglické literatuře na škodu; v budoucnosti se snad ukáže, že výpravná technika Čechovova měla v Anglii vliv velmi značný. Jinak je však tomu, přihlížíme-li k poměru anglické inteligence k Čechovovi s hlediska etiky; právě ona únava a ochabnutí, které jest podle Mirského příznačné pro současnou Anglii, nikterak nebrání, aby víra Čechovova se nezdála zejména středním kruhům inteligence vědou nejlákavější, zvláště když často povrchní četba nedovolí nahlédnouti až na samé dno, na které chce Mirsky svým essayem Angličany upozorniti. — Zajímavý, svérázný essay nabádající k mnohému přemýšlení a nutící k hlubšímu poznávání; nemůže snad ani být jinak, vychází-li v revui tak skvělé, třebaže u nás poněkud málo známé, jakou jest »The Monthly Criterion«.

F. Klein.

Из бѣлорусской литературы последняго[1]) времени.

I. Художественная литература:

— Янка Купала. Збор творау. Т. I—III. Б. Д. В. — Менск. 1925—26—27.
— Янка Купала. Спадчына. Адраджэньне. — Менск. 1922.
— Янка Купала. Безназоуная. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— Якуб Колас. Казкі жыцьця. Б. Д. В. — Менск. 1926.
— Тарас Гушча (Якуб Колас). На прасторах жыцьця. В. Д. В. — Менск. 1926.
— Тарас Гушча (Якуб Колас). У палескай глушы. Выданьне другое. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— Цішка Гартны. Сокі цаліны. S. a. et l.
— Цішка Гартны. Песьні працы і змаганьня. Выданьне Навукова-Літэрацкага Аддзелу Камісарыяту Асьветы Б. С. С. Р. — Бэрлін. 1922.
— Цішка Гартны. Сокі цаліны. На перагібе. В. Д. В. — Менск. 1926.
— Цішка Гартны. Прысады. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— Цішка Гартны. Трэскі на хвалях. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— Бядуля-Ясакар. Буралом. Белтрэстдрук. — Менск. 1924.
— Зьмітрок Бядуля. На зачарованых гонях. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— М. Чарот. Босыя на вогнішчы. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— М. Чарот. Веснаход. Б. Д. В. Менск. 1926.
— М. Чарот. Беларусь лапцюжная. Б. Д. В. Менск. 1927.
— М. Чарот. Чырвонакрылы вяшчун. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— М. Зарэцкі. Пад Сонцам. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— Міхась Зарэцкі. Голы зьвер. Б. Д. В. Менск. 1926.
— М. Зарэцкі. У віры жыцьця. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— Кузьма Чорны. Пачуцьці. Б. Д. В. Менск. 1926.
— Кузьма Чорны. Хвоі гавораць. Б. Д. В. Менск. 1926.
— Я. Нёманскі. На заломе. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— Крапіва. Крапіва. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— Крапіва. Байкі. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— А. Александровіч. Паўстанцы. Б. Д. В. Менск. 1925.
— А. Александровіч. Угрунь. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— А. Александровіч, А. Вольны, А. Дудар. Ваўчаняты. Б. Д. В. — Менск. 1925.
— А. Гурло. Барвенак. „Савецкая Беларусь“. — Менск. 1924.
— Я. Журба. Заранкі. „Савецкая Беларусь“. — Менск. 1924.
— П. Галавач. Дробязі жыцьця. Б. Д. В. — Менск. 1927.
— М. Нікановіч. Радасьць. В. Д. В. Менск. 1926.
— М. Нікановіч. Золак. Б. Д. В. — Менск. 1926.
— Н. Чарнушэвіч. Дзіва. В. Д. В. — Менск. 1927.
— Паўлюк Трус. Ветры буйныя. Б. Д. В. Менск. 1927.

II. Журналы.

— Полымя. Беларуская часопіс літературы, політыкі, экономікі, гісторыі, Б. Д. В. — Менск. 1926. № 1: Я. Троська. Некаторыя моманты з дарэволюцыйнае асьветы на тэрыторыі сучаснае Магілеўшчыны. стр. 128. — Антон Лесік. У справе беларускае навуковае тэрмінолегіі, стр. 142. — М. Байкаў. Наша літэратура 1925 г. стр. 167. — П. Леанідовіч. С. А. Есенін. стр. 174. № 2: А. Цьвікевіч. Зноў „Западная Россия“. стр. 115. — В. Сьмічельскі. Кароткі нарыс разьвіцьця беларускай культ — асьветнай працы ў Гомельшчыне з верасьня 1924 г. па 15. XII. 25 г.

---

[1]) Книги, указываемыя в настоящем спискѣ, получены редакціей нашего журнала от „Института бѣлорусской культуры“ („Б. Д. В“ означает „Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва“. Помѣщаем этот список полностью, чтобы дать представленіе о развитіи еще мало знакомой славянскому міру бѣлорусской литературы.

стр. 169. № 3: Ю. Дрэйзін. Беларуская песьня на Украіне, стр. 177. — П. Леанідовіч. Сеньня літэратурнай Францыі. № 4: М. Мялешка. Паншчына на Беларусі, стр. 117. — П. Бузук. Памяці Франко. — П. Леанідовіч. Сеньня літэратурнай Францыі, стр. 149. № 5: С. Некрашэвіч. Аб пашырэньні аканьня на чужаземныя словы. стр. 123. Проф. П. Бузук. Галоуныя асаблівасьці мовы Цішкі Гартнага. стр. 132. № 6: С. Некрашэвіч. К сталельцю ад дня нараджэньня П. В. Шэйна. стр. 116. — М. Шчакаціхін. Сучаснае мастацтва Беларусі. стр. 130. — М. Крывіч. На перагібе. стр. 149.

П. Леанідовіч. А. і Я. Лёсік. Да рэформы беларускага правапісу. стр. 167. — № 7: Г. Гарэцкі. Насельніцтва Беларусі. стр. 82. № 8: М. Пятуховіч, проф. Творчы шлях Якуба Коласа. стр. 98. — Замоцін У.. проф. Поэма Якуба Коласа ,,Сымон Музыка", як аўтохарактарыстыка. —, М. Шульмон. Аб агульных элемэнтах у беларускай і яурэйскай мовах.

— 1927: — № 1: А. Харэвіч. Беларуская мова, як соцыяльна клясавы раздражальнік. стр. 141. — А. Окіншэвіч. Казацтва на Беларусі. стр. 172. — З. Жылуновіч. Літаратурныя падзеі. стр. 191. № 2: М. Шчакаціхін. На шляхох да новага беларускага мастацтва. стр. 163. № 3: Замоцін J., проф. Літаратурная спадчына М. Багдановіча. стр. 207. — Піотуховіч М., проф. Ценi і сьвятло ў творчосьці М. Багдановіча. стр. 215. № 4: Байкаў М. Да пытаньня аб чужаземных словах у нашай мове. стр. 150. — Мікола Крывіч. Наша проза за 1926 г. стр. 202. № 5: С. Вольфзон. Да спрэчкі пра Есеніна. стр. 157. № 6: С. Барысёнак. Нацыянальны характар Літоўскага Статуту 1529 г. стр. 139. — М. Шчакаціхін. Беларускае мастацтва ў гістарычнай і археолёгічнай літэратуры. стр. 166. — З. Жылуновіч. Шкодное ў беларускай літэратуры. стр. 191.

— Маладняк. Штомесячная літэратурна-мастацкая і грамадзкапалітычная часопісь. Б. Д. В. — Менск. 1926. № 4 (13) — 12 (3). См. литературную критику.

III. Научная и учебная литература.

— Аркадзь Смоліч. Кароткі курс географіі Беларусі. Б. Д. В. — Менск. 1925.

— Гарэцкі, Дзяржынскі, Каравай. Выпісы з беларускае літэратуры. Частка I. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— Ігнатоўскі У., проф. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Выданьне 4-ае, перапрабленае. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— Язэп Лёсік. Сынтакс беларускае мовы. Выданьне другое, перапрабленае. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— Язэп Лёсік. Граматыка беларускае мовы. Морфолёгія. Б. Д. В. — Менск. 1927.

— Язэп Лёсік. Беларускі правапіс. Быданьне пятае. Б. Д. В. — Менск. 1927.

— С. Некрашэвіч. Да пытаньня аб укладаньні слоўніка жывой беларускай мовы. I. Б. К. — Менск. 1925.

— 400 лецьце беларускага друку. (Зборнік). I. Б. К. — Менск. 1926.

— Матэрыялы да Акадэмічнай Конфэрэнціі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Випускі I—II. I. Б. К. — Менск. 1926.

— П. Бузук. Да характарыстыкі паўночна-беларускіх дыалектаў. Гутаркі Невельскага і Вялінскага паветаў. I. Б. К. — 1926.

— П. Бузук. Лінгвістычная географія Беларусі. I. Б. К. — Менск. 1928.

— С. Некрашэвіч і П. Бузук. Праграма для вывучаньня беларускіх гаворак і гаворак пераходных да суседніх моваў. I. Б. К. — Менск. 1927.

— А. Шлюбскі. Матэрыялы да вывучаньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. I. Б. К. — Менск. 1928.

— М. Гарэцкі і А. Ягарай. Народныя песьні з мэлёдыямі. I. Б. К. — Менск. 1928.

— М. Касьпяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік. I. Б. К. — Менск. 1927.

— Працы першага зьезду дасьледчыкаў беларускае археолёгіі і археографіі. I. Б. К. — Менск. 1926.

— М. Шчакаціхін. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. І. Б. К. — Менск. 1928.

— Запіскі аддзелу гуманітарных навук: кн. 2-ая. Нарысы клясы філялёгіі. т. І. І. Б. К. — Менск. 1928.

— Гістарычна-Археолёгічни зборнік. № 1. І. Б. К. — Менск. 1927.

— Зборнік артыкулаў. — Этнографія, антраполёгія, псыхолёгія, псыхатэхніка і навуковае арганізацыі працы, гісторыя мастацтва. І. Б. К. — Менск. 1928.

— Працы Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі пры Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Сельскае Гаспадаркі. Горкі. — т. І. 1926, т. ІІ. 1927.

— Працы першае беларускае глебазнаўчае конференцыі. І. Б. К. — Менск. 1926.

— Працы першага ўсебеларускага краязнаўчага зьезду. І. Б. К. — Менск. 1926.

— Матэрыялы да беларускае бібліографіі. т. IV. Этнографія І. Б. К. — Менск. 1927.

— Беларускі Архіў. т. І. І. Б. К. — Менск. 1927.

— Працы Акадэмічнае Конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. І. Б. К. — Менск. 1927.

— Беларуская Навуковая тэрміналёгія. Выпускі I—XVI. І. Б. К. — Менск. 1922—1928.

— Матэрыялы мэдычнае сэкцыі. Вып. І. І. Б. К. — Менск. 1927.

— Матэрыялы да вывучэньня флёры і фаўны Беларусі. Т. І. І. Б. К — Менск. 1927.

— П. Бузук. Аснаўныя пытаньні мовазнаўства. — Падручная кніга для настаўнікаў беларускай мовы і студэнтаў - лінгвістых. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— М. Гарэцкі. Гісторыя беларускае літэратуры. Выд. 4-ае. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— К. Міцкевіч. Мэтодыка роднае мовы. Б. Д. В. — Менск. 1925.

— Ўл. Дзяржынскі. Выпіскі з беларускае літэратуры XIX і пачатку XX. ст. Б. Д. В. — Менск. 1926.

— Яўг. Барычэўскі. Паэтыка літэратурных жанраў. Б. Д. В. — Менск. 1927.

Е. Ляцкій.

Дръ. Н. А. Бескидъ: **Карпаторусская древность.** Ужгородъ 1928. Изданіе Лит. Общ. им. А. Духновича.

С цѣлью доказать, что русская народность на Карпатах есть древнѣйшее населеніе края, которое предшествовало всѣм историческим этнографическим наслоеніям, нынѣ существующим в этой странѣ, г. Бескид предпринял свое изслѣдованіе. Цѣль автора была высоко патріотическая, и для нас, русских его соотечественников, не может быть безразличен этот вопрос. Но вот примѣр того, как не слѣдует смѣшивать науку с политикой, и как нельзя приступать к научному изслѣдованію, хотя бы предпринятому с наилучшей цѣлью, без достаточной подготовки к этому. Вмѣсто того, чтобы доказать свое положеніе, др. Бескид опроверг его, так как представленныя им доказательства не выдерживают никакой критики. Скучно и безполезно входить в подробности этого яко бы изслѣдованія.

Матеріал, с которым оперирует др. Бескид, для того, чтобы доказать пріоритет русских перед мадьярами в прикарпатском краѣ, представляет собой географическія названія, т. е. именно такой матеріал, который требует и больших спеціальных знаній, и методологических навыков, и осторожности, созданной большим научным опытом. Для д-ра Бескида, напротив, все представляется чрезвычайно простым и легким, и он полагает, что простыми фонетическими созвучіями объясняются всевозможныя имена. К сожалѣнію, фантазированіе автора не ограничивается забавным разъясненіем любых географических имен, а переходит и на историческіе факты: так, он находит »бродников« в Седмиградіи до 19 вѣка, и хотя интересующіе его памятники говорят не о »бродниках«, а о рутенах, он преспокойно

отожествляет эти имена, вслѣдствіе чего получается, что именно старое этнографическое названіе дожило почти до нашего времени, хотя это не так. Так же просто др. Бескид обращается с мифологіей. Конечно, его не останавливает такая мелочь, как отсутствіе точных свѣдѣній о славянской мифологіи, которой, вѣроятно, и не было вовсе. Он находит и славянскую богиню Ладу, и »двух дѣвушек, подруг« этой Лады, Лалу и Любушу, и сыновей бога Сварога, Перуна и Солнце, и т. д. Чѣм-то таким старозавѣтным пахнет от всѣх этих ученых комбинацій, как будто мы вернулись на добрыя сто лѣт назад. Да и сто лѣт назад были люди, которых эти средневѣковыя комбинаціи уже не удовлетворяли, а через сто лѣт послѣ Шафарика писать так, это то же, что послѣ Пушкина вернуть литературу к силлабическому стихосложенію Кантемира и Симеона Полоцкаго.

»Нитка исторіи в лингвистическом изслѣдованіи сама дается в руку изслѣдователя«, с удовлетвореніем замѣчает автор (стр 59). Вот доказательства неоспоримости этого положенія: Каринтія есть слав. (»в сущности«) Горатыня, Арпад значит »горѣ-поднятый«, т. е. избранный вождем, поднятіем вверх на щитѣ; »славянское, по происхожденію, и имя легендарнаго вождя *Tőhőtőm тогэтун-* lonicera caucasia, а *Булчу*, который ходил в Царьград и был сыном Богата. Так как Булчу характеризуется, как vir Sanguinis, то в этом имени нельзя не признать за корень глагол *булчить*.« (стр. 33). Разумѣется, не менѣе ясны такія географическія названія, как Карпаты (»ничто иное, как коропавы, горбатыя, щелистыя горы« 45), Татры (в связи с глаголом *туртать*, что значит утруждать, тревожить, безпокоить стр. 51), Эрдель — (»ничто иное, как славянское горъдѣл« 40) и безчисленное множество других названій, которыя приведены на цѣлом рядѣ страниц . . . »Все это было бы смѣшно, когда бы не было так грустно.« *А. Погодин.*

Иванъ Евстратиевъ Гешовъ. **Възгледи и дѣйность.** — Българска Академия на наукитѣ. София 1926, str. 177. S portrétem Iv. Ev. Gešova.

Спомени на Атанаса Т. Илиевъ. Съ планъ на Стара Загора и 80 образа въ текста. Напечатани съ иждивение на Теня Начовъ, Старозагорецъ. — Българска Академия на наукитѣ. София 1926, str. XVI + 468.

Bulharská Akademie nauk vydala v roce 1926 dvě publikace, jež přinášejí zajímavé a cenné příspěvky k životopisům významného bulharského publicisty a politika Ivana Evstratieva Gešova, jakož i pilného bulharského spisovatele a folkloristy Atanase Trifonova Ilieva. Obě knihy vyšly sice pod záštitou Akademie, ale vytištění jich bylo uskutečněno mimořádným způsobem: vydání knihy o sobě pojistil si bývalý předseda Akademie a její štědrý mecenáš Ivan Gešov sám zvláštním ustanovením ve své závěti, v níž část sumy, odkázané Akademii, určuje přímo na vydávání spisů o sobě, počínaje dva roky po smrti; obsažné Paměti Atanase Ilieva mohly býti vytištěny jen velkomyslným darem starozagorského občana Teni Načova.

Obě knihy jsou skutečně zajímavé. Ivan Gešov (1849—1924) a At. Iliev (1852—1927) byli vrstevníci a náleželi k té bulharské generaci, která ještě vyrůstala v době turecké poroby, která zažila smutné i radostné dny osvobození, jakož i chvíle zmatků v době připojení Východní Rumelie k bulharskému knížetství, která prožila slavné i těžké okamžiky balkánských vojen, a celou tragedii světové války s jejími důsledky. Oba mužové žili a pracovali v stejném období časovém, a přece je u nich mnoho odlišného.

Knihu o Ivanu Gešovu vypravil na příkaz předsednictva Akademie tajemník Akademie, nepodepsaný Ivan Pěev. Autor nepodal nám nové studie o Iv. Gešovu, nýbrž omezil se téměř výhradně na sestavení pouhých fakt ze života a díla Gešovova, vybíraných v řadě doslovných citátů hlavně z Gešovových Pamětí (1916) i z jeho prací jiných. Mluví tu tedy vlastně Iv. Gešov sám. Tajemník Akademie pouze sestavil své citáty, jež spojil nejnutnějšími výklady vlastními, a rozdělil je po přetištění příslušného ustanovení ze závěti Gešovovy celkem do patnácti kapitol. Dočítáme se tu o rodokmenu Gešovově, zejména o jeho plovdivské větvi, z níž vyšel Ivan Evstratiev, sledujeme dětství a mládí Ivana Gešova, jeho první učení v rodném Plovdivě, a pak zejména šťastný a blahodárný pobyt s rodiči v Manchestru v Anglii v letech 1865—1872, kde

mladý nadaný student na Owens College (dnešní Viktoriině universitě) dychtivě hltal všechny tam přednášené nauky a dobře připraven vrátil se do vlasti. Získané vědomosti a vrozená touha po vyniknutí postavily Iv. Gešova brzy v čelo domácího úsilí o vymanění z tureckého jařma, ale připravily ho také do tureckých žalářů a k trestu smrti, před jehož vykonáním ho zachránily jen včasné energické zakročení anglické a získaná samostatnost. A po berlínském rozdělení Bulharska vytrvale pracoval Iv. Gešov o spojení obou bulharských částí v jeden celek nejen pérem jako redaktor časopisu »Marica«, ale i osobně u vlád jednotlivých evropských mocností, až konečně dílo korunováno zdarem. Iv. Gešov, který byl již ve Vých. Rumelii ředitelem (t. j. ministrem) financí a od r. 1883—1886 ředitelem Národní banky v Sofii, zaujal i v sjednoceném Bulharsku významné místo jako obratný diplomat, jenž dovedl docela dobře obhájiti bulharské zájmy jako zplnomocněný zástupce svého národa u ruské, anglické i francouzské vlády, a jenž dovedl své zemi prokázati neobyčejně platné služby i jako ministr financí, obchodu a zemědělství, a v době první balkánské vojny jako ministerský předseda. Tajemník Akademie neopomněl ve zvláštní kapitole představiti Gešova také jako spisovatele odborníka a beletristu, uvedl dále v jednotlivých kapitolách i zásluhy Gešovovy o bulharský Červený kříž, o Bulharskou Akademii nauk a konečně o zřízení Studentského domu Ivana a Marie Ev. Gešových.

Ivan Ev. Gešov byl nadaný člověk, jež měl vrozené vůdčí schopnosti: rodičovský majetek a sedmiletý pobyt v Anglii, v níž se pilně připravoval na vedení otcova obchodu, poskytly mu možnost všestranného vzdělání a tím už také možnost širokého obzoru. Zájem o politiku, o níž se učil u nejlepších soudobých myslitelů anglických, bystrý smysl pro otázky národohospodářské, v obnoveném bulharském státě velmi aktuální, ovládání všech hlavních světových jazyků, a spojené s tím noblesní vystupování — všechno to učinilo z něho přirozeného rádce a vůdce, jenž celkem dobře řídil bulharskou loď, jenž uměl zdatně hájiti zájmy své země jak v čase poroby, tak v dobách nejistot a zmatků, za nichž nebylo možno ubrániti se chybám. Právě pro velikou životní činnost Gešovovu a pro jeho velký význam v dějinách bulharských byla by nám milejší nová, původní monografie o Iv. Gešovu, obsahující kritické vypsání a zhodnocení jeho života a díla. Tím spíše, že po vytištění Pamětí Gešovových, obsahujících jen jasné a prospěšné údaje životní, vzniklo domnění přílišné sebechvály jich autora. V takové monografii by se nám zajisté dostalo i kritického zhodnocení celé literární činnosti muže, jejž dnešní Bulharsko právem může čítati k svým nejzasloužilejším představitelům.

Život skromného venkovského pracovníka Atanase Ilieva pohyboval se v docela jiných kolejích, ač za stejného ovzduší a v stejném období. Atanas Iliev pocházel rovněž z kupecké rodiny v Staré Zagoře a díky rodinnému majetku mohl také pokračovati ve studiích v cizině. Ale Iliev nebyl mužem velkého slohu a velkého světa, ani těch ambicí jako Iv. Gešov, nýbrž nade všechno jako jeho přítel Konst. Jireček miloval klidné studium, miloval literaturu a vědu, z níž měl největší zálibu v slavistice a tu zase v lidovědě. Touha po poznání slovanského světa a slovanské nauky přivedla ho na podzim r. 1869 z plovdivské střední školy na nové reálné gymnasium do českého Tábora, kde pod vedením známých slávomilců řed. V. Křížka a prof. H. Mejsnara dostal první základy pro studium slavistiky, v níž pak v letech 1871—1874 pokračoval jako mimořádný posluchač na pražské a bělehradské universitě. V Praze poslouchal přednášky M. Hattaly, obou Durdíků, J. Gebauera a L. Geitlera, v Bělehradě pak zejména St. Novakoviće a Al. Vasileviće. V českém přípravném období vznikly první literární práce Ilieva, jak drobné překlady prozaické z Jungmanna, Šafaříka, Jos. Durdíka, i poetické z Rukopisu Královédvorského, z Erbena, Čelakovského, Máchy, tak folkloristická odborná prvotina o »Přírodě v bulharských národních písních a pohádkách«, vzniklá pod vlivem návštěv v pražském studentském spolku »Slavia« a vytištěna v cařihradském »Čitališti« r. 1872. Iliev odnesl si do vlasti nejen četné vědomosti, ale i zkušenosti, jichž mohl dobře užíti jako učitel i jako spisovatel. Veliké osvobozovací hnutí bulharské sedmdesátých let min. stol. nedopřávalo mu ovšem plného klidu pro jeho literární a vychovatelské dílo, od něhož byl odveden r. 1875 tureckým vězněním a po

osvobození r. 1878 veřejnou činností správní až do podzima r. 1886, kdy za zmatků po připojení Vých. Rumelie ke knížetství bulharskému byl obviněn záhadným nedopatřením vlastními krajany z velezrady a nespravedlivě vězněn.

Trpké zkušenosti, získané veřejnou činností úřední, vrátily Ilieva na trvalo jeho učitelské působnosti na střední škole v Sofii a konečnému ředitelování v rodné Staré Zagoře, až do dobrovolného odchodu do výslužby r. 1905, po němž se věnoval úplně literární a lidovýchovné činnosti. Jako školský spisovatel sestavil Iliev několik dobrých Čítanek pro nižší střední školy, upravil českou zeměpisnou příručku J. Krejčího pro bulharské ústavy („Кратко всеобщо землеописание", Plovdiv 1882) a zpracoval také pedagogiku P. Durdíka v příručce: Výchova v národním duchu a ve vlastenectví („Възпитание въ народенъ духъ и патриотизъмъ", Sofie 1899); z filologických prací publikoval na svou dobu dobrou Syntax bulharského jazyka, vypracovanou podle stejné srbské příručky Novakovićovy („Синтаксисъ на българския езикъ", Plovdiv 1888).

Z folkloristických prací upozornil na sebe Iliev již r. 1889 svým Sborníkem národních bulharských písní („Сборникъ отъ народни умотворения, Sofie 1889), první to edicí toho druhu v osvobozeném Bulharsku, v době, kdy byl hlavním spolupracovníkem Iv. Šišmanova při vedení ministerského Sbornika za narodni umotvorenija, nauka i knižnina, do něhož přispěl značným množstvím původních lidovědných statí, úvah, recensí i zpráv, za stálého sbírání materiálu pro knihu o rostlinách z bulharského folkloristického hlediska („Растенията отъ българско фолклорно гледище"), kterou vytiskla Bulharská Akademie nauk ve svých publikacích r. 1919.

Své lidovýchovné přednášky shrnul Iliev do knihy »Cesta k pokroku« („Пѫть къмъ напрѣдъкъ"), vytištěné v Staré Zagoře r. 1910. Největším pak jeho dílem jsou uvedené tu »Paměti«, k jichž sepsání přikročil Iliev po dovršení 60. roku svého života a v nichž podal své životní osudy od raného mládí až do překročení 70. roku.

Atanas Iliev rozdělil své vzpomínky do dvaceti tří kapitol celkem ve čtyřech oddílech, v nichž vypsal své životní osudy a svou životní činnost 1. v době tureckého jařma; 2. v osvobozené otčině do zmatků po připojení Vých. Rumelie; 3. v sjednoceném Bulharsku až do odchodu do výslužby a 4. jako volného občana. Iliev líčí své osudy docela přirozeně, lidsky, bez jakéhokoliv přikrašlování, o sobě co nejnutněji, ale o soudobých významnějších událostech co nejpodrobněji a nejpřesněji, zachovávaje nám tak četná data o málo známých anebo již zapomenutých dějích a osobách jak krajanských, tak slovanských, zejména českých, jak jsem vylíčil ve zvláštním článku v Čas. Nár. Musea 1928, str. 236—251. Paměti Ilieva, opatřené úvodem o St. Zagoře a podrobným jmenným rejstříkem, jakož i četnými portrety, upoutávají jasným a klidným podáním, bohatstvím dějů, pěknou mluvou a hlubokým slovanským cítěním. Ukazují zároveň, že si Iliev plně zasloužil pozornosti bulharské veřejnosti v den sedmdesátin, kdy mu uspořádána péčí bulharského ministerstva národní osvěty skvělá oslava v rodné Staré Zagoře a vydána dokonce jeho starozagorskými přáteli a ctiteli zvláštní Jubilejní knížka pod redakcí bulh. folkloristy A. P. Stoilova, jenž také v druhém ročníku Izvěstí sofijského Národního musea v kn. III.—IV. podal soupis folkloristických prací At. Ilieva.

Jos. Páta.

Výtahy z časopisů.

Известия по русскому языку и словесности. 1928. Том I, книга 2. Ленинград, 1928.

В. Н. Перетц. Неизвестные подражания кн. А. Д. Кантемира (стр. 335—357). При широкой распространенности сатир К. еще до появления печатного их издания (1762 г.) можно было бы предполагать, что они имели подражателей. Однако сведений об этих последних в печати не имелось. Ак. Перетц опубликовывает случайно найденные им два подражания: одно по рукописи половины XVIII в., принадлежащей автору; другое найдено автором в рукописном руководстве »Liber de arte poëtica« 1742—1743 г. г.; преподавалось оно в Киево-Могилянской Академии »sub reverendissimo professore Sylvestro Dobryna«. Дано описание рукописей с характеристикой их состава; в первой, с заметными следами влияния Кантемира, автор приводит два русских стихотворения, в другой приводится полностью сатира на пьянство и пьяниц. — **М. Н. Сперанский.** »Корсунское« чудо Козмы и Дамиана (стр. 358—375). На основании изучения текста »Чуда« и на основании данных из его литературной истории автор приходит к тому же выводу о происхождении этого текста, который, как предположение только, высказал А. И. Соболевский в своем труде »Особенности русских переводов домонгольского периода« (Сборн. ОРЯС. т. 88), именно, что это статья — русского происхождения. Указаны списки, тексты по двум версиям — »минейской« и »отдельной«, их взаимоотношение, дан анализ бытовой стороны рассказа, которая указывает на »Чудо«, как на произведение северно-русское, частнее — новгородское. Что касается названия »корсунское«, то автор допускает два объяснения: или *a*) имеем дело с приурочением местной русско-северной легенды к популярной Корсуни; или *b*) »Чудо« — Корсунская легенда, занесенная на далекий север. — **А. И. Соболевский.** Славяно-скифские этюды (стр. 376—390). Речь идет о названиях варварских племен Далмации и ближайших земель; названия эти встречаются в статьях проф. Вулича — »Несколько вопросов из римской старины« (Глас Српске Краљевске Академије CXIV, 1925) и Patsch-а »Thrakische Spuren an der Adria« (в Jahreshefte des Österreichischen Archäolog. Inst. in Wien, X, 1907), но без исследования, так как оба названные авторы — не языковеды. Ак. А. И. Соболевский рассматривает названия с сочетанием *-ατα-* (варианты *-οτα-* и *-ετα-*), обычным в окончаниях скифских названий; окончанием *-γάται* и *-δαύα* — тоже скифскими; названия *сакулаты* или по-иному *сагудаты;* скифские по происхождению имена, впоследствии фамилии *Шеремет*, *Шаку́ла*, *Шок*, *Шерег*, *Сакулин*, которые встречаются и на Балканском полуострове. Далее останавливается автор на названии *Паскатир*, упоминаемом Рубруком, путешествовавшим в Монголию в XIII ст.; на целом ряде названий рек Балканского полуострова, общих с названиями рек России, что, по мнению автора, говорит о родственности населения Балканского полуострова в древности населению России. Гл. VII касается мнения Нидерле по вопросу о »полях с погребальными горшками лужицко-силезского типа« и археолога Коссины по тому же вопросу; автор вносит изменение в терминологию Коссины, считая гетов-авхатов его за одно из западных племен скифов. Наконец, в VIII гл., заключительной, А. И. С. дает картину распространения скифских племен

из степных пространств в лесные, с юга на север России, следы чего опять таки имеются в языке. — **Его-же.** Из истории древне-славянской письменности. I. К повести о царице Динаре. II. К сказанию о 12 пятницах. III. К слову о твари (стр. 391—398). По первому вопросу автор воспроизводит некоторые данные из своего доклада в Об-ве люб. Др. Письм. еще в 1896 г., которые были приготовлены к печати, но погибли со всеми материалами в годы революции; автор высказывает мнение, что Повесть переведена с греч. текста в стихах восьмистопного ямбического размера. Далее несколько замечаний к тексту Сказания о 12 пятницах и к Слову о твари. — **Н. К. Никольский.** К вопросу о сочинениях, приписываемых Кириллу Философу (стр. 399—457). От XV, XVI и XVII в. в. сохранилось много рукописей с иеменем Кирилла Философа, как их автора; в XI в. имя это встречется также в некоторых памятниках, позднее до XIV в. почти нет. Автор ставит вопрос: не могли ли сохраниться среди статей и отрывков, приписываемых Кириллу Ф., произведения, вышедшие действительно из под его пера? Наиболее надежною и единственною точкой опоры для суждения о литературной деятельности К. являются показания исторических источников и прежде всего — данные письма ватиканского библиотекаря Анастасия и Паннонской легенды. Автор останавливается на первом источнике и указывает, что вопрос об авторе »Слово на перенесение Климента« нельзя решать в пользу К. Ф., так как этому гл. обр. мешают разногласия между »Словом« и Паннонской легендой; эти разногласия автором и указываются. В гл. III критически рассматривается Паннонская легенда, как источник об авторстве Кирилла Ф. »Вследствие субъективизма авторов рассмотренных источников — говорит Н. К. Никольский — они не сохранили нам всесторонней и беспристрастной характеристики Первоучителя, как литературного деятеля, но они дают нам путеводную, хотя и тонкую пока, нить для разыскания остатков Кирилло-Мефодиевской письменности« . . . (стр. 446). Кроме того, на основании анализа двух указанных источников автор подчеркивает, что »влияние западо-славянской литературной струи на русскую домонгольскую письменность не было столь малозаметным, как это обычно представляют« (ib.). — **А. М. Пешковский.** Интонация и грамматика (стр. 458—476). Понимая под интонацией и ритм, и мелодию речи в их неразрывной связи автор различает троякую функцию интонации, именно: *a)* выражение эмоциональной стороны речи — исконная функция, *b)* выражение словарной стороны речи — функция эта имеет меньшее сравнительно значение для русского языка и проявляется гл. обр. в словах и тактах (за́мок—замо́к, му́ка—мука́), реже в словосочетании (в *одной* рубашке — в одной *рубашке*), наконец, *c)* выражение грамматической стороны речи. Статья имеет в виду эту последнюю функцию и именно ее обнаружение в крупных единицах — простой фразе. Природу такой интонации автор раскрывает на примерах. Отказываясь теперь (в отличие от прежней своей точки зрения в I изд. своего »Синтаксиса«) от взгляда на интонацию, как на синтаксическое явление равного порядка с другими (синтакс. служебные слова, слоговые и тактовые интонации с грамматическим значением, порядок слов), автор в статье намечает в решении этого вопроса средний путь между полным игнорированием интонации в синтаксисе (Фортунатов) и своей прежней точкой зрения. Рассматривает в пяти положениях взаимоотношение фразной интонации и других синтаксических средств, приходя к выводу, что »интонационные средства отличаются подвижным, свободным характером. Они наслаиваются сложными прихотливыми узорами на звуковые средства, не срастаясь с ними в определенные типы связи, а напротив расходясь с ними на каждом шагу« (стр. 475); интонации могут наслаиваться, помимо излюбленных ими форм, на любой формальный субстрат. По мнению автора, грамматические функции интонации, ввиду всего указанного, должны изучаться в грамматике, как »нечто по существу инородное по отношению к формам, как особая область явлений, со своими законами, со своей при-

родой«, короче — интонационная грамматика — »это почти особая наука, во всяком случае особый отдел грамматики« (стр. 476). — **Д. В. Айналов.** Сон Святослава в Слове о полку Игореве (стр. 477 -482). Автор касается некоторых мест текста Сл. о п. И. в сне Святослава, предлагает свое чтение их и, между прочим, чтение непонятного — »*Но се зло, княже, ми не пособіе*« — как: »носезлокняжеминеᵀпособіе«, т. е. с одной выносной буквой *т*, что дает всей фразе смысл: »*но се зло, княже, минет по собѣ*«; выражение »минет по собѣ« — в духе словоупотребления XI—XII в. — **Н. В. Шляков.** Боян (стр. 483—498). Автор ставит вопрос, нет ли каких нибудь следов о песнях Бояна, упоминаемого в Сл. о п. Игореве. Он ищет следы в летописном изображении воспетых Бояном событий — под 6530 г. Лавр. лет. о поединке Редеди Косожского с Мстиславом Владимировичем и под 6532 г. о борьбе последнего с Ярославом Владимировичем. Анализом последнего повествования автор указывает, что Боян — уроженец Тмутороканского княжества, на нем сказалось влияние персидской поэзии (»Рустем и Зораб«) как в художественной композиции, так и в идее рассказа. Автор в своих заключениях идет путями иных иследователей, но решительнее их заявляет, что »в летописи мы имеем следы Бояновых песен, и летописец пользовался ими как источником для своих сведений« (495). На основании песенных следов автор восстанавливает и самый образ Бояна, говорит предположительно даже о годах его жизни (род. не позже 1006 г., ум. ок. 95 л. от роду), он был певцом 3-х четвертей XI ст., начал слагать свои песни в Тмуторокани, переехал с князем в Чернигов, жил при дворе Ростислава Владимировича, перешел на службу Святослава, который, подражая болгарскому царю Симеону, заботился о культурной славе своего двора и содержал при нем знаменитого певца. — **В. Ф. Ржига.** Новый вариант сказания о Лоте (стр. 499–506). Остановившись вкратце на статье А. А. Назаревского »К истории русской народной сказки (Сказка о Рахе-разбойнике)«, напеч. в Киевск. Ун. Изв. 1919 г. №№ 1—4 и на исследовании Н. П. Андреевой »Die Legende von den zwei Erzsunderr« (в составе серии FF Communications, № 54 в Гельсингфорсе, 1924), автор высказывает мнение, что источники мотива богоугодного убийства следует искать на переферии сказания о Лоте, из которого в указанную легенду взят и мотив поливания головней. К такому мнению приводит автора новый вариант сказания о Лоте, который он встретил в памятнике XVI в., именно в послании Нила, еп. тверского к Дмитровскому князю Юрию Ивановичу (Арх. Мин. ин. д. собр. Мазурина, № 642). Приведен текст послания. — **В. В. Данилов.** С. Т. Аксаков, С. Н. Глинка и В. В. Измайлов в Московском Цензурном Комитете (стр. 507—524). Опубликовываются данные из цензурных дел архивного фонда Гл. Упр. Цензуры касательно трех названных писателей; подводится, благодаря этим данным, документальное основание под некоторые факты жизни и характеристику их. — **Ф. Тютчев.** Проект дипломатической депеши по поводу греческих дел, составленный Ф. И. Тютчевым в 1833 году (стр. 525—535). Приводятся сведения о поездке Тютчева летом 1833 г. в столицу только что образованного Греческого королевства-Навилию; эти сведения опровергают распространенное утверждение, что в это время Тютчев ездил на Ионические острова. Сведения извлечены из недавно найденых в Тютчевском семейном архиве документов. — **Н. Н. Козмин:** Пушкин-прозаик и французские острословы XVIII в. (Шамфор, Ривароль, Рюльер. Стр. 536—558). Отметив известные факты борьбы А. С. П. с галлицизмами в своем языке и зависимости его языка от языка французского, г-н Козмин разбирает в отдельности отношение Пушкина к сочинениям Ривароля, Шамфора и Рюльера, этих модных и остроумных стилистов своего времени. — **В. И. Срезневский.** О севастопольских песнях, приписываемых Л. Н. Толстому (стр. 559—579). Речь идет о двух песнях, связываемых с именем Л. Толстого: одной — »Как восьмого сентября

мы за веру за царя от французов ушли« — касающейся событий крымской войны с 8 сент. 1854 г. по середину марта 1855 г., и другой — »Как четвертого числа нас нелегкая несла горы занимать« — про сражение на р. Черной 4. VIII. 1855 г. Эта последняя, по мнению автора, принадлежит действительно Л. Толстому, ярко и довольно точно воспроизводит картину боя на р. Черной; о первой из них определенно сказать пельзя, кто ее автор, возможно она — коллективный труд. — **Н. П. Кашин.** Два столетних юбилея (стр. 580—582). Столетние юбилеи слов: »исполнение »(exécution), впервые появившееся в январьской книжке »Московского Телеграфа применительно к актерам и сцене Итальянской оперы в Москве; »бис«, вытеснившее прежнее, еще у Пушкина встречающееся, »фора«. Оба принадлежат перу музыкального критика В. Ф. Одоевского, писавшего под псевдонимом У. У. — **Критика и библиография: 1. Г. А. Ильинский:** *Μνῆμα.* Sborník vydaný na pamět 40-ho učitelského působení Jos. Zubatého (стр. 583—592). — 2. **Н. Н. Бахтин:** Рецензия на »Slavica česká a slovenská za léta 1914—1925« (стр. 592—602). — 3. **П. А. Расторгуев:** О программе по белорусской диалектологии (стр. 602—605). — 4. **Е. Ф. Карский:** Книжные новости (стр. 605—613). — Книги и брошюры, поступившие в редакцию (стр. 614—618). *Л. Копецкий.*

Listy filologické. Roč. LV. Praha 1928.

Slavistiky se týkají články: **Ferd. Stiebitze:** Vid a způsob slovesného děje (1—13). Dokonavý jest podle autora ten děj, který si *představujeme* jako děj omezený a ukončený, nedokonavý pak je ten děj, který si *představujeme* jako trvající a neukončený. Slovanský vid slovesný je kategorie smíšená. Hledisku dokonavosti a nedokonavosti se musí podřizovati každý slovesný děj a v každém jazyce. — **Karel Hrdina:** Dvě práce z dějin českého humanismu (14—19). Autor podává dodatek k životopisu básnířky Alžběty Jany Westonové († 1612) ze sborníku, vydaného na její památku po její smrti, který sám objevil. — **F. Oberpfalcer:** O příčinách změn ve významu slov (20—26, 92—102, 211 až 216). Autor shrnuje ve svém pojednání dosavadní výsledky zkoumání o příčinách změn ve významu slov, jež jsou: *A)* jazykové, kde působí syntaktická souvislost, jež jest mluvčímu i posluchači jednotícím prostředkem v rozmanitosti pojmů. Sem patří pojmové zhušťování, elliptická úspora. Vliv na změnu významu mají mluvnická kategorie, slovosled, hlásková podoba slov. *B)* Příčiny psychické, jimiž se vysvětluje metafora, metonymie, hyperbola, ironie, litotes, eufemismus, zhoršování významu, synonymika kolem představových komplexů stižených censurou. *C)* Příčiny sociální, které způsobují automatisaci významu slovního a jimiž se vyvíjejí rozdíly mluvy jednotlivých společenských tříd. *D)* Příčiny kulturně historické. — **Daniel Bothár:** Pět listů Boženy Němcové psaných Sam. Chalupkovi. Z pozůstalosti Sam. Chalupky (27—43). Pět listů z r. 1855—1859. Středem spisovatelčina zájmu jsou tu »Slovenské pohádky a pověsti«, jež se tehdy N. chystala vydati. — **Jos. Straka:** Studie o stč. Evangeliu sv. Matouše s homiliemi (102—129, 226—244, 327—333). Autor dokončuje studii, která byla uveřejňována v minulých ročnících LF. Výsledek zkoumání: Skoro polovina evangelia sv. Matouše byla vyložena podle kompilace sv. Tomáše z Akvina a to úryvky vybíranými podle osobního vkusu upravovatelova. Autor evangelia má zálibu v poučování, ale jeho výklady jsou zřídka původní. Latinské výklady jsou až na maličkosti tlumočeny jasně a správně. Dílo svědčí o velké odborné sčetlosti, jaké není v té době rovně, a o velké píli skladatelově. — **Jan Pelikán:** Příspěvky k výkladu slov (206—211). 3. *Tápati; tiepiti, tiepati; típiti.* Stč. *tápati* znamená ‚naufragium facere‘; pod. význam mají subst. *tápanie* = naufragium, *tapač* = naufragus. Kromě toho má stč. *tápati* význam druhotný, obrazný (*tápati v bolestech, ve tmě,* atp.), ale znamená i »hmatati«. *Tápati* je intensivum k *tonouti* od koř. **top-: *tep-*. Také stč. *tiepiti, tiepati něco, tiepiti sě s čím* ‚plaziti se, zdlouha jíti, namáhavě nositi‘ a *típiti* ‚respicere‘ jsou snad z téhož kořene **tep.* — **Jan Jursa:** Hanácká nářečí severomoravská (216—226). O hanáckých podřečích, jimiž se mluví v severomoravském výběžku hanácké nižiny na horním toku řeky Moravy a jejím přítoku Desné, na Zábřežsku a Šumpersku. — **Antonín Grund:** Tylovy překlady

z Nestroye (241—254). Tyl hry Nestroyovy zpracovával; hleděl zlidověti jejich prostředí a přiblížiti se chápání vrstev, které jeho divadlo navštěvovaly. — **Rud. Karas:** Z korespondence Jana Nerudy (254). — **Boh. Ryba:** Mnichovské glagoliticum s výkladem a dopisem Jos. Dobrovského (255—257). Otištěn dopis J. Dobrovského, poslaný asi J. Chr. Siebenkaesovi, který byl r. 1812 profesorem dějin literatury v Landshutě, s poznámkami Dobrovského ke dvěma listům chorvat.-hlaholského missálu, chovaným v mnichovské univ. knihovně, jehož části později otiskl Dobrovský v Institutiones str. 702. — **F. M. Bartoš:** Z publicistiky husitského odboje (334-347). Tři české veršované skladby z r. 1420, ‚Žaloba koruny české na krále Zikmunda', ‚Porok koruny české ku pánóm českým' a ‚Pře Prahy a Kutné hory před Kristem' jsou dílem M. Vavřince z Březové, jehož jinou skladbu, nazvanou ‚Satyra Regni Bohemiae in regem Hungariae Sigismundum' z r. 1420 autor uveřejňuje. *P. P.*

Литература в русских журналах.[1])

Былое. 1919—1926.

№ 15. 1919 г. *Б. Модзалевский* Достоевский о »Братьях Карамазовых«. Неизданные письма 1879—1881 г. г. (стр. 98—134). Письма Д-го к Н. А. Любимову в связи с печатанием ром. »Б. К.« в журнале »Русск. Вестник«. Материал первостепенной ценности для творческой истории романа »Б. К.« — *Б. Николаевский.* Новое о прошлом. (стр. 155—173). В обзоре сибирских газет и журналов за 1918—19 г. г. сведения о литературе о Толстом (стр. 171—172).

№ 16. 1921 г. Первое преступление М. Горького. Из очерков по архивным материалам *Б. Николаевского.* С примечаниями М. Горького (стр. 174—186). История первого ареста А. М. Пешкова в 1889 г. в Нижнем Новгороде, по архивным данным.

№ 17. 1922 г. Весь № посвящен П. А. Кропоткину.

№ 18. 1922 г. Две зимы в провинции и в деревне. С генваря 1849 по август 1851 года. Из воспоминаний П. В. Анненкова. Сообщ. *Н. Лернер* (стр. 3—18). Набросок воспоминаний П. А-ва, не вошедших в его известные »Литературные воспоминания« (изд. 1898 г.). — *В. Комарович.* Неизданная глава романа »Бесы« (стр. 219—226). — »Исповедь Ставрогина«. Глава из романа »Бесы«. Из собраний Пушкинского Дома (стр. 227—252).

№ 19. 1922 г. *В. П. Семенников.* Новый текст »Путешествия« Радищева (стр. 3—29). Список »Путешествия« из библ. М. Н. Лонгинова со значительными дополнениями к печатному тексту. — *Георгий Чулков.* Ф. И. Тютчев и его эпиграммы (стр. 61—79). Неизвестные эпиграммы Т-ва. — *Т. Богданович.* Вл. Г. Короленко в последние годы жизни (1919—1921). Воспоминания (стр. 211—231).

№ 20. 1922 г. *В. Евгеньев-Максимов.* Агония »Современника« (стр. 32—64). Цензурные преследования журн. »Современник« в 1865—66 г. г. Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова. Привлечены новые данные. — *С. Протопопов.* Материалы для характеристики В. Г. Короленко (стр. 3—31). Выдержки из писем К-о по разным вопросам общественной и политической жизни 1915—20 г. г. Есть отзывы о Л. Н. Толстом, М. Горьком, Л. Андрееве и др. Ценный материал для характеристики личности Короленко. — *А. Р. Кугель.* Литературные воспоминания (стр. 65—102). Материалы к истории русской печати 80-х — 90-х г. г.

№ 21. 1923 г. *А. А. Корнилов.* Михаил Александрович Бакунин. Годы странствий (1840—1849). Переписка с родными и друзьями (стр. 3—40). Продолжение ценной работы автора: »Молодые годы Михаила Бакунина«. В основу легли материалы семейной переписки Бакуниных. Статья освещает время жизни Б-на в Берлине, где он был в постоянном общении с И. С. Тургеневым. Переписка содержит много ценных подроб-

---

[1]) См. »Slavia«, VI, стр. 624—626.

ностей жизни Тургенева этого времени. — *А. Р. Кугель.* Литературные воспоминания (стр. 95—117). Продолжение . . . см. выше № 20.

№ 22. 1923 г. *Е. И. Жуковская.* Воспоминания о Некрасове (стр. 100—108). Воспоминания касаются журнальной деятельности Н-ва в »Современнике« и »Отечественных Записках«. Есть биографическия подробности, не лишенные значения (отношение к А. Я. Панаевой и др.). — *В. Евгеньев-Максимов.* По поводу воспоминаний о Некрасове (стр. 109—111). Поправки к воспоминаниям Е. И. Жуковской. — *К. Чуковский.* Некрасов и деньги (стр. 36—70). Мотив »денег« в творчестве Н-ва. Характеристика атмосферы 40-х годов, породившей Н-ва. О романах Н-ва, в частности о ром. »Три страны света«. — *А. А. Корнилов.* Михаил Александрович Бакунин. Годы странствий (1840—1849). (Переписка с родными и друзьями) (стр. 71—100). Продолжение, см выше № 21. Между прочим, содержит письмо Тургенева к Б-ну от 17 окт. 1841 г. — *Петр Быков.* Былые знакомства и встречи (Странички из литературных воспоминаний) (стр. 135—141). Воспоминания о редакторе »Русск Слова« Г. Е. Благосветлове. — *А. Р. Кугель.* Литературные воспоминания. Продолжение, см. выше №№ 20 и 21.

№ 24. 1924 г. *Л. Клейнборт.* Встречи. Леонид Андреев (стр. 163—182)

№ 25. 1924 г. *Н. Лернер* Памяти Пушкина (стр. 3—11) 1. »Рылеев и Кюхельбекер 14 декабря 1825 г.« К неизданному рисунку П-на (из бумаг П. А. Ефремова). — 2. «Неизданное письмо Пушкина«. Письмо И. Е Великопольскому (дек. 1826). — *В. Р. Лейкина.* Петрашевец Н. А. Спешнев (к 75-летию дела петрашевцев) (стр. 12—31). О влиянии Спешнева на Достоевского. Автор высказывает убеждение, что Спешнев послужил прототипом Николая Ставрогина (см. стр. 24—25). — *Мих. Чернышевский* Чернышевский в Вилюйске (стр. 32—52).

№ 26. 1924 г. *Б. Модзалевский.* Сто лет тому назад. Роман декабриста Каховского (стр. 3—60). На основании писем С. М. Салтыковой (позже жены поэта Дельвига) к А. С. Семеновой (позже по мужу Карелиной). О романе между П. Г. Каховским и Салтыковой. — *В. Р. Лейкина.* Петрашевец Н. А. Момбелли (стр. 61—70).

№ 27—28. 1924 г. *С. П. Шестериков.* Неизданные страницы записок А. М. Тургенева (стр. 3—13). Печатается отрывок записок о существовании в Москве в 1791—93. г. г »клуба адаистов«, где происходили оргии. Слухи об этом клубе нашли отражение в романе В. Т. Нарежного »Российский Жилблаз« (1814 г.) в описании оргии масонской ложи »Общество благотворителей света«. Роман Нарежного был запрещен, по мнению А. Н. Пыпина, именно за описание этой оргии. — *Н. Огарев.* Записки русского помещика (стр. 14—16). Записки напечатаны по автографу. С пропусками вошли во II том воспоминаний Т. Пассек »Из дальних лет«. — *В. Комарович.* »Бесы« Достоевского и Бакунин (стр. 28—49). Автор подвергает критическому анализу гипотезу Л. П. Гроссмана (см. »Печ. и Рев.«, 1923, №№ 4, 1924 г., №№ 4 и 5) о Бакунине, как прототипе Ставрогина.

№ 1 (29). 1925 г. Неизданные письма И. С. Тургенева (стр. 78—84). 1. Три письма М. Л. Веллеру. Сообщил *М. П. Алексеев.* Письма находятся в связи с ходатайством эмигранта Веллера о возвращении в Россию, за которого хлопотал Т. перед М. Т. Лорис-Меликовым (1880 г.). — 2. Два письма П. В. Анненкову. Сообщ. *А. Белоглазов.* Письма относятся к нач. 50-х г. г.

№ 2 (30). 1925 г. Письма П. Л. Лаврова (стр. 8—36). 1. Н. Ф. Щербине. Сообщ. *Б. Л. Модзалевский.* Письма поэту Щербине, 1859 г. 2. Г. Н. Вырубову. Сообщ. *Е. Казанович.* Десять писем 1873—74 г. г. 3. И. С. Тургеневу. Сообщ. *Б. Л. Модзалевский.* Письмо от 11 июня 1878 г. о В. И. Засулич. 4. В. В. Стасову. Сообщ. *Вл. Каренин.* Два письма 1898 г. В первом интересный отзыв Л-ва о Л. Толстом. — *С. Я. Елпатьевский.* Пережитое (Воспоминания) (стр. 90—118). Воспоминания начинаются с 1878 г.

№ 3 (31). 1925 г. Неизвестные эпиграммы В. С. Курочкина. Сообщ. *Н. Кацин* (стр. 92). Две эпиграммы на гр. Муравьева-Виленского (1866 г.). — Новые письма М. А. Бакунина. Сообщ. *Е. Корнилова* (стр. 19—57). Письма 1857—1875 г. из семейного архива Бакуниных. — *Ив. Грес.* М. П. Драгоманов о Тургеневе (Из вновь найденных материалов) (стр. 113—130). На основании писем М. П. Драгоманова к сестре Е. П. Косач и к племяннице-Лесе Украинке, хранящихся в »Центральном музее Полтавщины«. Статья дает материал об отношении Т-ва к украинскому вопросу. — *С. М. Брейтбург.* Толстой и Короленко (стр. 108—112). Два письма Т-го к Короленко (20. I. 1904 и 16. VIII. 1908) и письмо Короленко о Толстом к М. А. Никитину (1917 г.). — *С. Елпатьевский.* В провинции (Из воспоминаний) (стр. 58—83). Есть материал о Н. Д. Хвощинской (Крестовской).

№ 4 (32). 1925 г. *А. А. Рябинин-Скляревский.* Адам Мицкевич в ссылке в Одессе в 1825 г. (стр. 154—162). По материалам Одесского Исторического Архива. — *П. Кулиш.* Московские настроения в марте 1855 г. (По неизданным материалам архива П. А. Кулиша) (стр. 163—170). Письмо П. К-а от 15. III. 1855 г. из Москвы. — *А. Долинин.* Новые тексты Достоевского (стр. 253—259). Ценный разбор приемов издания текстов к »Преступлению и Наказанию« (см. »Красн. Архив« 1925, № 7). — *И. Я. Быховский.* Булочник А. М. Пешков и Казанская революционная молодежь 80-х г. г. (стр. 202—219). — Заметки и поправки М. Горького (стр. 219—221).

№ 5 (33). 1925 г. *Б. Л. Модзалевский.* Неизвестное письмо Рылеева (стр. 28—36). Три письма Р-ва к матери и копия письма Р-ва к В. И. Туманскому (1823 г.). — Стихи и семейные бумаги Рылеевых. Сообщ. *П. Н. Карелин* (стр. 37—42). Неопубликованное стихотворение Р-ва (нач. сл.: »Когда, приникнув к изголовью . . .«). Вопрос об авторстве стих. »Люби меня«, приписываемого Р-ву. О месте погребения Р-ва. Письма прот. П. Н. Мысловского, духовника заключенных декабристов, к жене Р-ва. — *П. Карелин.* К. Ф. Рылеев и Е. А. Малютина (стр. 42—43). Письма Малютиной к Рылееву. — *Г. Прохоров.* Три письма декабриста А. А. Бестужева из Якутска (стр. 114—120). Письма Бестужева-Марлинского к братьям (1828—29 г. г.). — *С. А. Переселенков.* Дневники и мемуары декабристов. Библиографический указатель (стр. 240—262). — *Н. Бельчиков.* Достоевский о Тютчеве (стр. 154—162). Попытка анализа статьи кн. В. Мещерского »Свежей памяти Ф. И. Тютчева«, напечатанной в »Гражданине« (№ 31 от 30 июля 1873 г.) с целью выяснить характер участия в ней Д-го (см. письмо Д-го к жене от 29 июля 1873 г.).

№ 1. 1926 г. *Б. Л. Модзалевский.* Декабрист Барятинский и его стихотворения (стр. 3—10). Биографические данные о кн. А. П. Барятинском, авторе книжки стихов на французском языке: ,,Quelques heures de loisir à Toulchin. Par le P. A Bariatinskoy, L. Aux Hussards de la Garde, Moscou 1824. — Два стихотворения *А. П. Барятинского* (стр. 11—13). Стих. »Послание к Ивашеву« и »П. Пестелю« в переводе Федора Сологуба.

Красная Новь. Литературно-художественный и научно-публицистический журнал. М. 1921—1926.

1921. № 1. *Вяч. Полонский.* Вейтлинг и Бакунин (стр. 235—246). Из книги автора о Бакунине.

№ 2. *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы М. Бакунина (стр. 164—182). — *Роза Люксембург.* В. Короленко (стр. 183—203). По поводу »Истории моего современника«. — *Нурмин.* О новой книге В. Г. Короленко (стр. 324—327). Об »Истории моего современника«, т. II, ч. 3—5 (М. 1920). — *П. С. Коган.* Александр Блок (стр. 354). Некролог.

№ 3. *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы М. Бакунина (стр. 128—145). Продолжение, см. выше № 2. — *А. Воронский.* Из

современных настроений (По поводу одного спора) (стр. 244—255). О книге Вяч. Иванова и М. О. Гершензона »Переписка из двух углов« (1920).

№ 4. *А. Луначарский.* Достоевский, как художник и мыслитель (стр. 204—211). Юбилейная речь, особого интереса не представляет. — *В. Вересаев.* Художник жизни (О Льве Толстом) (стр. 212—239). — *В. Плетнев.* Некрасов и современность (стр. 240—245). Статья малоценная. — *С. Бобров.* Кони о Некрасове и Достоевском (стр. 246—249). О книжке А. Ф. Кони »Некрасов и Достоевский по личным воспоминаниям«. Спб. 1921.

1922 г. № 1 (5). *П. С. Коган.* Памяти В. Г. Короленко (стр. 238—243). Малозначущая статья. — *Курмин.* »История моего современника« В. Г. Короленко (стр. 314—317). — *Сергей Бобров.* Символист Блок (стр. 244—250).

№ 2 (6). *Сергей Бобров.* »Я, Николай Ставрогин...« (стр. 332—336). Об »Исповеди Ставрогина« Достоевского.

№ 3 (7). *П. С. Коган.* С. Есенин (стр. 254—259). Общий очерк творчества.

№ 5 (9). *А. Воронский.* Литературные силуэты. Всев. Иванов (стр. 254—275).

№ 6 (10). *А. Воронский.* Литературные силуэты. Е. Замятин (стр. 304—322).

1923 г. № 1 (11). *М. Горький.* Автобиографические рассказы (стр. 3—43). О В. Г. Короленко. Продолжение см. в №№ 2—6.

№ 5 (15). *В. Вересаев.* К психологии Пушкинского творчества (стр. 325—339). В связи с вопросом о датировке элегии на смерть Амалии Ризнич. Вересаев датирует элегию 1826 г. — *С. Вольфсон.* Г. В. Плеханов и вопросы искусства (стр. 154—173).

1924 г. № 1 (18). *М. Горький.* Заметки из дневника. Воспоминания (стр. 100—117). — *А. Воронский.* Литературные силуэты. Сергей Есенин (стр. 271—289). Общий очерк творчества. — *И. Гливенко.* Искусство и общество (стр. 257—270). О книге Гаузенштейна под таким же заглавием.

№ 2 (19). *В. Вересаев.* Поэт (Комментарии) (стр. 246—271). О Пушкине. Отдельные главы имеют следующие подзаголовки: 1. »Нереида« (1820), 2. Бахчисарайский фонтан« (1820), 3. »Гений чистой красоты« (1825), 4. »Счастливец с первых дней« (1825). 5. »Живая грамота« (1826), 6. »Тебе один остался друг« (1828), 7. »Арфа Серафима« (1830), 8. »Все, даже счастие того« (1830), 9. »Тришка бит по погоде« (1834), 10. »Опять на родине« (1835). — *М. Горький.* Заметки из дневника. Воспоминания (стр. 3—52).

№ 3 (20). *Ник. Смирнов.* Солнце мертвых. Заметки об эмигрантской литературе (стр. 250—267). Пристрастный отзыв о современной русской литературе вне пределов России (Бунине, Шмелеве, Куприне, Б. Зайцеве и др.).

№ 4 (21). *И. Гливенко.* Искусство и общество (стр. 317—326). Продолжение, см. выше... № 1.

1925 г. № 1. *А. Свободов.* М. Горький, как литературный критик (стр. 302—310). О критических заметках Г-го в »Нижегородском Листке« за время 1896—1902 г. г.

№ 3. *Н. Бухарин.* О формальном методе в искусстве (стр. 248—257). Критика формального метода с точки зрения марксизма.

№ 5. *Г. Поспелов.* К проблеме формы и содержания (стр. 245—262). — *А. Лежнев.* Плеханов и современная критика (стр. 263—269).

№ 6. *Л. Войтоловский.* Пушкин и его современность (стр. 228—259). Объяснение творчества П-а с социологической точки зрения. Статья не представляет научного интереса.

№ 7. *А. Иванчин-Писарев.* Из жизни Гл. Ив. Успенского (По воспоминаниям) (стр. 272—288). Воспоминания относятся к 1875 г.,

времени пребывания У-го в Париже. Есть материал для истории создания расск. »Выпрямила«.

№ 8. *А. Иванчин-Писарев.* Из жизни Г. И. Успенского (стр. 114—148). Продолжение . . . см. № 7. Отрывки писем У-го за 80-ые годы.

№ 9. *Генн. Поспелов.* О методах литературной критики (стр. 250—258). Попытка определения понятий »метод« и »прием« в литературной науке.

№ 10. *Ив. Розанов.* Вересаев (К сорокалетию литературной деятельности) (стр. 266—278). Общий очерк творчества В-ва. Его отношение к Толстому и Достоевскому. Оценка историко-литературных работ Вересаева.

1926 г. № 1. *А. Воронский.* Об отошедшем (стр. 227—236). Памяти поэта Сергея Есенина. — *Генн. Поспелов.* К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов (стр. 237—249). Попытка теоретической постановки вопроса о причине выживания поэтического произведения. Подход к вопросу с марксистской точки зрения.

№ 2. *Д. Благой.* Материалы к характеристике Сергея Есенина (стр. 200—206). — *А. Воронский.* Памяти о Есенине (sic!). Из воспоминаний (стр. 207—214).

№ 3. *Георгий Шторм.* Критический сказ о походе на половцев князя Новогорода-Северского Игоря Святославича (стр. 111—127). Попытка дать самостоятельное произведение в плане »Слова о полку Игореве«. Автор пользуется т. н. »Бояновым гимном князю Мстиславу«, который он, вопреки установившемуся мнению, не склонен считать подделкой. Для изучения »Слова о полку Игореве« представляют некоторый интерес примечания (стр. 122—127). — *Иван Розанов.* Декабристы-поэты. Атеист А. П. Барятинский (стр. 250—256). Краткие биографические сведения об Александре Петровиче Барятинском, авторе книжки стихов »Часы досуга в Тульчине« на франц. яз. — *Н. Никитин.* Встречи (стр. 245—249). Воспоминания о поэте С. Есенине.

№ 4. *Л. Модзалевский.* Козьма Прутков и Алексей Толстой (стр. 107—111). Два неизвестных произведения гр. А. К. Толстого. Первое, раннее произведение, без заглавия, второе — »Рондо« — относится к 60-м годам и осмеивает мин. юстиции гр. К. И. Палена. — *А. Воронский.* О Горьком (стр. 200—213). По поводу выхода в свет XVI—XIX т. т. собрания сочинений Г-го.

№ 5. *Салтыков-Щедрин.* Глупов и глуповцы (Неизданная глава). Предисловие и комментарий *Н. Яковлева.* (стр. 112—121). Из рукописей Пушкинского Дома. Относится к 1862—63 г. г. — *Н. Н. Толстой.* Пластун (из воспоминаний пленного). С предисловием »Писатель Н. Н. Толстой« *А. Грузинского.* (стр. 122—140). Неоконченная повесть из кавказской жизни, найденная в рукописях гр. Н. Н. Толстого. Написана в 50-х г. г., не позже 1858 г.

№ 6. *Ив. Розанов.* Поэты-декабристы. Кюхельбекер-Ленский (стр. 212—219). Характеристика поэзии В. Кюхельбекера. См. выше . . . № 3. *В. Ф. Переверзев.* Нигилизм Писарева в социологическом освещении (стр. 162—175). Беглая характеристика журналистики 60-х г. г. Автор видит в нигилизме Писарева »крайнее левое течение зарождавшегося индустриализма«, которое предвосхищало будущее построение системы научного материализма. — *Л. И. Аксельрод. (Ортодокс).* Вопросы искусства (стр. 146—161). В защиту социологического метода в искусствоведении.

№ 7. *Н. Н. Толстой.* Пластун. Повесть (из воспоминаний пленного) (стр. 125—163). Окончание повести, см. выше . . . № 5. — *Л. И. Аксельрод. (Ортодокс).* Методологические вопросы искуства (стр. 174—188). См. выше . . . № 6.

№ 9. *Андрей Андреев.* Из воспоминаний о Л. Андрееве (стр. 208—223). Воспоминания брата Л. А-ва, относятся к 1913 и 1914 г. г. Много ценного для психологии творчества А-ва.

№ 11. *Н. Телеиов.* Все проходит (Из литературных воспоминаний). Кружок »Среда« (стр. 218—234). Воспоминания о московском литературном кружке, объединившим самых видных писателей девяностых и девятисотых г. г.

№ 12. *Ю. Стеклов.* Существовал ли тайный Альянс. К истории исключения Бакунина из Интернационала (стр. 183—206). — *М. Горький.* О М. М. Пришвине (стр. 230-233). *А. Бем.*

Spisy redakci zaslané.

Адзінец А. і Ів. Юрашкевіч, Нататкі аб асаблівасьцях мовы Тураўшчыны. (Паасобны адбітак з часопісу „Наш Край“ № 8—9 (35—36) за 1928 г. Str. 71—81.

Анастасијевић Д. Н., † Фјодор Ивановић Успенски. Богословље. Огран Православног богословског факултета у Београду. Година IV. Свезак 1. Београд 1929. Засебан отисак. Str. 53-63.

Antoniewicz Włodzimierz, Metalowe spinki góralskie. Z 136 rycinami i 2 mapami w tekście. W Krakowie 1928. Prace Komisji etnograficznej Polskiej akademji umiejętności. Nr. 8. Str. 83.

Batowski Henryk, Transliteracja alfabetu graždańskiego. Lwów 1928 (Zakład narodowy imienia Ossolińskich). Osobne odbicie z »Przewodnika bibljograficznego« r. 1927. Nr. 4, 7—10. Str. 16.

Библиографически бюлетинъ за депозиранитѣ книги въ Софийската Народна библиотека презъ 1924—1925 год. Годишнини XXVIII—XXIX. Издава Народната библиотека въ София. София 1926. Str 500.

Библиографически бюлетинъ за депозиранитѣ периодически издания въ Народната Библиотека презъ 1919—1923 г. Годишнини XXIII—XXVII, XXVIII—XXX. София 1927. Str. 142+155.

Bibljoteka Iskier 20. 21. 22. 23. 24. 25. Lwów-Warszawa (Książnica-Atlas) 1929.

Bibljoteka Iskierek 3. Lwów-Warszawa (Książnica-Atlas) 1929.

Breznik Anton, Japljev prevod sv. pisma. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino VII. 77—106 (Ljubljana 1928).

Bulgakowa Lydia, Das Studium der Presse in der USSR. Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Buchkunde. Leningrad 1928. Str. 93.

Cartojan N., »Fiore di Virtù« dans la littérature roumaine. Extrait de »l'Archivum Romanicum«. Vol. XII, 4 (Leo S. Olschki, Genève). Str. 501—514.

Cartojan N., Fiore di virtù in literatura românească. Academia Romana. Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tomul IV. Mem. 2. Cultura Națională. București 1928. Str. 107 + VII + résumé (I—III).

Commentationes humanarum litterarum. Tomus I. Nr. 1—2, 3—5, 6—8. (Societas Scientiarum Fennica.) Str. 167 + 10 (s mapou) + 6 + 56 + 17 + 58 + 15 + 168. Helsingfors 1922—1927.

Доброгаев С. М. д—р мед., Фонема, как физиологическое и социальное явление. Отдельный оттиск из сборника „Языковедение и материализм“ 1929 г., str. 57—130.

Дорошенко Володимир, Найновіша література про П. Куліша (Інформативний огляд видань і розвідок за останніх 15 літ). Записки Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. Т. CXLVIII. Львів 1928. Відбитка. Str. 28 + 2.

Дорошенко В., Шевченкознавство за останке десятиліття 1914—1924. (Короткий інформативний огляд). У Львові 1925. Передрук із „Старої України“, 1925, III—IV. Str. 8.

Духовний Сіяч. Рік вид. II. Число 24., 25., 26., 27., 28., 1928. Рік вид. III. Число 2., 3., 5., 6., 1929.

Fischer Adam, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Zarys dziejów. Lwów 1927. Str. 123.

Fünfundzwanzig Jahre Slavistik an der Deutschen Universität in Prag (1903—1928). Eine Denkschrift. Privatdruck der slavischen Semi-

nare und Proseminare an der Deutschen Universität in Prag. Gedruckt mit Unterstützung des Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur. Str. 33.

Ганцов Всеволод. Діялектични межі на Чернигівщині. (Окр відб. з Збірн. „Чернигів і Північне Лівобережжя", Київ 1928. Str. 262—280.

Lo Gatto Ettore, Letteratura soviettista. Piccola Biblioteca Slava a cura di Ettore Lo Gatto II. Roma (Istituto per L'Europa Orientale) 1928. Stran VIII + 167.

Lo Gatto Ettore, Storia della letteratura russa. Volume terzo. La letteratura moderna I. Pubblicazioni dell' »Istituto per l'Europa Orientale.« Prima serie. Letteratura-Arte-Filosofia XIV³. Roma 1929. Str. 336.

Gavazzi Milovan, Svastika i njezin ornamentalni razvoj na uskrsnim jajima sa Balkana. Preštampano iz XXVII. knjige »Zbornika za narodni život i običaje južnih Slavena«. Zagreb 1929. Str. 24.

Гласник Историског друштва у Новом Саду. Директор Д-р Станоје Станојевић Уредник Д-р Душан Поповић. Књига I. Свеска 1. Сремски Карловци 1928. Str. 1—188.

Goethe J. W., Spisy. Uspořádal Otokar Fischer. Svazek patnáctý. Prvý a druhý díl Fausta. Přeložil a poznámkami opatřil Otokar Fischer. Pantheon. Vzorná vydání spisovatelů domácích i cizích. Rediguji Eduard Bass a Dr. Jan V. Sládek. Kniha sedmdesátášestá. Vydal Fr. Borový. V Praze 1928. Str. 717.

Яворскій Ю. А, Карпаторусское поученіе о снахъ. Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Карпатскій Свѣтъ". Ужгородъ, 1928. № 8, стр. 282—285. Изданіе Культурно-просвѣтительн. общества имени Александра Духновича въ Ужгородѣ

Яворскій Ю А., Къ библіографіи литературы объ А. В. Духновичѣ. Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Карпатскій Свѣтъ", Ужгородъ, 1929, № 1, стр. 404—407. Изданіе Культурно-просвѣтительн. общества имени Александра Духновича въ Ужгородѣ. Выпускъ 52.

Јовановић Петар С., Глацијација Јакупице. Посебна издања Географског друштва. Свеска 4. Уредник Боривоје Ж. Милојевић. У Београду 1928. Str. 90 + mapa.

Кондаковъ Н. П., Русская икона. I Альбомъ 65 цвѣтныхъ таблицъ. Прага (Seminarium Kondakovianum) 1928. Str. XVI + 65 tab.

Kuba Ludvík, Slovanstvo ve svých zpěvech. Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Kniha XIV. Díl V. Písně jihoslovanské. Пѣсни на Южнитѣ Славяни Část VIII. Písně makedonské. Македонски пѣсни. Přeložil Jan Hudec. Praha 1928. Vlastním nákladem. V komisi Matice Umělecké besedy. Str. 80.

Курило О., Спроба поаснити процес зміни *o*, *e* в нових закритих складах у південній групі українських діялектів. (З мапою Поділля.) Історично-філологічний відділ Всеукраїнської академії наук. Збірник № 80. Постийна комісія історії української мови за головуванням акад. Аг. Кримського Вип. 2. У Києві 1928. Str. 88.

Кузеля Зенон, Причинки до етнографічної діяльности Опанаса Васильовича Марковича. Sonderabdruck der Abhandlungen des Ukrain. Instituts, Berlin (bez data). Str. 168—179.

Kwartalnik antykwarski. Nr. 1. R. 1929. I. Bibljografja. II. Druki XVI—XVIII w. (Zygmunt Igel, Antykwarjat Lwowski, Lwów, ul. Batorego Nr. 34.) Str. II + 73.

Labry Raoul, Herzen et Proudhom. Paris 1928. (Edit. Bossard.) Str. 248.

Lehr-Spławiński Tadeusz, Gramatyka połabska. Lwowska Bibljoteka Slawistyczna. Tom ósmy. Lwów 1929. Str. XVI + 278.

Ligęza Jan, Ujanowice. Wieś powiatu limanowskiego. (Zapiski z r. 1905.) Prace Komisji etnograficznej Polskiej akademji umiejętności. Nr. 9. W Krakowie 1928. Str. 33.

Лоя Я. В., Против субъективного идеализма в языковедении. Языковедение (bez bližšího určení), str. 131—217.

Mal Josip, Zgodovina slovenskega naroda. Zv. 7. Najnovejša doba. Izdala in založila Družba sv. Mohorja v Celju 1928. Str. 192. (Pokračování díla Josipa Grudna.)

Матеріяли для культурної и громадської історії Західньої України. Видае Комісія Західньої України Всеукраїнської академії наук. Том перший. Листування І. Франка і М. Драгоманова. Всеукраїнська академія наук. Комісія Західньої України. Збірник Історично-філологічного Відділу, № 52. У Київі 1928. Str. IV + 508.

Meyer K. H., Untersuchungen zur Čakavština der Insel Krk (Veglia). Mit einer Karte in Rodardruck. Slavisch-Baltische Quellen und Forschungen. Herausgegeben von Reinhold Trautmann. Heft III. Leipzig (H. Haessel) 1928. Str. 135.

Миховъ Н. В., Библиографски източници за историята на Турция и България. III. Българска академия на науките. III. София 1928. Str. VIII+166.

Миховъ Никола В., Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. Библиографски издирвания съ статистични и етнографски данни. Томъ трети. Българска академия на Науките. София 1929. Str. XVI + 486 + 4 přílohy.

Милојевић Боривоје Ж., Типови динарских острва. Посебна издања Географског друштва. Свеска 3. Уредник Боривоје К. Милојевић. Награђено из фонда архим. Нићифора Дучића. У Београду 1928. Str. 86.

Modestin Josip, Osvrt na odgovor g. dra Petra Skoka. Preštampano iz »Nastavnog Vjesnika«, knjiga XXXVII. Sv. 3. Zagreb 1928. Str. 7.

Novák Arne, Josef Dobrovský. S 16 obrazovými přílohami a 3 facsimile. Vydáno v Praze 1928. Zlatoroh. Sbírka illustrovaných monografií. Nákladem Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Svazek padesátý třetí. Str. 88.

Odgers Merle Middleton, Latin *parens*, its meanings and uses. University of Pennsylvania Dissertation. Language Dissertations published by the Linguistic Society of America. Number III. December, 1928. Str. 32.

Orlov S. P., Hry a písně dětí slovanských. Rozbor po stránce námětové, literární a hudební, klasifikace a praktická sbírka 500 dětských písní a her všech národů slovanských. Úvod o slovanském starověku od univers. prof. Dr. Lubora Niederle. Překlady písní od spisovatele Frant. Táborského. Kresby od Mikuláše Alše a jiných slovanských umělců, podobizny sběratelů slovanské dětské a lidové tvorby. V Praze 1928. Nákladem Československé obce sokolské. Str. 459

Ossendowski Ferdynand Antoni: Pod polską banderą. Powieść historyczna z czasów króla Zygmunta III. Bibljoteka »Iskier«. Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa 1929. Str. 296.

Отчет о деятельности Академии Наук СССР за 1928 год. I. Общий отчет. II. Отчет о научных командировках и экспедициях. Издательство Академии Наук СССР. Ленинград 1927. Stran 327 + 12 + 9; 339 + 16.

Páta Józef, Zawod do studija serbskeho pismowstwa. Serbske předźěłane a rozmnožene wudaće. Z 50 podobiznami. Wědomostne rozprawy Maćicy Serbskeje w Budyšinje. — Red. prof. Dr. A. Muka. Čisło 1. W Budyšinje 1929. Str. 288.

Павићевић Мићун М., Црногорци у причама и анегдотама. Књига друга. Подгорица 1928. Str. 194.

Poems by Jan Kochanowski. Translated from the Polish by Dorothea Prall Radin, Marjorie Beatrice Peacock, Ruth Earl Merrill. Hazel Halma Havermale, George Rapall Noyes. University of California Press. Berkeley, California 1928. Str. 156.

President Masaryk k desátému výročí republiky. Soubor projevů. Čin, Praha 1928. Str. 87.

Резанов Вол., Драма українська. 1. Старовинний театр український. Випуск п'ятий. Драматизовані легенди агіографічні. У Київі 1928. Українська академія наук. Збірник історично-філол. відділу. № 7д. Str. 295.

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Obrađuje T. Maretić. Svezak 43. 1 desetoga dijela. Planda-podirak. U Zagrebu 1928. Str. 240.

Rodin Auguste, Umění. Rozmluvy s Rodinem, sebrané Pavlem Gsellem. Přeložil prof. Jaroslav Hrnčíř. První české autorisované vydání podle francouzského definitivního znění. Nákladem S. V. U. Mánes, Praha 1928. Str. 190.

Rogoszówna Zofja. Dziecinny dwór. Wydanie czwarte. Bibljoteka »Iskierek«. Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa 1929. Str. 196.

Řepka J., II. sjezd československého vojska na Rusi. Události a dokumenty. Praha (nakladatelství Pokrok) 1928. Str. 288 + 4 přílohy.

Schwarz Ernst, referát o spise Simon Pirchegger. Die slavischen Ortsnamen im Mürzgebiet. Zvláštní otisk z ZONF. (?), 297—304.

Schwarz Ernst, Wogastisburg. Sonderabdruck aus Sudeta IV, 1928. Heft 3—4. Str. 154—164.

Скафтымов А., Чернышевский и Плещеев. (К письму А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину). Письмо А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину. Оттиск из сб. „Н. Г. Чернышевский“, изд. Нижневолжского Общества Краеведения, Саратов 1926. Стр. 11 + 4.

Скафтымов А., Чернышевский и Жорж Санд. Оттиск из сборника „Н. Г. Чернышевский“, изд. Н. – Волжской юбилейной комиссии. Саратов 1928. Str. 23.

Скафтымов А., Неизданная повесть Н. Г. Чернышевского „Отблески сияния“ среди его сибирской беллетристики. Оттиск из сборника „Н. Г. Чернышевский“ изд. Н. — Волжской юбилейной комиссии. Саратов 1928. Str. 28.

Скафтымов А., Роман „Что делать?“ (Его идеологический состав и общественное воздействие.) Оттиск из сборника „Н. Г. Чернышевский“, изд. Нижневолжского Общества Краеведения, Саратов 1926. Str. 49.

Скопско Научно Друштво. Годишњак I—VIII. 1921—1928. Скопље 1928. Str. 56.

Славянски календарь за 1929 година. Годишнина деветнадесета. Издава Славянското дружество въ България. Str. 65.

Slawistische Schulblätter. Zeitschrift des Vereines deutscher Slawisten in der Tschechoslowakischen Republik mit dem Sitze in Prag. II. Jahrgang. Heft 3—4. 1928. Str. 32.

Смірнов Павло, Волзький шлях і стародавні Руси. Нариси з руської історії VI–IX вв. Українська академія наук. Збірник історично-філологічного відділу № 75. У Київі 1928. Str. 229.

Соловјев Алекс. В., Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка. Књиге Скопског Научног друштва. Књига друга. Скопље 1928. Str. VIII + 248.

Spitzer Leo, Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Zweite erweiterte Auflage. Mit einem Porträt Hugo Schuchardts. Halle 1928.

Станојевић Ст., Мирковић Лаз., Бошковић Ђ., Манастир Манасија. Народни музеј у Београду. Српски Споменици V. Београд 1928. Str. 60 + XXIII.

Stojković Marijan, »Oposun«, »naoposun« i trokratno »naoposuno« okretanje. — Sito i rešeto u narodnom vjerovanju. — Nastačilo, stačilo, svatovski član. — Poljubiti babu . . . Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knjiga XXVII, svezak 1. U Zagrebu 1929. Str. 25—42, 43—53, 82—84, 84—85.

Страни преглед. Година II, број 1 и 2. Март-јуни, 1928. Београд. Str. 1—100.

Šmurlo E., Le Saint-Siège et l'Orient orthodoxe russe 1609—1654. Publication des Archives du Ministère des Affaires étrangères. Première serie. № 4. Prague 1928. Str. VIII + 356 + 261.

Švob Držislav i Petrić Franko, Zadruga Domladovac. Preštampano iz XXVII. knjige »Zbornika za narodni život i običaje južnih Slavena«. Zagreb 1929. Str. 92—110. Dodaci i popravci članku »Zadruge Domladovac«.

Šyrwirds Punktay sakimu (Punkty kazań). Teil I: 1629, teil II: 1644. Litauisch und polnisch mit kurzer grammatischer Einleitung herausgegeben von Franz Specht. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1929. Str. 61* + 382 + 6 + 8 + 259.

Talko-Hryncewicz J., Krakowiacy współcześni. W Krakowie 1927. Prace Komisji antropologji i prehistorji Polskiej akademji umiejętności. Nr. 1. W Krakowie 1927. Str. 130.

Taszycki Witold, Wybór tekstów staropolskich XVI—XVIII wieku. Lwowska Bibljoteka slawistyczna. Tom siódmy. Lwów 1928. Str. VIII + 264.

Tauta ir Žodis. Humanitarinių Mokslų Fakulteto leidinys. V knygos. Epe Lituana sumptibus Ordinis Philologorum Universitatis Lituanae edita. Liber V. Kaunas 1928. Str. 674.

Указатель авторов и их статей, напечатанных в Известиях Отделения русского языка и словесности за все время существования этого издания с 1896 г. по 1927 г., тт. I—XXXII. Издательство Академии Наук. Ленинград 1928. Str. 55.

Vaillant André, La langue de Dominko Zlatarić, poète ragusain de la fin du XVI[e] siècle. I. Phonétique. Paris 1928. Travaux publiés par l'Institut d'études slaves. — VI. Str. XX + 368.

Vaillant André, Les *Piesni razlike* de Dominko Zlatarić. Travaux publiés par l'Institut d'études slaves. — VIII. Paris 1928. Str. VIII + 45.

de Vaux Phalipau M., La Littérature des Serbes de Lusace. Editions des »Amis de la Pologne«. Paris 1929. Str. 32.

Vilinskij Sergij G., O literární činnosti M. Jev. Saltykova-Ščedrina. Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Číslo 24. Brno 1928. Str. 246.

Voznesenskij A., Die Methodologie der russischen Literaturforschung in den Jahren 1910—1925. (Fortsetzung.) Zeitschrift für slavische Philologie. Separatabdruck aus Band V, Heft 1/2. 1928. Str. 175—199.

Вознесенский А., Из наблюдений над стилем М. Ю. Лермонтова. Архаизмы-славянизмы. Сборник Отдел. рус. яз. и слов. Академии Наук (в честь акад. А. И. Соболевского) т. CI. 1928 г. Str. 203—208.

Вукотич Н. А., Материалы для списка указателей русской периодической печати. Академия Наук СССР. Библиотека. Ленинград 1928. Str. 74.

Výbor slovenskej poezie ľudovej. II. Piesne lyrické. Čítanie študujúcej mládeže slovenskej. Vydáva Matica slovenská. XI. V Turčianskom Sv. Martine 1927. Str. 160.

Weidenbach Hermann, Das Geheimnis der schweren Basis: Das Jery slavenicum. Heidelberg 1928. Str. 32.

Wisłocki Władysław Tadeusz, Jerzy Lubomirski 1817—1872. Lwów 1928. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Str. 182 + 12 tab.

Wollman Frank, Slovesnost Slovanů. Slované. Kulturní obraz slovanského světa. Pořádá Miloš Weingart. Díl II. Vychází za podpory ministerstva školství a národní osvěty. Praha (Vesmír) 1928. Str. 264.

Wosnessensky A. N., Aufbau der Literaturwissenschaft. Autorisierte Übersetzung des russischen Manuskriptes von Georg Petzold. Jahrbuch für Philologie (München) III, 6, 1928, 337—369.

Захариев Йордан, Упѫтване за антропогеографски изучвания въ България. (Приложение къмъ „Учил. прегледъ", кн. 6, 1928 год.) София 1928. Str. 80.

Slovanské jméno piva *olъ*.

Pořád a pořád se opakuje, že starodávné slovanské jméno piva *olъ* je přejato z germánštiny. Nedávno se jím obíral zvláště A. Stender-Petersen v díle Slavisch-germanische Lehnwortkunde 294 n., kde tvrdí totéž. Poněvadž toto dílo je nyní nejdůležitějším a nejdůkladnějším zpracováním otázky germánsko-slovanských výpůjček, bude autoritou při posuzování těchto věcí na dlouhou dobu. Proto je třeba předvésti nejprve argumentaci Petersenovu, co uvádí na prospěch germánského původu toho slova, chceme-li ho proti němu obhájiti, že není přejato.

Baltoslovanské a germánské formy, praví S.-P., mohou se sice odvozovati z pův. **alu*, ale není jisto, zdali lze toto slovo klásti do ide. doby, neboť Indoevropané sotva znali pivo. Germánština má však jisté formy (ags. *ealoþ*, stnor. *ǫlþr*), jež předpokládají *aluþ* < ide. **alut*. Jiné germ. formy ukazují na **alu*, a dvojice *alu* : *aluþ* má v germánštině obdobu: **menot* > germ. *menoþ* : *meno* (něm. *Monat*), **nepot* > *nefoþ* : *nefo* (*Neffe*). Germ. **alu* je prý tedy sekundární, »otřená« forma původního **aluþ*. Toto *aluþ* je odvozeno od kořene *alu-* ‚hořký' kmenotvornou příponou *-t-*, čímž prý utvořen název piva. Tento suffix chybí však v bsl. A poněvadž přímý přechod od významu ‚hořký' k významu ‚pivo' u slova *alu* v bsl. se mu zdá nepochopitelný, radí uznati, že Baltoslované přejali ono »otřené« germ. *alu*, už s významem ‚pivo'. A kromě toho tvrdí, kdybychom předpokládali, že už Indoevropané měli pivo zvané *alut*, že by to znělo baltsky **alutis*, slovansky **olъtь* (jako *degъtь*, *nogъtь*, *olkъtь*).

Pokusíme se ukázati, že tyto předpoklady jsou falešné a že se *olъ* může docela dobře pokládati za p ů v o d n í slovo baltoslovanské.[1])

Nejprve je třeba něco říci o tom starodávném pivu. Kdežto jižní Indoevropané v historických dobách pili víno, vyráběli si se-

[1]) Hlasy pro domácí původ toho slova jsou řídké. V novější době se pro něj vyslovili u nás Janko, O pravěku slovanském 68, a Hujer LF 54, 1927, 293 (»není vidět příčiny, proč by toto slovo musilo být považováno za slovo přejaté z germánštiny«); kromě nich Trautmann (pojal je do svého bsl. slovníku) a Schrader RL² 1, 142 (podle V. Thomsena).

verní jejich soukmenovci všelijaké opojné nápoje z těch darů, které jim poskytovala příroda. Dělali si hlavně medovinu. Dále znali staří Slované i Baltové (nevíme, zda už také jednotní Indoevropané v pravlasti) opojný nápoj z kobylího mléka (kumys), jehož starého jména však neznáme (Prusové jej zvali *asvīnan* = ‚kobylí', totiž mléko). Tento kumys byl lepší než medovina, pili jej králové a šlechtici, kdežto obyčejný lid pil medovinu. A konečně bylo důležitým nápojem pivo, zvané u Slovanů *olъ*. Podle všeho to byl prostý domácký odvar z ječmene, ovsa nebo prosa. Aby dostalo hořkou chuť, užívali při jeho vaření jako přísady různých věcí. Chmel se rozšířil, jak známo, teprve od doby stěhování národů. Před tím se užívalo žaludů, jalovcových bobulí, dubové kůry, vřesu a j. Podle našich pojmů byl to nápoj arci špatný. Ale staří toho nedbali. Jsou zachovány zprávy, že se jím rádi opíjeli, že je vypili hned druhý den po navaření, nedbajíce nepříjemných následků v žaludku. Musíme si to představiti asi takto: Po větším požití masa (hlavně tučného) musili je zapíjeti něčím hořkým. A tak před hostinou navařili piva, jak to podle Nesselmanna dělali litevští sedláci ještě v polovici minulého století.[1]) Při hostině vypili všechno, podle litev. rčení *šalt's miẽgas alų jaučant*,[2]) jinak by bylo ani dlouho nevydrželo. Jím paralysovali přílišné množství snědeného tuku. Zdá se, že z podobné příčiny zase jindy jedli i máslo žluklé (nikoli čerstvé!), dokonce několikaleté, právě proto, že potřebovali občas něco trpkého, kyselého nebo hořkého (o tom viz níže).

Takovéto domácí pivo můžeme, jak připouští i Schrader, bez obavy předpokládati už pro dobu indoevropskou. Vlastí lepších piv byl arci západ, odkud přicházely k Slovanům odborné terminy »pivovarské«, jednak od Germánů (**molto*, čes. *mláto)*, jednak od Keltů prostřednictvím germánským (*braga* = jméno jistého druhu piva, *droska* = kvasnice). Ale nevalnou domácí břečku uměli vařit jistě už Indoevropané. Ed. Hahn[3]) praví, že pivo bylo známo nejen v staré Babylonii a v Egyptě, nýbrž i v Armenii, Thrakii, Germanii, Gallii a Hispanii, připouští znalost piva i v Malé Asii, Řecku a Italii. Pouze ve vlastní klassické době bylo prý zatlačeno vínem. Podobně se vyslovuje Schrader RL² 1, 142.[4])

---

[1]) Wörterbuch d. lit. Spr. s. v. *alus.*

[2]) Nesselmann je parafrasuje takto: »mann kann nicht einschlafen, wenn man noch Bier vorrätig weiss.«

[3]) Reallexikon der Vorgeschichte 2, 21.

[4]) O pivě a ostatních nápojích starých Slovanů jedná podrobně Niederle ŽSS I, 1, 208 n.

Co se týká jeho jmena, baltština a slovanština má docela zřejmý *u*-kmen *alu*, resp. *olъ* (rus., csl. a slovin.). Odvozenina *olovina* (rus., bulh. a slovin.) svým *-ov-* zřetelně ukazuje na původní *u*-kmen. Litev. je *alùs*, ale stará pruština má ještě původní neutrum *alu* (význam se však změnil, značí medovinu). Je tu podobný případ jako s ide. *medhu*, jež v slovanštině přešlo k maskulinům. Už sám ten fakt, že slovo je *u*-kmen, praví toho dost. Prohlédneme-li na př. seznam *u*-kmenů u Meilleta Études 241 n., nenajdeme tam ani jediné slovo přejaté, t. j. přejatá maskulina a neutra vstoupila vesměs mezi kmeny thematické. Že by se *olъ* (*alu*) stalo *u*-kmenem analogii podle *medъ*,[1]) také nevěříme. Kategorie *u*-kmenů je všude na ústupu, není ani trochu produktivní a také ani trochu nevyvolává analogické útvary.

Dále je třeba uvážiti to, že kořen *alu-* je dobře zastoupen i v latině, a to tak, že nelze mluviti o přejetí z germánštiny (tak soudil už Mladenov). Neboť germánština zná jen hotové slovo znamenající pivo, ale lat. *alūmen* ‚ledek', *aluta* ‚kůže ledkem zpracovaná' předpokládá znalost k o ř e n e *alu-* s významem ‚hořký, trpký', řekli bychom spíše starého a d j e k t i v a *alu-*. Římané arci toho kořene neužili k utvoření názvu piva, protože se v Italii naučili pít víno, po př. starý název piva u nich zanikl, kdežto primární adj. *alu-* se udrželo ještě při jejich příchodu do Italie. Dalo vznik názvu *alūmen* a slovesu **aluįō* (*alūta* je jeho participium), ale pak samo také zaniklo. Zde budiž hned řečeno, proč asi zaniklo. Pro význam ‚hořký, trpký' mají ide. jazyky hojné názvy, ba i jednotlivé jazyky mívají názvů několik. A tento význam se řadí právě k těm, které potřebují výrazů t. zv. expresivních, které se ovšem za čas opotřebují a proto nahrazují novými.

Také v řečtině se kořen *alu-* objevuje, ovšem slabě dosvědčený: *ἀλύδοιμον· πικρόν* u Hesychia.

Jestliže Stender-Petersen namítá proti Mladenovovi, že se přímý přechod k významu ‚pivo' nemůže v slovanštině dobře vyložiti (»angesichts des im Germ. durch ein Suffix vermittelten Überganges«), je to námitka lichá. Takové jméno se přece může utvořiti substantivisováním adjektiva velmi snadno v každém jazyce samostatně. Abych nešel pro případ daleko, čes. *kyselo* ‚saure Suppe' ze jmenné formy (neutra) adj. *kyselъ*; nebo *sladká* scil. kořalka (zůstalo adjektivem). Co se týká té domněnky, že pramenem musí býti germ.

---

[1]) Tak soudil Joh. Schmidt, Pluralbildungen d. idg. Neutra 180.

aluþ, jež se musilo »otříti«, možno namítnouti, že to docela dobře mohlo být právě obráceně. S.-P. se asi tu poněkud přidržel toho, co o tom napsal kdysi Joh. Schmidt na uv. m. Schmidt tvrdí, že kmen *alu-* není dosvědčen nikde jinde než v severoevropských jazycích, a to ho utvrdilo v domnění, že *alu* je hláskoslovně zkrácené **alut*, přešlé pak k *u*-kmenům. Ale nyní nikdo nebude pochybovati o tom, že i lat. *alūmen, alūta* sem patří, a tak germ. **alut* ztrácí svůj nimbus původnosti, takže je pravděpobno, že je to pouze čistě germánský útvar od kořene, žijícího i v jiných ide. jazycích, event. předgermánský, ale jen dialektický.

Ale přesvědčivější důkaz původnosti slov. *olъ* doufáme vytěžiti z toho, že *olъ* se stalo základem dvou slovanských adjektiv rázu tak starobylého, že nelze tvrditi, že by takovým základem mohlo býti slovo přejaté. Jde o dvě adjektiva dosud dosti temná. Tato jejich temnost je nám právě znakem toho, že v nich máme útvary velmi úctyhodného stáří, totiž z doby, zdá se, ještě starší než je předpokládaná doba prvních germánských výpůjček.

*

První z nich je adj. *jelъkъ*. Zachovalo se do nynějších dob toliko v ruštině a v polštině: r. *ëlkij* ‚ranzig, unangenehm bitter', pol. *jełki* ‚ranzig', dial. *iłki*,[1]) *maslo iłkie* ‚ranzige Butter' (podle Bernekera 1, 453; odvozeniny pomíjíme). Základní význam je ‚trpký, hořký', z toho se vyvinul význam ‚žluklý', neboť žluklé máslo je hořké.

Začátek toho slova můžeme chápati různě vzhledem k známé ruské zvláštnosti, totiž k střídání *o-/je-*, při čemž zpravidla mívá převahu *o-*. Bohužel okolnost, že se toto slovo v jiných slov. jazycích (kromě polského) nevyskytuje, nedovoluje nám rozhodnouti tu věc přesně. Počítáme-li však s **j-olu-*, není závady, neboť prothetické *j-* i při *o-* bylo možné, bez obtíží se však vysvětlí též vlivem druhého adjektiva *(jalovъ)*; *j-* před *a-* není nic neobvyklého *(ablъko : jablъko)*.

Vezmeme-li tedy za základ **olъkъ*, vidíme ihned, jak slovo vzniklo. Je tu stejný proces jako při jeho oppositu **soldъ* (litev. *saldùs*) : **soldъkъ* (č. *sladký*). Stará *u*-kmenová adjektiva zanikla v slovanštině, jak známo, tím způsobem, že se změnila příponou *-ko-* na *o*-kmenová. Toto tvoření se stalo východištěm slušného počtu adjektiv na *-ъkъ*; ale kdežto při těchto nových adjektivech

---

[1]) Pol. dial. *iłki* není, co se týká počátečního *i-*, dosti jasné, ale jakožto omezený dialektický zjev pro náš účel to nemá významu.

známe jejich příbuzné (sloveso), u tohoto nemáme nic takového. Z toho je patrno, že zde máme jeden z prototypů toho tvoření, t. j. třeba děliti *olъ-kъ*. A to se dobře shoduje s tím, že předpokládáme původní adjektivum *u*-kmenové s významem ‚trpký, hořký'. Toto nové adjektivum je prostě potomkem starého adjektiva *olъ*, jež samo jako *u*-kmenové adjektivum se nemohlo udržeti, udrželo se však jako *u*-kmenové substantivum, arci s ustáleným už významem ‚hořké, t. j. pivo'. Také přízvukem se shoduje s jinými případy: lit. *alùs*:*ëlkij* je jako sti. *aṃhúḥ*:r. *úzkij*, ř. *ϑρασύς*: r. *dérzkij*, lit. *glodùs*:r. *gládkij*, sti. *laghúḥ*, ř. *ἐλαχύς*:r. *lëgkij*, lit. *saldùs*:r. *solódkij*, srb. *slȁdak*. A také lze tu připustiti vokalismus *-o-*, normální (vedle slabého) v původních *u*-kmenových adjektivech. Dodejme ještě, že oblasti obou slov *olъ* a *jelъkъ* se ještě dnes zeměpisně kryjí z valné části, totiž v Rusku.[1])

Žluklé máslo starým Slovanům a vůbec severním Indoevropanům svou hořkostí připomínalo chuť jejich neumělého piva. A jak bylo výše řečeno, staří jedli máslo žluklé; vyráběti máslo, aby je snědli čerstvé jako výživný tuk, to jim asi nestálo za to. Lze si mysliti, že žluklé máslo jim bylo asi tím, čím je některým venkovanům tvaroh hodně »perný« (zelenavý »uležalý« tvaroh ostré, trpko-hořké chuti) nebo nám kyselé okurky.[2]) Pochopíme tedy z původního významu ‚trpký, hořký, kyselý' jednak substantivisované *olъ* ‚pivo', jednak adj. *jelъkъ* ‚hořký; žluklý'.

*

Druhé adjektivum, které je podle našeho soudu odvozeno od *olъ*, je *jalovъ*. Je všeslovanské (Berneker 1, 443 n.), význam je zpravidla ‚neplodný, unfruchtbar, gelt'. Při tom se téměř ve všech jazycích slovanských objevuje substantivum od něho odvozené *jalovica*, značící však nikoli neplodnou krávu, nýbrž nedospělou, která se dosud ještě ani jednou neotelila. Kromě toho všeobecného útvaru jsou také jiné odvozeniny jako srb. *jȁlovka*, také i mužské (srb. *jalóvac* = vyřezaný skopec), ale ty jsou zřejmě nikoli praslovanské, nýbrž vznikly

---

[1]) Jiné výklady slova *jelъkъ* viz u Bernekera s. v. (vesměs nesprávné). Loewenthal AfslPh. 37, 1920, 390 je odvozuje od **el-*, **al-* ‚brennen' (švéd. *ala* ‚brennen', sti. *alā-tam* ‚Feuerbrand', sthn. *elo* ‚lohbraun' atd.). Ale Walde Idg. Wb. má tato slova jednak 1, 88, jednak 1, 159.

[2]) O některých kočovných kmenech je známo, že u nich dospělí lidé pijí mléko jen kyselé, kdežto sladké pijí jenom děti. Třebaže totéž není o starých Slovanech dosvědčeno, přece je to charakteristické a důležité pro pochopení různých zjevů (jako obliby kumysu a žluklého másla).

teprve v historické době v jednotlivých jazycích, proto k nim nebudeme hleděti. Nápadná neshoda mezi dnešními významy *jalovъ* ‚sterilis' a *jalovica* ‚juvenca' se odstraní, přijmeme-li pro *jalovъ* původní význam *nezralý*. Představujeme si cestu významového přechodu asi takto: dokud ovoce je nezralé, je trpké, hořké nebo kyselé, a tak slovo *jalovъ* mohlo od významu ‚trpký, hořký a p.' přejíti k významu ‚nezralý, syrový', a na tomto stadiu vzniklo už v praslovanštině jméno *jalovica* na označení mladé krávy, jež dosud neuzrála, nedospěla k rození telat. Očekávané párové slovo **jalovьcь* pro mladého býka nebo vola nebylo utvořeno (jsouc už od praslovanské doby reservováno pro název rostliny juniperus); mladý býk (mladý vůl) se jmenuje všeslovansky *junьcь*. Později ovšem význam adj. *jalovъ* pokročil dále. Některá kráva, i když měla už třeba několikrát tele, najednou »nezůstane stelná« (= neoplodí se) i po delší dobu, »běhá se« třeba několikrát, ale marně. Není pak divu, že takováto dočasně neoplozená kráva byla označována stejným názvem jako kráva dosud neoplozená, čímž se vyvinul dnešní význam ‚sterilis'. Něco podobného se stalo v polštině: *jarka owieczka* = mladá, jednoroční ovečka, ale dialekticky také ‚neplodná ovce' (příklad je z Bernekera 1, 447). Germánské zjevy téhož rázu najdeme u Ficka-Torpa[4] s. vv. *gimrī* (127), *galda* (132) a *steran* (486).

Pokládáme tedy za původní smysl adjektiva *jalovъ* význam ‚nezrale trpký, hořký, kyselý' (potom > nezralý = nedospělý > dosud neplodný > vůbec neplodný). — K významovému přechodu trpký > nezralý srv. také dolněm. *amper* ‚scharf, bitter, unreif' a řec. *ὀμφακίζω* ‚býti kyselý, býti nezralý'.

Formálně je toto slovo utvořeno způsobem opět velmi starobylým. Má jednak dloužení kořenné samohlásky, jednak příponu *-ov-*,[1]) takže *j-ōlov-ъ* (či *j-ēlov-ъ*?) odpovídá indoiránskému typu vṛddhovaných adjektiv, odvozených od *u*-kmenů, na př. stind. *sāindhaváḥ* ‚říční, co se vztahuje k řece (Indu)' < *síndhu-ḥ* ‚řeka (Indus)', *ārtaváḥ* ‚roční' < *ṛtúḥ* ‚rok', *mārtjaváḥ* < *mṛtjúḥ* ‚smrt', stper. *mārgava* < *Marguš*. Hledíme-li k přízvuku (byl zde na první slabice: *jálovъ*), pak odpovídá útvarům jako *ā́navaḥ* ‚mužský, lidský; cizinec' < *ánuḥ* ‚muž (zvl. nearijský)', *vā́savaḥ* ‚příznivý (epith. Indrovo)' < *vasu-* ‚dobrý, zdravý; subst. bohatství, majetek'. Máme tu tedy bezvadný a bezpečný případ tohoto starobylého typu odvozování, známého

[1]) Příponové *-ov-* je všeslovanské, toliko v ruštině se vedle *jalovyj* objevuje *jalyj*, jistě nepůvodní.

dosud sice jenom z indoírán., ale hledaného i v jiných jazycích ide. (na př. ř. *ἠνορέη* ,mužnost, síla, odvaha' < *ἀνήρ*). Při tom je to zástupce v slovanštině j e d i n ý, který odpovídá p ř e s n ě typu indoíránskému.[1])



Od *jalovъ* je odvozeno jméno rostliny *j a l o v ь c ь* juniperus, kteréžto jméno je severoslovanské (rus., pol., čes., luž.), kdežto jihoslov. je *brinъ*. Souvislost toho jména s adj. *jalovъ* se přijímá u různých badatelů, ale z důvodů dosti rozdílných. Brandt (a podle něho Berneker 1, 444) se domníval, poněvadž rostlina je dvojdomá, že to jméno slušelo původně jen rostlinám s mužskými květy (neboť jsou »neplodné«). Naproti tomu Brückner Sł. etym. jęz. pol. 198 naznačuje, že jméno je podle toho, že keř roste »na jałowej ziemi« (t. j. na neúrodných pastvinách, na kamenitých stráních a p.).[2])

Jméno *jalovьcь* však pochází asi od jiného zjevu. Jalovec roste,

---

[1]) Pravíme j e d i n ý. — V BSL 29, 1928. № 86. 40n. pokouší se A. Vaillant nalézti taková adjektiva s alternací samohlásek. Je to podle něho csl. *duždevъ* (: **dъždjь*) ,dešťový', snad i *surovъ* (: *syrъ* a *jistovъ* (: *j-ьstъ*?). Ovšem Vaillant je si vědom, že jejich alternace neodpovídá indoíránské vṛddhi, kdežto střídání **ou̯* : *u* (*u*), *oi̯*, *ei̯* : *i*, které bychom musili uznati v těchto třech případech, není zase doloženo nikde jinde v tvoření adjektiv. Kromě toho slovo *jistovъ* je etymologicky úplně temné. Ale ani korunní svědek těch alternací, csl. adj. *duždevъ*, není bez úhony. Kdežto V. vidí v jeho *u* něco starobylého, ukázal Ivšić (Prace filol. ofiar. Janu Baudouinowi de Courtenay 77), že tu jde o anaptyktické *u* uprostřed obtížné skupiny souhlásek *džd*, což bude asi nejsprávnější (tak soudí také Noha Čas. Mat. Mor. 50, 1926, 20). Před tím Vondrák O mluvě Jana Exarcha 29, Aksl. Gram.[2] 112 myslil, že *u* je tu za starší *o*, vzniklé vokalisací jeru. — Kromě toho má *duždevъ* ještě tu zásadní vadu, že v první jeho slabice jde o starý praefix *dus-* (držíme se ovšem důmyslné etymologie Vaillantovy a Trubeckého, že *dъždjь* < **dus-dju-s* ,špatné počasí'), v němž takovéto starodávné střídání (jako je *u*/*ou̯*) nikdy nebylo. Ale i kdybychom připustili věc téměř nemožnou, že se tam střídání vyvinulo sekundárně v nejstarší době slovanštiny (jinde v ide. totiž není o tom nic známo), znamenalo by to, že se tak stalo vlivem nějaké silné analogie, ale pouhé dva tři příklady (*surovъ*, *jistovъ*) k takovému tvrzení nestačí. Meillet MSL 14, 1907, 364 také pochyboval o tom, že by *u* v *duždevъ* představovalo stupeň *ou*. Pokládal je za náhodnou chybu.

Podobná slovotvorná vṛddhi se hledá také v subst. *vědro* (nádoba na vodu), viz Meillet MSL 14, str. 342, a ve **võrnā* (rus. *voróna*, č. *vrána*) proti **võrnъ* (rus. *vóron*); *vőrnā* bylo prý původně adjektivum utvořené od *vornъ* (Barić, Beiträge zur slav. Sprachgeschichte 60 n.), k tomu srv. tytéž MSL str. 195.

[2]) Jiné výklady vycházejí od **ēlu-* (vlastně *ēleu̯-* nebo *ōleu̯-*), alternujícího kvantitativně s **eleu-* v armen. *elevin* ,cedr' (v. Trautmann Bsl. Wb. 69). Toto srovnání je jistě nesprávné, a nic mu nepomůže ani spojování ř. *κέδρος* s prus. *kadegis* ,jalovec' atd. (k tomu viz nyní Fohalle, Mélanges Vendryes 166 n.). Ostatně arménština má vlastní název pro jalovec *gi*. — Goŕaev Sravn. etim. sl. rus. jaz. 103 spojil *jalovьcь* s *ëlkij*, hledě k hořké chuti plodů, ale na *jalovъ* nepomyslil. — O různých jménech jalovce v ide. viz Schrader RL[2] 2, 612. — Zde je třeba se zmíniti o lit. *ẽglius* (dial. *ẽglis*), jež Trautmann 69 srovnává se slovan. *jalovьcь*. Domnívá se, že předpokládaný základ **ēlus* je tu přetvořen vlivem slova *ẽglė* ,jedle' asi tak, jako polsky je *jadłowiec* vedle *jałowiec* podle *jodła*. Ve skutečnosti je to však asi tak, že *ẽglius* je pouhá r e p r o d u k c e polského slova *jadłowiec*, tedy nikoli staré prapříbuzné slovo (litevština má

jak bylo řečeno, na pastvinách, zkrátka na místech jinak neúrodných. Starodávní pastýři měli jalovcové keře před očima celý rok. Při tom jim nebyla jistě tak nápadná jalovost jedněch exemplářů a úrodnost druhých (to by se jméno hodilo jen pro jednu polovic jejich), jako spíše to, že plody jsou velmi dlouho n e z r a l é, stále krásně zelené, a to od podzimu přes celou zimu, přes jaro i léto do přištího podzimu, kdy teprve dostávají temněmodrou barvu a svou charakteristickou »borovičkovou« chuť.[1])

Tato vlastnost byla starým Slovanům nápadna také ještě proto, že si všímali jalovce, jehož užívali (asi jako jiní národové) jako přísady při vaření piva, aby bylo hořké.[2]) Můžeme říci, že *jalovьcь* vzniklo z *jalovъ* už tehdy, kdy *jalovъ* mělo ještě původní význam trpký = nezralý. Proto je *jalovьcь* starší slovo nežli *jalovica* ‚juvenca' < ‚nezralá' (kde *jalovъ* už význam ‚trpký' ztratilo), a tím také pochopíme, proč vedle všeslovanského *jalovica* není rovněž všeslovanský název **jalovьcь* pro mladé býky. Prostě proto, že už tu bylo s t a r š í slovo *jalovьcь* juniperus (= ‚nezralec'), a tak jazyk na označení mladého býka musil sáhnouti k adj. *junъ*. Toliko u jižních Slovanů vzniklo takové maskulinum (schrv. *jalóvac*, slovin. *jálovəc*), ale to bylo možno jen tím, že už dříve tam zaniklo staré jméno rostliny juniperus a nahrazeno novým (s. *brȉnja*, slovin. *brìn*).[3])

V ruštině je ještě jedna zvláštnost: bělorus. se juniperus jmenuje *jeľeńec*, pod. i v dialektech velkorus. Toto slovo, jehož stáří neznáme, bychom mohli nyní odvozovati i od kořene *jel-*, jak se ustálil v adj. *jelъkъ* a v slovesích od něho odvozených. Ale detaily slovotvorného procesu nejsou zde jasné.[4])

*

přece staré baltské slovo v *kadagỹs*, *kadugỹs*, srv. prus. *kadegis*, lot. *kadegs*, *kadekis*, *kadegis* a j.). To znamená, že celé heslo *ēlu-* v Trautmanově slovníku t ř e b a š k r t n o u t i. — O latinských jménech jalovce viz Brüch IF 40, 1922, 196 n.

[1]) Když jsem učil v N. Městě nad Váhem, pozoroval jsem jalovec po celý rok. Na karpatských pastvinách ho roste ohromné množství. Přiznám se k své hanbě, že jsem o té jeho význačné vlastnosti nevěděl, a bylo mi to tím nápadnější, když ani přes zimu, ba ani do léta ty bobule nedozrály. Jiným keřům a stromům shodí listopadové větry jejich poslední plody, jedině jalovec zůstává obsypán zelenými bobulkami, mezi nimiž se modrají loňské, a neublíží jim ani mrazy ani nejprudší větry.

[2]) Podle Hahna (na uv. m.) ještě před nedávnem dělali ve východních Prusích pivo z jalovcových plodů a z pražených mrkví, jež polili vřelou vodou. Reinhardt Kulturgesch. d. Nutzpflanzen 703 píše, že se v sev. Německu, Dánsku a Skandinavii ještě r. 1477 užívalo k dělání piva rozmačkaných bobulí jalovce.

[3]) U Bernekera čteme také čes. *jalovec* ‚býček', ale v slovnících jsem ho nemohl nalézti.

[4]) Brückner KZ 45, 1913, 31n. vykládá začáteční *je-* jako dubletový tvar místo *ja-* (srv. pol. *jałat* a *jełat* ‚blázen', *jaręb-* a *jeręb-*). Ale není to tak jednoduché, a sufixální poměry nejsou stejné.

Když přehlédneme to vše, nebude trvám pochybnosti o tom, že *jelъkъ* i *jalovъ* pocházejí od *olъ*, a že vznikla ta adjektiva (jistě aspoň *jelъkъ*), jak tomu nasvědčuje jejich starobylý způsob tvoření, už v té době, kdy *olъ* bylo ještě samo adjektivem, to jest v době samých počátků samostatného života slovanštiny, ne-li dříve. Bylo-li však *olъ* v slovanštině (aspoň na počátku) cítěno ještě jako adjektivum, pak nemůže být přejato z germánštiny.

Až dosud nebyla řeč o původní formě toho kořene. Mluvilo se o pův. *alu-*, kde je na počátku *a-*, jak ukazuje latina a řečtina. Poněvadž baltské a germánské jazyky mají též *a-*, předpokládalo se pro slovanštinu mlčky také původní *a-*. Pokud je nám známo, pouze J. Loewenthal připadl na kombinaci *al-/el-*.[1]) Třebaže nepřijmeme takovýto výklad našeho kořene, přece snad lze uvažovati o možnosti ablautového kořene *el-/ol-*, i kdyby se to zdálo na první pohled sebe nemožnější. Slovanské *jelъkъ* může předpokládati staré *el-*, tvary baltské a germánské mohou býti též z *ol-*. Latina a řečtina mají ovšem zřetelné *a*. Ale uvažme, že *a* stojí v ide. systému samohlásek jaksi stranou, že to je hláska téměř výjimečná, objevuje se za okolností zvláštních, zvláště ráda stává na počátku slov.[2]) A tak bychom mohli dokonce pokládati lat. a ř. *alu-* v tomto případě za speciální formu kořene *el-/ol-*. Kdyby tomu tak bylo, zařadilo by se sem bez nesnází i lot. *jels* ‚roh, ungar, ungekocht, unreif' (jež se obyčejně spojuje s *jalovъ*), předpokládající původní *el-*. Ale i kdyby se tato domněnka o původní podobě kořene ukázala mylnou, neměnilo by se nic na tom, že slov. *olъ* je domácí a ne přejaté.

Tišnov. *V. Machek.*

---

[1]) Viz výše pozn. 1. na str. 213. — Nejnověji ve W&S 9, 1926, 182.

[2]) »...au commencement de mot certains *e* se trouvent colorés en *a* dès l'époque de la communauté indoeuropéenne«, praví Kuryłowicz (Symbolae gramm. in hon. J. Rozwadowski 1, 96), jenž se pokouší o výklad toho zjevu.

Из жизни языка социальных групп.

(О языке тшебовских гимназистов).

В настоящее время оживился интерес к изучению социальной стороны языка в его, по терминологии Де-Соссюра, синхроническом разрезе, в частности — больше внимания уделяется изучению конкретных языков отдельных социальных групп, как в целях чисто лингвистических, так, особенно, и в целях практических — школы,[1]) газеты,[2]) казармы.[3]) Пожалуй это имеет свои общие причины в оживлении интереса к социальным проблемам, частью поставленным, частью обостренным событиями последних лет — мировой войной и следовавшими за ней революциями, гл. обр. — русской.

Для подобного изучения современный нам русский язык представляет исключительно богатый материал.

Революция нарушила спокойную, традиционную жизнь языка, взвихрила языковую стихию и теперь, при ее новой консолидации, мы являемся свидетелями чрезвычайно интересных фактов в жизни языка вообще: усиленное словотворчество и тенденции в нем; интерференция значений, их расширение и сужение; взаимодействие языков разных социальных групп; стихия и рационализация в языке и т. п. лингвистические факты, доступные наблюдению в малом отрезке времени — роскошь, в лингвистических исследованиях не часто встречаемая.[4]) Эти факты ожидают своих дальнейших собирателей, классификаторов и истолкователей. То, сравнительно немногое, что сделано в этом направлении, указано в наиболее полных работах по языку революционных лет — Мазона (André Mazon, Lexique de la guerre et de la revolution en Russie [1914—1918]. Paris. 1920), Селищева (Язык революцион-

---

[1]) Напр., Г. Виноградов, Детские тайные языки. Сибирск. жив старина, 1926, вып. II.

[2]) Напр., статьи Г. Винокура в его книге »Культура языка«.

[3]) »Язык Красноармейца«, сб. М. 1928.

[4]) Ср. К. Державин, Борьба классов и партий в языке французской революции. Яз. и литература, т. II, вып. I. 1927.

ной эпохи. М. 1928) и Р. Якобсона (Vliv revoluce na ruský jazyk. Praha, 1921), но много фактов этого рода еще остается вне научного исследования просто потому, что факты эти надлежаще не зафиксированы и — кто знает — может быть вовсе исчезнут из лингвистического поля зрения, когда отойдут в историю социальные события, их вызвавшие.

Все исследователи языка русской революции отмечают ослабление старых традиций в языке социальных групп, более энергичное взаимодействие между ними, которое иногда определяется не культурным преобладанием той или другой из них, а их социально-политическим соотношением. Вот почему в языке интеллигенции современной России так много слов, ранее считавшихся вульгарными, уличными, блатными: интеллигенция — по крайней мере оффициально — уже не является законодательницей лингвистической моды.

Замечательно то, что вызванные революцией изменения в языке нашли свое отражение не только на территории нынешней России, но и вне ее, где звучит русская речь и где пользуются ею большие или меньшие, совместно живущие социальные группы, причем одинакова и тенденция в этих изменениях — ослабление языковой традиции, вульгаризация речи и в этом смысле понижение языковой культуры. Конечно, в эмигрантском языке, кроме того, будут еще и свои индивидуальные языковые явления, связанные с конкретной обстановкой ее жизни в разных иноязычных странах и с ее так сказать эмигрантской биографией, этапами жизни.

К сожалению, для изучения этих явлений до сих пор не сделано пока ничего.

Нам хотелось бы предложить некоторые наблюдения над языком учеников русской реальной гимназии в Моравской Тшебове в Чехословацкой Республике — наиболее оборудованной, обеспеченной и многолюдной из русских гимназий за рубежом.[1])

В языковом отношении важно отметить два факта: *a)* гимназия возникла в Константинополе, включив в свой состав

---

[1]) Основана эта гимназия в Константинополе, а в 1921 г. была взята Чешским Правительством на попечение, размещена в отдельном городке-лагере у Тшебовы в Моравии, отлично была обеспечена во всех отношениях и к 1929 г. дает уже 8 многолюдный выпуск своих учеников, большинство коих поступает в высшие учебные заведения Республики.

детей разных классов старых русских школ; эти дети принесли с собой в будущую Тшебовскую гимназию старые языковые навыки русских школьников, старую традицию школьного жаргона; *b)* с 1922 г. гимназия живет в собственном городке, окруженном немецким населением, с которым она в жизни почти не соприкасается.

*

Неудовлетворенность обычным разговорным языком в вопросах, наиболее близко касающихся личной жизни, всегда влекла ученика к собственному словотворчеству или созданию собственного жаргона. В этом отражается одна из основных тенденций языка вообще, когда, как выражается Bally, эмоция работает на обогащение словаря. То, что нас больше всего увлекает, имеет больше всего шансов на разнообразие называний; достаточно указать на ласкательные прозвища детей, любимого человека, животных и т. д., или, наоборот, ругательства. Часть словаря, относящаяся к понятиям, эмоционально окрашенным наименее константна, наиболее богата и разнообразна, как разнообразны, изменчивы и капризны сами чувства. В этой области с наибольшей силой проявляется творческая деятельность языка в смысле создания новых слов, стилей, жаргонов.

И русский школьник творил в области ему эмоционально близкой свои слова и свой жаргон; касались они почти исключительно обихода школьного, жизни школы.

За последнее десятилетие обстановка для русского школьника изменилась: он стал ближе к внешкольной жизни; чисто школьный обиход с его переживаниями уступил место иным переживаниям, более сильным; страх перед двойкой и уменьшением »поведения« тоже почти исчез; исчез или ослабел трепет перед строгим преподавателем и т. д. Все это, вместе взятое, отодвинуло у современного русского школьника по силе переживаний чисто школьное дело на второй план. Однако общая тенденция словотворчества для выражения эмоционально окрашенных понятий осталась. Стало быть лишь о б л а с т ь этих понятий получилась иной, как отчасти иными оказались и средства.

По количеству первое место в тшебовском жаргоне занимают слова для обозначения чистой эмоции восторга, типа обычного »отлично«, но именно т и п а, так как почти с каждым

из слов этого рода связан индивидуализирующий его оттенок. Таковы: *на ять, на пи, на дзец, на ю пи, смачно, сочно, чики, чекичю, шик-мок, цимис, фортово.* Для некоторых из них использованы наиболее трудные и ненавистные вещи школьной жизни, как ѣ старого правописания (естественно, что теперь *на ять* лишено внутренней формы, когда введена новая орфография, так что *на ять* — просто термин, этикетка), π и ξ математических формул. Большинство же из них — наследие прошлого, богато представленное в одной школе м. б. потому, что сборным по составу был основной ученический кадр гимназии, от которого идет традиция. Но есть элементы из позднейшей биографии гимназии: это *на пи фермач,* где старое *на пи* усилено английским very much »отлично«, что вместе дает, как бы *на пи* в превосходной степени.

Так же богато представлена противоположная, но не менее эмоционально заряженная категория слов-ругательств. В отличие от первой здесь почти все слова из уличного жаргона: *зануда, застёба, зитруха, псих, рахитос, шкет, халуйка, халупёный.* Мягче и иной по происхождению *верблюд,* совсем снисходительно *цыпочка* »чудак«.

Сравнительно велико число романтических слов и прежде всего — слов для обозначения самого процесса ухаживания. Если принять во внимание, что ухаживание и ученический флирт с известного возраста являются основной темой в жизни школьника, станет понятным относительно большое количество слов, связанных с этой стороной его жизни. Таковы *влопаться, втрескаться, втюриться, разводить шуры-муры, стрелять.* Для того, чтобы роман начался, нужно на себя обратить внимание, т. е. по тшебовски *дать пить, дать гвоздя, гваздануть, придавить* или просто *давить марку, давить фасон,* а то и просто *задаваться* и *фасонить.* Если в ухаживании постигла неудача, это значит, что неудачник *получил чайник* (»отказ«). Нужно сказать, что все эти слова, разные по источнику (напр. *давить марку* и *фасон* — юнкерское, *стрелять* — вообще военное) — старые слова из языка других русских социальных групп. Новее, кажется, самое объяснение в любви при помощи цифрового шифра: »*я вас 12, 32 и 2, 12, 32,* т. е. я вас *л* (12 буква алфавита) *ю* (32-я) *б* (2-я) *л* (12) *ю* (32)«.

Эмоционально окрашены императивные понятия и для выражения их в тшебовском жаргоне встречаем ряд глаголов,

которые только и известны жаргону в форме повелительного наклонения, как *вались, катись, отскочь, сыпься* со значением »иди прочь« или *заткнись, закройся, закрой гудок* со значением »замолчи«.

Конечно, и такое понятие как курение в ученическом обиходе эмоционально окрашено, благодаря целому ряду переживаний — преследование в некоторых классах, трудности в обеспечении себя табаком, наконец, удовольствие, получаемое от наркотического возбуждения и т. п. Наибольшее отражение в словаре нашло второе из указанных обстоятельств. Просить окурок это *стрелять бычка*, который в зависимости от размеров может быть просто *бычок*, или *фабрика* »меньший бычок, почти у гильзы«, или, наконец, *производная*, где собственно остался один мундштук, а табак — лишь абстракция, математическая величина, *производная*.

Эмоциональные переживания, связанные со школьным возрастом, группируются еще около одной темы — молодечества, храбрости, героизма и т. п., которые часто своеобразно понимаются и принимают иногда странные формы. Прежде всего это известное пренебрежение к установившимся нормам приличия, грубость, которая в известной степени всегда была свойственна ученической среде и которая нашла свое отражение и в языке. Сюда попало то, что обычно в интеллигентной среде считалось вульгарным — слова уличного жаргона всяких социальных отбросов, аккорды так называемой блатной музыки. И раньше подобное явление имело место, но в размерах значительно меньших чем теперь. После революции это едва ли не самое характерное явление в языке русского школьника, который имел постоянный источник блатных слов в общении с беспризорными.[1]) Обстановка жизни русской школы за революцию тому содействовала. Но распространению этих лингвистических навыков не было серьезных препятствий: в русской школе за пределами СССР, не имеющей прямых связей со школой Советской России, в изолированной лингвистически обстановке слышны блатные аккорды. Есть они и у тшебовских гимназистов.

Часть блатных слов привезена была еще из России и хранится как устная школьная традиция; часть же несомненно проникла в ученический жаргон позднее.

[1]) Ср. А. М. Селищев op. cit. §§ 46—58.

Сюда относятся слова, обозначающие воровские понятия. Таковы: *зажать, слимонить, слямзить, спереть, спулить, стибрить* »украсть«, у которых (кроме *зажать*) функцию семасиологического определителя имеет префикс *с*-, указывающий на действие, производящееся с поверхности чего нибудь. Сюда же примыкают слова со значением »убежать« *драпать, смыться, ушиться, улизнуть*, или местного тшебовского производства — *паснуть* из терминологии футболистов (*паснуть* »передать при игре мяч«), также *наладить* »выгнать кого нибудь«. Понятие »драться, бить« определяется в тшебовском жаргоне словами *гвоздить, лускать, накастылять, навернуть, сунуть, приварить, спустить сапло*, хотя вне этого ряда, т. е. по источнику не блатное, а местное, как и *паснуть*, — *шутнуть* из терминологии футболистов (*шут* англ. *shot* »удар по голу с большого расстояния«). — Обычному »есть, кушать« тшебовский гимназист предпочитает блатные *рубать, шамать*; последнее дало своеобразное субстантивное образование *шаманалка* »пища«. Ввиду того, что съестные припасы можно купить в расположении лагеря у Ганзюк, понятие »наесться« может быть выражено и словом местного производства — *наганзючиться*. — В непринужденной товарищеской беседе тшебовский гимназист не о б м а н ы в а е т, а *берет на арапа* (одесское портовое), *берет на понт, брындит, наливает* или, наконец, *садит на кохтю*. — Блатные по происхождению в жаргоне *засыпать* »поймать кого нибудь в ч.-н.«, *зыриться* »смотреть«, *стрёмать* с тем же значением, *стоять на шестой* »сторожить« (опасность! — *шесть*), *кёмать* »спать«, *ржать* »громко смеятся«, *скаучить* »плакать«, *шпалер* »револьвер«; »продать« это, конечно, *загнать*. Советская *буза* »ерунда« тоже имеется в описываемом жаргоне. — Тшебовских гимназистов в их обиходной речи не вполне удовлетворяют обычные л и ц о, г о л о в а, р о т, н о г а, г л а з; рядом с ними жаргон знает *сапло, хряпло, ряшка* »лицо«, *буёк* »голова« (одесское, из морского жаргона), *гудок* »рот« (тоже), *лыжи, оглобли, циркуля* »ноги«, *флюгер* »нос«. Местного футбольного производства *кикало* »нога« (потому что *кикать* »бить ногой мяч«).

Кроме этих двух словарных групп тшебовского жаргона, есть еще много отдельных слов, разных по своему происхождению.

До приезда в Моравскую Тшебову гимназия была в Константинополе и потому часто теперь вместо обычного н е т гим-

назист говорит в товарищеской беседе турецкое *ёк,* которое от 1922 г. сохранила ему традиция еще из Константинополя.

Если ученик неудачно сострил, то кто-нибудь из его приятелей-слушателей подымает руку и говорит *пощикочи́,* желая тем показать, что только при таком вспомогательном средстве острота будет смешной. А дальше это »пощикочи« эмансипируется от указанной обстановки, изменяет свой фонетический облик в *пощи́кочи́* и является словесным знаком нового понятия »за идиота принимаешь«.

Инкогнито на языке тшебовских гимназистов это *дядя Пихто,* известный из детской »дразнилки«: — Кто? — Дедушка Пихто, да бабушка Никто.[1])

Есть и еще некоторые такого рода слова.

Слов, касающихся специфически школьных учебных понятий, в тшебовском жаргоне очень мало, и то в большинстве — это старые русские школьные термины. В этом отношении тшебовский жаргон гораздо беднее обычных ученических жаргонов, напр., русского до-революционного и, кажется, чешского, о котором теперь богатый материал собран под руководством проф. Карлова Ун-та Д-ра Вейнгарта. Все же можем указать *надраивать* »учить«, *наколоть* »выучить«, *наматывать* »догонять пропущенное«, *плавать* »плохо отвечать урок«, *индульгенция* »освобождение от уроков«; »провалиться на экзамене« конечно — *угробиться,* иначе и быть не могло после революции и гражданской войны, слово это оттуда. Если кому нибудь хотят сказать »успокойся«, то часто говорят школьное *садись.*

Интересно, что почти нет заимствований из чешского языка, что нужно отнести на счет местоположения гимназии в немецком районе.[2]) Можем указать только: *цвичить* »делать гимнастику, упражняться«, ч. *cvičiti* и *цвиченье,* ч. *cvičení,* что понятно при наличии среди гимназистов соколов и чеха-руководителя гимнастики;[3]) *прувод* »торжественное шествие, шествие вообще«, ч. *průvod,* укрепившееся и принятое, вероятно, потому, что самое понятие в обиходе русской жизни мало обычно, так как ближайшее шествие — очень торжественно, крестный

[1]) О. И. Капица, Детский фольклор. Л. 1928.

[2]) В другой русской гимназии в Чехословакии, именно Пражской, дело, кажется, обстоит с этим иначе, судя по словам преподавателя русского языка там Д-ра Краснопольского.

[3]) Сюда же должно отнести *цвички* »гимнастические туфли«, ч. *cvičky.*

ход — узко церковное. демонстрация — специфически революционное; *хитать* »хватать« при ч. *chytiti* из гимнастической терминологии; наконец, *танчить* »танцевать«, принятое, пожалуй, в связи с повышением интереса к этому вообще, как раз по времени совпавшим с обоснованием гимназии в Чехии — чешский термин и укрепился.

Что касается прозвищ преподавателей и воспитателей, то, как это ни странно, жаргон ими чрезвычайно беден; в этом отношении нынешние гимназисты по своей лингвистически-номинативной изобретательности гораздо беднее бывалых русских и своих чешских коллег. Впрочем, м. б. здесь есть и иные причины: что удобно было и позволительно дома, то не годится вне.

Закончу свою заметку некоторыми выводами: *a)* наименее удовлетворительными для тшебовского гимназиста в литературном разговорном языке оказались слова, обозначающие эмоционально окрашенные понятия из ученической жизни, но не относящиеся к школьному обиходу в собственном смысле, так как этот последний в общем потерял для русского школьника былую исключительность и важность, уступив место переживаниям иным, более сильным; *b)* почти половина собранных слов по своему происхождению — слова »блатного« жаргона, усвоенные и употребляемые в порядке пренебрежения общепризнанными нормами, характерного для юношеского возраста и отличающегося в наше время — разрушения старых школьных и социальных традиций в России — особыми чертами; *c)* несмотря на полную оторванность от родной языковой среды, почти нет в жаргоне иноязычных заимствований.

Прага.

Л. Копецкий.

Razvoj značenja partikuli *i* u srpsko-hrvatskom jeziku.

Pregled sadržaja.

1. Partikula je slavenska *i* u kopulativnom značenju tako utvrđena, da se teško pomišlja, da joj to značenje ne bi bilo pravo i prvobitno. Ja ipak mislim, da nije tako. Kad sam se uvjerio, da je partikula stind. *ča*, grč. *τε* i *καί*, lat. *-que* istom od koncesivno-hipotetičke postala kopulativna (v. moje Beiträge zur griech. Satzlehre, str. 5—7., 9—10.), stao sam istraživati, nije li se sa slavenskim *i* isto dogodilo, pa sam našao, da je doista tako bilo. Resultat svoga istraživanja hoću u ovoj raspravi da prikažem, gdje ću za osnovu uzeti jezik srpsko-hrvatski, ali ću se do zgode obazreti i na druge jezike slavenske i neslavenske.

2. Slav. *i* držim za identično s grčkim *εἰ*, a za značenje, od kojega treba polaziti, da bi se razvoj jedne i druge partikule razumio, uzimam aseverativno. O aseverativnom značenju grč. *εἰ* isp. rečene moje Beiträge str. 2—3. Aseverativno pak *i* nalazim u ovakovim srp.-hrv. primjerima: Domaćica reče: »Ali je hajvar skup: oka po to i po to,« a gošća odgovori: »*I* vrijedi.« N. posl.[1]) str. 95. — Onda on zamislivši se malo reče sam sebi: »E lijo, sad si dolijala!« Čuvši to car odmah poviče: »Pogodi, lisica *i* jest!« ib. str. 78. — Ako cvili, *i* nevolja mu je. N. pj. II, 320. — Od koga je, *i* dosta je. N. posl. Akad. rj. III. str. 758.[b] i 764.[b].

3. Od aseverativnoga značenja postaje koncesivno; n. pr. *I* voda zube ima. N. posl. — *I* ćorava koka nađe zrno. ib. — Dajte nama

[1]) N. posl., N. pj., N. prip. znači Vukovo bečko izdanje Srpskih nar. poslovica, pjesama, pripovijedaka (2. izd.). Drugi se citati slažu s onima u rječniku Jugosl. akademije (Akad. rj.), otkuda su primjeri ponajviše i uzimani.

do dvije (djevojke). »Ne damo vam ni jedne; a kamo li do dvije.« A mi ćemo *i* silom. N. pj. I, 2. — Bolje zlato *i* poizderato nego srebro iz nova kovato. N. posl. — Kazuj groblje, gdi je ukopana, da ja vidim *i* mrtvu devojku. N. pj. II, 23. Akad. rj. III. str. 761^{b}—763^{a}. Aseverativno pak značenje prelazi u koncesivno po tom, što se nešto potvrđuje samo zato, što se hoće da ustvrdi nešto, što je tomu suprotno, pa bi se moglo misliti, da se tim, što se to tvrdi, ono prvo poriče, da ta tvrdnja za ono prvo ne vrijedi. Da bi se takova misao uklonila, ono se prvo potvrđuje. Tako bi se moglo misliti, da se tvrdnjom, da nađe zrno, koki, za koju se to kaže, atribut: ćorava poriče, da ta tvrdnja za ćoravu koku ne vrijedi, pa se tim, što se taj pojam naročito potvrđuje, ističe, da se on tom tvrdnjom ne poriče, da on toj tvrdnji ne smeta. Budući da potvrđivanje ima samo tu svrhu, da se istakne, da se neki pojam kod neke tvrdnje ne poriče, da on toj tvrdnji ne smeta, to je potvrđivanje upravo dopuštanje, koncediranje, koncesija, te *i* dobiva značenje ‚dopuštam'. Smisao naše rečenice mogao bi se ovako prikazati: ‚Dopuštam, da je neka koka ćorava, pa ipak za nju tvrdim, da nađe zrno'.

Ovamo idu i pronominalni izričaji s *i*: *itko*, *igdje*, *ikad* itd., jer naglašeni indefinitni pronomen n. pr. *tko* znači: ako *a*, ako *b*, ako *c* . . ., a *i* pokazuje, da su hipotetički pojmovi, kojih je pronomen sinteza, koncesivni: *itko* = i ako *a*, i ako *b*, i ako *c* . . . Primjer: Bojiš li se do Boga *i koga?* N. pj. II, 29. (ni *a* ni *b* ni *c* . . . ne smeta, da ne bi on bio taj, koga bi se onaj, koji se pita, imao bojati). Više primjera u Akad. rj. kod pojedinih tih riječi.

Kao pojedina riječ može se i čitava rečenica kao koncesivna označiti potvrđujući je zato, da se može nadovezati druga (glavna) sa suprotnim smislom; n. pr. *I* sunce prolazi kroz kaljava mjesta, ali se ne okalja. N. posl. — *I* do sad su knjige dolazile, al' se nisu sa suzam' učile. N. pj. II, 137. — Ovamo može ići i ovaj primjer: *I* go *i* bos, i još mu je zima. N. posl. Akad. rj. III. str. 762^{a}, a., 760^{b}. Isp. i ovakove primjere iz ruskoga jezika: *I* těsenъ domъ da prostorenъ onъ. Dalь Posl. 41. — Sъ durakomъ *i* najdešь, da ne razdělišь. ib. 70. *I* izъ odnoj peči, dą ne odni kolači. ib. 467. (Maretić, Veznici, u Radu Jugosl. akad. 86. § 56.)

4. Prvobitno onaj, što govori, pojam, koji dopušta, sam drži za realan (r e a l n a k o n c e s i j a). Tako ako kaže (isp. § 3.): *I* voda zube ima — misli na vodu uopće, t. j. na svaku vodu, dakle na nešto, što drži za realno. Ili ako kaže: *I* ćorava koka nađe zrno —

ne kaže to za koku uopće, koja je eventualno (može biti) ćorava, nego samo za onu, koja je doista ćorava; *i* ne pripada samo pojmu »ćorava«, nego pojmu »ćorava koka«. Ali poslije se dopuštanje protegnulo i na pojmove, koje onaj, što govori, ne treba sam da drži za realne, dakle na hipotetičke (hipotetička ili eventualna koncesija). Tako ako kaže: A mi ćemo *i* silom — ne misli, da će oni doista silom, nego eventualno, ako im ne dadu dvije djevojke. Ili ako kaže: Bolje zlato *i* poizderato nego srebro iz nova kovato — ne misli, da je baš poizderato zlato bolje od srebra iz nova kovata, nego da je zlato uopće, pa bilo eventualno poizderato, bolje od srebra iz nova kovata; *i* pripada samo pojmu »poizderato«. Ili ako Radanović Lazo želi vidjeti *i* mrtvu djevojku, on ne drži sam, da je djevojka doista mrtva, nego je to samo od majke njezine čuo, pa tim, što dopušta ono, što je majka kazala, to kao istinito samo prihvaća ne pitajući, je li to istina, da može nadovezati svoju izjavu, da djevojku svakojako želi vidjeti, pa eventualno i mrtvu; *i* pripada samo pojmu »mrtvu«.

Mjesto da *i* postane koncesivno, može se, naročito kod eventualne koncesije, za koncesivnost upotrijebiti posebna partikula *ako* (§ 5.), a *i* ostati aseverativno. Ali onda se jedna rečenica rasklapa na dvije: na koncesivnu protazu s *ako* i na njezinu apodozu s *i*, koje dobiva značenje ‚ipak‘: da ja vidim djevojku *i*(pak), *ako* ću je vidjeti mrtvu.

Pronominalni izričaji kao *itko* (§ 3.) eventualne su koncesije, a čitave rečenice s *i* (§ 3.) realne.

5. Kao *i* tako se upotrebljava u koncesivnom značenju i *ako*, koje je također od aseverativne partikule postalo koncesivna[1]); n.

---

[1]) U *a-ko* držim da su složene dvije partikule *a* i *ko*, od kojih je svaka prvobitno morala imati aseverativno značenje. *A* ima aseverativno značenje v srp.-hrv. jeziku u mnogim primjerima, što ih je Daničić u Akad. rj. svrstao pod primjere za interjekciju *a* (I. str. 1. i d.); n. pr. *A* lipe pravde! *a* lipa načina jednoga kralja! N. Palikuća 15. — *A* lud ti si, moj brate Stjepane. N. pj. Petran. I. str. 242. — Moja ruko, zelena jabuko! gdje si rasla, gdje l' si ustrgnuta! *A* rasla si na krioci mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom! N. pj. II, 307. — A on joj se krivo kunijaše: *A* nijesam, moja mila kumo. N. pj. II, 20. Isp. i *da* u Akad. rj. II. str. 212b i d. A kao koncesivno-hipotetička partikula javlja se u obliku disjunktivnoga *a-li* i disjunktivnoga *ja, ja-li,* jer držim, da to *ja* ne mora biti samo turska riječ, kao što Miklošić i Berneker misle, kad ne dolazi samo u disjunkciji kao u turskom jeziku, nego i u aseverativnom i adversativnom značenju (kao *a;* v. Akad. rj. s. v.) i kad oblik *ja* pored *a* poznaje već jezik staroslovenski u značenju ‚i‘ (v. Miklošića Lex. s. v.). Ovamo ide i stsl. češ. polj. konces.-hipot. *a by*. Često dolazi konces.-hipot. *a* u složenicama; isp. osim *a-ko* još stsl. *a-šte,* malorus. *a-šč,* češ. polj. *a-če, a-č,* a i slov. hipot. *e-če* (friz. spom. *eche, ecce)* najprirodnije mi se čini shvatiti kao *a-če.*

Teže je prosuditi drugi dio složenice *a-ko*, koji dolazi i sam kao konces.-hipot. partikula u malorus. *ko-b(i)* i rus. *ka-by* (isp. Maretićeve Veznike u Radu

pr. *Ako* je dimnjak na krivo, upravo dim izlazi. N. posl. *Ako* kore, ne more. ib. Akad. rj. I. str. 50[a] i d.

6. Češće nego samo *i* i samo *ako* upotrebljavaju se u koncesivnom značenju kombinacije od te dvije partikule: *ako i* i *i ako*. Izričaj *ako i* držim da je postao tako, da se pred rečenicu potvrđenu aseverativnim *i* metnulo koncesivno *ako*; n. pr. *Ako* je *i* go, ali je soko. N. posl. — Mator kurjak *ako i* ne može ujesti on opet škloca. ib. — Vala *ako* si baš i car, ja ti opet ne ću kazati. N. prip.

Jugosl. ak. 89. § 109.) Jamačno je *ko* postalo od iste pron. osnove kao *če*, koje osim navedenih složenica dolazi i samo u konces.-hipot. značenju: slov. bug. *če*. Ali se pita, koja je upravo ta pron. osnova. Budući da u stind. dolazi *ča* u hipot. i u kopulat. značenju, a s njim je identično grč. i lat. hipot. i kopulat. *τε*, *-que*, to je pak moglo postati samo od osnove *$*q^uo$-* s labiovelarnim q^u, drži se, da je i *če* = *$*q^ue$*, pa po tom od iste osnove i *ko*. Ali je teško *če* dijeliti od stsl. koncesivnoga *cě*, koje je identično s grčkim *καί*, to pak nije moglo postati od *$*q^uai̯$* s labiovelarnim q^u, nego od **qai̯* s čistovelarnim *q*. Po tom postaje izvođenje oblika *če* od osnove s labiovelarnim q^u sumnjivo, jer bi i **qe* s čistovelarnim *q* dalo *če*. Da bi bila teškoća još veća, dolazi još stsl. *a-šte* sa svojim zagonetnim *-šte*, u kojem se također traži *če*. Za *ašte* sam u Archivu f. slav. Philol. 29. str. 625. predložio izvođenje od *$*ōd-q^ue$* (*asče*, *ašče*, *ašte*), pa kod toga mišljenja ostajem i danas. Po tom bi kompozicija, što je nalazimo u *a-šte*, bila postala još u indoevropsko vrijeme. Značenje joj pak tumačim tako, da je **od* (ablat. pron. osnove *o-*, stind. *āt* ,zatim, ipak,' sl. *a*), kad je kompozicija postala, bilo aseverativno, a *$*q^ue$* hipot. partikula, tako da je *$*od-q^ue$* značilo upravo ,i ako', koje je značenje lako prešlo u hipotetičko. *-šte* nalazimo i u stsl. *je-šte* srp.-hrv. *jošte*, koje je jamačno postalo od *$*ăd-q^ue$* sa značenjem ,i k tomu' (**ad* ,k tomu', q^ue ,i'; isp. avest. *at-ča* ,i', lat. *at-que* od *ad-que;* v. Bernekerov Et. Wörtb. s. v.); tu dakle *$*q^ue$* nije više bilo hipotetičko, nego već kopulativno, a da se *$*q^ue$* već u indoevropsko vrijeme moglo naláziti i u hipotetičkom (,ako') i u kopulativnom (,i') značenju, koje ima i stind. *ca*, mislim, da se može dopustiti.

Od toga *-šte* = *$*q^ue$*, koje potječe od pron. osnove *$*q^uo$-* (s labiovelarnim q^u) i koje ne dolazi samo, nego u kompozicijama, koje su već u indoevropsko vrijeme postale, valja razlikovati *ko*, *če*, koje potječe od pron. osnove **qo-* (**qo-*, **qe-* s čistim velarom *q*), a dolazi i samo (malorus. *ko*, slov. bug. *če*) i u kompoziciji s *a*, koje je isto kao u *a-šte* (**od*), ali je kao samostalna riječ na slavenskom zemljištu moralo izgubiti *-d*; no i te su kompozicije postale na području slavenskih jezika. Pa i partikule *ko*, *če* morale su prvobitno biti aseverativne, tako da im je koncesivno-hipotetičko značenje istom sekundarno. Što se napose tiče našega *a-ko* (a to vrijedi i za *a-če*), prvobitno mu je značenje jamačno ,i ako' (*a* = ,i', *ko* = ,ako'), od kojega je izišlo samo hipotetičko ,ako' (isp. § 10.). Po tom bi čovjek rekao, da se najprije upotrebljavalo samo u eventualnoj koncesiji (n. pr. Majmun je majmun, *ako* ćeš ga u kakve haljine oblačiti. N. posl. — Hoću isti Arapu na mejdan, hoću isti, *ako* doći ne ću. N. pj. II, 464. Akad. rj. I. str. 50.), pa otuda prešlo i u realnu, čemu su primjeri navedeni u tekstu. Ako je *ko*, *če* doista onako postalo, onda je srodno ne samo sa stsl. *cě* i grč. *καί*, nego i s grč. *κε(ν)* (stind. *kam*), koje je također moralo postati od **qe(m)* s čistim velarom, a značenje mu je aseverativno (kao i njegovu drugu *ἄν*; isp. moje Beiträge § 14, a.), pa sa slav. naveskom *-ko*, *-ka*, *-ke* (isp. srp.-hrv. mene-*ka*, danas-*ke*, rus. imperat. pokušaj-*ka*), a i s prijedlogom *kъ* (isp. Brugmanna Grdr. ² II, 3. str. 1000.) Ali sve su to više manje nagađanja. Do sigurnih je resultata tu teško doći. Naročito spominjem, da mi je bilo stalo samo do toga, da prikažem jedno moguće rješenje toga pitanja, a ne da ga iscrpem. Stoga i nijesam spominjao svih različnih oblika naših riječi, što ih u pojedinim jezicima nalazimo, nego samo najglavnije.

268. Akad. rj. I. str. 54.[b] i d. Prvi od navedenih primjera, uzevši ga kao tipičan, prvobitno je glasio: *I* go je, ali je soko. *I* je aseverativno, a dok je sámo, može se shvatiti i kao koncesivno (§ 3.). Ali kad je pristupilo koncesivno *ako*, zadržava *i* aseverativnu prirodu. Smisao je dakle: ‚doista je go, to dopuštam, ali je soko'. Tako valja razumjeti i druge primjere. Budući da je u rečenici aseverativno *i*, ne može se koncesija shvatiti drukčije nego kao realna.

Drukčije je s *i ako*. I tu je *ako* koncesivno, a *i* aseverativno, ali *i* pripada apodozi te uz koncesivnu protazu dobiva adversativno značenje ‚ipak' (isp. § 4); n. pr. *I ako* ću glavu izgubiti, hoću sjutra napraviti, da se mira nigda ne učini. N. pj. IV, 324. Akad. rj. I. str. 54.[b] i d. Smisao je: ‚dopuštam, da ću glavu izgubiti, ipak hoću napraviti'. Budući da *i* ne pripada protazi (kao kod *ako i*), može koncesija sama po sebi biti i realna i eventualna. Ali pošto je *ako* inače (§ 10.) dobilo značenje hipotetičke konjunkcije, stalo se i ovdje shvaćati tako, pa stoga se *i ako* upotrebljava ponajviše u eventualnoj koncesiji, te *ako* pokazuje, da ono, što se dopušta, nema realnu, nego samo eventualnu (hipotetičku) vrijednost. Promjena značenja kod *ako* dala je povod promjeni značenja i kod *i*. Budući da je apodoza kao apodoza koncesivne protaze apsolutna te vrijedi za sve slučajeve, a u protazi se jedan od njih i spominje, i to takav, da je onomu, što se u apodozi izriče, osobito suprotan, to se *i* stojeći pred *ako* shvatilo tako, da se njim vrijednost apodoze, kojoj i pripada, proteže i na taj slučaj, t. j. dobilo je kopulativno značenje [‚ne samo u drugim slučajevima, nego (pače) *i* u tom, ako ću glavu izgubiti, hoću napraviti']. A tim, što se vrijednost apodoze proteže i na takav slučaj, razumije se, da ona vrijedi i u slučajevima, koji su joj manje suprotni, čim se njezina apsolutnost ističe.

Pa i u *ako i* shvatilo se *ako* kao hipotetičko, čemu je opet bio posljedak, da je i ovdje *i* postalo kopulativno. Budući da je apodoza apsolutna te vrijedi, uzeo se u protazi za uvjet ili upravo dopustio se (jer uzeti nešto za uvjet znači to dopustiti) makar koji pojam, a u protazi se dopušta pojam, koji je apodozi osobito suprotan, to se *i* shvaća tako, da se dopuštanje proteže i na taj pojam. A po tom se razumije, da apodoza vrijedi i onda, ako se dopuštaju pojmovi apodozi manje suprotni, čim se opet njezina apsolutnost ističe. Tako i ovdje *i* dobiva kopulativno značenje [‚dopuštam, da ima ne samo druga kojekakva svojstva, nego (pače) **i** to, da je go, ali (uza sve to tvrdim, da) je soko'].

Ali tako se i prvobitna razlika između *ako i* (realna koncesija) i *i ako* (eventualna koncesija) sve većma gubi pa izlazi druga, da se naime kod *ako i* dopuštanje proteže i na pojam, koji je apodozi osobito suprotan, a kod *i ako* da se vrijednost apodoze proteže i na slučaj, koji joj je osobito suprotan. A ta je razlika manje znatna od one prvobitne. Stoga nalazimo često *i ako*, gdje bismo po prvobitnoj razlici očekivali *ako i*, i *ako i*, gdje bismo očekivali *i ako*, kod čega valja misliti i na to, da je često teško razlikovati jedan slučaj od drugoga. *Ako i* upotrebljava se poglavito onda, kad se kao dopušten hoće da istakne pojedini pojam, a *i ako*, kad se kao dopušten hoće da istakne sadržaj čitave rečenice. Evo par primjera: *I ako* sam bio u tamnici, dosta si me vinom napojio. N. pj. II, 277. (bez sumnje realna koncesija, dakle bi se očekivalo *ako i*). — *Ako* vam *i* kažem, ne ćete vjerovati. Vuk. Nov. zav. Luk. 22, 67. (*ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε*; koncesija je bez sumnje hipotetička, pa bi se očekivalo *i ako*). Isp. Akad. rj. I. str. 54.[b] i d.

7. Koncesivna rečenica može imati još i druge oblike. Budući da oni potkrepljuju ono, što je naprijed o koncesivnom značenju partikula *i* i *ako* rečeno, spomenut ću i neke (najobičnije) od njih. Tako može koncesivnost rečenice biti i nenaznačena; n. pr. Maleno je zrno biserovo, al' se nosi na gospodskom grlu; malena je tica prepelica, al' umori konja i junaka. N. pj. I. 378. (= ako je i maleno). — Mudar bješe vojvoda Momčilo, mudar bješe, al' se prevario. N. pj. II, 108. (= ako i mudar bješe). — Koncesivnost može biti naznačena: a) riječju *istina*, koja zastupa aseverativno-koncesivnu partikulu; n. pr. *Istina*, da je *nahija* riječ Turska ili Arapska, ali je posrbljena i poznata po narodu. Vukovi Gram. i polem. spisi III. str. 129. — (Zrno gorušično), koje je *istina* najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Vuk. N. zavj. Mat. 13, 32. (*ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων· ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν*). Isp. Rad Jugosl. akad. 134. str. 4. i d., Akad. rj. IV. str. 37[a] i d. — — b) riječju *doista*(*-o*) ili *zaista*(*-o*) (= istina); n. pr. Duh je *doisto* pripravan, ali put slaba je. F. Lastrić Test. 107.[b] Akad. rj. II. str. 580.[b] — — c) riječju *do-duše* (= duše mi = istina); n. pr. Kaže *do duše* u predgovoru neke razloge, ali oni niti su jasni niti su dovoljni. Daničić u Radu Jugosl. akad. 15. str. 179. Akad. rj. II. str. 485.[a] — — d) riječju *ravno* uz *ako* (*ako ravno* = *ako i*); isp. slov. *ravno* = ‚upravo, baš'; n. pr. *Ako ravno* svih dvanadeste duha s. bihu napunjeni, svaki za to osobitu u sebi imaše kripost. F. Glavinić Cvit. 220. Akad.

rj. I. str. 56.[a] — — e) riječju *prem* (= ravno), koja stoji ili iza *ako* ili pred njim (*akoprem* = *ako i*, *premako* = *i ako*); n. pr. *Ako prem* božji sin biše, ništar manje naučil se jest pokornosti. Anton Dalmatin, Hebr. 5,8. — *Prem ako* ga krivcem činjaše, ne rasrdi se na proroka. E. Pavić Ogled 269. — Niti se zastidi, *prem ako* kralj, tugovati. F. Lastrić Test. 162. Akad. rj. I. str. 55.[a] i d. — Mjesto *ako* dolazi uz *prem* i *da*: *premda*; rečenica je sa *da* eksplikativna te *premda* znači upravo: ‚prem to, da' — sa smislom ‚uze sve to, da' —; n. pr. Ovi čovjek *premda* je bio opak, opet promisli, hoće li dati svoju dušu. N. prip. 95. — Na svoju korist obrativši to *prem da* daleko srodstvo s Nemanjom. Daničić Istor. 95. Isp. Ivekovićev i Brozov rječnik s. v. — — f) riječju *budi*, t. j. imperativom glagola *biti*, koji direktno znači ‚dopuštam', dakle nije od izričaja aseveracije postao izričaj koncesije, čim se i razlikuje od spomenutih izričaja. *Budi* dolazi u koncesivnom značenju ili samo ili s (eksplikativnim) *da*; n. pr. *Bud* mi zakla konja na livadi i sokola u zelenoj bašči, zašt' mi zakla čedo u kolevci? N. pj. II. 17. (isp. *Ako* si mi sestru ti odveo, za što si mi blago ti odnio? N. pj. II, 619.) — *Bud* vazmeni *da* si danak provodila tugu mnogu, da li sve toj minu kako sanak. M. Pelegrinović 187. (= budi to, da —) Akad. rj. I. str. 367[a] i d. — — g) tuđom riječju *makar* (isp. Bernekera Et. Wörterb. s. v., Akad. rj. VI. str. 397[a]), često s dodanim *i* (*makar i* = *ako i*) ili s (eksplikativnim) *da* (ako je koncesivna čitava rečenica); n. pr. Doći će zima *makar i* docnije. N. posl. str. 215. (u bilj.) — *Makar* kako mi dobro i pametno radili, opet će nešto ostati i za potomstvo. Vuk. Pisma 30. — Al' ću poći, *makar* ću ne doći. N. pj. I, 395. — Jer gospodar njoj bez krvi neć' nazvat se ti nikada, *makar da* si vezir prvi od divnoga Carigrada. N. pj. Bogiš. 213. Akad. rj. VI. str. 397. i d.

O koncesivnim izričajima u drugim jezicima slavenskima isp. Vondráka Slav. Gramm. II. str. 518. i d. Obično dolaze i u njima izričaji, koji odgovaraju pomenutima srpsko-hrvatskima; n. pr. stsl. (*a*)-*cě*, slov. *če* (*ako*) *tudi*, — *prav*, — *ravno*, češ. polj. *a-č*(*e*), *ač-koli*, luž. *ha-č* (*runjež* = ravno), (n. pr. češ. *Ač* jsem jen dívečka služebná, můj rod se tobě vyrovná. Erben Písně nár. 2, 40.) Isp. Maretićeve Veznike u Radu Jugosl. akad. 89. § 110. I aseverativno *da* dolazi u koncesivnom značenju; n. pr. slov. *da* (*si*, — *tudi*, — *ravno*): *Das'* od ljubezni usta so molčale, skrivej so pesmi jo razodevale. Preš.; isp. malorus. *da-kto*, slovač. *da-kdo* (Maretić Vezn. Rad 86. § 68.). Napose spominjem slučaj, da se

koncesivnost naznačuje oblikom glagola *chotěti*, i to imperativom ili participom prezenta: rus. *chotь*, *chotja*, malorus. *choč* (*chotь*), *choča*, polj. *choć*, *chociaj*, *chociaż*. Svi ti oblici znače toliko koliko ‚volja te', lat. ‚si vis' (subjekat je ono lice, kojemu se govori): n. pr. rus. I vydalsja lь kogda na světě *chotja* odinъ mně radostnyj denekъ? I. A. Krylovъ Basni (1883.), str. 132. [volja te (dopuštam) = i (ako) jedan radostan danak]. Isp. Maretićeve Veznike u Radu Jugosl. akad. 93. § 243. i d., 321—2. Zanimljivo je i češ. *třeba(s)*; n. pr. Vezmu já si upřímnou dívčici, *třeba* měla jen jednu kytlici. Erben Písně nar. I, 93. [= pa imala, ako treba t. j. ako je nužno (= dopuštam) samo jednu suknjicu]. Isp. Maretića o. c. § 313.

Spomenut ću još par analogija iz drugih jezika. Dualizmu *ako i* i *i ako* odgovara u grčkom dualizam *εἰ καί*: *καὶ εἰ*, samo je razlika između jednoga i drugog izričaja bolje provedena nego u srp.-hrv. (isp. Kühnera-Gertha Griech. Gramm. II, 2. str. 488. i d.) U latinskom je *et-si* = *εἰ καί*, *etiam-si* = *καὶ εἰ*. Razlika pak između jednoga i drugog izričaja ne potječe iz istoga izvora kao ona između *ako i* i *i ako* pa između *εἰ καί* i *καὶ εἰ*, jer i *et* i *etiam* (= *i*, *καί*) stoji svagda pred *si* (= *ako*, *εἰ*), dakle pripada svagda apodozi, nego je postala drugim načinom. Da bi se to razumjelo, valja na um uzeti, da je lat. *si* kao i grč. *εἰ* negda bila aseverativna partikula (isp. *si-c*), koja je kao i grč. *εἰ* (isp. moje Beiträge § 1. i d., 8.) postala koncesivna pa hipotetička. I *et*, koje znači upravo ‚još' (= grč. *ἔτι*), valja shvatiti kao aseverativno (isp. I go i bos, i *još* mu je zima. N. posl. Akad. rj. IV. str. 662.[a], pa njem. *den n o ch*); kopulativno značenje, u kojem obično dolazi, postalo mu je onda onako kao i grčkomu *καί* i slavenskomu *i* (isp. § 12.). Pa i *iam*, koje čini drugi dio složenice *et-iam* i znači ‚već', može se shvatiti kao aseverativna partikula (isp. njem. *ob-s ch o n*, o kojem će se govoriti malo niže). Rečena razlika između *et-si* i *etiam-si* bit će nam jasna, ako *si* u *et-si* shvatimo kao koncesivno, a ono u *etiam-si* kao hipotetičko. Onda aseverativno *et* u apodozi koncesivne protaze dobiva adversativno značenje ‚i(pak)' (isp. § 8.); n. pr. Equidem tam sum servos quam tu, *etsi* ego domi liber fui. Plaut. Capt. 543. (‚ja sam tako rob kao ti, i ako sam kod kuće bio slobodan = ja sam tako rob kao ti i(pak), ako sam kod kuće bio slobodan'). Naprotiv kod *etiam-si*, gdje je *si* hipotetička partikula, *etiam* kao aseverativna partikula potvrđuje vrijednost apodoze i za njoj osobito suprotan slučaj izrečen hipotetičkom rečenicom sa *si*, a tim i za druge njoj manje suprotne, ali ne izrečene

slučajeve (ili *etiam* vrijednost apodoze na sve te slučajeve proteže), čim se apsolutnost apodoze, a tim opet koncesivnost protaze ističe, jer samo uz koncesivnu protazu može apodoza biti apsolutna (§ 6.); ali tim načinom i *etiam-si* — dobiva takovo zuačenje, kao da bi se reklo: *non solum si* —, *sed etiam si* — dakle u neku ruku kopulativno, koje se može izreći izričajem *pače i* (*et* = ‚i' *iam* = ‚pače'); n. pr. Haec si tecum patria loquatur, nonne impetrare debeat, *etiamsi* vim adhibere non possit? Cic. Cat. 1, 19. = non solum aliis condicionibus, sed etiam hac, si vim adhibere non possit; ‚ne bi li imala postići (pače) i (u tom slučaju,) ako sile ne bi mogla upotrijebiti?' Tako je u teoriji, ali u praksi često dolazi *etsi*, gdje bi se očekivalo *etiamsi*, i obrnuto, t. j. *si* u *etsi* izjednačilo se sa *si* u *etiamsi*, pa onda i *et* s *etiam*. Da bi se adversativnomu *et* u *etsi* to značenje za razliku od običnoga kopulativnoga potkrijepilo, meće se često preda nj iz glavne rečenice *tam(en)*, o kojem v. § 8., te postaje *tamen-etsi*, *tam-etsi*, ali se pored toga može ista riječ nalaziti i u glavnoj rečenici (isp. *i* ako — *i*pak); n. pr. *Tametsi* ab duce et a fortuna deserebantur, *tamen* omnem spem salutis in virtute ponebant. Caes. B. G. 5, 34, 2. Isp. Kühnera-Stegmanna Lat. Gramm. II, 2. str. 440 i d.

Njemački *ob auch*, *ob-wohl*, *ob-gleich*, *ob-schon* = ‚ako i' (*ob* = ‚ako'; *auch*, *wohl* itd. = ‚i'). Paul u svojoj njemačkoj gramatici (Deutsche Grammatik) IV. str. 280. i d. spominje, da se izričaji s *ob* upotrebljavaju obično samo u realnoj koncesiji (auf Tatsachen bezogen), dok oni sa *wenn* (*wenn gleich*, *wenn schon*) dolaze također u eventuanoj (auch auf Annahmen bezogen). Otuda se vidi, da se oblik, koji je stvoren upravo za realnu koncesiju (= ‚ako i') stao upotrebljavati i za eventualnu, ali je nastala nova razlika: *ob*, koje se već slabo osjeća kao hipotetička konjunkcija, u realnoj, a *wenn*, koje je živa hipotetička konjunkcija, u eventualnoj. Razlika onakova, kakovu nalazimo u srpsko-hrvatskom, javlja se samo kod *wenn auch* (‚ako i') i *auch wenn* (‚i ako'); isp. Paulov Deutsches Wörterbuch[2] s. v. *auch*. Rečene aseverativne riječi (*auch*, *wohl* itd.) dolaze i same (bez *ob* ili *wenn*) u realno-koncesivnom značenju (= ‚i'); n. pr. *Wohl* glänzet das Fest, *wohl* pranget das Mahl, — doch den Sänger vermiss' ich. Schiller. Isp. Paulov spomenuti rječnik kod pojedinih tih riječi pa Blatza Neuhochd. Grammatik[3] II. str. 1195. A. 18.

8. Rečeno je (§ 4.), da *i* u *ako i* pripada protazi, a ono u *i ako* apodozi. Vidjeli smo također, kako je ta razlika nastala.

I, što pripada protazi, može se zvati protatičnim, a ono, što pripada apodozi, apodotičnim (isp. moje Beiträge str. 5. i d.). Ali ako *i* u *i ako* i pripada uprava apodozi, opet se s *ako* sraslo tako, da se *i ako* shvaća kao jedinstvena koncesivna konjunkcija protaze pa se i u ovom slučaju kao i u onom, kad koncesivnu konjunkciju čini *ako i*, u apodozu meću nove aseverativne riječi, koje je imadu označiti kao apodozu koncesivne protaze, a za to se rado upotrebljavaju iste riječi (same ili u složenicama) kao i za oznaku koncesivne protaze, ali tu im od aseverativnoga značenja ne postaje koncesivno, nego adversativno: tako *i* (n. pr. staroslov. Usta imątъ, *i* ne glagoljątъ, oči imątъ, *i* ne uzьręțъ. Sup. 78. — Zna da je vino moćno, *i* pije. Korizm. 66.[a] Akad. rj. III. str. 758.[b]), *i-pak, a-li* (*a* je isto kao u *a-ko*). Ali dolaze i druge aseverativno-adversativne riječi: n. pr. *opet* (t. j. kao i u slučaju, da nema smetnje izrečene u protazi), *jednako* (značenje srodno s onim, što ga ima *opet*); češ. *přece*, polj. *przecie* (= před se t. j. ‚dalje', ‚jednako': Maretić, Veznici, u Radu Jug. ak. 93. § 293.); češ. (*a*)*však* ‚svakako', isp. Maretića o. c. § 325.; grč. *ὅμως* ‚jednako'; lat. *tamen* = *tam* ‚tako', postalo kao korelativ koncesivnomu *quam-quam*, *quam-vis*, pa prešlo i u apodozu naših koncesivnih rečenica (isp. i rus. *takъ*, malorus. *taki* pa slov. *i-tak*; Maretič, Veznici, u Radu Jugosl. ak. 91. § 206., Vondrák Slav. Gramm. II. str. 521.); njem. *doch*, got. *þau(h)*, asev. partikula (u stvnj. i srvnj. i protatična koncesivna, isp. Blatza Neuhochd. Gramm.[3] II, str. 1197.), *dennoch* = dann noch, *gleich-wohl* (jedna i druga i protatična (isp. § 7.).

9. Niz koncesija bilo realnih ili eventualnih (obično su dvije), kojima svima pripada jedna apodoza, čini koncesivnu (rečeničnu) disjunkciju; n. pr. Živo mi je čedo pod pojasom; *ili* bude muško, *il'* devojka, tebe valja častiti gospodu. N. pj. II, 639, Akad. rj. III. str. 788[b]—9.[a] = i ako bude muško i ako devojka. Budući da je apodoza (tebe valja častiti gospodu) svima članovima disjunkcije zajednička te vrijedi za svaki član, i za prvi i za drugi, to aseverativno *i* sadržano nę samo u značenju disjunktivne partikule (*ili* = ‚i ako'), nego i u njezinu obliku (*i-li*; isp. § 11.), postaje kopulativno, jer se shvaća tako, da spaja dvije koncesije kao dva člana koncesivne disjunkcije.

Od koncesivne može u određenoj prilici postati hipotetička (riječna) disjunkcija tim, da svaki član dobije svoju (unutrašnju, isp. Rad Jugosl. akad. 233. str. 3. i d.) apodozu; n. pr. A da padne iz neba jabuka, ne bi pusta na zemlju panula, no na konja *ali*

na junaka, *al'* na čador *al'* na koplje bojno. N. pj. IV., 453. Akad. rj. III. str. 787[b]—788.[b] = panula bi na konja ako na konja, na junaka ako na junaka, na čador ako na čador, na koplje bojno ako na koplje bojno. Iz analize se vidi, da od značenja, što ga disjunktivna partikula u koncesivnoj disjunkciji ima (,i ako'), u hipotetičkoj iščezava prvi dio (,i') pa ostaje samo drugi (,ako'), t. j. *ili* (*ali*) znači samo ,ako'. Ali se i prvomu još osjeća trag, jer se u navedenom primjeru misli, da bi jabuka pala na nešto, a to nešto da može (*ako!*) biti i konj i junak, i čador i koplje bojno. Pobliže v. u Radu Jugosl akad. 184. str. 96. i d.

I koncesivna i hipotetička disjunkcija može biti ili individualna ili universalna. Prvi slučaj nastaje, kad su članovi disjunkcije eventualne, a drugi kad su oni realne koncesije (§ 4.). Uzmimo primjer: Daj mi, Bože i Bogorodice! da ja koga na vodi zastanem: *il'* vojnovu majku, *il'* sestricu. N. pj. I, 424. Disjunkcija se može shvatiti i kao koncesivna i kao hipotetička. Shvati li se kao koncesivna, smisao je taj, da djevojka želi koga na vodi zastati i onda, ako će zastati vojnovu majku, i onda, ako će sestricu. Ali niti zna, da će zastati majku, ni da će sestricu. Članovi su disjunkcije dakle eventualne koncesije. Ali djevojka želi zastati samo jednu od njih dvije, samo joj nije stalo do toga, koju će zastati. A to se vidi i otuda, što je u apodozu metnut nenaglašen indefinitni pronomen: da ja koga (= jednoga) na vodi zastanem; a dosta bi bilo, da se i samo misli. Disjunkcija je dakle individualna, pa takova ostaje i onda, ako se shvati kao hipotetička: da ja koga na vodi zastanem: vojnovu majku ako vojnovu majku, sestricu ako sestricu.

Drukčije je onda, kad su članovi disjunkcije realne koncesije; n. pr. Žene se biju čibukom a ljudi nožem *ali* puškom. N. posl. Disjunkcija je hipotetička, ali je postala od koncesivne, koja bi imala smisao: ljudi se biju, (ali) nožem ali puškom = ljudi se biju i onda, ako se biju nožem, i onda, ako se biju puškom. Da disjunktivna partikula i ovdje znači ,i ako' (a ne: ,ako i', kako bi se očekivalo, kad su članovi disjunkcije realne koncesije, § 6.), vidi se otuda, što složene disjunktivne partikule *i-li*, *a-li*, koje se upotrebljavaju jednako u disjunkciji s realnim kao i u onoj s eventualnim članovima, imaju na prvom mjestu komponentu, koja znači ,i' (*i-*, *a-*), a na drugom onu, koja znači ,ako' (*-li*). Po tom se može reći, da su disjunktivne partikule takovima postale u disjunkciji s eventualnim koncesijama kao članovima, pa otuda prešle i u disjunkciju

s realnima. A razlog je tomu jamačno u tom, što se značenje partikula u eventualnoj koncesiji činilo za disjunkciju zgodnije od onoga u realnoj, jer se apodotičnim aseverativnim *i* u *i ako* vrijednost apodoze za svaki član napose potvrđuje i tim ističe, da svi članovi istoj apodozi pripadaju. Zato *i* poslije i postaje kopulativno, jer članove disjunkcije prema zajedničkoj apodozi među sobom veže. Stoga u srp.-hrv. svaka disjunktivna partikula znači ‚i ako'. Članovi koncesivne disjunkcije u navedenom primjeru iz N. posl. bili bi realni, jer se ljudi doista biju i nožem i puškom. Po tom ima *ako* gotovo isto značenje kao *kad* (ljudi se biju i onda, kad se biju nožem, i onda, kad se biju puškom). Smisao bi se disjunkcije mogao istaknuti tim, da bi se glagolu dodao ili uza nj pomislio koji universalni pronomen (*makar čim, čimgod, čim mu drago, svačim* — sc. od onoga dvoga, što se poslije u disjunkciji spominje). Isp. n. pr. Znajući da svaki što učini dobro ono će primiti od Gospoda, *bio* (= ili) rob ili slobodnjak. Vuk. Nov. zav. Ef. 6. 8. (*εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τις ἕκαστος ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος*); isp. Rad Jugosl. akad. 184. str. 118. Koncesivna bi disjunkcija u primjera iz N. posl. bila universalna, pa je takova ostala i kao hipotetička. Ali je karakteristično, da se u hipotetičkoj od značenja disjunktivne partikule ne gubi *i* (kao u individualnoj), nego uz *ako* ostaje i zadržava kopulativno značenje, koje je dobilo još u koncesivnoj disjunkciji, jer su oba člana disjunkcije jednako realna te glagol vrijedi za oba jednako: ‚ljudi se biju svačim (makar čim): i nožem, ako (kad) se biju nožem, i puškom, ako (kad) se biju puškom'. Događa se pače, da se gubi *ako*, jer se njim dopušta nešto, što je realno, te se može i tvrditi, pa je *ako* postalo suvišno. Tako može disjunktivnoj partikuli ostati samo značenje ‚i', a to je kopulativno, kao što je bilo, dok je uza nj bilo *ako*. Ljudi se biju (*ali*) nožem *ali* puškom = Ljudi se biju (*i*) nožem *i* puškom. Tako može od disjunkcije postati kopulacija, a od disjunktivne partikule kopulativna.

Evo još primjerâ za universalnu disjunkciju: Pak će onda da reku đevojke, kad me svojoj majci uskazuju: »Nuto, majko, iz međe međeda«; *ili*: «Nuto iz kupusa zeca.« N. pj. I. 380. — Lipa lica, kao sunce *il'* danica. V. Došen 21^{b}. Akad. rj. III. str. 788^{a}. — Hoteći se ukazati naučeni prid ženami *ali* ljudmi nenaučenimi. J. Bandulavić IV. Akad. rj. I. str. 68^{ab}. — Kakav zanat umiješ? *Ja* kuvati, *ja* peći na toliko načina. N. prip. 287. Akad. rj. IV. str. 382^{b}. —

Ovamo mislim da pripadaju i primjeri, gdje disjunktivna partikula pokazuje, da jedna riječ može zamijeniti drugu; n. pr. Po svemu je narodu našemu običaj, da se nariče *ili* tuži za mrtvima. N. pj. I. 89. (bilj.) Akad. rj. III. str. 787.[ab]

10. Konjunkcija je *ako* od (hipotetički) koncesivne postala i čista hipotetička, i to preko disjunktivne (n. pr. *Ako* kopa, *ako* žanje, *ako* plije, doma sve radi nejako. J. S. Reljković Kuć. 70. Akad. rj. I. str. 52.[a]) A put, kojim je do toga došlo, ocrtao sam za grčko *εἰ* u svojoj raspravi Beiträge itd. § 8. Istim su putem i u drugim jezicima koncesivne konjunkcije postale hipotetičke, pa i u srpsko-hrvatskom. Stoga ne treba to ovdje da ponavljam. Tako je hipotetičkom konjunkcijom postalo i *li*, kojemu se koncesivno značenje potvrđuje upotrebom u koncesivnoj, pa u hipotetičkoj disjunkciji (n. pr. Mjesto, grad *li* 'e, vjekovito već bit ne će kauraški. J. Kavanjin 235[a]. — Tuj čekaše svak čas glase dobre zle *li* svojoj kruni. J. Gundulić Osm. 19. st. 1061.). Partikula je *i*, kao što smo vidjeli (§ 3.), od aseverativne istina postala koncesivna, ali razvoj nije tekao dalje tako, da bi postala hipotetička konjunkcija kao *ako* ili *li* ili kao s njom identična grčka *εἰ* (§ 2.), nego tako, da je napokon postala kopulativna. Ipak je i to značenje dobila kao disjunktivna partikula. A ima li potvrde disjunktivnomu *i*? Akad. rj. III. str. 761.[a] navodi za disjunktivnu upotrebu ovaj jedini primjer: Sve to, čim se Bogu služi, *i* pravo *i* krivo budi. Kateh. 1561. E 5.[a] Da nema više primjera, uzrok je to, što je *i* kao partikula universalne disjunkcije dobila kopulativno značenje (§ 12.), te se više ne osjeća kao disjunktivna, pa stoga se i ne može upotrebljavati ni u jednoj vrsti disjunkcije. Zato valja primjere za disjunktivno *i* tražiti i među primjerima za kopulativno. Evo nekoliko takovih primjera, u kojima bi se *i*, makar da se osjeća kao kopulativno, moglo shvatiti još kao disjunktivno, jer bi se moglo zamijeniti disjunktivnom partikulom *ili*: Valaj si *i* čoek *i* žena (u Risnu reče se valjanoj ženi). N. posl. — *I* dobar *i* zao lan travnika cvjeta. Daničić Posl. — Dvaš je *i* triš mladi junak kolom skočio. N. pj. I, 44. — A i toliko ona je lijepa *i* v rasrdžbi *i* u gnjivu, da pogledom stijenje cijepa i v ognju zgara živu. I. Gundulić Osman 9. st. 585. — *I* u dnevu *i* u noći da jim nije trud zaludu. And. Kačić Razg. 3.[a] Akad. rj. III. str. 756[b] pod *i*. (isp. Budmanijevu primjedbu tamo) i 760.[b] U svima bi primjerima disjunkcija bila hipotetička universalna (§ 9.), jer samo u takovoj *i* postaje kopulativno, ali hipotetička je disjunkcija postala od koncesivne (§ 8.), pa se disjunktivno *i* može suponirati

i za koncesivnu disjunkciju. Isp. i ono, što će se u § 13. kazati za negaciju partikule *i*.

Kao *i*, tako je i *a* od koncesivnoga moglo postati disjunktivno. U Akad. rj. IV. str. 382.[b] pod c) navodi se za disjunktivno *a* ovaj primjer: Je li od tvoje volje *a* od nevolje, o l i te ko na to silom naćerao? V. Vrčević Niz 103. Ali po onom, što je u bilješki uz § 5. rečeno, držim, da se za potvrdu disjunktivnoga značenja partikule *a* mogu upotrijebiti i primjeri s *ja* (= *a*): n. pr. *Ja* sad, *ja* nikad. N. posl. — Nevjesta *ja* mala, *ja* velika, valjaju joj svatovi. Daničić Posl. Isp. Akad. rj. IV. str. 382.

11. U § 4. vidjeli smo, kako *i ako* postaje partikula eventualne koncesije (*i* konces., *ako* hipot.), a u § 9., kako niz koncesija bilo eventualnih bilo realnih uza zajedničku glavnu rečenicu (apodozu), čini koncesivnu disjunkciju te svaka partikula koncesivne disjunkcije znači ,i ako'. Ali samo *i ako* upotrebljava se veoma rijetko u disjunkciji. Akad. rj. I. str. 55.[a] navodi samo ovaj primjer: Godina svim nevjera od istoka i od juga, *ako i* nagla, *ako i* duga. J. Kavanjin 250. Mjesto toga stvoreni su drugi oblici disjunktivnih partikula, gdje je s istim *i*, koje je i u *i ako*, i s *a* u istom značenju, koje ima *i* u *i ako* (isp. *a-ko* = ,i ako'), složeno *li* u značenju ,ako'. To su partikule *i-li*, *a-li* (*ja-li*) = ,i ako', koje su najobičnije ne samo u koncesivnoj, nego i u hipotetičkoj disjunkciji. U bilješki uz § 5. određeno je za *a-ko* značenje ,i ako', ali je u nekim prilikama (u hipotezi) *a-ko* dobilo značenje samoga ,ako' (§ 10.). Tako su i partikule *i-li*, *a-li*, koje znače također ,i ako' (u *a-li* je pače *a* isto kao u *a-ko*), u nekim prilikama (u hipotetičkoj disjunkciji) dobile značenje samoga ,ako' (isp. § 9.). U slovenskom se jeziku pače *a-li* upotrebljava u čistoj hipotezi (= ,ako'); n. pr. *Al* pjancova mošna nima več dnarca, birtova prjaznost precej neha. Štrekelj Nar. pesmi IV. str. 277. (isp. I. 282., 434., III. 226.); isp. Maretićeve Veznike u Radu Jugosl. akad. 89. § 127.

12. U § 9. pokazano je, kako u universalnoj disjunkciji disjunktivna partikula može zadržati značenje ,i ako', gdje je *i* kopulativno, a može *ako* od toga značenja i izgubiti te ostaje samo kopulativno *i*. Jedan i drugi slučaj razlikuju se i formalno. U prvom se upotrebljavaju druge disjunktivne partikule (*ili*, *ali*, *ja*, *jali*, gdje *li* i znači ,ako'); u drugom samo *i*. Što u primjeru iz N. posl. Žene se biju čibukom a ljudi nožem *ali* puškom — disjunktivna partikula glasi *ali*, tim je naznačeno, da je pravi smisao: ,ljudi se biju *i* nožem, *ako* (= kad) (se biju) nožem, *i* puškom, *ako* (= kad)

(se biju) puškom', a ne još: ,ljudi se biju *i* nožem *i* puškom (do ovoga bi značenja samo moglo doći, kao što je u § 9. i rečeno). Razlika je pak u tom, da se u prvom slučaju misli i hoće da istakne, da jedno i drugo ne biva u isti, nego u različne mahove (a može se tako istaći i to, da nešto biva na različnim mjestima i sl.), a u drugom se slučaju ne će to da istakne, nego se prepušta slušaocu, da sam razbere, valja li misliti, da jedno i drugo biva u isti ili u različne mahove (ev. na istom ili na različnim mjestima i sl.). Tako mislim da treba tumačiti disjunktivni oblik universalne disjunkcije. U prvom je slučaju rečenica još disjunkcija, u drugom nije više, nego kopulacija. Takova je disjunkcija nekakva mješovita, universalno-individualna, jer se misli, da jedno biva u jedan, a drugo u drugi mah (ev. jedno na jednom, a drugo na drugom mjestu i sl.), ali opet da jedno i drugo biva. Isp. i druge primjere za universalnu disjunkciju navedene u § 9. Primjeri za drugi od rečenih slučajeva primjeri su za kopulativno *i*; n. pr. Ako, konju, dobro dovedemo, biće dobro *i* mene *i* tebe. N. pj. I, 15. — A Bog pusti tešku bolezanju, te pomori *i* staro *i* mlado. N. pj. II, 3. — U vodu je nesita aždaha, što proždire konje *i* junake. N. pj. II, 31. Akad. rj. III. str. 754 i d.

Kopulativna je u rečenoj prilici u teoriji mogla postati svaka disjunktivna partikula, ali v praksi je takova postala samo disjunktivna partikula *i*. A tomu ima više razloga. Tako *i* već kao koncesivna partikula naginje kopulativnomu značenja; n. pr. *I* ćorava koka nađe zrno. N. posl. (§ 3.) (= ne samo okata, nego i ćorava). — *I* ako ću glavu izgubiti, hoću sjutra napraviti, da se mira nigda ne učini. N. pj. IV. 324. (§ 6.) (= ne samo u drugim slučajevima, nego i u onom, ako ću glavu izgubiti). — Isto vrijedi za apodotično *i*; n. pr. Zna da je vino moćno, *i* pije. Korizm. 66.[a] (§ 8.). Nadalje, u koncesivnoj disjunkciji svaka disjunktivna partikula znači ,i ako', a to se *i*, makar da je upravo aseverativno, shvaća kao kopulativno, jer pojedine članove disjunkcije prema zajedničkoj apodozi njihovoj među sobom veže (§ 9.). Znatan je i taj momenat, da kopulacija nastaje tako, da se od značenja disjunktivne partikule ,i ako' gubi ,ako' te ostaje samo ,i'. Onda je postupak baš kod disjunktivne partikule *i* najjednostavniji: disjunktivno *i* znači ,i ako' (,i' kopulat.), a pošto se izgubilo ,ako', ostaje partikuli samo kopulativno značenje. S tim je u svezi drugi momenat, da partikula *i*, makar da je disjunktivna te znači ,i ako', u svom obliku ne sadržava osobita elementa, koji bi značio ,ako', dok ga druge disjunktivne

partikule *i-li*, *a-li* sadržavaju, jer *li* = ‚ako' (§ 11.). Ako se dakle radi o tom, da se izreče ono, što disjunktivna partikula izgubivši onaj dio značenja, koji se izriče partikulom *ako*, znači, svakako je *i* zgodniji izričaj nego *i-li*, *a-li*. Tako je sasvim prirodnim procesom došlo do toga, da je disjunktivno *i* postalo kopulativno. Do toga ga je značenja doveo ravan put od aseverativnoga preko koncesivnoga i disjunktivnoga. *I* je postalo prava kopulativna partikula, i svaka kopulacija s *i* osniva se in ultima linea na disjunkciji. Razumije se samo sobom, da ono, što je rečeno, vrijedi i onda, ako *i* dolazi samo s drugim i eventualno još s kojim daljim članom kopulacije ili sa svakim (i s prvim), jer i u prvom slučaju onaj član, s kojim ne dolazi *i*, ima istu vrijednost, kao da dolazi i s njim.

Što je ovdje za kopulativno *i* rečeno, to vrijedi i za kopulativno *a* nekih jezika slavenskih (češ., luž.).

13. *I* je dakle kopulativnom partikulom postalo po tom, što je kao partikula universalne disjunkcije takovo značenje dobilo. A da je kopulativno *i* doista postalo od disjunktivnoga, dokazuje osobito jasno to, što se svaka hipotetička disjunkcija, bila individualna ili universalna, i svaka kopulacija, bila disjunktivna ili kopulativna partikula makar kakva, negira tako, da se negira upravo *i*: *ni* = *ne i*, čemu se može dodati još *-ti* (isp. *ili-ti*, *kano-ti*) te postaje *ni-ti*. Tako se n. pr. »ima (*i*) brata *i* sestru« negira ovako: nema (*ni*) brata *ni* sestre; a »naći ću (*ili*) brata *ili* sestru« opet ovako: ne ću naći (*ni*) brata *ni* sestre. To je moguće samo onda, ako se uzme, da (*i*) — *i* može značiti i lat. ‚(et) - et' i lat. ‚(aut) - aut'. Moglo bi se pomisliti, da je konstrukcija (*ni*)-*ni* nastala u prastaro doba, kad je *i* bila jedina i disjunktivna i kopulativna partikula (isp. moj. članak o negaciji *ni* u Razpravama Znanstvenoga društva za humanistične vede u Ljubljani III. (1926.) str. 1. i d.) Evo za ono, što je rečeno, nekoliko potvrda: Jer dođe Jovan krstitelj koji *ni* jede hljeba *ni* pije vina . . . Dođe sin čovječij koji *i* jede *i* pije. Vuk N. Z. Luk. 7, 33-34. (*μήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων — ἐσθίων καὶ πίνων*). — Objesi je (tuluminu vina) o unkaš Šarinu, s desne strane tešku topuzinu, da ne kriva *ni* tamo *ni* amo. N. pj. II. 248.; isp. Telal viče *i* tamo *i* amo. N. pj. II. 144. — Jer ne smijemo nikud poći *ni* po dnevu *ni* po noći. M. Divković Nauk² 38.; isp. Pohajaše *i* po dnevu *i* po noći kršćenike. F. Glavinić Cvit 24.ª — Carevac je carevac, ako ne će imati *ni* novac; a magarac je magarac, ako će imati *i* zlatan pokrovac. N. posl. — Bolje *i* kad neg *ni*kad. Daničić Posl. (isp. § 3.) — —

Tako v' Boga, dva siva sokola! *Il'* ste braća, *ili* bratučedi? »*Ni* smo braća, *niti* bratučedi, no dva druga iz zelena luga.« N. pj. I. 162-3. — Koga tražiš po razboju mlada? *Ili* brata, *ili* bratučeda? *Al'* po greku stara roditelja? »Ja od roda *ni*koga ne tražim: *niti* brata, *niti* bratučeda, *ni* po greku stara roditelja.« N. pj. II. 316. Akad. rj. s. vv. *i*, *ili*, *ali*, *ni*(*ti*).

Drukčije se negira koncesivna disjunkcija. Tako bi se navedeni u § 9. primjer iz N. pj. II. 639. Živo mi je čedo pod pojasom; *ili* bude muško, *il'* devojka, tebe valja častiti gospodu — negirao ovako: *ni ako* bude muško, *ni ako* devojka, tebe ne valja častiti gospodu. Ne negira se dakle sámo *ili* nego ono, što *ili* znači (,i ako'). Ujedno je to potvrda, da *ili* znači ,i ako'.

14. Analognu pojavu nalazimo u drugim (neslavenskim) jezicima, n. pr. u grčkom i u latinskom. Tu imaju partikule *τε*, *-que* kopulativno značenje, ali su ga dobile od koncesivnoga istim putem kao i slavenska *i* (u universalnoj disjunkciji); n. pr. *πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε* *A* 544. ,otac ili ljudi ili bogova = otac i ljudi i bogova'. — Orbas auxilii*que* opum*que* Plaut. Rud. 349. ,lišene ili pomoći ili imutka = lišene i pomoći i imutka.' Disjunktivno značenje partikule *τε* dokazuju primjeri, u kojima *τε* dolazi u društvu obične disjunktivne partikule *ἤ=ἠ-ϝέ*; tako: *ὥς τε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἶκον δὲ νέεσθαι* *B* 289—90. Lat. partikuli *-que*, koja etimologički odgovara grčkoj *τε*, ne može se doduše potvrditi disjunktivno značenje, ali se po svoj prilici može hipotetičko, koje se kao i disjunktivno osniva na koncesivnom, i to u upotrebi izričaja *absque*; n. pr. Nam *absque* te esset, hodie nunquam ad solem occasum viverem. Plaut. Men. 1022. [absque te esset = ako (-que) bi bez tebe t. j. bez tvoje pomoći (abs te) bilo]. Isp. Kühnera-Stegmanna Lat. Gramm. 1. str. 510. Kao koncesivno valja *-que* shvatiti uz naglašen pronomen indefinitum; n. pr. *quis-que* = i ako *a*, i ako *b*, i ako *c* . . . = ,makar tko = svatko'; isp. i stind. *kaś ča* (*ča* = *τε* = *que*) = ,makar tko = tko-god', got. *hvaz-uh* (*-uh* = *τε* = *que*) ,makar tko = svatko.' Delbrück Vergl. Synt. I. str. 514. i d., II. str. 511 i d. Istim načinom kao *τε*, *-que* morale su i druge grč. i lat. kopulativne partikule (*καί*, *et*) dobiti to značenje.

Negacija *οὔτε* (*μήτε*), *neque* (*nec*) negira i disjunkciju i kopulaciju, pa tu nalazimo istu pojavu, koju smo i u srpsko-hrvatskom našli, da naime, dolazile u disjunkciji ili u kopulaciji makar kakve partikule, negacija glasi jednako *οὔτε*, *neque*, te se može mi-

sliti, da je negacija i disjunkcije i kopulacije postała u vrijeme, kad je još *τε* ili *-que* bila jedina disjunktivna i kopulativna partikula, pa je taj oblik negacije ostao i onda, kad su se za disjunkciju i kopulaciju upotrebljavale već i druge partikule.

Sa srpsko-hrvatskim disjunktivnim *i-li, a-li* mogu sa isporediti grčke i latinske složene disjunktivne partikule *εἴ-τε, ἤ-τε* (Hom.), *ἠ-ϝέ = ἤ, si-ve*, koje su kao i *i-li, a-li* postale tako, da je ka koncesivno-kopulativnomu (-disjunktivnomu) *τε, -ϝε, -ve* (sa značenjem ‚i') prionulo hipotetičko *εἰ, ἠ* (=*εἰ*), *si* (sa značenjem ‚ako = li'). Ali je razlika u tom, da je red složenih partikula u grčkom i u latinskom jeziku drugi nego u srpsko-hrvatskom: dok je naime u srpsko-hrvatskim složenicama hipotetička partikula (*li* = ‚ako') na drugom mjestu, u grčkim je i latinskim na prvom. Po tom grčke i latinske disjunktivne partikule znače ‚ako i', dok srpsko-hrvatske znače ‚i ako'. Otuda se vidi, da je u grčkom i u latinskom oblik disjunkcije s realnim koncesijama kao članovima njezinima prenesen i na disjunkciju s eventualnim koncesijama, dok je v srpsko-hrvatskom oblik disjunkcije s eventualnim koncesijama prenesen i na disjunkciju s realnim koncesijama. Tako je u jednom i u drugom slučaju izašao isti oblik disjunkcije s realnim i one s eventualnim članovima (isp. § 6. i 9.). Isti red složenih partikula kao u srpsko-hrvatskom nalazimo u lat. koncesivnom *et-si, etiam-si,* ali to nije postalo disjunktivno (§ 7.). Sve pak spomenute složene disjunktivne partikule mogu u universalnoj disjunkciji dobiti kopulativno značenje; n. pr. *ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμεῖται μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, ἣ θέμις ἐστὶν ἤ τ' ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν* *I* 274-6. (‚ili ljudi ili žena = i lj. i ž.') — *τῶν δ' ἄλλων ὅντινα κραδίη θυμός τε κελεύει, δεῦρ' ἄγε πειρηθήτω — ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσίν, οὔ τι μεγαίρω.* *Θ* 204-6. (‚ili u šakanju ili u rvanju ili u trčanju, ne marim = i u š. i u r. i u t.') — Servos *seu* fugitivos *seu* bello captos, *seu* quis liber captus aut transfuga erit, reddito Romanis sociisque. Liv. 38, 38, 7. (‚robove ili pobjegle ili u ratu zarobljene = i pobjegle i u ratu zarobljene'). Kühner-Gerth Griech. Gramm. 2. str. 299. i d., Kühner-Stegmann Lat. Gramm. 2. str. 434. i d. Uz iste uvjete mogle su druge disjunktivne partikule (n. pr. lat. *aut, vel*) dobiti kopulativno značenje (isp. Stolz-Schmalz Lat. Gramm.[5] str. 674. i 676.).

Dodajem, da istu pojavu nalazimo i u germanskim jezicima; n. pr. got. Unte in imma gaskapana waurþun alla in himinam jah ana airþai, þo gasaihvanona jah þo ungasaihvanona, *jaþþe* sitlos

jaþþē fraujinassjus *jaþþē* reikja *jaþþē* waldufnja. Kol. I. 16. (*ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι*); Vuk prevodi: Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli, ili gospostva, ili poglavarstva, ili vlasti (= i p. i g. i p. i v.); *jaþþē* = *jah þē* mora značiti upravo ‚i ako'. — Tako i u novovisokonjemačkom; isp. *Sei's* in Grabes Schoß, *sei's* auf des Sieges Höhe, wir preisen unser Los (Blatz, Neuhochd. Grammatik[3] 2. str. 1203.): ‚ili u krilu groba ili na visini pobjede = i u krilu groba i na visini pobjede'; moglo bi se reći i: *oder* auf des Sieges Höhe, pa bi i *oder* moglo značiti ‚ili = i'. Ali u navedenim primjerima po svoj prilici nemamo još čiste kopulacije, nego onakovu mješovitu universalno-individualnu disjunkciju, kakva je spomenuta u § 12., inače bi jamačno bile upotrijebljene partikule, koje su disjunktivno značenje već izgubile pa postale čisto kopulativne kao slav. *i* (grč *τε, καί,* lat.*-que, et*).

Zagreb.

A. Musić.

Абагар.

В Отчете Пловдивской Народной Библиотеки за 1924 г. (Годишникъ на Народната Библиотека въ Пловдивъ. 1924. София. 1926) помещена большая и ценная работа В. Пундева: »Сборникътъ Абагаръ отъ епископъ Филипъ Станиславовъ« (стр. 289—337). В этой работе охарактеризовано положение болгарских павликиан в XVII-м в., дано всестороннее описание сборника молитв и наставлений — сборника, известного под названием »Абагар«, составленного католическим епископом болгарином Филиппом Станиславовым и напечатанного в Риме в 1651 г., воспроизведен в полном составе и самый сборник. В. Пундев воспользовался более ранними работами по изучению католической пропаганды в Болгарии и в частности по изучению »Абагара« — работами М. П. Петровского, Л. Милетича, М. Г. Попруженка, Н. Милева. К указанным г. Пундевым экземплярам присоединим еще 4: 2 в Публичной Библиотеке (собр. Погодина, XVII. 3. № 13) в Ленинграде, 1 в библиотеке Петровских в Казани (в Софии имеются фотографические снимки с этого экземпляра) и 1 в Берлинской Библиотеке (о нем см. указания А. Брюкнера в Arch. f. slav. Phil., XVIII, 629—630).

Желательно было бы иметь более полное описание тех черт болгарского языка, которые отразились в »Абагаре«. Вместе с этим не лишне было бы представить обозрение болгаризмов в писаниях других католиков-болгар XVII—XVIII в. Укажу на один пункт своих наблюдений над языком произведений болгарских католиков XVII в., именно над языком документов чипровчан.[1]) Чипровцы (в сев.-западной Болгарии) были главным центром католической деятельности в Болгарии в XVII-м в., до разгрома этого города турками после восстания в 1688 г.[2])

[1]) Напечатаны в сборнике Е. Ферменджина: »Acta Bulgariae ecclesiastica.« Collegit P. Fr. Eus. Fermendžin. (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. XVIII.)

[2]) О судьбе Чипровцев см. в статье Д. Маринова: „Чипоровци или Кипровецъ“. (Сборн. за народ. умотв., XI, стр. 135—142.)

Чипровские документы написаны на »иллирском« (сербо-хорватском) языке, который был »литературным« языком письменности у чипровских и никопольских католиков. Главные деятели католической пропаганды здесь были хорваты-католики. Руководствами и учебниками были книги на хорватском (или на латинском) языке, как об этом свидетельствуют документальные данные, собранные Л. Милетичем.[1]) По этим хорватским книжкам болгарские питомцы пропаганды учились »литературному« »иллирскому« языку. Но в этот язык проникали элементы болгарской речи. Наблюдение над этими элементами обнаруживает, что некоторые из них не совпадают с соответствующими чертами чипровского говора в конце XIX в. Так, форма аор. 1 л. мн. передается в документах с окончанием *-смо*, но чаще *-хмо: примахмо, отлучихмо, доведохмо* (43), *одредихмо* (245), *наидохмо, разбихмо* (318), *бисмо* (43), *писасмо* (45). Окончание *-смо* было свойственно форме »иллирского« языка: *-хмо* же проникло под влиянием живой »булгарской« речи. Но речи какой области? Если писавший *-хмо* в соответствии своему родному говору происходил из Чипровцев или усвоил главные особенности этого говора, то придется констатировать следующее: в XVII-м в. в чипровском говоре окончанием формы аор. 1 л. мн. было *-хмо*; с течением времени формы на *-хмо* вытеснены были формами на *-смо*. в Чипровцах второй половины XIX-го в. употребительна форма аор. на *-смо*; так и далее к северу, в области верхнего Лома, Белградчика; к востоку же и северо-востоку от этих областей форма аор. окончивается на *-хмо* (*-хме*).[2])

Интересное указание представляют документы XVII в. и для формы 1 л. мн. наст. вр.: обычно она передается с окончанием *-мо*, но встречается и *-ме: немаме са що да си купимо* (44).

Отметим еще одно явление, отразившееся в документах XVII-го в.: окончание прич. прош. муж. р. ед. ч. на *-иа*, т. е. *ja* (*i̯a*): *не служиа* (43), *бииа* (45), *оставиа, искаиа, нашаиа, учиа* и др. (318—319). В таком виде это причастие свойственно говорам сев.-западной Болгарии и юго-восточной Сербии.

Сделаю еще замечание о подписях чипровчан и капи-

[1]) Изъ историята на българската католишка пропаганда въ XVII вѣкъ (Български Прѣгледъ, Год. I, кн. X, стр. 77—81). См. также в статье П. Календиђа: „Софијски надбискуп фра Петар Богдан Бакшић" (Гласник Скопског Научног Друштва, II. 1927, стр. 67 след.).

[2]) См. в книге Маринова: „Жива Старина", II, 93—128.

ловчан в документах XVII в. Из этих подписей можно извлечьследующие 2 указания. 1. Форма местоимения 1. ед. — *иа*, т. е. *ia* (*ja*). — *Иа Петар Павлов. Иа Гига Чочин. Иа Иван Петков* и др. 2. Фамилии, прозвища обычно оканчиваются на *-ов* (*-ев*), *-ин* и реже на *-иħ* (*-ич*). В особенности редки фамилии с окончанием *-ич* в № CCXIII: из 53 подписей всего 1 оканчивается на *-ич*. Рядом с подписью: *Иа Матеиа Иуначкин* находится такая: *Иа Давид Иуначкич* (319). Одно и то же лицо подписывает свою фамилию невсегда одинаково: раз напишет с окончанием *-ов*, другой — с окончанием *-иħ*: *Иа Иван Павлов* (45), *Иа Иван Павловиħ* (43). *Иа Павал Радулов* (43). *Paval Radulovic* (190). Ясно, что окончание *-иħ* в этих случаях не было издавна свойственно фамилиям чипровчан и их ближайших соседей. Под »иллирским« влиянием Павловы стали называть себя Павловиħ[ч]ами, Радуловы — Радуловиħами и т. п. При этом, окончание *-иħ* произносилось не совсем чисто поиллирски: вм. *ħ* говорили ч: Иуначкич. Сравн. также следующие написания, указывающие на то, что *ħ* = *ч*: *размишħлаиучи;* тут же: *немогуħи, буоуħи* (245).

Москва.

А. Селищев.

Po stopách češství a české knihy v starším slovinském písemnictví.

(Pokračování.)

Z této Klombnerovy družiny v Lublani vynikl zvláště *Seb. Krelj* († 1567), žák charvatského protestantského theologa Flacia Illyrika v Jeně a v Řezně až do r. 1563,[1]) překladatel zimního dílu Spangenbergovy postily a autor slovinského malého katechismu, zvaného *Otrozhia Biblia*, vytištěného v Řezně r. 1566.[2]) První část tohoto jeho katechismu jest jakýsi druh slovinského slabikáře, druhá část pak je vlastní katechismus (pětijazyčný) ve formě otázek, který se však ani v obsahu ani v dělbě látky neshoduje se žádným dřívějším protestantským malým katechismem, ani slovinským, ani charvatským, ba ani s Lutherovým nebo s Brenzovým.[3]) Zato však velice připomíná, jak v dělbě látky, tak v obsahu jednotlivých částí, německé zpracování českobratrského katechismu[4]) *Catechismus der Rechtgleubigen Behemischen Brüder* z r. 1554 od českobratrského superintendenta v Prusích *Jana Gyrka* (*Jirka*),[5]) takže je v něm tedy podle všech

---

[1]) Th. Elze, Briefe 436. 9. p.

[2]) O tomto Kreljově díle pojednal podrobněji F. Kidrič v Slavii I. (1922), str. 365—367 a v ČJKZ IV. (1924), str. 121 a n.

[3]) F. Kidrič c. o. v ČJKZ IV., 122 a n.

[4]) Základ německým zpracováním českobratrských katechismů daly Lukášovy *Otázky dětinské* z r. 1502 nebo 1505 (Jos. Müller, Die deutschen Katechismen der Böhm. Brüder, Monumenta Germaniae Paedagogica IV. Bd. (Berlin 1887), str. 49.). První německé překlady těchto Lukášových Otázek (Kinderfragen) vyšly tiskem už záhy v počátcích Lutherovy reformace, a to v Norimberce a v Augšpurce r. 1522 a 1523, ve Vitemberku r. 1524 a konečně v Curychu r. 1530. (J. Müller c. o., str. 5; pak Ferd. Cohrs, Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion, Mon. Germ. Paed. XX., str. 9—16; rovněž J. T. Müller-F. Bartoš, Dějiny Jednoty bratrské I., str. 194 a 264.) Bratřím totiž už od počátku šlo zvláště o náboženskou výchovu dětí, proto jádrem jejich vyučování byl katechismus (Jos. Müller-Bartoš, Dějiny str. 194). Z něho se žáci učili nejen náboženství, nýbrž i čísti, proto záhy k nim byl jako úvod přidáván i slabikář. Tento otázkový princip a tutéž metodu shledáváme pak i v německých protestantských katechismech, které se tradicí vyvinuly z českobratrských zpracování.

[5]) Český bratr Jan Gyrk, Girek, Jirek, též Jiřík, lat. Gyrcaeus byl rodem Němec; na konci života († 1562) byl superintendentem českobratrské obce v prus-

známek hledati aspoň jednu z nejhlavnějších jeho předloh, a to tím spíše, ježto Gyrkuv bratrský katechismus je zřejmě psán v duchu protestantském, neboť měl sloužiti i pruským luteránum.[1]) Ovšem Gyrkuv obšírný katechismus poskytoval mnohem více látky, nežli ji mohl Krelj použíti do svého, školní potřebě určeného katechismu. Mohl si tedy z něho Krelj poříditi buď sám kratší výbor s určitými změnami anebo mohl už také před sebou míti nějaké tištěné zkrácené vydání tohoto katechismu.[2]) Vedle tohoto Gyrkova katechismu však Krelj podle všeho ještě používal i jiných předloh, zvláště asi proslulé *Laienbibel* („*Büchlein für die Laien und die Kinder*") z r. 1525 (virtemberská vydání jsou z r. 1543 a 1548), ke kterémuž katechismu je v začátku předeslána též abecední tabulka (neboť se ho užívalo k školnímu vyučování)[3]) a kteréhož patrně použil i sám Gyrk, rozšířiv z něho obsah českobratrského katechismu o dvě části, t. j. svátost křtu a večeři Páně. Používal tedy Krelj vedle Gyrkova katechismu ještě asi týchž předloh, ze kterých vyšel i sám Gyrk, uzpusobuje českobratrský katechismus protestantskému směru. Leccos však si podle potřeby také sám zkrátil nebo pozměnil.

Nejmakavější shoda mezi Gyrkovým a Kreljovým katechismem se jeví právě v dělbě a postupu látky. Gyrk sice rozdělil látku katechismu na čtyři hlavní části, ale ve čtvrté spojil stať o slovu božím (kazatelství a klíče) vjedno se statí o svátostech (křest a večeře Páně), takže de facto jeho katechismus se rozpadá na šest dílů, jak to právě nalézáme u luteránů a stejně i u Krelje. Také v pořadu těchto jednotlivých částí Krelj úplně souhlasí s Gyrkem. V přehledu se to jeví takto:

Gyrk: 1. desatero ot. 1—67; 2. vyznání víry ot. 68—119; 3. otčenáš ot. 120—145; 4. slovo boží, t. j. kazatelství a klíčové

---

kém Nydburce. Byl představitelem *luteránského* směru v Jednote a účastnil se důležitých jednání Bratří s pruskými luterány. R. 1557 seznámil se osobně i s P. P. Vergeriem. (Více viz o něm v Jirečkové Rukověti I., 321, pak v Mon. Germ. Paed. IV., 225 a n.; rovněž v Bidlovi, Jednota I. na str. 14, 45 a n., 51, 81, 124, 207). — Dost možná, že se znal i s Flaciem Illyrikem, který se snažil získati pruské Bratry do své strany; docela pak věrohodno jest, že Flacius znal i jeho Catechismus z r. 1554, který mohl docela dobře býti mezi bratrskými spisy, které mu r. 1556 daroval v Magdeburce Ant. Bodenstein (Jar. Bidlo, Jednota I., 187.). U Flacia se pak mohl obeznámiti s Gyrkovým katechismem jeho žák Seb. Krelj.

[1]) Jos. Müller c. o. v Mon. Germ. Paed. IV., 221.

[2]) Jedno takové kratší vydání Gyrkova katechismu se připomíná z r. 1564, ale dosud nebyl nalezen jeho exemplář. — J. Müller c. o. v Mon. Germ. Paed. IV., str. 215, 1. p.

[3]) Ferd. Cohrs c. o. v Mon. Germ. Paed. XX., 169 n. a 172.

ot. 146, 148, 151 a 158; 5. svátost křtu ot. 147, 149, 157; 6. večeře Páně ot. 159.[1])

Krelj: 1. desatero; 2. víra; 3. otčenáš; 4. kazatelství a klíčové; 5. svátost křtu; 6. večeře Páně.[2])

Tímto rozdělením a pořadem se tedy Krelj zřejmě liší od Lutherova katechismu (desatero, víra, otčenáš, křest, zpověď, večeře) a Brenzova (křest, víra, otčenáš, desatero, večeře, klíčové) a naopak docela se shoduje právě s Gyrkovým.

Také v textu Gyrkova a Kreljova katechismu nalézáme shody, z kterých lze usuzovati na jakousi závislost Kreljovu na Gyrkovi, ač leccos je tu vyložiti také společnými předlohami. Jeví se to na př. už v úvodní formuli a v znění prvního přikázání desatera, které u obou je široce rozvedeno po způsobu Gerhartova katechismu z r. 1525,[3]) z kterého si Krelj patrně ještě doplnil Gyrkův text. V pořadu a počtu přikázání Gyrk i Krelj se sice úplně shodují s luteránskými katechismy, ale přece tu a tam v obsahu přicházíme na místa, jichž v malých katechismech luteránských není a která naopak nalézáme jak v Gyrkovi, tak Kreljovi. Platí to zejména také o textech druhého a třetího přikázání. Mimo to i v čtvrté části katechismu, pojednávající o kazatelství a klíčích, a v páté — o křtu — nalézáme u obou tytéž citáty z Písma a stejný myšlenkový postup, v čemž všem jsou si oba navzájem bližší nežli na př. v porovnání s Lutherovým nebo Brenzovým zněním.

Rovněž v dalším oddílu Kreljova katechismu *Boshie postave* přicházíme místy na stopy Gyrkova katechismu. Tento Kreljův oddíl je sice jakési samostatné zpracování Lutherovy *Haustafel*, ale Krelj tu bez pochyby též čerpal z posledního dílu Gyrkova katechismu (*Die Lehre von dem grösten Gebot des Herrn J. Chr. gegen d. Nechsten* ot. 160—164), po jehož vzoru právě také položil na první místo těchto svých „zákonů" příkaz křesťanské lásky k bližnímu (v Lutherově *Enchiridionu* v tak zv. *Haustafel* se o tom mluví až na konci, a to ještě docela kratičce). Co se týče obsahu jednotlivých částí, také tu se najdou tu a tam místa, jichž v Lutherově *Haustafel* vůbec

---

[1]) Čerpáno z Müllerova otisku Gyrkova katechismu v Mon. Germ. Paed. IV., 214 a n.

[2]) Jako pramen mi sloužil opis slovinského dílu Kreljova katechismu, který pro Lycejní bibliotheku v Lublani pořídil z londýnského exempláře N. B. Jopson

[3]) F. Cohrs c. o. v Monum. Germ. Paed. XX., str. 157 a n.

není, ale která naopak se shodně vyskytují u Gyrka, jako na př. ve zmíněné už stati o lásce k bližnímu a pak zejména také v pojednání o manželství. Tato shoda se tu mimo jiné jeví i v stejných citátech z Písma. Tím, že Krelj po Gyrkově vzoru postavil v čelo tohoto svého oddílu zákon křesťanské lásky k bližnímu, velice se tedy přiblížil českobratrskému pojetí, budujícímu veškeru praktickou morálku právě na tomto zákoně.

Pro dogmaticko-polemickou část *Antithesis*, kterou Krelj zakončil svůj katechismus, v Gyrkově bratrském katechismu nenalézáme sice nijaké předlohy, ale metodu mu mohly poskytnouti vzpomenuté již starší českobratrské německé katechismy, které právě vyznačuje úsilí, ukázati, co jest pravá a co nepravá víra, což zpravidla rády doprovázejí hojnými doklady a četnými ukázkami o zneužívání pravé víry římskou církví.[1]) Obsah pak mu mohla zejména dodati bojovná Spangenbergova postila.

Krelj podle všeho také používal české bible (Norimberské) při překládání nedělních evangelií ve svém převodu zimního dílu Spangenbergovy postily, který vyšel pod názvem *Postilla Slovenska* v Řezně r. 1567 (po druhé pak jako první díl v Juričićově redakci v Lublani r. 1578). Jak už bylo dosud zjištěno, překládal Krelj tato evangelia asi přímo z řeckého textu, kontroluje se Lutherem,[2]) ale používal tu po stránce jazykové také nějakého církevněslovanského textu hlaholského nebo cyrilského,[3]) nahlížel však též do Trubarova překladu a měl před sebou patrně i českou bibli, kterou, jak už bylo výše podotčeno, obdržela od Ungnada Klombnerova překladatelská obec lublaňská, k níž náležel nejen on sám, nýbrž i jeho pomocník při překladu této Spangenbergovy postily, t. j. Jurij Juričić (Charvát rodem), kterému právě byla česká bible přidělena k prostudování.[4]) S českým zněním se jeho překlad (pokud je totiž o tom možno usuzovati z jazykově už poněkud pozměněného vydání Juričićova[5]) často shoduje hlavně po stránce jazykově-formální a syntaktické vůbec. Jeví se to především v participiálních vazbách, jichž Krelj důsledně užívá v souhlase s řeckým a latinským textem, přesvědčiv se patrně o jejich ceně pro *živé*

[1]) Ibid., str. 10.
[2]) A. Breznik Literarna trdicija, v D i S 1917, str. 171, p. 1.
[3]) V. Oblak, Protestantske postile v slovenskem prevodu, LMS 1894, str. 213.
[4]) Fr. Bučar, Povijest str. 89. — Viz též na str. 23. pozn. 6.
[5]) V. Oblak c. o. v LMS 1894, str. 204, 211 a 214 a n.

slovanské jazyky právě z českého překladu bible. Tuto zásadu po něm sdílel i jeho vydavatel a pokračovatel v překladu Spangenbergovy postily, vzpomenutý už Jurij Juričić, zato se jí však nedržel pozdější překladatel slovinské bible Jurij Dalmatin, který stejně jako Trubar většinou otrocky překládal z Lutherovy němčiny. Mimo to shledáváme také, že Krelj rád užívá stejně jako česká bible a na stejných místech týchž nesložených výrazů, zatím co Trubar obyčejně tu mívá otrocky z Luthera nebo z vulgáty přeložené složeniny. Tak na př. překládá Krelj v evang. sv. Lukáše XVIII. kap. (Juričićovo vydání Postily 1578):[1]) Sakai on bude Aydom *isdan*; Čes. bible (Norimb.) 1540: Nebo *wydán* bude pohanuom; Trubar (Ta celi Novi Test. 1582): Sakai on bode *zhes dan* tim Aydom. — Podobně je tomu též o něco dále v téže kapitole. Krelj: Tuoia Vera ie tebe *osdrauila*; Č B: Wjra twá tebe geſt *vzdrawila*; Trubar: Tuia vera ie tebe *ſdrauiga ſturila* (podle vulgáty: te salvum fecit). — Nemaje však po ruce původního vydání Kreljova překladu z r. 1567 (jediný exemplář je dochován ve vídeň. Nár. bibl.),[2]) nemohu podrobněji určiti, zda a do jaké míry se u Krelje ještě jeví vliv české bible, po případě i Blahoslavova (rovněž z původních textů pořízeného překladu) *Nového zákona* z r. 1564, i po jiné stránce. Nepochybno však jest, že i český překlad sv. Písma (vedle jiných slovanských textů) v nemalé míře působil na vytříbenost a ducha jeho slovinštiny. Rovněž mi není možno pro tento čas zjistiti, zdali Krelj znal a používal-li snad také Jana Straněnského českého překladu Spangenbergovy postily, vyšlého v Norimberce r. 1557,[3]) který se mu snadno mohl dostati do rukou už za jeho studií v Němcích a z kterého po případě také mohl leccos přejmouti do svých místy dosti od Spangenberga odchylných výkladů.[4])

České bible užíval jako pomůcky ve smyslu Trubarově také *Jurij Dalmatin* (1547—1589[5]), a to zvláště při překládání

[1]) V lublaňském exempláři Lycejní knihovny, z něhož čerpám, se vinou vazby nalézá Kreljův neúplný překlad prvního dílu (zimního) od str. 72—136. Viz o tom u Oblaka c. o. v LMS 1894, str. 205.

[2]) Fr. Simonič, Slov. bibl. str. 483.

[3]) Jungm. Hist. IV., str. 215, č. 1548. — Hynek Hrubý, České postilly, Spisů poctěných jub. cenou KČSN č. XII., Praha 1901, str. 157 a n.

[4]) Už V. Oblak c. o. v LMS 1894, str. 212 a n. ukázal, že Krelj leckteré odchylky čerpal z Lutherovy a Brenzovy postily.

[5]) Sám Dalmatin ve své předmluvě k Bibli (Vitemberk 1584) připomíná, že překládal nejen z původních znění, nýbrž i z jiných překladů (vnd dieselbige so wol aus den Brunnquellen der Originalsprachen . . . vnd andern Interpretibus . . .

Starého zákona, v čemž dosud neměl slovinských předchůdců. Nápadně totiž bije do očí, že i v jeho překladě leckdy nalézáme slova nebo obraty téhož slovního znění jako v české bibli na týchž místech, což ovšem nelze vždy vyložiti jen pouhou náhodou. Jako příklad nechť slouží aspoň tyto dvě ukázky z I. knihy Mojžíšovy; tak v XXII. kap. (*Biblija* I.) Dalmatin překládá: Natu je Abraham v' jutru sguda vſtal, inu je ſvojga Oſla podpregèl (in margine: *oſſedlal*) . . . inu je Dèrv *naſèkal* (in marg.: nakalal). — Čes. bible (Norimb.) na témž místě zní: Tehda Abraham powſtaw w nocy, *oſedlal* oſla . . . a když *naſekal* dřjwj . . . Podobně je tomu též v XXVII. kap. Dalmatin: Pole, moj brat Esau je koſmat, inu jeſt ſim *gladek* (in marg.: gol). — Č B: Že Ezau bratr muoy Cžlowěk chlupatý geſt a yá *hladký*.

Dalmatin ovšem překládal už do celkem ustáleného jazyka a proto u něho také nalézáme leckteré výrazy, které už Trubar zavedl podle češtiny, jako na př.: *miloſt* (Barmherzigkeit), *porozhiti* (befehlen), *shaſſt* (Testament), *moſhna* (Gürtel), *almoshen — almoshna* atp.

Rovněž jako skladatel a vydavatel slovinských duchovních písní používal asi také českobratrských kancionálů německých, jmenovitě asi norimberských vydání (*Ein Gesangbuch der Brüder, Kirchengesang*) z r. 1561, 1564 a 1566[1]) nebo, jak míní Fr. Kidrič,[2]) i staršího kancionálu *Weiszova* (v úpravě Rohové-Hornové) z r. 1544, což ovšem bude třeba ve vztahu s Trubarem a jeho pokračovateli ještě podrobněji zjistiti.

Pobývaje v l. 1565—1572 na studiích v Tubinkách v Německu, přišel tam Dalmatin patrně také do přímého styku se severními Slovany, jmenovitě s Čechy, kteří už od dřívějška hojně přicházeli na studie zvláště do Vitemberka;[3]) a tam také asi jest už hledati zřídlo jeho slovanské orientace, jak ji projevil ve své předmluvě k *Bibli* z r. 1584, o čemž však bude ještě pojednáno na svém místě.

---

transferirt habe); je tedy mezi těmito překlady docela dobře hledati i českou bibli, která konala dobré služby už Trubarovi a Klombnerově družině a s kterou se mohl zvlášť dobře seznámiti už u svého učitele Adama Bohoriče, který ji také uvádí mezi svou četbou. (F. Kidrič. O Bohoričovi v Slov. bijogr. leks, str. 50.)

[1]) Viz o nich v Zíbrtově BČH III., str. 158 a n. — Rovněž Jos. Čihula c. o. v VKČSN IV., str. 67.

[2]) Sloven. bijogr. leks. str. 121.

[3]) Ferd. Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Vitemberku od r. 1502—1602, ČČM 1897, str. 250 a n. — O polských studentech ve Vitemberku v XVI. stol. pojednal nejnověji Th. Wotsche „Polnische Studenten in Wittenberg" ve vratislavském čas. Jahrbücher f. Kultur u. Gesch. d. Slaven N. F. III. Bd, H. II. s r. 169 a n.

Velice příbuzný zjev s českobratrsko-humanistickým typem na způsob Jana Blahoslava byl mezi slovinskými protestanty Blahoslavův současník a vychovanec téhož prostředí, *Adam Bohorič* († 1598), na jehož formulaci národní a slovanské myšlenky značně působilo i české myšlení a české písemnictví, s nimiž podle všeho se seznámil už za svých studií ve Vitemberku v l. 1548—1550[1]) a pak zvláště za druhého svého pobytu tamže od května r. 1583 do února 1584, kdy tam meškal s Dalmatinem[2]) za účelem tisku jeho Bible a své latinsky psané slovinské gramatiky *Arcticae horulae succisivae.* Svědectví o tom podává zvláště jeho předmluva k jmenované gramatice, v níž se shledáváme s týmž národně-slovanským smýšlením a cítěním jako v soudobé české a polské vědě historické a filologické, které horujíce docela humanisticky o prostranném slovanském světě, o starobylosti a přednostech a krásách slovanských „dialektů" a o jejich užitečnosti, na podkladě všeho toho také požadovaly a reklamovaly potřebu jejich pěstování, kterýmiž důvody právě operuje i Bohorič.

Pravda, podobné myšlenky o slovanské starobylosti a rozšířenosti tradovaly se skoro vesměs i v německém humanistickém dějepisectví, z něhož, jak ještě bude ukázáno, Bohorič také mnoho přejal do své předmluvy, ale jeho národně-slovanskou ideologii, jak ji ve své předmluvě projevil, je zajisté chápati v souvislosti právě se severoslovanským, jmenovitě s českým myšlením a s českými vlivy, z nichž na prvním místě je zdůrazniti aspoň literární[3]) vliv proslulého českého humanisty v Basileji, *Zikmunda Hrubého z Jelení* známého *Gelenia* († 1554), kolem jehož osoby se právě v Němcích vytvořilo ohnisko slovanské orientace. Jako dědic vlasteneckých zásad svého učitele Václava Píseckého († 1511) byl totiž Zikmund Hrubý po svědectví Blahoslavově nejen ctitel svého jazyka mateřského, nýbrž i dokonalý znatel též jiných slovanských jazyků a jejich vzájemného poměru mezi sebou i k cizím jazykům,[4]) kromě toho byl

[1]) V týchž letech byl na studiích v Němcích i náš Blahoslav; není tedy vyloučeno, že se mohli Blahoslav a Bohorič i osobně poznati.

[2]) Tehdy cestovali Bohorič a Dalmatin se svými pomocníky přes Čechy do Německa; navštívivše Prahu, vezli se po Labi až do Drážďan. Viz F. Ilešič, O nastanku in izdanju Dalmatinove biblije, Lj. Zvon 1905, str. 237.

[3]) Vedle literárního vlivu Hrubého na Bohoriče není vyloučen ani osobní vliv, neboť snadno mohl býti i Bohorič mezi oněmi Jihoslovany, o kterých se náš Blahoslav zmiňuje, že bývali často hostmi Hrubého v Basileji. Viz str. 255, poz. 1.

[4]) Ignác Hradil a Jos. Jireček, Jana Blahoslava Grammatika česká, Vídeň 1857, str. 343.

i v jiných otázkách slovanských uznávaná autorita a vůbec učenec vřele slovansky cítící, který i v praxi osvědčoval své slovanství, přijímaje rád ve svém domě v Basileji slovanské hosty, mezi nimiž bývali i jižní Slované, zvláště Charvati, z jejichž úst si právě u něho náš Blahoslav r. 1549 zaznamenal jejich národní píseň „Pryliko andelska, koia me prychyny."[1]) Hrubému také náleží zásluha o šíření zájmu o slovanský národopis v širokém okruhu jeho osobních a literárních přátel; tak jeho zpráv o národech, kteří mluví *ilyrsky*, podle vlastního doznání použil i sám německý učenec Konrad Gesner ve svém spise *Mithridates*, Tiguri 1555, str. 51 *b*.[2]) Velikého významu pro slovanskou otázku v té době byl pak zvláště jeho srovnávací slovník *Lexicum symphonum* z r. 1537 (2. vyd. 1544), v němž ukázal na podkladě zvukové shody jednotlivých slov příbuznost slovanského jazyka (slovanské jazyky totiž chápal jako dialekty společného jazyka) nejen se staroklasickými jazyky, řečtinou a latinou, nýbrž i s němčinou, čímž se patrně snažil dokázati jeho starobylost a rovnocennost s ostatními evropskými jazyky. Slovanský jazyk, kterého ve svém slovníku užíval, je sice čeština, ale hojně promíšená charvatskými zvuky.[3]) Tím tedy určil Slovany za stejně starobylý a rovnocenný národ s ostatními evropskými obyvateli a češtinu ve spojení s charvatštinou označil jaksi za původ a studnici ostatních slovanských „dialektů", což docela odpovídalo i staré kronikářské tradici, odvozující původ Čechů a Poláků z Charvatska, kterou právě v tu dobu nejvíce šířila zvláště Hájkova *Česká kronika* z r. 1541. A právě tyto Hrubého ideje, které ve svém jádře obsahují zároveň vznešenou apologii slovanství a slovanských jazyků, zajisté mocně působily i na charvatské a slovinské protestanty, kteří jimi byli zasaženi patrně už záhy za svého nuceného i dobrovolného pobytu v německém prostředí, v němž Hrubého názory vahou jeho autority a vlivem jeho četných styků skoro se všemi význačnými osobnostmi tehdejšího učeného světa[4]) nabyly celkem všeobecného souhlasu a rozšíření.

Ovzduším tohoto prostředí byl patrně už dotčen i sám Primož Trubar, jehož inspirátorem byl právě Hrubého vzpo-

---

[1]) Ibidem str. 342.

[2]) Viz o tom také v Truhlářově studii o Geleniovi v ČČM 1886, str. 217, 50. p.

[3]) Ibidem str. 210.

[4]) Mezi Hrubého přáteli byli vedle Erasma Rotterdamského též J. Camerarius, B. Rhenanus, Coelius, K. Gesner a zvláště mu oddaný Filip Melanchthon, který právě byl vlivným učitelem Bohoričovým. Viz Truhlář c. o. str. 32—48 a 216—222.

menutý již přítel P. P. Vergerius;[1]) že totiž při překladu sv. Písma sáhal (a po něm i ostatní překladatelé) k české bibli jakožto jazykové pomůcce, je zajisté vykládati i v souvislosti s ideou Hrubého slovníku, s jejímž ohlasem se také shledáváme i v Gesnerově tvrzení (Mithridates str. 55*b*), že je totiž čeština mezi všemi slovanskými „dialekty" považována za nejvyspělejší. Nejvíce ovšem byli zasaženi tímto prostředím, oživeným podle všeho i osobními styky se severními Slovany, zvláště Jurij Dalmatin a před ním už jmenovitě jeho učitel Adam Bohorič, v jehož předmluvě právě nalézáme nejvíc ohlasů z Hrubého slovanských myšlenek, na jejichž prohloubení pak zajisté ještě působila i jeho soustavná četba jak severoslovanských, tak německých historiků, gramatiků i slovnikářů, po jejichž vzoru také on zařadil dějiny Slovanů do všeobecně oblíbeného rámce biblické genealogie. Své zprávy o slovanských starožitnostech sice nejvíce čerpal z německých pramenů, zvláště z Funckovy *Chronologie*,[2]) vyšlé v Basileji 1545 (ve Vitemberce 1570), pak ze vzpomenutého již Gesnerova *Mithridata*[3]) a z Krantzovy *Wandalie* z r. 1519 (pak také 1580)[4]), v leccems pak mu asi také prospěl Wolf. Lazius (*De gentium aliquot migrationibus* IV., Basilej 1557); obraz a obsah slovanského světa pak mu v první řadě poskytl spis jeho proslulého krajana Žigy Herbersteina († 1566) *Rerum Moscoviticarum commentarii* (ve Vídni 1549,

---

[1]) Ibidem str. 217.

[2]) Na souvislost Bohoričovy biblické genealogie s Funckovou theorií poukázal už L. Niederle v Slov. Star. I., 1 str. 52, pozn. 1. — Z Funcka patrně má Bohorič (11 str. jeho předmluvy) identifikaci Slovanů s Homerovými Henety (téhož názoru byl i Melanchthon) a pak další svou zprávu, že část jich se dostala pod vůdcem Antenorem až do severní Italie (12 str. jeho předmluvy).

[3]) S Gesnerovým Mithridatem (De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt) se Bohorič shoduje tak často a tak věrně, že není nijaké pochyby, že právě z něho přejal jak své linguistické zásady tak leckteré etymologie a zprávy o slovanském národopise. Ježto pak Gesnerovi byl právě český humanista Hrubý směrodatnou autoritou zvláště v těchto otázkách, neboť se ho i na různých místech dovolává, přejal tedy jeho prostřednictvím i Bohorič leckteré myšlenky Hrubého. Už zásadou, že slova se shodují s věcmi („affirmant, verba cum rebus sibi recte convenientia . . . perspicientes" (Bohoričovy předmluvy str. 10), se Bohorič zřejmě shoduje s Gesnerovým: „Porro primae et generales dialecti, etsi barbarae sunt, nomina tamen ex ipsa rerum natura habent deprompta" (Mithr. I. kap., str. 3 b). Jmenovitě pak z jeho kapitoly „De illyrica sive sarmatica lingua" (str. 52 a n.) čerpal Bohorič velice mnoho, zvláště zprávy o slovanské rozlehlosti a o zbytcích polabských Slovanů.

[4]) Z Krantzovy Wandalie (mám po ruce vydání z r. 1580) čerpal Bohorič především identifikaci Vandalů a Slovanů, pak mnoho látky pro své etymologie, na př. Starigrad, Poloni od pole, Boiemi od boj atd. V těch etymologiích souhlasí i s Kromerem.

v Basileji 1556), hojně současníky citovaný a často překládaný (i do češtiny), v němž právě se Herberstein jeví jako stoupenec ruské Nestorovy ilyrsko-balkánské theorie slovanské, potom také několikrát už jmenovaný Gesnerův *Mithridates* a v neposlední řadě též Orteliův spis *Theatrum orbis terrarum*, vyšlý v Antverpách r. 1570 (potom do r. 1580 ještě pětkrát), v němž právě jako všeobecně slovanský (ilyrský) jazyk jest uváděna „die windische Sprach“;[1]) přesto však sáhal také přímo i k severoslovanským pramenům, tak na př. podle všeho mu poskytla leckterou podrobnost i Kromerova polská kronika (*De origine et rebus gestis Polonorum*), vyšlá r. 1555 a pak častěji v Basileji, z českých pramenů pak mu sloužily jmenovitě Dubraviova *Historia Boiemica*, vytištěná rovněž v Basileji 1575, a Hájkova Kronika z r. 1541, z nichž měl zprávy zejména o listině Alexandra Velikého, o zlaté bule Karla IV. a o jeho podporování slovanského jazyka, jakož i etymologii jména Slovan od sláva (Dubravius), kterouž přesvědčivě hájila už také Kromerova polská kronika. A právě v této obranné tendenci jeví se zvlášť úzká ideová souvislost jeho předmluvy nejen s uvedenými českými a polskými kronikami, nýbrž i s gramatikami a slovníky, jmenovitě s jejich vlastenecko-slovanskými předmluvami, jakými se vyznačují na př. latinsko-polský slovník (*Lexicon latino-polonicum*) Jana Mączyńského,[2]) vyšlý v Kralovci r. 1564, nebo latinsko-český dikcionář Veleslavínův z r. 1579 (*Dictionarium linguae latinae ex magno Basilii Fabri thesauro collectum . . ., in quo . . . interpretatio bohemica addita est*[3]) anebo Matouše Benešovského *Grammatica Bohemica* z r. 1577,[4]) z nichž aspoň některý výtisk se mu podle všeho také dostal do ruky zvláště za druhého jeho pobytu ve Vitemberku.

Důkaz o jednotném původu Slovanů, založený na jejich jazykové příbuznosti, podal Bohorič pak ještě ve své gramatice, a to v serii slovanských otčenášů, mezi nimiž je zastoupen také

[1]) Ve vydání z r. 1580 str. 73. — Ortelius by stoupencem Krantzovy wandalsko-slovanské theorie; jeho výčtu národů, kteří mluví ilyrsky, t. j. řečí užívanou v Krajině, skoro doslovně použil zvláště Dalmatin ve své předmluva k bibli. Viz o tom: P. pl. Radics, Zemljepisec Ortelij in dežela Kranjsk6 v XVI. věku, Lj.Zvon VI (1886), str. 164.

[2]) Jan Mączyński byl polský luterán a oddaný přítel vitemberských theologů; viz o něm a o jeho předmluvě k slovníku studii H. Barycze v čas. Reform w Polsce III., Warszawa 1923, str. 231 a n. — O jeho stycích s Čes. bratry v Bidlově Jednotě I., str. 101 a n. — Srov. též Th. Wotsche c. o. str. 175.

[3]) Jung. Hist. IV., č. 36.

[4]) Ibidem č. 9.

český (str. 37—39). I v tom se Bohorič zásadně odnáší k několikrát již vzpomenutému Gesnerovu *Mithridatu*, v němž také vedle polského a ilyrského,[1]) t. j. charvatského otčenáše jest uveden rovněž i český (str. 55 *b*). Bohoričův český otčenáš se však od Gesnerova liší velice makavě hlavně zněním textu; tak na př. má nejen víc o typický doxologický přídavek protestantský, nýbrž se s ním rozchází i po stránce stilisticko-fraseologické a tu a tam i po stránce tvaroslovné. To je důkazem, že Bohorič musil používati vedle Gesnera ještě nějaké jiné české předlohy. Chtěje se jí dopracovati, srovnal jsem tedy jeho text se zněním českých otčenášů skoro ve všech význačnějších českých tiscích náboženských v 1. a zač. 2. pol. XVI. stol., zejména pak s otčenáši v bibli Benátské 1506, Norimberské 1540 a v Melantrichově z r. 1549, 1561, 1570 a 1580 (Nový zákon) a neshledal jsem nikde takové podobnosti s jeho zněním jako právě v *Blahoslavově* překladě *Nového zákona* z r. 1564 (2. vyd. 1568). Ale od tohoto Blahoslavova otčenáše liší se však Bohoričův text zase docela úplně pravopisem, po kteréž stránce se naopak většinou shoduje právě s Gesnerovým typem. Ale to není vše: v Bohoričově otčenáši se mimo to ještě vyskytují některé jazykové zvláštnosti a tvary, jichž není ani v Gesnerově, ani v Blahoslavově textu, což lze po mém mínění nejpřirozeněji vysvětliti asi tím, že Bohoričovi tento český otčenáš zapsal někdo z jeho českých přátel ve Vitemberku,[2]) a to právě v onom Blahoslavově českobratrském znění, ale starým, nediakritickým pravopisem, podobným Gesnerovu typu, jak jej Bohorič nalézal právě v jeho Mithridatovi; mimo to leccos pak si Bohorič podle všeho upravil asi sám podle svých pravopisných zásad.[3]) Některé tiskové chyby pak ještě dovršily tuto pravopisnou zmatenici. Aby pak byla věc snáze kontrolovatelna, uvádím níže všechna dotyčná tři znění v jejich časovém pořadu:

K. Gesner, Mithr., str. 55 b: *Otoczie*[4]) naſs, genz ſy *na nebeſich*, *Oſzwiet* ſe meno twe, *Przid* kralowſtwy twe. Bud wule

---

[1]) Tento „ilyrský" otčenáš měl Gesner, jak sám poznamenal, z Georgijevićova spisu „De afflictione Christianorum sub Turcis", Worms 1545.

[2]) Mohl to býti na př. někdo z českých studentů, kteří r. 1583 a 1584 byli zapsáni na vitemberské universitě. Viz c. o. F. Menčíka v ČČM 1897, str. 264. Ostatně věc mu mohl zprostředkovati sám Dalmatin, který se r. 1583 dal zapsati na vitemberskou univ. Viz Slov. bijogr. leks. 118.

[3]) Podobně si počínal Bohorič i s lužickým otčenášem. Viz o tom Hórnikovu zprávu v Čas. Mać. Serb. 1878, str. 28 a n.

[4]) Zřejmě tisková chyba místo správného *otczie*.

twa yako *na nebi*, tak y na zemi. Chleb naſz wezdeyſsi dey nam dnes. *I odpuſt nam naſse winy yako y my odpauſtime naſsim winikom*. I no vwod¹) naſz *do pokuβeni*. Ale zbaw nas od zleho. Amen.

Blahoslavův Nový zákon 1564, VI. kap.: *Otče* náš genž ſy *wnebeſých*. *Oſwiť* ſe gméno twé. *Přiď* králowſtwj twé. Buď wůle twá gako *wnebi* (tak) y na zemi. Chléb náš wezdeyſſj dey nám dnes. *A odpuſt nam winy naſſe, gakož y my odpauſſtjme winnjkům naſſim*. I nevwoď nás *wpokuſſenj*, ale zbaw nás od zlého. Nebo twé geſt králowſtwj y moc y ſláwa na věky. Amen.

Bohoričovy Arcticae horulae 1584, str. 37—39: *Otzie* naſs, genz ſy *wnebeſych Oſwiet* ſe gmeno twe. *Przid* kralowſtwy twe. Bud wule twa: yako *wnebi*, tak y nazemi. Chleb naſs wezdegſſy dey nam dnes. *A odpuſt nam wini naſſe: Jakoz y mi odpauſtime winiknom²) naſſym*. Nuwod³) naſs *wpokuſſeni*. Ale zwawiz⁴) nas odzleho. Neb twe geſt kralowſtwy, y moz, y thwala⁵) nawieky wiekuom.⁶) Amen.

Dodatkem k Bohoričovi jest se aspoň povšechně ještě zmíniti o rázu jeho „latinsko-kraňské" mluvnice, která jsouc aplikací latinských pravidel Melanchthonovy gramatiky na slovinštinu, v lecčems připomíná latinsko-českou gramatiku *Pavla Vorličného* (Aquilinas) *Grammatica Philippi Melanthonis latina recognita et locupletata, nunc primum Boiemico sermone illustrata*, vytištěnou v Praze r. 1567 a pak ještě častěji (1568, 1572, 1575, 1580).⁷) S ní se totiž Bohoričova mluvnice shoduje nejen co do společné předlohy a principu, nýbrž i dost nápadně zvláště

¹) Podobná chyba místo *nevwod*.

²) Stejná tisková chyba místo vinnjk*uom*; v Gesnerovi čteme starou formu winik*om*, v Blahoslavovi pak novou winnjk*ům*, v Bohoričovi však nalézáme střední tvar na *-uom*, jak mu jej takto patrně zapsal jeho český známý.

³) Jmenovitě tento tvar *nuwod*, vzniklý náhradou za složeninu s ne-u- (viz o tom Geb. Hist. mluv. I., str. 153), jehož neměl Bohorič ani z Gesnera ani z Blahoslava, jest jasným důkazem, že mu český otčenáš musil zapsati rodilý Čech, neboť sám by si takového tvaru nedovedl utvořiti. Zvláštní náhoda pak by to byla, kdyby to u něho byla jen chyba tisku.

⁴) Správné mělo býti *zbawiź*; v Gesnerovi i v Blahoslavovi čteme *zbaw*, měl tedy Bohorič i tento tvar patrně z psané předlohy.

⁵) Zase tisková chyba za správné *chwála*; v Blahoslavovi a ve starších českobratrských tištěných otčenáších nalézáme na tom místě slovo *ſláwa*. Není-li to v Bohoričovi tiskový omyl sazečův vlivem polského otčenáše, v němž je na témže místě výraz „hwala", pak měl Bohorič i tuto změnu ze zápisu českého známého.

⁶) Správně gen. *wiekuow*; ježto Blahoslavův otčenáš tohoto slova vůbec nemá, ukazuje to zase na zmíněnou psanou předlohu.

⁷) Viz o ní Zik. Winter, O životě na vys. škol. praž., Praha 1899, str. 330 a Život a učení na partik. škol. v Čechách v XV. a XVI. stol., Praha 1901, str. 522. — Ant. Truhlář, Rukověť k písem. humanistickému, zvl. básnic. v Čech. a na Mor. v XVI. stol., Praha 1908, str. 57. — Též J. Král v List. Fil. 1909, str. 415, p. 36.

v dělbě látky; tak na př. Vorličného i Bohoričova gramatika mají po orthografii hned etymologii, zatím co v Melanchthonově jest etymologie až na třetím místě, t. j. až po prosodii, o které Vorličný i Bohorič zase docela shodně pojednávají, ovšem oba velice kratičce, až na konci svých gramatik. Jinak však mezi nimi, zejména v jejich obsahu nenalézáme nijakých makavějších shod; ale už z toho, co o nich bylo výše zjištěno, je lze usuzovati, že Bohoričovi byla Vorličného gramatika známa a že jí mohl použíti aspoň při konečné redakci své mluvnice, započaté už hodně dříve ve své domovině.[1])

Jak už bylo v úvodě naznačeno, jest sice slovinská reformace svým theologickým obsahem co nejúžeji spjata s německým luteránstvím (Trubarův pokus o samostatné přizpůsobení byl záhy zakřiknut!), ale přesto přece nad ně vyniká svou upřímnou pozorností vůči osvětovým potřebám zvláště prostého, selského lidu (což jiného totiž je Trubarův ,,das vnser arm, gemein Volk"?), čímž ku podivu připomíná právě husitský a jmenovitě českobratrský osvícený demokratismus. A zda také v ní nenalézáme téhož či podobného splývání národního citu s cítěním náboženským jako právě v české reformaci? Ovšem tyto podobnosti není asi vykládati ani tak literárním vlivem jako spíše analogií podobných kulturních poměrů a pak zvláště příbuzností národních povah.[2])

2. V době, kdy se jala slovinská reformace splývati s humanistickou vzdělaností a slibovati mnoho pro budoucí literární a kulturní vývoj, byl jí zasažen smrtelný úder katolickou protireformací, kterou kolem r. 1600 zvlášť vehementně v Krajině prováděl v mládí pokatoličený lublaňský biskup Tomaž Hren (Chrön) za pomoci různých řádů, zvláště jesuitů, v nichž většinou (aspoň v prvních desítiletích XVII. stol.) zastoupeni byli cizinci, hlavně Němci a Italové. S touto protireformací se u Slovinců dostavuje jakýsi odklon od německého vlivu a písemnictví, kterým podléhala zvlášť jejich reformace, a začíná se uplatňovati vliv románský, a to jak v písemnictví, tak v umění,[3]) ba

[1]) Viz Slov. biogr. leks. pod *Bohorič.*

[2]) Ač pro tento čas nemohl jsem hlavně pro nedostupnost přímých pramenů provésti rozboru vztahů mezi českou a slovinskou reformací ve vší úplnosti, přece vynasnažil jsem se aspoň v hlavním zjistiti a osvětliti řadu momentů, které dosud byly opomíjeny jak filology, tak historiky. Nepochybuji, že další revise po této stránce může ještě leccos nového na světlo přinésti nebo aspoň blíže odůvodniti.

[3]) M. Murko, Die Bedeutung . . . Slavia V., str. 508.

i v mravech vyšších tříd.[1]) Tento odklon od německého vlivu neznamenal však v praxi ještě nijak emancipaci od němčiny, která naopak v této době se daleko víc zase rozmáhala a dělila se o vládu s latinou, která se jí průběhem času (jmenovitě jesuitskou výchovou) ještě přidružila. Co se týče protireformační literární produkce jazykem slovinským, která byla velice skrovná a vesměs obsahu náboženského nebo nábožněvýchovného,[2]) neboť jí měla býti poskytnuta lidu náhrada za zkonfiskované knihy reformační, je sice s theologického hlediska připoutáním na katolickou vulgátu, ale po stránce jazykové jest jen přejetím či pokračováním reformační tradice.[3])

Se zánikem slovinské reformace ztrácejí se také na dlouhou dobu v slovinském písemnictví jakékoli stopy po české knize, což je docela pochopitelno, neboť v Čechách tou dobou ještě protireformace nenastala a nebylo tedy podle všeho nijakých bližších vztahů k duševnímu životu v českých zemích. Až teprve v 2. pol. XVII. stol., t. j. po třicetileté válce, přicházíme zase na živější styky česko-slovinské. Toto nové oživení způsobili jmenovitě řeholníci bosáci řádu sv. Augustina, zvaní *diskalceáti* či *eremiti*, kteří přišedše r. 1642 do Lublaně, usadili se tu po dlouholetých obtížích v klášteře u sv. Josefa,[4]) na jehož vydržování jim mezi jinými přispěli hlavně jejich čeští spolubratři částkou 10.000 zl.[5]) Mezi těmito lublaňskými diskalceáty byli hned s počátku zastoupeni také Češi, z nichž někteří zastávali i místa představených, jak to vysvítá z mortuáře dochované jejich kroniky,[6]) v němž je považovati za Čechy ve smyslu nacionálním aspoň ty, které lublaňský jejich analista označil poznámkou „natione Boëmus". Jsou to: P. Simplicianus ab Assumptione B. V. M., od r. 1659—1662 lublaňský prior,[7]) † 22. října 1662 v Praze v klášteře u sv. Václava ve věku 51 let;

---

[1]) Aug. Dimitz, Gesch. Krains III., str. 477 a IV. (1876), str. 92.

[2]) F. Kidrič, Opombe k protiref. (kat.) dobi, ČJKZ III. (1922), str. 73 a n.

[3]) V. Oblak, Doneski . . . LMS 1890, str. 182. — A. Breznik c. o. v D i S 1917, str. 170 a n., 225 a n., 333 a n. — M. Murko c. o. v Slavii IV., 501.

[4]) Ivan Vrhovnik, Zatrte nekdanje cerkve in kapele ljubljanske, Danica 1904, str. 142, 150, 157 a n.

[5]) Ferd. Tadra, Spor řádu mnichů sv Augustina, Čas. katol. duchovenstva 1885, str. 74. — Iv. Vrhovnik c. o. str. 397.

[6]) Vrsprung (Anfang vnd Eingang) R. R. P. P. Eremit Discalceat. S. P. Augustini in daß Herzogthumb Krain 1642. — Chová ji lublaňské Nár. museum; použil jí k vypsání dějin lublaňských diskalceátů Iv. Vrhovník, viz pozn. 4.

[7]) (Gregor Vorenc) Origo et ingressus P. P. Eremit. Discalceat. S. P. Augustini in inferioris Austriae Ducatum Carnioliam, str. 146 nové paginace. Rukopis této Vorencovy kroniky chová lubl. Lyc. knih. pod č. 113.

Fra Daniel a S. Procopio † 14. srpna 1668 v Lublani v stáří 33 let; Fra Michaël ab Assumptione B. V. M. † v červnu 1678; P. Alexius a S. Cruce, konaje visitační cestu jakožto provinciál česko-německé provincie, navštívil také v táboře v jižním Štyrsku nalézající se nemocné české vojáky, ,,quorum linguam calebat“[1]), nakazil se od nich a zemřel 25. dubna 1684 v Lublani; P. Basilius a S. Georgio † jako prior v Lublani dne 11. října 1684, jsa stár sotva 44 léta. Mimo to značkou ,,Boëmus“, která tu patrně má jen teritoriální význam, označeni jsou ještě P. Franciscus a S. Venceslao † 29. září 1661 a P. Raphaël a S. Michaële Egerensis † 30. července 1750, kteří rovněž zemřeli v Lublani. Mezi Čechy, působícími nějaký čas také v klášteře lublaňských disklaceátů, vzpomíná se r. 1660 v uvedené jejich kronice ještě bratra Konstantina, který byl dovedným ilustrátorem;[2]) byl to podle všeho onen sakristián Konstantin, který v l. 1666—1672 už zase byl zpět v Čechách v pražském klásteře u sv. Václava.[3]) Ježto tito lublaňští diskalceáti náleželi po celou dobu trvání svého řádu až do zrušení za císaře Josefa II. k českoněmecké řádové provincii,[4]) ke které připadaly čtyři české kláštery (v Praze, Něm. Brodě, Táboře a ve Lnářích), dva v Rakousích, dva v Štyrsku, jeden v Bavořích, jeden na Moravě a jeden v Slezsku,[5]) byli tedy přirozeně v úzkých stycích s českými zeměmi a tak také leckterá kniha českého původu nalezla cestu i do jejich lublaňské klášterní knihovny, jak o tom svědčí dochovaný seznam knih, které po zrušení jejich řádu r. 1786 přešly do Lycejní knihovny v Lublani.[6]) Český literární vliv je mezi nimi zřejmě pozorovati až teprve v 2. pol. XVIII. stol., a to zejména na Pohlinovi, o čemž však bude ještě později podrobně pojednáno.

V této době usídlení a prvního působení diskalceátů v Lublani byla rekatolisace Krajiny už na vrcholu své moci: hlásal ji život státní (císař Leopold I.), církevní, občanský, umělecký

---

[1]) Ibidem str. 147 (8).
[2]) Iv. Vrhovnik c. o. str. 198.
[3]) F. Tadra, Z literární činnosti v klášteře u sv. Václava v Praze. Věstník ČA XV. (1906), č. 5, str. 374.
[4]) Koncem XVII. stol. mělo dojíti k roztržení této českoněmecké provincie, ale podle všeho k tomu nedošlo, a to právě pro odpor českých klášterů (F. Tadra c. o. v Čas. katol. duchov. 1885, str. 74.). — Lublaňští diskalceáti se však vyslovili pro rozdělení (Iv. Vrhovnik c. o. 356).
[5]) F. Tadra c. o. ve Věst. Č A XV., str. 377.
[6]) Viz v příští kapitole o Pohlinovi.

i literární. Také v tomto období byla tu skoro veškera literární činnost v rukou jesuitů nebo jejich vychovanců; byla však vesměs cizojazyčná (latinská, částečně také německá nebo italská)[1]) a neohlížela se nijak na potřeby a duševní stravu vrstev národních. Co bylo v této záplavě cizojazyčné produkce vykonáno na poli národní literatury, vyšlo buď z rukou světského kleru (Matija Kastelec, exjesuita Janez Ludvik Schönleben) nebo z řad řeholníků, jmenovitě kapucínů (Janez Krstnik, P. Rogerij, P. Hipolit) a vzpomenutých právě diskalceátů (Gregor Vorenc, t. j. P. Franciscus Xaverius a S. Ignatio). A je význačno, že právě v tomto jejich prostředí se zrodila a udržovala idea slovinského slovníku, která, jak z uvážení všech okolností vysvítá, nepryštila jen z denní potřeby, aby jím byla na př. poskytnuta jazyková pomůcka slovinským kazatelům, po případě učitelům a žákům, nýbrž tryskala i z lásky a vědomí povinnosti k mateřštině, aby totiž jím byl slovinský jazyk nějak normalisován aspoň po této stránce slovné, když ne gramatické,[2]) a tak uchráněn dalšího propadání, zvláště germanisaci, kterouž „korupci" na něm právě v tu dobu znamenal i objektivní jeho pozorovatel, historik Valvasor (Ehre II. (VI.), str. 276 a n.). S tohoto hlediska vlastenecké péče o rodný jazyk je tedy tyto slovinské lexikografy (Anonymus, *Krajnsko besedische pisano*, rks z 2. pol. XVII. stol. — M. Kastelec, *Dictionarium latino-carniolicum*, rks z r. 1688 — G. Vorenc, *Novum dictionarium*, rks z r. 1706[3]) — Hipolit, *Dictionarium trilingue*, rks z r. 1711) po právu považovati za uvědomělé stoupence v evropských literaturách se už značně rozšířivšího kultu národních jazyků a s ním spojeného purismu,[4]) s jejichž projevy se zřetelně shledáváme už od první polovice XVII. stol. i v sousedním charvat-

[1]) Aug. Dimitz, Gesch. Krains IV. (1876), str. 115—130.

[2]) Potřebu slovinské gramatiky pociťovali mezi těmito lexikografy už M. Kastelec a po něm G. Vorenc, z čehož Kidrič (ČJKZ IV., 1924, str. 144) usuzuje, že jim asi Bohoričova gramatika nebyla známa. — K tomu bych dodal ještě toto: M. Kastelec uvádí ve své P r a x i s c a t h e c h i s t i c a z r. 1688, str. 212 slovinský otčenáš (nikoli otčenáš v slovanských jazycích podle Bohoričovy gramatiky, jak omylem poznamenal M. Murko v Slavii V., 507), který se opravdu shoduje s Bohoričovým v jeho gramatice; ale zůstává otázkou, zdali jej Kastelec vskutku přejal přímo z Bohoriče či snad spíše z některého vydání Canisiova Katechismu z r. 1615 (1618), jehož tisk je sice zjištěn, ale dnes se neví ani o jediném exempláři.

[3]) Viz kap. III., o Pohlinovi.

[4]) V Italii a Francii jej pěstovaly zvlášť zřizované jazykové akademie (Gustav Gröber, Grundriss d. rom. Phil. I., Strassburg 1888, str. 26), v Německu jej hlásal už Justus Georg Schottelius a po něm Leibniz (Herm. Paul, Grund. d. germ. Phil. I., Strassb. 1891, str. 23 n. a 31 n.), z české literatury nechť uvedu zvláště Rosovu Čechořečnost z r. 1672.

ském protireformačním písemnictví, a to, jak už prof. Murko konstatoval, zejména v gramatickém díle Bart. Kašiće, v slovníku Jakoba Micalie a v gramatických a slovnikářských pracích prvního panslavisty Jurje Križaniće, odkudž se jim právě nejsnadněji a nejpříměji mohl dostati jak popud, tak i příklad. Že by byl na ně přímo působil vlastenecký odkaz Bohoričovy gramatiky, je totiž málo věrohodno; u Kastełce a Vorence je to víc než pochybno[1]) a o Hipolitovi z vlastního jeho přiznání (v předmluvě k jeho slovníku) víme, že se mu Bohorič dostal do ruky, až když už byl se svým slovníkem hotov.[2]) S dobou reformační však je nesporně poutá společný jim všem pramen, t. j. Megiserovy[3]) oba slovníky: *Dictionarium quattuor linguarum* z r. 1592 a *Thesaurus polyglottus*[4]) z r. 1603. Z nich většinou čerpali slovinský jazykový poklad, který pak doplňovali nově sebraným materiálem a též četnými svými novotvary za nedostávající se jim slovinské výrazy nebo za příliš rozšířené cizomluvy, zvláště germanismy. Někteří z nich zaváděli do slovinštiny i charvatská a čistě česká slova.

Po této stránce zvlášť vyniká tak zv. *Anonym*, který do svého slovníku přejal rovněž z Megiserova *Thesauru*[5]) tyto české výrazy, a to dílem úplně beze změny, dílem pak si je uzpůsobiv slovinskému znění a pravopisu:[6]) barva; dalekoſt; nozhni kèrkavìz (M: nocní krkawec); oklamiti (M: oklamati); omaka (M: omacka); oſtrovid; poruzhnik; poſipadka (M: poſypadko); potomzi (M: potomcy); potvora; prednoſt; svetokradez (M: ſwatokradce); strom; traſoritek — treſoritek (M: traſoritek); trobirog

---

[1]) Srov. o tom na str. 263, poz. 2.

[2]) Viz o tom v Kopitarově Gram. str. 82 a n.

[3]) Hieronymus Megiser, Němec rodem ze Štutgartu, byl přítel Trubarův a Dalmatinův; nějaký čas kolem r. 1582 meškal též v Lublani, později také v Celovci v Korutanech. Už jeho *Dictionarium quattuor ling.*, vydaný v Štyr. Hradci 1592, obsahuje obšírný slovinský slovník.

[4]) Mnohojazyčný slovník *Thesaurus* vydal Megiser r. 1603 ve Frankfurtu n. M. Jsou v něm zastoupeny též slovanské jazyky, tedy i čeština i slovinština. Český slovní materiál čerpal, jak jsem se srovnáním přesvědčil, ze všech tří slovníků Daniele Adama z Veleslavína: Dictionarium linguae latinae ex magno Basilii Fabri collectum 1579, Nomenclator quadrilinguis 1598 a Silva quadrilinguis 1598. Megiser si však místy pozměnil pravopis.

[5]) Ježto však Megiser čerpal český slovní materiál z Veleslavínových slovníků, je tedy původní pramen těchto Anonymových čechismů hledati právě ve Veleslavínovi.

[6]) V tom docela připomíná z charvatského písemnictví Jakoba Micaliu, který také do svého slovníku *Blago jezika slovinskoga ili slovnik* etc., Laureti 1649, vpletl české a polské výrazy, které však nečerpal přímo z českých a polských pramenů, jak se domýšlel K. Štrekelj (AfslPh XXXI., 194 a n.), nýbrž také z Megiserova Thesauru, v němž jest je právě všechny, i s týmiž pravopisnými odchylkami nalézti.

(M: trubiroh); satoka morſka (M: zatoka morska); slatotepez (M: zlatotepec); svodnica; Hládolet — Saturnus; Krajlovizh — Jupiter (M: Kralowec); Smertonoſs — Mars (M: Smrtonoſs); Dobropan — Mercurius; Venuſsa — Venus (M: Venuſſe); Meſez — luna (M: meſyc).[1]) Mimo to ještě také rád doprovázel slovinská slova paralelami a etymologiemi z ostatních slovanských jazyků, nejčastěji z češtiny. Že by pak kromě Megisera užíval přímo ještě nějakého českého slovníku, nelze tvrditi. To platí rovněž i o ostatních jeho druzích.

Tyto Anonymovy čechismy byly ovšem mrtvý kapitál, neboť do spisovné tehdejší slovinštiny nepronikly, ale přesto jsou dokumentárního významu nejen pro jeho osobu, nýbrž i pro celé jeho prostředí a dobu: v souvislosti s charvatismy jeho druhů podávají totiž jasný důkaz o vědomí slovanské příbuznosti, kterouž tito slovnikáři, stejně jako dříve reformační doba, shledávali především v jazykové blízkosti či jednotě všech Slovanů. Těmito svými charvatismy a čechismy chtěli tedy patrně v první řadě obohatiti nedostatečnou slovní výbavu své mateřštiny a očistiti ji zvláště germanismů a cizomluvu vůbec, do kterých si právě v tu dobu také stěžoval, jak už bylo výše podotčeno, i sám Valvasor[2]) (Ehre II. (VI.), I. kap. na str. 276) zdůrazňuje, že tato pokaženost slovinštiny v Kraňsku musí jednou přestati (Ehre III., kn. XI., str. 128); mimo to pak tím podle všeho také sledovali cíl, učiniti svou slovinštinu srozumitelnější i za hranicemi jejího území, čili dopomoci jí k většímu rozšíření. A v tom všem právě je také spatřovati svědectví o jejich národně-buditelském úsilí, kterému mezi nimi dal zvlášť zřetelný výraz kapucín Hipolit, vydav r. 1715 znovu Bohoričovu gramatiku (ovšem bez uvedení autorova jména!) i s její vlastenecko-slovanskou předmluvou.

---

[1]) Ant. Breznik, Slovenski slovarji, Razpr. III., str. 118 a n.

[2]) Docela opačného mínění byl o málo dříve Jan Ludvík Schönleben, který v předmluvě k druhému vydání Hrenových *Evangelií a listů* (1672) rozhodně hájil užívání germanismů, kde se slovinštině nedostávalo domácích vlastních výrazů: „Conquerentur iam nonnulli de vocibus quibusdam germanicis: sed haec potius iam usitata adhibere placuit in defectu propriorum, quam croatica et dalmatica extra notitiam meditullii Carnioliae posita“. A odůvodňoval to takto: „Et haec censenda sunt nativa, cum Carniolia nostra non ex meris Slavis, sed Germanis et Slavis iam inde a principio adventus Slavorum in has terras, mixtim habitantium coaluerit, unde in multis immutata est slavica lingua et a vicino traxit, quod non habebat in suo penu. Cum ergo voces sint ad placitum, et quaevis gens, suo potius quam alieno delectetur, maluimus hic circa Labacum usitatas vulgi voces usurpare, quam peregrinas accersere.“

Teprve v tomto období prvního rozmachu národně-buditelských snah v katolickém slovinském písemnictví se zase po dlouhé době v něm setkáváme i s přímými stopami české literární tvorby starší i soudobé, a to u obou kraňských historiografů: *Jana Ludvíka Schönlebena* v jeho latinském spise *Carniolia antiqua et nova*, Labaci 1681, a u barona *Jana Vajkarta Valvasora* v jeho čtyřsvazkovém, německy psaném díle *Die Ehre des Herzogthums Krain*, vyšlém rovněž v Lublani r. 1689 (věrně je znovu vydal v l. 1877—79 J. Krajec).

Českých pramenů, které oba tito dějepisci ve svých dílech vždy svědomitě po straně uvádějí, užívali celkem kriticky. Zvláště Schönleben (původem Němec) je často ještě doplňuje z jiných pramenů nebo opravuje, po případě i s nimi polemisuje. Ze starších českých pramenů mu především sloužila Dubraviova *Historia* (užíval podle všeho hanavského vydání z r. 1602)[1]) a dílem též *Aeneova*, t. j. *Sylviova kronika* (měl asi po ruce rovněž hanavské vydání z r. 1602)[2]), ze soudobých historiků pak Pešinův *Mars moravicus* z r. 1677 a Boh. Balbína *Epitome rerum bohemicarum*, rovněž z r. 1677. Z Pešiny a Balbína pak také čerpal některé zprávy i ze starších kronik: Hájkovy, Kuthenovy i Veleslavínových. Polemicky proti svým českým pramenům, t. j. proti Pešinovi i Balbínovi, vystoupil už v zásadní otázce o původu Slovanů; jsa stoupencem seversko-germánské theorie, zastával rozhodně názor o germánském původu Slovanů a proto ve své Carniolii VI. kap., str. 203 a n. jim dosti nevrle vytkl jejich tvrzení o sarmatském původu Slovanů, kteří podle nich prý nemají nic společného s Germány. V souvislosti s tím zaútočil (str. 201) též na Bohoriče, vytknuv mu, že ve své gramatice neuvedl, zda jeho Vandalové-Slovani byli germánského či sarmatského původu. V téže kapitole na str. 205. vyslovil se také proti Dubraviovu a ve spojení s ním i proti Bohoričovu výkladu pojmenování Slovanů od *sláva*, proti němuž za správnější prohlašuje vysvětlení téhož názvu od řeky *Sáva*, odtud prý *Savi* > *Slavi*. Také v otázce cyrilo-metodějské v lecčems nesouhlasí se zprávami Pešinovými a Balbínovými: tak v III. části, 1. knize, str. 437. opravuje jim letopočet příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu z r. 866 na rok 868, neboť podle něho a jeho jiných pramenů přišli sv. bratři nejprve do Dalmácie a Charvatska a pak teprve na Moravu; tamže na str. 449 a n. pak

[1]), [2]) Zíbrtova BČH II., č. 1615 a č. 1195 (str. 488).

s nimi docela polemisuje a vyvrací jejich zprávu, že by byli Cyril a Metoděj na Moravě zaváděli s dovolením papežovým bohoslužbu v slovanském jazyce. Ještě nejvíc je závislý na svých českých pramenech tam, kde se dotýká politických českých a moravských dějin, ale ani tu jich vždy slepě nenásleduje a leccos jim doplňuje. Ježto jeho dějiny Kraňska obsahují jen dobu prvního tisíciletí po Kr., není v nich vlastně mnoho zpráv, týkajících se právě českých zemí; a mimo to jeho dodatky jsou tu celkem bezvýznamné. S uvedenými českými prameny se také tu a tam shledáváme též v jeho genealogických studiích, na př. v jeho *Dissertatio polemica de prima origine aug. domus Habspurgo-Austriacae*, Labaci 1681 (na str. 155, 157, 159, 169, 203, 205), a v jeho rukopisném *Appendixu* z r. 1674 (v archivu Nár. mus. v Lublani) na str. 370 a 391.

Z týchž českých pramenů čerpal i jeho pokračovatel Valvasor (původem Ital), který však kromě nich ještě užíval i přímo *Hájkovy kroniky*, ovšem německého jejího vydání pražského z r. 1596, a pak zvláště Balbínových *Miscellaneí* (vyšlo jen osm knih v l. 1679—88), s jejichž programem a dělbou látky se ku podivu velice shoduje i jeho Ehre des Herzogtums Krain. Ovšem přímým vzorem oběma patrně byli nakladatelé Elzevirové v Lejdenu, kteří právě vydávali obdobná díla o evropských státech. Z těchto Balbínových *Miscellaneí* čerpal Valvasor leckterou analogii přírodních zjevů už v 1. díle, v němž pojednává, stejně jako Balbínova 1. kniha, právě o přírodních poměrech své vlasti. Z nich také na př. přejal výklad slova t á b o r jakožto města, které vzniklo po způsobu Žižkově z vojenského ležení. (Ehre I. (IV.), X. kap., 539; III., XI. kap., 213.) S českými prameny se však zejména shoduje v otázce původu Slovanů (díl II., kap. XII., str. 187—196), neboť přes všechnu zprostředkující snahu, uvésti v soulad seversko-germánskou theorii se sarmatskou (tamže str. 193—195), přece jen u něho převládá názor theorie sarmatské, jejímiž přívrženci právě byli i čeští dějepisci Dubravius, Balbín i Pešina, kterých vůbec hojně užíval. Tento souhlas s českými prameny se jeví i v jeho přitakování Dubraviovi a v souvislosti s ním i Bohoričovi (II. díl, V. kn., XIII. kap., 199-200), že totiž pojmenování Slovanů je nejpřirozeněji vyložiti právě z vlastní jejich řeči, t. j. tedy ze slova s l á v a — gloria. A na podkladě tom vyvrací tu (str. 201) i Schönlebenovo nám známé už mínění jakožto neudržitelné. S Pešinou (Mars

mor. 23.) se také shoduje v názoru o dalším vývoji prvotních Slovanů, totiž v představě o jejich rozdělení ve dvě větve: severní a balkánskou, čili jak on to jmenuje: v západní a východní (II. (V.), XIII., 202). Jako jeho české prameny, tak také i on je dále přesvědčen o jednotném původu Slovanů, který se mu nejvíce jeví (jako už před ním Bohoričovi!) v jejich jazykové příbuznosti. Na důkaz toho také uvádí otčenáš v třinácti slovanských jazycích, mezi nimi i český (II. (VI.), I., 274-5), který, jak z některých chyb a jazykových zvláštností vysvítá, přejal právě také z Bohoričovy gramatiky. Podobně i v otázce cyrilo-metodějské se staví na stranu svých českých pramenů, s nimiž proti Schönlebenovi věří, že sv. bratřím bylo v Římě vskutku dovoleno užívati slovanského jazyka při bohoslužbě nejen na Moravě, nýbrž i v Čechách, kamž se právě činností Metodějovou křesťanství také značně rozšířilo. Vedle Sylviovy kroniky je mu v této otázce Dubravius uznávanou autoritou, jak to sám jednak přiznává (II. (VII.), kap. V., str. 417) a jak je to zřejmo i z četných jeho odvolávání na něho (díl II., kn. VIII., str. 545—548).

Z vlastních českých dějin největší pozornost pak věnoval vzniku české reformace, t. j. Husovi, Jeronýmovi a Poděbradovi (II. díl, kn. VII., kap. VII., str. 426—428). Své zprávy o této choulostivé otázce nečerpal však ani z české emigrantské, t. j. nekatolické literatury (na př. ze Stránského *Respublica Bohemiae*, vyšlé v Lejdenu 1634, o kteréž můžeme při Valvasorově světovém rozhledu docela dobře předpokládati, že ji znal), ani z protireformačních svých českých pramenů (Balbín, Pešina), nýbrž ze Sylviovy kroniky, která přes všechnu nechuť k českému husitskému hnutí (které její autor poznal z vlastního názoru) přece jen s podivem a uznáním mluví o Husovi a jeho obětování života za vlastní přesvědčení, pro kterýž obsah (kap. 26.) div že v Čechách právě nepropadla jesuitské protireformační konfiskaci.[1]) Z ní tedy Valvasor otiskl skoro celou stať, pojednávající o Husovi a Jeronýmovi, a správně tu zdůraznil, že Hus na celých sto let dříve poskytl vzor Lutherovi. Jinak jeho příležitostné exkursy z českých dějin nejsou četné a nepodávají nic nového.

Schönleben a Valvasor jsou tedy po Bohoričovi zase první spisovatelé, kteří přímo sáhali i k českým historickým pramenům. Zvláště ve Valvasorově (jako dříve v Bohoričově) formu-

[1]) Jan Jakubec, Děj. lit. čes., Praha 1911, str. 361.

laci slovanské myšlenky nalézáme na mnoha místech úplný souhlas s českým a vůbec severoslovanským jejím pojetím. Ač jeho patriotismus je ve své podstatě především teritoriálního rázu a ač jeho slovanskou orientaci je spíše vyložiti polyhistorickým zájmem, přece jeho vlastenecké dějiny Krajiny nesporně mnoho působily i na národně-slovinské buditelské úsilí nejen v jeho době, nýbrž i později, zvláště pak v období Pohlinově.

Jakousi známost české exulantské literatury můžeme pak znamenati u několikrát již vzpomenutého slovnikáře a vydavatele Bohoričovy gramatiky, t. j. u otce *Hipolita*, který se jal už někdy před r. 1711 do slovinštiny překládati *J. A. Komenského Orbis pictus*. Vedla ho k tomu patrně táž vlastenecká péče o mateřský jazyk, jakou se vyznačovala už jeho slovnikářská činnost. Přímý popud mu podle všeho poskytla cizina, neboť tou dobou bylo toto Komenského dílo stále ještě překládáno do všech národních jazyků a hojně tiskem vydáváno.[1]) Jeho překlad, doprovozený latinským a německým textem, není úplný a dochoval se jen v rukopise, t. j. na zadních stranách jeho rukopisného slovníku, o němž už výše byla řeč. Hipolit nejmenuje tu ani autora — Komenského, — ani vydání, z něhož překládal. Podle Kopitarova mínění (Gram. str. 85) překládal nejspíše z norimberského vydání z r. 1686; pravopis tohoto překladu pak se vyznačuje docela už Bohoričovým systémem, neboť v tu dobu, kdy se jím zabýval, už mu byla Bohoričova gramatika známa.[2])

Rovněž i v období po Hipolitovi († 1722) byla většina literární tvorby v Kraňsku cizojazyčná;[3]) co bylo vytištěno nebo rukopisně dochováno v jazyce slovinském, jest jen skrovný díl, který ani obsahově celkem nevybočuje z rámce, daného slovinskému písemnictví už v době protireformační. Odtud tedy ona ztrnulost i v porovnání s předcházející dobou. Jakési oživení jazykově-obrodných snah slovnikářů z konce XVII. a ze zač. XVIII. stol. je znamenati zato v Korutanech, tedy mimo vlastní literární centrum, kde celovští jesuité, vyhovujíce patrně naléhavé potřebě tištěných filologických pomůcek, znovu vydali r. 1744 Megiserův dikcionář, značně rozmnoživše jeho slovinský jazykový poklad, a r. 1758 také Bohoričovu-Hipolitovu grama-

[1]) Zíbrtova BČH V., str. 498—500.
[2]) Tohoto Hipolitova překladu použil později Valentin Vodnik.
[3]) Aug. Dimitz, Gesch. Krains IV. str. 157 a n.

tiku, jejíž vřelou vlastenecko-slovanskou předmluvu však nahradili jen krátkým poukazem na praktickou potřebu znalosti slovinštiny.[1]) Jinak slovinský národ obestíraly tytéž mrákoty temna, které v tu dobu dusily i český národ. Po nějakém vlivu českém tu není ani stopy, ledaže se v ten čas u Slovinců už také udomácnil kult svatojanský, jehož horlivými pěstiteli byli jmenovitě lublanští diskalceáti a v Lublani usedlí Češi.[2])

(Dokončení.)

---

[1]) Podrobněji o tom při Pohlinovi v kap. III.
[2]) Iv. Vrhovnik c. o. v Danici 1904, str 189 a 262. — Čeští kolonisté v Lublani se připomínají už záhy v 2. pol. XVII. stol. Viz Aug. Dimitz c. o. IV., str. 51.

Glagolski in cirilski Artikuli in njih razmerje do Trubarjevih.

Trubarjevi slovenski Artikuli iz l. 1562. katerih postanek, vire in sestavo sem pokazal v Časopisu za slov. jezik, književnost in zgodovino (ČJKZ) VI Ljubljana 1927), so kmalu izšli tudi v srbsko-hrvatskem prevodu natisnjenem v glagolici in cirilici. Za spoznanje južnoslovanske literarne vzajemnosti v 16. stoletju ne bo odveč, če spregovorim podrobneje še o teh dveh izdajah in o njunem razmerju do slovenske.

1. Glagolski in cirilski primerek.

Ker je naslov glag. Artikulov netočen pri Kopitarju[1]) in Kukuljeviću[2]) in ker je Weber[3]) v izvirnem pravopisu ponatisnjeni naslov nedosledno in netočno transkribiral, Elze[4]) pa priobčil samo nemški del naslova, naj sledi tu v transkripciji[5]) celotna naslovna stran: ARTIKULI ILI DELI STARE KRSTIANSKE VERE, IS SVE-toga Pisma redom postavleni na kratko razumno složeni i stumačeni: Koi esu takaiše tako, va 1530. godišću, našemu naj milostivomu Gospodinu Cesaru Karolu petoga imena, Bogoljubna spomenutja. I potle va 1552. godišću, Konciliju ili Zborišću va Trentu, odь ėdnihь velikihь Hrcegovь i Voivodь, Varoši, Gradoṽ i Prodikači očito izručeni i dani. Sada ṽnovê isь Latinskoga, Nemškoga i Krainskoga jazika va Hrvacki verno stlmačeni. Po Antonu Dalmatinu, i Stipanu Istrianu. Confessio | oder Bekanntnuß des Glaubens | die dem Großmechtigisten Römischen Keyser Carolo dem fünfften | rc. von etlichen von Gott hocherleüchten Churfürsten

---

[1]) Kopitar, Grammatik d. slav. Spr. in Krain, Kärnten und Steiermark, Laibach 1809, 445.

[2]) *Kukuljević* Sakc., Glasoviti Hrvati, Zagreb 1886, 258.

[3]) *Weber* G. G., Kritische Gesch. d. Augsp. Conf. II. Frankfurt a. M. 1784, 262.

[4]) *Elze* Th., Die slov. prot. Ritual-Streit-Lehr- u. Bekenntnis-Schriften; JGGPÖ 1894, 141.

[5]) Glede načina transkripcije: ligature so razrešene; ѣ = *ė*, če pa pomeni isto kot cir. ꙗ (navadno ѣ̃) pišem ja; ꙍ = *ć*. ꙍ̈ = *šć*.

|Fürſten vñ Stetten | auff dem Reichßtag Anno 30. in Augſpurg gehalten | überantwort| auß dem Latein vnd Teütſch in die Crobatiſche Sprach verdo'metſcht | vñ mit Glagoliſchen Buchſtaben getruckt. VTUBINGI 1562.

Naslovu sledi od $\mathfrak{A}_{2a}$ — $\mathfrak{A}_{4b}$ nemško posvetilo „Den Durchleuchtigen Hochgebornen Fürſten vñ Herren | Herrn Johanns Friderichen dem Mitlern | vnd Herrn Johanns Wilhelm Gebrüdern | Hertzogen zu Sachſen, Landtgrauen in Döringen | vnd Marggrauen zu Meyſſen | ꝛc". Podpisani so: Primus Truber Creiner. Antonius Dalmata. Stephanus Conſul Hiſtrianus. Na sledečih listih označenih z (i), ij, iij je to posvetilo prevedeno dobesedno v srbohrvaščino. Nato se začenja paginacija z glagolskimi črkami (1—111) in sicer čitamo na straneh 1a—25b prvi predgovor »VSIM DOBRIM I BOGOLJUBNIM, SLABIM I MOČNIM UVERI Kьrstianomь Vdalmacii, v̄Hrvatihь i vavsihь inihь kogagodire slovenskoga jazika stranahь ili Zemlah prebivaьju« s podpisoma samo srbskohrvatskih piscev, na 26a—28b drugi predgovor naslovljen »CESARU KAROLU PETOMU« in na 29a—111a artikule kot take. Knjigo zaključujejo »UKAZ OVIH NAI VEĆIH ... Artikulovь« in tri slike: prva predstavlja Kristusa s križem v roki teptajočega hudiča in smrt in nosi napis »VICTORIA — EGO VICI MVNDVM« ter izpisan datum (1562), druga in tretja predstavljata Dalmato[1]) in Konzula.[2])

Od ohranjenih primerkov sem uporabljal ljubljanskega (drž. licejska knjižnica). Razen tega se omenjajo še naslednja hranilišča: Basel, Berlin, Dresden, Dunaj, Frankfurt, Halle, Kassel, Königsberg, London, Magdeburg, München (2×), Oxford, Praga, Regensburg, Rim, Rottenburg a. T., Stuttgart, Ulm, Zagreb.[3])

Webrova trditev,[4]) da sta izšli dve izdaji glag. Artikulov, razlikujoči se med seboj samo po posvetilu, je pogrešena. O berlin-

[1]) Reprodukcijo gl. *Bučar* Fr., Povijest hrv. prot. knjiž. Zagreb 1910, 93, Trubarjev zbornik, Ljubljana 1908, 27, *Gruden* J., Zgodovina slov. naroda, Celovec 1910—16, 634, Dobrovsky's Slavin² Prag 1834, 190 sl.; poslednje omenja Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 142 kot malovreden lesorez in Bučar, Povijest 134, op. 4, ki pa meni, da so slike v Slavinu delane po onih na platnicah.

[2]) Reprodukcijo gl. Bučar, Povijest 75. Trubarjev Zbornik 25, Gruden, Zgodovina 635, Kukuljević, Hrvati 98, Dobrovsky's Slavin² 188 sl.; za poslednje prim. predidočo opombo.

[3]) Weber, Gesch. II, 280 navaja Berlin, Frankfurt, Halle in Kassel; Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 151 še Dresden, Dunaj, Ljubjano, London, Regensburg, Rim, Stuttgart, Ulm; *Kidrič*, Bibliogr. uvod v zgodovino ref. knjiž. pri južnih Slovanih v 16. veku (litogr. skripta, Ljubljana 1927), 59—60 vse navedeno, toda Prago z vprašajem.

[4]) Weber, Gesch. II, 280.

skem primerku poroča namreč Weber (po poročilu tretje osebe!), da je posvečen volilnemu knezu Avgustu Saškemu. V poznejši literaturi je ostala ta trditev neopažena. Neverjetno je že to, da bi eno in isto knjigo posvetili avtorji oziroma Ungnad različnim osebnostim. Stvar se da lepo pojasniti kot pomota in zamenjava, ker gre pač za glagolski tisk »Edni kratki razumni nauci, naipotrebnei i prudnei Artikuli ili Deli stare prave Vere Krstianske ... **Die fürnämpsten Hauptartickel Christlicher Lehre...** VTUBINGI 1562«, ki so posvečeni Avgustu Saškemu.[1] Sličnost v naslovu z našimi Artikuli, ista letnica tiska in dejstvo, da Weber knjige ni videl, nam razlože njegovo pomoto. —

Naslov cirilskih Artikulov je v glavnem enak naslovu glagolskih.[2] Tudi vsebinsko je razvrščena knjiga kakor glag. Artikuli. Od $\mathfrak{A}_{2a}$—$\mathfrak{B}_{2a}$ čitamo nemško posvetilo „... Herrn Philipsen | Landgrauen zu Hessen, Grauen zu Katzenelnbogen | Dietz | Zigenheim vnd Nider | 2c“, nato pa prevod tega posvetila. Sledi slika, ki se nahaja tudi na koncu glag. Artikulov (Kristus, ki tepta hudiča in smrt), samo z drugačnim besedilom (citat OSEA 13). Od tu dalje se začenje paginacija (1—110); zaključek tvori tudi tu izpisan datum (Tübingen 1562).

Primerek ljubljanske licejske knjižnice (sign. 10.050 II c 8) je ohranjen v originalni vezavi s slikami Trubarja, Dalmate in Konzula. Bil je last teologa Marbacha, kar dokazuje ohranjeni exlibris. Gre nedvomno za enega od dveh primerkov poslanih v Straßburg,[3] kjer je v tem času bival Marbach kor redni univerzitetni profesor.[4]

V evidenci so še naslednja najdišča: Annaberg, Basel, Berlin, Dresden, Dunaj, Frankfurt, Göttingen, Halle, Kassel, Königsberg, Leningrad, London, Regensburg, Rottenburg a. T., Ulm, Upsala, Weimar, Zagreb.[5]

2. Zgodovina.

Ko se je l. 1561. ustanovil biblijski zavod v Urachu, je prevzel »pospešitelj, patron in blagajnik« tega podjetja, Ungnad, literarni program Trubarjev, v katerem je zahtevala točka, ki so jo najbolj

[1]) Prim. Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 138—9.
[2]) Slika nasl. lista pri Bučarju, Povijest 239.
[3]) *Bučar*, Popis knjiga koje su izašle u jugosl. prot. tiskari u Urachu-Tübingenu, Carniola 1916, 182.
[4]) Elze Th., Primus Trubers Briefe, Tübingen 1897, 498.
[5]) Weber, Gesch. II, 279 navaja Berlin, Frankfurt, Göttingen, Halle, Weimar; Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 151 Annaberg, Berlin, Dunaj, Ljubljano, Ulm; Kidrič, Bibliogr. uvod, 61 vse ostalo.

upoštevali in izvajali, prevod vseh slovenskih knjig v srbohrvaščino [1]) oziroma po ideologiji Ungnada in njegove okolice v »hrvatski (= glagolski)« in »cirilski jezik«.[2]) Prednost je šla glagolici: vedno se našteva pred cirilico,[3]) glagolske črke so si nabavili pred cirilskimi [4]) in so zato tudi tiskali najprej glagolske, potem šele cirilske knjige. Strokovnjak za glagolico je bil Konzul, za cirilico pa Dalmata.[5]) Trubar sam ni obvladal srbohrvaščine niti v govoru [6]) niti v pismu,[7]) kakor so mu to očitali in kakor je — vsaj za čitanje — sam priznaval. Očitek, da je ni razumel,[8]) ni osnovan, kajti sam pravi »dan gott lob, ich verstehe die Crobatische sprach wie alle Crainer und Mettlinger zimblich wol«;[9]) Ungnadu je bil nekoč celo za srbskohrvatskega tolmača.[10])

Za prevajanje iz slovenščine v srbohrvaščino je bil na pravem mestu Konzul, doma iz Buzeta, ki ni mnogo oddaljen od črte, kjer se mešata slovenski in čakavski govor. Tudi ko se je mudil na Kranjskem,[11]) je imel prilike, naučiti se slovenščine. Prevajal je iz slovenščine po Trubarjevem prizadevanju že l. 1557 [12]) in leto dni pred ustanovitvijo biblijskega zavoda poroča Trubar, da je Konzul prevzel nalogo prevesti Trubarjeve knjige v srbohrvaščino.[13])

Knjige, ki so izšle pred Artikuli s podpisom Konzula in Dalmate (glag. in cir. Katekizem, Abecedarij, Razumni nauci in glag. N. testament I), so uravnane po opisanem načrtu, t. j. prevedene so iz slovenščine. Zato je mogel Ungnad že v dobi, ko so se slovenski Artikuli šele snovali, poročati vojvodi Albrechtu, da se bo tiskala avgsburška konfesija v »treh jezikih« [14]). Prav tako je

---

[1]) *Kidrič*, Prispevki in opombe... I ČJKZ II, 205—6.

[2]) Prim. Ungnad-Abrechtu 14. IX. 1561 »in allen dreyen ... sprachen, der Windischen, Chrabatischen und Cirillischen«, *Voigt J.*, Briefwechsel d. Hans Ungnad mit d. Herzog Albrecht v. Preussen, Archiv f. Kunde österr. Geschichts-Quellen XX. 242; »Windische Crabatische Cirulische Buecher« Bučar, Popis, Carniola 1916, 105; naštevanje »Crabatisch, Cirulisch« ibid.

[3]) Prim. prejšnjo opombo.

[4]) Trubar-Maksimilijanu 25. X. 1561. Voigt, Briefwechsel 250; *Kostrenčić J.*, Urkundliche Beiträge zur Gesch. d. prot. Lit., Wien 1874, 57.

[5]) Bučar, Povijest 94; Bučar, Reformacija medju Hrvatima po Istri, pos. odt. iz Vjesnika kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskog arkiva XIX, 13 sl.

[6]) Ungnad-Konzulu dec. 1563.—jan. 1564., Kostrenčić, Beiträge 132, (glede datiranja prim. Briefe 384 op. 17).

[7]) Odb. kr.-Ungnadu 2. I. 1563., Kostrenčić, Beiträge 137; Cvečić-Ungnadu 10. I. 1563., Kostrenčić, Beiträge 148.

[8]) Ungnad-odb. kr. 24. XI. 1562., Briefe 277; Dalmata in Konzul-Krištofu 24. II. 1563., Briefe 327.

[9]) Trubar-Maksimilijanu 2. I. 1560, Briefe 43.

[10]) Bučar, Povijest 104.

[11]) Bučar, Povijest 74.

[12]) Bučar, Povijest 76.

[13]) Prim. Schnurrer Chr. Fr.. Slav. Bücherdruck, Tübingen 1799, 29.

[14]) Ungnad-Albrechtu 1. XI. 1561., Voigt, Briefwechsel 251.

naznanil Trubar obe srbskohrvatski izdaji v nemškem[1]) in slovenskem[2]) predgovoru svojih Artikulov izvajajoč tu, da »lete Buquice bodo skorei tudi tteim Croashkim Pifmom inu Jefykom drukane«. Če pa sta Konzul in Dalmata tačas (nemški in slovenski predgovor slov. Artikulov sta podpisana 1. V. 1562.[3]) že pripravljala svoje Artikule, je težko reči, ker ni najti o tem v sodobnih poročilih nikakih podatkov; pač pa kažejo druge okolnosti, da v mesecu maju še nista prevajala, kajti imela sta opravka s cirilskimi in glagolskimi Razumnimi nauci. Prvi so podpisani 1. marca 1562.,[4]) drugi 22. julija 1562.[5]) Med tiskom kake knjige pa je bil avtor v tistih časih precej zaposlen, saj je moral še Trubar, principal,[6]) zaradi tiska svojih Artikulov odlašati s svojim važnim potovanjem v domovino.[7]) Konzul pa je izrecno nosil naslov korektorja[8]) in je, kakor tudi Dalmata, deloval kot stavec.[9]) Zaradi tega med tiskom Razumnih naukov pač nista utegnila pečati se z Artikuli. Domnevo, da Artikulov majnika l. 1562. še nista prevajala — bila bi mogla storiti to kvečjemu po rokopisu — potrjujejo tudi sodobni računi, kjer čitamo, da sta srbskohrvatska prevajavca dobila en primerek slovenskih Artikulov »daraus sy vertiert«.[10]) Začela sta torej prevajati najhitreje takrat, ko so bili slov. Artikuli dotiskani, t. j. po 21. V. 1562.[11]) Po dveh mesecih (12. VII.) je Ungnad javil, da se avgsburška konfesija prevaja in da bo v treh mesecih končana;[12]) določil je tudi že naklado: 1.000 glagolskih in 1.000 cirilskih primerkov.[13])

Ko so bili slov. Artikuli v maju dotiskani, se je Trubar vrnil v Ljubljano. Tukaj pa ni vedel, da prevaja Konzul njegove Artikule ali pa — in to bo verjetneje — mu ni več zaupal in ga je hotel zaradi tega izločiti iz literarnega delokroga južnoslovanskega biblijskega zavoda v Urachu. V pismu od 19. julija poroča namreč Ungnadu, da namerava čez kak mesec (»allspald die hütz und

---

[1]) Slov. Artikuli $\mathfrak{A}_3$ a.
[2]) Slov. Art. 17 b.
[3]) Slov. Art. $\mathfrak{B}_1$ b ozir. 23 b.
[4]) Cir. Razumni nauci D_3 b; pod srbskohrv. predgovorom stoji »12. Marča«.
[5]) Kidrič, Bibliogr. uvod 59.
[6]) Kidrič, Prispevki I, ČJKZ II, 205.
[7]) Rupel M., Trubarjevi Artikuli, ČJKZ VI, 103—4.
[8]) Kidrič, Prispevki I, ČJKZ II, 205.
[9]) Bučar, Povijest 96.
[10]) *Bučar* Fr., O nakladama nekih slov. prot. knjiga, Carniola 1911, 289.
[11]) Rupel, Trubarjevi Artikuli ČJKZ VI, 103.
[12]) Ungnad-Albrechtu 12. VII. 1562. Voigt, Briefwechsel 273.
[13]) Ungnad-Albrechtu 12. VII. 1562. priloga, Voigt, Briefwechsel 274.

hundstag vergehen«) sklicati po deželnih stanovih nekako konferenco učenih in najboljših hrvatskih duhovnikov in se ž njimi posvetovati, kako naj bi se poleg drugega začelo delo glede srbskohrvatskega prevoda »treh konfesij« t. j. slov. Artikulov; za vzrok navaja tole: »Auff des herren Stephani und Suetzits dolmetschen ist nichts zuerpawen, den in den catechismis, dergleichen in den evangelisten ist viel falsch verdolmetscht und gedruckht, das sagen alle crobatische briester, darumb die dolmetschung alle mueß hinfür hierinnen geschehen und von iren villen ubersehen und corrigirt werden.«[1]) Ta Trubarjeva namera se ni izvršila, pač pa je rodila mnogo razburjenja. Besedici »viel falsch« sta povzročili živahno borbo in debato, v kateri sta tudi Konzul in Dalmata izrekla marsikak očitek proti Trubarju, med drugim tudi to, da je Trubar nezanesljiv »weil der ... immerzu aus eigenem drei confessionen in eine mische«; za to pa da ne moreta biti odgovorna, kajti njiju dolžnost ju veže samo na to, kar ustreza avgsburški konfesiji in nauku.[2]) Tako sta govorila 12. septembra, čeprav sta bila že do 25. avgusta prevedla po istem Trubarju, ki ga napadata, slovenski predgovor za Artikule.[3]) Tudi sta mesec kasneje, 20. oktobra, postavila svoje ime pod Trubarjev podpis na koncu nemškega posvetila v glag. in cir. Artikulih,[4]) torej v bistvu istih Artikulov, ki sta jih obsojala.

Meseca oktobra ali novembra 1562. so bili Artikuli dotiskani, in sicer glagolski prej kot cirilski, kar je razvidno že iz dejstva, da so se začeli prej razpošiljati kakor cirilski (gl. sp.). Tiskali so se v Urachu; le tisk nemškega teksta je oskrbel Gruepenbacher v Tübingenu,[5]) kajti nemških črk tiskarna v Urachu l. 1562. še ni imela; dobila jih je šele v začetku l. 1564.[6]) Naklada je znašala 1000 glagolskih in prav toliko cirilskih primerkov.[7])

Vezavo je oskrbel deloma Sträler v Tübingenu,[8]) nekaj pa je dal vezati Kirchberger v Ljubljani,[9]) ki je prejel samo 30 vezanih primerkov glag. Artikulov.[10])

1) Trubar-Ungnadu 19. VII. 1562., Briefe 191—2; Kostrenčić, Beiträge 95.
2) Dalmata in Konzul-Gallenbergu in odb. kr. 12. IX. 1562., Briefe 242—3.
3) Glag. Art. 25b; cir. Art. 25b.
4) Glag. Art. $\mathfrak{A}_4$b, cir. Art. $\mathfrak{B}_2$a.
5) Bučar, Računi o dohocima... Građa za povijest kńiž. hrv. IX, 235.
6) Bučar, Povijest 82.
7) Bučar, Popis, Carniola 1916, 181.
8) Bučar, Povijest 132.
9) *Bučar*, Račun F. Kirchbergera... Carniola 1919, 145; Kirchberger-Ungnadu 8. XII. 1563, Kostrenčić, Beiträge 212.
10) Bučar, Račun Kirchbergera, Carniola 1919, 138.

Knjige so poslali najprej raznim nemškim velikašem, mestom in teologom;[1]) v večjih množinah so jih poslali na jug: od glagolskih Artikulov v Ljubljano (Kirchbergerju) 389, v Beljak (Büchlerju) 174, na Dunaj (Fröhlichu) 46 in na Hrvaško (banu in Krištofu Ungnadu) 41 izvodov. Če odštejemo še posamezne dedikacijske primerke, se pokaže, da je ostalo l. 1564. v Urachu še 307 glag. Artikulov, torej precejšnje število.[2]) Od cirilskih je šlo 494 primerkov na Dunaj, kjer je imel ž njimi Fröhlich sitnosti in opravka z oblastmi,[3]) 100 v Beljak in 45 v Ljubljano. V Urachu je bilo l. 1564. še 312 primerkov.[4])

V domovini so te knjige težko pričakovali in stavili vanje svoje upe. Še preden so bile dotiskane, je Kirchberger izražal upanje, da se bo prodaja protestantskih knjig sploh razmahnila, ko pride konfesija med ljudstvo.[5]) Tudi Konzul je delal račune, še preden so prispeli Artikuli na jug, in določeval ceno »10 patzen oder mehr vnd nach dem etliche priester reich oder arm sein«.[6])

Prva pošiljatev glagolskih Artikulov (90) je dospela v Ljubljano 16. marca 1563.[7]) ostalo 29. junija; pokvarilo se je 11 izvodov. 22. novembra je dobil Kirchberger od Püchlerja še 30 primerkov.[8]) Pošiljatev cirilskih Artikulov je dospela v Ljubljano z drugo pošiljatvijo glagolskih.[9]) Kirchberger je nekaj knjig daroval, nekaj odstopil v komisijsko prodajo, »da se čimbolj razširijo in pridejo med ljudi«, nekaj pa sam prodal. Skupno je razdal leta (1562. do) 1563. 26 nevezanih, 10 vezanih glagolskih in 18 nevezanih cir. Artikulov.[10]) Upoštevajoč da je bila pri Kirchbergerju nekaka centrala za podrobno razpečavanje tako slovenskih kakor tudi srbskohrvatskih knjig,[11]) in primerjajoč število srbskohrvatskih Artikulov, ki jih je spravil med ljudi (64; naklada 2000!), s številom razdeljenih slovenskih Artikulov (72;[12]) naklada samo 1000!), lahko ponovim

---

[1]) Bučar, Popis, Carniola 1916, 181—3.

[2]) Bučar, Popis, Carniola 1916, 181—2; Schnurrer, Bücherdruck 102, ki pa ne omenja primerkov poslanih na Hrvaško.

[3]) Fröhlich-Ungnadu 3. XII. 1563, Kostrenčić, Beiträge 206 sl.

[4]) Bučar, Popis, Carniola 1916, 182—3; Schnurrer, Bücherdruck 102.

[5]) Kirchberger-Guggerju 2. IX. 1562, Kostrenčić, Beiträge 100.

[6]) Konzul-Ungnadu 10. I. 1563, Kostrenčić, Beiträge 155.

[7]) Bučar, Račun Kirchbergera, Carniola 1919, 137; Kirchberger-Ungnadu 8. XII. 1563, Kostrenčić, Beiträge 212.

[8]) Bučar, Račun Kirchbergera, Carniola 1919, 137—8.

[9]) Kirchberger-Ungnadu 8. XII. 1563, Kostrenčić, Beiträge 212, Briefe 380—1; Bučar, Račun Kirchbergera, Carniola 1919, 137.

[10]) Bučar, Račun Kirchbergera, Carniola 1919, 139—144.

[11]) Bučar, Povijest 169 sl.

[12]) Bučar, Račun Kirchbergera. Carniola 1919, 144.

trditev,[1]) da sta Konzul in Dalmata v manjši meri kakor Trubar računala z realnimi potrebami svojih vernikov v domovini.

*

Trubarjeva ostra kritika »viel falsch« je povzročila, da so romali med drugimi knjigami tudi Artikuli v oceno k raznim Hrvatom, ki so nato pošiljali Ungnadu svojo aprobacijo[2]). Zgodnji datum, ki so ga ti ljudje mogli postaviti pod svojo pozitivno se glaseče kritiko srbskohrvatskih Artikulov, nam vsiljuje misel, da so te ocene bile inspirirane, morda celo brez bližjega poznanja vsebine, od tistega, ki mu je bilo največ do ugodne ocene — od Konzula. On edini je mogel prinesti knjigo že januarja 1563. v Toplice (Lamelli) in v Pazin (Fabianiću in Živčiću), kajti prva pošiljatev Artikulov je prispela na jug — kakor smo videli — šele v sredini marca 1563. Da podkrepim trditev o oceni brez bližjega poznanja vsebine, naj zadostuje, da je Lamella podpisal oceno 20. januarja 1563. z zatrdilom, da je poleg petih drugih knjig tudi »mnogo čital« Artikule,[3]) katere pa je mogel dobiti šele istega dne, ko se je Konzul — prvič i zadnjič na tem potovanju — mudil v Toplicah.[4])

Pri tem je še zanimiveje to, da si ni preskrboval Konzul samo ugodnih potrdil glede jezika, ampak tudi glede vsebine Artikulov, o katerih pogrešenosti je moral biti sam prepričan, ker jih je — kakor bo razvidno — skoro dobesedno prevedel po Trubarjevih, ki jih je obsojal[5]).

Artikule, kakor jih je sestavil Trubar, ki je raje grešil zoper teološka načela, kakor pa da bi ostali za preprosto ljudstvo nerazumljivi, te Artikule so obsodili Ungnad, Konzul in Dalmata; prvi pač iz predsodkov, ker je zahteval samo točne prevode in ker mu je bilo vse drugo pregrešitev zoper pravovernost, ostala dva pa deloma zaradi mržnje do Trubarja, deloma pod vplivom tujih mnenj. Potrebe svojega preprostega ljudstva sta slabo poznala, kajti sicer bi bila morala Trubarjevo početje samo odobravati. Zgubila sta pač izpred oči končni namen vsega podjetja; tisk, tiskana knjiga, ki je nosila njuno ime in ki so jo drugi pohvalili, da je v vsakem oziru pravilna, to jima je bilo vse, namesto da bi bilo to le sredstvo v dosego

---

[1]) Rupel, Trubarjevi Artikuli, CJKZ VI, 122.

[2]) Fabianić in Živčić-Ungnadu 1. I. 1563, Kostrenčić, Beiträge 135; Lamella-Ungnadu 20. I. 1563, Kostrenčić, Beiträge 167.

[3]) Lamella-Ungnadu 20. I. 1563, Kostrenčić, Beiträge 167.

[4]) Bučar, Račun St. Konzula, Vjesnik kr. hrv.-slav.-dalm. zem. arkiva XV, Zagreb 1913, 43; Bučar, Povijest 87.

[5]) Dalmata in Konzul-Gallenbergu in odb. kr. 12. IX. 1562, Briefe 242—3; prim. še zg. in Rupel, Trubarjevi Artikuli ČJKZ VI, 107.

namena. Tako pa sta hitela in na novo dobesedno[1]) prevedla avgsburško veroizpoved[2]) in apologijo, obširen teološki traktat, ki je skušal z večjim aparatom dokazovati v preveč lakonski obliki izrečene nauke avgsburške konfesije, prebavljiv kvečjemu za teologe in izobražence. Če je moglo koristiti to mladi cerkvi preprostih kmetovavcev na Hrvaškem, po naziranju merodajnih činiteljev biblijskega zavoda celo na Turškem, o tem nista razmišljala.

Trubar je zavrgel preveč stisnjeno in temno avgsburško veroizpoved na eni in teološko-učeno široko apologijo na drugi strani; odločil se je za srednjo pot: iz obojega in iz wirtemberške ter saške konfesije so nastali njegovi Artikuli.[3]) Hrvaški in prevladujoči del Ungnadovega biblijskega zavoda ter Ungnad sam so to obsodili in že l. 1563. sklenili, naj se prevede in tiska »Repetition der Augsburgerisch Confession[4]) ... nach Rath des christlich Herzog von Wirtemberg, Herrn Brentii und Jakob Andre«[5]). Slovenske Artikule so torej obsodili tudi nemški teologi[6]), vojvoda je ukazal, Ungnad se udal in čeprav je še leta 1564. bilo v Urachu v zalogi nad 600 izvodov Artikulov,[7]) v bistvu torej avgsburške konfesije, so natisnili to isto konfesijo pa zraven še apologijo v glagolici in latinici[8]).

*

Načeti moram še vprašanje o nekem hrvatskem prevodu avgsburške veroizpovedi, ki ga večkrat omenja Klombner v pismih na Ungnada, tako 19. maja[9]), oktobra[10]) in 12. decembra 1561. leta[11]). Iz prvih dveh poročil izvemo, da prevaja avgsburško konfesijo Cvečić, iz tretjega, da jo je skoro prevel. Nastane vprašanje, kam je prišel rokopis, oziroma, ali se je sploh porabil. Cvečić se je mudil v začetku 1562. leta v Urachu kot prevajavec[12]) in prav tako od

---

[1]) Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 143.

[2]) Prevod je bil končan že julija 1563, Klombner-Ungnadu 28. VII. 1563, Kostrenčić, Beiträge 184.

[3]) Rupel, Trubarjevi Artikuli, ČJKZ VI, 100 sl. (passim).

[4]) Tako (»Repetitio Augustanae Confessionis«) se je sicer imenovala saška konfesija (Herzog J. J., Realencyklopädie f. prot. Theologie u. Kirche[3] IV 294, XII 523), toda v našem slučaju gre za ponoven tisk avgsb. konfesije, kar kaže že vez z apologijo; prim. tudi Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 143—4, kjer je razvidno, da ne more biti govora v saški konfesiji.

[5]) Bučar, O nakladama, Carniola 1911, 289.

[6]) Prim. še Rupel, Trubarjevi Artikuli ČJKZ VI, 107.

[7]) 307 glagolskih in 312 cirilskih, prim. zg.

[8]) Spovid ... Vtubingi 1564 in Bramba augustanske spovedi ... Vtubingi 1564; Elze, Ritualschriften JGGPÖ 1894, 143—4.

[9]) Klombner-Ungnadu 19. V. 1561, Kostrenčić, Beiträge 34.

[10]) Klombner-Ungnadu, nedatirano, Kostrenčić, Beiträge 57, op.

[11]) Klombner-Ungnadu 12. XII. 1561, Kostrenčić, Beiträge 62.

[12]) Briefe 190, op. 4; Bučar, Povijest 109.

31. avgusta do 25. novembra istega leta,[1]) tako da ni izključeno, da je prepustil svoj rokopisni prevod Konzulu in Dalmati. Cvečićev rokopis je mogel vsebovati le točen prevod avgsburške konfesije. Ker pa so tiskani Artikuli skoro dobesedno prevedeni po slovenskih (gl. sp.), torej po Trubarjevi dokaj samovoljni prireditvi, je nemogoče, da bi bila Konzul in Dalmata uporabljala Cvečićev prevod v celoti. Ni pa izključeno, da jima je služil le na nekaterih mestih (kakó, gl. sp.).

*

Naj omenim še, da so doživeli srbskohrvatski Artikuli prevod v latinščino, kakor je razvidno iz Weberjevega poročila[2]). Gre pač za knjigo: »Hase Chr. H., Commentatio de lingua Carnorum et Illyricorum sclavonica castioribus nostratium sacris initiata, imprimis de Augustanae confessionis versione eadem dialecto exarata Jenae (1759).«[3]) Knjiga mi v Ljubljani ni bila na razpolago.

3. Viri srbskohrvatskih Artikulov; razlike med slovenskimi in srbskohrvatskimi.

Od Konzula in Dalmate je zahteval Trubar natančnih, dobesednih prevodov svojih spisov,[4]) čemur pa sta se oba upirala, utemeljujoč svoje postopanje z iskanjem boljšega poduka v Luthrovih, Melanchthonovih in Brenčevih spisih.[5]) Natančnejšega razmerja v drobcih iz sodobnih zapiskov gotovo ne moremo spoznati, saj imamo celo v tej navedeni izjavi opravka s tendencioznim opravičilom zaradi tistega usodnega »viel falsch« ; da, celo Elzejevo opombo k temu[6]) bi mogel kdo imenovati pristransko. Južnoslovanska literarna vzajemnost 16. stol. se da osvetliti le s primerjanjem tekstov samih ; slov., glag. in cir. Artikuli nudijo dovolj gradiva.

Na naslovnem listu glag. in cir. Artikulov čitamo, da so »Sada ṽnovê verno izь (isь)[7]) Latinskoga, Nemškoga i Krainskoga jazika va Hrvacki verno stlmačeni.« Tretje mesto, ki ga tu zavzema slovenski vir, bi moglo povzročiti mnenje, da sta prvi dve predlogi važnejši, posebno še, ker se na drugih mestih, ki govore o virih, slovenski sploh zamolčuje : tako v nemškem delu naslova glag. in cir. Artikulov in v predgovoru, kjer stoji, da so »ove kñižice Iz

[1]) Briefe 190, op. 4; Bučar, Povijest 86, 111.
[2]) Weber, Gesch. II, 254.
[3]) Kidrič, Slov. znanstvo med Poljaki, Slov. Narod XLVI (1913), št. 111.
[4]) Trubar-Ungnadu 4. XI. 1561, Briefe 149.
[5]) Dalmata in Konzul-Krištofu 24. II. 1563, Briefe 332 sl.
[6]) Briefe 333.
[7]) V oklepaju je to, v čemer se cir. Artikuli razlikujejo od glagolskih; to velja za vse citate iz shrv. Artikulov.

Latinskoga i Nimškoga va Slovenski (v̄ Hrvacki) verno obrnuli.«[1]) Pokazal bom, da bi bil tak sklep napačen. Toda tudi nasprotno mnenje, da so srbskohrvatski Artikuli popolnoma dobesedno prevedeni po slovenskih, kakor trdita Weber[2]) in Schnurrer,[3] je pogrešeno. Vidic[4]) je sicer pokazal, da sta uporabljala hrvatska prevajavca tudi latinski izvirnik, toda iz primerov, ki jih navaja, ni povsem jasno, kako daleč gre odvisnost srbskohrv. Artikulov od latinske predloge.

Srbskohrvatska prevajavca sta prevajala po Trubarju, le na petih mestih sta uporabljala latinsko predlogo:[5])

glag. in *cir. Art.* 26a—28b$_{15}$: *A* 3a—4b (*slov. Art.* 24a—26b$_{27}$)
glag. Art. 30b$_{3-11}$, *cir. Art.* 30b$_{5-13}$: *A* 5a$_{25}$-5b$_{5}$ (*slov. Art.* 28b$_{24}$-29a$_{14}$)
glag. in *cir. Art.* 39a$_{13-14}$: *A* 8b$_{26}$ (*slov. Art.* 38a$_{1-2}$)
glag. in *cir. Art.* 42b$_{16}$: *A* 10a$_{23}$ (*slov. Art.* 41a$_{22}$)
glag. Art. 44a$_{18-20}$, *cir. Art.* 44a$_{20-22}$: *A* 11a$_{9-10}$ (*slov. Art.* 42b$_{25}$—43a$_{2}$)

Prvo in najdaljše od tu navedenih mest je predgovor Karolu V. Naj sledi nekaj značilnih odlomkov[6]) iz Trubarja, ki se je naslanjal tu na nemški izvirnik (*AA*,[7]) in iz srbskohrv. Artikulov, ki se naslanjajo na redakcijo avgsburške veroizpovedi (*A*).

slov. Art. 24 a: NErſuitleshi Premogozhi Ceſſar, Nermiloſtiuishi Goſpud. Potehmal ie ta vasha Ceſſarieua Maieſteta enu gmain vkupe Sbrane inu hoyene vſiga Rayha vletu Meiſtu Aushpurg miloſtiuu vunkai piſſala inu ſapouedala ...	*AA* 12: ALLer durchleuchtigſter, Großmechtigiſter, Vnüberwindlichſter Keiſer, aller Gnedigſter Herr. Als ewer Keiſerliche Maieſtet kurtz verſchienen zeit, einen gemeinen Reichsstag allhie gen Augſpurg gnediglichen außgeſchrieben ...	*srbskohrv. Art.* 26 a: PREZMOŽNI VOJNIKU (VOJNIČE) Cesaru plodi-tel(ь) Gospodine premilostivi. Budué vaša Cesarova prezmožnost zapovedala spravišće Orsaga v Avgusti (UAvgusti) da bi se svêtovalo ...	*A* 3 a: INVICTISSIME IMperator Caeſar Auguſte, Domine clementiſsime. Cum V. C. M. indixerit conuentum Imperij Augustae, ut deliberetur ...

[1]) Glag. Art. 24 a, cir. Art. 23 b—24 a.
[2]) Weber, Gesch. II, 267.
[3]) Schnurrer, Bücherdruck 120.
[4]) *Vidic* Fr., Nekaj o razmerju slov. Trub. spisov k prot. hrv. knjigam, Letopis Matice Slov. (LMS) 1898, 118—121.
[5]) Male številke pomenijo vrstice; za dvopičjem stoji vir (*A* pomeni lat. avgsburško veroizpoved, kakor jo je najti v knjigi »Confessiones Fidei Chriſtianae tres... Francofurti... MDLVI«; prim. Rupel, Trub. Artikuli ČJKZ VI, 108); v oklepaju pa sledi mesto iz Trubarjevih Artikulov, torej mesto, od katerega divergirajo srbskohrv. Artikuli.
[6]) Primerjanje celega prvega odstavka tega predgorova gl. pri Vidicu, Nekaj o razmerju LMS 1898, 118—20.
[7]) *AA* = nemška avgsb. konfesija v knjigi »Augustana et Anti-Augustana Confessio. Das ist Augspurgische Glaubens Bekantnuß, Wien 1681«. Prim. Rupel, Trub. Artikuli ČJKZ VI, 112.

26 a: ſteim Papeshom	20. bey dem Bapſt	27 b: pri Rimskomu Biškopu	4 a: apud Pontificẽ Romanũ
26 a: vtim Regenshpurgi	22. zu Regenſpurg	28a: u Ratisponi	4 b: Ratiſbonae
26 b: Natu ſe pruti V. C. M. my ſo vſo pohleuſzhino tukai ſaueshemo inu prevezh oblubimo . . .	24. So erbieten gegen E. K. M. Wir vns hiemit in aller vnterthenigkeit, vnd zum vberflus . . .	28 a: Zato, na takovь ishodь, kadь vazroku Božé (Božje) časti, ot(ь) suprotivnosti i neskladnosti meьju (meju) nami i meьju (meju) delihь, priaznivo i valjubavê nisu spravléne (spravljene) kada predь V. C. P. ovdê mi vavsakojaki podložnosti zručamose.	4 b: In euentum ergo talem, quòd in cauſa religionis diſſenſiones inter nos & partes amicè & in charitate non fuerint compositę, tunc coram V. C. M. hîc in omni obedientia nos offerimus.

Vidi se, kako sta tukaj srbskohrvatska prevajavca uporabljala latinski vir, Trubar pa nemškega. Zdelo bi se, da na tem mestu sploh nista pogledala v Trubarjeve Artikule; vendar tega ne moremo trditi, ker sta zunanjo obliko tega predgovora posnela natančno po Trubarju. Izvedla sta namreč delitev v odstavke (nemški vir ima drugačno delitev kakor latinski) točno po slovenskih Artikulih, čemur je iskati vzrok v Trubarjevih obrobnih napisih[1]) stoječih pri vsakem odstavku. Če ima n. pr. Trubar fol. 24b—25a dva odstavka in zato tudi dva napisa, sta Konzul in Dalmata s tem, da sta sprejela oba Trubarjeva napisa, razdelila tudi odstavek, kakor ga jima je nudil latinski vir (*A* 3b), v dva dela. In da imata te obrobne napise edinole od Trubarja, kaže že dobeseden prevod; prim. slov. Art. 24b: naprei poluſhili, glag. in cir. Art. 26b: naprvo postavili. Iz Trubarja sta vzela tudi zadnji stavek tega predgovora, ki ga v latinskem izvirniku ni (Trubar ga ima po nemškem). Končno sta sledila Trubarju tudi v tem, da sta postavila podpise nemških knezov in mest pod ta predgovor, dasi sodijo na konec knjige pod epilog (prim. *A* 446 in *AA* 216).

Razen tega predgovora ostanejo še štiri zgoraj že označena mesta, kjer sta posegla avtorja srbskohrvatskih Artikulov po latin-

[1]) Prim. Rupel, Trubarjevi Artikuli ČJKZ VI, 119.

skem izvirniku. Vseh štirih mest skupaj ni niti za eno tiskano stran. Ker kažejo v bistvu isti značaj kakor navedeni odlomki iz predgovora in ker je najti eno pri Vidicu, Nekaj o razmerju LMS 1898. 121, jih ne bom posebej navajal.

To je torej ves vpliv latinske avgsburške konfesije na glag. in cir. Artikule. Nastane vprašanje, zakaj sta Konzul in Dalmata na teh maloštevilnih mestih zavrgla slovenske Artikule in uporabljala latinski izvirnik. Zadovoljiv razlog je težko najti. Da bi bil Trubarjev prevod slab ali nerazumljiv, spričo njunega suženjskega postavljenja besed po latinščini ne gre trditi. Ali je odločevala vsebina? Trubar se je res močno oddaljeval od svojih virov in napisal delo, v katerem je komaj spoznati avgsburško veroizpoved, toda na tistih petih mestih je precej točno slovenil, ne da bi — kakor običajno — svobodno razširjeval. Zdi se mi pa, da je imel Konzul že nekaj prevedenega, preden je dobil slovenske Artikule. Pod njihovim vplivom je skušal nato kolikor mogoče približati že obstoječi hrvaški prevod Trubarjevemu delu. Tako je postopal samo spočetka; ko pa je uvidel, da je Trubarjeva kompilacija precej različna od suponiranega hrvaškega prevoda, je to opustil in sledil samo Trubarju. Če se sedaj spomnimo tistega, kar sem povedal o Cvečićevem prevodu avgsburške konfesije, bi se dalo izreči mnenje, da Konzul sploh ni uporabljal latinskega izvirnika, ampak da ima tistih pet mest iz Cvečićevega prevoda. — Še manj more biti govor o kakem nemškem izvirniku; če ga glag. in cir. Artikuli omenjajo poleg latinskega, je to samo mehanično prevzeto po slovenskih, kjer je omenitev nemškega in latinskega teksta (slov. Art. naslov in 22a) popolnoma upravičena.

Poleg slovenskih Artikulov pa sta Konzul in Dalmata rabila kot vir tudi sveto pismo. Za svetopisemske citate Trubar namreč ne navaja vedno vira, kakor n. pr. slov. Art. 9a, 16a, 105a; v srbskohrv. Artikulih pa stoji točneje »Psal. 110« 10a, »Mat. 15« 17b, »2. Timot. na 4.« 108b (108a). — »Joh. III.« slov. Art. 44a je popravljeno v »1. Ivan na 3« glag. in cir. Art. 45b; tako popravo čitam enkrat samo v cirilskih, ne pa v glagolskih Artikulih (slov. Art. 56b »ta Prerok Zaharias vtim XII. Capituli«: glag. Art. 58a »Prorok Zaharia na 12. kap.«: cir. Art. 58a »Prorokь Zaharia na 12. kap. I. Ioel na 2.«) Nekateri citati so v srbskohrvatskih Artikulih precej drugačni. Prim.:

46a: Pridite ſemkai kmeni Vſi, kir ſte oblosheni Math. XI.

48a: Pridite kmeni svi, koi se trudite i obloženi este Mat. na 11.

75a: Paulus praui Rom. XIII. Timu teleffu imamo tako ftrezhi, de ne bo presherno.	77a (76b): Paval pravi ka Rimla (K̄Rim) na 13. Ne brinitese za plt (pl̄tь) hoteći ugoditi neé (neje) poželinьju (poželinju)
7b: Inu Col I... Inu on ie ta Glaua tiga Teleffa, tu ie, te Cerque. Sakai timu Ozhetu ie taku dobru dopallu, skufi nega vfe rizhi febo fprauiti, inu skufi to kry nega Crysha, pruti sebi ufe rizhi, kir fo Vnebi inu na femli Smyriti.	8a: I Kolosianomь na 1... I onь est (jestь) glava tela, to est, crêkve (crikve) koi est početak(ь), prvoroéni (prvorojeni) ot(ь) m̃rtvih(ь) neka bude načelnikь; ere est ugodno Otcu vañemь svako svršené (sv̄ršenje) prebivati. poñemь vasebê vsaka spraviti i šñimь i K̄rvьju (K̄rvju) Križa ñegova suprot(ь) sebê vsaka koja esu va nebê (v̄nebê) i na zemli smiriti.

Tako tudi slov. Art. 75a: shrv. Art. 77a (76b); slov. Art. 53b: shrv. Art. 55a; slov. Art. 75a: shrv. Art. 77a (76b - 77a); slov. Art. 7a - 7b: shrv. Art. 8a; slov. Art. 68b: shrv. Art. 70a.

Trubarjevi citati so v teh slučajih pomanjkljivi, srbskohrvatski pa točnejši. Navedeno gradivo kaže, da sta prevajavca posegala pri svetopisemskih citatih po kaki bibliji in popravljala Trubarja. Verjetno bi bilo, da sta rabila s v o j e svetopisemske prevode. Ker pa gre semkaj le glag. N. Test. I., ki vsebuje samo zgodovinske knjige novega zakona, sta mogla iz njega prevzeti kvečjemu citata Matevž XI. in Marko IX; primerjanje[1]) kaže, da tega nista storila. Za ostale citate iz poučnih knjig novega zakona bi utegnili misliti na drugi del N. Test., ki je sicer izšel (v glagolici in cirilici) šele v naslednjem (1563.) letu, ki pa je mogel biti za nastajanja Artikulov kolikor toliko že pripravljen. Vendar tudi primerjanje citatov srbskohrvatskih Artikulov in N. Testamenta II. ne prinaša rezultata, ki bi potrdil mnenje, da sta prevajavca posegala po svojih biblijskih prevodih.[2]) Ne preostaja drugega nego meniti, da sta se posluževala kake tuje izdaje sv. pisma, bržkone Vulgate.[3]) Glede na citat Matevž XI. in Marko IX. (citata se nahajata v ž e i z d a n e m s r b s k o h r v a t s k e m biblijskem tekstu, v N. Test. I), pa bi se dala izreči sodba in obsodba, da sta iskala Konzul in Dalmata citate na tu-

---

[1]) Matevž XI. v glag. N. Test. I. 15 b se glasi »Pridite kamne svi kise trudite i obremeñeni jeste.«

[2]) Prim. cir. N. Test. II. 91 b »I onь jestь Glava Têla Crikve, ki jestь početakь, p̃rvorojeni odь m̃rtvihь, da on bude va vsihь p̃rva držeći. Jere ugodno jestь Otcu da vnjemь prebiva vsako napl̄njenьje i ponjemь smiriti vsaka sasobom.« (Za citat Kol. I.)

[3]) Vulgata se je uporabljala tudi sicer, pri drugih prevodih; prim. *Polovič* I., E v a n g e l i j sv. Matevža v prot. glag. »Prvem delu N. Test« 1562, Zbornik Mat. Slov (ZMS) X, 62.

jem namesto doma,[1]) kakor bi imel prav Trubar, ko je napisal, da ne zna Dalmata niti tistega prav čitati, kar je sam napisal.[2]) Gradivo pa je prepičlo, da bi se še kaj točnejšega dalo dognati.

Razlike med slovenskimi in srbskohrvatskimi Artikuli so torej dvojne: najdeš jih tam, kjer se približujejo glag. in cir. Artikuli latinskemu izvirniku, in na mestih, kjer je spoznati neposredno uporabo sv. pisma. Druge razlike so tam, kjer govori Trubar kot edini avtor slov. Artikulov, dočim se izražata Konzul in Dalmata v množini, ker sta v glag. in cir. izdaji skupno podpisana. Prim. slov Art. 3a Sem ieit vom hotel tukaj ... poueidati : shrv. Art. 3a ésmo (jesmo) vam(ь) hoteli ... povêdati; slov. Art. 11a vti mui Dolgi Predgovori : shrv. Art. 12a vatomь dugom našimь Predgovoru (Predeslovju); slično še slov. Art. 3b, 4a, 5a, 11a, 17a : shrv. Art. 3b, 4a-b, 5b, 12a, 18b.

Razlike je najti tudi tam, kjer omenja Trubar Slovence in slovenščino. V glag. Artikulih je izraz »slovenski« dokaj različno uporabljen, cirilski pa se ga sploh izogibljejo. Slovenščina je Konzulu in Dalmati »krainski jazik« (naslov); če čitamo v glag. Art. »slovenski«, pomeni to naše »slovanski«, prim. slov. Art. 22a Sledni dobri Crainski in Slouenski zhlouik : glag. Art. 24a vsaki dobri Slovenskoga ili H̄rvackoga jazika člövikь; v cir. Art. 24a pa stoji: vsaki dobri Dalmatinskoga ili H̄rvackoga jazika člövikь. Cirilskemu prevajavcu je najbrže pomenilo »slovenski« isto kakor nam danes, posebno ker prevaja nemško „in Crobaten vnnd den Windischen Kirchen“ (cir. Art. $\mathfrak{A}_4$a) kot »v̄ Slovinskoi i H̄rvackoi crêkvi« (iijb); njemu je torej »slovenski« = »windisch«.[3]) Glag. prevajavec se ni branil zapisati »ésmo mi ove kn̄ižice ... Iz Latinskoga ... va Slovenski ... ob̄rnuli« (24a), cirilski pa se je temu izognil in zapisal »v̄ Hrvacki« (24a). — Prim. dalje slov. Art. 21b mui Slouenci : glag. Art. 23b vi naši predragi Slovenci: cir. Art. 23b ... H̄rvate; slov. Art. 21a dobrim ... Crainzom inu Slouenzom : glag. Art. 23b dobrimь ... Slovenskoga ézika : cir. Art. 23b dobrim ... H̄rvackoga jezika. Edino enkrat imajo cir. Art. izraz »slovenski« [glag. in cir. Art. 18b va sloven̄skih(ь) zemlah(ъ)], kar je treba smatrati za vpliv predloge.

---

[1]) Nasprotno mnenje pri M. ***Murku***, Nekoliko reči o jeziku shrv. prot. knjiga, Daničićev zbornik (Srp. kralj. akad 1925), 75.

[2]) Trubar-Kislu 19. III. 1561., Briefe 107.

[3]) Tudi imena windisch, Winden, Wenden se ne rabijo samo za današnje Slovence, ampak tudi za druge Jugoslovane, vsaj za njih del, in celò za vse Slovane (še danes Wenden za lužiške Srbe). Še večja je zmešnjava z imeni slovenski, slovinski, Slovenci, Slovinci, Slovini pri protestantskih in poznejših pisateljih. Za to vprašanje bo treba podrobne razprave na podlagi vsega južnoslovanskega gradiva. Prim. Slavia V. 280. *M. M.*

Trubar se obrača do Kranjcev, Štajercev in Koroščev (1 a), glag. Artikuli pa h »kьrstianomь Vdalmacii, ṽ Hrvatskihь i vavsihь inihь kogagodire slovenskoga jazika stranahь ili zemlah prebivaьju« (1 a), cir. Art. »Kristianomь VDalmacii, ṽ Hrvatih, Servie, Bosne srimske zemle, i vavsih inihь ovoga[1]) jazika stranah ili zemlahъ prebivaju« (1 a). Isti izrazi se nahajajo v glag. in cir. Art. 19 a za Trubarjevo »ſa volo tih ... preproſtih Slovenzou inu Croatou« 17 b.

Omeniti je treba še taka mesta, kjer imajo shrv. Artikuli kaj več oziroma kaj manj kakor slovenski. Dodatki so samo pojasnjujočega značaja. Širjenje s sinonimi nastopa po večini za Trubarjeve tujke (gl. sp.), n. pr. zbiulane 4 a : shrv. Art. 4 a dvoéñe (dvojeñe) ili sumñane, oziroma, če je slovenska beseda za srbohrvaščino neobičajna, n. pr. Meiſtu 1 b: varoš ili grad 1 b. — Ostali dodatki: Epikurejci so neodvisno od slovenskega originala karakterizirani z vrinkom »to ésu (jesu) bezdušni i polverni« (2 a). Pri Trubarju omenjeni božji poti v Rim in Aachen (17 a) dodajajo shrv. Art. še romanje v Galicijo (18 b). »Ex opere operato« (slov. Art. 39 b) je pojasnjeno z dodatkom »to jestь, odь dêla delana ili stvorena« (40 b); slično še slov. Art. 6 a : shrv. Art. 7 a. — Trubarjevo »od Sakonskiga Stanu« (45 b) se ni zdelo dovolj umljivo, zato čitamo še pristavek »to jest od ženitva« (47 b). Nezavisno od slovenske predloge (70 a) navajajo shrv. Art. običaj »okol Oltaroṽ (Oltarovь) znagimi kolini hoditi« (71 b). Trubar je napisal, da so apostoli določili »De ty Aydi nemaio cilu nishter od Sadushene shiuine, Ne od krij Jeiſti« (76a), iz shrv. Artikulov pa izvemo, da so mišljeni »poganê ki se bihu na Kьrstiansku Veru obernuli« (77 b), cirilski prevajavec pa je dodal na robu še »niedne m̃rcine«. Dalje sta Konzul in Dalmata natančneje določila pravo obhajanje: »stêlomь i krvu« (slov. Art. 21 a : shrv. Art. 23 a).

Značilno je, da nista hotela s takim pojasnjevanjem spreminjati prvotne (slovenske) formulacije; raje sta si pomagala z oklepajem. Tako sta postavila v oklepaj zgoraj omenjeni poslednji pristavek, besedo »človeka« pa v naslednjem izrazu: »skrozь jednoga samoga (človeka) grihь« (31 a) za Trubarjevo »skuſi eniga ſamiga Greh« (29 b). Oklepaji so jima služili tudi v to, da sta Trubarjeve dolge stavke delila po smislu, kar se jima je zdelo prikladnejše kakor izpreminjati Trubarjevo formulacijo in slog. Prim. slov. Art 1 a (prvi stavek je res težko razumljiv!) : shrv. Art. 1 a in slov. Art.

[1]) Tudi tu se izogiba cir. prevajavec izrazu »slovenski«; prim. še slov. Art. 17 b v slouenski Desheli: glag. Art. 19 a va Sloveñskih zemlahь: cir. Art. 19 a va o v i h ь zemlahь i stranah.

23 a : shrv. Art. 24 a. Če omenim še, da stoji za slovensko »vſaki gledai, de ...« (3 a) in za »taku Malykouane« (14 a) v shrv. Art. »vsaki gledai i pečalno nastoi i moli, da ...« (3 b) in »ove Idolske Poganske službe, koé (koje) prave, da su Božé (Božje)« (15 a), sem izčrpal vsa mesta, kjer sta Konzul in Dalmata kaj dodajala slovenskemu izvirniku.

Še manj kot dodatkov je takih mest, ki jih v slov. Artikulih čitamo, v prevodu pa ne. Tako je v Trubarjevem izvajanju »Inu de ty Otroci ſe imaio kerſtiti. Inu de ty Otroci, kir ſo skuſi ta kerſt Bogu porozheni, ſo vſeti vto Gnado« (37 a) izpuščen v prevodu (38 a) srednji del od besede »Inu« do »porozheni«. Kljub temu, da ne gre pripisovati hrvaške redakcije tega mesta latinski predlogi, ker je Trubar tukaj dobesedno prevajal po latinskem izvirniku,[1]) se mi to mesto ne zdi »čudno« kakor Vidicu,[2]) ker je najti še več sličnih slučajev; vzrok krajšanja je bil pač neroden Trubarjev slog s ponavljanjem istih besed. Prim. še tole:

Slov. Art. 34 b_{19}—35 a_2: Obtu mi vſelei imamo terdnu dershati inu Verouati, de mi tu Odpuſzhane tih Grehou dobimo, inu ſmo prauizhni inu lubi Bogu, nekar ſa volo nashe nepolne pokorſzhine, oli tiga mahina ſazhetiga dershane tih Boshyh Sapuuid, oli ſa volo nashe brume oli vrednuſti, Temuzh le ſa volo te Vere Veriſtuſa, De ſmo Otroci Boshij, de imamo ta vezhni lebē. Tiga mi ſnashim dianem inu slushbami ne ſaslushimo. Tu vſe imamo le is te preuelike globoke inu neiſrezhene miloſti inu dobrute Boshye ſa volo Chriſtuſa Jeſuſa. Sakai ...

Shrv. Art. 86 a 8—10 (36 a 11—13): Zato vazda imamo tvrdo držati i verovati, da imamo proščenie grihovь radi Vere va JSHA, da esmo dica Božja, da imamo život večni. Začto ...

Tudi tu ne moremo pripisovati razlike kakemu naslanjanju shrv. Artikulov na latinski izvirnik (stavek »da esmo dica Božja« je prišel v shrv. Artikule preko slovenskih iz nemške konfesije), marveč le stilistični nerodnosti Trubarjevi, ki je včasih ponavljal iste stavke in besede; saj je tik pred tu zgoraj navedenim odstavkom izvajal skoro z istimi besedami: De ta nasha nepolna Pokorſzhina inu tu nepolnu nashe dershane tih Sapuuid, ſa volo Jeſuſa dopade Bogu. Sakai taka nasha mahina Pokorſzhina ... (34 b8-16). Iz istega vzroka sta izpuščena še dva slična stavka (slov. Art. 51b13-17: shrv. Art. 52 a21-22 (20-21) in slov. Art. 86 a9-10: shrv. Art. 89 a 25 (10)), zaradi nejasne zveze pa je skrajšan naslednji odlomek:

---

[1]) Et quòd infantes ſint baptizandi, Et quòd infantes per baptiſmum Deo commendati, recipiuntur in gratiam. *A* 8 b.

[2]) Vidic, Nekaj o razmerju LMS 1898, 121.

86a: ... bo ta Serd Boshij vtolashen, kadar mi to Boshyo Oblubo Vcriſtuſa ſto Vero popademo inu primemo, Bug nom, nekar ſa nashih Dell volo, temuzh is Miloſti, ſa volo Criſtuſa, hozhe biti Miloſtiu inu vſe nashe Grehe odpuſtiti, Obtu ti ...

89b: ovь (ov) gñiṽ Božii (Boži) bude utišen(ь) kadь Božé (Božje) obêtované (obêtovanje) va JS̃H̃U zveru uhitimo i primemo. Zato oni ...

S tem sem razbral vse razlike med slov. in shrv. Artikuli. Samostojnosti ne kažeta Konzul in Dalmata nikjer, kajti vzroki njunih sprememb so vsi bolj slučajnega značaja. Čeprav bi morda pričale nekatere variante o nekakem sklepu prevesti shrv. Artikule po latinskem originalu, se je vendar izkazalo, da je bil to zalet, ki je prenehal takoj po prvih poglavjih. Pa še to je treba smatrati glede na Cvečićev rokopis za poizkus, olajšati si prevajanje. Edino razlike pri svetopisemskih citatih bi pričale o vestnosti in natančnosti, samo premalo bistveni so ti citati. Dodatki in okrajšave pa so vprav malenkostni, če se spomnimo, kako je Trubar prevajal. Mislim, da je bil Trubarjev vpliv tako velik, da sta prevajavca, kljub ponovnim poizkusom otresti se ga, tudi pri Artikulih podlegla. Zmaga Trubarjeva je bila tem večja, ker sta prevajala stvari, ki jima niso bile po volji in o katerih pogrešenosti sta bila prepričana. (Konec sledi.)

Mirko Rupel.

Ф. Л. Челяковский в украинских переводах.

(К истории чешско-украинского литературного обмена.)

5/17 августа истекшего 1927 г. исполнилось 75 лет со дня смерти Франца Ладислава Челяковского, выдающегося чешского поэта и одного из „будителей“, которому принадлежит исключительное место в истории русско-чешского и украинско-чешского литературного обмена. Западно-славянский мир из его „Отголоска русских песен“ (Ohlas písní ruských) впервые узнал какие художественные красоты таит в себе народная русская песня, а ряд его переводов „Из малорусской антологии« (1842 г.) положил начало украинско-чешскому литературному обмену.

Челяковский принадлежит к числу тех чешских ученых, которых намеревалось пригласить русское правительство для занятия открывающихся кафедр славяноведения в русских университетах. Известно чем окончилась эта попытка. Чешские ученые не поехали в Россию, а один из них — поэт Челяковский навсегда отрезал себе возможность попасть туда. В одном из номеров редактируемой им газеты он поместил резкую заметку по поводу речи Николая I польской депутации в Варшаве. Заметка стала известной русскому послу в Вене Татищеву, который принял соответствующие меры, и Челяковский был лишен австрийскими властями не только редакторского места, но и принужден был оставить кафедру чешского языка в Пражском Университете.

Ревностно изучая русский язык[1]) и следя за русской литературой и русской жизнью, Челяковский не мог не обратить внимания и на развивающуюся новую украинскую литературу. „Из всех других славянских языков Челяковский больше всего занимался русским“, пишет Я. Малый — „русская история, русская литература, русская народная словесность были излюбленным предметом его изучений . . .“[2])

[1]) Занятия русским языком начались в 1820 г. См. письмо Челяковского Камариту. Korrespond. a zap. Fr. Lad. Čelakovského. Sb. pram. ku pozn. lit. života v Čechách, na Mor. a Slezsku. Skup. II. č. 10, 1901, стр. 36.

[2]) Frant. Lad. Čel. Životopisný nástin od J. Malého. P. 1852, стр. 7.

Деятели чешского возрождения вообще довольно внимательно следили за новостями литературной жизни России. Ни одно сколько нибудь значительное произведение литературы украинской также не проходило мимо их внимания. В Č. Č. M. время от времени в отделе „Literní zprávy" помещаются сведения о новых книгах, относящихся к русской и украинской литературе. Во втором выпуске указанного журнала за 1839 г. появилась заметка Ганки о книжке Амвросия Могилы „Думки и пѣсни, та ще де що". Харьков, 1839 г. Обращая внимание чешских читателей на эту книгу, Ганка пишет: „Малоруссы усердно собирают и издают памятники своего языка, который все более исчезает и забывается . . . Усилия эти заслуживают всяческой похвалы, а работа уважаемого автора достойна признания и внимания". Спустя три года поэт Челяковский переводит на чешский язык ряд песен из этого сборника Амвросия Могилы („Из Малорусской антологии", Č. Č. M. 1842 г.). Кроме переводов из указанного сборника Челяковский переводил еще из Костомарова[1]), Шпигоцкого, Шашкевича, Боровиковского. Следует заметить, что переводы Челяковского являются первыми переводами с украинского на чешский. Он первый познакомил читающую чешскую публику не только с украинской поэзией, но и с народным творчеством — („Maloruské dumky" в цикле „Slovanské národní písně", 1822).

Стремление к возрождению своей народности, с такой силой проявившееся в первой половине XIX в. в нарождающейся новой украинской литературе, идеологически несомненно связано с возрождением славянским вообще, в особенности с возрождением чешским. Борьба за сохранение народности вызывала естественный интерес ко всему народному, обращала взоры к тем родственным народам, где процесс возрождения уже начался, и подготовляла благоприятную обстановку для проникновения идей славянского возрождения на украинскую почву.

Следы влияния славянского возрождения с особой силой сказались в Галиции, где группа таких лиц, как Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий, Устиянович и др. стремились

---

[1]) Переводя одно из стихотв. Костомарова — „Kuň", Челяковский делает примечание: „Издал плоды своей поэтической деятельности: Украинские баллады, в Харькове, 1839 г. также, как и Метлинский, под псевдонимом Еремии Галки. Кроме того нам известна его драма: Савва Чалый (тоже в Харькове, 1832 г.), написанная также на малороссийском языке".

создать единый язык и литературу на народной основе и при их помощи воскресить народ к новой духовной и общественной жизни. В первом манифесте этой группы, в альманахе „Русалка Днѣстровая" (1837 г.) ясно чувствуется связь их стремлений с идеями славянского возрождения

„Судило нам ся послѣдними бути", читаем в предисловии к альманаху. „Бо коли другі Славяне вершка ся дохаплюют, и єстли не уже, то небавкам побратают-ся з повним ясним солнцем, нам на долини в густій студенній мрацѣ гибѣти Мали и ми наших пѣвцѣв и наших учителів, але найшли тучи и бури, тамти занѣмѣли, а народови и словесности на доўгося здрѣмало; однакож язик и хороша душа руска була серед Славянщини, як чиста слеза дѣвоча в долони Серафима" („Русалка Днѣстровая", Будим 1837, Передслівє). Идеи, провозглашенные вдохновенным певцом „Дочери Славы" — Я. Колларом нашли живой отклик в Галиции[1])

В это именно время замечается и среди польской интеллигенции в Галиции усиленный интерес ко всему народному Особенно большим успехом пользуются „Славянские народные песни", собранные Челяковским В подражание ему начинают собирать песни и у себя на родине. К этому времени относится появление сборников Ж. Паули, Войтицкого и др.

Величественный образ Славы, прошлое славянства, так пленительно изображенное в изумительной поэме Коллара, поражают современников — деятелей галицкого возрождения. Стихотворение одного из деятелей галицкого возрождения Н. Устияновича „Славяньска колибель" навеяно знаменитым Předzpěv'ом к „Slávy Dcera".

Имя Коллара становится чрезвычайно популярным, и его авторитет непререкаемым. Помещенные в отделе I „Русалки Днѣстровой" народные песни, сопровождаются motto. взятым из Коллара. Смерть Коллара нашла отклик в Галиции. Б. Дедицкий написал на весьма напыщенном славянорусском языке стихотворение „На смерть Колляра" („Зоря Галицка" 1852, № 6).

Не останавливаясь на выяснении социальных корней явления, известного в истории украинской общественной мысли

---

[1]) См. Иван Франко — „Літературне відродженє Полудневоі Русі і Ян Колляр." „Sb. statí o životě, působení a lit. čin. Jana Kollára, 1893. Здесь между прочим говорится, что два чеха Зап (K. V. Zap) и Коубек (Jan Pravoslav Koubek), жившие во Львове, оказывали большое влияние на молодых русинов.

под именем украинского славянофильства, с непреложностью можно утверждать, что оно связывается со славянским возрождением конца XVIII и начала XIX в., главным образом с возрождением чешским. Здесь уместно будет отметить, что хотя социальные корни увлечения славянством, как в России, так и на Украине одни и те-же, однако, в силу ряда причин, идеологически это различные течения. Это прекрасно выразил еще Драгоманов, говоря, что „украинское славянофильство совсем не то, что московское, потому что за ним была казатчина, а не Московское царство, а под ним угнетенная Украина, а не „сверкающая стальной щетиной империя". (Драгоманов: „Шевченко, украинофильство и социализм".)

Центром славянских интересов на Украине в начале XIX ст. является Харьков. Здесь открывается первый университет на территории Украины, возле которого сосредоточивается культурная жизнь, здесь же зарождается и украинская пресса, являющаяся выразительницей идеологии демократически настроенного украинского дворянства.

Об интересе к славянским вопросам среди украинского общества той эпохи свидетельствуют, между прочим, лекции И. Срезневского, выдающегося слависта, большого знатока и любителя украинской литературы, открывшего в Харьковском Университете, по возвращении из славянских земель, курс по славянским наречиям (1843 г.).

„Направление профессора было панславистское," говорит о лекциях Срезневского де-Пуле, „стихи Коллара не сходили, можно сказать, с его уст, а славянское братство и единение в духе мира и любви едва ли в другом русском Университете нашло бы для себя более благоприятную почву, чем в Харьковском." (Де-Пуле, Вестник Европы, 1871.)

На Украине среди народнически настроенной интеллигенции, имена деятелей славянского возрождения, особенно чешского, пользовались большой известностью.

Это обстоятельство даже дало повод Т. Шевченко упрекнуть своих земляков в чрезмерном увлечении всем славянским, в ущерб своему родному в известном его „Послании к мертвым, живым и ненарожденным землякам моим".

Конкретным выражением интереса к славянству со стороны украинской интеллигенции служат начавшие появляться в молодой украинской литературе переводы со славянских языков.

Оставляя в стороне украинско-польский литературный обмен, обусловленный разнообразными причинами, можно сказать, что переводам с чешского языка принадлежит первое место в украинской литературе первой половины XIX в.

В упомянутой уже нами книжке Амвросия Могилы (Метлинского) „Думки и пѣсни та ще де що", вышедшей в Харькове в 1839 г., наряду с его собственными думками и песнями имеются и его переводы со славянских языков — сербского, польского, чешского, объединенные заглавием — „Луна из Славенiи". В качестве motto к переводу взят известный сонет Коллара (Slávy Dcera, zpěv II, 138).

Певец „Дочери Славы" и автор трактата о литературной взаимности славян, Ян Коллар, был достаточно знаком Метлинскому и, может быть, под воздействием его трактата появились переводы Метлинского со славянских языков на украинский. Весьма вероятно, что тот же трактат побудил Метлинского в приложении к переводам поместить подлинный текст восьми из переведенных им чешских, польских и сербских стихотворений, при чем подлинные тексты напечатаны кириллицей, тогда как отрывок из „Předzpěva" и сонет Коллара, в виде motto, напечатаны в транскрипции оригинала. Верный ученик Коллара в вопросах славянской взаимности Метлинский хотел наглядно показать широкой читающей публике насколько близки эти славянские языки к их родному.

Метлинский разделяет также настроения и чувства Коллара в отношении немцев. Немецкая земля для него, как и для Коллара — „некогда колыбель, ныне рака славянского народа". В качестве motto к переводам из немецких романтиков — „Луна шче из Нѣмецiи" — взято начало знаменитого Předzpěva к „Дочери Славы".

В числе восьми переводов с чешского, помещенных в сборнике Метлинского, три стихотворения переведены из знаменитого „Отголоска русских песен" Челяковского — произведения, получившего чрезвычайно высокую оценку у современников.

„Čelakovského jméno bylo ve všech ústech", пишет современник Челяковского Я. Малый, „vlast s jásotem vítala velikého svého genia, celé Slovanstvo v udivení naslouchalo čarovným zvukům posvátné jeho lyry i do cizinstva zanášela pověst jméno velikého českého básníka". (J. Malý, op. cit., p. 8).

Эта несколько преувеличенная оценка не лишена, однако, доли справедливости: имя Челяковского действительно сделалось известным в разных славянских странах, свидетельством чему служат переводы произведений Челяковского.

Перевод песен Челяковского, сделанный Метлинским, является первым по времени в России. В 1842 г. в журнале „Денница", издаваемом Дубровским в Варшаве, были напечатаны шесть стихотворений из „Отголоска" в русском и польском переводе.

Метлинский перевел, как уже сказано, три стихотворения из „Отголоска" — 1. Ночна розмова (Rozmluva noční), 2. Розмова милого зъ милою (Romantická láska) и 3. Смерть царя (Smrt Alexandra).

Художественными достоинствами переводы Метлинского не отличаются. К ним совершенно не применимы известные слова Жуковского — „переводчик в прозе — раб, в стихах — соперник". Чутья художественных особенностей народной песни, каким в большой степени обладал Челяковский, Метлинский не обнаруживает. Даже характерные особенности народной песни — повторы и отрицательные сравнения — теряются в переводе.

Так следующее место (Rozmluva noční) у Метлинского передано:

Ne svistem větrů daleká strana Mládenci odpovídá, A odpovídá krajina rodná Sladkým ruským jazykem . . .	Братикъ козаченька, вѣтеръ буйный Знявсь, засвистѣвъ, загудѣвъ, Вѣсточку изъ Украины принисъ, И сердце лоскоче вѣсть Рйдною мовою . . .

Другое место (там-же) передано:

Ale mluví on dobrý mládenec S milou dalekou stranou, S milou dalekou stranou, rodným krajem . . .	Мову веде козакъ-ратникъ смутный Зъ стороною ридною, Зъ дальлю-Вкраиною, де ёго рид!..

Или переведено:

Jak tu dobrý mládec zamyslil se, Zamysliv se potom odpověděl . . . (Roman. láska)	Козакъ вѣрный засмутився далѣ каже . . .

В песне „Romantická láska" слова доброго молодца, приглашающего возлюбленную переправиться на прекрасный остров, на котором

„. . . vystavíme město,
A město-li ne, aspoň vesničku,
V té budeme v lásce přebývati
Až do věku, až do smrti naší . . .

переданы Метлинским совсем иначе, чем в подлиннике, и совсем прозаически:

Не розрізняе ніколи зима
Там (на острове) зъ весною осінь, й насъ
там не розрізнють!
Житимемъ, вѣкъ доживатемъ вдвох...

Вторым переводчик Челяковского является Николай Устиянович (1811—1865) — поэт и известный деятель галицко-русского возрождения. Им переведены две коротенькие песни из „Отголоска чешских песен" — „Звістка" (Výmluva) и „Взріст" (Zrůst). Переводы близки к подлиннику и верно передают его.

Третьим переводчиком Челяковского является А. А. Корсун (1818—91).

В Альманахе — „Снјпъ, украинській новорочник, зкрутивъ Александръ Корсунъ — Рјкъ первій Х. 1841, в отделе VII — „Украинськј повјрья" — „відчого чапура живе биля моря, и чому вона јсть жабъ та гадюкъ" — помещен перевод одного стихотворения из „Отголоска русских песен" — „Veliký ptačí trh". — Перевод преподносится читателю в чрезвычайно своеобразной форме. Ему предпосылается предисловие в виде рассуждения о том, что необходимо хранить свой родной язык, как это делают другие славяне, ибо украинцы тоже славяне, только они, по мнению Корсуна, находятся в лучших условиях существования, чем другие славянские племена.

„Чехъ Челяковській зкомпонувавъ одну книжку маненьку", — рассказывает Корсун, „и тамъ написавъ якесь повјрье: хто ёго зна, яке воно? — чи чеське, чи наське — хто ёго зна?" Дальше следует указанный перевод стихотворения из „Отголоска русских песен". Прослушав „поверье", один из присутствующих заметил: „Се щире наське повјрье; тјлькј менј он-шо кумедне: якъ воно зъупинилось у Челяковського?" „Та я жъ вамъ казавъ, шо ми усј Словени"... заканчивает автор.

Корсун, как мы видим, пользуется стихотворением Челяковского, как своего рода агитационным средством для того, чтобы показать, что и украинцы принадлежат к семье славянских народов, что у них много общих черт с остальными славянами. А отсюда сам собой напрашивается вывод: нужно хранить свой язык так, как это делают чехи, поляки и др. славяне.

А. Корсуну принадлежит еще один перевод из Челяковского. В том же альманахе помещены шесть стихотворений, переведенных с чешского, и в их числе перевод стихотворения — ,,Великая панихида“ из ,,Отголоска русских песен“. (,,Велика панихида“, зъ чешського. Москалям).

Переводы Корсуна почти дословно передают текст подлинника, однако в переводе потерялись песенные эпитеты, чем в значительной мере обесценилась художественная сторона перевода. В одном месте переводчик не понял текста и передал следующее место из „Veliký ptačí trh“ —

	так —
Na bohatých korábech přijížděli	Въ цвяхованнихъ лоткахъ собѣ — приѣздили,
Se vším tovarem, drahým zbožím	Зо всѣмъ своимъ крамомъ й товаромъ хорошимъ,
A byli stavu slavného, kupeckého . . .	И стали вони всѣ у славного ставу.

Этими семью стихотворениями и ограничиваются переводы Челяковского на украинский язык. Это абсолютно небольшое число становится более значительным, если сравнить его с другими переводами со славянских языков в украинской литературе первой половины XIX ст.

Среди переводов Челяковского на разные европейские языки (библиографию см. Е. А. Рихлик. Поэтическая деятельность Ф. Л. Челяковского. Киев 1915 г.) украинские переводы занимают не последнее место.

Ленинград, Сентябрь 1928.

К. Пушкаревич.

Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского.

Окончание.[1])

4.

„Homme sans moeurs et sans religion“[2]) — таким был задуман Герман Пушкина. Человек без нравственных устоев и веры занимал и Достоевского тогда чрезвычайно. В раннем замысле „Преступления и Наказания“, о котором Достоевский сообщает в письме к М. Н. Каткову в сент. 1865 года, его герой „молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по ш а т о с т и в п о н я т и я х, поддавшись некоторым странным, „недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился р а з о м выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты.“[3]) К сент. 1865 года уже была закончена повесть об убийстве старухи, которая была „психологическим отчетом одного преступления“. И в этой повести загадка убийства решалась значительно проще, чем в позже разросшемся сюжетно и идейно романе. В ней два момента определяют „поступок“ героя — с одной стороны, ничтожность старухи, с другой — желание спасти своих близких.

„Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. „Она никуда не годна“ и „для чего живет“? „Помогла ли она хоть кому нибудь?“ и т. д. — эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства, — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать заграницу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении „гуманного долга к человечеству“, чем уже, конечно, „загладится преступление“, если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает для чего живет на свете, и которая через месяц, может сама собой померла бы“.[4])

---

[1]) См. „Slavia“ т. VII, кн. 1, стр. 62—86 и т. VIII, кн. 1, стр. 82—100.

[2]) Эпиграф к IV главе „Пиковой Дамы“. Эпиграф я рассматриваю, как авторский намек на идею произведения. См. мою статью „К уяснению историко-литературных понятий“ в „Изв. Отд. Р. Я. и Сл.“ 1918 г., т. XXIII, кн. 1, стр. 245.

[3]) Опубл. в Красн. Арх. 1923 г. т. IV., стр. 365—375.

[4]) Там же.

Но в таком виде „Пиковая Дама" уже давала опорные пункты художественному воображению Достоевского. Вдумываясь в образ Германа, Достоевский постепенно переосмысливал его, и в его представлении восставало „колоссальное лицо", истинно петербургский тип. Этот переосмысленный образ завладел его воображением так сильно, что в тот момент, когда он приступил к воплощению убийцы „по шатости понятий", то невольно придал ему германовские черты. Если взять черновые записи Достоевского, относящиеся к роману „Преступление н Наказание", то эти черты сходства между Германом и Раскольниковым еще усилятся. Об этом особенно ярко говорит одна из ранних записей Достоевского о Раскольникове: „Он хочет властвовать и не знает никаких средств. Поскорее взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая".[1]) Но и в окончательной редакции романа эти черты родственности с Германом сохранились.

Мы знаем, что душой Германа овладела одна „неподвижная идея"[2]), сделавшая его настоящим мономаном. Таким же „мономаном, слишком на чём нибудь сосредоточившимся" (стр. 26) предстает перед нами и Раскольников уже на первых страницах романа. Идея, завладевшая сознанием обоих героев — „упрочить свою независимость", разом, одним усилием повернуть колесо судьбы. Герман „имел сильные страсти и огненное воображение; но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений" (стр. 481), с тем бóльшей страстностью он бросается на рискованный шаг — вынудить у старой графини — просьбой или силой — тайну трех карт. Здесь в сцене с графиней, Герман выдает одну из своих сокровенных мыслей, свое убеждение в ненужности, ничтожности жизни полуразвалившейся старухи. „Подумайте: вы стары; жить вам уже недолго — я го-

[1]) Печать и Революция, 1926 г., № 4, стр. 73.

[2]) Этот термин из Пушкинский „Пиковой Дамы" прочно врезался в сознание Достоевского. На это обратил уже внимание К. Истомин в статье „Из жизни и творчества Достоевского в молодости": „Уже в своем переводе романа Бальзака „Евгения Гранде" (1844 г.) Достоевский говорит, что скупость старика Гранде „обратилась в неподвижную идею". Это — вольная переделка французского подлинника. „Квартира, роман, Ревель — 3 неподвижные идеи" пишет Достоевский своему брату Михаилу 4 мая 1845 г. Самый термин „неподвижная идея" взят, вероятно, из „Пиковий Дамы" Пушкина". (Сб. „Творческий путь Достоевского" п. р. Н. Л. Бродского. М. 1924, стр. 32). См. также в „Господине Прохарчине", „Неточке Незвановой" и „Подростке".

тов взять грех ваш на свою душу . . . Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню" (стр. 491—492). „Старая ведьма" стала на пути возможного „упрочения своей независимости", не доставало только немного „казуистики" чтобы из этих германовских слов сделать неизбежные выводы. Правда, надо было и еще нечто, что в „Пиковой Даме" дано не было и что пришло весьма кстати из другого источника. Я имею в виду теорию „права на преступление". В этом месте Достоевский соприкасается с Бальзаком. После прекрасной работы Л. Гроссмана „Бальзак и Достоевский" не может быть сомнения, что путь проделанный Раскольниковым и приведший его к преступлению отчасти подсказан размышлениями Растиньяка о праве построить свою независимость на жизни „мандарина". „История Евгения Растиньяка, говорит А. Гроссман, это — фазисы образования сверхчеловека, принимающего свой окончательный закал в преступлении. Одна из главных идей бальзаковского романа — это право высшего человека (homme superieur) шагнуть через кровь для достижения своей высокой и прекрасной цели"[1]) Точкой соприкосновения, где встретились оба замысла — „Пиковой Дамы" и „Отца Горiо", разрядившейся ослепительной искрой „Преступления и Наказания" был образ Наполеона.[2])

На наполеоновские черты в Германе уже давно обратил внимание Д. С. Мережковский, насколько знаю, первый поставивший проблему об идейной связи Раскольникова с Германом. „Я хотел добра людям. И для добра убил. Это говорит Раскольников. Но мог бы сказать и Пушкинский Герман в „Пиковой Даме". Как Раскольников, как Жюльен Сорель в „Крас-

---

[1]) Л. Гроссман, Поэтика Достоевского. М. 1925, стр. 94.

[2]) Отмечу, кстати, что Пушкин мог имя Германа заимствовать у того же Бальзака. Об этом говорит с большой степенью вероятности Б. Томашевский в своей статье „Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово." „В октябре 1832 г. вышли „Nouveaux contes philosophique", содержащие „Maître Cornelius", „Madame Firmiani", „l'Auberge rouge" (не отсюда ли заимствовал Пушкин имя героя „Пиковой Дамы". В этой повести мы читаем: „Его звали Германом, как зовут почти всех немцев, выводимых писателями." После этой фразы трудно предполагать бессознательное совпадение имен), „Louis Lambert". („Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Тр. Пушк. Д. XLVIII, стр. 246). О возможном влиянии повести „L'Auberge rouge" на Достоевского см. статью И. Лапшина „Красный Кабачек" Бальзака и „Бр. Карамазовы" Достоевского (Воля России. 1927, № 2, стр. 66—77).

ном и Черном", Герман подражатель Наполеона. Сколь ни слабо, ни легко очерчен внутренный облик его, все таки ясно, что это не простой злодей, что тут нечто более сложное, загадочное. Пушкин впрочем, по своему обыкнвению, едва касается этой загадки и тотчас проходит мимо, отделывается своею неуловимо скользящею улыбкою. И получается как будто лишь непритязательный фантастический рассказ в духе Меримэ... Но из случайно оброненного Пушкиным анекдота неслучайно выросли „Мертвые души"; из „Пиковой Дамы" неслучайно вышло „Преступление и Наказание" Достоевского [1]) Весьма близко подошел к нашей теме недавно и М. Столяров в статье „Могила Пушкина" в которой он попутно бросает ценную для нас мысль: „Философия Раскольникова лишь переложение одной строфы „Евгения Онегина" стр. 14, гл. II: „Мы все глядим в Наполеоны") и реминисценция из „Пиковой Дамы" (старуха) и „Подражания Корану" („тварь дрожащая")...[2])

Первый догмат Раскольникова о разделении людей на „дрожащую тварь" и власть имущих — „Наполеонов и Магометов" Достоевский не просто повторяет, как думает Гроссман, за Бальзаком[3]), но вэтом месте происходит идейная встреча двух замыслов — Пушкина и Бальзака, в своеобразном творческом претворении давшая нам бессмертного Раскольникова. Не следует забывать, что и у Германа „профиль Наполеона, а душа Мефистофеля". Это сходство Германа с Наполеоном тщательно подчеркнуто Пушкиным. В комнате Лизы после смерти графини, когда Герман „сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь", то он „удивительно напоминал портрет Наполеона. Это сходство даже поразило Лизавету Ивановну." И не только внешнее сходство было здесь дано, было и нечто большее: у Германа была „суровая душа", которая многое себе разрешила уже. Недаром Томский убежден что „на его совести по крайней мере три злодейства" (стр. 494). Пушкин всячески подчеркивает, что Герман „не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе" и его сломила не столько „совесть — когтистый зверь", сколько макбетовский призрак графини.

[1]) „Толстой и Достоевский". Т. II. 3-ье изд. Спб. „Общ. Польза" 1909 г., стр. 98—99. Въ другом месте, ссылаясь на отзыв о Германе в „Подростке", Д. С. Мережковский говорит о Достоевском: „Связь Раскольникова с Германом он, кажется, не только чувствовал, но и сознавал" (т. ж. стр. 99).

[2]) „Россия" 1924 г., № 2, стр. 153.

[3]) Op. cit., стр. 110.

Образ Раскольникова носит в себе черты двойственности, и его возрождение к новой жизни дано, по словам самого Достоевского, как тема „нового рассказа" и не вытекает с внутренней необходимостью из самого романа. Достоевский не мог бы озаглавить своего произведения, подобно Толстому, „Воскресением", а только „Преступлением и Наказанием" — ибо воскресение Раскольникова мы в самом романе не видим. До последних страниц романа Раскольников остается при убеждении, что его преступление только в том, что он „не вынес его и сделал явку с повинной". Подобно Герману, не чувствует он угрызения совести. Наоборот, он еще больше укрепился в правильности своей теории. „Но теперь, уже в остроге, на свободе[1]), он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то время, прежде..." Он всё еще называет совершенное им убийство „поступком" и не хочет признать его „злодеянием". „Что значит слово злодеяние? спрашивает он себя и продолжает: „совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну, и возьмите за букву закона мою голову . . . И довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, а потому они правы,[2]) а я не вынес, и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг" (стр. 442). Под влиянием эпилога романа, обещающего воскресение Раскольникова к новой жизни, забывают невольно, что приведенные рассуждения не предшествуют убийству, а оправдывают его долго спустя после самого преступления. Если преодолеть эту иллюзию „воскресения" Раскольникова, то на его лице еще резче вырисовываются германовские черты. И была своя правда в первоначальном плане Достоевского — заставить Раскольникова покончить с собой. В одной из записей к роману значится: „Финал романа. Раскольников застрелиться идет."[3]) Этот финал ближе к сумасшествию Германа, чем эпилог окончательной редакции с воскресением к новой жизни.

---

[1]) Подчеркнуто Достоевским.

[2]) Подчеркнуто Достоевским.

[3]) И. И. Гливенко, „Раскольников и Достоевский". Печ. и Рев. 1926, № 4, стр. 81.

Достоевский писал в „Подростке“: „В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из „Пиковой Дамы“ . . . мне кажется должна еще более укрепиться.“ И думается мне, что этими словами Достоевский поведал нам тайну создания своего Раскольникова. Разве в его эвклидовском уме „дикая мечта“ Германа не укрепилась еще больше, разве не привела она его к тому поступку, из которого нет выхода для человека „sans mœurs et sans religion“. И только тогда, когда вернулась вера, когда была раскрыта страница Евангелия на воскресении Лазаря, только тогда после „Преступления и Наказания“ пришло подлинное воскресение.

5.

Хотя по времени окончательного оформления „Игрок“ следует за „Преступлением и Наказанием“, но его творческое зарождение и созревание предшествовало этому роману. Уже в сентябре 1863 года первоначальный замысел „Игрока“ был у Достоевского записан большею частью на клочках бумаги.[1]) Одно то обстоятельство, что этот замысел, так тесно связанный с личными переживаниями Достоевского,[2]) был на время вытеснен и заслонен планом „другой повести“, затем разросшейся в роман „Преступление и Наказание“, заставляет предполагать возможность более тесной связи этих двух произведений. И эту связь действительно можно установить, если вспомнить, что образ пушкинского Германа владел в то время сознанием автора этих двух художественных замыслов.

17 сентября 1864 года Апол. Суслова записывает в своем дневнике о Достоевском: „Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: „ну, вот, представь себе — такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: »Истребить весь город«. Всегда так было на свете.“[3]) Что в этом „всегда так было“ — осуждение или оправдание? Ведь не простое-же примирение с неизбежностью

---

[1]) Письмо Н. Н. Страхову 18—30. IX, 1863. Биогр. I, стр. 261.

[2]) Об этой связи см. мою статью „Игрок“ Достоевского (в свете новых биографических данных) — „Современные Записки“. 1925, XXIV, стр. 372—392

[3]) А. Долинин. Достоевский и Суслова. — Сб. „Достоевский“, II, стр. 210.

Наполеонов, переступающих через „стариков и девочек"; не таков был Достоевский, чтобы просто примиряться с фактом. Не мучил ли тогда уже Достоевского, обдумывавшего и набросавшего на „клочках бумаги" своего „Игрока" и, вероятно, задумавшего уже свою психологическую повесть одного преступления, вопрос о „праве переступить" и не тогда ли раздвоилась одна тема о безумце, решившем „дать щелчок судьбе", на два русла?

По одному руслу — в „Преступлении и Наказании" — пробилась „дикая мысль" исправить судьбу путем устранения с пути ненужной старухи, по другому — столь-же „дикая мысль" — одним поворотом колеса, одной ставкой на удачу — выпрямить и свою личную судьбу и отвоевать у нее свое счастье.

Возможность такого раздвоения сюжета была дана в „Пиковой Даме", к которой, в известной мере, и восходят оба сюжета. Оба героя этих произведений Достоевского — и Раскольников и Алексей Иванович — отравлены идеей. „Дикой мыслью" называет и Достоевский преступную идею Раскольникова. Характерно, что именно в „Игроке" дано поразительное описание этого „самоотравления фантазией" в применении к герою этой повести. Автор записок[1]) говорит здесь:

„Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь за что-то осуществимое . . . мало того: если идея соединится с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее, наконец, за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уж не может не быть и не случиться. Может быть, тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазией или еще что нибудь, — не знаю; но со мною в этот вечер (который я никогда в жизни не позабуду) случилось происшествие чудесное . . .[2])

Но, ведь, „дикой мыслью" назвал Достоевский позже и идею, завладевшую воображением Германа. И не „самоотравление-ли фантазией" влекло пушкинского героя к дому графини и не обнаружил-ли он в достижении своей мечты „необыкновенное усилие воли"? Я уже в своей работе об „Игроке" в другом месте, где меня интересовали главным образом личные отражения в этой повести, говорил, что игра,

---

[1]) Раскольников первоначально рассказал о своем преступлении тоже в записках, см. сохранившуюся 2-ю главу в виде дневника. — „Кр. Арх.", 1924, VII, стр. 150—200. И Герман, после „явления графини": „возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение" (гл. V)

[2]) „Игрок" гл. XIV.

как стихийное начало, захватившее в свой круговорот главных действующих лиц повести Достоевского, вовлекает в свой изничтожающий круг и героев Пушкина. Нельзя не вспомнить, что и сюжетно действие развивается между тремя сходно взятыми лицами:

Графиня — Лиза ↖ ↗ Герман

Бабушка — Полина [1] ↖ ↗ Алексей Иванович

В отличие от сходства между сюжетами „Пиковой Дамы" и „Преступления и Наказания", здесь на первый план выдвинуто, наряду со стихийным началом страсти-игры, отношения между героем и героиней. И тут вступает в свои обычные права отличительная черта творчества Достоевского, уже отмеченная нами ранее. Достоевский, беря в основу пушкинский сюжет, немедленно переосмысливает его, вдвигает в чужой сюжет свою идею. „Я ужасно люблю реализм в искусстве", сказал как-то позже Достоевский, „но у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах . . ." [2]) И пушкинская реалистическая проза могла неудовлетворять Достоевского своей бесстрастностью. В развитии самого сюжета Пушкин давал чувствовать и человеческие страсти и людское горе. Но он редко позволял своим героям проявлять свои страсти и изливать свое горе. Эта внешняя бесстрастность и авторская незаинтересованность была неосуществима для Достоевского. При всем своем преклонении перед Пушкиным Достоевский однажды даже не удержался от прямого его осуждения за его героя Сильвио (из „Выстрела"), этого „родоначальника дурных человечков." [3])

---

[1]) Если бы не автобиографичность „Игрока", героиня которой отражает Аполлинарию Суслову (Полю), то можно было бы отметить, что и имя Полины взято из „Пиковой Дамы". Однако, это дает право предполагать, что Достоевский в данном случае отказался от традиционнаго имени Лизы, дважды им в связи с пушкинскими мотивами использованного (в „Слабом сердце" и „Преступлении и Наказании") в пользу второстепенного персонажа „Пиковой Дамы" под влиянием момента автобиографического. В своей работе об „Игроке" я уже высказывал предположение, что м-р Астлей является лишь творческим развитием пушкинского образа эпизодического англичанина, которому близкий родственник покойной графини во время ее похорон шепнул на ухо, что Герман, „ее побочный сын", на что „англичанин ответил холодно: Oh." Использование таких деталей и их развитие до самостоятельных композиционных частей — обычная манера Достоевского.

[2]) Дн. Пис. 1877 г. III/2.

[3]) Дн. Пис. 1876 г. II 2

Достоевский в „Игроке" примыкает к пушкинской формуле, так ярко высказанной в „Пиковой Даме": „Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место",[1]) но раскрывает он эту формулу по иному. Он вкладывает в сюжет свой нравственный стержень, который отклоняет образ Алексея Ивановича от Германа. Для последнего Лиза была только средством к достижению „дикой мечты", средством узнать тайну трех карт. Пушкин прямо нигде не говорит, что попутно у Германа могло зародиться и чувство любви к Лизе, что в его душе столкнулись две страсти. Только раз „в сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло", когда Лиза прошла мимо него через спальню графини. Однако, именно забвение Лизы привело к трагическому концу Германа. Так по крайней мере можно было понять сюжет Пушкина, и так понял его Достоевский. В „Игроке" он раскрывает именно такое понимание сюжета, отвечавшее его общему идейно-художественному складу.

Алексей Иванович, подобно Герману, страстный игрок. Ведь и Герман „целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры". Все перепитии игры, занимающие целые страницы повести Достоевского, даны в нескольких строчках сна Германа: „ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман". Конечно, Достоевский слишком хорошо, по личному опыту, знал, что такое игорная страсть, и ему здесь не надо было учиться у Пушкина, но нельзя допустить, чтобы по общности сюжета он не вспомнил фантастического героя пушкинской повести, подобно тому, как вспомнил он „Скупого Рыцаря", когда приступал к своей повести.[2]) Для Германа

---

[1]) Пик. Дам., гл. VI. Ср. в „Подростке": „Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят — как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню и всё, что случается, проходит лишь вскользь, мимо главного". (Полн. собр. худ. соч., VIII стр. 81.)

[2]) Письмо к Н. Н. Страхову 18—30 сент. 1863 г. Биогр. I, 261

карты средство **разом** укрепить свою независимость, выйти из того мучительного для его самолюбия состояния бедности, в которое его поставила судьба. Для достижения этой цели он ставит и самоё судьбу свою на карту. Смерть графини, причиной которой явился он, не вызывает в нем угрызений совести. Он совершенно забывает, что другое существо, которому еще недавно он писал страстные письма, доверилось ему и ждет его в своей комнате. Она **сама** призвала его к себе, ночью — готовая для него на все. И в этот страшный для нее миг, он просто не замечает ее. „Герман смотрел на нее молча: сердце его также терзалось; но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его . . . Одно его ужасало: невозвратимая потеря тайны, от которой ожидал обогащения“. Не вспоминает он Лизу и в тот момент, когда, казалось, его мечта уже осуществилась. Наступает развязка — карта Германа оказалась бита.

В „Игроке“, как я уже говорил, Достоевский переосмысливает пушкинский сюжет. Страсть игры призвана у него на службу страсти любви. Выигрыш должен дать ему то, что не дается ему внутренним духовным напряжением. Одним поворотом колеса хочет он выиграть любовь Полины. И в тот момент, когда счастье, о котором он еще недавно и мечтать не смел, оказалось осуществленным, когда Полина **сама** пришла к нему, доверившись его страстным и безумным клятвам, когда она от него ждала **нравственной** поддержки, он поддается „дикой“ мысли и ночью, оставляя ее одну у себя в комнате, бежит в игорный дом и . . . выигрывает огромную сумму денег. „Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе“: страсть игры вытесняет в душе Алексея Ивановича страсть любви; из средства она становится самоцелью. Он вернулся к Полине другим человеком. „Я побежал в свой этаж, говорит Алексей Иванович, и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване перед зажженною свечею, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и, уже конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился перед нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег“ (гл. XIV).

Уже в этот момент судьба Алексея Ивановича была решена. Однако, в ослеплении он еще не понимает, что перед

ним не прежняя гордая Полина, а надломленное существо, пришедшее к нему за защитой. Позже он сам, обдумывая происшедшее, сознается: „правда... я знал, что она в бреду и... не обратил внимания на это обстоятельство.“ В нем тогда была только страсть и не было того, что оправдывает эту страсть — не было любви. У него закружилась голова... и, казалось, мечта жизни осуществилась. Но на утро наступила развязка: Полина швырнула ему в лицо пятьдесят тысяч флоринов и ушла. Так Достоевский в судьбе своего Алексея Ивановича истолковал трагический исход пушкинской „Пиковой Дамы“. Он нашел тот „нравственный центр“, который осмыслил трагедию Германа. Здесь Достоевский сделал по отношению к Герману отчасти то, что сам Пушкин сделал в отношении к гетевскому Фаусту. Фауст, со спокойной совестью перешагнувший через труп Маргариты, был осужден словами Мефистофеля в пушкинской „Сцене из Фауста“:

„На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрассчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит обобранное тело...“

Разница, однако, та, что Достоевский у Пушкина мог вычитать такое понимание смысла „Пиковой Дамы“, а Пушкину пришлось внести свою поправку к „Фаусту“ Гете.[1])

Связь сюжетов „Пиковой Дамы“ и „Игрока“ так понимаемых, объясняет и сходство двух решающих сцен обоих произведений: я имею в виду сцены ночного свидания.

„*Пиковая Дама*“ — Вы чудовище — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти — ответил Герман: пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступило. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечку. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь...

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел...“ (гл. IV).

---

[1]) См. С. В. Завадский „Пушкин в борьбе с великими писателями“ в кн. „День Русской Культуры... в 1925 г.“ Сост. Н. Цуриков, Прага 1926 г., стр. 82.

,,*Игрок.*“ — ,,Голова моя закружилась . . .
Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся; солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как-будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и на деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку; она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный; перед рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так минуты три, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил . . . Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне:

— Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков? . . . Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и рассыпалась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты.“

Нельзя не отметить реалистического вскрытия Достоевским того, что художественно замолчано у Пушкина. Только внимательное чтение пушкинского текста убеждает, что нравственная вина Германа по отношению к Лизе глубже, чем это кажется при беглом чтении. Часы пробили . . . ,,второй час утра“, когда Герман ,,услышал дальний стук кареты“. Лизавета Ивановна его поджидала в своей комнате, ,,погруженная в глубокие размышления“. Такой застал ее Герман. ,,Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами . . . Вдруг дверь отворилась и Герман вошел. Она затрепетала . . .“ Герман ушел из комнаты Лизы, когда уже ,,наступало утро“. Промежуток между ночным приходом Германа и моментом его ухода утром на рассвете Пушкиным заключен между двумя предложениями: ,,она замолчала“ и ,,утро наступало“. Подобным же приемом передает ночную сцену и Достоевский, раскрывая ее содержание более явственным многоточием: ,,Голова моя закружилась . . . Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся . . .“ Но Достоевский не ограничивается этим художественным приемом умолчания, он далее в сцене утра раскрывает смысл происшедшего. Во всяком случае — и Герман и Алексей Иванович воспользовались минутной слабостью доверившихся им женщин и не сумели подняться выше простой страсти. Чувства любви не было ни у того, ни у другого.

Есть еще одна черта, которая сближает ,,кандидата университета“ Алексея Ивановича со студентом Раскольниковым. Оба они пытаются поставить себя ,,по ту сторону морали“. Ими руководит своя надуманная теория, в которой

,,посметь решиться" играет главную роль. Не случайно именно этой формулой Раскольникова кончает свои записки и Алексей Иванович. ,,Во все последнее время", пишет он же, ,,мне как-то ужасно противно было прикладывать поступки и мысли мои к какой-бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною . . ." (гл. I). Подобно Раскольникову. он и после катастрофы остается убежденным в правоте своей теории. С таким же глубоким презрением относится он к людскому суду и уверен, что удача может снова его поднять из той пропасти, куда его толкнула игорная страсть.

,,Я просто сгубил себя! восклицает он. ,,Впрочем, не с чем почти и сравнивать, да и нечего себе мораль читать! Ничего не можеть быть нелепее морали в такое время! О, самодовольные люди: с каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции!... Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что — один оборот колеса и всё изменяется и эти же самые моралисты (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отварачиваться, как теперь. Да наплевать на них на всех! Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить . . ." (гл. XVII).

Так протягиваются нити между двумя героями двух одновременно созревавших замыслов Достоевского. ,,Преступник" — Раскольников и ,,игрок" — Алексей Иванович оба стали жертвой самоотравления своей фантазией. ,,Дикая мысль какого-нибудь Германа" упала на подготовленную почву и ,,укрепилась" еще больше. Так ,,колоссальное лицо" Германа нашло в Достоевском своего неожиданного истолкователя.

6.

Мне хотелось в работе своей проследить зарождение ,,фантастического" героя Достоевского, занимающего исключительное место в русской литературе. После Раскольникова и Алексея Ивановича он не уходит со сцены, но живет дальше в каждом из произведений Достоевского. Вряд-ли нужно следить за его дальнейшей судьбой — она всем хорошо известна. Но его психологию проследить, по моему, необходимо. Обычно ее ведут от странных героев петербургских повестей Гоголя и романтических чудаков Гоффмана. И то и другое мне представляется спорным, несмотря на несомненность литературного влияния на манеру Достоевского

обоих писателей. Родоначальником фантастических героев Достоевского является скорее пушкинский Герман, и этот вывод представляется для меня наиболее ценным в моей работе, если она окажется убедительной в своей фактической части. Самый факт воздействия „Пиковой Дамы“ на творчество Достоевского мне нужен был только для того, чтобы, на него опираясь, сделать убедительной мысль о связи между пушкинским Германом и „фантастическими“ героями Достоевского.

Я пытался установить „момент рождения героя“ в творчестве Достоевского и прикрепил этот момент к „видению на Неве“ приятеля Васи Шумкова-Аркадия Ивановича („Слабое сердце“). Для меня было важно показать, что уже в этот момент образ пушкинского Германа владел сознанием Достоевского. Я не мог пройти мимо господина Прохарчина, в больной фантазии своей дошедшего уже до отождествления себя с Наполеоном и невынесшего этого бремени. В судьбе Раскольникова мне необходимо было выделить все то, что связывало его судьбу с пушкинским Германом, чтобы показать преемственность этих двух фантастических героев самого фантастического города в мире — Петербурга. Наконец, в герое „Игрока“ — Алексее Ивановиче мне хотелось подчеркнуть его духовную связь с Раскольниковым, а эту связь свести к чертам их общего родоначальника — Германа. Для всего этого мне пришлось иногда делать отклонения в сторону от основной темы, но эти отклонения казались мне неизбежными в ходе работы, хотя я и сознаю, что они несколько заслонили собою основную мысль моей работы.

Представляется мне существенной и одна из побочных тем моего исследования — в о п р о с о х а р а к т е р е л и т е р а т у р н о г о в о з д е й с т в и я П у ш к и н а н а Д о с т о е в с к о г о. Поэтому позволю себе еще раз формулировать тот вывод, к которому я пришел на основании анализа влияния „Пиковой Дамы“ на творчество Достоевского. Примыкая к сюжетным и идейным положениям Пушкина, Достоевский претворил их в своем творчестве, переосмысливая пушкинские мотивы в направлении их психологического заострения и драматического усиления. При этом по свойству своего таланта, он выделил в пушкинских сюжетах „идейный центр“, давая таким образом своему произведению определенную идейную установку.

Если этот вывод, сделанный на основании лишь одного тематического влияния Пушкина удалось бы в будущем распространить и на другие случаи влияния на Достоевского, то мы вскрыли бы весьма интересную и ценную особенность творчества Достоевского. Но для этого нужны еще дальнейшие изыскания.

30. XI. 1927 — 16. I. 1929.

А. Бем.

„Записки из подполья“ среди публицистики Достоевского.[1])

(Окончание.)

Кроме самого подпольного героя, в ,,Записках“ есть и еще лица.

Что касается Симонова, Зверкова, Ферфичкина и Трудолюбова, их назначение в общей концепции очевидно. Они нужны, как подставные лица действия, где могли бы обнаружиться нужные черты самого героя. В тех маленьких характеристиках, которые им даются (с. 73—75), отмечается их незначительность, ничтожество, а главное, совершенное отсутствие какого бы то ни была уважения к ним со стороны самого героя. Это и понятно, почему именно так и должно быть. Чем ничтожнее перед ним были люди, мнение которых он так старался покорить, тем суетнее были его самолюбивые домогательства получить признание тех, кого он совершенно не ценил, и в том, что он сам ценным нисколько не считал. Этим ярче обнаруживалось коренное свойство его самоутверждения, именно его беспринципность, интерес лишь к самой бахроме самолюбия, к импонирующему торжеству над другими, в чем бы это торжество ни проявилось. Критерий личной внутренней самооценки здесь совершенно отсутствовал. Это и подчеркивается ничтожеством (в его же собственных глазах) тех, ненужное внимание которых он так старался покорить. Дальше этого раскрытие этих действующих лиц, очевидно, было не нужно.

Но вот — Лиза. Она присутствует в ,,Записках“ не только, как предмет покорения и злости героя, на ней не только раскрываются его черты, но она внутренно с ним сопоставляется, индивидуально оттеняет его внутреннее существо и как раз в том качестве, которое для него является центральным.

Есть в описании первой встречи их один эпизод, который, ни в какой степени не относясь к самому герою и его психо-

---

[1]) Нач. см. „Slavia“, VIII, кн. I, стр. 101—117.

логии, в общем развитии событий стоит особняком, но в тематической диалектике целого осуществляет собою чрезвычайно важную функцию.

После ночного разговора, когда герой уже уходил, Лиза у дверей остановила его и через минуту принесла письмо к ней „какого-то медицинского студента“, содержащее „чрезвычайно почтительное объяснение в любви к ней“. Автором тщательно описывается, с каким выражением лица она подала его ему, с каким чувством рассказывала ему о встрече с этим студентом и как трепетно ждала его отзыва на этот для нее счастливый факт. Несчастная, придавленная ужасом своего положения, Лиза вспомнила о письме и, убегая за ним, „вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка“. Вернулась „со взглядом, как будто просившим прощения за что-то“ . . . „Взгляд ее теперь был просящий, мягкий, и вместе с тем доверчивый, ласковый, добрый. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят“. Протянула она ему бумажку с лицом, просиявшим „самым наивным, почти детским торжеством“. „Когда он дочитал письмо, то встретил горячий любопытный и детски нетерпеливый взгляд ее на себе.“ Она ждала, что он скажет. Историю встречи со студентом рассказала наскоро, „но как-то радостно и как будто гордясь“. „Кончив, она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза.“ А далее сам рассказчик, в пояснение к тому, прибавляет несколько слов от себя: „Бедненькая она хранила письмо этого студента, как драгоценность, и сбегала за этой единственной драгоценностью, не желая, чтобы я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно . . . Я уверен, что она всю жизнь его хранила бы, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтобы наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтобы я видел, чтоб и я похвалил“ (с. 124—125).

Таким образом, Лиза так же чутка к своему достоинству, ее так же влечет „погордиться“ перед человеком, так же она трепещет в ожидании его отзыва, чувство собственной личности в ней так же горит и ищет признания. Но на этом сходство кончается. Чем гордится Лиза? Она, сознавая себя бесконечно низко павшей и бесконечно страдавшая своим падением (это происходило сейчас же после разговора, после ее страш-

ных рыданий о себе), защищает себя перед своим пламенным идеалом чистоты, т. е. перед тем, какою она хотела бы быть, но от чего ощущала себя бесконечно далекой. Она надеется, что еще не совсем лишена радости хоть несколько приблизиться к этому идеалу, что и она еще может быть любимой „честно и искренне“, что и ее могут уважать, но сама же волнуется и боится за свою надежду, болит собою и ищет прощения и подтверждения себя в душе того, кто увидел ее муку, проник в ее ужас и только что сейчас звал к тому, перед чем у неё самой робким восторгом дрожит сердце. Лиза гордится тем, что для нее является залогом уважения к себе, веры в себя, утверждения себя в той конечной инстанции идеала, перед которым она благоговеет и на приближение к которому сама, по сознанию своей недостаточности, еще не совсем верит. Гордясь и радуясь, она о т д а е т с е б я на суд того, кто — надеется она — поймет ее, найдет достойной, простит (т. е. полюбит и такую, недостойную) и тем засвидетельствует ей самой её личную стоимость и право на уважение к себе. Здесь искание чужого одобрения есть выражение собственной неуверенности перед судом своей совести и желание получить облегчающую санкцию (утверждение) себя душой другого. Здесь нет отъединенности, разобщенности с человеком, нет самоупоения, нет стремления к превосходствованию над другим, нет претензии к исключительности, к моральному подавлению собою другого лица.

Лиза не соревнует. Самолюбие ее не в том, чтобы склонить перевес личной внушаемости на свою сторону. Когда она *хочет быть любимой,* она обращена к мысли, усмотрит ли, признает ли в ней человек ту стоимость, которой она жаждет, и боится за это признание. Признание ей нужно не потому, что в нем ей „покоряется“ человек (как это было бы, если бы она соревновала), а лишь потому, что для нее признание, любовь другого, является залогом своей стоимости перед своим же идеалом. Это и подчеркнуто в выражении лица Лизы: „взгляд, как будто, п р о с и л п р о щ е н и я за что-то“; „так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого просят“; „стыдливо опустила свои сверкавшие глаза“ и пр.

И тогда, *когда она любит,* она тоже без соревнования духовно о т д а е т с е б я любимому. Она видит лишь то, что она любит, перед чем преклоняется в человеке, не замечает его самолюбия, если оно есть. В данном случае, из оскорбительной

злобной тирады героя поняв лишь его страдание, она в проявлении своего чувства, не боится своей покорности перед его страданием. При этом, кто кому из них импонирует (кто выше, кто ниже), она этого не видит.

А это, последнее, как раз выдвинуто у подпольного героя. Он не может простить подозреваемого им преобладания и у любящего его и у любимого им. У любящей его Лизы, *когда она его жалеет*, он подозревает мысль о превосходстве над ним, страдающим, предполагает, что она жалостью своею внутренно превозносится над ним („героиня-то теперь она, а не я“ и пр.). *Когда он сам жалеет* Лизу, он подозревает, что она, слушая его выражения жалости и сочувствия, гордится перед ним тем, что она несчастна („Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова* говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе „жалких слов“ захотелось“, с. 143). Ни того, ни другого подозреваемого им превосходства над собою он простить не может.

В этой самолюбивой скованности живого чувства, в отсутствии непосредственной нравственной силы и состоит отрыв героя от подлинной, должной жизни, которую он называет „*живой жизнью*“: „Как мог, спрашивает он себя, „не полюбить или, по крайней мере, не оценить этой любви“ [любви Лизы А. С.]? И отвечает: „любить у меня значило тиранствовать, нравственно превосходствовать“ . . . „Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, *до того от „живой жизни“ отвык*, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне „жалкие слова“ слушать; а не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом“ (с. 149).

Этим сопоставлением подпольного героя с Лизой и выключением его из „живой жизни“ указывается, *результатом чего* явилась вся его духовная неустроенность, его незнание, на чем остановить себя, где искать необходимого и должного, что любить, к чему стремиться, вообще весь тупик отчаяния и самооболганности, в котором он оказался. Вся болезнь героя здесь окончательно обозначена, как отрыв от непосредственных **нравственных** источников жизни.

Усмотреть в „Записках из подполья" отречение от гуманистического идеала, провозглашение крайнего индивидуализма, отрицание *всяких* идеалов — никак невозможно. Если здесь отвергается „хрустальное здание" в том понимании, какое ему здесь дано, то, ведь, такое здание никогда и „не наполняло умилением и восторгом душу Достоевского", как это по недоразумению написал Л. Шестов. Этические нормы Достоевский вносил и в свои социалистические идеалы (Фурье, Луи Блан, Ламмене, Кабе, Пьер Леру, Жорж Санд) и теперь отрицание „хрустального дворца" направлено исключительно на его рационалистические основы. „Шиллер" (кстати, совершенно не упоминаемый в „Записках"), „гуманность", „поэзия Некрасова", „прекрасное и высокое", „Жорж Зандовские тонкости" подвергаются иронии и сарказму лишь со стороны героя подполья, да и тот в таких случаях саркастический яд изливает больше на себя (на самолюбование в „прекрасном и высоком"), а не на существо тех идеальных ценностей, которые под этими словами разумеются. Пафос Достоевского на стороне героя присутствует только до тех пор, пока защищается сила и значение индивидуального самосознания от рационалистических теорий, которые нивелируют и устраняют индивидуальность. Эту индивидуальность, волевую самостоятельность, Достоевский отстаивает, как необходимое свойство подлинной любви, где, в противоположность принципам пользы и выгоды, самоотдание и сближение между людьми осуществляется, по его пониманию, в свободе от всякой сторонней принудительности.

Нет здесь и отказа от идеала счастливого устроения человечества. Речь идет лишь о неприятии за идеал того, что выдается за идеал рационалистическими теориями. Но даже и у героя подполья оставлена сама жажда идеала, искание его, и только лишенный моральной опоры, он, по мысли автора, не может его найти: „Я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда его не хотелось высовывать" и пр. (с. 44).

Диалектическая концепция „Записок", в сущности, есть не что иное, как *доказательство от противного.* Автор выключает из психики человека то, потребность и необходимость чего ему нужно доказать, и затем, доводя до конца внутреннюю диалектику тех начал, при которых личность оставлена, приводит ее к краху, отчаянию, отказу от жизни.

В таком приеме скомпонованы все отрицатели и ,,бунтовщики“ его романов: Раскольников, Свидригайлов, Ипполит, Ставрогин, Кириллов, Крафт, Иван Карамазов. Все эти лица разнятся между собою предметами их дерзаний, а, главное, степенью колебания между наличностью (хотя и ,,затемненной“) или совершенным отсутствием тех природных нравственных начал, которые в себе они носят и которые в себе борят.

Особенно близка диалектическая концепция ,,Записок из подполья“ к известному вымышленному письму ,,логического“ самоубийцы, которое Достоевский, под заглавием ,,Приговор“, напечатал в Дневнике Писателя за 1876 год.[1])

В свое время на многих ,,Приговор“ произвел впечатление обратное тому, которое предполагалось Достоевским. Логика самоубийцы была принята сама по себе, как таковая, как поощрение самоубийства. Оказалось надобным разъяснить смысл ,,Приговора“ в его выводах, и Достоевский приписал к нему ,,нравоучение“ (,,Запоздавшее нравоучение“. ,,Голословное утверждение“. ,,Дневник Писателя“, 1876, декабрь, I, II, III).[2])

Отчасти то же произошло с ,,Записками из подполья“, хотя ,,нравоучение“ на этот раз присутствует вместе и рядом с отрицанием, на протяжении почти всего произведения. Логическая линия здесь та же, что в ,,Приговоре“.

Оставьте человека одного — говорит ,,Записками из подполья“ Достоевский — *с одним сознанием и самолюбием,* отнимите живую непосредственность добра, замутите нравственные источники сердца, и он запутается в себе самом, не будет знать, что желать, за что взяться, куда идти (подп. человек в целом). Доведите до конца логику мысли, взгляните на несомненную независимость индивидуальной воли от доводов рассудка, проникнитесь силой неутоленной жажды самостоятельности (,,самая выгодная выгода“), попробуйте устроить счастье такого человека на одних доводах благоразумия и выгоды (,,хрустальный дворец“) — и вы увидите, что в рамки разумности человека не включить, что он может желать себе и неразумного и даже обязательно пожелает неразумного, ,,зазнамо“, ,,нарочно“ пожелает (,,со злости“, на зло), если этим благоразумием очень допекать будут и наперед всю обязательность его поступков предскажут и распишут, пожелает себе заведомо вредного и не-

[1]) Собр. сочин. Изд. ,,Просвещение“, том XX, стр. 329—332.
[2]) Собр. Сочин., том XX, стр. 395—402.

выгодного, лишь бы сделать поступок своим, а не навязанным („самая выгодная выгода"). Если устраивать человека *идеально,* нужно оставить ему всю свободу личного самоопределения, вплоть до всякого каприза и произвола, потому что без этого он удовлетворен и счастлив не будет („не дворец, а курятник"). Попробуйте убедить его неизбежностью и необходимостью примириться с таким ограниченным благополучием, разъясните ему, что иначе, как только так нельзя устроиться („невозможность", „каменная стена", „законы природы"), его это не убедит, не успокоит, ограничение останется ограничением, страдать от этого он не перестанет, как голодный не перестанет хотеть есть, как бы он ни понимал всю невозможность насытиться („хоть и законы природы, а все таки обидно"). Такой идеал, где ему нужно будет принудительно мириться на компромиссах, насильственно приглушать свои желания, он не примет за идеал, т. е. за конец своих стремлений, откажется и попрежнему останется без пути и выхода („инерция"). Бессильный преодолеть жизнь, но оскорбленный нарушением, попранием своей личности, он ради утоления своей самостоятельности оградится от мира внутренним бунтом, злобой, лишь бы не примириться с навязанным ему руслом покорности („не примирюсь с ней [со стеною А. С.] потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило"). Ради того, чтобы заявить свою волю, человек с проклятием пойдет наперекор требованиям натуры, кинется на добровольное страдание с тем, чтобы в сознании себя обиженным, раздавленным, но не покорившимся, ощутить сладость своей самостоятельности („наслаждение обидой и унижением"). — Но отстаивая свою самостоятельность, самозаконность, такой человек не будет иметь своего закона (беспринципность). Всегда жаждущий высоты и утверждения своей стоимости, он, лишенный внутренних нравственных критериев, не будет знать, за что себя ценить, что в себе уважать, на чем себя утвердить. И зашатается он в хаосе желаний, чужих взглядов, случайных положений, в единственной погоне, чтобы не отдать себя в преобладание чужому тщеславию („виляние", поведение на проводах Зверкова и под.). Во имя чего он мог бы пренебречь умалением себя в сознании другого? Ему нужна только своя неподчиненность, свое господство, в чем бы оно ни проявлялось. И снижения своей личности он не перенесет ни от

того, кого он презирает (Ферфичкин, Зверков и К°), ни от того, кого он мог бы жалеть и любить (Лиза). От презренного тем тяжелей ему снести обиду превосходства, потому что этого превосходства совсем нет („шушера“), а у того, у кого превосходство действительно есть, оно ему еще обиднее: он не может простить никакого преобладания над собою (история с Лизой). И вот, всегда соревнующий, завистливый, чтобы защитить себя от снижения в сознании *всякого* чужого „я“, он, не имея своего знания о должной ценности, схватится за все средства, утверждая себя, перестанет быть собою, возведет на себя ложь, лишь бы не допустить снижения себя в мнении другого (самооболганность в поведении героя). Но сам же и усумнится, сам же увидит тщету своей лжи и возненавидит себя, проклянет себя в жгучей тоске недовольства самим собою (эпизод с Лизой, финал „Записок“). — Этому противопоставлено стихийное влечение к любви, желание любить и быть любимым. Только в живом бескорыстном сердечном единении с человеком, во взаимном прощении и приятии может найти себе радость и успокоение всегда слабый и интимно несчастный человек (см. открытое непосредственное сознание своей недостаточности и жажда прощения у Лизы и подавленное самолюбием влечение к тому же у подпольного человека). Только в следовании непосредственным порывам неискоренимой иррационалной потребности любить, жалеть и быть любимым осуществляется „живая жизнь“ (подпольный человек, в противоположность Лизе, вне „живой жизни“). — Такова логическая связь мыслей, составляющих собою идеологическое содержание „Записок из подполья“.

III.

„Записки из подполья“ среди публицистики „Времени“ и „Эпохи“.

„Записки из подполья“ были напечатаны в журнале „Эпоха“ в 1—2 и 4 кн. за 1864 год. 1—2 книга „Эпохи“ вышла из печати 24 марта 1864 года.[1]) Книжка 4-ая вышла в начале июня этого же года.[2]) Имеются основания предполагать, что „Записки“ писались и отделывались в первой части незадолго до

[1]) Цензурное разрешение дано 20 марта. 24 марта 1864 года в „СПБ. Ведомостях“ было напечатано объявление о выходе этой книги.

[2]) Цензурное разрешение дано 3 июня.

выхода 1—2 кн., а во второй части в ближайшие месяцы перед выходом 4-ой книжки.

После закрытия „Времени“ новому журналу Достоевского позволено было выходить с января 1864 года. Объявление об издании „Эпохи“ появилось в СПБ. Ведомостях только 31 января 1864 года. Достоевский был очень озабочен наибольшим блеском, значительностью и идеологической яркостъю первых книжек. Нужно было дать впечатление, зарекомендовать новый журнал. Но болезнь жены заставила его выехать в Москву, оторваться от непосредственной редакционной работы и предоставить главную заботу о составлении книжек брату Михаилу Михаиловичу. Сохранился ряд писем, где Достоевский, волнуясь за участь и успех книжек, высказывает брату всяческие советы и опасения. Здесь же находим сведения и о том, что сам Достоевский готовил и имел в виду поместить в этих книжках журнала.

Первое письмо к брату, дошедшее до нас, помечено 9 февраля 1864 года. О собственных литературных занятиях Достоевского находим следующее. Он заболел, „через это работа остановилась совершенно“. „Не можешь представить, пишет он дальше, сколько мучений я вытерпел от мысли, что к 1-м книгам моего ничего не будет. Но нечего делать; надо, наконец, в этом сознаться“ . . . „Достань, голубчик, хоть что-нибудь, не жалей материалу. Я же к марту. Не скрою от тебя, что и писание мое худо шло. Повесть вдруг мне начала не нравиться. Да и я сам там сплошал. Что будет, не знаю“. „Никогда не прощу себе, что раньше не успел кончить. Вся-то повесть дрянь, да и та не поспела: это значит записался. И вышло не то. Мнителен я ужасно стал.“[1])

Таким образом, 9 го февраля у Достоевского еще ничего не было готового, что он мог бы послать брату для первых книжек. Он пишет какую-то „повесть“ и она у него очень худо идет.

Второе письмо этого времени уже 29-го февраля. Здесь о его литературных работах и намерениях имеется: „Выдумал еще великолепную статью на теоретизм и фантастизм теоретиков („Современник“). Она не уйдет, особенно, если они нас затронут. Будет не полемика, а дело. С завтрашнего же дня сажусь за статью о Костомарове“. О „повести“ нет ни слова.[2])

---

[1]) „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевкого“ СПБ. 1883, отдел писем, стр. 141.

[2]) Там же, стр. 142—143.

Следующее письмо было от 26 марта. Но о нем скажем ниже.

За этим письмом следует письмо от 2-го апреля 1864 года. Статью о Костомарове Достоевский уступил Аверкиеву. Теперь он пишет „повесть". „Повесть растягивается. Иногда мечтается мне, что будет дрянь, но однако же пишу я с жаром; не знаю, что выйдет. Но все-таки в том дело, что она потребует много времени. Если я хоть половину напишу, то вышло для набора; но напечатать я ее хочу всю, sine qua non. „Здесь же в конце письма: „В повести моей наверно три листа будет, а может и больше, может и четыре".[1]) Очевидно, речь идет о чем то другом, а никак не о „Записках из подполья". Первая часть „Записок" уже напечатана (в уже вышедшей 1—2 книге), здесь же Достоевский почти не надеется выслать и „половину набора". Но может быть, речь идет о второй части „Записок"?

В письме 5-го апреля, Достоевский хоть и обещает „повесть" к апрельской книжке, но здесь же и просит: „если напишешь, что *за нужду* можно обойтись и без повести, то я ее отложу".[2])

В письме от 9-го апреля Достоевский о „повести" пишет: „Повесть, кажется, не кончится . . .", „повесть растягивается". „Будет вещь сильная и откровенная; будет правда. Хоть и дурно будет, пожалуй, но эффект произведет" и пр.[3]) Могут ли эти слова относиться к „Запискам из подполья", по крайней мере, ко второй их части, которая еще не напечатана? Нет, не могут.

Это ясно из следующего письма — от 13 апреля 1864 года. Здесь Достоевский пишет: „Повесть растягивается" . . ., „разделяется на три главы" . . . „2-ая глава находится в хаосе, 3-я еще не начиналась, а *1-я отделывается*. Если напишешь, чтоб я присылал *одну I главу* — я пришлю. Напиши же непременно. Пожертвовать такими пустяками я еще могу, и пришлю главу".[4]) Таким образом, речь здесь идет о повести, которая печатанием еще не начиналась, тогда как „Записки из подполья" в первой части уже были напечатаны. Следовательно, эта „повесть" никак не может быть „Записками из подполья". К тому же, о них в этом письме есть *особое упоминание* в другом месте письма, независимо от неизвестной „повести": „Обещай, что в будущем номере *наверно* будет про-

---

[1]) Там же, стр. 144—145.
[2]) Там же, стр. 147; подчеркнуто Достоевским.
[3]) Там же, стр. 151.
[4]) Там же, стр. 153.

должение „Подполья“.[1]) Очевидно, Достоевский вместе с окончанием „Записок“ усиленно работал над какою-то другою повестью (м. б., „Игрок“). Но эта вещь у него к этому времени так и осталась не доработанной.

В последнем из писем из Москвы брату от 15 апреля Достоевский уведомляет: „Повесть теперь во всяком случае *(даже и начала* не могу прислать“.[2])

Теперь отметим письмо от 26 марта. Мы его выделили особо, потому что оно важно во многих отношениях. Во первых здесь „Записки из подполья“ названы статьей; это дает основание предполагать связь между „Записками“ и той статьей „на теоретизм и фантастизм теоретиков“, о которой писал Достоевский о письме от 29 февраля.[3]) Во вторых, здесь Достоевским определенно названа тенденция „Записок“. В третьих, здесь обозначено, что эта тенденция в рукописном тексте была выражена Достоевским еще ярче, чем это оказалось в печатном тексте „Эпохи“. Письмо это было написано Достоевским после полученія 1—2 книги „Эпохи“, где была напечатана первая часть „Записок“ — „Подполье“. Достоевский, делая замечания об удовлетворительности книжки, между прочим пишет: „Пожалуюсь и за мою статью: опечатки ужасные, и уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем напечатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противореча самой себе.[4]) Но что делать! С . . . и цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал *для виду* — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры во Христа — то запрещено“.[5])

* * *

---

[1]) Там же, стр. 154. Подчеркнуто Достоевским.

[2]) Там же, стр. 158; в скобках слова Достоевского; подчеркнуто мною. А. С. Долининым в статье „Достоевский и Суслова“ („Достоевский. Статьи и материалы, под ред. А. С. Долинина. Лнгр. 1925, с. 160—161) отождествляется „повесть“, о которой говорит Д-й в письмах 2-го, 9-го и 13 апреля, с „Записками из подполья“, очевидно, по недосмотру. — Та же ошибка в отношении письма от 13 апреля в статье В. Комаровича; см. тот же сборник, стр. 67.

[3]) В то время было принято называть статьями и беллетристические вещи.

[4]) „Дело идет о первой части „Записок из подполья“. Примечание Н. Н. Страхова. Иной статьи Достоевского в этом номере „Эпохи“ нет. А. С.

[5]) „Биография, письма“ и пр. Отдел „Материалов“ . . . Воспоминания Н. Страхова, с. 271. — Текст „Записок“ по изданиям, за вычетом немногих мелких стилистических отличий, тождественен.

В каком же соотношении „Записки“ находятся с тем, чем особенно был занят Достоевский в эту пору, т. е. с его публицистикой? Сличение „Записок“ с журнальными статьями „Времени“ и „Эпохи“ дает прекрасную иллюстрацию к характеристике общих приемов Д-го в художественном воплощении его идей. Известный момент идей и мнений Д-ий берет в крайних диалектически завершонных формах и на этой основе *в индивидуально-интимном плане* проектирует конечный результат данного настроения. То же и в „Записках“.

Герой подполья воплощает в себе конечные результаты „оторванности от почвы“ как она рисовалась Достоевскому.

Публицистика „Времени“ и „Эпохи“ большая и малопочатая тема. Но здесь нам достаточно указать на самые общие, руководящие линии.[1]) — Русское образованное общество находится в полной духовной неустойчивости. Принципы, стремления, вкусы, все окончательно перепуталось. „В наше время все запуталось . . . повсеместно возникает спор об основаниях и принципах“.[2]) „Все более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас по совести знает теперь, что зло и что добро. Все обратилось в спорный пункт и всякий толкует и учит по своему“.[3]) „В чем мы наиболее ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы бы тотчас же согласились и в том, что у нас есть не хорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества“.[4])

До сих пор русский образованный класс жил „на помочах“ Европы. Мы разучились думать, разучились чувствовать по своему, разучились сознавать себя. Мы „все еще сидим на европейских учебниках“.[5]) Мы „унеслись на воздух и от-

[1]) Далее в изложении взглядов Д-го мы намеренно пользовались его собственными, наиболее обобщенными формулами, чтобы этим избежать упрека в перетолковании.

[2]) Объявление о подписке на журнал „Время“ 1863 г., № 9.

[3]) Объявление о подписке на журнал „Эпоха“ 1865 года. — „Эпоха“, 1864 г., № 8.

[4]) Там же, Ср. „Всякий, всякий должен делать теперь и, главное, попасть на здравый смысл . . . Слишком у нас перепутались в обществе понятия. Недоумение наступило какое-то“. Из письма Д-го Страхову. Париж 26 июня (8 июля) 1862 года. „Биография . . . письма“, с. 241.

[5]) Объявление о подписке на журнал „Время“ 1862 года. „Время“ 1861 г. № 9.

казались чуть ли не от самой почвы".[1]) ,,Мы прикидываем наш аршинчик с заранее готовым взглядом".[2]) ,,Мы и русскую-то нашу землю любим как-то условно, по книжному".[3]) Мы ищем ,,общей формулы", хотим ,,обратить человека в стертый пятиалтынный".[4]) Нас заражает теоретизм, „кабинетное, рассудочное решение вопросов". Мы отказываемся от живого человека, отрезываем его естественные желания и потребности в угоду теорий.[5]) Мы остаемся ,,в недоумении перед фактами нашей национальной жизни, не зная, как отнестись к ним, т. е. и за общечеловеческие наши убеждения боясь и неотразимый факт проглядеть боясь — сбиваясь и путаясь и на всякий случай наблюдая благоразумное виляние туда и сюда".[6]) Мы белоручки. ,,Трудов мы не любим".[7]) — Мы изъедены фразерством, пустыми словами о должном, высоком и благородном, но этим лишь себя тешим, собою любуемся. ,,Да с, мы теперь совершенно утешились. Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато мы сами до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило на нас глядя".[8]) ,,Либерализмом и прогрессизмом все равно, что торговали у нас в последнее время". В так называемых ,,гражданских слезах" наших всего больше самолюбования и внешней моды".[9]) — ,,Зато самолюбия, желчи, в нас накопилась бездна; немудрено: — сидячая жизнь".[10]) ,,Фразерство, эгоизм, самодовольство и самолюбие" у нас дошли уже ,,до пожертвования и истиной".[11])

---

[1]) Там же.
[2]) Там же.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Ср. сатиру в наставлениях Щедродарову от ред. ,,Современник": ,,. . . Люди глупы, не умеют разглядеть, в чем их настоящая выгода . . ., живут сами по себе, наобум, по своей воле, а не по умным книжкам, и таким образом бедны, разъединены" и пр. ,,Госп. Щедрин или раскол в нигилистах", ,,Эпоха", 1864, № 5, с. 282. Ср. также слова Щедродарова о предварительном параличе способностей организма . . . ,,Эпоха", № 5, стр. 288—289.
[6]) Объявление о подписке на ,,Эпоху" 1865 г.
[7]) Там же.
[8]) ,,Зимние заметки" . . .
[9]) См. ,,Бунт Щедродарова", Эпоха, 1864, № 5, с. 287—288. Ср. ,,кнутик рутинного либерализма", Объявление о подписке на журнал ,,Время" 1863 г.
[10]) Объявление о подписке на журнал ,,Время" 1862 г.
[11]) Там же. Ср.: ,,Ему (Щедродарову) кроме себя все равно, и следовательно только польстить его тщеславию, и он на все будет согласен" Эпоха, 1864, № 5, с. 278—279, ,,У него совершенно беспредметная, беспричинная злость, злость для злости . . . Злость, в которой он сам ничего не понимает". Там же, с. 273.

Но что такое Европа, куда мы тянемся? „Западная наука и жизнь доросли только до личного права на собственность“.[1]) Там всюду (в Лондоне, в Париже) „упорная, глухая и уже застарелая борьба на смерть всеобще западного личного начала с необходимостью, хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обращение в антропофаги“.[2]) Ради этой цели отрекаются от высших потребностей духа, приглушается человеческая природа. В Лондоне, как и в Париже, Достоевский замечает „отчаянное стремление с отчаяния остановиться на statu quo, вырвать с мясом у себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, м. б., у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу“.[3]) „Все это замечается сознательно только в душе передовых сознающих, да бессознательно, инстинктивно в жизненных отправлениях всей массы“.[4]) Те, мысли и чувства которых не поднимаются до сознания катастрофичности такого положения, спокойны и даже удовлетворены. „Буржуа в Париже сознательно почти очень доволен и уверен, что все так и следует“. Все стараются себя уверить, что идеал достигнут, что уже окончательно наступил „рай земной“, и все таки боятся, в тайне чувствуют, что кое-что в настоящем нужно прикрыть, позабыть, не замечать. Живут без мысли. „Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму“. — Потеря нравственного чувства здесь полная. Во всем господствует „начало единичное, личное, беспрерывно обособляющееся“. Здесь даже „братство“ хотят построить на „выгоде“, т. е. опять-таки одно личное начало выставляют. Кроме собственнических личных претензий, „ко всему равнодушие, мимолетные, пустые интересы“. Все то, что есть там внешне „добродетельного“, „благородного“, это лишь „обрядная форма отношений“, или самолюбующаяся „игра“, „подделка под чувство“. Для парижанина большею частью все равно, что настоящая любовь, что

---

[1]) Объявление о журнале „Эпоха“ на 1865 год.
[2]) „Зимние заметки“ . . .,
[3]) Там же.
[4]) Там же.

хорошая подделка под любовь". Где-то в уголках души сохранилось уважение и тяготение к непосредственности, к чистым чувствам. Но все это здесь превратилось в забаву, живет лишь в верхнем наружном слое жизни. „Неизъяснимое благородство" существует лишь, как декоративное украшение, предмет „красноречия". „Поболтать позволяется" (речи в парламенте, речи в суде и пр.). Парижанин любит соединиться avec la nature, „и особенно любит, если на него „кто нибудь в это время смотрит". На сцене, в театре тоже очень много „высокого красноречия". „Благородство" здесь куражится, заносится, презрительно плюется, и, должно быть, в этом праве плеваться находит свое последнее увенчание („Гюстав презрительно смеется . . . объявляет, что все люди подлецы, недостойны его кисти" и пр.) „Гюстав, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль" и пр.[1])

Нельзя не видеть, что все эти черты: замутнение нравственных источников, инстинкты индивидуалистической замкнутости, внешнее самолюбующееся „неизъяснимое благородство" — все это как раз те самые мотивы, которые легли в основу концепции „героя подполья", как художественного персонажа. Это вовсе не значит, что Достоевский всю массу „оторвавшихся" представлял в виде подпольного героя, чтобы он его считал типичным выразителем „оторванности" в ее общераспространенном виде. Его герой, по его словам, „повиднее обыкновенного".[2]) Но здесь отличия не качественного, а больше количественного порядка.

Там нет того решительного и окончательного чувства безысходности, нет призыва „к инерции", есть какая-то деятельность, люди о чем-то хлопочут, в каждый данный момент на что-то надеются, во что-то будто бы верят („хрустальный дворец", например), устраивают „комитеты", много, правда, говорят без толку, без подлинного понимания вещей (с его точки зрения), но выносят какие-то решения, суетятся и что-то будто бы делают. Но все это лишь по их непоследовательности, все потому, что в исходных началах своих они останавливаются на полдороге, не видят концов и в своей практике припутывают к ним то, что, собственно, к ним не отно-

[1]) Всюду слова в кавычках взяты из „Зимних заметок".
[2]) См. примечание Д-го к заглавию первой части „Записок".

сится. У них „ум какой-то коротенький, как будто отрывками“, и думают они „готовыми мыслями“ („ужасно много запасено готовых понятий, словно дров на зиму“). Они не понимают себя. Правда, и из них многие внутри себя не спокойны, они чувствуют, что они не там и делают не то, их не покидает тревога, они „совестливо тоскуют о своей бесполезности“ (Чацкий — „Зимние заметки“ . . .; Базаров, там же.), „чего-то ищут“, жадно ждут, что вот кто-то придет и „рассеет беспредметную тоску и усталость“ (там же). Но и это бывает лишь с теми, кто поумнее и поглубже. Об остальных „заботиться нечего“, эти крепко верят в „чужие помочи“ и живут „книжками“, совсем без своей головы и сердца, противоречат себе ежеминутно, „виляют“, и ни в чем не отдают себе отчета.

То же и в самолюбии. Они сами не знают, как они самолюбивы, как они всегда сосредоточены на себе, на своем „я“. Они наивно уверены, что в этих красноречивых рассуждениях о „гуманности“, о „любви к народу“, о „долге гражданина“, в их реторических „гражданских слезах“, во всем их „рутинном либерализме“ — ужасно много „прекрасного и высокого“. Но ведь это одни слова. Ведь, главное для них здесь не в том, что вот делается что-то прекрасное, а в том, что они сами так „прекрасны“ и „неизъяснимо благородны“. Прекрасное им нужно, чтобы только себя утешать, на свою красоту посмотреть. А на подлинное настоящее самоотречение, живое служение человеку их уже не хватает. Там действительно нужно поступиться собою и может быть и на грязную работу пойти, а главное, достоинство и благолепие европейское потерять — это уже свыше их сил. „Дело“ все больше ограничивается словами и „мечтами“.

Достоевский над такой самоутешающейся „добродетелью“ иронизировал еще в 1861 году в „Сновидениях в стихах и в прозе“. Весь этот фельетон построен на контрастах подлинной нужды и страдания с фразеологическими самоутешениями тех, кто „соболезнует“ („Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит например о философии, об искусстве . . . и вообще про добродетель“ и пр.). [1]) Эти „соболезнующие“ здесь так и названы „мечтателями“. Фельетон заканчивается стихотворением „мечтателя — прогрессиста“:

---

[1]) „Петербургские сновидения в стихах и прозе“, „Русская мысль“ 1916 г., январь, с. 120.

„Мы в наслаждениях скромны
За ближних мы стоим горою
Но, чтя Вольтера и Руссо
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо", и пр.[1])

Но многие подобные „мечтатели" до того „наивны", до того уверены в добродетельности своих чувств, что так всю жизнь проживут и не увидят, что они своим прекраснодушием только себя тешили, своему самолюбию угождали и на подмостках „героев" разыгрывали. (Впоследствии, в „Бесах" из такого понимания прекраснодушия 40-х годов вырос образ Степана Трофимовича Верховенского и Кармазинова).

Но кроме „наивности", их отличает от героя подполья более *легкая примиримость* с обстоятельствами, с непреложностью данной действительности. „Самолюбия, желчи" и здесь „накопилась бездна", но в том-то и дело, что они не ко всему восприимчивы и потому и злость их умереннее, скромнее, короче по захвату, диапазоном уже. Это о них сказано в „Записках", когда речь шла о пасующей покорности перед „каменной стеной". Перед „невозможностью" они „смиряются", „стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное".

По отношению к такому беззлобию и успокоенности перед неизбежностью находим иронию в тех же „Сновидениях в стихах и в прозе". „Бедность, конечно, факт . . . ну положим так — исключительный, спорить не будем. Ведь есть же богатые и до-

---

[1]) Там же, стр. 124—125. — Для Достоевского „мечтательство" всегда имеет нечто привлекательное, зовущее (его герои „искатели" всегда в юношестве восторженные „мечтатели"), но это лишь до тех пор, пока оно содержит в себе залоги и признаки внутренних порывов к лучшему идеальному миру. Юношеской мечтой удовлетворяется жажда собственной полноты, святости и чистоты. („Не было минут в моей жизни полнее и чище" — говорил Достоевский о себе в „Сновидениях в стихах и прозе", с. 109). Но если мечтатель остается лишь в самом себе, в одних грезах, без выхода к жизни, Достоевский уже осуждает его, как праздность, самолюбование, лень, преступное пренебрежение к действительной жизни. Пафос мечтательства в „Белых ночах" заканчивается признанием „преступности" такого отрыва от жизни (такая жизнь есть „преступление", сочин. том II, с. 334). То же и в „Сновидениях в стихах и в прозе". Мечтательству своему Д-ий здесь противопоставляет поворот к жизни, к живым „титулярным советникам", к загадкам души живого реального человека. Проведя читателя через ряд картинок о живом неоправданном человеческом страдании, Д-ий кончает фельетон определенной иронией и насмешкой над теми, кто так мало задумывается и скоро примиряется с живыми вопиющими противоречиями жизни, кто так легко утешается речами и статьями „про добродетель"; мысль фельетона окончательно договаривается стихотворением, несколько стихов из которого мы привели выше.

статочные люди . . . Ведь у нас чрезвычайно все это странно; *по неизвестному какому-то закону делается*, а должен же быть закон — ведь по *закону же действует природа* и живет человек. А между тем *всетаки странно*“ . . . „*Но все-таки невыносимо* . . . Но . . . успокоимся; к чему совершенно бесполезные вопросы. Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть все богато; общество не может быть без случайных несчастий . . . Если б все были — ну хоть только богаты; то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели . . . не правда ли. Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов“ (с. 118—119).

Для тех, кого „законы природы“ „успокаивают“, многих обид, от которых коробился герой подполья, совсем не существует и не потому, что бы они были так кротки, а просто потому, что *перед „каменной стеной“ у них моральная восприимчивость совсем прекращается*, здесь у них уже совсем не болит. Завистливые, тщеславные, берегущие себя, они, в сущности, легко поступаются собою, не добровольно, не по любви, а по трусости, т. е. рабски отступая перед силою обстоятельств и невозможностью. Но они, опять таки „по наивности“, „обманывая самих себя“, свою „трусость“ за благоразумие принимают. Обиды жизни для гордой личности и от природы и от людей бесчисленны и неустранимы („всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб . . . Если случится кому из них похрабриться над чем нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается; все равно перед другим сбрендит“. „Зап. из подп.“, с. 53), и если эти самолюбцы их не чувствуют и не оскорбляются и не протестуют и не страдают (не „бунтуют“, не „злятся“), так это не потому, что они свободно, своей волей, принимают свою долю, а лишь по рабской успокоенности („тупости“) перед „стеною“.

Герой подполья, это — „беспочвенник“, выпрямленный, последовательно *проведенный до конца* и осознавший себя: „Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее . . . Ведь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь“ чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше“ . . . „Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь, и что оно такое, как называется. Оставьте нас одних без книжки, и мы тотчас запутаемся, по-

теряемся — не будем знать, куда примкнуть, чего придерживаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать . . .“ „Что собственно до меня касается, то ведь я только *доводил*, в моей жизни *до крайности* то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя“ (Записки из подполья, с. 153—154).

Во внутреннем шатании, в незнании, куда направить себя, в бессилии найти опору для своих стремлений, он не останавливается на компромиссной полдороге, потому и приходит к провозглашению „инерции“. Беспредельно чуткий ко всяким нарушениям внутренних требований личной самостоятельности, он бесконечно страдает от „обид“ жизни, и, предоставленный самолюбию, не способный простить, он не знаеть уступчивости, оскорбляется рабской зависимостью от всего, что противостоит ему и обезволивает его. Поэтому его напряженная злоба („*тщательная* злоба“, „Зап. из подп.“, с. 153) развивается безмерно дальше, глубже и шире. Его жажда одобрения, признания своей личности, и в то же время *внутренняя беспринципность* в оценке самого себя и своего поведения — проведены с завершающей последовательностью. Он не „наивен“. Что для других скрыто в подсознательном, он видит в себе и знает. Поэтому он видит свою ложь, виляние и притворство, и сам оскорбляется ею, как новым проявлением внутренней зависимости от того, от кого он защищал себя своей ложью.

Поэтому же он и мечтательному самолюбованию не может отдаться с тою безмятежностью, как те, не столь „развитые“. Он и здесь не может не язвить над собою. Вскрывая истинное существо своих самолюбивых претензий, он видит тщеславный корень фальшивого „неизъяснимого благородства“, и этим сам в себе носит свой суд. Это „фразер“, но прозревший фразер, осознавший утеху самолюбия, ради которого говорится цветистая фраза. Это его отличает от французского Гюстава и от русского „самолюбующегося рутинного либерализма“, — хотя внутреннее существо их остается (для автора) одним и тем же.[1]) Герой Достоевского знает свое ничтожество и бесцветность,

[1]) Ср. его иронию „О если бы я ничего не делал только из лени (т. е. не из за „излишка сознания“ А. С.)! Господи, как бы я тогда себя уважал“ . . . „Я бы себе тогда выбрал карьеру: был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, *сочувствующий всему прекрасному и высокому*“, и пр. . . . с. 22—23.

бесполезную пустоту своей жизни, в глубине еще не совсем угасшей совести он тоскует и осуждает свою ненужность и нравственное распадение, но, „отвыкший от живого" (153), *бессильный любить,* иным стать не может.

За *вычетом выпрямленности, крайней последовательности* и *конечной осознанности* герой подполья является для Достоевского одним из тех „лишних людей", о коих он писал в „Объявлении Эпохи" на 1865 г.: „Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих лишних людей'. Разумеется, мы говорим только об избранных из ,лишних людей' (потому что и между ,лишними' людьми есть избранные); бездарность же и до сих пор в себя верит и, досадно, не замечает как уступает она дорогу новым, неведомым здоровым русским силам, вызываемым, наконец, к жизни" . . .[1])

Наш вывод, таким образом, сливается с примечанием, которое Достоевский поместил под заглавием „Записок из подполья": „И автор ,Записок' и самые ,Записки' разумеется вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, *повиднее обыкновенного,* один из характеров протекшего недавнего времени. Это один из представителей еще доживающего поколения".

Что касается последней завершающей идеи „Записок", то она находится в полном соответствии со славянофильскими представлениями о „народной правде". В публицистике Достоевского европейскому „личному", „гордому", но „слепому" началу неизменно противопоставляются начала „русской народности", „русская почва". И эти „спасительные", „русские", „народные" силы заключаются для него как раз именно в том, что в „Записках" присуще Лизе. Ее непосредственное понимание „добра", ее способность к живому самоотданию и любовному порыву, ее сознание собственной греховности и незатем-

[1]) Скобки Достоевского. — О нарождении „нового здорового" поколения ср. в „Зимних заметках": „И знаете ли что: я вот уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился", Сочин., IV, с. 433. В данном случае „новым здоровым" поколением Д-й считал, разумеется, не представителей радикализма „Современника" и „Русского Слова".

ненная свежая совесть — должны были воплощать в себе тот свет истины, который Достоевский усматривал в ,,народе". Лиза всецело укладывается в определения, которые Достоевский давал своему понятию о ,,народной правде".

,,Признак же настоящего русского теперь, это — знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, *а любить уметь* . . . Потому что, кто *способен любить* и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси — тот уже знает, что и хулить ему надо; *знает* безошибочно и чего *пожелать*, что осудить, о чем сетовать и *чего домогаться ему надо*".[1]) Народ не путается в различении добра и зла, и не европейская ,,всесторонняя цивилизация" ,,нас этому научит", а именно ,,народ" (у Фонвизина само собою сказалось: ,,когда надо было правду сказать, ее всетаки сказала не Софья, а бригадирша", простая ,,дура"; ,,благовоспитанная Софья в своей оранжерейной чувствительности сбрендила перед простой бабой". ,,Зимн. заметки" . . .).

Здесь же, среди публицистических страниц находим отчетливую формулу идеальной полноты личного самосознания, как его понимал Достоевский. От индивидуальной самоценности и здесь Достоевский не отказывается, наоборот и здесь защищает ту же ,,самостоятельность" и личное достоинство, и так же, как в ,,Записках из подполья", наиболее высоким состоянием личного самосознания считает способность личности к добровольному самоотданию. ,,Что ж скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по моему, признак *высочайшего развития личности*, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли . . . Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью . . . ничего не может сделать другого из своей личности, т. е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными

---

[1]) Объявление ,,Эпоха" на 1865 г.

и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормального человека“. [1])

Мы видели, что это тяготение к самоотданию в „Записках“ настойчиво выдвигалось не только в Лизе, но и в подпольном герое. Источником его трагедии как раз является нарушение этого „закона“.

Таким образом, никаких оснований к выделению „Записок“ из общей системы мировоззрения Достоевского этого времени нет. Никакого отказа от прежних гуманистических идейных ценностей в них усмотреть нельзя.

С „Записками из подполья“, правда, Достоевский выходит на новый этап своего творчества. Но это новое заключалось не в смене его конечных идеологических тяготений, а в усложнении и обогащении художественно диалектического кругозора, в утончении логических контроверсий. Формально это выразилось в окончательном превращении психологической художественной типологии в типологию социально-идеологическую. В раннем творчестве Достоевский оставался в пределах общих и характерных для того времени исключительно психологических характеристик. В выборе и трактовке типов, конечно, сказывались оценочные симпатии и интересы автора, его общее понимание людей и отношение к жизни, но рисунок „типа“ останавливался почти исключительно на психологических контурах, не поднимаясь к проблемам мировоззрения, как идейной системы. Тогда „тип“ интересовал особенностями и оригинальностью только психологического склада, теперь „тип“ является носителем не только определенной психологии, но и связанной с нею идеологии. „Записками из подполья“, „Преступлением и наказанием“ Достоевский вошел в сферу борьбы идей своего времени. Разработка идей идет на психологической базе, в интимно-индивидуальном плане. Оценка своих и чужих идеологических устремлений у Достоевского всегда исходит из пони-

---

[1]) Ср.: „. . . Чем выше будет сознание и самоощущение своего собственного лица, тем выше и наслаждение жертвовать собой и всей своей личностью из любви к человечеству. Здесь человек, пренебрегающий своими правами, возносящийся над ними, принимает какой-то божественный образ, несравнимо высший образа всесветного, хотя бы и гуманного кредитора, благоразумно, хотя бы и гуманно занимающегося всю свою жизнь определением того, что мое и что твое“. Слова эти взяты из редакционного примечания к одному из мест статьи Ник. Соловьева „Теория пользы и выгоды“, „Эпоха“, 1864, № 11, с. 13. Примечание подписано „Ред.“, и несомненно принадлежит Ф. М. Достоевскому.

мания психики человека. Факты души служат для него критерием для идеологического прогноза. От этого прежний психологический рисунок, не теряя своей остроты и детальности, но, наоборот, еще более усложняясь и утончаясь, все же систематизируется иначе, получая новую функцию иллюстрирующего и аргументирующего материала к оценке борющихся идей и мнений. В этом отношении „Записки", действительно, обозначают собою начало нового этапа. Здесь даны основные элементы его художественно-диалектических приемов, здесь же обозначился и тот главный центр, около которого всегда будет концентрироваться общий кругозор его идейной диалектики.

Что касается самого существа его идейных утверждений — они остались прежними, приняв лишь страстный характер ярко выраженной полемической диалектики.

Нельзя оставить без внимания и того обстоятельства, что в сороковых годах призывы к „гуманности" *всюду* разливались свободным, уверенным потоком. Теперь, в шестидесятых годах, в новых материалистических и рационалистических теориях „пользы" и „выгоды", принципы любви, свободного расположения человека к человеку, в проектах устроения общественной жизни совсем вычеркивались или отводились на далекий, задний план. Достоевский страстно держится за прежнюю веру. Задачи защиты своей веры и опровержения её врагов, несомненно, уже сами по себе должны были сообщать новому творчеству Достоевского и формы его диалектического построения и страстный полемический пафос.[1])

---

[1]) „Записки из подполья" считают ответом Достоевского на роман Чернышевского „Что делать?" Впервые на это указал Н. Л. Бродский („Чернышевский и его читатели 60-х годов". „Вестник Воспитания", 1914 г. № 9. В развернутом виде эта мысль представлена в статье В. Комаровича „Мировая гармония" Достоевского („Атеней", № 1—2, 1924 г., стр. 122—130). Скорее всего, действительно, роман Чернышевского побудил Достоевского высказать свои мысли просторнее и острее. Однако уже в „Зимних заметках" Достоевский знает и „теорию выгоды" и „кристальный дворец". Очевидно, эти идеи занимали его и раньше появления в печати романа „Что делать?" Кроме того, что Достоевскому была известна эта точка зрения непосредственно из западноевропейских источников, заметим, что главные мысли романа „Что делать?" Чернышевским были высказаны еще в 1860 году. См. его „Антропологический принцип в философии", напеч. в журнале „Современник" за 1860 год, № 4—5, а также его статью „Процесс Менильмонтанского семейства", напеч. в „Современнике" этого же года, № 5. Об отношении романа Чернышевского „Что делать?" к его публицистике см. некоторые замечания в нашей статье: „Роман »Что делать?« его внутренний состав и общественное воздействие". Сборник „Н. Г. Чернышевский". Изд. Нижневолжского Общества Краеведения. 1925 г.

IV.

Элементы эмпирической личности Достоевского в „Записках из подполья“.

Несомненно, Достоевский и сам в себе, в своей эмпирической личности, многое носил из того ада, который воплощен в герое из подполья. Безмерное самолюбие, подозрительность, болезненная обидчивость, острая чуткость к чужому самолюбию, вспышки злобы за свою недостаточность — все это в нем было.[1])

Известно также, сколько в Достоевском было доброты, непосредственной сердечности, широкого, щедрого великодушия и живого пламенного общественного энтузиазма. Об этом тоже свидетельствует вся его биография.[2])

Вся жизнь его и мысли его пронизаны борьбою этих двух противоположных стихий, одинаково сказывающихся в больших и малых тревогах, и в суетных мелочах обыденности и в вопросах его социального и общего метафизического мировоззрения. Но эту борьбу нельзя представлять в смысле столкновения двух враждебных, но одинаково равноценных начал. В его сознании, в сердце его, в воле его последнего ,,я“,

---

[1]) Н. Страхов в известном письме к Л. Толстому 28 ноября 1883 г. Д-го прямо сближает с героем из подполья. Ср. О. Миллер ,,Материалы к биографии Достоевского“ с. 44, 46, 56, 62, 65, 66 и др. (о ,,самолюбии“ Д-го); С. Д. Яновский ,,Воспоминания о Достоевском“ ,,Русский Вестник“, 1885, IV, с. 819: ,,беспримерное самолюбие“; Н. А. Некрасов ,,Каменное сердце“: Глажиевский-Достоевский; А. Скандин ,,Ф. М. Достоевский в Семипалатинске“ ,,Ист. Вестник“, 1903, I (,,угрюмость“); С. Брайловский ,,Достоевский в Омской каторге и поляки“. ,,Ист. Вестник“, 1908, IV; Н. Фон-Фохт ,,К биографии Достоевского“. ,,Ист. Вестник“, 1901, XII, с. 1026: ,,злобный свет в глазах“; о ,,странностях“, вспышках, резкостях Д-го говорят почти каждые воспоминания о нем; см., например, Вс. Соловьев, ,,Ист. В.“, 1881, III, IV; ,,Дневник Е. А. Штакеншнейдер“ ,,Голос Минувшего“, 1916, № 2; ,,Воспоминания Н. И. Янжул“, вып. 2, с. 25—26; и др.

[2]) Не говоря о других, ненужно забывать, что тот же Н. Страхов, самый жестокий его ,,судья“ (см. известное и часто цитируемое его письмо Л. Толстому 28. XI. 1883 г.), писал тому же Л. Толстому и тоже в частном, интимном письме: ,,Чувство ужасной пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось полПетербурга, или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим, и то глубокое уважение, мы друг к другу чувствовали, не смотря на глубокие размолвки, было для меня, как я вижу, безконечно дорого“ (Толстовский Музей“, том II. Переписка Л. Толстого с Н. Страховым, СПб. 1914, с. 266. Письмо Страхова, 3. II. 1881 г.). Ср. ответ Вл. Соловьева на укоры Н. Страхова (Письмо В. Соловьева Н. Страхову 2. III. 1884. ,,Письма В. Соловьева“, т. I, СПб. 1908, с. 17).

одна сторона в каком-то смысле была бесконечно ниже другой, и всегда осуждалась и противостояла, как предмет должного преодоления, другая же, противоположная стихия — любовь, самоотдание, приятие человека и жизни — возносилась, как конечный призыв и идеал. Толчки личной стихии Достоевский в себе очень сознавал, и, главное, всегда их судил, борол в себе, каялся и никогда их не оправдывал. Одно в нем жило как бы насильно, без его воли, одолевало его, и всякое впадение в эту стихию им переживалось как попустительство, как недолжное. Другое, наоборот, предстояло как святое и желанное.

Сознавая в себе ,,неограниченное самолюбие и честолюбие", он жалуется на это брату, как на ,,ужасный порок".[1]) Он ненавидит в себе демона, который мешает ему быть ,,добрым".[2]) Его письма к близким полны жалоб на свой ,,дурной характер".[3]) Мы уже не говорим о его идеологических высказываниях в письмах к друзьям или в редакции журналов, где печатались его романы. Здесь Достоевский всегда обнаруживает полную определенность своих тяготений к правде ,,добра".[4]) Очевидно, в какой-то глубоко-интимной, последней и решающей точке своего индивидуального самосознания Достоевский был один и тот же, и в свете этого последнего конечного самоощущения одному началу в себе говорил ,,да", другому ,,нет".[5])

Понимая глубины и восторги возносящегося самоутверждения и зная всю силу индивидуалистических влечений (,,воли

---

[1]) Письмо брату 1 апр. 1846 г. ,,Биография" . . . Письма, с. 46. — Ср.: ,,Самолюбие — хорошая вещь, но по моему его нужно иметь только для главных целей, для того, что сам поставил себе целью и назначением жизни. А прочее все вздор." Из письма к Ш. (Штакеншнейдер), 3 мая 1860 года. ,,Биография" . . . Приложения, с. 116.

[2]) ,,Я за тебя и за твоих — пишет он брату — готов жизнь отдать, но иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты". (Письмо брату нач. 1847 года. Там же, с. 62—63). — Ср. из письма Н. Д. Фонвизиной (март, 1854 года): ,,Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаешь все это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. Я это испытал" (Сборник ,,В помощь голодающим". Москва, 1892, с. 389).

[3]) См., например, письмо брату 17 сентября 1846 г. ,,Биография". Письма, с. 51. — Ему же нач. 1847 г. Там же, с. 62. — Письмо А. Е. Врангелю 23 марта 1856 г. А. Е. Врангель ,,Восп. о Достоевском в Сибири" СПБ. 1912, с. 143.

[4]) См. упоминаемое выше письмо Н. Д. Фонвизиной, позднее письма Страхову, Майкову, Н. А. Любимову и др.

[5]) Вспомним здесь элементарную истину: совпадение в свойствах персонажа с личными качествами автора не может быть показателем авторских мнений и симпатий. В противном случае мы должы были бы признать, что Гоголь образом Хлестакова защищает хлестаковщину.

к власти“), Достоевский в своем творчестве никогда не был апологетом индивидуализма, никогда не звал к нему. Индивидуальная самососредоточенность, неспособность к любовному самоотданию и прощению, всякое противопоставление себя миру, отсечение себя от общего — всегда в конечных результатах представлялось ему как ужас, пустота и отчаяние.

Никто с такою силою, как это было у Достоевского, не сознавал себя личностью не только перед людьми, но и перед миром, никто в такой степени не чувствовал оскорбительной поверженности личной воли перед бестрастием и косностью природы. Но никогда бунт требующей личности не возводился им в конечный героизм. Достоевский знает и любит пафос личного своеволия, восторг индивидуальной самозаконности, но это лишь до тех пор, пока ему нужно сказатъ о глубине и ценности личного самосознания в человеке. Из глубины личного самосознания, по его пониманию, вырастает потребность быть любимым, и конечный, предельный героизм личного саамообладания для него заключается не в утверждении себя, как единственной ценности, а в добровольном, самозаконном отдании себя, в добровольном признании над собою иных внутренне обязывающих начал.

Эгоистическая „воля к власти“ в этом случае осознается, как всякий иной инстинкт, слепая стихия, над которою должна возвыситься иная, высшая самоцарственность личного „я“.[1])

Другое дело, насколько в себе самом, во всей эмпирии личной жизни, Достоевский достигал этого идеала, но стремился и звал человечество он всегда сюда.

В этом отношении и „Записки из подполья“ не составляют исключения.[2])

---

[1]) Ср. с этим известны споры славянофилов и западников о сущности »внутренней свободы«, слова И. Киреевского или Хомякова о »внутренней целостности духа«, о »независимом сердце«, о »смирении свободном« и пр. — и упреки к ним со стороны западников в недостаточности и неясности разграничения »свободы« и »смирения«.

[2]) В. В. Починковская (Т-ва) в воспоминаниях о Достоевском („Историческ. Вестник“, 1904, № 2) передает слова, сказанные ей Достоевским о „Записках“: „Es ist schon überwundener Standpunkt“. — Если Починковская запомнила и записала слова Достоевкого вполне точно (воспоминания относятся к 1873 г., а изданы в 1904 году), то такое заявление Достоевского вызывает вопрос, какое „преодоление“ он здесь имел в виду. Этот вопрос может быть разрешен только путем сопоставления идеологического состава „Записок“ с его дальнейшим творчеством. Здесь мы считаем возможным сказать, что этическая точка зрения в основе всех романов Достоевского сохраняется одна и та же и именно та, которая определенно

Достоевский здесь обрушился на „беспочвенников“ за то, что он в себе больше всего ненавидел, а в них это его приводило в еще больше негодование, потому что, (как ему казалось) они не замечали на себе густой шелухи мелкого тщеславия, да еще похваливали себя за „добродетель“. Кроме того, сам он понимал (опять-таки, как ему казалось) их тупик, они же по непониманию остановились на середине этой дороги, зовут сюда других, не отдавая отчета в том, где они стоят и куда идут. В образе героя подполья, во первых, захвачена обывательская, житейская полоса самолюбия, именно „тщеславие“, в тесном смысле слова: с тщеславия здесь сдернута вся видимость, какую оно на себя навлекает, и этим обнаруживается его подлинная отвратительность, неэстетичность („все черты анти-героя“ Зап. из подп., с. 153). — Во вторых, в герое подполья срединность обывательских тщеславных переживаний завершена картиной тех же стремлений и состояний в их *предельном* углубленном развитии. Личность поставлена лицом не только к людям, но и к миру (к „законам природы“). Этим указывается на неминуемый конфликт личных стремлений с законами природы, т. е. на ту трагедию, которую „они“, стоящие на полдороге, не видят, но зовут к ней. Наконец, в третьих, все это дано в полной осознанности и безиллюзорности для той личности, которая в этом „капкане“ оказалась. Этим обнажается страдание, которого „они“ не предусматривают.

Таким образом, герой подполья в ближайших генетических корнях является выражением представлений Достоевского о психологической сущности духовного сдвига, который он усматривал в „беспочвенниках“ (в предельной осознанности и завершённости), и понимание которого он проектировал на основах некоторых выделенных и гипертрофированных свойств собственной психики. „Записки“ же в целом выражают миро-

присутствует в „Записках“. Изменения в развитии мировоззрения Достоевского происходили лишь в смысле расширения и углубления одних и тех же утверждений: о силе чувства индивидуальной самоценности и о потребности индивидуально свободного самоотдания, т. е. любовного единения человека с людьми и всем миром. На это опирается вся его „философия“ и социально-политическая и религиозная. Ср. нашу статью о романе „Идиот“. Сб. „Творческий путь Достоевского“, под. ред. Бродского, с. 131—185. — Что касается авторитетности непосредственных высказываний самого Д-го о „Записках из подполья“, то, конечно, в этом случае мы должны поставить на первое место его собственные слова в упомянутом выше письме Н. Страхову 26 марта 1864 года.

воззрение Достоевского (этого времени) в его отрицаниях и утверждениях.

Отсюда уже должны идти дальнейшие генетические разыскания в глубь всех исторических влияний, социальных и литературно-идеологических, под которыми складывалось миросозерцание Достоевского. Но эта задача уже выходит за пределы вопроса, поставленного в заглавии этой статьи.

»Зима 1925—1926 года«.

А. Скафтымов.

Fantazje Mitologiczne.

Kronikarzom niemieckim i duńskim zawdzięczamy jedyne wiadomości o Słowianach nad Odrą i Łabą, ale wśród ich złota wiele i szychu. Żaden z nich nie umiał po słowiańsku, nie umieli pisać imion słowiańskich i mylnie je tłumaczyli; żaden z nich nie spoufalił się z światem słowiańskim, więc zewnętrznych jego objawów nie zrozumiał nieraz; nakoniec bywało sumienie literackie średniowieczne tak przestrone, że nigdy nie zawahało się przed byle wymysłem, aby nim okrasić rzecz albo stworzyć pozory, że autor coś wie nowego. Parę przykładów, najpierw dla pisowni.

Zawsze rozbijają Niemcy zbitki słowiańskie niepotrzebnemi samogłoskami, niby jak Załabianie sami *tari* zamiast *tri*, *zagly* zamiast *zgły* mówili. A więc do dziś jest *Köpenick* pod Berlinem, niegdyś stolica Jaksy, ale na jego monetach widać poprawne *Copnic* (raz nawet *Coptnic*, ależ z tego nie wynika, by to *Kopytnikiem* odczytać z p. Gumowskim, Slavia Occidentalis VI i VII; to błąd prosty); nazywają szczep słowiański *Koledici*, ależ to tylko *Kołdici* od *Kołda* (staropolskie = *kłoda*); piszą *Gdańsk* i *Gniezdno Giddanisk* i *Gnezdun* (naiwni myśleli, że tu jery pierwotne ocalały!), nawet *Zitarigroda* zamiast *Starogroda*; *wethenici* Thietmarowi są więc *wietnicy*; *narochenici* nie jacyś niesłychani *naroczeńcy*, lecz zwykli *narocznicy* itd.; ile samogłosek Widukind w osławionych *Licicaviki* od siebie dodał, nie powiem; — *mysł* jest zawsze — *musel* itp. a *Sławomir Sclagamarus*. O herezjach, jakie co do syczących wszelakich wyprawiają, szkoda i wspominać; jednem słowem, chaos tu straszny.

Tłumaczą dalej fałszywie, np. Thietmar, co jeszcze najwięcej rozpytywał, po słowiańsku nie umiał, więc przetłumaczył *Medeburu* (Mägdeborn dzisiejsze), przez ,mel prohibe', chociaż to »Mittenwalde«, polskie *Międzybór* (*medzuborje*); *Belbuck* pomorskie przetłumaczyli jako *bel bog*, chociaż tam nie o bogu, ale o boku mowa (*Białobok*, jak *Ołobok, Jüterbock* itd.); podobnie pięknie *Pasewalk* przetłumaczyli, jakby mowa była o wilku (zamiast o włoce!) itd.

Z wymysłów fantastycznych przytoczę tylko jeden, na który się niżej przyjdzie powołać. Jak wiadomo, opisał Thietmar najdokładniej

boga Zuarasici i jego światynię w urbs Riedigost in pago Riedirierun (te trzy *r* na jego rachunek wpiszemy); on stoi (dii *stant manufacti*), gród sam tricornis tres in se continens portas. Ten opis powtórzył Adam z Bremy, ale wydał mu się zbyt skromny, więc drewnianego stojącego boga odmienił na simulacrum eius auro, lectus ostro paratus i zełgał w żywe oczy, bo wiemy, że bogi słowiańskie zawsze stały (Świętowit i i.), nigdy nie leżały; dalej z trzech bram zrobił dziewięć, bo mu to do cytatu z Eneidy lepiej przypadało; zato zapomniał nazwę boga i wstawił Riedogost, nazwę grodu, za boga a z nazwy Retharii urobił nazwę grodu Rethre; jego brednie powtórzył Helmold i Annalista Sakso dosłownie i odtąd hulają po bożym świecie jakiś bóg Radigost i jakiś gród Rethra, oba tylko z kreacji Adamowej i jeszcze Schuchardt, co świątynię nakoniec odszukał, swoję rozprawę o tem fałszywie »Rethra« nadpisał. Radigost albo Gostirad jest najpospolitsze nomen proprium, aleź nomina propria ludzkie nie bywają boskiemi, tylko odwrotnie bywa! (theofora). Adam nic niewiedział nowego o już zniszczonej świątyni, okradł Thietmara i ufryzował go ładniej; tamci dwaj jego znowu odpisali, bo nic już o tem sami nie wiedzieli; »Radigast deus terre Obotritorum« u Helmolda jest tylko konsekwencją godną wymysłu Adamowego a jedno i drugie świadczy najfatalniej o jego sumieniu literackiem. Od podobnych wymysłów roi się później a ludzie biorą to za dobrą monetę, np. że Lubeka się Bukowcem nazywała, aleź wedle tego samego źródła i Mykelborg od Słowianina Mikela nazwano.

Helmold siedział dziesiątki lat między Słowianami, lecz nie umiał nawet nazwiska swej parafji Bosowe (nie wiem co to jest, ‚Byszewo‘ czy co?) po ludzku wypisać, zato uraczył nas słowiańskim dualizmem, bo napisał: »sub nomine deorum boni scilicet atque mali... omnem prosperam fortunam a bono deo, adversam a malo... unde etiam malum deum sua lingua djabol sive zcerneboch id est nigrum deum appellant«. Pytamy zaraz, a jakżeż nazywał się u nich ten bonus deus? Dlaczegoż Helmold tylko djabła nazwał? Przyczyna jasna.

Dwieście pięćdziesiąt lat kładli misjonarze Słowianom nadłabskim w uszy, że wasza wiara djabelska; pokazywali im tego djabła na minjaturach kodeksów liturgicznych i kazali go malować na ścianach kościołów, rozsianych licznie nad i za Łabą; składali każde nieszczęście, głód, pożary, choroby na tego czarnego djabła (bo może tak pysk smoczy mu malowali) a skutek ich wiekowej pracy był ten, że Słowianie uwierzyli istotnie, nie w Boga, zato w djabła; tę nazwę, jedyną, od chrześcjan przyjęli; wszystko złe na djabła zło-

żyli; ta nazwą była pierwotna, czarny bóg jest tylko objaśnieniem, może wcale nie od koloru, lecz od właściwości? Całe szczęście, że Helmold, nie żenując się jawnej cechy chrześciańskiej, djabła zostawił; gdyby był tylko czarnego boga wymienił, rzecz by bardzo utrudnił; tak wiemy, zkąd się wziął; kto i jak Helmolda w ten błąd ubrał, to obojętne. Kult Słowian był kultem przyrody i przodków, a tam miejsca dla dualizmu niema i żadne inne świadectwo dawne nic a nic o tem nie wie. Więc moglibyśmy to położyć na ów karb niewiedzy o Słowiaństwie, którą Thietmar zdradził, twierdząc, że Słowianie »cum morte temporali omnia putant finiri«, gdy my przeciwnie wiemy, jak sobie Słowianie życie zagrobowe przedstawiali. Machnęliśmy dawno ręką i na Helmolda i na tych, co za nim o dualizmie słowiańskim (nawet o panowaniu w przyrodzie to »bogów«, to »biesów«) fantazjowali, od Hanusza aż do Kreka, ale oto uczony tej miary, co prof. Jan *Peisker* dawny błąd do nowego wywołał życia.

Z znaną nam z dawniejszej publikacji niemieckiej tezą o dualizmie słowiańskim, o której V. Tille sprawę zdawał, wystąpił J. Peisker w publikacji kroackiej: *Koje su vjere bili stari Sloveni prije krštenja?* Iz rukopisa preveo Dr. Ivo Pilar, »Starohrvatska Prosvjeta N. S. II« Zagreb 1928, 36 str.; odbitce dodano entuzjastyczne odezwanie się Dr. Milana Šufflay, z Obzora 1928 r., Otkriće velike tajne slavenskog poganstva. Nowy tekst wobec dawnego niemieckiego znacznie rozszerzony i pogłębiony, więc tylko o nim mówimy.

Autor wychodzi od nazw gór i skał Twarog, Djevin skok i i.; góry Twarog znalazł w dolnej Styrji: jeden gród Twaroch (1309), Twarog (1322), am Twaroger (1448) i drugi: Tbaraschitzberg (r. 1480), Weraschperg (1524) — widocznie Swarog i Swarożic, bo twaróg niemiałoby sensu. Złączył on z tem scenerję z Czech, pod Wysznim Brodem, na prawym brzegu Wełtawy, Strašidelnik niegdyś, dziś Teufelsmauer, a na lewym jej brzegu u stóp Kienbergu wieś Woraschne, zepsute z słowieńsk. Twarożna (góra); podanie głosi, że djabeł chciał przeszkodzić budowie klasztoru, więc taszczył skały, aby bieg Wełtawy zamknąć, ale nim ostatnią skałę nawlókł, zapiał kogut i cała tama się rozsypała: podanie, jakie krąży o podobnych zakusach djabelskich po całym chrześcjańskim świecie. Wedle autora tu dualizm odźwierciedlony wyraźnie: djabeł szturmuje za niebytności słońca na siedzibę Twaroga (pod Kienberg), ale w ostatniej chwili wraca słońce i wroga tłumi; kogut jest poseł słońca. Tak powstaje szemat podobnych miejsc świętych: góra słońca, rzeka, za nią skała djabła i tensam szemat odnalazł autor

jeszcze trzydzieście jeden razy. Niestety tylko szemat, ale nigdy więcej odpowiednich nazw, bo wszystkie niemieckie Himmel i Hölle, Koboldenstock itd., nic z Słowianstwem i jego wiarą nie mają spólnego, są najzwyklejsze chrzescjanskie podania lokalne a taksamo i wszystkie słowianskie, w których o żadnym Twarogu czy Swarogu ani o Czarnym Bogu nic nigdy nikt nie słyszał; tę fatalną dla jego teorji lukę zapełnia autor kombinacjami. Np. wiemy, że Swiętowit miał swego białego konia, więc to bóg jasny, dobry, ale Trzygłów w Szczecinie miał czarnego konia, więc to bóg zły, ciemności. Niestety, na to niema zgody; Trzygłów był w Szczecinie tem samem, co Swiętowit w Arkonie i maść konska zalezy tylko od przypadku (jak np. w wierze dawnych Prusów) a nie od przyrody najwyższego boga. Przypatržymž się dla dokładności kilku dalszym »szematom« z liczby tych trzydziestudwu.

Oto np. u Kaszubów pomorskich u Główczyc jest szemat taki: Fichtberg, niegdys była tu swiątynia Czarnego Boga — potok — spadek stromy, niegdyś świątynia Białego Boga, dziś kościoł parafialny; tu więc role pomienione, bo zwykle djabeł na prawej, Bóg na lewej stronie od potoka stawali; ludzie o tych bogach i ich koniach opowiadają, budowali też kościoł na Fichtbergu, ale co w dzień zbudowali, nocą djabeł jako mocniejszy rozrzucił, więc słabszego boga po prawej stronie czcili! Ale skądżeż dowiedzieli się Główczyczanie o Czarnym i Białym Bogu? O to prof. Peisker nie pytał; więc za niego odpowiem, że dowiedzieli się o nich z kalendarzy od swich nauczycieli wiejskich; to tradycja literacka, przenigdy ludowa. I zrobił autor z Główczyczan czcicieli djabła, heretyków dualizmu, ale ten kult djabła rozwinął się wedle niego widocznie później dopiero; przedtem było inaczej, miejsca kultu powymieniano, więc możemy odwrócić dzisiejszy szemat i umieścić białego boga na Fichtbergu, a czarnego na prawym brzegu. Takim sposobem i wilk syty i koza cała. Ależ to tylko u Chrześcjan bogu kościoł a djabłu obok karczmę stawiają; u pogan nie słyszałem nigdy o takiej tolerancji.

Jeszcze gorzej ma się rzecz z szematem numeru 13, bo tu jest wprawdzie ów klasztor Belbuk, Belbog nad Regą, ale niestety po drugiej stronie rzeki niema śladu o jakimś przybytku djabelskim, więc nie pozostaje nic prócz pobożnej nadziei, że się kiedyś odnajdzie. Z pewnością się znajdzie, jeśli kiedyś niemiecki tekst rozprawy Peiskerowej do Belbuku dotrze. Nr. 12, to znana scenerja z Budziszyna; góra Běloboh, potok Elsbach, Čornak (Čornobóh); nazwy ocalały do niedawna jako Pilebogg i Czanak (Zschanakenberg); autor

sam przyznaje, że nazwę Černobóh skomponowali dopiero pastorowie. Nr. 11, w Czechach u Kożlan: po lewej stronie Wysoka Góra a przy niej wieś Bělbožice, dziś u ludu w Velbovice przekręcone; potok; wieś Czernikowice i podanie o czartowym kamieniu, takie same (kogut przeszkadza zamysłowi djabelskiemu), jak w nr. 1; niestety, Czarnkowów, Czerniowiec i Czarnkowic tyle po całej Słowiańszczyźnie, że trudno się na nie wspierać. Nr. 10 nad Sazawą; góra Mednik, rzeka, Třeštibog; Mednik to epiteton boga »dawca miody«, Třeštibog wieszczyciel dobra i szczęścia. Ależ Mednika wiązać z Swarożicem jest czysta dowolność autorska; urobiene to jak inne na -nik i tylko z miodem, nic z mitologją niema spólnego a Třeštibog napiszę raczej z -*k*, bo boki, nie bogi trzeszczą. Nr. 9 »góra Gostibog, potok, urwiska Hrombaba i Nehošt« polega znowu na dowolnej kombinacji autorskiej, bo w istocie nazywa się góra Hostibejk a Hrombaba patrzy mi na botanikę raczej (Rzymbaba itp.) niż na jędzę (autor to *hrom* zestawia z niem. *Gram* itd.); jest tam i Lutovnik nad rzeczką (niby Ljutovnik!) i te trzy nazwy, Nehošt, Hrombaba i Lutovnik są przeciwieństwem Gostiboga, tego samego co »Radigost« w »Retrze« — co ten Radigost wart, już wiemy. Tę samę wartość ma nr. 6: góra Radhošt »tron (Svarožica) Radigosta«, rzeka Łomna, Czartowski młyn i Czarna góra — dowodu, że to jakieś stare nazwy, nie daje się nigdy żadnego. I Swiętowit arkoński nie uszedł temu losowi; w nr. 7 mamy: góra Arkona »tron Swiętowita« — Tromper Wiek, odnoga morska — Höllgrund i Teufelsgrunt po drugiej stronie zatoki; zato w Szczecinie (nr. 5) czeka nas znowu rozczarowanie, bo w szemacie figuruje tylko zła siła, Triglav a nie Swarożyc i nie wiedzieć, skąd i dokąd Trzygłów patrzy. To byłyby najważniejsze numery z tej serji, jest ich siedmnaście, lecz cóż począć np. z takim szematem (17): w Czechach koło wsi Popovec, jest Hradisko (góra, u jej stóp Konica t. j. »stadnina koni poświęconych czci boskiej«) — potok — skała Bětník t. j. zepsute z Běník (co biedy sprowadza), i nr. 16: Hengst i Kobyla głowa (symbole zapładzającego boga — słońca) — potok — skała Čertovo vreteno; na wyspie Cherso (nr. 15) Góra Šiš, u jej stop Velibok (»bezwątpienia«, »z Belibog powstałe«) — zatoka — skała Černi. Jak widzimy, na każdą nazwę znajdzie się jakieś mniej lub więcej dowcipne wytłumaczenie, tylko nigdy i nigdzie ani cienia. że to coś starego, pogańskiego, bo takich nazw jest wszędzie wiele, tylkoż nic z nich nie wyciśniemy a dekoracje również nic nie mówią.

Druga serja, nr. 18 i nn., jeszcze ciekawsza, bo objęła skały z nazwą Djewin skok = Devin = Jungfern — albo Mägdesprung.

I tak nr. 18. w Karyntji: pagórek stromy Kronabühl; potok; góra z Jungfernsprung, ale że koło niej wieś stara Tiffen, niegdyś Tevin, Dewin, z tego wynika, że Jungfernsprung jest tylko tłumaczeniem słowiańskiego Devin a z tego znowu wynika, że każdy Jungfernsprung po prawej stronie potoka jest tłumaczeniem z Devin!! więc nr. 19: góra Sonnblick — rzeka Möll — Jungfernsprung, i 20: góra Mirnock — potok — skała Jungfernsprung i taksamo przez wszystkie dalsze numera do 31, ależ to są niemieckie baśni — podania, Słowian i ich dualizmu nic a nic nie dotyczą. Np. nr. 27 w Niemczech pod Querfurtem: Grosser Berg — potoczek — Mägdesprung (kamień z stopą człowieczą) a w Harcu nr. 28 Zirlberg — rzeka Selke — skała Mägdesprung. W nr. 29 mamy przynajmniej nad Adrjatykiem skałę Devin, ależ za zatoką morską jest tylko wysoka góra, nie nazwana bliżej, więc szemat nie zupełny; to autorowi nie wadzi. Nr. 24 góra Vipota, u jej stóp Hudič (djabeł) — rzeka Savinja — skała Jungfernsprung, u Słowieńców zwana tylko peć (autor dodaje: Djevina od siebie): ponieważ tu Hudič (djabeł) i Teufelsgraben są i po lewej, jasnej stronie, więc tłumaczy to autor tak, że każdy zalesiony brzeg z dalekim widokiem poświęcano jasnemu bogu, gołą zaś skałę złemu duchowi, choćby i na boskiej stronie leżała. Wobec tak dowolnej interpretacji dziwi nas, że autor odrzuca jako dla mitologji nic nie znaczące liczne inne Jungfernsprünge, bo się po fałszywej stronie znajdują. Zato wciągnął słynny nad Morawą i Dunajem Děvín; szemat wygląda tak: góra Kobiła (leży w niebiańskiem państwie słonecznego boga, bo kobyły i stadniki zastępują miejsce tegoż boga, któremu są poświęcone) — ramię Morawy — Děvín (tu autor dopełnia od siebie i skok!!). Ależ oto aż w reńskim palatynacie powtarza się tensam szemat (31): Góra Schützenberg — Heimbach — Jungfernsprung: zaraz zobaczymy, skąd się Słowianie, bo to ich szemat, aż koło reńskiego Dahn znaleźli. Bo najpierw należy wytłumaczyć, skąd te Deviny — Jungfernsprünge do dualizmu weszły? Otóż te Deviny polegają na »etymologji ludowej«; pierwotny Děvin pochodził od irańskiej nazwy djabła (daeva) a ponieważ, jak scenerja — szemat dowodzi, Devin »djabłów« znaczy, musieli być Słowianie wyznawcami wiary irańskiej; dopóki byli Zoroastrowcami, rozróżniali Deva i djeve, ale gdy zostali chrześcjanami, nazwali swego Deva wedle biblji djabłem, a Devin skok (djabelski skok) nazwali djewskim — panieńskim skokiem. I gdziekolwiek w Europie się znajdzie Djevin skok albo Devin z tą samą scenerją, żeby i w Anglji i w Hiszpanji, tam bytowali niegdyś słowiańscy zoroastrowcy, np. Deva u zatoki biskaj-

skiej, Dewa w Anglji. Do Dahna zaś dostali się po r. 359, kiedyto cesarz Konstancjusz II pobił Sarmatów — Limigantów i przesiedlił ich w dalekie siedziby. Pozostaje jeszcze tylko pytanie, dlaczego właśnie na lewej stronie jasny, dobry bóg ma swą siedzibę, a po prawej zły, ciemny, skoro przeciwnie u Indogermanów prawa za dobrą stronę a lewa za złą uchodzi? Odpowiedź powołała się na liturgję chrześcjańską (!), wedle której prawa strona ta, co leży dla wiernych na prawo od głównego ołtarza, tak że co wedle geografji na lewo, wedle liturgji na prawo leżeć może.

Dualistycznemu głównemu poglądowi — wierze odpowiada więc i kult, z »jasną« i »ciemną« górą-skałą, ale nie stoją one obok siebie, lecz naprzeciw sobie, przedzielone wodą; na to godzą się głównie wszelkie wąwozy, na lewo siedzi Bóg na górze jasnej, na prawo dukwi zły duch na ciemnej skale; tak wyglądają wszystkie dualistyczne miejsca święte w Europie, tak musiał wyglądać i ich oryginał, w irańskiej praojczyźnie i odnalazł go Peisker w połoninach Mazdoran, gdzie lewa strona zowie się góra Mazdoran (t. j. mazdan ahura = mądry Bóg), a prawa Karadagh, czarna góra; pomiędzy niemi przepływają wszelakie rzeki. Wyznawali więc Słowianie czysty zoroastryzm, lecz nie zgadzają się z nim nazwy ich bóstw, ale i to pozornie tylko, bo w istocie Swarog ich nazwany od irańskiego svar — ‚światło' (gdy *s* w irańskiem jeszcze nie przeszło w *h*-), a Svętovit **arkoński** (przenigdy **słowiański**, jak Peisker dowolnie przypuszcza!) nie wytłumaczony z słowiańskiego, będzie najprawdopodobniej irańskie spento-vidaevo, święty Antideva'; nakoniec deva w znaczeniu djabła jest również pożyczką z irańskiego.

Dołączył dalej Peisker te pseudologje z znaną teorją o ujarzmianiu wegetarjan — rolników przez stepowców, mięsożernych nomadów. Opowiada on, jakto w Azji środkowej łowcy pierwotni uganiali się około rolników, siedzących w oazach, co ułaskawili bydło; najmywali się ci łowcy jako pasterze u rolników, aż wkońcu z oswojonem bydłem w stepy uciekli i wzmógłszy się w liczbę i stada, na rolników napadali i ich ujarzmiali a gdy sami przed silniejszymi nomadami innymi uciekać musieli, porywali z sobą rolników, żeby ci im dodatkowej strawy wegetarnej dostarczali; takim sposobem dostała się wkońcu do Europy ludność rolnicza z swoim pługiem azyjskim i swoją wiarą Zoroastrową, jedyną ich pociechą, co im ostateczne zwycięstwo dobra nad złem wieszczyła. Więc i do Skandynawji dochodził w ten sposób zoroastryzm, boć wikingi i do Persji się zapuszczali i stamtąd przynieśli perski pług, do dziś w Skandynawji

używany i perskich niewolników-rolników, co niektórych swoich panów na zoroastryzm nawracali. I wyniósł Włodzimierz panteon w Kijowie z trzema parami bogów: Peruna dla siebie i wikingów a Chorsa (por. perskiego Choršed = hvare chšaetha, „świetny krąg słońca") dla wikingów — zoroastrowców; Dażboga (boga Słońca) i Striboga (złego ducha!) dla Słowian; Simargla i Mokoša dla zwyciężonych Chazarów dualistycznych! Cała ta wiara wyszła z Iranu, od tych ujarzmionych rolników, co przed swoimi ciemiężcami uciekali do Finów i Słowian i u swoich gościnnych gospodarzy znachodzili dogodną ziemię dla swej nauki zoroastrowskiej. A więc to nauka przyjęta, nie pierwotna i dziwi nas tylko, że się jej swobodni Słowianie tak gorąco ujęli, ale spiritus flat ubi vult.

Filologowie zaarendowali niby mitologję, ale nie zgadzają się między sobą ani w jednej nazwie, bo brak im przedmiotów dla ich nazw; tych przedmiotów dostarczają owe 32 miejsca święte; należy ich szukać wszędzie, cieszyć się, jak niema dotąd scenerja otwiera usta i późnym czasom wielkie tajemnice objaśnia. Dr. Šuflay dorzucił bardzo ciekawą uwagę, paralelę, o której Peisker nie myślał: Kto są Bogomili? Teraz (po Peiskerze) jest całkiem pewne, że bośeńscy Bogomili zachowali części starej słowiańskiej wiary dualistycznej. Paralela polega jednak nie na tem, lecz na czemś zupełnie innem: wiemy przecież, że bogomilizm powstał w Bułgarji od przesiedlonych z Małej Azji Paulicjan i ich emisarjuszów; otóż taksamo (wedle Peiskera) uciekinierzy irańscy dualizm Słowianom zaszczepili! Tylko niema niestety na to żadnego świadectwa — dowodu, trzeba tak wierzyć gołemu słowu. Šuflay dodał parę nowych przykładów owej scenerji Peiskerowej: Sweti Spas (Svętovid) — czarny Drin — naprzeciwko Crna gora (»brlog Zloduha ili Deve«); on sam idzie jeszcze dalej i twierdzi, że nazwy wszystkich Czarnych gór na Bałkanie wyszły z starej wiary pogańskiej a staroserbska Peć była najpierw »Devina ili Vražja peć« (a Pešt? scenerja byłaby tasama? prawo czy lewo — wszystko jedno).

Streściłem najdokładniej, nieraz tłumacząc dosłownie, romans mitologiczny — pytam tylko zdziwiony, co to wszystko ma do czynienia z mitologją albo z pogaństwem? Przecież to są późne, chrześcjańskie, przeważnie niemieckie podania — baśni, jakie się skał, urwisk, wąwozów czepiają, jakie należą do ogólnie europejskiego folkloru, ale jakich nic a nic z dawnem pogaństwem nie łączy. Że dwie góry czy skały potok czy rzeka czy zatoka morska rozdziela, że jedna bywa Himmelreich a druga Hölle, to folklor niemiecki, ale nie mitologja słowiańska, o której się Niemcom nigdy ani śniło.

Skočdjevojka, skała w południowej Dalmacji koło Kotora, nazywa się r. 1303 Devin vrh a r. 1396 Divicina stjena; druga Devičja stena nad Białym Drinem r. 1348 (Šufflay) — najpospolitsza baśń ludowa, odgadywać w nich jakichś niebywałych nigdzie i nigdy dewów słowiańskich (gdybyż choć byli diwy! porównaj owego diwa z Pułku Igorowego!), jest fantazją i niczem więcej.

Skąd się Bogomili wzięli, wiemy, są na to świadectwa historyczne, ależ kto kiedy słyszał o tem, żeby stepowcy taszczyli z sobą rolników (wiary zoroastrowskiej, co ją między Słowianami krzewili)? Wiemy coś niecoś o Połowcach, Tatarach, Pieczeniegach itd., lecz nie słychać nigdy, by oni za sobą obcych rolników ciągnęli — mieli niewolników, kupowanych albo zdobywanych orężem, dla uprawy małych kawałków rolnych, ależ o Zoroastrowcach, czy przedtem czy potem, zupełnie głucho. Dlaczego zaginął po nich wszelki ślad w języku, jeśli jest w wierze mniemanej? Z etymologjami wojować nie myślę, to nie miałoby celu. Dualizm wprowadzili do Słowian nie Zoroastrowcy, lecz chrześcjanie — przed nimi Słowianom się o dualizmie ani śniło. Swarożyc, Trzygłów, Świętowit, Jarowit, to przecież imiona tego samego najwyzszego bóstwa; ginące pogaństwo w swej rozpaczliwej walce chwytało się i tego środka, coraz odmieniało nazwę boga, bo dawniejsze okazywało się nieskutecznem. Ale przeciwstawień Trzygłowa (niby Złoducha) Świętowitowi (niby Białbogu) dlatego, że tego koń wieszczy był białej a tamtego czarnej maści i na maści końskiej wynosić dualizm słowiański, to nie uchodzi. Żebyż przynajmniej imiona po tych 32 scenerjach były te same lub pokrewne, ależ niema między niemi najmniejszego związku, przecież i »Twarog« wyjątkowo się zjawia a gdzie jest, tam niema niestety wymaganej scenerji; raz w czeskiem Woraschnem (??), drugi raz w morawskiej wsi (i pagórku) Tvarožna a trzeci raz w kaszubskiej Twarożnicy (Twarożnej górze). Te Twarogi mają być tylko »warjantem« właściwego Swaroga, ocalałego w kaszubskim Swarożyna (góra; jest tylko Swarożyno t. j. siodło, seło, nie góra!) a że naprzeciwko ma być jakiś Deiwelsberg, cóż to znaczy?

Wedle Peiskera (str. 7) ma być Swarog jedynem bóstwem słowiańskiem, przybierało różne nazwy i epiteta; najważniejszem było Dażbog — daż bogo, daj szczęście, dobro; później przejęli Słowianie perskie słowo bog — bóg i Dażbog znaczył »dawca bóg«; tak powstały dwa różne bóstwa, co się z pojęciem wiary u Słowian nie zgadzało i dlatego uczynili oni z Dażboga syna Swarogowego. Ależ tego niestety nie zrobili Słowianie, to zawiniło tylko greckie

źródło; ono wywołało dosłowny przekład: Sołnce car, syn Svarogov (»Hefaistos«), jeże jest Dažbog. »Syn Svarogov« powiedział tłumacz, nie »Swarożyc«, bo wiedział, że Swarożyc tosamo co Swarog (to hypokoristikon, przenigdy patronymikon!), nie było więc żadnych Swarožic-Dażbogów, Swarožic-Radgostów, jak ich Peisker przyjmuje. Gdy epiteton pochłonęło główne imię, pozostali niby sami Dažbogi, Radgosti, Gościbogi, Medniki, Bjelbogi, Swiętowidi (Peisker pisze go zawsze przez *-d*, dla swojej etymologji mniemanej!) itd., ależ to wszystko były imiona Słońca, jedynego bóstwa!

Wywody Peiskerowe nie Wahrheit und Dichtung, ale Dichtung tylko, a jedyne ich źródło, notatka Helmoldowa, godna jego Radigosta. Że nigdy żadnego boga Radigosta ani Gostirada niebyło, że to wynik prostego lapsus memoriae Adama Bremeńczyka, powtórzony ślepo przez Helmolda, tego pewnika matematycznego nie obali żadne powtarzanie starego błędu, bo błąd nie staje się prawdą przez same powtarzanie — ale na upor i na błoto niema ratunku, prawi przysłowie, więc niech się upiór Adamowy Radigosta dalej po Olimpie słowiańskim rozbija, jeśli bez wymysłu Adamowego ten Olimp istnieć nie może, tylkoż to nie zmieni faktu, że Radigost czy Gościrad i wszelkie z nimi połączone kombinacje są ognikami błędnemi, mamiącemi nieświadomego drogi wędrowca. Że tym fantazjom brak jakiejkolwiek realnej podstawy, dowodzi sama zmienność wszelkich nazw słowiańskich i niemieckich, z których żadna nic pogańskiego nie zawiera; jak i maść czarna, są to nabytki chrześcjańskiego, nie zoroastrowego dualizmu.

Czy nie zawierają te fantazje jakiego ziarnka prawdy? wywody tak bystrego i uczonego badacza, choćbyśmy je w całości usuwali, bez niego rzadko bywają. Takiem ziarnkiem prawdy zdawałby się na pozor ów »Tbaraschitzberg, urbar Waldeck 1480, Wiwatschberg Stockurbar Königsberg c. 1524« (to tosamo chyba?) i Weraschperk, Tuerastzperg, dziś Verače — bo przy Tbaraschitzberg nasuwałaby się myśl, że tu tkwi imię Swarożyca, poświadczone nad Dnieprem i przed Łabą, a teraz i u Słowieńców wypływające z wiekowego zapomnienia. Jeśli zaś ten jeden Tbaraschitzberg dowodzi, że to zepsucie (nie »warjant«) z Swarożyca, więc i o drugim Twarogu można by przyjąć to samo — ależ żeby i Kaszubi Twarożną górę czy Twarożnicę i Morawianie Twarożnę z Swarożnej odmienili (Kaszubi zatrzymali przecież Swarożyno bez zmian), na to już niema zgody. Wobec faktu jednak, że w całem imiennictiwe południowosłowiańskiem (oprócz jedynego serbskiego Chrsa = kijowskiego Chorsa) niema, ile wiem, śladu mito-

logicznego (jakie są gdzieindziej), i ten Tbaraschitzberg tego nie zmieni. Że górę czy pagórek od kształtu można Twarogiem przezywać, o tem nie wątpię, boć i twaróg tylko od kształtu przezwany, ale przeczę stanowczo, żeby Twarog itd. mogły powstać z Swaroga; niema w całej Słowiańszczyźnie drugiego podobnego przykładu; Twarog i Swarog są dwa zupełnie odmienne słowa, nigdy i nigdzie się nie mieszały.

No a Tbaraschitzberg? Zapomniał Peisker, że do Twarog-góry brzmi deminutivum Twarożec i otóż tento Twarożec, żaden Swarożyc, powtarza się w Tbaraschitzberg. Jedyna więc nazwa, co ze wszystkich przez Peiskera przytoczonych mogłaby czegoś dowodzić, okazuje się — niczem. Że Twarog dziś tylko u Rusi i na Zachodzie, to nie wyklucza bynajmniej, żeby to nie był termin prasłowiański, mogli go i Słowieńcy niegdyś posiadać i użyć tego i w topografji. Czy jest gdzie w całej Słowiańszczyźnie drugi przykład, żeby góra nazwała się bogiem, tu Swarogiem? żebyż choć jakie possessivum: svarogov czy inaczej? O niemożliwem *t-* ani nie mówimy i odrzucamy wszelkie dalsze wywody, do których widocznie ów fatalny Tbaraschitz Peiskera zkusił. Tak odpada pierwsza teza Peiskera, jakoby kiedykolwiek jaka góra słowiańska Swarogiem czy Swarożycem się nazywała: teza zgóry zupełnie nieprawdopodobna, bo skądby Słowieńcy taką pogańską nazwę zachowali wobec zniszczenia pogaństwa a Niemcy ją przechowali; językowo zaś absolutnie niemożliwa.

Taksamo ma się rzecz z drugą tezą Peiskerową, jakoby w słowiańskich nazwach mitologicznych tkwiło coś irańskiego. Wszystkie są, co się przy takich nazwach samo przez się rozumie, czysto słowiańskie i nic więcej. *Swarog* jest urobiony od *swaru,* jak *pirog* od *piru, rarog* od *raru, ostrog* od *ostry, twarog* od *twar, inog* (nog, ‚odyniec‘ niby) od *in, batog* od *bat, czertog* od *czerta, barłog* od *barł* (obok *-og* w tej samej funkcji *-ąg, ostrężyna* i *ostrożyna* rubus fruticosus, *pstrąg* od *pstry, mitręga* od *mitr*; albo-*ęg, ciemięga* od *ciemię, wiciądz* od *wici, raciądz* od *raci, komięga* od *komu, rzeciądz, robociądz* od *robota* itd.); irańskie (*hvar-*) tu nie należy wcale a jeszcze mniej jego w Świętowicie. *Swiętowit* (nigdy *-wid* Peiskerowy) znaczy to samo co *Jarowit*; oba pnie powtarzają się stale (*Swiętopełk* = *Jaropełk, Swiętomir* = *Jaromir, Swiętosław* = *Jarosław*) i znaczą tosamo, ‚silny, krzepki‘ por. Swiętobor; można tylko pytać, czy to jest złożenie z *vit-* (vitati itd.), czy urobienie wedle *domowit*? U Daćboga, Chorsa, Welesa itd. niema i tak żadnej o irańszczyźnie mowy.

Niema więc u Słowian żadnego śladu ani irańskiego dualizmu ani jakiegokolwiek irańskiego wpływu religijnego; Słowianie nie Finowie, co sobie od Litwy Perkuna pożyczyli; dopiero za chrześcjaństwa w folklorze — demonologji nastąpiły pożyczki (*skrzat, rusałki, hastrman, niks, żaligżene* itp.) a djabeł zawładnął ich fantazją chrześcjański, nie irański; bogomilstwo również nie urosło na niwie słowiańskiej, przeszczepiono go w 9. i 10. wieku. Pogaństwo słowiańskie jest pierwotne i rodzime i nie ulegało żadnym obcym wpływom, chyba późno i to chrześcjańskim, jak *diabol* Helmolda niezbicie dowodzi, ale rzecz odwracać i ze dwunastego wieku po Chr. przesuwać ją o jakie tysiąc lat wstecz, jest niemożliwe, nie wytrzymuje żadnej krytyki. Wszystko pozostało, jak było przed owem mniemanem odkryciem tajemnicy wiary słowiańskiej; malownicza scenerja, kulisy teatralne, jedno i drugie podanie (całkiem konwencjonalne), nigdy nie wystarczą, abyśmy w siebie wmówili to, czego u Słowian nigdy nie było, dualizmu, tak przeciwnego każdej wierze, głównie o przyrodę opartej.

A. Brückner.

Kritiky a referáty.

Dr. Alfons Margulies: **Der altkirchenslavische codex Suprasliensis.** (Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher. III. Reihe. Texte und Untersuchungen.) Heidelberg 1927, XVI + 253 стр.

Книга М. посвящена главным образом анализу правописания и языка Супр.; вопрос о составе рукописи интересует автора, поскольку он связан с вопросом о языке. Вопросов о содержании, графике и источниках он касается лишь вкратце. В виду того, что эта книга — единственная монография о Супр. с претензией на известную полноту, и вряд ли можно скоро ожидать появление другой подобной монографии, и в виду первоклассного значения Супр. среди памятников славянских языков, позволю себе остановиться на разборе книги М. подробнее, чем она, может быть, того заслуживает.

Автор в своей работе обнаруживает серьёзную научную подготовку и хорошее знакомство с научной литературой, относящейся к рассматриваемым им вопросам. Как видно, он внимательно изучил Супр. по изданию Северьянова и самостоятельно сверил текст отдельных статей Супр. с соответствующими греческими текстами, обнаружив вполне удовлетворительное знакомство со среднегреческим языком. Некоторые греческие тексты он изучал, повидимому, не по изданиям, а непосредственно по рукописям, копиям или снимкам. Так, у него есть примеры из жития Конона Исаврийского по Ватиканскому списку; между тем, с моим изданием этого списка[1]) он знаком не был. В своей работе М. имел много предшественников; некоторые рассматриваемые им вопросы уже были предметом обсуждения других учёных. В таких случаях М. часто не довольствуется изложением чужих мнений, а пытается найти свое решение.

Книга состоит из 5 глав: 1-я, введение, содержит историю изучения Супр., характеристику её содержания, определение числа писцов, замечания об её графике, поскольку она передана в издании, и далее, обзор фонетических и морфологических особенностей рукописи (стр. 1—75); вторая глава, состоящая из одного § 26, посвящена словоупотреблению Супр. (стр. 75—87); третья, озаглавленная »Syntax« (стр. 87—148), посвящена не синтаксису, а технике перевода, статей, входящих в Супр: указывается, как переданы в Супр. грамматические категории и формы греческих оригиналов и каким категориям и формам этих оригиналов соответствуют те или другие категории и формы славянского перевода; в 4-ой главе, »Die Entstehung des Suprasliensis« (стр. 148—227), рассматривается вопрос о составе Супр. и даётся характеристика языка и

---

[1]) Записки Харьковского Университета 1914 г.

правописания отдельных статей, а также житийной и учительной частей Супр. в целом; 5-я глава (стр. 227—250) содержит замечания о диалекте писца и о месте Супр. среди других старославянских памятников и список греческих статей, послуживших источниками Супр.

Недостатками книги М. являются неполнота привлекаемого им для решения того или другого вопроса матерьяла и слишком поспешные заключения о говоре писца на основании единичных написаний, толкуемых им чрезвычайно произвольно. Сюда же можно отнести отсутствие исторической перспективы: М. стремится найти в Супр. отражение диалектических особенностей нынешних болгарских говоров, не задаваясь вопросом о времени появления этих особенностей. Приведу примеры заключений М., основанных на единичных написаниях Супр.

Один случай написания л̃ epenth. после губной в отрывке, писанном вторым писцом, достаточен для М., чтобы предположить, что писец этого отрывка был, вероятно, серб (стр. 13), хотя сотни примеров таких написаний у первого писца не мешают ему считать этого последнего писца болгарином и думать, что в его говоре *l* epenth. после губных не было.

Три случая написания а · самаранъı, бесадамъ, само (= сѣмо), в которых, по его мнению, а стоит ошибочно вместо ѣ, и 7 случаев, где ѣ переправлено из а и наоборот — цѣсароу. гонѣше, гонѣжаıа. лазарѣ. съдѣланѣ. благодѣтыѩ, вълаза (это — на рукопись в 570 стран. по 900 букв на стран.!) приводят М. к заключению, что в говоре писца ѣ было близко к а и перед слогом с велярными гласными переходило в 'а (стр. 27—28), хотя из этих примеров в двух ѣ переправлено из а после н̆, т. е. в положении, где в глаголическом правописании, а частью и в кирилловском, независимо от того, как произносилось ѣ, буквы ѣ и а не различались; в двух случаях а и ѣ, переправленное из а, стоят после р из о.-сл. *r* палатального, где то же правописание также не различало ѣ и а; в одном случае, благодѣтыѩ переправкой а на ѣ одно слово ст.-сл. языка заменено однозначущим другим словом; в одном случае, в слове само, имеется или дублет, ср. болг. *самъ*, чеш. *sem*, или *s* из старого *ś* палатального, ср. русское *сям*; в последнем случае *śamo* до отвердения *ś* должно было бы писаться ŝѣмо, откуда после отвердения *ś* — дублеты (может быть, графические) сѣмо и само, ср. само Синайский Патер. и чередования вьсакъ и вьсѣкъ и т. п. В остальных четырёх случаях — несомненные описки обычного типа.

С другой стороны, предположение М., что ѣ в говоре писца не во всех случаях перешло в 'а, а в известных случаях произносилось, как звук средний между *e* и *'a*, основано всего на двух примерах смешения е и ѣ : предаıѫтъ и въсѣлıаıетъ са (стр. 28); второй пример взят М-сом ошибочно: здесь ѣ правильно, ср. вьсѣлѣетъ Син. Пс., Бол. Пс., оусѣлѣють Кир. Иерус. XI в.

На основании двух случаев написания ѵ вм. и (= греч. *ι*) в греческих словах — Нѵсиıа и Прискѵла[1]) (при нескольких стах случаев

[1]) ѵ в Прискѵла, вероятно, по ассоциации с Якѵла на предыдущей строке.

написания ѵ только в соответствии с греч. υ или οι и сотнях случаев с и, ї в соответствии с греч. ι, η, ει), М. заключает (стр. 34), что ѵ писец читал как *i*, а так как та же буква в Супр. встречается 10 раз после р, один раз после л̑ и два раза после и вместо ю, то он делает совершенно неожиданный вывод, что в говоре писца *u* после мягких изменилось в *i*, и сопоставляет этот говор с нынешним вост.-болг. говором с. Панагюриште, где в известных положениях имеется *i* из *u* после *l* палатального (стр. 35—36 и 240), совершенно не считаясь с тем обстоятельством, что в Супр. нет ни одного случая написания ѵ вместо и или и вм. ю в славянских словах, что есть случаи написания ѵ вм. оѵ, что бóльшая частъ случаев написания ѵ вм. ю — после того р, которое восходит к о.-сл. *r* палатальному, рано отвердевшему в ю.-сл. языках, и после которого *u* ни в одном южнославянском говоре не изменилось в *i*, что в греческих именах, рано усвоенных славянами, греческому υ и οι обычно соответствует *u* (ср. русс. *Акулина* и др.), и что другие старославянские памятники XI—XII вв., как ю.-сл., так и русского письма представляют те же особенности в употреблении буквы ѵ. Возможно, что ѵ после р имело первоначально иное значение, чем оѵ и ю, и обозначало *ü* после непалатального согласного звука.

Четыре случая написания ри вм. ръı : рикалѫ bis, отъкривалѫ, -атъ (все 4 рядом с к), два случая и в греч. слове манастиръ и один раз ъı в греч. имени Сєвъıрово достаточны для М., чтобы говорить о переходе *y* в *i* в говоре писца (стр. 37—38 и 230). Хотя к примерам, приводимым М., можно прибавить викъша *(γεγονότα)* 323₁₉, всё же о переходе *y* в *i* в говоре писца говорить нельзя; ри вм. ръı встречается уже в старших ст.-сл. памятниках (Зогр., Сав., Син. Пс., Арханг. Ев.) и свидетельствует только о диалектическом совпадении *i* и *y* после *r*. Литературным нормам, которым следовал писец Супр., и это явление не было свойственно; отражают ли 4 примера с ри произношение писца или перенесены из оригинала, сказать трудно.

Единственный пример написания мъ̓чими, как перевод слова *βασανιζόμενοι* во фразе зѣло вѣтръı и влънами мъ̓чими възвраштаа̂хѫ сѧ, произвольно толкуемый М-сом, как ошибка вм. мѫчими, приводит его к предположению, что в языке писца уже произошол вост.-болг. переход ѫ в ъ (стр. 56, 240). Если бы даже чтение мъ̑чими и не давало удовлетворительного смысла, такое предположение, основанное на одном примере, было бы недопустимо. В действительности употребление здесь этого слова в значении »гонимые« так естественно, что еслибы в протографе и стояло мѫчими, писец мог принять такое чтение за ошибку и исправить на мьчими.

Единственный раз встретившееся написание зльзами, несомненную описку, М. рассматривает, как отражение изменения звука *s* в *z* в говоре писца, хотя в рукописи нет больше ни одного примера замены глухих звонкими (ср. 65).

Единичное написание Видѣна вместо Видана заставляет М. предположить, что писец глаголического протографа Супр. произносил в этом слове »слабо палатальное а« (стр. 153); выше (стр. 150) М. объясняет а вм. ѣ в слове иманни графическим смешением кирилловских букв а и ѣ.

Единичное црьноризъць наводит М. на мысль, что переписчик жития папы Григория пользовался сербохорватским переводом этого жития (стр. 238).

Рассмотрю книгу М. по отдельным §§. На §§. посвященных содержанию и графике Супр., не останавливаюсь.

Основываясь на невнимательно прочитанных подстрочных примечаниях Северьянова к изданию Супр., М. различает в Супр. трёх писцов: 1-го, во всей рукописи, кроме 2 страниц, 2-го, на стр. 129, строка 30, и стр. 131, строки 9—30, и 3-го, на стр. 218, строки 8—16, причём считает 2-го писца сербом, а 3-го несомненным болгарином (§ 3, стр. 10—14). Между тем, Северьянов говорит только о двух писцах, относя ко 2-му писцу всё, что М. относит ко 2-му и 3-му. Действительно, данных для того, чтобы говорить о трёх писцах Супр., никаких нет. Графика строк 8—16 на стр. 218, насколько мы можем судить о ней по изданию (а рукописью или снимками М. не пользовался), совершенно тожественна с графикой стр. 131; кроме указанных уже М-сом общих черт (1. одно ѧ вм. ѩ и ѧ первого писца, 2. одно ь вм. ъ и ь, 3. є вм. ѥ), отметим следующие: 4. последовательное ъı после губных и ы не после губных в обоих отрывках, 5. ѫ вм. ѭ после гласных. Единственное различие между обоими отрывками, которое дало М. повод считать писца одного из них сербом, а другого несомненным болгарином, это — один пример с ̑л epenth. землѭ при отсутствии примеров без ̑л в 1-м отрывке и два примера без ̑л — остаенкоу, разломеныѩ при отсутствии примеров с ̑л во втором отрывке. Но это различие, очевидно, идёт из протографа: в житии Пиония, куда входит первый отрывок, и в первом почерке ̑л epenth. встречается 6 раз при 8 примерах без ̑л, а в житии Дометия, куда входит второй отрывок, ̑л в первом почерке встречается всего 1 раз при 9 примерах без ̑л. Различия в начертаниях букв между первым и вторым отрывком, действительно, есть: на стр. 131 буквы прямее, тщательнее вырисованы, толстые штрихи толще; но эти различия все объяснимы отчасти тем, что перо на 131 стр. писало хорошо, а на стр. 218 царапало, отчасти тем, что писец при писании второго отрывка спешил и скоро бросил писать, не дописавши до конца страницы, а первый отрывок спокойно дописал до конца страницы. Приёмы начертания букв во 2-м отрывке те же, что в первом, ср. начертание буквы ѧ: первый писец пишет среднюю часть этой буквы в два приёма — горизонтальную черту и под ней вертикальную, а второй одинаково и на стр. 131 и на стр. 218 — в один приём в виде вилочки.

§ 8 „є *und* ѥ". На основании данных, указанных уже другими учёными, М. предполагает, что из славянских слов только єи и єсє произносились без начального *j*; в остальных случаях є в начале слова и после гласных он объясняет или из графики (в конце строки) или из глаголического оригинала. Но этот вывод не соответствует данным рукописи, потому что с начальным є до стр. 471 постоянно пишутся только слова єи и єтеръ, а єсє встречается один раз с начальным є и 2 раза (оба после и) — с начальным ѥ; на это было уже указано Обнорским и мною. Из глаголического оригинала никак нельзя обьяснить, почему из славянских слов, кроме єи, с начальным є и притом во всех слу-

чаях пишется только одно слово єтєръ. Между тем, М. о слове єтєръ даже не упоминает. Кроме того, нельзя было обойти молчанием указанный мною факт,[1]) что до стр. 471 в Супр. чередование начальных є и ѥ замечается только у тех слов, которые в русских рукописях, различающих є и ѥ, пишутся исключительно с начальным є.

§ 9 „ѣ“. Этот § посвящён гл. о. рассмотрению чередования ꙗ и ѣ. Указавши на то, что Супр., правильно различает ѣ и ꙗ, и что исключения редки, М. пытается, не перечисляя всех исключений и не определяя % исключений по отношению к числу правильных написаний, их объяснить. Он обращает внимание на то, что ѣ в значении *'a* особенно часто пишется после л҄ epenth. после губных, что в этом положении ꙗ очень редко, и что, наоборот, при отсутствии такого л҄ после губных пишется только ьꙗ, и делает отсюда вывод, что употребление ѣ в значении *'a* идёт от оригинала, а не отражает говора писца. Наблюдение М. вполне правильно; но правильность его вывода о произношении писца зависит от того, можно ли признать обычное для Супр. отсутствие л҄ epenth. после губных отражением говора писца или нет. В первом случае этот вывод правилен. Вообще же, до рассмотрения вопроса об *l* epenth., можно говорить о столкновении в Супр. двух орфографических систем — одной с л҄ epenth. после губных и ѣ после палатальных согласных, другой — без такого л҄ и с ꙗ или а после палатальных согласных.

Написания с ѣ после палатальных согласных М. объясняет глаголическим протографом. Но в таком случае остаётся необъяснённым факт, что ѣ в таком значении пишется только после согласных и после ѣ, а в значении *ja* не после ѣ не встречается ни разу (М. об этом не говорит). Такое правописание могло явиться только в кирилловском тексте.

Несколько неверно понятых примеров (см. выше) заставляют М. предположить, что ѣ писец произносил, как звук средний между ѥ и ꙗ, т. е. звук, вызывавший палатализацию предшествующего согласного звука. Но это предположение не соответствует показаниям Супр., где л҄ѣ, н҄ѣ с одной стороны и лѣ, нѣ с другой строго различаются.

§ 10 „а *und* ꙗ“. М. здесь рассматривает вопрос об условиях чередования а и ꙗ в начале слова и после гласных. Исходя из матерьяла, привлечённого Обнорским, и не подвергая его пересмотру по тексту Супр., М. делает совершенно не вытекающий из данных рукописи вывод, что чередование а и ꙗ в Супр. не восходит к оригиналу, а вызвано звуковыми причинами, именно, зависит от законов *sandhi*, не оговаривая, относится ли этот вывод ко всем словам, в начале которых в Супр. пишется а или ꙗ, или только к некоторым. М. думает, что начальное а являлось главным образом после а, реже после є и о и не являлось в начале фразы, т. е. предполагает действие законов *sandhi* совершенно обратное тому, какое предполагает Мейе. В подтверждение своего мнения М. приводит несколько примеров с начальным а после слов, кончающихся на а, є, о, и с начальным ꙗ после точки, умалчивая о других примерах. Но данные Супр. указывают совсем на другое: одни слова в Супр. пишутся всегда или почти всегда с начальным а : а,

[1]) Slavia III, 226—229. Допольнителные данные — JФ. VI, стр. 23—37.

ѩвиѥ, ѩгньць, ѩзъ, ѩкы, ѩлъкати, ѩште и др., независимо от положения, другие, также независимо от положения — с начальным ꙗ: ꙗдь, ꙗзва, ꙗзвити, ꙗко, ꙗрити сѧ, ꙗрость, ꙗснъ и др.; случаи написания ꙗ в словах первой категории единичны: ꙗвиѥ два раза, ꙗште один раз; остальные только, много раз, с начальным ѧ; с другой стороны, ѧ вместо начального ꙗ — только в ѧко 4 раза после и (ꙗко — 979 раз, из них не меньше ста раз после и), 3 раза в конце рукописи не после и: не ѧкоже 500_4, ѧкоже 501_{19} и 519_{23}, оба раза после точки; и 8 раз в да ѧко при 5 случаях да ꙗко. Но из трёх примеров ѧко не после и и да, первый, повидимому, описка под влиянием повторяющихся 2 раза перед этим не ѧкы (ѧкы всегда, без одного исключения, приблизительно 170 раз пишется только с начальном ѧ); во втором случае ѧкоже не вместо ꙗкоже, а вместо какоже. Так как после ѧ слово ꙗко очень много раз написано с ꙗ, то можно думать, что да ѧко обособилось, как слитное сочетание, в котором *j* между двумя *a* выпало не по законам *sandhi*, а в середине слова. Слова ꙗвиѥ и ꙗште с начальным ꙗ или ѣ известны и из других ст.-сл. памятников, и потому такое написание могло и не отражать говора писца, а представлять следы правописания одного из протографов. Колебание между начальными ѧ и ꙗ, но с большим преобладанием ꙗ наблюдается только у основы ꙗви-, которая 130 раз (у Обнорского ошибочно 120) написана с начальным ꙗ и 22 раза (у Обнорского — 30) с ѧ. Примеры с начальным ѧ по частям рукописи распределяются так: в житийной части 5 раз (в №№ 3, 9, 12, 16 и 25), в учительной части, в № 31—3 раза, в № 39—2 раза и в №№ 41—48 (начиная со стр. 471 до конца) — 12 раз. По предшествующим гласным они распределяются так: после ѧ 2 разу, после и 3 раза, после є 3 раза, после ь 3 раза, после ѫ 3 раза, после ъ 4 раза, после о 2 раза, после точки (перед точкой — ѹ) 1 раз. Таким образом, мнение М., что чередование начальных ꙗ и ѧ в Супр. вызвано законами *sandhi*, подтверждается написаниями Супр. до известной степени только относительно ꙗко и ꙗште — первое пишется 3 раза с начальным ѧ после и, второе один раз с начальным ꙗ тоже после и; можно думать, что перед начальным *a* (только частичных слов?) могло развиваться *j*; поэтому написания и ѧко и и ꙗко, и ѧште и и ꙗште должны были читаться одинаково. Но следует иметъ в виду, что один пример написания ꙗште может пониматься и иначе. Написания ѧвѣ, ѧвити и т. п. нельзя считать опиской: для этого число примеров с ѧ достаточно велико, да и другие ст.-сл. памятники также указывают на чередование ꙗ и ѧ в этой основе. Очевидно, такое написание соответствует чему-то произношению; так как в случаях типа ꙗвлѥнию ни разу не написано ѧ, в то же время имеется один случай написания ѧвл҄ениѥмъ, то можно поставить вопрос: не было ли свойственно отсутствие начального *j* в этой основе именно тому говору, отразившемуся на написаниях Супр., в котором *l* epenth. после губных сохранялось? Утвердительный ответ на этот вопрос был бы противоположен тому выводу, какой делает М., предполагая, что чередование начальный ѧ и ꙗ отражает говор писца, и в то же время, что в этом говоре *l* epenth. после губных отсутствовало.

О § 12 „ѹ, ю, ѵ“ см. выше.

§ 13 „ꙑ“. М. останавливается на 7 случаях ꙑ вм. ъ в конце слова перед и и на стольких же случаях смешения ꙑ и и. В первой группе случаев, по его мнению, отражается фонетическое явление, но не принадлежащее говору писца, в котором, как показывает написание мъздамногамъ (вм. мъздамъ мъногамъ), конечное ъ отпало. Но примеры, представляемые Супр. и другими старославянскими памятниками (ю.-сл. и русскими), имеют конечное ꙑ (в русских памятниках также и в 3 л. глаголов) не при всякой встрече конечного ъ со следующим и, а только в предлогах въ и къ и в формах переходных глаголов перед местоимением и. Это показывает, что для писцов, вносивших такие написания, это явление было не фонетическим, а морфологическим, хотя бы и фонетического происхождения, и потому чередования форм на ꙑ перед местоимением и и форм на ъ или на согласную в других случаях могло сохраняться и после утраты конечного ъ. Кроме того, пример мъздамногамъ сам по себе не указывает на утрату конечного ъ: здесь мог быть графический пропуск одного из двух мъ, а ъ затем пропущено потому, что слово мнoгъ писец Супр. вообще писал без ъ. Принадлежит ли рассматриваемое явление говору писца или нет, сказать трудно. Во всяком случае оно не было свойственно тому литературному диалекту, нормам которого писец следовал; следовательно оно или отражало его личный говор, расходившийся с этими нормами, или перенесено из оригинала.

О чередовании ꙑ и и см. выше.

§§ 14—18 посвящены звукам ъ и ь. Так как об употреблении букв ъ и ь в Супр. существует обширная литература, то М. лишь подводит итоги, не внося своих наблюдений и не анализируя данных Супр. подробно. В § 14 рассматриваются случаи мены ъ и ь, в § 15 — замены ъ и ь гласными о и є, в § 16 — выпадения и отпадения ъ и ь, в § 17 — чередования и и ь перед *j* и в § 18 — группы *trъt* и пр. Отсутствие замены ъ через о в Супр. М. считает ясным свидетельством в пользу того, что говор писца был вост.-болг., так как только в вост.-болг. ъ в сильном положении до сих пор сохранилось, как редуцированный (?) гласный звук. Но во время написания Супр. ъ, как звук, отличный от других гласных, мог сохраняться не только там, где его рефлексы и теперь отличаются от других гласных. Кроме того, и до сих пор ъ существует, как звук, отличный от *о* и *а*, не только в вост.-болгарских говорах, но и в части зап.-болгарских, зап.-македонских и ю.-вост. сербских говоров. Говоря о выпадении и отпадении ъ и ь М. не даёт подробного анализа фактов, отсылая читателя к статье Лескина. Собственный взгляд М. на судьбу ъ и ь в языке писца Супр. мне не ясен. Повидимому, он разделяет мнение Лескина, что слабые глухие в этом языке уже не произносились. То обстоятельство, что в некоторых словах ъ и ь в Супр. пропускаются значительно чаще, чем в других, М. объясняет тем, что чем чаще слово употребляется писцом в его работе, тем скорее его традиционное написание сменяется написанием, соответствующим произношению писца. Казалось бы, наоборот, чем чаще приходится писать слово, тем лучше запоминается его правописание и тем реже при написании

слова приходится руководиться собственным произношением. Того, что сохранение букв ъ и ь в одних случаях и пропуск их в других может соответствовать различиям в произношении, зависевшим или от различных фонетических условий или от различной синтаксической значимости слов или морфологических элементов слова, М. и не подозревает. Почему то, говоря об отражении сочетаний типа *trъt* в Супр., М. не ссылается на статью Обнорского, посвященную сочетаниям ъ и ь с плавными, и, очевидно, ей не пользуется, хотя в списке пособий эта статья названа.

§ 20 »Veränderungen der Nasalvokale«. М. перечисляет случаи неправильного употребления юсов в Супр. и замены их другими буквами. Число указанных им случаев значительно больше, чем у Вондрака в *Aksl. Gr.*[2] (у Вондрака — 21, у М. 34 примера); почему то пропущены некоторые примеры из указанных Вондраком. Случаи смешения ѫ с оу, кроме оу в глагольном суффиксе ноу, и с о и смешения ѧ с є и ѣ М. объясняет описками или непониманием текста писцом; в случаях оу в суфф. ноу видит фонетическое явление, не решая, принадлежит ли оно языку писца. Из 8 приводимых им примеров смешения ѫ с ѧ и ѩ 5 он склонен объяснять, как следы совпадения носовых гласных при известных условиях в языке последнего писца (стр. 55—56 и 240). Но он не обращает внимания на то, что все случаи смешения ѫ с оу, кроме тѣх, и все случаи смешения ѫ с ѧ, кроме одного — во 2-й части рукописи (3 случая ѧ вм. є и ѣ в 1-ой части рукописи — несомненные описки), причем случаи такого смешения в 1-ой части допускают объяснение, как описки или написания, не имеющие отношения к языку, легче, чем случаи, имеющиеся во 2-й части: в рѣкѫ рекѫмѫѭ буква ѫ вм. о — под влиянием предыдущего слова, в слѹгоуѭштаѧ сначала вм. ѭ было написано ѧ, потому что писец написал сначала слѹгоуѧ, где ѧ правильно. Поэтому можно думать, что случаи смешения ѫ с оу, о и ѧ принадлежали не последнему писцу, а писцу одного из протографов. А в таком случае нет данных, чтобы говорить о начинающемся смешении носовых гласных в говоре последнего писца.

§ 21 »Palatalisierung«. Здесь говорится только о палатальных *l, n, r*; о других палатальных звуках (именно, о *z, s* палатальных и шипящих в славянских словах и *ḱ, ǵ* палатальных в греческих словах) не говорится. Наличие многочисленных случаев необозначения палатальности л, н, ρ в Супр. М. объясняет процессом диспалатализации этих согласных в говоре писца; так как в вост.-болг. говорах палатальность согласных сохраняется лучше, чем в зап.-болг., а между тем говор писца, по мнению М., принадлежал к группе вост.-болг., то это несоответствие М. устраняет предположением, что говор писца относился к западным говорам вост.-болг. группы и соответствовал какому-ниб. болг. говору типа нынешнего говора с. Панагюриште. За то, что случаи, указывающие на диспалатализацию *l, n, r*, внесены последним писцом, а не принадлежат оригиналу, говорит, по мнению М., то, что они встречаются во всей рукописи, и что палатальность при л epenth. после губных обозначается более последовательно, чем в других случаях. Для иллюстрации своих положений М. приводит 42 примера необозначения

палатальности, из них 23 при л и н и 19 при р.[1]) Так как палатальность согласных в Супр. обозначается по бо́льшей части с помощью дужки над буквой, которую очень легко было пропустить при списываньи, а всех случаев употребления л, н и р палатальных в Супр. не менее 5000, то приводимые М-сом примеры совершенно не позволяют делать никаких выводов о звуковом значении случаев необозначения палатальности в Супр. Насколько легко при списываньи пропустить диакритический значок над буквой, знает всякий, кому приходится писать или заказывать себе копии на языках, пользующихся алфавитами с большим количеством диакритических знаков. Самое указание М. на то, что при л epenth. после губных палатальность обозначается последовательнее, тоже не вытекает из приводимых им примеров. В действительности, случаев необозначения палатальности согласных в Супр. гораздо больше, чем отмечено М-сом; тем не менее, выводов, какие делает М., из них сделать нельзя.

М. не говорит о том, чтобы в обозначении палатальности л, н и р были какие-ниб. различия. В § 4, где говорится о знаке палатальности, также не говорится, над какими буквами он ставится. Только в § 70, где говору последнего писца приписывается »Weitgehende Entpalatalisierung«, добавлено: »vor allem nach р«, но из книги не видно, на чём основано это добавление. В действительности же в обозначении палатальности л, н с одной стороны и р с другой в Супр., как и в других ст.-сл. памятниках, существует коренное различие, не замеченное М-сом: знак палатальности, как правило, ставится над л и н из о.-сл. *l*, *n* палатальных и н и к о г д а не ставится над р; гласные ꙗ и ю, употребляющиеся только после палатальных согласных, сравнительно редко ставятся после р; обычно после р из о.-сл. *rj* вместо ꙗ пишется ѣ или а, вместо ю — оу, иногда ү. Это указывает на то, что в литературном диалекте Супр. *r* непалатальное и палатальное этимологически не различались, а тот факт, что над р н и р а з у не стоит знака мягкости, может свидетельствовать о том, что не различались они и в говоре последнего писца. В этом отношении Супр. не отличается от других ст.-сл. памятников ю.-сл. письма. Что̀ касается памятников русского письма, то все они также указывают на ту же орфографическую традицию.

Как обстоит дело с л̑ и н̑? С целью выяснения этого вопроса я пересмотрел статьи Супр. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 23, 28, 32, 36, 38, 41, 45 и 48 (стран. 1—15, 24—54, 68—97, 155—166, 237—251, 254—272, 318—332, 368 - 384, 405—427, 471—479, 508—513, 543—570), т. е. больше $^1/_3$ рукописи (208 стр.).[2]) Результат просмотра следующий. Палатальность правильно обозначена дужкой над буквой (как перед неiотированными гласными, так и перед ꙗ и ю) в № 1—80 раз, в № 3—162 раза, в № 5—61 раз, в № 6 более 90 раз, в № 7 больше 80 раз, в № 12 — раз 50, в № 20—28 раз, в № 21 — более 40 раз, в № 23 более 70 раз, в № 28 более 70 раз, в № 32 — около 90 раз, в № 36—72 раза, в № 38

[1]) Некоторые из этих примеров ошибочны, как напр., примеры необозначения палатальности при ү.

[2]) Стран. 1—268 сверены мною с фотографическими снимками, хранящимися в Московском Историческом музее.

раз 40, в № 41 раз 30, в № 45 раз 17 и в № 48 больше 160 раз, всего в просмотренных статьях приблизительно 1140 раз (440 раз над л и 700 раз над н).

Палатальность правильно обозначена написанием букв ꙗ и ю без значка палатальности в № 1—20 раз, в № 3 более 20 раз, в № 5 около 15 раз, в № 6 раз 20, в № 7—30 раз, в № 12 раз 20, в № 20 раз 12, в № 21 раз 10, в № 23 раз 25, в № 28 больше 20 раз, в № 32—13 раз, в № 36 около 30 раз, в № 38 более 20 раз, в № 41—17 раз, в № 45 раз 7, в № 48 раз 50, всего приблизительно 340 раз.

Случаи необозначения мягкости л, н: № 3: безоумьли 29_{20}, властельскоѥ 43_{6}; № 5: помышлѣѩ 78_{5}, бани 78_{5} (ср. банѣ 76_{17} и др., 3 ра а), начьнѣѣхомъ 73_{9}; № 6: оумышлениꙗ 87_{9}, вышьнѭѭ 88_{5}, доблꙗ 96_{11}; № 7: господьнии 98_{23}, нынꙗшьнѧѩ 98_{27}, на нѧ 110_{3}, нынѣ 112_{23}, диꙗволѧ 118_{10};[1]) № 12: к немоу 155, глаголѫ 165_{22}, зане 165_{9}, № 20: клоучѧ 238_{30}, волѧ 237_{2}, № 21: родительнице 251_{12}; № 23: въчиненомъ 256_{23}, отъ огнѣ 260_{30}, зане 262_{30}, огнѹ 263_{13}, отъ нею 263_{17}, к немоу 265, помьнѫ 265_{12}, № 28: съвъкоуплено 318_{17}, дольнии 322_{10}, книгъı 321_{3}; № 32: неклоучимааго 370_{9}, 378_{2}, вьнѣшьнѭѭ 370_{8}, приклоучьшаѩ 374_{10}, лихоѥмлаи 378_{6}, господьна 381_{4}; № 36: за нь 407_{14}, дѣла 407, ближьнаѩ 411_{25}, вьземлеши 415_{12}, зане $411_{15, 16}$, благодѣтели 417_{3}, стѣнь 417_{26} (ср. стѣнь 417_{27} и др.), господьнѫ 418_{19}, 421_{4}, господьнѧ 419, заколень 421_{30}; № 38: боле 429_{4}, глаголѫ 430_{11}, вьнѣшьнеѥ 430_{28}, заколениѥ 434_{25}, заколеньѥ 437_{2}, пльканиѥ 437_{23}; № 41: книгъчии 272_{9}, вь нь же 472_{22}, вь нѣ (acc. du.) 472_{17}, помышласта 437_{5}; № 45: не приѥмлетъ 510_{1}; № 48: лоубо 547_{4}, владычьни 556_{12}, дальниихъ 559_{10}, огньнѣмь 565_{28}, всего 62 случая, в том числе 6 случаев при *l* epenth. после губных.

Случаи ошибочного обозначения мягкости: № 6:[2]) аггельскъıимъ 97_{5}; № 7: никейскъıи 105_{6}; № 12: погыбѣль 158_{25}; № 25: кльнѫштиимъ 251_{21}; № 32. хоуль 378_{2}, вельми 379_{29}.

Эти данные показывают, что литературный диалект, которому следовал писец Супр., правильно различал палатальные и непалатальные варианты л и н. Различались ли они в говоре последнего писца? Еслибы необозначение или неправильное обозначение палатальности являлось в Супр., главным образом в словах, употребительных в его живом говоре, но мало употре⁻ительных в литературном языке или редких в переписанном им тексте, это говорило бы за то, что писец, недостаточно твёрдо зная правописание этих слов, делал ошибки, потому что в его живом говоре непалатальные и палатальные варианты *l* и *n* не различались. Но отсутствие обозначения палатальности мы как раз находим в Супр. между прочим в словах, встречающихся в тексте очень часто; так, 7 раз палатальность не обозначена у н в косвенных падежах местоимения и с предлогами; в просмотренных много статьях эти формы встречаются с правильным обозначением палатальности не менее 300 раз: писец должен был настолько привыкнуть писать их правильно, что

[1]) к немоу 109_{17} — опечатка издания; в рукописи к немоу.

[2]) В съблазнѣ 70_{16} (№ 5) дужка над н написана новыми чернилами стальным пером.

никакое собственное произношение не могло этому помешать; много раз встречаются в тексте Супр. с правильным обозначением палатальности такие слова, как господьнь, нынѣ, динавола, глаголѫ, зание, огнѣ, огноу, кнпгы, боле и др., которые писец, конечно, умел писать правильно; если писец в написании этих слов тем не менее ошибся около 20 раз, то, конечно, его личное произношение здесь было не при чём. Следовательно причиной необозначения палатальности была только недостаточная внимательность писца, а не его произношение. Можно заметить, что во всех 8 случаях необозначения палатальности у л и н перед ь над этой последней буквой стоит знак придыхания, вообще довольно частый над ь; так как знак палатальности ставится не над согласной буквой, а между нею и гласной буквой, то пропуск его перед ь, очевидно, связан с неудобством постановки двух знаков над одной буквой; обычно (вероятно, не меньше 100 раз) писец сохранял знак палатальности, но пропускал придыхание. В русском Изборнике 1073 года, представляющем ту же систему обозначения палатальности, случаи необозначения её как перед палатальными, так и перед непалатальными гласными чаще, чем в Супр., хотя русский писец, несомненно, отличал в своём произношении *l* и *n* палатальные от непалатальных, по крайней мере, перед непалатальными гласными. Случаи ошибочного обозначения палатальности в Супр. слишком немногочисленны, чтобы делать из них какие-нибудь выводы.

§ 22 „Das epenthetische *l*". Основываясь на том, что случаи с *l* epenth., как заметил Вондрак, к концу рукописи убывают, М. предполагает, что эти случаи перенесены из оригинала, а в говоре писца *l* epenth. отсутствовало. Наблюдение Вондрака не совсем точно: случаи с *l* epenth. распределяются в Супр. очень неравномерно по статьям: наибольшее количество таких случаев приходится на статью № 6, которая, хотя относится к 1-ой части рукописи, но по правописанию сильно отличается от всех статей 1-ой части; далее много примеров с л̑ epenth. — в статьях 4-й и 9-й в первой части и статьях 32 и 40 во второй части; вовсе нет л̑ epenth. в больших статьях №№ 5, 19 и 23 в первой части и в №№ 38, 41 и 44 во второй части. Мнение М., что случаи с л̑ перенесены писцом из оригиналов, мне представляется правильным: эти случаи — не во всех статьях, а только в некоторых (в 33 из 48); употребление л̑ epenth. в некоторых из них связано и с другими особенностями правописания, отличающими их от тех статей, где такое л̑ отсутствует; случаи же без л̑ epenth. — во всех статьях и по большей части значительно преобладают. М. предполагает, что в живом говоре писца *l* epenth. отсутствовало. Это весьма вероятно, но преобладание в Супр. правописания без л̑ epenth. объясняется не из говора писца, а тем, что тот литературный диалект, нормам которого следовал писец, но который мог расходиться с его живым говором, *l* epenth. после губных не знал.

§ 23 „Konsonantenverbindungen". М. рассматривает очень бегло судьбу сочетаний *sk* перед гласными переднего ряда (следовало бы сказать: перед *ě* и *i* из *oį*) и сочетаний *z+c*, *z+š*, *z+ch*, *z+č*, *z+ń*. Сочетание ст < *sk*, последовательно проведённое в Супр., М. считает

более старым, чем сц других памятников, и думает, что *st* было уже в языке переводчика, видя в этом параллель с *st*, из *skj* и *sk* перед старыми палатальными гласными. Что касается *sc*, то оно, по его мнению, явилось под влиянием „других косвенных падежей“ (стр. 64). Но *sc* из *sk* перед *ě* из *oi* получилось в ю.-сл. языках и в начале слова и в сочетаниях с предлогами, где о влиянии „других косвенных падежей“ не может быть и речи. Правда, и в случаях типа исцѣлити, имеющихся во всех ст.-сл. памятниках, могло быть влияние несложных основ типа цѣлити, но для таких случаев, как присцѣпити »прививать« Панд. Антиоха XI в. и др., сцѣгло ю.-сл. памятники XII в. и пр., никакой аналогии подыскать нельзя. Конечно, можно думать, что подобно тому, как *sc* не перед падежными окончаниями очень рано упрощалось в ю.-сл. говорах в *c*, ср. ицѣлити Зогр. и др., так и *sc* перед падежными окончаниями упрощалось в *st*, и только позднее, но до XI в. в силу морфологических причин это *st* вновь заменялось через *sc*. Но чем-ниб. подтвердить такое предположение нельзя. Кроме того, полного параллелизма между сочетаниями из о.-сл. *sk* перед *ě*, *i* из *oi* и сочетаниями из о.-сл. *skj* и *sk* перед старыми палатальными гласными ни в ст.-сл. памятниках, ни в ю.-сл. языках не наблюдается.

Этим § заканчивается характеристика фонетических особенностей Супр. О некоторых особенностях, не упомянутых в §§ 8—23, говорится ниже в § 70.

§ 24 „Die Schreibung von Fremdausdrücken“, особых замечаний не вызывает; замечу только, что соурнѭ = Συρίας нельзя объяснять, как это делает М., из греческого диалектического *i* > *u* по соседству с плавными, потому что ѹ в ст.-сл. памятниках встречается только на месте греч. *ου*, *υ* и *οι*, а не на месте *ι* и притом не только по соседству с плавными.

§ 25 „Formenlehre“ содержит замечания о некоторых характерных для Супр. глагольных формах. Об остальных морфологических явлениях, поскольку они в Супр. не однородны, говорится в §§ 66—70.

§ 26 „Wortschatz“. М. на 12 страницах приводит из Супр. образцы перевода разных греческих слов, в общей сложности несколько более ста, как то названия чинов, должностей, зданий, жилища, одежды и пр. На каждое приводимое им слово славянского перевода указывается только один случай его применения, без оговорки относительно того, как часто и в каких статьях это слово встречается. Что этими образцами М. хочет доказать, не ясно, потому что вопроса о том, в каком отношении стоят словари отдельных частей и статей Супр. друг к другу и к словарям других древнейших славянских переводов и сочинений, он даже не ставит. Начинается § 26 замечанием, что словарный состав староболгарского языка изучен сравнительно хорошо, но все работы по изучению этого состава основаны главным образом на Евангелии, Псалтыри и Апостоле. Это замечание не точно, потому что имеется ряд обстоятельных работ по изучению словаря старославянских переводов других библейских (книг пророков Исаии и Даниила, паримейных чтений из библейских книг, книги Руфь и др.) и небиблейских книг и некоторых писателей IX—X в. (Климента, Иоанна Ексарха

и др.), и тем не менее, нельзя сказать, что словарь старославянского языка изучен хорошо. Приводимые М-сом указания на передачу тех или других греческих слов в Супр. случайны. Так, М. говорит, что для понятия »сосуд« в Супр. употребляются слова съсѫдъ *σκεῦος, ἀγγεῖον, μάγγανον* и ковъчегъ *λάρναξ* и не указаны кръчагъ *κεράμιον* (№ 5), стьклѣница *ἀλάβαστρον,* чаша *ποτήριον,* спѫдъ *μόδιον*; слово *ἱερεύς* переводится не только попъ, свѧтитєль и жьрьць, но и молитвьникъ 358 30; при перечислении названий одежды не указано не раз встречающееся в Супр. слово котыга. Благодаря этому, приведённый М-сом словарный матерьял не позволяет сделать ровно никаких выводов. Вывод же М., что словарь Супр., в особенности её второй части, близко стоит к переводам Симеоновской школы, из матерьяла, приводимого М-сом, непосредственно не вытекает, а основан на работах его предшественников.

Глава 3-я, „Syntax“ (§§ 27—63, стр. 73—148), говорит не о синтаксических особенностях языка Супр., а о способах передачи разных грамматических категорий и синтаксических форм и конструкций греческих оригиналов в Супр., напр., о том, что греческие существительные в Супр. переводятся не только существительными, но и прилагательными, наречиями, глаголами и т. д., что греческому родительному падежу в Супр. может соответствовать не только родительный, но и дательный, греческие формы единственного числа передаются иногда формами множественного числа. Такого рода наблюдения имели бы известную цену, если-бы М. не ограничивался указанием отдельных примеров, а постарался бы выяснить, насколько та или другая передача известного греческого оборота является распространённой, обычной или нормальной для переводчиков статей, входящих в состав Супр. Но такого рода указаний почти нет. По бóльшей части свои замечания о соответствии или несоответствии конструкций славянского перевода греческим М. иллюстрирует лишь немногими, часто одним — двумя примерами, не говоря об их обычности или необычности в Супр. Часто примеры приводятся односторонне; так говорится о присутствии в Супр. форм винительного падежа бѣсъ и сынъ (приведено по одному примеру) и даже делается из того вывод, что переводчики статей, вошедших в Супр., рабски следовали в этом случае греческому оригиналу, и не говорится о таких случаях, как отъгъналъ лѫкаваго бѣса 35 29—36, и богъ бо своѥго си сына поусти 416 21. Благодаря этому чрезвычайно трудно и рискованно делать какие-нибудь положительные выводы из примеров, приводимых М-сом.

Глава 4-я. В § 65, „Scheidung der einzelnen Schichten“ М. доказывает, что Супр. непосредственно списана с кирилловского оригинала, восходящего к нескольким протографам, из которых, по крайней мере, некоторые были глаголические. В пользу кирилловского оригинала говорит, по мнению М., ряд описок, необъяснимых из глаголицы, но понятных, как смешение сходных кирилловских букв. Предположение о кирилловском оригинале Супр. вполне вероятно, но бóльшая часть описок, приводимых М-сом, легко объясняется и без этого предположения. В пользу глаголического протографа некоторых статей, главным

образом, в учительной части, говорят, по мнению М., наличие некоторых из таких статей в глаголическом Клоцовом сборнике и следы глаголического протографа в правописании Супр. Можно возразить М-су, что наличие какого-нибудь текста в глаголическом списке еще не свидетельствует о том, что протограф был глаголический, потому что нам известны примеры глаголических списков с кирилловских оригиналов. Следами глаголического протографа М. считает нередкое написание ѣ в значении ꙗ, начальное ꙗ в слове ꙗште, такие ошибки, Видѣна вм. Видана и мьнѣѣше вм. мьнѣ аште, и, кажется, написание є вм. ѥ. Так как ѣ в значении ꙗ в Супр. встречается только после согласных и послѣ ѣ, то видеть в таком написании указание на глаголический протограф нельзя; приходится предположить такой кирилловский протограф, в котором ꙗ писалось только в начале слова и после гласных, а после согласных — ѣ. Кирилловские памятники с таким правописанием нам известны. Только мьнѣѣше может указывать на глаголический протограф, но не обязательно, потому что существовало и такое кирилловское правописание, в котором и в значении ѣ и в значении ꙗ употреблялась только одна буква ѣ (ср. Хиландарские листки и некоторые средне-болг. и старосербск. памятники). Это правописание восходит к глаголическому, но памятники с таким правописанием могли и не быть списаны с глаголических. Орфография с одним є, без ѥ, известна многим кирилловским памятникам, начиная с Сав. Впрочем, вообще предположение М. о глаголических протографах Супр. само по себе вполне вероятно.

Далее, в том же §, М. повторяет за Лескином, почти не приводя доказательств, что переводчик учительной части плохо знал греческий язык, хуже, чем переводчик житийной части, который не только хорошо знал греческий язык, но и обнаружил хорошее знакомство с библией. На хорошее знание греческого языка, по мнению М., указывает передача греч. *μβ* через мб, а на знание Библии — двойственное число в соответствии с множественным греческого оригинала в цитате из книги проф. Даниила (эпизод о Сусанне), где речь, действительно, идёт о двух лицах. Оба примеры не доказательны. Переводчики X в., конечно, должны были иметь известное представление о греческом произношении; передача *μβ* через мб так же естественна, как передача *γγ* через нг (а в глаголице — через ѥъ и ѥм), *αι* через є, *οι* через ѵ, *ει* через и и т. д.; без такого знания переводчик был бы немыслим; передача *μβ* через мб в старших ст.-сл. памятниках обычна. Употребление двойственного числа в эпизоде о Сусанне показывает, что переводчик знал этот эпизод, и только.

Наконец, М. называет несколько примеров, указывающих, по его мнению, на невежество и наивность переводчика. Сюда он относит каламбур Λусимахъ = опашь лисиꙗ, принадлежащий, может быть, переводчику, может быть, одному из писцов, но во всяком случае не свидетельствующий о незнании греческого языка переводчиком, далее — перевод (совершенно правильный!) греческого названия *ἐν κωμοπόλει* (не собственное имя!) через вь вьсьнѣѣмь градѣ, перевод названия города *Ἑρμουπόλεως* через поуста града, объясняющийся не незнанием греческого

языка, а не слишком хорошим знакомством с географией Византийской империи, и, наконец, искажения слова *πρωτοσπαθάριον*, принадлежащие, очевидно, не переводчику, а переписчикам.

Собственное имя **Копии** в соответствии с *Κόττις* Ватиканского списка в житии Конона (№ 3) М. правильно относит на долю греческого оригинала; действительно, *Κόπης* читается в списке Патриаршей б-ки в Москве.[1])

§ 66 „Die einzelnen Stücke des Suprasliensis" (стр. 155—201), М. указывает индивидуальные особенности правописания и языка каждой отдельной статьи Супр., напр., случаи употребления *l* epenth. после губных, ѣ в значении ꙗ, ѧ вм. ꙗ, є вм. ѥ, є и ъ вм. ь, некоторые морфологические особенности, как напр. instr. sg. f. на -ѫ, стяжённые формы членных прилагательных и имперфектов, причастия прошедшего времени на *jь*, некоторые особенности словаря и т. п. Хотя примеры на то или другое явление указаны не все и почти нигде не говорится об отношении числа примеров, представляющих уклонения от норм литературного языка, к числу примеров, написанных в согласии с этими нормами, всё же сведения, сообщаемые М-сом в этом §, позволяют составить известное представление об индивидуальных особенностях каждой статьи Супр. и потому являются очень ценными.

§ 67 „Martyrologischer und homiletischer Teil". М. различает в Супр. 3 части: 1. жития, 2. слова (Homilien) и 3. дополнительные жития; каждая часть представляет особый перевод. Из житийной части он выделяет № 6, представляющий особый перевод, и №№ 20 и 21. Далее он указывает некоторые морфологические, синтаксические и словарные (последние со ссылкой на Вондрака) отличия текста учительной части от текста житийной части; некоторые из этих отличий, преимущественно морфологических и словарных, указывают, по его мнению, на бóльшую архаичность перевода учительной части; наоборот, синтаксические особенности языка учительной части указывают на бóлее новую стадию языка. Отсюда М. делает вывод, что перевод учительной части старше, но претерпел более изменений под руками переписчиков, так как переписывался несколько раз, пока не попал в руки составителя ближайшего протографа Супр., тогда как для житийной части этот составитель мог пользоваться протографом перевода. Это предположение, само по себе вполне вероятное, не вытекает однако из тех отрывочных данных, какие приводит М.

§ 68 „Die Homilien". В этом, сравнительно большом (стр. 207—221) параграфе М. пытается доказать, что учительная часть, считая в том числе и статьи №№ 6, 20 и 21, входящие в житийную часть, восходит к двум различным сборникам, представляющим различные переводы; из одного сборника, содержавшего слова Иоанна Златоустого и других, взяты статьи №№ 6, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43 и 45, из другого, содержавшего только слова Иоанна Златоуста №№ 27, 30, 33, 34, 37, 44. Первый из этих сборников — *A* — представлял не-

[1]) Изд. Латышевым, Menologii anonymi Byzantini saeculi X qua supersunt. (Petropoli 1911), и мною в Записках Харьковского Университета 1914.

много более старый перевод, чем второй — B —, но дошол, благодаря неоднократной переписке, до редактора ближайшего протографа Супр. в менее исправном виде, и потому в общем часть A в Супр. менее архаична, чем B. От житийной части по языку A стоит дальше, чем B. Так как доказательства, которыми М. подкрепляет свое деление, очень скудны и следить за ними, не проверяя их по тексту Супр., трудно, то от разбора этого § воздерживаюсь.

§ 69 „Die Martyrien (Legenden)". М. доказывает, что вся первая житийная часть (без №№ 6, 20 и 21) переведена одним лицом и с одного греческого оригинала. Таких различий в языке отдельных статей, какие позволяли бы эту часть делить на части, восходящие к разным протографам, указать, по мнению М., нельзя. В общем эта часть, по М., написана исправнее и заключает менее ошибок и искажений, чем учительная часть. Только в конце ее, приблизительно, со стран. 250, М. отмечает ряд описок и написаний, выдающих, по его мнению, диалектические особенности говора писца; М. объясняет это усталостью писца, спешившего кончить первую часть, чтобы перейти ко 2-й. Подобную же усталость писца он отмечает (§ 70) и в конце 2-й части, начиная со стр. 467 до конца, т. е. на протяжении более 100 стр. Предположение об усталости писца, длившейся беспрерывно в течение всего времени, пока писец писал 50 (в конце первой части) или даже 100 стран., мало вероятно: вряд ли писец мог написать 50 страниц в один день; чтобы написать 100 страниц, ему должно было понадобиться не менее двух дней. Усталость писца непременно отразилась бы и на почерке; между тем последние страницы обеих частей написаны так же красиво и чётко, как и остальные. Поэтому особенности правописания последних статей первой части, равно как и последних статей второй части следует объяснять иначе; возможно, что ближайший протограф Супр. был писан несколькими писцами.

Три жития в конце, по мнению М., внесены составителем кодекса, чтобы восполнить пробелы 1-ой части, заключавшей жития не на все числа марта. Доказательств М. не приводит; даже сам подрывает убедительность своего предположения тем, что не подвергает критике дату жития мучеников Херсонских, имеющуюся в Супр. Что эти жития мартовские, несомненно; что они должны были заполнить пробелы и относятся к тем числам марта, на которые нет житий в 1-ой части, весьма вероятно: житие Иакова черноризца в Сирмондианском синаксаре 4-го марта; житие мучеников Херсонских в разных синаксарях 1-го, 4-го, 7-го и 8 го марта; житие муч. Анина — 13, 16, 18 и 19 марта, т. е. все жития приходятся на дни, на которые в 1-ой части Супр. жития отсутствуют, или на дни, соседние с ними. Первое житие Супр. в 1-ой части, отнесённое к определённому дню, — житие муч. Василиска 5-го марта; каким числом было в ней помечено житие Павла и Иулиании, относящееся в месяцесловах обыкновенно к 4 марта, не известно, так как начало утрачено. Далее нет жития на 8 марта, как раз на тот день, в который, по некоторым древнейшим месяцесловам, приходится память мучеников Херсонских; правда, приписка на поле Супр. относит это житие к 7-му марта но её в оригинале, очевидно, не было а последний

писец Супр. мог руководится другим месяцословом; составителем кодекса несомненно, был не он. Между 13-м и 19 марта в Супр. только два жития, оба без начала, и не известно, к каким числам они относились; житиё Анина, таким образом, могло относиться к 16 или 18 марта.

Далее М. замечает, что хотя эти дополнительные жития восходят к другому греческому оригиналу, чем жития 1-ой части, и заставляют, предполагать и другой перевод, но указать в тексте этих житий черты, которые характеризовали бы этот перевод в отличие от перевода житий 1 ой части, нет возможности: язык их не отличается заметно от языка первой части; те особенности языка, которые обьединяют эти жития и отличают их язык от языка 1-ой части, свойственны и последним страницам учительной части, начиная со стран. 467, и вызваны усталостью писца в конце рукописи; это, главным образом, ошибки отражающие живой говор писца, число которых постепенно возрастает к концу. Поэтому для суждения о говоре писца наиболее ценными являются именно эти последние страницы, равно как и последние страницы, 1-ой части, со стран. 250 до 303. Против высказанного некоторыми учёными предположения, что перевод этих трёх житий в конце рукописи более поздний чем остальных, говорит, по мнению М., наличие в них *l* epenth., ѣ вм. ꙗ, и є вм. ѥ.

С утверждением М., что нельзя найти в 3-х последних житиях следов иного славянского протографа, чем для житий 1-ой части рукописи, согласиться трудно. Достаточно характерны в этом случае уже написания ро- в приставке роз-, встречающиеся во всех трёх житиях, и отсутствующие во всей остальной рукописи; случаи эти следует отделять от случаев с о в основе роб-, известной издавна во всех ю.-сл. языках с о.

Так же мало вероятно предлагаемое М-сом объяснение отличия правописания стран. 467—570 от остальных утомлённостью писца. Скорее следует предполагать, что оригинал этих страниц был писан другим писцом. Вообше, вопрос о протографах Супр. должен быть пересмотрен.

Глава 5-я, „Dialekt und Stellung des Suprasliensis innerhalb der kirchenslavischen Überlieferung“, состоит из 3 §§: § 70. „Der Dialekt des Schreibers“, § 71. „Der Supr. im Kreise der ksl. Denkmäler“ и, в виде приложения, § 72. „Die griechischen Vorlagen des Supr.“.

В § 70 М. приписывает говору последнего писца изменение *а* в *о* „в известных словах“ и сближает по этой черте этот говор с одним вост.-болг. говором, описанным Милетичем и знающим подобное изменение. Поводом к такому предположению для М. являются написания основы роб- с о в разных местах рукописи, во всех её частях, приставки роз- с о в трёх последних житиях, окы с о в четырёх последних статьях и 4 раза моностъıрь (в статьях № 25 и 48). Ясно, что иностранное слово моностъıрь на изменение *а* : *о* в говоре писца указывать не может; отсутствие других примеров с о вм. а, кроме основы роб-, повторяющейся много раз, до стр. 508, показывает, что в этом случае нельзя говорить о переходе *а* в *о*, и что его нельзя не связывать с тем фактом, что эта основа во всех нынешних ю.-сл. языках

является тоже с гласной *o*; написание роз- только в трёх последних статьях, где нет других примеров с о вм. а, кроме слова окы, тоже говорит за то, что и здесь мы имеем дело не с говором писца, а с особенностью, перенесённой из оригинала, и что здесь не *o* из *a*, а *ro* из о.-сл. *or*. Слово окы, не встречающееся в остальной рукописи, тоже вряд ли принадлежит последнему писцу и, несомненно, *o* в этом слове не стоит ни в какой связи с о в роз-, роб- и монастырь. Упоминание М. об изменении звуков „in bestimmten Wörtern", кроме того показывает не совсем ясное представление М. о фонетических изменениях.

Далее М. приписывает говору писца диалектическое изменение *y* в *i* (ср. § 13).

Подробно останавливается М. на случаях написания в Супр. є вм. ь. По его мнению, эти написания не отражают говора писца, а перенесены из оригинала; в говоре же писца ь сильное после шипящих и в некоторых других положениях изменялось в ъ. Своё мнение М. основывает на том, что є вм. ь в корне слов встречается в первой части, написанной, как он думает, более внимательно, а дальше только в основе шєд- и в суффиксах и то очень редко, что в конце 1-ой и 2-ой части, где писец уставал и потому чаще выдавал свой говор, є вм. ь почти не встречается, а ъ после шипящих очень часто; притом ъ после шипящих — во всей рукописи. Действительно частое є вм. ь на первых 250 страницах и почти полное отсутствие его на следующих 320 стран. трудно понять, если считать эту черту отражением говора писца, но и предположение об усталости писца в конце обеих частей не доказано. Колебания писца в написании ь, ъ и є в одних и тех же словах никак не свидетельствуют о бóльшей исправности и внимательности писца в 1-ой части, чем во второй, где в правописании тех же слов меньше колебаний и больше последовательности. ъ вм. ь после шипящих, вероятно, принадлежит тому литературному диалекту, нормам которого следовал сам последний писец или писец его ближайшего протографа; было ли то же и в живом говоре последнего писца, сказать трудно.

Далее М. предполагает, что носовые гласные в говоре писца сохранялись и только после носовых согласных, по крайней мере, в сочетаниях типа ноуд- теряли носовой элемент, а примеры деназализации в других положениях могли быть перенесены из оригинала. Не известно, как это предположение согласовать с его же обьяснением ь в мьчими, как указания на изменение ѫ в ь в говоре писца.

Из морфологических черт говору последнего писца М. приписывает part. praet. с суфф. -в- от основ на *-i* и стяжённые формы имперфекта и местного пад. ед. ч. прилагательных. Эти случаи следовало бы различать: part. praet. с -в- настолько преобладают в Супр., что их следует считать принадлежностью того литературного диалекта, нормам которого следовал сам последний писец или писцы его ближайшего протографа; еслибы эти формы принадлежали только языку писца, а в литературном языке отсутствовали или были мало употребительны, писец не мог бы употреблять их так часто. Вопрос же о том, были ли в говоре писца только part praet. с *-v-* или же только с *-jь* или же

и те и другие, не так ясен. Наоборот, стяженные формы имперфекта и прилагательных попадаются в Супр. не так часто, и можно думать, что они не соответствовали нормам литературного языка и внесены писцом из своего говора.

В конце § 70 М. делает сводку тех черт, которые, по его мнению, можно приписывать говору писца. Эти черты: „1. Gespanntes ѣ schwindet..., 2. Weitgehende Entpalatalisierung, vor allem nach ρ..., 3. Fehlen des epenthetischen *l*..., 4. Zusammenfall von ъ und ь in starker Stellung in ъ, vor allem nach ш, ж, ч..., 5. Wandel von *y* und *i*, wenigstens in Spuren..., 6. Wandel von *a* zu *o* in bestimmten Wörtern..., 7. Kontrahierte Lokativformen des bestimmten Adjektivs..., 8. Kontrahierte Imperfekta..., 9. Participium Praeteriti der 4. Verbalklasse auf -к-"; следующие черты он приписывает этому говору с меньшей уверенностью, считая возможным также и то, что они перенесены из протографа или возникли графически: „10. Die anzunehmende Aussprache des ѣ als *ea* oder *'a*..., 11. Wortformen vom Typus ноүд-..., 12. Beginnender Wechsel der Nasalvokale..., 13 Wandel von ѫ zu ь..., 14. Wandel von оү zu ү = и nach н".

Перечисленные черты указывают, по мнению М., на один из ю.-зап. говоров вост.-болг. наречия, ближе к границам зап.-болг. наречия, более или менее соответствовавший нынешнему говору с. Панагюриште. Но, как указано выше, нет оснований приписывать говору писца Супр. черты 5, 6, 10, 12, 13 и 14; черта 2-я определена неверно: можно говорить только о диспалатализации *r* и *s* палатальных, но не *l'* и *ń*, да и то не в говоре писца, а в том литературном диалекте, нормам которого писец следовал; тому же литературному диалекту могло принадлежать изменение ь после шипящих в ъ (черта 3-ая), но говорить о совпадении ъ и ь после других согласных в одном звуке ъ в говоре ли писца или в его литературном диалекте, правописание Супр. права не даёт. Черты 1, 4 и 9 могли принадлежать тому же литературному диалекту. В виду высказанных соображений приуроченье говора последнего писца Супр. к с. Панагюриште следует считать по меньшей мере необоснованным.

Определение говора последнего писца являлось главной задачей М. Такая постановка вопроса представляет нежелательное сужение задач исследования. Выяснение норм литературного языка, которыми руководились писцы, не менее важно, чем тех диалектических черт их говора, которые этим нормам не соответствовали, и которые писцы вносили ненамеренно.

В § 71 М. подводит окончательные итоги своей работы. Эти итоги сформулированы им на стран. 246—247 в следующих словах: „Für den Suprasliensis aber dürfen wir am Ende wohl behaupten: die Originalübersetzungen sind entstanden in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts,[1]) in mehrere Gruppen mit deutlich variierendem sprachlichen Charakter, glagolitisch geschrieben, und zwar durchgehends von Bulgaren.

[1]) Здесь очевидная обмолвка: или *ersten* вм. *zweiten*, или *neunten* вм. *zehnten*.

Die durch verschiedene Hände gegangenen Abschriften wurden zusammengefaßt in einen Codex von einem Redaktor, gleichfalls einem Bulgaren. In der uns vorliegenden Gestalt ist der Codex kopiert um 1010 von einem gewissen Retъko im westlichen Ostbulgarien, wohl an den Südabhängen des Balkangebirges, etwa in der Gegend von Panagûrište".

Никаких доказательств в пользу того, что переводы статей, входящих в Супр., были сделаны во 2-й половине IX в. или в 1-ой половине X в., М. не приводит. Доказательств того, что переводы были написаны глаголицей, тоже нет. Дата „1010" совершенно произвольна: нигде во всей книге нет никаких соображений относительно времени написания Супр. Относительно места написания см. замечания по поводу предыдущего §.

В § 72 дается список греческих текстов, которые могли бы быть оригиналами статей Супр. Указаны не только изданные, но и неизданные тексты. Есть добавления по сравнению с аналогичным списком Абихта. Не указаны источники только для 7 статей — №№ 10, 12, 17, 37, 41, 47 и 48.

Москва. *Николай Дурново.*

Karl H. Meyer, **Untersuchungen zur Čakavština der Insel Krk (Veglia).** (Slavisch-baltische Quellen und Forschungen, herausgegeben von R. Trautmann. Heft III.) Leipzig, H. Haessel, 1928. 8°. 135 str., cijena vezanoj kńizi 8 zlatnih maraka.

Ovo je druga Meyer-ova studija o čakavskom dijalektu otoka Krka; on je naime već u 40^oj kńizi *Archiv*-a *für slav. Philologie* publicirao članak *Beiträge zum Čakavischen*, u kojemu je iznio rezultate svoga proučavańa čakavskoga dijalekta kako se govori u selu ńivice na Krku, od čega je sigurno najvažnije to što je otkrio i sasvim jasno formulirao zakon o refleksu praslavenskoga *ě* u tome dijalektu; pa smatram zato svojom dužnosti da i sa svoje strane izjavim da je M. taj zakon sasvim samostalno otkrio, ne znajući nikako da ga je L. Jakubinskij iznio u I. kńizi od *Zeitschrift für slav. Philologie*, koja je izašla dok je M. bio još na Krku i za koju je on saznao tek od mene u Zagrebu kad se vraćao kući. Dok se je dakle u svojoj prvoj studiji M. ograničio na to da dade instruktivan pregled dosadašne literature o čak. dijalektu i sumaran, ali u glavnim crtama opet potpun opis govora *jednoga* mjesta na Krku, on je ovom drugom studijom htio dati mnogo više — dijalekatski pregled cijeloga otoka i odnos doslije publiciranih starijih jezičnih spomenika, za koje se zna ili može s razlogom misliti da su pisani od Krčana, prema sadašńemu stańu narodnoga govora na Krku.

Moram iskreno reći da ni prvi ni drugi dio ove M-ove radńe ne zadovoļava — prvi je previše skučen a drugi je previše razvučen, a nepotpuni su obadva. U prvome dijelu, — poslije I. glave (str. 5—25), u kojoj su važniji podaci o čak. dijalektu, o ńegovu zemļištu i stanovništvu, o starijim čak. spomenicima i o literaturi što se bavi čak. dijalektima, — dvije su glave koje se još bave sadašńim krčkim govorom: II. »Die heutige mundartliche Gliederung der Insel Krk« (str. 26—48),

i III. »Ikavismus und Ekavismus auf Krk« (str. 49—71); u drugom se pak dijelu M. bavi fonetikom krčkih poveļa od g. 1110—1495 (str. 72—95), časoslova Vida Omišļanina od g. 1396 (str. 96—109), vrbańskoga Statuta po prijepisu iz XVI. vijeka (str. 110—126) i dobrińskih notarskih spisa od g. 1603—1641 (str. 127—132). Po mojemu mišļeńu pregled jezičnih osobina cijeloga otoka previše je skučen: M. naime nije se osvrtao na cijeli kompleks jezičnih pojava, dakle na narodni govor kao jednu cjelinu, nego je izabrao 10 fonetskih osobina, pa je za svako mjesto i za svako i najmańe selo na Krku tražio i biļežio kako se odnosna osobina u ńemu reflektira. Istina, M. je uzeo gotovo same važne i karakteristične pojave (ъ-ь [koje on, ne znam zašto, zove »*bedingte* Vokale«], *trt*, *tlt*, *-l*, *ļ*, *g*, *vъ*, *stj*, miješańe *s-z-c* sa *š-ž-č* i akcenat), ali opet čini mi se da je opasno ograničiti se na nekoliko fonema kada se hoće, kako što M. čini, dijeliti neka geografska cjelina, u našemu slučaju otok Krk, na nekoliko mańih geografskih česti. Može li on jamčiti da ta ńegova dioba ne bi, bar od česti, drukčije ispala kad bi se uzele u obzir sve jezične pojave? Tu slabu stranu svojega rada rekao bih da uviđa i sam M., jer on iskreno ispovijeda da je došao na Krk s popisom od gotovo 200 pitańa (str. 26), pa ga je tek na licu mjesta sveo na spomenutih 10 tačaka. Zato se meni čini da ńegova dioba krčkoga govora na 15 narječja ima samo relativnu vrijednost, dok je vrlo lijepa tekovina za srphrv. dijalektologiju što je M. savjesno i tačno označio izoglose bar za tih 10 fonetskih pojava i grafički ih prikazao na priloženoj karti, na kojoj bih ja ipak volio da su te izoglose označene raznim bojama ili, kako znam da su take boje skupe, raznim brojevima. Isto je tako dobra tekovina i glava o ikavskom i ekavskom izgovoru, koju je M., lako se razumije zašto, osobito detaļno i rekao bih s ļubavļu izradio: tu je on na temeļu govora cijeloga otoka i članaka u etnografskom *Zborniku* Jugoslav. akademije napisanih krčkim dijalektom utvrdio svoj zakon o tome izgovoru, — ako je samo, za kratko vrijeme što je bio na Krku, stigao da taj izgovor konstatira u svim slučajevima i u svim mjestima. Svakako, ma koliko nam dobro došle izoglose za 10 fonetskih pojava i utvrđeni zakon o izgovoru praslavenskoga *ě*, ja opet mislim da bi bilo boļe kad M. ne bi stegao svoje istraživańe samo na tih nekoliko pojava nego bi dao potpunu sliku dijalekta, a pošto to, za kratko vrijeme svojega boravka, nije apsolutno mogao dati za cijeli otok, bilo bi, po mojemu mišļeńu, boļe da se stegao na jedan ńegov mańi dio, ali zato dao potpunu sliku ńegova govora. Ovako neugodno dira što za razne pojave iz raznih mjesta daje samo po par primjerâ koji se ponajviše ponavļaju; naročito pak žalim što je o akcentu vrlo malo kazao a o kvantitetu ništa; a kako je opasno operirati samo s nekoliko primjerâ, vidjećemo odmah kod jedne od najkarakterističnijih pojava.

Naprotiv drugi, historički dio (tako zovem glave IV—VII) preširok je: M. se je tu upuštao, ponajviše (ali ne uvijek!) opet samo u pogledu onih svojih 10 tačaka, u proučavańe starijih spomenika, iznoseći pri tome ne samo, što je opravdano, koliko se oni slažu ili ne slažu sa sadašńim govorom, nego i potanko iznoseći n. pr. kako i gdje oni pišu ili ne pišu ъ-ь, pod kojim uvjetima imaju, mjesto »uvjetnih« vokala, *a* a gdje ga

nemaju itd., — jednom riječju daje mnogo toga što s izoglosama i narječjima prvoga dijela nema nikakva posla. Time je on napunio baš polovicu teksta (61 stranu od 128), dok se ono što je s te strane zbiļa u vezi sa zadaćom koju je M. sebi postavio u prvome dijelu, moglo kazati, ja bih rekao, na kakvih 20 strana. Meni je žao što se M. i u tome pogledu pošteno namučio idući preko granica što je sam sebi postavio, jer je opet i taj ńegov posao polovičan: on je ipak time dao nepotpunu studiju o jeziku tih spomenika, pa ko ih htjedne upotrijebiti, koliko se može i mora, za srphrv. dijalektologiju i za historiju srphrv. jezika uopće, taj će opet morati temeļito proučiti te spomenike.

Uvodna glava je savjesno sastavļena i jasno izložena, pa tu bih imao samo par stvari da prigovorim. Moglo se je bar spomenuti (str. 5) da ima slavistâ, tako na pr. prof. Maretić u Zagrebu, koji srphrv. jezik dijele na četiri a ne na tri glavna dijalekta. Nije mi pak jasno što M. misli pod »Altserbien« (str. 5) kad kaže da se srphrv. ќiževni jezik osniva na štokavskom dijalektu kako se govori u Bosni-Hercegovini i »in Altserbien«; to neće biti negdašńa »Stara Srbija« iz turskoga vremena nego »stara Srbija« prije g. 1877. Ne mogu također pristati uz izreku (str. 13) da zapadnu (a trebalo bi reći sjevernozapadnu) granicu čak. zemļišta sačińava »eine Reihe von slavisch-italienischen Mischidiomen«; na toj zapadnoj granici (koja inače teče ne samo kroz Istru nego i među Hrvatskom i Krańskom) takih mješovitih slavensko-talijanskih dijalekta nema, već ako se tim imenom zovu slavenski govori u kojima ima vrlo mnogo pozajmļenih talijanskih riječi, ali tada takih dijalekta ima niz cijelo Primorje do Dubrovnika inkluzivno. Iz literature o čak. dijalektu izmakle su M-ru dvije omańe stvari koje su mu lako mogle ostati nepoznate: Kušarev članak »Lumbaradsko narječje«, to jest narječje sela Lumbarde na otoku Korčuli, u III. ќizi »Nastavnoga Vjesnika« (Zagreb 1895) i Jagićev referat u I.^{oj} svesci »Vorläufige Berichte der Balkan-Kommission« (Beč 1900) o naučnom putovańu Dra J. Aranze po čak. krajevima sredńe i sjeverne Dalmacije. Ali ne razumijem kako je M. mogao zaboraviti oba Oblakova članka u XVI. ќizi Jagićeva *Archiv*-a o refleksu poluvokalâ i vokalnoga *l*, koji su doista namijeńeni južnoslav. dijalektima uopće, ali u kojima ima tako važnih konstatacija baš specijalno za neke krčke govore; osobito je pak važno što je tu (str. 172—174) Oblak i protumačio kada u ńima za poluvokal ima *e*, odnosno *o*, a kada *a* — ono prvo u kratkim ili kasnije produženim slogovima a *a* u (sa srphrv. stanovišta primarnim) dugim slogovima. Od te razlike nema u M-ra ništa, pa bi trebalo po ńemu reći, gdje se na pr. u nom. sing. govori *otèc* ili *otòc*, da se i u gen. plur. govori tako sa *e-o*, dok se uistinu govori *otác* sa *a*: jedino za Omišaļ uz *otèc*, *pès*, *denès* itd. M. biļeži, gotovo bih rekao kao izuzetak (»dagegen«), *dân* i *pakâ* (/ *pъklъ*), dok je *dân* sasvim normalno, kao što je i *šê* (*šьlъ*) 31 sa sekundarnom dužinom (isp. *-šèl* 36), a to je jedini primjer s dugim refleksom poluglasa što ga M. još ima za ove govore; *pakâ* (mjesto kojega Oblak ima baš za Omišaļ *pakâl*) naprotiv ne odgovara Oblakovu zakonu ni prvim ni drugim *a*, jer je prvi slog kratak a drugi ima sekundarnu dužinu pred završnim sačuvanim *-l* ili pred iščezlim *-l* (isp. *pakàl* 42), s čega Oblak

misli da je taj izgovor preuzet iz južnoistočnih krčkih govora gdje je *a* normalni refleks poluvokala, dok ja mislim da je to naprosto preuzeto iz glagolskoga crkvenoga jezika gdje se također poluglasi izgovoraju kao *a*.

Naročito je pak crkveni izgovor utjecao na starije krčke spomenike, pa je M. sasvim tačno tim uticajem tumačio što u ńima ima tako malo tragova živoga domaćega jezika, osobito u pogledu refleksâ za poluglase i grupe *trt-tlt*; ali pri tome se nije dotakao pitańa odakle je na Krk došao taj izgovor crkvenoga jezika koji ne zna za specijalno krčke reflekse *e-o* za poluglase, *e-el-o* za grupu *tlt*, pa i *er* za grupu *trt*. Da bi to moglo dolaziti iz južnozapadnih sela na Krku, ne mogu vjerovati, jer se ti specijalno krčki refleksi nalaze u govoru baš onih mjesta na Krku (Omišaļ, Dobriń, Vrbnik) u kojima se glagolska »kńiževnost« mnogo jače gojila negoli u ostalim mjestima, s čega ja mislim da je taj crkveni izgovor, koji je i na Krku postao kńiževnim, došao na Krk iz hrvatskoga Primorja, naročito iz stare glagolske biskupije seńske. A što M. samo za Vidov časoslov uzimļe (str. 102) da ima dosta često prema omišaļskom govoru *e* mjesto poluglasa, to neće biti tako: prije svega moraju se odbiti svi fleksivni završeci *-em* i *-eh* kod osnova na *i*, jer se oni nalaze u svim starijim srphrv. spomenicima, dakle i u štokavskim gdje ne može biti govora o zamjeni poluglasâ vokalom *e*; oblik pak *dešti* za staroslav. *dъšti*, a tako i oblik *semrti* (< *sъmrьti*), što ga spomińe M. (str. 73) iz jedne dobrińske poveļe, a koji će se vaļada naći i u neizdanom dijelu Vidova časoslova, nemaju nikakva posla s krčkim izgovorom poluglasa, jer se oba nalaze u raznim starijim glagolskim spomenicima iz raznih krajeva, te predstavļaju, po mojemu mišļeńu, posļedńe tragove starijega glagoļaškog izgovora iz vremena kada se poluglas u čak. govoru nije još pretvorio u čisto *a* nego je još naličio muklomu (reduciranomu) *e*, pa se je zato mogao sačuvati u ta dva oblika što nijesu bili narodni (u narodu se govorilo uvijek samo *kći* i *smrt*), u kojima dakle narodno *a* nije moglo zamijeniti starije kńiževno *e*.

Možda će se ko čuditi da baš ja ovako sudim o ovome M-rovu radu, kad on na posļedńoj strani zahvaļuje da sam mu kod ovoga posla pomagao svojim savjetom kad god ga je od mene zatražio; ali to je neka zabuna: ja sam mu nešto malo pomagao kod ńegove prve studije, ali kod ove druge nijesam nimalo, jer on nije trebao ni mojeg savjeta ni moje pomoći.

M. Rešetar.

Dr. Václav Vážný, **Čakavské nářečí v slovenském Podunají.** (Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě, roč. V, č. 47[2]). V Bratislavě 1927. 216 (121—336) str.

Ovo je druga studija prof. Vážnoga o govoru hrvatskih kolonista u Slovačkoj. Tamo su se naime, pa u Moravskoj i u Donjoj Austriji, sačuvale do današńega dana najsjevernije hrvatske kolonije što su se nanizale od Mure do Dunava uz negdašńu zapadnu granicu Ugarske, a potječu od izbjeglica što su se pred pritiskom turskim tamo sklonili ponajviše u drugoj polovici XVI. vijeka. U Slovačkoj one sačińavaju dvije male grupe, obje nedaleko od Bratislave: prvoj pripada samo selo *Horvatský Grób* (jer ima blizu ńega i *Slovenský Grób*) sjeveroistočno od

Bratislave, a drugoj zapadno od toga grada, u samom uglu među Dunavom i Moravom, *Děvínská Nová Ves* i *Dúbravka*. Ali do početka XVIII. vijeka bilo ih je više: opet sjeveroistočno od Horv. Groba bile su, kao treća grupa, *Velké i Malé Šenkvice* i *Šarfia* a k onoj drugoj zapadno od Bratislave pripadala su još četiri sela — *Děvín, Lamač, Bystrica* i *Mást*. Ta su se posļedńa sela tečajem XVIIIoga i XIX. vijeka sasvim poslovačila, tako da je V. još samo u Lamaču našao jednog starca od 81 godine koji je još umio da razgovara srpskohrvatski; Děvín pak, što su ga hrvatski kolonisti već g. 1544 naselili, regbi da se je nešto ranije pretvorio u ńemačko-mađarsko mjesto, iako se i on još g. 1654 spomińe kao hrvatsko. Inače i u obje prve grupe proces slovačeńa jako napreduje: kolonisti govore doista u svojim kućama i među sobom srpskohrvatski, ali svi, a naročito odrasli ļudi, umiju i da govore slovački, pa se razumije samo sobom da u novim političkim prilikama slovački će jezik sve više potiskivati stari domaći; naročito se čini da se domaći jezik gubi u sasvim izolovanom Hrv. Grobu, jer V. kaže da u ńemu djeca već boļe govore slovački negoli srpskohrvatski. I tako, nema sumńe, i ovih će jezičnih oaza skoro nestati — oficijalno su već i nestale: popis naroda od g. 1921 nije više našao ni u jednom od tih sela ni jednog Hrvata; naravski, ne mislim nikako da je to učińeno sa zlom namjerom od strane organâ što su tamo popisivali narod, nego su se sigurno sami tamošńi Hrvati izjavili Čehoslovacima, da time pokažu svoj patriotizam; ali opet bilo bi boļe da se baš s oficijalne strane pripazi na to, da se u pogledu ovako bezopasnih mańina, kao što su Hrvati u Slovačkoj, prikaže pravo stańe stvari, jer se inače samo sobom nameće pitańe, nije li se, bar od česti, tako postupalo i s jačim mańinama koje mogu biti ili zbiļa jesu opasne?

Bilo je dakle skrajńe vrijeme da ko uhvati sliku staroga govora ovih kolonista prije nego se sasvim ugasi kao što ga je dobrim dijelom već nestalo, pa zato treba da smo iskreno zahvalni prof. V-omu što se je on latio toga posla, a da se veselimo što ga je i dobro svršio. On je već g. 1925 u monografiji Ant. Václavíka *Podunajská dedina* na str. 109—176 opisao govor sela Hrv. Groba: o tome ńegovu radu ovdje ću samo napomenuti da nije baš tačno da je taj govor, kako ga V. zove, jedno k a j k a v s k o narječje: tako se može doista zvati po tome što u ńemu ima zbiļa samo *kaj* a nema nikako *ča*, ali inače to je u glavnome č a k a v s k o narječje, jer ima redovno *i* za *ě*, *a* za poluglase, *u* za *ǫ*, infinitiv sa *ću* (< *hoću*) za buduće vrijeme u glavnim rečenicama itd.; ima doista uz *kaj* i nekih drugih kajkavskih osobina: *č* mjesto *ć*, *l-n* mjesto *ļ-ń* itd., ali svakako čakavski su elementi mnogo pretežniji, tako da se po svemu može kazati da su se Grobļani doselili odnekud s čakavsko-kajkavske granice, možda iz karlovačke okolice ili iz Gorskoga Kotara u Hrvatskoj gdje ima sličnih „kajkavskih" govora. V. tvrdi da se istim dijalektom kojim se dandanas još govori u Grobu govorilo i u Šenkvicama, ali ne kaže odakle on to zna; možda se čuva o tome tamo tradicija, premda bi tvrdńa da se je u Šenkvicama „govorilo kao u Grobu" mogla samo značiti da se je i tamo govorilo s r p s k o h r v a t s k i, a ne da se je govorilo i s t i m srphrv. dijalektom; Šenkvice su Grobu g e o g r a f s k i doista bliže negoli mu je druga „podunavska"

grupa, ali bi opet moglo biti da su j e z i č n o ipak bile bliže ovoj posljedńoj, jer to naravski zavisi o tome odakle su došli u ova sela prvi hrvatski kolonisti, a to baš nije nam poznato.

U ovoj drugoj svojoj studiji V. opisuje govor podunavske grupe što ga je proučio u samim kolonijama, pri čemu su mu mnogo pomagali i neki ńegovi đaci iz onih mjesta, a mogao je upotrijebiti za svoj posao i govor onog jedinog starca u Lamaču koji je još umio da govori srpskohrvatski. I ova ńegova studija, kao i prva, posao je vrlo savjesnog radnika koji je u slavenskoj gramatici dobro spreman; poznate su mu i sve glavnije starije studije o raznim čakavskim dijalektima, pa je vrlo dobro što on uvijek ispoređuje glavnije osobine podunavskog dijalekta s ostalim čakavskim govorima. Sa strane starije literature imao bih samo da prigovorim što se za „gradišćanske" (burgenlandske) čakavske dijalekte nije radije obazirao na Nakovićeva *Jačkara* mjesto na Kurelčeve *Jačke*, jer je Naković svakako mańe mijeńao tekst negoli Kurelac, iako tekst obojice ne prikazuje sasvim vjerno lokalni govor, jer obojica imaju same pjesme.

V. nam je dao ovim svojim radom jedan od boljih i potpunijih opisa jednog srphrv. dijalekta, — opsegom možda najkrupniji; V. je naime dao ne samo cijelu gramatiku nego i a k c e n t o v a n i h tekstova i opsežan a k c e n t o v a n i rječnik, za koji on izrijekom kaže da je nastojao da u ń uđu s v e r i j e č i, domaće i pozajmljene, koje se sada još govore. Tako je ovaj ńegov rječnik najpotpuniji specijalni čakavski rječnik, kojemu još veću vrijednost daje to što je V. pred samim rječnikom dao obilne grupe riječî što se tiču istoga konkretnog ili apstraktnog područja, a zatim i grupirao pozajmljene riječi prema ńihovu porijeklu; šteta što V. nije na isti način na jednom mjestu pokazao uticaj slovačkoga na ovaj govor nego je to rasuto na pojedinim mjestima gdje se u gramatici taj uticaj pojavlja. U koliko je rječnik zbilja potpun, ja dabome ne mogu znati, a nijesam ni kontrolovao jesu li u ńemu sve riječi što ih sam V. iznosi pred rječnikom; samo sam slučajno opazio da u ńemu nema ***gȑmī***, ***grȗom*** (str. 148), ***muòdar*** (str. 171), ***pòtrestan*** (str. 208), ***stròmi*** (str. 210), ***hráza*** (str. 252).

Vrlo je dobro što je V. dao i nešto tekstova, i to, što je opet najbolje, najprije nekoliko pričâ koje su od početka do kraja akcentovane, a zatim i nekoliko pjesama, za koje je zabilježena i melodija; ali s te strane moram reći da bi za ńegovu studiju, koja je u prvome redu lingvistička, bilo mnogo bolje kad bi se od upotrijebljenog prostora najmańe za $^2/_3$ uzelo za prozu a najviše za $^1/_3$ za pjesme, jer baš za proučavańe nekog govora, kako je dobro poznato, pričańe je mnogo sigurnije svjedočanstvo od pjevańa; V. je naprotiv dao više od $^2/_3$ prostora pjesmama a samo ni punu $^1/_3$ prozi. A pjesme su velike skitalice, pa često imaju štošta čega u mjestu, gdje se slučajno čuju, nikako nema; ja neću nikada zaboraviti kako sam se začudio kad sam prvi put čuo govoriti čisto čakavski ljude iz Pazina u Istri, dok su bile gotovo čisto štokavske neke pjesme što su pod firmom „iz Pazina" štampane u poznatoj zbirci istarskih narodnih pjesama izdanoj od *Naše Sloge*. Istina, pjesme pjevane u podunavskim kolonijama nijesu mogle tamo doći iz kojeg drugog srphrv.

kraja, a u jeziku ne pokazuju jači uticaj slovačkog jezika; ali zato, baš jer su pjevane, V. ih nije mogao akcentovati. Za e t n o g r a f a je naprotiv vrlo važno što je V. zabiļežio i melodije tih pjesama; samo što bi trebalo vidjeti jesu li te melodije donesene iz stare postojbine, ili su preuzete od slovačke okolice a pod ńih je samo podmetnut, više ili mańe srećno, tekst stare domaće, ili možda i nove *ad hoc* sastavļene pjesme.

Najveći je dio studije naravski posvećen gramatičkomu opisu podunavskoga govora, pa mi je milo što sam mogao konstatovati da je V. time dao solidno izrađenu i, koliko mogu suditi po objavļenim tekstovima, potpunu sliku toga govora, zgodno ispoređujući glavnije ńegove osobine sa sličnim u drugim čakavskim govorima, a ponajviše i tačno tumačeći one između tih osobina kojima se taj govor odlikuje od ostalih čakavskih. Uopće mi se samo čini da se je V. kod toga previše obazirao na praslavenske prilike, te tako često stvar izgleda mnogo zamršenije negoli upravo jest; tako on tri puta ponavļa (str. 139—142) da u podun. govoru može biti u dugim slogovima diftong *i̯e* i za praslav. *ě* i za *e* i za *ę*, dok se moglo jednom kazati da *i̯e* stoji mjesto srphrv. dugoga *e* ma kojeg porijekla, dakle pojednako i *bi̯el* i *či̯èšal'* i *pi̯eta*; isto se tako moglo ukratko reći da mjesto dugoga *o*, ma kojega etimološkoga porijekla, ovaj govor ima (dugi) diftong *u̯o*. Ili, što treba kazati (na str. 145) da *a* stoji: 1. za praslav. *a* n. pr. *bába* itd.; 2. u praslav. grupama *tort-tolt* n. pr. *bláto* itd., dok je bilo dosta reći da se uopće srphrv. *a* ne mijeńa. Od takoga razvrstavańa slavista nema ništa, a ko nije slavista za ńega ne može imati interesa a ponajviše ni pravoga shvaćańa. Isto tako nema smisla da se navode stvari što se same sobom razumiju; tako govoreći n. pr. o kongruenciji (str. 210) trebalo je dabome kazati da sa subjektom u množini s r e d ń e g a roda atribut i predikat idu u množini ž e n s k o g a, n. pr. *náše vráta su stáre*, a i to da u ženskom rodu idu i kada subjekt u množini muškoga roda znači nešto neživo, n. pr. *su to bîle tákove stáre stròmi*, ali kojega smisla ima formulirati dva zasebna pravila, i potvrditi ih primjerima, da se naprotiv govori n. pr. *támo su bîli vȑli kòńi* i *črîšńe su bîle zri̯ele*? Jer inače trebalo je da nas V. i umiri da se govori i *otac je dobar, mati je dobra, selo je bogato*; mjesto dakle da navodi stvari što se mogu same sobom razumjeti, bilo bi n. pr. u ovom konkretnom slučaju mnogo korisnije da nas je V. obilnijim primjerima uvjerio da su te, za srphrv. jezik inače neobične kongruencije zbiļa redovne a da nijesu sporadične pod uticajem susjednih slovačkih dijalekta. Izbacivši dakle taj suvišni naučni balast, moglo se dosta više prostora namijeniti detaļnijemu izlagańu karakterističnih podunavskih osobina, ili još boļe prošireńu tekstova u prozi. Tako bi i sam V. za gramatički, a naročito za sintaktički dio svoje studije imao i više materijala, jer za rečenice regbi da on gotovo nije imao druge građe osim one što su mu pružale one nekolike priče što je sam izdao. Uopće „Ukázky ze skladby" (str. 209—220) donose same obične stvari iz srphrv. (i opće slavenske) sintakse, a novo je samo to, da upitna čestica *li* stoji u početku rečenice, n. pr. *lì si ga vidil?* (str. 216).

V. najprije kaže u uvodu (na str. 123—136) nešto o ovim podunavskim Hrvatima, niže karakteristične osobine ńihova govora i daje

ukratko računa o tome kako je svoj posao svršio. Po karakteristici koju je V. dao (a koja je inače mogla biti mnogo kraća i ograničena na nekoliko glavnijih crta), vidi se da se ovaj put zbiļa radi o čakavskom ikavsko-ekavskom dijalektu, koji se u glavnome dobro slaže s čakavskim govorima iz hrvatskoga Primorja. Naprotiv u toj karakteristici, a ni daļe u fonetici, nije dosta jasno kazano pod br. 1 (str. 129) kako stoji s osobito važnim refleksom praslav. grupe *dj*. Pravilo regbi da je *j*, ali ima i *d'*, samo što ne znamo dokle ide to *d'*: na str. 129 V. navodi samo ove primjere *ȓd'a, tvȓd'i, ròd'āk* a na str. 158 u gramatici, na koju se na str. 129 poziv]e, nalazimo samo „*ȓd'a, ȓd'av, sûd'en* atpod.“ i opet *ròd'āk*. Oblici kao *tvrd'i, sud'en, rod'āk* lako se razumiju, ali je li *rďa* jedini primjer gdje se mjesto očekivanoga *j* nalazi *ď*, ili se pod onim „atpod.“ sakriva još koji? Isto je tako karakterističan refleks grupa *stj, zg'*; pa i tu nalazimo, protiv očekivańa (ali kao i u drugim čakavskim dijalektima), *mu̯òžd'ani* (str. 129) i *zvìžďat* (str. 160), pa bismo radi znali kako je i sa *dažd;* ali u rječniku nema ni **dažd* ni *kiša* (nema inače ni *grom-grmjeti*, ni *grȁd=tuča*). Kao naročito karakteristične crte podunavskoga govora ja bih pak, uz akcentuaciju o kojoj će odmah biti govora, istaknuo ove tri stvari za ni jednu od kojih ne znam da se nalazi u kojemu srpskohrvatskom ili slovačkom dijalektu. Vrlo je čudno što ovaj govor redovno čuva glas *h*, kao uopće čakavski dijalekti, a samo ga gubi u lokativu množine: *junâki, žènā, si̯èli, tî, òvī, nu̯òvi*, dok ga u genitivu množine zamjenicâ i pridjevâ ima: *tîh, òvīh, nu̯òvih;* na kakvo miješańe s genitivom množine osnovâ na *-i* ne može se misliti, jer toga završetka izvan tih osnova gotovo nema a nikako pak nema u gen. pl. novijeg srphrv. završetka *-ā*; ali V. provodi i u paradigmima i u tekstovima za loc. pl. taj završetak bez *-h* tako konzekventno, da se mora vjerovati da on tu nije nikada čuo *-h*, a onda zašto i kako je otpao taj sufiks u loc. pl. a nije, gdje ga ima, u gen. pl.? Tu čudnovatu pojavu ne umijem nikako da protumačim. Isto je tako čudnovato, iako razumļivo, što je ovaj dijalekt inače vrlo dobro sačuvao deklinaciju, a samo *kćî* (po paradigmu na str. 190) može, uz uniformisanu deklinaciju nom. sing. *kći̯èra*, gen. *kći̯ère* itd., ostati bez ikakve promjene u svih 7 padeža jednine, dakle gen. *kćî*, dat. *kćî* itd., pa čak i u nom. i gen. množine, prema kojemu je obliku načińen, uz *kći̯èram*, i noviji dat. pl. *kćîm*; je li zbiļa tako? A ako jest, i to je nešto vrlo neobično. Napokon treba istaći neke oblike kod brojeva: kad se kaže broj osoba muškoga roda, uz normalne oblike *dvâ, trî* itd. uzimļu se i oblici „*dvìmi̯e, trìmi̯e, četírme, petìme* atd.“ (str. 199), n. pr. *dvìmi̯e zidâri = dvâ zidâri* (jer se je dual izgubio). Nešto slično ima i u Grobu, n. pr. *je dȍšlo k nám sèdam hlàpof*, ili *sèdmi* ili *sèdmimi hlápi, dèset vojákof* ili *dèsetimi vojáki;* prema tome biće da se i u podunavskom govoru razlikuje (V. toga ne spomińe) na pr. **pi̯et junâku̯ov* a **petìme junâki*. Primjeri kao *sèdmi hlàpi* mogli bi značiti da je u grobļanskom govoru nastala neka kontaminacija s rednim brojevima, a opet primjeri kao *sèdmimi hlápi* mogli bi pokazivati da se je pomiješao nominativ s instrumentalom, ali podunavski govor sa svojim oblicima *dvìmi̯e*, sa sufiksom *-mi̯e, -me* i sa zasebnom akcentuacijom *pi̯et* a *petìme* jasno kaže da takog miješańa nikako nema već da imamo

posla s nekom sasvim novom formacijom, za koju nalazimo vrlo dobru paralelu u bugarskim oblicima *drama, trima* itd., koji su isto tako zagonetni, a opet se također uzimļu samo za muškarce (Vondrák, *Vergl. slav. Grammatik* II, 78).

Iz oblasti fonetike, koju V. iznosi na str. 137—173, treba najprije istaći da je i V. konstatovao da miješańe ikavskih i ekavskih oblika u glavnome odgovara zakonu Jakubinskoga i Meyer-a, iako i on donosi par novih izuzetaka (str. 141). Inače imam nešto malo da napomenem. V. je dobro opazio da vokalno *r* ostaje bez promjene i da čuva svoj kvantitet, t. j. da može biti i kratko i dugo (str. 148): ali sàm ima i u tekstovima i u rječniku, prema slovačkome, *čierān* i *čèrnast* mjesto **črn*. Za *h* V. odlučno tvrdi da se izgovara kao *h* u češkom i slovačkom, da je dakle zvučan glas (str. 155); ako je tako, onda je to bez sumńe prilagođeńe izgovoru slovačkomu, jer o tome se ne može sumńati da je *h* u srpskohrvatskom bezvučan glas; svakako trebalo je i tu kazati da u grupama pred bezvučnim konzonantom *h* zadržava svoj prvašńi izgovor, s čega i V. tada mjesto *h* piše *ch*, na pr. *nuòhat* a *nuòchta, mịèkak* ili *mịèhak* a *mèchka, lágak* a *láchka, duòchtor* itd. (str. 151). — V. proširuje poznato pravilo o međusobnoj asimilaciji konzonantâ te ga proteže i na one slučajeve gdje su konzonanti među dvije riječi koje ne sačińavaju jednu izgovornu cjelinu, n. pr. *nâž* (= *naš*) *zdènãc, zịed* (*uzeti*) *za múža* (str. 162), pa on tu asimilaciju konzekventno provodi i u tekstovima: *pịed* (*pet*) *hlàpcuor* (jer je po V. *h* zvučan glas!) 209, *dȑžad* (*držati*) *zâ noge* 220 itd.

Za fonetikom ide, prema zahtjevima stroge naučne gramatike, „Nauka o osnovama"; ali ono malo što je iz ńe dao V. na str. 174—185 moglo je, kako se meni čini, i sasvim izostati, jer s te strane dabome nije se moglo iznijeti ništa čime se principijalno podunavski govor odlikuje i što bi ga specijalno karakteriziralo. V. je samo za neke prilično samovoļno izabrane sufikse i formacije dao, uz općenite i davno poznate primjere, još samo nekoliko novih. Ali što treba n. pr. iznositi da se i u podunavskom govoru umańeni oblici od imenica pravi sufiksom *-ica*, pa da se i tamo govori *duša-dušica, divojka-divojčica, krava-kravica* itd. itd.? U tome dijelu zbiļa novo je samo to da se prezimena rijetko svršavaju na *-it* (*-ić*) već redovno na *-ič* (str. 175), jer se inače naše *ć* (*ť*) vrlo lijepo razlikuje od *č*, a tu ne može nikako biti uticaja sa slovačke strane. Neobična bi bila i formacija *židuòfka* od posesivnog adjektiva *žìduov* sufiksom *-ka* (str. 174), ali to nije tako nego je *židovka* načińeno od imenice *židov(in)*.

U morfologiji (str. 186—208) nalazimo potpune paradigme za deklinaciju i konjugaciju; malo su, istina, sumńivi ovaki potpuni paradigmi u kojima se nižu svi oblici jedne iste riječi, jer čovjek i nehote pita: a je li autor zbiļa čuo sve te oblike kod te jedne riječi, ili ih je sam načinio prema drugima što je zbiļa čuo? Nego i to ne bi bila nikakva nesreća, ako su paradigmi popuńavani vještim sugerirańem potrebnih oblika a ne direktnim pitańem. Neke neobične oblike već sam spomenuo, a inače vidimo iste oblike što su nam poznati iz drugih sjevernih čakavskih govora; napose spomińem oblik *pri vrátuo* za loc.

pl. što ga V. tačno tumači iz staroga završetka *-oh*, gdje je opet nestalo na kraju *h*; tim se oblikom potvrđuje tačnost mojega tumačeńa sveze *za-vrátō* koja se čuje u sjeveroistočnoj Bosni (v. moj rad *Der štokav. Dialekt* 160—161). Za 1. lice sing. kondicionala V. donosi kao oblik pomoćnoga glagola samo *bi*, ali u ńegovim tekstovima ima i noviji oblik *bisam* (str. 219, 220), koji naravski ne treba rastavļati u *bi sam*.

Ali ničim se podunavski govor toliko ne odlikuje koliko svojom akcentuacijom (uzevši k ńoj i kvantitet). Uopće i on ima stariju srphrv. akcentuaciju i tri obična čakavska akcenta — dva duga (^ i ′) i jedan kratak (`). Ali akcenat se principijalno povlači s posļedńega sloga, — pa bio ovaj dug ili kratak, otvoren ili zatvoren, — na pretposļedńi slog, i to u obliku silaznoga akcenta: *žèna-žènie, dûša-dûšie; ìmat, jùnāk, sûdit-sûdim;* a u tome pogledu jedini je izuzetak konstatovan od V. što brojevi od 11 do 19 glase *jedinâjst-devetnâjst* (str. 164), — već ako se možda izgovara *jedinàj^e st* itd., dakle ipak sa 4 sloga. Kako pak štokavski govor, a i neki čakavski dijalekti, tako i podunavski ima dugih i kratkih slogova ne samo pod akcentom nego i bez ńega; od neakcentovanih dugih slogova V. je za one što su poslije akcentovanog sloga tačno formulirao pravilo da se skraćuju za starim akcentom a drže za novim povučenim (str. 167): *vìdim, nuòsim, gìnut, guòlub, mládost,* gen. pl. *jágod,* itd. a *dr̀žīm, jùnāk, kòvāč* itd.; ali smeta što V. ovdje navodi među ovim drugim primjerima i *pîtām*, dok bismo očekivali *pîtam* kako što i on ima u rječniku, a i primjer *žûtī* mi je sumńiv, jer na str. 197 ima *bìeli* s istim akcentom u gen. sing. *bieluòga* kao *žutuòga*. Ali i u tekstovima nalazimo odstupańa, iako samo sporadično, n. pr. *prèdrāg, nàžūt* 212, *sînuom* 222, *starìjī, nàjzād* 226, pa u rječniku *nìgdier, sàgdier, ròd'āk,* ali, osim za *sînuom* i *starìjī*, za ostale bi se primjere moglo kazati da oni možda za podun. govor pretpostavļaju stariji akcenat na posļedńemu slogu **predrâg* itd. Svakako sasvim je sigurno da se r e d o v n o neakcentovana dužina skraćuje za starim akcentom a čuva za novim *vìdim-dr̀žīm*, odakle slijedi da su se u podun. govoru ranije poslije akcenta skraćivale neakcentovane dužine negoli su se povlačili akcenti s posļedńih slogova; jer da se je govorilo *dr̀žīm* dok se još govorilo **vìdīm*, onda bismo docnije pojednako dobili *vìdim* i **dr̀žim*. V. je dakle tačno formulirao pravilo za neakcentovane dužine p o s l i j e staroga akcenta, dok za ńih p r e d starim akcentom govori samo to, da se čuvaju pred starim akcentom što je povučen na pretposļedńi slog: *glâva*, a ne govori ništa o tome što biva od neakcentovane dužine pred starim akcentom koji nije na posļedńemu slogu. Po svoj prilici V. o tome nije ništa kazao, jer je uvidio da se ne da uhvatiti čvrsto pravilo; i doista u tim slučajevima on kadgod ima sačuvanu dužinu a kadgod opet skraćenu, n. pr. na str. 220 nalazimo *bivále, zbudìle, povidále,* ali na str. 221 (u istoj priči) *opatrīváli, napīsála*. Po biļežeńu V. nijesam ni ja mogao naći kakvo pravilo, pa je lako moguće da se izgovor zbiļa kolebļe te da se neakcentovani dugi slogovi i pred akcentom počińu skraćivati. Naprotiv V. nije zapazio još jedan vrlo čvrst zakon za kvantitet ovoga govora: poslije akcenta ′ (ma kako ga mi tumačili) nema n i k a d a neakcentovane dužine; to, istina, proizlazi iz prvoga zakona da se taka

dužina ne drži za starim akcentom (a ´ nije nikada povučeni noviji akcenat), ali ima n. pr. i instr. sing. od *jâ*: *mànū*, *sà mnū*, ali *mánu* (str. 192), ili instr. sing. *kòšťū* a *kuòšťu*: trebaće dakle i to da se pobliže istraži.

Podunavski govor ima po V. tri akcenta: dva duga — silazni ^ i uzlazni ´, i kratki `, koji je po ńemu također uzlazni „odpovídající asi našemu přízvuku krátké samohlásky“ (str. 163). Tu mislim da se V. vara već što se tiče melodije čeških akcentovanih slogova: eto u najnovijemu djelu posvećenom tomu pitańu (J. Chlumský, *Česká kvantita, melodie a přízvuk*. Praha 1928) autor na str. 209 kaže: „. . . u slabik přízvučných se melodie hledí udržeti buď vůbec, nebo aspoň po jistou dobu na jedné notě.“ a samo dopušta da „velice často bývá na začátku přízvučné samohlásky náběh stoupavý“. V. je dakle češki normalno ravni akcenat shvatio kao uzlazan stoga što nije silazan; pa je sva prilika da je isto tako krivo shvatio i kratki akcenat podunavskoga govora koji će biti također ravan, kao što je ponajviše i u štokavskom govoru. I za grobļanski govor V. uzimļe da je kratki akcenat uzlazan, dok za ńegov jedini dugi akcenat ^ (´ nema tamo nikako) dobro je čuo da je silazan. Nego, da li je kratki akcenat uzlazan ili ravan (silazan) nema inače za nas sad važnosti — ńega redovno nalazimo gdje mu se i nadamo; naprotiv vrlo mnogo znači kako se ima tumačiti u podunavskom govoru dugi uzlazni akcenat. Dobro se zna da u čakavskim govorima on često stoji prema dugome silaznome u štokavskim, pa se dandanas općenito misli da je on mlađi praslavenski dugi uzlazni akcenat, koji se je redovno sačuvao u posavskom, čakavskom i slovenskom, dok se je u štokavskom pretvorio u silazni akcenat (*píšem* : *pîšem*); osim toga uzimļe se ponajviše da se je na isti način sačuvao i onaj stariji praslavenski uzlazni akcenat koji se također nalazi u slovenskom a donekle i u čakavskom a u štokavskom mu odgovara kratki silazni (*vrána-vrȁna*, rus. *voròna*). Ja se neću ovdje još jednom upuštati u pitańe da li je ovako mišļeńe opravdano i za ovu drugu kategoriju slučajeva, nego ću se samo ograničiti na to, da razgledam da li se može uzeti da je i podunavski govor sačuvao dugi uzlazni akcenat u istome značeńu. V. je o tome potpuno uvjeren, te na str. 165 ističe kao vrlo važnu pojavu što se samo u tome jednom srphrv. dijalektu čuva u primjerima kao *vrána, bába, máti* bez promjene praslavenski akcenat; premda to nije tačno, jer sam ja već u Jagićevu *Archiv*-u XVII, 195—196 pokazao da takog izgovora sa *á* (uprav poludugim i mańe izrazito uzlaznim *ã*) mjesto štokavskoga *ȁ* ima i u nekim čakavskim govorima. V. ide i daļe te nalazi da ne samo u gen. sing. *bráta* (gdje tako imaju i slovenski i neki čakavski govori) nego i u nom. sing. *brât* (gdje oni drugi govori imaju *brȁt* s kratkim vokalom) sačuvana je praslavenska dužina a samo je uzlazni akcenat pretvoren u silazni zato što je riječ jednosložna.

Je li se zbiļa u tome jednom srphrv. govoru sačuvalo praslav. uzlaznog akcenta više negoli u ijednom drugom srphrv., čak, što se tiče kvantiteta, i više negoli u slovenskom? Ja mislim da nije, i to s ova dva

razloga: prvo, nema akcenta ʹ ondje gdje bi trebalo da ga bude, a drugo, ima ga ondje gdje ga ne bi smjelo biti. Među slučajeve gdje ga nema ne računam one gdje ga po zakonu o povlačeńu akcenta ne može da bude, kao *krâľ*, *sûd* (< **kráľ*, *súd*) ili gen. sing. *žèn͡ie*, *dûš͡ie* (< **žen͡iè*, *dūš͡iè*), ali ga nema u imenicâ građenih sufiksima *-je*, *-ja*: *cvìet̕e*, *hrâsťe*, *kîťe* itd., *žâja*; nema ga u određenih pridjeva: *bi̯eli*, *mlâdi*, *žûti*; nema ga u prezensu kao *pîšem*, *pîtam*; nema ga u *crîkva*, *divu̯ojka* itd., nema ga dakle baš u najkarakterističnijim slučajevima gdje se inače u čakavskom dijalektu zbiļa čuva praslavenski uzlazni akcenat. Naprotiv, nalazimo ga vrlo često i na vokalima *e-o*, koji su u praslavenskom bili sigurno kratki, i to u sva tri položaja u kojima se ti vokali mogu naći prema akcentu: *a*) kada su u praslav. bili neakcentovani: *pren͡ièsla*, *hu̯ȍdi* (2 sing. imp.), *gu̯òrica*, *visu̯òka*, *mu̯òtika*, *nuòga*, *pu̯òtok* itd.; *b*) kada su u praslav. imali mlađi uzlazni akcenat: *nu̯òsiš*, *či̯ekal*, *veči̯èru*, *mu̯òrem*, *po vu̯òľi*, *tri̯èťi* itd.; *c*) kada su u praslav. bili pod starijim silaznim akcentom: *ru̯ògi*, *si̯èdam*, *gu̯òri* (gȍre), *u̯òko*, *du̯òma* (adv.), *vi̯èčer* itd. Pa i ako bi se moglo reći da se je u slučajevima pod *a*) sačuvala uzlazna intonacija sloga pred akcentom, a da se je u onima pod *b*) sačuvala uzlazna intonacija samog akcentovanog sloga, to opet nema sumńe da u slučajevima pod *c*) (gdje ni slovenski jezik nema dugog uzlaznog akcenta) podunavski govor ima d u g i u z l a z n i akcenat mjesto k r a t k o g s i l a z n o g praslavenskog. A kad je tu u tome govoru ńegov akcenat ʹ sasvim sigurno sekundaran, onda može lako biti sekundaran i u ostalim slučajevima. To je tim vjerovatnije, što vidimo da se u najvećemu broju slučajeva akcenat ʹ drži vokala *a*, dakle onoga vokala koji se od česti i u čakavskom govoru produžuje i dobija uzlaznu intonaciju. Istina, akcenat ʹ mogu imati i drugi vokali prema štok. ̏, ali to je izuzetak: *míslit*, *míla* (uz *mìli* 146), *li̯èto*, *di̯èlo*, *gúska*, *úzak* itd.

Izlazi dakle da podunavski govor nije od česti sačuvao praslav. dugi uzlazni akcenat na dugim slogovima a jest ga od česti razvio na slogovima s praslav. kratkim silaznim akcentom, pa kako je ovo drugo sigurno sekundarna stvar, to se može misliti da je akcenat ʹ u ovom govoru uopće sekundaran, jer kad bi bio, iako samo od česti, primaran, on bi se sigurno najboļe održao ondje gdje je najviše opravdan, to jest u dugim slogovima s (novijim) praslav. uzlaznim akcentom, a tamo ga baš nema. Koliko mlad može biti akcenat ʹ u podunavskom govoru, vidi se po tome što ga nalazimo u riječima pozajmļenim iz slovačkoga, dakle pošto su se naši kolonisti tamo doselili u drugoj polovici XVI. vijeka: *drášk a*, *fána*, *hráza* (str. 252), *kládzivo*, *rádit*, *li̯èkvar*, *polífka* itd., i to ne samo gdje je u matici vokal dug, kao u *drášk a* itd., nego i gdje je kratak, kao u *kládzivo* < *kladzivo*, *li̯èkvar* < *lekvar*, isp. i *du̯òchtor* < *doktor*. Po svoj prilici baš je slovački izgovor i pomogao svojim ponajviše ravnim dugim akcentom da se je u tako velikom opsegu razvio u podunavskom govoru akcenat ʹ, za koji ne smijemo zaboraviti da ga V. identifikuje s dugim čeśkoslovačkim akcentom, a onda — ako je to tačno — taj akcenat ʹ nije pravi uzlazni nego samo ravni akcenat. Prema tome ja bih i rekao da je ono, što V. nalazi da je najveća starina u ovome govoru, naprotiv vrlo mlada stvar; specijalno pak mislim da

mu neće niko vjerovati da se u *brât, prâg* itd. sačuvala praslavenska dužina prema *brăt, prăg* itd. ostalih srphrv. a i slovenskih govora, jer je očevidno da je dužina tu prenesena iz dvosložnih oblika *bráta, prága* itd.

U detaļu podunavski govor i akcentom, a naročito kvantitetom, odstupa od štokavskoga, ali od svega toga mogu ovdje samo spomenuti da se vokal pred završnim konzonantom vrlo često produžuje, i to ne samo pred *-l, -m, -n, -r*, što često bivai u čakavskim dijalektima, nego i pred drugim: *jèzīk, člòvīk, krátāk, òtāc, Nimāc, krìžīt', dònīest krâst* itd. itd.

Nemamo razloga da ne vjerujemo tačnosti biļežeńa akcenata po V.; a što se katkada nalaze i po dva akcenta za isti oblik, tu može lako biti da se radi o faktičnom različitom izgovoru po raznim licima, kao što je sam V. za svoje priče pribiļežio i neke drukčije akcentuacije što je čuo od drugog svjedoka; tako n. pr. nalazim *kuharìca* 174 a *kȕharica* u rječniku, *pomàgat* i *strùgat* 179 a *pomágat* i *strúgat* (što odgovara štok. izgovoru) u rječn., *zivu̯òl'il* 223 a *zivòl'it* u rječn., *sȋr-sýra* 165, *sìr-sìra* 168 a *sír-sìra* u rječn.; nešto će biti i lapsus ili štamparska pogreška, n. pr. *kúpil* 219 (što se protivi zakonu) a *kȗpit-kȗpim* u rječniku.

M. Rešetar.

Л. Л. Васильев: **О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков.** К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии X + 163. (Сборник по русскому языку и словесности. Том I., выпуск 2). Академия Наук СССР. Ленинград 1929.

Работа Л. Л. Васильева, которой был восхищен ак. Шахматов и которая в 1916 г. после отзывов о ней ак. А. И. Соболевского и ак. А. А. Шахматова была удостоена большой премии М. Н. Ахматова, была закончена еще в 1913 г., когда автор обратился к редактору Р. Ф. В. Е. Ф. Карскому с просьбой эту работу напечатать в журнале. Сам автор тяжко заболел, рукопись в редакцию Р. Ф. В. долго не поступала и только в 1917 г. была туда представлена, а в 1918 г. в LXXVIII т. Р. Ф. В. напечатаны были 4 первых главы. Дальнейшее печатание прекратилось, автор скончался в больнице для душевно-больных. Считая, что труд Васильева не потерял значения и до настоящего времени, 2-е отд. Ак. Наук постановило напечатать его в Сборнике. Редактирует Сборник ак. Е. Ф. Карский; в начале Сборника помещен отзыв о труде Васильева, данный А. А. Шахматовым. — В своей блестящей работе автор поставил себе задачей определить значение каморы (знака ⌒) в Псалтири XVI в. И. П. Б. F. I, № 7 и Сборнике Софийской Библиотеки XVI в. № 1460, которая в этих памятниках последовательно ставится над *о*, соответствующем »напряженному« *о* говора Тотемского уезда, как этот говор описан Олафом Броком, тогда как *о* без каморы отвечает обыкновенному *о*. Ключ к такому именно пониманию каморы в указанных рукописях автор нашел, познакомившись с Описанием Брока. Позднее свои материалы для наблюдений Л. Л. Васильев пополнил описанием говора с. Новосёлки Ряз. губ. О. М. Тоньшина,

целым рядом подобных описаний А. А. Шахматова, П. Н. Виноградова, Мансикки, Будде. Свои наблюдения он сопровождает параллелями из других славянских языков, причем отмечает совпадение условий появления *о* в русском и словинском языке, что впрочем ак. Ш. признает ошибочным, т. к. в данном случае лишь »есть определенная параллель между наличностью в русских говорах *ô* напряженного под ударением не в корне слова и словинским *ọ́* (т. е. *ᵘо* под восходящим ударением«. Стр. IV). Вся работа Л. Л. Васильева развивает и доказывает следующее основное положение: звук *о* в русск. яз. диалектически различается в зависимости от стоявшего на нем исконного ударения — под нисходящим *о* открытое, под восходящим *о* закрытое напряженное, первому в рассматриваемых памятниках XVI в. соответствует графически *ó*, второму *ô*, т. е. *о* с каморой. В 1-й гл. автор указывает, что камора в Псалтири и Сборнике употребляется почти исключительно над *о*; над заместителем *о*- буквою *ω*, встречающейся в памятниках этих часто после двух и более согласных, камора стоит в виде исключения; само *ω* м. б. отражает графику оригинала. — Гл. 2-я — Напряженное *ô* на месте древнего *ъ*. Имеются в виду два случая: *плôть* < *плъть* и *любôвь* с производными. — В 3-й гл. рассматривается звук *о* в абсолютном начале слова. Ни в Сборнике, ни в Псалтири камора над начальным ударенном *о* не ставится, но и вообще это *о* бывает напряженным только в случаях, когда перед ним развилось приставочное *в*. Это отмечалось и Броком, и Шахматовым; применительно к этой особенности, по мнению автора, и *вонь* »приобрело в произношении древнерусских книжников напряженное *ô*« (стр. 23). — Гл. 4 — Напряженное *ô* на месте древних *е*, *ь*. Встречается оно в таком положении редко и эти редкие случаи почти всегда объясняются аналогией. — Гл. 5 — Открытое *о*. Это *о* является на месте старого *о* с нисходящим ударением, что устанавливается отчасти путем сравнения с сербским и словинским яз., отчасти русской энклизой — перенесением ударения на предлог и приставку. — В гл. 6-й рассматривается напряженное *ô* в срединном открытом слоге, тут же разбираются случаи акцентовки имен с разными суффиксами: *-оба*, *-ота*, *-ило*, *-ище*, *-ица*, *-ина*, *-ие*, а также сложных с приставками; далее *о* прилагательных вообще и с суфф. *-ок-*, *-ов-*, сравн. ст. *-jьš-* в частности; наконец *о* глаголов: *мочь*, с суфф. *-нути*, *-ати*, *-ити*. — Гл. 7-я: Напряженное *ô* в закрытом срединном слоге. Идут двусложные слова, имеющие *ô* в слоге перед исчезнувшим глухим, а также *j*. — Гл. 8-я: Напряженное *ô* в закрытом конечном слоге, а гл. 9-я касается этого же *о*, но в конечном открытом слоге. — Гл. 10-я: Напряженное *ô* в окончании членных имен прилагательных, а также местоимений и в творительном пад. ед. ч. имен существительных женского рода и местоимений. — В гл. 11 отдельно рассматриваются глаголы на *-овать* в отношении звука *о*. — Гл. 12 — Звук *о* в именах собственных и книжных заимствованиях, наконец, в дополнительной гл. 13-й автор делает некоторые общие выводы из наблюдений над русским ударением, считая вообще ударение »центром тяжести слова«, который в многосложных словах, как бы боясь нарушить равновесие слова, чуждается конечных слогов и стремится занять срединный слог, поэтому: *бытиё́*, но *собы́тие*,

столá, но *престóла*, *валá*, но *отвáла*, *бедá*, но *побéда* и т. п. или: *зван*, *званá*, *званó*, но *обéщан*, *обéщана*, *-но*. Впрочем осложнение приставками не делает еще слово многосложным и часто при сложении таком сохраняется акцентовка простого слова *хвала* — *похвалá*, *званá* — *позванá* и т. п. Этот закон — стремление ударения занять срединный слог — явился в результате длительного развития языка; чем дальше в глубь веков, тем обычней начальная и наконечная акцентовка. В виде догадки автор высказывает предположение, что »при возникновении экспираторного ударения в славянских языках ударение всегда падало на певрый слог с Nebenton'ом на последнем« (стр. 144). Поэтому на чешское ударение можно смотреть, как на остаток архаической акцентовки, поддержанный языками германскими, но не ими развитый. В северо-западных говорах русского яз. такая черта в акцентовке поддержана была влиянием финским. Впервые срединная акцентовка проявилась в словах, имеющих в середине восходящую долготу при отсутствии ее в первом слоге; затем, позднее, привлекал на себя ударение слог, за которым исчезал глухой. — К работе дано 6 приложений: 1. Краткая характеристика письма Псалтыри F. I № 7 и отражение в нем звуковых и формальных особенностей писца этой псалтыри. 2. Краткая характеристика письма Сборника Соф. № 1460 и отражение в этом письме звуковых и формальных особенностей писца этого памятника. 3. Употребление каморы над напряженным *ô* не в связи с системою обозначения ударений, подобного современной системе ударения. 4. Об употреблении в Сборнике Соф. № 1460 надстрочных значков; 5. О возможном заносе употребления каморы над напряженным *ô* с юга славянства. 6. Образец говора села Новосёлки Рязанского уезда и губернии.

Прага. *Л. Копецкий.*

Historja literatury polskiej. (Przegląd wydawnictw i opracowań naukowych.) Serja druga: 1922—1924. (Część szósta.[1])

XIV.

Słowacki.

W roku 1924, nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, a pod redakcją J. Kleinera, ukazały się trzy tomy (1, 3 i 4) obliczonego na tomów szesnaście wydawnictwa: *Juljusz Słowacki, Dzieła wszystkie*. Na czele tomu pierwszego umieścił Kleiner studjum *O metodach wydania „Dzieł wszystkich“ Słowackiego*; zasady, któremi się redakcja kieruje, wyłuszczył tak szczegółowo i umotywował tak gruntownie, że studjum to będzie zapewne na długie lata najlepszym podręcznikiem metody wydawniczej. Na jedno tylko zasadę zgodzić się trudno: oto listy i notatki pamiętnikarskie Słowackiego będą w tem wydaniu pominięte ze względu, że są to jakoby utwory »nieliterackie«. W rzeczywistości, jeśli czyje listy i notatki, to właśnie Słowackiego są utworami nieraz bardziej »literackiemi«, niż wiele niewykończonych jego fragmentów poetyckich; wogóle u poety tego typu i tej miary, co Sło-

[1]) Objaśnienie skróceń. *BN* — Bibljoteka Narodowa; *PL* — Pamiętnik Literacki; *PW* — Przegląd Współczesny; *PWarsz.* — Przegląd Warszawski.

wacki, nawet mowy być nie może o przeprowadzeniu ścisłej granicy pomiędzy utworami »literackiemi« a »nieliterackiemi«. Że wydanie tekstów jest krytyczne (z uwzględnieniem warjantów, autografów, wierzytelnych kopij), tego mówić nie potrzeba. Warto przytoczyć sąd Maver'a: »La... edizione segna non soltanto un progresso notevole di fronte alle precedenti, ma può in generale, essere presa a modello per edizioni critiche di »Opere Complete«, ed è difficile che, anche fuori della Polonia, si posse contrapporle un' edizione più profondamente meditata e più perfetta« (*Juljusz Słowacki nell' ultimo decennio,* Roma, Anonima Romana Editoriale, 1928). Przy końcu każdego tomu mamy odnośną bibljografję, opracowaną niezmiernie szczegółowo przez Wiktora Hahna.

Tom pierwszy, opracowany przez Józefa Ujejskiego, zawiera w sobie utwory młodzieńcze, wypełniające dwa pierwsze tomiki *Poezyj* (Paryż 1832), to znaczy: powieści poetyckie (*Żmija, Jan Bielecki, Hugo, Arab, Mnich*), wiersz *Do Michała Skibickiego* i tragedje (*Mindowe, Marja Stuart*); tom trzeci i czwarty opracował Kleiner: *Anhelli, Poema Piasta Dantyszka, Trzy poemata, Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K., Balladyna, Mazepa, Lilla Weneda, List do Aleksandra H., Grób Agamemnona.* Teksty utworów są poprzedzone wstępami. Wstępy Kleinera są zwięzłemi streszczeniami odnośnych studjów w dwóch pierwszych tomach jego monografji; wstępy Ujejskiego tworzą nową, niepospolitej wartości, monografję o młodzieńczych powieściach poetyckich i dramatach, przynoszącą dużo zdobyczy (np. w zakresie badań nad bajronizmem Słowackiego). — Po tekstach następują treściwe objaśnienia. Co do objaśnienia wierszy 425—431 *Anhellego* — jedna uwaga. Mowa w tych wierszach o biskupie, który księdza-patrjotę, kiedy siadł na koń, żeby walczyć z przemocą moskiewską, »wydał katom w ręce, ale wprzódy zdjął z niego poświęcenie na rynku miejskim«. Słowacki pisze do Gaszyńskiego, że to fakt historyczny, ale dodaje, że nie wie, czy tym biskupem był Cieciszewski, czy jego sufragan (Piwnicki). Hahn oświadcza się za Piwnickim. Lecz może być, iż cały ten »fakt historyczny« jest poprostu jednem z wielu oszczerstw, których ofiarą padł pod koniec swego życia Cieciszewski, a których przyczyną był następujący, tym razem prawdziwy, fakt historyczny: Mikołaj żądał od Cieciszewskiego, żeby rzucil klątwę na powstanie listopadowe; biskup wręcz odmówił; lecz wkrótce potem ksiądz Skierniewski podsunął mu potępiający powstanie list pasterski, który ociemniały Cieciszewski podpisał; rzecz się wyjaśniła: biskup odbył, w obecności duchowieństwa i wielu świeckich, głośną spowiedź, poczem, wyczerpany tym aktem, umarł. Wieść o tem przyszła podczas powstania do Warszawy. Pomimo to w *Nowej Polsce* ukazał się artykuł o »zdrajcy Cieciszewskim«; we dwa dni później Lelewel ujął się pamięci swego dziada i całą rzecz wyświetlił. Słowacki albo nie znał tego wyjaśnienia, albo Lelewelowi, którego nie cierpiał, nie uwierzył — i dlatego pisał do Gaszyńskiego, że nie wie. — Objaśnienie do wierszy 40—42 ostatniego aktu *Balladyny,* że to Goplana rzuciła piorun, jest niemożliwe do przyjęcia (ob. *PL* XXII—XXIII, str. 284).

Co do wydań poszczególnych utworów Slowackiego, to Manfred Kridl wydał, z autografów Bibljoteki Krasińskich w Warszawie, *Podróż do Ziemi*

Świętej z Neapolu, oraz romans francuski *Le roi de Ladawa* (zeszyt 1 i 2 tomu II, *Prac Komisji do badań nad historją literatury i oświaty*, Towarz. Nauk. Warsz. 1924). Kridl wydał także i opracował *Urywki z pamiętnika i wybór listów* (Warszawa 1922, *Pisarze polscy i obcy*, nr. 4); w tem samem wydawnictwie ukazały się, w opracowaniu Kleinera, *Trzy poemata* (nr. 2), oraz *Lilla Weneda i Grób Agamemnona* (nr. 5). W *BN* wyszły: *Trzy poemata* (Maurer), *Balladyna*, (Kleiner), *Mazepa* (Gubrynowicz), *Sen srebrny Salomei* (Turowski). Z innych wydań jedno zasługuje na szczególną uwagę: *Król Duch, cztery rapsody*, wydał i objaśnił Marjan Piątkiewicz (*Książnica komentarzy*, serja I, tom 6, Przemyśl 1923, Książnica naukowa): jest to u nas pierwsze komentowane wydanie tego poematu, dokonane z niemałym nakładem pracy i wiedzy, posiadające rzetelną wartość. Znakomita rozprawa Jana Gwalberta Pawlikowskiego: *O układzie dialogów genezyjskich Słowackiego* w *PL* XIX) jest drugą z kolei próbą naukową układu fragmentów filozoficznych Słowackiego. Pierwszą dał jeszcze w roku 1909 Kleiner — w księdze zbiorowej *Cieniom Juljusza Słowackiego*. Powrócił do tej sprawy w tomie czwartym swojej monografji: *Juljusz Słowacki, dzieje twórczości* (ob. *Slavia* II, 739—740), ten tom jednak wyszedł dopiero w roku 1927, więc nie należy do zakresu drugiej serji tych przeglądów.

Należy do niej natomiast tom trzeci (Warszawa 1923; wydanie drugie 1928, Lwów, Ossolineum), poświęcony twórczości poety w epoce wzmagania się tendencji realistycznej, a więc *Mazepie, Beniowskiemu, Krytyce krytyki, Fantazemu, Złotej Czaszce*, tudzież kilku fragmentom epickim, lirycznym i dramatycznym. Główne cechy i naczelne wartości tej monografji, która się w ostatnich czasach wybiła na samo czoło naszej nauki historycznoliterackiej, uwydatniliśmy już dawniej (ob. *Slavia* II, 739—740). Tutaj zaznaczamy, że tom trzeci stoi na tej samej wyżynie, co i dwa pierwsze; jak w tamtych, tak i w tym ścisła analiza filologiczna, dotycząca tekstu, genezy i t. d., walczy o lepsze z umiejętną krytyką estetyczną; taki np. rozbiór apostrofy do Boga w *Beniowskim* jest arcydziełem krytyki estetycznej. Wtrąćmy tutaj, że, kiedy się czyta tę apostrofę, to mimowoli przypomina się jedno z wyznań Giordana Bruna; podobieństwo jest tak wielkie, że niejednego zapalonego tropiciela »wpływów« mogłoby skusić do przypuszczenia, że Słowacki znał nie tylko *De universo et immenso*, ale także *De Monade*. Oto w dziele pierwszem mamy te słowa (lib. VIII, cap. 10, wydanie Wagnera, str. 653): »Atqui nos de illius voluntate haudquaquam ignobilium et stultorum more definimus, cui quod optimum et gloriosissimum est, et naturae suae optimae convenientissimum tribuendum ducimus, quem nefas est quaerere in sanguine cimicis, recutito cadavere, epileptici spuma et sub conculcantibus carnificum pedibus et melancholicis nec romanticorum vilium mysteriis, — sed in inviolabili intemerabilique naturae lege, in bene ad eandem legem instituti animi religione, in splendore solis, in specie rerum, quae de huius nostrae parentis visceribus educuntur, in imogine illius vera corporeo modo explicata de vultu innumerabilium animantum, quae in immensa unius caeli fimbria lucent, vivunt, sentiunt, intelligunt optimoque uni applaudunt maximo.« A w *De*

Monade (wyd. Wagnera, str. 151) czytamy: »Non levem ac futilem atqui gravissimum perfectoque homine dignissimum contemplationis partem persequimur, ubi divinitatis naturaeque splendorem, fusionem et communicationem non in Aegypto, Syro, Graeco sive Romano individuo, non in cibo, potu et ignobiliore quadam materia cum attonitorum seculo perquirimus et inventum confingimus et somniamus, sed in augusta omnipotentis regia, in immenso aetheris spacio, in infinitae naturae germine omnia fientis et omnia facientis potentia, ... cui immenso mensum non quadrabit domicilium atque templum; ad cuius maiestatis plenitudinem agnoscendam et percolendam numerabilium ministrorum nullus esset ordo.« Uderzające podobieństwo polega nie tylko na zachwycie względem Boga w piękności i ogromie Jego stworzenia, ale i na uwydatnieniu przeciwieństwa pomiędzy wielkością natury a małością ludzką. Tylko że Bruno mówi wprost, że w małości ludzkiej i w różnych misterjach rzymczyków Boga nie znajdzie, a Słowacki niby to mówi, że kto szuka Boga w modłach i dobrych uczynkach, ten Go znajdzie, ale dodaje z ironją: »... i życzę ludziom małego serca, kornej wiary — spokojnej śmierci.« Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dusza Słowackiego w pewnych chwilach swoich głębokich przeżyć religijnych była pokrewna duszy myśliciela włoskiego, w której wzruszenia religijne się kojarzyły z estetycznemi nie mniej mocno, jak w duszy Słowackiego. — Niemałą jest zasługą Kleinera, że fragmenty *Beniowskiego* poddaje nie mniej szczegółowemu rozbiorowi, jak pieśni, które się dochowały w całości. Równie szczegółowo rozpatruje fragmenty dramatyczne. Rozbiór fragmentu dramatu *Beniowski* nastręcza pewne uwagi. Oto autor zaledwie, jakby tylko mimochodem, zaznaczył (na str. 65), że intencjom Pamfila (to jest djabła) nie odpowiada to przedewszystkiem, co pobudza patrjotyczne uczucia Beniowskiego; twierdzenie zaś, że się Beniowski przedzierzga w poetę nagle (str. 63), jest wprost błędne. W istocie Beniowski jest poetą od samego początku dramatu. Pamfilus pokazuje mu pole bitwy, a on patrzy na nie jako poeta — ze stanowiska estetycznego: »Przecudny widok — dymu tumany — Jako tumany jesienne lecą — Szable złotemi listkami świecą ... Wiatr obłąkany — Jakieś harf tony — w stronę unosi ... O! jak czarownie śmiertelny spiż — Bucha i wyje ... i błyskawicą — Zamiata ziemię — i wszerz — i wzdłuż, — Dymy się zdają duchów przyłbicą, — A dalsze dymy do białych róż — Podobne — z ziemi krwawej wychodzą.« Djabeł boi się, że ten zachwyt poetycki nad bitwą popchnie Beniowskiego do czynu — do walki za Polskę, i dlatego też zwraca jego uwagę na straszliwą rzeczywistość bitwy. Wogóle rola djabła polega na tem, że pragnie on odciągnąć Beniowskiego od czynu patrjotycznego: »Przeklnij to piekło narodów, które się nie skończyły« (!!). Kiedy Beniowski wstępuje na mogiłę Wandy, mogiłę, z której na rozkaz Chrystusa, siedem lilij wyrosło, Pamfilus odwraca jego uwagę w stronę nadchodzącego Krakowiaka i wmawia w swoją ofiarę, że jego głupie piosenski to materjał do poezji artystycznej ... Lecz w akcie III ukazuje się ksiądz Marek i wciąga Beniowskiego do konfederacji — ku wściekłości szatana. Z parabazy zaś wolno się domyślać, że Beniowski, wbrew zapowiedzi Walkirji, nie dał się już djabłu skusić, że walczył i poległ na polu chwały. Nie wyjaśnił Kleiner, co znaczy w parabazie wizja Kastora

i Polluksa. Ci dwaj bracia to w podaniach greckich wcielenie nie tylko miłości braterskiej, ale także rycerstwa, bohaterstwa, poświęcenia; szczególnie byli czczeni jako bóstwa opiekuńcze młodzieży z dostojnych rodów, walczącej konno lub w ciężkozbrojnej falandze; czcili ich nie tylko Grecy, ale i Rzymianie, jako bogów-zbawicieli. To dopiero odsłania nam myśl Słowackiego: Beniowski za to, że zginął w walce za ojczyznę, będzie czczony jako patron rycerstwa, jako bóg-zbawiciel; bo przecie w tym dramacie Słowacki poczytuje już sprawę Polski za sprawę bożą, sprawę kosmiczną. Tak więc na dnie dramatu *Beniowski* leżał niewątpliwie problem nie tylko psychologiczny, wcielony w bohatera, którego djabeł chce odciągnąć od walki za naród, i nie tylko narodowy — problem zmartwychwstania Polski, ale (w zarodku) także problem ogólno-historjozoficzny, a nawet kosmiczny: dopóki Polska nie zmartwychwstanie, dopóty nie będzie spokoju ani na tej ziemi, ani we wszechświecie. — Na częściowe sądy Kleinera o *Mazepie* nie zgodzić się nie można: miłość Amelji i Zbigniewa to »cicha, a pełna cudownej poezji tragedja serc czystych« (str. 30); »słowa Amelji prostotą, czystością i tragizmem niedopowiedzeń są czemś jedynem, niezrównanem w poezji miłosnych cierpień« (str. 31); Mazepa »w opowiadaniu o swych cierpieniach od bezpretensjonalnej prostoty dochodzi do tonów dantejskich« (str. 37) i t. d. Czy jednak sąd ogólny, zawarty w słowach, że. »jeśliby się artyzmu wykonania nie brało w rachubę, powiedziećby należało, że z wielkich dzieł Słowackiego *Mazepa* jest utworem najprzeciętniejszym« (str. 12), — czy ten sąd nie pozostaje w pewnej sprzeczności z tamtemi sądami, czy nie obniża wartości jednej z najdrogocenniejszych pereł w poezji dramatycznej Słowackiego? — Dodać trzeba, że dwa pierwsze tomy monografji Kleinera ukazały się już w trzeciem wydaniu, Lwów 1924, Ossolineum. — (Szczegółowną charakterystykę i ocenę dzieła napisali, pomiędzy innymi: Kridl w książce *Krytyka i krytycy,* oraz w *PWarsz.* nr. 26; Kallenbach w *PW*, nr. 34; Gubrynowicz w *PL* XXI.)

Trzy *Źródła do lat szkolnych Słowackiego* (świadectwo dojrzałości z d. 30 czerwca 1825, wiadomości urzędowe o nauczycielach wileńskich, świadectwo szkolne z drugiej klasy gimnazjalnej) podał Wacław Studnicki w *Roczniku Tow. Przyj. Nauk w Wilnie*, Tom VII, r. 1922.

Dwa studja Kridla (*Stosunek Słowackiego do Mickiewicza od „Dumy Ukraińskiej do „Lambra“* w *PL* XIX, oraz *Duch, Słowo i Polska w mistyce Słowackiego i Mickiewicza* w *PWarsz.*, nr. 32 i 33) na razie pomijamy, obydwa bowiem włączył autor do swej później wydanej książki *Antagonizm wieszczów*. — Pomijamy także zbiorowe wydanie »szkiców literackich o J. Słowackim« Wiktora Hahna (p. t. *Przyszłość moja! i moje będzie za grobem zwycięstwo!* Poznań 1922), ze względu, że składają się na nie prace dawniejsze (chociaż, naturalnie, uzupełnione i poprawione).

Rozprawa Stanisława Żygulskiego (*Analiza retoryczna mowy Sieniawskiego w „Janie Bieleckim“ Słowackiego* w *PL* XX) zasługuje na uwagę i uznanie choćby tylko z tego względu, że należy do rzadkich jeszcze u nas badań nad stylem; okazuje się, że, tworząc mowę Sieniawskiego, poeta wyzyskał dla celów artystycznych swoją znajomość reto-

ryki, nabytą w szkołach. — *Godzinie myśli* poświęcił krótkie studjum Ign. Chrzanowski (w *Przeglądzie Humanistycznym* 1922), zwracając uwagę na podobieństwa tego poematu do drugiego z *Dwóch fragmentów* Korzeniowskiego i na romantyczną ideję utworu: twórczość poetycka jest dla poetów najsilniejszą sprężyną, alfą i omegą życia, całą nie mal racją ich bytu. W studjum p. t. *Spisek koronacyjny w „Kordjanie"* (w *Słowie Polskiem* 1923, nr. 129—143) rozpatrzył Chrzanowski sporną sprawę t. zw. spisku koronacyjnego, który stanowi tło *Kordjana*; okazuje się, że istotnie kilku zapaleńców spisek ten planowało, że jednak Słowacki, według wszelkiego prawdopodobieństwa, dowiedział się o nim dopiero w Paryżu i w Szwajcarji, głównie z artykułów Aleksandra Łaskiego i Adama Gurowskiego w *Pamiętniku Emigracji*, że na postać Prezesa w akcie III złożyły się dwie żywe postaci: Niemcewicz i Stanisław Sołtyk. —

O poemacie *W Szwajcarji*, oprócz treściwego szkicu G. Maurera o *Trzech poematach* (*BN* nr. 49), ukazały się trzy nowe studja. Włodzimierz Fiszer (*Poemat Słowackiego „W Szwajcarji, PWarsz.* nr. 22) zanalizował barwy i oświetlenie, obrazy nastrojowe, występujące przeważnie w porównaniach i przenośniach, inne środki stylistyczne, budowę, uduchowienie przyrody. — Jedyną nową i pozytywną zdobyczą studjum Henryka Życzyńskiego (*Studja estetyczno-literackie,* Cieszyn 1924) jest wykazanie związku poematu Słowackiego z *Endymjonem* Aleksandra Chodźki. — Stefan Baley ogłosił w warszawskim *Przeglądzie Filozoficznym* (1921) ciekawą rozprawę· *Psychologiczne uwagi o genezie poematu „W Szwajcarji."* Nie brak tu trafnych spostrzeżeń, ale trudno się w zupełności zgodzić z główną tezą autora, a przedewszystkiem z jego metodą. Posługując się głośną teorję Freuda, Baley wykazuje, że poemat wypłynął z niezaspokojonych pragnień miłosnych Słowackiego. Niewątpliwie, tylko że to nie jest żadnem odkryciem: wiedziano o tem już dawno, — jedyną nowością jest tutaj wtłoczenie rzeczy jasnej jak słońce w ramy »uczonej« teorji. Powołuje się jeszcze autor na teorję ucznia Freuda — Karola Abrahama (tejże rasy), który starał się jeszcze prześcignąć mistrza i dowodził, że mity starożytne są odbłyskiem pożądań erotycznych. Wywodzić z tego źródła wszystkie mity jest zboczeniem, zwanem erotomanją, czy też neurastenją seksualną; że zaś niektóre mity płyną z tego źrodła, to wiedziano przed p. Abrahamem, bo przecie każda bez wyjątku sfera życia wyciska piętno na jego działalności duchowej, a więc i na tworzeniu mitów. Ale mniejsza z tem. Otóż Baley twierdzi, że miłość Słowackiego miała charakter endymjonowy, t. zn. zupełnie bierny — nawet w marzeniach, że Słowacki należał do tych, »którzy nie potrafią, nie śmią lub przez przekorność nie chcą zdobywać dla siebie kochanki, chociaż jej pragną; a gdy ona nie rzuca im się sama w ramiona, szukają oni rekompensaty w marzeniu, w którem, przez kontrast do rzeczywistości, ta, do której zbliżyć się nie śmią czy nie chcą, przychodzi sama, by na ich ustach złożyć miłosny pocałunek,« — jak Selene na ustach śpiącego Endymjona. I stara się wykazać autor, że miłość takiego rodzaju jest właśnie w poemacie Słowackiego. Dowody? On spuścił oczy przed nią; ona mu pierwsza powiedziała, że go kocha; ona przychodziła całować śpiącego, ona mogła była robić z nim, co tylko chciała. Zapewne, nikt

nie zaprzeczy, że bohater poematu nie odznacza nadmierną śmiałością, że bohaterka jest śmielsza, bo czuje swoją władzę nad nim (była wyraźnie Polką!); z tem wszystkiem i w bohaterze wzbierała niekiedy śmiałość: »Wtem duch mi jakiś podszepnął do ucha, — Ażebym na nią z książki przeszedł okiem. — Była jak anioł, co myśli i słucha, — I nagle takim przejrzystym obłokiem — Rumieniec smutny twarz jej umalował — Że nie wiem dotąd, jak się wszystko stało. — Alem ją w usta różane całował.« Cały ten ustęp autor pominął milczeniem — dlaczego? czyżby go przeoczył? wolno wątpić; pominął go raczej dlatego, że zadaje kłam jego teorji. To się nazywa zniekształcać żywą prawdę poezji Słowackiego.

Co znaczy *Jabłoń gwiazd w „Anhellim"* wyjaśnił Eugenjusz Kucharski (*P Warsz.* 1921, nr. 1) drogą porównania tego symbolu z drzewem symbolicznem w *Czyścu* Dantego (na tę myśl wpadł już T. Grabowski, *Juljusz Słowacki*, wyd. drugie, I, 284): »na jabłoni materjalnego życia muszą zabłysnąć gwiazdy kultury duchowej, nad Polską fizyczną musi powstać nadbudowa z ducha.«

Czy „Lilla Weneda" jest arcydziełem dramatu? — na to pytanie usiłował odpowiedzieć Ign. Chrzanowski (*P Warsz.* 1924, nr. 36), rozpatrując ten dramat ze stanowiska techniki dramatycznej (rozwój akcji, stosunek charakterystyki do akcji, dynamika i logika akcji dramatycznej) i wyjaśniając taki, a nie inny charakter akcji tendencją patrjotyczną Słowackiego: ona to przedewszystkiem sprawiła, że arcydziełem dramatu *Lilla Weneda* nie jest, albowiem wizja artystyczne walki Wenedów z Lechitami nie zharmonizowała się należycie z ideologją patrjotyczną; to jednak bynajmniej nie przeszkadza do wydania sądu, że dramat ten, nie będąc arcydziełem poezji dramatycznej, jest jednak, dzięki swoim ogromnym, a różnorodnym wartościom estetycznym, arcydziełem poezji.

Grobowi Agamemnona, który to utwór dodał Słowacki do *Lilly Wenedy*, »niby chór ostatni, śpiewany przez poetę,« poświęcił Chrzanowski osobny szkic, w którym streścił różnorodne sądy o tym wierszu, wyjaśnił jego genezę i budowę, rozpatrzył go, jako »lirykę gniewu«, ocenił jego ideologję patrjotyczną. Szkic ten ukazał się najprzód w *Tygodniku illustrowanym*, 1923, a potem osobno z dołączeniem szkicu o innym wierszu: *Juljusza Słowackiego „Grób Agamemnona" i „Testament mój"* (Warszawa 1925, *Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych*, nr. 186). Do szkicu o tym drugim utworze, na str. 48, wkradła się (jakżeby inaczej?) fatalna omyłka, uniemożliwiająca zrozumienie objaśnienia, dotyczącego tekstu: w wierszu ostatnim szóstej zwrotki wydrukowano mylnie jeżeli zamiast, jak jest w autografie, jeśli, przez co wiersz ma 13, a nie 12 zgłosek. Przy sposobności warto wtrącić, że słowa »A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, — Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec«, wyjaśnił dopiero Tadeusz Józef Wójcicki (w krakowskiej *Gazecie Literackiej*, 1926, nr. 3): porównanie to powstało pod wpływem Ksiąg Jozuego X, 11 nast.: »A gdy uciekali przed synami Izraelowymi, a byli na zstępowaniu z Bethoron, Pan spuścił na nie kamienie wielkie z nieba aż do Azeki, i pomarło ich daleko więcej od kamienia gradowego, niż co je mieczem pobili synowie Izraelowi.«

W studjum o *Mazepie* Bronisław Gubrynowicz (*BN*, nr. 76) pogłębił badania nad genezą tej tragedji, dokładniej niż inni wykazał wpływy

i reminiscencje, streścił szczegółowo dotychczasowe sądy. Na możliwość wpływu tragedji o Fedrze zwrócił uwagę Stanisław Zetowski, *Geneza „Mazepy" Słowackiego, w Minerwie* 1922, zeszyt 1.

Przechodzimy do studjów o utworach z epoki mistycznej. Szymon Taub, przyrodnik (*O idee przyrodnicze w „Genezis z ducha" Słowackiego, PW* 1924, nr. 230), stwierdza, że Słowacki był poetycznym pionierem nowoczesnych idei przyrodniczych w epoce, kiedy miały one bardzo nielicznych jeszcze zwolenników, że o porównywaniu Słowackiego z Darwinem nie powinno być nawet mowy, że »natomiast poglądy Słowackiego, opierające się o teorję Lamarcka, mogłyby znaleźć miejsce nawet wśród współczesnych przyrodniczych teoryj lamarkistycznych kierunków, które wprawdzie ze strony mechanistów (a więc i darwinistów), jako mniej lub więcej fantastyczne, za nienaukowe są uważane, jednak, jako filozoficzne spekulacje, występują nieraz u wybitnych nawet przyrodników współczesnych.« — Drugim, obok *Genezis z ducha,* utworem filozoficznym Słowackiego z epoki towianizmu jest *List do J. N. Rembowskiego.* Kto był ten »najcichszy z ludzi i najsprawiedliwszy,... anielski brat« poety, wiemy dzisiaj już dobrze dzięki »szkicowi biograficznemu« Stanisława Pigonia: *Przyjaciel Słowackiego Jan Nepomucen Rembowski (Dziennik Poznański* 1923, numery od 19 kwietnia do 10 maja); oparł się autor głównie na nieznanej dotychczas korespondencji Rembowskiego z Goszczyńskim.

O *Księdzu Marku,* pierwszym dramacie mistycznym Słowackiego, ukazały się dwa studja: Stanisława Turowskiego (*BN* 29) i Andrzeja Boleskiego: *„Ksiądz Marek" Słowackiego a „Sprawa Boża"* (Warszawa 1922, Wolna Wszechnica); w obydwóch uwydatniono pierwiastki nauki Towiańskiego w tym dramacie. Słusznie nazwał Boleski ten utwór dramatem Sprawy Bożej, albowiem »Konfederacja Barska wydała się Słowackiemu pierwszą w przeszłości wyraźnie zapowiadającą epoką wcielenia Sprawy.« Studjum Boleskiego, będące owocem głębokiego wżycia się w duszę Słowackiego w epoce mistycznej, posiada wartość niepospolitą. — Wpływ nauki Towiańskiego na *Sen srebrny Salomei* wykazał szczegółowo Turowski (*BN* 57). — *Króla Ducha,* jako wyraz poetycki filozofji Słowackiego, rozpatrzył St. Szpotański w treściwem studjum, umieszczonem przy końcu drugiego tomu jego monografji o Mickiewiczu (ob. *Slavia,* VII, 379). — *Juljusza Słowackiego „Samuel Zborowski," transskrypcja sceniczna* Cezarego Jellenty (Napoleona Hirschbanda) Warszawa 1924) jest dowolną przeróbką utworu, bez wartości.

XV.

Towiański. Krasiński.

Praca nad dziejami życia i nauką Andrzeja Towiańskiego, który tak wielki wpływ wywarł na Mickiewicza i Krasińskiego, postępuje naprzód. W *BN* (nr. 8) St. Pigoń wydał ponownie *Wybór pism i nauk,* poprzedzony niezmiernie treściwą biografją »mistrza« i charakterystyką jego nauki; sam wybór uległ znacznemu rozszerzeniu; dodał wydawca *Wielki perjod* oraz kilka drobnych utworów (wśród nich pięć dotyczy sztuk pięknych), młodzieńczą powiastkę *Zdarzenie prawdziwe* i *List do*

sąsiada. (Ocenę krytyczną »wstępu« Pigonia ob. w książce M. Kridla *Krytyka i krytycy*.) — Dwa specjalne studja o Towiańskim wcielił Pigoń do swej książki *Z epoki Mickiewicza, studja i szkice* (Lwów 1922, Ossolineum). Rzecz o *Biesiadzie* jest drugiem, uzupełnionem wydaniem dawniejszej pracy, z roku 1914; nowem natomiast jest studjum p. t. *Zręby „Sprawy Bożej, źródła i pokrewieństwa kilku idei podstawowych towianizmu*; nieznane dotąd listy najbliższego towarzysza i najgorliwszego wyznawcy Towiańskiego, Ferdynanda Gutta, do Walerego Pietkiewicza, z lat 1833 -1836, pozwoliły autorowi zbadać ideologję »mistrza« na lat kilka przed jego wystąpieniem publicznem na emigracji, ideologję, która pozostaje, jak to wykazał autor, w bliskiem pokrewieństwie z pomysłami różnych mistyków: Swedenborga, St. Martin'a, Grabianki i in. — Inne, nie mniej gruntowne, studjum poświęcił Pigoń jednemu tylko szczegółowi: *Chrystologja A. Towiańskiego (Kwartalnik Teologiczny Wileński* 1923, zeszyt 3 i 4; odbitka, Wilno 1924); po dokładnem omówieniu dotychczasowej literatury tego przedmiotu, autor przytoczył *in extenso*, bądź streścił wszystkie enuncjacje chrystologiczne Towiańskiego i zwrócił uwagę na ich pokrewieństwo z nauką Martineza Pasqualisa.

Trzy drobne przyczynki do działalności Towiańskiego znajdują się w *PL* XXI: L. Płoszewski, *Przegląd pism i not T-go z lat 1841-8*; S. P. Koczorowski, *Nieznane listy A. T-go*; J. G. Pawlikowski, *Układ pism T-go według ich treści*.

Dużo nowego światła na życie i naukę Towiańskiego rzuca książka Józefa Kallenbacha *Towianizm na tle historycznem* (Kraków 1924, odbitka z *Przeglądu Powszechnego*). Stosunek Towiańskiego do »proroka« francuskiego Vintras'a, jego wiarę w metampsychozę i w reinkarnację, jego poglądy na stosunek mężczyzny do kobiety, jego taktykę wobec ludzi, jego stosunek do Rosji i prawosławia, jego »trudy i troski«, jego »drogi i rozdroża«, — wszystko to oświetlił Kallenbach z nieznanej lub mało dotychczas znanej strony, opierając się na wiarogodnych, a często nowych źródłach. Bez względu na to, czy się kto pisze, czy nie pisze na sąd autora, że »Towiański był mistykiem nie tyle z bożej łaski, co z bożego dopustu« (str. 182), każdy przyzna, że książka ta posuwa studja nad Towiańskim o znaczny krok naprzód. Ale nie tylko nad Towiańskim. Dwa najobszerniejsze rodziały, oparte na nieogłoszonych dotychczas drukiem listach Krasińskiego do Delfiny Potockiej, są wręcz rewelacją: teraz dopiero znamy dokładnie stosunek Krasińskiego do towianizmu, a więc, pomiędzy innemi, tę rolę, jaką odegrał towianizm w genezie *Przedświtu*; teraz dopiero poznajemy psychikę Krasińskiego w roku 1848 i jego owoczesne poglądy na Mickiewicza; w tych listach dopiero odsłania się cały tragizm Krasińskiego, mający swoje główne źródło w tem, że miał takiego, a nie innego... ojca! »Mogłemże kiedy wszystko porzucić i pojść za Chrystusem? Mogłemże? Nie bylbym, tak czyniąc, zabił tych, których zabijać nie powinienem i nie mogę, których zabicie zgryzotamiby mi serce zaludniło?... Oto tajemnica i braku energji we mnie — i nieszczęścia wiecznego«... Ale i to jeszcze nie wszystko: rewelacyjna dla Krasińskiego, jest książka Kallenbacha rewelacyjna i dla Mickiewicza, a to dzięki opublikowaniu tych ustępów z listów Krasińskiego, w których się zawierają

szczegółowe relacje o pobycie Mickiewicza w Rzymie w roku 1848, o jego stosunku do »mistrza«, do Kościoła, do ruchu rewolucyjnego. Wielkość Mickiewicza, jako człowieka, jako romantyka, jako entuzjasty, jaśnieje w tych listach w całym swoim blasku.

Krasińskim zajmowała się nauka polska w trzechleciu 1922—24 o wiele mniej, niż Mickiewiczem i Słowackim; (plon czterech lat następnych, którym będzie poświęcona następna serja tych przeglądów, jest znacznie bogatszy). *Bibljografja o Krasińskim,* zbyt pośpieszenie opracowana przez Ludwika Stolarzewicza (Wilno 1924, Księg. Stow. Naucz. Polsk.), grzeszy nie mniejszą niedokładnością, jak jego bibljografja mickiewiczowska (ob. *Slavia*, VII, 377). Z przyczynków biograficznych zasługuje na uwagę notatka Józefa Ujejskiego, zawierająca w sobie *Raporty szpiegów o szesnastoletnim Z. K.*, przechowane w bibljotece Raczyńskich w Rogalinie (*PL* XX), oraz szkic St. Wasylewskiego: *Hr. Henryk z czarnoksiężnikiem* (w *Tygodn. Illustr.* 1923, nr. 27—31) — o stosunkach Krasińskiego z Dawidem Hume'm, prestydygitatorem i spirytystą. — Krasińskiego *Listy do Adama Potockiego,* ogłoszone po raz pierwszy przez wnuka poety, Adama, w *Bibljotece Warszawskiej* 1909, II, przedrukował w osobnej książeczce Ign. Chrzanowski (Warszawa 1922, Vita Nuova) i poprzedził je obszernym szkicem, opartym głównie na korespondencji poety: *Przyjaźń w życiu Krasińskiego.* — Z autografów wydał Chrzanowski *Dwa nieznane listy Krasińskiego* — do Stanisława Krasińskiego, z roku 1841 i 1842 (w tygodniku *Bluszcz* 1922, nr. 9). *Korespondencję A. Niegolewskiego z Z. K.*, z roku 1855, ogłosił Roman Pollak (w *Kurjerze Poznańskim* 1923, nr. 235). — Niezmiernie bogatej, a do dziś dna częściowo tylko znanej korespondencji Krasińskiego z przyjaciółmi i z kochankami, nie opracowano jeszcze wszechstronnie, nie wyzyskano całkowicie dla charakterystyki człowieka i jego poglądów na świat, na historję, na literaturę, na sztukę i t. d. Do kilku zaledwie studjów z tej dziedziny przybyła rozprawa Władysława Włocha. *Z. K., o wielkim człowieku w okresie wymiany listów z H. Reeve'm* (Warszawa 1923, nakładem »Epoki«). Jak widać z tytułu, autor rozpatrzył jeden z najważniejszych problemów ideologji romantycznej, wkraczający w zakres »idealizmu magicznego«. Szkoda, że studjum to nie wyczerpuje przedmiotu: autor oparł się prawie wyłacznie na listach do Reeve'a, nadto zaś nie zna nowszej literatury przedmiotu, — dosyć powiedzieć, żę nie uwzględnił nawet dwutomowej monografji Kleinera o dziejach myśli Krasińskiego. — O studjum Życzyńskiego: *Estetyka Z. K.* (w *PL* XVII do XVIII) była już mowa (ob. *Slavia* II, 744); obecnie wcielił je autor do swych *Studjów estetyczno-literackich* (Cieszyn 1924, »Kresy«).

Krótka przedmowa Chestertona do przekładu angielskiego *Nieboskiej Komedji (The Un-Divine Comedy by Z. K., translated by H. E. Kennedy and Z. Umińska,* Warszawa, 1924, »Książnica Polska«) zawiera w sobie kilka wyjątkowo trafnych uwag o tem arcydziele Krasińskiego, zwłaszcza o roli przechrztów w scenie pierwszej części trzeciej. Ocenę tego przekładu podał Roman Dyboski (w *P Warsz.* nr. 30, tamże — przekład polski przedmowy Chestertona). Na pokrewieństwa ideowe *Nieboskiej Komedji* z niektóremi utworami literatury obcej (*Germinala* Zoli,

z *Tkaczami* Hauptmanna, z dramatem Björnsona *Nad siły*) dawno już zwrócił uwagę St. Dobrzycki, w *Rozprawach Akad. Umiej.*, Wydz. filolog., XLII. Na inne pokrewieństwo wskazała p. S. Tatarówna w *Przeglądzie Narodowym* 1921: *Nieb. Kom. a dramaty polityczne Goethego* (*Grosskophta, Burgergeneral, Die Aufgeregten, Die natürliche Tochter*). Do tych utworów możnaby jeszcze dodać takie, jak powieść p. Fanny Ewald *Wandlungen*, romans Gutzkowa *Die Ritter von Geist*, ale nadewszystko tragedję Hauptmanna *Weltrevolution* i dramat Bleibtreu'a *Weltgericht*. Wszystkie te jednak utwory nie mogą się równać z *Nieboską Komedją* pod tym względem, że jeden jedyny Krasiński wzniósł się do stworzenia, jeżeli nie wiekuistego, to przynajmniej wiekowego symbolu walki o nowy ustrój świata, że on jeden jedyny dał genjalny w zwartości swej artystycznej ekspresji obraz ogólnoludzkiej prawdy życia ludzkiego, które do swojej przebudowy dopóty będzie się posługiwało »nieboską komedją«, to jest niszczeniem starych zbrodni zapomocą nowych, dopóki końcowa wizja Pankracego nie przestanie być tylko wizją i nie stanie się realną rzeczywistością historyczną, główną sprężyną serc i czynów ludzkich.

Gruntowne studjum o *Irydionie* napisał Tadeusz Sinko, jako »wstęp« do wydania tego poematu w *BN*. nr. 42. Zużytkował tu autor nie tylko swą wiedzę starożytniczą, bez której *Irydiona* zrozumieć nie można, ale wogóle swoją ogromną erudycję historyczno-literacką. Zwłaszcza genezę *Irydiona* (w najszerszem znaczeniu tego wyrazu) wyjaśnił znakomicie, przyczem na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie wpływu *Ahasverusa* Quineta. Czy słuszny jest pogląd Sinki, że zgóry obmyślony plan *Irydione* nie uległ w toku pisania żadnym zmianom, że poeta odrazu miał zamiar odrodzenia moralnego i zbawienia swego bohatera, — o to możnaby się spierać; słuszność należałoby przyznać raczej Kallenbachowi, który w swej monografji oświadczył się — na podstawie tekstu Krasińskiego — za zmianą pierwotnego planu; (tego samego zdania jest Tadeusz Pini w książce, którą, jako wydaną w r. 1928, omówimy dopiero w trzeciej serji tych przeglądów). W ocenie estetycznej *Irydiona* trafnie scharakteryzował Sinko jego styl retoryczny i zwrócił szczególną uwagę na posągowość postaci; na czem jednak polega ich tragizm, tego nie wyjaśnił. Tutaj warto przypomnieć jedno doskonałe, a zapomniane studjum psychologiczne, doktora medycyny Ottona Hewelkego: *Kornelja Metella w „Irydionie“* (w warszawskiej *Krytyce Lekarskiej* 1902), studjum, rzucające jasne światło na patologiczne podłoże duchowe tragizmu Kornelji Metelli. Cenne uwagi o »wstępie« Sinki, pióra Juljana Krzyżanowskiego i Henryka Życzyńskiego, zamieścił *PL* XX, 329—335. Nadto Krzyżanowski poświęcił *Irydionowi* głęboko obmyślone studjum: *Masynissa i jego rola w „Irydionie“* (w *Przeglądzie Humanistycznym* 1923, III). Doskonale wyjaśnił autor pokrewieństwo Masynissy z Szatanem Miltona i Lucyferem Byrona, ale jednocześnie uwydatnił oryginalność Krasińskiego, polegającą przedewszystkiem na położeniu o wiele silniejszego od Byrona nacisku na to, że Szatan jest wcieleniem tylko rozumu, to jest rozumu bez serca, kiedy tymczasem Bóg jest doskonałą syntezą rozumu i miłości. Oto dlaczego nawet nienawiść Masynissy ku Bogu jest chłodna — i w tym swoim chłodzie straszliwa. Przez ten spokój

jest Masynissa w doskonałej harmonji z klasycznym spokojem całego poematu. Co więcej, taka koncepcja Szatana pozwoliła Krasińskiemu utożsamić go ze ślepem Fatum (albo raczej uosobić Fatum w postaci Szatana), oraz kazała mu za środek do zbuntowania ludzi przeciw Bogu poczytywać ich rozum: dlatego to Masynissa chce zniszczyć w ludziach serce, które Bóg zawiesił w ich łonie, i które, w połączeniu z rozumem, czyni ich podobnymi Bogu, które też może być bronią do walki z Szatanem i do zwycięstwa nad nim.

Co znaczą *„Życia kwiaty“ w „Przedświcie“*, wyjaśnił Krzyżanowski w *PL* XX: są one echem hymnów archanielskich w *Raju utraconym* Miltona. Zwięzłe, a pełne treści studjum o *Przedświcie* napisał J. Kleiner (*BN*, 18, wydanie drugie 1922); swoje dawniejsze wywody o idei *Przedświtu*, jako poematu o wartościach życia, i o filozofji mesjanistycznej Krasińskiego, uzupełnił wyjaśnieniem genezy poematu; wykazał nadto, że ostateczna redakcja *Traktatu o Trójcy* powstała dopiero w roku 1844. Studjum Ign. Chrzanowskiego *„Przedświt“ a „Prelekcje Paryskie“* (w książce *Wśród zagadnień książek i ludzi* (Lwów 1922, Ossolineum) jest przedrukiem z *Przeglądu Narodowego* 1920.

XVI.

Inni poeci w epoce romantyzmu.

Nad monografją o Goszczyńskim oddawna już pracuje Zygmunt Wasilewski; że jej nie kończy, jest wielką krzywdą dla nauki polskiej, nikt bowiem z krytyków naszych nie zadał sobie tyle trudu około zbadanie życia i twórczości tego poety, ile Wasilewski; o tem świadczy cały szereg jego studjów, rozproszonych po czasopismach. Obecnie wydał je autor w książce *Seweryn Goszczyński, szkice literackie* (Poznań 1923, Księgarnia św. Wojciecha), szkoda jednak, że nie wszystkie: pominął *Z życia poety romantycznego* i *Między kolegami z Humania*. — Jedno z głównych źródeł rękopiśmiennych, które wyzyskał Wasilewski dla biografji Goszczyńskiego, ogłosił teraz drukiem Stanisław Pigoń: *Podróż mojego życia, urywki wspomnień i zapiski do pamiętnika 1801—1842* (*Rozprawy i Materjały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie*, Tom I, 1924). Jest to źródło ogromnej wagi do poznania nie tylko kolei życia, ale i twórczości Goszczyńskiego przed przystąpieniem do towiańszczyzny, tem więcej, że jest pisany z rzadką, nawet w pamiętnikach, szczerością. Oto np. jedno wyznanie, dotyczące *Zamku Kaniowskiego:* »Scena puszczyków. Pisałem ją w Leszczynówce, a myśl pierwsza — z gniazda puszczyków, które były w kominie mojej rotundy. Ksenia to jedna z moich kochanek, dla której ostygłem i byłem prześladowany jej miłością; przed rokiem snułem na niej balladę, później wprowadziłem ją do mojej powieści.« O wpływie podań ludowych na młodzieńczą fantazję Goszczyńskiego świadczy ustęp o »poczciwej kobiecie« Borewiczowej, od której się przyszły poeta, pomiędzy innemi, dowiedział, że »woły rozmawiają z sobą w nocy, poprzedzającej dzień św. Jerzego«, że »są koguty, które w swoim ogonie mają piórko anielskie,« i że »za pośrednictwem tego piórka są w styczności z niebem, słyszą w nocy pieśń aniołów i natychmiast im odpowiadają swojem pianiem« i t. p. Bardzo

ciekawe są także sądy Goszczyńskiego o »francuziku« Michale Grabowskim, o »fantastyku« Bohdanie Zaleskim, o Brodzińskim: »Rozprawa *O klasyczności i romantyczności* zrobiła na mnie wrażenie, ale nie była mi zupełnie zrozumiałą. Co Brodziński mówił przeciw klasycyzmowi, odpowiadało moim instynktom; nie przystawała niemczyzna, która przewiewa z tej rozprawy«. Ten sąd o rozprawie (mocno do dziś dnia przez naszych krytyków przecenianej) jest zupełnie słuszny.

Genezę kilku drobnych pomysłów w *Marji* Malczewskiego wyjaśnił T. Sinko (*Pochodzenie trzech formuł poetyckich*, w *Przeglądzie powszechnym* 1923, kwiecień), tłumacząc je reminiscencjami z Owidjusza (echo), z *Iliady* (bitwa z Tatarami) i z Krasickiego (wspomnienia dziecięce Marji); co do echa, słuszność ma raczej Ujejski, tłumacząc je reminiscencją z Byrona. Zresztą wszystko to drobiazgi. — A kiedy już mowa o *Marji* Malczewskiego, to niech wolno będzie dodać dwa drobne szczegóły do omówionej na łamach *Slavii* (II, 745—746) monografji Ujejskiego. W poemacie Marję utopiono w stawie żywą, a nie, jak w relacji Chrząszczewskiego, martwą (Ujejski, str. 182). Otóż, kto wie, może do uszu Malczewskiego doszła ta sama wiadomość, którą miał Stanisław August; przytaczamy ją tutaj także i z tego względu, że w innych relacjach niema wzmianki o udziale Rumiancowa w zbrodni: »On rapporta... que, sur son lit de mort« (mowa o wojewodzie kijowskim) »il doit avoir protesté n'avoir jamais ordonné l'enlèvement et la disparition de cette fille de Komorowski,... et que les cosaques qui l'avaient enlevée l'hiver précédent n'avaient agi que par l'ordre du maréchal Rumianzoff, lequel, par l'effet d'une amitié mal entendue pour lui, Potocki, avait voulu le défaire ainsi d'une brû qui lui déplaisait, que lui, palatin, regardait (quoique à tort) comme une mésaillance... Quoiqu'il en soit, le fait est que des cosaques inconnus entrèrent subitement un soir du mois de février 1772 dans sa chambre, où cette demoiselle Komorowska se trouvait, et l'enlevèrent de force d'entre les bras de son père et de sa mère, la jetèrent sans fourrure dans un traîneau, lui cassèrent un bras en l'y jetant, l'amenèrent jusqu' à une petite rivière,... la precipitèrent sous la glace dans un trou«; zwłoki wypłynęły przez inny przerębel (*Mémoires du roi St. A. Poniatowski*, II, 34). — Do historji sądów o *Marji* warto dorzucić ten przyczynek, że entuzjastyczną jej ocenę napisał Adam Gurowski w *L'Europe Littéraire* (r. 1833, nr. 68), stawiając Malczewskiego wyżej od Mickiewicza; »élévation et finesse dans les idées, suavité de coloris, originalité des formes«, »diamant inconnu, dont la vive lumière remua bientôt... les âmes le moins préoccupées de la Pologne, pour les fixer à toujours dans le cercle de son rayonnement«, »fraîche et céleste poésie« i t. p. — oto próbki entuzjazmu krytyka. — (O Malczewskim wspomina przelotnie Józef Krasiński w *Pamiętnikach* (Poznań 1877, str. 151), że, mieszkając w Warszawie, grywał »zażarcie« w ćwika).

Mohorta Wincentego Pola wydał Al. Łucki (*BN*, 1922. nr. 52), opierając się nie tylko na pierwodruku, ale i na autografie, przechowanym w Bibljotece Jagiellońskiej; wstęp jest bardzo dobrą monografją o tym niegdyś przecenionym, a dzisiaj niedocenianym utworze; sąd, że *Mohort*, nie będąc wielką poezją, »pomiędzy gawędami zajmuje pierwsze miejsce,

że ma od innych nastrój wyższy, ton podnioślejszy«, — jest zupełnie słuszny.

W r. 1923 (dnia 29 września) przypadała setna rocznica urodzin Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). O rok wcześniej wydał Franciszek Bielak *Wybór poezyj* (w *BN*, nr. 54), poprzedzając go krotkim zarysem biograficznym i trafną charakterystyką twórczości. W roku zaś jubileuszowym ukazał się trzytomowy *Wybór poezyj* w opracowaniu Stanisława Cywińskiego (Wilno, Księgarnia Stow. Nauczycielstwe Polskiego), tem potrzebniejszy, że wydania stare, dziesięciotomowe z roku 1872 i pięciotomowe z roku 1890, są już dawno wyczerpane, i tem cenniejszy, że się w nim znalazły niektóre utwory, których nie było w dwóch pomienionych wydaniach, jakoto *Mazurek na rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego*, *Do swawolnych dzieci*, *Do M. Malinowskiego*, *Dobryja wieści* i inne. Szkoda tylko, że korekta jest niedbała; oto np. w tomie I, str. 53 przybija rymuje się z Marja (zam. Maryja); str. 121 »płomię zażera serca« (zam. zażega!!); str. 124 »serce pijane od rozkoszy« (zam. pjane: wiersz ośmiozgłoskowy!); str. 137 kumuś (zam. komuś); str. 145 przemian (zam. przemiana). Na końcu tomu III umieścił Cywiński swój *Szkic o Syrokomli*; zasługuje tu na uwagę nadewszystko szczegótowa biografja poety, oparta po części na nieznanych dotychczas materjałach, i udatna próba syntetycznej charakterystyki jego twórczości. — W tomie IX rozpoczętego w roku 1906, a nieukończonego jeszcze wydawnictwa *Wiek XIX, Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki*, Syrokomlę opracował Aureli Drogoszewski, opierając się na własnych gruntownych badaniach, ogłoszonych w r. 1904 w *Bibljotece Warszawskiej* (i osobno 1905). — Marjan Zdziechowski w szkicu (*Wł. Syrokomla, pierwiastek litewsko-białoruski w twórczości polskiej*, Wilno 1924) bardzo słusznie zwalcza sądy Tarnowskiego, który, nie lubiąc Syrokomli, nie doceniał go; szkoda jednak, że autor wpadł w drugą ostateczność, nazywając go wielkim poetą; doskonale natomiast uwydatnił dwie znamienne cechy jego poezji: miłość ziemi rodzinnej i rzewność (»poeta najrzewniejszy w świecie!«). Czy ta rzewność jest specyficznym pierwiastkiem litewsko-białoruskim, o tem niżej podpisany nie ma prawa wyrokować; ma natomiast prawo powiedzieć, że ten szkic Zdziechowskiego należy do jego najpiękniejszych rzeczy i że nikt nie pisał piękniej o rzewności Syrokomli. — Bezstronną ocenę wszystkich pomienionych studjów o Kondratowiczu skreślil Juljan Krzyżanowski (*PWarsz.*, nr. 34—35, str. 187—195) i słusznie stwierdził, że, »jeśli ideałem poznania naukowego w dziedzinie nauki o literaturze jest dojście do momentu, w którym zasadnicze właściwości badanego zjawiska literackiego można traktować jako fakty ustalone, to nasza dzisiejsza znajomość zjawiska, zwanego *Syrokomla*, nie bardzo posunęła się, dzięki omówionym studjom, naprzód«. W jakim kierunku ma się ta znajomość posuwać, jakie są główne problemy szczegółowej, dotąd jeszcze nie napisanej, monografji o Syrokomli, to wyjaśnił Krzyżanowski w swej recenzji. Obyż tym monografistą był sam recenzent! Że ma po temu wszelkie dane, o tem, pomiędzy innemi, świadczy jego wydanie *Jana Dęboroga* i *Szkolnych czasów*, zaopatrzone w doskonałe objaśnienia (*Pisarze polscy i obcy*, nr. 8, 1925).

O Lenartowiczu, oprócz charakterystyki na tle biograficznem pióra Bronisława Chlebowskiego (w pomienionym tomie *Stu lat myśli polskiej*), ukazały się dwie prace p. Zofji Gąsiorowskiej-Szmydtowej: *Lenartowicz w wykładzie szkolnym* (*Przegląd Pedagogiczny* 1918, nr. 7—8) i *T. L. w setną rocznicę urodzin* (*PWarsz.* 1922, nr. 8). Obydwie, rzec można, tworzą całość, uzupełniając się nawzajem; zawierają w sobie bardzo trafną charakterystykę umysłowości, uczuciowości (zwłaszcza uczuć religijnych i patrjotycznych) Lenartowicza, oraz jego poezji; szczególnie problem ludowości wyjaśniła autorka doskonale; słusznie zwróciła uwagę na niektóre niedocenione dotychczas utwory, np. *Słówko o Piotrze Duńczyku*, *Wiersz na cześć 25 lutego 1861 r. w Warszawie* i in., słusznie także stwierdziła wpływ Norwida na Lenartowicza. — Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin poety ogłosił Kazimierz Bartoszewicz, w *Tygodniku Illustrowanym* (1923, nr. 46), dwa *Nieznane utwory Lenartowicza* (*Sala Kapitolińska* i *Jak wygląda Colosseum poprószone śniegiem*), a J. Kleiner — tekst drobnego autografu (*PL* XX, str. 241). Nierównie cenniejsze od tych przyczynków są ogłoszone przez Bolesława Erzepkiego *Listy T. L. do Ewarysta Estkowskiego* (Poznań, Rzepecki 1922): dla biografji zarówno, jak dla charakterystyki poety są to materjały niemałej wagi, tem bardziej, że wydane (jak wszystkie wydania Erzepkiego) wzorowo, z bogatym aparatem naukowym w przypiskach. Z listu z dnia 5 lipca r. 1854 warto przytoczyć kilka słów, charakteryzujących entuzjazm Lenartowicza dla poezji ludowej: »Co tam utwory pp. Mickiewiczów, Zaleskich, Goszczyńskich etc. etc. przy Homerze, ... przy rapsodach serbskich, przy naszych niektórych powieściach gminnych; oni nie robią honoru tym pieśniom, że się w nich uczą najwyższej estetyki; jestże co piękniejszego nad Skandynawskie Sagi albo Pieśni Osjana, a to wszystko gminni śpiewacy — Mickiewicza i wszystkich zasługą, że wyciągnął jednemu dziadowi parę strun z ludowego warito« (tak, zam. barbiton): »to ja, widzisz, tak myślę o gminnych pieśniach i powieściach«. Cała sentymentalna egzaltacja Lenartowicza jest w tych słowach.

Praca nad Norwidem nie stoi w miejscu, lecz wobec tego, że zbiorowe wydanie jego pism utknęło (ob. *Slavia* II, 754), nieprędko jeszcze będzie można pomyśleć o wyczerpującej monografji. Tymczasem — same tylko przyczynki. St. Cywiński należący do szeregu największych wielbicieli Norwida, wydał w *PWarsz.* nr. 4 nieznany dotychczas króciutki jego wiersz z roku 1859 »Belizarjus, gdy Rzymskie osadził okopy«, a w *Południu* wileńskiem (1922, zeszyt IV) — pięć listów z lat 1869—1879; St. P. Koczorowski — nieznane przemówienie publiczne, wygłoszone w roku 1846, w Bruxelli, na obchodzie rocznicy powstania listopadowego (tamże, nr. 23); p. Stefanja Zdziechowska — nieznany list do Artura Bartelsa z roku 1875 (*PW*, nr. 18). Józef Ujejski, w związku z toczącym się w r. 1929 na łamach *Wiadomości Literackich* sporze o »zrozumialstwo« i »niezrozumialstwo« w poezji, ogłosił w nr. 46 tego tygodnika bardzo ciekawy artykuł Norwida, znaleziony w papierach po Auguście Cieszkowskim; w dopisku bardzo słusznie broni Ujejski Norwida przed możliwym zarzutem umyślnego »niezrozumialstwa«. Wydanie *Prome-*

thidiona w *Wielkiej Bibljotece* (nr. 18), sporządzone przez Wiktora Przecławskiego, jest bardzo niepoprawne. Natomiast prawdziwą wartość posiada komentowane wydanie tegoż poematu w opracowaniu Romana Zrębowicza (Warszawa 1922, »Ignis«); temuż miłośnikowi Norwida zawdzięczamy nadto dwie antologje, jedną — utworów prozaicznych (*Czarne i białe kwiaty*, wydanie nowe, Warszawa 1922, Mortkowicz), drugą — poezyj (*Autoportret*, tamże 1922, Ignis«). Lecz na czoło antologij wysuwa się *Wybór poezyj*, opracowany przez St. Cywińskiego (*BN*, nr. 64). Przypisom, w jakie wydawca opatrzył poezje Norwida, wolno zarzucić, że jest ich za dużo (bo niektóre wyjaśniają rzeczy, nie potrzebujące wyjaśnienia) i za mało (bo nie wyjaśniają wielu rzeczy, potrzebujących koniecznie wyjaśnienia); natomiast biografja Norwida, ogólna charakterystyka jego twórczości i bibljografja zasługują na rzetelne uznanie. — Szczegółową i doskonałą ocenę tych wszystkich wydawcnitw napisał Wacław Borowy w *PL*. XXI, 464—486. Co do prac o poszczególnych utworach Norwida, to, pomijając drobny artykuł p. Wandy Nowodworskiej (*Kilka uwag o tragizmie „Kleopatry" Norwida* w *Alma Mater Vilnensis* 1924, zeszyt 2) i szkic Henryka Życzyńskiego (*C. Norwida „Assunta"*, we wspomnianych już *Studjach estetyczno-literackich*), szkic, będący, ściśle biorąc. tylko streszczeniem poematu, — na miano studjum naukowego zasługuje jedynie metodyczna rozprawa p. Zofji Gąsiorowskiej-Szmydtowej: *Norwida przekład ody Horacego „Ad Pompeium"* (*PL*, XX, 109—125). Dokonała tutaj autorka mikroskopijnej analizy tego przekładu, wyjaśniając jego genezę i bardzo indywidualny stosunek do oryginału, stosunek takiego rodzaju, że oda polska jest raczej komentarzem artystycznym do ody łacińskiej, niż jej przekładem, i to komentarzem niedokładnym.

Sześć nieznanych listów Kornela Ujejskiego, z ostatnich lat życia ogłosił St. Lam w *Tygodniku Illustrowanym* 1923, nr. 37; dla historji twórczości poety są te listy zupełnie obojętne. (W tymże numerze — artykuł p. K. Bielańskiej: *Ujejski w Wygnance*, 1890—1893, drobny przyczynek do biografji).

Niezmiernie ważny przyczynek do biografji Narcyzy Żmichowskiej znajduje się w źródłowej monografji p. Anny Minkowskiej: *Organizacja spiskowa 1848 roku w Królestwie Polskiem* (*Rozprawy historyczne Tow. Nauk. Warszawskiego* 1923, tom III, zeszyt 1). Wyjaśniła autorka udział Żmichowskiej (i innych »entuzjastek«) w spisku r. 1848, oraz jej zachowanie się w śledztwie; jasny i piękny promień światła pada tutaj na mocny charakter Żmichowskiej (por. *Slavia* II, 753). Szkoda, że A. Drogoszewski, pisząc o Żmichowskiej swoje studjum do IX tomu *Stu let myśli polskiej*, nie mógł jeszcze znać odkryć archiwalnych p. Minkowskiej; a studjum to zawiera w sobie, prócz treściwej biografji i krótkiej analizy utworów, charakterystykę syntetyczną jej twórczości, najlepszą ze wszytkich, jakie posiadamy. Pomiędzy innemi, niezmiernie cennem jest spostrzeżenie, że Żmichowska obrała sobie niezgodną ze swoim talentem liryczno-refleksyjnym formę, mianowicie formę rozpraw akademickich (str. 84).

Na tem miejscu wtrąćmy, że pomieniony tom zawiera w sobie źródłowe opracowania następujących jeszcze poetów: Gustawa Zielińskiego

i Alexandra Grozy (Henryk Galle); Antoniego Czajkowskiego, Karola Balińskiego, Romana Zmorskiego i Włodzimierza Wolskiego (Gabrjel Korbut); Edwarda Żeligowskiego (A. Drogoszewski). Wszystkie te studja powinnyby zachęcić młodszych pracowników do szczegółowych monografij.

Dwa przyczynki już nie tylko do biografji, ale i do twórczości Mieczysława Romanowskiego ogłosił Bronisław Gubrynowicz (*PL* XX, str. 231—241): *Z nieznanej puścizny M. R.* Oprócz młodzieńczej recenzji *Ballad i romansów* Mickiewicza, mamy tutaj dwa listy do Ujejskiego, rzucające ciekawe światło na rwącą się do ideałów, szlachetną, patrjotyczną duszę poety.

Zwięzłą charakterystykę twórczości Wł. L. Anczyca napisał Jan St. Bystroń, jako wydawca jego *Obrazków dramatycznych ludowych*, tudzież *Poezyj patrjotycznych i Kościuszki pod Racławicami* (*BN*, nr. 78 i 69.

Ign. Chrzanowski.

Světlo apatekářův. Z latinského »Lumen apothecariorum« Quirika de Augustis přeložil *Matěj z Mýta*. Díl I. K vydání upravil Pharm. Mag. *Emil Šedivý*. (Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Vydává III. třída České Akademie věd a umění. Skupina první. Památky řeči a literatury české. Řada II. — Číslo 12.) V Praze, nákladem Č. Akademie. 1921.[1]) 8⁰. str. XVI + 196.

Vydávati starší odborné práce je věc vždycky velmi nesnadná: má-li vydání podržeti cenu věcnou, musí nezbytně býti vydáno znalcem příslušného odboru — tito znalci však obyčejně nemívají potřebných znalostí jazykových, paleografických a historických. Zřídka se najde Littré nebo Berthelot, kteří vydávali antické spisy lékařské a alchymické s všestrannou znalostí; u nás staré takové památky rukopisné nalezly jen málokdy vydavatele dokonale připraveného.

Jeden takový autor byl Otakar Zachar, jenž se vzácnou nezištností a láskou k věci podnikl odborné a pěkné vydávání starých rukopisů alchymických; nalezl následovníka v lékárníku Em. Šedivém, jenž podnikl vydání nejstaršího českého spisu lékárnického — je to práce M. z Mýta, jenž přeložil r. 1496 latinské »Světlo apatekářů«, které vydal r. 1491 dr. Quiricus de Augustis. Práce M. z Mýta se nám dochovala jen ve velmi vadném a několikrát měněném opise z pol. XVI. století (kdysi Neuberském, nyní v knihovně Nár. Musea). Co o M. z Mýta víme, je čerpáno jen z tohoto jeho překladu — je toho tedy nesmírně málo a ještě méně jistého; literární cena prvního tohoto lékárnického díla českého není veliká — a opis tuto cenu ještě hodně snižuje. Ale ovšem pro poznání odborné terminologie lékárnické u nás koncem XV. století má cenu velikou, ač často bez latinského originálu jemu naprosto nemožno rozuměti.

Lékárník Šedivý spolu s Českou lékárnickou společností (tato vydala týž text se zevrubným komentářem po smrti autorově přičiněním

[1]) Titul sice udává r. 1921, ale při smrti autorově r. 1923 byly vytištěny pouze dva archy; na obálce je správně rok 1926, kdy práce dotištěna a vyšla.

dra. Vrtiše) podnikl málo vděčnou práci toto dílo Matějovo vydati. Vynasnažil se podle sil svých poskytnouti čtenáři co možno vše, čím by se usnadnilo porozumění textu. Zevrubný úvod vykládá o lékárnictví v době XV. století v cizině i u nás, informuje dobře o práci Quirikově, zevrubně popisuje rukopis musejní, oceňuje překlad Matějův a konečně otiskuje text věrně podle rukopisu, se snímky, jež dovolují čtenáři vlastní úsudek a kritiku práce. Text je provázen hojnými poznámkami, jež otiskují latinský originál a podávají často příslušný výklad odborný; těmito poznámkami teprve možno textu porozuměti. Je tu takto vykonán kus dobré a užitečné práce.

V. Flajšhans.

Інстытут беларускае культуры. Матар'ялы да вывучэньня беларускае мовы, этнографіі і літаратуры. **Алаксанлар Сержпутоўскі Казкі і апаваданьні беларусаў з слуцкага павету.** Institut de la culture Blanche-Ruthénienne. Materiaux pour l'étude de la langue, ethnographie et litterature Blanches-Ruthéniennes. Alexandre Seržputowski: Contes et récits des Blancs-Ruthéniens. District de Sloutsk 1926 VI + 252.

Jest to druhá část sbírky běloruských podání, kterou pořídil Al. Seržputovskij. První byla vydána od ruské akademie věd 1911. Nová část byla zapsána od r. 1915 počínaje. Částečně od týchž pohádkářů, od kterých čerpal již pro svou první část. Pro první sbírku obsahující 80 čísel čerpal od 18 vypravovatelů vesměs mužů. Z nich vlastně jenom dva starci vynikali obsáhlejším repertoirem pohádkovým. Pro tuto druhou sbírku obsahující 100 čísel čerpal od 2 žen a 19 mužů. Od žen měl jenom málo povídek (3 +2). Z mužů celkem jenom pět umělo více vypravovati. Od hlubokého starce Rědkého, který přispěl k první sbírce 20 čísly, má v nové sbírce ještě 12 čísel. Nejvíce povídek v druhé sbírce má Danila Kuleš 26 čísel, kdežto v první sbírce měl jediné číslo. Nalézáme ještě jiná jména již zastoupená v první sbírce, ale tu i tam nepatrným počtem. Lepší pohádkáři jsou v úvodě podrobněji charakterisováni. Ve svém úvodě praví vydavatel, že každý vesničan zná hodně povídek a že jsou mistrní pohádkáři, kteří jich znají i přes sto. Obšírněji líčí v předmluvě všechny obtíže při zapisování pohádek i svůj způsob zapisování. Vydavatel ubezpečuje, že přesně zapisoval a že všemožně se snažil zachycovat písmem všechny fonetické zvláštnosti toho dialektu.

Ve vydané sbírce nelze nespatřovati jistý úpadek po stránce stilistické. Nejvíce ještě se zachovala úvodní formulka: **У ніеякум царстве, у ніеякум гасударстве жыу-быу каваль да каваліха.** Str. 47, č. 23. Podobně ještě 219, č. 86; 230. č. 89. Jednou jest to rozšířeno slovy: **а мо у туом, дзіе мы жывуом** (179, č. 75) u povídky ze života, která nemá nic společného s tradicí pohádkovou. Jednou jest to ještě více rozšířeno, přidáno: **за дауніейшы час, як яшчэ не было нас, жыу сабіе адзін каруоль да віедзьма караліха, на яіе ліха** (183, č. 76). Záliba v rýmech z tohoto úvodu patrná jeví se ještě v jiných úvodech: **Прауду людзі кажуць, што у стралца дым густы да абіед пусты а рыбак як намочыцца, та іесьці й нехочэцца. Былі у бацька два сыны** (42, č. 21). Čteme ještě úvody, které nemají paralel v ruské literatuře pohádkové: **Вы хочэце, кабя вам сыплёу казку, а я от**

здаэцца усіе казау, а якіie яшчэ знаю, дак вы гаворыце, што гэто так напісано у ксёнжках. Я чалавіек цёмны, неуміею ні чытаць, ні пісаць, а тоулькі змалку научыуса хлусіць, тое, што сам чуу ат людзей. Дак от бачыце, як розважыць, тая й не хлушу, а туолькі кажу тое, што сам чуу, бо то не хлусьня, што мніе хлусілі (55, č. 25). Někdy se v úvodě připomíná původ pohádky. Tak začala jedna vypravovatelka: Даупо тое было, бо я яшчэ была блазніцаю, як нам гаварыла старэнькая баба уселякіie казкі да байкі, а яна, кажэ, чула тыие байкі ат свайго небуожчыка дзіеда, як яшчэ была дзіеўкаю (94, č. 41). I dále rozvádí, jak babička vypravovala, jak ji děti poslouchají i končí: От, дай божэ памець, і ўспаменула адну казку. Дак слухайце, як тое было. Jiný stařec začal: Co mám vám vypravovat? Zdá se, že jsem již všechno pověděl co vím. A možná, že jsem i něco zapomněl, víte, žiju na světě asi již 8. desítku. A tak vám ještě povím takovou příhodu s jedním kuchařem, jak nemohl vymyslet jedno jídlo. Jenže to není pohádka, ale docela pravda, ale jak sestárne, snad to bude i pohádka, neboť to, co jsem kdysi viděl a slyšel, zdá se vám bájkou, a přece to byla pravda. Podobnou myšlenku vyslovil již první vypravovatel str. 2. a vypravuje se dále o libovůli panské (137, č. 59).

Na konci pohádek se také slabou měrou zachovaly někdejší typické formulky. Slabý jejich sled zachoval se ve vzpomínce na staré kruté časy panské libovůle: От з таіе пары мо й да тых час паны й жыды разам селзяць у тых палешукуоў і палевікуоў на карку, мучаць іх як свае гаўядо да яшчэ й плакаць не даюць. Я там быў, жыдоуом служыў, пануом надслужваўса. Але пана забіў, а жыда чорт ухапіў. Я пачуў волю, шукаю долю: аттуль сам прышоў к вам, іштo сам знаю, ты й бају (73, č. 31). Ještě nejčastěji nalézáme formulku: З тых часаў началі яны добрэ жыць да грошы спажываць (55, č. 24). Podobně: а началі разам жыць да пажываць да дабра нажываць (239, č. 95). І сталі яны жыць да нажываць да біедных людзей не забываць (192, č. 76). Povídka o Palečkovi č. 8, str. 16 končí: Мо пъянуй бабіе тое прычудзілaсо, амо й праўда. Дак от якое здарэне.

Velkoruské a běloruské pohádky vynikají zvláště tím, že také uvnitř vypravování se jednotlivé momenty provázejí typickými formulkami. V této nové sbírce jsou i tyto silně setřeny a zachovaly se jen skromné trosky. »Тут сын аберпуўса ў такого малайца, што тоуькі ў казцы сказаць (15, č. 8) a podobně str. 175, č. 65, 184, č. 76. Místo této formulky vyskýtá se ještě jiná »а яна была хацьі малая, але такая гожая, што от гладзіеўбы заўжды да й не наглeдзиса (150, č. 64), která je známa již ze starých zápisů: »takije uže byli charoszvje, szto anno uzirau̯sieb« (Federowski II, 50, č. 43). Ještě jinak: Там сустрыэў дзеўчыну маладую да прыгожую такую, што не бачыў сьвіет мо праз сотню ліет (168, č. 70). Obyčejná formulka »mladíci nerostli po letech než po hodinách« nebo »rostli ne po letech, ani po dnech než po hodinách a po minutách« a pod., není již ve sbírce Seržputovského doložena. Namnoze byla rozšířena ve velkoruských pohádkách slovy »jak těsto z pšeničné mouky kysne na droždích« Sadovnikov 292; Kurskij sbornik IV, 78; Smirnov 787 z gub. Tobolsk. Tento dodatek osamostatněl v běloruských

pohádkách, Romanov III, 308; Šein II, 286 a tak i v této nové sbírce: »Я ён расце бы на дражджах да ўсе харашыэе« (221, č. 86). Vzdálenost místa, délka cesty, doba jízdy označována jest obyčejně ve velkoruských pohádkách i v běloruských: »Ишли тыи слуги ти много, ти мало, ти довго, ти коротко; а дойшли до сосёнки, Romanov VI, 164, č. 18«. V této sbírce seslabeně: Ці блізко, ці далеко, жылі колісъ два руодные браты (203, č. 80). Velice byla oblíbena ve velkoruských i běloruských pohádkách formule: »Яны задали пир на ўвесь міp«, Romanov VI, 169, č. 18, podobně také u Seržputowského jednou: »пір на ўвесь міp« (184, č. 76). Oblíbenou ve velikoruských a běloruských číslovku »tridevjať« tito noví běloruští vypravovatelé již zapomněli a místo toho užívají číslovky »trydzešat«: »За гарамі, за марамі ў тры-дзесятум царстве« (116), podobně 197, č. 78. Ve velkoruských a běloruských pohádkách vešla již v silnou oblibu různá rýmovaná rčení a nezřídka zvláště novější vypravovatelé oblíbili si celé pohádky vypravovat v rýmované prose. Tak zvláště v permské gubernii, srv. Zelemin Perm, úvod XXXVIII, 229. Nalézáme totéž místy na Ukrajině Bessaraba Cherson 67, č. 35; 69, č. 39, i takto nalézáme také v této sbírce běloruské 1, č. 1; 93, č. 40; 167, č. 70, 71.

V posudku první sbírky Seržputovského Zs. d. V. f. Vkunde 1912, 416, vytknul jsem vysoce básnická líčení krás přírodních, jakožto cizí pravým lidovým povídkám. Taková místa jsou též hojná v této nové sbírce. Tak na př. 105, č. 46 spojeno s hořkými myšlenkami o těžkém údělu člověkově: »Pohlédneš na boží svět, tak kolem dokola jest tak pěkný. Ptáčkové vesele zpívají a radostně štěbetají na zelených větvičkach, nemusí se starati, aby se v dobrý čas zaoralo, zaselo; nemusí pospíchat, aby za pohody požaly a svezly obilí s pole; nic není jim nutno, neboť Bůh jim dává hotový pokrm . . . pohlédneš na velké ptáky jak směle se zvedají vzhůru pod samé nebe k jasnému sluněčku, jak krouží a koupají se ve vzduchu a tak se ti dělá až závistně a srdce to svírá, že bys opustil své umazané hospodářství a černou chatu, vznesl se nahoru a vyletěl nad zeleným lesem, nad žlutými chlumy, nad temnými vrškami tam daleko k jasnému slunci k drobným hvězdičkám poletěl bys k Bohu žalovat, abys hořkými slzami vyplakal svůj zlý osud, vyplakal to hoře, které hněte a zžírá tvoje srdce na zemi po celý život a tak vleze do hlavy myšlenka, že šťastnější než ty jest ten kámen, který tlukou a pohazují na cestě, tak hodíš práci, hodíš myšlenky a napiješ se tak . . .

V jiné povídce zcela rýmované líčen jest vliv hudby cikánovy na přírodu: От седзіць цыган на змроку. Стаў шырокі збоку. Вербы віеталкі спусцілі. Зуоркі гожэ засьвецілі. Заіграў ён ціхо, ціхо, аж спалохаласо ліхо. Жабы крумкаць перасталі. Лісцікі з вербы упалі. Не лісточкі, а дукаты. Чуе голас: — будзь багаты. Куолькі хочэш забірай, туолькі скрыпку мніе прадай. — І выходзіць з става гілкая праявa — чорцік певелічкі, жвавы, нуос гарбаты, лоб каравы; над вушамі мабыць руожкі, з капытамі нуожкі; між нагамі хвуост сагнуўса. Той музыка схаменуўса (169, č. 71). Mnohem jednodušeji vypravováno, jak hlupák pásl krávu a sedl si na mezi u cesty, udělal si

ze stébla píšťalku a tak krásně hraje, že až skřivánkové zatichli na nebi a naslouchají (102—103).

A tak vypisuje se i večerní nálada: Už i sluněčko zašlo, začalo se stmívati, ptáčkové ztichli, jen sýček křičí svoje — puhu a sova k němu poletí na svých měkkých křídlech, sotva si usedla na hlavu a jak odletí a začne houkati, a začne plakati jakoby malé dítě . . . (215). Líčeno dobré léto: V noci lil teplý deštíček, za dne lahodně přihřívalo sluněčko a taková byla pohoda, že kdybys pohnul jazykem, zdálo by se to jako med (160, č. 67). I vliv krásy dívčiny vypsán: Loupežníci nemohli najít dívku. Zašlo jim sluněčko a začali chodit víc za dne než v noci. Tak jim těžce bylo bez děvčete a ona mezi tím odešla k řece, tam lidé lovili ryby a jak uviděli tak krásnou dívku, tak zapomněli všechno na světě, jen se na ni dívají, a zdá se jim, že je hodno mučit se celý věk, aby jen jednou mohli pohlédnout do těch oček, které jakoby slunce pálí srdce, ale dávají takovou slast, jaké již více není na světě. Podívá se děvče a lidem se zdá, že jest na světě všechno tak krásné, tak radostně svítí sluněčko, tak dobře jest žíti, že není třeba nic lepšího. Zahodili rybáři svoje nářadí, posadili dívku do člunu a zavezli ji do vesnice. Dívají se lidé na dívku a děkují bohu, že dal jim alespoň jednou v životě možnost poznati slast, štěstí, poznati, že na světě nade všechno milejší jest nebeský pohled krásné dívky (152, č. 64). Tak vypravoval starý dědeček(!). Jiný stařičký vypravovatel, který dožil věku 115 let, srv. I. seš., str. IV., uměl živě líčiti záchvěvy lásky: Kralevic hledal milovanou dívku, běhal, běhal, konečně stihl ji na břehu moře a zavedl ji do chaty. Temno, není cesty. Co jen stoupne dívka, padá. Kralevic vidí, že se ona zcela pobije, chytil ji na plece a nesl ji. Nese ji lehce, jakoby pírko a tak lahodně rozmlouvá, že dívka zapomněla až na jeho svinní rypák a zdá se jí, že to mluví kdosi jiný ten zámořský kralevic, o kterém kdysi přemýšlela v dlouhých nocích, když ležela na měkkých peřinách rodné matky, že jest to on její milovaný kralevic, zázrakem ji našel a nese ji na svých silných rukou, šeptá jí sladká slůvka a tiskne ke svým bohatýrským hrudím a tak jest jí dobře, tak radostně bije srdce, že se zdá celý život by proležela na rukou svého milence a stále by naslouchala jeho milé řeči, jeho drahému hlasu atd.« (189—190). Týž stařeček líčí život mladého husopasce: »Pase husy, prohlíží boží svět a kol kolem jest tak krásně, tak radostně. Jasné sluněčko svítí a dýše, jakoby rodná matka na děťátko. Větřík kolébá tichounce zelené větve na vrbách. Řeka blyští řídkými keři olší, jakoby to zrcádko, které dědeček koupil své dcerušce Hané. V tůni odrážejí se tlusté, staré duby, chata děda Ochrema u převozu, stoh letošního sena s plotem okolo a dokonce krávy sousedův zvesnice, které se pasou na břehu. Jenže všechno to nohama vzhůru. Zamyslel se pastýř Ivančik, proč se to všechno ve vodě odráží vzhůru nohama, zamyslel se, ale ne na dlouho, neboť ten samý okamžik vytáhl houser šíji, vzkřikl a ostříhal husy, že jest nepřítel blízko. Podíval se Ivančík na nebe, až tam rychle plave vysoko na nebi velký sokol a pohlíží na jeho housata. Zakřičel Ivančik i zamávl chrastím. Schoval se sokol za vysokým lesem a Ivančik stále stojí a pohlíží na nebe, tak pohlíží, že zapomněl i ústa zavřít. A zachtělo se mu lítat po nebi jako ten sokol, zamávl

rukama, rozběhl se po zelené trávě, která tak krásně roste na náplavu. Dlouho běhal Ivančik, roztáhl ruce, běhal, kroužil se jakoby ptáčkové na nebi, konečně unaviv se, lehl na trávu vzhůru očima a stále se díval na nebe, jak tam zázračně krásně, tiše pluly obláčky, lehké bílé jakoby husí peří, jak se potkávaly s jasným slunéčkem, líbaly je a pluly dále. Poznal Ivančik, jak krásně a přemoudře jest udělán boží svět. Srdce radostně bilo v hrudi, očíčka blýštěla jakoby dva demanty, jemu bylo tak lehce, tak vesele, tu na náplavu na zelené travce uprostřed svěžích různobarevných kvítků, že i zapomněl na ten čas, kdy bylo třeba jíti domů na oběd . . . Tu se on naučil rozmlouvat s dobytkem, rozuměl řeči všelikého ptactva a dokonce rostlin. Zdávalo se mu, že ptáčkové zpívají jeho písně, že mušky žalostně hudou, že to pláčou nad jeho hořkým pastýřským osudem, že dobytek se na něho dívá a chce mu říci: Ubohý pastýři, nikdy nebudeš svým pánem, zanech ten kraj a jdi do světa hledat štěstí. Zdálo se mu, že les mu kývá větvemi, že tráva i kvítky mu šeptají tichounce: »Jdi do světa« (192, č. 77).

Vedle takovýchto líčení, nadmíru ojedinělých ve sbírkách lidových tradic, čteme také všeobecné myšlenky: Jak se mění rostlina tak mění se i lidé: Rodí se, žijí, sestarají a potom umírají (175). А што ні гавары, грошы много даюць разону. Як нема асьмакуоў, та от так кала серца й завівае, а як чуеш у кішэні та й на серцу веселіей (161, č. 67). Zlý jest osud pacholkův. »Pravdu říkají lidé, že celý život sloužití lépe nežíti (239, č. 95). Takových všeobecných myšlenek dalo by se uvésti ještě více.

V první sbírce došla silného výrazu nespokojenost se sociálními poměry. Nenávist proti útisku panskému a neméně více méně ostré šlehy proti kněžstvu i proti židům. Tak i v této druhé části, tak zvláště na stř. 69, č. 30 o nevraživostech mezi drobným lidem a jich porážce od cizích nepřátel, kterak chudí podlehli hrstce pánů, o zasáhnutí židů a jak páni se rozdělili se židy o panství nad lidem. »Z těch dob a snad až do nynějška sedí páni a židé spolu těm »polešakům« a »polevíkům« na krku, mučí je jako svůj dobytek, ani plakat jim nedají.« A ozývá se jakás naděje v lepší časy. Obměnou oblíbené závěrečné formulky končí vypravovatel: »Já tam byl, židům sloužil, pánům posluhoval. Ale pána zabil hrom a žida chytil čert. Uslyšel jsem volnost, hledám osud; odtud jsem přišel k vám a co sám vím, to povídám« (73).

Povídky seřazeny jsou velmi pestře jenom podle vypravovatelů a po případě podle osad. Střídají se tu četné legendy, povídky ze života, žertovné, místy jest nějaká historická pověst jako o napoleonských vojnách. o knížeti Radziwillovi (145, č. 63), obyčejné pověsti, jako jest na př. o draku letícím nad lesem, jehož ohon se táhne na 3 hony, o kapradím květu a jiné. Málo se zachovala vlastních pohádek, báchorek.

Podáme nyní bibligrafické poznámky k povídkám obsaženým v tomto svazku.

Str. 6, č. 3 »Pes pochován od kněze v rakvi«, zcela samostatné vypravování známé látky o psí závěti srovnej: Kubín: Povídky Kladské II, 163, č. 40; Podkrkonoší východ. 427, č. 168.

Str. 7, č. 4 »Hlupák prodává na trhu jalovici«, namlouvajícímu, že to není kráva, než koza. Jest to stará rozšířená povídka, viz Lee, Deca-

meron 96; podobně Lorimer: Persian Tales 180, č. 29; Christiansen: Contes persans 65, č. 9. K tomu připojen jest motiv D (čepice platí v hospodě útratu) z Grimm KHM č. 61.

Str. 9, č. 5 »Kristus s Pavlem-Petrem« hostmi chudé vdovy uzdravují syna. Pak přišli Petr a Pavel do bohaté chaty, lehli si na pec a jsou zbiti, ať leží na kterékoliv straně: Etnograf. zb. XII, 86, č. 103, 104, 105, 106; Lorentz: Teksty pomorskie 158, č. 513; Dowojna Sylwestrowicz Pod. Żmujdzkie I, 47 sl.; Dobrovolskij Smolenskij sb. I, 307, č. 6; Lud. XXIII, 140; Gnědič. Mater IV, 83; Smirnov Sb. velkor. sk. 705, č. 262, 804, č. 312; Ćorović Sv. Sava 88, č. 34; 242; Hruševskyj Istoria IV, 535.

Str. 11, č. 7 »Moudrý Šalamoun« vzal svou dceru na její prosbu sebou na lov; dívka udávila se na lovu kouskem masa, pochovali ji, ozdobivše ji bohatě démantovým růžencem. Zloděj násilím otevřel rakev — maso vyskočilo z hrdla dívčina a ona ožila.

Str. 13, sv. 8. Bezdětná žena počala, když se 12 pátků postila, porodila drobného chlapečka jako malíček. Srv. Bolte-P. I. 389, n. 45. Paleček skáče po stole pánově mezi talíři a potom po pleších pánů a marně ho páni honí a j. Rozhněván vyštval pán na něho psy, paleček utekl a přeměniv se ve vrabce přiletěl k rodičům. Pod vlivem látky o čarodějníku a jeho učedníku Grimm č. 68 jest prodáván jako pes. Za peníze takto vydělané nakoupil oblek a přeměnil se v takového mladíka »že jen v pohádce dá se to povídat«.

Str. 16 nr. 9 náleží do okruhu Grimmovy povídky 64. Na slova zamítnutého ženicha »ať tak bude« přilepil se ctitel dívčin, potom také farář, který nemohl ani kropením sv. vody pomoci, dále žena popova, rodiče, kmotra. Přišla na pomoc i hadačka, spadla do vody, podzvedla košili po pás a nemohla ji na slova ženichova spustit. K ní se přilepil člověk, který ji chtěl uhodit. Pop rodiče poučil, že je Bůh takto potrestal proto, že dceru nutili ke sňatku s nemilým. Srv. moje pohádkoslovné studie, str. 89 a d. Druhý motiv je známý z legendy o královně ze Sáby Wilhem Hertz Ges. Abhandlungen 427; Arch. f. S. Stud. neuer. Sprach., sv. 115. Str. 285: Hanauer: Folk Lore of the Holy Land 97 ff.

Str. 19, č. 10. Čert předělává dílo boží, viděl jak včely sbírají med a vosk na slávu boží, naplil do dutiny stromové, a vysypali se sršně a vosy, a zle ho poštípali. Oháněl se a rozsekal je na drobné kousky a z těch se udělali komáři. Srv. Daenhardt Natursagen I, 167, 188 sl., 334. Čert utekl do vody. Bůh spatřil, litoval, že utvořil jen slunce, které nemůže stále svítit na nebi a dal na pomoc měsíc, aby svítil v noci. Poletěl k němu čert a začal ho svými zuby hrýzti, už zdá se, že zůstal z měsíce jen úzký ohryzek a měsíc pomalu ustupoval k slunci, aby ho ochránilo od čerta. Čert nevydržel svitu slunečního i dal se na útěk. Slunce ohřívá měsíc a ten pomalu začíná obrůstat a jít na svoje místo, aby svítil v noci. Tak měsíc vždy roste a nabývá 2 neděle a 2 neděle rve se s čertem.

Str. 23, č. 12. Spravedlivý a zbožný muž přešel řeku. Voda se před ním rozstoupila do samého dna a přišel tak do kostela. Podobně Zelenin Vjatka 283, č. 93; Etnogr. zb. XIII, 88, č. 274, 275; 239, č. 417;

XXXIII, 38, č. 118; Trejland Latyšskije sk. 161, č. 104; Radloff Narečija tjurk. plemjon X, 187, č. 114; Hruševśkyj Istorija IV. 547; Pamjat. narod. tvorčestva Osetin II, 108, č. 37; Obert Rumän. VM. 22, č. 11. Ćorović Sv. Sava 112, 243, č. 49; Arch. f. slav. Phil. XIX, 261, č. 218, 219; Šaulić 12, č. 10; Kića VIII, č. 35; Šašelj Bisernice II, 218, č. 3; Arnandov Elensko 338, č. 24; Kühnau Schles. Sagen II. 257, č. 903; Meiche: Sag. Sachsen 417, č. 49; Schweiz. Archiv f. VKunde V, 291, č. 7, XII, 217. Muž vidí pak, jak čerti v kostele zapisují hříchy, srv. Arch. f. slav. Phil. XIX, 261, č. 218, 219; XXI, 280, č. 104; Ćorović Sveti Sava 174, 250, č. 127; Javorskij Pamjat. galič. 28, č. 16; Exempla of Jacques de Vitry ed. Crane 233, č. 239.

Str. 25, č. 13. Lenivá zlá nevěsta byla zkrocena, srv. Polívka Povídky opav. a han. 47, č. 12; Wesselski Märchen d. Mittelalters 66, 216, č. 24 a podobně jako v středověké povídce bylo v běloruské versi zkroceno hříbě. Jinak jest tu nový motiv, že muž ženu posadil do mraveniště a ji ke stromu přivázal.

Str. 28, č. 14. Sedlák, cikán a žid. Cikán vysel peníze oklamal žida, podobně Dobrovolskij Smolensk. zb. I. 692 Živ. star. XII, 12.

Str. 30, č. 15. Pastorka poslána do mlýna zadržuje čerta prosbami za nové a nové dárky až do kuropění, srv. Bolte-P. I, 221 d. Kubín-Polívka Podkrkonoší záp. 591, č. 119; Polívka, Súpis III, 334.

Str. 45, č. 22. »Pán a sedlák«. Vzpomínka na jus primae noctis.

Str. 47, č. 23. »Beznohý bohatýr«. Beznohý chlapec vyvezen do lesa, stařec podal mu vodu a on pocítil takovou sílu, že by i zemi zvrátil. Podobně jako Ilja Muromec. Hází ohromné kameny na cestu jako brambory. Bohatýři vyzývají ho, aby se k nim přidružil a dovolují mu, aby si vybral koně z jejich, ale sotva položil ruku koni na hřbet, upadne ten na přední kolena. Šel tedy s nimi pěšky, na cestě viděl hubenou malou, ale žilnatou kobylu sedlákovu a jak na její hřbet položil ruku, ani se nepohnula. Dostal kobylku, když bohatýři dali sedlákovi pár nejlepších koní. S bohatýry přijel k svému otci, dal si podkovat kobylu, nakovati kyj. Rek vyzkouší železný kyj jako v bohatýrských pověstech, srv. Afanasjev I, 288; Erlenwein 130; Sokolovy 190; Romanov III, 70; Dobrovolskij 418; Šein II, 86 a j. Přišel s řeky k carovi, vstoupili do jeho služeb a po čase tam začal lítat velký drak a požírat lidi a konečně unesl i princeznu. Bohatýři se tam vydali. Na rozcestí stál sloup, jeden z nich byl písma znalý a přečetl, kdo pojede na pravo, dobude sobě slávy, kdo na levo, dobude bohatství a kdo přímo, toho stihne smrt. Dal se touto cestou rek proti domluvám bohatýrů. Natrefil na tutéž chatu, kam ho beznohého zavezl otec, přivázal kobylku, vstoupil do chaty a tam spatřil v zápecí stařičkou babu. Všechno to se vypravuje bez stilistických obratů, charakteristických pro ruské, běloruské, též maloruské pohádky Afanasjev I, 80, 271 II, 70, 73, 155, 158 a j. Romanov III, 75, VI, 363 a j. Afanasjev I, 163, 273; Romanov III, 45, VI, 208, 364. Dobrovolskij 489, 493 a j. Stará pozdravila ho jako rodného vnuka, že byl v její chatě, jinde jest to proto, že ssál její prs; varuje ho, aby se nedal dále, že zahyne a radí mu, aby nezabíjel, co na cestě potká. Ušetřil takto zajíce a vlka a ti mu byli pak nápomocni při zápase s drakem. A tu

se vypravuje pohádka o drakobijci, jak drak vystrčil hlavu štěrbinou, usekl mu ji a zároveň také uřízl mu jazyk a položil ho do rance: tak usekl všech 12 hlav dračích, viz Bolte-P. I, 547. Místo zrádného sluhy zabili reka jeho bohatýrští soudruhové. Zajíc živou vodou reka oživil, vlk přivedl kobylu rekovu a tak rek přijel k carovi, osvědčil se dračími jazyky jako vítěz.

Str. 52, č. 24. »Sedlák hloupý jako vrána, chytrý jako čert«. Hlupák osekává větev, na které sedí, srv. Sumcov, Razyskanija anekdot. 111; Rozvidky Mich. Drahomanova I, 233, č. 11; Wesselski, Nasreddin I, 216, č. 49; II, 128, č. 447; Archiv f. slav. Phil. XXI, 302, č. 36; Izvěstija rusk. jaz. i slovesnosti XII, kn. III, 387 a j. Pro hlupáka, který se ožení jenom, když pro něho přijde žena sama, přišla bezdětná mladá vdova a pak ho krutě bila. Pronásledovala ho a spadla do staré studně čertu na krk. Vypravuje se nyní povídka o zlé ženě a čertu, kterého muž vytáhl a který byl od něho udělán doktorem, srv. Kubín-Polívka, Podkrkonoší záp. 354, č. 178; Javorskij Pamjat. halič. 155, č. 57; Serova Novgorod. sk. 16. — Čert prosí muže, aby ho uschoval před ženou, a byl chycen do růžka pro tabák. Když ho baba opět znepokojovala, odčinil ružek, čert vyskočil a spatřiv babu tak se ulekl, že zkameněl, srv. Bolte-P. II, 414, č. 99.

S. 55, č. 25. Žena zaslechla, že bude odvod dívek, že bílý ruský car dobyl jakési cizí říše, kde jsou samí černí lidé a snad ani ne lidé, než opice, a car rozkázal, aby tam dívky byly poslány, a tak se tam rozplemenili bílí lidé.

S. 57, č. 26. Nevěrná žena chce se zbavit muže a posílá ho do světa, aby přinesl »cikavosć«. Muž vysvobodil v lese člověka, zvedl mu vůz, pod kterým on ležel. Tento muž uslyšev, proč byl poslán, vzal hrnek, kohouta a hrst krup. Kohouta zabil, oškubal a v hrnku s krupami uvařil. Po večeři sestavil kůstky kohoutí, položil je zpět do hrnku a z něho vyskočil živý kohout. Daroval mu tento hrnek. Vrátil se domů, hrnek pověsil kolem dveří na plot. Za chvilku vyšla jeho žena, spatřila neznámý hrnec a jak ho chytila, ruka přirostla. Strachy vykřikla až se »djak« ulekl, přiskočil, aby ji odtrhl, ale její ruce přirostly a přirostli tak všickni, kdo se tam sběhli. Konečně přistoupil hospodář, všechny odtrhl kromě djaka a jal se jeho i ženu bít a říkal: »Hle, to je ta vzácnost«. Jest to obměna tak řečeného »fimfarmu« »hirnphamp«, o čemž se vypravuje na Moravě, v Pomořanech i dále na východě Evropy. Srv. moje Pohádkové studie str. 84.

S. 61, č. 27. Čert namluvil Noemově ženě, aby vyzvídala, co Noe činí, ale ten úporně mlčel a čert vymyslel způsob, aby lidi přiměl k mluvení, a naučil ji udělat kořalku z chleba, i tak ona opila Noema. Srv. Dobrovoljskij I, 237, č. 18; Etnogr. zb. II, čl. II, str. 36; III, 5; Hruševśkij Istorija IV, 459; Mater. antropol. XI, 26, č. 25. Když Noe po potopě vyšel z archy, žena mu řekla, že omládne, když ještě vypije a až se opil a syn se mu smál. Tak naučil čert lidi stavět lihovar a pálit kořalku, aby byla silná. Etnogr. zb. XII, 70, č. 74—76; XIII, 226, č. 395; XIV, 14, č. 20; XVI 417, č. 43; XXXIII, 53, 133; Balušev, Ukrajin. narod 342; Živ. star. XIX, 173; Mater. antropol. XIII, 133. M. Böhm F. Specht, Lett. lit. M. 162, č. 2.

S. 64, č. 28. Hloupá a líná žena lehla si na poli, usnula a lidé ji namazali smolou; neví, je-li to ona čili ne. Srv. Arch. f. slav. Phil. XXI, 283; XXII, 306; XXXI, 275, č. 99; Wesselskij, Nasreddin II, 274. Potom našel muž poklad, zakopal jej a ženě namluvil, že to jsou »zlydni«. Řekla to cikánovi, když přišel prosit, že nic nemá, jen pod pecí sedí »zlydni« již tři dny. Cikán peníze vytáhl, že prý ty »zlydni« ve vodě utopí. Srv. Bolte-P. I, 520, č. 59.

S. 66, č. 29. Pravda a křivda, viz Bolte-P. II, 468, č. 107.

S. 73, č. 31. Kristus a Panna Maria žehnají štědré hospodyni, viz Bolte-P. II. 214.

S. 75, č. 32. Kristus udělal první rádlo a učil člověka orati: Erben, Vybrané báje 41, 379, č. 12; Arnaudov Elensko 326, č. 12 a potom učil člověka mlátiti. Připojena jest ještě legenda, od které doby jest žitný klas tak krátký, srv. Arch. f. slav. Phil. XIX, 260; XXII, 302; Bulašev, Ukrajin. narod 373; Hruševśkyj, Istorija IV, 535; Václavík, Podunajská Streda 267; Giese Türk. M, 239, č. 39; Schmidt Kahle, Volkserzähl. Palästina 241, č. 59.

S. 77, č. 33. Sluha u závistivého a skoupého popa: Ráno budí pop sluhu místo kohouta. Posílá sluhu do čertovského mlýna a když sluha přivezl mouku, ulekl se ho, že mu napřed ještě mzdu zaplatil, srv. Bolte-P. II, 285, č. 90.

S. 79, č. 34. Bratří se dělili o otcovské dědictví. Druhý dostal jen holé stěny a krávu. Touto kravou vysvobodil zloděje od šibenice. Zloděj navezl jim v noci bohatství. Boháč vyzvídá, odkud chuďas zbohatl; v síních se ukryla jeho tchyně, a zloděj uslyšev ji kašlat, dostal strach, že lidé ho přišli zase věšet, a bábu uškrtil a postavil k dveřím boháčovým. Když byla pochována, vykopal ji, přinesl ji pod okno boháčovo a jakoby jejím hlasem hlásil mu: aby bratrovi vydal krávy a voly, že na tom světě nemá pokoje. Boháč potom učinil tak na radu popů. Druhou noc se opět objevila bába, že ještě nedal bratrovi koně, ovce, svině a j.; když i to boháč vyplnil, uspokojila se bába. Tato povídka náleží do okruhu látky rozebrané v Kubínových Kladských povídkách II, 189, č. 42; Podkrkonoší záp. 136, č. 61.

S. 81, č. 35, srv. Bolte-P. II, 1, č. 61, obsahuje to motivy BCH.

S. 85, č. 36. Židé navedeni, melouny jako koňské vejce, srv. Kubín, Povídky Kladské II 146, č. 36, 37; Podkrkonoší záp. 675, č. 68; Podkrkonoší vých. 154, 418, č. 611; Javorskij Pamjat. Halič 203, č. 79.

S. 87, č. 37. »Žena má čertovu hlavu«. Bůh ohlíží svět, dobře-li vše je uděláno. Žena naříká nad svým osudem, pere se s čertem. Petr je roztahoval, uťal jim hlavy a když hlavy zase nastavoval, popletl si to: Dobrovolskij Sb. Smolensk. I, 288, č. 57; Balušev, Ukrajin. narod 170; Kretschmer, Neugriech. VM, 233, č. 54; Sébillot, Folklore de France III, 256, Zs. d. Ver. f. VKunde XI, 186 sl., 252 sl.

S. 89, č. 38. »Opilec«. Za živa vzat do pekla. S kotlů strhal zámky a pouštěl z horoucí smůly hříšné duše. Potom ještě židy, židovky a žíďata, tak že se až peklo provalilo. Jako kroupy se rozutekli židé po naší zemi. Opilec byl z pekla vyhnán, dobývá se do ráje, nepouštějí ho ani Petr ani Pavel, konečně ho pustil Jan Evangelista, když mu opilec

vytýkal, že sám napsal: kdo tluče, tomu bude otevříno, a kdo hledá, ten najde. Tak Jan ho pustil do ráje a ještě ho napojil kořalkou, aby mlčel.

S. 94, č. 41. Náleží ke Grimmově pohádce č. 29. Muž chtěl všechno znát, marně vyzvídá na lidech a vydal se tedy k slunci, které všude svítí, všechno vidí, všechno zná. Na cestě vidění muk. Na konec přišel do zlatých paláců slunečných, i potkal sluneční matku. Ta ho vyzvala, aby posečkal, že se slunce brzo vrátí. Rozdělal si oheň, popojedl a pít si zašel k řece. Sotva se nahnul k vodě, vyplula odtud velmi krásná panna, ta ho varovala, aby nepil z řeky, že by ho slunce spálilo, a zavedla ho pod starý dub k prameni. Viděl, že slunce se spouští s nebe do svých paláců, měl by tam jít, ale nemůže se odervat od této panny. Řekla mu, že se její otec vrátil domů a aby mu neříkal, že ji spatřil. Vznesla se nahoru a zablyštěla krásnou hvězdou. Slunce mu povědělo, jak bude vše vědět, že rychle zemře, a blesklo mu do hlavy. Pocítil, že mnoho ví, ale hlava hoří a v srdci chladno jakoby led. Vyšed, potkal sluneční matku a ta mu pověděla, že zemře, nezahřeje-li srdce, bez srdce že hlava shoří. Šel tedy hledat tuto pannu a zvát ji z nebe. Zastechla, seskočila, i stala se krásnou pannou a tak šli spolu do jeho země. Na cestě potká tytéž lidi a konečně potkal člověka, který u cesty seděl na kameni a stále křičel a ptal se, jak dlouho bude sedět. Minul ho a teprve když daleko odešel, řekl mu, že tak dlouho tu bude sedět, až si tam jiný sedne. To jest patrně záměna za převozníka. Navrátiv se domů zavedl hospodářství a lidé se divili i ptali se, proč se ženou tak dobře žije, i odpověděl: Proto my žijeme dobře, že máme oheň v srdci a rozum v hlavě.

S. 97, č. 42. Svině ze židovské matky ukryté v skříni, a proto židé nejedí vepřové maso. Podobně Bulašev, Ukrajin. narod 408; Federowski, Lud. białoruski I, 197, č. 748; Dobrovolskij, Smolensk. sl. I, 243, č. 25; Zbiór wiadom. antropol. XV 265; Swiętek 583; Lud. IX, 68—69; Der Urquell NF. II, 196, č. 4; Sébillot Folklore de France III, 141.

S. 102, č. 45. Po otcově smrti dělí se bratři, rozumný a hloupý. Hloupý dostal starou chatu a hromadu smetí. Hloupý prodal krávu stromu. Srv. Bolte-P. I. 61, č. 7. Jako jinde soše svaté. Kubín: Povídky Kladské II, 301; Podkrkonoší záp. 526, 809, č. 300; Podkrkonoší vých. 57, 409, č. 36. Obyčejně pod stromem, pod sochou nalezen poklad. V této versi jinak hlupák vidí u stromu žida a přinutil ho, aby zaplatil peníze za krávu. Zasel tyto peníze pod smetím, aby lépe vyrostly. Před posměchem odešel do lesa, hrál potom dětem, takže dítky »utichly jakoby kvítky« a jejich očička svítí jakoby hvězdičky. Marně večer hledal doma, čím hlad svůj nasytit, až se zjevil stařeček, přinesl mu plno jídla za to, že jeho děti tak bavil, a řekl mu, že jeho otec schoval proň peníze pod smetím.

S. 106, č. 46. Opilec chtěl vystrašit starce, boha s anděly, za to obrácen v medvěda srv. Arch. f. slav. Phil. XIX, 259; Federowski, Lud białoruski I, 195, č. 742 — 3; Bulašev 173, 429; Dobrovoljskij I, 288, č. 50; Serbov, Bělorus. skakuny 179—180.

S. 112, č. 49. Hřiby z kousků chlebů vyplivnutých od sv. Petra, Kubín: Podkrkonoší záp. 617, č. 51; Podkrkonoší vých. 422, č. 136.

S. 112, č. 50. Úvodem vypravováno o životě boháčově, jak mu čerti pomáhali a jak ho také uškrtili a zůstali po něm tři synové, dva

chytří a třetí hloupý. Po tři noci hlídal jeho hrob nejmladší hloupý syn. Slyšel, kde zakopal peníze, potom o prstenu, který získal lásku první krasavice, a konečně nejmladšímu že zůstavil starý ranec. Čert ho přinutil, aby jemu oba starší bratry zapsal. Hlupák vykopal peníze i prsten a dal se se svým rancem do světa. Začal v městě žít jako velký pán. Zaslechli o něm jeho bratří, čert je chytil a zavlékl do pekla a nejvyšší je propustil, že úpisy ani nedali, a poručil čertu, aby jim sloužil po tři léta. Hlupákovi se zprotivil život v městě, šel se radit k čarodějnici a má jenom jedno přání, dostat nejlepší krasavici na světě, i slyší o ní, že žije za horami, za moři v 30. carství a tam že ji hlídá drak. I slíbila mu svou pomoc. Slyšel od lidí, že drak unesl princeznu a teď chytá po světě dívky, aby sloužily princezně. Přihlásil se u cara, že vysvobodí princeznu, jestli car dá lidem svobodu, a car dal nejenom svobodu, než i zemi, aby on jen vysvobodil jeho dceru, a car vydal skutečně »manifest«, jímž uděluje lidem svobodu i zemi. Vzal hlupák manifest i odešel, ale pánům se to nelíbilo a schovali carský manifest a začali ještě hůř utiskovati sedláky. Lidé se hrnuli k hlupákovi a sebralo se přes 10.000 junáků, i s nimi šel tam, kde drak zavřel princeznu. Napadli paláce, pobili celé vojsko drakovo a ten zalezl, aby ho nikdo nenalezl. Hlupák osvobodil princeznu a všechny dívky, ale nemůže se upokojit, neboť neví, kam se skryl drak. Mezi těmi dívkami byla dcera velké čarodějnice, ta chtěla jen zahubiti princeznu, neboť drak ji ostříhal jako nejkrásnější na celém světě. Věděla, kde je drak, ale mlčela. Chtěla reka s jeho junáky zahubiti, až všickni budou opilí, a taktéž princeznu. Zvěděl jednak, že se schoval ve sklepě, rozdělal u dveří oheň a drak dýmem se zadusil. Potom s princezkou odjel k carovi. Za nimi běžela zlá dívka, na cestě pány vyzývá, aby se nepoddávali a cárovi říkali, že hlupák zničí celou říši, jak sedláci budou mít svobodu, a car se odvrátil od hlupáka a mužíky vydal zase pánům. Páni se chopili hlupáka a vydali ho tomu čertu, kterého on oklamal. Ze starých pohádkových motivů utvořena tu nová povídka se silnou sociální tendencí. Pro prsten vyvolávající lásku každé dívky k hochovi, který jej má na prstě, nemám dokladů z lidového podání.

S. 122, č. 52. Manželé vykopali hrnec peněz na poli. Žena tvrdí, že peníze patří jim, neboť je našli, a muž tvrdí, že patří pánům, neboť je vykopali na pánově poli. Přišel k nim zezadu čarodějník a prohlásil, že peníze jsou jeho, že je zaklel. Vzal si je hned domů a těm lidem dával po rubli. To byl »charmazonský rubl« vracel se jim vždycky. Platili jím tito lidé krčmáři. Žid chtěl ten rubl koupit a nabízel mu za to 5 rublů, ale člověk stál na tom, že ho nedá levněji než za 100 rublů. Židovi vypadl tento rubl do bažiny a marně ho tam hledal. Lidé mu pověděli, že marně ho hledá, neboť »charmazonské« peníze se vrátily k prvotnímu pánovi. Lidé tito potom zbohatli a vrátili »charmazonský« rubl čarodějníkovi, aby jim vydal onen hrnec s penězi. Srv. Federowski, Lud. białoruski I, 35, č. 107, 108; Zs. d. Ver. f. VKunde XIX, 308; XXVI. 274, č. 59; Etnograf. zb. V, 97; XXXIV, 225; Javorskij Pamjat. galič. 253; Wisła V, 350; XIII, 210, č. 260; Świętek 491; Mater. antropol. archeol. VI, 109, 267; Kolberg Lud. XIV, 150; Etnograf. obozr. XXVII, 123; LI, 98.

S. 126, č. 53. Chuďas obdaroval v kostele slepce almužnou, boháč se zastyděl, ale neměl drobných a tak si je vypůjčil od chuďasa, ale nevracel je a marně ho chuďas upomínal. Boháč se stavěl mrtvým a chuďas konal u domnělého nebožtíka všecky obřady, vyprovázel rakev do kostela a také v noci se u rakve modlil. Přišli tam zloději a oba je pak vystrašili, srv. Polívka: Povídky opav. a hanácké 142, č. 55; Smirnov 396, č. 129; Javorskij Pamjat. gal. 230, č. 93; Zbiór wiadom. VII, 28, č. 78; Cappeller, Litau. M. 122, č. 41.

S. 131, č. 56. Hledá se šťastný člověk. Přišel pán k pastýři, kterému bylo všechno stejné na světě. Zůstal u něho a jest poučován, kde jsou lidé proto nešťastní, že neumějí žít na světě, i poznává, že šťasten jest jenom ten, který jest spokojen s tím, co jest a má. Srv. podobně Čorović, Sveti Sava 136, č. 77.

Str. 132, č. 57. Zvědavá žena. Viz Bolte-P. I, 132—133 pozn. Muž zvědavé ženy ležel 3 dni jako nebožtík, a když už zavírali rakev, ožil, ale nechce vypravovat, co viděl na onom světě, neboť jinak by zemřel, a nyní začíná známá povídka.

Srv. 135, č. 58. Ve čtvrtek, po případě v pátek nemá se přísti. Srv. Balušev, Ukrajin. narod 279; Hruševśkyj, Istorija VI, 364, 589; Böhm-Specht, Lett. Lit. M. 187; Simrock, Deutsche M. 372, č. 4; Zbornik za nar. život juž Slav. XIX, 146; Hauffen Gottschee 93; Kuhn S. M. Westphalen II, 112 a d., č. 36, 339 ad. Am Urds-Brunnen III, 23.

Str. 166, č. 69. »Platon Kazak«. O Napoleonovi a hladovění francouzské armády vypravuje se v rýmované prose málem ve verších o znamenitém své doby atamanu Platovu.

Str. 170, č. 72. Anděl seslán, aby odňal mladé ovdovělé matce duši, ale slitoval se, že by chlapec úplně osiřel. Potrestán, že mu byla odňata křídla a musel sloužit lidem. Anděl najal se za pacholka u kněze, i poznal, jaký nezdara a zloděj vyrostl z toho chlapce. Srv. Javorskij, Pamjat. 9, 274, č. 6, kde uvedena literatura. Anděl nikdy nevyčká konce bohoslužby a hází kamení navrch kostela na kříž, neboť tam se slétělo množství čertů. Bije starého žebráka — podvodného, obdaruje mladého žebráka a vykládá toho příčiny faráři: Srv. Lud. XI, 1905, str. 186; Mater. antrop. VIII, odd. 2, str. 182 sl.; Gaster: Ruman Leg. Fairy Tales 121; Obert: Rumän M. 71, č. 29.

S. 174, č. 73. Všechno se mění na světě, jen ne kamení. Děd odbyt z vesnice, byl od děvčete obdarován čerstvým chlebem a vodou, děkoval jí a radil jí, aby rychle utekla z vesnice, neboť žijí v ní zlí lidé, a celá vesnice se obrátila v hromadu kamení. Obyčejně se bezbožná osada a pod. propadla a místo ní se udělalo jezero, jak velmi hojně se vypravuje po celé Evropě. Etnogr. obozr. XXVIII, 113; XXIX—XXX, str. 116; Kirějevskij IV, str. CXVIII—CXXXII; Mater. etnogr. grodnen. II, 360 a j. v. — Dívka naříkajíc změnila se v kukačku, neboť se ohlédla na vesnici. Srv. Klinger: Životnoje v antič. i sovrem. suevěrii 84

S. 183, č. 76. Královna staví se těhotnou a smluvila se se ženami, aby ji opatřily cizího chlapečka. Vylovily hošíčka z vody, synka to velmi chudé ženy, a přinesly ho královně; byl prohlášen princem. Princ si zamiloval prosté děvče a královna tak ho zaklela, že se z něho udělal ja-

koby »svinji lyč« — svinský rypák, a král ho posadil na ostrov uprostřed moře. Kralevic dříve ještě vzal královně zrcadlo, ve kterém stále viděl své děvče jakoby živé a králi hůl, kterou si zavolal junáka, aby mu splnil každé jeho přání. Kouzelné zrcadlo a proutek jsou v lidových tradicích velice běžné prostředky. Nyní se připojuje verse povídky »La belle et la bête«: viz Bolte-P. II, 241, č. 88.

S. 192, č. 77. Hoch ve službách u čerta podpaluje kotle: viz Bolte-P. II, 423, č. 100. V kotli viděl hříšné duše, kněze, pannu, která objala starého pána, starou paní a jiných více a zvláště židy. V jiném kotli bratry sedláky, kteří při životě sluli málem svatými, pak vlastní kmotru. Tu vysvobodil dobrým slovem i ona pak hocha vyvedla ven z pekla. Na světě přišel k němu Kristus a dal mu housle; následuje povídka: »Žid v trní«, viz Bolte-P. II, 490, č. 110.

S. 197, č. 78. Muž vyrušil milence své ženy. Milenci ukryli se v peci a zadusili se tam dýmem. Voják mrtvoly topí, srv. Kubín: Povídky kladské II, 286; Podkrkonoší záp. 674, č. 59.

S. 200, č. 79. Vidění na onom světě. Osiřelý hoch obdaroval na radu otcovu starce bochníkem a hrncem peněz. Stařec vyzývá, aby vstoupil do jeho služeb, a pošle mu koně, který ho k němu donese. Zjevil se kůň se zlatými křídly a poletěl jako vichr. Vypsána jsou nyní vidění na cestě do ráje. Stařec — bůh — ukázal mu obsah hrnce, který mu dal: byly tam krev, slzy a pot lidí. Připojeno, že obcházel kotle se smolou, ve které se mučily hříšné duše, a jak myslel na dobrotu a milosrdenství boží, odčinily se kotle a vyšly hříšné duše chválit hocha. Známá eschatologická legenda byla tu samostatně vypravována.

S. 203, č. 80. V rýmované prose vypravuje se známá látka o osudu bohatého a chudého bratra, jak chudý utopil svou »dolju« a bohatý vylovil, srv. Bolte-P. II, 421.

S. 204, č. 81. »Kdo vymyslel peníze?« Lakomec se dověděl, že kdyby člověk našel kapradí květ, přicházel by k němu sám sebou všechen majetek. Slíbil duši čertu, kterého při hledání toho květu potkal, a tak dostal kapradí květ. To vše vypsáno jest obšírně mnohými drobnými rysy. Čert vymyslel peníze a zlato. Sebral potu, slz a krve lidské, nalil do kotle, vařil, vařil, až vyvařil zlato. Přišla smrt, řekla: Čímž bylo, tím se staň, a všechno zlato se roztopilo do potu, slzí a krve lidské, zatopilo sklep a utopilo lakomce.

S. 207—212, č. 82. Osud stanoví se při narození. Při porodu vstoupily do chaty smrt s kosou a pak ještě dvě mladé ženy: »Dolja« a »sud'ba«. Smrt rozhodla se, že mladou matku vezme, ale mladá žena ji vzala do ochrany. Smrt chtěla vzíti alespoň dítě, ale toho se ujala druhá žena. Smrt zmizela a ty dvě ženy stanovily osud děvčátka. Jedna stanovila, že z něho vyroste velmi hezká dívka a že se vdá za chlapce, který žije u jejího otce, a druhá žena pověděla, že ji kousne svině a z toho zemře. Chlapec jednou kolébal toto děcko, ale bylo velmi šeredné a chlapec rozčilen, že by to měla být jednou jeho žena, vzal nůž a vrazil jej do děcka. Zoufalý utekl do lesa, ale matka dítě vyléčila, rána nebyla hluboká. Chlapce marně hledali. Děcko vyrostlo v pěknou dívku, zůstala ji jen velká jízva na boku. Paní ji vzala potom do svých služeb.

K ní přišel potom také tento chlapec, jak jednou tuto hezkou dívku potkal, tak se zamiloval, že bez ní nemohl býti živ. I ona si mladíka zamilovala. Pán ho učinil svým správcem a tak se slavila svatba. Jednou spatřil u své ženy jízvu i poznal, že před soudem není možno nikde se ukrýti. A také druhá část osudu se splnila. Přivezli kořisť loveckou, mimo jiné kance, žena se podivila ostrým jeho štětinám i dlouhým jeho klům, ale kanec nebyl mrtev, vyrazil a ženu smrtelně zranil. Srov. Corović Sveti Sava 226, 254, č. 97 : Živaja star. V, 208, č. 2; Sb. Kavkaz VI. od. 2, str. 89. Zamarski Podania i basni 76; Permskij sbornik II. 1860, str. 160, č. 50.

S. 212, č. 83. Verse povídky Bolte-P. I, 370, č. 40. Útěk dívky z loupežnického doupěte jest vypsán velmi svérázně. Na útěku potkala ještě dva silné vlky, vrhla se na ně s holýma rukama a vyplašila je.

S. 216, č. 84. Voják hledal nocleh, konečně zalezl na seno. Pochvíli přišla dívka, za ní mladík. Mladík začal doléhati na dívku a ona ho odbyla »bojím se, že ještě budou děti a kdo je bude živit?« »A ten co je nad námi«, odpověděl mladík. Voják je zakřikl. Srv. Kubín: Podkrkonoší záp. 705, č. 155.

S. 218, č. 85. Protiknězská anekdota. Sešli se tři: Jesuita, Bernardin a Kapucín v krčmě. Našli vejce, ale nevěděli jak je rozdělit. Vejce sní ten, kdo nejlépe vypravuje. Vzal vejce konečně Jesuita a pověděl: Očistil jsi se od skořápky nepravdy, posypal jsi se solí moudrosti, tak vstup a chval svého pána.

S. 228, č. 88. Hloupá žena a člověk z onoho světa. Hospodář ho pronásleduje a dal tomu muži ještě svého koně. Doma řekl ženě, že poslal své dceři na onen svět ještě koně, aby netrmácela svoje nožičky. Srv. Bolte-P. II, 440, č. 104, verse má motivy CD.

S. 230, č. 89, srv. Bolte-P. I, 109, č. 14. V jediné této běloruské versi jest původní látka silně zeslabena. Car sám dal nevěstě tři staré baby, aby dohlížely na její práci a potom jednou se své ženy otázal, proč nepřede a odpověděla: Cožpak chceš, aby tvá žena byla tak svraštělá jako tyto baby, které předly celý život.

S. 233, č. 91. Zlá žena zkrocena, muž veze ji k jejím rodičům po velice špatné cestě, musela být velmi silně přivázána na vůz silně rozjetý.

S. 235, č. 92. »Kapradí květ«. Do bot zachytilo se hodně kapradího květu. Najednou přišel k němu nějaký panáček a prosil ho, aby své střevíce proměnil za nové boty. Odevzdal tak i kapradí květ a když se ráno probudil neměl střevíců ani bot.

Str. 238, č. 94. Dva mladíci milovali jednu dívku a šli do světa, aby dívce přivezli nejlepší dar. Jeden se stal kupcem a druhý zbojníkem. Zbojníka chytili a odsoudili na šibenici. Když ho přivedli pod šibenici, vrátil se také kupec; dívka doběhla spolu s kupcem k šibenici, vrhla se zbojníku na šíji a políbila ho a polibkem vysvobodila zbojníka.

Str. 241, č. 96. Odkud naše hříchy, viz nahoře č. 49.

S. 241, č. 97. Od které doby cikáni kradou a šidí lidi.

S. 244, č. 99. Boháč ukryl poklad ve vrbě; vrba unesena od vody. Chudý kovář našel vrbu a v ní ukryté zlato, přišel k němu jednou onen šlechtic jako žebrák. Chtěli ho podarovat, aby dále nežebral. Zadělali zlato do bochníka a bochník dali žebrákovi. Žebrák se slitoval nad chu-

ďasem, který oral na poli dřevěným pluhem a dal mu celý bochník, aby si u kováře koupil pluh. Kovář doháněl žebráka s tímto zlatem. Dojel k mostu, přes který žebrák musel a položil uprostřed mostu čepici se zlatem. Žebrák řekl si, že by mohl snad přejít jako slepý a tak se zavřenýma očima přešel most i řekl kovář: »Co Bůh usoudil, to i bude.« Srv. Lee Decameron 304 d.; Erben: Vybrané báje 311, 394; Arch. f. slav. Philol XXXI, 281, č. 159.

Str. 246, č. 100. »V pátek se nesměj a v neděli neplač«. Žena šla v neděli sbírat hřiby. V lese na mýtině postavil člověk kříž a vítal u něho mladou hezkou ženu; ta jí vytýkala těžký hřích, že neděle nesvětí. Žena pamatovala si tato slova, v pátek se neusmála, ač ženy vypravovaly všeliké směšné věci, pokoušel ji čert a ten její dítě uškrtil. Tak i druhé dítě. Matka Boží přišla a oživila její děti.

Běloruských pohádek bylo sebráno značné množství i ve velkých sbornících P. V. Šeina, E. Romanova, M. Federowského, V. Dobrovoljského a v jiných drobnějších. Počet zapsaných páčí se na 1500. Mezi oběma svazky sbírky Seržputovského a jmenovanými sbírkami jest velmi značný rozdíl. V žádné starší sbírce nedochází tolik subjektivních nálad výrazu a vůbec se v nich nevyskytují takové popisy krás přírodních, jimiž vynikají právě oba svazky Seržputovského. Není pochybností o tom, že běloruské pohádky závodí, jak svou původností, tak vůbec uměleckou svou cenou s nejlepšími pohádkami velkoruskými. Co do původnosti ustupují zápisy Seržputovského před zápisy starších zapisovatelů a vydavatelů, také svérázná umělecká forma v těchto novějších zápisech silně poklesla. Ze starých typických formulek, jak úvodních a závěrečných, taktéž uvnitř vypravování, zachovalo se jich jen málo a i ty více méně silně jsou oslabeny. A to právě, čímž tyto nové zápisy vynikají, liší se velice markantně od všech starých zápisů, ba vůbec ode vší pohádkové literatury lidové. Nemůžeme zamlčovati alespoň slabé pochybnosti o původnosti a lidovosti těchto povídek. Mnohé tyto vysoce poetické výlevy mohli bychom připisovati literárně vzdělaným básníkům mnohem spíše, než stařičkým selským vypravovatelům.

J. Polívka.

Съчинения на Митрополитъ Климентъ Търновски (Василъ Друмевъ). — Издава Българска Академия на наукитѣ подъ редакцията на *Г. Ст. Пашевъ*, редовенъ доцентъ. Томъ I., *Повѣсти, разкази и драми* — София 1926. Печатница С. М. Стайковъ. Stran 757 + 7 facsim. Cena 150 leva.

В. Друмевъ-Климентъ Браницки и Търновски. Животъ, дѣйность и характеръ. Отъ *Юрд. Трифоновъ.* София 1926. Печатница П. Глушковъ. — Vydání Bulharské akademie nauk. Stran VII + 208, se 7 fotogr. snímky. Cena 50 leva.

Na rok 1926 připadlo dvacátépáté výročí úmrtí významného bulharského buditele, spisovatele a veřejného pracovníka, mitropolity Klimenta Trnovského, rodinným jménem Vasila Drumeva (1840—1901). Poněvadž Vasil Drumev byl mezi zakladateli Bulharského literárního spolku, z něhož v r. 1910 vznikla nynější Bulharská aka-

demie nauk, rozhodla Historicko-filologická třída Bulharské akademie již ve svém březnovém zasedání r. 1923, aby památka V. Drumeva byla uctěna vydáním Sebraných jeho spisů, jichž uspořádáním pověřen G. St. Pašev. V samotném jubilejním roce vydán pak byl pod redakcí Paševovou shora nadepsaný první svazek, obsahující příběhy, povídky a divadelní hry Drumevovy. Objemný tento svazek obsahuje nejen všeobecně známou povídku »Нещастна фамилия«, kterou se stal V. Drumev zakladatelem novodobé bulharské beletrie, jakož i drama »Иванку убиецътъ на Асѣня I.«, ale i celou řadu celkem málo známých Drumevových pokusů a fragmentů. Pašev přetiskl především (na str. 13—98) příběh o »nešťastné rodině«, zachycující velmi jímavě utrpení bulharského lidu za vlády kirdžaliů a janičárů, a to nikoliv podle prvního časopiseckého otisku v »Българскы книжици« r. 1860, nýbrž podle druhého, značně upraveného a běžného vydání knižního z r. 1873, při čemž pod čáru umístil různočtení z vydání r. 1860. Úvodem k přetisku (na str. 5—11) napsal Pašev několik slov o vzniku této první bulharské původní povídky, charakterisoval jazykový ráz prvního otisku s dvěma souvislými ukázkami textovými, charakterisoval také jazykový ráz druhého vydání a uvedl posléze všechny posavadní edice povídky (akademické je osmé), jakož i zdramatisování povídky Zidarovem-Negencovem v r. 1884, a její překlady do ruštiny Kitančevem-Zaderackým r. 1880 a do češtiny Wagnerem r. 1891, oba pořízené z 2. vydání bulharského originálu. — Na druhém místě (str. 107—396) přetiskl Pašev rozměrnou povídku »Ученикъ и благодѣтели или чуждото си е се чуждо«, vzniklou ještě za studentských let Drumevových v Oděse, povídku celkem neznámou, jejíž první díl je tu otištěn podle znění v cařihradském listě »Съвѣтникъ« v l. 1864—65, druhý díl pak se tu podává po prvé vůbec (uvedený časopis totiž zanikl) a to jak podle prvního náčrtu, tak podle rukopisu, připraveného pro tisk. — Na třetím místě (str. 411—593) přetiskl Pašev zmíněné drama o »Ivankovi, vrahu Asěna I.« a to podle 1. vyd. z r. 1872, při čemž pod čarou otiskuje zajímavé varianty podle rukopisného nového zpracování Drumevova, zachovaného v knihovně Bulharské akademie nauk pod čís. 33. Z těchto variantů je zřejmo, že Drumev chtěl po provedení hry a po její kritice svou hru zdokonaliti, což provedl hlavně v jednání pátém, posledním. Hra vzbudila podle úvodních slov Paševových hned po vyjití ohromný rozruch a byla velmi často hrána ještě před osvobozením, přes úřední zákazy dokonce i mezi emigranty v Cařihradě, a po osvobození byla z nejhranějších a nejoblíbenějších kusů bulharského repertoáru. Vydána byla tiskem posud pětkrát (akad. vyd. je šesté); sláva její dolétla daleko na sever do Čech, kde rukopisného překladu Wagnerova užil Jos. V. Frič pro svou tragedii »Asjenův pád« r. 1883, kteráž se po rozboru prof. Fr. Wollmana v Tilleově Sborníku 1927 a dra B. Jocova v sofijské revui »Listopad« 1927 ukázala nepodařenou kopií bulh. originálu. — Na čtvrtém místě (str. 605—757) vytiskl Pašev nedokončené práce Drumevovy, pouhé náčrty a fragmenty, počtem 13, z nichž 11 je beletristických a 2 dramatické. Jako ostatní otisky, tak i tyto uvedl Pašev potřebnými literárně-historickými poznámkami.

První svazek Sebraných spisů Vasila Drumeva je cenným příspěvkem jak pro nové studium bulharské obrozenské literatury, tak pro monografii o Drumevu zvláště. Proto jej literární kritika bulharská přijala velmi uznale jako nutný doplněk posavadních našich vědomostí o Vasilu Drumevu, vyslovujíc (jako na př. G. Canev v »Zlatorogu« 1926, 338) při tom dokonce politování, že Drumev, literárně nadaný, opustil téměř úplně pole mladistvého zájmu a věnoval se v mužných letech výhradně činnosti kněžské, kterou chtěl vydatněji prospěti svému ujařmenému a zanedbanému lidu.

Téhož roku 1926 vydána byla rovněž nákladem Akademie shora nadepsaná druhá kniha, první to objemnější monografie o Vasilu Drumevovi, jeho životě, činnosti a povaze, z péra Jurdana Trifonova. Autor nové této biografie Drumevovy chtěl původně vyčkati úplného vydání Sebraných spisů, ale po získání cenné korespondence Drumevovy, jakož i po shledání četných písemných i osobních informací rozhodl se k sepsání díla, které jistě není posledním slovem ve studiu o životě a díle znamenitého bulharského muže. J. Trifonov rozdělil své pojednání mechanicky ve dva oddíly, souvisící s životními osudy spisovatele, jenž byl od svého narození r. 1840 (datum toto teprve Trifonov přesně zjistil) až do 33. roku, tedy do r. 1873 Vasilem Drumevem, a v téže době mládí také literátem, a od r. 1873 vstoupením do kněžského stavu Klimentem Branickým, později slavným Klimentem, mitropolitou Trnovským a zástupcem Exarcha. Trifonov v jednotlivých kapitolách podle svých pramenů obsažněji či stručněji načrtl dětství a jinošství Drumevovo v rodném Šumenu, jeho učení doma a v Oděse, jeho první literární práce, z nichž mu »Nešťastná rodina«, »Ivanku« a jeho účast při založení Bulharského literárního spolku a jeho časopisu v Braile získaly hned na poprvé dobré jméno doma i v emigraci, provází pak Drumeva na jeho rozhodném kroku do kněžského stavu, v němž se Drumev-Kliment uplatnil jako výborný kazatel, pedagog, politik a ovšem také jako zanícený národovec, jejž od jeho rozvážné a prozíravé činnosti neodvrátily ani dobové zmatky anebo dokonce osobní pronásledování a věznění v převratném roce 1886. Literární činnost Drumevova ve zralých letech byla velmi skrovná, omezujíc se na nahodilé náčrtky anebo fragmenty, známé teprve nyní z uvedené edice Paševovy, leč by snad mezi zničenými papíry Drumevovými v době jeho zatčení bylo něco z hotových prací, jak chce předpokládati Trifonov. Pronásledování Drumeva, jeho věznění a celému procesu až po konečnou rehabilitaci a slavnostní přivítání v trnovské stolici věnováno je podrobné pojednání, neboť události ty Trifonova silně zaujaly, jako zaujaly i St. Čilingirova, jenž docela nezávisle od Trifonova napsal o nich obsažnou stať **»Процесътъ срещу митрополитъ Климентъ«** do slavnostního Sborníku Mitropolita Klimenta, vydaného r. 1927 v Sofii pod red. prof. M. Arnaudova.

Všeobecným přehledem činnosti a charakteristikou V. Drumeva ukončil Trifonov své poutavé a poučné dílo, laděné pietně a zároveň nabádavě výchovně. Výchovně zejména musí působiti vylíčení osobních vlastností Drumevových, jeho ušlechtilé velkomyslnosti, skromnosti a vytrvalé pracovitosti, kteráž byla jistě značnou příčinou jeho předčasného churavění a smrti r. 1901.

Nový zájem o V. Drumeva, vyvolaný 25. výročím jeho smrti, přinesl vedle uvedených zde dvou publikací Bulharské akademie nauk také samostatný Sborník, vydaný r. 1927 pod red. prof. Arnaudova (shora se o něm zmiňuji), jakož i nové přetisky povídky Нещастна фамилия« a dramatu »Иванку убиецътъ на Асѣня I.«, jež v r. 1927 a 1928 do ministerské knihovny »Българска книжнина« pro studentstvo vypravil a potřebnými kritickými poznámkami a bibliografií opatřil pořadatel Sebraných spisů V. Drumeva G. St. Pašev.

Novými publikacemi se podstatně obohatily a prohloubily naše poznatky o životě a díle V. Drumeva, jak snadno zjistíme, pročteme-li příslušnou, dnes již kusou, kapitolu o V. Drumevu v dějinách Bulharské literatury od Božana Angelova Българска литература II. díl, Sofie 1923, str. 183 a d., poznatky, které umožnily prof. Wollmanovi sytou a výraznou charakteristiku Vasila Drumeva v novém díle o »Bulharském dramatě«, vydaném r. 1928 ve Spisech filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě.

Jos. Páta.

Europa und seine Randgebiete von Dr. *A. Byhan*, Professor Dr. *A. Haberlandt*, Professor Dr. *M. Haberlandt*, mit 43 Tafeln, 708 Abbildungen und 6 Völker-Sprachen-und Hausformenkarten. Stuttgart 1926. Strecker und Schröder, str. 1154.

Pokaźny tom, poświęcony etnografji Europy i jej najbliższego sąsiedztwa jest częścią wielkiego dzieła mającego dać zarys etnografji opisowej całego świata, pt. *Illustrierte Völkerkunde*, opracowanego pod redakcją Jerzego Buschana. Pierwsze wydanie tej pożytecznej i popularnej książki wyszło w r. 1909, w rozmiarach nie przekraczających 500 stron: obecnie sam tom europejski przekroczył pierwotne rozmiary całości więcej niż dwukrotnie. Jest to świadectwem, że dokonano tu poważnej pracy przerobienia całego materjału i postawienia go na nierównie wyższym, niż poprzednio poziomie.

Oczywiście, czytelników *Slavii* obchodzą w pierwszym rzędzie rzeczy słowiańskie, których oczywiście niepodobna traktować bez uwzględnienia tła porównawczego: recenzję książki ograniczamy więc jedynie do tych zagadnień, stwierdzając z góry, że mamy tu do czynienia z podręcznikiem pożytecznym, który próbuje uporać się z ogromnym materjałem i przedstawić go systematycznie, wypełniając tem lukę, bardzo dotkliwie odczuwaną.

Opracowanie etnografji Europy należy do zagadnień bardzo trudnych. Zjawiska tu są tak skomplikowane, uwarstwowienia wieków tak widoczne, krzyżowanie się najrozmaitszych wpływów tak wielkie, rozbieżność granic językowych, politycznych, narodowych, kulturalnych tak wielka, że zawodzą tu metody opisu stosowane na materjale egzotycznym, tam gdzie względna prostota pozwala na łatwiejszy ich opis. Wiemy jednak, że ilekroć przystępujemy do opisu kultur światowych, metody opisowe stają się małowartościowe. Prawda, że mamy cały szereg opisów bardzo dokładnych i sumiennych poszczególnych grup plemiennych, monografij pewnych okolic, przyczem niejednokrotnie ludzie metodycznie niewyszkoleni mogli dostarczyć bardzo ciekawego materjału; mamy szereg badań monograficznych

nad poszczególnemi przedmiotami, zwyczajami czy też wątkami literackiemi ludów europejskich, ale rzeczą zupełnie wyjątkową jest jaki taki możliwy opis pewnej grupy narodowej, który by nie był poetycką, wielkosłowną fantazją, albo też z drugiej strony nie był przypadkowym zlepkiem zdań, którym conajwyżej możemy przypisać wartość ciekawej obserwacji. Pod tym względem etnografowie, który ryzykują opis jakiejś grupy narodowej, stają się zazwyczaj publicystami, którzy w sposób pobieżny i nieprzemyślany łączą razem rozmaite wiadomości i oceny, nie zdając sobie sprawy z ich istotnej wartości. Mówi się więc, że ten czy inny naród ubiera się barwnie czy smutno, że jest wytrwały czy lekkomyślny, bojowniczy lub spokojny, że spiewa smętne albo też wesołe pieśni, że ma dużo tradycyj, które mniej więcej gorliwie pielęgnuje itd. Ależ to wszystko właśnie jest całkiem obojętne i może służyć tylko dla czytanek szkolnych. Jest rzeczą znamienną, że nawet wybitni badacze, którzy wielkie zasługi położyli na polu badań monograficznych i którzy wybornie znali cały materjał etnograficzny z książek i życia, zawodzili, gdy szło o skreślenie ogólnego ujęcia całości kultury danego narodu. Znamiennym pod tym względem może być Jan Karłowicz, badacz wybornie przygotowany, utalentowany, zamiłowany: gdy próbował od prac monograficznych przejść do syntezy, dał nam *Rys ludoznawstwa polskiego* (pomieszczony w księdze zbiorowej pt. *Polska*, wydanej nakładem Macierzy Szkolnej we Lwowie), który zawiódł zupełnie; jest to zestawienie szeregu szczegółów, zewnętrzne charakterystyki poszczególnych grup, nieco próbek mowy czy pieśni, bez próby ujęcia jakiegoś zagadnienia. Nie możemy się więc dziwić, skoro sam twórca naukowej etnografji polskiej nie mógł dać całości, że obcy, znający materjał polski bardzo niedokładnie i najczęściej tylko z takich właśnie opracowań, dają również zlepiankę z rozmaitych szczegółów, dającą pewne wzrokowe o kraju pojęcie, ale jakże dalekie od nauki. Zdawałoby się, że jeśli chodzi o metodyczny opis grupy narodowej, to tu sama etnografja z jej dotychczasowemi metodami zawodzi. Nie można opisywać narodu w ten sposób, jak opisuje się np. jakąś grupę regjonalną, bo w zakresie życia narodowego mamy do czynienia z tylu nowemi i zupełnie odrębnemi zjawiskami, z taką ich komplikacją, że najpierw musimy dokonać analizy tych zjawisk, aby następnie móc przystąpić do ich segregowania. Zresztą i opis etnograficzny jakiejś choćby drobnej grupy regjonalnej musi być też pogłębiony socjologicznie. Bronię zawsze twierdzenia, że etnografja jest nauką o pewnych treściach kulturalnych, przekazywanych drogą tradycji bezpośredniej, lecz nie może być nauką o grupie społecznej, i praktyka naukowa — wydawałoby się — przyznaje mi słuszność; najlepszy nawet etnograf, zajmujący się z powodzeniem badaniem pewnych treści staje bezradny wobec opisu grupy, i jeśli nawet jako tako opisze grupę dość pierwotną, o tyle zupełnie rozkłada ręce wobec bardziej skomplikowanej grupy (albo też, co często, wykręca się sianem i próbuje wmówić w tych, dla których jest autorytetem, że publicystyczny czy artystyczny szkic jest opisem naukowym).

Jeśli więc chodzi o badanie naukowe grupy jako całości, to musimy tu żądać pogłębienia socjologicznego. Dzisiaj zresztą metody socjologji opisowej (socjografji) są o tyle posunięte, że można się niemi z korzyścią po-

sługiwać (dla naszych celów największe znaczenie będzie miał ten dział nauki, który Amerykanie nazywają *rural sociology* a który od kilku lat z powodzeniem uprawia v. Wiese w seminarjum socjologicznem w Kolonji). Jeśli chodzi o większe grupy, to oczywiście i wkład teoretycznego myślenia socjologicznego musi być odpowiednio większy. Jedynie tą drogą dojdziemy do systematycznego ujęcia istoty grup narodowych i zbudowania nauki o indywidualnościach narodów, którą tak często próbowano lansować pod nazwą »psychologji narodów«.

Jako przykład metodycznego i istotnie naukowego ujęcia grupy przytoczyć mogę dwie próby, przedsięwzięte z powodzeniem przez badaczy wybitnie inteligentnych i wszechstronnie przygotowanych: są to studja Jacques Bardoux o Anglji i Ameryce, które zamiast zwyczajnych w takich wypadkach impresyj dają konkretne zagadnienia, i bliższe nam prace Jovana Cvijića o grupach bałkańskich. Specjalnie metodę antropogeograficzną (jabym powiedział: socjograficzną) tak świetnie przez Cvijića stosowaną, należałoby przenieść na inne połacie Słowiańszczyzny, i spróbować z poza rejestracji faktów ich związania i tłumaczenia. Dopóki oczywiście takiej, istotnie naukowej pracy się nie dokona, to wszystkie próby ujęcia etnografji słowiańskiej jako opisu poszczególnych grup będą miały wartość przewodnika po zbiorach muzealnych, który opisuje takie czy inne szafy, w których znajdują się stroje, narzędzia gospodarskie itd., który dużo rzeczy pokazuje, ale niczego nie wyjaśnia.

Wracając po tym nieco przydługim wstępie teoretycznym do podręcznika, stwierdzamy, że mamy tu do czynienia z opisem quasi-muzealnym, podającym dużo najrozmaitszych wiadomości i ograniczającym się do informacyj. Dział poświęcony opisowi poszczególnych grup etnicznych opracował Prof. Michael Haberlandt, *Die indogermanischen Völker des Erdteils* i przeznaczył nań z górą 300 stron, z czego około stu przypada na rzeczy słowiańskie. Zasłużony muzealista, który w muzeum wiedeńskiem miał możność ciągłego kontaktu z etnografją słowiańską dał nam rzecz bardzo ciekawą, opartą na wielostronnej znajomości przedmiotu; nie możemy mieć doń pretensji, że opisu nie pogłębił, gdyż brak po temu prac przygotowawczych tak dalece, że nikt, jak na razie, nie jest w stanie dać takiego ujęcia. Praca Haberlandta objęła zresztą wszystkie arjoeuropejskie ludy, nie można się więc dziwić, że z natury rzeczy jest ona jedynie informacyjna.

Nie można się też dziwić, że przy zupełnym braku ogólnych ujęć etnografj poszczególnych narodów wiadomości Haberlandta będą w niejednym wypadku powierzchowne a nawet nieścisłe. Autor miał do dyspozycji zbiory muzealne, obszerną bibljotekę etnograficzną i wspomnienia własnych podróży, dysponował więc obszernym materjałem faktycznym, nigdzie jednak nie znalazł pomocy w uporządkowaniu tej rozmaitości, albo też, jeśli pomoc taką odnalazł, to bywała ona często bardzo problematycznej wartości. Tak więc, rzecz prosta, bardzo przypadkowa musi być ta próby syntezy; stwierdzając to, zdajemy w sobie w zupełności sprawę z tego, że inna ona być nie mogła.

Bierzemy jako przykład opracowanie działu polskiego. Polsce poświęca autor 10 stron i 6 ilustracyj. Co do tych ilustracyj, mam szereg

zastrzeżeń; uważam ich dobór za zupełnie przypadkowy. Tak więc Abb. 17 *Strasse in Suprany*, przedstawia nam wieś z pogranicza polsko-białoruskiego (pow. słonimski?), co należało zaznaczyć, gdyż czytelnik może odnieść wrażenie, że jest to typowa wieś polska z pierwotnego terytorjum etnicznego. Nr. 18 przedstawia nam zdobnictwo ścian zewnętrznych chaty polskiej, nie zaznaczając, że jest to chata łowicka. Nr. 20 »*Polnische Landleute aus der Gegend von Pinsk*«, reprodukcja litografji Lewickiego, przedstawia oczywiście Poleszuków, gdyż wieśniaków polskich w tamtych okolicach nie było nigdy. Nr. 21 przedstawia *polnische Weibertracht* bez podania okolicy (jest to, jak się zdaje, Sieradzkie). Tego rodzaju nieścisłości w pracach poświęconych etnografji należałoby troskliwie unikać; tworzy się w ten sposób fikcję jakiegoś specyficznie »polskiego« stroju, który by był mniejwięcej ten sam we wszystkich okolicach Polski, różnił się zaś zasadniczo od innych; podobnież z »polską chatą« itd. Nr. 22 jest reprodukcją jakiegoś zbyt amatorskiego pędzla, podpis: *Turoń, vgl. Schimmelreiter, Polen.* Co innego jest turoń, co innego ów *Schimmelreiter*, konik zwierzyniecki: czytelnik znów odnieść może wrażenie, że jest to zwyczaj ogólnopolski. Nawiasem mówiąc, nie mam wrażenia, aby malowidło to miało wartość dokumentarną: ogłosił je swego czasu w *Zeitschrift für österreichische Volkskunde* L. Młynek, który obserwował conajmniej nieściśle i fantazjował nieodpowiedzialnie.

Przechodzimy do tekstu. W wstępnych wiadomościach historycznych pisze autor, że Polska powstała przez zlanie się szeregu zachodniosłowiańskich ludów, jako to Polan, Chorwatów, Kujawian, Mazurów i Jadźwingów. Nie wiemy, skąd pochodzić może tego rodzaju wiadomość; niema przecież żadnej wątpliwości co do tego, że Jadźwingowie nie byli ludem słowiańskim. Zbyt wyraźnie podkreśla autor wpływy niemieckie w kulturze polskiej; wpływy te są wiekowe i ogromne, niemniej jednak bynajmniej nie wyłączne (chrześcijaństwo przyjmuje Polska za pośrednictwem Czech, wpływy włoskie i francuskie są tu bardzo silne). Zupełnie niesłuszne jest łączenie rozkwitu kultury polskiej w XVI wieku z wpływem niemieckim, skoro tu mamy do czynienia z przeważającym wpływem włoskim, a następnie także francuskim; niewiadomo też, na kim opiera się Haberlandt twierdząc, że kultura narodowa polska sięga źródłami swemi do zachodnich Niemiec, a pośrednio do Francji i Anglji.

Idąc dalej zaznaczamy, że przesadną wydeje się nam cyfra 30 miljonów ludności polskiej. Jestto coprawda cyfra, podawana niejednokrotnie z polskiej strony, ale zdaje się, że ostrożniej będzie zmniejszyć ją o 3-4 miljony. Jestto zresztą kwestja drugorzędnej wagi. Podobnież przesadzoną wydaje się nam ilość Niemców i żydów w miastach, mająca sięgać jakoby połowy ogółu mieszkańców. Niewątpliwie, ilość żydów w małych miasteczkach przekracza czasami 50%, ale nie można faktu tego generalizować zwłaszcza, że skupienia miejskie zachodniej Polski są prawie zupełnie wolne od elementu żydowskiego. Co do ludności niemieckiej, to do chwili powstania niepodległego państwa polskiego miasta dawnego zaboru pruskiego, a więc w Poznańskiem, na Pomorzu i na Śląsku miały istotnie znaczne odsetki ludności niemieckiej, skupiając ludność urzędniczą, wojskową i związaną z niemi handlową, ale w ciągu ostatnich lat uległy

daleko idącemu odniemczeniu, tak że dziś procent Niemców jest bardzo niewielki, a w stosunku do całego państwa znikomy. Poza byłym zaborem pruskim jedynie Łódź i okoliczne miasta, miały znaczniejszy odsetek niemiecki, tudzież bliźniacze miasta Bielsk-Biała na pograniczu śląsko-galicyjskiem. Z danych Haberlandta odnosi czytelnik wrażenie, że znaczenie liczbowe i kulturalne żywiołu niemieckiego w Polsce jest daleko silniejsze, niż jest w istocie.

Z innych szczegółów, tym razem antropologicznych, możemy podnieść niejasność ustępu o przymieszce fińskiej krwi w ludności północnej Polski; rzecz to w nauce jeszcze nie wyjaśniona. Natomiast do niewątpliwych fałszów zaliczyć należy próbę podziału etnicznego ludności polskiej, którą zresztą autor zapożyczył od A r v e d a S c h u l t z a, autora opracowania etnografji polskiej w sławnem niemiecko-okupacyjnem *Handbuch von Polen*. Haberlandt powtórzył podział Schultza, nie zorjentowawszy się w tem, że nie ma on żadnej wartości naukowej i jest naciąganiem faktów dla uzasadnienia etnograficznego polityki niemieckiej. Schultz dzieli ludność polską na grupę zachodnią, której główną cechą jest podleganie silnym wpływom niemieckim, obejmującą Śląsk, Poznańskie, Pomorze i Mazowsze pruskie, grupę północną, do której włącza Kujawy, Mazowsze, Kurpiów i Łowiczan, wreszcie grupę południową, gdzie wyróżnia podgrupy krakowską, kielecką, sandomierską, lubelską, radomską, piotrokowską, dalej »*die Bug-San- und Dnjestrpolen*« i nakoniec górali. Nie trudno poznać, że podział to czysto fikcyjny, skoro nawet nazwy, które wprowadza, są czasem wyłącznie topograficzne, że dalej doprowadza do takich nonsensów, jak włączanie Mazurów z Kongresówki do grupy północnej, Mazurów zaś z Prus Książęcych do grupy zachodniej, albo też jak unicestwienie zupełne jednej z najważniejszych grup, mianowicie wielkopolskiej i zastąpienie jej terytorjalno-administracyjnym terminem Poznańskiego, który może służyć jedynie za oznaczenie części terytorjum Wielkopolski. Wszystko to oczywiście ma jakiś swój sens, oczywiście pozanaukowy: chodzi tu o udowodnienie, że granice państwowe mają podstawę etnograficzno-kulturalną, i że zarówno rozbiory Polski jak też i projektowane przez niedoszłych zwycięsców granice powojenne odpowiadają pewnemu stanowi faktycznemu. Grupa zachodnia jest oczywiście stworzona dla uzasadnienia odrębności ziem polskich pod zaborem pruskim od reszty Polski, stąd też tworzy się najzupełniej fikcyjne pojęcie, daje mu się jako główną cechę uzależnienie od niemczyzny i włącza weń części pięciu całkiem odmiennych grup, śląskiej, nieco małopolskiej, większej części wielkopolskiej, część mazowieckiej i całą niemal grupę pomorską. Osobno jeszcze zaznacza okupacyjny etnograf niemiecki, że grupa ta różni się daleko silniej od innych, aniżeli tamte pomiędzy sobą (co i Haberlandt powtarza), wszystko oczywiście dla stwierdzenia, że jakimkolwiek będzie los Polski po wojnie, ziemie zaboru pruskiego nie mogą wchodzić w dyskusję. Grupa północna i południowa odpowiadają bardzo dokładnie granicom okupacji niemieckiej i austrjackiej w Kongresówce i znowu starają się dać etnograficzne uzasadnienie podziałowi sfery wpływów. Jednem słowem, podziały to najzupełniej dowolne, sprzeczne z rzeczywistością, służące najwyraźniej celom politycznym; Schultz był urzędnikiem okupacyjnym i z rozkazu uprawiał

politykę pod pozorem naukowego badania — praca jego niema żadnej wartości, szkoda tylko, że poważny badacz, jak Haberlandt, powtarza te wszystkie fałsze.

Przechodząc do działów szczegółowych, widzimy, że w tych kilku stronach autor dużo rzeczy porusza, rzecz prosta, pobieżnie. Mam wrażenie, że w niejednym wypadku mamy do czynienia ze zbyt pospiesznem uogólnieniem jakiegoś twierdzenia, ważnego tylko dla pewnej okolicy, na cały kraj. Niejednokrotnie mamy też przykłady nieścisłości albo wprost pomyłki: nie wiemy np. dlaczego autor jako narodowych świętych polskich wymienia Piotra i Kunegundę, jako nieporozumienie powstałe pod sugestją poezji romantycznej traktujemy uznanie obrzędu »Dziadów« za polski, sugestją nazwy objaśniamy spolszczenie czeskiej »polki« (tańca). Echem jakiejś niesprawdzonej, zapewnie literackiej tradycji są »dzicy ludzie«, mający jakoby w folklorze polskim się znajdować, czystym wymysłem zdaje się być rzekoma przewaga okolic górskich co do bogactwa materjału baśniowego. Najnieściślejszem również jest uważanie książkowych, kronikarskich legend o Krakusie i smoku, tudzież Wandzie i Rydygierze, które mogły się tu i ówdzie poprzez szkołę czy literaturę dostać do tradycji ludowej za ośrodek cyklów podaniowych. Dużo informacji autora ma charakter zbyt ogólnikowy, jak np. że muzyce towarzyszy często śpiew i tupanie, że wiara w wampira jest bardzo żywa, że personifikuje się chorobę i śmierć.

Pod koniec rozdziału polskiego poswięca jeszcze autor parę słów Kaszubom i Mazurom (oczywiście tzw. »Mazurom pruskim«), których uważa za szczątki niegdyś rozległych plemion, zbliżonych etnograficznie do Polaków. Szczątki te - zdaniem autora - są już w przeważnej części zniemczone. Haberlandt czerpał i tu widać z jakiegoś tendencyjnie politycznego źródła. Można przypuszczać, że Kaszubi są potomkami jakiejś ludności pośredniej pomiędzy polską a grupami zachodnio--słowiańskiemi, w ciągu wieków zniemczonemi, która to ludność podległa silnej polonizacji, ale oczywiście Mazurzy pruscy są rdzenną ludnością polską i w systematyce etnograficznej traktować ją możemy jedynie jako poddział wielkiej grupy mazowieckiej (podobnie zresztą pod względem językowym). Administracja niemiecka wprowadziła coprawda pojęcie Mazura, aby sztucznie obniżyć liczbę Polaków i przeszkodzić akcji narodowej polskiej na Mazurach przez akcję separatystyczną (podobnie zresztą jak na Kaszubach), stąd też i w statystykach niemieckich obok Polaków figurują »*Kaschuben*« i »*Masuren*«, ale sztuczki zaborczej administracji nie powinny mieć oddźwięku w pracach naukowych. Zaznaczyć jeszcze można, że lokalizacja Kaszubów »*in vorherrschender Moorlandschaft*« pozwala przypuszczaż, że autor pomieszał ich ze Słowińcami, o których tu słowem nie wspomina, mimo że ten przeżytek etniczny, konający w naszych czasach, jest bardzo ciekawy i naukowo ważny. Dodatkowo możnaby jeszcze zgłosić postulat umieszczania w pracach naukowych nazw miejscowych także w ich oryginalnem brzmieniu; inaczej identyfikacja takich nazw jak Neustadt, Berent, Konitz na polskich mapach i w polskiej (czy wogóle słowiańskiej) literaturze naukowej, gdzie stale figuruje Wejherowo, Kościerzyna, Chojnice, będzie zawsze natrafiało na dużo zachodów. Na zakres etnografji powinno

się wreszcie rozciągnąć konwencję stosowaną z takim pożytkiem w geografji, umieszczania nazw miejscowych w oryginalnem brzmieniu.

Omówiłem szczegółowiej dział polski, gdyż jestem w stanie zdać sobie sprawę z mechanizmu powstawania takiego informacyjnego artykułu, który zestawia najrozmaitsze wiadomości z różnorodnych źródeł, czasem mało zaufania godnych, a resztę czerpie z popularnych, niemniej nieścisłych pojęć. Przypuszczalnie etnografowie poszczególnych grup narodowych bez trudu zdołają stwierdzić analogiczny mechanizm w swoich zakresach; zdaje się jedynie, że południowa Słowiańszczyzna przedstawia się korzystniej, gdyż autor mógł tu się oprzeć na francuskiej książce Cvijića i niemieckich opracowaniach Iszirkowa i Arnaudowa co do Bułgarji. Pospieszność i powierzchowność opracowania, przypadkowość doboru ilustracji występuje bardzo wyraźnie w krótkim ustępie poświęconym Czechosłowacji; uderza nas przedewszystkiem samo pojęcie Czechosłowaków jako jednolitej grupy etnicznej, w obrębie której wyróżniają się typy Słowaków, Hanaków czy Wałachów; jestto zbyt wiele koncesji na rzecz sugestji politycznej i zdaje się nie ulegać wątpliwości, że przed powstaniem Republiki Czeskosłowackiej Haberlandt nie wprowadził by tej koncepcji do podręcznika etnografji. Pozatem opis cały jest bardzo blady i zdawkowy; na pięć ilustracyj mamy trzy zdjęcia dotyczące Słowaków, jedna przedstawia Chorwatów z pod Brzecławy, jedna zaś czepek chodzki-tak więc jeden jedyny czepek wypełnia dział ilustracyjny czeski. Parę słów poświęca wreszcie Haberlandt Łużyczanom, których łączy blisko z Czechami. Poprzednio jeszcze, we wstępie do całego działu zachodniosłowiańskiego wspomina (powtórzywszy polityczną sugestję niemiecką o Kaszubach i Mazurach jako odrębnych, obok polskiej, grupach) o Połabianach, którzy są *»völlig eingedeutscht bis auf geringe sprachliche Reste«*, nie podając, jakie terytorjum zajmowali i zestawiając ich ze Słowińcami; czytelnik odnieść może wrażenie, że Słowińcy i Połabianie są to jakieś dość bliskie siebie grupy, które przeżytkowo jeszcze do dziś dnia dotrwały. Ludom ruskim poświęca autor dwadzieścia kilka stron; uderza nas tu zbycie kilkunastu zdaniami Białorusinów i niekonsekwentny podział szczepów małoruskich; pozatem, jak zwykle, pewna ilość dość przypadkowych wiadomości. W dziale bałtyckim, który nas może z wielu względów obchodzić obok bezkrytycznie zebranych wiadomości starożytniczych i luźnych informacyj etnograficznych uderza nas znów nieprzyjemnie łatwowierność polityczna autora; tak np. powtarza on za Tetznerem mapę zasięgu litewszczyzny, która na rzecz Litwy anektuje Oszmianę, Nowogródek i Słonim, pozatem dosięga do samych Suwałek, Grodna i Wilna. Stwierdzenie, że Litwini *»seit Jahrhunderten mit den polnischen Nachbarn in geschichtlich begründeter Nationalfeindschaft lebten«* jest w pracy etnograficznej najzupełniej niepotrzebne, zwłaszcza, że jest z gruntu fałszywe (*Nationalfeindschaft* Litwy można datować dopiero od powstania litewskiego ruchu narodowego, a więc od lat bardzo niedawnych, prawie że dzisiejszych). Oczywiście, kwestja ta jest nam tu obojętna, ale jeśli się ją już porusza, to przynajmniej niechże to będzie w zgodzie z prawdą. Polityczna sugestja tak dalece fałszuje autorowi przedstawienie sprawy, że pisze on o intensywnej germanizacji i rusyfikacji Litwinów, ale o ich

polonizacji, która dokonywa się od wieków i powoduje cofanie obszaru etnograficznego litewskiego ku północy, nie wspomina słowem, choć dla zrozumienia kultury ludowej litewskiej fakt ten ma najbardziej podstawowe znaczenie.

Nie przypisujemy oczywiście autorowi świadomych tendencyj politycznych, stwierdzamy jednak, że informacje czerpał często ze źródeł niepewnych lub wyraźnie tendencyjnych. Jest to oczywiście w związku z brakiem odpowiedniej literatury naukowej o etnografji słowiańskiej: nie możemy się skarżyć na brak opracowań monograficznych, ale z ujęciami całości jest bardzo źle. Nie mamy dotychczas jakiego tkiego ujęcia etnografji polskiej czy czeskiej dla zagranicy; w bardzo niedawnych dopiero czasach cenna praca Zelenina wypełniła ten brak dla ziem ruskich. Nie możemy mieć więc pretensyj do uczonego obcego, że z braku dzieł informacyjnych czerpie swe wiadomości z publicystyki. Dopóki źródłem informacji np. o rzeczach polskich będą impresje podróżne Brandesa albo też jaskrawo tendencyjny *Handbuch von Polen,* dopóty będziemy czytali w opracowaniach wiadomości fałszywe, a w najlepszym razie zupełnie przypadkowe.

Drugą, nas interesującą część wielkiego tomu wypełnią profesor Arthur Haberlandt, poświęcając trzystakilkadziesiąt stron systematycznej analizie kultury ludowej Europy, *Die volkstümliche Kultur Europas in ihrer geschichtlichen Entwicklung,* 305—658. Autor omawia tu kolejno formy gospodarstwa, osadnictwo, sprzęty domowe i rzemiosło, sztukę ludową, kulturę społeczną i światopogląd tradycyjny, przyczem dość często wspomina o materjale słowiańskim (także w materjale ilustracyjnym spotykamy nieco rzeczy słowiańskich). Jak można z góry przypuszczać, praca ta daje nam nierównie więcej wyników pozytywnych; z założenia samego jest ona znacznie łatwiejsza i daleko lepiej przygotowana pracami monograficznemi. Sądzę też, że odda ona cenne usługi każdemu, kto będzie chciał jakiekolwiek zagadnienie postawić na obszernym gruncie porównawczym, wprowadzając w zagadnienie i wskazując kierunek w którym iść należy. Oczywiście i tu mamy do czynienia z pierwszą próbą, z natury rzeczy tymczasową: dopóki badania etnogeograficzne, na które dopiero w ostatnich czasach zaczyna się zwracać pilniejszą uwagę, nie dojdą do ujęcia kartograficznego najważniejszych zjawisk, to oczywiście zawsze będziemy się obracali w sferze nieścisłych i lotnych zapewnień (w całym tomie poza mapami dyslokacji poszczególnych plemion mamy tylko jedną, dosłownie jedną mapę, mianowicie zasiąg form domów w Niemczech i sąsiedztwie). Nie mam kompetencji do omawiania działu kultury technicznej, którą nigdy się bliżej nie zajmowałem; w każdym razie dowiedziałem się zeń dużo, choć niejednokrotnie poza wiadomościami niełatwo było mi sformułować zagadnienie. Dość zdawkowo potraktował autor działy kultury społecznej i duchowej, poświęcając im zaledwie kilkadziesiąt stron, przyczem zdaje mi się, że w dążeniu do syntezy dochodzi czasami do ryzykownych, a conajmniej przedwczesnych twierdzeń (kuwada, matrjarchat, jego rzekome przeżytki itd.) Nie będziemy tu rzeczy tych dłużej dyskutować, jako sięgających daleko poza Słowiańszczyznę, podkreślamy tylko jeszcze cisnące się pod pióro spostrzeżenie, że wyjątkowym jest etnograf, któryby z równą kompetencją traktował dział kultury technicznej, i obok niego kulturę

duchową i społeczną. Jesteśmy tu w obrębie tak odmiennych zagadnień, że ze wszech miar celowe byłoby traktowanie jednych problemów w związku ze starożytnościami, z archeologją, czy historją sztuki i techniki w najszerszem ujęciu, podczas gdy działy kultury społecznej czy duchowej traktować musimy w łączności z historją społeczną, literacką, itd. Etnografja jako całość jest zbyt obszerna i zbyt różnorodna, by dało się ją jednolicie ująć — dlatego też zawsze widzimy w zarysach całości czy też podręcznikach, że jedna część jest nadmiernie rozwinięta kosztem ilościowym i jakościowym drugiej.

Pozatem jeszcze spotykamy w książce obszerniejszą rozprawę *Kaukasien, Ost- und Nordrussland, Finnland*, której autorem jest Dr. Arthur Byhan, wreszcie sto stronic poświęconych północnej Afryce, *Die Mittelmeerlandschaften Nordafrikas und die Kanarischen Inseln*, pióra Artura Haberlandta.

Pisanie takich encyklopedycznych zarysów nie jest rzeczą wdzięczną. Najłatwiej tu się narazić na zarzut powierzchowności i nieścisłości, a nawet fałszu. Niemniej jednak prace takie są konieczne i w całości bardzo pożyteczne: jestto jakgdbyby inwentarz naszych wiadomości i pośrednio rachunek sumienia naszych braków. Uczeni poszczególnych narodów winni sobie w związku z takiemi pracami uświadomić, że na nich ciąży część odpowiedzialności za braki ogólnego opracowania i starać się usilnie o dojście do jakiejś, choćby bardzo tymczasowej syntezy w swoim zakresie. Wówczas i następne wydanie pożytecznego działa Buschana będzie lepiej informowało szeroką publiczność internacjonalną o etnografji słowiańskiej.

Kraków. *Jan St. Bystroń.*

Zprávy.

Bibljografja słowiańskich przekładów „Pana Tadeusza".

Zdawołoby się napozór, że przekładów „Pana Tadeusza" na języki słowiańskie powinno być wiele, tymczasem tak nie jest, gdyż całkowitych przekładów mamy zaledwie sześć, a mianowicie dwa rosyjskie, jeden czeski, jeden chorwacki i jeden bułgarski, a ostatnio ukraiński. Urywki przekładów posiadają Białorusini, Słowacy, natomiast Łużyczanie, Słoweńcy i Serbowie nie mają zupełnie tłumaczeń. Jednakże Słowakom brak własnego tłumaczenia może zastąpić w pewnej mierze przekład czeski, Serbowie zaś, różniący sią od Chorwatów nie mową, lecz tylko alfabetem, uważają chorwackie tłumaczenie za swoje.

Niewielką obfitość przekładów trzeba prawdopodobnie przypisać trudności tłumaczenia „Pana Tadeusza", inne bowiem utwory Mickiewicza doczekały się dawno przekładu, lub też tej okoliczności, że dla wielu Słowian arcydzieło nasze jest zrozumiałe w oryginale i wielu wybitnych pisarzy słowiańskich, nie czekając na przekład, starało się poznać dzieło Mickiewicza w oryginale lub w ostateczności w poprawnym niemieckim przekładzie Lipinera, wobec czego, jak z tego widać, przekład niezawsze szedł w parze z wpływem tego utworu.

Przy rozpatrywaniu przekładów kolejność języków będzie zachowana według ustalonego przez naukę podziału na grupy językowe: wschodnio-słowiańską, zachodnio-słowiańską i południowo-słowiańską z uwzględnieniem poszczególnych języków i narodowości. Literatura rosyjska (wielko-ruska) może się poszczycić bardzo dużem zainteresowaniem się dla „Pana Tadeusza". Rosjanie usiłowali dość dawno przyswoić swemu piśmiennictwu polski poemat. Jednakże pomimo dużej staranności i kilkakrotnego wysiłku nie udało się stworzyć takiego przekładu, któryby odpowiadał choć w drobnej mierze oryginałowi lub w którymby tłumacze umieli choć w niewielkim stopniu odtworzyć istotny charakter i zasadniczy ton poematu Mickiewicza.

I. Pierwszą próbką przekładu były dwa urywki, wydane w r. 1845 w piśmie „Москвитанинъ" Nr. 3, str. 16—19 pod zmienionemi tytułami: „Украинскіе лѣса" i „Родныя небеса" zamiast właściwego tytułu: „Lasy litewskie" i „Obłoki litewskie". Nie było też wzmianki, skąd te urywki pochodzą. Tłumaczenia dokonał M. Berg. Tłumacz opowiada sam, w jaki sposób zaznajomił się z „Panem Tadeuszem".[1]) W r. 1844 dostał po raz pierwszy ten poemat do ręki i zachwycił się przedewszystkiem opisami przyrody ks. III i IV. Po przeczytaniu przełożył odrazu cztery urywki; dwa wyżej wspomniane nadawały się do druku, inne dwa były zbyt słabo przetłumaczone, należało je więc przerobić. Były to urywki: „Войскій трубитъ въ рогъ" i „Жидъ играетъ на цымбалахъ". Około roku 1858 tłumacz ten przełożył jeszcze dwa urywki p. t. „Садъ Соплицы" i „Графъ въ замкѣ", które już jako przekłady z Mickiewicza ukazały się w piśmie „Русскій Вѣстникъ" z r. 1858. Informacje tłumacza, podawane prawdopodobnie z pamięci, niezupełnie są zgodne z podanemi w tem czasopiśmie urywkami. W tomie XIII z tego roku na str. 733—736 p. t. „Отрывки изъ поэмы Мицкевича „Панъ Тадеушъ" mieszczą się następujące fragmenty:[2])

---

[1]) Адамъ Мицкевичъ - Панъ Тадеушъ, поэма, переводъ съ польскаго Н. В. Берга, Warszawa 1875, artykuł wstępny na str. XXI—XXVIII p. t. „Какъ и когда сдѣланъ мною переводъ Тадеуша".

[2]) „Русскій Вѣстникъ" z roku 1858, Moskwa, tom XIII, XIV i XVIII.

1. Литовскіе лѣса w. 68 (w wyd. z r. 1875 są zmiany).
2. Утро въ деревнѣ w. 36 (w wyd. z r. 1875 = ks. II od w. 1—44).
3. Родныя небеса w. 26 (w wyd. z r. 1875 = ks. III od w. 613—638).

W tomie XIV znajdujemy na stronie 147—148 początek ks. VIII bez tytułu urywka w. 38, co odpowiada w wyd. z r. 1875 wierszom z ks. VIII 10—59.

W tomie XVIII na stronie 147—156 pomieszczono dłuższy fragment p. t. „Замокъ стольника Горешки", obejmujący w. 338, co odpowiada wyd. z r. 1875 wierszom z ks. II. w. 124—462; w tym samym tomie na str. 299—300 podano urywek p. t. „Войскій трубитъ въ рогъ на охотѣ", w. 48, jak w wyd. z r. 1875.

Fragmenty te, ale nie wszystkie, ukazują się w r. 1860 w wydaniu książkowem.[1] Od str. 207—230 mieszczą się tu „Отрывки из поэмы Панъ Тадеушъ", których jest pięć, a mianowicie:

1. „Замокъ стольника Горешки" (wyd. z 1875 = 462 w., or. II, 470),
2. „Родныя небеса" (wyd. z r. 1875 = od w. 613—638, or. III 634—653),
3. „Родимые лѣса" (wyd. z r. 1875 = 100 w., or. IV, 92),
4. „Войскій трубитъ въ рогъ" (wyd. z r. 1875 w. 593—640, or. IV, 660—707).
5. „Вечеръ въ деревнѣ" (wyd. z r. 1875 = 104 w., or. VIII, 116).[2]

Jednakże urywki te nie wzbudziły dużego zachwytu, o czem świadczy dość ostra ich ocena, napisana przez P. Dubrowskiego. Autor ten pisze: „Od niedawna poczęły ukazywać się w rosyjskim języku nowe przekłady z Mickiewicza, ale niestety są one wszystkie słabe i nie dają jasnego pojęcia o oryginale. W „Русскомъ Вѣстникѣ" z r. 1858 (luty ks. II, marzec ks. I) mieszczą się cztery urywki z poematu Mickiewicza „Pan Tadeusz" przełożone, albo lepiej mówiąc, nieudatnie — przerobione przez Berga."[3] Dla przykładu przytacza urywek z ks. II i powiada, że u Mickiewicza niema „ani sennej krasawicy, leżącej na ciemnej murawie, ani łabędzia, śpiewającego triumfalny hymn."[4]) Dubrowski powołuje się także na ocenę tego przekładu w „Gazecie Warszawskiej", nr. 113 z r. 1858, gdzie również zarzucano tym urywkom brak cech artystycznych.

II. W r. 1858 podaje Dubrowskij w wymienionej wyżej książce szczegółową treść „Pana Tadeusza", przyczem cytuje wiele piękniejszych miejsc prozą.[5]) Jest to wprawdzie tylko streszczenie z prozaicznemi wyjątkami, ale ma ono duże znaczenie, gdyż dzięki niemu zaznajamia autor społeczeństwo rosyjskie po raz pierwszy z naszem arcydziełem i pozwala w ten sposób wyrobić sobie pojęcie o jego treści. Ze względów cenzuralnych unika autor tych miejsc lub opisów, które są skierowane przeciw Rosji. Tłumaczy się z tego w ten sposób: „Opuścimy te miejsca, które napisał Mickiewicz, powodując się osobistemi sympatjami: opuszczanie ich bynajmniej nie przeszkodzi czytelnikowi w całkowitem opanowaniu utworu i poznaniu jego piękna. W tych to miejscach, jak się nam zdaje, tracił poeta siłę genjusza: w nich nie ma on tej siły, jaką widać we wszystkich innych utworach, pisanych przez poetę jakby pod wpływem szczerego natchnienia."[6]) W streszczeniu swojem kładzie autor nacisk tylko na spór o zamek i miłość Tadeusza do Zosi. Sprawy te rozwija i rozpatruje dokładnie, natomiast pomija prawie zupełnie sprawę polityczną i historyczną. Pokrótce tylko wspomina w ks. I o Napoleonie, w ks. IV o zamiarach szlachty urządzenia powstania na Litwie i w ks. XI i XII o wyprawie

---

[1]) Библіотека иностранной поэзіи — Переводы и подражанія Н. В. Берга — изданіе Н. В. Гербеля, Санктпетербургъ, 1860.

[2]) Ilość wierszy, zestawiona tutaj, nie jest zgodna z wyd. z r. 1875. W urywku 1-ym zam. w. od 46—96 jest 36 innych w ur. 3-im po w. 20-ym opuszczono 4 w., w ur. 4-ym zmieniono w. 617—618, w ur. 5-ym zmieniono w. 2—12, 29—38, 73—96 i 101—104.

[3]) Адамъ Мицкевич — изъ очерковъ новѣйшей польской литературы П. Дубровскаго, Санктпетербургъ, 1858, str. 74—75.

[4]) Tamże str. 75.

[5]) P. Dubrowskij — Адамъ Мицкевичъ, dzieło cyt., str. 79—153.

[6]) Tamże str. 79.

na Moskwę. Jeżeli gdzie należy użyć wyrazu „Moskal", zastępuje go wyrazem „żołnierz" lub „nieprzyjaciel". W przekładach prozą nie jest równomierny; najwięcej urywków mamy z ks. II i V, której pierwsza połowa — według autora — należy do najbardziej poetyckich. Z tłumaczonych urywków najwięcej miejsca poświęca autor opisowi Zosi, jak wogóle opisom ludzi, a czasem też uwzględnia opis przyrody. Dubrowski tłumaczy następujące miejsca:

Ks. I. — w. 1—14, 14—22, 77—141, 546—7, 592—617, 629—631, 747—751, 826—839, 858—867, 883—891, 892—905. Razem 171 wierszy.

Ks. II. — w. 101—330, 339—470, 835—850. Razem 378 wierszy czyli prawie połowa.

Ks. III. — w. 220—289, 312—330, 362—369, 520—529, 578—603, 631—681. Razem 183 wiersze.

Ks. IV. — w. 1—18, 111—147, 339—368, 375—424 (opuszcz. w. 376), 395, 399, w. 421—423 skrócony: „наконецъ непріятель обращается въ бѣгство", 479—511, 578—648, w czem w. 611—617 tłum: „всеобщая радость", 660—714. Razem 227 wierszy.

Ks. V. — w. 1—212, 255—270, 278—300, 343—387, 398—412, 541—567, 580—630, 813—823, 828—834, 851—866, 876, 884—905. Razem 444 wiersze.

Ks. VI. — w. 1—8, 154—166 (opuszcz. w. 158), 395—401, 427—431, 469—496, 609—616. Razem 68 wierszy.

Ks. VII. — w. 513—539, 544—553. Razem 37 wierszy, przyczem streszczenie tej księgi jest bardzo krótkie.

Ks. VIII. — w. 20—131, 324—332, 397—416, 321—451, 462—527, 586—642, 680—682, 798—805. Razem 325 wierszy.

Ks. IX. — treść tej księgi podaje autor zaledwie w kilku słowach, stwierdzając równocześnie, że mało zaznacza się w niej talent poety. „Wpadł on tutaj w karykaturę, w której jest wszystko nienaturalne i przesadzone."[1])

Ks. X. — w. 298—359, 363—365, 404—419, 430—435, 448—461, 474—498, 506—522, 624—698 (opuszcz. w. 631), 744—795, 828—832, 867—876, 895—902. Razem 292 wiersze.

Ks. XI. — w. 2—6, 10—49, 91—98, 108—116, 128—140, 153—181, 196—211, 296—337, 350—476, 580—651, 673—681. Razem 298 wierszy.

Ks. XII. — w 17—34, 1—110, 120—135, 402—415, 427—484, 617—641, 641—741 (tu opuszcz. w. 686—690, 694—705, 708—713, 729—730, a kończy się: „то былъ торжественный маршъ"), 761—807, 826—863. Razem 362 wiersze.[2])

Prócz tego mamy krótki urywek wierszem białym, ks. II. 27—38.[3])

III. W r. 1859 ukazuje się w czasopiśmie: »Сынъ Отечества« urywek p. t. »Панъ Тадеушъ« — отрывокъ изъ поэмы Мицкевича — „Литовскіе лѣса" w nr. 22, str. 598. W temże samem piśmie w tym samym roku wychodzi w nr. 23 i 24 na str. 625—626 i 654—655 dalszy ciąg ks. IV p. t. „Облава" (изъ Пана Тадеуша). Obydwa te urywki tłumaczył *Левъ Александровичъ Мей.* W wydaniu zbiorowem dzieł tego autora umieszczono je pod

[1]) P. Dubrowskij — Адамъ Мицкевичъ, dzieło cyt. str. 129.

[2]) Zestawienia wierszowe i cytaty są podawane w całej książce wedł. wyd. „P. T" przez J. Kallenbacha i J. Łosia, Lwów 1921.

[3]) „Надъ Соплицовомъ взошло солнце и уже отразилось.
На соломенныхъ кровляхъ и сквозь щели прокралось въ сарай,
По темнозеленому, свѣжему, благовонному сѣну,
Изъ котораго молодежь устроила себѣ постель,
Расходились золотыя, мелькающія полосы
Изъ отверстія черной кровли, какъ ленты изъ косы.
И солнце, утреннимъ лучомъ, уста заснувшихъ
Затрогиваетъ, какъ дѣвушка, будящая колосомъ своего милаго.
Уже три раза загоготалъ гусь, и вслѣдъ за нимъ, какъ эхо,
Скачущіе воробьи начали щебетать подъ кровлею;
Хоромъ отозвались утки и индѣйки,
И слышно мычаніе стада, идущаго въ поле.

jednym tytułem »Облава« (отрывокъ изъ поэмы „Панъ Тадеушъ".)[1]) Fragment ten obejmuje 362 w. i odpowiada or. w. 479—809 z IV-ej ks.

IV. W r. 1862 ukazują się urywki »Pana Tadeusza« w »Отечественныхъ Запискахъ«, przekładu M. Berga. Te same urywki pojawiają się w r. 1865 w wydaniu książkowem p. t. »Переводы изъ Мицкевича« Н. Берга, w Warszawie. Od str. 1—193 pomieszczono tu »Отривки изъ поэмы Панъ Тадеушъ«. Fragmenty te wydano w książce powtórnie w r. 1871 bez zmian i w całości w wydawnictwie »Поэзія Славянъ«[2]) Pierwsze to tłumaczenie »Pana Tadeusza« nie jest zupełne. Sam autor wyjaśnia swoje stanowisko w tych słowach: »Jestem szczęśliwy choćby dlatego, że pierwszy, jakkolwiek tylko w tej formie, zaznajomiłem rosyjskich czytelników z najlepszym utworem wielkiego słowiańskiego pieśniarza.«[3]) Przekład ten nie wynikał z jakiejś specjalnej chęci dokładnego przyswojenia oryginału literaturze rosyjskiej, jest raczej wynikiem natchnienia, a wskutek zbytniej samodzielności posiada wiele wad. Tłumacz opowiada sam, że w r. 1860 w czasie pobytu w Jambowie zabrał się do przekładu »Pana Tadeusza« wiersz za wierszem, poczynając od pierwszej księgi. Ponieważ jednak napotykał na trudności, tłumaczył to tylko, co mu się wydało łatwiejszem. »W półtora miesiąca przełożyłem wszystko »istotne« z »Pana Tadeusza«, czyli bez mała wszystko.«[4]) To »bez mała wszystko« wynosiło zaledwie około 5.000 wierszy.

Zachodzi pytanie, które miejsca w tem wydaniu uznał tłumacz za łatwiejsze i czy ta edycja zawiera »wszystko istotne« z »Pana Tadeusza«. Tłumacz, trzymając się podziału na 12 ksiąg w oryginale, dzieli swój przekład również na 12 rozdziałów, przyczem wskutek pomyłki mamy dwa rozdziały siódme. Jednak poszczególny rozdział nie odpowiada poszczególnej księdze.

Rozdz. I: »Вступленіе — Пріѣздъ Тадеуша въ Соплицово. — Нѣкоторыя дѣйствующія лица«. Mieści się tu 163 wierszy = 204 w. wyd. z r. 1875[5]) or. 233. Z pierwszej księgi uwzględniono tutaj tylko opowiadanie o przybyciu panicza i o spotkaniu się z Sędzią pod lasem.

Rozdz. II: »Охота на русака. — Замокъ. — Графъ. — Ключникъ Гервазъ. — Видѣніе въ саду.« Całość posiada 416 w. = 467 w wyd. z r. 1875, or. 470. Przekład tej księgi (II-ej) jest doprowadzony do tego momentu, kiedy goście soplicowscy wracają z polowania, a więc chodzi tu o postać Hrabiego i o jego charakterystykę.

Rozdz. III: »Ужинъ. — Сборы на медвѣжью охоту. — Корчма.« Mamy tu w. 70 + 427 (497), a rozdział ten powstał wskutek fuzji końca ks. III-ej z początkiem IV-ej. Z księgi III-ej jest tu 70 w. = 691—775 (84) w wyd. z r. 1875, or. 700—789, z ks. IV-ej 427 w. = 427 w wyd. z r. 1875, or. 1—478.

Rozdz. IV: »Охота« obejmuje 280 w. = 428—704 wyd. z r. 1875, or. 479—809 ks. IV-ej. Jak widać, księga ta została przetłumaczona prawie w całości.

Rozdz. V: »Ужинъ въ замкѣ« wynosi 528 = 354—952 wyd. z r. 1875, or. 305—905 ks. V-ej.

Rozdz. VI: »Возный отправляется къ графу съ позывомъ въ судъ« zawiera 166 w. = 1—378 wyd. z r. 1875, or. 1—377 ks. VI-ej. Skrócenie tu jest znaczne z powodu usmięcia całej rozmowy Sędziego z Jackiem.

Rozdz. VII: »Добжинскій застянокъ« wynosi 216 = 379—625 wyd. z r. 1875, or. 378—617 ks. VI-ej. Widzimy więc, że ks. VI posłużyła do stworzenia dwóch rozdziałów (VI i VII).

---

1) Л. А. Мей — Полное Собраніе Сочиненій — С. Петербургъ, r. 1868, t. III., str. 502—514 i r. 1887, t. III, str. 15—25. W nowszych wydaniach dzieł Meja również ten fragment ogłoszono pod tym samym tytułem.

2) Сборникъ лучшихъ поэтическихъ произведеній славянскихъ народовъ въ переводахъ русскихъ писателей — изданный подъ редакціею Ник. Вас. Гербеля, Санктпетербургъ 1871, str. 444—541.

3) Н. Бергъ — Переводы изъ Мицкевича, str. 2.

4) Por. cyt. „Какъ и когда сд. мн. перев. Тад.", str. XXIV.

5) Niejednakowa ilość wierszy w tej edycji i z r. 1875 wynika z powodu licznych skróceń lub wypuszczeń.

Rozdz. VIII (przez pomyłkę VII): »Совѣтъ. — Гайже на Соплицу« ma 578 w. = 1—578 wyd. z r. 1875, or. 1—553 ks. VII-ej. Jest to więc cała VII-a księga bez zmian istotnych.

Rozdz. IX: »Наѣздъ« mieści w sobie 318 w. = 1—239 i 752—858 wyd. z r. 1875, or. 1—251 i 701—805 ks. VIII-ej.

Roz. X: »1812 годъ« obejmuje 530 w. = 1—530 wyd. z r. 1875, or. cała ks. XI. Widzimy tu wypuszczenie po roz. IX-ym dwóch ksiąg oryginału (IX i X) i przeskok do ks. XI-ej.

Roz. XI: »Сервизъ« wynosi 404 w. = 1—408 wyd. z r. 1875, or. 1—435 ks. XII.

Roz. XII: »Концертъ« zawiera 379 w. = 461—804 wyd. z r. 1875, or. 482—863 ks. XII.

Całość tego wydawnictwa wynosi 4535 w., czyli nie odpowiada nawet połowie oryginału, nie może zatem dać dobrego pojęcia o polskiem arcydziele.

V. W r. 1875 wydaje M. Berg, jak twierdzi, całkowity przekład »Pana Tadeusza«. Wydanie to zaopatrzono wstępem, złożonym z dwóch rozdziałów: »Какъ и когда писалъ Мицкевичъ Пана Тадеуша« (str. V—XX) i wyżej wzmiankowanym: »Какъ и когда...« (str. XXI—XXVIII). To tłumaczenie jest uzupełnieniem wydania z r. 1865, którego to uzupełnienia dokonał tłumacz w ciągu osiemnastu dni w r. 1872. Te uzupełnienia, »wszystko, co było można« umieścił w »Отечественныхъ запискахъ« z r. 1873 i 1874.[1]) W tem czasopiśmie z r. 1873 w tomie CCVII na str. 211—238 pomieszczono z ks. II-ej (глава II) w. 292, które uzupełniają ks. II w wyd. z r. 1875 od w. 463 do końca i z ks. III prawie całość; z pierwszej księgi nie pomieszczono nic. W roczniku z r. 1874 w tomie CCXII na str. 381—414 znajdujemy od str. 381—382 wstęp p. t. »Нѣсколько словъ о поэмѣ »Панъ Тадеушъ«, od str. 383—388 urywek z ks. IV-ej (глава IV) w. 208 w wyd. z r. 1875 od w. 725 do końca, od str. 388—397 urywek z ks. V (глава V) w. 350 w wyd. z r. 1875 od początku księgi do w. 350, od str. 397—402 urywek z ks. VI (глава VI) w. 202 w wyd. z r. 1875 od w. 108—309, od str. 402—414 urywek z ks. VIII (VII księgi nie zamieszczono) w. 494. w wyd. z r. 1875 od w. 255—748; w tomie CCXIII mieści się od str. 307—330 tytuł ks. IX »Битва« i urywek z ks. X, odpowiadający prawie całości. Zakres podanego wyżej materjału wyczerpuje uzupełnienia do ogłoszonych poprzednio fragmentów; jak z tego przeglądu widać, nie wzięto pod uwagę księgi pierwszej, siódmej, dziewiątej, jedenastej i dwunastej. Co się tyczy księgi dziewiątej, to prawdopodobnie drukowano tylko jej tytuł z rozkazu cenzury, treść sama może zbytnio raziła.

Przekład ten[2]) odczytywał tłumacz A. E. Odyńcowi, który słuchając go, płakał nieraz. Wskutek serdecznych stosunków, jakie tłumacza łączyły z Odyńcem, dedykował mu tłumaczenie »znakomitego słowiańskiego poematu«. Wierszowana dedykacja po polsku obejmuje 29 wierszy i przypomina tonem mickiewiczowski »Pomnik Piotra Wielkiego«.[3]) Drugie wydanie tego przekładu z uzupełnieniem braków i wypuszczeń cenzuralnych wyszło w r. 1907 w Petersburgu.[4])

VI. W r. 1874 ukazał się w »Всемірной Иллюстраціи« tom XII nr. 20 str. 306 fragment z IV-ej księgi w przekładzie Mikołaja Siemienowa. Powtórnie ogłoszono go drukiem w r. 1883 w książce przekładów mickiewiczowskich tego autora.[5]) Urywek ten posiada 92 wiersze i odpowiada dokładnie 92 wierszom oryginału z początku IV-ej ks.

---

[1]) „Отечественныя Записки“, журналь литературный, политическій и учоный, Petersburg 1873 i 1874.

[2]) Панъ Тадеушъ — Поэма А. Мицкевича, перевелъ Н. Бергъ, Варшава 1875.

[3]) »Obadwaj, przed uroczym poezji obrazem,
Ścisnąwszy się za ręce, pomarzymy razem,
Wzlecimy w nasze niebo, jak złote motyle,
Gdzie czuje się inaczej, gdzie oddychać mile.«

[4]) А. Мицкевичъ — Панъ Тадеушъ — поэма — переводъ съ польскаго Н. В. Берга, изданіе второе (безъ пропусковъ) С. Петербургъ 1907.

[5]) Изъ Мицкевича — переводы Н. П. Семенова — Панъ Фаддей, или послѣдній наѣздъ въ Литвѣ — отрывокъ изъ I части IV книги.

VII. W r. 1881 i 1882 ogłasza *Л. И. Пальминъ* w czasopiśmie »Русская Мысль« cztery pierwsze księgi »Pana Tadeusza«.[1]) W przekładzie tym ks. I obejmuje 980 w., ks. II. 858 w., ks. III. 802 w., ks. IV. 1024 w.

VIII. W r. 1882 wychodzi całkowity przekład »Pana Tadeusza« w zbiorowem wydaniu dzieł Mickiewicza, dokonany przez W. Benediktowa;[2]) epilog w tem wydaniu p. t. »Прологъ къ »Пану Тадеушу« przetłumaczył Dm. Minajew. W r. 1902 w temże samem drugiem zbiorowem wydaniu ukazuje się powtórnie ten sam przekład »Pana Tadeusza«.[3])

Na Białorusi »Pan Tadeusz« doczekał się najwcześniej przekładu; jego dzieje łączą się z tragedją narodów słowiańskich pod panowaniem rosyjskiem w XIX-ym w.

I. W r. 1859 oddano do druku w Wilnie książkę p. t. »Pan Tadeusz«, pa polsku napisaŭ Adam Mickiewicz. Na biełaruskuju hutarku pierawiarnuŭ Wincuk Marcinkiewicz«. Wydawcy drugiego wydania ocalonych resztek piszą: »Ciężka dola przypadła tej książce.« Całkowity przekład oddano do druku w Wilnie za pozwoleniem cenzora Kukolnika. Z chwilą, gdy ukończono drukować dwie pierwsze księgi, zamianowano cenzorem na miejsce Kukolnika Muchina. Z jego rozkazu skonfiskowano cały nakład i spalono, prawdopodobnie zaginął również rękopis dalszych ksiąg i tylko przypadkiem ocalały dwa czy trzy egzemplarze dwóch drukowanych ksiąg. Na podstawie egzemplarza, znajdującego się w Bibljotece Jagiellońskiej, przedrukowano te dwie księgi w r. 1907 w Petersburgu.[4]) Marcinkiewicz powiada w przedmowie, że poemat »Pan Tadeusz« »maluje charakter, zwyczaje i obyczaje naszych białoruskich panów za czasów Napoleona«.[5]) Dodaje następnie charakterystyczną uwagę: »Dlaczego, myślę, nasz naród prosty, który tak blisko żył z tymi panami, dlaczego drobna okoliczna szlachta, która, żyjąc w leśnem zaciszu, w chacie, między sobą, używa swej ojczystej mowy — czemuż ona nie ma poznać obyczajów swych ojców?«[6]) Przekład »Pana Tadeusza«, »przybranego w chłopską siermięgę« dedykuje tłumacz »panom i prostemu ludowi z nad Dniepru, Dźwiny, Berezyny, Świsłoczy, Wilji i Niemna«.[7])

II. W r. 1892 wychodzi po białorusku pierwsza księga »Pana Tadeusza« w przekładzie A. J. (Aleksander Jelski).[8]) Przekład ten jest dosłowny, a ta »dosłowność przekładu z tekstu polskiego niech będzie dowodem braterstwa dwóch języków i dwóch narodów, którym sądzono od Boga, by żyły wspólnie i razem, by rozwijały się razem pod względem materjalnym i duchowym, jak przystało dzieciom jednej wielkiej słowiańskiej rodziny«.[9]) Przekład ten, jak i jego poprzednik, dedykuje tłumacz również białoruskiemu narodowi. »Pracę tę ofiaruje tłumacz ze szczerego serca na pożytek bratniemu białoruskiemu

---

[1]) Русская Мысль — журналъ научный, литературный и политическій, Москва 1881, кн. I., styczeń: Панъ Тадеушъ — Поэма Мицкевича, кн. I. Хозяйство, пер. Л. И. Пальмина, str. 6—31; кн. III., marzec: j. w., кн. II. Замокъ, str. 1—23; кн. IX., wrzesień: j. w., кн III. Сердечныя дѣла, str. 1—21; Москва 1882, кн. VI, czerwiec: j. w., кн. IV., str. 88—115. U Estreichera i w innych bibljografjach panują co do tego przekładu całkiem błędne informacje np. w »Энциклопедическій Словарь«, томъ XIX, str. 508, Petersburg 1896 podano, że ten przekład mieści się w »Русская Мысль« 1888 r., i zawiera ks. 1, 3 i 9, a w r. 1882 ks. 6.

[2]) Сочиненія А. Мицкевича, русскій переводъ В. Бенедиктова, Н. Семенова и другихъ писателей подъ редакціею П. Н. Палевого, Petersburg, Moskwa. r. 1882. 5 tomów. »P. T.« w tomie IV-ym i V-ym.

[3]) Собраніе сочиненій А. М. i t. d. j. w., Petersburg, Moskwa 1902, 4 t., »P. T.« t. II i III.

[4]) Tytuł j. w. — »wydańnie druhoje«. Pieciarburh 1907.

[5]) Pan Tadeusz j. w. str. III.

[6]) Pan Tadeusz j. w. str. III.

[7]) Pan Tadeusz j. w. str. IV.

[8]) Pan Tadeusz — paemàt Adama Mickiewicza piarałażỳŭ z polskaho na biełaruski jazỳk A. J., kniha I., Lwoŭ 1892.

[9]) Pan Tadeusz j. w., str. 4.

narodowi, pomnąc na słowa Mickiewicza, wypowiedziane przez niego w przedmowie do »Pana Tadeusza«:

»O! kalib dażŷŭ ja toj paciechi,
»Sztob taja ksionżka zbłudziła pad strechi
»I kab sialania jajò u ruki uziali,
»Dy jak swajù piesń rodnu mocna pakachali...[1])

W r. 1918 ogłoszono w Kijowie białoruski urywek z IV ks. p. t. »Matecznik« w przekładie Józefa Farbotki. Tłumaczenie to obejmuje 87 w. i odpowiada tej samej ilości wierszny w polskim oryginale t. j. ks. IV, w. 479—565.[2])

Ukraińcy posiadają urywek I ks. »Pana Tadeusza« w swym języku, ogłoszony drukiem w r. 1874 w lwowskiem czasopiśmie »Prawda«.[3])

Przekładu tego dokonał Kuźma Wołyniec, który przygotował do druku i przesłał do redakcji dwie pierwsze księgi;[4]) przedtem jeszcze ten sam autor przetłumaczył »Konrada Wallenroda«. Z trudności tłumaczenia zdaje sobie autor dokładnie sprawę. »Może być — pisze Wołyniec w liście do redakcji Prawdy — że nie mogłem dokładnie oddać siły wyrażenia w utworze tak znakomitego mistrza; chciałem pokazać, poznawszy dokładnie wszystkie cztery narzecza mowy naszych ojców, że mowa ta jest tak bogata, iż przy szczerej pracy nad nią wkrótce będzie mogła stanąć narówni z innemi językami słowiańskiemi... Jeżeli spodoba się ten mój przekład, to przygotuję i dalsze księgi.«[5]) Przekład zawiera 320 w., co odpowiada 267 początkowym wierszom I-ej księgi oryginału.

Iwan Franko dokonał tylko przekładu »Epilogu« w r. 1913 i ogłosił go drukiem w r. 1914 w »Wielkiej utracie«, przypisanej Mickiewiczowi.[6]) Epilog ten z w. 133 oryginału skurczył si w tłumaczeniu do 120 wierszy.

W r. 1927 ukazał się przekład ukraiński całego »Pana Tadeusza« w Kijowie; tłumaczenia dokonał Maksym Rylśkyj. Przekład ten został poprzedzony przedmową tłumacza.[7])

W słowackiej literaturze posiadamy tylko trzy urywki »Pana Tadeusza« w przekładzie Horala:

[1]) Pan Tadeusz j. w., str. 2.

[2]) J. Форботко — Màтачкік. Пераклàд з »Пàна Тадэуша« Міцкèвіча. Бѣлорусское Эхо. Кіевъ 1918 nr. 4, str. 3.

[3]) Правда — письмо літературно-політичне.

[4]) »Правда« — у Львові, Дня 6 (18) Лютого 1874. Рік VII. ч. 1. str. 4—12. »Пан Ѳадій« — переложив Кузьма Волинець. — Emiljan Ogonowski zaznacza (— Pamiętnik Towarzystwa literackiego im. Adama Mickiewicza, Lwów 1888 r., str. 168—173, artykuł Emiljana Ogonowskiego p. t. »Mickiewicz w literaturze rusko-ukraińskiej«), że w Prawdzie ukazał się przekład dwóch pierwszych ksiąg. Może to łatwo wywołać pomyłkę, gdyż, jakkolwiek w rękopisie były istotnie dwie księgi, drukowano tylko początek ks. I-ej. W nr. II-im »Prawdy« z r. 1874 na str. 49 czytamy przypisek redakcji: »Nie pomieszczamy w tym numerze dalszego przekładu »Pana Tadeusza«, bo pomieszczenie jednej jego części w I-ym numerze nie spodobało się niektórym z naszych szan. prenumeratorów. Tem chętniej zamierzamy pójść tu za wolą choćby i niewielkiej liczby, gdyż i my sami nie mieliśmy zamiaru pomieścić więcej z tego przekładu nad dwie części. Podaliśmy go raczej jako próbę pierwszego przekładu Mickiewicza na język mało-ruski i na dowód, jak mistrzowskie twory cudzych literatur dadzą się wiernie odtworzyć nawet w prowincjonalizmach naszego języka — taki jest bogaty materjał językowy naszego narodu! Bezsprzecznie ten przekład — chociaż nie dorównywa oryginałowi pod względem poetycznym — ma swoją wartość pod względem językowym.«

[5]) Правда... cyt. str. 4.

[6]) Adam Mickiewicz — Wielka utrata, wyd. Y. Franko, Lwów 1914, str. LI—LIV.

[7]) Адам Міцкевич: »Пан Тадеуш«, переклад і вступна стаття М. Рильського. Київ, »Слово«, 1927, str. XXXIII + 325 + XXVIII. Rec. M. Rudnyćkiego p. »Ruch słowiański«, r. I., nr. 2., str. 70—81, Lwów 1928 r.

1. Lovecká trúba w. 48 = or. ks. IV., w. 660—708.[1])
2. Stromy na Litve w. 70 = or. ks. IV., w. 23—92.[2])
3. Litevské pralesy w. 88 = or. ks. IV., w. 479—565.[3])

Jak widzimy, i ten tłumacz zajął się przedewszystkiem ks. IV, która wogóle u tłumaczy budziła najżywsze zainteresowanie.

U Czechów stosunkowo wcześnie zajęto się przekładem »Pana Tadeusza«, jakkolwiek początkowo znajdujemy nieśmiałe próby i to kilku zaledwo urywków.

I. Najwcześniejszą próbą był krótki urywek H. Jirečka p. t. »Starého Matouše dvůr« razem w. 78 = or. ks. VI., w. 427—482 (w przekł. 54 w.), w. 567—574 (w przekł. 8 w.), w. 581—596 (w przekł. 16 w.), ogłoszony w r. 1861.[4])

II. W r. 1866 zaznajomił Czechów z całością »Pana Tadeusza« po raz pierwszy Jaroslav Goll. Obok streszczeń podaje też tłumacz niektore urywki wierszem i trzeba przyznać, że ten wierszowany urywkowy przekład jest nieraz dość trafny i ładny.[5]) Po krótkim wstępie, charakteryzującym zamiłowanie szlachty polskiej do swobody i swawoli, przechodzi autor do objaśnienia zajazdu według Mickiewicza, a następnie do właściwej treści. Jest ona wprawdzie podana według ksiąg, lecz autor trzyma się nie porządku, w jakim poeta opowiada, lecz zależnie od wątków. Tak więc zaraz na początku dowiadujemy się o sporze o zamek między Hrabią a Sędzią, potem dopiero następuje opowiadanie o powrocie panicza. Streszczenie jest bardzo gładkie, autor nie gubi się w szczegółach, drobiazgi wszystkie pomija i uwzględnia tylko to, co jest najistotniejsze.

Wśród opowiadania znajdujemy następujące urywki wierszem:

1 Z ks. III. Tadeusza uwagi malarskie nad drzewami i obłokami. — Hrabiego myśli o sztuce. — Dzwon. — Bilecik. W czeskiem czasopiśmie znajdujemy sto cztery wiersze na str. 107 i 108; odpowiadają one w oryginale ks. III., w. 578—681.

2 Z ks. IV. Koncert Wojskiego. W czeskim przekładzie mamy czterdzieści wierszy, które odpowiadają w or. ks. IV. w. 660—700; mamy tu zatem całkowity opis koncertu na str. 108.

3. Z ks. V. przełożono tylko dorywczo kilka wierszy or. w. 7—12 od słów: »Hrabia, panicz młody . . . co świat powie na to?« W tłumaczeniu jest ta sama ilość wierszy, co w oryginale (str. 308).

4. Z ks. XII. umieszczono cały Koncert Jankiela; jest to urywek najdłuższy, bo obejmuje w całości sto dwadzieścia trzy wiersze na str. 309 i 310. Urywek ten odpowiada w or. ks. XII. w. 643—761.

5. Streszczenie kończy się dwuwierszem:

I já tam s hostmi byl, a med a víno pil,
a co jsem uhlídal, v té knize položil.

7. Następuje charakterystyka poematu z podkreśleniem, że jego przedmiotem jest Ojczyzna i że entuzjazm poety wypływa z miłości do Ojczyzny, a muzą jego jest św. Dziewica, Królowa Polski. W dalszym ciągu przytacza autor dwadzieścia dwa wiersze z początku księgi I., co odpowiada or. ks. I. w. 1—22.

W całości więc posiadamy z tej drugiej próby 365 wierszy.

---

[1]) — Lov. tr. — od A. Mic., prel. Horal — Slovenské Listy. Týdenník poučno zábavný, v Lipt. Ružomberku (Liptó-Rózsahegy), ročnik I. — čislo 1., str. 2, 1900.

[2]) — Str. na Lit. — od A. Mic., prel. Horal — Slov. Listy, čislo 4, r. 1900.

[3]) — Lit. pral. — od A. Mic., prel. Horal — Národnie Noviny, čislo 37, z dn. 29 marca 1902, Príloha XXXIII.

[4]) Světozor, List pro zábavu a literaturu. Příloha ke Slovenským Novinám, nr. 11 Z Mickiewicze: »Starého Matouše dvůr«, Videň, 1861.

[5]) Mickiewiczův »Pan Tadeusz« od Jar. Golla — Květy, Týdenník belletristický a lehce poučný s přílohou Česká Včela. Ročník první. Redakcí Vítězslava Hálka a Jana Nerudy. V Praze 1865 a 1866, čislo 26, r. 1866, str. 306—310.

III. W r. 1872 ogłosił dłuższy urywek z ks. IV. p. t. »Honba na medvěda« Primus Sobotka. Urywek ten obejmuje 721 wierszy, a więc przeszło dwie trzecie całej księgi i odpowiada w oryginale ks. IV., w. 1—721.[1]) W Czechach więc spotykamy to samo zjawisko, co w Rosji, mianowicie że przedewszystkiem pociągała tłumaczy księga czwarta,

IV. W r. 1873 ukazuje się fragment z ks. II-ej p. t. »Divčína v okurkách«, przełożony przez Jar. A. Tesaře. Fragment ten jest stosunkowo dość krótki, obejmuje on siedemdziesiąt sześć wierszy i odpowiada w oryginale ks. II w. 403—478.[2])

V. Od r. 1874 ukazują się urywki przekładu Eliški Krasnohorskiej i tak z ks. I. w czas. »Lumír«, 1874, (II. 250); z ks. V. w czas. »Osvěta«, 1875, 541; z ks. VIII. w czas. »Osvěta«, 1879, 930. Podobne urywki napotykamy w polskich czasopismach, a mianowicie z ks. I. w czas. »Lech«, 1878, 274 i 364; z ks. IV. w czas. »Lech«, 1879, 108—109; z ks. IV. w czas. »Przegląd słowiański«, 1881, 99. Jak z tego widać, ten przekład jeszcze w rękopisie budził bardzo żywe zainteresowanie.

VI. W r. 1882 ukazuje się całkowity przekład polskiego poematu Eliški Krásnohorskiej.[3]) Tłumaczenie to znalazło bardzo szczere uznanie. To też w r. 1892 ukazuje się w tym samym nakładzie drugie wydanie, a w r. 1917 wydanie trzecie, trochę zmienione. Niebawem ma się pojawić wydanie czwarte. Jak więc z tego widać, największej ilości wydań doczekał się »Pan Tadeusz« w Czechosłowacji. Składają się na to dwie przyczyny, po pierwsze bardzo duże zainteresowanie w tem państwie dla polskiej literatury wogóle, a powtóre to, że nasz poemat jest obowiązkową lekturą w średnich szkołach czeskosłowackich. Tłumaczka pracowała nad swym przekładem około dziesięciu lat. O pracy swej mówi ona w ten sposób: »Zadanie to było dla mnie słodkie, pracę tę umiłowałam do tego stopnia, że nie bacząc na trud i czas, chciałam mieć każdy wiersz płynny i wyrazisty, wierny z oryginałem, a jednak wybitnie czeski. Realizm całej treści, piękna prostota opowiadania, bogactwo etnograficznych rysów, szczególna giętkość języka, szczera, kryształowo czysta poezja prawdy i patrjotyczna miłość, przenikająca całe dzieło poety — wszystko to było mi tak drogie i sympatyczne, że może żaden poemat świata nie mógł stać się droższy memu sercu nad ten właśnie. — — — I mogę powiedzieć z szczerą prawdą, że pośród poetycznych zabawek moich młodych lat dopiero po poznaniu »Pana Tadeusza«, dzieła prawdziwego genjusza, uczułam, że owiało mnie tchnienie Parnasu i że wtedy dotknęłam stopą jego podnóża.«[4])

W Jugosławji poznano polskie arcydzieło dość późno, bo z końcem XIX w. Urywków tam żadnych nie znajdujemy, tylko pojawia się odrazu całkowity przekład.

I. Ukazuje się on w r. 1893 w Zagrzebiu, a dokonał go prof. uniw. i tłumacz Homera na język chorwacki, dr. Toma Maretić.[5]) Przekład jest poprzedzony wstępem: »Pristup«. »O Adamu Mickjeviću«, krótką biograficzną wzmiankę pomieścił tu tłumacz do str. XIV, po niej następuje do strony XXIV sumienny wykład o samym poemacie: »O Gospodinu Tadiji«.

Bułgarja dopiero od niedawna zwróciła pilną uwagę na nasz poemat

---

[1]) Honba na medvěda. Z Mickiewiczowy básně »Pan Tadeusz«, kniby čtvrté. Přel. Primus Sobotka. — Zábavy myslivecké, vydané od Františka Špatného, Díl III. V Praze 1872, str. 6—15.

[2]) Dívčina v okurkách. Úryvek z II. zp. »Pana Tadeusze« od Ad. Mickiewicze. Překládá Jar. A. Tesař. — Obrazy života. Obrázkový časopis pro zábavu a poučení, r. 1873, roč. III., čís. 14, str. 222.

[3]) Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš čili Poslední zájezd na Litvě, přeložila Eliška Krásnohorská, nakladatelství J. Otto, v Praze 1882, 1892, 1917.

[4]) E. Krásnohorská — Z mého mládí, str. 152, cyt. w monografji Ferdinand Strejček — E. K., v Praze, 1922, str. 57.

[5]) Adam Mickiewicz — Gospodin Tadija ili Posljedni porob u Litvi. Plemićka pripovijest iz godine 1811 i 1812. U dvanaest pjevanja. Preveo, uvod i bilješke napisao Dr. T. Maretić, Zagreb 1893, w wydaw. Prievodi novijih pjesnika, izdaje Matica Hrvatska, svezak prvi.

w oryginale; ale już przedtem był on tam dość znany i ceniony, pomimo że znajomość tę opierano często na przekładzie rosyjskim Berga. Iwan Wazow znał tylko ten przekład, natomiast P. P. Sławejkow, w którego utworach widoczny jest wpływ »Pana Tadeusza«, zaznajomił się z nim dzięki doskanałemu tłumaczeniu niemieckiemu Lipinera. Znajomość oryginału ujawniła się dopiero w ostatnich latach. Obecnie też widać tendencję do przyswojenia bułgarskiej literaturze możliwie najlepszego przekładu.

I. Pierwszą próbką przekładu było ogłoszenie w r. 1884 Epilogu; tłumaczenia tego dokonał bułgarski poeta Iwan Wazow, lecz nie z oryginału, tylko z przekładu rosyjskiego Berga.[1] Jest ono całkiem wierne, prawie dosłowne, wskutek też tego dalekie od oryginału; nie jest to jednak całkowity wstęp, gdyż Wazow przetłumaczył tylko 40 wierszy, co odpowiada w przekładzie Berga 41 początkowym wierszom według II-go wyd. z r. 1907, a w oryginale również 41 wierszom. Zadziwia jednakże to, w jaki sposób poeta bułgarski uzyskał ten wstęp, gdyż w wydaniu tłumaczenia »Pana Tadeusza« z r. 1875 cenzura usunęła ze wstępu Berga w. 13—61; ten urywek znajdujemy dopiero w wydaniu drugiem z r. 1907. W bułgarskiem tłumaczeniu spotykamy z pierwszego wydania 12 wierszy, gdyż dalej opuszczono; ponieważ u Wazowa mamy dalszy ciąg, sądzić należy, iż najprawdopodobniej poeta bułgarski znał rękopis i na nim się opierał w swojej próbce przekładu.

II. Całkowitego przekładu »Pana Tadeusza« na język bułgarski dokonał w r. 1901 Efrem Karanow.[2] Przekład ten jest poprzedzony krótkim wstępem, „Нѣколко думи" str. VII—VIII, w którym jest podana krótka charakterystyka przekładanego poematu. Tłumacz zaznacza wyraźnie, że tłumaczenia dokonał z polskiego oryginału; oryginał ten posiadał istotnie, lecz pracy swej dokonywał przy pomocy przekładów rosyjskich; w przekładzie jego są bardzo wyraźne ślady wpływu rosyjskiego tłumaczenia i Berga i Benediktowa. To też w dużej mierze, choć nie wyłącznie, osłabło wartość bułgarskiego tłumaczenia. Ale już samo to, że Bułgarzy zorjentowali się w całkowitej treści »Pana Tadeusza«, jakkolwiek tylko w bardzo słabym przekładzie, znaczy wiele.

W ostatnich latach dwie osoby pracują równocześnie nad przekładem »Pana Tadeusza«, a mianowicie tłumacz »Konrada Wallenroda«, Dr. Christo Kesiakow i tłumaczka »Hymnów« Kasprowicza, Dora Gabe-Penewa.

Dr. Christo Kesiakow ogłaszał swe przekłady znacznie dawniej, lecz uznał je za niezupełnie poprawne i dlatego właściwie za poprawne uznać trzeba te tylko, które ukazują się od r. 1918. Dotychczas posiada ten tłumacz w rękopisie dziewięć ksiąg, wkrótce prawdopodobnie dokona całkowitego przekładu. Tłumaczenie jego jest poprawne i oparte wyłącznie na polskim tekście, zachowanie tylko miary rytmicznej polskiej (trzynastozgłoskowiec) powoduje pewne zarzuty, gdyż taka miara nie odpowiada tonicznej rytmice bułgarskiej. Dotychczas ukazały się w druku w r. 1918 i 1919 ks. VII p. t. »Съвѣтъ« w. 602,[3]) w r. 1922 ks. I. p. t. »Домакинство« w. 989,[4]) w r. 1923 ks. II. p. t.

---

[1]) И. Вазовъ — „Панъ Тадеушъ". Отъ Мицкевича (Начало на встѫплението). — Българска Христоматия или Сборникъ отъ избрани образци по всичкитѣ родове съчинения — съставиха И. Вазовъ и К. Величковъ. — Пловдивъ, Свѣштовъ, Солунъ, 1884, часть II, Поезия, str. 78—80.

[2]) Панъ Тадеушъ отъ Адама Мицкевича. Прѣведе отъ полски Ефремъ Карановъ. София 1901.

[3]) Адамъ Мицкевичъ — „Панъ Тадеушъ" — Съвѣтъ (Отъ VII кн. на Панъ Тадеушъ — Прѣведе отъ полски Дръ. Христо Кесяковъ — Полски Прѣгледъ, брой 49—50 z 30 grudnia 1928 r., str. 197—9, w. 153; ciąg dalszy Полско — български Прѣгледъ, r. 1919, брой 2 z 20 lutego, str. 13—14, w. 122; брой 3 z 28 lutego, str. 21—22, w. 105; брой 4 z 10 marca, str. 31—32, w. 97; брой 5 z 20 marca, str. 37—38, w. 124 + 1, który wprowadzono w uwagach jako należący do nr. 3, a opuszczony przez pomyłkę; wyd. w Sofji (София).

[4]) Адамъ Мицкевичъ, Панъ Тадеушъ или послѣдна нахлувка въ Литва. Шляхетска повѣстъ от 1811 и 1812 год. въ 12 книги. Прѣведе от полски Христо Кесяковъ. — Книга I. — Доманинство, Полско-български Прѣглед,

„Замак" w. 852. ks. III. p. t. „Подмазки" w. 796 i ks. IV. p. t. „Дипломация и ловъ" w. 1001.[1]) Dora Gabe-Penewa nie tłumaczy systematycznie, wybiera raczej miejsca bardziej uczuciowe liryczne i te przedewszystkiem przekłada; urywków rękopiśmiennych posiada wiele, drukiem ogłosiła tylko kilka w r. 1918 w „Полски Прѣгледъ", a następnie wydała je w książce p. t. „Полски поети"[2]) Znajdujemy tutaj następujące urywki:

1. Войски свири, w. 55 = or. ks. IV. w. 660—707.
2. Буря, w. 96 = or. ks. X. w. 1—89.
3. 1812 година w. 85 = or. ks. XI. w. 1—78.
4. Концерта на Янкеля, w. 144 = or. ks. XII. w. 641—761.

Dr. Józef Gołąbek.

Фольклорные и диалектологические материалы по Македонии.

(1924—1927).

Дополнение к обзору в Славии VII. стр. 704—709.

1) Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига IV. Београд. 1925.

На стр. 261—262 помещено несколько фраз с чертами *мегленского* говора. Фразы эти были записаны б. директором Этнографического Музея в Скопле Р. Николичем.

На стр. 265—266 сообщено о народном предании о Момчиле-воеводе, — о предании, записанном в мегленском селе Долнопожарско (из бумаг Р. Николича).

2) Гласник Скопског Научног Друштва. Књ. III. Скопље 1928.

Отметим большую статью С. М. Милосављевића: „Бачијање на Шар-планини" (стр. 209—236). Для диалектолога имеют значение специальные термины, относящиеся к лицам-скотоводам, к постройке, к молочним продуктам, к их изготовлению. Для сравнения отметим статью о скотоводстве в близкой македонской местности, в Малой Реке: Т. Смиљанић, „Пастирски живот код мијака" (Гласник Географског Друштва. Свеска 5. Београд 1921, стр. 230—238). В сжатом виде эта статья помещена в 20 книге „Насеља" (указана выше).

J. Хаџи-Васиљевић. Лазарице у Леринској области (стр. 286—289). Описан обычай лазарской игры в Леринском крае, даны названия частей костюма лазариц и записи ряда лазарских песен. В названиях и в песнях представлены черты леринских говоров.

3) Јужни Преглед. Скопље. 1926—1928.

В этом издании за 1926—1928 гг. находятся статьи и заметки, относящиеся к этнографии и фольклору Македонии. 1) М. Павловић. „О бележењу народних умотворина у јужним крајевима" (1927; стр. 221—224). 2) Егоже. „О народним умотворинама и о њиховом скупљању у Јужној Србији" (1927; стр. 145—148). 3) Ђ. Киселиновић. „Народни обичаји у Преспи" (1927; стр. 8—11; 1928; стр. 255—257). (Рефер. по сообщению в III-м томе „Гласника Скоп. Н. Друштва", стр. 324).

А. С.

брой 14 z 1 lipca 1922 r., str. 114—115. w. 141; брой 15 z 10 lipca, str. 122—123. w. 158; брой 16 z 20 lipca, str. 130—131, w. 182; брой 18 z1 sierpnia, str. 138—139; w. 171; брой 18 z 10 sierpnia. str. 146, w. 122; брой 19 z 10 sierpnia, str. 154—155, w. 116; брой 20 z 1 września, str. 162—163, w. 99.

[1]) Книьа II. „Замѫк" бр. 19, str. 149—152, w. 294; бр. 20 i 21, str. 157—159, w. 208; бр. 22, str. 168—170, w. 260. — Книга III. „Подмазки", бр. 23, str. 176—178, w. 221; бр. 24, str. 184—186, w. 279; бр. 25, str. 194—195, w. 177; бр. 26, str. 203—204, w. 119. — Книга IV. „Дипломация и ловъ" бр. 31. str. 240—243, w. 353; бр. 32, str. 251—252, w. 21 ; бр. 33, str. 256—257, w. 142; бр. 34—35, str. 266—268, w. 293.

[2]) Дора Габе-Пенева — Полски поети, Избрани песни с характеристики на поетите и с предговор от Боян Пенев — Издава Полско-бѫлгарско Др-ство, София — Придворна печатница — 1921, str. 8—21.

Výtahy z časopisů.

Časopis pro moderní filologii a literatury. Roč. XIV. V Praze 1928.

Slavistiky se týkají tyto články: **Jos. Janko**: Poznámky a příspěvky k českému slovníku etymologickému. (Řada III., 20., 21. a 22. pokrač.; str. 4—10, 123—128, 223—232.) O slovech *apodiktický* až **argyna*. — **Jos. Páta**: Za prof. Bojanem Penevem (10—13). Přehled a charakteristika jeho díla. — **K. Paul:** Pramen Macháčkova »Bulnara« (13—15). Předlohou této tragedie byla německá povídka Christmarova, již přeložil do češtiny a otiskl v Květech r. 1837 J. Procházka. — **Ferd. Pátek**: Dějiště a osoby Havlasova románu »Tiché vody« (15—22). — **Boh. Vydra**: České drama v Polsku (22—29, 240—250). České drama objevuje se na polských jevištích hlavně ke konci XIX. století a zvláště po světové válce, kdy vedle K. Čapka a F. Šrámka byl hrán s úspěchem F. Langer. Z jiných dramatických spisovatelů českých bylo do pol. hojně překládáno. Názory o čes. literatuře dramatické počínaje Mickiewiczem. Vliv čes. písemnictví dramatického na polské je mizivý. — **J. Menšík**: Mickiewicz a Mácha. II. (29—38). (Srv. ČMFL. XIII., 229 nsl.). Mickiewicz působil na rozvití a zmohutnění přirozeného nadání Máchova a na jeho zálibu ve zvláštním slovosledu, v hudbě genitivů a jejich rytmickém spádu. — **O. Zich**: Předrážka v českých verších (97—122). Jde o stanovení rytmické povahy t. řeč. »vzestupných stop« v přízvučných verších českých. Předrážku lze bez valné újmy vynechati (jako předtaktí v hudbě). Úvodní jednoslabičná slova t. zv. jambických veršů českých jsou počáteční předrážky, po nichž následují vesměs sestupné stopy, trocheje. Tato počáteční předrážka nepatří vůbec ke stopě, jež po ní následuje. Metricky patří k celému verši svému, rytmicky však do stopy předcházející, t. j. do poslední stopy předešlého verše, jež se jí doplňuje. Jen úvodní předrážka nepatří do žádné stopy, jsouc jen náběhem k rytmickému toku, jenž po ní následuje. Verše bez předrážky jsou verše s konečnou rozlukou, verše s předrážkou jsou verše s konečnou přerývkou. — **Jan Marek**: Nový příspěvek k pobočným slabikám (128—132, 218—223). Doplňuje článek Hujerův v LF. 1918, 84 nsl. dalšími příklady, vzatými z nářečí na Mor. Slovensku z okolí Uher. Hradiště. — **B. Trnka**: O podstatě vidů (193—197). K článku Stiebitzovu v LF. 55, 1928, 1 nsl. Zjevy, které jsou zahrnuty názvem vidy, jsou trojí povahy: jsou slovesa inchoativní (*blednouti*), kontinuativa (*vésti*), terminativa (*prožíti*); tuto trojí stránku shrnuje autor pod názvem fasovosti dějové. Mimo ni vyjadřují slovanské jaz. děje jako uzavřená fakta (*zblednouti*) nebo v jejich komplexním průběhu (*blednouti*). Kromě toho jest rozeznávati kolikost a partitivnost dějovou (*popojíti*). — **Jan V. Sedlák**: Prožívání rytmu slovesného (197—208). — **Fr. Trávníček:** Gramatické drobnosti (208—218). 15. Konsonantický lok. plur. na *-as*, *-ach*. Doplňuje a opravuje článek Flajšhansův ve Sborníku Zubatého 17 nsl. Koncovka *-ach* (*f Turach* k nom. *Turany*) dosud žije na záp. a zvl. ve středním Slovensku; kde je *-ách*, je to analogií podle *a*-kmenů. 16. K otázce československých prvků v církevní slovanštině. Proti vývodům Pogorělovovým v časopise Bratislava I. str. 183 nsl. 17. Slovens. *dvaja*, *obaja*, *traja*, *štyrja*. K Smetánkovu článku ve Sbor. Zubatého 61 nsl. Tvary *traja*, *dvaja* vznikly podle *štyrja* ze snahy, aby byly tyto tvary stejnoslabičné, *tra-* je podle *dva-*. V tvarech *dvaja*, *traja* lze viděti tvary mladé, vzniklé až po krácení *á* po souhlásce *j* (*i̯*): kde se *já* zkrátilo v *ja* a kde podle *bratia* vzniklo i *súsedia*, tam se vyvinul novotvar *štyrja, traja, dvaja,* kde pak *á* po palatálních souhláskách zůstalo nebo se změnilo v *ǟ*, tam podle *pohaňá* nebo *pohaňǟ* vzniklo i *dvǟ*, *dvajǟ*, *dvajá* atd. —

Jos. Páta: Karel August Jenč (1828—1895) (250—255). Studie z dějin lužickosrbské literární historie. — **Jiří Haller**: Několik poznámek k obecné české výslovnosti (232—239). Poznámky a výklady ke spisu B. Pollanda-B. Hály »Artikulace čes. zvuků v roentgenových obrazech«: k obecné výslovnosti hlásky *j*; *st* > *št*. *sť* > *šť*, *sk* > *šk* jest palatalisace; tvary *šmejkat, šmejknout, šmodrchat* vznikly dissimilací ve složeném tvaru *sešmejknout* atd. z pův. *sesmýknout* atd. — **Úvahy**: *K. Paul:* M. Weingart, Slovanská vzájemnost (68—71), Jan Bidlo, Dějiny Slovanstva (287—289). — *V. Jirát:* Eugen Rippl, Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch (71—74), K. Eysselt-Klimpély, Něm. drama let devadesátých na českém jevišti a jeho vliv na drama české (169—176, 296—306). — *K. Polák:* J. St. Kubín, Po stopách Svatopluka Čecha (74—75), Ad. Veselý, Petr Bezruč básník a člověk, Alois Adamus, Po stopách slezských písní P. Bezruče (167—169); Mladý Goethe po česku (292—296). — *K. Vydra:* Některá čechica v lit. historii a filologii polské (289—292).

P. Poucha.

Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino. VII. letnik. Ljubljana 1928.

Petar Skok: Toponomastički prilozi (1—20). 5. Zagreb. Město mělo ve středověku dvě části, jež se nazývaly *Zagrabia* a *Grez* (psáno také *Grech, Grec, Gerech, Kerec). Zagrabia* je latinisované maďarské *Zágráb*, které vzniklo v maďarském prostředí ze *Zagreb* <*za*+*greb (greb* jest příkop potoka Cirkvenice). Něm. *Agram* z *Agramb* ze **Zagramb*, kde *z*- se pokládalo za něm. *z'* <*ze* = novoněm. *zu*; vokálová harmonie ukazuje, že slovo to prošlo maďarským prostředím; starý název něm. byl *Agrim*. Jméno *Grez* atd. je z* *Gradьcь*. — **Fran Šturm**: Romanska lenizacija medvokaličnih konzonantov in njen pomen za presojo romanskega elementa v slovenščini (21—46). Pojednává o tom, jak se jeví lenisace, t. j. sonorisace mezivokálních tenuí, jež jest charakteristická pro vývoj vulg. latiny, ve jménech místních *(Čedad, Kobarid, Nadiža, Vidəm, Bal, Čabdad, Oglej;* není provedena v *Kǫper, Ptuj, Grk, Kupa)* a v apelativech: *a)* dentály: slov. *d* < ben.-furl. *d* < $^{v}t^{v}$ (na př. *kudâti* < stfurl. **coidar* < *cogitare)*, slov. *z, ž* < ben.-furl. *z. ž* < $^{v}s^{v}$ *(Grádež* < **Gradežь* < *Gradęze* < *Gradense); b)* labiály: slov. *v, b* < ben.-furl. *v* < *b, p, v, f (bivol* < *byvolъ* < illyrrom. **buvalo* < *būbalus); c)* veláry *(sigúrən* atd. < furl. *sigùr* < ben. *siguro* < *secūrus); d)* palatalisované konsonanty. Lenisace nastoupila před poslední závěrečnou fazí palatalisace, t. j. před assibilací. Sporná je otázka, na kterém stupni nebo v které fazi palatalisace se dovršila lenisace mezi vokály. — **Jakob Solar:** Slovenska medvokalna nosnika *m* in *n* (47—65). Studie z experimentální fonetiky o nosovkách *m* a *n* v postavení mezi vokály. — **Petar Skok**: Još o riječi »Bezjak« i metodu onomastičkog ispitanja (66—76). K Ilešićovu článku »Безјак и Безјаци« v Srbském dial. zborníku III., 92. — **Anton Breznik:** Japljev prevod sv. písma (77—106). Studie o pramenech překladu Sv. Písma z r. 1784—1802, pořízeném Japeljem, Kumerdejem, Travenem a j. Překladatelé užívali mnohých pramenů, ale v St. Z. drželi se hlavně latinské Vulgáty, v Novém Zákoně bible církevněslovanské, z níž brali mnoho slov. Japelj měl vrchní redakci překladu. — **Fr. Ramovš:** Karakteristika slovenskega narečja v Reziji (107—121). O rozvoji rezjanského nářečí se zřetelem na jeho postavení mezi dialekty slovinského jazyka. Jeví se tu vliv dialektů korutanských a gorických (mezi těmito vlivy tvoří hranici stol. 15.) a řada isoglos. Ze tří podřečí tohoto dialektu je nejkonservativnější podřečí belské. — **Ivan Prijatelj:** Klasje z domačega polja (122—150). Konec rozpravy o této knize, vydané v Ljubljani r. 1866 (viz minulý ročník ČSJKZ). Autor uveřejňuje několik listů z korespondence Levstikovy se Stritarem a J. Jurčičem a Stritarovu satiru ‚*Bela rúta*, prav veséla igra v 1 djanji po Goethotovem Faustu, spisana za čitavnično gledíšče.' — Male vesti: **P. Skok**: Recimo joškoju o riječi »car« (151—155). Slova *car, Dunav* prošla prostředím keltsko-latinským a nikoliv germánským. Čes. *Vídeň* prošlo rovněž prostředím kelt.-lat. < loc. **Vindóbonae* > **Vidóbonae* > **Vīdonae*. — Slovenačko-hrv.-kajkavska paralela u porodičnim imenima (155—156). O osobních jmenech na *-šek*, odvozených od jmen místních. — Substantiviranje infinitiva u slovenačkom (156—157). Dnes lze v lit. jaz. slovinském substantivi-

sovati každý infinitiv; tím se slovin. podobá něm., špaň. a ital.; je otázka, je-li to vývoj spontanní či je-li tu vliv cizí. — **Fr. Ramovš**: Nov rezijanski katekizem (157—159). O jazyku nového katechismu z r. 1927, psaném v rezj. dialektu Osojan. — O jeziku v brižinskih spomenikih (160—168). Kritika Sieversových výrodů o Frisinských zlomcích v jeho knize »Die altslav. Verstexte von Kiev und Freising«. — Cirminah — Rotenmann (168-169). *Rotenmann* je překlad slov. *Cirminah* ⟨ *Čьrmьnach* (*čьrmьnъ* = ,červený potok'). — Slov. dial. *Varoži* za *Varaždin* (169). — *Osobénik* »inquilinus, advena« (170—171). — **J. Šašelj**: Slovarski doneski iz St. Lovrenca na Dolenjskem (171—173). — **Fr. Kidrič**: Dvoje Čopovih pisem Kopitarju, rokopisna ocena Čbelice IV iz 1834 in drugo (173 až 194). — **M. Kos**: K zgodovini kralja Sama in njegove dobe (194—197). K Mikkolovu článku v Archiv für slav. Philologie 42, 1928. 77—97 »Samo und sein Reich«. Samo byl u Slovanů, kteří sídlili severně od Dunaje. Okupace slovinského území stala se v době Samově. Autor nesouhlasí s Hauptmanem v lokalisaci místa Zellia. — Bibliografija za l. 1927 (198—218).

Pavel Poucha.

Slavia occidentalis. Tom II. Poznań 1922.

Ks. Stanisław Kozierowski: Pierwotne osiedlenie pojezierza Gopła (3—54). Pojednání obsahu historicko-filologického; autor uvádí staré názvy místní a dělí je podle koncovky a původu. Pojednávaje o obyvatelstvu stavu rytířského, uvádí jeho jména, z nichž některá jsou původu severského, jako *Awdan*, *Jaszczold* = *Askold* : nord. *asca* ,popel' atd. — **Kazimierz Tymieniecki:** Podgrodzia w północno-zachodniej słowiańszczyźnie i pierwsze lokacje miast na prawie niemieckim (55—113). Historická studie o zakládání měst v severozápadních slovanských zemích, zvl. v Poznaňsku a Pomořanech, německými kolonisty, kteří tím hráli velkou úlohu v dějinách germanisace slovanských krajů. — **Józef Łęgowski i Tadeusz Lehr-Spławiński**: Szczątki języka dawnych słowiańskich mieszkańców wyspy Rugji (114—136). V prvé části článku podává J. Łęgowski materiál, týkající se jazyka slovan. obyvatelstva Rujany; jsou to jména místní a patronymika z doby 1170—1330. V druhé části T. Lehr-Spławiński podává charakteristiku tohoto jazyka v jeho poměru k jazyku polabskému s jedné a pomořanskému s polským se strany druhé. — **Adam Tomaszewski:** Z fonetyki proklityk w języku polskim i połabskim (137—157). Polské předložky *przed*, *przez*, *bez* mají *-e-* místo očekávaného *-o-*, což přes četné pokusy dosud není vysvětleno. Něco podobného jeví se i v jazyce polabském: autor pojednává o hláskovém vývoji některých předložek-praefixů (*o*, **obъ*, **perzъ*, **perdъ*, **per*) v polabštině. Jaz. polabský ukazuje tak jako polština ve vývoji praefixů odlišný vývoj v proklisi, ale pravidelný pod přízvukem, což souhlasí s theorií Rozwadowského o poměru polabštiny k polštině. Na konec jedná autor o polab. *no*, *noh* ⟨ psl. **na*; *na-* v superlativu jest z psl. **naj-*. — **Fr. Lorentz**: Pomoranische Ergänzungen zum etymologischen Wörterbuch (158—164). Dodatky k heslům *a* — *koltun* Bernekerova Slav. etym. Wtb. — **Tore Torbiörnsson**: Staropolski nowotwór (165—171). Part. praes. polské *kładą* místo **kłady* je podle *piszą* analogií jako *kładąca* : *pisząca* (týž článek je německy v Arch. f. sl. Philol. 38, 1923, 120 nn.). — **Stanisław Dobrzycki:** Próba objaśnienia kilka nazw geograficznych wielkopolskich (172—218). 1. *Dobrzyca* ⟨ *dobry* jest odvozeno buď od jm. osobního nebo od názvu vlastnosti území nebo od jm. řeky. *Dobrzyca* jako jm. řeky je lidovou etymologií změněné *Debrzyca* z *debra*. 2. *Urzut* (vedle *Wyrzuty*: *rzucić*) ⟨ *u źrzódł;* názvy tohoto druhu mohou míti různou etymologii, při jejímž hledání jest hleděti k útvaru krajiny, kde se název vyskytuje. — **Dział krytyczny** (220—246) obsahuje kritickou stať Mikołaje Rudnického Lechici i Skandynawi (Nordowie) (k Ekblomově studii ,Nordbor och västslaver för tusen år sedan'). Vikingové dostali se na území Slovanů cestou proti proudu Visly, Odry a jejich přítoků, jak dosvědčují místní jména. Jména měst mají tu hojně základ **Gъdъ* | **Gudъ*, což je pův. jméno Skirů, Bastarnů neboli Gotů (šved. Gaut). Germáni sem přišli ještě před provedením prvého posouvání.

Tom III./IV. Poznań 1925.

Aleksandr Brückner: Budorgis (1—17). Ptolemajovým zprávám o Sarmatech nelze přikládati veliké váhy. Slované nesídlili při mořském pobřeží, neboť neznali jantaru (*jantar* < balt. lit. *gintaras*). Při Baltu sídlili tehdy Litvané a Finnové, které nazývali Slované *Čudy* (: csl. *štuždij* atd.). Místní jména u Ptolemaja nelze identifikovati se jmény slovanskými. Baltští *Galindai* (= *Golędzi*) a *Sudinoi* jsou špatně umístěni. *Kalissia* je *Kalisz, Kałusz; Budorgis* není *Będargowo*; toto jest složeno z **będ-* (:**bud-*) a **darg-* (:**drog*). Po názvu Gotů není památky; kmen *gud-* je rozšířen i v litev. a jiných jaz. slovanských. Lepší jsou zprávy Tacitovy, ale nejlepší zprávy má anonymus — mnich Lavry Pečorské. — **Ks. Stanisław Kozierowski**: Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz s Pałukmi w świetle nazw geograficznych i charakterystycznych imion rycerskich (18—145). Historicko-filologická studie, v níž autor uvádí místní jména a jména rytířská té krajiny a dělí je podle suffixů a původu. — **Ernest Muka**: Serbske městnostne mjena a jich woznam (Mjena třećeje skupiny) (146—187). Autor probírá hornolužické i dolnolužické názvy místní, vyjadřující povahu místa, na němž osady vznikly (Ausbaue, Abbauorte, lužsrb. *wutwary, wudwory*). — **F. Lorentz**: Die Sprache des Pontanus (188—214). O jazyce druhého známého kašubského spisovatele Michaela Pontana, překladatele Lutherova Katechismu, tištěného v Gdansku 1543. — **Wiktor Porzeziński**: O stosunkach wzajemnych języków zachodnio-słowiańskich (214—251). K Rozwadowského a Šachmatovově theorii o jednotě západoslovanských jazyků. Jde o to, zdali charakteristické znaky jazyků záp.-slov. se vytvořily ještě v době praslovanské nebo až po oddělení Slovanů západních. *-l-* epentheticum pokládá autor za pslov., jakož i změnu **ś* > *š*. Zvláštní záp.-slov. epochy nebylo, ale záp.-slov. se asi vyhranila už v době pslov. — **Janina Heydzianka**: Niemieckie wyrazy złożone w języku połabskim (232—240). Německá komposita jsou do polabštiny přejata jednak beze změny, jednak změněna, a to tak, že v polab. je tvar suffixální nebo je něm. slovo vyjádřeno dvěma výrazy (*kórvə stál* ‚Kuhstall‘) nebo výrazy jako *vå-nüsədárə* ‚Naselöcher‘, *vå citĕr délə* ‚Vierteilen‘. — **J. Kostrzewski**: O wzajemnych stosunkach kultury ‚łużyckiej‘ i kultury grobów skrzynkowych (240—280). — **Mikołaj Rudnicki**: Gopło i Pelso (282—323). *Gopło* < *Go-pło*, kde jest *go-* (časté v místních jménech jako *Golub'*, *Golubino*, *Goradze*, *Gosław* atd. a v *gołąb*; střídá se s *ga-*: *gawran*; vedle tohoto ide. **gŏ-* bylo **gĕ-* > psl. *že-* | **ža*: *žavoronokъ*, *Żarawiki*: *Rawa* atd.) + *-pło*, jež ve Velkopolsce je dosud živé jako appellativum, které znamená ‚kaluž dešťové vody‘ a je také v pol. *ploso* < **pelso* (i v míst. jmenech pol. *Pleśna*, *Plesno*, s nosovým infixem *Pląs*, *Pląsno*, < **pelā-*: *πέλαγος* atd.) a v starověkém *Pelso*, *Pelsodis*, které dosvědčuje, že Slované byli v Panonii už v I. a II. stol. po Kr. — **Týž**: Wulfstana Truso = Tczew (324—326). Jméno města *Tczewa* (něm. *Dirschau*) zní ve středověku *Trsev(ia)*, *Tersev(ia)* a *Dirsovia*; *Trsevia* jest z **Trъsy* < germ. **Trusō* nebo z **Tъrsy* < **Tursā*, s čímž srv. *Etrusci*: **Tursci*; to by svědčilo pro zprávu Stryjkowského, že Litvané jsou potomky Římanů. Etruskové by se tam byli dostali před Féničany, hledajíce jantar. S lech. **tъrsъ z *tursos* shoduje se střhn. *türse*, stisl. *þurs* »obr«. — **Týž**: Niektóre nazwy miejscowści na *-'ądz* (327—365). Jde o jména měst *Grudziądz*, *Goniądz*, *Wieldządz, Swarządz* (*Swarzędz*), *Swarzędż*, *Zblądz* (*Zbląg*). Jména ta jsou původu slovanského, ač původ suffixu *-ądzь* není dosud jasný. *Swarządz* asi ze *Swar-* (v *Swarogъ*) + *ędzь*, které značilo osobu, zde asi kněze boha Svaroga, s elipsou slova *žьrьcь*. *Goniądz* < **Gon-ingas, Grudziędz* < **groud-*: *gruda*. Vzájemné vztahy mezi Lechity a starými Prusy datují se už do doby před metathesí likvid a za ní i po té době, jak dosvědčují staropruské výpůjčky z lechických jazyků. — **Týž**: Drogi osadnictwa lechickiego w Lechji przybałtyckiej (na Zaodrzu) (366—376). Slované šířili se na západ podél údolí řek; Srbové lužičtí podél Labe, Sprévy a přítoků, Odry a Labe; Slezané šli podél horní Odry a jejích přítoků, Polané podél Warty a Noteče atd., až kolonisovali Rujanu, Uznojm a Wołyń a pobřeží na západ a východ odtud a šířili se dále po Havole a Labi. Poříčí Havoly a Sprévy jsou hranicí mezi Srby lužickými a Lechity (Poláky, Bodrci, Lutici a Pomořany), kteří tvoří ethnickou jednotu přes opačné mínění Niederlovo. — **Dział krytyczny** (377—420) obsahuje několik referátů o nových jazykovědných publikacích, i neslavistických.

Tom V. Poznań 1926.

Ernest Muka: Serbske městnostne mjena a jich woznam (1—65). Lužickosrbská sídliště byla jednak sídly rodů (Sippendorfer), jednak sídly jednotlivců (Besitzersiedlungen), jednak t. zv. Abbaudörfer. Jména každé této skupiny jsou charakterisována jistými suffixy. Nejstarší jsou názvy prvé skupiny, ale ty byly v pozdějších dobách dávány i místům novým. Autor podává seznam míst. jm. podle hořejšího dělítka s etymologickým výkladem. Charakter jmen je slovanský, ač některá z nich jsou původu germanského. — **Bolesław Ślaski**: Dodatek do pracy: Szczątki języka dawnych słowiańskich mieszkańców wyspy Rugji (66—77). K Slav. occ. II, 114 nn. Łęgowski opominul práci Fabriciusovu, z níž autor jeho článek doplňuje. — **B. Ślaski**: Z terminologji żeglarskiej (78—80). Výklad námořnických výrazů z akt města Přemyslu z r. 1611. — **Aleksander Brückner**: Z dziejów słowiańszczyzny północnozachodniej (81—99). K spisům K. Witteho ‚Wendische Bevölkerungsreste in Meklenburg' 1905 a D. N. Jegorova ‚Slavjano-germanskije otnošenija v srednije věka', I, II., 1915. Slované byli proti Germánům passivní a zůstávali pohany až do polovice 12. století. Vývody Witteho i Jegorova jsou často chybné. — **M. Gumowski**: Język w monetach polskich (100—111). Na pol. mincích jsou nápisy v písmu latinském od doby Mieszka I. (10. stol.) až do 1831; kromě toho byly na nich také nápisy kyrillicí, hebrejským písmem, v jazyce lat., pol., něm., rus., hebr. První polský nápis je ze Slezska ve 12. století. — **Ks. Stanisław Kozierowski**: Pierwotne osiedlenie dorzecza Warty od Koła do ujścia w świetle nazw geograficznych (112—246). Krajina v úvodí Varty až po ústí do Odry byla velmi brzo osídlena Poláky. Autor uvádí místní jména a dělí je podle suffixů a podle toho, od čeho jsou odvozena. Osadníci šli od východu k západu. *Lendizi* bavorského geografa 9. stol. byli asi *Ladové* na Vartě. Autor podává etymologie některých jmen provincie Neumark. — **Józef Łęgowski**: Ukazanie się Słowian lechickich nad Bałtykiem (247—280). Na podkladě archeolog. badání a zpráv řec. a řím. spisovatelů dochází autor názoru, že Slované, kteří měli kulturu t. zv. lužickou, sídlili začátkem 1. tisíciletí př. Kr. na jižním břehu moře Baltického. Lechiti přišli od Černého moře a od Dunaje na Vislu, kde se setkali ještě s Anglosasy, kteří od nich přejali slovo *motyka* (stangl. *mattoc*, angl. *matock*). Pro příchod Lechitů od Černého moře a Dunaje svědčí lidové náměty písní. Slované přejali některá jm. místní od keltského praobyvatelstva. — **Tad. Lehr-Spławiński**: Etymologje połabskie (367—371). 1. *sarjódla* (= *zařódlə*) ›Spiegel‹ < psl. **zbrědlo*; 2. *pakene, patzí* atd. ›er fällt, ist gefallen‹ atd. (= *påkne, påci*) psl. **pъknetъ*, **pъče* atd.; 3. *tyessin* (= *těsin*) ›Magen‹ < psl. **kъsenь*. — **Mikołaj Rudnicki**: Bóstwa lechickie (*Jarowit, Daćbog, *Słup, Nyja, Świętowit, Trzygłów*) (372—419). Pohanský kult Poláků byl soustředěn v *Gnieźdně* (< **gniazdo*, které znamenalo také rod, plémě, snad ‚sídlo rodu' nebo patronymikon < **Gniazd* < **Gnězdъ*?). Tam bylo středisko kultu boha *Nyje* (*Nyja* < **Ny-ja : nyć* ‚nýti', tedy ‚bůh smrti'; *Jarowit* (*Genow* ‚nový měsíc'); *Swarog, Swar* byl snad původu íránského; *Jarowit* (*Gerovitus*), jenž sídlil ve *Wolgastu* (< luž. pomoř. **Wologost* < **Olo-gost-jo*) = **Svętovitъ* = **Triglovъ* (*Trigelavus*) ve Štětíně; byl uctíván jako **Stlpъ* anthropomorfisovaný. Z tohoto slova utvořeno mnoho místních jmen, zvláště v místech staré kolonisace lechické. Na Triglava působilo křesťanství; dostal jm. od svých tří hlav, které byly výsledkem pohanského synkretismu tří bohů, Svarožice, Nyje a Jarovita, pod vlivem křesťanství. — **Týž**: Sufixy *-man-*, *-tuch-*, *-van-*, *-vit-* (420—447). Tyto všecky suffixy byly původně samostatná slova: *-man-* (*v liczman*): *Manov, Manětín, Maniek* < psl. *man-* ‚vzhled, postava'; *-tuch-* (*świńtuch*): *Tuchow, Tuszkowo, Tuchorza*, (: pol. *stęchły* atd.); *-van-* (*Miłowan*): *Czawonice, Waniow* atd.; *-vit-* (**Svętovitъ, Jarovitъ*) = *Wit, Witoń, Witosz* (*Vítkovice* atd.) a ve slově *wiciądz* ‚vítěz', což je staré slovan. slovo; snad působilo lech. **vit'-ь-ngъ* semanticky na nord. *vikingr*. — **Týž**: Gniew, ziemia Wańska i nordyjskie t. zw. vanamyten (Wanenmythus) (448—526). Jm. města *Gniewu* nad Vislou (staré *Gymen* atd.) < **gъm-* (: pol. *gmeć*, čes. *hmota*) ‚hora, výšina', které je v mnohých jiných místních jménech; je položeno v zemi, která se nazývá *Wanska*, pol. *Wańsk* < **Van-ьskъ*; kořen **van-* je častý v místních jménech lechických; suffixem *-t, -d* je z něho odvozeno jméno *Vendů* (*Venedi, Venadi*, nord. *Vinþr*), které jest původu slovanského, ačkoliv kořen **van-* asi

jest neindoevropský; nord. *vana-gudar* (*Freyr* a *Fryja*) znamená ,bohy, ctěné Vany' = Slovany. Jm. **Friggi* a *Frigg* jsou snad původu lechického. — **G. Iljinskij:** Dzidzilelia Jana Dlugoša (525—529). (Rusky latinkou.) ,*Dzydzilelya*' ,Venus' polského historika 15. století J. Dlugoše, není bohyní, nýbrž je to písňový refrén, který Dlugoš změnil v bohyni, poněvadž jej slyšel v písních jarních, letních i svatebních (< **dzidzi-łado* = rus. *oj did(i) lado*, kde *did(i)* náleží k lotyš. *dīdît* ,tančiti, plesati', a jest 2. sg. impt. a náleží dále k rus. dial. *didikatь*; rus. *oj did(i) lado* značí ,tancuj, milá'; *-lelia* = 2. sg. impt. k **leljati*, vlastně **lelia(j)!*, lit. *leliuóti*, téhož významu ,plesati'). — **F. Lorentz:** Tczew—Dirschau—Truso (529—531). K Slav. occ. III./IV. 324 nn. Názory Rudnického jsou mylné. — **Kazimierz Tymienicki:** Polemika z H. F. Schmid'em (531—533). K H. F. Schmidově recensi prací autorových, uveřejněných v Slav. occ. I, II., v Zs. f. slav. Philol. II. 1925, 165 nn., 170 nn. — **Dział krytyczny** (534—580) obsahuje referáty, mezi nimi Edv. Klicha o prvním sešitě Brücknerova etymolog. slovníku polského.

Tom VI. Poznań 1927.

Tad. Lehr-Spławiński: Przyczynki do gramatyki i słownika języka połabskiego (1—25). 1. Zaimek 1. os. sg. *joz* < **(j)azъ*. 2. Gen.-acc. a dat. zájmena 1. os. sing. 3. Akk. *mą, tą, są* ve spojení s předložkami < psl. **mę*, **tę*, **sę*; vedle toho bylo *mə, tə, sə* v postaveních ostatních z psl. **mě*, **tě*, **sě*, ide. **mē*, **tē*, **sē*. 4. Tvar *nă zőrăχ* náleží k *-io-* kmenům. 5. Druhotná nasalisace tvarů *ją, tǫ, sǫ, jąz, mąćət* není stejného původu. 6. Adj. se suffixem *-enъ* > *enə*. 7. *-ьnъ* > polab. *-nə* (*grüznə*) a *-'ån* (*mǫcånə*) podle místa přízvuku. 8. Połab. *jadån, jánə, janŭ* < **jedьnъ* × **inъ*. 9. *dåvói* jako pol. *dwaj*. 10. Druhá část číslovek 11—20 má *-díst, -ctí, -cté* < loc. **desęte* podle místa přízvuku. 11. *zåglə* < *žьglъjь* atd. — **Janina Heydzianka:** Szczątki składni połabskiej (26—69). Srovnává skladbu jazyka polabského s ostatními jazyky slovanskými a určuje vliv skladby německé na polabskou. Vývojové tendence skladby polabské byly tytéž jako v ostatních jazycích záp.-slovanských, vlivy německé tytéž jako v jazyce kašubském a lužicko-srbském. Charakteristické paralely v jaz. polab. a luž-srb.: 1. zachování archaistických zvláštností skladby, 2. provedení některých vývojových procesů, tkvících ve slovanských tendencích jazykových. — **Marja Rytarowska:** O pochodzeniu samogłosek ścieśnionych *ó é* w języku górno-łużyckim (70—84). Hluž. *ó é* odpovídají *ō ē*, jež vznikly jednak dloužením v hluž., jednak jsou zděděny z pslov. Ve skupinách *tort, tolt, tert, telt* měla hluž. samohlásky dlouhé, byla-li jejich intonace akutová nebo novoakutová. Samohl. dlouhé, zděděné z pslov., zachovaly v hluž. délku, měly-li intonaci akut. nebo novakut., a podléhaly zkrácení při intonaci cirkumfleksové a novocirkumfleksové jako v jaz. českém. Nové délky vznikly náhradným dloužením za vypadlé *ъ ь* následující slabiky, ale zachovaly se jen na začátku slova, kde přešly v zavřené *ó é*. — **Józef Widajewicz:** Licicaviki Widukinda (85—181. *Licicaviki* jsou pomořanský národ; jméno jejich je patronymikon z *Licika* (*Licika-v-iki* = *-ici*) podobně jako je *Misica, Crasika*; sídlili na dolní Vartě a severně od ústí Varty do Odry; hlavním městem bylo *Cedyna* (Thietmar: *Cidini*) > něm. *Zehden*. — **M Gumowski:** Zabytki mennicze książąt braniborskich z XII. wieku (183—207). — **Adam Tomaszewski:** *Roz-* ‖ *uoz-* na terenie Wielkopolski (209—212). Praefix *uoz-*, jenž povstal dissimilací z *roz-* není na území velkopolském životný. — **Bolesław Ślaski:** Mrongowjusz jako leksykograf kaszubski (213—224.) Podává kašubská slova z C. C. Mrongoviusova Dokładného Niemiecko-Polského Słowniku 1837. — **Ernest Muka:** Serbske ležownostne mjena a jich woznam (225—253). Autor uvádí v abecedním pořádku pomístní jm. Hor. a Dol. Lužice a vykládaje je, podrobuje při tom kritice výklady svých předchůdců.— **Г. Ильинскій:** *Διτζίκη* Константина Багранородного (254—256). *Διτζίκη*, jméno Visly u Konstantina Porfyrogenneta, jest lechické **Dičica* nebo **Dičika*, diminutivum z **dika* a je to vlastně přítok Visly **Veprь*. *Bílé Srbsko* bylo mezi Vislou a Veprem. — Peka *Tanew* (Танев) (256—258). Jméno přítoku Sanu *Tanew* není z **Tanъvь* < germ. **Tanuvis* < kelt. **Danuvis*, jak vykládá Vasmer (Zs. f. slav. Philol. 2, 125), ale je to domácí pol. **Tany* < **t(u̯)ānū* (**roikā*): od koř. **teu̯ā* = lit. *tánkus, tvinti*, tedy ,(řeka) bohatá vodou'. — **Henryk Batowski:** Przyczynki do narzecza lechicko-rugijskiego (259—275). K článkům J. Łęgowského,

Tad. Lehra-Spławińského a B. Šlaského v Slav. occ. II. a V.; identifikace výrazů, úvahy o identifikaci výrazův rujanských v Slav. occ. II., výrazy nejisté, význam nových výrazu pro rekonstrukci slovníka rujanského. — **Józef Kostrzewski:** Przyczynki do pradziejów Pomorza szczecińskiego (276—286). — **Jan Janów:** Półn. słow. *pristavъ* (287—289). Pol. *przistaw* (poprvé v Žofiině bibli r. 1455) = kašub. *přistävă* ‚Begleitung' > švéd. *pristaff*, střlat. *praestavus*) je slovo západoslovanské. — **Piotr Ciuła i Włodzimierz Czarniecki:** Przyczynki do gwary uczniowskiej w Poznaniu i Trzemesznie (290—307). Z mluvy žákovské žáků 10—16 letých. Výrazy jsou transkribovány foneticky. Mnoho výrazů je něm., jiné mají jen polské suffixy. Z jiných jazyků (franc., lat.) je přejato málo. — **Mikołaj Rudnicki:** Nazwa rzeki Bug (308—314). *Bug* jest puv. slovanské slovo 〈 **bougъ* 〈 **bhoug(h)os*: φεύγω atd.: odtud utvořena častá jm. míst položených nad vodou. *Bugaj* 〈 *Bug — ajь* utvořené jako *nogaj*, rus. *Buha*, *Bužok*, pol. *Busk* atd. — **Týž:** Wda i Wisła (315—342). *Wda* (= *Czarna Woda*) 〈 **Vьda* náleží k *Widawa*, **Védova* (staré *Ouiadova*) a souvisí s *Wisła* 〈 **Vistla* (= lat. *Visula Vistula* 〈 **Vid-tla*; střlat. *Visculus* 〈 balt. (stprus.) **Viskla* (〈 lech. *Vistla*): **vid-*: *widne pole* ‚třesovisko'; od různých stupňů téhož kořene je utvořeno více míst. jmen. V dobách předhistorických tu nebylo Germánů jako praobyvatelů. — **Týž:** Wda i Gwda (342—369). Jméno řeky *Gwdy*, pravého přítoku Noteče, vzniklo kontaminací jmen *Wda* × **Gda* jako *Gwoda* 〈 **Gda* × *Woda*; *Wda* 〈 **vьda*, hojného v míst. názvech slovanských. Název potoka *Kefdicz*, *Kidithsa* 〈 **Gъvьdica* 〈 **Gъdica* × **Vьdica*; základem jest ide. **ghoud-* a různé jeho stupně: lit. *gùdkarklis* atd. V ostat. jaz. lechických jest z tohoto kořene utvořeno *Gudow*, *Gudderitze*, *Gdańsk* atd.; týž kořen jako v got. *giuta*, *gut-*. — **Týž:** Odra i Drawa (370—388). Pomoř. *Odera* | *Odora* vedle pol. *Odra* má své *-o-* dispalatalisací *-e-* před *-r*; kořen jména jest *dr-*, *der-*, *dor-* (také ve jm. řeky *Drawa* 〈 *Dra-wa*), ide. *dher-*, jenž je v sti. *dharā* ‚řeka', řec. ϑορεῖν. — **Dział krytyczny** (389 nn.) obsahuje m. j. Brücknerovu kritiku prvních tří svazků Grundrissu d. slav. Philol. u. Kulturgeschichte.

Tom VII. Poznań 1928.

Zygmunt Wojciechowski: O ustroju szczepowym ziem polskich (1—64). Kritické úvahy k článku Widajewiczovu (Slav. occ. VI. 85 nn.) a Arnoldovu (Prace Kom. hist. 2). — **Aleksander Brückner**: Bolesław Chrobry (65—79). Ke knize St. Zakrzewského, Bolesław Chrobry Wielki (Lwów 1926). Místní jméno (u St. Pircheggera ‚Die slav. Ortsnamen im Murzgebiet') *Auelniz, in valle Auolaniza* je totéž co pol. *Wąwelnica* od *wawał*, *wąoł* (sem i pol. *Wawel*), nikoliv však od *(j)ablan(ьn)ica*, které by dalo *Gablonz*; *Auersbach* není slovan., ale něm.; *Alicz*, *Alysch* = pol. *olsza*; název *Licicaviki* není Widajewiczem vysvětlen. Jméno Mieszka I. v listině 10. stol. *Dagome* 〈 něm. *Dagan*. Hist. dedukce, staré předkřesťanské vztahy mezi Polany a Bodrci. — **Bolesław Śląski:** Uwagi do artykułu p. H. Batowskiego »Przyczynki do narzecza lechicko-rugijskiego (80—84). K Slav. occ. VI. 259 nn. — **Mikołaj Rudnicki:** Słow. *kurъva* (85—90). Psl. *kurъva* ‚meretrix' je odvozeno od *kurъ* a znamená vl. ‚samice kurova' nebo je to nomen actionis, znamenající ‚*kurwienie się*' 〉 ‚*ta, która się kurvi*, což je pravděpodobnější, nebo je to jm. původně hromadné (jako něm. *Frauenzimmer* 〉 pol. *fraucymor*); slovo tedy není přejato z germ.: semantický vývoj je jako ve franc. *coq*: *coquet*, *cocotte*. — **M. Gumowski**: Sprawa braniborska XII. wieku (91—134). — **M. Rudnicki**: Pols. *Dagome iudex* i wagryjska *Podaga* (135—165). Jméno prvního hist. krále pol. Mieška I. v listině z 10. stol. *Dagome* souvisí s vagryjským (bodrckým) *Podaga*, jménem bohyně dom. krbu. *Dag-ome*: *Po-dag-a* obsahují kořen **dag-*, ide. **dhĕg^{u}-*, který jinak v slov. se assimilací změnil v **gĕg-* = pol. jm. *Goga*, *Gogowski* atd. — **Józef Łęgowski:** Wyrazy słowiańskie w Adama Bremeńskiego Gesta Hammburgensis Ecclesiae Pontificum (160—171). Vypisuje výrazy, které pokládá za slovanské, ale nevysvětluje jich etymologicky. — **Ks. Stanisław Kozierowski:** Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-śląskiego między Obrą i Odrą a Wartą i Bobrem w świetle nazw geograficznych (172—329). Hist.-filol. studie; místní jména území dělí autor podle jejich významu a tvoření. — **Stanisław Arnold:** W sprawie ustroju plemiennego na ziemiach pol-

skich (330—357). K článku Z. Wojciechowského zde str. 1—64. — **M. Rudnicki:** Striessbach i Weistritz. (Pralech. **vъstrica* ‖ **vistrica*) (358—364). I. *Striessbach* = *Strzyża* (staré *Striza, Strize*) < pomoř.-polského **Střica*; názvy *Wstricza* (z r. 1247) a *Pistriza* (z r. 1261) < pomoř.-pol. **Wstrica* | **Wistrica* < **Vid-tra*. II. Slezská *Weistritz* je zněmčené < **Wistřica* < **Veid-tr-ica*. III. Poněvadž *d-t* > *t-t* > *st* je zjev praide., *ei* > *ī*, *ĭ* > *ь*, *stl* > *sl* zjev pslov., jiné zjevy pak v míst. jménech jsou prazáp-slov. a lechické, je možno, že od časů ide. t. j. od doby neolitické žije zde stále totéž obyvatelstvo a mluví tímže jazykem. — **Týž**: Sinus Codānus (365—380). *Codānus* u Mely a Plinia = *Cod-ān-us* (*-ān-* jako v *Gdańsk* < **gъd-an-ьskъ*); základ *kăd-* < *kŏd-* jest v stprus. *Kadinensis (terra)*, nyn. něm. *Kadinen*; v době kolem naroz. Kristova tedy ještě nepřešlo ide. **ŏ* v stprus. *ă*. Kořen *kad-* je v baltických míst. jménech častý a je také ve slovese *kaditi*; vody mají název od zápachu hnijících částek rostlinných: opět důkaz, že na Baltiku už tehdy sídlili Slované. — **Týž**: Frankowja i Polska przed X. wiekiem (381—390). Lat. *Franci*, *Frangi*, řec. *Φράγγοι*, *Φράγκοι* se zakládá na germ. **Frankōn-* | **Frangōn-* < pragerm. **Frang-* | *Franχ-* a není to dialektická změna, provedená až v Řecku. Dial. poznaňské *ty bragwiu* má základem koll. **brǫgy* ‚Frankové', kteří byli Polákům nepřátelští. Podobně se užívá v záp. Karpatech *ty obrzyńe!* = ‚ty Avare' což vzniklo asi současně (stol. 6.—8.). — **Tad. Lehr-Spławiński:** O pochodzeniu północno-pomorskich różnic intonacyjnych (391—402). K dosavadním pracím o kašubských intonacích a původu jejich. Autor souhlasí s Rozwadowským: intonace akutová je původu pslov., intonace novoakutová a předloužená (‚dehnender Ton') jsou kašub. novoty, vzniklé prodloužením slabik různých kvalit. — **Zofja Dziegiecka:** Die Germanisierung der Ortsnamen in Großpolen (403—452). Zkoumá místní jména od 13. stol. až po dobu současnou. Mnohá místní jm. byla přeložena do němčiny doslovně, jiná opatřena něm. koncovkou, jiná přeložena jen z části, při jiných působila lidová etymologie. Autorka zkoumá je i po stránce hláskoslovné. Mezi poněmčením polských jm. ve Slezsku a Velkopolsku jsou rozdíly. — **Mik. Rudnicki:** Nazwy Słowian (zachodnich) w dokumentach niemieckich (Rozdział w psychologji narodów (453—504). Názvy *Sclavus* | *Slavus, Wenedi* atd. mají svůj původ v dialektech slovanských, vlastně lechických. Název *Wenedi* měl své východisko v krajině *tů Wen(e)den* (germ.) v úvodí Warnowy, t. j. u východních Bodrců; název *Sclavi* | *Slavi* není čistě místní; znamená jednak Slovany v Pomoří a záp. Meklenbursku (záp. Bodrci), jednak a zvláště Slovany mimo něm. hranice. Vývoj *Sclavus* > *captivus* jest původu německého. Ethnicko-jazykový význam něm. *Slawe* jest vlivem slovan. elementu, žijícího pod panstvím německým. Názvy **Słow-* (snad od koř. **sleu̯-* identického s **sreu̯-*) a **Wend-* (< *Ven-t-*) mají podklad v povaze krajin, kde se ty názvy ustálily a odkud se šířily. — **Týž:** Gopło (505—507). Doplňky k Slav. occ. III./IV. 292 nn. *Go-* ve jménech jezer značí velikost, rozlehlost; *Gopło* znamená ‚bahnisko n. jezero široko rozlité'. — **Týž:** Haplologja prasłowiańska (pralechicka) (Ptolemeuszka Budorgis) (508—509). K Brücknerovu článku v Slav. occ. III./IV, str. 10 nn. *Będargowo* < *Bǫdo-dorg-ov-o* > psl. pralech. **Bǫdorgowo*; vedle **Bǫdo-dorgovo* mohlo býti i **Budo-dorg(-ovo)* > Ptolemajovo Budorgis. — **T. J.** Słowo »Cesarz« (510). Výtah z článku P. Skoka v Rozpravách, vyd. Znanstvenym društvem za humanistične vede, Lublaň 1926, III. sv. — **Mik. Rudnicki**: Wilda, ulica Wenecjańska, Sródka i »Kronika miasta Poznania« (511—520). *Wilda* jest prastarý název lechický < **vьl̥d-* > *Wełd-* (srv. *Wełdapew*) | *Wild-* a vyrovnáním pádu *Wilda*; *ul. Wenecjańska* v Poznani nemá název od Vlachů, ale jest z pslov. **Ven-et-ьja* a souvisí s *Wieniecia*, názvem bahnitých výsp uprostřed koryta Varty. — **Dział krytyczny** (521 nn.) obsahuje mimo jiné J. Morawského ‚Uwagi romanisty na marginesie SEJPu' Brücknerowego (521—548).

P. Poucha.

Spisy redakci zaslané.

Almanach Bibljoteki Narodowej w dziesięciolecie wydawnictwa 1919—1929. Kraków 1929. IV + 308.

Bartoš F. M., Kníže Václav svatý v dějinách a v legendě. Praha (Čin) 1929. Str. 79.

Batowski Zygmunt, Zbiór graficzny w uniwersytecie warszawskim. Z 49 illustracjami. Warszawa 1928. Str. 102 + ilustracje. Uniwersytet warszawski. Rozprawy 5.

Beneš Eduard, Štefánik a jeho odkaz. Přednáška k desátému výročí jeho smrti. Praha (Čin) 1929. Str. 56.

Библиографически бюлетинъ за депозиранитѣ книги въ Софийската народна библиотека презъ 1927 год. Годишнина XXXI. София 1928. Народна библиотека въ София. Str. 252.

Библиографически бюлетинъ за депозиранитѣ периодически издания въ Народната библиотека презъ 1927 г. Годишнина XXXI. София (Народна библиотека въ София) 1929. Str. 96.

Brückner Aleksander i Lehr- Spławiński Tadeusz, Zarys dziejów literatur i języków literackich słowiańskich. Lwowska bibljoteka slawistyczna Tom dziewiąty. Lwów 1929. Str. VIII + 206.

Ciszewski Stanisław, Prace etnologiczne. Tom II. Płacidła pierwotne. Darzenie płatami materji oraz gotowemi płaciami a słow. platiti. — Bydło i zboże a majątek. — Czeski. Wydawnictwo kasy im. Mianowskiego Instytutu popierania nauki. Warszawa (Pałac Staszica) 1929. Str. 167.

Commentationes humanarum litterarum. Tomus II. Societas scientiarum Fennica. Helsingfors 1927—1929. 1—38 + 1—16 + 1—41 + 1—30 + + XXV, 1—474.

Доброгаев С. М., Физиологический и социальный элементы в учении о речи человека. (Труды Лаборатории физиологии речи ИЛЯЗВ). Ранион. Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. Издание Института. Ленинград 1929. Str. 51.

Доброгаев С. М. и Коновалова, Болезненные изменения речи и терапия у больных с поражениями уха, горла и носа. Отдельный оттиск из „Русская Ото-Ларингология" № 2, 1929 г. Str. 24.

Доросиев Л. Ив., Първи наши училища, учители и книжовници. (По случай 1000-годишнината на царь Симеона). Министерство на народното просвѣщение. Учебенъ комитетъ. Материали за изучване учебното дѣло въ България. Книга VIII. Прибавка къмъ „Училищенъ прегледъ" год. XXVIII, кн. 4. София 1929. Str. 61.

Dostojewski F. M., Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. Dostojewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente. Erläutert von W. Komarowitsch. Mit einer einleitenden Studie von Professor Dr. Sigm. Freud. R. Piper & Co. Verlag München. Str. XXXVI + 624.

Духовний Сіяч Рік III. Число 7, 9, 10, 11, 12. 1929.

Ефимов Н. И. Формализм в русском литературоведении. (Извлечено из Научных Известий Смоленского Госуд. Университета, т. V, в. 3). Смоленск 1929. Str. 31—107.

Ювілейний Збірник на пошану академика Михайла Сергієвича Грушевського. З нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. II. Українська академія наук. № 76. У Київі 1928. Str. XII + 523.

Кагаров Евген, Завдання та методи етнографії. Українська академія наук. Збірник Історично-Філологічного Відділу, № 79. У Київі 1928. Str. 44.

Kilarski Jan, Przewodnik po Poznaniu. Lwów—Warszawa 1929. Książnica-Atlas. Str. (8) + 96.

Кирилюк Евген, Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього. Всеукраїнська академія наук. Бібліографічна комісія. Українська бібліографія. Випуск 2. У Київі 1929. Str. 121.

Кириловић Димитриј, Српске основне школе у Војводини у 18 веку (1740—1780). Прилози. Историско друштво у Новом Саду. Посебна издања. Књига I. Сремски Карловци 1929. Str. II + 103.

Копорский С. А., О говоре севера пошехоно-володарского уезда Ярославской губернии. (Материалы и наблюдения). Труды Ярославского педагогического института. т. II, вып. 3-й. Ярославль 1929. Str. 212.

Кримський Аг. та Мик. Левченко, Нові знадоби для життєпису Степана Руданського. Спомини та матеріяли, що їх опублікували 1925—1929

рр. в „Записках Іст.-Філол. Відділу“ В. Герасименко, П. Горянський, М. Левченко, Е. Оксман, В. Отамановський, М. Хращевський та С. Якимович. Збірник Історично-Філологічного відділу Всеукраїнської Академії Наук. № 19, вип. II. Філологічна катедра під керуванням акад. А. Е. Кримського. У Київі 1929. Str. IV + 86.

Кримський Аг. та Ол. Боголюбський, До історії вищої освіти у Арабів та дещо про Арабську академію наук. Matériaux pour l'histoire de la science et de l'enseignement supérieur chez les Arabes. Доповнена відбитка з XVI, XVIII та XIX кн. „Записок Історично-Філологічного Відділу“. Збірник Історично-Філологічного Відділу Всеукраїнської Академії Наук № 83. Кабінет арабо-іранської філології під керуванням акад. А. Е. Кримського. № 2. Str. XVIII + (2) + 84.

Kuľbakin St., Le vieux slave. Collection de manuels publiée par l'Institut d'études slaves. — V. Paris (Librairie ancienne Honoré Champion) 1929. Str. 368.

Курило О., Матеріяли до української діялектології та фольклористики. Історично-філологічний відділ Всеукраїнської академії наук. Збірник № 85. Постійна діялектологічна комісія. За головуванням акад. Аг. Кримського. У Київі 1928. Str. 136.

Ласкарис М., Повеље српских владалаца у грчким публикацијама. Одштампано из Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. VIII. 1928, стр. 185—192. Београд 1929. Str. 11.

Лавров Петро, Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві, Українська академія наук. Збірник Історично-філологічного відділу № 78. У Київі — 1928. Str. III + 424 + 12 příloh + III.

Lo Gatto Ettore, Dall'epica alla cronaca nella Russia soviettista. Pubblicazioni dell' „Istituto per l'Europa Orientale“, Roma. Seconda serie. Politica — storia — economia XVI. 1929. XV+213.

Małecki Mieczysław, Cakawizm. Z uwzględnieniem zjawisk podobnych. Z mapą. W Krakowie 1929. Polska akademja umiejętności. Prace Komisji językowej. Nr. 14. Str. 98+mapa.

Марковський Євген, Український вертеп. Розвідки й тексти. Випуск I. Всеукраїнська академія наук. Збірник Історично-Філологічного Відділу № 86. Етнографічна Комісія. Матеріяли з української народньої драми. За редакцією акад. А. Лободи та В. Петрова. Том I. У Київі 1929. Str. IV + 201 + 12 tab. + нотний додаток (40 + 8).

Mazon André, Adam Mickiewicz. Conférence faite à la Sorbonne, le 27 avril 1929. Paris (Association France—Pologne) 1929. Str. 15.

Методологічний Збірник. Всеукраїнська академія наук. Бібліографічна комісія. Українська бібліографія. Випуск 1. У Київі 1928. Str. VIII + 248.

Meyer K. H., Polnische Volkskunde. Aus: Niederdeutsche Zs. f. Volkskunde (Bremen), VII 2 (1929), str. 108—115.

Mladenov Stefan, Geschichte der bulgarischen Sprache. Mit einer Karte. Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Herausgegeben von Reinhold Trautmann und Max Vasmer. Berlin und Leipzig 1929. Walter de Gruyter & Co. XIV+354.

Мърквичка Ив. В., България въ образи. La Bulgarie illustrée par Iv. V. Mrkvitchka. Часть I Partie. Издание на Българската академия на Науките. Édition de l'Académie Bulgare des Sciences. София — 1929 — Sofia.

Novák Viktor, Česká balada doby nejnovější. (1894—1928.) Díl I. (Generace let devadesátých.) Díl II. (Generace mladá a nejmladší. — Balada na Slovensku). Sbírka souvislé četby školní 70. 71. Pořádá prof. Ferdinand Strejček. V Praze (F. Topič) 1929. Str. 124 a 124.

Obrębska Antonina, „Stryj, wuj, swak“ w dialektach i historji języka polskiego. Z 3 mapami. Polska akademja umiejętności. Monografje polskich cech gwarowych. Nr. 5. W Krakowie 1928. Str. 100+3 mapy.

Po stopách češství a české knihy v starším slovinském písemnictví.

(Dokončení.)

III. České prameny Pohlinovy Kraynské gramatiky a otázka čechismů v jeho slovnících.

Stagnaci pohipolitovského období první otřásl teprve diskalceát *P. Marcus a S. Ant. Pad.*, příjmím *Pohlin* (1735—1801)[1], který působením českých pramenů a vůbec českého vlasteneckého myšlení byl zřejmě podnícen k veřejné a mužné obraně slovinštiny a jejích práv jak v životě veřejném, tak zvláště v písemnictví, dovršuje takto zároveň čas od času se už vyskytující národně-buditelské snahy předcházejících generací. Zmíněný český vliv a buditelský jeho program nejvýrazněji se jeví zejména v předmluvě k jeho gramatice *Kraynska Grammatika, das ist: Die crainerische Grammatik, oder Kunst die crainerische Sprach regelrichtig zu reden und zu schreiben, welche aus Liebe zum Vaterlande, und zum Nutzen derjenigen, so selbe erlehrnen, oder in selber sich vollkommentlicher üben wollen, bey ruhigen Stunden mit besonderem Fleiße verfasset zum Behuffe der Reisenden mit etwelchen nützlichen Gesprächen versehen und mit vollkommener Genehmhaltung Hoher Obrigkeiten zum Druck beförderet . . .*, vydané už r. 1768 v Lublani.

Pro jeho názor na jazyk a mluvnici jsou směrodatná slova, která ještě r. 1775 pronesl k Val. Vodnikovi, že totiž *»první gramatik má právo prvního vynálezce řeči, tvořiti nová slova podle vlastního domyslu«*;[2]) s čímž se docela shoduje i jeho vlastní praxe, jak se jeví v celé jeho mluvnické a slovnikářské činnosti a k níž se mimo to sám přiznává i v zmíněné předmluvě své gramatiky str. 14 a 15.

Z této jeho zásady vyplývá také, že zamlčel všechny své slovinské a s nimi i české předlohy, chtěje se takto projeviti jako vůbec

---

[1]) Jeho biografii a literaturu o něm viz v Nar. encikl. srp-hrvat-sloven. sv. 22. str. 517—519. Srov. o něm též v II. kap. na str. 262.

[2]) Slavia IV. 125 (V. Burian, Dva dopisy Val. Vodníka Jos. Dobrovskému).

první slovinský gramatik[1]) a tím si odůvodniti neobmezené právo na své reformy slovinského jazyka a pravopisu, či lépe řečeno, na své *novotaření*, jímž byl z ovzduší své doby především zasažen. Píše svou mluvnici slovinštiny (kranštiny), počínal si, jako by před ním nebylo vůbec nijakých slovinských mluvnic,[2]) ač je znal a hojnou měrou jich užíval, a kromě toho stejně vydatně čerpal i z českých gramatik, které mu poskytly nejen vítaný a pro jeho tendenci velice vhodný pramen, nýbrž mu také byly, když ne přímým podnětem k jeho novotaření, tedy jiště mocnou vzpruhou v této zálibě.

Už jeho současníkům nebylo to nijakým tajemstvím. Tak již Iv. Žiga Popovič ve své kritice jeho gramatiky »Crisis über die krainer. Gram. des P. Marcus«, která sice zůstala v rukopise, poukázal prý na jeho slovinské prameny, Bohoriče a Hipolita,[3]) později pak Val. Vodnik v Lubl. Novicah 1798 l. 25 stejně tak označil Bohoriče a Hipolita za jeho skryté prameny, k nimž v dopise Dobrovskému ze dne 28. ledna 1808 ještě připojil Dalmatina[4]), a posléze ještě podrobněji vše to konstatoval sám Kopitar, jenž v odsudku jeho gramatiky v témž smyslu uvádí Bohoriče, Hipolita i Dalmatina a kromě nich v souvislosti se slovinskou orthografií naznačil také jeho závislost na P. Basarovi a F. Paglovcovi.[5])

Z českých jeho pramenů, t. j. *Rosovu gramatiku*, první připomíná J. V. Zlobický, který se s Pohlinem ve Vídni znal i osobně. Ve svém dopise Dobrovskému ze dne 16. října 1798 přímo o ní v té souvislosti píše: » . . . . sowie seine (Pohlins) Grammatik nach der Rosaischen bearbeitet werde ich Ihnen . . . schicken«[6]). A od něho pravděpodobně měl tuto zprávu o českých pramenech Pohlinových i Kopitar[7]), jenž v citovaném už posudku Pohlinovy mluvnice k tomu v po-

---

[1]) Kopitar, Gram. 1808, XLIII; Kopitar Dobrovskému ve své příloze k dopisu ze dne 20./24. list. 1809 (Jagić KDK 97). Po něm to opakuje i Šafařík v Gesch. der slav. Sprache u. Lit. 1826, 264 a v Gesch. der südsl. Lit. 1864, 24. Nověji také Fr. Levstik, Zbrani spisi (1892) III. 297.

[2]) Ze svého pochybeného názoru na mluvnici považoval totiž starší slovinské gramatiky, jak se o nich teprve v 2. vyd. své Gram. 1783, 201 aspoň povšechně zmínil, prostě za »negramatické«.

[3]) L. Žvab, Iv. Ž. V. Popović, Lj. Zv. I. (1881) 626. Rukopis této Popovičovy kritiky se nedochoval a Žvabovo tvrzení je tedy bráti s reservou.

[4]) Marnův Jezič. XIV. 32. a Slavia IV. 124.

[5]) Kopitar c. o. XLIII, 132, 147, 117, 127.

[6]) Patera, Kor. Dobr. se Zlob. (Praha 1908) 140.

[7]) Se Zlobickým se K. přátelsky stýkal záhy po svém příchodu (v říjnu 1808) do Vídně; od něho se mu dostávalo hojně poučení v rozmanitých otázkách slovanských. — Viz Н. Петровскій, Первые годы дѣятельности В. Копитаря, Kazaň 1906, 50. — Je tedy docela nasnadě, že spolu asi ještě rozmlouvali také o Pohlinově mluvnici, tím spíš, když K. právě měl v tisku svou gramatiku, kterouž mínil učiniti přítrž Pohlinově anarchii.

známce význačně podotkl: »Auch scheint P. Marcus noch am öftersten in Böhmischen Grammatiken — geblättert zu haben«[1]). Kopitar tu mluví o českých gramatikách v plurále, neuvádí jich sice jménem, ale ten jeho plurál, jak později bude prokázáno, je tu docela na místě.

V novější době, patrně také ze Zlobického korespondence s Dobrovským, vydané Paterou r. 1908, označil Rosu jakožto Pohlinův vzor i V. Jagić[2]) a nejnověji poukázal na české prameny v Pohlinově mluvnici Fr. Ilešič, který vedle Rosy upozornil také na gramatiku Pohlovu.[3])

A. Rosova Čechořečnost a Pohlinova Kraynská gramatika.

1. *Ideové vztahy v jejich předmluvách.*

Kontakt mezi Rosovou Čechořečností z. r. 1672 a Pohlinovou Kraynskou gramatikou z. r. 1768 (2. vyd. 1783) je na mnoha místech myšlenkově tak úplný, co do volby výrazů a příkladů tak doslovný, že nemůže býti nijaké pochyby o přímé závislosti Pohlinově na Rosovi. Nejmakavěji se jeví tato shoda v předmluvách obou jmenovaných mluvnic. Tu Pohlin docela závisle na Rosovi rozvíjí »svůj« filosofický názor na jazyk a mluvnici a vytyčuje svůj program, jak to bylo výše už naznačeno.

Kde se od něho odchyluje (zejména v gramatických zásadách), činí tak obyčejně in peius: vyjde sice z jeho myšlenky, ale tu si zpravidla přikrojí buď své diktátorské tendenci nebo si ji rozvede pod vlivem ještě jiných pramenů, ať cizích či domácích. Omylem by tedy bylo mysliti, že se ve své předmluvě z r. 1768 (v 2. vyd. z r. 1783 ji už není!) držel pouze Rosy. To vše je třeba míti na mysli zvláště při konstatování jejich ideových vztahů.

a) Oba spisovatelé si vyhrazují právo tvořiti nová slova.

Rosovi (VI.) je to přirozený, z božího práva lidstvu už *v ráji* přisouzený produkt jeho činnosti. Proč tedy toho práva nesměl by používati i nyní ten, kdo se chce pokusit »intelligenter et distincte cogitare et etiam intelligenter et distincte proloqui?« Neboť mnohdy se vyskytnou věci, o nichž mluvíme, ale pro něž nemáme patřičných slov (V.). Co tu činiti? K cizím výrazům se uchýliti je těžko a nevhodno (VI.). Zbývá tedy tvořit nová slova a tak výbavu

---

[1]) Gram. 136.
[2]) Ист. слав. фил. (1910) 56.
[3]) Sborník filologický VII. (Praha 1922), str. 184 a d.

jazyka rozhojňovati. Vždyť »novae res, nova postulant nomina« (V.). A poukazuje, jak se to už odedávna děje ve skutečnosti, uvádí jako příklad *plavce*, kteří nově objeveným ostrovům, mysům atd. dávají pojmenování, což činí i *řemeslníci*, pojmenovávajíce svá nově vynalezená nářadí a díla. A proč totéž nemělo by býti dovoleno i gramatikům a filosofům (VI.), jimž ta nová pojmenování »ex natura linguae descendunt« (V.), zvláště když už se to osvědčilo v řečtině, latině a v jiných jazycích (VI, VII).

Podobnými, ba skoro týmiž důvody obhajuje také Pohlin právo na své novotaření. Hned na začátku své předmluvy mluví o řeči jakožto přednosti, vyznačující lidský rod (die Menschengesellschaft bedient sich derselben zu ihrem Vortheil, str. 3), což jest jen obměněná Rosova myšlenka o řeči jakožto díle lidské činnosti.[1]) Stejně jako Rosa dovolává se i Pohlin pro své novotaření práva, zděděného už *z ráje* po praotci Adamovi[2]) (Ist diess aber was übels, dass ich mich jenes Rechts bedienet, so ich von Adam unserem Stammenvater ererbet, str. 15). A jako Rosa také on poukazuje, že se tak ve skutečnosti děje, jenže místo plavců a řemeslníků jako příklad uvádí *hvězdáře* a *umělce* (die Sternseher . . . und die Künstler haben solche Gewalt ihr neues Werk, die neue Insel oder den Stern mit einen neuen Namen zu belegen, str. 15). A docela shodně s Rosou se ohrazuje, proč téhož práva neměl by užívati také nový gramatik (und einem neuen Grammatiko soll es nicht gelten? str. 15).

Leč přes tuto shodu jeví se u nich i značné rozdíly. Rosa si stanovil hranici, kam až se smí jíti v novotaření, a ukázal, jak si jest počínati. Podle něho je se třeba říditi esthetickými ohledy (venustatis causa [VI]) a pak zvláště analogií (et nihil, nisi secundum *analogiam* fiat [VII]). Mimo to stanovil, že nová slova je tvořiti jen z nezbytné potřeby (necessitatis causa [VI], nempe ne quid citra necessitatem fiat [VII]) a že se to má díti »nápodobou starobylosti nebo novými komposity ze sloves a substantiv« (VI), a to odvozením (derivatione) slov a tvarů ze starší jazykové zásoby (ex proprio linguae fonte) jak sám také přiznává, že činil (VII).

Pohlin se však po této stránce projevuje jako neobmezený jazykový novotář. Ani v theorii si neurčil mezí svému novotaření, a

---

[1]) Takto si Rosovu myšlenku zabarvil už Pohl ve své předmluvě ke Gram. z r. 1756; o tom viz podrobněji až při Pohlovi.

[2]) Rosa sice mluví o ráji, ale o Adamovi v této souvislosti se nezmiňuje; zato Bohorič ve své mluvnici *Arcticae horulae* z r. 1584 (používám slovinského překladu Marnova v Jezičniku XXI, 59) uvádí Adama a Evu, jimiž se začalo první užívání řeči.

co se týče tvorby slov, rozhodujícím učinil svůj vlastní domysl, svou libovůli (Ich habe . . . die grammatikalischen Kunstwörter [ich bekenne es] durch eigene Gewalt gesetzt, str. 14). Rosovi sice také vyplývá nové pojmenování věci z jejich přirozené povahy (nomina et verba ex ipso vero Naturae fonte derivari VII, VIII), nechtěl však tvořiti zbrusu nových slov, nýbrž je pouze odvozovat ze starších. Pohlin však při tvoření slov vychází pouze ze svého domyslu o přirozené povaze věcí (Den Sachen nach allgemeiner [v praxi však rozuměj: nach eigener!] Willkür und derer Beschaffenheit die Namen zu geben 15)[1]. Z Rosy si tu ponechal jen požadavek »Worte aus den Wurzeln zu formen« (15) a mimo to ve své praxi až přes míru uplatnil i jinou jeho zásadu, tvořiti totiž nová slova nápodobou starobylosti a novými komposity ze sloves a substantiv. Jak si to po svém vykládal a praktikoval, bude ještě později na svém místě ukázáno. Že si ve své theorii nevytkl Rosova požadavku, čerpati také ze staršího jazykového zřídla, t. j. ze starších slovinských gramatik a památek, je docela pochopitelno, neboť je, jak už bylo poznamenáno, jednak zatajil, jednak pak se mu to nehodilo do jeho koncepce gramatické.

b) Jejich názor na mluvnici a o jejím poslání.

Rosa už ve svých vývodech o jazyku a o tvoření nových slov zdůraznil, že je vždy vycházeti z přirozené povahy jazyka. A odtud také vychází i ve svém názoru na mluvnici. Svou mluvnicí chce stanoviti pravidla, jimiž se jazyk řídí, čili chce přirozeně (naturali ordine [I.]) vyložiti jeho zákony, které dosud v dřívějších gramatikách nebyly buď vůbec stanoveny nebo jen nedokonale a nesnadně byly podány (II). To tedy chce ve své gramatice uzákoniti, a to metodou analogickou (regulis analogicis). Tak tedy je rozuměti jeho »poutům pravidel« (IV) jimiž se snažil jazyk upravit a zdokonalit čili zvýšit jeho ryzost.

Naproti tomu Pohlin docela důsledně se svým názorem na jazyk vystupuje i v názoru na mluvnici jako diktátor. Vycházeje z přesvědčení (ovšem ne zcela oprávněného)[2], že slovinština jest úplně pokažena (die fast gänzlich verdorbene krainerische Sprache, str. 4), a zavrhnuv starší slovinské mluvnice (weil keine Regel, keine Grammatik vorhanden gewesen, str. 12), postavil se na stanovisko prvního jazykového zákonodárce. Úpadku své mateřštiny mínil odpomoci právě svou mluvnicí (Dem abzuhelfen ist das erste Mittel die Gram-

[1]) V tom je bližší Pohlovu pojetí, o čemž podrobněji při Pohlovi.
[2]) Kopitar, Gram. 127, 128.

matik, str. 12); v ní chtěl ji on první podrobiti pevným pravidlům, jimiž se má podle jeho úsudku říditi (die krainerische Sprache in die Regeln zu bringen, str. 13). V tomto svém zavrhování všeho *historického* a *tradičního* základu ve své mateřštině a ve snaze, nahraditi to svými vlastními rozumovými konstrukcemi za účelem pevného a jasného řádu, jeví se Pohlin, ještě víc než Rosa, rozhodným stoupencem soudobého racionalistického směru ve filologii. Odtud tedy vyplývá jeho absolutistické zacházení s jazykem, neboť byl spíše filosofující etymolog nežli gramatik, jakým Rosa podle Dobrovského ještě vskutku byl. Tak si také vyložíme jeho odchylky od zásad Rosových, z nichž původně vždy vyšel. Proto také ten rozdíl v jejich pojetí »pout pravidel«. Rosa chtěl odvozovati pravidla z jazyka samého, Pohlin pak mu je prostě diktuje. A tak se to má i s jeho purismem. Rosa byl přesvědčen, že je »molestum et indecorum ad peregrina ablegari« (VI), a z toho si Pohlin upravil zase po svém názoru celý plán, který zvláště v praxi uplatňoval. Drže se přesvědčení, že slovinština je zvláště cizomluvy až k směšnosti znešvařena (11), postavil se rozhodně na stanovisko *puristicko-novotářské*, daleko překročující meze stanovené Rosou.

Doslovněji jeví se však shoda v jejich důvodech, proč píší své mluvnice, a v konečné jejich tendenci. Rosa podjal se té práce z lásky k vlasti a ke své mateřštině, a aby svým příkladem povzbudil jiné (ut ad majora Patriae praestanda excitem alios IV). Když totiž nenacházel před sebou nikoho, kdo by se toho díla chopil (quod ipsemet vehementer optavi et ab alio expectavi III), napsal sám svou mluvnici — diu optatam (I) — k prospěchu nejen jednotlivců, nýbrž i státu a vlasti (praesertim ubi non unius hominis, sed multorum: nec hominum, sed urbium, regni et patriae, res agitur III), aby se z ní totiž mohlo snáze učit a podle ní vyučovat a aby tak své mateřštině přispěl k jejímu širšímu uplatnění. Tedy především z důvodů vlastenecko-praktických, prospěti svému jazyku a vlasti, napsal svou mluvnici, v níž se snažil opravit a doplnit starší mluvnice (II) a tak poskytnouti spolehlivější a snažší učebnou pomůcku těm mnohým, kteří ať už z praktické potřeby či z filologického zájmu v ní budou hledat poučení (v titulu). Mimo to za konečný její cíl označil snahu, poukazati v ní také na velebnost a krásu jazyka českého (Denique finis hujus meae grammaticae etiam praecipuus est, ut majestatem et venustatem linguae nostrae ostendam, VII).

Také Pohlin z důvodů vlasteneckých a praktických »vzal na se břímě« napsati slovinskou mluvnici, aby jí pozdvihl z úpadku svou

zbědovanou mateřštinu (weil ich mir selbst die Last aufgeladen zum Nutzen des Vaterlandes und zur Wiederherstellung der fast gänzlich verdorbenen krainerischen Sprache eine regelrichtige Grammatik zu verfaßen, str. 4) a aby jí poskytl spolehlivou učebnou pomůcku (titul) a takto své mateřštině, dosud zesměšňované a neuznávané (str. 5 a 12), pomohl k širšímu uplatnění. A jako Rosa také on se dovolává toho, že už byla potřeba takové mluvnice všemi, i jím samým, dlouho pociťována (Viele, oder wenn ich es recht sagen soll, alle seufzten nur nach einer Grammatik. Ich eben auch. Str. 12). A když pak odnikud nepřicházela, dodal si sám mysli poskytnouti, »was noch kein Landesmann bevor gegeben hat« (13; srv. u Rosy: feci, quae alius non fecit IV). Stejně jako Rosa chce také on svým příkladem povzbudit jiné k následování (13) a k většímu o jazyk mateřský pečování (str. 14). Po Rosovi také on si předsevzal poukázati v ní na přednosti své mateřštiny (Was für Vorzüge aber hat die krainerische Sprache vor sich? Str. 4).

c) Jejich ohrazení proti možným námitkám a posměváčkům.

Rosa podotýká, že ví, že v jeho mluvnici mnozí kritikové či spíše posměváčkové najdou leccos, co se jim nebude líbiti. Jednomu bude leccos *zastaralým*, jinému pak neužívaným nebo *neslýchaným* či *novým* (Scio quidem multos, ridigiores censores vel potius calumniatores futuros, et multa in mea grammatica inventum iri, quae omnia non omnibus placebunt. III). Proti tomu se ohrazuje (Sed obsecro, noli iudicare, donec prius perlegeris) a ukazuje na to, že lidské je chybovati: nemůže se tedy žádati od člověka nedokonalého dílo dokonalé (Fateor, multa adhuc imperfecta inveniri, quid enim ab homine perfectum? III). A dále ještě resumuje: »Repeto igitur, feci in hoc opere tantum, quantum pro tunc et nunc facere licuit: *at non tantum, quantum vel vellem, vel possem*« (IV). Konečně pak poznamenává, že svou mluvnicí chce povzbuditi jiné k následování. Ať se tedy někdo jiný pokusí napsati něco dokonalejšího. Přeje si toho sám velice, aby byl jím překonán. »*Stat palma in medio, arripiat,* quisquis potest . . . Proinde non illubens gloriae materiam, alicui relinquo, sive quis, novo constructo et melius ordinato opere, mecum certare velit . . . Atque adeo vinci me ab aliis non reformido, sed etiam vehementer opto« (IV).

Skoro týmiž slovy a poukazem na tytéž věci se ohrazuje i Pohlin. Také on uvádí, že se najdou kritici, jimž se v jeho mluv-

nici nebude vše líbiti; a docela shodně s Rosou uvádí proč. »Ich weiß gewiß, diese meine Grammatik wird durch vieler scharfsichtiger Schriftrichter Augen, oder besser zu sagen durch vieler Spötvögel Hände laufen. *Es wird darinnen nicht allen alles gefallen: etwas für was altes, etwas für was neues, ersonnenes* und *niemals gehörtes* angesehen . . .« (14).

A stejně jako Rosa omlouvá i Pohlin nedokonalost svého díla. »Allein ich sage es nicht, dass diess ein vollkommenes Werk ohne Abgang wäre, diess und so viel will ich nur gesagt haben, dass ich zwar *so viel getan, was noch keiner bis* dato getan, es ist mir nur leid, *daß ich nicht so viel* habe *tun können*, als ich *mir gewünscht* hätte« (14). Také on chce svou mluvnicí povzbuditi jiné. Ať se jen někdo pokusí přinésti něco lepšího; bude ho to těšit a rád mu přizná *palmu slávy.* »Macht mir jemand was beßeres nach? Wohlgemut! mich wird es erfreuen, dass ich mit meinem kleinen Werkchen anderen so viel Muth gemacht sich in was besseren sehen zu lassen[1]). Läße sich nur keiner, der etwas dergleichen im Schild-führt, durch eitle Absichten sich davon abschrecken. Trotz! Sollte er es probieren. Ich gebe mich zufrieden, *der Palmzweig hangt in der Mitte, greife nach selben*, wer etwas besseres zu machen sich getrauet (13). Ich will auch diesen Ehrenkranz fahren lassen« (S. 14).

Rozdíl se jeví jen v tom, že Pohlin proti Rosovi tu vystupuje sebevědoměji a přesvdčivěji o dokonalosti svého díla a o správnosti svého počínání, jak to vysvítá z některých jeho výroků, jichž u Rosy není a jež připomínají dílem Pohla[2]) a dílem lužického gramatika Joh. Gott. Hauptmanna[3]), o němž se ve své předmluvě zmiňuje (13) a kterého také patrně měl po ruce.

d) Jejich chvála mateřštiny.

Rosa si vytkl, prokázati ve své gramatice také velebnost a krásu své mateřštiny (VII); o tomto předmětě pojednává široce v duchu zděděných zásad humanistických a neopomíjí ničeho, co by mohl na důkaz toho uvésti. Z četných jeho vývodů poznamenám tu jen takové, s jejichž ohlasem se setkáváme také u Pohlina. Tak Rosa (podle Komenského!) dokumentuje vyjadřovací schopnost českého ja-

[1]) Už Bohorič (Jez. XXI, 66) se podobně ohradil proti kritikům, vybízeje je, aby se sami pokusili »spraviti na dan kaj bolj dovršenega«. Je to jakýsi řečnický argument, už od dob humanismu velice oblíbený a z gramatiky do gramatiky hojně přejímaný.

[2]) Podrobněji o tom později při Pohlovi.

[3]) Viz předmluvu (str. 7b, 8a) jeho dolnolužické gramatiky: Niederlausitzsche wendische Grammatica, Lübben 1761.

zyka na slově *Bůh*. »Ita vel maxime in lingua boëmica divinitatis suae (Omnipotens) expressit figuram. Nam nomen Bůh (Deus) trium literarum, mysterium rei, quam significat, clare demonstrat« [VIII]. Jeho vznešenost (maiestas) pak odůvodňuje jeho starobylostí, slávou a svatostí. Na důkaz jeho starobylosti uvádí po Pešinovi, kterého cituje, prastarý původ Slovanů od Jafeta (XVI) a jeho slávu, založenou rovněž na starobylosti slovanského jména, dokazuje (po Hájkovi) citátem z listiny Alexandra Velikého (XIII). Jeho svatost pak dokumentuje faktem, že se ho užívá i v bohoslužebných obřadech, na př. při mši, »quod praeter latinam et graecam vix ulla alia habet lingua« (XII). Mezi jeho význačné přednosti počítá také jeho rozšířenost a prospěšnost, bohatou zásobu slov (XI) a zvláště jeho přirozenost (naturalitas XIV), pro niž je právě schopen dokonalého a správného vyjadřování podstaty věcí.

Pohlin, nemoha se se svého pojetí pokažené slovinštiny široce zmiňovati o jejích znamenitostech a přednostech a postrádaje pravé filologické vyzbrojenosti[1], stručně jen o ní praví v souvislosti s jinými jazyky, že jí přináleží sláva, chvála a užitečnost (3). Z jejích předností, které se jí nechtí nikterak přiznati (weil man ihr gar keinen Vorzug lassen will [4]), po Rosovi uvádí také její slovní bohatost (150) a pak zvláště její starobylost (die doch des Alterthums wegen so hoch berühmt ist [4]) a shodně s Rosou na důkaz toho tvrzení připomíná její starobylý původ od Jafetových potomků (Sintenmalen das Illyrische gleich bei Zerteilung der Völkerschaften nach der Sündflut durch des Japhet Noach Sohns Nachkömmlinge in diese Landschaft ist mitgebracht worden [4]). Na rozdíl od Rosy však to podrobněji vykládá a jako další doklad její starobylosti uvádí ještě, že už existovala *v době babylonského zmatení jazyků* (3). Slova, jimiž tak činí, skoro úplně se shodují s vývody Megiserovými[2]) a v tom zdůraznění starobylosti jeho kraňštiny či ilyrštiny bych právě také spatřoval vliv jiného jeho domácího pramene, totiž Bohoriče, jenž v předmluvě k své gramatice rovněž tak důrazně poukazuje na její starodávnost[3]), kdežto Rosa ji uvádí

---

[1]) Kopitar, Gram. 128.

[2]) Hier. Megiser, Annales Carinthiae (Leipzig 1612) I. díl, I. lib, I. cap. pag. 2. »Winden und Wenden ihren ersten Ursprung haben von Japhet, des Erzvaters Noe ältestem Sohn, welches *Nachkommen nach der Sündflut* und der *darauf gefolgten babylonischen Verwirrung* der Sprachen *diesen Teil der Welt zu ihrer Besitzung eingenommen*«.

[3]) Bohorič (Ječičnik XXI, 63) tu sice mluví především o starobylosti Slovanů, ale ve spojitosti s tím se také stejně důrazně zmiňuje o starobylosti a rozšířenosti slovanského jazyka.

jen jaksi podružně jako důkaz pro vznešenost slovanského či českého jazyka. Po Rosovi Pohlin při své kraňštině ještě zdůrazňuje také její svatost, užitečnost a ušlechtilost (unsere so edle, so nützliche, so heilige Sprache [12]). Na důkaz její svatosti a správnosti (Regelrichtigkeit krainerischer Sprache [9]) docela shodně s Rosou se také dovolává historie, že se v ní totiž už od dob Cyrilových čte mše sv. atd., ale činí tak zase daleko podrobněji než Rosa (Das Pabst Hadrian der II. dem heiligen Cyrilus vermöge eines päbstlichen Gewaltsbriefes erlaubt in illyrischer, wie in der lateinisch und griechischen Sprache Messe zu lesen, die geistliche Tagzeiten zu betten, ja allen Kirchendienst in erstgelobter Sprache zu halten. Diess tun noch *heutzutage* illyrische Priester. [str. 9 a 10]). A právě v této podrobnosti, jíž u Rosy není, jeví se zase vliv jeho domácích pramenů, v tomto případě Hipolitův.[1]) Po Rosovi také mezi přednostmi, jimiž se vyznačuje jeho mateřština, jmenuje a dokumentuje její rozšířenost a užitečnost. Doslovná shoda mezi ním a Rosou pak se jeví v jeho důkaze o vyjadřovací schopnosti jeho kraňštiny. (Gewiss! die Ausdrückung der Worte krainerischer Sprache hat schon was besonderes. Das einzige Wort *Buh* sei genug zur Zeugnis, worinn man die dreieinige Gottheit so wundenbar ausgedrückt erblickt. [str. 8])[2]). Tohoto důkazu jeho slovinské prameny vůbec nemají.

e) Slovanská orientace u obou spisovatelů.

Rosa mluví o jazyce českém jako všeobecně slovanském (lingua slavonica seu boëmica (I); po něm mu vede schůdná cesta i k jiným evropským jazykům (X), zvláště pak k slovanským, s nimiž souvisí (quia est universalis et cum linguis innumerarum plane provinciarum participat, XIV). Jazyk slovanský je mu »longe lateque diffusa« (XVII). A na důkaz této jeho rozšířenosti uvádí podle starších kronik země, kde se jím všude mluví (XV, XVI, XVII). Při tom svém výčtu vychází od jihu, od Slavonie jakožto kolébky slovanské,[3]) pak se obrací k své vlasti a k severním a východním krajinám, načež

---

[1]) Hipolitova Gram. latino-germ.-slavonica z r. 1715, str. XV. (předml.). Pohlinův text se zněním Hipolitovým tu úplně souhlasí i co do podrobnosti, že se slov. jazyka (u Pohlina ilyrského) ještě »*dodnes*« (ad hodiernum) užívá v bohoslužebných obřadech u Jihoslovanů.

[2]) V 2. vyd. své Gram. z r. 1783, str. 251 se Pohlin sice přiznává, že tento příklad čerpal »z cizích nejstarších« gramatiků, ale Rosu nejmenuje. Na str. 162 téhož vydání dovolává se v téže souvislosti *češtiny*, ale zase se nezmiňuje blíže o svém českém prameni.

[3]) Podle tehdejšího názoru kolébkou Slovanů byly jižní slovanské země někde na středním toku Dunaje, t. j. v někdejší Pannonii či pozdější Illyrii.

vyjmenovává jižní a balkánská území a přichází až do Asie, při čemž zdůrazňuje, že se ho užívá i v říši turecké (XVII).

Pohlin svou kraňštinu také považuje za všeobecně slovanský čili podle tehdejší jihoslovanské terminologie za *ilyrský* jazyk,[1]) který je mu rozšířen téměř po všem světě,[2]) jejž proto po právu je prý možno zváti Ilyrií (Daß man in unsäglich vielen nahmhaften Orten eine der krainerischen ähnliche Sprache reden hört so sehr, daß man die meiste Welt gar recht konnte ein Illyrien nennen. [5]). A na důkaz toho také uvádí země, kde se tou řečí mluví. Vytknuv už předem Ilyrii (jako Rosa Slavonii) za slovanskou pravlast, vychází po jeho vzoru také od své rodné země, t. j. Krajiny, a uved její sousední slovinsko-charvatská území, přechází nato k severním zemím, mezi nimiž jmenuje zvlášť důrazně »Orte am beiderseitigen Ufer der Elbe«[3]), pak k východním krajinám, načež se obrací ke krajům na březích Dunaje[4]) a na Balkáně a posléze uvádí i místa v Asii. Na rozdíl od Rosy (a domácích slovinských starších pramenů[5]) se na tomto místě vůbec nezmiňuje, že by se jí užívalo také v říši turecké. To uvedl teprve na str. 152 své gramatiky ve spojitosti s písmem »cyrilským.«

Co se týče jeho textu na tomto místě, je viděti, že se tu neřídil pouze Rosovými zprávami. Nápadně typických shod tu celkem není až na jedno místo, z kterého jest jasno, že je přejal v Rosově stilisaci: »Longe lateque patentes terrarum septentrionalium tractus ab una parte ad Novam Zemiam seu Zemblam usque et Jugriam mareque glatiale: ab altera ad Circassos mareque Caspium et

---

[1]) Tato ilyrská orientace, mající už starou tradici v jihoslovanském a italském písemnictví, byla zvláště v Pohlinově době docela běžná (o vývoji ilyrské orientace viz M. Murko v Slavii V. 281 a n.). Mimo to se jí tou dobou dostalo od vídeňských úřadů i jakéhosi oficiálního uznání založením »Illyrische Hofdeputation« (1747), viz Nar. encikl. sv. 9. (Zagreb 1926), str. 21. Pohlin sám v 2. vyd. své Gram. 251 se v té věci dovolává starších historiků, z domácích Schönlebena a Valvasora, z českých Dubravia. Mezi českými jeho současníky se s touto indentifikací *ilyrský—slovanský* setkáváme u Doležala v jeho gram. 1746 a u Pohla v *posledních* vydáních jeho mluvnice.

[2]) V tom zase Pohlin připomíná zřejmě Bohoriče, jemuž je slovanský jazyk rozšířen »po največjem delu sveta, ako ne po vesoljnem svetu« (cituji z Marnova překladu v Jez. XXI, 63). — Souhlasí tu i s Popovičem »Untersuchungen vom Meere«, 1750, XVI. n.

[3]) Toho Rosa nemá, zato Bohorič (Jez. XXI, 63) umístil Lužičany »na vsaki strani Labe«, což po něm opakuje i Hipolit 1715, VII, VIII.

[4]) I toto místo má Pohlin z výše uvedených domácích pramenů, jak se to jeví z celé stilisace.

[5]) Herberstein, Rer. mosc. com. 1556, I. kap. pag. 16; Bohorič, Arcticae horulae 1584, XII; Valvasor, Ehre 1689, I, VI. kn. 1. kap. 271; Hipolit, Gram. 1715, VIII — shodně uvádějí ve výčtu zemí, kde se užívá jazyka slovanského, také říši tureckou.

quidquid inter mare Balthicum et magnam Scythiam . . . Parthosque et Persas interiacet« (XVI). To u Pohlina zní docela shodně s Rosou takto: »Die mittnächtige weitschichtige Ländereien von einer Seite bis Novazembla, Jugurthien und das Eismeer; von der anderen bis auf Cirkassische Gebirge und Kaspische Meer und was zwischen der Ostsee und Gross-Scythien, zwischen den Parten und Persien liegt« (6). Jinak v jejich zněních shod není; naproti tomu však, jak jsem už právě v poznámkách podotkl, jeví se v Pohlinově textě na mnoha místech zřetelné ohlasy i domácích slovinských pramenů.

Z toho tedy je také usuzovati, že Pohlin svou slovanskou orientaci nečerpal jedině z české předlohy, nýbrž i ze starší domácí literární tradice, sáhající hluboko až do dob protestantské reformace. Že sáhal přes Schönlebena a Valvasova, které mezi svými prameny uvádí a jimž slovanská orientace vyplývala více méně z polyhistorického zájmu, až k Bohoričovi, je to právě velice zajímavý a důležitý doklad toho, že nacionální a slovanský duch slovinské protestantské reformace nepřestal působiti ani v době poprotireformační. Po té stránce pak má Pohlin význam dokumentární. Utvrdiv se i z domácích pramenů v slovanství, dodal mu pak po Rosovi ještě více *obranný ráz*, sdruživ je, stejně jako on, těsně s národním uvědoměním.

f) Jejich apologetická tendence.

Z Rosovy předmluvy zaznívá na mnoha místech jako hluboký, spodní tón jeho obranná tendence. Jako pravý dědic humanismu zakládá ji především na esthetických a filologických důvodech, jak to projevil ve své chvále mateřštiny, ale podpírá ji také důvody *vlastenecko-praktickými*, jimiž zabarvil i svou slovanskou myšlenku. Zdůrazňuje prospěch a užitek, plynoucí ze znalosti všech jazyků (XVIII)., dovolává se téhož práva i pro svou mateřštinu a ukazuje na její *užitečnost* nejen pro všeobecné vzdělání ducha, nýbrž i pro vrchnosti světské a pro veřejný život vůbec, při čemž klade obzvláštní váhu právě na její rozšířenost, t. j. na její příbuznost s ostatními jazyky slovanskými. Tak překonává (jako pozdější buditelé) vědomí malosti svého národa představou velikého celku slovanského: »Solent quidem aliqui dicere, ad quid mihi lingua boëmica? ego *non manebo in Boëmia*. Si talis tantum domi haerere, neque ad videndum mundum, animum attollere velit: non habet quod suum fatiget ingeniolum. Si autem generositas mentis in eo resideat et ad aulam, ad officia publica vel regimina rerum publicarum aspiret, is *linguas evropeas* (tedy i český či slovanský!) discat, necesse habet. Nescis

enim, quo hodie vel cras venire et utrum non aliquando in partes illas, cum quibus lingua nostra communicat, aliquod munus vel commissionis vel legationis agere poteris. Nam lingua slavonica (tu vyjmenovává země, kde se ho užívá) longe lateque diffusa existit« (XV, XVI). Při tom však nezapomíná ani na užitečnost její pro církevní vrchnost a náboženskou výchovu vůbec, neboť »per diversa linguarum genera magis et magis intellectus excolitur et in admirationem omnipotentiae divinae elevatur; nam et hic Omnipotens in varietate sermonum et linguarum suam diffudit sapientiam admirandam« XVIII[1]). Zvláště pak potřebna jest podle jeho mínění její znalost všem těm, kteří v české zemi obývají, t. j. cizincům i domácím, chtějí-li se radovati z požehnání své vlasti a zachovati si čestnou památku u svých potomků. »Qui autem exterrorum vel domesticorum terram incolunt boëmicam, *sibi consulant* et linguam patriam discant aut saltem discere non contemnant, ut benedictione Terrae gaudeant et in posteritatem vivant« (XVIII). V tom jest už obsažen přímý apel nejen na Čechy, aby se svému jazyku nevyhýbali, nýbrž i na vrchnosti, světské i církevní, aby se nevzpírali uznati *přirozených* práv »jazyka vlasti«, t. j. českého. Dokázav takto přirozenými důvody užitečnost a potřebnost své mateřštiny, podepřel svou apologii i historicky, t. j. poukazem na zlatou bulu Karla IV., jíž vznešenost a potřebnost českého jazyka už dávno byla uznána. »In summa maiestas et utilitas linguae slavonicae satis me hercule probatur ex aurea bulla Carolina, in qua electorum filiis inter evropeas linguas etiam slavonica discenda demandatur« (XVII). Toto vše zvláště uvádí na vědomí také zlehčovatelům jazyka a národa sv. Václava, kteří vždycky dožili se právě opačného výsledku svých záměrů, t. j. záhuby. »Contemptores enim linguae et gentis Divi Venceslai semper propositis suis contrarium senserunt exitum et tandem interitum« (XVIII). Toho nechť jsou si vědomi i četní posměváčkové, kteří nakonec přece jen přestanou se svými potupami jazyka a národa slovanského vůbec. »Desinant itaque imposteram calumniatores linguam et gentem slavonicam nomine sclavonicam calumniari« (XIII). Tak spojil apologii češství s apologií slovanství vůbec.

Také z Pohlinovy předmluvy vane týž obranný duch, ba ještě více vystupuje v popředí než u samého Rosy. Na rozdíl od Rosy

---

[1]) Podobně také už Bohorič (Jez. XXI. 59) pojednal o ceně jazyka po této stránce; tuto shodu mezi ním a Rosou jest si však vysvětliti tím, že ji čerpal z týchž humanistických a církevních pramenů jako později Rosa, neboť takové sentence byly přejímány z knihy do knihy.

neoperuje tak široce esthetickými a filologickými důvody, zato tím více se o něho opřel ve svých vývodech *vlastenecko-praktického* rázu, ač i tu leccos přejal z domácího literárního odkazu nebo si sám ještě doplnil dobovými a místními argumenty. Stejně jako Rosa poukazuje i on na užitečnost a potřebnost své kraňštiny či ilyrštiny a zdůrazňuje prospěch a užitek, který z její znalosti plyne především pro církevní a světské vrchnosti, jimž jest jednati se slovinským lidem; jako Rosa, tak i on ukazuje, že je to na jejich prospěch ale navíc proti Rosovi pronáší tu na tehdejší poměry velice smělou myšlenku, že totiž nemůže se chtíti, aby se venkované učili německy k vůli svým vrchnostem. »Man sehe aber auch auf den Nutzen, welcher geist- und weltlicher Obrigkeit aus der Sprache zum Guten kommt *so man in eigener Sprache den Landmann bespricht* und zum *Gehorsam der Kirche und des Reiches geneigter macht.* Sehr gefehlt ist es, wenn man mit Krainer deutschkrainerisch spricht und nicht leicht verstanden werde, oder es wäre Not alle Dorfleute lerneten wegen ihrer Herrschaft die deutsche Sprache« (10). Jak je viděti, vychází tu Pohlin především z ohledu na lid venkovský, neboť ten byl i tehdy ještě vpravdě slovinský a jemu jako klášternímu kazateli nejbližší. Že tu ve svých vývodech nezůstal jen při Rosovi, svědčí některé podrobnosti, ukazující i na domácí prameny;[1]) mimo to na rozdíl od Rosy zdůrazňuje daleko více zřetel na církevní a státní zájmy, v čemž je zase znamenati ohlas soudobého smýšlení a racionalistického názoru na stát. Nejvíce však na jeho motivaci myšlenky o potřebě kraňštiny pro světské a církevní vrchnosti asi působilo samo stanovisko vídeňské vlády, která už tehdy právě se zřetelem na prospěch státní a veřejné služby nařizovala větší pěstování aspoň některých slovanských jazyků, jako na př. českého zřízením stolice češtiny na vojenské akademii ve Víd. Nov. Městě (1752) a na vídeňské vojenské inž. škole (1754) nebo dekretem ze dne 28. června r. 1763. Zvláště tento dekret, o jehož vydání Pohlin mohl docela dobře věděti, neboť tehdy asi ještě byl v Mariabrunnu u Vídně,[2])

---

[1]) Už Bohorič (Jez. XXI, 59), mluvě o potřebě znalosti jazyků, částečně naznačil prospěch, který z nich plyne pro církev a stát; zejména pak poukázal na užitek, který má *každý stav ze znalosti řeči lidu, s nímž mu jest jednati* (Jez. XXI, 65). Zvláště tento poslední jeho výrok, s jehož obdobou se *nesetkáváme ani u Rosy, ani Hipolita,* by svou skoro doslovnou podobností s Pohlinem ukazoval, že Pohlin jej *přímo* čerpal z Bohoriče. — O prospěchu ze znalosti jazyků, tedy i slovinštiny, pro zájmy církevní a státní podobně po Bohoričovi pojednal i Hipolit r. 1715, IV.

[2]) J. Vrhovnik (JMK XVII, 1907, 44) zjistil z Diskalceátské kroniky, chované v lubl. Nár. museu, že teprve *28. srpna* 1763 se v ní Pohlin prvně připomíná v Lublani.

mohl naň míti povzbuzující vliv. Tytéž důvody, z nichž sama vláda ukládala úřadům v českých zemích větší pěstování češtiny jakožto jazyka lidu jimi spravovaného,[1]) mohl aplikovati i na svou kraňštinu a na jejich podkladě se dovolavat i pro ni, když ne stejných, tedy aspoň tehdejším slovinským poměrům přiměřených práv a uznání. Nemoha však ještě počítati s jejím zavedením do škol aniž zdůrazňovati její význam pro studium, jako to mohl ještě činiti Rosa při češtině, vyslovuje přání, aby se jí studující mládež aspoň soukromě a z praktických důvodů chopila. »Die studierende Jugend wird jetzt auf das Latein nicht so viel als auf das auserlesene Deutsche angehalten. O daß sie auch auf das recht Krainerische sich verlegte weil sie nach geendigten Schulen sowohl selbst eigenem Wohle als anderer Nutzen mittlerweil durch diese Sprache werde fürschen müßen« (10, 11). V tomto apelu na mladež připomíná zřejmě Hipolita[2]). Tím už také zdůrazňuje potřebu znalosti slovinštiny vedle němčiny i *v praktickém a veřejném životě*, jak už na to před ním poukázali jesuitští vydavatele Bohoričovy-Hipolitovy Gram. r. 1758.[3]) A na to pak upadá přímo v apologetický tón: »Schämen wir uns nicht unserer Muttersprache! Sie ist nicht so schlecht, als ihr es glaubet« (11). Jest sice pokažena a znešvařena, ale to proto, že Slovinci jí dosud zanedbavali (Dieß haben wir vernachläßigt [10]); to však nyní musí přestati a nesmí se dopustiti, aby upadla v úplné zapomenutí (und so wir wiederum zurückkehren, ausgeben unsere Muttersprache ganz-und gar vergessen zu haben [11]). Vždyť není ani tak nepatrná, jak se některým jejím zlehčovatelům zdá, ba naopak téměř po celém světě, od moře k moři rozšířena. »Verachtet man sie aber etwa darum, daß sie nur in einem kleinen Strich des Landes[4]) (was das Herzogthum Krain in sich begreift) üblich sei? Wer es der Ursachhalben verachtet, muß in den Landesbeschreibungen nicht viel bewandert sein, weil er von den weitschichtigen Illyrien nichts

[1]) Ferd. Čenský, K dějinám řeči a lit. čes. v XVIII. stol., Osvěta VI. (1876) str. 83 a n.

[2]) Hipolit, Gram. 1715. V.: »Ut iuventus, variis aliunde assveta linguis, etiam ad slavici idiomatis genuinam notitiam ... scientifice quoque manuduci dirigique valeat«.

[3]) Hipolitova Gram. 1758, str. 3b: »Auch die windische Sprache (sonderheitlichen in Cärnthen und anderen angräntzenden und benachbahrten Landschafften) sowohl den Vornehmen als auch gemeinen Mann in Handel und Wandel als eine fast zu sagen unumgängliche Nothwendigkeit zu seyn scheinet«.

[4]) Podobné motivace Rosa nemá; zato však skoro stejnými slovy mluví o slovanském jazyce už Bohorič (Jez. XXI, 61, 62), jenž vyvrací mínění, jako by se jím mluvilo jenom na nepatrném a úzkými hranicemi omezeném kousku země. — Hipol. z r. 1715 toho rovněž nemá, což by tedy svědčilo, že Pohlin i na tomto místě čerpal *přímo* z Bohoriče.

weiß, wo doch diese Völker von Aufgang bis Niedergang, von einem Meer bis zum andern verbreitet sind« (5)[1]) (tu vyjmenovává slovanské země). Tedy jako jeho vzor Rosa, tak také on odůvodňuje důležitost své mateřštiny především argumentem její souvislosti s ostatními slovanskými jazyky. A poněvadž se pak zvláště na těchto místech jeví v jeho vývodech i zřejmý ohlas z Bohoriče a Hipolita, odevzdává tak zároveň jejich vlastenecký a slovanský odkaz pozdější buditelské generaci. Po Rosovi a v souhlase i s domácími svými prameny podepřel také svou apologii mateřštiny i historickými důvody, t. j. poukazem na zlatou bulu Karla IV. a na vatikánskou bibliotheku, kde byly postaveny sv. Cyrilu a Jeronýmovi sochy na důkaz úcty za jejich vynález písma ilyrského jazyka (11).

Jak je viděti, jest jeho předmluva na mnoha místech vedle historických dokladů vyzbrojena i dobovými argumenty, vyplývajícími z požadavku přirozeného práva, a jest ji možno po zásluze považovati za první veřejně vyslovenou *obranu slovinského jazyka*. V ní dal výraz cítění a smýšlení i ostatních (snad nečetných) svých současníků, takže i po této stránce jest jistě důležitým dokumentem své doby. V ní se Pohlin projevil slovansky uvědomělým vlastencem, a to z velké části vlivem soudobého českého smýšlení a české knihy, odkudž obdržel nejen popud, nýbrž i odvahu k vyslovení toho, co se do té doby nikdo ještě neodvažoval veřejně projeviti a k čemuž později za změněných poměrů josefinské germanisace ani sám patrně neměl už dosti důvěry a odvahy, kdyžtě v 2. vyd. z r. 1783 této předmluvy už neuveřejnil.

2. *Shoda v textu jejich gramatik a v gramatické praxi vůbec.*

Jako ve své předmluvě čerpal Pohlin své názory a důvody z rozmanitých pramenů, ač se v ideologii jazyka nejtěsněji přimkl k Rosovi, tak také v gramatice samé jeví se závislým na rozmanitých gramatikách, domácích i cizích. V ní vyšel nepochybně ze starších domácích mluvnic, hlavně z Hipolitovy z r. 1715 a z pozdějšího celovského vydání jesuity r. 1758, jež ze známých důvodů ve své předmluvě úplně zatajil, ale přesto je v ní možno nalézti ohlas a přímé stopy i českých mluvnic, zvláště Rosovy. Leccos, o čem mluví Rosa už ve své předmluvě, Pohlin teprve tu rozvedl a v praxi uplatnil, aniž se byl o tom ve své předmluvě

[1]) I těmito podrobnostmi, jichž u Rosy není, připomíná Bohoriče (Jez. XXI, 64: od morja do morja govorijo en in isti jezik, to je Slovenski) a Hipolita 1715, IX (atque adeo a Mari usque ad Mare uno eodemque genere sermonis, slavico videlicet utuntur).

zmínil. Česká kniha mu tu poskytla hojný materiál i pro jeho novotaření.

a) Tak už v názvu jeho gramatiky se to zřejmě ukazuje. Jako Rosa, jenž napřed uvádí český a pod ním teprve latinský název (Čechořečnost seu Grammatica linguae bohemicae), tak i Pohlin napřed má slovinský a za ním teprve německý nadpis (Kraynska grammatika, das ist: Die krainerische Grammatik).

b) Rosa v své latinské mluvnici českého jazyka podává vedle latinských termínů hned také české výrazy, většinou jím samým nově utvořené. V tom ho důsledně následoval i Pohlin. Ve své německy psané gramatice slovinštiny také on vedle německých termínů hned klade termíny slovinské, většinou podle zásad Rosových ukované nebo z něho prostě přejaté. Tak na př. má Rosa pro orthografii výraz *dobropisebnost* (1), Pohlin rovněž *dobropisnost* (I. vyd. 150, II. vyd. 199); pro etymologii má R *vlastnoslovnost* (17), P však podle němčiny *besedna začetnost* (17, 28); pro prosodii má R *dobrovejslovnost* (393) a *zpěvořečnost* (394), P rovněž *spevorečnost* (176) atd. Tak si počíná Pohlin po vzoru Rosově při všech mluvnických termínech, zvláště pak v básnické terminologii často přejímá výrazy Rosovy, jež si pouze poslovinšťuje. Na př. R 346 idiotismus — *vlastenečnost*, P 184, 226 (II. vyd.) *lestnorečnost*; R 348 synonimia — *jednotelnost, jednostejnost*, P (tamže) *enakorečnost*; R 348 antithesis — *protistojnost*, P 184 *prutistavnost*; R 348 enallage — *druhotilka*, P 184 *dergačnost*; R 350 ironia — *usmívatelka*, P 184 *posmehuvačnost*; R 350 hyperbola — *zvejšovatelka*, P 184 *zvišatelnost*, 2. vyd. 226 *svišatnost*; R 350 miosis — *zmenšovatelka*, P 184 *zmajnšatelnost*, 226 *smajšatnost*; R 351 prothesis — *předodalka*, P 184 *perdadejlnost*, 226 *prestavlenost*; R 351 diaeresis — *rozdělilka*, P 184 *rezdejlnost*; R 352 metathesis — *přestavilka*, P 184 *prestavlenost* atd. Celou řadu dalších termínů však si Pohlin přeložil přímo z latinské, řecké nebo německé terminologie, ale že vedle cizího termínu klade také slovinský výraz, je připsati vlivu Rosovu.[1])

c) Po jeho vzoru si také poslovinštil pohanskou mythologii, v kterémž etymologisování projevil zvláštní zálibu a mnohdy nezbadatelnou fantasii, a jako Rosa (487) také i on ji zařadil do prosodické části své gramatiky, v 1. vyd. na str. 184., v 2. vyd.

[1]) Toho slovinské gramatiky před Pohlinem nemají, Pohlova mluvnice čes. jazyka toho rovněž nemá; jedině Doležalova gramatika z r. 1746 podává vedle latinské také českou terminologii, ale ta není v nijakém souhlase s Pohlinovou, je tedy nesporno, že tu Pohlin kráčel jedině po stopách Rosových.

na str. 226/7. Z něho tu také přejal i některá pojmenování, a to buď doslovně nebo si je po svém pojetí přiměřeně upravil na slovinský tvar, což bývá nejčastější. Tak na př. Diana, Luna: R *Mařena, Nočena* vel *Noclika*, P *Marena, Nočlica*. — Eumenides — Furiae: R *Dračice* (od *drak*); P *Dražene, Dražnice* (od *dražiti* = štváti). — Genius domestius — Hausgenius: R *Skřítek;* P *Skritek*, (2. vyd. 227) *Skrytek*. — Hecatae: R *Wýla, Wýle*; P *Vila, Vilna*. (Toto *Vilna* snad si utvořil od kořene *vil-* koncovkou *-na*, jíž rád po Rosovi užíval; mohl však tu vyjíti také z Belostencova latinsko-ilyrského slovníku, jehož také užíval,[1]) a to z jeho adjektiva *vilni* od subst. *Vila, Vilenica*, kteréž výrazy uvádí nejen pro Nymfu a Musu, nýbrž i *Sibyllu;* podle toho pak by mu *Vilna* znamenalo tolik jako *Sibylla*, t.j. *čarodějku*, jakou Hekaté vskutku byla.) — Jupiter: R *Peron, Kralomoc;* P *Beron, Krajlomoč*. (Proč si Pohlin změnil *Peron* na *Beron*, toho se je zase možno dopátrati jen dohadem o jeho představě; Jupiter je mu totiž »Gott der Götter«, tedy jakýsi *soubor* všeho božstva, možno tedy, že tu vyšel od kořene *ber-*, který se jeví i v slovin. subst. *béra* (collectio), ke kterémuž kořeni pak přičinil koncovku *-on*,[2]) jak jí po českém vzoru užívá i při jménech Jason, Sélon, Ladon. Možná dost, že tu však vyšel i ze Středovského, o čemž později.) — Mars: R *Ladoň, Smrtonoš*; P *Ladon* ,(1. vyd. 129) *Smertonos*.[3]) — Mercurius: R *Zeloň*; P *Sélon*, (2. vyd. 227) *Šilon* (patrně od *sel-* slati, *šil-* pošiljati; že tu měl na mysli *posla*, vysvítá i z jeho německého výrazu »Götterboth«). — Parcae: R *Sudice;* P *Sodice* (ač Slovinci znají Sojenice, Rojenice). — Pluto: R *Merot;* P *Meroth*. — Proserpina: R *Ninwa;* P *Ninga*. (Proč *Ninga*, není možno bezpečně vyložiti; kdyby tu byl ponechal český výraz s dvojitým *w*, musilo by se to podle jeho pravopisu čísti Ninba, jako je tomu na př. ve slovích *wódém* (bodem), *wógam* (bogam), to se mu však tady naprosto nehodilo; rovněž mu tu také asi nevyhovovalo nahraditi české *w* slovinským *v*, nejspíš tedy zaměňoval také toto české *w* slovinským *g*, jako v slovinštině někdy za *v* je *g*, na př. ve slovech *vosenica-gosenica, zvon-zgvon*,[4]) jehož sám užil ve své Gram. 108; podle toho si mohl tento přechod *v* 〉 *g* samo-

---

[1]) Iv. Belostenec Orlović, Gazophylacium (Kratek pridavek 565), Zagreb 1740. Že ho Pohlin užíval, dokázal A. Breznik, Razprave III. 146 n.

[2]) O této příponě *-on* měl prazvláštní ponětí; podle něho (Gram. 1783, 118) dociluje se jí »die Bedeutung einer Vergrösserung oder eines Vorranges«.

[3]) Vedle těchto výrazů Pohlin ještě uvádí *Tor, Tork*, kteréž vykládá ve svém Glossariu 1792 (Suppl. 103) od slovesa *terem*, »quia Mars omnia devastat«, což nejlépe dává nahlédnouti do jeho dílny.

[4]) Srv. o tom Ramovš, Hist. gram. II. 160.

volně rozšířiti i na skupinu *nc* (*ng*.) — Lues. Seichgott (i toto něm. slovo si asi sám utvořil): R *Třibek*; P *Tribek*. — Mala aura. Üble Luft: R *Pochvist*; P *Pohvist*. — Serenitas. Göttin des schönen Wetters: R *Pohoda*; P *Pahoda*. (1. vyd. 130) také *Pagoda*. — Pluvia. Göttin des üblen Wetters: R *Mokosla*; P *Močirna* (utvořil si je z Rosy oblíbenou příponou *-írna* podle *učírna*). — Typhon. Polstern (Polarstern): R *Chrvoř*; P *Hervor* (v tom ho asi následovali i Gutsmann i Murko ve svých slovnících).

Vedle Rosy tu ještě čerpal i z jiných českých pramenů, na něž na svém místě ještě bude poukázano. Mnoho výrazů si však utvořil sám, vyšed přímo z latinských, řeckých nebo německých názvů a domysliv se svého pojmenování z kultu nebo smyslu jmenovaných božstev. Leccos také čerpal z historie (Belin)[1]) a z lidového podání (Burovž)[2]).

d) Nejen v terminologii mluvnické a básnické (t. j. i v mythologii), nýbrž i na jiných místech Pohlinovy mluvnice je možno nalezti hojné dalších *čechismů*, z nichž většinu je lze doložiti přímo z Rosovy gramatiky. Pohlin, vyšed z Rosovy snahy, nahrazovati cizí výrazy domácími, překročil v duchu soudobého novotaření (jako v češtině tou dobou na př. Pohl a M. Šimek) hranice mluvnicky přípustné a jal se kovati nová slova docela libovolně, nehledě ani k řeči lidové, jíž pro její pokleslost a hrubost opovrhoval (1. vyd. 100), ani k jazykovému zdroji starších slovinských literárních památek, které podle jeho názoru byly »negramatické«, t. j. jazykově a pravopisně nespolehlivé. A při tom tvoření nových slov bral často za základ *české* kořeny (tak tedy asi rozuměl Rosovu požadavku »ut voces novae ex *antiquis* deducantur radicibus«) nebo si jednoduše *hotová česká* slova pouze upravil na slovinský tvar, ponechav jim někdy i jejich český význam, někdy však si jej po svém uzpůsobiv slovinskému pojetí. Jak je viděti, sáhal tedy k češtině jakožto k *staršímu* čili *historickému* základu; v tomto historickém momentě ztotožňoval tedy s češtinou i svou slovinštinu a proto

[1]) Pro *Apollona* uvádí P. jako první výraz *Belin*. Tohoto slova si sám neutvořil, nýbrž je znal z historie. V Mit. d. hist. Ver. f. Krain IX (1854) 57 se uvádí, že Belina v pojetí řeckého Apollona už zná *Herodian*. A. Linhart, Versuch I. 381 také ze starých kronik jmenuje Belina Apollona jako akvilejské božstvo. Aug. Dimitz, Gesch. Krains I. 20 vzpomíná Belina jako národního božstva, jež zvláště v Akvileji a v okolí Grada bylo uctíváno. Pohlin tento výraz čerpal buď ze Schönlebena (Carn. III. str. 152) nebo z Valvasova (Ehre II. (VIII) str. 520).

[2]) Fr. Levstik vyložil toto slovo lidovou etymologií z něm. *voraus*. Vzal je tedy P. asi z lidu jako později i Korytko v slovin. nár. písních. Viz Pleteršnik I. 72.

často označoval své čechismy poznámkou *alt, uralt.* K tomu ho asi vedla, jak už Ilešič ukázal,[1]) nejspíše tehdejší slovanská theorie některých filologů, jako slovinského jeho krajana Iv. Ž. Popoviče nebo Joh. L. Frische, která počítala Slovince k severním Slovanům. Mimo to na jeho názor o historické souvislosti slovinštiny s češtinou mohlo zvláště působiti také učení vzpomenutého už filologa Frische, který vyložil češtinu jako směs z jihoslovanských dialektů: srbského, charvatského (per migrationes) a bulharského (per religionis communionem), z nichž však charvatský nejvíce převládl.[2]) Podle toho mohl tedy v češtině spatřovati dochovaný historický základ i pro svou slovinštinu. Vedle těchto *přímých* čechismů možno však u něho nalézti i takové, které jsou sice utvořeny ze *slovinských* kořenů, ale na způsob nějakého podobného českého slova a v duchu Rosových novotářských zásad, t. j. komposity ze substantivních a verbalních kořenů, deminutivy, odvozeninami substantiv od verb nebo naopak sloves od podstatných jmen atd. Tím bych považoval otázku jeho čechismů za vysvětlenu; aby pak bylo viděti, jak si při tom počínal, uvedu je pořadem a poznamenám, které asi čerpal přímo z Rosy.

P 24 (II. vyd. 33.) *kniž — Graf, Knižena — Gräfin, knižia* (II. vyd. 123) — *Grafschaft*; R 22 kníže — princeps, kněžna — principissa (pozměněný význam má Pohlin asi z Megiserova Dict. quat. ling. 1744 (2. vyd.). — P 29 (II. 37) *hamba* — Hohn, *hambajoč* (95) — aushöhnend; R 372 hanba (podle Rosovy zásady si od substantiva utvořil po svém i verbum). — P 33, 120 (II. 42, 122) *poselstvo* — Gesandschaft; R 358/9 poselství — legatio (tu užil po Rosovi na témže paral. místě i více stejných příkladů, jako: arianstvo atp.; po tomto českém vzoru si pak utvořil i slova *duhovstvo* (to po něm asi přejal i Gutsmann a Murko) a *slapotstvo* (od slovin. kořenů *sla-*, *pot*, a to buď podle Rosovy zásady složeninou ze substantivního a verbalního kořene nebo podivuhodnou obměnou českého slova, které asi četl *po(t)-sel-ství).* — P II. 34 *šat* (ač ho slovinština vůbec nezná)[3]). P 78 (II. 88) *dim (alt)* ich sage; 79 (II. 88) *jim (veralt)* ich beginne (podle českého *dim* si utvořil také *jim*, nahradiv českou příponu *-u* (jmu) slovinskou *-m*); 80 (II. 90) *jit, jiti* (jidti, jitti) — gehen, *jidem* — ich gehe (český inf. přejal beze změny, 1. sing. si však zase utvořil slovinskou koncovkou); mimo to podle češtiny zaváděl do slovinštiny ještě

[1]) Ilešič l. c. 207.
[2]) Joh. Leonh. Frisch, De dialecto boh. (Berolini 1734) 5.
[3]) Slovo *šat* čerpal nejspíš z Pohlovy Gram. 1756 nebo 1764, 234, neboť u Rosy se nevyskytá.

simplicia *maknem* (106), *pnem* (107), jejichž řadu ještě v 2. vyd. 94 značně rozšířil, označiv je jako »*veraltet*«. — P 88 *hostel* — Götzentempel; R 37 kostel — templum (pro *cirkuv* má Pohlin význam Kirche; české slovo *kostel* si změnil v *hostel* (patrně je spojoval se slovin. slovem *hosta* — Dickicht) a užil ho ve významu pohanského chrámu). — P 114 *sklenar* — Glaser, *parnekar* — Süssbeck; R 363 sklenář — vitriarius, pernikař — pistor dulciarius (už skupina *skl-* ve slově *sklenar* místo *stkl-* (steklar) ukazuje na český původ). — P 114 5 *poročnik* — Befehlshaber, *ukaznik* — dem etwas im Testament vermacht wird, *kšaftnik (uralt)* — der ins Testament gesetzt wird; R 371 poručník — mandatarius, odkazník — legatarius, kšaftovník — testamentarius (jak je viděti, upravil si Pohlin Rosovy české výrazy, pozměniv si jejich významy, na slovinský tvar.)[1] — P 116 *poročnica* — Befehlshaberin; R 22 poručnice — tutrix. — P 117 *herbovat* — bucklicht, *gorrovat* — bergicht; R 379 hrbovatý — gibbossus, horovatý — ab hora — mons (mimo to P po R tu uvádí i jiné příklady v stejném pořadu). — P II. 111 *glavač;* R 357 hlaváč (toto slovo mohl P znáti i z charvatských slovníků, na př. z Habdelićova (1670) nebo Belostencova (1740), ale pro Rosu svědčí, že je P uvádí na paral. místě mezi jmény, jež se tvoří příponou *-áč*). — P 119 (II. 118) *zbrojnica* — Kornhaus; R 362 zbrojnice (Rosa má toto slovo bez latinského významu; hned za ním uvádí granarium — *obilnice* a Pohlin čta povrchně pojal asi obě slova ve významu *Kornhaus;* že tu čerpal z Rosy, je viděti i z toho, že po něm na témže místě jmenuje i jiné stejné příklady, na př. *solnica* (R solnice), *deruvnica* — *drevnica* (R dřevenice), *sodnica* (R saudnice). — P 119 *svjetvavnica* — Rathaus; R 363 radnice — locus senatorius (sice od slovin. kořene, ale na způsob českého slova). — P 119 (II. 110) *vodarna* — Wasserthurn (2. vyd. Wasserkasten); R 363 vodárna — turris, ex qua aqua ducitur. — Ibid. *buklovarna* — Buchhalterei; R (knihárna) *knéhochovárna* — repositorium librorum (zase od slovin. kořene napodobením čes. slova.) — Ibid. *rozgledarna* — Schauplatz.[2]) —

---

[1]) Pohlin se tu držel důsledně Rosy, aniž nahlížel do Pohlovy gramatiky, která v 1. a 2. vyd. (1756 a 1764) na str. 20 má jen slova *poručník* a *poručnice* ve významu *Vormünderin;* teprve ve 3. a 4. vyd. (1773 a 1783) na str. 264 má Pohl slova *poručník — Befehlshaber, odkázník — Vermächtnissnehmer,* tedy v stejném významu jako Pohlin. Z toho by tedy vyplývalo, že Pohl asi také znal Pohlinovu mluvnici z r. 1768 a že z ní také leccos přejal do posledních vydání své gramatiky. Možné to jest, neboť Pohlinova mluvnice záhy se stala ve Vídni známou.

[2]) Toto slovo se nevyskytuje ani v Rosově, ani v Pohlově gramatice, znal je tedy Pohlin odjinud: buď z nějaké jiné české knihy nebo od svých českých spolubratří, jichž ještě v těch letech dosti bývalo zvláště ve vídeňských klášteřích bosonohých augustiniánů.

P 119 (II. 115) *naučirna, učirna* — Studierstube; R 364 učírna — ubi studetur.[1]) — P (II. 115) *špižirna* — Speisekammer (tohoto slova Rosa neuvádí, zato se vyskytuje v Pohlově gram. 1756, 230, s týmž něm. významem). — Ibid. *spisirna* — Kanzlei; R 364 má za to *spisovna*. — P 119 (II. 120) *kozlovna* — Trutzbock; R 364 kozlovina — capreitas; podobně má P *oslovna* — Eselskopf podle čes. *oslovina* (i když tu snad nejde o přímé čechismy, přece je to svědectví pro Rosu, po kterém je Pohlin uvádí na paral. místě.) — P 119, 120 *sklenaria* — Glashütte, *knigaria* (*veralt.*) — Buchgewölbe jsou jeho novotvary, utvořené koncovkou *-ija* z Rosových novotvarů na *-árna* (R 363 má na př. *knihárna*.) — P 120 *glohovje* — Hagendornbüsche, R 361 hlohoví (už to *h* ukazuje na český původ); P (ibidem) *jedlovje*, R (ib.) jedloví (mimo to má P na na tomto místě ještě jiné příklady, shodné s R na paral. místě, jako na př. *vrbje* — vrbí, *dobje* — dubí, *jevšje* — volší atd.). V 2. vyd. str. 170 uvádí P ještě slovo *dopje* ve významu *Luster, Henkleichter;* to si utvořil z českého *daupě*, které Rosa na str. 53 vysvětlil latinským významem *lustrum*; Pohlin však pracuje zběžně nebo nerozuměje tomuto lat. *lustrum*, které tu znamená *zvířecí jámu*, pojal je ve významu *lustru, svícnu!* — P 120 (II. 115) mezi slovy na *-iše* uvádí většinou tytéž příklady, které má R 361 na paral. místě, na př. *terniše* — trniště, *bojiše*, *bojuvališe* — bojiště, bojoviště atp. — P 122 (II 132) voda *perbiva* — das Wasser rint hinzu, R 325 *přibylo* (statku); tohoto gen. P tu nezachoval, řídě se víc němčinou. — P 123 (II. 154) *spevorečnik* — Poet, Reimschmied; R 391 zpěvořečník — poeta; P (ibd.) *ojstrovid* — Luchse. R (ibd.) ostrovid — lynx (toto čes. slovo uvádí už Megiser, Thes. pol., 1603, 831 a po něm i jiné slovníky, jako Krajnsko besed. pisano str. 346, a Belostenec 326; mohl je tedy P míti i odtud). — Mimo to Pohlin uvádí na tomto místě i jiné příklady složenin, které má Rosa na témže paral. místě, jako *predmejsto*, *dobrvoln* (II. 155), ač tyto složeniny mohl znáti už z Dalmatina nebo Megisera, viz Plet. I. 145. — P 129 *mejstnir*, *mejstjamest* — Burgermeister; R 369 měšťanosta — purkmistr (slovo *mejstnir* si asi utvořil z *meštěnín* koncovkou *-ir* podle *nožíř* (v Rosovi 363). — P 129, (II. 167) *gridel* — die Axtnadel am Wagen; R 70 hřídel — axis. — P 129 *sokup* — Auskäufer, Urheber, Erfinder (I. 152); R 327 saukup — *coëmptor* etiam *author* (tedy docela shodně i ve významu). — P 129 *kabath* — Brustharnisch, R 76 kabát — thorax (tedy v témže starobylém významu). — P 129 *obec* (*alt*) — die Republik, R 49 obec — respublica (R toto slovo

[1]) Pohl 1756 a 1764, 237 má *učna*.

jmenuje sice mezi mask. na -c, ale jako výjimku žen. rodu. P to přehlédl a zařadil je mezi mask.). — P 138 (II. 177) *vašnost* — Euer Gnaden (toto slovo znal asi z Pohlových konversačních dodatků). P 179 *paholček* — Page. R 30, 92 pachole (vzor) — puer.[1])

Jak je viděti, přejal Pohlin většinu těchto čechismů přímo z Rosy nebo si je podle jeho zásad utvořil. Na štěstí však ani toto ani ono se v slovinštině neujalo. Tento počet svých čechismů značně ještě rozmnožil zvláště ve svém slovníku z r. 1781. Pohlin však nebyl první, který v slovinštině zahájil toto novotaření; jak už bylo v předcházející kapitole podotčeno, už vzpomenutí slovnikáři z konce XVII. a ze zač. XVIII. stol. často nahrazovali německé a cizí výrazy nebo nedostávající se jim slova svými *novotvary* nebo charvatismy, ba i čechismy, v čemž po nich pokračovali i celovští vydavatelé Megiserova dikcionáře, kterým zvlášť už bylo jasno, že do slovinštiny bylo zbytečně zavlečeno mnoho cizorodého balastu, jejž podle svých sil a schopnosti také vymycovali.[2]) Tak od nich[3]) vede už jen malý krůček k Pohlinovi, který pak působením české knihy tuto snahu rozvedl v celý systém, v němž tak zv. čechismy zaujímají význačné místo. Litovati jest jen, že si při tom tak samovolně počínal, takže tím zanášel do pokleslé tehdejší slovinštiny ještě větší zmatek. Zvláštní ironií pak působí, že právě tyto čechismy, jimiž asi chtěl hlavně zvýšiti ryzost své mateřštiny, jsou z nejnepodařenějších jeho novotvarů vůbec.

e) Po Rosově vzoru zařadil do své gramatiky také poetiku, v 1. vyd. na str. 176—185, v 2. vyd. 214—227, v níž se první pokusil stanoviti zásady slovinského verše. Že se i v této kapitole ideově a v hlavních bodech shoduje s Rosou, není si však vykládati jen prostým přejímáním z něho, nýbrž spíše stejnou úrovní školního

---

[1]) Ilešič uvedl z jeho mluvnice ještě celou řadu slov, jež označil za čechismy, což však není lze o všech bezpečně přijmouti. Tak **helce** (l. c. 189) už před Pohlinem dávno znal Bohorič (viz Plet. I 265) a Hipolit v Gram. 1715, 42 a 1758, 53; ***hlapčič*** ve významu puer (186) zná už Dalmatin, pak také Hipolit 1715, 33 a 1758, 32; ***britvar*** Messerschmied (189) má rovněž Hipol. 1715, 22 a 1758 30 ve významu tonsor, Scherer; ***cipla*** — Pulsader (190) není v slovinštině čechismus, nýbrž naopak je to v češtině ***slovenismus***, jejž podle Jungmanna (Slov. I. 236) do ní uvedl J. Sv. Presl; ***tovarštvo*** — Gesellschaft (190) zná už Trub. a Dalm. (viz Plet. II. 679), ale má je i Habdelić, Dict. 1670 a Belostenec; ***rod*** ve významu genus má rovněž už Belostenec a Hipolit v rukop. slovníku 259. — Z těchto uvedených pramenů Pohlin čerpal i jinde, je tedy míti za to, že i tato slova z nich také přejal.

[2]) Tak na př. za ***ajfrer*** (z něm. Eifferer) mají slov. výraz ***navidlivc*** (Pohlin po nich ***navidlivnek***), za ***antverhar*** (z něm. Handwerker) ***delač*** atd.

[3]) Do jaké míry mohl na Pohlina po této stránce působiti i Vorencův slovník »Novum dictionarium« z r. 1706, jehož rukopis chovala diskalceátská knihovna v Lublani a jejž Pohlin také znal, neboť jej uvádí ve svém spise Bibliotheca Carnioliae 61, nebylo mi možno pro jeho nedostupnost zjistiti; chová jej totiž seminářská knihovna v Gorici (viz Dom in Svet 1919, 154).

vzdělání, neboť poetika byla tehdy důležitý školní předmět a všeobecně se zakládala na prosodickém principu antické poesie, t. j. na časomíře, z níž stejně Pohlin mohl vyjíti jako před ním Rosa.[1]) Odtud tedy také podobné jejich rozdělení slabik podle délky a krátkosti (R 481/2, P 177/8) a skoro doslovné definice stopy (R 481 *noha* podle latin. pes, P 179 *pesemske dejl* podle něm. Reimglied)[2]) a verše (R 484 *vazomluva*, *vazořádek* atd., P 179 *rajš*, *raja*, II 222 už *stih*), za jehož vzor oba uvádějí především klasický hexametr (R 485, P 180). Rosa dále ještě jen stručně podotýká, že čeština je schopna i jiných druhů básnických jako řečtina nebo latina (486) a Pohlin (179) také podobně mluví o svobodné volbě druhů verše, což pak ukazuje na příkladech, jichž u Rosy není. Podobně také oba pojednávají o caesuře (R 486 *přetínalka*, P 181 *predahnenje*); Pohlin jako příklad tu uvádí pentametr (z Virgila), o čemž Rosa, aniž to příkladem objasnil, podrobně pojednal na str. 485. Navíc proti Rosovi má Pohlin ještě pojednání o rýmu (181), vyskytujícím se zvláště v *písních* (pesme), o nichž v 2. vyd. (1783, 224) ještě poznamenal, že se vyznačují kromě rýmu i rozmanitými druhy veršů; to znamená, že si byl už vědom, že v básních nemusí vždy býti jen hexametr nebo jiné pevným počtem slabik spoutané útvary veršů. A poněvadž mezi ukázkami těchto *písní* uvedl za příklad i několik veršů *přízvučných* (1. vyd. 180, 182), je viděti, že také už dost jasně rozlišoval od časomíry přízvučnou prosodii, kterou právě shledával v těchto písních. To jest ovšem už značný pokrok proti Rosovi, který ještě důsledně lpěl na časomíře, »odpočítávaje své slabiky na prstech«, jak ho vystižně charakterisoval už Dobrovský.[3]) K tomu mohl Pohlin dospěti sám od sebe, svou vlastní cestou, t. j. zkoumáním a porovnáváním veršů těchto písní s verši klasické poesie, od níž zřejmě odlišoval tyto produkty »přirozených poetů«, s nimiž se shledával i na slovinském venkově (2. vyd. 223).[4])

f) Náhodné asi také není, že Pohlin pojal do své gramatiky rovněž ukázku z Katonových distich (I. 185, II. 224. n), neboť jeho vzor Rosa jimi také zakončil svou gramatiku (488 n); Pohlin však je přeložil řečí nevázanou, takže postrádají toho významu, jaký mají u Rosy, který jimi chtěl dokumentovati formu správného českého verše.

---

[1]) Není proto třeba hledati v Pohlinově poetice vliv »renesančne poetike (Gottschedove)«, jak to viděl Grafenauer, Kratka zgod. slov. slovstva 1919, 86.

[2]) Po Rosovi i tady nahrazoval cizí termin domácím.

[3]) Jar. Vlček, Lit. čes. XIX. stol. I. (2. vyd.) 527.

[4]) Víme už z 1. kap. str. 14, že právě jeho současník a řádový bratr P. Dizma (Zakotnik) zapsal národní píseň o Pegamovi; byl tedy Pohlinovi verš národní písně znám.

B) **Pohlova gramatika a Pohlin.**

Také mezi Pohlovou gramatikou z r. 1756 a z r. 1764, o kterážto vydání především jde ve spojitosti s Pohlinovou gramatikou z r. 1768, je dosti shod, které není možno vyložiti jen jako náhodné. Není jich sice tolik jako v poměru k Rosovi, ale přece i ony po mnohé stránce osvětlují eklektickou činnost Pohlinovu a dávají nahlédnouti do jeho tajemné dílny.

a) Už v názvu jejich gramatik můžeme znamenati takové podobnosti: třetí díl Pohlinova titulu (*oder Kunst die krainerische Sprache* ...) může se býti ohlasem Pohlova podtitulu (*oder die böh: mische Sprachkunst*), a to tím spíše, ježto se zdá, že Pohlin ve svém obšírném titulu jakoby v nějakém akrostichu aspoň skrytě chtěl naznačiti své prameny, z nichž čerpal. Už výše jsem ukázal, že v první části svého titulu následoval *Rosu*, v části právě uváděné zdá se připomínati *Pohla* a obratem »*bei ruhigen Stunden*« se podle Štreklja »podivuhodně shoduje« s *Bohoričem*;[1]) významné tedy jest, že jsou to právě oni tři autoři, z nichž do své mluvnice vskutku nejvíce přejímal.

b) Z Pohlovy předmluvy v 1. a 2. vydání (1756 a 1764), která jest jenom kratinkým přepracováním Rosovy praeface, Pohlin nemohl mnoho čerpati, neboť v ní Pohl nepodává celkem nic nového, co by Pohlin už neznal z Rosy. Jen tu a tam některá podrobnost v pojetí nebo stilistický obrat svědčí, že mu byl Pohl znám a že do něho také nahlížel, jak jsem už většinou v poznámkách při Rosovi naznačil.

Týká se to především jejich názoru na jazyk, v němž jsou si navzájem bližší nežli Rosovi: oba totiž shodně znamenají v řeči, která je Rosovi produktem lidské činnosti, význačný znak přednosti, kterou se lidský rod liší od zvířat a věcí. Tak Pohl na 1. listě své předmluvy, která je ve vyd. 1756 stejná jako v 2. vyd. 1764, o tom uvažuje: »Unter anderen fürtreflichen Gaben, mit welchen die unermeßliche Natur, der ohnendliche Gott, den Menschen von den Thieren unterschieden, ist die Sprache«; podobně i Pohlin 1: »Die Menschengesellschaft bedient sich derselben (Sprache) zu ihren Vortheil«.

Víc než s Rosou se oba také vzájemně shodují v názoru o přirozené spojitosti slov (řeči) a věcí. Pohl: »Also ingleichen auch die Sprachen, durch welche der natürlichen Dinge Beschaffenheit an Tag geleget wird«; Pohlin 1: »Die Menschengesellschaft bedient

[1]) K. Štrekelj, Hist. slovnica slov. jez. Maribor (1922) 1. snop. str. 9.

sich derselben zur Eröffnung der Gedanken und zur Verewigung der Sachen«; a na str. 15: »Die Sache und die Natur der Sache entwerfen und zu verstehen geben«. Jejich jazyková praxe je toho také pádným důkazem.

Oba stejně také mají veliké mínění o svém *umění* mluvnickém, v čemž shodně překročují zralejší umírněnost Rosovu. Pohl: »Eine jede Kunst ist an sich selbsten schön genug einem die Wissenschaften liebenden Gemüthe zu gefallen und hat hingegen keinen größeren Anfechter und Widersacher als den Unweisen und Unwissenden; die anscheinende Beschwerde ist nicht allmahlen in der That so, wie selbe vorkommet, und gemeinglich nur der Anstoß jener trägssinigen Gemüther, welche mit blindem Urtheil weniger in ihrem Talent zu haben vermuthen und um ihren so gestalteten Mangel zu bedecken, die ganze Schuld dessen der Kunst aufbürden. *Da nun aber geneigter Leser!*« — Podobně i Pohlin mluví tak sebevědomě o svém díle a odmítá nepovolané posměváčky: »Wer eine Sprache oder ein Wort veracht und den Redner ohne Grund und ohne daß er das wenigste von einer Grammatik verstehet, verlacht, ist würdig von der ganzen gescheiden Welt ausgepfiffen zu werden. *Du aber sprachgünstiger Leser!*« (16). V tomto *captatio benevolentiae* čtenářovy, která se u obou vyskytuje po podobném ohrazení, mohla by se jeviti ještě víc než kde jinde přímá závislost Pohlinova na Pohlovi. Mimo to, stejné jejich diktátorské zacházení s jazykem je také zřejmým svědectvím o jejich přeceňování vlastních mluvnických schopností.

Více shod v jejich předmluvách v těchto vydáních už není.[1]) V nich pak leccos dalo by se vyložiti i dobově, t. j. ze stejného dobového názoru, kdyby ovšem v jejich gramatikách nebyla i taková místa, jejichž nápadnou shodu není si lze vysvětliti jinak než přímým přejímáním.

---

[1]) Teprve v předmluvě k 3. a 4. vyd. Pohlovy gramatiky (1773 a 1783), která je proti předmluvě v 1. a 2. vydání dosti pozměněna, dají se znamenati i jiné podobnosti, připomínající Pohlina, na př. identifikace *ilyrský-slovanský* nebo přílišné zdůraznění potřeby českého, u Pohlina slovinského (kraňského) jazyka pro státní a církevní zájmy; to Pohl neměl z Rosy, jako to z něho neměl ani Pohlin. Ježto Pohl s tím přichází teprve v posledních vydáních své mluvnice, vnucuje se možnost, vyložiti tyto shody ve směru Pohlin-Pohl. To ovšem nechci tvrditi beze vší výhrady, neboť identifikaci jazyka slovanského s ilyrským mohl Pohl znáti také z Doležalovy gram. z r. 1746 a zvýšený zřetel na zájmy vrchnostenské mohl u něho vyplývati jako u Pohlina z dobového, t. j. josefinského názoru na stát. Ale také není považovati za vyloučeno, že se Pohlovi Pohlinova gramatika mohla dostat do rukou (zájem o ni byl, to je známo) a že se mu z ní právě tyto podrobnosti zvlášť hodily.

c) Takové právě shody jeví se mezi Pohlovým »Přilepkem (Anhang) všelikých česko-německých rozmlouvání« (1756 str. 259 až 340) a Pohlinovým »Anhang einiger gemeiner Gespräche zur Bequemlichkeit der Reisenden« (I. 188—196, II. 236—245). V Rosovi, společné jejich předloze, takového konversačního přídavku vůbec není. Pohl ovšem většinu svých rozmlouvání skoro beze změny přejal z Jandytovy gramatiky (1704, 1705, 1715, 1732, 1753)[1] a z něho teprve jich použil i Pohlin,[2] vybrav si jen ty fráze, které se mu hodily do jeho plánu slovinsko-německo-italské konversace, potřebné na cestách. Proto proti Pohlovým 16 rozmlouváním má jich Pohlin jen 6 a v nich ponejvíce upotřebil konversačního materiálu z jeho 14., 15. a 16. rozmlouvání.

Tak Pohlinův 1. rozhovor *Vom aufstehen* odpovídá dílem 3. (O strojení neb oblékání), dílem 14. (O cestě) rozmlouvání v Pohlově gramatice. Na př. Pohlin 188: Gori! gori! moj gospud. Ustati se more; Pohl 268: Vzhůru staňte brzy! — Pohlin ibid. *Očete na cesto* se podati? *(cestuvati)*[3]; Pohl 329: Kdy se na cestu vydají? — Pohlin (ib.): Koku dolgu? Na osem dny; Pohl (ib.): Co nejdřív. Snad na budaucí tejden. — Pohlin (ib.): Kam očete *jiti?*[4] V laško duželo. V Benedke. Kolku mil?; Pohl 330: Kudy cestu naší vezmeme? Do Benatek nepřijdeme. Kolik mil tam počítají?

Jeho 2. rozhovor *Vom Essen* odpovídá v Pohlovi dílem 1. (Při potkání a ranním navštívení), pak 4. (O snídání), 15. (O noclehu a hostění) a 16. (O aučtu z hospodským) rozmlouvání. Tak Pohlin 189: Dobr dan gospud oštir. Očete mene pod streho uzeti?; Pohl 333: Pane hospodine! můžeme-li tu noclehem zůstati? — Pohlin 190: Pojtte noter moj gospud; Pohl (ib.) Můžau. — Pohlin 189: Koku je? Kaj imate dobrega? (190); Pohl 259: Kterak se vede? Pane, co nám dá k jídlu? (334). — Pohlin 190: Use sorte. Goveje, telečje, en kos pečenega, erdeče klobase; Pohl 334: Krom hovězýho telecí, pečeni jakoukoliv, klobasky. — Pohlin 191: Kje je vinu? Poplaknite glaž; Pohl 335: Kázat nám hodnau lahvici vína přinésti. Vyplachněte sklenice (275). Nechat sklenice vipláchnauti (337). — Pohlin 190:

[1]) Pohlovo 1. rozml. (Při potkání a ranním navštivení) se odnáší k 1. a 2. dialogu v Jandytovi (O ranním navštívení); 3. rozml. (O strojení neb oblékání) k 3. dialogu (O obláčení se); 4. rozml. (O snídaní) k 5. dialogu (O snídaní) atd.

[2]) Srovnal jsem za tím účelem Pohlinovu gramatiku i s Jandytovou a přesvědčil se, že jí Pohlin neznal, či lépe řečeno, jí nepoužíval, neboť by se jevily i jinde mezi nimi nějaké shody; je tedy jasno, že tu čerpal z Pohla.

[3]) Zřejmý čechismus, čerpaný tedy z Pohla.

[4]) Český inf. *jiti* místo slovin. *iti* měl, jak jsem už jinde ukázal, z Rosovy gramatiky.

Nej se usedejo k mizi. Miza je pogernena? Nej jedo gospud; Pohl 336. n: Líbí se sednauti. Jest na stole. Kterak pak prostřeno jest? (337). — Pohlin (ib.): Nimam noža, vilic; Pohl 337: Nože nejsau ostry a vidličky všechny skřiveny. — Pohlin 191: Tu vinu ni dobru; Pohl 338: Vino nejni špatný, projde. — Pohlin (ib.): Jest morem plačati. Kaj znese? Pol goldinarja šest inu trideset krajcarjov; Pohl 339: Nyní ale musíme taky platiti. Co jsme protrávili? Tři zlaty pět krejcaru.

V 3. rozhovoru *Von allerhand* shledáváme obdobné fráze z 5. (O čase) a 14. (O cestě) Pohlova rozmlouvání. Pohlin 191: Dellejte meni druženo. Sem per voli (zadovoln (II. 240); Pohl 277: Co chtějí bychom nyní dělali? Jest jim příležito se projíti? Já jsem s tím spokojen. — Pohlin 192: Ta cesta je lepa. Je kamnita; Pohl 331: Ale větším dílem je rovina. Někde málo hornato jest.

V 4. rozhovoru *Von der Reise* a 5. *Vom Fragen* leccos se odnáší k 14. (O cestě) a 15. (O noclehu) rozmlouvání v Pohlovi; zejména jsou to stejné osoby a věci, o nichž se tu mluví. Pohlin 193: voznik, kojni, kočija, kojnar, štala, postela; Pohl 330 n.: vozka, koně, kočár, (333) konírna, (336) pacholci, (338) postel.

Konečně 6. jeho rozhovor *An die Bedienende* obsahuje zase dosti stejných nebo obdobných frází se 14., 15. a 16. Pohlovým rozmlouváním. Pohlin 194: Hlapec! Kje je kojn? Pellite ga napayat. Dajte njemu ovsa, dobru sinu (195); Pohl 336: Kde jsau naší chlapci, pacholci? Zaopatřte koně. Napojte je a dejte jim sena (333). Dejte pozor, by se jim obrok dal. — Pohlin 195: Sezujte meni škorence. Zakurite. Zaprite durè; Pohl 336: Zujte mě z bot. Podívejme se na náš pokoj (335). Nechat vyhříti peřiny (338). — Pohlin (ib.): Sturite rajtengo. Oče že prečjiti? Zajtro zgudej; Pohl 340: Pořádnost učiníme. A nechat nás pán zejtra ráno časně zbuditi. — Pohlin 196: Srečno rajžo. Buh vas obari; Pohl 332: Šťastnou cestu. Buh opatruj (340).

d) Už v kapitole o Pohlinových čechismech bylo uvedeno, že většinu jich čerpal z Rosy. V poznámkách pak také bylo poukázáno i na ony, které převzal z Pohlovy gramatiky. Těch není ovšem mnoho, ale i z nich je viděti, že Pohlovu gramatiku měl po ruce a že jí užíval, kde se mu to právě hodilo.[1])

e) S Pohlem ho také sdružuje stejné zacházení s pravopisem; oba totiž chtějí zvýšiti úroveň svých mateřštin také pravopisnou

[1]) Zvláště čechismy, které dodal do 2. vyd. své gram., ukazují na Pohla jakožto pramen.

reformou. Postrádajíce však hlubších jazykových znalostí, zpřeházeli vlastně, co staršími zásadami bylo již ustáleno.

f) Jako Pohl. tak i Pohlin opovrhoval lidovou řečí a starším jazykovým základem; v tom jeví se oba jako zásadní vychovanci soudobého filologického racionalismu. Ač oba stejně vyšli z puristických zásad Rosových, přece se v jejich novotaření zřejmě obráží neslovanský duch, přejatý z germánské filologie.

A tak Pohlin, třeba v ideologii jazyka vyšel z Rosy, s nímž ho nadto sdružuje i vroucnost jeho vlasteneckého enthusiasmu, přece celou svou mluvnickou praxí a cenou vykonaného díla se řadí po bok *Pohlův*. Je tu tedy nejen zvláštní podobnost jmen, nýbrž i literárních fysiognomií.

C) **Jiné české prameny.**

a) Poučení o české historii čerpal Pohlin z *Dubraviovy Historie*, a to nejspíš z jejího frankfurtského vydání z r. 1678. Sám ho uvádí mezi svými prameny (2. vyd. jeho Gram. 1783, 251) a dovolává se ho při své ilyrské orientaci. Obhajuje totiž svou identifikaci pojmů *ilyrský-slovanský*, vzpomíná mezi jinými i jeho; měl tu patrně na mysli místo z jeho historie (1678) str. 46, kde Dubravius po starších kronikářích opakuje, že Češi přišli z Charvatska neboli *Ilyrie*. Z něho měl také zprávu o bratřích Čechovi a Lechovi, kterou uvádí ve své předmluvě na str. 7. S ním se také shoduje, že po Slovanech zůstávala různá pojmenování míst jakožto důkaz někdejšího jejich pobytu v nich (str. 8).

b) Zprávy o moravských dějinách a o náboženských poměrech severních Slovanů získal ze spisu *Jana Jiřího Středovského* »Sacra Moraviae historia«, Solisbaci 1710. Z něho si doplnil Rosovu pohanskou mythologii dalšími slovanskými výrazy. Tak pro *Apollona* má také výraz *Jasson* (I. 184, II. 226); tohoto pojmenování Rosa neuvádí, ale má jej Středovský v VIII. kap. na str. 53 ve formě *Jassen.*[1]) Pro *Jupitera* má výraz *Beron* (ibidem); Rosa, jak už bylo na svém místě uvedeno, má *Peron*; Středovský ho ve svém odstavci neuvádí, zato však o Perunovi podrobně pojednává v kap. V. na str. 35 (a 223), kde podotýká, že se od jeho jména odvozuje i jméno města *Brna*, které prý původně znělo *Perno*. Možná tedy, že to byl další důvod, proč Pohlin si změnil *Peron* na *Beron*, ježto se mu to asi dodře hodilo do jeho představy o Jupiterovi, založené na kořeni *ber-*.[2]) — *Venus* je mu *Siba*[3]) nebo *Čistlika*; Rosa uvádí

[1]) Proč dával Pohlin přednost koncovce *-on*, o tom viz na str. 466 poz. 2.
[2]) O tom už byla řeč při Rosovi na str. 466.
[3]) Čti však *Ziba!*

jen výraz *Zyzlila*, z něhož si Pohlin neporozuměním (čta jej asi Cislila) utvořil svůj název Čistlika; Středovský v kap. VIII. str. 52 má pro Venus výrazy *Siwa* seu *Dziwa*; toto *Siwa* četl Pohlin podle svého pravopisu asi *Ziba* (*w* mu totiž znamenalo hlásku *b*, na př. *wodi — bodi*), což mu souviselo se slovinským slovem *zibel* (kolébka) od slovesa *zibljem* (kolébám), jak to sám později vyložil ve svém Glossariu 1792, str. 92.

Ze shodných výrazů u Pohlina a Středovského, s jejichž obdobou se však u Rosy neshledáváme, jest tedy jasno, že Pohlin Středovského znal a také jeho spisu, kde se dalo, upotřebil.[1])

D) **O vzniku Pohlinovy gramatiky.**

V přímý styk s češstvím a s českou knihou se Pohlin pravděpodobně dostal záhy po svém vstupu do řádu bosonohých augustiniánů v Mariabrunnu u Vídně (10. dubna) r. 1755[2]) a pak na svých theologických studiích v jejich klášteře ve Vídni, v nichž bývalo ještě tou dobou dostatek českých řeholníků za účelem každonedělních českých kázání.[3]) A od těchto českých spolubratří, kteří jako kazatelé jistě měli pro svou potřebu buď sami nebo v klášterní knihovně nutnou zásobu českých knih, mezi nimiž zajisté i české gramatiky, slovníky atd., se patrně seznámil s českou gramatickou literaturou a zejména už také s Rosovou Čechořečností, která od zavedení češtiny na vojenské akademii v Nov. Městě u Vídně byla od r. 1752 právě učebnou knihou, již pak r. 1756 vytlačila Pohlova gramatika, za tím účelem sepsaná.[4]) Od nich se nejspíš také dověděl o ceně a přednostech Rosovy mluvnice před Pohlovou.[5]) Kromě těchto knih se mu asi také už v tomto prostředí, v němž žil téměř osm let, t. j. do polovice r. 1763, dostaly do rukou i ostatní české prameny, s jejichž ohlasem se setkáváme v jeho gramatice. A v těchto letech, věnovaných podle jeho biografa[6]) pilnému studiu nejen theologických, nýbrž i filosofických spisů, se už asi také zrodil

[1]) Další slovanské výrazy z pohanské mythologie, jimiž rozšířil svou serii slovanských božstev ve svém slovníku 1781 a v Glossariu 1792, čerpal, jak se zdá, z pokračovatelů Středovského P. Mar. Ullmanna (Altmähren II. 1762) a Jiř. Papánka (Historia gentis Slavae 1780).

[2]) Illyr. Blatt 1835, 1 (P. Marcus Pohlin; podepsán Braun -r, t. j. Fr. X. Heinrich).

[3]) De Luca, Topographie von Wien I. 1794, 496 n.

[4]) Osvěta VI. I. 91, 93.

[5]) Že se Pohlin ve své mluvnici držel více Rosovy gramatiky nežli Pohlovy, jest přičísti právě tomuto vlivu, neboť sám nemohl míti takových znalostí českého jazyka.

[6]) Illyr. Blatt l. c. 1.

Нѣсколько замѣчаній о заимствованных словах.

(По поводу книги: Slavisch-germanische Lehnwortkunde. Eine Studie über die ältesten germanischen Lehnwörter im Slavischen in Sprach- und Kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Von Adolf Stender-Petersen, o. Professor der slavischen Philologie an der Universität Tartu (Dorpat). Göteborg, 1927.)

Обширный труд проф. Стендер-Петерсена посвящен древнѣйшим заимствованным словам, перешедшим из германских языков в обще-славянскій. Он был бы полезен, если бы ученый автор не старался провести свою мысль, что славяне заимствовали слова у германцев по зависимости своей от послѣдних как побѣжденные или покоренные, и при этом не забывал звуковых законов и исторических данных. Он черезчур много заботится о том, чтобы внести в свой список славянских слов, взятых у германцев, сколь можно более словарнаго матеріала. Права других языков попираются им с полною простотою и очевидностью.

Чтобы не быть голословными, приведем два-три примѣра.

Всѣм извѣстна слѣдующая особенность романских языков: они, перед начальными группами согласных звуков *ст-* и *сп-*, имѣют неорганическій гласный *e* или *i*. Так, во французском языкѣ мы слышим *était* из латинскаго *stabat*, *état* из латинскаго *status* и т. п. (с потерею *s*). Славянскіе языки пользуются словом **истъбъка*, **истъба* (русск. *изба́*), при французском *étuve*, средневѣков. латинском *stuba*. Ясно, что славяне взяли это слово у одного из романских языков.

Другой примѣр. Романскіе языки утратили *в* между гласными. Так, во французском языкѣ получилось *cité* из латинскаго *civitas*, в итальянском *citta*, в румынском *cetate*. Славяне, рядом с болѣе рѣдким *Дунав*, имѣют названіе рѣки *Дунай*, уменьшительное *Дунаец*, при древнѣйшем *Danuvius*, *Danubius*, из дако-скиѳскаго **Dana-avi* (рѣка Овца), **Danāvi*. И здѣсь ясно, что славяне получили это слово от романцев.

Еще примѣр. Геродот, а за ним и Аристотель, говорят о львѣ в Македоніи. Гомер, как известно, хорошо знаком со львом, у него лев называется *λίς* или *λῖς*, множ. ч. *λίες* или *λῖες*. Очевидно, древнее названіе его в Македоніи было **λι̯ε-*, что́ вполнѣ

nikdy nebylo mnoho, zvláště ani jediná česká gramatika se v ní nepřipomíná.

To vše tedy souhlasně ukazuje na to, že jest hledati zřídlo Pohlinovy české orientace ve Vídni.

E) Otázka čechismů v jeho slovnících.

Už v předmluvě k své gramatice z r. 1768, str. 12 Pohlin označil vedle mluvnice též slovník za nejúčinnější prostředek zvelebení a ustálení spisovné řeči a poznamenal, že už má také podobný slovník po ruce a že jej rovněž míní »k prospěchu vlasti« vydati. Patrně tedy už v tuto dobu přistoupil k soustavnému sbírání slovního materiálu slovinského jazyka, plně takto důsledně svůj vytčený literární a národně-buditelský program. Již tehdy podle všeho měl také k disposici rukopisné slovníky Kastelcův a Hipolitův, charvatský Belostencův a obě vydání Megiserova dikcionáře (1592 a 1744), z nichž vskutku do svého prvního slovníku *Tu malu besedishe treh jesikov*, vydaném v Lublani r. 1781, také nejvíce čerpal.[1] V kapitole o jeho gramatice již bylo s dostatek poukázáno na jeho puristicko-novotářské zásady, jimiž se po vzoru Rosově a v duchu své doby řídil, na tomto místě pak je třeba jen ještě zdůrazniti, že touž rosovskou ideologií se vyznačuje i tento jeho slovinsko-německo-latinský slovník. Spousta jeho smělých a často nepodařených novotvarů, jimiž jej přeplnil, je vskutku ukuta důsledně v principu jeho rosovsky pojaté gramatiky a není divu, že v něm také nalézáme i značný počet *čechismů, ať přímých či odvozených.* Proto první jejich pramen je tedy rozhodně hledati už v Rosově a pak též Pohlově gramatice: vždyť do něho pojal všechny čechismy, které právě z nich čerpal už ve své mluvnici, a řadu jich pak ve svém slovníku ještě značně rozhojnil. Mimo to se mu podle všeho už také v Lublani dostal do rukou i Megiserův Thesaurus, z něhož se seznamoval s českým slovním materiálem podobně jako před ním slovinští lexikografové z 2. pol. XVII. stol., jmenovitě čechisující Anonym. V Lublani pak také podle všech známek používal též Komenského knihy *Janua linguarum*, a to českého jejího vydání (jesuitského) z r. 1716, kteréž právě chovala knihovna jeho lublaňského řádu (odtud se dostala do Lyc. bibl.);[2] tato Komenského *Brána jazyků* mu patrně byla praktickou učitelkou českého jazyka vůbec a sloužila mu nepochybně i jako předloha a vzor v rukopise

[1]) A. Breznik Razprave III. str. 143 a n.
[2]) Srov. na str. 479 poz. 4.

zůstaveného spisu *Janua linguae carniolicae*.[1]) K těmto pramenům pak se mu po jeho druhém příchodu do Vídně r. 1775 (setrval tam až do r. 1781, kdy se zase vrátil do Lublaně, kdež teprve vydal svůj slovník) přidružily asi ještě jiné české slovníky a pomůcky, z nichž především padá na váhu novotařským duchem se vyznačující Vusínův *Lexicon tripartitum* (patrně 3. jeho vydání z r. 1742) a pak Wiedemannův[2]) *Neuverfasstes Deutsch-Bohmisches Wörterbuch zum Gebrauch des K. K. Cadeten-Corps zu Neustadt*, zhotovený podle Veleslavína a vydaný u Fritsche v Novém Městě u Vídně r. 1768. Vedle nich podle všeho také mu byl přístupen i Veleslavínův *Nomenclator quadrilinguis* z r. 1598. Že vskutku z těchto jmenovaných pramenů čerpal nejen hotová česká slova, nýbrž i odvozeniny z nich, přesvědčil jsem se z celé řady slov, s nimiž se právě shoduje i co do latinských a německých významů, jimiž své čechismy doprovodil; nejvíc tu ovšem padá na váhu Megiser a Vusín. Na důkaz uvedu aspoň tyto výrazy, z nichž také bude viděti, jak si při tom počínal:

Pohlin: zhèrt (*böser Feind, cacodaemon*); Megiser: czert (*cacodaemon*); Vusín: čert (*böser* Geist, *Feind*, Daemon). — Pohlin: zhernób (*Beyfuß, ambrosia*); Meg: *nemá*; Vus: černobýl (*Beyfuß*, vitemisia); Veleslavín: czernobýl (*ambrosia*). — P: *dobramifl* (*Wohlgemuthkraut, origanum*); Meg: *dobramifl* (origanus); Vus: dobrámysl (*Wohlgemuth, origanum*); tu Pohlin následoval Megiserova pravopisu. — P: *stud* (*Keuschheit, castitas*); Meg: ftud (verecundia); Vus: ftud (pudor, verecundia); Kom. Janua: ftud (*čiftota, Keuschheit, castitas*). — P: *sumàh* (Färberrindenbaum rubia); z uvedených jeho pramenů lze nalézti pro to doklad jedině ve Velesl. Nom: *sumach* (rhus culinarium, frutex coriarius, Lauchholz). — Pohl: *prevós* (Ueberfahrt, traiectum); Meg: priwoz (traiectus); Vus: přjwoz (Ueberfahrt); Kom. Janua: *nemá*; Wiedemann: *přewoz* (Ueberfahrt).

Ježto už Fr. Ilešič[3]) a na něm nezávisle také A. Breznik[4]) vybrali z jeho slovníku celou řadu zmíněných čechismů, doplním jejich sbírku ještě těmito několika výrazy nesporně české provenience, které jim unikly: *kofhelnèk* (Schwartzkünstler, magus), č. *kauzedlník* (do-

[1]) Kam se poděla Pohlinova pozůstalost, nemáme dnes nijakých zpráv; proto ani o tomto spise se není lze blíže vysloviti.

[2]) O Václ. Wiedemanovi, rodem z Plzně, který byl učitelem čes. jaz. na vojenské akad. v Nov. Městě u Vídně od r. 1752—1774 viz článek Tomáše Buriana »Český jazyk na voj. akad. v Nov. Městě za Vídní« v ČČM 1844, str. 520—534.

[3]) Sborník filologický VII. str. 187 a n.

[4]) Razprave III. str. 157—160.

klady ve všech zmíněných pramenech); *mashtalir* (Marschstaller, praefectus stabuli), č. *maštalíř* (tytéž doklady); *squôr* (Ohrenlaus, scolopendra), č. *škvor* (hlavně Kom. Janua má tytéž lat. významy); *truskavèz* (Wegtritt, polygonum), č. *truskavec* (tytéž lat. významy u Vusína); *tsheshûlka* (Knabenkraut, satyrium), č. *žežulka* (u Vusína s významy *satyrium*, *Knabenkraut*), *žežhulka* (v Kom. Jan. s týmiž významy).

Čechismy, které Pohlin pojal do svého slovníku, neznamenaly pro slovinštinu ovšem nijakého obohacení; ač jimi patrně mínil zvýšiti její ryzost, přece ve výsledku nejsou nic jiného nežli planý výplod jeho podivnůstkářské puristicko-novotářské horlivosti.

Také ve svém etymologickém slovníku *Glossarium slavicum* z r. 1792 uvádí jako doklad několik českých slov (hamba, kmet, kniha, kněz, obočí), jež však většinou znal už ve své gramatice a slovníku z r. 1781, takže je čerpal z týchž pramenů, kterých používal při nich; slova *kmet* a *obočí* měl pak z Popovičova *Specimen*, jehož používal[1]) a v jehož lístcích[2]) jsem je také našel.

F) Doslov.

Pohlinův význam zajisté netkví ve vědecké ceně jeho gramatického a slovnikářského díla, nýbrž v jeho podnětu a vlastenecko-buditelské idei, v čemž ho značnou měrou vychovala právě česká kniha a styk s českým prostředím (nejprve s českými řeholníky v Mariabrunnu a ve Vídni, pak s českými učenci tamže: Zlobickým, Šimkem, Voigtem, Dobrovským a snad i s Durichem). Od jeho doby působení české knihy a českého myšlení na Slovince už nepřestalo; českou orientaci po něm přejala mladší generace: Blaž Kumerdej, Val. Vodnik, Urban Jarnik[3]) a zvlášť utužil česko-slovinskou literární součinnost Jernej Kopitar svým dlouholetým stykem s Josefem Dobrovským, o čemž všem jest již dostatek dochovaných zpráv.

---

[1]) A. Breznik, Popovičev Specimen ter Pohlinov Glossarium slavicum ČJKZ VI. (1927) str. 91—99.
[2]) Chová je Lyc. bibl. v Lublani.
[3]) Fr. Ilješič, Sbor. fil. VII. str. 205—213.

Замѣтки по славянской морфологіи.[1])

6. *Ц.-сл.* пладьнє *и др.*

Тексты ц.-сл. происхожденія не раз пользуются словом *пладьне* в значеніи ,полдень', ,в полдень', и его производными *пладьния, пладьние, пладьнина* и т. п. (см. словари Миклошича и Срезневскаго). Обыкновенно это слово объясняют или из **пол-дьне*, или из **поло-дьне;* но оба объясненія равно непріемлемы: срв. с **поло-дьне* — ц.-сл. *прѣполовити* и т. п., показывающія, что ц.-сл. язык ,не боится' слога *-оло-* со слѣдующим согласным.

Рядом с *пла-дьне* мы ставим вр. *полá-бѣды* (в значеніи ,полбѣды' и вр. *полá-горя* „кому горе, а ему *полá-горя*", и т. п.[2]). Московскій говор употребляет *с-полá-горя,* повидимому, в значеніи ,сполгоря', ,с половину горя'.

Вр. прилагат. *полоýмный* позволяет предполагать существованіе когда-то слова **полá-ума,* в значеніи ,половина ума', ,глупость'.

В приведенных словах *пола-*, очевидно, родственно с *пла-* в *пла-дьне* и тождественно с *пла-* по значенію; *пла-* — механическое сокращеніе болѣе древняго *пола-*, однородны с р. и пол. *для, dla* из *дѣля, dziela* и др. (рѣдкими), результат очень частого употребленія в рѣчи нѣкоторых слов.

По нашему мнѣнію, мы здѣсь имѣем дѣло с формою неизвѣстнаго нам падежа от существ. *полъ-*, тою самою формою, которая является перед нами также в вр. *дóма, вчерá, однáжды*, в болг. *еднаш*, в вр. *одновá* и т. п.[3]).

От этих форм переходим к однородным (по нашему мнѣнію) — др.-р. *та* в *в та дни* (Успенскій сборн. XII в.), соврем. вр. *в-тá-поры* и *в-та-порý* ,в то время', ст.-ч. *v ta doby* и т. п.[4]) с тѣм же значеніем, и р. *во-вся-годы, во-вся-дни* и т. п., нерѣдким

---

[1]) См. Slavia V, 1926, 451 сл.
[2]) См. еще в словарѣ Даля.
[3]) Об них мы говорили подробнѣе в Р. Ф. В. LXIX, 1913, 385 сл.
[4]) Данныя в статьѣ акад. Зубатого в Sborník filol. VI, 1 сл.

в московских документах XVI—XVII вв., гдѣ обычное употребленіе буквы *я* указывает на ея ударяемость. Видѣть в этом *я* — ц.-славянизм не представляется возможным. Мы уже говорили об вр. *та, вся, ся* (от *сь*)[1]; мы объясняли их как формы вин. п. мн. ч. средн. р. мѣстоименій, соединенныя с формою род. п. ед. разных существит. Так обр. первоначальный вид сочетаній, по нашему мнѣнію, был **въ-та-поры, *въ-вься-года, *въ-вься-дьне,* со значеніем ,в ту часть времени, въ ту часть года, в ту часть дня'. Эти формы *та, вься, ся* мы теперь считаем по образованію и первоначальному значенію тожественными с вышеупомянутыми *пола́-, до́ма, одна́жды* и пр.

Переходим к вр. *ономня́сь, ономе́дни, наме́дни* и т. п. Из них *ономе́-дни,* очевидно, восходит к формѣ мѣстн. п. ед. **ономь дьне,* без предлога. То же можно думать и од *ономня́сь,* с тою разницею, что оно восходит к **ономь дьня́-сь,* т. е. гдѣ перед нами форма на *-а,* близкая к тѣм же вышеупомянутым формам *пола-, дома* и пр. Она звучала, может быть, **дьня,* но скорѣе **дьнья*: срв. ц.-сл. дьнья (твор. п. ед.; значеніе ,днем'), ст.-р. *пятья, шестья, десятья* и т. п. (значеніе ,пять раз', ,шесть раз', ,десять раз')[2]). Послѣднія формы еще вполнѣ обычны в вр. памятниках XV—XVI вв. Приведем двѣ, с удареніем в рукописи: не единова, но *пя́тья* и *ше́стья* = ,не один раз, но пять и шесть раз' (переводный с нѣмецкаго Лѣчебник XVI в., собранія Царскаго № 615, л. 241). Нынѣшніе вр. говоры знают, в значеніи „пять раз" и т. д., только *пя́тью, ше́стью, де́сятью* и т. д. (хотя обычныя формы тв. п. звучать *пятью́, шестью́, десятью́,* с удареніем на концѣ).

В связи с приведенными формами на *-я* находятся формы *одиноя, единоя* ,один раз': поиди *одиноя* с нами, в Лаврентьевск. сп. лѣт. (приведено в „Мат." Срезневскаго), сблудити *одиноя,* ясть хлѣб с капустою *единоя* днем, в р. сборниках XV в. (см. С. И. Смирнова, Матеріалы для исторіи др.-р. покаянной дисциплины, М. 1912, стр. 70, 241).

Дополненіе: приидe в *третія* = ,в третій раз' (Никоновск. лѣтопись под 1279 г.).

Заканчиваем наш список форм на *-а, -я* выпискою из ц.-сл. Супрасльской рук.: призъвали на *помоштья* ему (по изданію р. Акад. Н. стр. 151) = *εἰς βοήθειαν.*

---

[1]) См. нашу статью в Р. Ф. В. VI, 1881, 52.
[2]) См. еще в нашей статьѣ в Р. Ф. В. LXIX, 1913, 385 сл.

Перед нами падежная форма, но какого падежа? Срв. гр. *οὕτω, ὧδε, οὕτως, ὥς, καλῶς* и т. п.,[1] сл. *егда, къгда, кѫда*, лит. *advos*, сл. *едъва-одьва, таже*, пол. *owa* и т. п. на *-a*.

Прилагат. ц.-сл. *вьчерашьнь* Супр. р., Клоц. сб., Григ. Бог. XI в., соврем. вр. *вчера́шній; домашьнь* Остр. Ев., Клоц. сб., Шишат. Ап.; *тъгдашьнь* Григ. Бог. и т. п. (рядом *кромѣшьнь, нынѣшьнь, вънѣшьнь* и т. п.) имѣют *ш* из *х* или из *с*; не восходит ли это *ш* к древнѣйшему (до историческому) согласному, окончанію какой-то пад. формы?

Ц.-сл. *домаштьнь*, сербск. *домаћин* имѣют основу на *-ат-*, ту же, что в прилагат. *крилать, рогать* и др.

7. *Одна из форм мѣстн. пад.?*

K. Suchý в статьѣ: „Über den alten Optativ *si* im Slovakischen“[2]) приводит из словацких говоров такія фразы: starej babe leda hrable, a mladej len *si* muž = dem jungen *sei* nur der Mann: — čo nas potom, kto nam do saku duri, len *si* ryba naša = wenn nur der Fisch uns gehört. Отмѣченное в них *si*, по его мнѣнію, — „eine alte Optativform“, = лат. *sit*, ст.-лат. *siet*.

Трудно согласиться с г. Сухим. Форм *си, себѣ, собою* и т. п. много во всѣх слав. языках (особенно в живой рѣчи народных говоров), и всѣ они — несомнѣнныя пад. формы возвратн. мѣстоименія.

Возьмем акты Писцоваго дѣла и другіе московскіе документы XVI—XVII вв. Мы читаем: живет он в Казани *себѣ*, пьет и ѣст и торгует собою; — писать дворы лутчіе *себѣ*, а середніе особно же; — псковских гостей дворы описати *себѣ* статьею, опричь черных людей (= без ч. л.) . ., то все писати *себѣ* статьею подлинно; — в книги тот новой оброк написати имянно (по именам) *себѣ* статьею.

Как понимать в первой фразѣ *себѣ*, трудно опредѣлить; по-видимому, *живет себѣ* значит ‚сам по себѣ‘, ‚самостоятельно‘, ‚независимо‘. Соврем. вр. говоры хорошо знают это *себѣ: он живе́т себѣ без нужды; он себѣ живет; живет он та́к себѣ;* его мы находим и в произведеніях изящной литературы: *забившись на чердак, меж небом и землею, свисти́т себѣ в кулак, да ёжится зимою* (Беранже, в переводѣ Курочкина). Как будто здѣсь себѣ придает нѣчто в родѣ симпатичности тому предмету, дѣйствію,

---

[1]) Срв. Brugmann, Gr. Gr.[4], § 296 сл.
[2]) Arch. f. slav. Phil. XXXIX, 125 сл.

состоянію, которое выражается словом, предшествующим *себѣ*. Необходимо имѣть в виду, что это *себѣ* не имѣет своего ударенія.

В фразах, гдѣ *себѣ* предшествует слову *статья,* вмѣсто *себѣ* может быт *осо́бь, осо́бно* и т. п. (т. е. вмѣсто *себѣ статья* — *осо́бь статья*); так. обр. *себѣ* является синонимом *осо́бь,* с значеніем „особая статья", „отдѣльная, независимая статья". Соврем. вр. язык еще употребляет *осо́бь статья!*

Нам приходилось уже говорить об *осо́бь*[1]). Мы высказали мнѣніе, что это — соединеніе предлога *о* и архаической формы мѣстн. п. *собь* = лит. *savi,* однородное с соединеніями ц.-сл. *на-собь, по-собь, при-собь, за-собь, ж-собь,* пол. *dwój-nasób* (и сходными чешскими и словацкими) ‚дважды два', соврем. вр. *в-собь* ‚для себя'. Если *себѣ (статья)* = *осо́бь(статья́),* мы в правѣ думать, что *себѣ* нѣкогда было такою же формою мѣстн. п., как и *(о)собь.*

Кстати замѣтим, что в Повѣсти Епифанія об Іерусалимѣ, переведенной с греч. на ц.-сл. яз. в Россіи XII—XIII в. читается: церкви Соломоня *собестенена ὁ ναὸς ἰδιότειχα* (Правосл. Палестинск. Сборн., IV, 2), что́ можно возстановлять и **собѣ стѣнена* и **собь-стѣнена.*

Возвращаемся к фразѣ: живет он в Казани *себѣ*, пьет и ѣст и торгует собою. Какое падежное значеніе первоначально имѣла форма *себѣ?* По нашему мнѣнію, это была также форма мѣстн. п.

8. *Глагол* **сѧтъ**?

Словарь Миклошича дает ряд указаній на мѣста ц.-сл. памятников, гдѣ будто-бы находится этот глагол, с значеніем ‚inquit'. Но просматривая тексты, мы видим, что ц.-сл. памятники (между прочим Клоц. сб.) употребляют и **сѧтъ**, и **сѧти**, и **сѧ** в одном и том же значеніи, как будто безразлично. Но не вполнѣ. Греческія формы различаются: гр. *φησί* передается через **сѧ** и **сѧтъ**; гр. *φασί* — через **сѧти**. Как будто **тъ** и **ти** — мѣстоименныя формы, а **сѧ** — остаток глагол. формы возвр. залога, с значеніем ‚говорит', ‚говорят'. Собственно-глагол. форма отброшена и утрачена, и мы имѣем перед собою лишь возвр. мѣстоименіе, помѣщавшееся перед глагол. формою.

Сокращеніе часто употребляемых глагол. форм с значеніем ‚говорит, говорил' — явленіе обычное. Русскій язык XVI —XVII вв. изобилует формами *де, дей,* из *дѣе* = *дѣеть,* 3 л. ед., ‚говорит' — формами *молыт, молыл* = *молвит, молвил*; отсюда далѣе *моль*

[1]) Р. Ф. В. LXXI, 1914, 19.

(без ударенія); недавно еще московскій говор употреблял *дескать* (без ударенія) = *де-сказываеть*; нынѣ в этом говорѣ мы слышим *гыт* (без ударенія) = *говорит*; малорусскіе говоры пользуются формами *каэ*, *ка* = *каже* и т. п.

Однородное сокращеніе — в **сѧ тъ** *л*, **сѧ ти** *л*. Какой именно глагол был на мѣстѣ *л*, мы не в силах догадаться.

Срв. лат. *loquitur*, 3 л. возвр. залога.

9. *К славянскому имперфекту.*

Проф. A. Meillet вновь поднял вопрос о слав. имперфектѣ[1]) и вновь вопрос остался вопросом. По нашему мнѣнію, французскій славист пошел тою же невѣрною дорогою, по которой шли его предшественники. Он остановился на конечной части имперфектных форм; между тѣм они вполнѣ ясны: это — окончанія форм аориста, с уклоненіями от обычных форм аориста, но с уклоненіями ничтожными. Зато он оставил вовсе без вниманія основу имперфектных форм, на которую мы когда-то указывали с приведеніем новых данных[2]).

Впрочем и старыя данныя дают достаточное разъясненіе вопроса. Мейе не упомянул в своей статьѣ ни разу о нѣскольких десятках форм настоящ. врем. *имаамь* и т. д. в Остромировом Ев., авторитетном во всѣх отношеніях памятникѣ, котораго нельзя игнорировать. Совпаденіе долготы в сербск. *имāм* в чешск. *mám* и в пол. диалектич. *mom* (из *mām*) может быть объяснено только предположеніем о происхожденіи *а* из *аа* или чего подобнаго. Наши случайныя находки (см. указанную нашу статью в Р. Ф. В.) дали, кажется, кое-что заслуживающее вниманія. Это — прежде всего, нерѣдкая в средне-болг. текстах XII - XIV вв. и в списках со средне-болгарскаго — сербских и русских, того же времени, форма причастія *знаал*, *знаял*, однажды форма неопред. накл. *знаати* (срв. сербск. *знāм*, ч. *znám*). Если бы наши слависты побольше углублялись в обширный и цѣнный матеріал рукописей, они, конечно, нашли бы гораздо больше форм этого глагола с основою на *-аа-*, чѣм мы. Мы в этом увѣрены, так как в житіи русскаго святого, преп. Сергія Радонежскаго, написанном начетчиком в средне-болг. текстах Епифаніем Премудрым в концѣ XIV в., встрѣтили фразу: аще бых *знаал* ...[3])

---

[1]) Глас Српске Крал. Акад. CXII, 1924, 88 сл.
[2]) Р. Ф. В. LXIV, 1910, 160 сл.
[3]) По изданію Н. С. Тихонравова, стр. 5.

Ново-болг. діалектич. данныя также дают нѣчто: макед. *знаял*, *желаял;* но их, кромѣ нас, кажется, никто не только не собрал и не изслѣдовал, но даже и не замѣтил. В дополненіе укажем на неопр. накл. *прияяти* и другія формы этого глагола в молдавских документах XIV—XVI вв. на смѣси средне-болг. языка с русским.

Болгары сохраняли в теченіи вѣков и довели до наших дней глагольныя формы с основою на *-аа-*, тѣ, которыя мы читаем в Остр. Ев. Им было бы легче, чѣм другим славянам, подобрать лексическій и грамматическій матеріал, но и русским не мѣшало бы заглянуть в принадлежащія русским древлехранилищам Евангеліе Григоровича XII в. № 1690 (здѣсь: **аще мѧ бисте** *знаѣли*. **и отьца моего** *знаали* **бисте**), Ев. Карпинское XIII в. (здѣсь: **аще мѧ** *знаали* **бисте, и отьца моего** *знаали* **бисте**) и многія др., и французам слѣдовало бы заняться скромным по величинѣ Парижским Стихирарем XIII в., из котораго когда-то дал извлеченіе Срезневскій ...

И чехам не мѣшало бы обращать больше вниманіе на инославянскія данныя, когда они говорят об исторіи своего языка. K. Rocher в своем трудѣ о развитіи чешскаго спряженія[1]) говорит рѣшительно: „в древній період окончаніе *m* в 1-м л. ед. наст. вр. имѣли только пять глаголов атематических: *jmám*, *dám*, *viem*, *jiem*, *jsem*“. И далѣе: „Настоящ. вр. ц.-сл. **имамь**, **имаши**, **иматъ**, мн. ч. **имамъ**, **имате**, **имѫтъ**, прич. **имы**, **имѫшти**“. Не говоря о том, что формы 3 л. мн. **имѫтъ** и прич. **имы**, **имѫшти** образованы от другой основы (1 л. ед. **имѫ**, неопр. н. **ѩти**), мы отмѣчаем полное забвеніе ц.-сл. **имаамь**, **имааши** и т. д. Остр. Ев., форм, которыя могут освѣтить исторію не только *mám*, но и *znám*, *hrám*, *dělám*, нѣсколько иначе, чѣм освѣщает Rocher: то, что он считает новообразованіем, может быть глубоким архаизмом.

Но возвращаемся к имперфекту. Если в пра-славянском спряженіи существовала основа **знаја-*, вполнѣ естественно было существовать от нея не только формам наст. вр., но и всяким другим, в их числѣ аористическим. Сильно-длительное видовое значеніе этой основы привело к широкому употребленію аористических форм с значеніем имперфекта, поддержало их в борьбѣ с аористич. формами других основ и довело их до историческаго періода жизни слав. языков.

Москва

† *А. И. Соболевскій.*

---

[1]) Sborník filol. VIII, 1, стр. 11, 28.

Нѣсколько замѣчаній о заимствованных словах.

(По поводу книги: Slavisch-germanische Lehnwortkunde. Eine Studie über die ältesten germanischen Lehnworter im Slavischen in Sprach- und Kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Vor Adolf Stender-Petersen, o. Professor der slavischen Philologie an der Universität Tartu (Dorpat). Göteborg, 1927.)

Обширный труд проф. Стендер-Петерсена посвящен древнѣйшим заимствованным словам, перешедшим из германских языков в обще-славянскій. Он был бы полезен, если бы ученый автор не старался провести свою мысль, что славяне заимствовали слова у германцев по зависимости своей от послѣдних как побѣжденные или покоренные, и при этом не забывал звуковых законов и исторических данных. Он черезчур много заботится о том, чтобы внести в свой список славянских слов, взятых у германцев, сколь можно более словарнаго матеріала. Права других языков попираются им с полною простотою и очевидностью.

Чтобы не быть голословными, приведем два-три примѣра.

Всѣм извѣстна слѣдующая особенность романских языков: они, перед начальными группами согласных звуков *ст-* и *сп-*, имѣют неорганическій гласный *е* или *i*. Так, во французском языкѣ мы слышим *était* из латинскаго *stabat*, *état* из латинскаго *status* и т. п. (с потерею *s*). Славянскіе языки пользуются словом **истъбъка*, **истъба* (русск. *избá*), при французском *étuve*, средневѣков. латинском *stuba*. Ясно, что славяне взяли это слово у одного из романских языков.

Другой примѣр. Романскіе языки утратили *в* между гласными. Так, во французском языкѣ получилось *cité* из латинскаго *civitas*, в итальянском *città*, в румынском *cetate*. Славяне, рядом с болѣе рѣдким *Дунав*, имѣют названіе рѣки *Дунай*, уменьшительное *Дунаец*, при древнѣйшем *Danuvius*, *Danubius*, из дако-скиѳскаго **Dana-avi* (рѣка Овца), **Danavi*. И здѣсь ясно, что славяне получили это слово от романцев.

Еще примѣр. Геродот, а за ним и Аристотель, говорят о львѣ в Македоніи. Гомер, как известно, хорошо знаком со львом, у него лев называется *λίς* или *λῖς*, множ. ч. *λίες* или *λῖες*. Очевидно, древнее названіе его в Македоніи было **λιϝ-*, что́ вполнѣ

соотвѣтствует славянскому *льв-*. Зная это, автор все-таки причисляет славянское слово к заимствованіям из готскаго языка и создает готское **liwa-*, будто бы полученное готами из какого-то балканскаго языка (стр. 362).

Еще примѣр. Древне-славянскій язык имѣет, для передачи греческаго *τὰ σάββατα*, слово *сѫбота* = *сомбота*. По автору, это — германизм. Автор знает о существованіи в „малоазійском" греческом произношеніи замѣны звуковой группы *ββ* и т. п. через *μβ*. Очевидно, славянскіе первоучители, введшіе в свой древне-славянскій текст евангелія слово *сѫбота*, знали его в своем греческом произношеніи в виде *σάμβατα*. Сравните в древне-русских книгах обычное *Амбакумъ* при греческом *Ἀββακούμ* (имя), *Самфира* (имя), *самфиръ σάπφειρος* (камень).

Переходим к нашим замѣчаніям.

Автор видит в др.-славянском *владѫ* с производными заимствованія из германскаго языка, между прочим, в славянском *влад-ыка* „*δεσπότης*" (стр. 213). Он указывает на литовских родственников этих славянских слов (стр. 214): лит. *veldu*, *vilsti* и др. — с одной стороны, и не может представить нам ничего похожаго на *владыка* в германском словарном матеріалѣ (стр. 216) — с другой. Ему приходится пользоваться гипотезою о заимствованіи у германцев причастія в формѣ *влады* „Herscher" и о присоединеніи славянами к этому причастію своего слога *-ка* так же, как в др.-славянских *камы-къ*, *ѧчьмы-къ*.

Дѣйствительно, слово *владыка* стоит особняком и поражает странностью своего окончанія *-а* (точно также как и слова *воевода* и *староста*). Но все же оно не одиноко. Русскій язык (как и другіе славянскіе) не обладает словами на *-ыка*, но в нем имѣется потомство этих слов в прозвищах-фамиліях на *-ык-ин*: *Бабыкин*, *Барыкин* или *Борыкин* (также *Барыко́в*), *Дадыкин* или *Дудыкин*, *Взварыкин* или *Зварыкин*, *Чебыкин*, *Шаблыкин* и т. п. Повидимому, слова на *-ыка* вытѣснены в русском языкѣ словами на *-ыга*, как *коротыга*, *малыга*, *торопыга*, *топтыга*, *лодыга*, *мосотыга*, *сквалыга* (скупец) и др. Сравни русск. *босо-мыга* „босой" рядом с *горе-мыка*; *босо-мыга* несомнѣнно из *-мыка*. Сравни еще лат. *verrūca* (Walde).

Автор, вѣроятно, видит всю слабость своей гипотезы; но она ему нужна: он работает под убежденіем, что всѣ слова со значеніем ,государь', ,князь' и т. п. у славян непремѣнно германскаго происхожденія; он думает, что славяне нѣкогда, в до-ис-

торической древности, были под властію германских государей, начальников и т. д. и что славянскія заимствованія — слѣдствіе древних политических и культурных отношеній.

Останавливаемся на наших замѣчаніях.

Исторія титулов, в родѣ *государь, князь*, так обширна и разнообразна, что мы можем взять себѣ из нея множество уроков и рѣшить вопрос о причинах заимствованія титулов одним народом у другого. Берем историческіе факты русской дѣйствительности.

Князь галицкій Даніил, XIII в., принял титул короля, не бывши никогда в зависимости от сосѣдних с Галиціей королей и находясь на верху политическаго могущества и славы.

Великій князь литовскій Витовт, XIV в., мечтал о том же титулѣ, но не дожил до его пріобрѣтенія. Он был также на верху политической силы и славы.

Великій князь московскій Иван IV, Грозный, принял титул царя и стал именовать себя самодержцем, послѣ того как присоединил к своим владѣніям два царства — Казанское и Астраханское; он никогда не был под властію татарских царей-ханов Крымской и Ногайской орд.

Царь Московскій Петр I, высоко поставившій в политическом мірѣ Европы значеніе русскаго государя, ввел для себя титул императора, для своего наслѣдника — титул цесаревича (польск. *cezarz = imperator, kaiser*), для своих вельмож — титулы барона и графа. Титул *князь*, до него наслѣдствѣнный, стал жаловаться Петром людям не родовитым, как Меньшиков.

Бунтовщик Пугачов, самозванец, называвшій себя императором Петром III (вторая половина XVIII в.), награждал своих „вельмож“ титулами: граф Чернышов, граф Панин и т. п.

Вульгарный московскій жаргон знает употребленіе слов *прынц, прынцеса* (потомство латинскаго *princeps*), *краля, краличка* ‚красивая, видная женщина‘, без всякаго оттѣнка политическаго значенія. Титул *барин*, из боярин, в этом жаргонѣ указывает лишь на принадлежность его носителя к культурному классу.

Исторія приведенных титулов в Россіи дает нам достаточное основаніе видѣть для древности нѣчто близкое к тому, что произошло на памяти исторіи. Поэтому мы можем отнестись к теоретическим воззрѣніям проф. Стендер-Петерсена только отрицательно. Исторія всяких вообще заимствованій одним народом и языком у другого говорит нам лишь об одном: об чувствѣ уваженія

народа заимствующаго. Иногда можно говорить о глубинѣ этого чувства, иногда только о механической привычкѣ. Французская мода XVII—XX вв. имѣет власть над всѣм культурным міром, теперь даже над турками, японцами, китайцами, хотя не представляет никакой дѣйствительной цѣнности ни в видѣ изящества или красоты, ни в видѣ удобства, ни даже в видѣ новости.

Москва.

† *А. Соболевскій.*

Русское „закуды́кать“.

Этюд из социальной психологии языка.

В русском языке имеется весьма своеобразный глагол *закуды́кать*, означающий: ,предложить встречному вопрос: куды? (куда?)'.

Глаголы с подобными значениями весьма редки, так как потребность в них обычно отсутствует. В сущности, каждое слово в языке может дать материал для подобного глагольного образования с значением: ,произнести (произносить) данное слово'. (Срв образованные от междометий русские глаголы: *о́й-кать, кувы́-кать, о́х-ать, а́х-ать* и т. п.). Существование глагола *закуды́кать* объясняется в связи с широко распространенным у восточных славян поверьем о том, что предложение встречному вопроса: *куда идешь? (едешь?* и т. п.) является дурным предзнаменованием; такой вопрос предвещает идущему или едущему неудачу в достижении поставленной им себе цели.

Из русских словарников В. И. Д а л ь был первым, включившим народный глагол *закудыкать* в свой ,Толковый словарь живого великорусского языка'. У него читаем: ,*закуды́кать* начать допрашивать встрѣчного: куда едешь, куда идешь? что почитается дурным признаком'. По поводу этой формулировки значения необходимо заметить, что наличие допроса, допрашивания, в данном случае совсем необязательно: всякий вопрос с словом *куда?* является уже тем, что́ называется *закудыкать*. В том же словаре Даля приведен еще и Курский глагол *куды́кать* с значением: ,спрашивать, без надобности, встречных: куда идешь?' (под словом *куда́*).

В ,Словаре русского языка, составленном Вторым Отделением Императорской Академии Наук' (II-го тома выпуск пятый, Спб. 1901, с. 1277), прибавлена еще кратная форма глагола *закуды́кивать* с примерами из Владимирской и Тульской губерний. В качестве районов распространения формы *закуды́кать* здесь указаны местности: Покровский уезд Владимирской губ., Щигровский уезд Курской, Карачевский уезд Орловской, Кубанская и Терская области.

В этнографических описаниях глагол *закудыкать* встречается и ранее появления словаря Даля. Так, в рукописи священника Зерновского 1848 г. ‚О мордвѣ Нижегородскаго уѣзда‘ читаем: ‚Если кто скажетъ навстрѣчу идущему: куда? — то отворачиваются и назадъ уходятъ; ибо *закудыкалъ*‘ (Архив Географического Общества, A. V, 38, лист 25, № 26). Эти-же слова буквально повторяются и в статье ‚Религіозныя вѣрованія, домашній бытъ и обычаи мордвы Нижегородскаго уѣзда. Изъ бумагъ П. И. Мельникова‘ (Нижегородскія Губернскія Вѣдомости, 1886 года; стр. 92 отдельного оттиска).

Форма *закуда́кать* встречается много реже, потому-что в народных говорах вопросительное наречие произносится обычно: *куды*, а не *куда*. Форма эта отмечена в тех же самых словарях Даля и Второго Отделения Академии Наук, в последнем — для Воронежской губернии. Описывая верования великоруссов Орловской губернии, А. И. Иванов сообщает: ‚Если ѣдешь по какому-нибудь дѣлу, то не отвѣчай на вопросъ: куда идешь? *Закудакает* кто — толку (т. е. удачи) не будетъ‘. (Журнал ‚Этнографическое Обозрѣніе‘, 1900, № 4, с. 83).

Столь-же широко распространен интересующий нас глагол и в украинском языке. Рядом с формою *закуди́кувати* (Словарь украинского языка, редактиров. Б. Д. Гринченко, т. II, 1908, с. 55), для украинского языка отмечена еще несколько сомнительная форма *закудкуда́кати* (Словарь II Отдел. Акад. Наук, II, 1901, с. 1276), которая говорила-бы о сближении с звукоподражательным глаголом, обозначающим крик курицы.[1]) В фольклорных материалах, записанных И. И. Манжурой в Екатеринославской и Харьковской губерниях, находим: ‚*Незакуды́куй* — не спрашивай, куда идешь или ѣдешь, так как спрашивать: куда ‚не годыться‘, а нужно говорить: де‘. (Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества, тома II-го вып. 2, 1890, с. 173 № 400). У полуобрусевших украинцев Острогожского уезда Воронежской губ. отмечено: ‚Если идешь куда-нибудь и спросятъ: куда? — къ неудачѣ (ужъ *закудыкалъ*)‘. (Живая Старина, 1904, № 1—2, с. 157, статья Г. Яковлева).

В украинском отмечено еще и существительное *куди́кало* м.,

---

[1]) О том же сближении может свидетельствовать и Ейское *закудахтало*. Встреченные вопросом »куда едешь?« ейцы »ругаются, отвечают: *закудахтало!* — и ожидают неудачи« (Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, вып. 16, стр. 269, П. Горбаневъ).

в значении: человек, часто предлагающий вопрос: куди? (Словарь Гринченко, II, 319).

В белорусских словарях и в белорусских фольклорных изданиях соответствующего глагола нам не встретилось. — Северно-великорусский глагол (Переслав-Владим.) *кудыкать* с значением: плакать, хныкать (Опытъ областнаго великорусскаго словаря, Спб., 1852, с. 95; Словарь Даля, II³, 542) ничего общего с нашим глаголом не имеет.

Поскольку широко распространенное, особенно у охотников и рыболовов, поверье не рекомендует и даже запрещает *закудыкивать,* постольку в народных говорах вопросительное наречие *куды (куда)* заменяется иными словами. Таких замен несколько. У северно-великоруссов обычен вопрос: *далéче-ли, дилёко-ли?*, причем предложенный в такой форме вопрос не считается одиозным. Наши записи относятся к Вологодской, Вятской, Пермской, Оренбургской и к соседним губерниям; А. Терещенко то-же отмечает для Саратовской губ.: цитату см. ниже.) Обычна эта замена и в южно-великорусских говорах — в Юхновском уезде Смоленской губ. (записи студентки Ф. Петровской[1] 1923 г.), в Обоянском уезде Курской губ. Из этой последней губернии сообщение А. С. Машкина 1850-х годов гласит: „При встрѣчѣ не говорятъ: куда идешь? Отъ этого вопроса, по мнѣнію черни, не будетъ счастья тому, кому предложенъ вопросъ; если же нужно спросить о томъ встрѣтившагося, то говорятъ: ской далече? (Курскій Сборникъ, IV, 1903, с. 72; срв. замечание М. Халанского в Словаре II Отделения Академии, II, 1901, с. 1277).

На востоке Украины весьма широко распространена замена вопросительного *куда?* вопросительным *где?, де?, Де ти йдешь?*', т. е.: куда ты идешь? (Архив Географического Общества, XLIV, 9, Харьковская губ; Д. Зеленин, Описаніе рукописей ученаго архива И. Р. Географ. Общ-ва, I, 79: об украинских переселенцах в Астраханской губ.; срв. выше цитату из И. Манжуры). В гор. Харькове извозчики обычно спрашивают седоков: *где ехать?* вместо: *куда ехать?* Подобные обороты проникают и в местный газетный язык; напр., на Харьковской конференции 1923 г. делегат С. заявляет: ‚Я хочу спросить у Губкома, где он дел работников, которые у него появились после районирования губернии?‘ —

[1]) Здесь и ниже я пользуюсь сведениями, сообщенными мне студентами — участниками моего семинара в Харькове 1923 года. *(Д. З.).*

Голос с места: ‚В сахаротрест!‘ (газета ‚Коммунист‘, 1923, от 20 марта, № 61/955, хроника).

У южно-великоруссов обычна та же самая замена, только с произношением вопросительного *где* как *идé. Идé идёшь?* вместо *куда идёшь?* (см. Словарь II Отделения Академии Наук, III, 1922, с. 208, под словом *идѣ* 2: Донская, Калужская, Орловская и Рязанская губернии). О Донских великоруссах Усть-Медведицкого округа мы имеем еще и старое, 1850-х годов, сообщение священника Георгия Азарова: ‚Всѣ почти безъ исключенія, благородные и простые, донскіе казаки говорятъ вмѣсто *куда?* — *гдѣ?*, напр., *гдѣ идёшь?* вмѣсто *куда идешь?* (отвѣтъ: въ церковь), *гдѣ ѣдишь?* (отвѣтъ: въ лѣсъ), и т. п. Случилось мнѣ спросить одного благороднаго человѣка, отправляющагося въ службу: *куда отправляетесь?* — Тотъ говоритъ мнѣ: вы не извольте никогда такъ говорить, а говорите: *гдѣ отправляетесь?* Вопросъ *куда?* не любятъ потому, что слово *куда* относятъ къ неблагополучію какому-то, а слово *гдѣ* для нихъ кажется пріятнѣй — и мягче, и уважительнѣе‘. (Архив Географического Общества, XII, 12).

Еще у южно-великоруссов обычна замена вопросительного *куда* словом *каё*, *коё* (окаменевший падеж от *кой*). *Каё едишь?* означает: куда едешь? *Ды каёш ты прёш?* т. е.: да куда же ты лезешь? Сведения о такой замене, причем *каё* выражает одновременно вопросы: что? где? куда? когда?, имеются для губерний: Курской, Рязанской и Тамбовской (Словарь II Отделения Академии, IV-го тома выпуск 5-ый, 1911, с. 1298), а также для Тульской (Труды Московской Диалектологической Комиссии, I, 97).

В качестве оберега, предупреждающего дурное воздействие вопроса *куда?*, спрашиваемый произносит нередко, вместо прямого ответа на этот неуместный и опасный вопрос, краткое заклинание. Последнее часто звучит у великоруссов: *На евóну голову* (Челябинский уезд Оренбургской губ; т. е.: на его голову) или: *на твою* (вар.: *свою*) *голову!* (Юхновский уезд Смоленской губ.). В том и другом случае одинаково имеется в виду голова спросившего: дурные последствия вопроса должны обратиться, в силу заклинания, именно на нее. Нередко то же заклинание гласит: *на кудыкину голову!*, где прилагательное *кудыкин* означает: ‚тот, кто произнес: куды‘. А. Терещенко в 1848 году писал о Дубовском посаде, чтó на нижней Волге: ‚Тамъ существуетъ одно престранное обыкновеніе. Если кто спроситъ кого-либо: куда ѣдешь? или куда идешь?, то для вопрошаемаго счи-

тается это дурнымъ предзнаменованіемъ, и онъ отвѣчаетъ ему: ,на куды кину так!) голову', т. е. чтобъ пропала твоя голова, спрашивавшая куда. Встрѣченный с подобнымъ вопросомъ возвращается домой съ неудовольствіемъ и отлагаетъ всякую свою поѣздку въ тотъ день. Слово *куда* заключаетъ, по мнѣнію суевѣровъ, бѣду и несчастіе, а потому надобно всегда спрашивать по ихъ обыкновенію *далеко ли ѣдешь?* или *далеко ли идешь?*' (Царицынъ и Дубовскій посадъ. Сочиненіе А. Терещенко. Спб. 1848, с. 26). Тут автор, конечно, ошибочно делит прилагательное *кудыкину* на два слова, видя во второй части глагол *кидать*. — В своей книге ,Бытъ русскаго народа' (часть VI, с. 17, примеч. Спб. 1848) тот же автор, А. Терещенко, иначе формулирует опасность от вопроса *куда?*, а именно: ,Многіе боятся произнесть *куда*, находя въ немъ связь съ нечистой силою'. Здесь речь словно уже об опасности для самого говорящего? К сожалению, автор книги ,Бытъ русскаго народа' вообще далек от научной точности.

Аналогичный ответ путника на вопрос встречного *куда?* — *На кудыкино поле зерно молотить!* (Брянский уезд Орловской губ.) заменяет заклинание угрозой вытолочить засеянное поле вопрошающего. Охотники отвечают в таких случаях добродушным намеком: *На кудыкину гóру — журавлей щупать!* (срв. журнал ,Русский Охотник', 1895, № 28). Рыболовы также евфемистически-добродушно отвечают: *На кудыкин остров* (Мартынов, Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками, 1913, с. 43).

Еще обычные ответы на неуместный вопрос *куда: Далеко — отсюда не видно!* (всюду у великоруссов; украинцы Городнянского уезда Черниговщины), *Куда глазá глядят!* (всюду у великоруссов), *К чорту на кулички!* (Московская губерния и друг.), *Прóпасти шукати!* (т. е. искать погибели, смерти) (украинцы Харьковской губ. и друг.); рифмованная неприличная шутка: *Куды? — К кобыле под муды!* (Алатырский уезд Симбирской губ.; Архив Географического Общества, XXXVII, 36, рукопись И. Лаврова 1899 г.).

О силе суеверного страха перед совершенно невинным, казалось-бы, вопросом *куда?* может говорить следующая сцена, описанная очевидцем К. П. Быковцевым в 1924 году. Украинский крестьянин из дер. Бúрки Хорольского уезда Полтавской губ. вел на продажу молодого теленка. На пути встретился с ним зна-

комый дьякон, который, поздоровавшись, спросил: *Куди́ це ви с теля́м поспіша́ете?* (Куда это вы спешите с телёнком?). Услышав злополучное *куди,* дядько схватил сейчас же своего телёнка — одной рукой за ‚сопа́тку‘ (морду), другой рукой под хвост, поднял телёнка и обернулся с ним три раза кругом на месте. Потом, поставив теленка на прежнее место, плюнул один раз на землю и сказал: *оцé спита́в: куди? то добра́ не буде! Шоб тебе дош не мочив! шоб тебе сонце не гріло! шоб ти до міста не дішов!* (Вот спросил: куда? так добра не будет! Пусть тебя [т. е. разумеется: твое поле] дождь никогда не мочит! Пусть тебя солнце не греет! Чтоб ты не дошел до места!).

Здесь мы видим целый ряд оберегов от дурных последствий злополучного вопроса, а именно: троекратный магический круг, плевок и брань-проклятие по адресу виновника опасности.

Сравнить также поверье Крымских рыбаков, красноречиво описанное известным писателем А. И. Куприным в его книге ‚Листригоны‘ (глава 5: Господня рыба). А. И. Куприн ссылается в данном случае на грека из Балаклавы, атамана рыбачьего баркаса, Колю Костанди, но речь идет, по всему судя, о поверьях восточнославянских рыбаков. Названному Коле, пишет А. И. Куприн, ‚я обязан знанием рыбачьих обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать чорта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и т. д.... Спаси Бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море. Но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее — это спросить рыбака: ‚Куда?‘ За такой вопрос бьют.‘ — С последними словами сопоставить замечание М. Халанского о великоруссах Курской губ.: ‚За вопросъ куда ѣдешь, идешь? встрѣчный можетъ жестоко изругать‘ (Словарь II Отделения Академии, II, 1901, с. 1277).

*

Приведенные выше данные не оставляют никакого сомнения в том, что у восточных славян подлежит запрету (табу) вопросительное наречие: *куда?*

Запретные в связи с верованьями слова широко распространены почти у всех народов земного шара. Многочисленные данные о словесном табу собраны в книге английского этнолога J. G. Frazer'a: The golden Bough, part II: Taboo and the Perils

of the Soul (издание 3. Лондон, 1914, глава 6, с. 318—418: Tabooed Words). О словесных запретах в индо-европейских языках много данных в трудах Kr. Nyrop: Das Leben der Wörter. Leipzig, 1923 (глава I: Euphemismus, с. 1—57) и особенно: Navnets Magt; en folkepsykologisk Studie (Mindre Athandlinger, udgivne af det filologisk-historiske Samfund', Kopenhagen, 1887), а также в статье A. Meillet: Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans les langues indo-européenes (Linguistique historique et linguistique generale', Paris, 1926, с. 281—291). Менее всего изучены запретные слова славянских языков, но для восточных славян мною собран весьма большой материал, который должен скоро появиться в печати.[1])

Из всего того, что́ нам известно о словесном табу у самых разных народов земного шара, явствует, что запрет слов служебных, подобных вопросительному наречию *куда?*, крайне редок и необычен: встречается такой запрет большею частью в специальных профессиональных языках — охотников, рыболовов и иных производственных групп. Обычно-же подвергаются запрету имена демонов, царей, покойников, названия болезней животных и т. п. Из своего исследования о словесном табу примитивных народов Фрэзер делает такой вывод: ‚Запрет общих слов (common words) основан, повидимому, на страхе перед духами, на желании обмануть духов или не быть замеченными ими. Говорящий воображает, что его слышат и понимают духи или другие существа, которых его воображение наделяет человеческим умом. В виду этого человек избегает употреблять некоторые слова, пользуясь вместо них иными словами — или желая прельстить и умилостивить этих существ хорошими словами о них, или же боясь возбудить их гнев в случае, если его слова будут поняты. Вот почему первобытный человек заменяет обычные слова, сообразно с обстоятельствами, или комплиментами, или загадками: комплиментами — чтобы их поняли и оценили, загадками — чтобы их не поняли‘ (о. с. 416—417).

По нашим выводам, у восточных славян и у их соседей сохраняется запрет на те слова, которым приписывается сила вызвать, ‚накли́кать‘, обозначаемое этими словами опасное существо или явление. К вопросительному наречию *куда?* ни то, ни другое

---

[1]) Post scriptum. Печатается в »Сборнике Музея Антропологии и Этнографии Академии Наук СССР«, томы 8 и 9, под заглавием: Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии. [Часть I. (Запреты на охоте и иных промыслах) уже вышла из печати (Ленинград 1929).]

объяснение не применимо. Но запрет другого русского наречия: *домо́й* объясняется легко. Производные от слова *дом: домови́на, домови́ще, домовьё, домо́k* (равно как и украинское *ха́та*) служат у восточных славян обычными названиями для гроба, для могилы. Вот почему выражение *идти домой* понимается у южновеликоруссов, как: ‚иду в могилу, умираю‘, и избегается, заменяемое синонимическим выражением: *идти ko двору́, идти двору́*. Всякое упоминание могилы, смерти, может вызвать ‚в лихой час‘ ее появление и приближение.

В запрете же вопросительного наречия *kуда?* приходится считать основным моментом не табу слова, а табу действия, и именно — табу вопроса, спрашиванья.

Поверья восточных славян и весьма многих иных народов земного шара требуют во время важных моментов жизни и работ строгого сохранения тайны, как необходимого условия для успеха предпринимаемого дела. По выражению Фрэзера, ‚во всех случаях грабежа природы (т. е. во время рыбной ловли, охоты, копки руд, жатвы и т. п.) первобытный человек прежде всего своим молчанием и спокойною тишиною старается ускользнуть от внимания тех существ, которых он боится‘ и которых считает хозяевами данных даров природы (ibid. 418).

Северно-великорусский охотник, отправляясь на охоту, ‚старается выйти из деревни незамеченным‘; ‚даже детям его запрещается разглашать известие о том, что отец ушел петли (ловушки) ставить‘ (Живая Старина, 1894, № I, с. 60, статья Зобнина о Тюменском уезде). Такая таинственность является почти общим правилом у всех северно-великоруссов, и наблюдается она не только при охоте и рыбной ловле, но и во время сева, при начале жатвы и т. д. Например, сибирский великорусс, идучи сеять репу, скрывает свое намерение от соседей и на вопросы: *kуда пошел?* ложно отвечает: *за прутьями в лес* и т. п.: и всё это из боязни, что завистливые соседи ‚испортят‘ его репу (Г. С. Виноградов, Материалы для народного календаря русского старожилого населения Сибири, Иркутск, 1918, с. 16). Минусинские великоруссы садят и сеют овощи в сумерках или же на заре — рано утром, чтоб никто не увидел, так как овощи боятся ‚уроков‘ (Живая Старина, 1903, № 3, с. 351).

Украинки на Полтавщине садят лук на огородах также тайно. При этом не полагается спрашивать: *что делаете? что садите?* А если кто и спросит, то ему не отвечают. Точнее, вместо от-

вета на такой вопрос, сажальщица про себя, наклонившись низко к земле в противоположную от спрашивающего сторону, тихо говорит: *Цибулю, а тобі на́ дулю!* (Лук, а тебе на́ шиш!). — Без таких предосторожностей лук выростет мелким и плохим (записи В. В. Кучмий в Кобелякском уезде, 1924 г.).

Белорусский охотник ‚таится от своей семьи, от соседей и встречных' (Н. Никифоровский, Очерки простонароднаго житья-бытья в Витебской Бѣлоруссіи, Витебск, 1895, с. 525). В начале жатвы ‚всякая встреча, особенно требующая остановки, настолько неблагоприятна, что белорусс в таком случае предпочитает воротиться домой и отложить работу до следующего дня' (Никифоровский, Простонародныя примѣты и повѣрья и т. д., 1897, с. 111, № 798): тогда же и в конце жатвы жнецы не должны ни переговариваться, ни откликаться на зов с соседней нивы (там-же, с. 112, № 803). Словом, какое-бы дело ни начинал белорусс, какую-бы работу ни производил — он всегда при этом избегает стороннего ‚вока' (глаза), для чего скрывает свои намерения (Записки Сѣверо-Западнаго Отдѣла И. Р. Географическаго Общества, I, 1910, с. 213, № 50).

В неменьшей степени скрывается достигнутый уже успех дела — урожай, добыча охотника и т. д. — одинаково у восточных славян и у многих первобытных народов, например, тунгусов и якутов (Никифоровский, Очерки и т. д. 282; Арефьевъ въ Извѣстіяхъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Географическаго Общества, XXXII, 1901, № 1—2, с. 121; Р. Маакъ, Вилюйскій округъ, III, 110—111). Сравнить сохранение в строгой тайне родов женщины (D. Zelenin, Russische Volkskunde, 291), ‚непочатой воды' — лекарства украинцев: несущий эту воду не должен ни с кем говорить ни одного слова — иначе вода потеряет свою целебную силу (там-же, 298; П. Чубинскій, Труды этнографическо-статистической экспедиціи, I, 1872, с. 43). Молчание при севе немецкого крестьянина П. Сартори справедливо объясняет тем, что разговоры легко пробуждают и привлекают злых духов (John Meier, Deutsche Volkskunde, 1926, с. 85).

Но чтоб соблюдать молчание и, таким образом, сохранить тайну, нужно, чтоб не было свидетелей и встречных или, по крайней мере, чтоб встречные и свидетели не предлагали вопросов, не расспрашивали. Ответ путника на вопрос встречного о цели пути ведет уже к нарушению тайны, а значит — и к неудаче предпринятого дела. Таким образом, запрет вопроса *куда?* есте-

ственно выводить из требования соблюдать тайну и молчание при выполнении важного дела, особенно же в начале его.

При таком объяснении остается непонятным лишь одно обстоятельство: почему словесное табу простирается только на вопросительное наречие *куда?* и не касается синонимических форм того же вопроса: *далече ли? каё? где?*

Ответ простой. Прежде всего, местами сохраняется запрет и на иные вопросы, напр.: *что делаете?* (см. выше сведения из Кобелякского уезда). Что же касается табу на особенно частый вопрос о цели пути *куда?*, то это табу скоро было понято и истолковано, как чисто словесный запрет слова *куда?* Такому истолкованию должно было способствовать уже одно обилие у восточных славян чисто-словесных запретов. Но особенно большую роль тут сыграло, повидимому, явившееся после исчезновения в древнерусском языке носовых гласных созвучие наречия *куда* (др.-сл. кѫдѣ) с словом *кудь* — ,кудесничество, колдовство' (Даль знает еще и старое великорусское *кудъ* с значением: ,злой дух, бес'). Эти последние слова, как и вообще названия для нечистой силы и колдунов, должны были принадлежать к числу запретных. Новое созвучие с этими словами вопросительного наречия *куда?* естественно упрочило мнение о чисто словесном характере табу вопросительного *куда?* Таким образом, синонимические формы того же вопроса, не совпадавшие по звукам с опасными словами *кудь, кудъ*, остались вне запрета. И это тем естественнее, что в словесных запретах вообще заменяющие слова (хотя они и обозначают то же самое) долго не подвергаются запрету. Так, например, великорусское местное *кривéнь,* являясь заместителем запретного слова *зáяц,* не подлежит табу, как равно не подлежит являющееся заместителем запретного слова *мышь* белорусское *пóспенка.* Только в дальнейшем и сами заместители нередко вовлекаются, в свою очередь, в категорию запретных слов, чтó произошло, например, с славянским словом *медвѣдь.* Из других славянских языков аналогию имеем в сербском запрете предлагать вопрос в форме: *куд си пошао? куда си наумио?*, вместо чего полагается спрашивать: *ако Бо̑г да̑?* Предложившему вопрос с словом *куд* шутливо отвечают: *Идем у кудиљево да те скудим* (Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник, У Бечу, 1852, с. 33).

Ленинград. *Дм. Зеленин.*

Несколько проблем по изучению древней русской литературы.

Методологические наблюдения.

1. Состав и сохранность литературы. Роль духовенства и монашества в переписке и отборе книг. Реформа книжного дела в XIV—XV в.: смена материала и техники письма; освободительное для письменности значение этой реформы. Цензурное начало до XV и после XV в.

Вопрос о составе древней русской литературы вызвал в свое время разногласие между двумя большими знатоками дела: Н. К. Никольским и А. И. Соболевским.[1]) По мнению первого из них этот состав нам неизвестен, т.-е. мы не можем знать древнюю литературу в полноте, обеспечивающей научное построение — не можем потому, что письменность, особенно за период до XV века включительно, сохранилась в остатках, в основе которых лежит односторонний отбор книг. Н. К. Никольский имеет в виду монастырские библиотеки, как главный фонд старой русской книжности, ее очаги с наивысшей традиционной устойчивостью, с наилучшей сохранностью от разгромов, пожаров и просто рассеяния. Действительно, в средние века (с некоторой передвижкой понятия о них, по отношению к Западной Европе и к Византии) монастыри постоянно являлись центрами, куда, скрываясь ли от общественных бедствий, тяготея ли в силу религиозно-морального гипноза, тянулось население. С самого начала христианизации книжность сосредотачивалась в кругу монашества, почему и всякий новый прилив книг во влиятельный монастырь, вместе с приходом новых постриженников и насельников, был, так сказать, внутренне обусловленным — не нарушавшим раз заведенный книжный кругооборот. Копируемая или варьируемая рукопись, постранствовав

[1]) Н. К. Никольский: Ближайшие задачи изучения древне-русской книжности. Пам. др. письм. иск. № CXLVII (СПб. 1902), А. И. Соболевский: Несколько мыслей об древней русской литературе, II. Древне-русские книги и церковь. Изв. отд. русск. яз. и словесн. И. Акад. Наук. 1903, II, стр. 147—154. Изложение контроверза см. у В. Н. Перетца, Из лекций по методологии истории русской литературы (Киев 1914), стр. 352—357; оно же сокращенно — в »Кратком очерке методологии истории русской литературы» того же автора (Петербург 1922), стр. 105—107.

среди читателей-мирян, возвращалась в свое основное русло, хотя бы и не в чистом виде тех типов, какие для нее были выработаны, в большинстве случаев, представителями монашества и монастыря; иначе говоря, она могла возвратиться с некоторым отпечатком своей жизни в мирской среде. Если для рукописи богослужебной такой отпечаток сводился, главным образом, к невольным искажениям текста, то не стесняемый регламентацией четий сборник должен был изменяться несравненно сильнее, приобретать разнообразную физиономию, смотря по вкусам, по интересам владельцев и переписчиков, через руки которых он шел. Иной вопрос, много ли на деле было возможностей, когда имела место подобная интенсивная трансформация. В творчество церковное или монашеское, в частности, эстетические элементы допускались лишь, поскольку они были служебными по отношению к основному двигателю этого творчества — религиозному чувству. Творчество мирян, теоретически взятое, этим не связано, конечно; но зато оно было несамодеятельно в сфере письменности, так как лишь в слабой степени пользовалось средствами для того, чтобы создавать книжную поэзию независимо от монастырской указки. Остается крупным культурным фактом, что в века пергамена, с XI по XIV, спрос на книжную мирскую поэзию был крайне ограничен безграмотностью низших слоев общества, далеко еще не сполна приведенных к христианству; и наоборот, грамотность, оказываясь преимуществом христианизованных классов — духовного (монашеского на своих верхах) и княжеско-боярского — служила орудием новой веры. Вот главная социально-историческая причина того, почему так силен импульс, даваемый развитию литературы церковными памятниками, и почему техника и средства книжного дела долго удерживались церковными деятелями. Эстетику мирянина, поскольку она не удовлетворялась церковью, питало устное, песенно-сказочное творчество. В этой области имелись свои специалисты, иногда соединявшие способность к эпическим композициям с культом смехотворной новеллы, близкой к »глумам«, проклинаемым церковной проповедью. Но и для эпоса, и для новеллы отсутствовала живая потребность в передаче на письмо. Какая-нибудь случайная, единичная запись памятника древнейшей устной поэзии, являясь чем-то совершенно исключительным, была заранее обречена на искоренение церковническими привычками огромного большинства читателей. Для

того, например, чтобы летопись могла усвоить себе ту или иную эпическую песню, требовалось, чтобы песня без особых трудностей разлагалась на повествование, и чтобы это последнее не имело того оттенка, который мы назвали бы теперь беллетристичным, а говорило бы об исторических или считавшихся историческими событиях, занимавших тогда ум и память летописца; за недостачей прямых источников летописец мог воспользоваться, действительно, песенным или сказочным.

Как на блестящий пример усвоения эпоса книгой, часто указывают на Слово о полку Игореве. Тем не менее общеизвестно, что насколько блестящ этот пример, настолько же он и одинок. В дальнейшей традиции Слово оказалось затерянным провинциальным (псковским по преимуществу) памятником. Для оценки возникновения и рукописной судьбы Слова необходимо принять во внимание, во-первых, одно внешнее, но важное условие – интерес к воспроизводимым Словом событиям в княжеской среде, где имелись сначала участники, затем – ближайшие потомки участников »полка Игорева«; богатая среда интересующихся лиц обеспечила на первых порах переписку поэтического, далекого от обиходно-утилитарной цели памятника; весьма вероятно поэтому, что именно бытованием между отдельными ветвями княжеского дома в XII – XIII веках Слово, не вошедшее ни в летописи, ни в состав какой бы то ни было иной крупной компиляции, оказалось все-таки защищено от гибели и пережило монгольский разгром, перейдя даже в область династически изолированную, но в то же время наименее пострадавшую от ига – на северозапад русского племени (Псков). Во-вторых, необходимо считаться, задаваясь вопросом о том, редкостным ли фактом в своем роде является для домонгольской литературы Слово о полку Игореве, с высокой талантливостью автора Слова. Сами за себя говорят структура, звуковая гармония, идейно-формальные комбинации в этом памятнике. Таковы у автора: пользование языческим мифом с художественной целью; образность, в которую воплощено предвидение грядущих бедствий от розни и вражды между князьями; способность удачно сочетать элементы песенные с книжными — бесспорный литературный успех для XII в.; во многих отношениях автор Слова о полку Игореве, как поэт, шел впереди своих современников. Благодаря указанным условиям в лице Слова была т а к воплощена литературная воз-

можность, таившаяся в творчестве Киевской Руси. В основной же своей массе письменность, включительно с изображением текущей общественной жизни (летописание) обслуживалась, как сказано выше, представителями церковного класса людей; кое в чем приспособляя к своим целям отзвуки народного творчества, она решительно не отвечала, не давала места попыткам этого творчества попасть в книгу самим по себе, т. е. помимо включения в ту или иную компиляцию. Если где, особенно в Галицко-Волынской области XII и XIII в., письменность менее подвержена церковному влиянию, то это сказывается на доступности местного летописания светским легендам и реминисценциям. [1])

Самими ее деятелями русская письменность первых веков признается как бы монополией церкви. Не должен удивлять хорошо известный вопрос новгородского иеромонаха Кирика епископу Нифонту (вторая четверть XII в.): нет ли беды в том, если кому случится ходить по грамотам, изрезанным и разметанным по земле, — »а слова будут знати«.[2]) Пиетет к »грамотам« не нуждается у Кирика в точном определении, так как основан на подразумеваемом церковном составе книжности. ». . . Иже бо кънигы часто чьтеть, тъ бесѣдуеть съ богъмь или съ святыми мужи«, читалось под 1037 г., в киевском летописном панегирике Ярославу I. В силу самого состава книг также и в »словах« на тему о почитании книжном, приспособленных ли к русской обстановке или прямо туземных, восхваляется без всяких оговорок это »почитание, еже есть всему добру мати« — квалификация, идущая начиная со Святославова Изборника 1076 г.; в других статьях его противопоставляют, опять огульно, невежеству и времяпровождению в языческой косности. Дошло несколько русских поучений, где полемика с язычеством, все еще живучим в народе, связывается с упреками попам — »невежам«. Таковы, напр., Слово христолюбца и ревнителя по правой вере, Слово о посте к невежам,

[1]) О них см. статью А. С. Орлова, К вопросу об Ипатьевской летописи, Изв. отд. русск. яз. и словесн. Ак. Наук СССР, т. XXXI (Л. 1926), стр. 93—126.

[2]) Этот вопрос в более исправном виде читается по особой редакции Вопрошания Кирика (изд. С. И. Смирновым, Материалы для истории древне-русской покаянной дисциплины, Чт. в Общ. Ист. и Древн. Росс., М. 1912, кн. III, прилож. стр. 12). Здесь фраза ясна синтаксически, чего нельзя сказать про обычную редакцию (Памятники древнерусского канонического права I², 40): Кирик разумеет грамотных людей, »изрезывающих грамоты«.

Слово Иоанна Златоустого о том, како первое погании веровали в идолы.[1]) И по языку, и по бытовым признакам эти »слова« принадлежат глубокой древности, не моложе XIII века. В них книжность вменяется в долг нерадивому духовенству, причем говорится не об иноках, а о попах, и точка зрения не иерархическая, а мирская. Отсюда получается тот вывод, что само светское общество, по мере своего приобщения к грамотности (пусть даже в лице единичных людей) подпадало под господствующую идеологию »книжного почитания«. В XIV в. полемика с такой точки зрения, но уже без заметных выпадов против язычества, группируется в особый сборник — »Измарагд«.[2]) С другой стороны, иерархи говорят о книжном почитании, варьируя евангельский текст (Иоанна V, 39 совершенно в тон с полународными текстами »слов« об язычестве. »А оже мы не почитати начнемъ книгъ, то чимъ есме лоутше простьцовъ, аже с ними же начнемъ ясти и пїти, такоже на бесѣдѣ сидѣти?« спрашивает Илья-Иоанн, архиепископ новгородский, в Поучении попом, 1166 г.[3])

С фактом массовой безграмотности мирян согласуется в древнерусских словах о почитании книжном и то, что ополчаясь против обрядов, суеверий, »басен« и плясок, обличительные »слова« нигде не упоминают про мирскую литературу; между тем, не представляло бы трудности отличить ее от книжного почитания. Если уже в домонгольское время были известны книги такие, которые только »годятся сжечи«, как отозвался тот же вопрошаемый Кириком еп. Нифонт, и если возможно, что они отвечали до известной степени народному миросозерцанию, то принадлежностью м и р а, светского общества, в противовес одобряемой церковной литературе, они всё таки не могли считаться и не считались. Отреченность их не была явственна большинству духовенства, так как носили они благочестивый облик либо по фабуле, как напр. переводные отреченные жития, либо по приложимости практической к богослужебному обиходу, как напр. т. наз. »худые номоканунцы« в роде того, о котором приведен строгий отзыв еп. Нифонта.[4]) Запрещаемые индексом кон. XIV—нач. XV в. книги не могут

[1]) Изданы Н. М. Гальковским, Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси, т. II (М. 1913), под №№ 1, 3 и 5.
[2]) Редакция древнейшего списка, пергам. XIV в., Румянц. 186.
[3]) Памятн. древнерусск. канонич. права, I (изд. 2-ое), ст. 354.
[4]) Там же, ст. 44.

сойти, во всяком случае, хотя бы в части своей, за искомую нами мирскую литературу, даже отдаленно напоминающую Слово о полку Игореве; кроме того, что они чужды художественного претворения мифа, и скомпанованы они вообще не туземным народным творчеством, а византийско-болгарским (по преимуществу). На русской почве индекс встречается впервые в »Молитвеннике« митр. Киприана (†1406), т.-е. пришлого на Русь югославянина; те действительно русские пополнения, какие индекс испытал в XV в., падают на отдел книг истинных, т.-е. опять на то же »книжное почитание«.[1])

Тип богослужебной книги и тип учительного сборника, также пригодного к богослужебной практике, отсюда получающей материал для проповеди, были за все время пергаменной письменности подавляющими в сознании древнерусского общества. Светская, пусть даже условно светская переводная струя несомненно входила в домонгольскую письменность, но она оставалась незаметной, более чем второстепенной по самой обстановке и своего происхождения, и существования. Ее ограничивал, во-первых, уже источник — сама переводимая византийская литература, поскольку там господствовало миросозерцание церковное, а чисто светские произведения были редки; во-вторых, ее стеснял путь передачи византийской литературы, близкий к миссионерству и к деятельности культуртрегеров, каковыми являлись пропагандисты христианства, иерархи-греки; в-третьих, стеснял недостаток средств для лишних с церковной точки зрения переводов или же копий с этих переводов. Обобщая наблюдения, можно было бы сказать, что русская пергаменная письменность представляет как бы иную культурную сторону по отношению к средневековой письменности западноевропейской и византийской. Там дух церковности и миссионерства действовал зачастую иначе: с пергамена соскабливались светские тексты и заменялись затем благочестивыми церковными. Отсутствие у славян, в частности у русских запаса не унаследованной от прежних времен, а вновь переводимой светской литературы — в значительной степени однозначуще с отсутствием запаса рукописей, который мог бы пойти на палимпсесты.

Вышеупомянутый летописный панегирик Ярославу дает

[1]) Н. С. Тихонравов, Отреченные книги древней России, очерк первый: Сочинения (М. 1898), т. I, стр. 147.

картину, иллюстрирующую все сказанное. Ярослав »... бѣ... любя церковныя уставы попы любяше по велику. излиха же черноризьцѣ. и книгамъ прилежа и почитая е часто в нощи и въ дне. и собра писцѣ многы и прекладаше от грекъ на словѣньское писмо. и списаша книгы многы... ими же поучащеся вѣрнии людье наслажаются ученья божественаго...«[1]) Это общеизвестное место летописи, лишний раз вскрывая взгляд на литературу как на благочестивое почитание книжное, желает видеть в переводческом предприятии Ярослава, может быть, не совсем то, чем оно задавалось в действительности. Надо думать, инициатива великого князя захватывала несколько шире круг »почитания«: в него могли входить, среди других, такие произведения, как Иосиф Флавий (История Иудейской войны), »Александрия«, хроники Георгия Амартола и Георгия Синкелла.[2]) Но что было в средствах князей — особенно великого князя — позволявших себе своего рода дорогую роскошь, то оказывалось далеко за пределами потребностей, лишь только наступала пора переписать светский, даже условно светский памятник — при обычных обстоятельствах.[3])

До сих пор данные, какие извлекаются из всего сказанного, заметно расходятся со взглядами Н. К. Никольского на состав древней русской письменности. А. И. Соболевский прав, когда расширяет вопрос до величин общелитературного status

[1]) Полн. собр. русск. летоп. т. I, в. 1 (Лаврентьевская, изд. 2-ое, Ленингр. 1926), ст. 151—152. Орфография цитаты упрощена.

[2]) Ср.: В. М. Истрин, Хроника Георгія Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. II (П. 1922), стр. 307—309.

[3]) В иную несколько сторону — в сторону расширения книжного почитания толковыми »философскими« текстами представляет соответствие Ярославову Киеву Смоленск времени Ростиславичей (вт. пол. XII в. и перв.—XIII). »Глубинные книги«, в чтении которых современники обвиняли Авраамия Смоленского, конечно не богослужебные и не учительные обычного типа, находят себе хорошее освещение в том, как экзегетика с схоластическим средневековым пошибом трактуется по поводу одного из родственных ей текстов — послания митр. Климента Смолятича к смоленскому пресвитеру Фоме: это сочинения, »... яже не суть предана церковному прочитанию [вар.: почитанию] за величьство разума и глубину, скровеныхъ ради в них словес«. Недаром и обвинения, на которые отвечал Климент, составляющие своего рода прецедент по отношению к Авраамию, сводились прежде всего к тому, что он будто бы »оставил почитаемые писания«, а обратился к аргументации нецерковной, даже языческой: »от Омира и от Аристотеля и от Платона«. — См. у Н. К. Никольского, О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, Спб. 1892 (особенно стр. 88 и слл.). Обстоятельную характеристику Смоленска, как литературного центра, можно найти у Н. Редкова, во введении к изданному им житию Авраамия Смоленского (Смоленская Старина, вып. I, Смол. 1909; стр. 35—44).

quo. Светская литература не потому сохранилась в ничтожных размерах, что была профильтрована сквозь библиотеки монастырей, а прежде всего потому, что она вообще была чрезвычайно слаба. Опору этому положению дают факты истории культуры, а также квалификация »книжного почитания« церковными деятелями, т.-е. данные независимые от наличной рукописной традиции; и если они ею подтверждаются, то это только увеличивает их значимость.

Но нельзя сказать, чтобы вопрос сейчас же исчерпывался. Монастырь, как орган книжного почитания, всё таки причинен в одностороннем отборе книг, а поскольку последний продолжался в течение целых столетий, то и результаты действия относящихся сюда второстепенных факторов могли оказаться крупными. Помимо собственного производства, монастырь по разному охранял различные категории книг, попадавших из мира. Насколько эти производство и охрана группируются вокруг требований церковной уставности, мы воочию убеждаемся по сохранившимся древнерусским книгам XI—XIV веков. Данные и цифры, собранные тому назад 30 лет в монографии Н. В. Волкова,[1]) хотя и устарели сами по себе, но в общем своего соотносительного, коэффициентного значения — mutatis mutandis вновь регистрированным материалом — не потеряли.[2])

Дороговизна пергамена и медлительность переписки уставным письмом делали нелегким доступ в книгу внебогослужебному произведению. Среди датированных пергаменных рукописей нач. XV в. (т.-е. из тех, которые если и могли быть известны Волкову, то не были отмечены в виду их несомненной принадлежности XV веку) следует оговорить особенно две, обе 1406 г.: именно Коломенский список Палеи Толковой и список Киево-Печерского патерика в т. наз. арсениевской редакции. Что эти оба памятника были в высокой степени жизнеспособны, подтверждается их дальнейшею рукописной

---

[1]) Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков. Пам. др. письм. CXXIII (СПб. 1897).

[2]) Из 700 с небольшим отмеченных у Волкова рукописей почти треть занята отделом »Священное писание« (230 №№, из них 141 евангелие), а остальное количество делится между »Богослужебными книгами« (264 №№), творениями отцов церкви (78 №№), »духовно-нравственными сборниками (112 №№), — и только 11 номеров падает на »церковное и гражданское право«, да 6 — на »исторические книги«, куда вошли три летописи, две хроники (переводные) и одна палея.

традицией, на бумаге; и если не вполне ясны причины авторитета Палеи в раннее время ее существования, то Патерик культивировался, надо полагать, в большинстве областных центров, куда только достигал авторитет Печерской обители, будь то монастырь или епископская кафедра. Оба указанных списка являются редкими случаями преодоления памятником окружающих неблагоприятных условий. Богослужебная практика — вот то, чем всего вернее обеспечивалась жизнь любому тексту, включая и священное писание. При значительном числе сохранившихся паримейников (по Волкову 27, цифра устарелая) — книг нужных специально для богослужения, редки части четьего Ветхого Завета; многие книги для полного библейского свода были впервые переведены в кон. XV в., в Новгороде (с Вульгаты), и нет явных следов того, чтобы библейский свод в целом или в частях, позже пользовался четьей популярностью. Наблюдается также и выделение книг наиболее в церковном обиходе необходимых, когда условия особенно плохи для письменности. Как известно,[1]) последний век пергамена, XIV-ый, был веком развития этого обихода в пользу более строгой и полной уставности (от студийской к иерусалимской), что в рукописной традиции резче всего сказалось на обилии списков Пролога: огромное большинство русских пергаменных списков данной книги должно быть палеографически отнесено, действительно, к XIV в. Все они либо северно-русские (большая часть) либо средневеликорусские (меньшая). От Руси южной и западной, которая местами опаздывала, после разорения, а местами начинала итти по особым путям своей церковной жизни, Пролог не сохранился за период с полов. XIII в. по XIV включительно ни в одном списке; дошли лишь необходимейшие богослужебные книги — апракосные евангелия и псалтири.[2])

С переходом к XV в. произошел сдвиг, обеспечивший письменности лучшие, чем прежде, условия. Сменилась техника книжного дела: пергамен уступает место бумаге, а уставное

[1]) Ср. И. Мансветов, Церковный устав (типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви (М. 1885), стр. 269 и слл.

[2]) Данные о происхождении пергаменных прологов библиотек б. Моск. Типогр. и б. Моск. Синод. собраны А. А. Покровским, Древнее псковско-новгородское письменное наследие (М. 1916, в Трудах XV Археологич. съезда, т. II). Наблюдение над судьбой Пролога на юго-западе делает, в Очерке истории древнерусской литературы (Петр. 1922, стр. 39) В. М. Истрин.

письмо — полууставу. Произошло это, конечно, не вдруг, но сейчас речь идет о критическом моменте эволюции. Одновременность смены и материала, и способа письма должна объясняться в значительной степени психологически: для писцов открылась возможность беречь не столько материал, сколько время, переходя от изготовления одной рукописи к изготовлению другой. Веками воспитанная »литургичность« книги теперь уступает иному взгляду на книгу. Нужды церковного обихода стали удовлетворимы легче, тогда как еще накануне ввоза бумаги случалось, за недоступностью пергамена, совершать богослужение по книгам, приготовленным из бересты.[1]) Теперь переписка книг свободно развивается как профессиональное занятие, находя опору в доступном уже расширении четьих интересов. Огромная разница в числе дошедших рукописей между пергаменно-уставным XIV в. и бумажно-полууставным XV-ым не может объясняться только тем, что столетием для утраты памятников стало меньше; нелогично было бы сводить ее и к тому, что в связи с усиленным югославянским влиянием литература обогатилась рядом новых памятников. Письменность расширяли количественно не столько оригиналы югославянские, конечно, сколько русские копии с них. Само размножение пришлого материала было бы неизбежно стеснено старою рукописною традицией, должно было бы подчиняться экономии материала и рабочих сил, т.-е. по прежнему в пользу переписки евангелий, апостолов, псалтирей — книг, нужных текущему богослужебному обиходу.

Благодаря признакам языковым и графическим размеры пришлой со славянского юга литературы достаточно ясны: они так велики, что считают возможным говорить о расширении состава письменности почти вдвое.[2]) Обстоятельство — явно неблагоприятное для роста прежней рукописной традиции. Если, уступая место пришлым памятникам и окружавшим их литературным интересам, меньше переписывалось старое, — меньше и нам должна быть известна пергаменная письменность состава, сохраненного ею к своему концу. Но если даже

---

[1]) Это именно имело место в тр. четв. XIV в. в новооснованном Троицком монастыре (Сергия Радонежского). Источник, хорошо осведомленный о быте великорусских монастырей — Иосифа Волоцкого Духовная грамота, Слово 10; в издании Великих Миней Четьих Археогр. Комиссией вып. 1, ст. 550 (под 9 сентября).

[2]) А. И. Соболевский, Переводная литература московской Руси XIV—XVII вв. (СПб. 1903), стр. 13—14.

при такой неблагоприятной обстановке налицо данные, казалось бы, противоречивые этому, то не свидетельствуют ли они, спрашивается, о силе перелома в письменной технике? В пользу последнего говорит именно то, что многие древнейшие произведения из тех, которые не входят на пергамене в ту или иную крупную компиляцию (как Летопись, Палея Толковая, Пролог, Кормчая и т. п.), знакомы нам впервые по бумажным спискам времени до »начала XVI в.« включительно. Палеографический »просто XVI в.« (понятие о средней трети, несколько расширенное), не говоря уже о двух следующих, XVII-ом и XVIII-ом, и считаясь все с тем же условием сравнительной близости ко времени, когда памятники стали охраняться научно, заметно отстает от XV в. Взяв например авторов, т.-е. редкие произведения, не только принадлежащие русским авторам, но и авторизуемые им поименно, мы найдем, что за указываемое время, притом почти всегда без перехода в XVI в., будут представлены: от XI в.[1]) — митр. Иларион (Слово о законе и благодати — ряд списков, начиная с Мус.-пушк. сборника 1414 г.) и Феодосий Печерский (Великопостные поучения инокам — рукоп. Румянц. собр. [Москва] № 406); от XII в. — игумен Даниил (хождение в св. землю; списки: Гос. Истор. Музея в Москве, Синод. собр. 951, тр. четв. XV в.; Кир.-Белоз. собр., Ленингр. Госуд. Публичной Библиотеки $^{9}/_{1086}$, 1476 г.), Феодос Грек (Епистолия о римской вере — список ок. 1444 г., Гос. Ист. Музея, Чудовского собр. 262), Климент Смолятич (Послание к пресвитеру Фоме — списки Кир.-Белоз. $^{134}/_{1211}$, изданный Н. К. Никольским, и Общ. люб. древней письменн., кон. XV в. f. CXCI и f. CXCII); Илья-Иоанн (Поучение к попам и братии, Библиот. им. Ленина в Москве, собр. Попова 2515); от XII или XIII — Даниил Заточник (Моление, список собр. Ундольского в Библ. им. Ленина, XV/XVI в., № 195); от XIII — инок Ефрем (Житие Авраамия Смоленского, список б. Вилен. Публ. Библиот. $^{102}/_{158}$), Серапион Владимирский (Слово о маловерии, »Паисиевский сборник«, Кир.-Белоз. 1081, нач. XV в.), Иаков Черноризец (Послание к Дмитрию князю, Ленингр. Публ. Библ. Q. I. 1130, кон. XV в.). Из анонимных оригинальных памятников можно указать например: т. наз. »Слово о князьях« (на перенесение мощей Бориса и Глеба,

---

[1]) Для XI в. обильные указания списков дает Н. К. Никольский, Материалы для повременного списка русских писателей (СПб. 1906).

Ленингр. Публ. Библ. собр. Погодина 1024), Слово о богаче и бедняке (Синод. 638, Ундольского 241). Слово о погибели русской земли, изданное Х. М. Лопаревым по рукоп., без №, Псково-Печерского монастыря), Житие Александра Невского в первоначальной редакции (б. Моск. дух. акад. 208), »Словеса святых пророк« (Библ. Акад. Наук СССР, собр. Яцимирского 22); и т. д.[1]) Наконец, из числа переводных нужно назвать ряд текстов домонгольской древности, которые хотя и могли (не все) входить в состав компиляций еще на пергамене, но становятся известны лишь с XV в., в бумажных рукописях, притом не столько в составе компиляций, сколько в виде самостоятельных списков в сборниках. Таковы, между прочим, несколько произведений повествовательной литературы: Повесть о разорении Иерусалима, Иосифа Флавия (список библ. б. Моск. дух. акад. 651, а также дефектный — моск. Публ. библиот. имени Ленина 3271, к. XV в.), Александрия (список »евфросиновский« в сборн. Кир.-Белоз. $^{11}{}_{1088}$), сказание об Индейском царстве (списки: тот же Кир.-Белоз. и б. Моск. дух. акад. 309), Повесть об Акире (список моск. Общ. Ист. и Древн. Росс. 189, к. XV в.), и др.

В результате обзора рукописей можно было бы сказать, что в наиболее оригинальных, нешаблонных ее проявлениях домонгольскую и раннюю примонгольскую письменность мы знаем главным образом на бумаге, а на пергамене лишь по мере того, как она была захвачена авторитетными компиляциями и сбереглась ими; так, например, Поучение Владимира Мономаха дошло в единственном списке — пергаменном, Лаврентьевской летописи 1377 г.; наоборот, Житие Антония Печерского, использованное в свое время в качестве литературного источника Киево-Печерским патериком и потому в подлинном виде к нему не присоединенное, погибло, и утраченным считалось еще в XVI в.[2]) С другой стороны, для того чтобы лучше оценить характер реформированной книжности, мате-

[1]) Кстати будет добавить к приведенному перечню (не претендующему на полноту), что погибшая в 1812 г. рукопись со Словом о полку Игореве, точнее самый список в ней Слова предположительно, на основании данных языка и графических явлений в тексте, относится в последнее время не к XVI/XVII в. (как напр. Н. С. Тихонравовым), а к XV и разве только к первой половине XVI-го. См.: Н. М. Каринский, Мусин-Пушкинская рукопись Слова о полку Игореве, как памятник псковской письменности XV—XVI в., Журн. Мин. Нар. Просв. 1916 г., XII, стр. 199—214.

[2]) См. А. А. Шахматов, Житие Антония и Печерская летопись. Журн. Мин. Нар. Просв. 1898, III.

риал дается ранней бумажной письменностью: здесь имеется хотя бы такое средоточие новой формации рукописного дела, как Кирилло-Белозерский монастырь с его колониями — скитами. Не говоря уже о том, что этот монастырь возглавлял собою обширное идейное движение XV-XVI в., кириллобелозерская среда важна для нас тем, что оставила по себе отчетливые следы — и в виде книг тогдашней монастырской библиотеки, и в виде описи ее, которая находится в современном кирилло-белозерском сборнике и сама по себе представляет замечательный библиографический труд.[1]) Без риска неправильного обобщения мы вправе считать Кирилло-Белозерский монастырь ярким, передовым выразителем происходивших в книжности явлений. Наряду с перепиской богослужебных книг (которые охранялись особенно: ради них составляется подробная опись) в »келейных сборниках« обнаруживается чрезвычайное четье разнообразие, обязанное уже личным вкусам и интересам. Давно выделены исследователями, как выдающиеся, три таких сборника, все карманного формата 8° или 12°, с участием в каждом тетрадок, ранее исписанных для себя неким иноком Евфросином, судя по всему, в том же Кирилловом монастыре или по близости.[2]) Личность этого Евфросина остается неизвестной вне тех приписок, какие он же рассеял по поводу того, что переписывалось. Но отчасти из приписок, отчасти из самого факта наплыва отовсюду статей в келейные тетради монаха — с необходимостью следует весьма определенный вывод. Работа Евфросина — хороший показатель, в дополнение к библиотечной описи кон. XV в., библиографических высот, достигнутых кириллобелозерской книжностью. Евфросин черпал материал не всегда в своем монастыре; так, вписав »Слово о женах, о добрых и о злых«, он делает пометку: »іюня г҃ ис пролога в фарафонтовѣ писано« — ссылка на соседнюю библиотеку Ферапонтова монастыря. Видимо, он осведомлен и о количественном составе некоторых библиотек —

[1]) Издана и исследована Н. К. Никольским: Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века (изд. Общ. Люб. др. письменн., CXIII, СПб. 1897).

[2]) Их описания: Н. В. Рузский, Сведения о рукописях, содержащих в себе хождение в св. землю русского игумена Даниила, в начале XII века (сборники Кир.-Белоз. собр. 9/1086 и 11/1088); М. Н. Сперанский, Псалтирь жидовствующих в переводе Феодора еврея (сборник Кир.-Белоз. 6/1083). То и другое описания — в Чтениях Общ. Ист. и Др. Росс., за 1891 г. (III, 1—172) и 1907 г. (II, 4—72).

по поводу выписанной им молитвы Сергию Радонежскому он делает сноску: »въ Сергіевѣ монастырѣ книгъ т҃, а молитвенниковъ к҃«. Размах евфросиновского чтения задевает с одной стороны косметику (статейка »о сединах«, сборн. Кир.-Белоз. $^{11}/_{1088}$, л. 195 об.), с другой — духовный стих; ему именно мы обязаны чрезвычайно ранней записью »стиха« об Адаме. От переписки апокрифа (»Сказание о 12 пятницах«) его не удерживает сознание отреченности этой статьи, и он добавляет только: »сего во зборѣ не чти, ни многимъ являй!«; повесть о воеводе мунтянском Дракуле (старший ее список, 1490 г.) у Евфросина была под руками и переписывалась »впервые«, по его записи 1490 г., еще в начале 1486 г., т.-е. когда она была вообще самой свежей литературной новинкой. — Все это разрозненные детали, но ими весьма рельефно вскрывается серьезность нового движения в книжности, какого не знал совсем ее пергаменно-уставный период. Не одна, конечно, смена средств письма была тут причинна, но ясно, что она являлась очень важным ингредиентом в процессе. Ею технически осуществлялся идейный подъем у великорусского общества кон. XV в., особенно в лице столь деятельного в это время монашеского »Заволжья«. То, что говорит А. И. Соболевский об отсутствии организованной цензуры по отношению к составу монастырских библиотек, получало возможность проявиться в достаточной степени лишь в XV—XVI в., когда письменность значительно развивается и когда факт ее развития совпадает с развитием идейных иноческих миросозерцаний и, далее, с расширением интереса к новому чтению. Бумажные сборники собраний новгородского Софийского и Волоколамского (в историческом, не разбитом составе последних) могут показать воочию, что четье разнообразие, разбавляющее исконно иноческую литературу, связано и территориально с книжными центрами, втянутыми вслед за Заволжьем в идейное движение. Что касается библиотек северных монастырей, то попадало туда, как легко понять, далеко не все, переписанное их насельниками, и незаурядным культурным фактом, который еще более сближал со светской стихией монастырскую книжность, была северная трансформация монашества в связи с развитием скитского образа жизни. В скитах книжное дело часто становилось профессией, ремеслом, оправдывая завет Нила Сорского о том, чтобы иноки »жили бы по пу-

стыням, а кормили бы ся рукоделием«; неизбежно сюда проникали требования возникающего мирского книжного рынка. Пока еще этот рынок в собственном смысле слова (т.-е. не в смысле размножения и продажи на нем церковных памятников) только начинал создаваться. Передовые люди — рационалисты кон. XV в. были увлечены оппозицией господствовавшему раньше миросозерцанию, но не умели возражать ему, за единичными исключениями, иначе чем с помощью старого церковного арсенала аргументов и приемов. Задерживаемая этим, светская струя в литературе XV и XVI веков питалась по преимуществу старыми памятниками, реже новыми композициями или переводами; тем не менее, опыты оригинальной повести — »новеллы« нарождаются уже теперь. Итак: есть внутренние ограничения, которым пока подчинялась книжность, уже освобожденная от внешних ограничительных условий. Легко понять, что иночество, в лице и по образцу заволжских монашеских общин, удалявшихся от общежития в сторону рабочей артели, сыграло в этом переходном состоянии очень значительную роль.

Что письменность трансформировалась, видно еще из одного явления, сколько-нибудь заметного лишь с XV, XVI в. До этого времени среди факторов, образующих рукописную традицию, от взгляда исследователя ускользает весьма существенное цензурное начало. Между тем оно жило, действовало: это улавливается иногда по прямым указаниям на преследуемый памятник, иногда же путем сложных домыслов — если из дошедших редакций памятника восстанавливают погибшую или погибшие. Первый случай: многие списки Правила Кирилла митрополита русского (1274 г.) отбрасывают начало и первую главу, в которой говорится о греховности симонии, а затем вслед устанавливаются »законные« ставки пошлин; про данное постановление Правила отзывается категорически »Власфимия«, трактат против симонии, XIV в. (начала): »въ нем же ересь Симона волхва и Антонина еретика въ законъ введена. Се правило въ началѣ право, а въ концѣ проклято«.[1]) Между тем, урезанные списки »правила« относятся к XV в. и все они бумажные. Пергаменная традиция не донесла подтверждения цензуре, да и трудно этого ожидать при

[1]) Памятн. древнерусск. канонич. права I, 83—84 (легенда к памятнику № 6).

каких-нибудь двух-трех списках оффициозного происхождения, какова напр. Софийская пергаменная Кормчая. Второй случай: А. А. Шахматов и М. Д. Приселков восстанавливают такие моменты летописания при Киево-Печерском монастыре, которые были захерены в силу своего неприятного значения — представителями враждебной автором этих записей литературной группы.[1]) Есть основания говорить о том, что древняя редакция сборника »Измарагд«, существовавшая в XIV в., была одиозна духовенству, что она усиленно вытеснялась другой редакцией, дошедшей в немногих списках XV в. и в очень многих XVI и XVII-го (т. наз. 2-ая редакция Измарагда); но вывод получается с помощью двух бумажных списков Измарагда 1-ой редакции, потому что единственный пергаменный, средины XIV в. сильно дефектен, и дефектом поглощены статьи, важные для определения тенденциозной физиономии всего сборника.[2]) Впервые памятники »оппозиционной« мысли в близких по времени списках появляются за XV и XVI века, и только тут вполне может вскрыться картина трудностей, какие преодолевает оппозиционный памятник, сохраняя себе жизнь.[3]) Лишь с конца XV в. исследователь начинает различать территории, благоприятствовавшие сохранности преследуемых памятников. Такою территорией была Западная Русь для писаний, обращавшихся среди великорусских жидовствующих; она же и, может быть, крайний север (Соловки главным образом) укрывали оппозиционные произведения »заволжцев«. Единично известные тексты Логики, Шестокрыла, »Космографии«, старшие — Аристотелевых врат сохранены Западной Русью;[4]) единичные списки полемических статей Вассиана Патрикеева дошли по преимуществу в соловецких рукописях XVI в. (б. собр. Казан. дух.

[1]) Киево-Печерский патерик и Печерская летопись (Изв. отд. русск. яз. и слов. И. Ак. Наук, 1897, III); Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси (СПб. 1913).

[2]) Обзор списков — у В. А. Яковлева, К литературной истории древне-русских сборников. Опыт исследования Измарагда (Одесса 1893).

[3]) Не дошло напр. ни одного списка с бранных грамот чернеца Захара, которые тот, обвиняя новгородского архиепископа Геннадия, беспрестанно в течение трех лет (1487—1490) рассылал по разным городам; см. грамоту Геннадия к митр. Зосиме, Памятн. канон. права I, 777. Сл. также перечень погибших оппозиционных памятников к. XV и н. XVI в. у И. П. Хрущова, Исследование о сочинениях Иосифа Санина (СПб. 1868), прилож.

[4]) Указания на списки дает А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси (СПб. 1903), гл. VI.

акад.); единственный список посланий Артемия игумена троицкого — западнорусский (моск. Публ. Музей, собр. Ундольского № 494). — Мы еще убедимся, насколько глубока и остра стихия публицистики в древней русской литературе. То там, то тут сквозят ее следы за все века, начиная с XI-го. Но относящееся к ней воздействие цензурного начала, падая на узкую полосу пергаменных внебогослужебных текстов, всецело скрыто под более общими нивеллирующими условиями, в которых жила письменность вплоть до XV века.

* * *

2. Анонимность и псевдонимность в литературе, с проистекающими отсюда трудностями исследования. Авторский инстинкт у древнерусских писателей.

»Проблема сохранности состава« вызывает перед историком и, особенно, методологом древней русской литературы другие вопросы, не менее для него кардинальные. При переходе к качественному различию между литературами древней и новой неизбежно будет столкнуться с отличительным свойством первой из них: анонимностью плюс псевдонимностью, дающими себя чувствовать на каждом шагу. Сравнительно с новым литературным периодом, где в качестве единицы исследования берется автор на фоне окружающей обстановки — личной, общественной, словесно-традиционной, мы совершенно лишены, сплошь и рядом, возможности применять детальный метод, который был бы приложим сразу к конечным объектам и создавался бы, как в области новой литературы, полнотой нашего ведения. Должна сказаться огромная разница между двумя мирами: один обладает печатью, размножающею произведения человеческого слова, проникнут самосознанием творческой индивидуальности и, находясь в тесных связях с нашим временем, изобилует уже по тому самому теми источниками, которые почему-либо не успели попасть в печать. Противоположный мир — располагает, наоборот, печатанием лишь к концу своего бытия, да и то с этим преимуществом для тех же богослужебных книг, и раньше бывших предметом особой заботливости;[1]) мир, где и попасть в руко-

[1]) См. у А. Н. Пыпина, История русской литературы[2], т. II, стр. 257—258. — Повторяется т. о. применение закона экономии технических средств, какое мы видели выше на периоде перехода письменности от пергамена к бумаге.

пись, и сохраниться в ней документу личной жизни, мысли, эмоции, без мотивировки общественным интересом, было необычайно трудно; где живому инстинкту авторства веками противодействует традиция иноческого безличия с одной стороны и отсутствие понятий о праве литературной собственности с другой — вследствие чего неизвестное переписчику имя могло исчезать или заменяться под влиянием какого-нибудь намека в тексте более авторитетном (святоотеческом, например). В результате этих и подобных им условий анонимности и псевдонимности, для древней литературы создалась методология своеобразная, с перенесением зачастую центра тяжести исследования в область предварительных работ. Насколько историк новой литературы способен уклоняться в критику от своей прямой исследовательской задачи, что объясняется близостью, созвучностью материала ему самому, настолько же понятно, если в историке древней литературы доминирует, и иногда слишком доминирует филолог. Перед историком древней литературы стоят ранее остального вопросы отсутствующие обыкновенно, потому что тут они редко сохраняют характер »вопросов«, при исследованиях в области новой литературы: о первоначальном тексте памятника, о времени и месте его возникновения, и т. п. Взамен возможности сразу с помощью заявления автора, или его окружающих, или вообще современников определить основную редакцию, приходится, при наличии нескольких, искать ее; при недостатке же материала для сопоставлений — довольствоваться внутренним анализом того, что дошло более или менее случайно. Если имеется заявление автора, оно еще подлежит сначала критической оценке, причем опять работа над текстуальными признаками выдвигается на первый план. По отношению к времени памятников в силе те же, подчас весьма косвенные соображения, хронологизация нередко расплывается на целое столетие, базируясь, тоже нередко, на чертах языка, далеко не всегда ярко выраженных в силу подверженности подновлению при переписках. Древность языка, которая служит, казалось бы, прочным методологически ручательством (язык могли подновлять, но архаизировать не было, повидимому, ни смысла, ни тем более уменья) — оказывается подчас коварной, так как может принадлежать древним источникам автора, а не автору; при манере компилировать большими купюрами эта древность языка может охватывать памятник весь или почти весь. Даже

присутствие имени русского автора, встречаясь на общем анонимно-псевдонимном поле зрения, не только не спасает непременно от ошибки, но самостоятельно способно вызвать ошибку. До какой степени оно гипнотизирует, в смысле желания использовать имя, отвести памятнику определенное историческое место, видно из тех случаев, когда именем, известным по другому памятнику, пользуются для того, чтобы тому же автору усвоить еще какой-либо, сомнительный. Не беда, конечно, хронологически, если Дмитрию Герасимову упорно приписывают памятник, на деле идущий от Дмитрия Грека, его старшего современника; серьезнее обстоит с усвоением всех домонгольского времени посланий с именем Феодосия непременно Феодосию Печерскому († 1073); и до недавнего времени на целых два века ошибались в вопросе о том, когда написано послание Иакова Черноризца к Димитрию князю. Стремление объединить автора с Иаковом Мнихом, писателем XI—XII в., побуждало видеть в князе Димитрии христианское имя Изяслава Ярославича († 1078), не останавливаясь на том, что в любое время до появления списков послания, т.-е. до XVI в. (решивший дело список XV в. еще не был известен) могли жить и князь Димитрий, и черноризец Иаков, и находиться друг с другом в переписке. Образцами скороспелого разнесения памятников по авторам, иногда без повода со стороны текста, изобиловал, как известно, старый »Обзор древней русской духовной литературы« архиеп. Филарета.[1]) Контрастом филаретовскому »Обзору« является, по своей научной осторожности, новейший труд того же характера, »Материалы для повременного списка русских писателей (X—XI вв.)« Н. К. Никольского: здесь имя автора всегда проверяется с помощью тщательной библиографии списков и редакций (где эти последние есть). Достаточно, во всяком случае, осознано, что как ни ценно присутствие имени автора, как ни естественно им дорожить и пользоваться во всех возможных исследовательских направлениях — все же основным методологическим приемом остается оценка текста; с нею уже приходится согласовать авторское имя. Образцом недоверия к древнему приурочению памятника нужно назвать основанные на критике текста соображения А. А. Шахматова, Е. Е. Голубинского, А. И. Лященка и М. Д. Приселкова насчет принадлежности Феодосию Греку двух посланий к князю Изяславу Яросла-

[1]) Изд. 3-е — СПб. 1884 г.

вичу (sic). Дело уже исследовательского такта, во всем ли были правильны эти соображения, везде ли был соблюден научный баланс, столь необходимый при оперировании косвенными доказательствами, но как бы то ни было факт тот, что имя адресата, современника Феодосия Печерского, не останавливает многих от мысли об адресате Изяславе Мстиславиче, современнике Феодосия Грека († 1156). Иногда критика текста, казалось бы, вплотную подводит к имени автора, но позже результат ее опровергается, и »ближайшую среду« автора и памятника (термин, в который войдут элементы места, времени и авторской личности) приходится до известной степени модифицировать. Так, например, случилось с работой А. А. Шахматова о первоначальном русском Хронографе.[1]) Посредством весьма сложных текстуальных сопоставлений Шахматов восстанавливал черты первоначальной редакции, возникшей, по его заключению, в 1442 г., в составе своем содержащей югославянские источники, а в языке некоторых статей сербизмы и антисербизмы; путем справки в литературных источниках Пахомия Логофета, как они расположены в писанном им (Пахомием) сборнике, Шахматов получал имя составителя первого русского Хронографа. Позднейшая работа (С. П. Розанова)[2]) вопрос о дате появления Хронографа и об отношении первоначального текста к »редакции 1512 г.« (старшей из дошедших) разрешает иначе, называя 1462 г., хотя и она не вышла из времени, когда в России жил и работал Пахомий Сербин или Логофет, и оставила в полной силе наблюдения Шахматова над особенностями состава и языка самого памятника.

Пусть установление »ближайшей среды« иногда оказывается неудачным на практике; в принципе ее все же следует считать идеальной степенью знания анонимной литературы. Говоря о »ближайшей среде«, нельзя упускать из вида, что часто приближение к личным отношениям не доводится до желательного предела, и хорошо еще, если в таких случаях корректив к традиционной анонимности доставляет областная локализация. В памятниках с отзвуками местного эпоса легенды циклизуются вокруг того или иного патронального культа и

---

[1]) К вопросу о происхождении Хронографа. Сборн. отд. русск. яз. и словесн. . . . СПб. 1899 (тома LXVI № 8).

[2]) Время составления первоначальной редакции русского Хронографа. Изв. отд. русск. яз. и словесн . . ., Лен. 1926 (т. XXX), стр. 311—322.

по поводу борьбы с другими, чаще всего соседними областями. Междуобластной антагонизм, задевая массы еще, пожалуй, чувствительнее, чем книжные верхи общества, являлся лучшим возбудителем местного самоопределения, стало быть и местного литературного начала. Сюда относятся разнообразные сказания и памяти о борьбе родного города с наступавшими на него полчищами врагов, о доблести, оказанной защитниками города, о чудесной помощи свыше, бывшей при этом; иногда, реже, взамен эпики вспыхивала деятельная работа мысли в сфере религиозной либо идейно-политической; и такие случаи могут быть лыбопытны тем что дают возможность следить за конечными судьбами областных первоначально интересов.[1]) Вообще же неэпическая категория много теряет от анонимности памятников, которые так или иначе должны были бы, не будь они анонимны, примкнуть к ней. Например: Мерило Праведное, Измарагд, Толковая Палея и т. п. составлены, каждая компиляция, в неизвестных, скрытых от нас среде и районе. Знание ограничивается лишь тем, что памятники эти русского происхождения, возникли и первоначально развивались между XIII и XV веками (т.-е. в период высокого развития областных литератур). Место их возникновения устанавливаемо лишь гадательно из данных языка и литературного состава, т.-е. данных недостаточно определенных хотя бы даже для локализации областной. Будь иначе, неизбежно раскрылся бы ряд новых фактов письменности, в частности — литературных потребностей, местных тенденций.

При всем сказанном, древняя русская литература лишь умеренноанонимна, и с этой стороны историк не встречает препятствий принципиальных в изучаемом материале. Давно уже замечено, что псевдонимы являлись так или иначе злостными сравнительно редко, а в большинстве объясняются общею анонимностью литературы, затерянностью имени автора еще в оригинале (если статья переводная); и поскольку это ка-

---

[1]) Тут вновь берет свое общий анонимный тон письменности, и личное начало поглощается традиционными книжными приемами. Так, напр., тверская оппозиция митр. Петру московскому, нач. XIV в., ведомая литературно монахом Акиндином, порождает анонимную и нейтрализованную идейно »новгородскую« редакцию »Власфимии«, где наряду с ярко областным памятником — посланием Акиндина, тверского монаха, к тверскому же и »всея Руси« князю Михаилу Ярославичу (и уцелевшим — то здесь, видимо, благодаря нейтральной почве — новгородской) находит себе место статья с похвалой Ивану Калите, врагу Твери, участнику того же жгучего церковно-политического столкновения.

сается огромного отдела проповеди, учительного слова — слабою индивидуальностью, манерой ткать из чужих мыслей, причем в получаемой компиляции совершенно растворяется авторская личность.[1]) Иначе обстоит там, где не источниками заглушен, а наоборот личным опытом поддержан живой авторский инстинкт. Так, начиная с Даниила игумена (нач. XII в.) обычно возглавляются именем автора, вполне реальным, русские паломнические »хождения«. Показательна и литературная форма послания, пока оно не переходит в эпистолярный образчик. Похоже на то, что крупные произведения, самими авторами сознаваемые за большой литературный труд, несколько искусственно приспособлялись к форме послания, которою в свою очередь выдвигалось авторское имя: перед автором, напр., Моления Даниила Заточника или перед двумя авторами Киево-Печерского патерика предносилась, по всей вероятности, известная литературная форма: в первом случае — просительной византийской поэмы, во втором — переводного патерика с предисловием-посланием. Упоминания о себе нередки в области летописной, иногда в виде мемуарной записи личного характера, попутно с описываемым событием занесенной; не подлежит сомнению, что таких записей было больше, чем дошло после ряда переписок, испытанного en masse летописным материалом. Насколько дорожили авторы своею литературной личностью, видно еще из ссылок на другие труды, иногда только предположенные или начатые. Нам неизвестен по имени автор Сказания об Индийском царстве, но мы знаем, что он собирался написать другое сочинение, на которое ссылается: »инде скажем«; неизвестно имя ростовского агиографа XIV в., но мы опять таки осведомлены им же, что он был автором не только повести о Петре царевиче ордынском, но и жития еп. Игнатия, на которое сослался. Авторское честолюбие Нестора (XI—XII в.) сказалось в том, что он в обоих сохранившихся от него житиях с видимой преднамеренностью заявляет о своем авторстве. Епифаний Премудрый (XIV—XV в.) указывал на свое намерение написать особо про одного из учеников Сергия Радонежского; он же связывает ссылкой Похвальное слово Сергию с Житием Сергия; не было бы доступно, от XVI в., имя автора Волоколамского патерика, если бы этот автор (Досифей То-

[1]) См.: М. И. Сухомлинов, О псевдонимах в древней русской словесности. Сборн. отд. русск. яз. и словесн. И. Ак. Н., т. 85, стр. 441—493.

порков) не сослался на свое Надгробное слово Иосифу Волоцкому. Не приходится уже говорить о писателях, как Зиновий Отенский или Максим Грек, тем более о многих литераторах XVII века: здесь историк имеет полную возможность, пользуясь авторскими указаниями, строить схему, канву деятельности того или другого писателя. (Окончание следует.)

Москва, 3. XII. 1927 г.

А. Седельников.

—

Glagolski in cirilski Artikuli in njih razmerje do Trubarjevih.

(Konec.)

4. Označba prevoda.

Nedvomno je moral zapustiti slovenski izvirnik v srbskohrvatskih tiskih svoje vplive, posebno jezikovne.[1]) Gre predvsem za slovenizme, kakor jih imenuje Fancev. Ta pojem pa je treba najprej točno določiti, kajti na eni strani so hoteli vsako slovenščini slično besedo v srbskohrvatskih tiskih označiti za slovenizem, z druge strani pa so iskali za jasne slučaje drugih razlag. Za slovenizme smatram take slučaje, kjer je za srbohrvaščino nenavadna oblika v shrv. tekstu identična z odgovarjajočo v slovenskem izvirniku; v dvomljivih slučajih mora biti običajnejša srbskohrv. oblika izpričana v sodobnom srbskohrv. tisku samem, kajti takratni govorjeni jezik nam ni znan.[2]) Eventualno je treba še razbrati, če ne gre morda za shrv. dubleto.

Predvsem imamo mnogo sloveniznov samo v glag. Artikulih, dočim so v cirilski izdaji nadomeščeni z bolj srbskohrvatskimi oblikami. Že to nam priča, da je občutil avtor cirilske izdaje take slučaje za nepravilne, za slovenizme (te vrste primere gl. sp.).

Kot najvažnejši direktni vpliv slovenske predloge se je smatrala raba *duala*.[3]) Odločno pa je nastopil proti temu Fancev »jer u našim izdańima nalazimo dualne oblike ne samo u prezentu, već vrlo često i u imperfektu i aoristu, a kako posļedńih vremena nije imao slovenski jezik protestantskih kńiga, ne mogu naši dualni oblici biti slovenske osobine, prema tome možemo odlučno poricati slo-

---

[1]) Nekaj jih je zbral za del glag. N. Testamenta I. Polovič (Evangelij ZMS X, 59—62), za Artikule Vidic (Nekaj o razmerju LMS 1898, 124—5), po njima splošno Bučar (Povijest 218—9), dalje Fancev, v kolikor se tičejo njegove razprave (*Fancev* Fr., *Jezik* hrv. prot. pisaca 16. v., *Rad* Jugosl. akad 212, str. 182, 214 . . . Rad 214, str. 15, 21 . . .) in Murko (Nekoliko reči, Daničićev zbornik 82 sl.).

[2]) Prim. zakaj ni mogel upoštevati Rešetar, Die čakavština . . . AfslPh XIII, 184 jezika shrv. prot. piscev.

[3]) Vidic, Nekaj o razmerju LMS 1898, 124; Polovič, Evangelij ZMS X, 61; Bučar, Povijest 219.

venski utjecaj i u dualnim oblicima prezenta. Ipak će dual stajati više sbog utjecaja crkvenoga jezika. nego živoga narodnoga govora«.[1]) To izvajanje, ki ga je mimogrede zavrnil že Murko.[2]) smatram za popolnoma pogrešeno. Jezik naših dveh prevajavcev ni poznal duala niti v deklinaciji niti v konjugaciji, ker sta kljub dualu v slovenskem izvirniku postavljala plural (enkrat singular). Prim.: slov. Art. S. Jakob inu S. Paul *shnym* Pyſmu od te Vere, ſi *neſta* ſubper 50 a: shrv. Art. sveti Jakovь i sveti Paval(ь) *žnihь* Pismom(ь) od(ь) ove Vere *nisu* neskladni 51 b: *bote* duey kardeli ... poſtauleni 103 b: *esu* dva stada (dve stade) postavleni 107 a (106 b); Adam inu Eua *ſta* ſe ... *pregreshila* 75 a: se *ье (je)* Adamь i Eva ... *omrsil(ь)* 75b; *tima Conciliema* 98 a—98 b: *ovimь konciliemь* 102 a (101 b): Vmei *leteima dueima deilla* 106 b: Mei *ovimi dvêmi deli* 107 a (106 b); *tima peruima zhloueka* 7 b: *prvim človekom* 8 b.

Kljub temu pa imamo tele dualne oblike:

slov. Art. imaua 98 b (2×): shrv. Art. imava 102 a (101b) (2×); nimaua 98 a: nimava 102 a (101 b); ſua ... poduershena 98 a: esva (jesva) ... podvržena 102 a (101 b): prauita inu pisheta 10 a: pravita i pišeta 11 a; hozhta 10 b: hoćeta 11 b; negouorita inu ne pisheta 10 b: negovorita ni pišeta 11 b; gouorita 51 b: govorita 53 a; prauita 10 a: govorita 11 a; islagata 8 a: tumačita 8 b; pryzhuieta 77 b: svidočita 79 b (79 a); ne ſta Greshila 75 b: nista sagrišila 77 a—77 b (77 a); ſta ... prelomila 75 b: esta ... prelomila 77 b (77 a); ſta ta dua krala 21 a: esta ova dva krala 23 a (22 b).

Dobesedna uporaba slovenskega izvirnika je jasna. Ali naj iščemo v Artikulih vpliv cerkvenoslovanskega jezika? Dualne oblike imperfekta in aorista bi imele dokazilno moč edino v takem tekstu kot so Artikuli, ki se naslanjajo na slovensko predlogo, ne pa v kakem N. Testamentu, v katerem se nahaja večina dualnih imperfektov in aoristov,[3]) za katerega pa je tudi dognano, da se naslanja na cerkvenoslovanski tekst.[4]) Zato priznavam za naš tekst, kar se duala tiče, samo slovenski vpliv. Da gre tu predvsem za konjugacijo, je razvidno iz zgornjih primerov; v deklinaciji ni najti jasnih dualnih oblik (slov. Art. ta dua krala 21 a: shrv. Art. ova dva krala 23 a (22 b); nama obema 98 b: nama obema 102 a (101 b); pred nima obema 7 b: obema dvêma 8 b; to so vse slučaji, kjer se

---

[1]) Fancev, Jezik Rad 214, 55; prim. tudi ib. 15—6.
[2]) Murko, Nekoliko reči, Daničićev zbornik 84.
[3]) Fancev, Jezik, Rad 214. 56 je zabeležil vsega skupaj 13 oblik.
[4]) Polovič, Evangelij. ZMS X, 62 sl.

v srbohrvaščini tudi danes rabi dual). Vendar tudi Fancevi trditvi, da bi dualne oblike v deklinaciji izhajale samo iz cerkvenoslovanščine,[1]) bi se dalo oporekati, čeprav nahajamo večino teh slučajev v biblijskih tekstih; prezreti se namreč ne sme, da so tudi za redakcijo teh biblijskih tekstov v precejšnji meri služile slovenske predloge.[2])

Končnico *-iga* v oblikah glag. in cir. Art. našiga 63 a, sudñiga 44 a, 105 a (104 b) bi mogli sicer razlagati po Fancevu kot analogijo po instrumentalu in lokalu sing. na *-im* in po pluralnih oblikah na *-ih*, *-im*, *-imi*,[3]) vendar zaradi običajnejših oblik na *-oga*, *-ega* (shrv. Art. nebeskoga 1 a, svetoga 1 b (2×), 112 a itd., pravoga 2 a, Božéga (Božjega) 19 b itd.) in prav istih oblik na istem mestu v slov. Artikulih (nashiga 61 b, Sodniga 42 b, ſodniga 101 b) ne gre izključevati slovenskega vpliva.

Če čitamo v shrv. Artikulih *konciliom*(ь) 81 b proti pravilnemu konciliem(ь) 80 b, zavisi to tudi od slovenske analogične tvorbe Concilyom 79[1]b, 78 b. — Glag. in cir. *odь ñee* (vere) 23 a je nastalo pod vplivom Trubarjeve grafike (od nee 21 b), kajti sicer pišejo shrv. Artikuli odь ñe 23 a . . . — Konstrukcija prepozicije *svrhu* z acc. v glag. Art. (svrhu sve svitovno blago 93 b) je pogrešena pod vplivom slovenskega *zhes* vſe poſuitnu blagu 90 a; v cir. Art. je to popravljeno : sv̑rhu svega svitovnoga blaga 93 a.

Jasen je slovenski vpliv v besednem zakladu. Tako je že Polovič navedel, da sta uporabljala Konzul in Dalmata za Trubarjeve »*Vuzhenike*« isti izraz »učenike«.[4]) Sklepati pa iz današnjih pomenov (slov. učenik = magister, shrv. učenik = discipulus) na jezik protestantskih piscev, ne bi bilo zanesljivo, če ne bi imeli iz tedanje literature same dokazov za pomensko razliko pri tej besedi.

Gradivo : *a*) slov. Art. Studente 1 b : shrv. Art. učenike 1 b; na te Mlaishe 74 a : na Učenike 76 a; Paul mlaishimu Titu ſapoueda 40 a : Paval(ь) ñega učeniku Titu zapovêda 41 a. — *b*) slov. Art. Vuzhenik, -i, -ou, -om, -e 5 a, 8 b, 16 a, 16 b, 36 b, 100 a : shrv. Art. Dokture ili Učitele 103 b (103 a), dokturь 18 a, dokturi 9 a, Učenimь 17 b, učenih pismenihь ljudi 5 a, Pisci 38 a. — *c*) slov. Art. Vuzheniki, -ou, -om 12 a, 14 a, 16 b, 17 b, 51 a, 55 a, 78 a, 100 a : shrv. Art. dokturi i učenici 15 a, Učenici i dokturi 52 b, dokturovь i učenikovь.

[1]) Fancev, Jezik, Rad 214, 15—16.
[2]) Polovič, Evangelij ZMS X, 61.
[3]) Fancev, Jezik, Rad 214, 21,24.
[4]) Polovič, Evangelij ZMS X, 60.

18 a. 18 b. 56 b, Dokturov̄ i Učenikov 80 a (79 b). Dokturovь (Dokturov̄), Učenikovь (Učenikov̄) 103 b (103 a), meštromь, učenikom 13 a-13 b. — *d*) slov. Art. Vuzheniki. -ou, -e 2 a, 5 a (2 ×). 16 a, 18 a. 40 b, 103 a : shrv. Art. Učenici 5 a, 5 b, 17 a. 42 a. 103 b (103 a), učenike 2 a, Učenikovь 18 b.

Primeri pod *a*) kažejo pravilno rabo shrv. učenik = discipulus, pod *b*) pa, da sta prevajavca slov. vuzhenik pravilno razumela kot magister; v gradivu pod *c*) je videti pomen, kakor ga kaže b, obenem pa tudi vpliv slov. oblike; v gradivu pod *c*) je torej smatrati rabo učenik v shrv. tekstu za slovenizem.

Slov. »*beseda*« se prevaja na različne načine: *a*) slov. Art. beſſede, -i, -o 33 a, 33 b, 60 b, 61 b, 70 b, 73 b, 79²a (2 ×), 85 a, 90 b: shrv. Art. slova, -u, -om(ь) 34 b, 35 a, 61 b, 62 b, 72 a, 75 b, 82 a (2 ×) 88 a (88 b), 94 a (93 b). — *b*) slov. Art. beſſedi 5 b : shrv. Art. riči 6 a. — *c*) slov. Art. beſſeda, -i, -o 60 b, 67 a, 91 a : shrv. Art. slovo i beseda 68 b, slovu i besedi 61 b, Zbesedu ili slovomь (slovom) 94 b (94 a). — *d*) slov. Art. beſſeda, -e, -i, -ah 45 b, 48 b, 60 b, 64 a, 67 a: shrv. Art. beseda, -e, -i, -ahь 47 a, 50 a, 61 b, 65 b, 68 b.

Shrv. tekst se torej izogiba slovenskega izraza »beſſeda« (a, b), deloma ga pušča, a mu dodaje pojasnjujoče »slovo« (c), ponekod pa ga gladko prevzema iz slovenskega izvirnika (d, slovenizmi). Ker sledi dalje iz primera pod *b*) pomen »verbum« za shrv.-protestantsko *rič*, je treba smatrati slučaj riči v shrv. Art. 3 a, 6 b proti slovenskemu rizhi 3 a, rezhi 5 a prav tako za slovenizem.

Da bi bili slučaji v shrv. Art. *člověk* 5 a, človeka 46 b ... proti večini slučajev brez *l* (čovik 5 a, 33 a, 39 b, 44 b ... čovičaskoi 35 b, čověčaske 6 a ...) slovenski vpliv, ker piše Trubar vedno *l* (zhlouik 4 b (2 ×), 33 b, 38 a... zhloueski 34 a ...) je težko reči; prav lahko je mogoče, da imamo opravka z dubleto kakor v primorskih lekcionarjih 15. stoletja.[1]) Dubleta je tudi *vse* — *sve*, prim. shrv. Art. vse 3 a, vsem 4 b ... — svi 2 b, 5 b (4 ×), 7 b, svih 5 a, 5 b ... Sicer nahajamo v slov. Artikulih vedno nemetatizirano obliko, vendar pa kaže slučaj slov. Art. ſcelim 2 b : shrv. Art. sa vsim 2 b, da ne gre pripisovati shrv. nemetatizirane oblike samo slovenski predlogi. Glede obeh slučajev tudi ni izključeno, da je pisava prvotnejših oblik *člověk* in *vse* tradicionalna.

O kakem slovenizmu pa ne more biti govora pri shrv.-protestantskem *hiža*, kar razlaga Vidic kot vpliv Trubarjeve grafike.[2])

---

[1]) Rešetar M., Prim. lekcionari XV. v. Rad Jugosl. akad. 136, 119.
[2]) Vidic, Nekaj o razmerju LMS 1898, 129.

V naših tekstih čitamo tele slučaje: slov. Art. hysho 41 b, 43 b, 82 a, hyshe 89 b, Vhyshi 79²b (3×), hyshne 81 b : shrv. Art. hižu 43 a, 45 a, 86 a (85 b), hiže 93 a, glag. uhiži 82 b, uhiže 82 b (2×) toda cir. uhiši 82 b (3×), hižne 85 a (84 b). Da ni nastal *ž* pod vplivom Trubarjeve nedosledne grafike, priča shrv. Pohižtvo 85 a (84 b) za slov. Pohiſtuu 81 b; tudi je še danes v nekaterih narečjih ohranjena oblika *hiža* (v kajkavščini; v Istri *hiš*, kar ne izključuje nekdanjega -*ž*-).[1]) Cirilsko *uhiši* pa je treba potem razložiti bodisi kot obliko iz narečja Antona Dalmate, bodisi kot slovenizem, ki ga je Dalmata tudi govoril. —

V obeh izdajah shrv. Artikulov je tudi precej germanizmov. Ker stoje na istem mestu tudi v slov. Artikulih, je jasno, da so prišli v shrv. tekst preko slovenske predloge. Fancev pa odklanja tudi tu slovenski vpliv in si razlaga germanizme kot neposreden vpliv govorjene nemščine.[2]) Argument, da Konzul ni znal slovenski, češ, da je to sam Trubar izjavil, se mi zdi za lase privlečen; kako bi sicer mogel Konzul prevajati slovenske knjige?

Najznačilnejši germanizem, ki se je vrinil v shrv. Artikule preko slovenskih, je raba določnega in nedoločnega člena. Slučaji so zelo pogosti. *Določni člen*: slov. Art. Ner ta vishi inu vegshi 90 a: shrv. Art. ta nai veći i viši 93 b (93 a); ta praua Vera 3 b, ie ta praua 21 b : ta prava Vera 3 b, est (jě) ta prava 23 a; tiga Catehiſma 4 a, od tiga Vuka 4 a, od tiga prauiga Boga 1 b: toga Katehisma 4 a, odь toga Nauka 4 b, odь (od) toga pravoga Boga 2 a; vti Veri 22 a : vatoi Veri 23 b; ty drugi 3 b, ty ſtari ... Ozhaki 3 a, ner ty vegshi 90 b: ti drugi 4 a, ti stari ... Otci 3 a, ti nai veći 94 a (93 b); tih boſih ... ludi 4 a: tih ubozih ... ljudi 4 a; tim drugim Ozhakom 7 b—8 a, tim drugim Iogrom 2 a : tim drugim Otcem 8 b, timь drugim apustolom 2 a ...

Uporabo drugih demonstrativov je pripisovati pač stremljenju izogniti se določnemu členu: slov. Art. ta Gnada 16 b, ta Iogerska Vera 30 b : shrv. Art. ova dobrota 18 a, ova Apustolska Vera 31 b; tiga ſuita 3 a : svita ovoga 3 a; na tim Vuku 4 a : na ovom nauku 4 a; te lipe ... Boshye slushbe 3 b : ove lêpe ... Božé (Božje) službe 3 b; letih Buquiz 3 b : kñigь ovihь 3 b; — timu Bogu 15 a: onomu Bogu 16 a; te Viſſoke farye 1 a : one poglavice popovske 1 a.

Na marsikaterem mestu se je prevajavcema tudi posrečilo, da sta se izognila temu germanizmu; slov. Art. Eden tiga drugiga 4 b,

---

[1]) Berneker E., Slav. Etym. Wörterb. 414.
[2]) Fancev, Jezik, Rad 214, 92.

ponovlene tiga ſerza 5 b, ner te vegshe 90 b : shrv. Art. Edanь drugoga 5 a, ponovlené ŝrca 6 a, nai veći 94 a (93 b) ...

Nedoločni člen : slov. Art. en brumen ... Menih 18 b, En Farr 39 b : shrv. Art. edanь (edan) dobar ... Fratar 20 a, Popь edanь 40 b; ena ſaſtopna ... Shena 33 b, ena Staroſt 16 a, ena tatuina 16 a : edna razumna ... žena 34 b, edna Starina 17 b, ena tadbina 17 b; en opus operatum 6 a, enu dellu oli ena slushba 58 a : edno opus Operatum 7 a, delo édno (jedno) ili edna služba 59 b; od ene Gmaine 13 b : odь édne Općine 14 b; eno Boshyo slushbo 15 a, eno nouo Vero 1 a, 3 a, 3 b, 17 a: jednu Božju službu 16 a, édnu novu Veru 1 a, 3 a, 4 a, 18 b; ſanigà ... periatila 18 a: za jednoga ... prijatela 20 a; venim ... Gradu 19 a : v̂édnomь (v̂jednomь) ... Gradu 20 b : ty eni ... Vyudi 20 b : ovi edni ... Voivodê 22 b.

Trubarjevi germanizmi sestavljeni iz *gori, doli, naprei, naſai* ... + *ſtaviti, narediti* ... za nem. *aufstellen, vorgeben* ... so v shrv. Artikulih ponekod popravljeni (a), ponekod se opaža stremljenje po pravilnost, pri čemer pa je ostal vsaj delen germanizem (b), mnogi slučaji pa so pravi germanizmi, nastali seveda posredno preko slovenskega teksta (c).

a) slov. Art. gori narediti 1 a, gori nareiati 40 b, gori naredil 15 a: shrv. Art. nastaviti i narediti 1 b, nastavlati i narejati 42 a, nastavi 17 b; — gori vſeti 98 a, gori vſame 58 a, gori iemlo inu raſteio 57 a : prieti 101 b (101 a), priimlé (priimlje) 59 b, se množaьju (umnažaju) i rastu 58 b; — gori poſtaui 16 a, gori poſtaulena 16 b, gori poſtaulene 2 b: nastavi 17 b, postavlena i narejena 18 a, nastavlene 2 b; — ſo gori perpraulali 47 b : nastavlali 49 a; — gori dershi 44 a, 56 a : uzdrži 45 a, 57 b; — gori ſnaidene 13 b: zmišlene 14 b; — doli treti 14 a : zatirati 15 a.

b) slov. Art. gori perprauiti 3 b : shrv. Art. gorê nastaviti, zvišiti 4 a; — gori perprauil 7 a : gorê naredili, postavili i prinesli 7 b; — doli perprauili 15 b, 45 b : dolê vr̃gli i pom̃rsili 16 b, jesu doli postavili i ostavili 47 a.

c) slov. Art. gori naredil 7 a, gori ... nareiemo 17 a, gori naredite 16 a, gori nareiali 15 b : shrv. Art. gorê naredilь 7 b, gorê ... narejamo 18 a, gorê naredite 17 b, gorê narejali 17 b; — So gori poſtavili 80 b : esu gorê postavili 83 b—84 a (83 b); — ie ... naprei poſtauil 1 b, naprei dal 14 b, naprei daio 86 a, naprei dershal 2 a : estь ... napridь postavilь 1 b, naprêdь postavilь 16 a, napridь stave, daьju (daju) 89 b (89 a), naprêd nimь staveći 2 a; — doli tlazhimo 11 b : dole tlačimo 12 b; — naſai ſtauio 39 a : nazad(ь) stave 40 b.

Sem spada še Trubarjev suženjski prevod nemškega *genugtun Genugtuung*, ki je tudi prešel v shrv. Artikule. Prim. slov. Art. ſturiti ſadosti 31 a, 84 a, ie... ſturil ſadosti 28 a, de bi mi tei nega Sapuuidi ſa doſti inu popolnoma ſturili 34 b, kir bi mi... ſturili ſadoſti 53 b : shrv. Art. zadovolno učiniti 32 b, zadosta stvoriti 87 a, jest... zadovolno učinil 29 b, da smo ńegovim zapovidamь zadosta i nap̄lne učinili 36 a, da zadosta činimo 55 a; — Sadoſti diane 70 a : Zadosta stvorenie (stvorenje) 71 b.

Slično je tudi: slov. Art. Sbrane oli vkupe hoyene 97 b: shrv. Art. Zborišće ili kupno hojenie (hojenje) 101 a (100 b).

Čeprav se prevaja Trubarjevo *skuſi* (nem. *durch*) pravilno s prepozicijo *po* ali *z* in enkrat z *radi* (skuſi Jeſuſa Criſtuſa 7a (2×), skuſi to Vero 34 a, 34 b, skuſi to Poſtauo 51 a: po IS̄K̄U 7b, 8 a, po Veri 35 b, z veru 36 a, po zakonu ili zakonomь 52 a; skuſi Jeſuſa Criſtusa 7 a: radi IS̄K̄A 8 a) je vendar najti nekaj slučajev z ohranjenim germanizmom: skuſi koga 18 a, skuſi ... Greh 29 b, skuſi to Pridigo 33 a: skrozь koga 19 b, skrozь grihь (grih) 31 a, skroz(ь) pripovidanie 34 b.

Še nekaj leksikalnih germanizmov. Trubarjevemu (*ſa*)*merkati* (v različnih fleksijskih oblikah 19 a, 31 b, 63 a, 99 a) sta se skušala prevajavca izogniti, prim. čute i znaьju (znaju) 20 b, vidimo 32 b, napametь drže 64 b, biše oćutilь 102 b (102 a), vendar pa čitamo za slov. merkate 23 a, ne bodo... ſamerkali 60 a tudi v shrv. Art. merkate 25 a (24 b), nehote ... zamerkati 61 a; večkrat pa stoji za slov. (ſa)merkati (v različnih fleks. oblikah 12 b, 21 b, 55 a, 84 b, 97 a) shrv. zamêri 14 a, 100 b (100 a), zamêriti 25 a (24 a), 56 a, 87 b, kar je najbrže učeno naslonjeno na *mêra, mêriti.*

Trubarjevo Offer ... offral 96 in Offri 89 a je lepo prevedeno: žrtvo prikazalь 10 b, žrtva 92 b (92 a); pogosteje pa je najti za slov. *Opfer* (različne oblike 9 b, 10 a, 32 a, 54 a) v shrv. Art. domač in tuj izraz: žrtva ofrujuć 10 b, žńega ... ofri i žrtvom 11 a, ofar ili žrtva 33 a, Ofri i žrtva 55 b; še več pa je takih slučajev, kjer je germanisem gladko prevzet, prim slov. Art. Offrou 63 b, ſa tiga ofrouane volo 15 a, ſtakim nega Offrouanem 15 a, offrouati 2 a, 34 a, offruie 39 b, offral 15 a, ſe ie ... offroualu 102 b: shrv. Art. Ofrov 65 a, radi takova ofra 16 a, stakovimь ńega ofromь 16 b, ofrati 2 a, 35 a, ofrué (ofruje) 40 b, ofralь i prikazalь 16 a, se estь (jẽ)... ofar(ь) činil(ь) 106 b (106 a).

Nekaj manj številnih tujk, ki so prišle v shrv. Artikule pač tudi s posredovanjem slovenske predloge gl. v nasledjnem poglavju.

Še bolj pa pričajo o suženjskem prevajanju taka mesta, kjer se kaže nerazumevanje slovenskega teksta. Za slovensko *ſe . . . ne dei* čitamo v shrv. Art. *se negovori*; čeprav more pomeniti slov. *dejati* tudi *dicere*, gre v navedenem slučaju brez dvoma za pomen *facere*, prim. Obtu kadar ſe ty Euangeliski Sakonski Farij taku preganeio, loue, moree. Tym Curbarskim Faryem pag ſe nishter ne *dei* 79[1] b: Zato kadь se Evangelski (Evanjelski) Popi tako progaňaьju (progaňaju) love i more tim bludnimь (bludnim) Popom ništar se *negovori* 81 b. — Pravilno po originalu (miracula ſanctorum non ſoleant eſſe generalia, ſed perſonalia[1]) je zapisal Trubar »ta zhudeſa tih Suetnikou ne so vſakiga zhloueka, Temuzh tih enih ſuseb htimu Iſuolenih ludi« 106 a: prevajavca pa sta smatrala Trubarjev gen. possesivus za objekt in sta popolnoma spremenila pomen, prim. »čudesa svetihь nisu vsakoga človika, nego nikihь navlastitihь htomu izabranih ljudi *ozdravila* (!)« 109 b (109 a).

Zaradi nezadostnega upoštevanja pomanjkljive Trubarjeve grafike je nastalo iz *postenja* (Fasten) *poštenje* (probitas),[2]) iz *bosih* menihov (discalceati) so nastali *ubogi* (pauperi)[3]) in komparativ *višji* sta razumela prevajavca za *vižo* (Weise).[4]) Za slovensko *ti ludi* 56 a (po nem. die Menschen *AA* 85) stoji v shrv. Art. *Ijudei* 57 b. Ta napaka, ki se ponavlja (prim. slov. Art. 77 a: shrv. Art 78 b), je nastala pač zaradi sličnosti črk l in I. Površnost je povzročila naslednja dva lapsusa: slov. Art. ty eni ſo po *ptuih* dalnih Cerquah hodili 47 b: shrv. Art. niki pakь po *putihь* dalnihь crikvahь hodili 49 a; ſa volo nashih dobrih del, *Sadostidiane* (satisfactio) 38 b: radi našihь dobrihь delь, *dostojanstva* 39 b. Iz *Caplanij* 63 b sta prevajavca napravila *kapel(ь)* 65 a. iz *korenja* pa *krunice*[5]) (molek)[6]). — Zakaj stoji za slovensko »vtih Kappah inu *shirokih Platah* & c.« 87 a v shrv. Art. »V Карahь, tere *zobrivenimi glavami*, i proč.« 90 b (90 a), je težko reči. — Slabo je prevedeno *Pohyshtuu* 86 b z izrazom **hižno opravlané** *(opravlanje) i snažеnie (snaženje)* 90 a (89 b).

---

[1]) Confessio doctrinae Saxonicarum Eccleſiarum . . . (v že omenjenem zborniku Confessiones tres) G_2 a.

[2]) slov. Art. Inu taku ſmaſſane inu Poſtene 75 a : shrv. Art. I takova mera, uzdržanie (uzdržanje) i poštenie (poštenje) 76 b.

[3]) slov. Art. Tu ſe . . . tudi per tih boſsih Menihih, kir ſe Spetlanem shiue, dobru vidi 88 b : shrv. Art. Ovo se . . . pače poli tih ubozih(ь) fratar(ь), koi se speklaňemь (spetlaňemь) hrane, dobro vidi 91 b.

[4]) slov. Art. tei Vishi Oblaſti 84 a : ovomu načinu, oblasti 87 b (87 a).

[5]) slov. Art. Nega vola . . . nei, de bi ſe imeile te Stuare, koker ta Sull . . . korene, Seliſzha shegnouati 106 a : shrv. Art. ňega vola . . . ni, da bise imele stvari, kakono Solь . . . krunice, zelišća blagoslavlati 109 b (109 a).

[6]) Prim. slov. Art. Roshenkrance 47 b : shrv. Art. Krunice 49 a.

Pomnožene so torej slabosti slovenskih Artikulov, ki so se vrinile v srbskohrvatske (germanizmi, ki pa so v srbskohrvatskem tekstu večje zlo kot v slovenskem), še s posledicami nerazumevanja predloge in površnosti. Vendar je treba povdariti, da sta prevajavca marsikatero hibo, posebno tujke in tuje konstrukcije v Trubarjevem jeziku popravila v bolj slovanskem smislu. To je razumljivo, kajti v Istri ni bil nemški vpliv nikdar toliksen kot na Kranjskem; Trubar pa ima svoje tujke iz slovenskih narečij.[1]) Slučaje, kjer je v shrv. Artikulih kaj izboljšanega, ne bom posebej navajal; našteti so deloma zgoraj pri obravnavi germanizmov, deloma so razvidni, kar se leksika tiče, iz naslednjega poglavja. Omenim pa lahko še, da kaže srbohrvaščina protestantskih piscev še vpliv italijanske bližine; prim. tujke skuro (škuro) 106 a (105 b) škuro 24 a, kaštigь 14 a ... konsiencie 47 a (2×) ... Purgatoria 20 a ... gl. še naslednje poglavje; dalje prim. rabo predloga *od* po ital. načinu: Otacь odь Obiteli 86 b, Mestar (Meštar) od(ь) skole (škole) 92 a (91 b) ... gl. še Polovič, Evangelij ZMS X, 72, toda glede na Rešetar, Prim. lekcionari, Rad 136, 188 in Fancev, Jezik, Rad 212, 158 slučaji s prepozicijo *od* niso popolnoma merodajni.

Vidi se, kolikim vplivom je bil izpostavljen jezik srbskohrv. protestantov; zato mora ostati studija o njihovem jeziku, ki ne upošteva vseh teh vplivov, posebno pa ne slovenskega, kakor n. pr. večkrat citirana Fanceva razprava — nepopolna.[2])

5. Tujke v slov. in shrv. Artikulih.[3])

Zbrane so tu Trubarjeve tujke (tudi izposojenke kakor menih, škof, vice) ki so nadomeščene v shrv. Art. z domačimi izrazi (A) in take, ki so v prevodu ostale ali pa jih zastopa kaka druga tujka (B); končno sledijo slovenske besede, ki sta jih srbskohrvatska prevajavca nadomestila s tujim izrazom (C). Izčrpna popolnost gradiva ni nameravana.

Zvezdica (*) pri slučajih pod A pomeni »prim. isti izraz pod B!« — Ker je marsikatera Trubarjeva tujka prevedena z dvema izrazoma,

---

[1]) Prim. Kidrič Fr., Die protest. Kirchenordnung d. Slovenen im XVI. Jahrh., Heidelberg 1919, 133—7.

[2]) Prim. Murko, Nekoliko reči, Daničićev zbornik 80 sl. in isti, Die Bedeutung d. Reformation u. Gegenref. f. d. geistige Leben d. Südslaven. Prag u. Heidelberg 1927, 168 sl.

[3]) Pisatelj mi je dal na voljo, naj to poglavje izpustim, da razprava ne bo predolga, vendar ga prinašam kot dokaz, kako sta se gledé tujk Konzul in Dalmata emancipirala od Trubarja in da je njiju jezik res boljši od slovenske predloge. *M. M.*

z domačim in tujim, oziroma s tujim in domačim, išči take slučaje pod A. pod B pa je na pristojnem mestu na to opozorjeno. — Alfabetična ureditev ne zavisi od grafike.

A.

Abſolutioni 38 a : odrišenju 39 a; Almoshna 75 b : zaduštvo ili Almostvo (Almužstvo) 77 b; Andohti 15 a. andohti 15 a, andohtio 62 a, ſandohtio 76 a : bogoljubnosti 16 a (2 ×). Bogoljubstvom(ь) 63 a, Bogoljubno 78 a; Anshigla 82 b : Pustiñaka 85 b; Appatu 81 b : Opatu, Namestniku 84 b.

Biblio 19 a : Starinu ili Biblьju (Bibliju) 21 a; Bidertaufferij 34 a, Bidertaufferie 37 a : Drugokrstnici 35 a, Drugokrstnike (Drugočkrstnike) 38 b; Bruma 41 b, 48 b, Vbrumi 23 b, brumen 18 b, 48 a (2 ×), brumni 8 a, 21 b, Brumni 48 a : dobrota 43 a. 50 a, v dobrotê 25 a, dobar 20 a, 49 b (2 ×), dobri 8 b, 23 b, 49 b.

* vzagovane 6 b, zagaio 12 b, 49 a, zagali 47 b, 72 b, zagano 23 b : va ... Bezufañe 7 a, bezufaju 13 b. bezufaьju (bezufaju) i desperaьju (desperaju) 51 a, bezufali 49 a. bezufali i desperali (dešperali) 74 b, bezufanu ili desperanu 25 a; zaihni 8 b. 22 a : zlameni 9 b, čudesi 24 b (24 a): zbiulane 4 a, 6 b, zbiulati 33 b, 45 b. 31 b, 67 b, zbiula 56 a, nezbiula 33 b, neſo zbiulali 99 a : dvoéñe ili sumñañe 4 a, sumñju 7 a, dvoiti 35 a, 47 a, bezufati 33 a, sumñati ni dvoiti 69 a, sumña 57 b, ne bezufa i ne dvoi 35 a, nisu dvoili ni sumñali 102 b (102 a); Ceremonia 37 a, te Cerkoune Naredbe, Ceremonie 40 a, vtakih ... Ceremoniah 61 b : naredba 38 a, Crikveni običai, naredbe 41 a, ṽtakovihь ... častêhь ili Ceremoniahь 62 b;[1]) zupernye 12 b, zuperniskim 23 a, zupral 15 a : čari 13 b, ćarnimь 25 a, čara 16 b.

* Dishputirane 46 b, dishputiraio 2 a : pregovarañа 48 b, pregovarahu 2 a.

EPILOGVS 105 a : POVRAĆENIE (POVRAĆENJE) 110 a (109 b); *Exemplom 79[1] b : obrazomь 82 a (81 b); Erbizhi 54 a, Erbe 87 b, Erbouih 64 b : didići 55 b, naslednikom(ь) 91 a (90 b), didinih(ь) 66 a.

te falsh Boshye slushbe 15 b, od tih ... falsh ... Boshyh slushbi 1 b : krive himbene Božje službe 16 b, odь ... krivihь himbenihь ... Božiihь službi 1 b; Ferdamnene 29 b, Ferdamnena 5 b, 53 b, per Ferdamnenu 67 b, per Ferdamnanu 13 b, 95 b, Ferdamnuie 47 a, Ferdamnuiemo 13 a : proklestvo 31 a, osuénja (osujenja) 6 a, 55 a, pod(ь) penu proklestva 69 a, 99 a (98 b), pod penu i pogibelь 15 a

[1]) Več primerov gl. v naslednjem poglavju.

proklina 48 b, proklinamo 14 a; Flifs 57 a (3 ×), Sflifſom 67 a : nastoinost(ь), nastoinostь i skrb, skrb i nastoinost(ь) 58 b, skrbno 68 b; Folk 63 a, 96 b : pukь 64 a, 100 b (100 a); Fray 40 b, ſrey inu ledig 5 b, Frayngo 76 a : slobodne 42 a, slobodan 6 a, slobodь 78 a; Fraucymra 79² b : divic(ь) 82 b.

Galge 93 a : Sohe 96 b (96 a); po gaſſah 87 b : po ulicahь 90 b (91 a); Gerabou 79² b : Omišlavac 82 b; gliha 61 b, Glihi 36 a, glih 36 a, 65 b, ſe glihaio 36 a, 89 b, 100 a, glihali 61 b, Glihane 35 b, ſe ... ſgliha 98 a, Sglihane 35 b, Neugliha 61 b, 76 b, lubper to Neugliho 76 b, veni perglihi 87 b : skladnostь 62 b, édinstvu (jedinstvu) 37 a, ednako 37 b, édnako (jednako) 67 a, se ... skladaьju (skladaju) 37 b, 92 b, 103 b (103 a—103 b), skladali 63 a, složnostь 37 a, se ... sklada 101 b (101 a), skladnost 37 a, neskladnostь 62 b, Neskladnost(ь) 78 b (78 a), suprotь ovoi neskladnosti 78 a, va ... Pritčahь 90 b; Gloria 6 b: slava 7 a; Gmaina 35 b, 36 b, Gmaine 13 b, Gmaino 15 a, gmain ... Cerkou 35 b, htim gmain Molytuom 12 a : općina 37 a, općenstvo 37 b, Općine 14 b, Obćinu 16 a, općena ... Crêkva 37 a, ka obćenimь molitvamь 13 a; Gnada 10 b, 16 b, is Gnade 31 b, is te Gnade 31 b, Gnado 64 a, Vboshij Gnadi 23 b : priazanь 11 b, dobrota 18 a, is (iz) milosti 33 a, is (izь) milosti 33 a, priazanь 65 b, va Božjei pomoći 25 a; Greuinge 38 a, greuinge 46 b, Greuingo 70 a : skrušenja, kajanja 39 a, skrušenia (skrušenja) 48 a, Skrušenie (Skrušenje) 71 b; *grunti 7 a, pres grunta 101 a : osnova 8 a, bez(ь) fondamenta (fundamenta) ili tv̂rdosti 104 b (104 a); od guanta 41 a : odъ ... svitь ili odiće 42 b; *guishen 46 b, guishna 38 a, guishnu 33 a, 38 a, guishno 97 b, po ... guishnishim ... Vuku 45 a, ſaguisha 38 a, ſaguishuie 39 a, bo ſaguishan 48 a, ſaguishani 31 b : ufano 48 a, stanovita 39 b, stanovito 34 a (34 b), 39 a, bez(ь) sumñe 101 a (100 b), po ... stanoviteim(ь) ... Naukom(ь) 46 b, stanovite i ufane čini 39 b, stanovite čini 40 a, stanovitan(ь) est (jest) 49 b, ufani 32 b (33 a)

Canonici 101 a : Kanonici ili Redovni 104 b (104 a); *Catehiſmus 65 b : Katehismus (Katehizmusь) ili napućenie (napućenje) 67 a; *Kezarie 18 b, 19 b, 61 b, kezarshka 18 a, kai ... Kezarskiga 61 a : krivovernika 20 b, Eretike, krivoverce 21 b, za Eretika ili krivoverca 62 b, polverska 19 b, krivoverno 62 b; Keho 80 b : tamnicu 84 a (83 b); Kelyha 66 a : čaše 67 a; klafar 2 a : cveñkavacь 2 a; *Concilium 60 b, Conciliema 98 b : Koncilĩ, svêt(ь) ili zborišće 62 a, Konciliemь ili Zborišćemь 102 a (101 b); *Corarij 21 a : redovnici (!) 23 a; Cortiſanarieu 78 b : Dvornikovь 80 b; krega 46 b, Kreg 20 b, vtakim kregu 54 b, kregati 56 a, krega 54 b, ſe kregaio 35 b : svade 48 b, svadu 22 b,

ſtakovomь karańu i svadê 56 a, arvati 57 a, kara i arve 56 a, se bore 36 b; kumra 41 b : mari 43 a; kunshti 80 b, kunshtniga 46 b, 56 b : riči 83 b, šegavo 48 a, 58 a; Curfürſt 19 a : Voivoda 20 b; Pred enimi Quatri 21 a : Predь (Pred) trimi Meseci(!) 23 a.

Leben (leben, lebē) 5 a, 9 a, 12 a, 32 b, 34 a, 51 b, 79[1] a : život 6 b, životь 9 b, 34 a, žitak 35 b, žitakь 13 a, živlénie (življenje) 81 a (80 b), živlénie (življenje) 53 a; ledig : gl. zg. pod »frey«; is tih ... Legend 45 a : is čtańa ili Pisma 46 b; lon 51 a, 53 b, 57 b : plaća 52 a, 55 a, plaću i mazdu 59 a; lushte inu shele 11 b, lushtou 56 a, lushtom 55 b : žele i naslajenja 12 b, pohotinja 57 b, želamь 57 a.

Maininga 76 b : mnane (mnanje) 78 b; Martra 6 b, Martre 6 b, Martran 14 a, Martyrniki 14 a : muka 7 a, muku 7 b, Mučen 15 b, Mučenici 15 a; maſſo 57 a, ſtako ſmaſſo 75 a, ſto nemaſſo 75 a : mêru i redь 58 b, stakovim(ь) redom ь) i meru 76 b, z nemero 76 b; merkati[1]); moiſtriti 55 b : voditi, premagati 57 a.

is Nyda 13 b, Obeniga nyda 57 a : izь Zavidosti 15 a, niednu zavidost(ь) 58 b; nuza 40 a, nuzhnu 37 b, nuzhne 1 a, 13 b, vnuzne 23 a, vnuzhne 15 b : prudi 41 a, prudno 38 b, koristne 1 b, prudne 14 b, neprudne 16 b, 25 a.

Opfer, Offer[2]); is Offerti (offerti) 13 b, 73 a, ſuio offertio 88 b, offertni 18 a, offertne 51 a, offertouati 83 b : iz oholné 14 b, iz oholosti 75 a, svoьju (svoju) gizdu i oholiьju (oholiju) 92 a (91 b), oholi 19 b, ohole 52 a, oholiti 87 a (86 b); ordni 41 a, Ordne 47 b, ordninga 67 a, Ordninge 41 b, 42 a : redi 42 b, 43 b, 49 a, naredba 68 b, zakoni 42 b.

Pan 90 a, panal 18 b : proklestvo (prokljestvo) 93 b, proklelь (proklel) 20 b; pegeruie 61 a, pegeruio 66 b : prosi 62 a, pitaьju (pitaju) 68 a; Pelzane, pelzal 15 b : — (Saſaiene oli Pelzane : sajeńe 17 a; ſaſadil oli pelzal : sadilь 17a); pene 64 a : muke 65 b; Perſona 8 b, Perſone 27 b, 28 a : kipь 9 a, kipi 29 a, sobstva 29 b; na Plazu 1 b : na trgu 1 b; od Proceſs 44 b : od(ь) hoéńa (hojeńa) za križi 46 a; Purgar 82, Purgariem 56 b, Purgarſzhina 92 a, Purgarskiga 45 b : Grajanin(ь) 85 b grajanomь 58 a, općenstvo ili Grajanstvo 95 b (95 a), Purgarskoga ili Graьjanskoga 47 a; ſe ... puſſaio 71 a : se ... pomrsuьju (pomrsuju) 72 b.

Meiſta tiga *Rayha 19 b : slobodni Varoži (Varoši) 21 a; ratati 48 a, ratali 11 b, 34 b, ie ... praui zhlouik ratal 28 a : postati 49 b, postali 12 b, 36 a, učlovečil se 29 b; Rauenpild oli tu Rauenoblizhie (za nemški Ebenbild) 8 a : kipь ili podoba 9 a; reformirala 19 a : ponovila 20 b;

---

[1]) Gl. prejšnje poglavje!
[2]) Gl. prejšnje poglavje!

Regiment 41 b, Regimentou 42 a : redi 42 b, redov 43 a; regirati 11 b, 55 b, Regira (regira) 30 a, 53 a, 56 a : vladati 12 b, rediti (množiti va sebi) 57 a, pase 31 b, 54 b, 57 b; po tei Reguli 54 b, Regule 80 b : po redu 56 a, redi 84 a (83 b): Requiem 40 a : pokoi večni 41 a; Ryhtar 41 b, Rihtni ſtol 102 b : Sudacь 42 b, prestolь 106 a (105 b).

Sacramenti 70 a, te S. Sacramente 90 b : svetiňe ili Sakramenti 71 b, sveta Otaina ili Sakramente 94 a; Spermologus 2 a : ričisevac 2 a; Summa 35 b, 60 a : konac(ь) 36 b, summa, stanь 61 a. — (Gl. tudi pod š!).

Shaz 67 a, shazaio 14 b, 22 b, NE BO SE ... SHAZAL 54 b, shazali 18 b, shazani 49 b, 50 a : blago ili skrovišće 68 b, d̄rže 15 b, cêne 24 b, se nebude ... zvišalь 56 a, držali 20 b, cêňeni 51 a (2 ×); shenka 84 b, shenkal 6 b, 13 a : darué (daruje) 87 b, dalь (dal) 7 a, darovalь 14 a; shentoval 1 b : psovalь 1 b; shpendia 41 a, shpendie oli Shpishe 71 a, Sposno shpendio 61 b : pića ili iistvina (jistvina) 42 b, jistvinь (jastvinь) 72 b, Spostnu piću ili jistvinu (ĩstvinu) prepovedanu 63 a; ſa uolo shpyshe 40 b : zavolju piće 42 a; shpot delaio 14 b, ſo ſe ... shpotali 2 a, ſashpotouati 14 a, 101 a, ſashpotuie 47 a, ſashpotuite 22 b, ſashpotoual 1 b, ſashpotouane 77 a : se rugaju 15 b, rugahuse 2 a, porugati 15 a, poružiti 104 b (104 a), se ruga 48 b, rugaitese 24 b, poružil 1 b, poruga̧ňe 78 b; Shribar oli Pyſez 102 b : Pisac(ь) 106 b (106 a); ſtifftal 75 b, shtifftali 87 a, Caplanie shtifftati 72 a, od Styfftane 44 b : naručilь 77 b, ostavili 90 a, Kapelaniamь (Kapelanjamь) ṽ Testamentih (Teštamentihь) na Sm̃rti dosta blaga ostavlati da se zidaьju (zidaju) 73 b—74 a (73 b), od(ь) pušćania (pušćanja) blaga zasobom(ь) ṽ Testamentih(ь) takove stvari činiti 46 a; ſtyma 67 a, ſto ſtimo 107 a : glas(ь) 68 b, zglasomь 111 a (110 a); pres *shtraifinge 79[1] a, ſtraiffingo 13 a, shtraiffa 23 a : bez biča i kastiga (kaštiga) 81 a (80 b), kaštigь i bič 14 a, kaštiga i muči 25 a; ſe ... ſtritaio 2 a : se tirahu 2 a; Studente 1 b : učenike 1 b; Shtuk 32 b, shtukov 4 b, Shtuke 22 a : dêl(ь) 34 a, delov 5 a, členi 23 b; na Shuli 18 b : u obćenom(ь) pismenomь zborišću ili školi 20 a; Shuſteria 82 b : postolara 86 a (85 b).

tadla 78 a, pres tadla 7 a, tadlou 97 b : madeža 80 a (79 b), neoskvrňene 8 a, skṽrnosti 101 a (100 b); Tashke 40 a : mošňe 41 b; Taushent 7 b, 21 a, 55 a : tisućь 8 b, 23 a, 56 b; Subper ... Tyranyo 81 a: Suprotь ... nepravadnosti 84 b (84 a); Trosht 46 b, 51 b, troshta 48 b, Troshta 66 b, troshtati 10 b, troshta 30 a, 38 a, 47 a, 51 b, 53 a, nepotroshtaio 45 b, potroshtana 33 b, 52 b, potroshtani 33 a, Troshtarie 56 b, troshtliui 47 a, troshtliuim 45 a : pokriplenie 48 a, utišenie (uti-

šenje) 53 a, utešenia (utešenja) 5 a, utêšenja 68 a, pokripiti i têšiti 11 b, krêpi 31 b, krêpi i têši 39 b, têši i krêpi 48 b, krêpi i tiši 53 b, tiši i krêpi 54 b, neutiše ni pokripe 47 a, pokripljena 34 b, utišena i pokriplena 54 a, pokripleni 34 b, krêpitela 58 a, kripitelni i utišeni 49 a, utišenim(ь) 46 b.

vrshah 98 b, Vrshaha 44 a, vrshahu 98 b, Vrshahi 78 b, vrshahou 77 b : uzrokь 102 a (101 b), uzroka 45 b, uzroku 102 a (101 b), uzroki 80 b, uzrokovь 79 b.

vagati 88 a, vagaio 2 b : na pogibel(ь) postaviti 91 b (91 a), na sriću i pogibel(ь) stave 2 b; *Vyze 103 a (2 ×), 104 b, Vyze 90 a, OD TIH VYZ 103 a, od Vyz 45 a, is Vyz 90 a, 102 b : muke 106 b (106 a) (2 ×), muke Purgatoriske 108 a (107 b), Muke odь Purgatoria 93 b, OD MUK PUR-gatoria (PURGATORIA) 106 b (106 a), od(ь) muk(ь) Purgatoria 46 b, iz(ь) mukь 93 b, iz(ь) mukь odь Purgatoria 105 b (105 a); od Vinkunshtou 96 b : odь Duhove 100 a (99 b); visha 53 a, vishaio 45 a, poduishani 67 a : vodi 54 b, napućuju 46 b, napućeni 68 b.

shabrane 40 a, shabraio 40 a : m̃rmrañe 41 a, m̃rmraьju (m̃rmraju) 41 a; shegnati 90 a, shegnouane 62 a, Shegnana 105 a, shegnani 87 b : blagosloviti 93 b, Blagoslovlenja 63 a, blagoslovlena 109 a (108 a), blagoslovleni 91 a (90 b); Shlahtnik 82 a : Vlastelinь 85 b; vſa shlaht ... nezhiſtoſt 78 b, vſo shlaht nezhiſtoſt 79[1] a, vſi shlaht ... Grehi 81 a, vſe shlaht daruue 30 a : vsakoga plemena ... nečistoća 80 b, vsakoga plemena nečistost 81 a, vsake r̃rsti ... grihi 84 a—84 b (84 a), vsakoga plemena dari 31 b; shlemanem 88 b : žrtiem (žrtjemь) 92 b (91 a); shmahna 106 a : tučna 109 a; po Shnuri 54 b, po shnuri te Poſtaue 54 b : po meri 56 a, po redu i potanko zakona 56 a.

D o d a t e k. Prevedene so tudi navedbe vira pri svetopisemskih citatih n. pr.: Exod. 15 a : Ishodь 16 a; in libro Quaeſtionum Noui & Vete. Testa. Quaeſt. vel Cap. CXIII 16 b : va kñigahь odь upitaña novoga i staroga zavêta, upitane ili na 114 Kapit. 17 b; Sueti Cyprian contra Demetrium Tract. I. 102 b : Sveti Ciprian suprot(ь) Demetriьju (Demetriju) vap̃rvom(ь) govorenьju (govorenju) 106 a (105 b). Prim. še De ſingularitate Clericorum 79[2] a : de ſingularitate Clericorum, to est (jestь) od(ь) samostoéćih (samostojećih) diakov (djakov) 82 b (82 a).

Prim. tudi lastna imena: Peamov 21 a: Čehi 23 a; vtim Conſtantinopolskim Concilyu 28 b: va Carigradskom Koncilьju (Koncilju) 30 a; S. Criſoſtomus Conſtantinopolski 65 a: s̄ti (sveti) Ivan Zlatoustь Carigradski 66 b; Johannes Faber 20 a: Ivan Kovač (!) 21 b.

B.

Abbazhici 81 b: Opatici 84 b; Almoshna (gl. pod A); per Altaryh 9 b: pri oltarihь 10 b; Antuerh 43 b, Antuerhe 41 b, Antuerharſtuu 81 b, Antuerhar 82 a : Mestrie (Meštrie) 45 a, Meštrie 43 a (Meštrje) 84 b, Mestar (Meštarь) 85 b; Appatu (gl. pod A).

Biblio (gl. pod A).

zhagali 70 b, ſo zagoue ſturili 10 a : desperali (dešperali) 72 a, esu... desperati (dešperati) činili 93 b (93 a) (gl. tudi pod A); Ceremonie (gl. pod A.)

denarieu 63 b : pinezь 65 a; dishputirati 20 b, 61 a, dishputirali 64 a : dišputati 22 a, disputati (dišputati) 62 a, disputirali (dišputirali) 65 b; Doctor 98 b : Doktur 102 a (101 b).

Exempla 59 a, Exemplu 14 a, Exemplou 1 b : Eksempla 60 b, peldu (pildu) 15 a, pildovь 1 b; Euangeli 1 a, 31 a Euangelium 16 a..., Euangeliski 79[1] b... : Evangelie (Evanjelie) 1 a, 17 a, 32 a..., Evangelski (Evanjelski) 81 b...

Farr 39 b, Fary 7 a, Farij 79[1] b, Faryem 79[1] b : Popь 40 b, Popi 7 b, 81 b, Popom 81 b; Farmoshter 76 b, Farmoshtra 65 a, Farmoishtrou 60 b : Plebanus (Plebanuš) 78 b, Plebanuša 66 b, Plebanušovь 61 b; ſa volo... Farr 63 b : radi... Beneficii 65 a; per Ferdamnanu (gl. pod A); Figur 76 b : Peldovь (Pilovь) 78 b.

golufya 88 a : lotria 91 b (91 a); is grunta 21 b, 22 a, 98 b : iz fondamenta 23 b, 24 a, izь fondamenta (fundamentá) 102 a (101 b) (gl. tudi pod A); guishnu 33 a : siguru 34 a.

Hiſtorie 59 a, is tih Iſtoriah 80 a : Ištorie 60 b, iz Istorii (Ištorii) 83 a.

Iogri 3 a, Iogrom 2 a, 23 a, vtim Iogerſtui 78 a, Iogerska 30 b : Apustoli 3 a, apustolom 2 a, 25 a, va Apustolstvê 80 a, Apustolska 31 b; Iudouske 1 a, Iudouskim 16 a : Ijudeiske 1 a, Ijudeiskimь 17 b.

na Cancelij 70 a, na Cãceli 45 a : na predikalnici 71 b, na Predikalnici 46 b; Canonici (gl. pod A); vtih Kappah 87 a : VKapahь 90 b (90 a); Capituli 15 b : Kapituli 17 a; cashtiga 75 a : Kastigamь (Kaštigamь) 77 a (76 b); Catehiſmus 67 a, Catehiſḿa 4 a : Katehizmus 68 b, Katehisma 4 a (gl. tudi pod A); ſa kezarie 18 b, Kezarie 8 b : za Eretika 20 b, Erežie 9 a (gl. tudi pod A); Keldri 88 b : konobe 91 b; Closhter 82 a, Closhtre 72 a, Closhterski 41 a, Closhterske 89 b : Klostar (Kloštar) 85 b (85 a), Klostrom (Kloštromь) Molstiromь (Monastiromь) 73 b, Klošterski (Kloštarski) 42 b, Klosterski (Klošterski) 93 a (92 b);

Concilyu 28 b, Concilyom 78 b : Koncilьju (Konciliju) 30 a, Konciliemь 80 b (gl. tudi pod A); Corrarieu 78 b : Kanonikovь (Kanonikov) 81 a (80 b).

Lotrya 78 b, lotryza 23 a, Lotrice 34 a : lotria 80 a, lotrica 25 a, Lotrice 35 a.

Magister 48 b: Mestar (Meštarь) 102 a (101 b); MASSHE 62 b, Mashouati 65 a, Mashouane 62 b, 64 b, Smashouanem 61 b, Mashnikou 40 a : MISE 63 b, misiti 66 b, Mis čtanie i služeňe 63 a, služenie (služenje) od ь) Mis(ь) 65 b, Čteniemь od(ь) Mis 62 b, Službenike odь Mis 41 b: Menih 39 b, 82 b, Menihi 7 a, 18 a : fratar 40 b, koludar 86 a (85 b), fratri 7 b, 20 a; merkati (primere gl. v prejšnjem poglavju!).

Natura 31 a, Naturi 34 a, Naturski 43 a, 43 b : Natura 32 b, Naturi 35 b, naturali 44 b, 45 a; Nune 47 b, Nunne 83 b : Koludrice 49 a, 87 a (86 b).

Opfer, Offer (primere gl. v prejšnjem poglavju!).

Papesh 4 a, 76 b, Papeshou 11 a : Papa 4 a, 78 b, Papov 12 a; petlati 87 b, 88 a, Spetlanem 88 b : peklati (petlati) 90 b, 91 b (91 a), speklaňem (spetlaňemь) 91 b: vnih Pridigah 67 a, Pridiguie 4 a : ṽňihь predikahь 69 a, prodikuje 4 a; Proceſſye 66 b : procesioni 68 a; Purgarskiga (gl. pod A).

Rayha 19 b (2 ×) : Orsaga 21 b (2 ×); Roshenkrance 47 b, od Roshenkranceu 44 b : krunice 49 a, odь krunic 46 a.

Sacramenti (gl. pod A); Summa 58 a : summa 59 a (gl. tudi pod A).

Shcofi 4 a, 11 a ... : Biskupi (Biškupi) 4 a, 12 a ... (srbskohrv. primere gl. v nasl. pogl.!); shpot 22 b, 56 a : špotь 24 b, špot(ь) 57 b; Shtale 88 b : stale (štale) 92 a (91 b); od Shtyur 92 a : odь Haračь 95 b (95 a); shtraifati 41 b, shtraifal 14 a, shtraifali 14 b, shtraifani 15 a, Shtraifinge 2 a, 64 a : kaštigati 43 a, kaštigalь 15 a, kaštigali 15 b, kaštigani 16 a, kaštige 2 a, Kastiga (Kaštiga) 65 b (gl. tudi pod A); na Shuli (gl. pod A); Shularij 80 b, 89 a, Shulmoſtrou 88 b, Shulmoſtrom 89 a : skolari (školari) ili diaci 83 b, Skolari (Školari) 92 b (92 a), Mestar (Meštar) od(ь) Skole (Škole) 92 a (91 b), Mestrom (Meštromь) 92 b (92 a).

Tepihe 92 b : trapledi od Trpezov (trapide od Тьrpezovь) 96 a.

vtih Vyzah 64 a, is Vyz 18 b : va (ṽ) Purgatorii 65 b, odь Purgatoria 20 a (gl. tudi pod A); od Vigil 45 a : odь Vigilij (Vigilĩ) 46 a (46 b); Vinkunshti 97 a, Vinkunshtni 9 a : Pentikosti 100 b (100 a), Pentikostni 10 a.

C.

hyshe 89 b : hiže i komore 93 a (92 b).

unega lyſteh 50 a, vnih lyſteh 11 a : vañega Epistoliahь 52 a, vañihь Epistolahь 12 a.

Malykouati 42 a, ie Malykoual 15a, Malykouane 14a, Malikouane 1b, 15 b, 18 a : Idolomь služiti 43b, Idolomь ili tuimь Bogom služi 16 b, idolske službe 2 a, Idolske, Poganske službe 15 a, Idolsko Pogansko čašćenje 16 b, Idolatriju ili poganostь 19 b.

naredbe 40 a : Ceremonie glag. Art. 41 b.

Slushbi 40 b : službi i Ceremonii glag. Art. 41 b.

temnu 22 a, 102 b : škuro 24 a, tamno i skuro (škuro) 106 a (105 b). — Vuzhenik (gl. prejšnje poglavje).

vyſti 37 b, Vyſtij 45 b (2 ×), 53 a : konsiencie 39 a, 47a (2 ×), 54 b; Vyudi 88 b : Hrcegi 92 a (91 b). — ſmo vſueiſti 32 a : esmo siguri 33 b.

shueplom 79^{1} a : Sunfromь (Sumporomь) 81 a.

6. Razmerje med glagolskimi in cirilskimi Artikuli.

Glagolski Artikuli niso popolnoma enaki cirilskim. Sicer ne gre za dva različna prevoda s slovenskega, marveč za dve izdaji, od katerih je glagolska prvotnejša in originalna, cirilska pa prirejena po njej, torej njena transkripcija. Ta cirilska izdaja je torej samo v indirektni zvezi s Trubarjevim delom, da, lahko celo trdim, da je nastala brez poznanja in uporabe slovenskih Artikulov. Neglede na že ugotovljeno prednost glagolice pred cirilico[1]) pa hočem iz jezikov nih in vsebinskih variant razbrati pravo razmerje med obema izdajama.

Že na naslovnem listu cir. Art. pričata dve letnici za prvotnost glagolskih. Prva je ЯФЛЕ, kjer stoji po glagolskem ⱀ (= 50) cirilski Л, ki pa pomeni ‚30' (pravilno je uporabljen v paginaciji cir. Art. fol. H_2 a). Glasiti bi se morala ta letnica ЯФНЕ t. j. 1552, kakor je razvidno iz slov. in glag. Art.[2]) Prav tako je v letnici ЯФМЕ nastal cir. М (= 40, prim. paginacijo cir. Art. fol. K_4 a) po glagolskem ⰿ (= 60); stati bi moralo ЯФѮЕ t. j. 1562, ker je cir. izdaja izšla kakor glagolska (in slovenska) leta 1562. Ker pa stojita ti dve napaki na naslovnem listu in ker sličnih drugod, v paginaciji in pri citatih, ni najti, bi ju mogli pripisati kakemu neveščemu korektorju. Zato so važnejši drugi slučaji.

[1]) Prim. tudi Murko, Nekoliko reči, Daničićev zbornik 76.

[2]) slov. Art. $\mathfrak{A}_1$ a: ARTICVLI ... Kateri ſo ... utim 1552. leitu timu Concilyu Vtrienti ... naprei polosheni; slično glag. Art. $\mathfrak{A}_1$ a.

Nekatera mesta v tekstu govore za naravnost mehanično transkripcijo. Tako je čital prireditelj cir. izdaje v glag. Art. ⰃⰑⰂⰑⰃⰋⰎⰋ 10 b, za kar je zapisal говобнлі; po glag. Ⰳ (= г) mu je ušel isti znak б, ki pa pomeni v cirilici b; prav tako še ⰄⰑⰁⰀⰃ 11 a : добаб 11 a, ⰔⰖⰒⰃⰑⰕⰟ 4 a : соупботь 4 a. Po glagolskem ⰅⰔⰕⰋ 20 a je sicer pravilno podano ѥсти 19 b, ko pa je bilo treba transkribirati ⰌⰡⰔⰕⰋ 16 a, je dokaj nerodno (za Ⰼ = j cirilica nima posebnega znaka) nadomestil Ⰼ z znakom ѥ, obenem pa pustil ê, torej ѥѣсті 16 a. Zanimiv je tudi slučaj v glag. Art. 41 b *korist* | *ne Ceremonie*, kjer je pri besedi »koristne« na koncu vrstice (označeno tu z vertikalno črtico |) izostal vezaj; cirilski prevajavec je smatral »korist« za besedo zase, ji dodal na kraju ь in tako napisal nesmisel »koristь ne čini i naredbe« 41 b. Tudi slučaj *Biskupi*. cir. Art. 19 a (sicer v cir. Art. vedno pisano s -*š*-), kaže vpliv glagolske predloge, ki ima v tej besedi vseskozi le -*s*-.

Glagolska izdaja je od slovenskega izvirnika mnogo bolj odvisna kakor cirilska. To pač priča o zaporednosti slov. — glag. — cir. Art. V tej zaporednosti naj tu sledijo dokazi iz g r a f i k e: *sh*elifzha 62a : *ž*elišća 63 a : *z*elišća; *sh*ibkota 34 a : *ž*ibkota 35 b : *š*ibkota 35 b; *sh*ibkim 34 a. 69 b : *ž*ibkimь 35 a. 70 a : *š*ibkimь 35 b. 70 a; gre*sh*ni 79[1] a : gri*ž*no 81 a : gri*š*no 80 b; Catehi/mus 65 b : Katehismus 67 a : Katehi*z*mus 67 a; *S*ibenburgarij 21 a : *S*ibenburgari 23 a : *Z*ibenburgari 23 a; i*s* Gnade, i*s* te Gnade 31 b : i*s* milosti 33 a (2 ×) : i*z* milosti 33 a (2 ×); per B*u*gi 5 a : poli B*u*ga (!) 5 b : poli B*o*ga 5 a; Closhterski, -e 41 a: Klost*e*rski, -e 42 b : Klošt*a*rski, -e 42 b; not*e*rnih 53 a : v̄nut*e*rn̄ihь 54 b: v̄nu*t̄r*n̄ihь 54 b; t*e*rplene 53 a : t*e*rplene 54 b : *t̄r*plenje 54 b. V vseh slučajih je treba razlagati posebnosti glagolskih Artikulov kot odvisnost od slovenskega originala, dočim je pri cirilskem redaktorju odpadel neposreden vpliv slovenskega teksta: spoznal je napake (grafične slovenizme) in jih popravil.

Refleks za *ê* je v obeh srbskohrv. izdajah tako *e* kakor *i*; toda slučaji Vera 6 b, 34 b, vere 7a, Veru, Vere, Veri 10 b . . . v glag. Art. proti vira 6 b, 34 b, vire 7a, Viru, Vire, Viri 10 b . . . v cirilskih ne izključujejo domneve, da je pripisovati pogostejšo rabo refleksa *e* v glag. Artikulih slovenski predlogi, ki ima v tej besedi vedno -*e*-; prim. še Gr*e*hu 53 b: gr*ê*hu 54 b: gr*i*hu 54 b.

Glagolsko *u*mei 10 a, *ṽ*mei 33 b (2 ×) kaže na slovensko *v*mei 9 b, 32 a (2 ×), cir. Art. pa imajo mei 10 a, meju 33 b (2 ×); zaradi tega potrjuje cirilsko *v*mei 107 b (2 ×) po isti glagolski obliki 108 a (2 ×), da so cir. Artikuli prepis glagolskih. — Prim. dalje ve*g*shi

21 a: ve*k*ši 23 a: veći 23 a; po*sh*tenu 81 b, Po*sh*tena 63 b: pošteno 85a, poštenja 64 b: počteno 84 b, počtenja 64 b.

Tako je treba razlagati tudi slučaje, kjer pišejo glag. Artikuli Kristus 5 a, 31 b, 44 b, 56 b ... cirilski pa okrajšavo IS̄H̄T 5 a, 56 b ozir. IS̄K̄T 31 b, 44 b, ker piše Trubar vedno Criſtus 5 a ..., posebno pa zato, ker se tudi glag. Artikuli ne branijo pisave IS̄H̄T 1 a, 1 b (2 ×), 2 b, 3 a (2 ×), 3 b ....

Pri primerjanju leksikalnega gradiva se vidi, da marsikatera beseda, ki se je vrinila v glagolske Artikule pod prevelikim vplivom slovenskih, ni ugajala cirilskemu redaktorju; zato jo je nadomestil s kako drugo. Sem spada n. pr. tujka *ceremonija;* slov. Ceremonie 36a, 40 b, 41 a, 53 a, 62 a (2 ×), 75 b: glag. Ceremonie 37 b, 42 a (2 ×), 54 b, 63 a (2 ×) 77 b: cir. Čini 42 a, čini 37 b, 54 b, 63 a, 77 a, čine 42 a, čini crikvene 63 a. Nehote pa je posnel urednik cirilske izdaje izraz »va ovihь Ceremoniahь« 78 a po glagolskih Artikulih, ib.

Dosledno se izogibljejo cir. Art. tudi besede *često,* ki v glagolskih vseskozi nadomešča Trubarjev *zheſtu;* slov. zheſtu 1 b, 3 b, 12 a, 48 a, 57 b, 63 a, 78 b, 80 a, 84 a, 97 b: glag. često 13 a, 83 a, 87 a, 101 a, čestokrat(ь) 1 b, 4 a, 49 b, 59 a, 64 b, 81 a: cir. gusto 13 a, 83 a, 87 a, gustokrat(ь) 64 b, 101 a, mnogokrat(ь) 1 b, 4 a, 49 b, 59 a, 80 b. Enkrat se je tudi glag. redaktor ognil slovenskemu izrazu, ko je napisal gusto 13 a; utegne torej biti, da je bila beseda *često* neobičajna tudi v njegovem jeziku. Cirilsko čestokratь 80 b pa je zopet slučaj, ki je ušel cirilskemu redaktorju pod vplivom glagolske predloge.

Nadaljnji primeri: vtih Nẽbskih *Deshelah* 78 a, po ... Deshelah 22 b (2 ×): va Nimskih deželahь 80 b, po ... deželahь 24 b (2 ×): va Nimških Zemlahь 80 a, po ... zemlahь 24 b (2 ×); vtakih ... *Iſkushnauah* 48 b: ṽtakovih ... skušñavahь 50 b: ṽtakovihь ... skušñahь 50 b; *Isuelyzhan* 32 a: izveličan 33b: spasen 33 b; moraio timu *Cryshu* .. biti poduersheni 57b: imaьju križu .. podložni biti 59 a: imaju muki .. podložni biti 59a; *Odrishituu* 58 b, skuſi tu Odrishituu 31 b: odrišenie 60 a, skrozi odrišenie 33 a: odkuplenje 60 a, po odkuplenju 33 a; *Prauizhni* 55 b, prauizhniga 54 b: pravični 57 a, pravična 56 a: pravadni 57 a, pravadna 56 a; *PREDGVVOR* 24 a, Predguuori 11 a (2 ×); PREDGUVOR (prevzet je celo Trubarjev dolenjski *u* < *o*!) Predgovoru 12 a (2 ×): RREDESLOVJE 26 a, Predeslovju 12 a (2 ×); *reshenu* 33 b: rêšena 34 b: Izbavlena 34 b; ty dobry *ſaduui* 38 a: dobre sadi 39 b: dobre plode 39 b.

Da so bili sestavljeni cirilski Artikuli samo po glagolskih brez bližjega poznanja slovenskih, kaže lepo sledeče mesto: ne puſtiti

ſe nim (lushtom inu shelem) vezh moiſtriti inu *regirati* 55 b: nedati se ňimь veće voditi, premagati i *rediti* 57 a: nedati se ňimь veće voditi, premagati i *množiti vasebi* 57 a. Slov. »regirati« ne bi moglo neposredno nikoli dati prevod »množiti vasebi« (cir. Art.), če ne bi posredoval izraz »rediti« (glag. Art.), ki ima dvojen pomen: 1⁰ vrstiti, *voditi*, 2⁰ nähren, groß ziehen, *wachsen lassen*.[1])

Trubarjeva nerodna stilizacija biblijskega izreka (slov. Art. 35 a) je prešla tudi v glag. Artikule: kadь vsaka učinite tada recite, *vi este* sluge neprudni, *što esmo* bili dužni ... 36 a; v cirilskih je to popravljeno: ... *esmo* sluge ... 36 a. — Glagolsko »Têlo Isukrstovo skruhom i krv̄ ňegova Zvinom« 63 a je spremenjeno v cir. Art. v »Têlo Isukrstovo *č*kruhu i krv̄ ňegova *u*Vinu« 63 a, a slov. Artikulom ustreza prvo, ker stoji tu »ſteim kruhom ... ſteim Vinom« 61 b. — Bolje se sliši »večeri Gospodinu« cir. Art. 64 a kot pa »večeru Gospodina« glag. Art. 64 a, kar je vpliv slovenskega »To Vezherio tiga Goſpudi« 62 b.

*

S slovenskimi Artikuli je torej glagolska izdaja v neposredni, a cirilska samo v posredni zvezi. Po tej ugotovitvi naj sledijo še ostale razlike med obema srbskohrvatskima tekstoma, da doženem avtorja te in one redakcije in da ju označim.

Kar se grafičnih razlik tiče, so manj važne take zunanjosti, kakor n. pr. ligature v glag. Artikulih, ki so v cirilskih po navadi razrešene, pogostejša raba znaka *ь* v cirilski izdaji, raba *est(ь)* v glag. Art. proti *jestь* v cirilskih in sl. Take razlike tičijo več ali manj že v bistvu različnih abeced; kvečjemu bi pogostejši *ь* v cirilski izdaji kazal na to, da se je z njim nameraval vzbujati videz bolj tradicionalne, starinske jezikovne oblike.[2]) Važnejše so pač grafične razlike, iz katerih smemo sklepati tudi na različen izgovor. Tako stoji v nekaterih besedah za *s* v glag. Art. skoro vseskozi *š* v cirilskih: Biskupi 4a, 12a, Biskupov 6a, Biskupovь 2b, 5a, Biskupom 47 a, biskupe 1 b ...: Biškupi 4 a, 12 a, Biškupov 2 b, 6 b, Biškupovь 5 a, Biškupomь 47 a, biškupe 1 b ...; enkrat stoji v cir. Art. Biskupi 19 a, kar sem zgoraj razložil kot vpliv glagolske predloge. — kastigati 51 a, 65 a, 76 b, kastigam 77 a, kastiga 47 b, kastigom 64 b ..: kaštigati 50 b, 65 a, 76 a, kaštigamь 76 b, kaštiga 47 b, kaštigom 64 b ..;

---

[1]) Prim. Pleteršnikov slovar s. v. rediti; da ne velja to samo za slovenščino pričata stcsl. rędъ in redъ; sicer pa ima Pleteršnik pomen ‚voditi' za rediti iz Haloz »ob *hrv.* meji«.

[2]) Prim. Fancev, Jezik, Rad 212, 154.

enkrat tudi v glag. Art. kaštigь 76 a. — Klostar 85 b. Klostri 83 b, Klostrom 73 b, Klostre 49 a, Uklostrihь 83 b, klosterski 42 b: Kloštar 85 a, Kloštri 83 a, Kloštromь 73 b, kloštre 49 a, Ukloštrihь 83 a, kloštarski 42 b; dvakrat tudi v glag. Art. Kloštri 83 b, Skloštrskimi 57 a: cir. Art. ib. isto. — Mestar 85 b, 92 a, Mestrie 45 a: Meštarь 85 b, Meštar 92 a, meštrie 45 a; glag. in cir. Art. Meštrie 43 a. — disputêral 1 b, disputati 62 a: dišputêralь 1 b, dišputati 62 a. — desperali 72 a, 74 b: dešperali 72 a, 74 b. — Skole 83 b, 92 a, Skolari 83 b: Škole 83 a, 92 a, Školari 83 b; glag. in cir. Art. škole 83 b (83 a). — Istoria 67 b, Istorie 60 b: Ištoria 67 b, Ištorie 60 b. — ṽTestamentihь 74 a: ṽTeštamentih 73 b. — Iskariotь 72 a: Iškariotь 72 a. — Probst 22 b (2 ×): Probštь, Propšt 22 b. — stale 92a: štale 91 b. — Plebanus 78 b: Plebanuš 78 b. — skuro 106 a: škuro 105 b.

Razlagam si te slučaje na sledeč način: V obeh redakcijah moramo čitati v navedenih primerih *š* oziroma v glag. Art. vsaj *ś́*, kajti čeprav piše tudi glag. redaktor po večini *s*, kažejo njegove oblike kaštigь, kloštri, Skloštrskimi, Meštrie in škole, da je govoril *š* ozir *ś́*. Če piše po večini *s*, izvira to odtod, ker se je držal tuje t. j. italijanske ortografije, dočim se je cirilski redaktor naslanjal na narodno govorico, ki je v teh tujkah rabila *š* (prim. današnje srhrv. meštar, škola, štampati itd.). Prvi je torej moral dobro poznati italijanščino. Pri odločitvi, kateri od obeh skupno podpisanih avtorjev bi utegnil biti dober poznavalec italijanščine, ali Konzul ali Dalmata, ni težko določiti pravo. Že Trubar je smatral Konzula za Italijana[1]) in tako mnenje je zastopal tudi Elze.[2]) Ne bom raziskoval tu, ali ni ta trditev nekoliko pretirana,[3]) važna je v toliko, ker kaže, da je Konzul dobro obvladal italijanski jezik, pri čemer je kot Istran govoril tipični primorski (recimo tržaško-istrski) *ś́* za književno italijanski *s*.[4]) Zaradi dobrega poznanja književne italijanščine je smatral Konzul *S*kole, ka*s*tig, *s*kuro za pravilnejše oblike kakor pa *ś́*kole, ka*ś́*tig, *ś́*kuro; vendar ga je njegova izgovarjava glasu *ś́* mogla dovesti do slučajev kaštigь in škole; isto razmerje med izgovorom in vplivom tuje (tu nemške) grafike je izkazano pri Klostar...: Kloštri...

Taki negotovosti glede sičnikov bi se dali pripisati še nekateri

---

[1]) Trubar-Kislu 19. III. 1561, Briefe 107.
[2]) Briefe 40, op. 9.
[3]) Prim. Bučar, Povijest 73—4.
[4]) Prim. Gartner Th., Handbuch d. rätorom. Spr. u. Lit., Halle a. S. 1910. Naš *ś*, ki je tipičen za benečansko narečje in sosednje furlanske govore, transkribira Gartner z znakom *ś* = »breites s«.

slučaji: glag. Art. bez skode 83 b, 86 b, zmislenihь 84 a, zmislena 92 b, skrabańe 63 a, ostro 64 b, 83 a, zadustvo ili Almostvo 77 b; cir. Art. bezь škode 83 b, 86 b, zmišlenihь 84 a, zmišlena 92 b, škrabańe 63 a, oštro 64 b, 83 a, zaduštvo ili Almužstvo 77 b.[1])

Kot naslonitev na italijanščino smatram tudi glagolsko fondamenta 102 a, 104 b, dočim kaže cirilsko fundamenta 101 b, 104 a govorjeno obliko.

Pogostejšega *e* za *ê* v glagolskih Artikulih proti znaku in glasu *i* v cirilskih si ni razlagati samo kot vpliv slovenske predloge (gl. zg.; tam so tudi primeri), ampak pripisovati ga je treba tudi dejstvu, da je izgovor čakavščine v Dalmaciji pretežno ikavski in da prehaja v ikavsko štokavščino, dočim prevladuje na zapadu ekavščina.[2]) Zato je pisal Konzul tudi v takih slučajih, kjer ne more biti govora o neposrednem slovenskem vplivu, *e*, Dalmata pa *i*;[3]) prim. glag. crêkve 8 a, delov 5 a; cir. crikve 8 a, dilov 5 a.

Iz vsega tu in prej navedenega sledi, da Konzul, ki ga smatram za avtorja glag. Artikulov, ni obvladal jezika v toliki meri kakor Dalmata. Pri prvem je čutiti bližino tujega jezika, periferijo srbskohrvatskega jezikovnega ozemlja. Zato je njegov jezik bil dostopen z ene strani slovenskemu, z druge pa italijanskemu vplivu. Slovenski vpliv je še povečala neposredna odvisnost od Trubarjevih Artikulov. Vse to odpade pri Dalmati: cirilsko redakcijo je priredil po glagolski in ne po slovenski, saj je na sličen način bil udeležen tudi pri ostalih tiskih;[4]) ker pa je kot Dalmatinec govoril čistejši jezik kot Konzul in ker se je tega zavedal, se je lotil popravljanja Konzulove redakcije. Vendar mu ni šlo samo za popravo jezika, marveč je tudi skušal približevati posamezne oblike cerkveni slovanščini. Spreminjal je namreč vokalizirani obliki *va* in *ka*, kakor ju beremo v glag. Artikulih, v prvotnejši *v̄* in *k̄*. Črtica nad *v* in *k* pomeni kako posebnost konzonanta (t̄r = tr̥, p̄r = pr̥) ali pa — in za to tukaj gre — tudi izpad reduciranega vokala (prim. glag. ovь, Popovь 5 a; cir. ov̄, Popov̄ 5 a); primeri: glag. va nebê 8 a, va nebesa 7 a, va nebesih 6 b, va nebesihь 36 b, va sebe, va milosti 33 b, va nemilost 36 b, ka Bogu 36 a, ka Rim(lanom)

[1]) Drugačna možnost razlage ni izključena: analogija (zmislenihь po zmisliti), dublete (ostro, prim. slov. ostər; skrabanje, prv. koren *sker-), tendenca obdržati pri abstraktih tipični sufiks -ьstvo (iz za-duš-ьstvo po asimilaciji zadustvo, odtod tudi Almostvo), slovenski vpliv (Trubar piše pogosto skoda).

[2]) Leskien A., Gramm. d. serbokroat. Spr. Heidelberg 1914, XXVI—XXVII.

[3]) Prim. tudi Fancev, Jezik, Rad 212, 164—5.

[4]) Murko, Nekoliko reči, Daničićev zbornik 72, 74.

11 a: cir. ṽnebê 8 a, ṽnebesa 7 a, ṽnebesihь 6 b, 36 b, ṽsebe, ṽmilosti 33 b, ṽnemilostь 36 b, k̃Bogu 36 b, k̃Rimla(nom) 11 a; slučaj glag. va Augusti 22 a: cir. va Avgusti 22 a, kjer je *va* najmanj upravičen, je priča mehanične transkripcije.

Zabeležiti moremo še sledeče Dalmatove poprave: glag. služenie ... je va kьrstianstvo vlazilo 65 a, estь ... vlazilo 98 a: cir. služenje ... je ṽkьrstjanstvo vlizlo 65 a, jestь ... ṽlizlo 97 b; svidukuьju 38 b: svidoče 38 b; lažaše 72 b: lagaše 72 b: Probstь Magdeburgi 22 b: Propštь Magdeburski 22 b; po obićaьju Poganskomu[1]) 106: po obićaju Poganskomь 106 a; vrabotuga stavim (sc. têlo) 77 a: vrabotuje stavimь 77 a. Genitivi v glag. Art. od ovoga ženitva 88 a, od(ь) ženitva 47 b, 90 a kažejo, da je ta beseda bila Konzulu masculinum; Dalmata je popravil: odь ove ženitve 88 a, Zakonь odь ženitve 89 b, enkrat pa mu je ušlo po predlogi: od ženitva 47 b.

Tudi že navedene razlike v besednem zakladu kažejo Dalmatove popravke v boljšo, domačo smer. Iz istega stremljenja po pravilnosti je treba razlagati postanek sledečih variant: glag. himbeno 101 b, 102 b (2×): cir. hinbeno 101 a, 102 a (2×); Molstiri 83 b, Molstiromь 72 b, 74 a: Monastiri 83 a, Monastiromь 73 b; peklati 90 b, 91 b, speklañem 91 b: petlati 90 b, 91 a, spetlañemь 91 b; peldu 15 a, Peldovь 78 b: pildu 15 a, Pilovь (najbrže tiskovna pomota namesto Pildovь) 78 b; trapledi od Trpezov 96 a: trapide odь Tьrpezovь 96 a. Glag. oblike predstavljajo govorjeno (dialektično) besedo, cirilske pa stremljenje po prvotni obliki. Sem spada še glag. O*d*govorišemu 2 a, *z*vršena 50 a: cir. O*t*govorišemu 2 a, *s*̃vršena 50 a (stcsl. otъ-, sъ-!); glag. pravična 56 a, pravični 57 a: cir. pravadna 56 a, pravadni 57 a; glag. osvetu 81 b: cir. mašćenje 81 b (drugo je bliže stari cerkv. slovanščini); glag. Stipan 1 b, 3 a: cir. Stifan 1 b, 3 a (stcsl. Stefanъ).

Končno je zanimiva še tale razlika: glag. Evangelie 1 a, 17 a, 32 a, Evangelist(ь) 6 a, 9 a, Evangelista 12 a, Evangelskoga 4 b: cir. Evanjelie 1 a, 17 a, 32 a, Evanjelistь 6 a, 9 a, Evanjelista 12 a, Evanjelskoga 4 b; Angela 49 b, Angeli 38 a, Angelovь 6 b: Anjela 49 b, Anjeli 38 a, Anjelovь 6 b. Oblike z *-g-* v glag. Artikulih so naslonjene na slovenski, morda latinski izgovor oziroma na italijansko grafiko, one z *-j-* pa predstavljalo na vsak način govorjene srbskohrvatske oblike. Enkrat pa stoji v cir. Art. nare*dj*ene 2 a: glag. nareéne (= narejene) 2 a. Ker ni našel Fancev[2]) v takih slučajih

[1]) Prim. Fancev, Jezik, Rad 214, 24.
[2]) Fancev, Jezik, Rad 212, 198.

razen *j* nobenega drugega glasu, bo treba pač razložiti obliko naredjene kot analogijo po nare*d*im, nare*d*iti ...

Drugih bistvenih razlik med glag. in cir. Artikuli ni. Navedene pa so nastale tako, da je Dalmata Konzulov prevod v glagolici transkribiral v cirilico in pri tem vrinil nekaj sprememb, popravkov. Odstraniti pa je treba pomislek, ali niso i glag. i cir. Artikuli morda vendarle njuno skupno delo, ker sta na obeh izdajah skupno podpisana, in ali niso razlike povzročili morda korektorji.

Kar se podpisov tiče, bi podpisa v cirilski izdaji (Po Antonu Dalmatinu i Stipanu Istrianu $\mathfrak{A}_{1}$) bila umestna in bi mogla pomeniti: cir. Artikule je sestavil Dalmata na podlagi Konzulovih. Vendar pa je treba iskati zaradi istega podpisa v glag. izdaji drugačno razlago. Podpisa sta namreč tradicionalna, kajti tako ju čitamo skoro u vseh srbskohrvatskih tiskih. Nikakor pa ne dokazujeta, da bi bila Konzul in Dalmata skupno prevajala, ker se nahajata tudi v cir. Abecedarju in Katekizmu,[1] kjer Konzul *ni* sodeloval.[2] Možno pa se mi zdi, da je Konzulove prevode kakor nekdaj pred prihodom v Urach, tudi kot nastavljenec v biblijskem zavodu popravljal Dalmata; s tem bi bil razložen Dalmatov podpis na glagolskih izdajah; da pa je stal pred Konzulovim, izhaja morda odtod, ker je Dalmata več znal in užival večji ugled. Toda povrnimo se k Artikulom: Konzulov prevod je Dalmata pregledal in propravil, pri tem pa nekatere napake nehote spregledal; grafične posebnosti glagolice pri tem ni spreminjal in ker je prišteval semkaj najbrže tudi slučaje z *s*- (skole, skuro ...), -*g*- (Evangelie, Angel ...) i sl., je vse to ostalo. Ko so nato prišli glag. Artikuli izpod tiska (oziroma ko so prihajali izpod tiska, t. j. sproti) je Dalmata na njih podlagi priredil cirilske. Tu se mu je nudila prilika, popravljati še posamezna zgoraj našteta mesta.

Od korektorjev bi se mogel v dobi tiska srbskohrvat. Artikulov upoštevati Cvečić, ki se je mudil od septembra do konca novembra 1562. v Urachu.[3] Toda njemu je težko pripisovati boljši jezik kot ga je imel Konzul, ker je bil tudi Cvečić Istran;[4] tudi ni dobro obvladal cirilice;[5] ker je prevajal predvsem v glagolico,[6] bi bilo bolj umevno, da je on nadziral in popravljal tisk glagolskih Artikulov. Drugi korektor bi bil

---

1) Elze, Katechismen, JGGPÖ 1893, 89.
2) Bučar, Povijest 217, 96.
3) Briefe 190, op. 4; Bučar, Povijest 86, 111.
4) Briefe 190, op. 4.
5) Klombner-Ungnadu 19. V. 1561, Kostrenčić, Beiträge 31.
6) Bučar, Povijest 109.

Juričić, ki je bival od julija 1562. do julija 1563. v Urachu.[1]) Bil pa je preveč sloveniziran,[2]) da bi bil zmogel čistejši jezik, kakor se nahaja v glagolskih Artikulih. Da, trditi smem, da bi on ne čutil nikake potrebe po spremembi slovenizmov v glag. Artikulih, kakor so zgoraj našteti.

Najprej bi pač kot avtorja izpremenjenih mest v cir. Artikulih bila uvaževanja vredna Bosanca Popović in Maleševac; toda oba sta že februarja 1562. l. zapustila Urach.[3]) Od drugih sotrudnikov in korektorjev pač v tej dobi ni bilo nobenega v Urachu, ki bi bil eventualno skupno delo Konzulovo in Dalmatovo, prvotno enake glag. in cir. Artikule, s svojo korekturo napravil take, kakor so se do danes ohranili in kakor je to pokazano v tem poglavju.

Ljubljana 1923 (1928).

Mirko Rupel.

[1]) Briefe 186.
[2]) Klombner-Ungnadu 7. V. 1562, Kostrenčić, Beiträge 74.
[3]) Bučar, Povijest 105.

P. J. Šafařík a Vuk Stefanović Karadžić.

Srbský literarní historik Stojanović vylíčil podrobně život a činnost Vukovu v obšírném spise: Život i rad Vuka Stef. Karadžića, vydaném v Bělehradě r. 1924. Poukázal také zde na neocenitelné zásluhy B. Kopitara o práci tohoto předního srbského spisovatele, ale jen příležitostně všímal si ostatních styků Vukových,[1]) neb na př. vše, co tam uvádí o poměru Šafaříkovu k Vukovi, naprosto nestačí, aby přátelský styk obou těchto mužů byl náležitě osvětlen. Jméno Vukovo nezůstalo asi dlouho neznámo Šafaříkovi, snad je poznal za svých studií v Kežmarku od svých srbských kolegů, snad tam mohl také čísti článeček Hankův o Vukově prvém svazečku lidových písní srbských,[2]) kde český obdivovatel slovanské poesie lidové vybízí Čechy, aby po příkladu Vukově a Pračově sbírali »naše líbezné národní zpěvy«. Jistě však s touto poesií ve vydání Vukově seznámil se v Jeně, kde počal zahloubávati se do studia řeči a literatury slovanské opravdověji, než jak to činil ještě v Kežmarku.

Osobně poznali se tito dva mužové teprve r. 1820 v Petrovaradině,[3]) kamž Šafařík přišel na poštu se svým přítelem Magaraševićem a od té pak doby stýkali se často v Novém Sadě. Za

---

[1]) Srv. můj referát v ČČM. 1924 XCVIII, 189. Vzájemná korespondence otištěna v Prepisce Vukově IV. str. 618—706. chybí zde dopis Vukův z 6. února 1829, otištěný Šišmanovem v Blgarski Prěgled 1896. I. 76, srv. ČČM. 1913. 329. Výňatek jiného dopisu, pravděpodobně z 1./13./V. 1838 otištěn Šafaříkem v ČČM. 1838, str. 256.

[2]) Prvotiny pěkných umění 1814, z 22./VIII. Polívka i jiní připouštějí, že se tak mohlo již státi v Kežmarku, ČČH. 1895, 166, srv. Osvěta 1895, 395, 397—8,1897, 979, ČČM. 1888. 107, Lit. česká XIX. II, 12.

[3]) Vuk píše o tom Kopitarovi 17./VII. 1820 a dodává: Šafarik se mi vrlo dopada. Prepiska I. 179, tím opravuje se domněnka Jirečkova, jako by se po prvé viděli v Novém Sadě neb ve Vídni. Osvěta 1895, 589. O jeho stycích v N. Sadě s Vukem srv. jejich vzájemnou korespondenci, podobně i Kollárovu, srv. ČČM. 1874, 401. R. 1843 navštívil Vuk jen ve chvatu Prahu a na to si stěžuje Šafařík Atanackovićovi, který to sděluje dne 8./II. 1844 Vukovi. Prepiska I. 560, Stojanović op. cit. 518. R. 1848 účastnil se Vuk slovanského sjezdu v Praze a před tím setkali se ve Vídni, kde Slované pořádali na počest Vukovu hostinu, které byl také Šafařík přítomen. Ohéralův Týdenník 1848, 37, Paměti Fričovy III, 292, ČČM. 1924 sv. XCVIII str. 189. Často na hostinách, kde jest i Vuk, připijí se Š-ovi Orol. Tatr. I, 1846, 215.

života Šafaříkova po jeho odchodu z tohoto města viděl se s ním Vuk ještě několikráte ve Vídni a v Praze. Stali se záhy dobrými přáteli,[1]) třebaže do tohoto jejich přátelského poměru zasahoval časem trochu rušivě Kopitar, ale nikdy tak, že by to ohrožovalo jejich přátelství.[2]) Není lze pochybovati o vlivu Kopitarově na Vuka[3]) a možno říci, že si Šafařík byl toho vlivu plně vědom, píše již dne 9./I. 1826 Kollárovi, že se bojí, aby na něho Vuk a Kopitar neudeřili pro jeho odchylné mínění v otázce původu církevněslovanského jazyka.[4]) Zdá se, jako by poměrem Vukovým ke Kopitarovi byla otřesena vzájemná důvěra Šafaříkova a Vukova a doklad toho nacházíme v jednom dopise Šafaříkově a v jednom Vukově. Šafařík píše Kollárovi dne 15./X. 1832: Vukovi neradno všecko svěřiti, on i jeho záštitník p. Kopitar jsou pro nás osoby neprozkoumatelné.[5]) Když Vuk zvěděl, že Magarašević chystá vydati nějaký slovník, při němž mu měl i Šafařík pomáhati, radil Kopitarovi, aby jim slovníků nijakých neposílal a sám raději počal sestavovati slovník německo-srbský, neboť se obává, že Magarašević vydá ohlášení takového slovníku a je v té věci předejde.[6]) Třeba jest tu Šafařík jmenován, myslím, že jest to více namířeno proti Magarašević́ovi než Šafaříkovi, který také r. 1825 a 1826 měl menší nedorozumění s Vukem pro nesprávné vyúčtování a placení knižních zásilek se strany Magaraševićovy.[7]) To vše byla jen malá

[1]) Vuk vzpomíná Šafaříka v Praze r. 1823 ve společnosti Jungmannově a Čelakovského. Čelakovský Kamarýtovi 2./IV. 1823. Koresp. Fr. L. Čelakovského I. 175, 217. Vuk o tom píše Šafaříkovi 5./V. 1823. Prepiska IV. 618, Kopitarovi, Prepiska I. 215, 216, Stojanović op. cit. 196, 243, 257. ČČM. 1909, 277.

[2]) Kopitar jen jednou snad v celé své korespondenci učinil ostřejší narážku na svůj poměr k Šafaříkovi a k Pražanům, píše Vukovi dne 12./VI. 1838, jako by Šafařík a jiní Pražané chtěli i jeho (t. j. Vuka) vtáhnouti do sporů. Prepiska I. 473.

[3]) O tomto vlivu viz studii Stojanovićovu. Píše také Čop Kopitarovi dne 15./V. 1833: Daher sehen Sie im Schaffarik, Palacký, Čelakovský und Kucharski und wahrscheinlich auch Wostokow nichts als Feinde. Ihr Freund ist nur der sich Ihnen unbedingt unterwerfende Wuk Stefan. Zbornik Matice Slovenske V. 102. Prelog Slavenska renesansa 15, Archiv f. sl. Phil. XXX. 470.

[4]) ČČM. 1874, 54, Brandl P. J. Šafařík., 24, Marn Kopitarjeva Spomenica 54. O tomto sporu týkajícím se otázky původu církevněslovanského jazyka a písma bude promluveno jindy. Možno zde mimochodem podotknouti, že Kopitar ptával se Vuka na nosovky v novobulharském jazyce.

[5]) Osvěta 1895 590, Let. Mat. Srb. 186, 99, Kulakovskij Illyrizm 195, Šurmin Hrvatski Preporod II. 60.

[6]) Dopisy 1./XI. 1823, 21./I. 1824 Prepiska I. 235, 252.

[7]) Srv. dopisy Vuk Šafaříkovi 19./XII, 1825 (jednalo se také o poslání Grečovy historie ruské literatury, o níž psal Vukovi a žádal i jiné knihy), 5./V. 1823. 1./X. 19./XII. 1825, Prepiska IV. 618—620, 623—624, (srv. Prepiska VI. 623). Magarašević Vukovi o tom 9—21/VII, 1823, 5./XII. 1824 (Prepiska II. 502, 594, 494). Vuk to vysvětluje Šafaříkovi v dopise 18—30/XII, 1825 a nepochybuje, že Šafařík zaplatil vše Magaraševićovi (Prepiska IV, 625—626). Vuk si zato podržel pe-

mračna na nebi Šafaříkova a Vukova přátelství,[1]) všechny tyto i jiné nemilé příhody brzy zmizely, nezanechavše nijakých hlubších stop. Šafařík doporučuje Vuka velice vřele jako »slovútného a drahocenného Súslovana« Kollárovi,[2]) považuje ho za zdatného pracovníka, a navrhuje jej dne 5. IV. 1832 Šiškovu jako čtvrtého spolupracovníka[3]) pro petrohradský slovník, sleduje jeho životní osudy[4]) a stará se otcovsky o jeho syna Savu.[5]) Zajímá se o jeho veškeru spisovatelskou činnost, cení si ji velice[6]) a pokud možno, snaží se jej v ní podporovati. Vedle některých spisů a prací Vuko-

---

nize předplatitelů na Šafaříkovu Geschichte der slav. Spr. u. Lit. 1826 (Prepiska IV. 628—629). Na to si právem stěžoval Šafařík Magaraševićovi, který psal ihned Vukovi 11. I. 1826 (Prepiska II. 508), že neměl k tomu právo. Šafařík psal také 9./I. t. r. Kollárovi (ČČM. 1874. 55. Osvěta 1895. 504): Vuk, vida, že jest od přítele ošizen, nyní se na mne vrhnul, že prý cedulka s tituly knih mú rukú psána byla. Tedy že peníze zadržeti musí. Považte sami toto postupování. Vuk byl i u Magaraševiće, knihy u něho viděl a nic neřekl. Šafařík mu řekl, že výtisků Geschichte bez peněz nedostane. Také Magarašević Šafaříkovi peníze na předplatné nedával. Dne 20. II, 1826 psal Šafařík Kollárovi, že očekává peníze od Vuka ČČM. 1874, 61.

[1]) Vuk oslovuje Šafaříka skoro vždy: visokopočtajemi, ljubezni prijatelju (Prepiska IV. 625, 638, 646, 665, 693, srv. Osvěta 1895, 589). Také v Danici 1834 zove ho: slavni i opšte poznati slavenski spisatelj (Let. Mat. Srp. 186 111). Šafaříkovi byly však takové titulatury proti mysli, píše Vukovi 9./VIII, 1827. (Prepiska IV. 643): Alle Titulaturen in Briefen von Ihnen an mich sind wol überflüssig und wir nennen uns gleich.

[2]) ČČM. 1873. 400. Osvěta 1895, 589. Tón jejich dopisu jest vždy přátelský. Osvěta tamtéž.

[3]) Osvěta 1895. 985, Let. Mat. Srp. 186. 165, Francev Korespond. Šafaříkova, 922, slíbil Šafaříkovi pomáhati Koppenovi (dopis Šafaříkův Köppenovi 30./V., 1./VII. r. 1825, Francev op. cit. 297. 301). Snad vlivem Šafaříkovým usiluje Köppen, aby Akademie ruská Vuka dále podporovala. (dopis 7—19./IV. 1836, Francev, op. cit. 345).

[4]) Raduje se z jeho ruské pense (10./XII., 1826. Prepiska IV. 632), z jmenování presidentem soudu (27./I. 1831), doufá, že se Vuk vrátí k své práci, neb mladý národ potřebuje, aby proň pracoval každý podle svých sil. Vuk mu o tom psal 20./I. t. r. (Prepiska IV. 664, 665). Lituje ho, když byl propuštěn ze služeb knížecích a když měl opustiti rakouskou monarchii pro podezření z vyzvědačství ve prospěch Ruska. Vuk mu o tom s pláčem vypravoval. Píše o tom Kollárovi 18./XII, 1831, Palackému 30./XII. 1831, 7./II, 10./XI 1832 (Osvěta 1895 str. 590), srv. i dopis jeho Šiškovu 5./IV. 1832, Francev op. cit. 922. Také v ČČM. 1832 I, 109, píše, že musil Vuk prchnouti ze Srbska pro rozhárané tamní poměry. Ujal se také Vuka, když ho považovali s Kopitarem za odpadlíka, srv. dopis Kopitara Vukovi 7./VI, 1825 (Prepiska 267, Stojanović op. cit. 262) Šafařík také jej napomíná, aby nic jiného v dopisech nepsal než zprávy o literatuře: Sie wissen, alle Briefe geöffnet und copiert werden (23./VI, 1830 Prepiska IV. 66).

[5]) Na radu Kopitarovu svěřil mu Vuk svého syna Savu, o jehož zdravotním stavu mu často Šafařík píše (Kopitar Vukovi 29./IX, 1830, Vuk jemu 4./XI. t. r. Prepiska I. 380, 385. Šafařík Vukovi 7./XII, 1831, 14./III, 10./XII, 1832), Když Sava zemřel, těší Šafařík Vuka dne 25./IX, 1837 (Prepiska IV. 667—669, 683).

[6]) Píše 17./VI, 1836: dass ich den wärmsten und herzlichsten Anteil an allen Ihren literarischen Unternehmungen nehme a 14./VI, 1838: das Himmel gebe Ihnen Gesundheit dazu, um alles was Sie bereits vorbereitet haben, auch glücklich ans Licht zu fördern, denn an Willen und Ausdauer dazu fehlt es Ihnen gewiss nicht. Prepiska IV. 680—681, 683—684.

vých,[1]) o nichž bude také řeč později, Šafařík vřele uvítal jeho Danici,[2]) mnoho z ní čerpal pro své práce topografické, sháněl pro ni předplatné. Touto péčí potěšil Vuka, zvláště, když zvěděl, jak Šafařík o ní pěkně smýšlí.[3]) Staral se také náš učenec o srbský překlad Nového Zákona, psal svým známým do Lipska a Londýna, věděl o prvých dvou vydáních, nemohl však se dopíditi ani jednoho exempláře mezi Srby v Uhrách, proto se domnívá, že, když ho nikdo nemohl skoupiti, byl asi celý náklad poslán do Petrohradu, kde zničen. Psal o tom Vukovi 16./VI., 1834[4]) a pokládal pro tuto dobu vydati takový překlad nákladem biblické britské společnosti za nevhodné. Vuk tento překlad pořizoval v srbské lidové řeči[5]) přes odpor duchovní moci. Vydal jej r. 1847 a požádal Šafaříka, aby jej recensoval. Šafařík mu na tuto žádost odpověděl, že již o ničem kritiky nepíše.[6]).

Také Vuk vážil si Šafaříka, chtěl prý na př. použíti peněz, které mu měl poskytnouti kníže Miloš,[7]) ku podpoře prací Šafaříkových a Kopitarových. Spolu s Kopitarem oceňoval jeho schop-

---

[1]) Na př. píše o Vukových dodatcích k petrohradským slovníkům Kopitarovi 27./IV, 1830: Vuk's Bulg. sind schätzbar, ab. aus ein. Gegend unvollst. aufgefasst. Dopis dosud nevydán.

[2]) Jako předplatitel uveden jest Šafařík teprve v druhém svazku Danice, 1827, v třetím pak vyjmenováni předplatitelé získaní Šafaříkem v Novém Sadě v počtu 15, v čtvrtém při Novém Sadě uveden pouze Dj. Kirjaković s 10 ex. beze jmen. Vuk mu poslal oznámení Danice, Šafařík se tomu velice raduje, slibuje mu sbírati předplatné, (1./IX, 7./XI, 1825, Prepiska IV, 619—621), nemá však mnoho štěstí pro vysokou cenu, slibuje napsati ohlášení pro Let. Mat. Srb. a posílá mu seznam předplatitelů (srv. 19./XII 1825, 10./XII 1826, 13./II, 4./IX, 20/XI 1827, 8./III, 23./III, 27/V, 17./VIII 1828, 24/I 1834, Prepiska IV, 623—625, 631, 635—637, 643—646, 649—652, 677). Píše také Köppenovi o Danici 26./IX 1826 (Francev op. cit. 311). Shánějí si navzájem předplatitele (Prepiska IV. 618—629 a j.). Vedle Danice poslal Vuk Šafaříkovi na prodej Ogledi svetoga Pisma (19./XII, 30./XII 1825, 16/I 1826, Prepiska IV. 623—627) Narodne srdske poslovice, které se špatně prodávaly (Květy 1836, III, 87. dopisy 24./I, 16./V 1834, Prepiska IV, 677, 679). Šafařík slíbil mu i prodávati. Prvi srpski bukvar. (14./VI 1827, Prepiska IV. 637).

[3]) Vuk píše Šafaříkovi: 10./22./VI 1827: Ja priznajem za najveću nagradu što mi pišete, da se Vam moja Danica dopada (Prepiska. IV, 638. Osvěta 1895, 589).

[4]) Prepiska IV. 678—680, Jagić Die serbokroatische Uebersetzung der Bibel. Archiv. f. sl. Phil. XXXIV, 524.

[5]) Šafařík píše Pogodinovi 5./XII 1842: Vuk hat ein Serbisches N. T. in Wien bei den Mechataristen (auf Kosten der Bibelgesellschaft, sagt man?) drucken lassen, ganz in vulgarer Sprache, wie die Volkslieder, mit љ, њ, etc. Deshalb unter den Serben grosser Lärm, Wirnisse und Spaltung der Meinung. Die Serben im Fürstenthum sollen es verdammt haben. Der diesige Carlowitzer Metropolit soll höchsten Orts eine Klage eingerichtet haben. Und so überall Kampf und Streit. Francev Koresp. 707. Nepřátelé Vukovi si stěžovali, že prý k tomuto překladu má Vuka nějaká česká strana (Stojanović 623).

[6]) Dopis Vukovi 24./XII 1847, Prepiska IV. 696.

[7]) Vuk psal Milošovi, aby zřídil ve Vídni kiriju a z ní věnoval část na podporu literárních prací Šafaříkových a Kopitarových. Píše to Srezněvskij Šafaříkovi 5./II 1842, Francev op. cit. 873.

nosti pedagogické[1]) a přičinil se, aby se Šafařík stal členem »Družstva srpské slovesnosti«, pta se ho r. 1842, zda obdržel již čestný diplom této společnosti a zároveň ho prosí, aby mu dal plnou moc za sebe pro valnou její hromadu.[2]) Doporučuje ho také Mušickému[3]) za sekretáře, podporuje jeho úmysl dostati se do služeb srbských, třeba s tím nesouhlasil Kopitar.[4]) Byl sem totiž volán k řízení škol, ale Šafařík i zde osvědčil svou váhavost a psal Vukovi 14./III. 1832:[5]) Jetzt nach Serbien zu schreiben und Bedingungen zu setzen ist schon zu spät; desswegen sollen Sie diesen Punct gar nicht berühren. Zdá se, že ho od tohoto úmyslu zrazovaly nejisté poměry v Srbsku a vrtochy knížete Miloše,[6]) o němž mu Vuk, když se s ním rozešel, musil asi mnoho napovídati. Šafařík se však přesvědčil, že není tomu tak, jak mu byl Vuk pověděl.[7])

Nemůže býti nijaké pochybnosti o Vukově znalosti Šafaříkových děl, věděl dobře o jeho literárních a vědeckých pracích, při nichž mu ochotně pomáhal sbíráním materiálu, posíláním potřebných knih a pak jejich prodejem. Netřeba se zde ani šíře zmiňovati o Vukově zájmu o Šafaříkovy dějiny slovanské řeči a literatury,[8]) na něž upozornil i polského badatele Bandtkeho.[9]) Vuk měl i pro to své důvody, líbila se mu tato práce také proto, že v ní Šafařík nazývá Slavonce, Bosňáky a Dalmatince Srby[10]) a také asi

---

[1]) Prepiska IV. 690. 12./IV 1841. a 18./II 1831. Kopitar Vukovi Prepiska 395. I.

[2]) Dopis z roku 1842. Prepiska IV. 693—694 srv. Chronologisches Verzeichniss einiger Daten. Francev op. cit. 975. byl Šafařík jejím členem od 11./VI 1842.

[3]) Paul. P. J. Šafařík a srbská hierarchie. Slovanský Přehled 1914—1924, 179.

[4]) Chtěl Šafařík raději jíti do Srbska než do Ruska (20./V. 1830, Prepiska IV. 657 Francev Koresp. XIII). Kopitar tuto dobu neuznával za vhodnou, pokládal Šafaříka za schopného k takovému úřadu, jest prý dobře obeznámen s poměry celé Evropy, umí dosti srbsky, jen by musili dáti větší plat, aby ho získali) Prepiska I. 374, 376, 395, 396, 365 (srv. Let. Mat. Srp. 186, 167—8, Osvěta 1895, 593 Šafařík nepospíchal) Prepiska IV. 660—661. a Vuk i Kopitar věděli, že z toho nic nebude. (Prepiska 20./II 1831, 396) R. 1832 Vuk doporučuje opět Šafaříka neb Ranka (Prepiska III. 638. Stojanović op. cit. 390).

[5]) Prepiska IV. 668.

[6]) Srv. co psal o Milošovi Kollárovi a Palackému, Osvěta 1895, 592—593.

[7]) Píše 21./II 1833 Palackému: Kníže Miloš má slova co některého blahozvěsta pozoruje, a p. Vuk a jiní zvášnění stranníci neobmeškají jemu všeho, co nějakého jedu předložiti. Vskutku se mi zdá, že v Srbsku věci jdou lépe, než mi to Vuk vylíčil. Osvěta 1895 str. 593—594.

[8]) Vuk mu opatřuje Greče (Prepiska IV. 625), stará se kam má býti poslána, šíří ji hlavně mezi Srby, srv. Paul. B. Kopitar a P. J. Šafaříka Geschichte Slavia V. 64. Vuk poslal také oznámení tohoto spisu Köppenovi i práci samu, srv. Šafařík tomuto ruskému učenci 18./I, 4—16./VII 1826, Francev Korespond. 306, 308.

[9]) Prepiska V. 434—438. Francev Polskoje Slavjanověděnije 163, Paul P. J. Šafařík a Poláci. Sborník prof. J. Máchala 59.

[10]) Píše o tom v dopise Brlićovi 25./IV 1828. Prepiska V. 116. Dubrovničané protestovali, aby bylo o nich mluveno společně se Srby. Šafařík Palackému 3./III, r. 1831, Osvěta 1895, 785.

proto, že tu Šafařík pronesl velmi lichotivý posudek o srbské řeči lidové, postaviv se takto nepřímo po bok Vukův v jeho boji o nový spisovný jazyk srbský.[1]) Mimoto i jiné zmínky o něm jako předním spisovateli srbském,[2]) z jehož slovníku Šafařík čerpal mnohá poučení na př. o srbských nářečích, měly vliv na poměr Vukův k této Šafaříkově práci. Z těchto také důvodů podporoval Vuk Šafaříka při sbírání materialu pro její druhé vydání.[3]) Literárních však zpráv v dopisech obou mužů jest velice poskrovnu, o srbské literatuře[4]) čte se tu pouze jediná zmínka o vydání Eut. Popoviće dalmatských básníků. Člověk prý skoro dostává zimnici, když pomyslí, jak tento vydavatel porušil krásný verš Menčetićův. Žádá proto Vuka, aby jej »von seiner sremischen Krankheit« vyléčil.[5])

Vuk staral se také o rozšíření a rozprodej Šafaříkovy rozpravy Ueber die Abkunft der Slaven nach Lorenz Surowiecki, jejíž jeden exemplář poslal do Dubrovníka Gagićovi.[6]) Byl tento Srb jí nadšen a sám také se o ní pochvalně vyslovil v dopisech Kopitarovi a Mušickému.[7]) Šafařík, vida tuto ochotu Vukovu, uvědomuje jej 17./VI, 1836 o jiném svém spise:[8]) Meine Starožitnosti erscheinen vorläufig im Böhmischen, das l-te Heft ungefähr am 15. August. Wegen einer deutschen Bearbeitung werden eben jetzt Unterhandlungen gepflogen und ein Plan dazu gemacht, wenn sie aber auch zu Stande kommt, so wird der Druck vor Beendigung der böhmischen also vor $1\frac{1}{2}$ bis 2 Jahren nicht beginnen. Vuk dostal jeden exemplář od Kopitara, není však známo,[9]) jak dalece se po-

---

[1]) Podrobněji o tom později.

[2]) O lidové písni Geschichte, 18, 26, 140—141. o slovníku, tamtéž 203, 216, o Danici tamtéž 493, o srbských mluvnicích , tamtéž 205, spisy Vukovy, tamtéž 221, 225.

[3]) Shání pro něho spis Appendiniho (IV 643—651). Srv. dopis dosud v Prepisce neotištěný 6./II, 1829. Srv. Paul Appendini a Čechové Slavia IV. 639—641. VII, 430, srv. i dopisy Šafaříkovy 1./IX 1833, 24./I 1834, Prepiska IV. 674—677.

[4]) Také o české literatuře není zde skoro ničeho. Šafařík slibuje mu poslati pro Kopitara Jungmanův slovník 17/IX 1838, Prepiska IV. (Posílá mu ohlášení Kollárových rozprav s prosbou, aby kníže svolil dáti své jméno mezi předplatce 28./III 1830, Prepiska IV. 654).

[5]) O Popovićovi píše také v článku o novější literatuře ilyrské v ČČM. 1833 (Sebr. spisy III. 290): »ale nepotřebným jazyka přejinačením od vydavatele docela pokažená«. Píše i Köppenovi 13/XII 1826 (Francev op. cit. 314) aber grässlich verballkornt so dass es ein Jammer ist... Diese Blühen der dalmatinischen klassischen, unerstorbenen Poesie verdienten besseres Schicksal. »O této nemoci« psal i Kollárovi 13./II 1826 (ČČM. 1873) a Vukovi 10./XII 1826, Prepiska IV. 632.

[6]) Dopisy Gagićovy Prepiska III, 27, 31.

[7]) Prepiska I. 328, II. 336.

[8]) Prepiska IV. 680.

[9]) Prepiska IV. 683, dopis z 25./X 1837.

staral o rozprodej. Zajímal se též o Šafaříkův Slovanský národopis, k němuž také autor čerpal některá data z Vukových spisů, zvláště otiskl některé písně srbské a bulharské z jeho sbírek.[1])

Daleko prospěšnější pro vědu samu byla Vukova pomoc při Šafaříkových pracích z oboru balkánské geografie a při jeho úmyslu vydati starosrbské památky. O prvé práci dověděl se Vuk od Šafaříka[2]) z jeho dopisu ze dne 28. I. 1827: »Sie[3]) wissen, dass ich an einer Geographie des Mittelalters Serbien und Bulgarien etc. arbeite. Wenn sie daher hinüber gehen, so könnten Sie mir wichtige Dienste Anleiten. Freilich müsste ich dann mehr Zeit haben, um meine Anmerkungen in bessere Ordnung und vollständiger Ihnen mitzutheilen.« Ukazuje, jaké jsou chyby na dosavadních mapách, označuje, čeho by si v tomto ohledu přál, připomíná také, že v srbské historii vyskytují se mnohá jména měst a hradů, která nejsou dosud na mapách zaznamenána, a končí otázkou: »Vielleicht sind von diesen und ähnlichen Oertern noch Ruinen oder Namen vorhanden.« Píše mu proto, neboť se dověděl o jeho cestě do Srbska.[4]) Tuto prosbu opakuje v dopise ze dne 13. II. 1827 a vyslovuje při tom žádost o Vukovu Danici.[5]) Vuk mu ji poslal a Šafařík v ní našel seznam místních jmen a psal v červnu r. 1827 Vukovi:[6]) In der Danica fand ich viel für mich. Ich bitte Sie recht sehr, mir eine Abschrift des Liedes von Crna Gora und der Umgegend zu schicken, wie Sie mir versprochen haben. Auch bitte ich Sie mir die Namen der Dörfer mitzutheilen, die Sie während Ihrer Reise in Serbien aufgezeichnet haben. Ich sehe in dieser Hinsicht Ihrem Briefe sehnlich entgegen.« Vuk jeho opětované žádosti v dopise z 14./VI. 1827 vyhověl a poslal mu onu píseň jakož i seznam několika

[1]) Prepiska I. 542—543. IV. 697. 705—706. Že by snad příčinou nějaké neochoty Vukovy v letech největšího sporu Šafaříkova s Kopitarem, byl právě tento spor, nezdá se správné. Vuk sám sbíral předplatné na Slovanský Národopis. Pokud jsou dopisy Kopitarovy a Vukovy zachovány, není v nich skoro nijaká narážka. Šafařík také o Kopitarovi se nijak nevyjadřuje. Šafařík píše na př. pouze o Milovukovi (Prepiska IV. 636—7): Milovuk ist etwas nachlässig in Versendung, wo er keinen Gewinn zu hoffen hat. Přeje si Šafařík, aby mu Vuk posílal knihy na Kollára, a Vuk jeho prosbě vyhověl.

[2]) Prepiska I. 270.

[3]) Prepiska IV. 633—635. Šafařík již r. 1825 požadoval od Vuka mapu Srbska, ukazuje, jak dosavadní jsou chybné. (Prepiska IV. 619—620, 623—625, 637, 648, 691, 693). Dne 10./X. 1825 píše Kollárovi: Vuk prý mu píše, že právě dává řezati novou mapu Srbska, ale to nebude škoditi jeho vlastní. ČČM. 1873, 406.

[4]) Prepiska IV. 635, Kollárovi 8./III. 1828 ČČM. 1874, 283.

[5]) Prepiska IV. 633. Na tento ročník Danice upozorňuje i Maciejowského. Slovanský Sborník III. 95, 198.

[6]) Prepiska IV. 636, o mapě Černé Hory vyslovil se Vukovi 27./XI. 1841. Prepiska IV. str. 691—692.

nahijí dne 10.—22./VI. t. r.[1]) Do r. 1830, kdy dne 4./IV. upomíná Šafařík Vuka, aby naň nezapomněl geografickými poznámkami, obrátil se náš učenec na svého srbského přítele s některými dotazy, byv také od něho poučen o hranici srbsko-bulharské.[2]) Zájem Šafaříkův o země balkánské neochaboval[3]) a proto s radostí přivítal Vukův spisek Montenégro und die Montenegriner v příznivém posudku, otištěném v ČČM. 1837 str. 368. Vuk prý vyvrátil různé nepravdivé pověsti a dohady, čerpaje přímo ze své zkušenosti. Překrásně líčí život lidu a toto jeho líčení přesahuje veškero zdání o této slovanské zemi. Šafařík, podav stručný obsah, jest spokojen s jeho prostým slohem a přeje si, aby z tohoto díla byl pořízen český výtah.[4]) Při této příležitosti odsoudil spis Francouze Violy de Sommieres, který Černohorce pokládá za národ řecky mluvící, a upozornil na článek Milakovičův v Grlici 1835 o Černé Hoře, kterého však dosud nečetl. Na konec svého posudku opravuje Šafařík některá nedopatření srbského pisatele v údajích černohorských tisků.

Dopisy Šafaříkovy posílané tomuto Srbovi v třicátých letech minulého století obsahují četné prosby o zaslání originálu neb opisu starosrbských písemných památek,[5]) které Šafařík potřeboval pro vydání své »Sammlung Serbischer Sprache und Literatur. Denkmäler«. Do plánu této edice, která měla obsahovati památky staré srbské literatury, od nejstarších dob až do XVI. stol.[6]) byl zasvěcen také Vuk, který uznával plně tuto práci Šafaříkovu.[7]) Bylo mu dobře známo i Šafaříkovo pojednání o srbských rukopisných památkách a jihoslovanských tiscích.[8]) Proto ochotně pomáhal Šafaříkovi, když ho tento požádal o získání rukopisu Domentianova

[1]) Prepiska IV. 637—642. Šafařík mu za to poděkoval, slíbil mu, že toho tiskem nezneužije (9./VIII. 1827. Prepiska IV. 643—645), srv. Danica 1828 str. 222—234.

[2]) Srv. dopisy 9./VIII., 4./IX., 3./IX., 13./II. 1827. Prepiska IV. 635, 645—649, na př. Vuk mu poslal Dobrovského vydání Iter Frederici, o němž Šafařík psal v Jahrb. d. Lit. 1828 XLII., 26. Srv. Slavia VII. 941.

[3]) O historii se Šafařík méně zajímal, sháněl se na př. po Vukově spisku o Milošovi (1./IX. 1825, Prepiska IV. 619—620), jehož oznámení mu Vuk poslal až r. 1828, (Prepiska IV. 650—651).

[4]) Učinil tak Tomíček ve Vlastimilu 1840, II, 3, 99.

[5]) Srv. dopisy Šafaříkovy 4./III., 28./III., 18./IV., 20./V., 24./VI. 1830 (Prepiska IV. 654).

[6]) Šafařík Vukovi 20./V. 1830 (Prepiska IV. 659), srv. V. A. Francev Mon. ilyr. P. J. Š. 6, 7, srv. Prepiska IV. 654, 655, 657.

[7]) Šafařík mu psal 24./VI. 1830 (Prepiska 660) Sie werden sich über meine Entdeckungen wundern. Vuk o ní píše s uznáním Kopitarovi 24./V. 1829 (Prepiska I).

[8]) Prvý vyšel v Jahrb. d. Lit. 1831, LIII, Anz. Bl. 1—58, druhý tamtéž 1829 XLVIII., Anz. Bl. IV. 1—35, srv. Prepiska IV. 658—661. Srv. Slavia VII. 944—946.

Života sv. Simeona a sv. Savy.[1]) Obrací se na něho i o jiné památky, na př. o zákoník Dušanův, a Vuk mu podle možnosti vyhovuje a posílá na př. opis nápisu kláštera v Studenici, o kterém psal Šafařík v Jahrbücher der Literatur LIII. 1831, 57.[2]) Zatím Šafařík přerušil tuto svou práci vydáním Slovanských Starožitností a přípravami k druhému vydání dějin slovanských literatur a vrátil se k ní[3]) kolem posledních let třetí desítky minulého století, kdy jeho dopisy Vukovi opět obsahují podobné prosby a žádosti.[4]) Ani tentokráte nepodařilo se Šafaříkovi dokončiti tuto svou práci, z nichž za jeho života vyšly Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů, o nichž píše Vukovi r. 1851.[5])

Konečně jest se třeba zmíniti o Šafaříkově pomoci Vukovi při pořizování cyrilského písma r. 1833 a 1834 pro armenskou tiskárnu[6]) ve Vídni. Obíral se tehdy studiem tohoto písma, a když Vuk chtěl, aby mu podal patrně nějaké informace neb snad aby mu poslal nějaké ukázky tohoto písma, nemohl mu Šafařík ihned vyhověti, poněvadž byly jeho věci ještě zabaleny, které přivezl s sebou právě z Nového Sadu. Psal mu, že nejlepší písmena jsou v černohorských tiscích XV. století, a požadoval pak sám od něho ukázky rukopisů vídeňských. O matrice sám se staral Šafařík u rytce Lercha, který také s dovolením Vukovým zhotovil je pro Šafaříka a Haase, neb Šafařík prý je potřeboval pro písmo, jímž chtěl tisknouti některé citáty, tituly, po případě i ukázky v druhém vydání dějin slovanských literatur, k nimž chtěl také přidati slovanskou chrestomatii.[7]) Když byl s tím Lerch hotov, poslal to k opravě Vukovi, nastalo však asi nějaké nedorozumění s Lerchem, a Šafařík, svaluje vinu na Kopitara, o té věci již nepíše. Zmiňuje se také o svém

---

[1]) Prepiska IV. 658—659.

[2]) Srv. dopisy Prepiska IV. 661—667, 669—671, 680—686, Francev Mon. ilyr. str. 6—7. Osvěta 1895. 593. Vuk mu získal i pomocníka v Gagićovi (Starine XIV., 197—209, Francev Mon. ilyr. 5, 10—11, Osvěta 1895. 890). V letech třicátých potřeboval také tento materiál pro své Serbische Lesekörner.

[3]) Vukovi 17./VII. 1836 (Prepiska IV. 680—681): Werde ich unverzüglich an die Herausgabe meiner altserbischen Denkmäler machen, was freilich erst nach ein paar Jahren geschehen kann.

[4]) Prepiska IV. 680—683. Také požadoval od Vuka i nějaký text hlaholský a psal o tom Vukovi i jeho synovec Janko. (Prepiska IV. 684—687.)

[5]) Dopis 15./X., 28./XII. 1851 (Prepiska IV. 698—699) a 8./IV. 1853 (IV. 701) posílá mu výtisk Památek hlaholského písemnictví. V Památkách dřevního písemnictví Jihoslovanů dovolává se v úvodě k Životu sv. Symeona a sv. Savy toho, co mu o tom sám vypravoval Vuk »zkušený znalec srbských běhův«.

[6]) Srv. Stojanović op. cit. 411—412, Vuk Hamuljakovi 1834, Prepiska, V. Prepiska IV. 669—678.

[7]) Šafařík chtěl, aby v Praze aspoň jedna tiskárna byla opatřena vkusným cyrilským písmem.

písmě, které se Hankovi nelíbilo, stěžuje si na vypočítavost Haasovu a posílá Vukovi i vzory svého písma r. 1838 a 1848.[1])

Přátelství obou mužů, třeba nebylo nikterak důvěrné a prodchnuto nějakými zvláštními sympatiemi, podporovalo jejich práci ve prospěch slovanské vědy a Vuk rád vykonával i jiné služby, o které ho Šafařík požádal, třeba to bylo v době největšího nepřátelství našeho učence s vídeňským Kopitarem. Opatřuje a kupuje na přání Šafaříkovo pro Pogodina a Bodjanského knihy, cenné staré tisky a rukopisy srbského písemnictví.[2])

Šafařík již za svých studií v Jeně počal se důkladněji zabývati slovanskou lidovou poesií, chtěje srovnávati slovenské písně s ruskými a polskými.[3]) Jaké asi nadšení vyvolala u něho prostá lidová píseň, o tom svědčí jeho »Promluvení k Slovákům«, otištěné v Hromádkových »Prvotinách pěkného umění« dne 1./I. 1817.[4]) Zde po prvé připomněl Vukovu sbírku z r. 1814 a 1815, praví, že »v Stefanovićovi rhapsodové homerští mezi Srby zotavovati se zdají«, a dodává: »známoť jest, že ty zpěvy, které pan Stefanović sbírá, zpěvy slepců a mnohé z nich Homeřickým nad míru podobné jsou«.[5]) Tomu však, kdo by o jejich kráse a čarodějné moci pochyboval, doporučuje čísti Kopitarovu recensi této sbírky Vukovy, otištěnou ve Wiener Allg. Zeit. 8./III. 1816,[6]) nezapomínaje podotknouti, že prostotu a milostnost srbské písně uznali Goethe i Grimm. Vukovy sbírky staly se mu od té doby vzorem, a jejich vliv možno pozorovati i na Kollárově předmluvě k »Písním světským lidu slovenského v Uhřích«, vydaným r. 1823.[7]) Šafařík pořídil z nich také německý překlad pro Goetha.[8]) Mluví o Vukových vydáních několikráte v Geschichte der sl. Sp. und Literatur, připomíná i Vukovu

---

[1]) Prepiska IV. 686—687, 697—698.

[2]) Srv. Prepiska IV. 682, 684, 703, 704, Francev Korespondence P. J. Šafaříka, 129, 136/7, 168, 172/3, 551, 555, 562, 601, 730—733, 739, 750/1, 754, 760.

[3]) Osvěta 1895, 117, Kor. Fr. Palackého II. 13/22., Hanuš, P. J. Šafařík, 28, 32.

[4]) Znovu otištěno u Bačkovského Básně P. J. Šafaříka a Fr. Palackého, 16—18, Hanuš op. cit. 55.

[5]) V dopise Bowringovi zove Vuka Šafařík: Herausgeber der serbischen Homeriden-Gesänge, Věstník K. Č. S. N. 1912, č. II.

[6]) Paul B. Kopitar a P. J. Šafaříka Geschichte, Slavia V. 58—59.

[7]) Dopis Kollárovi 2./II. 1823, ČČM. 1873, 121.

[8]) Jenský profesor Hand doporučil Šafaříka Goethovi jako překladatele a Šafařík, vyhověv jeho přání, posílá německému básníkovi překlad několika srbských lidových písní, mezi nimi Hajkuna's Hochzeit, z Bratislavy dne 19./I. 1818 (Francev J. W. Goethe a P. J. Šafařík, Sborník prof. Máchala str. 52—54.) Goethe to přijal, nebyl s tím však spokojen, psal o tom Vukovi r. 1823, že prý je překlad Šafaříkův »metrisch«, a Vuk o tom píše Kopitarovi 26./XII. 1823. Prepiska I. 251, srv. i dopis Šafaříkův Hamuljakovi 19./VII. 1828, Kopitar prý pro tohoto básníka žádá srbskè písně.

sbírku pohádek, skoro vždy Vuka cituje na prvém místě, pokládaje jeho sbírky písní a slovník za důležitý pramen pro poznání srbského jazyka a jeho nářečí, a nezapomíná ani na jeho Dodatek k sanktpetersburským sravniteljnim rječnicima sviju jezika i narječja s osobitim ogledima bugarskog jezika, vydaný ve Vídni r. 1822.[1])

Šafařík, jak již bylo dříve připomenuto, vážil si Kopitarových[2]) recensí Vukových sbírek, a proto upozorniv tohoto Srba na Bowringův úmysl vydati v anglickém překladě třebas i všecky písně srbské,[3]) považuje za nutné poslati anglickému překladateli recensi Kopitarovu, píše totiž Vukovi: »es würde ihm gewiss als Commentar sehr willkommen sein«.[4]) Jedná se tu o recensi ve vídeňských Jahrbücher der Literatur, 1825, XXX, 159—277, kde Kopitar probírá jednu píseň po druhé a podává ukázky této poesie v německém překladu.

Šafařík, slíbiv Vukovi, že se postará o rozšíření čtvrtého svazku písní,[5]) napsal do ČČM. 1833, 445 referát o několika sbírkách slovanských písní lidových pod názvem »Slovanské národní písně«.[6]) Zde odpovídaje na otázku, proč se množí takové sbírky a proč se jeví o ně veliký zájem, soudí, že se tak děje proto, že slovanská píseň jest nejvěrnější zrcadlo naší národnosti, nejčistší a nejposlužitedlnější pomůcka ku poznání jednotlivých nářečí široko daleko rozhaluzené slovanské mluvy a skutečná nejstarší historicko-mythologická památka o životě našich předků.[7]) Nepokládá sbírání lidové písně za modu a bažení po novotě, nýbrž za nutnost vzniklou

---

[1]) Geschichte d. sl. Sp. u. Lit. 1826, 18, 52, 62, 140, pozn. 1, 203, 216, 221, 225.

[2]) Dragosavljević píše Vukovi r. 1828, že Šafařík zde připomněl některé recense Vukovy sbírky. Prepiska V. 235, srv. Šafařík píše Kollárovi 10./X 1825 (ČČM. 1873, 406), že Vukiana a recensiu ve Vídeňských sem čítal s útěchú. Vuk mu daroval své písně tištěné r. 1825 (16./I. 1826, Prepiska IV. 627).

[3]) Dopis Vukovi 10./XII. 1826, Prepiska IV. 632. O Bowringovi píše Šafařík Koeppenovi 13./XII. 1826, Francev Koresp. 314/5, srv. dopis Kollárovi 13./XII. 1826, ČČM. 1874, 89. Ponévadž se ho Bowring ptal na různé věci, udal mu i adresu Vukovu a odkázal ho naň.

[4]) Šafařík píše o této recensi Vukovi 7./II. 1825 (Prepiska IV, 621, 623, 629, Stojanović, op. cit. 743 a též v dopise Bowringovi 17./XII. 1826, Věstník K. Č. S. N. 1912, II, č. 17, Archiv f. sl. Phil. XXXIII, 1912, 615—617 (a podává mu stručné životopisná data Vukova), srv. Prepiska IV. 635—648). Šafařík uvádí tuto recensi i v bibliografii přehledu lidových písní slovanských v ČČM. 1838. Píše také Koeppenovi 30—18. I, 1826 (Francev op. cit. 307): Hr. Kopitar u. Vuk (in Danica für d. J. 1826) haben den russ. Recens. ihrer serb. Volkslieder etwas unsanft gepackt wie er es meiner Meinung nach nicht verdiente. (Odgovor recenzentu. Danica 1826, 95—106, v Synu Otečestva XXVI, 1824.)

[5]) Dopis Vukovi 9./VIII. 1827 (Prepiska IV. 643). Píše i Šiškovu 5./IV. 1832, že Vuk chystá nový svazek písní. Francev op. cit. 922.

[6]) Tento článek přetiskl v chorvatském překladě Gaj v Danici 1835, č. 44, 275, pod názvem »Slavske narodne pěsme«.

[7]) Pražák Slovenské studie 371/2. Šafařík totéž opakuje v ČČM. 1838, 546.

z uznání její vnitřní ceny doma i v cizině. Cizinci přijali srbské písně s nadšením a pochvalou a podle nich cenili básnického ducha národa. Podle mínění Šafaříkova nezůstává pozadu ani tento čtvrtý svazek Vukovy sbírky, co se týče výbornosti a uspořádání. Předmluva plna zdravých a výborných myšlenek zasluhuje veškeru pozornost, poučuje o domovině písní, o jejich vzniku a způsobu, jak se mají sbírati, a vysvětluje temná a nejasná slova. Naše prý písně se ledabyle sbírají, nakvap a bez soudného rozboru. Naráží tím na Kollára, s jehož druhým svazkem uvedené sbírky nebyl spokojen,[1]) dává proto jiným sběratelům Vuka za příklad a praví toto: »V samém vskutku páně Vukova sbírka srbských písní jest posavad ve svém oboru jedna, o níž s jistotou tvrditi se může, že nic jinorodého a podvrženého mimo pouhé, čisté, samorostlé národní písně v sobě neobsahuje, což v té míře o nižádné jine podobné sbírce chváliti se nemůže. »Očekává s toužebností další svazky a přeje si, aby bylo v nich více ženských, poněvadž ony mohou svou přerozkošnou lahodností a půvabností zmírniti osuhlost a jednotvárnost epických«. Podle toho Šafařík kladl větší důraz na lyrické, ač v celku dával srbským písním přednost přede všemi ostatními, píše na př. Čelakovský Kamarýtovi,[2]) že prý Šafařík »předci srbským přede všemi jinými předek dává«. Dříve než tuto recensi napsal, oznamoval Vukovi 1./IX 1833,[3]) že ho žádná kniha tak nepotěšila jako tato, proto si přeje, aby vydal i další svazky. Slibuje o tom dáti oznámení do českých časopisů, a vyslovuje se také pochvalně o předmluvě: was Sie über die Art wie man Lieder sammeln wird, gesagt haben. »Když splnil svůj slib, psal Vukovi 24./I. 1834: Ihr Lieder B. IV. habe ich ins Museum-Heft IV. 1833 angezeigt mit alle dem Liebe, das Sie in der That verdienen«. Doufá, že mu Kopitar sdělí obsah této recense.[4]) Také v svém přehledu o nejno-

---

[1]) Kollárovi doporučuje Šafařík čísti tuto předmluvu, píše mu 8./VIII. 1833: »Toto výborný sbirač. Předmluva čtení hodna. Tak se písně kriticky sbírati, tak vlastně a věrně bez přejinačení jazyka a slohu vydati mají«. (Osvěta 1895, 590.) Sbírky Vukovy byly mu měřítkem pro jiné, tak na př. pro Milutinovićovu, o níž praví, že se nedá měřiti s Vukovými. ČČM. 1833, 448.

[2]) Korespondence Fr. Lad. Čelakovského. I. č. 63, 81. Také píše Jungmann Markovi dne 11./II. 1823 (ČČM. 1883): Náš Šafařík vydává nyní s Kollárem písně národní slovácké, kterých prý má na tisíce, ale všecky jsou cenou pod srbskými, poněvadž Srbové zachovali prostonárodní básnictví.

[3]) Prepiska IV. 674.

[4]) Prepiska IV. 677. Stojanović op. cit. 422: Hr. Kopitar solte Ihnen doch das dort gesagte mittheilen, vielleicht können Sie etwas davon künftig benützen um so mehr, da man Ihnen bei Ihrer unglücklichen und verblindeten hier Pfaffen dort einem Hajduk-Fürsten und seinem Räthen preisgegeben Nation keine Gerechtigkeit wiederrufen lassen will. Vostokovi píše Šafařík 1./IX 1834, že Vuk vydal IV. sv. písní ve Vídni, Francev Koresp. 948.

vější literatuře ilyrské, otištěném v ČČM. 1833 píše o Vukovi; že »od zasloužilého tohoto literatora nadějeme se v prodleném čase nové sbírky národních srbských písní«.[1])

Ještě jednou měl Šafařík příležitost, poukázati na tuto činnost Vukovu a to v ČČM. 1838 str. 256, kde cituje úryvek z dopisu Vukova, očekávaje od něho nové vydání srbských lidových písní. Minulou zimu, píše Vuk, ztrávil jsem ve Vukovaru (ve Sremu), kdežto mi několik přátel pomahali přepisovati slova, písně a jiné národnosti naší se týkající písemnosti, jež jsem v nově sebral; poněvadž mne oči opouštějí velmi, a jinak zdraví mé velice slabé jest. Viděltʼ jsem ovšem, že jsem dílem v Srbsku, dílem v Černé hoře a odtud po sousedním Přímoří hojnost rozličných věcí sebral, ale že bych takové drahocennosti a v takovém množství měl, to jsem opravdu sám nevěděl. Při redigování toho se našlo, že mám 12.000 slov, jichž ve slovníku mém není, národních písní aspoň na 30 tištěných archův, a to vše na výbor jedna druhé peknější, zvláště svatební a jiné ženské; přísloví a pořekadel nově sebraných mám asi 1.000, dosti veliký počet pohádek, sepsání o mravích a obyčejích národu a t. d. Tohoto léta, jest-li bude možné, rád bych cestoval do Dalmatska, bych viděl a poznal, kterak Srbi v té straně, odtud až do Dubrovníka hovoří, živi jsou a bytují. Potom se přičiním, bych co nejdříve vytisknul nové vydání svých národních písní rozmnožené aspoň o třetinu, pak slovník, tolikéž nově docela. Za příčinou slovníka a všeho ostatního prospěšné by ovšem bylo projíti i ostatní krajiny národu našeho,[2]) zvláště v Turecku, než to je věc na ten čas přenesnadná, neřku-li nemožná. Kéž bych jen to, co jsem sebral, vydati mohl! Neboť i mimo peněžních nesnází, množství jestiť čest u člověka — a jak Srbové praví: Um za morem a smrt za vratom (t. j. šíji).[3]) Šafařík v témže ročníku ČČM. str. 546 ocenil sám tuto činnost Vukovu v svém bibliografickém přehledu sbírek slovanských národních písní. Podle něho dosud Ilyrové dolní a horní a s nimi i Bulhaři nevyužitkovali těchto pokladů, aby je aspoň sebrali. Upozorňuje proto na práci v tom ohledu vykonanou Vukem, Vrazem, Venelinem, Bodjanským a Brodzińským. Na čtvrtém místě vypočítává sbírky jihoslovanské, počíná bulharskými, cituje již připomenutý Do-

---

[1]) Sebrané spisy III. 289.

[2]) Šafařík v dopise Vukovi 17./VI, 1836, raduje se z jeho bohatých pokladů, nasbíraných na jeho nové cestě. Prepiska IV. 680.

[3]) Uvedený dopis jest asi dopisem poslaným Vukem Šafaříkovi 1./V. 1838, z něhož chtěl část otisknouti se svolením Vukovým, srv. Šafařík Vukovi 14./VI. t. r. Prepiska IV. 683.

datak k sanktpeterburgskim sravniteljnim rječnicima, kde Vuk otiskl také několik bulharských lidových písní. Uváděje pak sbírky srbské, vypočítává všechny sbírky Vukovy spolu s překlady a recensemi.

Šafařík nerad viděl, že se Vuk příliš zaměstnává sbíráním písní a že zanedbává nové vydání srbského slovníku a srbské mluvnice.[1]) Podle dříve citovaného dopisu poznal Šafařík, že by mohl Vuk docela dobře přistoupiti k těmto důležitým pracím, nepsal však mu přímo, nýbrž vyslovoval se o tom v dopisech svým ruským přátelům, nechtěl snad Vuka proti sobě popuditi, neb, když došlo k novému vydání srbských lidových písní, sbírá sám předplatné a píše Vukovi dne 21./VI. 1840: »Sie wissen wie enthusiastisch ich für die serb. Volkslieder eingenomen und welchen Werth ich auf ihre Sammlung lege«. Domnívá se, že sežene asi deset předplatitelů.[2])

Když Vuk poslal prvé čtyři archy této své edice do Prahy, Šafařík mu odpověděl 17./VIII, 1840: Ihrem Wunsche nach wegen der ausführlichen Anzeige konnte ich deshalb nicht entsprechen, weil bereits früher auf meine Veranstaltung fast in allen hiesigen Blätter (Ost und West, Květy, Č. Noviny, Včela), eine kurze Anzeige erschienen war, worin der Umstand, dass diese Ausgabe kein Nachdruck, sondern ein neues Werk sei, besonders hervorgehoben wurde. Sie sehen also, dass es sich über diesen Gegenstand in denselben Blättern jetzt nicht mehr sprechen liess, dies wird erst nach dem Erscheinen des I-ten Bandes Ihres Sammlung geschehen können.[3]) Šafařík se skutečně staral o prodej tohoto Vukova vydání srbských lidových písní, jak

---

[1]) Srv. dopis Šafaříkův Koeppenovi 8./VII. 1837, Bodjanskému 18./IX. 1844, Francev op. cit. 355, 84.

[2]) Vukova Prepiska IV. 687—688. V Květech 1840, 216 Fialka oznamuje, že v Praze přijímá předplatné Šafařík, který jest v II. sv. této Vukovy sbírky uveden jako jeden z předplatitelů. V Květech 1845, 412 oznamují, že vyšel svazek této sbírky, na nějž se z Prahy předplatilo deset. Podle tištěného seznamu byl mezi nimi i Šafařík. O této sbírce píše často i Pogodinovi: 20./VI. 1840, 9./III., 18./IV., 7./V., 1841 Francev op. cit. 617, 632, 634, 637. Preis, vyřizuje pozdrav Šafaříkovi od Vuka dne 29./XI., 1841, a píše, že písně jsou hotovy (Fracev op. cit. 823).

[3]) Prepiska IV. 688—689. V letech 1840 a 1841 píše Šafařík o předplatitelích IV. sv. (Prepiska IV. 687—691, 694—698). Také Purkyně objednal si skrze Šafaříka toto vydání, Šafařík mu posílá dva exempláře 18./III. 1840 (Jedlička J. E. Purkyně Koresp. I.), píše Šafařík Vukovi 16./XI. 1840, zda již vyšel I. sv. a je-li to pravda, má mu poslati deset exemplářů. V dopise 3./III. 1841 tuto prosbu opakuje, žádá o prodloužení předplatné lhůty a totéž pak opakuje i v dopise 26./XI. 1841, (Prepiska IV. 690, 691, 692). Také v dopisech Bodjanskému oznamuje vydání jednotlivých svazků této sbírky a posílá mu je (18./IX. 1844, 20./VII. 1845, 11./VII. 1846. Francev Korespond. Šafaříkova: 84, 91, 100). R. 1846 dne 14./VIII. stěžuje si Šafařík Vukovi, že nedostal ještě třetí knihy, má nedostatek předplatitelů, jichž jména nemá tisknouti německy. Dostal jej brzy, píše o tom Vukovi dne 30./VIII. 1846 (Prepiska IV. 694—695).

ukazují jeho dopisy posílané Vukovi. Později již náš učenec neprojevuje většího zájmu o tento druh činnosti svého přítele, více mu jde o jiné jeho práce, zvláště o slovník, jak bude o něco dále pověděno.

Šafařík projevil svůj názor o lidovém jazyku a jeho ceně v uvedeném již článku »Promluvení k Slovákům« a proto, když počal působiti v Novém Sadě, smýšlel již velice příznivě o Vukovi a jeho reformě jazykové, píše Magaraševič Vukovi po 13./X. 1819: Naš novi direktor gdi može stranu drži. Onomad smo mi profesori i patroni gimnazialni kod g. Konstatinovića na ručku bili i za celo posle podne do večeri ni o čem drugom, krom literature naše, jezika, spisatelja i načinja pisanja govorili.[1]) Záhy poznal, jaká situace se touto otazkou mezi Srby vytvořila a nabyl přesvědčení,[2]) že za takových poměrů bude těžko veřejně vystupovati ve prospěch Vukův, zvláště, když on jako ředitel ústavu byl závislý na těch, kteří Vukově reformě naprosto nepřáli. Mimoto nelíbil se mu ani způsob boje, kterým Vuk útočil na své nepřátele, píše na př. Palackému 10./III. 1820: Já v této věci souditi ani nechci ani nemohu, tolik každý vidí, že Vuk a jeho pomocníci nemoudře, nedím-li lehkomyslně učinili, urazivše i vzbouřivše proti sobě duchovenstvo, které opět vzbouřilo lid. Chcem-li jen pravdu říci, tu junáci z nové školy jsou příliš nezralí, jsou praví nedouci. Naposledy jen předce duchovenstvo zvítězí t. j. národní literaturu potlačí.[3]) Šafařík litoval toho a proto r. 1822 psal dne 28./IX. opět Palackému:[4]) »Mezi Srby panuje nešťastný boj o jazyk starý a nový a není naděje, aby tomu buď konec brzo učiněn, buď nějaký prospěch vynadobyt byl. Všichni, kteří až posud o této věci psali, byli poloučenci a nedouci, jiných zde ani není. Mušicki se o tom ještě neprohlásil. Že ve Vídni ta věc rozhodnuta býti nemůže, sami uznáte.« Šafařík tedy odsoudil způsob boje Vukova, ale tím nikterak nezměnil svého stanoviska k Vukově reformě spisovného jazyka, a mluvě pak

---

[1]) Prepiska II. 475.

[2]) Osvěta 1895, 494, 589, 779, Šafařík psal několikráte Palackému o těchto sporech dne 10./III. 1820: Srbové prý daleko zůstávají za svými slovanskými soukmenovci jsouce v ustavičných rozepřích a různicích o starý a nový sloh. Dne 2./VIII. t. r. 1820: Zde jen sváry a svády mezi učenými o starý a nový jazyk. Mniši drží literaturu, vzdělanost a národství na uzdě. Ti pak všichni jsou mrákotorodci Osvěta 1895, 495, Hanuš P. J. Šafařík, 46.

[3]) Píše téhož dne Kollárovi: Vuk a jeho pomocníci nešetříce ničeho, což buď zastaralým obyčejem, buď domněním a zřízením církve aneb kteroukoliv jinou formou v národu zasvěceno, zbouřili nejprve duchovenstvo proti sobě a to opět zbouřilo lid. Osvěta 1895, 494, 589, 770, ČČM. 1874, 62, 1873, 124, Let. Mat. Srb. 186, 99, Kulakovskij op. cit. 195, Hanuš Ročenka univ. Bratislavské I. str. 125—126.

[4]) Osvěta 1895, 779.

o Vídni, byl asi přesvědčen, že ani Vuk ani jeho pomocník a rádce B. Kopitar v té věci nic nezmohou. Poněvadž náš učenec získal si svým vystupováním, svou konciliantností a svými zásluhami o novosadské gymnasium značnou přízeň v kruzích přátel i nepřátel Vukových, pomýšlel Kopitar na to, aby se stal Šafařík prostředníkem ve sporu Vuka se Stratimirovićem, a psal o tom Vukovi 6./VI, 1826: Ich habe ihn aufgefordert Vermittler zu sein zwischen Ihnen und S. S. und er will es. Also sagen Sie ihm Ihre Bedingungen.[1]) Šafařík podle dopisu Vukovi z 24./VI, t. r. obrátil se na sekretáře Stratimirovićova[2]) Benického. Měl s ním mnoho práce, než slíbil, že bude o této věci s metropolitou mluviti. Šafařík doufá, že se dá zde něco udělati, ale záleží hlavně na Vukovi«, dann ohne einige Nachgiebigkeit wird uns nichts gelingen, a přeje si však, aby co nejdříve přišel do Nového Sadu, a o tom si více pohovořili.[3]) Vuk nebyl spokojen, že by musil něco sleviti, píše Kopitarovi 17.—29./VI., t. r.: Šafarik mi piše, da je počeo o miru raditi i da je prilika dobra, ali veli, da ja moram popustiti. Ako oni misle, da ja ostavim moju ortografiu, onda od mira neće biti ništa, jer to nemogu niti oću učiniti.[4]) Vuk zde mluví o pravopise, znal patrně stanovisko Šafaříkovo k této otázce. Šafařík totiž nekladl na pravopis velikého důrazu, jemu v prvé řadě šlo o nový jazyk srbský, ale o tom bude promluveno ještě později. Zatím psal Šafařík Kopitarovi, který zase o tom psal dne 11./VII, t. r. Vukovi,[5]) praví, že Vuk musí zanechati srbského kalendáře. Kopitar prý odpověděl Šafaříkovi, že se nechce do těchto sporů míchati, jest to prý věcí Vukovou, diví se pouze, že Šafařík míní, že z toho bude škandál, a končí tento dopis slovy: »Sie werden thun, was recht ist.« Vuk byl u vladyky t. j. Gedeona Petroviće, strýce Hadžićova,[6]) slíbil přijmouti slovanský kalendář, ale o ničem jiném nehovořili; Šafařík pak byl druhého dne u Stratimiroviće, který si mu stěžoval, že Vuk pojal do svého slovníku sprostá slova,[7]) ale co se

---

[1]) Prepiska I. 227.
[2]) Vuk Kopitarovi 14.—26./VI, 1826, Prepiska, I, 283.
[3]) Prepiska IV. 630, Stojanović op. cit. 286.
[4]) Prepiska I. 282, Stojanović op. cit. 286.
[5]) Prepiska I. 283.
[6]) Osvěta 1895, 583.
[7]) Kopitar prý měl k tomu Vuka, aby taková slova do svého slovníku přijal a mimo ně i přezdívky na popy. ČČM. 1909, 362. Šafařík vytýká i různé oplzlosti slovníku Palkovičovu, píše Kollárovi 4./VIII, 1822: Vezměte, příteli, slovník Vukův, Bandtkeho a Palkovičův a suďte sám. ČČM. 1873, 127. Také na to upozorňuje Pogodina v dopise 14./VII, 1839, Francev op. cit. 586 a srv. i dopis Rusa Preise Šafaříkovi 29./XI, 1841, Francev op. cit. 826.

týče kalendáře, že bude mír, neboť oni také slevi »makar kroz prste gledajući.«[1]) Kopitar byl pro srbský kalendář, ze smíru sešlo. Šafařík píše r. 1826 Kollárovi: Vuk byl navraceje se ze Zemuna u nás. Mé prostřednictví mezi Jeho Excell. arcibiskupem a ním se nepodařilo.«[2]) Nastal jakýsi klid, ten však netrval dlouho, neb v Letopise vytiskli odu na Vuka a Šafařík byl tím rozmrzen, píše Kollárovi 26./XI. 1826, že přilili jen oleje do ohně, jejž se jim podařilo jakž takž utlumiti.[3])

Šafařík, zdá se, chtěl ve sporu Vukově obětovati reformu pravopisnou, nepokládal její provedení za věc nevyhnutelnou, píše na př. dne 12. II. r. 1833 Steićovi o tom.[4]) Lituje, že v Srbsku dosud nebyl zaveden prostší a důslednější pravopis, nevidí v tom však nic hrozného, třeba prý to ponechati budoucnosti. Závisí to od důkladnějšího studia srbského jazyka, neb spisovatelé srbští musí především dbáti toho, aby své myšlenky vyjadřovali dokonalou formou slohovou i jazykovou, nesmějíce se při tom dáti nikterak omezovati pravopisem. O tomto svém stanovisku psal asi počátkem let čtyřicátých Dj. Mušickému, který si je velmi nesprávně vykládal, domnívaje se, že Šafařík s touto reformou Vukovou naprosto nesouhlasí. Podal v tom smyslu o tom zprávu do bělehradských a peštských novin. K svému nemalému údivu četl to i Vuk, který byl vždy přesvědčen, že Šafařík v te věci jest s ním stejného mínění, proto radí Šafaříkovi dne 12—25 VII. 1842,[5]) aby Mušickému a Teodosijevićovi psal velice opatrně o takových věcech, neb jsou to »ludi ljudi«. Poslal mu též svůj článek[6]) o pravopise s prosbou, aby se o tom v některém časopise českém vyslovil. Šafařík toho neučinil,[7]) nepovažoval to patrně za vhodné, nechtěje se míchati do sporů, české veřejnosti vzdálených, a setrvávaje při svém stanovisku, které opakoval i v posudku Subotićovy srbské mluvnice r. 1847.[8]) Zde ponechává otázku pravopisu volnému rozhodnutí

[1]) Srv. dopis Vukův Kopitarovi 13./VIII, 1826, Prepiska I. 287; Stojanović op. cit. 287.

[2]) ČČM. 1874, 83, Osvěta 1803, 589.

[3]) ČČM. 1927. 292.

[4]) Prepiska V. 723, Stojanović op. cit. 453, 557, 730. Steić se dovolával toho stanoviska Šafaříkova proti Vukovi. Let. Mat. Srb. 79, str. 99. Také v tabulce různých pravopisů v Geschichte 1826 Šafařík o tomto pravopise nepíše. Šafařík píše Vrazovi 14./IV, 1842: Pamatujte, že nebožtík Gefton Popović v Terstu tvrdil, že, jak náhle Srbové přijmou pravopis bez Debeloga jeru a s jotem, ihned budou míti Homéry, Virgily a Horáce.

[5]) Prepiska IV. 693, Stojanović op. cit. 557—558.

[6]) Iz pisma jednom članu Matice Srb. pisanog. Serb. Nar. List. 25./VI. 1842. Stojanović op. cit. 768.

[7]) Není dopisů z let 1842—1846.

[8]) Život Dra J. Subotića, II. 1902, 166—170.

samé Matice, neb jen ten, kdo žije v centru všeho duševního života národa, může posouditi, pokud jest staré udržitelné a nepotřebné a pokud nové jest užitečné a proveditelné. Přijme-li Matice tento pravopis, pak nestojí nic v cestě, aby autorovi byla udělena cena, vypsaná Maticí. Ač Šafařík, pokud srbsky psal, užíval toho pravopisu,[1]) přece se zdá, že se touto otázkou nezabýval důkladněji. Nesouhlasil snad s Vukovou důsledností v provádění hesla: ‚piš, jak mluvíš', píše na př. Vukovi dne 25./VI, 1840 ohledně psaní hlásky *h*: »Bezüglich auf die Orthographie des *x* kann ich Ihnen wenig rathen, aus dem Grunde, weil nur Sie allein am besten beurtheilen können, was zu dem Ganzen Ihres Systeme passt. Das *x* überall zu schreiben würde zu Ihrem orthographischen Systeme nicht passen, da es jedoch nach Gegenden in einzelnen Wörtern als h ausgesprochen wird, so wäre es meiner Meinung nach, nicht unzweckmässig, es in einzelnen Wörtern auch zu schreiben. Mittelweg in dieser Hinsicht können und müssen nur Sie finden«.[2]) Tato nerozhodnost jeví se také tehdy, když Sreznevskij táže se Šafaříka, co soudí o jeho reformě pravopisné, neb Vukova reforma jest výborná pro severní Slovany, ale jest nedostatečná pro jižní. Šafařík mu přátelsky odpovídá, že se mu líbí, navrhuje místo lat. *h* cyrilské *g* »cum spiritu aspero«, a radí mu, aby mnoho znakův nedělal, neb třeba míti na paměti: »že zvuku pérem opravdově vymalovati nelze«.[3])

Určité a pevné stanovisko zaujal Šafařík v otázce spisovného jazyka. Nemohl se o tom za svého pobytu v N. Sadě vysloviti a proto v Geschichte der slav. Sprache und Literatur promluvil o kráse, libozvučnosti a jiných přednostech srbské řeči lidové, na jejíž severovýchodní pralátku mělo jižní nebe blahodárný vliv. Píše o ní na str. 240 tato nadšená slova[4]): Die Sprache ist, ungeachtet des späteren Einflusses der türkischen, im Ganzen dennoch rein und voll tönender Anmuth. Immerhin mag ihr die Polytonie der — ich möchte sagen — klingenden, säuselnden, spielenden Polnischen mangeln; sie übertrifft gleichwol an Weichheit, Milde und melodischem Klang, der aus der ebenmässigen Vertheilung der Consonnanten und dem wechselnden Spiel der volleren Vocale entspringt, weit ihre übrigen Schwestern, und kann nach gelungener Ausbildung

[1]) Osvěta 1895, 778.
[2]) Prepiska IV. 688.
[3]) Srezněvskij Šafaříkovi 28./XII, 1841 a odpověď Šafaříkova 7./I, 1842, Francev op. cit. 868, 869.
[4]) Dj. Magaraševič v Let. Mat. Srb. 186, 13—14 cituje srbsky toto místo a vyslovuje správnou domněnku, že již tehdy stál Šafařík na straně Vukově, srv. Č. Mod. Fil. XII. 197.

wobei das kräftige Altslavische gewiss nicht ohne Einfluss auf sie bleiben — wird in Rücksicht auf Wolklang den ersten Rang unter den Slawinen behaupten. Uznává, že každý slovanský jazyk má své přednosti, srbská řeč však ve zpěvu a v poesii podobá se svým zvukem tónům housli a bublajícímu potoku mezi kvetoucími lučinami v údolí. Šafařík pokládá ji také za schopnou časoměrného básnictví a o žádné jiné řeči slovanské se tak široce a nadšeně nevyslovil jako o této. O sporech mezi Srby nemluví, pouze na str. 123, poznamenává, že se Srbové dosud prou o právo lidové řeči. Krásný posudek o lidové srbské řeči jistě Šafařík pronesl úmyslně s ohledem na Vuka, o němž také na str. 212, kde promlouvá o pokračovatelích Dositeje Obradoviće,[1]) píše, »worunter Davidović und Stephanović die vorzüglichsten sind.« Nemohl s ohledem na své postavení postaviti se veřejně za Vuka, proto také na str. 216 prohlásil, že tuto při ponechává povolanějším znalcům, aby ji rozhodli. Ale aby ani druhá strana v této knize nevyšla bez pochvaly, ocenil na str. 213 zásluhy Stratimirovićovy o srbské školství. Kopitar postřehl a prohlédl toto počínání Šafaříkovo, viděl v tom přílišnou opatrnost, nestačilo mu to, přál si, aby Šafařík v druhém[2]) vydání svých dějin slovanských literatur zaujal přesnější stanovisko k Vukovým reformám. Šafařík za svého života nedostal se k tomuto vydání a v tom, co bylo vydáno po jeho smrti, není o tom ani zmínky,[3]) ač tak mohl učiniti při životopise Vukově, který zde stručně podává. Nemůže však býti o tom sporu, že Šafařík přál hlavně Vukově reformě jazykové, byl jeho upřímným přítelem, jak to dosvědčuje jeho dopis poslaný Vukovi 10./XII. 1826,[4]) když mu píše, jaký dojem v Novém Sadě vyvolala zpráva, že dostal od ruského cara pensi: Sie sollten jetzt sehen, wie das Neusatzer-Abderiten-Gesindel verblüfft ist! Wie es verstummt! Was es für Gesichter und Grimassen schneidet! Dabei triumphire ich im Stillen, und halte Ihren Sieg für volständig.«[5]) Jistě by byl se o tom v dru-

[1]) O spisech Obradovićových píše na př. Köppenovi 8./VII, 1836 »des unsterblichen serbischen Patriot.« Francev op. cit. 355.

[2]) Dopis 8./II. 1831 Kopitar Vukovi: in Absicht auf Sie und ča Steva entschiedener Partey zu nehmen..... Aber dann sollte er auch nicht sagen, dass er die Wahrheit zu bekennen Muth habe.« Prepiska I. 395.

[3]) Srv. Geschichte der südslavischen Literatur. III. Das serbische Schriftthum. na str. 340—341 podává životopis Vukův, při čemž zdůrazňuje jeho sběratelskou a vydavatelskou činnost v oboru lidových písní srbských. Na jiných místech pak uvádí jednotlivé spisy Vukovy.

[4]) Prepiska IV. 632. Stojanović op. cit. 292.

[5]) Také v dopise Hamuljakovi 1./IV. 1827 píše, že se mu nový český jazyk nejinač hnusí než srbský t. j. slavenosrbský. (Sokol 1863, 331).

hém vydání svých literárních dějin přesně vyslovil, neb to učinil v přehledu nejnovější literatury illyrských Slovanů r. 1833, kde píše toto:[1]) Vůbec vědomo jest, že u Srbův řeckého obřadu od nejdávnějších dob až podnes za příčinou přijmutí knih liturgických od Slovanů bulharských, vedle přirozeného domácího nářečí, i tak řečené církevnoslovenské, od sousedův s oněmi knihami přinesené, se vkořenilo a v obvyklost vešlo. Tudíž již v starých původně srbských písemných památkách u př. v listinách srbských králův, v zákonech Dušanových a j. panuje jazyk nečistý, z dvojího nářečí, domácího srbského a cizího církevnoslovenského, podivně smíšený. Později, po úplném přejinačení starého církevnoslovenského jazyka od Rusínův a Rusův, po zkvetnutí novější ruské slovesnosti od času Petra Velikého a po rozvodnění po Srbsku knih církevních i světských na Rusi tištěných, přimícháno k onomu starému zadělání od neumělých, otrockých následovníkův konečně ještě nesčíslné množství rusínských a ruských způsobův slov, odkudž nová, až nadto strakatější směsice spisovatelského jazyka mezi Srby povstala, jejížto řečová látka zavírá v sobě slovní doby čtverých původně rozdílných nářečí, t. srbského, starobulharského, rusínského a ruského. V novějších časech Dositej Obradović a ještě mnohem uměleji a zdařileji Vuk Stefanović Karadžić, tuto potvornou a bezchutnou směsici pilně odvarovati, a naproti tomu čistému srbskému nářečí přirozeného práva jeho úsilovně hájiti počali. I nalezli oni sice, jakž se toho nadíti lze, jak z jedné strany veliké množství slepých a svéhlavých protivníků, tak také z druhé strany znamenitý počet ochotných následovníkův. Po mnohých, tytýž hnusných rozepřech a literárních půtkách, zdá se, že poslední strana, aspoň co do základu a v teorii dokonale zvítězila: nebo dnes již téměř všickni srbští spisovatelé na tom se výslovně snášejí, že národnímu učiteli jen národního jazyka, a tudy spisovateli srbskému jen přirozeného srbského nářečí užívati sluší. Avšak při všem při tom zapříti nelze, že ta potvorná směsice již hluboko do života samého se vkořenila, tak že bez přednášení čistého srbského jazyka ve školách sotva se nadíti lze, aby kdy docela zahlazena býti mohla! Směsice ta v samém skutku, bohužel, jak předtím tak i nyní, téměř ve všech knihách více méně panuje, čehož bychom nestrannému čtenáři snadně dokázati mohli, kdyby zde k tomu místa bylo. Sami nejochotnější

---

[1]) Článek tento, jak viděti, prozrazuje pisatele Serbische Lesekörner, také v III. díle uvedených dějin jest otištěna na str. 139—165: Sammlung alter serbischer Wörter. Článek tento vyšel v ČČM. 1833, Sebrané spisy III. 299—302.

a nejpřednější posobníci Vuka Stefanoviće Karadžiće, pro neumělost, tytýž a zhusta, chtějte oni nebo nechtějte, v nesrbské slovní doby ubíhají, jakž se o tom znatel nařečí slovenských snadně sám přesvědčí, jestli jen vyložené nahoře tituly kněh pozornou myslí, přetřibí, neb slova jako knjaz .... a j. místo knez atd. Že nám přirozený sloh ve spisech katolických Illyrův lépe chutná, nežli makaronická směsice Srbův řeckého obřadu, tomu snad mnozí mezi těmito, jakož nějaké buď strannosti buď neumělosti, smáti se budou; před učenými Čechy v té příčině důvody se ohrážeti netřeba. Abychom jim pak celou tu věc ještě lépe a takořka makavě najednou vyjádřiti mohli, zavíráme tuto zprávy věrným následováním srbského slohu v českém jazyku. Co by, medle, k tomu pověděly něžné Češky co krevní Čechové, znatelé přirozeného svého nářečí, kdyby některý národní básník asi takovouto českou, polskými, lužickými a uhersko-slovenskými zvuky proplétenou písní uši jejich lakati počal:

Leda-srbsky: Preobraženie.
Il plačúšča, il smějušča
Orošáva oči rájne
Vlást učárat iměјúšča
Ukrašáva zvjézdosjájne
Kade skorbi, uninije
Podražnejše čára spori
Ňój veséle jošč vedrije
Ot nebesa líce tvorí.

Leda česky: Przemienienie.
Buď płacząca, buď śmieiąca,
Rajské oči orošuje
Moc očarovat maiąca
Hvězdoblesky okrašluje.
Když se smęci, nejslubnější
Bološcž její kouzlí spory
Veselost ešte jasnější
Jí nad nebe líce tvorí.

Šafařík uvádí ještě jednu slohu této básně a v poznámce udává, že tento ledasrbský text vzat jest ze sbírky J. P. a pokračuje: Vytčená slova se příčí obdobě srbské, jiná, jako spori, zri a t. d., ač odjinud čerpaná, aspoň srbský ráz mají, a t. d. Není o tom pochyby, že tento článek vzbudil v kruzích srbských dosti značné překvapení, neb Šafařík, sotva opustiv Nový Sad, odvážil se tak prudce zaútočiti na některé srbské spisovatele a jejich básnické umění osmělil se zesměšňovati. Autorem uvedené srbské básně byl J. Pačić, který Šafaříkovi odpověděl v Let. Srb. Mat. 1834 I. str. 32. Nemůže pochopiti, že by jeho básním Srb nerozuměl, snad prý Šafaříkovi se nelíbí participia na šča m. ća a snad prý v něm vzbuzuje odpor, že není to psáno nejsprostším jazykem, což není zvykem u žádného národa na celém světě. Nehorší se proto na něho, neustává si ho vážiti a ceniti, jen se diví, proč se tak o jeho básních vyslovil, když ho dříve spolu s Kollárem měl k tomu, aby je tiskem vydal.[1] Také T. Pavlović, nebyl spokojen s chválou Šafa-

[1]) Srv. oznámení sbírky Pačićových básní od Šafaříka v Let. Srb. M. 1827 VIII 180—182.

říkovou Vuka Karadžiće a v poznámce ku překladu tohoto Šafaříkova článku píše:[1]) Mi samo to moramo kazati, da smo mi u tom prizrěniju sasvim protivnoga mněnija. Mi g. Vuka istino poštujemo i daleko budi od nas, da bi zasluga njegovi s pristojne mu slave zlobni kosnuti se hteli, istina je i to, da je g. Vuk gdišto o jeziku rekao, što je posle za jezikoispitatelja našeg polezniji povod na bolju misao bilo, ali da g. Vuk serbski jezik izobražava i izobrazio, njegov da je pravi jezik serbski i njegov način pisanja najbolji način, i on svetilo da je, koje svima treba da nam svetli, i svi na njegovu svetilu da treba da pripaljujemo, to da g. Šafarik potverždava, samo se čuditi moramo, ali priznati i poslušati ga nemožemo.«

Také Vuk byl asi smělostí Šafaříkovou překvapen, psal totiž dne 7./VIII, roku 1833 Dragosavljevićovi,[2]) že Šafařík tu pošpinil srbské spisovatele a že neušetřil ani Matice. Dragosavljević požádal Vuka 29./VIII. t. r., aby mu poslal tento článek a také Vasiljević píše Vukovi 9./IX, t. r.: Zašto nam neposlaste Šafarikovu sprdnju na slav. srpske spisatelje. Ta to bi vredno bilo da imademo ovde.[3]) Byli však i Srbové, kteří měli to za zlé Pavlovićovi, že se dotkl i Šafaříka, třebas uznával některé výtky Šafaříkovy za správné, pokud se týkaly srbské literatury a obyčejně při nich sám poznamenává: »sve sama istina, koju s gorkim serdca sokrušenijem priznati moramo...... ovo je istina, koje celi teret osećamo i koja da se pred svetom stiditi čini.« Také se ohradil Pavlović proti výtce, že by Ilyrové katoličtí vynikali v ohledu jazyka spisovného nad Srby.[4]) S Pavlovićem byl nespokojen P. Berić, který píše 27./XI. 1833 Vukovi: A šta ću da reknem na komentare za Šafarikov pregled najnovijeg knjižestva srpskog. Pavlović da Šafarika da pretresa! To je krajno bezobrazije i ludost bez prilike.«[5]) I Vuk se zlobil na Pavloviće, když tento vynechal slova všeobecně známého slovanského spisovatele P. J. Šafaříka: osim g. Vuka Stefanovića Karadžića i gdekoji njegovi posledovatelja.[6])

Šafařík mohl proto tak účinně hájiti práva lidového srbského jazyka na jazyk spisovný, neb v té době překvapil tehdejší učený svět výklady o historickém vývoji srbského jazyka, obsaženými

[1]) Letopis Mat. Srb. 1833—1834, sv. 35, 36.
[2]) Prepiska V. str. 276, 277.
[3]) Totéž v dopise z 11./XI. 1833 Prepiska III. 169—170.
[4]) Let. Mat. Srb. sv. 186, str. 22—23, Stojanović op. cit. 477—478.
[5]) Prepiska III. str. 611.
[6]) Danica 1834. Let. Mat. Srb. sv. 186, 111.

v díle Serbische Lesekörner. Obíraje se různými památkami tohoto jazyka, mohl se snadno přesvědčiti, jak ponenáhlu, ale přece znatelně pronikal lidový jazyk do památek církevních a jak v památkách obsahu světského převladá jazyk lidový. O tom mohl se dočísti na V. str. Vukova slovniku z r. 1818: ostavše diplome od naši kraljeva i od careva i drugi rukopisi od oni vremena svjedoče, da je narod srpski prije pet stotina govorio kao što i danas govori, nego da su pisari miješali narodni jezik s crkvenim jezikom, kao što i danas se radi.[1] To bylo tedy všeobecně známo a Šafařík byl prvý, který uposlechl výzvy Vukovy (srv. posl. poz.) a počal chystati edici takových památek a ponořovati se do studia starého jazyka srbského,[2]) chtěje zároveň přesně vymeziti jeho poměr k jazyku církevněslovanskému.[3]) Spis tento Šafařík ukončil o cholerových školních prázdninách r. 1831, ale tehdy ještě nevěděl, jak jej vydati. Původně mínil tak učiniti ve vídeňských Jahrbücher der Literatur, kde mu platili za arch 6 dukátů. Než tam pro rozsah nemohlo toto pojednání vyjíti[4] a proto je chtěl pojmouti do druhého vydání svých dějin slovanských literatur.[5]) Vida, že se to nedá v dohledné době uskutečniti, a hoře již touhou, aby s jeho

[1]) Také o tom Vuk psal r. 1826 v své Danici v článku Glavni razlike izmedju današnjega slavenskog i srpskog jezika: „starinske diplome i srbulje XIV. v. pod knezom Lazarom i osim toga ovoga cara Dušana ožidavaju još na kakvog kritičeskog izdatelja prije nego što se o jeziku ondašnjem svršeno suditi može“, a dodává, že se v nich najde mnoho srbských slov. Let. Mat. Srb. 186, 20, 103. Šafařík tedy uznával cenu takovýchto památek, píše Kollárovi r. 1828 a slibuje je vydati s filologickým komentářem. (Jagić Ist. slav. fil. 272) a 2/X. 1831 píše Kopitarovi: „Ausser den cyrillischen Denkmäler las ich auch Diplome bei Farlati und Lucius, excerpirte dort ankommende Wörter, stellte beider zusammen,“ Č. Mod. Fil. VIII. 196.

[2]) Srv. Letopis Matice Srb. 1826 sv. I. (Let. Mat. Srb. 186, 20). Šafařík na takové památky poukazuje v tomto svém spise str. 115, v ČČM. 1833, Sebr. spisy III, 299. Pisatel článku Serbulje dovolává se Šafaříkova mínění o starých srbských listinách Let. Mat. Srb. 1833, sv. 31, 29, sv. 35, 3, 28.

[3]) V autobiografii píše Šafařík o této své práci: In der letztern Zeit richtete er, veranlasst durch seine Lage mitten unter Serben und in der Nähe der Bulgaren, Kroaten u. a. Südslaven, sein Augenmerk vorzüglich auf die südslavische Dialekte, und suchte einerseits ihr Alter näher zu ergründen und ihr gegenseitiges Verhältniss genauer zu bestimmen, andererseits aber ihre ältesten Sprachdenkmäler zu sammeln und die Geschichte ihrer Literatur vollständiger darzustellen. So entstanden seine Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. Pest 1833 8, ein Beitrag zur slavischen Sprachkunde. Francev Koresp. P. J. Šafaříka str. 490.

[4]) Tomić v Let. Srb. Mat. 202—203 str. 109—110 myslí, že se tak stalo pro sobeckost Kopitarovu. Nezdá se to pravdou, píše výslovně Šafařík Palackému 22./X. 1832, že to nemůže vyjíti v časopise Kopitarově pro obšírnost a pro mnohé jiné příčiny.

[5]) Čas. Mod. Fil. VIII. 196.

výsledky mohl veřejnost překvapiti a seznámiti,[1]) odhodlal se je vydati v samostatné knize a to s ohledem na své postavení v Novém Sadě toliko v 40 exemplářích, určených pro přátele. V Pešti jeho známí byli proti tomu a proto, když odpadl ohled na Nový Sad, poslal po ženě Vukově dne 4./X. 1832 rukopis do Pešti. Obávaje se, že by snad ženskou neopatrností se mohl tento rukopis ztratiti, psal o tom Kollárovi i Hamuljakovi, žádaje, aby mu vyhledali nakladatele, neb nechtěl, aby to bylo tištěno nákladem Milovukovým. Hamuljakovi se podařilo pohnouti nakladatele Hartlebena k tomu, a Šafaříkovi to bylo velice vhod, neb nákladem a prodejem této knihy mohl u Hartlebena vyrovnati svůj dluh. Kniha vyšla tam v 500 exemplářích v březnu r. 1833.[2])

Hned na počátku svého díla konstatuje Šafařík, že Slované nemají tak starých památek jako Němci, sotva prý dosahují X. st. Proto byl nucen pátrati po slovanských slovech v řeckých a římských spisech, v listinách i kronikách, musil je hledati na kamenech a mincích, pátrati po nich i v jazyce gotském, litevském, maďarském, rumunském a albánském. Srbové mají dosti staré památky a již dávno vedle církevního nářečí užívali lidového shodného s dnešním, jež někteří spisovatelé chtí nazývati »svinjarskim i govedarskim«. Čerpal své doklady z památek církevního i světského obsahu, nejvíce ovšem cyrilských, méně hlaholských, a to proto, že by doklady z hlaholských textů, patřících katolickým Chorvatům a Srbům nenalezly u pravoslavných víry.[3]) Staré Chorvatsko na jih Kulpy patří jazykové skupině srbské, nechce zde mluviti o rozdílech církevního a srbského jazyka, to již učinil Vuk,[4]) neb cílem knihy jest: aus altserbischen, zum Theil in slavischer Kirchenmundart, zum Theil in slavoserbischen Sprachgemenge geschriebenen Denkmälern, durch systematische Zusammenstellung der daraus excerpierten Serbismen, das Alter jetzigen serbischen

---

[1]) Psal na př. Kopitarovi 2./X. 1831: Die Resultate sind wirklich überraschend a pokračuje: Der serb. Dialekt bestand in seinen wesentlichen Grundzügen in X u. XI Jahrhundert schon eben so wie heute. Der Dialekt scheint mir von dem kirchenslavischen durchaus verschieden. Čas. Mod. Fil. VIII. 196 a podobně psal i Stejćovi dne 24./II. 1833, Prepiska V. 730. Píše i Šiškovu 5./V. 1832; Durch dieselben wird unerwartet ein helles Licht über diesen merkwürdigen Dialekt und sein Verhältniss zu dem Kirchenslavischen verbreitet. Francev op. cit. 922.

[2]) Osvěta 1895, 891—892, srv. 494, 589, 789, Javor (srb. čas). 1885, 413. Šafařík na tuto knihu upozorňuje Maciejowského 17./II. 1833 (Slov. Sbor. III, 189).

[3]) Šafařík tu podotýká, že každý znalý pochopí cenu takových důkazů, neb ví, jaký význam mělo původně slovo »chorvatský«.

[4]) Citovaný dříve již článek Vukův Danica 1826 str. 41.

Dialekts, so weit es möglich ist, zu ermitteln (str. 8). Srbská slova[1]) vybíral jen z památek mu přístupných, pokud spadají do prvních dvou dob srbského písemnictví (837—1400, 1400—1730), činil tak velice pečlivě a domnívá se, že to vše postačí, aby byl důkaz proveden. Z druhého období všímal si ponejvíce černohorských tisků, pokládaje je za velmi důležité. Na námitku, že srbismy v XV. a XVI. st. pocházejí od opisovačů, odpovídá: »das Zeugniss dieser Copien ist durchaus unverwerflich«. Většina mezi nimi jest sama sebou velmi stará, mladší byly s velikou úctou opisovány a také žádný ze srbismů uvedených není takový, aby se nenalézal v jiných stářím originálu odpovídajících pramenech. Mnohé z nich podle své povahy patří staršímu období než opis a jest ostatně velice pozoruhodné, že u Domentiana vyskytuje se nejvíce slov v dopisech sv. Savy a jeho bratří a vedle toho v průpovědech. Tato vysvětlení ukazují, jak Šafařík svědomitě pracoval a jak té doby on jediný této věci důkladně rozuměl.

Počíná nejprve hláskoslovím, ukazuje na střídání *o* a *u* doložené již v latinských zápisech (polata-palata, sotona-satanin), na záměnu a polohláskou (v'tra m. vatra). Ve slovech jako toplota vyskytuje se někdy *e* a někde pak místo e i pajerk a to pokládá Šafařík za způsob psaní samého písaře. Dále Šafařík ukazuje na změnu *-ije*, *iju* v pouhé *je* a *ju* (oružje, zagorje). Za srbskou změnu považuje změnu *v*, v *u*, jež způsobila v určité době kolísání mezi *v* a *u* i v jiných slovech. Slovinci, jak ukazují frisinské zlomky, znali *y*, u Srbů mizí rozdíl mezi oběma *i* již v XIII.—XIV. st. a v přechodné době píší písaři *y* místo *i*. Při těchto změnách sleduje i obdobné změny v jiných slovanských jazycích a jako nejzávažnější důkaz pro samostatný vývoj srbského jazyka uvádí změnu obou polohlásek Nejprve se navzájem zaměňovaly, potom vyskytuje se jen jeřík, který v některých částech slova odpadá a někdy se nahrazuje čistou hláskou *a*. Ukazuje na různé odchylky při hlásce *r* a *l* a vysvětluje to dobou kolísání. Zde toto vysvětlení nestačí, neb dialekty chorvatské i srbské vykazují v té věci četné odchylky.[2]) Také ukazuje na zdvojování polohlásky v gen. pl. na př. caraa (str. 15—36).[3])

---

[1]) Citovaná již sbírka srbských slov v III, díle jeho Geschichte der südslavischen Literatur.

[2]) Leskien Grammatik der serbo-kroatischen Sprache str. 108, 110, 112.

[3]) Ružičić v čl. Rozvitak srpskohrvatskog gen. pl. na-a (Slavia V. 219—221) uvádí příslušný výklad Šafaříkův a míní, že toto zdvojení polohlásky v těchto tvarech »ima samo grafičku vrednost i u crkvenim spomenicima« neb se v památkách světských velmi zřídka vyskytuje.

Zajímavé jsou i jeho výklady o nosovkách a o hlásce jať. Nosovka *ę* nesmí se zaměňovati s písmenem *ja* (ѩ), která se v srbských textech zřídka vyskytuje, to ho vedlo k domněnce, že Srbové již v XI. stol. vyslovovali čisté *e* a nosová výslovnost udržela se prý jen ve vlastních jmenech. Šafařík však odvažuje se tvrditi, že již brzy po svém příchodu do své nové vlasti, vyslovovali čisté *e*. Tak by podle něho byla nosovka *ę* již v IX. stol. starožitností. Dovolává se tu latinských pramenů, které však do tak vzdálené doby nesahají. Bylo by se to stalo tedy již někdy v VII. neb VIII. stol. Tomu jistě odporuje existence nosových hlásek v jiných slovanských jazycích, kde jako v češtině udržely se do doby daleko pozdější.[1]) Leskien klade ztrátu jejich do doby od IX.—XIV. stol.[2]) Ukazuje Šafařík i na jiné změny, také na záměnu *ą* a *ę* a následkem toho i na zaměňování *e-u* (*e-ju*). Co praví o nosovce *ę*, platí o nosovce *ą*, která byla nahrazena čistou hláskou *u*. Věděl o nosovkách v polštině, ale jejich různosti nedovedl si ještě vysvětliti kvantitou.[3])

Šafařík všímá si i ještě jiných změn hláskových,[4]) domnívá se, že cyr. *ju* se vyslovovalo původně jako *jo*, bylo prý do této abecedy zavedeno teprve v Panonii, odkudž se pak dostalo k Srbům. Domněnka naprosto nesprávná. Také nelze s ním souhlasiti, co praví o hlásce jať, za niž se již v starých památkách objevuje střídnice *i*, *ije* a *e*, jak jest tomu i dnes v různých dialektech srbských a chorvatských. Poněvadž se podle Šafaříka jať skládá z měkké polohlásky a hlásky *e*, měla by se měniti v *ja*, neb polohláska se mění v *a*. Uvádí příklady z jiných slovanských jazyků, ukazuje zejména na macedonské dialekty a na zlomek bulharského Apoštola, kde se důsledně píše *a* místo jať po hláskách z, c, č, ž. Šafařík nedovedl si vysvětliti tento jazykový zjev, nemaje k tomu potřebných vědomostí. Ve psaní jať místo *ja* na př. ve slově prietel, shledává obdobný zjev jako v české přehlásce neb v slovenském jä, jäsen, v slovinském meter, mèlina. V 13 § shrnuje výsledky svého badání a stanoví tyto rozdíly srbského jazyka od církevního: splynutí tvrdého a měkkého *i*, střídnice *a* za obě polohlásky, záměnu nosovek čistými hláskami *e* a *u*, trojí střídnici za jať a pak některé zvláštnosti jotace, v čemž prý se více srbština shoduje s chorvatštinou, a slovinštinou než s církevní slovanštinou a bul-

---

1) Srv. i nosovky ve frisinských zlomcích.
2) Leskien op. cit. 115.
3) Vondrák Vergleich. Gram. d. sl. Sprache I. 133.
4) Na př. jo m. je joště, jova.

harštinou.[1]) Srbština libuje si v samohláskách silných, plnozvučných a jasných. Tento poznatek shoduje se úplně s Šafaříkovým názorem o libozvučnosti srbštiny vysloveným jím v Geschichte.

V další části probírá Šafařík souhlásky, všímá si známých změn jejich v jazyce srbském (*v-u*, odsouvání náslovného *v* lastovica, mlogo-mnogo, iovan-ivan, změna koncového *l* v *o* a samohláskového *l* v *u*, nedá prý se říci, kdy se tak stalo, ve skutečnosti jest změna *l* v *o* mladší než změna *l* v *u*).[2]) Promlouvá také o *št*, *žd*, ukazuje, jakými hláskami byly v srbštině zaměněny, ovšem pokládá srbské *ć* a *dj* za starší než *št*, *žd*, ukazuje též, že ve frisinských zlomcích vyskytují se tvary hoku, moki, podobně i v srbských památkách se tak označují, což prý připomíná měkkou výslovnost řeckého kapa a gamma.[3]) Možno říci, že tato část o hláskosloví jest nejzdařilejší,[4]) poněvadž na příkladech, z nichž většina nepozbývá ani dnes svého významu, jest jasně ukázán historický vývoj srbského jazyka a jeho poměr k církevnímu. Dříve než přistoupil k dalším částem mluvnickým, ukázal na grafické zvláštnosti srbských rukopisů, chtěl také pojednati i o přízvuku, nečiní tak proto, že je v památkách napodobován podle řečtiny. Zde asi Šafařík neměl pravdu. Při tom svém mínění setrval v Památkách dřevního písemnictví Jihoslovanů z r. 1851, kde prohlásil, že nadřádkové znaky musí naplniti každého »nepřemožitelnou ošklivostí«. Někteří slovanští filologové pokládají je za značky přízvuku,[5]) shodují prý se s přízvukem jednotlivých slov, ale badání v tom směru nepokročilo ještě tak daleko, aby se to mohlo říci se vší určitostí. V 25 § uvádí pak řadu slov srbských odlišných od církevního slovanského jazyka, cítí sám, že nemůže se dojíti k nějakému výsledku, proto podotýká, že úplné jich vyčerpání patří do slovníku. Najdou se zde slova, která patří také jazyku bulharskému (sapun, počaga, tužd, štužd, ima, zaboraviti, paziti, i jiná). Tato část jest tedy nejméně propracována, neměl po ruce potřebných slovníků a bulharské památky nebyly mu také přístupny. Naproti tomu zase v tvarosloví najde se řada dokladů tvarů srbských,[6]) kdežto zase

[1]) Proč odděluje tyto dva jazyky, vyplývá z jeho dělení sl. jazyků. O tom viz dále.

[2]) O hlásce h (srv. dopis Vukovi, Prepiska IV. 688, 25./VI. 1840).

[3]) Vondrák op. cit. 273, ukazuje, že v některých dialektech makedonských m. žd. št, je změkčené g a k, což prý tvoří přechod k srbským dialektům.

[4]) Polívka Listy Fil. XXII, 1895, 249—269.

[5]) Weingart Byzantské kroniky. 1923 II, 157 a n.

[6]) Na př. gen. sg. -a km. přípona -e m, y, gen. pl. na -a, koncovka 1. os. sg. -m s výjimkou oću, neću, mogu atd.

příklady ze skladby jsou nečetné a některé z nich dají se doložiti i v bulharštině.[1])

Musí se říci, že Šafaříkovi důkaz jeho tese se podařil a proto mohl napsati, že mu každý přisvědčí, dass die serbische Dialekt bereits im Jahrhunderte Cyrills und Methods auf eigenem Wege war und alle die wesentlichen Kennzeichen der Selbstständigkeit und des Unterschiedes von dem kirchenslawischen besass, die ihm heutzutage auszeichnen (str. 112—113). Na případnou námitku, že tvary uvedené vyskytují se jen v několika případech a proto se nemohou bráti jako důkaz, odpovídá, že vyvoj jazyků a nářečí děje se podle věčných, nezměnitelných, organických zákonů přírody a proto nelze vše vykládati jako chyby písařské, na př. opisovatel Georgija Monach opisoval celkem správně církevně slovansky, ale v poznámce[2]) jeho nachází se v několika slovech mnoho srbismů (str. 115).

Naprosto jsou však nesprávné výklady a domněnky, jimiž uzavírá svůj spis. Nesouhlasí s Dobrovským a Vostokovem a pokládá adjekt. příponu *-ga* za starší než příponu *-go*.[3])

Nesprávně také soudil o *ć* a *dj* za bulh. *št*, *žd* pokládaje srbské střídnice za nejstarší a nejpůvodnější, z nichž se teprve ostatní vyvínuly.[4]) Těmito dvěma výklady chtěl totiž Šafařík také zdůvodniti své dělení slovanských jazyků, v němž[5]) oddělil bulharštinu od ostatních jihoslovanských jazyků a přičlenil ji ke skupině ruské, neb tyto dva jazyky mají příponu *-go* a ne *-ga* a nemají nic, co bȳ se rovnalo srbským *ć* a *dj*.

Promlouvá tu také o frisinských zlomcích a praví, že vyskytuje-li se v nich jednou přípona *-go*, je to asi totéž jako když vedle tvarů izgnan a molim je tu vygnan a modlim.[6]) Z toho usuzuje, že pisatelem jejich nebyl Slovan, žil prý na rozhraní dialektů skupiny A a B t. j. kde slovinština (vindičtina) hraničila s češtinou a slovenštinou.[7]) Nesprávných výkladů Šafaříkových netřeba vyvraceti.

[1]) Na př. ima něm. es giebt, dat. záj. osob. ve funkci zájm. přivlast.
[2]) Weingart op. cit. tuto poznámku opět otiskuje str. 170.
[3]) Koncovka -go jest původní koncovkou u zájmen (jego, togo) a odtud přešla do pronominální flexe adjekt. v srb. se změnila v -ga pod vlivem koncovky -a o- kmenů (Vondrák op. cit. II, 90).
[4]) Vondrák op. cit. I. 277, Polívka Listy Fil. XXII 253.
[5]) Srv. Č Mod. Fil. XII. 196.
[6]) Šafařík tím naráží na bohemismy v této památce, srv. Murko Geschichte der älteren südsl. Lit. str. 55—56. Vondrák Frisinské památky 1896, 31.
[7]) Šafařík obíral se touto nejstarší památkou slovinskou již dříve. Šafařík napsal do Let. Mat. Srb. 1830, sv. 22, str. 142—143 posudek o spise Koeppenově: Sobranie slovenskich pamjatnikov, nachodjaščichsja vně Rossiji, kde otištěn text této památky s gramatickými poznámkami Vostokovými. Věděl také mnoho o nich od Kopitara, který vykládal tvary vuolu, nevuolu za 7 pád, kdežto Vostokov

Toto dílo bylo očekáváno přáteli Šafaříkovými a Vukovými, ale také jejich nepřáteli.[1]) Psalo se o něm, že vychází právě v čas, neb chystají se mluvnice srbského jazyka.[2]) Pavlović o něm napsal v Let. Mat. Srp. 1833 tato slova:[3]) Ništa nam drugo nužno nije, nego samo ime dela ovog napisati i da o srpskom jeziku dejstvuje kazati, pak smo uvereni, da smo svakom učenom Serbljinu ne samo nego i svakom Slavjanu radostnu vest kazati a s visokopočitanim imenom G. Šafarik, sve je slavoslovije visoke vrednosti dela ovog izgovoreno. Mnogozaslužni naš G. Šafarik novu je zaslugu o slavenskom voobšče, i našem srpskom jeziku osobito s novim dělom učinio, i novu blagodarnost veličajšu od nas zaslužio, koju mu sigurno svaki Srbljin u toplom čuvstvovanju otdaje, i koju mi ovde javno otdati mu propustiti nemožemo, u toliko veću, što je to delo ovo sad, kad se o sočinjeniju srbske gramatike radi, osobito nam dobro došlo. Za one čitatelje naše, kojima ovo delo do ruke doći može biti ne bi moglo, premda bi svaki da ga pribavi želili, stavićemo iz njega kolko više moguće u Letopisu sledujeće častice". Pavlović nesplnil svého slibu, asi z té příčiny, neb viděl později při kom Šafařík stojí.[4]) Učinil tak teprve Subotić jako redaktor Letopisu r. 1842 sv. 58—59 překladem „Osnovni zvukovi i pismena". Také Mušicki, který nesouhlasil s Vukem, uvítal dokonce tento spis Šafaříkův ódou v církevně slovanském jazyce.[5]) I protivník Vukův Hadžić-Svetić tohoto spisu se dovolává. Ukázal na to na př. Daničić ve svém spisku Rat za srpski jezik, vydaném r. 1847, kde se proti Hadžićovi také sám Šafaříka dovolává.[6]) Hadžić ve svém Utuku III. zlobí se na Vuka, píše: „bar o meni nije mogo sumnjati da sam Šaffarikovo Serb. Lesekörner čitao, kad sam se

v nich vidí tvar slovesný. Šafařík souhlasil s Kopitarem a ukázal, že takové tvary jsou i v starosrbských památkách. Šafařík správně soudil, srv. Vondrák Frisinské zlomky 13, 53, 70. Šafařík se zde také vyslovil, že vindické nářečí Korutan a Kraňska v X. st. bylo rozdílné tvary a koncovkami od jazyka církevně slovanského. Srv. Paul P. J. Šafařík a Srbská Matice ČČM. 1927 str. 294—295.

[1]) Ruvarac píše v Let. Mat. Srb. 186, 108, že obě strany uznávaly nutnost psáti srbsky, ale nikdo nevěděl jak a každý myslil, že jako Srb má právo o tom rozhodovati. Vukovi to právo jeho protivníci upírali.

[2]) Šafařík píše Kollárovi 20./XI. 1822, že Magaračević chystá slovník, ale k čemu to bude, když není ještě rozhodnuto, co jest srbské. Osvěta 1895, 778.

[3]) Let. Mat. Srb. 1833, sv. 31, str. 173. II. 21, srv. Let. Mat. Srb. 186 str. 21—22.

[4]) Srv. dříve uvedený projev Šafaříkův o Vukovi z pojednání o nejnovější literatuře ilyrských Slovanů v ČČM. 1833 a mínění Pavlovićovo o tom.

[5]) Mušicki Stihotvorenia III. str. 66.

[6]) Hadžić dovolává se Šafaříka v Let. Srb. Mat. 1838, sv. 45, 85, 90. Vliv Šafaříkův vidí se i v Hadžićově díle Duh naroda srpskog. (Život i rad Dr. Jov. Hadžića-Svetića. Novi Sad 1899 str. 122. — Šafařík žil s ním v přátelství. To nerad viděl Kopitar, psal Vukovi 18./IX. 1830, že dal po Šafaříkovi Hadžićovi vzkázati eine Menge Grobheiten a že Šafařík musí býti mezi Vukem

u mojim Sitnicima jezikoslovnim, o kojima se on sa mnom prepirao, jošt godine 1837 na njih opozvao". Daničić nechce rozhodovati, zda Hadžić toto dílo Šafaříkovo četl či nečetl, ale ukazuje jak je četl a jak mu rozuměl, a proto právem táže se na str. 55: Bud sam nezna, zašto slavno Šafarikovo ime da sramoti? Zašto svoje grdno neznanje Šafariku podmeće? Zašto tako lukavo radi? Zašto tako ljuto svijet vara? a radí pak na str. 57 každému, kdo se chce lépe poučiti, aby si toto dílo Šafaříkovo přečetl, ovšem lépe než Hadžić.[1])

Spis Šafaříkův, o nějž prý Kopitar neprojevil většího zájmu[2]), vzbudil zájem i mezi Rusy.[3]) Šafařík slíbil jej poslati i Koeppenovi.[4]) Do ruštiny prý jej přeložil kníže Gagarin, tiskem však tento překlad nevyšel[5]) a Srezněvskij se o Šafaříkově práci vyslovil v Ž. M. N. P. 1843 XXXVIII, VI, 1. Zpracoval prý jej Šafařík podle zásad Vostokovových, jest to nejlepší jeho práce. Omyly a nedopatření nejsou nic oproti důkladnosti, kterou Šafařík ukázal při tomto rozboru.[6]) Také Bodjanskij pokládal Šafaříka za povolaného soudce o srbském jazyce

---

a Hadžićem více politický (dopis 29./IX. 1830). Mimoto Vuk sám psal Kopitarovi, že se u Šafaříka setkal s Hadžićem a dodává, že Šafarik nije rad zamjeriti Hadžiću (dopis 25./X. 1830. Prepiska 380, 384, 387). Šafařík, když opustil Nový Sad netajil se svým míněním, píše Vukovi 14./VI. 1838 (Prepiska V—VI. 683—684) Ueber die Sitnice des H. denke ich ganz wie Sie. Es ist ein wahres Kreuz mit solchen Menschen. Sám si Šafařík objednával polemiky mezi nimi (Vuk Kopitarovi Prepiska I. 476, 477), ač jinak hádek nemiloval, a radil Vukovi, aby jich zanechal a raději si hleděl slovníku (Atanacković Vukovi 20./VIII. 1846 Prepiska I. 583).

[1]) Daničić dovolává se Šafaříkova mínění o polohláskách (Šafaříkův spis, 21—22, Daničićův 12—13) cituje také z Šafaříkových Slovanských Starožitností VI. č. 8 str. 48—49 o příbuznosti slovanských jazyků a podle toho i to, co píše Šafařík o Vukovi v ČMM. 1833 str. 48—49. Srv. Daničić str. 35, 38—39, 61.

[2]) Kopitar prý se o to dílo nestaral, „pro vzrůstající kyselost", píše Polívka v Listech Fil. XXII 253. Ale učinil o nich poznámku v Oester. Beobachter 1833 8./XII. Illyr. Blatt 1833, 14./XII. č. 50, srv. Petrovskij Russkij Filol. Věstnik 1911 str. 203.

[3]) Novosadský knihkupec Dj. Kirijaković píše Vukovi, že by se tato kniha mohla prodávati v Novém Sadě a že by i jinou knihu Šafaříkovu vzal do prodeje (dopisy 5./VI., 1./VIII. 1833 Prepiska VI 178—179). — Janko Šafařík účastnil se debat v družstvu srbské slovesnosti o Vukově řeči stran srbského jazyka a tu se poznalo, že členové neznají svého mateřského jazyka a proto radil, aby se studoval a četl tento spis Šafaříkův. (Članci i prilozi o srpskoj književnosti prve polovine XIX. v. str. 48.

[4]) Koeppenovi 10—28./I. 20./III. 1836, srv. Ž. M. N. P. 1836, 426, Francev Koresp. 337. 34 341 — Posílá Šafařík tento spis Vostokovovi 4./IX. 1833 a petrohradské akademii (srv. Francev op. cit. 947, 948, 853.)

[5]) O tomto překladu píše Pogodin Šafaříkovi 6./IV. 1838) Francev op. cit. 559), Bodjanskij radil Pogodinovi, aby se v tom překladě opravily chyby, zvláště o maloruském jazyce (Pisma Pogodinu I. 55). Šafařík zprávu o překladě zaznamenal v ČČM. 1838 str. 265. Když píše Šafařík Pogodinovi 5/XII 1847, jak se mají vydávati staré památky, odkazuje ho též na tento svůj spis. (Francev op. cit. 704.)

[6]) Srv. Živaja Starina 1891, 175, polsky v Dubrovského Dennici II, 111, 142. Také Martynov pilně jej studoval srv. jeho dopisy Šafaříkovi 8./IV. 1857 a 7./V. 1859, Francev op. cit. 437, 452.

a jeho historickém vývoji a proto mu poslal spis svého žáka M. Majkova: Istoriju serb. jazyka.[1] Není možno zde pominouti i hlasu Slovince Jarnika, který píše dne 3./X. 1836 Šafaříkovi: Ihre serbischen Lesekörner zwar ein kleines, aber ein kritisch durchgearbeitetes Werk las ich mit Bewunderung.[2])

Dnešní doba posuzuje ovšem jinak tuto práci Šafaříkovu, posoudil ji a kriticky ocenil Polívka[3]) a také Jagić, ukázali oba na její přednosti. Podle Jagiće Šafařík daleko lépe vyložil tu otázku původu církevně slovanského jazyka, než to učinil Kopitar, a tato práce může se skvěle postaviti po bok Vostokovovu pojednání o nosovkách. Šafařík podal nástin historického vývoje podle Grimmova vzoru[4]) a srovnávací systém a metodu poznal u Dobrovského a Boppa. Tím se ukázal učencem stojícím na výši své doby.

Šafařík byl si vědom ceny tohoto svého díla, ale také jeho nedostatků. Když je připravoval k tisku, psal Palackému 21./X. 1832, že píše pojednání o suchém předmětě, který má v sobě mnoho nových myšlenek a objevů, když však jej vydal, píše témuž 7./III. 1833 a prosí ho, aby nesoudil přísně o této jeho práci, která jest nezralý plod, co se týče systému, než se při tom utěšuje, že přece lépe aspoň něco nežli nic.[5])

Šafařík měl ještě jednou příležitost[6]) vysloviti se o Vukově novém spisovném jazyce. R. 1844 vypsala Srbská Matice cenu 100 zl. na sepsání srbské mluvnice a určila podací lhůtu do sv. Jovana r. 1847. Do komise zvoleni byli Evg. Joanović, biskup v Karlovicích, Dim. Isajlović, úředník srbské vlády v Bělehradě a P. J. Šafařík, a tento jistě jako odborník. Konkursu účastnil se také Subotić, který pracoval o svém elaborátu dva roky a přejal s malou změnou pravopis Vukův. Mimo tento eleborát došly ještě jiné dva, jak to valné hromadě Matice oznámil její sekretář dne 10./VIII. 1847, sděliv, že, jakmile dojdou posudky od Šafaříka, bude se tím Matice

---

[1]) Dopis Šafaříkovi 25./VI. 1857 Francev op. cit. 200—201.

[2]) Dopis dosud nevydán, v pozůstalosti Šafaříkové v Národ. Museu v Praze.

[3]) Polívka Listy Fil. XXII 1. cit. Jagić Entstehungsgesch. 163, Istor. sl. f. 272.

[4]) Píše Kollárovi Šafařík 15./I. 1829 o Grimmovi jako nejlepším filologovi. Letopis Mat. Srp. sv. 202—203 op. 111—112.

[5]) Francev Glavnějšie momenty v razvitiji češskago slavjanověděnija, Varšava. 1901, str. 16.

[6]) V projevu otištěném v Hlasích o potřebě jednotného spisovného jazyka v Č. Mor. a Slov. 1846 Šafařík připomíná rozbroje o řeč mezi Srby; „kteří již téměř od 30 let o pravopis a grammatiku se hašteříce a v domnění uvázše, že bez soustavného, podle filosoficko-teoretických zásad skrojeného pravopisu klassických spisovatelů naskrze nelze od češulin k jádru, od formy k věci, od písmen ke spisům, od slov k slovesnosti nikterakž probrati se nemohou.“

zabývati. Druhého dne dostali posudky Šafaříkovy[1]) a svolali schůzi na 15 t. m., kde bylo sděleno, že referenti jako nejlepší práci označili elaborát s heslem „Hvalite Gospoda svi jezici". Nejvíce k tomu přispěl posudek Šafaříkův, který v srbském překladu byl otištěn v Let. Srb. Mat. 1847, sv. 79. Šafařík podle tohoto dobrozdání obdržel tyto elaboráty v měsíci červnu t. r. Matice mu je poslala dne 24./VI. 1847. Elaborát označený uvedeným heslem byl Subotićův. Co byl tu Šafařík řekl o pravopise, bylo již dříve uvedeno. Schvaluje v ohledu mluvnickém, že se snažil vpraviti řeč lidovou „in ein möglichst vollständiges, logisch geordnetes und anschauliches System", maje při tom jednak zřetel k starší řeči, pokud jest známa ze srbských listin, jednak k příbuzné řeči chorvatské a slovinské, neb obého jest potřebí pro vyšetření a konstatování zvláštností živé srbské mluvy. Chce, aby jeho mluvnice byla regulativem pro spisovatele, kteří chtí psáti jazykem lidu. Jest správné jeho mínění, že národního vzdělání a národní literatury lze dosíci jen mittelst der Nationalsprache, která jako taková jest ve svém pojetí formálním a mluvnickém abstrahována z nynější lidové řeči se zřetelem na dřívější její užívání. Jest tato mluvnice založena na přirozeném podkladě. Rozvoj jazyka není odvislý od mluvnických pravidel, spisovný jazyk vytvářejí spisovatelé, kteří se nedají spoutati nějakou konvenční mluvnicí. Musí to býti ovšem geniální spisovatelé. Co se týče vlastní práce vyniká úplností a rovnoměrným zpracováním všech hlavních částí nad všechny ostatní. Líbí se mu, jak klidně bez jakýchkoliv polemik posuzuje skutečnou povahu srbského jazyka. Vyznačuje se také metodickým uspořádáním a chyby v ní vyplývají z povahy věci samé, neb vývoj srbského jazyka není ještě ukončen. Vytýká mu pouze neudržitelné výklady etymologické a nedostatečné označování pramenů, jinak jest s ní velice spokojen, znamená pokrok. Potom posuzuje druhé dva elaboráty, které odmítá, neb se nemohou nikterak rovnati práci Subotićově[2])

---

[1]) Tento posudek má datum 20./VIII. 1847, psán cizí rukou, toliko podpis je Šafaříkův. Otiskl jej v původním německém znění vydavatel Života Dra Jovana Subotića Avtobiografija. sv. II. 1902, str. 166—170. Zde také píše Subotić o této celé věci str. 51—54.

[2]) Srv. můj článek P. J. Šafařík a Srbská Matice v ČČM. 1927 str. 288—290, který doplňuji ještě tímto citátem z dopisu Šafaříkova Atanackovićovi (29./IX. 1847, Ogledalo Srpsko Novi Sad I. 1864, str. 42—45); Poradi grammatike i ja sam bio pozvan. Jednu izmedju njih našao sam, da je vrlo priležno radjena i nagrade dostojna; no ja sam grammatično pitanje od ortografijskoga oddělio, i ovo drugo (sočinitelj grammatike sledovao je ortografiji Vukovoj) ostavio sam nedirnuto, t. j. stavio sam sasvim Matici na rešenije jedno za to, što ja udaljen budući o takovom čisto praktičnom pitanju) t. j. koliko i šta se od staroga kao ne-

Nakonec jest se ještě zmíniti o slovníku Vukově a o jazykovém sporu srbsko-bulharském. Šafařík usiloval o to, aby Vuk pořídil nové vydání svého slovníku, k němuž byl na svých cestách sebral mnoho materiálu.[1] Nerad viděl, že Vuk jinou prací, zejména vydáváním sbírek lidových písní a neužitečnými polemikami s Hadžićem, se vzdaluje od tak prospěšné práce pro slovanský jazykozpyt.[2] Domlouval sám Vukovi a ukazoval, jak veliká škoda z toho vzniká, když stále s vydáním slovníku odkládá, neb pokládá dialekt srbský za důležitý se stanoviska badání jazykového. Lituje, že kníže Miloš[3] nemá proto pochopení. Zaradoval se, když slyšel o jeho tisku, shání mu předplatitele[4] a jest s ním velice spokojen.[5]

Vuk obstarával také Šafaříkovi památky bulharského písemnictví, nesouhlasil však s Šafaříkem, když tento označoval obyvatele některých krajin srbských za Bulhary. Píše mu 4./IX. 1827: Nemojte Vi Srbe bugariti. Nesamo što Leskovčani i Prištinci nijesu Bugari nego i sami Vidinci i Ciprovčani i Piroćani po jeziku su bliže k Srbima nebo k Bugarima (premda ne govore čisto nijednim

---

potrebno ostaviti i koliko što se od novoga uzeti može i uvesti daje, nisam u stanju suditi (dakle non liquet), a drugo što ja upravo nenalazim za savetno, pri tolikoj pristranosti, s kojom se ovo pitanje jošt jednako pretrese, umešati se u to.

[1]) Vuk o tom psal Šafaříkovi v dopise otištěném v ČČM. 1838 str. 256, praví tu, že má nových 12.000 slov a Šafařík píše Pogodinovi 24./IV. 1838, že Vuk chce vydati nový slovník. Totéž opakuje v dopise témuž 22./XI. 1839 (Francev. op. cit. 562, 602).

[2]) O sbírce Vukových písní píše Bodjanskému 18./IX. 1844 a dodává: könnte er mir auch sein Wörterbuch und seine Grammatik (Šafařík se těšil, že Vuk napíše mluvnici podle Dobrovského, srv. jeho dopis Vukovi 23./II. 1828, Prepiska IV. 650) neu herausgeben. R. 1845 v dopise témuž dne 27./VIII. píše, že nic o tisku slovníku neví. (Francev op. cit. 84, 91). Také píše Koeppenovi 8./VII. 1836, že Vuk chce vydávati písně a dodává: Ich wünschte dass er lieber an die Grammatik und ans Lexicon geht, wofür er wieder viel gesammelt hat (Francev op. cit. 355). R. 1846 píše Atanacković (27./VII.) Vukovi: Piše mi Šafarik, da je Vas je nudio okanuti se otgovaranju na ludorije Svetićeve, nego da gledate Rečnik. (Prepiska I. 583) Šafařík ztratil první vydání a psal o jiný exemplář Vukovi dne 23./II. 1828 (Prepiska IV. 650.) Také poslal Šafařík jeden exemplář Čopovi 26./VI. 1831 (Zbornik Slov. Mat. I. 104—109).

[3]) Dopis 30./VIII. 1846. Prepiska IV. 695. totéž skoro doslova v dopise 24./XII. 1847, Prepiska IV. 696: Möchten Ihnen der Himmel Gesundheit und Kraft schenken, um auch die übrigen von Ihnen verbereiteten Werke, zumal Wörterbuch-ediren zu können. Dies ist gewiss mein aufrichtiges Wunsch.

[4]) Dopis 15./X. 1851, 24./III. 1852, Prepiska IV. 698—703. Píše také Pogodinovi 16./XI. 1850: Der wackere Wuk druckt (dem Vernehmen nach) ein serb. Lexicon in zweiter Auflage (Francev op. cit. 735). Totéž i Bodjanskému 22./XII. 1850 (Francev op. cit. 150) V národ. Museu v Praze zachována jest listina předplatitelů z 13./X. 1851, kde se tito vlastnoručně podepsali, patrně opis její posílá Vukovi dne 28. prosince 1851 (Prepiska IV. 699) o účtech a objednávkách srv. dopisy 2./I., 25./III. 1852, 19./II. 1854 (Prepiska IV. 699—700, 703).

[5]) Pogodin píše Vukovi 8—20./IV. 1852, aby mu podal zprávu o slovníku, který se Šafaříkovi velice líbí. Prepiska VII 529. Slovník Vukův byl vzorem i Vahilevičovi, dopis Šafaříkovi 3./X. 1836, Francev op. cit. 931.

jezikom). Nedajte se Vi prevariti kojekakvim bugarskim ćiftama, koje su, kao svaki čovjek radi svoj jezik umložiti.[1]) Podobně psal i Kopitarovi: Može biti da Šafarika varaju kojekakve ćifte.[2]) Šafařík přijímal zprávy o obyvatelstvu těchto krajin od bulharských kupců.[3]) Šafařík znal asi stanovisko Vukovo k Bulharům a proto mu měl za zlé, že Bulhary pohrdá.[4]) Nedal se tím nikterak odstrašiti a zakreslil na své mapě etnografické Vidin, Pirot, Leskovac do území obývaného Bulhary.

Vzájemný poměr Vukův a Šafaříkův byl, jak jest viděti, přátelský, nemůže se proto říci, že by byl Kopitar nepříznivě do něho zasahoval, svědčí také o tom celá jejich korespondence. Pouze jednou Kopitar, jak bylo uvedeno, mluví, že by chtěli i Vuka vtáhnouti do pražských intrik proti němu, ale nikoho jménem nejmenuje. Z faktu, že v letech 1837—1839 jest málo dopisů, nedá se nic usuzovati, poněvadž ještě větší mezeru nalézáme v letech 1842—1845, kdy vůbec žádných dopisů není. Vuk poněkud podléhal vlivu Kopitarovu, to se dá předpokládati. Může se tedy říci, že tu bylo skutečné přátelství, ale bez hlubších sympatií. Trvalo až do padesátých let minulého století a nebylo rušeno ani různými stanovisky, které tito dva mužové v různých otázkách zaujímali. Jejich dopisy prozrazují otevřenost, upřímnost i ve vyjadřování myšlenek i v odvaze projeviti nesouhlas. Hlaholská studia odvrátila Šafaříka od Srbů a tím také od Vuka a sblížila jej s chorvatskými buditeli jako Kukuljevićem, Mesićem, Brčićem a jinými. Není nám proto asi známo, jak dotkla se zpráva o smrti Šafaříkově Vuka samého, v jeho korespondenci zachována jest jediná, ne se strany Vukovy, píše Tirka Vukovi dne 27./VI. 1861: Schade um so einen Mann — ewig Schade! Die slavische Literatur hat durch sein Ableben einen unersetzlichen Verlust erlitten. So ein wissenschaftlich gebildeter, tief denkender Mann wird nicht bald wieder erfolgt".[5])

K. Paul.

---

[1]) Prepiska IV. 648—649.

[2]) Prepiska I. 379.

[3]) Osvěta 1895, 877.

[4]) Píše Kollárovi 11./II.: náš dobrý Vuk Bulhary nenávidí a jimi pohrdá (Osvěta 1895 872, 875) a Gajovi 12./II. 1831: Ein Serbe z. B. verachtet seinen Bruder den Bulgaren dergestalt, dass er ihn für noch weniger als ein Vieh ansieht, dass ihm ein Türk, Tartar, Mongol etc. etc. viel sehr gilt und viel lieber ist als sein Bruder der Bulgare. Šurmin Bilješke za hrvatski preporod str. 9. Deželić Gradja VI. str. 176.

[5]) Prepiska I. 117. Jiný hlas svědčící o úctě Srbů k Šafaříkovi čte se v dopise J. Mihajloviće Vukovi dne 1./XII. 1833. Píše, jaké jest štěstí, když jsou lidé, kteří se dívají na to, co řekne o Vukovi Kopitar neb Šafařík. Prepiska VI. str. 273.

Стихотворения А. С. Пушкина, написанные в стиле русских народных песен.

В области соприкосновения творчества А. С. Пушкина с русской народной песней издатели и исследователи стихотворений нашего поэта до сих пор еще не пришли к полному выяснению происхождения некоторых текстов, напечатанных после его смерти. Относительно немногих не всегда даже разрешен первый и основной вопрос: есть ли это оригинальное произведение Пушкина или просто запись народной песни? Затем возникает вопрос второстепенный: о характере оригинальных стихотворений этого рода и о способе записи песен. Последнее и в некоторых отношениях лучшее издание сочинений Пушкина, вышедшее под редакцией покойного С. А. Венгерова, в томе IV, на стр. 73—80 дает: »Народные песни в записях, переделках и переводах Пушкина« и после записей устанавливает отдел VII: »Песни, подвергшиеся художественной переработке« (стр. 79). Но, конечно, говорить о переделке или переработке возможно только тогда, когда есть на лицо объект переделки, определенная народная песня, переработанная поэтом. Такого объекта не имеет ни одна из 4-х »песен«, приведенных в VII-м отделе. И если 3 песни о Степане Разине, в особенности 2 первых, имеют некоторое сходство с русскими народными песнями, то стихотворение: »Только что на проталинках весенних«, даже никак не вмещается в категорию русских песен, хотя бы и подражательных. Относительно записей Пушкина необходимо определенно знать: записывал ли наш поэт песни с точностью научно-добросовестного и сознательного наблюдателя, или же исправлял, литературно обделывал слышанные им песни? Кроме всеми повторяемого, довольно однако сомнительного рассказа Буслаева о том, что Пушкин передавал Киреевскому, вместе с песнями им записанными, также песни, которые »смастерил« он сам, у нас нет данных обвинять нашего поэта, почти всегда идеально точного и правдивого, в сообщении собирателю русских песен

фальшивых материалов.[1]) Все известные нам по изданиям последнего времени записи народных песен, сделанные Пушкиным, носят в себе признаки непосредственного письменного изображения живой народной песни, спетой или рассказанной, закрепленной в записи поэта со всеми недостатками наблюдаемого текста. Укажу, например, песню о Ване Ключнике, с началом неполным и неосмысленным (Венгеров, т. IV, стр. 73), или песню: »Уже вечер на дворе вечереется«, где стихи 4 и 5 совсем непонятны и не связаны с текстом (там же, т. VI, стр. 238, № XVI). Только песню № XXIV: »Уродился я несчáстлив, бесталанлив«, мы, вслед за Н. О. Лернером (изд. Венгерова, VI, 240, 242), могли бы несколько заподозрить в качестве подлинной народной, но, за утратой автографа Пушкина, решить этот вопрос затруднительно. Подлинность же почти всех записей Пушкина можно доказать вариантами из других источников.

В настоящих заметках мы сначала остановимся на группе оригинальных произведений Пушкина, написанных в стиле народных песен, затем скажем несколько слов о трудно отличимых от них записях. Сссылки делаем обычно на издание С. А. Венгерова, СПб. т. I—VI, 1907—1915.

I. Песня: »Вышла Дуня на дорогу, Не молившись богу«,[2]) 1824 г., (изд. »Просвещения«, IV, 329), которую Пушкин первоначально предполагал внести в III-ью главу »Евгения Онегина«, после строфы XXXIX, и заменил потом »Песней девушек«, несомненно принадлежит его личному творчеству и,

---

[1]) См. Буслаев, »Мои воспоминания«, М. 1897, стр. 293. На Киреевского нельзя вполне полагаться по нескольким основаниям: 1. он сам »мастерил« русские песни, составляя сводные тексты из разных вариантов, в том числе и Пушкинских, 2. не отличался памятливостью: так, например, оставил в своих рукописях напечатанную потом в издании 1911 г., стр. 54, заметку, что Пушкин сообщил ему песни, неизвестно где записанные, забывши свое первое печатное заявление при издании »Русских народных (духовных) стихов« о получении от А. С. Пушкина замечательной тетради песен, »собранных им в Псковской губернии« (стр. V-я »Предисловия«, 1848 г.), 3. как коллекционер, не отличался точностью и аккуратностью, 4. как ученый, не имел достаточного уважения к фактам и условиям их происхождения и существования, 5. как издатель, оказался крайне медлительным и малодеятельным. Странно, что ученые, ссылающиеся на воспоминания Буслаева, как будто не замечают какое тяжкое обвинение произнес себе Киреевский, будто бы сказавший Буслаеву: »Когда это мое собрание (народных песен) будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные« (стр. 293).

[2]) Ср. свадебную песню: »Памалившись богу, Дунюшка в избу идзё« (Рукопись Архива Геогр. Общества, Псковская г., № 31).

при всей народности ее образов и языка, не напоминает близко никакой народной песни. Жаль, что это легкое, изящное стихотворение, полное девичьей любви и нежности, обыкновенно скрывается в не всеми читаемых примечаниях или и совсем пропускается издателями (Венгеров). Его место в отделе песен, сочиненных Пушкиным. Искусственное происхождение данной песни ясно обнаруживается в ее стихосложении: это правильные 4-х-стопные хореи, с нередкими, но не последовательными рифмами. Забраковал эту песню Пушкин, вероятно, потому, что она мало подходила к веселой обстановке легких летних работ молодых девушек в фруктовом саду и не совсем удобна для пения »хóром«. По отношению к роману Татьяны эта песня, как несчастливая встреча-предвестие, должна была внести лишнюю каплю горечи в »полное мучений« сердце героини, напоминая о холодности любимых людей и разлуке. Давая »Песню девушек«, поэт прервал слишком грустное повествование веселыми аккордами, ворвавшимися извне.

II. К числу художественных подражаний народным песням относится отрывок 1824 года:

Черный ворон выбирал белую лебедушку:
Как жениться задумал царский арап;
Межь боярынь арап похаживает,
На боярышен арап поглядывает.
Что выбрал арап себе сударушку,
Черный ворон — белую лебедушку.
А как он, арап, чернешенек,
А она-то, душа, белешенька.

(Изд. »Просвещения«, V, 5).

П. О. Морозов замечает, что набросок этот относится по своему содержанию к повести »Арап Петра Великого« (Там же, V, 5). Но здесь положение »Арапа« представлено совсем иначе, чем в повести. Там арап не думает о женитьбе, ему находит невесту Петр I и сам устраивает сватовство. В данном стихотворении Ибрагиму самому приписывается выбор невесты. Очевидно во время написания этого отрывка Пушкин воображал иной план рассказа и другую обрисовку положений. То равнодушие к женщинам, которое обнаруживает Ибрагим по приезде в Россию в прозаической повести, объясняется его романом с Леонорою во Франции. Он уже охлажден для новой быстрой страсти раз пережитой сильной и счастливой любовью, и притом носит еще эту любовь в своем сердце. Представление такого

романа едва ли могло быть в раннем первоначальном плане повести, когда, судя по данному отрывку, преполагалось, что приехавший в Россию арап будет искать в ней прежде всего любви и брака. Затруднительность его положения в этом случае была бы очень значительна. В той повести, которую оставил нам Пушкин, затруднения в женитьбе устранены инициативой и участием Петра В., а психологическая правда повествования и естественность настроения героя создались при помощи вымышленного романа с графиней Леонорой. Отсюда понятно, что черновой стихотворный отрывок о женитьбе царского арапа никак не мог войти в окончательный текст повести о нем. Вместе с данным стихотворением, след первоначального плана повести о царском арапе, представляет небольшой прозаический набросок из собрания Онегина: »Часто я думал об этом ужасном семейственном романе«.[1])

III. »Песни о Стеньке Разине«: I. »Как по Волге-реке, по широкой«; II. »Ходил Стенька Разин«; III. »Что не конский топ, не людская молвь«, 1825 г., (Венгеров, IV, 79—80) — подражания по языку и складу народным песням; они однако совершенно самостоятельны по содержанию и построению. Между прочим народные песни о Разине не знают ни одной из Пушкинских тем: 1. потопления персидской царевны, 2. спора с воеводой из за подарков, 3. картины бури, вызывающей Разина на поход по синему морю.

История текста песен о Ст. Разине обстоятельно выяснена академиком Гротом (»Пушкин«, 185—186, 189). Им же, со ссылкой на воспоминания Погодина, сохранившего в памяти начало одной песни, 1. (»Как по Волге-реке по широкой«), указано, что известные по копии Погодина три песни о Разине, есть именно те, которые Пушкин предполагал напечатать (189). Цензура Бенкендорфа-Николая I нашла, что »песни о Стеньке Разине при всем своем поэтическом достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию« (»Переписка« Пушкина, акад. изд., т. II, стр. 39). Это была первая литературная оценка данных песен. Затем любопытен, приведенный ак. Гротом, отзыв И. С. Аксакова: »Три песни о Стеньке Разине никем иным, кроме Пушкина, написаны быть не могли. Что они не из уст, не со слов народных певцов записаны, это видно с первого раза; тут видна рука художника, и великого ху-

[1]) См. »Неизданный Пушкин«, Петерб. 1922, стр. 152—154.

дожника« (188—189). Несколько заметок об этих песнях находится в брошюре М. Е. Соколова: »Песни А. С. Пушкина и крестьян Саратовской губ. о Стеньке Разине«. Саратов, 1902. Строгий критит не признает в песнях Пушкина художественного достоинства, и даже не видит в них технического искусства поэта в отношении стиля и стихосложения. О вкусах не спорят. Заметки Соколова имеют значение лишь в том отношении, что дают для песен Пушкина несколько параллельных образов, впрочем, довольно общеизвестных, из народных песен: 1. образ плывущей по Волге лодки с хозяином и гребцами, 2. образ Волги-благодетельницы, 3. образ добычи из трех кораблей (стр. I и II).

Основной источник первой песни — рассказ голландца Иоанна Стрюйса, путешествовавшего по Волге и бывшего в Астрахани в год Разинского бунта. Стрюйс с своими товарищами два раза посетил знаменитого мятежника, и во второй раз был свидетелем происшествия, изложенного в песне Пушкина. Описание путешествия Стрюйса вышло в Амстердаме в 1676 году и имело более 20 переводов на разные европейские языки. Пушкин, вероятно, знал историю несчастной царевны по французскому переводу Гланиуса: »Les voyages Jean Struys en Moscovie« . . .[1]); русских переводов, с соответствующим текстом, в его время не было.

У Стрюйса Разин, находящийся в сильном опьянении, произносит длинную витиевато-романтическую речь, в которой он прославляет величие Волги, говорит о благодеяниях, которыми ей обязан, укоряет себя за неблагодарность; ему кажется, что он слышит жалобы и упреки реки за то, что он ничем не отплатил ей. В заключение он говорит: »Ах, прости, любезная река! Я признаюсь, что обидел тебя и, если этого признания недостаточно для того, чтобы успокоить твой справедливый гнев, я предлагаю тебе от чистого сердца то, что мне дороже всего на свете; нет более достойного изъявления моей благодарности, и ничто не может доказать лучше мое почтение за милости, которыми ты осыпала меня«. С этими словами оратор схватил княжну и бросил ее в Волгу.[2])

---

[1]) Перевод Глаииуса, вышел в Амстердаме (1681), Париже (1719), Руане (1724). При всех этих изданиях (иллюстрированных) приложена гравюра, изображающая Разина, бросающего царевну в Волгу.

[2]) См. перевод, сделанный П. Юрченко, с Лионского издания Путешествия Стрюйса, 1682 г., в »Русском Архиве«, 1880, кн. I, стр. 91—92.

Пушкин, как и последующие историки: Костомаров[1]) и Соловьев,[2]) передает кратко самую сущность речи Разина, сообразно с поэтическими русскими народными верованиями.

Вторая песня тоже имеет в своей основе историческое предание. Оно изложено, по рукописным запискам Карабанова, Ф. И. Буслаевым в его собрании пословиц, изданном в »Архиве« Калачева (книга 2-ая, половина 1-ая, М. 1854). Здесь при пословице: »Возьми шубу, да не быть бы от ней шуму«, рассказывается, что Астраханский воевода раздражил Ст. Разина несправедливостию своею. »Получа уже многие подарки от Разина, он хотел силою отнять у него богатую шубу дорогих соболей. Разин долго упорствовал, не внимая угрозам воеводы; но наконец, вышед из терпения, с великим ярым сердцем и злою мыслию скинул с себя шубу, и, отдав воеводе, сказал: Возьми шубу, да не быть бы от ней шуму«.[3])

Для этой второй песни Пушкин, очевидно, воспользовался живым преданием или каким-либо рукописным источником.

Третья песня Пушкина дает совершенно оригинальную поэтическую картину, ни откуда не заимствованную.[4])

IV. Песня: »Как за церковью за немецкою«, (Венгеров' IV, 78), судя по описанию рукописей поэта, данному Якушкиным в »Русской Старине« 1884 г. (т. XLII, стр. 548), написана в 1827 или в 1828 году. Лучшее ее издание у Венгерова (IV, 78). Однако здесь четвертый стих напечатан неудовлетворительно: »Хорошу жену — часто в честной пир зовут«. Фотографический снимок с рукописи, находящийся в Пушкинском Доме, показывает, что слово »часто« было потом зачеркнуто, а слово »честной« написано сверху, очевидно вместо этого слова. Венгеровское издание, оставивши зачеркнутое и

---

[1]) Собр. сочинений, СПб. 1903, кн. I, стр. 446.

[2]) »История России«, т. XI, изд. 4-ое, М. 1891, стр. 354.

[3]) Буслаев, »Русские пословицы«, стр. 160. Тот же рассказ у Костомарова (»Бунт Ст. Разина«, стр. 444, кн. I, изд. соч. 1903 г., со ссылкой на »Москвитянин« 1841 г. Здесь (ч. IV, стр. 165—170) напечатан отрывок о Ст. Разине из рукописного Хронографа начала XVIII века, сообщенного К. И. Авериным. Рассказ о получении алчным воеводою подарков и вытребовании им у Разина шубы находится на стр. 168.

[4]) Народные легенды, кажется, не могли дать поэту содержания для песен о Разине. По сказочной истории Разина, записанной Садовниковым, царевна была утоплена за непослушание. Относительно шубы любопытен здесь рассказ о похищении в Астрахани дорогой куньей шубы с бобровым воротником есаулом Разина, хотевшим удержать ее для себя. Разин нашел скрытую шубу и прогнал есаула (»Сказки и предания Самарского края«, стр. 342 и 339—340).

введя написанное после, соединило в одном стихе две разные редакции:

1. Хорошу жену часто в пир зовут,
2. Хорошу жену в честной пир зовут.

Об этой песне П. В. Шейн заметил, что в известных ему сборниках песен он »не мог найти соответственной параллели, а между тем она, как видно из писем поэта к своей жене, очень была известна в его время«.[1] Шейн считал эту песню народной, записанной Пушкиным. В. Ф. Миллер признавал данную песню »одной из бытовых . . ., записанных поэтом«.[2] Н. Н. Трубицын тоже думал что это »запись«, которую принято печатать в собрании сочинений Пушкина, хотя вариантов этой песни ему, как и Шейну, найти не удалось.[3] Решающим основанием признания данной песни »народной« для всех исследователей, очевидно, служит ссылка на нее в письме Пушкина к жене от 30-го сентября 1832 г. Приведем эту ссылку в такой полноте, которая разъясняет сущность мысли поэта: »Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc., etc. — Знаешь русскую песню —

Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит.« Н. Н. Пушкина вряд ли была заинтересована народной поэзией. Разве сам А. С. мог познакомить ее с некоторыми русскими песнями. Данная ссылка показывает, что поэт говорит о песне обоюдно-известной супругам Пушкиным, такой, с которой Н. Н. всего вероятнее познакомилась от мужа. Песня случайно оказалась слишком близкой к семейному положению Пушкина, и цель ознакомления с нею супруги ясна: словами данной песни Пушкин шутливо-добродушно признавал светские успехи своей жены и свое непочетное положение мужа красавицы в высшем обществе, »свете«. Пушкин говорит в письме к жене о русской песне,

---

[1]) »А. С. Пушкин и народная песня«, стр. 91: в журнале »Ежемесячные сочинения«, 1900 г., июнь.

[2]) »Пушкин, как поэт-этнограф«, стр. 31.

[3]) »Пушкин и русская народная поэзия«, стр. 62, в Венгеровском издании соч. Пушкина, т. IV.

но это не значит еще народная песня: для Н. Н. Пушкиной это могло означать только: не французская. Словом, ссылка на письмо Пушкина к жене для разъяснения происхождения данной песни не так значительна, как это кажется. Песня: »Как за церковью за немецкою«, все-таки могла быть сочинена Пушкиным. Снимок с рукописи обнаруживает переделку 4-го стиха, которую легко объяснить при авторской работе и несколько затруднительно при записи готового текста. С отсутствием вариантов к этой песне, якобы народной, вариантов, не находимых несколькими специалистами в долгий промежуток времени, нельзя не считаться.

В некоторой степени родственную параллель к данной песне мы можем привести лишь из собрания П. В. Киреевского.

У барина | была барыня гожа,
У крестьянина | получше его:
»Крестьянин мой, | поменяемся женой!«
— Боярин мой, | не меняюся женой!
Твоя жена | не годится никуда.
Мою жену | часто в гости зовут,
Мою жену | во колясочке везут,
Меня, мужа, | на веревочке ведут.
Меня, мужа, | по жене честят:
Моей жене | сладка меду подают,
А мне, мужу, быть (!)[1]) болотная вода.[2])

Существование этой параллели не мешает предположению, что Пушкин, подражая именно одной из подобных, самостоятельно создал песню: »Как за церковью за немецкою«. Только нахождение в произведениях народного творчества близких вариантов к этой песне могло бы удостоверить, что в бумагах Пушкина мы имеем запись, а не сочинение.

Обратим также внимание на своеобразность и редкость первого стиха данной песни. Подобный ему мы можем указать только в записи проф. М. Г. Халанского из Курской губ.

А за церковью, за немецкою,
А ладо, ладо! за немецкою,
А за другэю за турецькаю
Там налетело голубей стадо и т. д.[3])

---

[1]) Может быть, вместо: пить.

[2]) »Песни, собранные П. В. Киреевским«. Новая серия (М. 1917 г.). Вып. II, ч. I, стр. 120, № 1596. Звенигородский уезд. Записи П. В. Киреевского, 1833 года. Мы соединяем здесь по две строчки записи Киреевского в одну, означая его разделение строк отвесной чертой. Допускаем и некоторое отступление от пунктуации текста, сообразно с нашим пониманием песни.

[3]) »Сборник II Отд.«, т. LXXVI, № 5, стр. 154.

Это — свадебная песня, которая говорит о поезде бояр-сватов и в своем продолжении не имеет ничего общего с песней Пушкина, кроме одинакового начала.

V. П. В. Шейн вопрос о происхождении песни: »Друг мой милый« (Венгеров, IV, 79; по Морозову, 1833 г.), оставил открытым, заметив, что следа ее он не мог найти в известных ему сборниках песен (стр. 95). В. Ф. Миллер заметил, что песни: »Друг мой милый« и »Один-то был у отца у матери единый сын«, »производят впечатление лишь легкой ретушировки подлинных (народных) песен, которые либо лежали перед поэтом в записи, либо хранились в богатом запасе его памяти« (стр. 31). Н. Н. Трубицын заявлял, что данный текст — »почти народная любовная песня по образам и складу; ее легко можно было бы признать и подлинно-народной, — к сожалению, не удалось отыскать ни одного к ней варианта« (стр. 63).

Изучение русских песенников дает факты, опровергающие предположения Миллера и Трубицына. Данная запись Пушкина представляет собою отрывок из романса, встречающегося иногда в песенниках 1-ой половины XIX-го века. Самый старший текст этого романса мы знаем в песеннике 1810 года, откуда его и приводим.

Влюбленная девушка, которой и небольшая разлука принесла много горестей. Песня новая, на голос: »Я не думала ни о чем в свете« (тужить).

Друг мой милой, красно солнышко мое!
Сокол ясной, златокрылой мой орел!
Уж неделю не видался ты со мной;
Уж неделя, как спозналась с горем я;
Ровно семь дней, как веселья все прошли;
Заменила их сердечная тоска!
Не узнаешь, друг, ты девушку свою:
Она вянет, как без дожжичка трава;
Она сохнет, как цветочик без росы!
Опостылел свет ей белой без дружка;
Ей не взмилились подружки без него;
Игры, пляски, хороводы и мячи
Не по нраву, не по сердцу ей пришли.
Слезы катятся неволей из очей;
Без тебя она не видит красных дней! —
Я искала по полям твоих следов;
Я бродила по сыпучему песку,
Чтобы встретиться с голубчиком своим,
Чтоб увидеть светел месяц мой тебя;
Во сыром бору аукалась с тобой,
Тяжким вздохом вызывала я дружка;
Одни пташки отвечали мне на вздох,
Одни пташки тосковали там со мной.

Без приюту стала девушка твоя,
Без утехи ретиво сердце у ней:
Приди радость, ты веселие мое!
Приди в терем, где злощастная живет;
Повидайся с горемычною скорей!
Сиротою в белом свете я слыву;
Дольше году без тебя мне каждой день,
При тебе же год как ласточка летит.
Долго ль буду горе мыкать без дружка?
Ах! Не в силах боле жить я без него!
Как весной от солнца речиньки пройдут,
Так свиданьем друг тоску мою уймет;
Как от ветров с дерев листья опадут,
Как от буйных лето красное уйдет,
Так от грусти бесталанная умру;
Грусть сокроет во сырой земле меня,
Без надежи, без тебя мой милой друг![1])

Сравните текст Пушкинской записи:

Друг мой милый, красно солнышко мое,
Сокол ясный, сизокрылый *мой орел;*
*Уж неделю не видал*ась я с тобой,
Ровно семь дней, как спозналась с горем *я;*
Мне *не взмилилисъ подру*женьки мои,
Игры, пляски, хороводы и . . .
Не по нраву, не по мысли мне *пришли.*
Я скиталася по темным лесам, —
В темном лесе кинареечки поют,
Мне, девчонке, грусть-разлуку придают.
Ты не пой, кинареечка, в саду,
Не давай тоски сердечку моему. (Венгеров, IV, 79).

(Текст, совпадающий в выписке Пушкина и в романсе неизвестного автора, мы напечатали курсивом.) — Подлинник, из которого взята выписка, не имеет заметных литературных достоинств. Выраженное в нем приторно-нежное чувство ненатурально преувеличено; изложение натянуто и слишком распространено; подделка под народный стиль неискусна. Благодаря энергическому сокращению (из 40 стихов оригинала у Пушкина осталось только 7) и некоторым поправкам, стихотворение приобрело известную стройность и выразительность.

---

[1]) »Новейший и полный Российский общенародный песенник«. Изданный Ж. Г. Т. А. К. иждивением М. К. Павла Вавилова. М. 1810, в Унив. типогр., стр. 142—143, № 123. Тот же самый текст — с очень незначительными разночтениями — мы находим в следующих песенниках: — »Новейший избранный песенник« . . . М. 1814, с. 29, № 26. — »Новейший полный и всеобщий песенник« . . . СПб. 1818 г., ч. II, с. 34, № 155. — »Избранный песенник для прекрасных девиц«. М. 1820 г. — »Новейший туалетный песенник для милых девушек и любезных женщин« . . . Орел, 1821, ч. I, с. 169, № 89. — »Новейший полный всеобщий песенник« . . . М. 1822, ч. I, № 91. — »Полный новейший песенник . . ., собранный И-м Гурьяновым«. М. 1835, ч. IX, с. 10, № 5. — »Собрание русских песен«, М. 1839, ч. II, с. 21. — »Новейший полный русский песенник« . . . М. 1854, ч. III., с. 16, № 8.

Последних пяти стихов Пушкинского текста (начиная со слов: »Я скиталася по темным лесам«) нам не удалось найти в песенниках. Эти строчки не вполне гармонируют с предыдущими по своему менее отчаянному настроению, мещанскому стилю и языку. Кинареечка, девчонка, грусть-разлука, сердечко — подобных образов и словоупотреблений не знает ни оригинал песни: »Друг мой милый«, ни ее сокращение. Может быть, эти последние строки являются самостоятельным песенным отрывком. Вряд ли, однако, они принадлежат творчеству самого поэта. От него мы не можем ожидать довольно неестественного центрального образа этого отрывка: кинареечки, поющей в темном лесе и в саду. Разве только Пушкин захотел в этом случае в шутку подражать нескладицам новейшего романса, подобно тому, как он осмеял высокопарный слог старых од в »Оде гр. Хвостову«.

Возможно и то, что весь сохранившийся в записи Пушкина текст взят из ходящего во времена поэта живого песенного материала, и переработка книжного романса — мещанско-народная, а не Пушкинская.

По содержанию данный отрывок из записей Пушкина следует отнести к искусственным псевдо-народным подражательным песням (стиль Мерзлякова и подобных). Ритмика здесь тоже не народная, а новейшая искусственная, с ударениями на конце и довольно прозрачными хореями: во всех стихах мы имеем пять полных хореев и шестой неполный. Исключение дает только предпоследний стих, в котором, вероятно, просто не достает слога. В правильном ритмическом строении следовало бы иметь: »Ты не пой же . . « или что либо подобное.

VI. Песня: »Один-то был у отца, у матери единый сын« (IV, 79, рукопись 1833 г.), по своему происхождению казалась неясной. Миллер полагал, что это слегка исправленная поэтом народная песня (стр. 31). Шейн тоже думал, что Пушкин переделывал тот вариант, который напечатан у Сахарова (что недопустимо хронологически), но готов был также признать, судя »по духу, складу, поэтическим приемам«, что это подлинная народная песня, записанная Пушкиным (стр. 94). Мысль о переделке текста Сахарова нельзя принять еще и потому, что она не имела бы никакой цели.

В собрании Соболевского показаны три варианта этой песни, очень близкие между собою и сходные с текстом Пушкина.

Они все из Уральской области. Эти варианты вполне доказывают, что Пушкин в данном случае записал народную песню и, без сомнения, там, где она и после сохранилась, т. е. в Уральской области, во время своей поездки в Оренбург, в конце сентября 1833 г.[1])

8-го августа 1928 года.

В. Чернышев.

---

[1]) См. »Великорусские народные песни«, т. VI, №№ 131—132. Третий вариант из собрания Мякушина здесь не перепечатан, как очень близкий к тексту № 131.

Неизданные списки законодательства царя Душана.[1]

Среди многочисленных памятников южнославянскаго права ярче всѣх выдѣляется извѣстный Законник царя Душана, изданный в 1349 г. в момент наибольшаго расцвѣта сербскаго государства и давно ставшій предметом многосторонняго изученія. Изслѣдованіе этого памятника однако сильно затруднено тѣм, что подлинник его не сохранился, а отдѣльные списки его достаточно разнятся друг от друга.

В капитальных трудах Т. Д. Флоринскаго (Памятники законодательной дѣятельности Душана царя Сербов и Греков. Кіев 1888) и Стояна Новаковича (Законик Стефана Душана цара српског. У Београду 1898) выяснено наличіе 20 списков,[2] из которых только один (весьма дефектный Стружскій) относится к концу XIV вѣка, три (Бистрицкій, Ходошскій, Аѳонскій) относятся к XV вѣку, два (Призрѣнскій[3]) и Шишатовацкій) — к XVI вѣку. Эти шесть списков представляют собою по крайней мѣрѣ два варіанта древнѣйшей редакціи. К древнѣйшей же редакціи восходят, но представляют уже два новых ея варіанта — два списка XVII вѣка — Студеницкій и Раковацкій 1700 года. Вот матеріал, которым приходится пользоваться для выясненія возможнаго облика оригинала Душанова Законника.

---

[1]) Имѣя возможность работать в области исторіи права южных славян, автор этих строк напечатал пока сборник: Одабрани споменица српског права од XII до краја XV века. Београд 1926, стр. III - 234 - XIX; и статьи: Хиландарска повеља великог жупана Стефана (Првовенчаног) из г. 1200—1202 Прилози за историју, књижевност, кн. V (1925), стр. 62—89; Повеља краља Милутина барској породици Жаретића — Архив за арбанаску старину, кн. III (1925), стр. 117—125; Ђкци у Душановој повељи г. 1355 — Прилози, кн. VI (1926), 184 190; Два прилога проучавању Душанове државе - Гласник Скопског Научног Друштва, II (1926), 25—46; Једна српска жупа за време царства - Гласник Ск. Н. Др, III (1927), 25—42; Contributions à l'histoire de la vendetta au Monténégro et en Albanie Vénitienne = Архив за арбан. ст. V (1927); Уговор о куповини и продаји у средњевековној Србији — Архив за правне и друштв. науке, књ. XXXII (1927). 429—448; Значај византиског права на Балкану = Годишњица Ник. Чупића, XXXVII (1928), 95—141.

[2]) вѣрнѣе — 17, потому что три списка извѣстны изслѣдователям только по именам (Хиландарскій, Далматинскій, Любишин).

[3]) Древность Призрѣнскаго списка (изданнаго еще в 1870 г. Ст. Новаковичем и вполнѣ научно *Ѳ. Ѳ. Зигелем*. Законник Стефана Душана СПБ. 1872) сильно преувеличивали, относя его к XV и даже к концу XIV вѣка. По авторитетному мнѣнію академика *Люб. Стояновича*, это список первой половины XVI в. см. Каталог рукописа Народне Библиотеке. св. IV (Београд 1907), стр. 193. Интересно отмѣтить, что этот весьма важный для исторіи текста сборник безслѣдно исчез из Нар. Библ. за время оккупаціи Бѣлграда австрійцами (равно как и древнѣйшая сербская жалованная грамота 1198 г.).

Остальные девять списков относятся всѣ к XVII и XVIII вѣку и представляют новую редакцію, которая возникла в XVII вѣкѣ и ничего не может дать для вопроса о первоначальном составѣ Душанова законодательства.[1]) Она интересна лишь как свидѣтельство вниманія к правовой традиціи великаго царя и во времена полнаго паденія сербской независимости.

При таком соотношеніи древнѣйших и новѣйших списков Душанова Законника понятно, что новыя находки в этом направленіи могут дать и новыя, иногда цѣнныя указанія. Нам удалось разыскать и обслѣдовать еще три списка Душанова законодательства, доселѣ извѣстные лишь по именам или совсѣм не извѣстные.

1. Хиландарскій список.

В библіотекѣ Хиландарскаго сербскаго монастыря на Аѳонѣ нам удалось найти под № 371 сборник, извѣстный лишь по краткой замѣткѣ В. И. Григоровича въ его путешествіи 1846 г. и послѣ того считавшійся утерянным.[2]) Это переплетенный сборник in 8⁰, писанный на бумагѣ в первой половинѣ XV вѣка. Состав его слѣдующій:

I. Л. 1—3 об — Оглавленіе Сокращенной Синтагмы Матвѣя Властаря, начинается: **СЬИ ЗАКОН'НЫ БЛ͞ГОЧТИВАГО** и христолюбимаго господина цр͞а Стефана. начело прьваго сьстава · глава · а͞ · (все киноварью) О православнѣи вѣрѣ и т. д. На л. 3 об. за послѣдней статьей оглавленія слѣдует: По си напрѣ·нщи законь бл͞говѣрнаго и хтолюбиваго цр͞а Иоустиніана :— И зако бл͞говѣрна цр͞а стефа . (черн. ч.) **СЪЧИНІЕНІЕ ОБЬЕТІИ** въсѣхь винь · с͞щенныи и бжьствьныи правиль. Потроуженно въкоупѣ и сложенно · Иже къ с͞щенноинокѡ послѣии. матѳеюмь сол8н'скымъ: — (все киноварь).

II. На л. 4 начинается Сокращенная Синтагма заголовком: Съи законни изьбрахѡ из великаго законника · ꙗко въскоре ѡбрѣтати искомаа ѡ въсакои вещи · и вина грѣховны . и ѡ соуд8 црком: — **НАЧЕЛО · А · СЪСТАВ**:- (все киноварь); на л. 4—101 — текст Сокращенной Синтагмы.

III. на л. 101 заголовок кин. **А СЕ ПРАВИЛА С͞ТГО IѠ ПОС͞НИКА** :— На л. 101—103 об. текст сокращенных правил св. Іоанна Постника.

---

[1]) Сюда относятся: Раваницкій, Софійскій, Загребскій, Бѣлградскій, Карловацкій, Текеліин, Борджошскій, Стратимировичев и Ковыльскій.

[2]) *В. И. Григорович.* Очерк путешествія по Европ. Турціи. 2-е изд. М. 1877, стр. 32, ср. *Т. Флоринскій*, Памятники, 261—263 и *Ст. Новаковић*, Законик, стр. LXXIII—LXXIV. Григорович описывает его так: „16. Сокращенный номоканон и в концѣ неполный Законник Стефана Душана пр. б. 8'. Статьи Законника слѣдующія: (Григорович насчитывает 45 заголовков, из которых послѣдній — 45, о преселицах). Этою статьею прерывается ркп.“.

IV. На л. 103 об. — in continuo внизу страницы, заголовок кино-
варью: БЛГОВѢРНЯГО И Х^с^ОЛЮБИВЯГО цра Іоустиніана · Зако^н^ ѡ записанїи:— На л. 103 об. — 107 об. — текст Законника царя Юстиніана.

V. на л. 107 об. — in continuo в серед. страницы заголовок киноварью: ЗЯКОНЬ БЛГОВѢРНЯГО ЦРЯ СТЕфана · въл^т^ѣ · ҂ѕѡ^н^з · индиктїѡ^д^. к · въ празникь възн^с^енїа гн^с^іа · мц^с^а маніа. ка. дна —(дальше черн. ч. извѣстный текст: Сь же законникь поставляемь. ѿ православнаго сьбора нашего · и т. д); на л. 107 об.—118 об. неполный текст Душанова Законника, прерывающійся внизу страницы на статьѣ: О присе^х^лница:— Градовѡ да не^м^ присе^с^ ...

VI — На л. 119 и посл. — случайно приплетенный отрывок католическаго требника, писаннаго готическим курсивом XIV—XV в. начинающійся словами: qui auct(oritat)em simil(ite)r potestatem h(ab)eat absoluendi. nec uenerabilis mo(nasterio) sit dignitate sac(er)dotij.

*

В. И. Григорович, при бѣглом осмотрѣ Хил. рукописи, невѣрно описал заголовки ЗД и этим ввел в смущеніе излѣдователей, полагавших, что они имѣют дѣло с новым варіантом. Между тѣм по содержанію и даже по стилю и правописанію всѣ четыре статьи (Краткая Синтагма, Правила І. Постника, Законник Юстиніана и Законник Душана) вполнѣ сходны с текстом Ходошскаго списка. Вот состав ЗД по Хиландарскому списку.[1]) Заголовки киноварью: 1. О христіанствѣ (ст. 1, 2, 3); 2. О духовномъ дльгу (ст. 4—10); 3. О духовницѣхъ (ст. 11); 4. О судѣ (ст. 12); 5. О епископѣхъ (ст. 13); 6. О игуменѣхъ (ст. 14, 14ª, 15, 16); 7. О калогерѣхъ (ст. 17, 18, 19); 8. О еретицѣхь кои телѣса мрътвыихъ жегоуть (ст. 20, 21); 9. О црковныихъ людехь (ст. 22—30); 10. о поповѣхь (ст. 31, 65); 11. О людех црковныихъ (ст. 32, 33, 34); 12. И еще о игуменехъ (ст. 35, 36, 37); 13. О хрисовоулѥхъ (ст. 40); 14. О валстелѣхъ оуьмршїихъ (ст. 41, 42, 43, 45, 47); 15. О псости (ст. 50, 55); 16. О насилованіи (ст. 53); 17. О невѣрѣ (ст. 52, 56, 61, 62); 18. О злобѣ (ст. 58); 19. О прони (ст. 59); 20. О кефалїахъ (ст. 63); 21. О сиротахь (ст. 64); 22. О прѣнїи суда (ст. 66); 23. О отроцѣхь и неропсѣхъ (ст. 67); 24. О закону (ст. 68, 70, 71); 25. О сьбороу себровоу (ст. 69, 73); 26. О паши (ст. 74, 75); 27. За попашоу (ст. 76); 28. За пот'коу (ст. 77); 29. О прѣнїи суда (ст. 78); 30, О мегіахъ (ст. 79); 31. За мегѥ селскые (ст. 80); 32. О планинахъ (ст. 81); 33. О власѣхь и арбанасѣхь (ст. 82); 34. О бабоун'скои речи (ст. 85); 35. О оубїиствѣ (ст. 87, 86); 36. О емствѣ (ст. 88); 37. О позванїю (ст. 89); 38. О залогах (ст. 90); 39. О прѣнїи (ст. 91); 40. О познанїи лица (ст. 92); 40. О провожденїи члка (ст. 93)) 42. О оубїиствѣ (ст. 94); 43. О псости (ст. 95); 44. О оубїиствѣ (ст. 95ª, 96); 45. О скоубѣжи (ст. 97, 98); 46. О запалѥнїи (ст. 99, 100); 47. О наездѣ (ст. 101); 48. О оузданїи (ст. 102); 49. О судѣ (ст. 103); 50. О позиванїи (ст. 104); 51. О книгах царевѣхъ (ст. 105); 52. За отбои (ст. 107); 53. О изданїи (ст. 108); 54. О соудїахь (ст. 110, 111); 55. О соужнѥхь (ст. 112, 113); 56. О людехь властел'скыих (ст. 114, 115); 57. О обрѣтели (ст. 116); 58. О трьгоу (ст. 118, 119, 120, 122); 59. О приселицах (ст. 125).

[1]) В скобках мы помѣщаем номера статей по изд. Ст. Новаковича, положившему в основу нумераціи порядок Призрѣнскаго списка.

Из этого перечня видно, насколько данный сборник был неточно описан Григоровичем[1]) и насколько он сходится съ Ходошским и Шишатовацким.[2])

2. Бараньскій список.

В библіотекѣ сербскаго мецената Іована Вуича в г. Сентѣ находится список Душанова законодательства, найденный перед войной в церкви села Вилань (в Бараньѣ, к югу от г. Печуя).[3]) Это переплетенный сборник in 8⁰, писанный, судя по водяным знакам на бумагѣ, в 1480—1490 годах. [4]) Сборник довольно плохой сохранности, в нем недостает многих листов в началѣ (первых семи), в серединѣ и в концѣ рукописи. Теперь в нем 231 л., но их должно было быть не менѣе 257. По кустодіям внизу тетрадей видно, что не хватает 7 листов из 1-й тетради, 2 — из 5-й, 1 — из 6-й, 4 — из 7-й, 1 — из 8-й, 1 — из 16-й (все в текстѣ Синтагмы), 1 — из 24-й, по 2 л. — в 26, 28, 29, 30-й и 1 — в 31-й. Б. Петровиħ насчитывает почему то в сборникѣ не 231, а только 205 листов (о. с. 42).

I. На л. 1—116 об. текст сокращенной Синтагмы Матѳея Властаря (без оглавленія, начинается со слов: аще ли же приключится паче надежде сему. (Ср. Флор. Пам. Прил. стр. 102.)

II. На л. 117—120. Ӕ се правила с҃таго Іоана Поснника.

III. На л. 120 — in continuo среди страницы: Благовѣрнаго и христолюбиваго Царꙗ Іоустиніана законь о записанїи.

На л. 120—125 — текст Законника Юстиніана.

IV. На л. 125 об заголовок кин. ЗАКОНЬ бл҃говѣрнаго цр҃а стефана · вь лѣ(т) · х҃ѕ҃ѿн҃з · ин(н)дїктѡ · к҃ · вь пра(д)зныкь · вьзнесенїа г(с҃)нꙗ · м(с҃)ца · маїа · к҃а · днь · :

На л. 125 об.—152 — текст Законника Душана, с 84 киноварными заголовками (как в Аѳонском спискѣ; см. Флор. Пам. Прил. стр. 14—35).

V. Л. 152 об — пустой, на нем запись киноварью: сїе напрѣ(д) ѡбрѣ(м)тохѡ, послѣ(д)же · вь дроугѡ(м) коматоу кн(т)ы · [5])

VI. На л. 153 заголовок кин. Оуставленіе светъіихь отьць о житїи всего лѣта, изложено вькратьцѣ. На л. 153—231 об. многочисленныя церковныя правила и статьи, описывать которыя не входит в нашу задачу.[6])

---

[1]) Григорович насчитал всего только 45 заголовков. См. *Флоринскій*, Памятники, 262.

[2]) Ср. изданіе Ходошскаго списка П. Шафариком: *P. J. Šafařík*. Památky dř. pism. Vyd. 2. Pr. 1873. Okázky. str. 29—42. и описаніе Шишатовацкаго списка *Т. Флоринским*. Пам. стр. 223—227.

[3]) Этот сборник описал Др. Бошко Петровиħ. Из старе српске књижевности. Сремски Карловци. 1913, на стр. 41—72, но это описаніе осталось незамѣченным историками права.

[4]) В Бар. ркп. только один водяной знак, т.-н. тіара с крестом, которая встрѣчается на итальянской бумачѣ от 1479 до 1501 года, см. Н. П. Лихачев, Палеографическое значеніе бумажных водяниь знаков, под №№ 1242, 1287, 1353 и др.

[5]) Кромѣ того на этом чистом листѣ поздняя запись черн. „Преосвещенѣишему Гдну, Гдну Викентию Іоановичу православнѣм (sic) Видок Темешварски Липовски Логошки. На многая лѣта, многая лѣта. На многая лѣта". Викентій Іоанович был митрополитом бѣлградским в 1734 г.

[6]) Онѣ подробно описаны в цит. книгѣ *Б. Петровича*.

Для изслѣдованія Душанова законодательства очень важна запись на л. 152 об. Добросовѣстный писец счел нужным отмѣтить, что перед ним было два оригинала: в одном он нашел только первые три юридических сборника (Кр. Синтагму с Правилами I. Постника, Зак. Юст. и Зак. Душ.); все остальное он переписал из другой книги

*

Оба эти сборника вполнѣ подтверждают мнѣніе высказанное А. С. Павловым и Т. Д. Флоринским (и оспариваемое Ф. Ф. Зигелем и Ст. Новаковичем,[1]) что связь между КС, ЗЮ и ЗД не случайна, что она не может быть объяснена произволом переписчиков. Добросовѣстный писец XV вѣка отмѣчает в Бараньской рукописи, что КС, ЗЮ и ЗД уже находились вмѣстѣ в лежавшей перед ним рукописи XIV вѣка.[2]) В Хиландарском сборникѣ оглавленіе всѣх трех кодексов общее (оглавленіе КС. со ссылкой: П о с и х н а п р ѣ д и щ и ЗЮ и ЗД). Такое же общее оглавленіе и в других сборниках XV в. (Аѳонском, Быстрицком, Ходошском); в Бараньском, оно к сожалѣнію, утеряно.

Писцы даже не начинают ЗЮ или ЗД с новой страницы, а вписывают их in continuo — ЗЮ послѣ КС (т. е. тѣсно связанных с КС правил IП), ЗД послѣ ЗЮ, в серединѣ или внизу той же страницы.

Особенно важно то обстоятельство, что в Хиландарском сборникѣ в началѣ оглавленія на л. 1 находится заголовок: „Сьи Законник благочьстиваго и христолюбимаго господина царя Стефана", за которым слѣдует КС. Очевидно и КС и ЗЮ и ЗД считались в XV вѣкѣ тремя частями Душанова законодательства, единым сборником сербско-византійских законов.

Запись о том, что КС утверждена Стефаном Душаном, была уже извѣстна в наукѣ по Раковацкому сборнику 1700 г.,[3]) но заподазривалась в виду поздняго происхожденія этого сборника.[4]) Заголовок Хиландарскаго сборника подтверждает эту запись самым вѣским образом. Достаточно вспомнить, что аѳонскіе монахи играли крупную роль на соборах 1346—1355 г. и должны были помнить, какіе именно законы были утверждены царем Стефаном.

Нахожденіе этих сборников, подтверждающих гипотезу Флоринскаго о кодексѣ сербско-византійских законов царя Душана, измѣняет привычную картину исторіи сербскаго права и ставит на очередь необходимость совмѣстнаго юридическаго анализа всего содержанія КС, ЗЮ и ЗД.[5])

3. Грбальскій сборник.

В библіотекѣ пок. проф. В. Богишича в Цавтатѣ (Ragusa vecchia в Южной Далмаціи) находится под № 19/M₅ рукопись XVIII вѣка на 80 л. in -8⁰, в мягком переплетѣ.

[1]) *А. С. Павлов*. Чтенія МОИД, 1885, кн. IV. Протоколы, стр. 4—6 (по поводу Быстрицкой рук.) *Ф. Ф. Зигель*. Отчет о прис. премій м. Макарія. Зап. ИАН. т. 63-й кн. 1 (1890) стр. 57—113; *Ст. Новаковић*, цит. с.; *Т. Флоринскій*, Критико-библіогр. обзор нов. трудов по славяновѣдѣнію. II. К. 1898.

[2]) Что перед ним была рукопись XIV вѣка, доказывается между прочим частым сохраненіем начертанія ѧѧ в род. п. мн. типичным для XIV в. ср. *Б. Петровић*. ц. с. 45; *Ђ. Даничић*. Историја облика, 70.

[3]) *Флор*. Пам. стр. 244—245.

[4]) Ей не придавали вѣры ни Зигель ни Новакович, считая ее измышленіем переписчика 1700 г. Надо однако замѣтить, что этот переписчик имѣл перед собой особый, весьма древній варіант Душанова законодательства, и сохранил нам такіе capita unica, как грамоту царя Душана о изданіи законов и как §§ 190—201 ДЗ.

[5]) Этот анализ произведен нами в недавно вышедшем в свѣт изслѣдованіи: Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка. Скопље 1928.

В сборникѣ находятся:

I. На л. 3—23 — сербскій перевод всѣх грамот, пожалованных венеціанскими дожами с 1647 по 1765 автономной жупѣ Грбаль, в Южной Далмаціи.[1])

II. На л. 26—42 — итальянскій текст тѣх же грамот.

III. На л. 46—53 об. — Благочастиваго и христолюбіваг› Цара Велікаго Костантина Юстиниана са патріархом и велмужи царства Закон поставлен. (в 90 статьях).

IV. На л. 54—63. — Благовѣрнаго и христолюбиваго Македонискаго цара Стефана Законь поставлени ва леть ѕѡнз · индиктион · ва празникь Вазнесенна Господнѧ месеца маıа · ак · дань. (в 96 ненумерованных статьях).

Всѣ остальные листы (1, 2, 24, 25, 43—45, 64—80) остались чистыми. Весь сборник писан рукою Антона Батуты ,,канцлера Грбальской жупы", слѣдовательно имѣет оффиціозный характер.[2])

Тексты ЗКЮ и ЗД в этом сборникѣ опять находятся вмѣстѣ и принадлежат к т.-наз. распространенной редакціи ЗЮ и к Раваницкой редакціи ЗД. Они довольно сильно сокращены, выпущено много статей, которыя находятся в Раваницком ЗКЮ и ЗД.) Зато ЗД в Грбальском спискѣ содержит нѣсколько статей, которых нѣт в Раваницком спискѣ ЗД и которыя очевидно восходят к болѣе древнему прототипу (их можно найти в Аѳонском спискѣ).[4])

Надо замѣтить, что т.-наз. распространенная редакція ЗЮ (= ЗКЮ) встрѣчается только в поздних списках Душанова законодательства. Очевидно в началѣ XVII в. была предпринята передѣлка всѣх трех частей Душанова кодекса, причем бо́льшая часть статей КСинтагмы была присоединена к ЗЮ (образовав ЗКЮ), а небольшая часть — к сокращенному ЗД.[5]) Таким образом Грбальскій сборник (как и Раваницкій, Софійскій и всѣ остальные XVII и XVIII в.) содержит в себѣ довольно много статей КС, древняго ЗЮ и ЗД.

Нахожденіе этого новаго варіанта младшей редакціи Душанова законодательства в сборникѣ автономной жупы, пользовавшейся в это время полным правом собственнаго суда, показывает как сильна была традиция византійско-сербскаго права даже в Далмаціи XVIII вѣка. Этот факт дает нам возможность высказать мнѣніе, что младшая редакція ДЗ не является лишь литературным упражненіем трудолюбивых монахов, а что эта передѣлка вызывалась требованіями жизни, стремленіем приспособить сложный византійско-сербскій кодекс к примитивным условіям жизни сербских ,,княжеств" под турецким или венеціанским владычеством.

4. Студеницкій сборник.

Для полноты обзора мы должны упомянуть еще об одном спискѣ Душанова законодательства, находящемся в предѣлах Королевства С.Х.С. и к сожалѣнію мало доступном для научнаго изученія. Это перепле-

---

[1]) Грбальская жупа, Zoppa di Gerbali, населенная православными сербами область на берегу Адріатическаго моря, между городами Каттаро и Будвой. Упоминается с XIV вѣка, как область подчиненная гор. Каттаро (и вмѣстѣ с ним входящая в состав Сербскаго государства). В 1427 перешла вмѣстѣ с Каттаро под власть Венеціи, в 1492 уступлена туркам. в 1647 добровольно присоединилась к Венеціи, выговорив себѣ широкую автономію.

[2]) Запись на л. 26 об.

) Недостает против Раван. статей ДЗ — 19, 29, 20, 22, 23, 25—27, 32, 34, 65, 40, 45, 47, 44, 46, 54, 49, 57, 58, 183, 68, 70, 73, 81, 85, 88, 89, 107, 108, 112, 114, 115, 126, 130, 131, 134, 139, 140, 142, 144–147, 152, 162 159, 160 (нумерація по Призр. счету).

[4]) Это статьи ДЗ — 30, 75, 135, 137, 136, 138, 149, 154 (по Призр. счету), которых недостает в Раваницком (и слѣдующих за ним списках).

[5]) См. *Флор.* Пам. 458 сл.

тенный сборник, писанный в XVII в. на бумагѣ in 8°. В нем теперь 273 листа, но видно, что их было больше: недостает отдѣльных листов и в началѣ, и в серединѣ и в концѣ сборника. По записи на послѣднем листѣ видно, что сборник принадлежал нѣкогда знаменитому монастырю Студеницѣ [1]) но затѣм неизвѣстно какими судьбами он оказался в Сараевѣ в семьѣ залотых дѣл мастеров Іошиловичей. В 1872 г. сараевскій митрополит Хаджи-Сава Косанович пользовался этим сборником и списал с него текст Законника царя Душана. Текст этот, посланный митрополитом Стояну Новаковичу, был использован послѣдним в 1898 г. в варіантах своднаго изданія текста Законника Душана.[2]) И в настоящее время сборник принадлежит бѣдному „златарю" Митѣ Іошиловичу, у котораго мы его видѣли осенью 1925 г. на старом базарѣ г. Сараева. К сожалѣнію, теперешній владѣлец очень дорожит своим сокровищем, показывает его, но не позволяет дѣлать никаких замѣток. Поэтому мы можем лишь немногим пополнить краткое описание Ст. Новаковича. По всей видимости, в позднем переплетѣ соединены два сборника.

I. На л. 1 202 находятся разныя церковные бесѣды, житія пустынников (мы замѣтили: св. Афродиты Іерусалимской, о. Зосимы, св. Симеона Месопотамскаго), апокрифы (описаніе облика Христова по Епифанію; житіе Богородицы; письмо Авгаря Эдесскаго Іисусу Христу и отвѣт Христа; сказаніе о нерукотворном платѣ; Меѳодія Патарскаго указаніе о послѣдних днех и царѣх). Эти бесѣды, житія и апокрифы составляли вѣроятно один сборник.

II. На л. 203 –266 находится Краткая Синтагма Матвѣя Властаря с обычными заголовками:

Сьчиненіе обьетїи всѣхь кинь...

и Сьи законикъ избрахомъ из велїега законика...

На первых трех страницах (л. 202—203) находится оглавленіе КС, в котором всего 57 статей. Вообще, насколько мы могли замѣтить, текст КС является здѣсь сокращенным и передѣланным (многіе листы перепутаны).

Наличія Правил Іоанна Постника и Законника царя Юстиніана мы не замѣтили.

III. На л. 267—273 находится текст Душанова Законника.

Текст ДЗ является здѣсь весьма неполным и дефектным. Начинается он сверху л. 267 прямо со статьи 12. О сѫдѣ козмикь. Позднѣе уже над этим заголовком приписано киноварью: (изь зако)ника цра Стефана. Порядок статей очень странный, очевидно не только листы перепутаны, но и переписчик XVII в. уже имѣл перед собой экземпляр с разбитыми листами. В Студеницком сборникѣ всего 61 статья ДЗ, именно: ст. 12. О судѣ козмикь: 14. О игумнех; 15, 16, 17, 18, 29; 30, 31. О поповехь; 20. О члвжемь, 21; 32. О прогнанїи; 33. О судѣ; 50. О псованїи, 51, 52, 53; 102. О узданїи; 104. О приставу; 107, 108. О издавщинѣ; 112, 113; 118. О трьговцехь; 120, 121, 122; 132. О купленїи и проданїи; 134. О книгах милостных; 138. О льжном хрисовули; 140. О еже не прїѣти чуждаго чловѣка; 143. О гусарех; 144. О побѣгльцѣх; 145 О гусарѣх и татѣх; 146, 147; 151 (послѣ этого опять лист из КС); 54, 55; 65, 66; 69; 71; 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; 152, 153, 154; 159. О трьговцѣхь кои приходе; 161. О суду и о пьрьцѣхь; 162. О приставѣ; 165. О потворницех; 166. О піаницахь; 174. О бащинах людских; 180; 173. О гусарех и татех.[3])

---

[1]) Сіе стое и душепол'зное писаніе приложи велицѣи цркви Студеницѣ попь Макаріе. Богь да га прости. А тко те ıе Ѿимити Ѿ велицеи цркви Студенице, да ıесть проклеть и ва си вѣкь и будущи. аминь.

[2]) *Ст. Новаковuч* дает и краткое описаніе сборника по замѣткам митр. Косановича, в предисловіи к „З а к о н и к у Ст. Д у ш а н а". Б. 1898, стр. LXX—LXXI.

[3]) Номера статей поставлены по изд. Новаковича. В самом сборникѣ никакой нумераціи нѣт. Заголовки всѣ писаны киноварью.

По содержанію своему этот дефектный список ДЗ не представляет ничего новаго; в нем только часть извѣстных статей других списков. По основному распорядку статей он довольно близок к Призрѣнскому, но между отдѣльными статьями больше пропусков чѣм в какой-либо иной редакціи.[1]) По стилю и языку статей Студеницкій список тоже довольно близок к Призрѣнскому и очевидно восходит к общему с ним прототипу.[2]) Все же стиль Студ. списка иногда уже болѣе отдаляется от предполагаемаго оригинала и является переходным к языку и стилю Раковецкаго варіанта.

И в этом сборникѣ можно отмѣтить знакомую нам послѣдовательность: Краткая Синтагма предшествует Законнику Душана и по всей вѣроятности составляла с ним один законодательный сборник.[3]) Интересно было бы изслѣдовать состав КС, которая представляет здѣсь уклоненія от обычнаго типа.[4]) Но при теперешнем положеніи вещей этого сдѣлать нельзя и приходится ожидать времен, болѣе счастливых для изслѣдователя.

30-V. 1927. *А. В. Соловьев.*

---

[1]) Напр. ст. 102, 104, 107, 108, 112, 113, 118, 120—122, 132, 134, 138, 140, 143. Видно, что переписчик (или его протограф) все время перескакивали через нѣсколько статей.

[2]) Напр. в ст. 112, 138, 140, 144, 145, 151, 159, 173, 180. Студ. сб. сохранил (как и Призрѣнскій) древніе обороты „царство ми", которые в Аѳонском и др. обычно замѣнены оборотами: ц а р ь, ц а р е в ь. Но во многих других статьях Студ. уже отличается от Призр. и ближе к Аѳонскому. ср. *Новаковић*. З а к. Д у ш. CVII—CIX.

[3]) Вѣроятно, в дефектном прототипѣ Студ. сборника между КС и ЗД находился и ЗЮ.

[4]) И в Раковецкой рукописи Флоринскій отмѣтил, что КС „как по порядку статей так и по их изложенію рѣзко отличается" от обычнаго извода. *Флор.* П а м. 245.

Kritiky a referáty.

Des rapports linguistiques slavo-roumains.[1])

VI.

Sextil Puşcariu, **Studii istroromâne.** II. Introducere-Gramatică — Caracterizarea dialectului ir.[2]) Bucureşti, 1926. (Academia română. Studii şi cercetari XI). P. XI+370. Avec 26 gravures et 2 cartes.

Sous ce titre, M. P.[2]) a publié récemment une étude magistrale sur le dialecte ir. Ses données se basent non seulement sur tout ce que l'on en a écrit ou publié jusqu'à présent, mais aussi sur l'examen personnel de la langue d'un Ir. cultivé (Belulović). L'auteur n'a pas pu visiter lui-même les villages dont il analyse la langue, ce qui est certainement à regretter.

Son étude se distingue par les particularités qu'on lui connaît : la clarté, l'exactitude, la réduction des hypothèses au minimum possible et une façon agréable dans la présentation des faits.

Les résultats auxquels ils aboutit sont également importants pour les roumanisants et pour les slavisants. C'est parce qu'il a raison de considérer (p. 344) les Ir. comme le dernier rejeton encore vivant des Roumains occidentaux,[2]) expression sous laquelle il englobe les Morlaques et toute la population dite »valaque« des documents serbes et croates du moyen âge et des temps consécutifs.

Il me semble cependant qu'il exagère en les considérant tous comme les restes de ces Romans que les Slaves ont rencontrés lors de leur arrivée dans la partie nord-ouest des Balkans, parce que ces Romans ont sans doute été depuis longtemps slavisés quand ces Valaques et les Morlaques apparaissent dans les contrées occidentaux du territoire scr.[2])

Dans cette conception, l'auteur s'accorde avec M. Silviu Dragomir[3]) et, en partie, avec moi. Il a abandonné l'avis de M. Densusianu qui considérait les Ir. comme s'étant détâchés des Roumains de la Transylvanie avant la pénétration lexicologique du hongrois dans le roumain.

Il faut que je précise dès maintenant mon point de vue qui diffère

---

[1]) V. *Slavia,* II, p. 485—494, III, 114—121, 325—346, VI, 120—129, 785—766.

[2]) Abbréviations: ir. = istro-roumain, dr. = daco-roumain, Puşcariu = P., Roumains occidentaux = R. o.; scr. = serbo-croate, č. = čakavien, š. = štokavien, i-e. = indo-européen.

[3]) *Vlahi şi Morlaci,* Cluj 1924. Cf. mon compte rendu dans **Гласник Скоп. Научног Друштва,** III, 293—305.

en grande partie de ceux de M. P. et M. Dragomir. C'est que je suis convaincu que les Vlasi étaient une population mixte déjà au moyen âge. Le système onomastique de cette population est entièrement slave, très rarement hybride. Il nous permet de juger que le rapport entre les parties slave et roumaine qui constituaient cette population prenait la forme d'une symbiose. C'est d'ailleurs l'auteur lui-même qui se sert de l'expression roumaine «conviețuire» (p. 365) pour la caractériser, ce à quoi il faut seulement ajouter que, dans ce cas, il ne s'agit pas seulement d'une symbiose entre la population sédentaire slave et les nomades roumains comme c'est encore aujourd'hui le cas dans l'Epire et dans les Macédoines serbe, bulgare et grecque, symbiose qui a eu pour conséquence la conservation linguistique des Aroumains et des Meglénites, mais d'une symbiose entre deux populations de la même occupation sociale, ce qui dut avoir pour conséquence la slavisation complète des R. o.

Dans les deux chapitres consacrés aux R. o. de la péninsule balkanique, l'auteur nous présente les données historiques sur les Valaques et les Morlaques de la Serbie, la Bosnie et l'Herzégovine, sur leurs migrations dans les Alpes dinariques, à travers la Croatie, la Carniole, la Styrie et la Carinthie. Il termine ce tableau historico-linguistique par la description de l'état actuel des Ir.

Il introduit dans ce cadre aussi les Uscoques où il n'y a que quelques noms pour lesquels on pourrait, avec quelque vraisemblance seulement, révendiquer l'origine non slave *(Dančulović, Šimrak)*, mais où toute trace du roumain fait franchement défaut. Il est, par conséquent, au moins dangereux de les englober dans les »Românii apuseni«. P. 5 l'auteur lui-même admet la possibilité que parmi les Valaques des documents de ce temps il y avait aussi d'autres nationalités : Bulgares, Grecs et Albanais. Pourquoi pas aussi des Scr. ?

On ne peut pas souscrire à son assertion (p. 14) que les Morlaques ont pris la langue des Slaves qui les entouraient. Contre cela parle, en premier lieu, le fait que l'auteur lui-même signale au sujet des slavismes des Ir. qui accusent *ѣ > ea (ę), ѫ > un, (n), în, ѧ > in, în, št, žd,* de même que tous les autres Roumains. Or, il est à présumer qu'ils étaient devenus bilingues lorsqu'ils étaient encore nomades, et cela non pas au milieu scr., mais chez les Bulgares déjà et que leur langue slave a subi l'influence des parlers scr. au milieu desquels ils faisaient des migrations pour devenir enfin sédentaires dans un milieu č. en Istrie et Krk. Nous verrons que cette manière d'envisager leurs vicissitudes nous expliquera très bien l'élément slave de leur langue. Il faut cependant noter tout particulièrement le fait que parmi les *Čiči* qui ont occupé un territoire anciennement č. il y a des groupes štokaviens (cf. Tesnière, *Atlas linguistique pour servir à l'étude du duel en slovène,* p. 37). Voilà un fait très éloquent qui nous dit que les Čiči roumains se trouvaient déjà dans une symbiose roumaino-slave au moment de leur arrivée en Istrie.

L'introduction de l'auteur donne lieu aux remarques suivantes:

P. 17. ***Mizza***, lieu-dit, se trouve au nord de Punat (Aleksandrovo) où il se prononce ***Mica***. Si l'identification de l'auteurs avec roum. ***mița***

»laine agneline« était exacte, ce nom serait à comparer à *Floka,* montagne près de Kajmakčalan (Macédoine). Comme le terrain extrêmement calcaire de *Mica* n'a jamais pu servir au pâturage, je préfère l'étymologie végliote dont je parlerai dans le prochain fascicule de l'*Archivio glottologico italiano.*

P. 19. La «Petite Valaquie» près de la Bosnie repose sur une erreur. Voir *Glasnik zem. muzeja u B. i H.,* XXX, 314, rem. 1.

Des noms de lieu et de personne tels que *Sibiń, Medinci, Severin, Ribnik, Tomša,* bien qu'ils soient répandus chez les Dr., ne prouvent absolument rien pour la roumainité des Valaques schismatiques de ces contrées.

Mikul (p. 290, 313), chez les catholiques, est *Nicolaus.* Il n'a rien à faire avec *mic.* Ce nom pourrait être révendiqué pour le roumain seulement dans le cas qu'il fût porté par les Serbes schismatiques.

P. 22. *Bojana,* nom d'une contrée où il y a des Serbes schismatiques, appelés Valaques dans les documents plus ou moins récents, est une erreur de Burada. La contrée s'appelle en effet *Bojanci,* nom ethnique dérivé au moyen du suffixe *-ьсь,* qui sert très souvent dans cette fonction, du nom du fleuve *Bojana* (Skadar), ce qui nous dit que cette population est venue des environs de Skadar où elle a été, en partie au moins, remplacée par les Albanais. L'élément roumain parmi elle, s'il y en a, reste à établir.

P. 23. Dans la note n° 1, l'auteur rejette à tort l'étymologie déjà courante, soutenue dernièrement par le regretté Popovici, que le noms de *Čiči* provienne du pronom *ce* « quoi ». Cette façon de dénommer le aglomérations est très en usage chez les Slaves méridionaux. On divise les Scr. en *Štokavci, Kajkavci* et *Čakavci* d'après *što, kaj, ča* « quoi ». On appelle *Čačarje* en Slovénie ceux qui parlent *ča.* En Macédoine, *Mijaci* sont ceux qui disent *mije* pour « nous » (*RESl,* VIII, 151). Les *Prleki* slovènes sont appelés ainsi, parce qu'ils disent *prle* pour « auparavant ». Cf. *prkèlati* «parler italien » en Bosnie.

Quant au nom *Ćiribir(c)i,* il n'est pas nécessaire de penser, avec l'auteur p. 44, qu'il a été donné par les Roumains eux-mêmes. Les Slaves ont pu le faire aussi.

P. 30, 237 et 298. Le nom de personne *Andruzzul* n'est sûre pas roumain. C'est le déminutif italien contenant *-uzzu* + *-olu.*

P. 33. *Perìć* n'a rien à faire avec roum. *păr.* C'est un déminutif des plus usités chez les Č. de *Petar.*

P. 31, sf. 387. Le nom de lieu *Jessenovac* est tout à fait clair. C'est l'adj. substantivé de *jasenъ* «frêne». Les Ir. l'ont remplacé par *Su Codru* «sous la montagne», c.-à-d. sous *Učka* < *vučska* (sc. *gora*).

Šušnjevica ne peut pas représenter *su* + *sněgъ.* C'est l'adj. substantivé de *šušań* «feuillage», cf. *šušńevâr* «feuillage et branches» dans le parler č. de Žumberak. Cf. *Frascati* en Italie, de *frasca.*

*

Les remarques qui suivent, je les diviserai d'après les chapitres du livre de M. P. J'ajouterai seulement un chapitre nouveau (B) consacré

aux slavismes de l'ir. pour faire ainsi mieux voir les répercussions qu'ont eu leurs migrations à travers le territoire š.[1]) sur l'élement slave de leur langue.

A

Ce qui importe le plus au slavisant de l'étude de l'élément latin de l'ir.[2]) c'est la conclusion à laquelle arrive l'auteur. C'est que ce dialecte accuse des rapports très étroits non pas avec les Aroumains, mais avec les Dr. (p. 342) d'où il suit que les R. o. des contrées scr. ne parlaient pas l'aroumain (cf. § 274).

Dans ce sens, il importe de relever (§ 2) que l'*a* accentué se labialise en *å*, tandis qu'il reste inaltéré dans la position protonique (§ 15, p. 72). Il faut souligner ici la coïncidance avec les parlers č. et avec le végliote. Le phonème ir. s'est produit non pas dans la symbiose avec l'alb., mais dans celle du č. (§ 4).

§ 35. Il faut donner raison à l'auteur lorsqu'il établit que *ę* repose sur la diphthongue *ea* plus ancienne. Ce qui est curieux, c'est que la même voyelle réfléchit aussi l'-*ă* final. Il va sans dire que le même *ę* se trouve aussi pour *ѣ* de sorte que *sopęlę* nous dit péremptoirement que č. *sopěla* (Krk) repose sur **sopěla* de **sopěti* > *sopìti* « sonner ». Puisque les formes *zåzet* « doigt », *čåptir* « peigne » prouvent à l'évidence que les Ir. sont venus parmi les Scr. avec la prononciation *ea*, ne faut-il pas expliquer la naissance de *ea* > *ę* par la symbiose avec les Č. qui, dans ces contrées, réfléchissent *ѣ* par *e* (cf. *spovedi* p. 182, *obedvęi* § 192) ou bien par celle des Š. ékaviens ? Ce qui parlerait en faveur de la première possibilité, c'est que les Ir. ont pour slov. *možjani* ou *možljani* > *možľenu* (§ 88) où slov. *ja* a été rendu par *e*. D'autre part, *antrešelj* (voir plus bas) nous dit que l'*ę* des R. o. était rendu en scr. par *e*. L'explication du passage -*ă* > -*ę* m'échappe de même qu'à l'auteur. L'*ă* antétonique dans *visător* est rendu en scr. par *i* : *Visitor*. En tout cas, -*ă* > -*ę* s'est produit aussi sur le terrain scr. parce que *vo* < *illa* prouve que les ancêtres des Ir. prononçaient l'*a* final de la même façon que les Roumains en général. La graphie ragusaine *brence* < *brînză* dit elle aussi que c'est en symbiose avec les Scr. que les R. o. ont abandonné l'articulation vélaire de l'*ă* final. *ă* ne s'est conservé qu'après l'accent devant la consonne: *tirăr*. Il est aussi très curieux de constater *e* pour l'-*o* italien dans *bosco* (> c. *bȕšak*) > *boskę*.

§ 44a. Aux exemples pour *o*´ > *u* il faut ajouter encore *Durmitor* qui assure cette prononciation pour la langue des R. o.

§ 45. La forme *va* « veut » ne suppose pas nécessairement l'existence de **voare*, parce qu'une création analogique d'après *are* serait aussi possible. De même, *fårę* ne demande pas nécessairement **foară*, parce qu'il peut s'y agir du même phenomène que dans *cătră* < *contra* ou dans *fântână* < *fontana*, c.-à-d. d'une assimilation très ancienne, attestée chez Procope *Λουποφάντανα*[2]) « la fontaine de Lupus ». Il n'y a, par

---

[1]) Š. = štokavien, ir. = istro-roumain.

[2]) *Lupo* au lieu de *Lupi* est à rapprocher du dativus adnominalis des inscriptions (cf. mes *Pojave vulg. lat. jezika na natpisima prov. Dalmacije*, p. 80 § 134.) et du datif conservé en roumain.

conséquent, aucune preuve décisive pour l'assertion que *o* devant *-a, -e* remonte à *oa*. Dans ce cas-là, l'ir. me semble présenter le même état que le bulgare qui ne connaît que l'harmonie *ea* devant les *-a, -e* finales et auquel l'autre *oa* devant les *-a, -e* finales fait complètement défaut. Il faut en conclure que la première harmonie est la plus ancienne et que la seconde s'est développée à sa suite et d'après son modèle. Il est fort possible que le roumain a développé ici une tendance bulgare. Dans ce cas-là, je ne peux pas voir une influence roumaine sur le bulgare.[1]) Le contraire me paraît plus vraisemblable. On ne saurait invoquer ***kunastra*** (à Poljica, près de Spalato) < *colostrum* comme preuve pour l'existence de *oa* dans la langue des R. o., parce que, suivant P., *Et. W.* 456 et *REW* 2058 il y a eu changement de suffixe *-astra* pour *-ostra*. Il faut supposer chez ces Roumains aussi **culestra* comme ailleurs, parce qu'on dit ***kulizdra*** (Lika).

§ 54, p. 100, § 79, p. 118. *(v utå* «oublier» peut intéresser à plusieurs égards. D'abord, il présente la même disparition de *l'* (devant la consonne ou à la fin de mot) que *baltă* > *batẹ*, *ăt* < *altu*, *ml'e* < *agnellu*. On ne sait pas au juste à l'influence de quel dialecte il faut attribuer cette disparition. Il faut ranger ici aussi ***belčug*** > ***bečuvu***, contrairement à ce que dit l'auteur au § 96 b. La réduction de ***al*** > ***ao*** > ***a*** se trouve p. e. dans toute la Lika. Pour ma part, je penche à la pensée d'y voir l'effet d'une symbiose des Ir. avec les Š. où ce phénomène date du 14[e] s., tandis qu'en č. il est sporadique et récent. Il ne faut cependant pas oublier que les mots roumains du scr. supposent la prononciation de *l* suivi de *-u* : *Radula* etc. Il faut en conclure que la disparition ir. est un fait récent. Puisque l^{cons} se vocalise en *o* et disparaît, il n'y a rien d'étonnant de voir s'étendre cet phénomène sur tout *-o* final > ir. *v*. On a ainsi *gre* = *grev*, *a me*, *a te*. Que la phase antérieure à la disparition de l^{cons} soit *o* *u*, c'est *v* de *vuta* - *uta* qui le prouve. Dans la phase **uuta v* fut intercalé pour combler l'hiatus de même que dans *steao* > *stẹvu* «étoile», *grăvu*, *brăvu* (§ 72), *ĭurẹ* < *ubi* (cf. § 61), *v-o* < *illam*. A côté de *v* il y a aussi *i̯* qui sert à combler l'hiatus après les voyelles palatales : *vii̯u* (§ 54), *beĭut* (§ 71b). Cette manière de combler l'hiatus s'est développée sans doute dans la symbiose avec les Š.

§ 64, 78 et p. 156 ***mund*** «beaucoup» et ***stud*** «surnois» s'expliquent par la fausse régression, parce que, dans les parlers slaves et ici (§ 67a), les sonores finales deviennent sourdes. Dans ***mund***, c'est le frioulan ***mont*** *(REW 5664)* qui s'est superposé sur ***mult***.

§ 50, 72, p. 111. Pour expliquer le manque du rhotacisme dans l'article indéfini *un*, *o*, M. P. admet la syncope fort ancienne dans des cas tels que **unu calu* > *un kå* d'après *ùsucátu* > *uscat*. Grâce a ce procédé, l'ir. et le dr. peuvent distinguer l'article indéfini du nom de nombre, en s'écartant ainsi de l'aroumain qui garde l'identité romane. J'ai proposé une autre explication de ce phénomène très curieux, *Архив* de Barić, II., 329 et suiv. J'ai supposé la disparition très ancienne de *-nu* dans

[1]) ѣ > *e* ou *a* est une des caractéristiques du bulgare conditionnée par la qualité de la syllabe qui suit à ѣ, cf. Vondrák, *Vergl. slav. Grammatik*, 2e éd., v. I, p. 90.

unu. *n* de *un* serait dû à l'influence du numéral. Quant à la dernière supposition, je conviens que l'ir. ne la confirme pas complètement, car ici le numéral est *ur*. Mais les explorateurs ont pu constater ici aussi une confusion (§ 132) comme ailleurs. Cependant l'explication proposée par M. P. n'est pas du tout à l'abri des critiques. D'abord, il faut lui objecter que la syncope roumaine dans les syllabes protoniques est un cas d'haplologie. Elle ne se produit que s'il y a ressemblance entre la voyelle accentuée et la disparue ou la précédente. Elle est limitée, ensuite, aux groupes de consonnes dont le premier élement est *s* ou *l*: *uscat, destul, culca*, cf. aussi *plesti* pour *plesati*, si Popovici a bien noté. Entre la syllabe avec *n* et la consonne suivante il n'y a pas de syncope. D'autre part, *u* pour l'article indéfini est attesté. *n*, par conséquent, peut sans doute être secondaire. L'ir. à lui seul admet aussi la possibilifé de l'influence du vénitien. Si *n* ne peut pas être dû à l'analogie de *unu* > *ur*, il peut s'expliquer par *n* qui s'intercale très souvent devant les consonnes et pour lequel l'auteur donne des exemples au § 75. Le même *n* se trouve aussi en scr.: *kantrida, belenzuke, dumbok.* Pour le sentiment linguistique, ce *n* était facultatif d'où les fausses régressions telles que *muca* au lieu de *munca* « manger », *spameti* à côté de *spamenti* (§ 75 a et 202).

§ 109. *Gl'indúra*, avec transposition de l'accent, a laissé une trace dans le littoral croate comme *glindura*, donné dans *Ak. Rj.* malheureusement sans accent.

§ 122, 212. Il est extrêmement important pour l'histoire du roumain en général de savoir que l'ir. exprime le datif f. et m. par *lu* < *illum* préposé : *capul craĭuluĭ* = *cåpu lu cråľu.* Il en suit que l'ir. connaît de même que le végliote et les documents latins de Dalmatie[1]) la juxtaposition pour le datif adnominal : *caput illum regem* pour *caput regi(s).* Ce *lu* est égal au f. et m., au sg. et au pl. Il est devenu la préposition de même que *la* qui se trouve aussi : *di la ćaće* cf. avec *a lu* § 125. *la* ne s'accordant ni avec *fac* > *fă* ni avec *illac-ad*, il me semble qu'il faille rejeter les étymologies courantes. *La* peut s'expliquer par *illam* généralisé de la même façon que *lu*.

Au § 122 on remarque que le voc. pl. dr. *fraţilor* n'existe pas. C'est donc là une innovation dr. Elle est due au voc. turc : *efendiler*. Le voc. f. sg. en *-o* de l'ir. est dû au š., puisque le voc. č. est en train de disparaître. Il est très curieux que le véritable voc. *ćaće* soit devenu ici le nom sg. d'où le nouveau vocatif à la manière š. *ćaćo* (cf. *Ak. Rj.*, II., 125) d'après *mamo*, voc. de *mama* « mère ». Le voc. sg. *mladiću* n'est pas la forme articulée roumaine. C'est le pur voc. š. L'influence slave est ici particulièrement grande: *nebore, nebogo* de même que chez les č. et les š.

§ 132 et suiv. Parmi les numéraux il convient de constater les coïncidences avec les formes que j'ai notées dans le Velebit dalmate[2]). *do* f. = *dô, šòpći* suppose le f. **optea* > **opcę* avec le *š* dû à *šato. osmule* (p. 155) suppose **optule, -u-* serait autrement incompréhensible. *nuc*

---

[1]) Voir mon article *Curtis, Starohrvatska prosvjeta*, n. sér., II, p. 112 c.
[2]) *AfslPh.* XXXVII, p: 81.

(9) et *zecse* (10) sont vraiment très curieux. Le *c* de *nuc* est peut-être dû au végliote *dik* (10). *nuc* serait végl. *nu* + *-k* de *dik*. *zecse* est peut-être roum. *zece* + végl. *dik*. *jedănaįst* à côté de *jedenaist* sont aussi significatifs, la première forme remontant au š. *jedъnaest* > *jedanaest* et la seconde au č. *jedinajst*. On constate aussi la manière allemande de compter de même que chez les Č. : *dvă și dvaįset*.

P. 159. Les pronoms atones *ne ve* reposent sur l'analogie de *illīs* > *le* dont *-e* j'expliquerai dans une autre occasion.[1])

Dans le § 143 il est à relever la fonction relative du neutre *țe* pour les choses et les personnes à la fois, usage qui correspond à š. *što* relatif. Il en est de même de la construction *vedẹ un pul' ĭuvẹ căntẹ* «vidi pjetla *gdje* pjeva».

Au § 145 il faut signaler l'adj. *așav* formé d'après š. *takav* et non d'après č. *takov*. En voilà encore une preuve de la symbiose des Ir. avec les Š. En revanche, *codăr* dans *țirecodăr* (p. 249) «koji goder» est č. à cause de *k* pour *g*.

Au § 149 il faut constater le manque de quelques phénomènes dr. qui ont une importance particulière. D'abord, on ne trouve pas au présent l'élargissement *-ιζω* > *-idio* > *-ez*. Que cet élargissement fût connu aux R. o., c'est scr. *(o)tvarìzati*[2]) «ouvrir la porte souvent et par intervales» qui le prouve. L'élargissement *-iz-* correspond à roum. *-ez*. En scr. il n'a pu être introduit que par les R. o. Or, venus en Istrie, les Ir. ont perdu cette particularité morphologique. Au pl., les Ir. ne connaissent pas *-amus* > *-ăm*. Ils ont *-ån*. Ils y ont conservé l'état plus ancien qu'on voit encore dans *taleamus* > *tăĭem*. Pour expliquer le changement curieux du dr., il faut, me semble-t-il, partir du pl. des noms où *-ă-* marque le pl. vis-à-vis du sg *-á-*: *cetate* > *cetăți* et où le changement est dû à l'«Umlaut» causé par *-i*. Dans la conjugaison, l'empiètement analogique de la déclinaison est à attribuer à la tendence d'empêcher l'homonymie entre le présent et l'imparfait. Il en est ici de même que dans la 2. p. pl.: a. roum. *-ți(ŭ)* = roum. mod. *-ți* où la consonne du pl. des noms a été introduite de la déclinaison pour empêcher l'homonymie avec le pt. p. Cf. en italien *eglino* où *-no* de la conjugaison a été ajouté à *egli* pour empêcher l'homonymie entre le sg. et le pl. On peut vérifier cette observation en invoquant le fait même ir. C'est que l'ir. n'a rien changé ici parce qu'il n'avait pas à craindre l'homonymie entre le prés. et l'imp., la terminaison de son imp. étant *-åįam* sur laquelle voir plus bas.

Au § 150 et 243, p. 149 il faut noter la disparition du passé défini et du plusqueparfait de même que dans le scr. parlé des contrées occidentales. L'imparfait, au contraire, est conservé très bien de même,

---

[1]) Cf. pour le moment *Časopis pro mod. fil.*, XV., p. 145 et *ZONF*. IV, 235, note 3.

[2]) Ce verbe est courant à Baňa Luka et Sarajevo (Bosnie). On l'accentue aussi *tvorízati*. Les Uniales de Žumberak disent imp. *otvárĭzgaj*, *AfslPh.*, XXXIII, 344. Vuk connaît *tvarízati* «saepe aperire», *Broz-Iveković*, II, 608. Le même infixe se trouve encore dans *čangrízati* (*Ak. Rj.*, I, 887), dérivé itératif de *čandrati*, *čantrati* d'où l'adj. très courant *čangrízľiv* = *čandrľiv*. La même déformation de l'infixe que dans la forme de Žumberak se trouve encore dans *komizgati se* (*Ak. Rj.*, V, 243). On sait que le même infixe se trouve encore en alb. sous forme de *-εzoń*, cf. Jokl, *Studien*, p. 106 et suiv. (*Sitzungsberichte* 168, 1).

que dans le š. Il est hors de doute qu'il n'en faut pas attribuer la formation à l'analogie de l'imp. *veri̯am*, comme pense l'auteur. Il est sûr que M. P. explique de cette manière un x par un y, *veri̯am* lui même n'étant pas expliqué. Il faut partir des imp. non contractées de l'a. sl. eccl. : *dĕla-achъ, cĕlĕ-achъ, vidĕ-achъ, bьra-achъ, vęza-achъ, kupova-achъ* etc. qui ont donné le type approprié d'après lequel s'explique admirablement l'imp. ir. Par là s'explique d'abord le mieux l'identité de la voyelle entre l'imp. et l'inf. et la terminaison *-am* = *-achъ* qui s'ajoute à la voyelle de l'infinitif dans les deux langues. L'identité du procéde est absolue. L'ir. nous prouve par son imp. que les formes non contractées de l'a. sl. e. étaient en usage dans le yougoslave commun.

§ 151. *spara* < *expavere REW* 3036 pour dr. *spăria* montre le changement de conjugaison : *-a* au lieu de *-ea*, peut-être sous l'influence des parlers scr. qui changent *rj* > *r* à différence du slovène. **spăea* > *spărea* nous montre le même *r* comblant l'hiatus que *habet* > *are*, *Dunavis* > *Dunăre*, v. *Slavia*, VII, p. 722, note 2.

Aux § 152 et 177 on observe l'adjonction de *-a* au gérondif *-ănda*, *-inda*, *-einda* de même que dans le meglénite et l'aroumain. C'est le même *-a* que celui de *acela*. On renforce par là le caractère adverbial du gérondif de même que dans š. *sjedećki(e)*, *ležećki(e)* où le pt. prés. devenu adverbe reçoit encore *-ki(e)* des adverbes.

Aux § 158 et 161, p. 341 il faut tout particulièrement relever la coïncidence entre l'ir. et le š. dans *voi̯ fost fi (facut)* = *biću bio učinio*, *ręs fost fi (facut)* = *bih bio učinio*, cf. Maretić, *Gramatika i stilistika*, p. 288 (§ 313), 391 c, phénomène qui ne se trouve pas chez les Aroumains.

A la p. 174 l'auteur constate la curieuse métathèse dans *prei̯zi* = *pierzi* « tu perds ». Pour l'ir. de même que pour le méglenite il faut sans doute partir d'une forme non diphthongée *perzĭ* qui doit l'absence de la diphthongue à *perdut* etc. La metathèse est due à la confusion qui s'est produite entre la racine *per-zi* et le prefixe de *prefac*, *pricepe*. *i̯* devant *z* qu'on trouve encore dans *mui̯ze* à côté de *muze* « il trait » est un fait dialectal scr. Devant *s*, *z* on y intercale souvent *j*, cf. *bajs* < *basso* « instrument de musique », *špâjs* « plaisanterie » < *spasso* dans le parler de Žumberak.

P. 175. Ascoli qui voyait dans l'*-u* généralisé de la 3. pl. prés. l'influence slave avait raison. Cet *-u* est généralisé aussi dans quelques parlers č., cf. *AfslPh*, XXXIII, 343, b. Par là, l'ir. a créé une différence sensible entre la 1. sg. et la 3. pl., la même différence qu'en scr. Grâce au modèle scr., il crée *cuteg poc* pour faire ainsi la différence entre les 1. et 2. sg. Pour la même raison, il fait disparaître *-c* du groupe final *-sc* de la 1. p. sg. Les 1. sg. et 3. pl. ne se confondent pas conformement à l'usage scr.

§ 155. Les formes dites raccourcies de la 2. pl. de l'impératif *scolte* à côté *scolęte* sont dues à l'impératif č. *zante* à côté de *zamilc* « prenez » cf. *AfslPh.*, XXXIII, 371. *Scolte* donna naissance au nouveau sg. *scol* dont le type ne se trouve pas dans le č.

P. 180. Le conditionnel *avureh* « j'aurais » a emprunté son *-h* à la 1. p. sg. scr. *bih* etc.

§ 161. Il faut noter dans le conditionnel passé *rẹs fi cumparåt* « j'aurais acheté » la concordance avec le dr., tandis que l'autre construction *rẹs fost zgrizi* « j'aurais mordu » réfléchit la construction scr. dialectale « bio bih zgristi ».

P. 191. Je ne crois pas qu'il faut attribuer les 1. pl. prés. *daĭen, staĭen, laĭen* etc. à l'analogie du verbe *scrien*. Ce verbe ne se présente pas à l'esprit des analphabètes. Dr. *vreau* qui est formé d'après *beau* confirme cela. Il faut plutôt admettre l'influence des formes č.: *dā-jȅmo, stäjemo* etc. L'influence du système morphologique slave sur l'ir. est évident. On le voit aussi p. 196 dans le présent du verbe *fi* »être« où l'ir. a adopté complètement le système slave grâce à la grande ressemblance des paradigmes bulgare ou scr. et lat. vulg.: **sun* = *sъm* (= scr. *sam*) > ir. *sm*. *simus* (scr. *smo*) > ir. *sno* (cf. pour *m* > *n* la terminaison *-rno* pour **rmo*), *sitis* = bulg. scr. *ste*, *e(st)* = scr. *je* > ir. *i*. Le seul changement que l'ir. fît subir au système slave, c'est d'avoir créé les formes toniques en préposant *ă* = dr. *î* aux formes atones. Les formes ir. sont quand même précieuses parce qu'elles nous confirment que l'a. roum. avait le même système que l'italien dialectal: **sun, semu, set(ŭ)* et que dr. *sînt* dont *î* est dû à *ъ* de *sъm*, avec l'adjonction de *-t* d'après le pl. *sunt*, est un fait postérieur.[1])

§ 175, p. 201. *-o* dans *cåpo* « au début » n'est pas dû au č., c'est simplement un emprunt à it. *da capo*.

§ 182. Dans *inter* > *ăntre* la première syllabe peut disparaître: **ăntrușă* > *trușa* « cour ». Il en est de même dans scr. *antrèšeḷ, utrèšeḷ, trešeḷ(ak)* « partie libre dans la selle qui sert à déposer différents objets ». C'est un emprunt scr. fait sans doute au roum. o. Il s'emploie dans les parties š. du territoire scr. La source dalmate est à écarter, pensée à laquelle je le croyais encore *ZfrPh.*, XXXVI, 644 d'après Bartoli. La base en est non pas* *intersellium*, mais roum. o. **ăntre ṣẹle*, expression que les Scr. ont identifié avec leur acc. pl. m. d'où ils ont formé un nouveau sg. *antrèšeḷ*, etc.

§ 185, p. 208. Le suffixe déminutif *-ṣor* se trouve aussi dans l'île de Krk dans le nom de famille *Petršorić* (Sv. Anton, Dubašnica) et dans le nom de lieu *Lašȍr* (de *lac*) dont je parlerai prochainement encore la forme

§ 156. Les R. o. connaissaient pour *-ariu* > *år* dans *AGlottIt. er.* cf. aussi *Arčer* < *Ratiaria*). La preuve en est le nom de famille *Ojérović* à Perušić (Lika), de *oịer* < *oviarius*.

§ 191. Le mot hybride *târzljak* < roum. *târz-* + suff. sl. *-jak* « agneau » se trouve aussi chez les Slaves de l'Istrie qui l'ont sans doute emprunté aux Ir.

§ 196 et p. 251. *caịbẹ* « cabane, cage » est à coup sûr emprunté au frioulan de même que scr. *kâjba, gâjba*.

P. 219. La tournure *mi se vẹde* « je crois » est calquée au č. *mi se vidi*, de même *åpẹ viịe* = živa voda, « l'eau de source ».

§ 199. *turăn* « la tour », avec *ă* qui correspond au *a* dit changeant du scr. dans les groupes consonantiques finaux, est sûrement à séparer

[1]) Cf. *Časopis pro mod. fil. a lit.*, XV., p. 149, 4.

de dr. *turnu* et de hongr. *torony*. C'est č. *turan(ń)*. Que ce mot ait été emprunté à plusieurs reprises, on le voit le mieux dans le scr. où *tòroń* (Vojvodina, Serbie) réfléchit fidèlement la forme hongroise, tandis que *tórań* g. *tórńa* (Croatie) montre le croisement entre hong. *torony* et *tȕrań* g. *tȕrńa* qui s'emploie couramment dans les dialectes occidentaux croates. Cette dernière forme doit être rapprochée de all. *Turm* et de roum. *turnu*. Toutes ces formes nous assurent l'existence de *turris* dissimilé en **turnu* déjà dans le lat. vulg. La même dissimilation de *rr* > *rn* se rencontre encore dans ital. *saorna* = scr. *sovrńa* < lat. *saburra* que j'ai étudiée *Arch. roman.* VIII, p. 158, no 16. Les raisons de cette dissimilation m'échappent encore. En slave, elle se trouve encore dans *smirna* pour *myrrha*.

mošunę « étable » est emprunté sans doute lors du passage des Ir. à travers l'île de Krk, car c'est ici que se trouve l'aire de l'emprunt č. à l'a. dalmate.

§ 218, p. 246. Le genre féminin dans *do sto* « deux cents » est calqué au č. *dvi̊ stȏ* ou *stȍtine*.

§ 245, 254. La construction *ke neka* « afin que » est calqué d'après le č. *da neka*.

§ 247. Il est fort remarquable que les Ir. ne possèdent pas la conjonction *dacă* que j'ai expliquée *AfslPh*, XXXVII, 91 par *dako* « si ». *dacă* a été décomposée en *de* + *acă* < *ako* d'où *de* seul qu'on trouve aussi dans dr. *doar*[1]) < *de oare* < *volet* qui traduit en partie *da li*. Au lieu de ces conjonctions les Ir. ont *se* < *sĭ* avec le conditionnel dans toutes les deux parties de la proposition conformement à l'usage scr., quand la subordonnée est introduite par *kad*, *ako*.

Au § 288 il faut rayer l'astérisque devant *sībe*, forme qui est attestée, cf. CIL III 8375 = 12749, 1808.

B

L'auteur n'a malheureusement pas consacré une attention spéciale aux réflexes ir. pour *ъ*, *ь*. Il aurait pu voir qu'il faut distinguer dans leurs slavismes plusieurs couches qui s'expliquent admirablement par les parlers scr. dont ils ont fait la connaissance avant de se fixer dans l'Istrie. Aux §§ 5, 14 (p. 6 6,71) on constate *ă* pour *ь ъ* : *băt* (p. 234) « bâton », *rebăț* « passecau », *uĭăț* (cf. § 28a) « oncle », *bățve* (§ 43) < scr. *bъčьva*, réflexes qui ne se trouvent pas dans le parler č. de leurs contrées. Il faut conclure que les Ir. ont conservé ici une phase antérieure des parlers š., parce qu'il y a aussi *ǫ* pour *ъ* : *zlibǫ́ts* pl. *zlipți* (p. 144) et aussi *ь* > *e* dans *sě̊męny* pl. *sě̊mńi*. *ъ* > *o* est caractéristique pour Dobrinj (Krk). *Semeń* se trouve près de Miholjice (Krk). Dans le voisinage de ces endroits (cf. le nom de lieu *Sugari* près Dobrinj) il y avait en effet des Roumains, ancêtres des Ir. Pour ir. *čebăr* il faut postuler non pas scr. *čabar*, mais une forme plus ancienne *čьbъrъ* où l'on distinguait encore les deux sémivoyelles. Dr. *ciŭbăr* est la même forme avec

---

[1]) Cf. une autre manière d'expliquer ce problème syntaxique chez Drăganu, *Conjucțiile de și dacă*, *Dacoromania*, III, 251—284.

u au lieu de *e* dû à l'influence labiale. Dans ce cadre d'idées, reçoit une importance toute particulière *vožemu* « Pâques » < *vъzьmъ* et *loži* > *lъžo* « mentir ». Ce sont des reliques linguistiques des contrées où les slaves connaissaient et connaissent *ь, ъ* > *o* (Dobriń). Mais *vožemu* montre en outre la différence entre *ъ* et *ь*. Cette différence se trouvait au moyen âge dans les contrées de Skadar, cf. *Rotec* < *rъtьcь*, *Rad*, v. 224, p. 146. Or, M. P. a constaté p. 169 une ressemblance frappante entre les phonétisme ir. et alb. dans *înmeță* = *mεsoń* = *invitiare*, de même dans *ănmesti* = *investire*. Il est, par conséquent, très vraisemblable que les ancètres des Ir. ont séjourné dans le voisinage de Skadar de même que *Bojanci* (v. plus haut). *ь, ъ* > *ă* est dû au š. ancien. Cet *ă* est devenu changeant à la manière scr. Il s'intercale entre les groupes consonantiques à la fin des mots ital. et roum. : *arăt* < it. *arte* (p. 72), *peducăl'* < *peduculu*, fait qui ne peut s'expliquer que par la symbiose linguistique. Il apparaît et disparaît dans la déclinaison de même qu'en scr., v. § 114 et 128b. La question de ce *ă* est extrêmement compliquée par le fait qu'il ne se trouve pas à la fin des mots d'origine latine ni devant l'accent : *arată, damarețe*. Après l'accent il peut se trouver seulement devant une consonne : *tirăr* < *teneru*.

§ 6. Très important est aussi le passage *a* > *e* dans les préfixes sl. *na-*, *raz-*, *za-*, fait commun au dr. : *nisip*, *nicovala*, cf. *trimes*. Ce passage frappe également les éléments nouveaux et les anciens : *reziadi, netezei, reseți, zekoli, zesluzi, nepravi*. Ce fait ne s'est pas développé en Istrie. Il n'est pas facile à l'expliquer. Ce qui s'explique le plus facilement, c'est *razъ* > *res* d'après *des-* < *de ex*. Pour *na-*, *za-* > *ne, ze-*, il n'y a que *trimete* qui donne un modèle latin.

Le § 14 n'est pas tout à fait net. Il y a de la confusion là-dedans. Il faut absolument distinguer le *r̥* sonans que les Ir. ont appris chez Č. et Š. de *l* et *n* sonantiques qu'ils ont créés eux mêmes. Dans *-ъn* > scr. *-an* > ir. *ăn*, *-ъl* > scr. *-al*, *-ao* > ir. *-ăl* il n'y a pas de *l n* sonantiques. Ici *ъ* > *ă* est régulier. *ărženițe* remonte non pas à š. *raženica*, mais à č. *rženica*. Ce qui est curieux c'est que les Ir. ont créé un *n* sonantique d'après le féminin des adj. m. *-ъn*, f. *-na* : *vridn̥*, *žalostn̥*. Mais *svitlu* ne suit pas ce modèle. Ils sonorisent ensuite aussi les anciens *în* < *ѫ* : *dobndi* (p. 175) de même que *îr* dans *obrni* (p. 176). N'ont-ils pas développé *n̥* en symbiose avec les Slovènes qui le connaissent dans *ràitn̥ga* etc. ? Quant à *l̥*, je le constate sous la forme du dialecte de Vrbnik dans *al delsniç a noștri* (chez Feretić, p. 149).

Au § 30 sont à rayer *pricrizi*, *privari* de la liste des exemples montrant *e* > *i* devant l'accent. La base de ces slavismes ir. est le dialecte ikavien scr. que les Ir. ont appris à connaître lors de leur voyage à travers la Dalmatie. Il en est de même de pl. *dizi și pridizi* (p. 206), *pristrasi*, *prikuni* (p. 170, 206, 207), *nesrice* (p. 205). L'auteur donne souvent les bases scr. sous forme littéraire au lieu de la forme ikavienne qui conviendrait mieux : *zlib* § 77, *sviti*.

§ 32, 62. *borbit* « peut-être » n'accuse sans doute pas la même syncope de la voyelle inaccentuée que *kårle* « qui », puisqu'il y a dans les dialectes č. *morbit* (cf. kajkavien *mozbit*). *Segurne* avec son *e* protonique

au lieu de *i* dans scr. *sigurno* = dr. *de sigur* demande une forme č. *segurno* que je trouve en Žumberak.

Le *-e* final facultatif qu'on ajoute aux adverbes *åsteze* à côté de *åstez* se trouve aussi dans les dialectes š. : *već* à côté de *veće* (cf. p. 202 § 178). C'est aussi un des résultats de la symbiose linguistique chez les Ir.

Dans le verbe *poidi* « s'en aller » *e* n'a pas disparu. C'est un réflexe tout à fait régulier de č. *pojdem* = š. *pođem*, composé du v. *iti* = š. *ići*. *poidei*, au contraire, remonte à coup sûr à č. *pȍjdem* de *pojȉsti* « terminer de manger ». *Pojedem* et *pojedam* que donne l'auteur sont inexactes.

§ 41, 74, p. 92, 114. Dans *posńi* « commencer » il n'y a pas de syncope de *i*, la forme ir. remontant à scr. *počnem*. La disparition de *i* initial dans les composés verbaux avec *izъ-* n'est pas non plus un fait ir. : *spovidi* « confesser », *zbudi* « éveiller », *zmisli* (§ 26, cf. slov. Pleteršnik). C'est un fait č. ou slovène.

§ 41a. Il en est de même de *cirip* qui réfléchit č. *čerip* « tesson ».

Pristen « anneau » pour *prъstenъ* est très curieux. Puisque les Ir. connaissent *r̥* (cf. *ocrvavi* p. 184 en regard de *restărgni*), il faut supposer qu'ils conservent ici la forme qu'ils ont empruntée aux Bulgares lors de la période de leur symbiose avec eux. **pîrstenu* > **prîstenu* ils l'ont changé en *pristen* d'après le type *cuvînt—cuvinte*.

§ 48 a et 105 *nuc* « neveu « avec *vъ-* disparu est sans doute č., cf. *nůk* dans le Žumberak č.

§ 60. Dans les cas où il y a *f* > *h* comme p. e. dans *hlamund* « qui a faim » etc. on pourrait voir le même fait que dans *Prhetov* pour *Prefetov* à Vrbnik (cf. *AGlottIt.*, XX, 129) ou dans d'autres dialectes c. (cf. *kaha* « café » dans l'île de Ugljan, Dalmatie).

§ 61. *blaŭ* « bleu », avec *pl* > *bl*, est peut-être germanisme.

§ 61b. *vn* > *mn* dans *ramnițę* « plaine » est un fait č., non pas ir.

§ 61e. *spărtę* repose sur *sprta* ((Parčić), non pas sur *sprtva*.

§ 62a. *-m* > *-n* est aussi un fait qui s'est produit dans la symbiose linguistique. Ce phénomène est très répandu chez les Č. des îles adriatiques, à Spalato etc.

§ 65, 66. Il est très important de noter *sț* pour *șt* dans *cunosți* « tu connaît », dans le pl. *mušć* de sg. *muskę* (p. 142), *țesći* = *acești* (§ 66), parce que, ici, la phase plus ancienne *șt* a été adaptée au č. ou bien, en partie, au š. *šč* dans *praščenița* avec *pl* > *pr* est slovène.

§ 66b. La disparition de *t* dans *žålosni* est un fait scr.

Cocoći pour *cocotići* présente l'haplologie *-tići* > *-ći*.

§ 67. *bozigńak* à côté de *-dńak* ressemble à *petńica, božitńak* (Žumberak). Ce sera aussi un fait š. ou č.

P. 113. Le nom de lieu *Gajina* (§ 271) ne peut pas servir de comparaison pour le manque du rhotacisme dans *gaină, galina* à côté de *gal'iră*, car c'est un agmentatif slave de *gaj* « forêt ». *Gaina* ou *gal'ină* » poule « est un cas analogue à celui de *mund* où la forme italienne s'est superposée à la forme roumaine.

Au § 74, p. 114 il faut souligner *ogńiste* « foyer » qui prouve que le

mot slave a été emprunté à un parler š. avec *št* pour *šć*, donc avant que les Ir. sont venus s'établir en Istrie.

Il est intéressant aussi de voir dans *negańẹi* < sl. *nagańati* (forme itérative pour *nagoniti*) que la forme itérative sl. a donné la voyelle, et l'autre la consonne.

Dans *ogan* « feu » au lieu de *ogań* il faut voir une dissimilation qui s'est produite dans les cas obliques : *ogńa* > *ogna* ; de même *šań* « sommeil » est dû à l'assimilation qui s'est produite d'après le pl. *sni* > **śńi* (cf. *žľib* § 77 pour *žlib*).

ańel « ange » à côté de *ǫnyelu* repose non pas sur scr. *ń*, mais sur *ny* qu'on entend dans ce mot (*an-jel*) dans les parlers č.

§ 75. Dr. *cinste* repose sur **čęstь* qui, en yougoslave commun, a dû exister à côté de *čьstь*, parce qu'on a en scr. *čest* « personne » (Raguse) et *čestit* « honnête ».

§ 85. *žep* « poche » est aussi č.

§ 86, 87. Les Ir. ont emprunté aux Č. la consonne *ć* qu'ils ne confondent pas avec *č* > *ţ*. Ils l'étendent aussi à *-ţi* + voyelle ou bien à *-te* + *a* d'origine roumaine : *anreťće* = *înaintea*. Voilà une nouvelle preuve pour le cas qu'une innovation linguistique s'étend peu à peu à d'autres cas qui lui étaient étrangers au commencement.

§ 88. La question qu'il faut se poser à l'occasion de l'épenthèse de *l* entre *p* + *ie* (*pľerde*) est celle de savoir où elle s'est produite, en Istrie ou bien lors du voyage des Ir. à travers les contrées š. Je me rallie à la dernière possibilité. Des formes tels que *fier* < *ferrum*, *pierde* < *perdit* faisaient dans les contrées jekaviennes nécessairement la même impression que les mots sl. *běžati* « fuir » > jekavien dialectal *bļežati* etc. On en fit de même dans les mots d'origine latine.

P. 126. *ịe* affirmatif est identique à č. *jȇje* « oui » redoublé, contraire de *nȋ ne* » non «.

§ 92, 97. *staχur* « rat » ne remonte pas à *štakor*, mais à *stàhor* (en Bosnie, Bańa Luka, aussi *stàvor*), avec ou sans *v* qui comble l'hiatus, Broz-Iveković, II., 463. Le mot nous dit clairement que les Ir. l'ont emprunté lorsqu'ils séjournaient parmi les Š.

§ 97 d. L'adjonction de *h* devant *r* et *a* est un fait scr. dialectal.

§ 104, 133. Il faut rapprocher de *sastele* « six » la même forme à Velebit (cf. *AfslPh.*, XXXVII., 81).

La forme *måịe* correspond à š. *mája*, hypocoristique de *mati* qui ne s'emploie pas chez les Č. (*Ak. Rj.*, VI., 385). Il en est de même de *ćajẹ* qu'il faut comparer à *ćȁjko* (*Ak. Rj.*, II., 125).

§ 110. Dans *muţeník* « martyr », *ogníşte*, *ịuzínẹ*, l'ir. a conservé l'accent ancien du scr. où celui de leur voisins č. Il n'a rien adapté ici aux usages roumains. L'auteur semble avoir confondu l'accent moderne š. *ògnīšte* avec l'accent ancien *ognȋšte* (en Žumberak *ogńȋšće*). Pour š. *mȕčènik* disent les Č. *mučenȉk* (Žumberak).

P. 142. Les pl. tels que *breki*, *bånki*, *turki* etc. sont des purs čakavismes. Il en est de même des pl. fém. *băţvi*, *rpi*, *ustni*, *braidi* au § 113 a, b.

Au § 129, il faut noter comme un des plus grands effets de la symbiose des Ir. avec les Č. le neutre des noms et des adj. en *-o*. Mais on con-

tinue quand même de dire *ur selo* (§ 132). C'est donc un fait tout à fait récent. L'ancien -*o* slave changé en -*ă* est devenu ici -*ę* (cf. p. 223).

Au § 134 il faut signaler la présence des compléments négatifs š. sous forme ikavienne *zå lic(a)* = *ni za lijek, l̂ik; mărvę* = *mrva*.

P. 170. *obeți* « promettre » ne réfléchit probablement pas č. *obećati, -a(je)m*, parce que l'ir. retient *ć*. C'est *č* qu'il change en *ț*. Il faut supposer slov. *obečati* comme source.

Il faut, ensuite, noter la présence des formes verbales sans *u*: *smilvi, darvęi, gospodarvęi* (p. 182). De tels formes se trouvent sporadiquement aussi chez les Č., cf. *obedvęi* (§ 192) = *obedvati* « prendre le repas de midi » (Žumberak).

Quant à la terminaison très curieuse -*ęi* à l'inf., il faut tout d'abord noter qu'elle se trouve dans les verbes d'origine slave et italienne, dans le premier cas en alternance avec -*i*. Les Ir. conjuguent les verbes italiens d'après le procédé qu'ils donnent aux verbes slaves, cf. *zekăntęi* (§ 183) = *zakantàt*. Il faut évoquer à ce propos l'exemple des Dr. qui conjuguent les verbes d'origine hongroise d'après le modèle slave, cf. *cheltui* < *költeni*. C'est parce que les Ir. ont reçu l'élément italien par l'intermédiaire slave. Faut-il faire la même conclusion au sujet de l'élément hongrois du dr. ? La façon dont je m'explique l'origine de ce -*ęi* n'est pas la même que celle qu'a adoptée l'auteur. Je ne peux pas considérer l'impér. slave -*ajmo* comme le point de départ de ce type. Ce qui est d'abord sûr, c'est que *ę* remonte à *(e)a*. Or, nous savons que les Ir. ont apporté de leur symbiose avec les Bulgares *ea* > *a* ; *zåzet, čåptir*. Vivant en symbiose avec les Scr., ils ont confondu la terminaison -*ăti*, 3. p. sg. -*â* des verbes scr. avec *vedea* > *vedę*. De cette manière, *kaštigàti* « punir » ou *ganati* « parler » (suivant Parčić, le verbe est č.) à l'inf. et à la 3. p. sg. a donné *kaštigę, ganę*. Mais les Ir. ont dû apporter aussi l'habitude de conjuguer les verbes slaves d'après la conj. -*i*, cf. *obeți* « promettre ». Il faut donc considérer la conjugaison *ęi* comme le compromis de ceux deux types. L'hybridisme de ce type est encore visible dans ce qu'il ne présente pas -*ste* (p. 189) dans la 3. sg. : *gonę, kuhę*, fait que l'auteur n'explique pas, tandis qu'aux 1. 2. sg. et 3. pl. il représente le schéma des verbes en -*i*. D'ailleurs, l'impératif -*ajmo* ne peut pas expliquer *ę*, et cela d'autant plus que les Ir. ne changent pas sl. *ai̯* en *ei* comme les Dr. : *običaj* > *obiceĭŭ*, cf. *crai̯neț, crai̯l'estvo*. Il faut, ensuite, noter que *ęi* ne se trouve que dans les 3. sg., 1. et 2. pl., c.-à-d. dans les personnes qui, au point de vue de la voyelle, montrent la même voyelle que l'infinitif.

§ 190. L'ethnique *Briån* (de *Brdo*) est clair. C'est *brđan* avec č. *j* pour *di̯*. Le *j* s'est vocalisé dans leur bouche. Au contraire, *Novošan* de *Noselo* « village neuf » surprend à plusieurs égards. 1° Tandis que, dans *Noselo*, on voit la même contraction *ovo* > *o* que dans *i̯o voi̯* > *io-i̯* (p. 183) ou dans *te ver* > *t-er*, dans l'éthnique, elle fait défaut. 2° La consonne *š* y surprend davantage encore. Je ne peux l'expliquer autrement qu'en supposant **Novoselščan* (cf. *Novoveščani* de *Nova ves*, à Zagreb), d'où, avec la disparition de l^{cons}, *Novosešan* (*šč* > *š* se rencontre en slovène) et, avec l'haplologie au lieu de la contraction, *Novošan*.

§ 192. *obedvei* est à rayer de la liste des itératifs du type *amnavei* qui sont caracteristiques pour les Ir. Le verbe ir. provient de č. *obedvati*, forme qui est perfective.

Dans le § 199, très important pour le slavisant, on remarque *senoți* « cette nuit, la nuit dernière », emprunté à slov. *sinoči* (Pleteršnik), avec *e* au lieu de *i*. Il faut donc supposer le gén. *se noči*. D'autres dialectes č., comme p. e. celui de Žumberak, montrent encore aujourd'hui l'oscilation des cas dans cet adverbe : *snȍć* < *sьnoć* (acc.) et *sinoć* > *si-* (locatif). L'ir. a généralisé le genitif.

Des expressions tels que *mesec pun*, *slip na jeno oko* sont courantes dans le č. Elles ne sont pas calquees au roumain. D'autres dialectes, comme p. e. celui de Žumberak, empruntent pour le second cas turc *k'or* > *ćȍrav*.

§ 200. *crstian* « homme » est sûrement emprunté à č., cf. *AfslPh.* XXXIII., 348.

§ 210. *zå-se*, *zå-me* sont des emprunts faits à č. *zá se*, *zá me*. C'est *å* qui le prouve. Il n'y a pas ici des constructions roumaines.

§ 252. Les origines des Ir. sont caractérisées aussi par la présence de la conjonction adversative *ma* « mais » et par *nogo* « que » inconnues au č. L'auteur lui-même désigne *ma* comme balkano-slave. Dans les parlers catholiques de Žumberak, cette conjonction est sentie comme appartenant à la langue des orthodoxes dits « mutani », habitants de Lika, Sluń etc. Suivant *Ak. Rj.*, VIII., 224, *nogo* ne s'emploie qu'au Monténégro. Suivant cette donnée, les Ir. ont séjourné, faisant partie de la population serbe qui faisait des migrations après la conquête turque, quelque temps même au Monténégro.

Pe tutoro semble reproduire ital. *tuttora*.

§ 256. A côté de š. *zasto(ke)* « c'est pourquoi » ils parlent *zaț* > č. *zač* (§ 262) et *de ța* = *de ce*, purs čakavismes.

§ 258. *Za* dans la fonction comparative est č., cf. *AfslPh.*, XXXIII., 353, 41.

§ 262. *sa*, particule qui exprime l'admiration, n'est pas roumaine. C'est *se* des Č. de Žumberak; les Uniates disent *sa*, d'origine pronominale; cf. *AfslPh.*, XXXIII., 351, 27.

§ 267, p. 268. L'ommission du verbe *face* dans la tournure *țeren de ie* est exactement la même que dans š. ou č. : *što ćemo s ńime* (sc. učiniti)?

C

Pour reconstruire la langue des R. o. l'auteur étudie le vocabulaire scr. en tant qu'il peut être regardé comme d'origine roumaine. Ses savants études m'ont suggéré les remarques suivantes.

P. 278. Contrairement aux raisons de l'auteur, je maintiens mon étymologie que j'ai donnée *ZfrPh*, XXXVII., 544 du mot scr. *(h)arănija*, *orànija* « espèce de chaudron de cuivre ». C'est un parfait adj. roum. m. *arămiŭ*, f. *-ie* dérivé de *aramă* « cuivre, airain » au moyen du suffixe assez productif *-ivus*, *-iva*, cf. *argintiŭ*, *auriŭ*, *pămintiŭ*. Le suf. abstrait *-ια* > *-ie* n'a rien à y voir. Grâce à un procédé des plus com-

muns, l'appellatif *căldare* disparut et resta seul l'adj. : *arămie* « grand chaudron de cuivre ». Le changement *m* > *n* s'est produit en scr. à cause de l'homonymie avec *haramija* « brigand ».

bălaur se trouve aussi à Krk (Dubašnica) sous forme de *mulavar* au sens de ‚Scheltopusick'.[1])

Pour *baligă* etc. c'est M. Barić, qui a proposé une étymologie acceptable, v. *Јужносолов. филолог*, II., p. 297.

P. 297. Le nom de personne *Barbakane* ne peut pas provenir de *barbukati.*

P. 280. On ne sait pas pourquoi *bolovan* figure parmi les mots scr. empruntés au romain.

Si *Bradel,* nom d'un Vlah, était roumain, il devrait présenter *z* au lieu de *d*.

P. 282. *karara* « sentier » et *krbun* « charbon », mots de la côte orientale de l'Adriatique ne sont sûrement pas empruntés au roumain, mais à l'italien. C'est le point de vue géographique qui s'oppose au roumain. Les roumainismes scr. se trouvent généralement dans la partie orientale du territoire ou parmi la population qui faisait des migrations et s'occupait de l'élevage des moutons.

P. 283. *kačar(a)* « cabane dans laquelle on dépose les *kace* (cuves) » n'a rien à faire avec le déminutif roumain *cașcioară*. C'est *kadьca* + *-jara*.

Katuša, nom de femme d'où le métronymicum *Katušić*, est le dérivé scr. de *Kata*, hypocoristique de *Catharina*, au moyen du suffixe très usité *-uša*.

Kičer « grosse bloc de pierre incliné dans les montagnes » (*Ak. Rj.*, VII., 389) est slave, dérivé au moyen du suffixe *-er* de *kyj-ьkъ* > *kijak*, *kîk*, racine qui se trouve souvent dans la toponymie (cf. *Kijevo*, *Kijev dȍ*), *Kijac* < *kyj-ьсь* (cf. Berneker, p. 676), cf. aussi *nakičiti se* « se pencher ».

P. 284. Le nom de personne *Komša* ne dérive pas de *coamă*. *-ša* est le suf. hypocoristique très répandu. Comme il s'agit d'un Vlah, je pense à *Κόμανος* (cf. *Kumanudi*, nom d'un Aroumain au nom déminutif grec). *Komšić*, nom de famille en Bosnie, peut avoir aussi une autre origine, turc *kòmšija* « voisin ».

Kopač doit être biffé de la liste.

P. 286. *Dromira*, nom d'un village dans le voisinage de la Zeta, n'a rien à faire avec *dormi* (*Durmitor*). C'est un nom albanais : *druja mirɛ* « bon arbre ».

Dimitor > *durmitor*, montagne en Bosnie, suppose la disparition du premier *r* à cause de la dissimilation. *i* pour *u* est peut-être à cause *Dimitrija*.

Dračanica et *Dračevica*, noms de lieu très communs en slave, n'ont sûrement rien à faire avec *drac*. Ce sont des adj. substantivés de *drač* « épine ».

---

[1]) Voir aussi chez Hirc, *Rječnik*. s. v. des attestations provenant des auteurs modernes.

M. P. a raison de douter de mon étymologie de ser. *cura* < *fețore*. *ZfrPh.*, XXXVIII., 545. Mais *c* au lieu de *č* nous est donné aussi dans ***cuncupa*** du même sens.

P. 287, 312. *guń* « sarreau, caparaçon, couverture, housse, tapis » n'est pas entré en ser. par l'intermédiaire des Roumains. *ń* pour *nn* ressemble à *ll* > *ļ* de *casulla* : *košuļa*. Le même *ń* pour *nn* se trouve encore dans *pońava* (hong. *ponyva*) < *pannus*. Le sens n'est pas le même qu'en roumain. Ce n'est pas le vêtement pastoral comme chez les Roumains. La présence du mot chez les Slovènes et les Ser. occidentaux et chez la population qui était toujours sédentaire fait plutôt penser à un emprunt fait au latin balkanique. Le changement de genre surprend. Il ne s'explique ni par le roumain non plus.

P. 288, il est douteux, si *mrkatuńa* (Raguse) est venu par l'intermédiarie roumain. A Trpanj on dit *margàduńa*. Le question demande encore des recherches.

Il est fort curieux de noter le suffixe grec -*ακι* > *ać* ajouté à un mot d'origine roumaine : *gunturać*.

A *Ljepurov* il faut ajouter encore le nom d'un village dans la proximité de Zara *Lepúri*, dans une contrée où il y a avait des Morlaques.

P. 289. Le nom de lieu *Lupoglav* n'est pas d'origine roumaine. Il se trouve aussi en Zagorje (Croatie) là où il n'y avait jamais de Morlaques.

A côté de *Magura* il faut noter aussi *Mogorjelo* (Herzégovine) dont l'interprétation n'est pas tout à fait certaine.

P. 290, 314. *Merucich*, nom d'un Vlah (a. 1398), doit être lu *Mrvčić*.[1]) Il ne peut pas être comparé au dém. roum. *meruț*, mais plutôt au nom de village *Mrvci* (Bosnie).

Mošuļ, nom de lieu (Bosnie), se prononce aussi *Mošuń*. Le rapprochement de *moș* est à rejeter.

P. 291. *Mosor*, nom de montagne dans les environs de Spalato, s'appelle dans les documents *Masarum*. Il est illyrique, cf. *Glasnik zem. muz.*, XXXII., 32.

P. 292. Les roumainismes ser. appartenant à la langue pastorale, pour les mots tels que *paun* il faut révendiquer l'autre origine romane.

plaj est appellatif et nom de lieu à la fois sur l'île de Rab, dans le voisinage immédiat du végl. *pluį* et de *ploj* du ser. de l'île de Krk. C'est du dalmate.

P. 293. *rusal'e*, nom de fête, a la même diffusion géographique que *calenda* > *kolęda*. Le mot provient du latin balkanique de même que *košuļa, pońava, guń* etc.

rupa « trou » est à séparer de l'aroum. *arîp, rup* « précipice ». La présence de ce mot en slovène ne parle pas en faveur de l'origine roumaine.

P. 294. Pour les mêmes raisons, *sa(o)pun* ne peut pas être roumain.

škrt « avare » est sûrement roman, parce qu'il y a dans les dialectes

---

[1]) On écrit la famille au pl. latin *olachi Mreucii vocati comitum de Corbavia* a. 1398, Klaić, *Acta Keglevichiana*, p. 111 (*Mon. hist. Slav. mer.*, v. XLII). On voit clairement que le latinisateur avait des difficultés pour rendre *r̥*. Il l'écrit une fois *er* et l'autre *re*; *u* doit être lu comme *v*.

italiens assez de parallèles sémantiques : veron. *śkurśo* « avaro, taccagno », cf. Prati, *AGlottIt.* XVIII., 338. En faveur del'origine roumaine parle bulg. *skъrčavъ* « geizig » (Weigand) et le point de vue géographique, l'adj. scr. appartenant au territoire oriental.

P. 295. *Soretić*, nom de famille, se prononce dans le pays où il est originaire, à Žumberak, *Zurȅtić* (catholique). *So-* est dû à la graphie allemande qui était obligatoire dans les anciens confins militaires. *Zu(o)rȅtić* est le patronymicum de *Zú(o)re* ⟨ *Georgius.* La comparaison avec *soare* est impossible.

Štrbac, nom de famille, est entièrement slave. C'est le déminutif de *ščrb-* « édenté ».

P. 296. *Tao(u)r*, nom de lieu assez nombreux, demande à être étudié avant d'être identifé avec roum. *taur* « taureau », cf. *ZONF*, I., 85.

Tus, nom d'un Vlah, peut être rapproché de l'alb. *Tuz.*

Vȁla, nom de lieu, est sans doute récent. C'est l'italien qui est sa base.

D

Une attention toute particulière est consacrée aux suffixes roumains dans l'onomastique scr. A défaut des étymologies sûres, ce sont les suffixes qui nous aident à établir l'origine d'une personne. Que se procédé soit sujet à caution dans beaucoup de cas, ce sont les remarques suivantes qui vont le prouver.

§ 272. *Zelesco*, nom de personne, peut être rapproché du nom de famille serbe *Selesković*. D'après *-scu*, le nom paraît être roumain. Mais il est curieux de constater ce suffixe ajouté à l'hypocoristique sl. dans *Giadrescu* de *Jadre* ⟨ *Andreas*, nom d'un Morlaque.

P. 298. *Ćepulić*, nom d'une famille à Bakar, est le vénitien *Tiepolo* slavisé, cf. *Časopis pro mod. fil.*, VII., 295.

Marulić est ancien dalmate *Marul*, attesté déjà dans les inscriptions *Marullus.*

Zezulić peut contenir l'art. *-ul.* La racine est peut-être alb. f. *zezɛ* » noire «.

En général, il faut se garder de flairer dans chaque mot se terminant en *-ul* un nom roumain.

P. 301. *Tudor* est tout à fait clair. C'est *Theodor.*

Staver est un nom de personne grec: *σταυρός* « croix » avec l'*e* = *a* instable (changeant) scr.

P. 304. Les hypocoristiques courts *Bran, Stan, Vlad*, sans aucun suffixe hypocoristique : *-a, -o, -e*, sont pour la plupart des noms de Vlasi. C'est pour cela que je les ai considérés comme créations roumaines pour *Brano(a,-e)* de *Branislav*, etc. V. *Glasnik zem. muz.*, XXX., p. 308. Les raccourcissements des noms de personne sans adjonction des suffixes hypocoristiques ne se rencontrent pas, que je sache, chez les Slaves méridionaux.

-a dans *Brata* de *Bratoslav* est tout à fait clair. C'est le suffixe par excellence serbe.

P. 305. *Krul'ăț* des Ir. contient sans doute l'acc. č. *Krūļăc*, g. *Kruljca*. En Bosnie il y a aussi le primitivum *Kruļ* (famille orthodoxe).

P. 306. La terminaison *-ea* très répandue dans les noms de famille roumains remonte sans doute quelquefois aux noms slaves se terminant en *-ļa* où *-ńa* : *Milea* < *Miļa*. *Pavelea* < *Paveļa* etc. où la consonne, palatale, au moment que l'évolution *lį* > *į* et *nį* > *į* était déjà achevée devait être nécessairement rendue par *-lea*, *-nea*. Grâce à ces cas, on a formé un nouveau suffixe hyporocistique *-ea*. Il ne faut peut-être pas penser au composé de deux suffixes :*-e* + *-a* pour lequel il n'y a pas de parallèle slave.

Dans la richesse extraordinaire qu'accuse le suffixe hypocoristique *-e* chez les Slaves du sud, il ne faut sans doute pas voir une influence du vocatif roum. en *-e* qui est slave. C'est parce que les suffixes servant à dériver les hypocoristiques présentent l'alternance vocalique : *-a*, *-o*, *-e*. Dans les dialectes, ils peuvent encore exprimer des nuances affectives. Dans mon dialecte (Jurkovo Selo, Žumberak), *-a* ajouté à la forme raccourcie d'un nom de baptême exprime la révérence envers la personne portant ce nom, *-e* sert à caresser les enfants. *Pèra* est un adulte qu'on révère; *Pére* est un Pierre enfant, qu'on veut caresser. *Pèrče* est un Pierre qu'on gronde, qu'on veut injurier etc.

P. 308. Je ne vois pas de raisons suffisantes pour admettre la pensée de M. P. que les suffixes composés *-ilă*, *-ală* dussent être antérieurs au contact des Roumains avec les Slaves. Ici, on ne peut pas non plus penser à un suffixe d'origine thrace, parce que alb. *moδułe* — roum. *mazăre* nous dit que *l* thrace a été traité de la même façon que *l* latin. Ce qui est curieux, c'est que les suffixes *-ilo*, *-alo* désignant les personnes se trouvent seulement sur le territoire š. : *Radumilo* (Bosnie), *zabadalo*, cf. Maretić *Gramatika i stilistika*, p. 319 § 337 c. Chez les Č. et les kajkaviens je ne le rencontre pas du tout. Or, les Roumains ont vécu en effet en symbiose avec les Š. beaucoup plus qu'avec les Č. Ce suffixe se compose de deux éléments : a) *-il*, *-al* d'origine participiale (cf. tchèque *Vyskočil*, *Vymazal* etc.) et b) *-o* qui est hypocoristique, cf. pour de tels composés *-ъk* + *-o*, *-a* dans *Dinca*, *Ivancu*, *Raįcu*, *Stoicu* à côté de *Stoica*, *Milcu*, *Stancu* à côté de *Stanca*, *Noica*, *Tașcu* (cf. Hadži-Tašković, originaire de Voden, en Grèce).

P. 309. *-ișt* est la forme la plus ancienne pour *-ić* en scr. p. 307.

-iv n'est pas suffixe dans *Dabiživ* qui me paraît plutôt un composé de *da* + *bi* + *bio* + *živ* « qu'il vive ».

moșneag ne contient pas le même *-něg* qu'on trouve dans le nom de personne *Bratoněg*. C'est parce qu'on a à côté de *moșneag* aussi *moșan*, dont le suffixe est clair. Ce dérivé paraît être déformé sous l'influence de l'adj. *moštьnъ* « puissant », d'où *moștean* et v. *moșteni* « hériter» et *moștnean* > *moșnean*, d'où v. *moșneni*. Le mot primitif *moș* a été élargi aussi par le suffixe sl. augmentatif et celui-ci encore affublé de *-aș* : *moșinaș*. On voit que la création roum. a été soumise à toutes sortes des réformes. Quelle est la cause de la réforme *-neag* opérée sur :*-nean*, je n'en sais rien.

P. 310. *Usoje*, nom de lieu des Ir., n'a rien à faire avec les noms ne personne en *-oje*. C'est *osoje* « lieu exposé au soleil ».

E

Dans les conclusions (§ 316—319) qui sont extrêment riches d'idées, M. P. aborde, avec une science incomparable, les problemes les plus ardus des origines des Roumains.

P. 356—7, il a sans doute raison de se ranger contre ceux qui cherchent dans une contrée des Balkans plus ou moins étroite le berceau primitif des Roumains. C'est parce que la langue roumaine est en effet la transformation historique du latin balkanique. Son étendue comprenait cependant un grand territoire des Balkans qui coïncidait, dans la plus grande partie, avec le territoire occupé ultérieurement par les Slaves.

M. P. ne me paraît pas assez tenir compte de ce que ces Romans balkaniques avaient pu avoir des destinées très différentes dans les divers contrées de la péninsule. Dans quelques contrées ils ont pu se maintenir assez longtemps, voire même jusqu'aux temps récents, vivant dans la symbiose avec les Slaves. Dans d'autres, ils ont émigré dans une époque plus ou moins reculée ou bien ils ont été de très bonne heure slavisés pour réapparaître plus tard dans les mêmes contrées grâce à de nouveaux migrations. L'histoire de tout cela est encore à écrire.

Si le territoire où s'est formé originairement le roumain n'a pas été étroit, comme il faut bien l'admettre avec l'auteur, de ce fait il faut bien conclure qu'il n'y avait pas, à proprement parler, de séparation dialectale roumaine ayant pour base une petite contrée commune. L'idée d'une petite contrée unique où s'est formé primitivement le roumain a été sûrement suggérée aux roumainisants par les comparatistes i-e., qui sont habitués à cherches les origines i-e. dans une contrée assez restreinte.

La position respective des dialectes roumains au point de vue géographique, à en juger d'après le lumineux exposé de M. P., présente, en somme, le même tableau que les langues romanes occidentales qui ne sont pas le résultat d'une séparation dialectale survenue dans une contrée plus ou moins étendue, mais le résultat de l'évolution du latin dans les différents territoires occupés par les Romains, évolution três souvent indépendante d'une contrée à l'autre.

En adoptant la pensée de M. P. que le roumain s'est développé sur un grand territoire balkanique et dacique occupé par les Slaves, il faut nécessairement abandonner — c'est ce que ne fait pas l'auteur — toute idée qu'il y avait eu séparation dialectale, d'où seraient issus les dialectes actuels. Il faut, au lieu de cela, dire que les Ir. (= Românii apuseni), les Dr. et les Méglenites, ces derniers en tant que les représentants de ces Roumains qui se sont constitué sous l'empire bulgare, sont le résultat de l'évolution du latin balkanique qui s'est développé au nord de la ligne de démarcation tracée par Jireček.

Les Aroumains dont les rapports avec les Slaves sont aussi évidents que ceux du premier groupe ont des rapports plus étroits avec les Grecs, parce qu'ils ont franchi de très bonne heure la ligne mentionnée.

Les rapports des Roumains avec les Albanais s'expliquent mieux par la même manière de vie sociale qu'ils ont menée toutes les deux

branches des Roumains lors de l'occupation slave de leurs territoires au moyen âge que par le voisinage géographique de leurs territoires respectifs, voisinage auquel paraît penser l'auteur p. 361. Il faudrait, cependant, pouvoir nettement distinguer les emprunts roumains faits à l'albanais du moyen âge de ce qui remonte au patrimoine commun du latin balkanique, triage qui n'a pas encore été fait.

Je ne vois pas que *bour, păcură, pece* puissent rien prouver au sujet de l'existence des Roumains dans la Dacia traiana. *Bour-bivol* < lat. *bubalus* a pu recevoir la diversification sémantique dans les Balkans déjà à cause du mot d'emprunt slave. *Bour* = *turъ* se trouvait aussi dans les Balkans, témoin les noms de lieu *Turjak, Turo(vo)polje* etc. De même, les noms de lieu tels que *Pakljena* (adj. sl. de *pьkъlъ*) prouvent que *păcură pece* répond aux conditions balkaniques. Il ne faut pas seulement penser aux sources pétrolifères de la Roumanie actuelle.

P. 361, M. P. accepte la théorie de Capidan concernant les réflexes roumains des nasales slaves : ѫ > *un, în*, ѧ > *in, în* pour en conclure que les Roumains vivaient dans les terres scr. aussi bien que dans les bulgares. Cette façon d'expliquer la différence du traitement des nasales est vraiment séduisante, mais elle n'est encore établie ni linguistiquement ni géographiquement. La même différence dans le traitement s'observe partout où il y a des Roumains. Or, on ne peut pas séparer geographiquement *un in* de *în*.

En se basant sur les donnés de l'étude de M. Capidan concernant les nasales, M. P. expose au § 318 ses vues sur la scission définitive des Roumains primitifs en un groupe occidental et l'autre oriental, scission qui correspondait, dit-il, à la constitution définitive des Scr. et des Bulgares. Le groupe dr. aurait été en contact permanent avec ces deux groupes. Cette vue, même si elle n'est pas tout à fait prouvée, me paraît extrêmement séduisante. Il faudra sans doute encore d'autres recherches toponomastiques et l'exploration profonde de la terminologie pastorale des Scr. et des Bulgares pour pouvoir connaître de plus près les différences et les ressemblances entre les R. o. et les R. orientaux. Pour le moment, je vois que la terminologie scr. pastorale est encore loin d'être connue. Je ne cite que l'expression *bùša* qui s'emploie dans les contrées occidentales du scr. au sens d'une race bovine de petite taille. Elle paraît être roumaine : *bou* + *-ș*, suffixe déminutif d'origine albanaise. L'adjonction de *-a* ressemble à celle de *-o* dans *ćeno*. L'étude que M. Filipović[1]) a dernièrement consacré à la fromagerie sur la Montagne de Vlašić (Bosnie), bien qu'elle soit faible au point de vue linguistique, contient aussi des données utiles pour connaître cette terminologie.

Si j'ai le plaisir de me rallier à l'auteur dans cette question délicate, il y a des détails que je ne peux pas accepter. Ainsi p. e. l'assertion que *č* < c^e des R. o. est en rapport avec *k'* > *č* des Albanais septentrionaux. Le *č* des Guègues (*kuk'* > *kuč*) est un fait récent, comme on peut s'en convaincre dans mon étude consacrée à ce mot, *ZfrPh.*, XLVIII., 398 et suiv.

[1]) *Planina Vlašić i miljekarstvo na njoj*, Beograd, 1927 (*Glasnik Ministarstva Poljoprivrede i Voda*).

Au § 319, il adopte la pensée de M. Jokl que *Naissus* > *Niš* s'expliquerait d'après une particularité due au phonétisme albanais. Il n'en est cependant rien, voir mes études, *Glasnik zem. muzeja,* XXXII., 37 et *Arch. romanicum,* VIII., 156 no 12 et *Oescus* > *Isker* pour ce qui est de *oe* (= *ae*) > *i.*

Pour expliquer la liaison entre les Dr., les R. o. et les Tosques, liaison dont l'existence est rendue évidente par le rhotacisme, M. P. se sert de la pensée ci-dessus de M. Jokl qui, se basant précisément sur *Naissus* > *Niš,* conclue que les ancêtres des Albanais sont venus des contrées de *Niš* s'établir dans leurs sites actuels.

Quoiqu'il en soit de cette theorie, je me permets de signaler au savant auteur une petite contradiction qui s'est produite d'un côté entre la thèse d'un territoire très grand où s'est développé le roumain primitif et celle où l'auteur prétend que les branches orientale et occidentale des Roumains se sont constituées sur les territoires respectifs des Scr. et des Bulgares et de l'autre côté entre la supposition des contrées de Niš comme le territoire où devait avoir lieu la liaison entre les Roumains primitifs et les Albanais. C'est que la contrée de Niš est trop petite pour pouvoir servir de « berceau » au roumain et à l'albanais à la fois.

A la p. 364, l'auteur a très bien remarqué une grande analogie entre la palatalisation aroumaine des labiales et celle des Albanais macédoniens. Le fait serait sans doute d'une grande importance, s'il y avait la possibilité d'en prouver la dépendance réciproque. Pour le moment, il faut malheureusement se borner à dire que nous connaissons trop peu ce phonème intéressant de la langue des Albanais macédoniens,[1]) cf. aussi *Гласник скоп. науч. др.,* II., p. 278. L'alb. mac. paraît se trouver encore à la première étape de la palatalisation. Entre la labiale et *l'* se glisse *k* ou *g* qui, enfin, font disparaître la labiale précédante. Il en était peut-être anciennement de même de l'aroumain: *bine* > **bl'ine* > *bghine* > *ghine.* Ce procédé d'intercaler *c* dans le groupe qui fait défaut à la langue est ancien, cf. *slavus* > *sclavus* > alb. *Šḱa, Σκλαβινικά* > *Šk'inike.*

Je partage aussi l'idée (p. 365) que les Roumains se sont développés dans la symbiose avec les Slaves, car il faut tout particulièrement relever l'identité du système onomastique que l'auteur a analysé p. 300—311, système que les Roumains ont apporté non seulement en Istrie, mais aussi sur l'île de Krk et partout où ils apparaissent.

A la p. 365, l'auteur expose ses vues sur la date approximative de la séparation des Roumains. J'ai déjà dit plus haut que l'idée de cette séparation dialectale se trouve en contradiction évidente avec la conception d'un grand territoire qu'ont dû occuper primitivement les Roumains. Elle n'est possible qu'en y admettant une correction en ce sens que la grande partie de la latinité balkanique d'où sortaient les Roumains a eu des sorts très variées. Une partie en fut de très bonne heure submergée par les flots slaves de sorte que l'extension ultérieure des Roumains a été renouvelée grâce aux migrations qui pouvaient

---

[1]) Prochainement j'en donnerai des indications plus abondantes dans mon étude sur les dialecte des Albanais des environs de Skoplje.

prendre pour le point de départ une contrée balkanique plus ou moins limitée. Il faut donc absolument admettre l'existence de l'interruption de la continuité dans le développement du latin balkanique sur des vastes territoires. Dans ce cas-là, on peut en effet parler de la séparation dialectale.

Il est juste ensuite qu'il faut admettre avec l'auteur que la séparation la plus ancienne était celle des Aroumains qui ont franchi les premiers la ligne de séparation qui divise le monde latin du grec dans les Balkans. Mais ici aussi il convient de relever le fait extrêmement important que les Aroumains se trouvent toujours mêlés parmi la population slave. Dans le territoire grec ils sont là où il y avait des Slaves. Pour eux aussi il faut postuler la symbiose roumaino-slave. Ce n'est que très tard que ces Roumains deviennent entièrement grécisés ou Grécomanes.

Après eux se séparent (c-à-d. émigrent vers le sud d'au-delà de la ligne de la séparation) les Meglénites qu'on peut considérer en effet, ce que l'auteur ne relève pas suffisamment, comme les derniers rejetons des Roumains orientaux qui se sont constitués sur le territoire bulgare. Vis-à-vis des Roumains orientaux ils jouent absolument le même rôle que les Ir. vis-à-vis des R. o.

La conclusion de l'auteur qu'une liaison existait en effet entre les Dr. et les Ir., est, en somme, juste et j'y souscris entièrement. Mais j'ajoute que cette liaison n'était possible que dans les Balkans, c-à-d. au temps que les Roumains de la Dacia trajana vivaient encore dans les pays balkaniques en deça de la ligne de démarcation greco-latine. Que cette liaison se fût opérée dans les pays riverains du Timok, comme le pense l'auteur p. 366., c'est extrêmement invraisemblable, parce qu'il n'y a aucun fait historique nous autorisant à conclure que les migrations des Roumains se faisaient vers le sud et vers ouest en partant d'ici.

Que ces conclusions que je viens d'exposer soient justes, on le voit à la p. 366 où l'auteur lui-même est obligé à souligner le fait qu'il n'y a, aux temps historiques, aucun cas de migration des Roumains septentrionaux dans la direction nord-sud. C'est toujours le contraire qui est le cas. Il faut accentuer cette fois aussi le parallélisme éclatant des Slaves du sud. C'est seulement aux temps qui correspondent à la période des migrations des peuples qu'il y a migration des Slaves vers le Sud, de même que chez les ancètres des Roumains. Après cette période, il n'y a que migrations inverses : du sud vers le nord chez les deux peuples.

Les Roumains qui viennent vers le Nord se sont déjà complètement habitués au modèle de la morphologie slave. Cela est prouvé par la manière dont ils roumainisent le vocabulaire hongrois. Phonétiquement ils identifient le hongrois *ol(r)*$^{\text{cons.}}$ *al(r)*$^{\text{cons.}}$ à *ъl, ъr* > *îl, îr* du médiobulgare: *intîlni* > *találni*, de même *an*$^{\text{cons.}}$ à *ъn* > *în* du médiobulgare: cf. *bântui* < *bántani, pîrcălab* < *porcoláb, hîrdău* < *hordó* etc. La terminaison de l'infinitif hongrois *-ni*, ils la remplacent par *-ui*, de *ujǫ* slave. Aux IX—XIIe siècles il y a bien peu de Slaves dans ces contrées pour qu'on puisse admettre la pensée que les Roumains ont reçu le vocabulaire hongrois par l'intermédiaire slave.

Par ces remarques qui ne peuvent pas amoindrir la grande valeur de la magistrale étude de M. P., on voit qu'elle touche aux problèmes les plus importants et les plus difficiles des origines des Roumains et de la symbiose roumaino-slave. Il est à espérer que ses recherches donneront un nouvel essor à la science qui s'en occupe.

Zagreb. *P. Skok.*

André Vaillant: a) **Les Piesni Razlike de Dominko Zlatarić.** (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves VIII.) Paris 1928. 8^{ina}, VIII + 44 str.; b) **La langue de Dominko Zlatarić.** I. Phonétique. (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves VI.) Paris 1928. 8^{ina}, XX + 368 str.

Oba su djela zajedno doktorska teza A. Vaillant-a, profesora srpsko-hrvatskoga jezika u »École nationale des langues orientales vivantes« u Parizu, a oba su izdana od »Institut d'études slaves« i vrlo lijepo opremļena od »Imprimerie nationale«. To su dvije sasvim specijalne radńe, za koje s iskrenim zadovoļstvom mogu odmah reći da su i vrlo dobre, tako da su na čast mladoj a tako živoj francuskoj slavistici. Kada pak, kako se je nadati i żeļeti, skoro izađe i drugi dio studije o jeziku Zl-ćevu, ova će V-tova radńa biti jedna od najboļih filoloških a svakako i najopsežnija specijalna studija koja je posvećena jednomu srpsko-hrvatskomu kńiževniku.

Prvom kńigom V. je dao koristan prilog kritici teksta Zl-ćevih djela, i to ńegovih *Pjesni razlikijeh*, koje nijesu ušle u izdańe što ga je sam pjesnik priredio g. 1597 u Mlecima, nego su se sačuvale samo u mlađim rukopisima iz XVIII. vijeka, odakle su uzete u izdańe Zl-ćevih djela što je priredio Budmani kao XXI. kńigu *Starih pisaca hrvatskih* Jugoslavenske akademije. V. je savjesno isporedio Budmanijev tekst s rukopisima i konstatovao da se je Budmani ponajviše držao najmlađega i najslabijega rukopisa, premda je sam dobro uhvatio vezu među raznim rukopisima i znao koji su između ńih stariji i boļi. Tomu postupku Budmanijevu ne možemo se dosta načuditi, jer su mu i oba boļa rukopisa bila pri ruci u arhivu Jugoslav. akademije, pa se taj postupak ne može drukčije protumačiti nego onako kako ga V. tumači, to jest da se je Budmani držao ponajviše onoga najmlađega i najslabijega rukopisa, jer je bio ńegov, — a ko je poznavao pok. Budmanija to će razumjeti, iako ne može nikako da to opravda.

Možemo dakle reći da tek sada imamo kritički tekst Zl-ćevih *Pjesni razlikijeh*, jer je V. ne samo na temeļu boļih rukopisa ispravio Budmanijev tekst u onim mnogobrojnim slučajevima gdje se Budmani na te rukopise nije obazirao, nego ga je na podosta mjestâ ispravio i ondje gdje i sami stariji rukopisi ili donose kakav oblik dubrovačkoga govora XVIII. vijeka mjesto starijega što ga inače ima Zl., ili čak imaju takove pogreške što kvare smisao. Svi sačuvani rukopisi Zl-ćevih *Pjesni razlikijeh* naime neposredno su ili posredno prepisani s rukopisa (Budmanijeva rukopisa *d*) što ga je nešto prije g. 1759 pisao vrijedni prepisivač starih dubrovačkih pjesnika vlastelin Miho Gona Rastića (Resti), tako da bi se upravo imao uzimati u obzir samo on; ali dok su ostali rukopisi puki

mehanički prijepisi, poznati učenak isusovac O. Ivan Marija Matijašević (Mattei) u svojemu prijepisu (Budmanijevu rukopisu *c*), što ga je načinio g. 1759 s Rastićeva rukopisa, na više je mjesta tačno ispravļao tekst Rastića koji je savjesno, ali nerijetko i krivo prepisivao; Rastić je pak iz tako popravļenog Matijaševićeva prijepisa proveo u svojemu rukopisu većinu ńegovih korektura, te je zato sasvim opravdano što V. konzekventno ispoređuje s Budmanijevim tekstom oba rukopisa *d* i *c*.

V. je u prvoj glavi ove svoje radńe (str. 1—19) mnogo detaļnije od Budmanija opisao sačuvane rukopise, mnogo jasnije izložio ńihov međusobni odnošaj i potanko prikazao ńihovu ortografiju, što je također dobro došlo, da se tako sigurnije zna kako se ima ili kako se može čitati gdjekoja riječ u rukopisima. U drugoj glavi (str. 20—44) V. iznosi svoje kritičke napomene i ispravke k tekstu. Što se tiče ovih posļedńih treba reći da su i napomene važne i ispravci tačni, ali toga naravski ne mogu iznositi, jer bi inače trebalo ponoviti gotovo sve što je sam V. kazao; pa ću zato samo s par primjerâ pokazati kako je V. ispravļao tekst i protiv lekcije rukopisâ koju je i Budmani bez promjene zadržao. Tako n. pr. u pjesmi XLV, 14 besmisleno ***nepravi glasim plam*** u *d*, *c*, B (Budm. izdańu) V. ispravļa na ***nepravi gasim plam***; u XLIX, 49 ***čůs velika resit će sveđ nami*** na *č. v.* ***resti će*** (ili ***rasti će***) *sv. n.* (svakako boļe ***rasti će*** jer oblika ***resti*** Zl. nema). Samo na par mjestâ ne bih rekao da je V. pogodio: u p. LXX, 10 ***nevidom u tmasti kako slijep idijeh*** V. ima pravo da fali jedan slog, jer bi se protivilo običnomu brojeńu slogova kod Zl-ća kad bi se uzelo da je u ***slijep*** ili ***idijeh*** dugo *ĕ* dvosložno, ali opet mislim da je vjerovatnije, kako je predloženo u Jagićevu *Archiv*-u XXV, 259, da je pred ***idieh*** stajalo ***ja*** negoli, kako V. predlaže, da je iza ***tmasti*** bilo ***tmi***, jer u toj rečenici ne fali, kako on uzimļe, supstantiv — ***tmasti*** naime nije adjektiv već supstantiv ***tmast***, gen. sing. ***tmasti***, — a osim toga ja ne znam bi li se kod Zl-ća za dat.-loc. sing. kod pridjevâ našao i z v a n r i m a završetak -*i* mjesto -*oj*. U p. LXXVII, 17 ***svega me su primamile*** smisao, kako priznaje i V., zahtijeva akuzativ od ***vas*** (***sav***), pa je zato B. tako ispravio ono ***sega*** što imaju *d* i *c*, dok V. misli da bi ipak trebalo možda zadržati ***sega*** / ***vsega*** ili povratiti ***vsega***: ali takih oblika nema inače ni u Zl-ća ni u kojega drugog dubrovačkog pisca XVI. vijeka, te stoga nema sumńe da je i to jedna od Rastićevih prepisivačkih pogrešaka koju je Matijašević zadržao, baš kao što je ona ***glasim*** i ***resit će*** što je sam V. bez straha ispravio na ***gasim*** i ***rasti će***.

Kako što je V-ova radńa o Zl-ćevim *Pjesnima razlikijem* vrlo dobar prilog ńihovomu tekstu, tako je ńegova druga radńa, već ovom prvom polovicom izvrstan prilog srphrv. historičkoj gramatici. Radńa je zasnovana na vrlo širokoj osnovi, jer V. ne samo iznosi vrlo detaļirano sve pojave Zl-ćeva jezika te ih i tumači, nego ih i dovodi u pravu vezu s jezičnim osobinama nekih starijih dubrovačkih i čakavskih pisaca s jedne strane a s druge strane s jezikom Gundulića koji je, kako je poznato, dubrovačkoj poeziji i u pogledu sadržine i tendencije i u pogledu jezika i metrike dao nov smjer prekinuvši gotovo sasvim s tradicijom prvih pjesnika koja se je provlačila, sad u jačoj a sad u slabijoj mjeri, baš

sve do Zl-ća. I tako je ńegova studija o jeziku Zl-ćevu postala u glavnim crtama i prikazom razvitka dubrovačkoga kńiževnoga jezika od kraja XV. vijeka do početka XVII^oga^.

Na taj je način u ovoj prvoj kńizi cijeloga djela obrađena fonetika, ali ona obuhvaća samo »drugi dio« (str. 169—366) cijele kńige, a pred ńim su »uvod« (str. 1—52) sa 2 glave, I. o jeziku i kńiževnosti dubrovačkoj, i II. o životu i radu Zl-ćevu, i »prvi dio« (str. 53—168) s 3 glave, I. o tekstu Zl-ćevih djela, II. o ńegovoj ortografiji i III. o ńegovoj metrici. Prva je glava uvoda (str. 1—11) više informativna karaktera, a samo opet još jače potkrjepļuje misao, koju je V. već iznio u IV. kńizi od *Revue des études slaves*, da je poticaj kńiževnomu radu u Dubrovniku došao, preko crkvenih kńiga i polukńiževnih varoških pjesama, iz sjeverne čakavsko-ikavske Dalmacije, čime V. i tumači da su prvi dubrovački pjesnici u drugoj polovici XV. vijeka iz tih dalmatinskih izvora preuzeli štošta čega u dubrovačkom govoru nije bilo a što su pak dubrovački pjesnici XVI. vijeka do Gundulića više ili mańe zadržali. Ta se misao sada i meni čini bliža istini od one starije, koju sam nekad i ja branio, da su prvi dubrovački pjesnici te dalmatinske osobine preuzeli od Marulića, jer se sve više nalazi vezâ među najstarijom dubrov. kńiževnošću, koja je vezana uz crkvu, i dalmatinskom, čemu su posrednici bili oni »slavenski popovi« (*presbyteri sclavici*) koji su u XIV. i XV. vijeku bar dobrim dijelom dolazili u dubrovačku okolicu iz dalmatinskoga i hrvatskoga Primorja (isp. Liepopilijev članak u *Radu* 220). Štaviše, ja sada mislim da su Šiško Menčetić i Ǵore Držić propjevali u srphrv. jeziku još prije Marulića, koji je možda baš od ńih preuzeo kao svoj normalni metar distih od 2 dvanaesterca s rimom u sredini i pri kraju; ali s druge strane uzimļem i to, da je Menčetić u svojim starijim godinama poznavao Marulićevu *Juditu* (koja je izdana 6 godina prije ńegove smrti) i da je, prema Marulićevoj metrici, u prvoj od svojih *Pjesni o Isusu*, koje su ńegove jedine pobožne a sigurno i najposļedńe pjesme, proveo još više komplikovanu metričku vezu, po kojoj su i svaka dva distiha vezana zajedno jednim zajedničkim rimom. Jer, iako bismo mogli slobodno uzeti da su i Menčetić i Držić s jedne strane a Marulić s druge mogli, neodvisno jedan od drugoga, uzeti dvanaesterac (ili dvostruki šesterac) iz narodne ili varoške poezije; iako bi se nadaļe moglo reći da su mogli uzeti rim n a k r a j u svakog distiha opet iz istoga izvora, ipak r e d o v i t i rim na kraju i u s r e d i n i svakog distiha, a naročito rimsku vezu među svaka dva distiha, — toga nijesu mogli naći u narodnoj ni polunarodnoj poeziji, nego to je neko od ńih otpočeo a drugi su za ńim pošli. Na tu vrlo važnu okolnost čini mi se da se uopće, pa da i V. daje premalo važnosti. Inače, pristajući u principu s ńim, imam da u ovoj glavi opazim još samo to, da nije tačno da je D. Rańina ispjevao »des poèmes« u talijanskom jeziku a da se sačuvao samo jedan sonet (str. 8) — da je bilo povećih ńegovih talijanskih pjesama, nije poznato, a naprotiv V-u je izmaklo da je u 4. kńizi *Građe* preštampano 31 talijanski sonet od kojih je bar 27 sigurno Rańininih.

O životu Zl-ćevu (str. 12—49) V. nije mogao ništa nova kazati, jer nije imao nikakvih novih izvora; ali je zato vrlo dobro prikazao

ńegov kńiževni rad i odredio ńegovo mjesto u dalmatinsko-dubrovačkoj kńiževnosti, pa vaļa priznati da mu je uspjelo dokazati da Zl., i kao prevodilac i kao pjesnik i kao stilista, stoji mnogo više od onoga što se je doslije obično uzimalo — ovo je zbiļa prava rehabilitacija ovoga pjesnika koji se je malo cijenio kao prevodilac a nimalo kao pjesnik. To je dakle opet nova dobra tekovina za historiju srphrv. literature; a inače i ovdje imam samo da opazim da je o Tomi Nataliću Budislaviću, komu je Zl. ispjevao onu svoju lijepu šaļivu pjesmu, V-u opet izmakao člančić u *Radu* 206, gdje ima dosta više negoli je on mogao da na str. 27 o ńemu kaže.

U prvoj glavi prvoga dijela (str. 53—72) V. potanko opisuje izdańe od g. 1597 što ga je priredio sam pjesnik, ukratko izdańe *Elektre* što je poslije Zl-ćeve smrti izašlo g. 1621 i rukopise prve redakcije prijevoda Tassova *Aminte*, koju je, po svoj prilici, opet sam pjesnik štampao g. 1680 u Mlecima, a od koje se nije sačuvao ni jedan egzemplar. Što se tiče prvoga izdańa vrlo je interesantno u bibliografskom pogledu što je V. mogao konstatovati da ima egzemplarâ koji u natpisu imaju godinu 1597 a opet drugih s godinom 1598; to je on i lijepo protumačio: Zl. je iz Dubrovnika nadzirao štampańe (zato je izdańe vrlo korektno), poslao popis štamparskih pogrešaka i sadržaj Elektre što je želio da se još štampa na predńim nepaginovanim listovima, pa pošto je bio složen paginovani tekst, štampar, prije nego mu je to stiglo, izdao cijelu kńigu krajem g. 1597; kad mu je pak stigao sadržaj i popis pogrešaka, priredio početkom g. 1598 »novo« izdańe, to jest iznova štampao natpis s g. 1598 i posvetu, i na strani X i XI, koje su u »prvome« izdańu ostale prazne, metnuo sadržaj i popis pogrešaka, a inače za cijeli tekst upotrijebio isti slog, s čega je na zasebnim natpisima *Lubmira* i *Pirama i Tizbe* ostala i g. 1597. U pogledu ovoga prvoga izdańa V. je osim toga konstatovao da ga Budmani nije sasvim tačno preštampao — ima podosta razlikâ, sve su doista sitne, ali ih ima svakako previše, a nijesu sve same štamparske pogreške; naprotiv Budmani nije ispravio tekst na nekoliko mjestâ gdje je to trebalo učiniti, a jest ga ispravļao i na par mjestâ gdje to nije bilo potrebno; samo u pogledu oblika *pazlatan* (*s pazlatnimi końi*) V. nema pravo misleći da ga treba okrenuti na *pozlatan* (str. 60); ali treba reći istinu da ga je na to naveo Budmani koji je uz taj oblik metnuo »(sic)«; *pazlatan* je naime lijepa stara formacija kao *paperje*, a po svoj prilici i *pastorak*, što se nalazi i u Vetranovića i u Marina Držića (v. Rječnik Jugoslav. Akademije). — Za izdańe *Elektre* od g. 1621 sada po V-u znamo da je preštampano po »drugom« izdańu od g. 1598, jer ima pred tekstom sadržaj tragedije što ga ima to izdańe a nema »prvo« od g. 1597; inače to izdańe od g. 1621, što ga je V. vidio samo u mojoj »Dubrovačkoj biblioteci«, a za koje je Budmani kazao da ga ne poznaje, mirno počiva i u biblioteci Jugoslav. akademije!

Prva redakcija *Aminte* od g. 1580 sačuvana je u dva rukopisa *f* u Zagrebu i *g* u Dubrovniku, oba iz druge polovice XVIII. vijeka, koji ne potiču jedan od drugoga a od kojih je *g* nešto stariji i boļi. Na žalost Budmani je boļi rukopis dobio iz Dubrovnika tek pošto je *Aminta* bio složen po rukopisu *f*, i tako je samo naknadno (na str. XLI) dao nekoliko

krupnijih varijanta iz *g*, kojim se ispravļa tekst udešen prema *f*; zato nikako ne razumijem kako je V. mogao reći (str. 66) da mu se činilo »beskorisnim« kolacionirati izdańe s rukopisom *g* — baš je on najboļe pokazao koliko se može dobiti za korektan tekst Zl-ćev kada se savjesno upotrijebe, kao što je on učinio za *Pjesni razlike*, stariji i boļi rukopisi (kao što je *g* stariji i boļi od *f*) na koje se je Budmani slabo obazirao; on je dakle morao kolacionirati rukopis *g*, pa je to velika pogreška s ńegove strane što toga nije učinio, tim više što je to mogao lako učiniti za svojeg podužeg boravka u Dubrovniku. Ali on je i rukopis *f* samo u početku isporedio s izdańem Budmanijevim, te je već u tome malom opsegu našao podosta mjestâ gdje Budmani nije sasvim tačno dao lekciju rukopisa *f*; znatan je pak broj mjestâ gdje V., s pomoću varijantâ iz *g* saopćenih od Budmanija i s obzirom na smisao i na talijanski original (na koji se Budmani nije obazirao), ispravļa, uvijek dobro, tekst Zl-ćeva *Aminte*. *Aminta* je dakle gore prošao od *Pjesni razlikijeh*: i onoga prvoga i ove druge Budmani je izdao po mlađim i slabijim rukopisa, ali za *Pjesni* V. nije žalio truda da od početka do kraja isporedi izdańe s boļim rukopisima, dok se je za *Amintu* podvrgao samo malim dijelom tomu poslu za koji je on sam dokazao koliko je potreban.

U glavi o ortografiji (str. 73—111) V. prikazuje vrlo detaļno kako Zl. piše, naročito u izdańu od g. 1597, koje sigurno vjerno čuva ńegovu ortografiju, dok su je mlađi prepisivači u mnogim stvarima mijeńali prema svojemu običaju. Osobito je važno što po tome izlazi da je i Zl., kao svi stariji srphrv. pisci, vrlo često označavao kvantitet sloga, a ne akcenat, te uzimao za kratak slog dvostruki konzonant za odnosnim vokalom ili na ńemu gravis, a za dugi slog dvostruki vokal (ali samo *ij* za dugo *i*) ili akut. Iscrpnim prikazom kako Zl. biļeži kvantitet V. je opet dao lijep prilog za historiju kvantiteta, a time donekle i akcenta, u srphrv. jeziku, pa je važno što se Zl-ćevo biļežeńe u glavnome vrlo dobro slaže s biļežeńem u djelima Marina Držića koje je izneseno u 233. ńizi *Rada*, prema kojemu ima tu prednost da je još tačnije. Ali opet i kod Zl-ća ima po gdjekoja pogreška, te zato ja ne bih nikako jedini primjer *izglednóm* s dugim akcentom na završetku *-om* u instr. sing. muškoga roda smatrao kao pravi, iako sasvim izuzetni izgovor u štokavskom govoru, s kojim V. ispoređuje *-ōm* čakavskog dijalekta (str. 96), nego kao prostu štamparsku pogrešku mjesto *izgledòm*. A ne mogu pristati uz V-a ni kad kaže da je u komparativu adveraba kao *više*, *bliže* Zl. izgovarao posļedńi slog kratko jer je metao na ń gravis (str. 104), — u tim slučajevima naime gravis nije znak kratkoće nego znak adverba prema tadašńemu običaju talijanskih pisaca i štamparijâ, kao što je i na prijedlozima, prema istome običaju, opet samo znak gramatičke kategorije. Premalo je pak V. kazao i o biļežeńu kvantiteta kod dugog vokalnog *r* (za kratko *r̥* regbi da nema primjera), naime samo to da je akut na *r̥* (to jest na *ar* kako se tada pisalo *r̥*) rijedak: *bŕz*, *potvŕdi* »etc.« (str. 94), a na str. 101 ima još *kŕvnika* što on čita (s produžeńem pozicijom) *kȓvnika* prema Vukovu *krvníka*; svakako trebalo je tačnije kazati koliko se još primjerâ sakriva pod onim »etc.«, da se uzmogne jasno vidjeti da li se Zl-ćev izgovor slaže sa sadašńim dubrovačkim izgovorom, po kojemu ima samo kratko

r̥. i s biļežeńem u rukopisu M. Držića (v. *Rad* 233, 161). Od pojedinih slučajeva ističem da i Zl. ima dužinu u nom.-ak. pl. *dni* kao i rukopis M. Držića, gdje je dužinu vrlo teško protumačiti (v. *o. c.*, 170); naprotiv regbi da Zl. ne piše nikada prijedlog *cić(a)* sa *ij* — bar V. toga ne kaže (str. 102 a 177) —, a onda se u tome on ne bi slagao s tim rukopisom (*o. c.*, 192).[1]) Naprotiv enklitike *im*, *ih* Zl. uvijek piše sa *ij*, i V. to shvaća kao puku ortografsku imitaciju čakavskoga izgovora *jim - jih* (str. 90), što mi je teško vjerovati, jer inače u Zl-ća takih ortografskih čakavizama nema; tako piše dosta često i rukopis M. Držića, pa bi prije moglo biti da su se u Dubrovniku XVI. vijeka ti oblici izgovarali zbiļa s dugim *i* (*Rad* 233, 174).

Ortografija je Zl-ćeva obična dubrovačka XVI. vijeka, samo što će on biti prvi dubrovački pisac koji konzekventno razlikuje *s-š* (*s-sc*) od *z-ž* (*ſ-x*), ali zato ne razlikuje *đ* od *ǵ* pišući za oba pojednako *g*(*i*), dok je već Rańina g. 1563 redovno razlikovao i u pismu *đ* (*gh*) od *ǵ* (*g*). Naravski Zl. je u govoru dobro razlikovao ta dva posļedńa glasa, kao što je u Dubrovniku bilo sve do prve polovice XIX. vijeka, pa zato V. odobrava što je Budmani u svojemu izdańu, prema starijemu dubrovačkome i sadašńemu pravilnome izgovoru, štampao gdje treba *đ* i *ǵ*, te tako i sam čini. A drukčije se ne može ni činiti, jer kad se n. pr. izdaje koji tekst što ne razlikuje u pismu *s-š* od *z-ž*, ili *u* od *v*, ili *i* od *j* (kao što i Zl. ima za oba glasa samo *i*), neće se sigurno u modernoj transkripciji zadržati za dva glasa jedan znak, nego će se po istim kriterijima za dva glasa uzimati i dva znaka. To ističem, jer se je V. pri transkribirańu u jednoj stvari odalečio od običaja koji je za srphrv. jezik već prilično dugo općenito primļen, naime u pogledu refleksa praslavenskoga *ě* po jekavskom izgovoru. Ma kako mi shvaćali taj refleks, nema sumńe da je u *dijete* prvi slog dug a u *djeteta* kratak, pa prema tome i različito pišemo: a ne može biti ni sumńe da su tu istu razliku u izgovoru pravili i Dubrovčani XVI. vijeka, iako je pisci u pismu redovno nijesu pravili, kao što je ne pravi ni Zl. koji i u dugim i u kratkim slogovima piše bez razlike *ie*. To je jednolično pisańe V. zadržao, što se ne može nikako odobriti; zašto onda on sam razlikuje *đ* od *ǵ* i *i* od *j* kad ih Zl. ne razlikuje? U kratkim slogovima morao je dakle pisati *je*, a samo u dugim mogao je zadržati *ie* ondje gdje taj refleks broji u metru kao jedan slog, a ipak ga zamijeniti sa *ije* gdje broji kao dva sloga, ili je morao učiniti kao što je i Budmani učinio te, bez obzira na metričko brojeńe, pisati svuda današńe *ije* — ali uvoditi nešto treće koje ne odgovara ni pravomu izgovoru ni sadašńemu pisańu, nema zbiļa nikakva smisla; time nam V. nije nimalo pomogao da boļe poznamo izgovor Zl-ćev te da jasnije razumijemo u koliko se u tome ńegov izgovor slaže ili ne slaže s ńegovim pisańem. U pogledu Zl-ćeva pisańa refleksa praslavenskoga *ě* spomenimo još ńegovo slagańe s Držićevim rukopisom u toj čudnoj pojavi da samo jedan jedini put u dugome slogu meće akut na *ie*: *grezniéše* (str. 94), kao što ga i taj rukopis ima samo 3 puta (*o. c.* 162).

Taj posļedńi Zl-ćev primjer daje mi povoda da spomenem neke slučajeve gdje V. uzimļe da se Zl-ćevo pisańe ne poklapa s ńegovim izgo-

---

[1]) V. mi je kasnije javio da zbiļa u Zl. nema *cić*(*a*) s dugim *i*.

vorom; baš za *grezniéše* V. kaže: »où *ie* était lu sans doute *iā* (*ijā*)«; Budmani je tu doista i naštampao *greznijaše* (protiv rima sa *bieše!*), ali zašto bi tako i Zl. čitao? Onda bi tako i napisao; on je dakle sigurno i izgovarao *grezniеše*, a je li Zl. govorio take oblike imperfekta od glagolâ koji ne pripadaju glagolima I^vog^ Miklošićeva razreda s tvrdom osnovom, ili ih je preuzeo od starijih pjesnika (jer i oni ih imaju), ili sam skovao, to je sasvim drugo pitańe, o kojemu će biti razgovora kad V. u drugoj kńizi o morfologiji iznese svoje razloge za to da takih oblika u dubrovačkom govoru nije bilo. Nije dobro po mojemu mišļeńu ni to što V. kaže (str. 78) da se *j* u početku onih latinskih riječi u kojima se je to *j* u talijanskom jeziku pretvorilo u glas *ǵ* ima i kod Zl-ća čitati kao *ǵ*: *Jove, Junoni, jambom* itd.; ni to neće biti tako: stari su Dubrovčani dosta često uzimali ovake kńiževničke riječi direktno iz latinskoga, s latinskim završecima i, bez sumńa, s latinskim izgovorom, pa je tako sigurno i Zl. svoje *Jove* itd. udesio prema lat. *Jovis* itd. a ne prema tal. *Giove* koje bi i on tako pisao, a tada i tako izgovarao. Kao »čisto ortografsku pojavu« (str. 209) ili kao »ortografski purizam« (str. 213) V. shvaća i to što Zl. za praslav. *rě* u kratkim slogovima ima *rie* uz *ri* (arhaistički ikavizam) i *re* (ńegov izgovor). To je dakle pojava koja spada u fonetiku, i V. naravski o ńoj tamo i govori, ali je ja ovdje spomińem radi V-ova shvaćańa da je i to »ortografska« stvar. Ja, što to znači »ortografska« stvar? Ako znači da je Zl. samo tako pisao a da tako pišući nije tako izgovarao, tada ni to neće biti tako, jer onda zašto bi tako pisao? Ako li pak to ima značiti da je on tako samo u svojim pjesmama pisao (i izgovarao) a da je u svojemu običnom govoru drukčije govorio (*re*), onda pod rubriku ortografskih pojava i ortografskoga purizma idu sve one stvari gdje je Zl. jedno pisao a drugo govorio — velika većina ikavizama, *zač*, *rekal* itd. itd. Ja mislim dakle da V. nije dokazao, i da se uopće neće moći dokazati, da se je ma u čemu Zl-ćeva ortografija razlikovala od ńegova izgovora (ne govora!).

Izvrsno je V. obradio Zl-ćevu metriku (str. 112—165), i ńu ispoređujući, u ńenim glavnim crtama, s metrikom vidnijih pjesnika, dalmatinskih i dubrovačkih, XVI. vijeka, pa s metrikom Gundulićevom kako je prikazana u XXV. kńizi Jagićeva *Archiv*-a; V-nova je obrada tako iscrpna i mnogostrana da može služiti kao vrlo dobar uzor za daļe proučavańe toga predmeta kod drugih naših pjesnika. Ima pak V. sigurno pravo kad kaže da je Zl. zajednički rim među svaka 2 distiha dvanaesteraca u *Ļubavi Pirama i Tizbe* uzeo od Marulića (str. 118); važna je i konstatacija da Zl. dugo *ě* broji kao dva sloga, kao Rańina i Gundulić, samo na kraju riječi (*dvije, nije* itd.) i u završecima (*-ijem*, *-ijeh*) a nikada u korijenima (str. 142), dok stariji neki pjesnici, a naročito M. Držić, broje ga dvosložno, iako rijetko, i u korijenima (*Rad* 233, 163). Premda je pak V. u pogledu sporednih cezura (poslije 3^ega^ i 9^oga^ sloga), u dvanaestercu isporedio samo prvih 100 stihova Š. Menčetića i G. Držića, dobro je opazio da prvi redovno drži obje te cezure, dok je drugi mnogo slobodniji (str. 133); i doista Menčetić je s te strane najpravilniji dubrovački pjesnik prije Gundulića: u gotovo 9.000 stihova, u pjesmama što su sigurno ńegove, on samo 3 puta dijeli sporednom cezurom riječ na

dvoje a ni jedan put ńom ne dijeli proklitike (u koje brojim ne samo prijedloge nego i *i*, *a*, *ne*) ili enklitike od riječi s kojom su u vezi; G. Držić naprotiv čini jedno i drugo vrlo često, tako da ta razlika među oba pjesnika u metričkom pogledu može vrlo dobro pomagati pri odlučivańu je li koja pjesma Menčetićeva ili Držićeva. Govoreći o metrici jednog dubrovačkog pjesnika iz XVI. vijeka mogao je V. bar spomenuti Medinijeve članke u *Radu* 153 i 176 i Kolendićeve (*Tri doslije nepoznate pjesme M. Vetranovića*, Dubrovnik 1905. i *Srphrv. prevod Dolčeove »Hekube«* u programu kotorske gimnazije za g. 1908/09), koje se najviše osnivaju na metrici starijih dubrovačkih pjesnika: one prve dvije nema sumńe da je V. poznavao, ove druge dvije doista su teško pristupačne, ali rekao bih da je i ńih poznavao, jer i on računa da je *Hekubu* preveo M. Držić, kao što je Kolendić u oba ta članka dokazivao i dokazao.

Sve što je V. iznio u uvodu i u I^om^ dijelu ove svoje kńige vrlo su dobri prilozi za historiju literature, ortografije i metrike srpskohrvatske, ali glavni je ńegov posao bio da prouči jezik Zl-ćev, pa je od toga u II^om^ dijelu (str. 167—366) dao fonetiku. Vrlo je pametno što pri tome on nije, kao što neki kod razlagańa ove vrste čine, išao *ab ovo*, te nije gubio i svoje i čitaočevo vrijeme pričajući mu kako Zl. ima n. pr. *a* gdje ga pretpostavļamo i za »praslavenski jezik«, pa u refleksima praslav. grupâ *tort-tolt* itd. itd., nego je naprosto uzeo kao temeļ sadašńi kńiževni srphrv. jezik i tražio da iznese baš Zl-ćeve osobine kojim odvaja od ńega i, kako je već kazano, kako se on u tome opsegu slaže ili ne slaže s jezikom nekih vidnijih srphrv. pisaca od Menčetića i Marulića do Gundulića. Tu tako pametno zasnovanu zadaću V. je sjajno riješio, jer je ne samo dao savjesno pribrane osobine Zl-ćeva jezika nego ih je i solidno tumačio, ako nijesu već bile protumačene, ili je za mnoge između ńih iznio nova oštroumna tumačeńa.

Govoreći najprije o refleksima poluvokalâ, V. konstatuje da Zl. pred vokalom nema nikada oblika prijedlogâ *sa* i *ka*, a niti uz *s-k* ponavļa vokal sļedeće riječi kao što ima Lekcionar N. Rańine *ko ovcam*, *so očiju* itd.; katkada tako biva i u rukopisu M. Držića (v. *Rad* 233, 194), gdje se toj posļedńoj pojavi daje samo ortografsko značeńe, dok V. misli da je taj ponovļeni vokal »une vocale furtive« na koju se naslańao konzonant prijedloga (str. 175): i tu, čini mi se, V. daje previše važnosti pisańu starih kńiževnika, — prije će biti da su oni koji su tako pisali (a tako je pisao i Bośńak M. Divković) tako krivo dijelili veze kao *k ovcam* znajući da u latinskom i talijanskom jeziku prijedlog ima uvijek nekakav vokal, pa su pred riječju što se počińe s vokalom ponavļali taj vokal, što dabome nijesu mogli činiti u slučajevima gdje se je riječ počińala s konzonantom. Naročitu je pak pažńu V. svratio refleksima praslavenskoga *ě* (str. 182—246), te je (na str. 199—201) lijepo pokazao kako ikavski izgovor, koji je i po V-nu čakavizam, odnosno arhaizam preuzet od prvih pjesnika, u Zl-ćevim pjesmama naročito prevlađuje u kńiževničkim riječima i u partijama »višeg stila«, dok je ńegova proza čisto jekavska (str. 183). Nego, priznavajući taj čakavizam, koji je za pjesnike XVI. vijeka samo arhaizam, V. ide predaleko kada misli da je čakavski dijalekt imao biti za dosta dugo vrijeme kulturni jezik obrazovanih Dubrovčana

(str. 185); po riječima što slijede, da su se govorni jezik i proza XVI. vijeka oslobodili čakavskoga uticaja, vidi se naime da V. zbiļa misli da su obrazovani Dubrovčani u XV. vijeku baš i govorili kako su tadašńi pjesnici pisali, — neću dakle da rečem da su govorili čakavski (premda bi se i to moglo izvoditi iz onih prvih V-novih riječi), — nego svojim dubrovačkim (štokavsko-jekavskim) dijalektom s nešto čakavske a naročito ikavske primjese. I u XX^om^ vijeku, gdje u Dubrovniku ima mnogo više obrazovanih ļudi i mnogo jačeg poznavańa kńiževnoga jezika negoli u XV^om^ (kada i mnoga vlastela nijesu još znala ni čitati ni pisati!), i najobrazovaniji Dubrovčani govore među sobom samo svojim dijalektom a samo pišu jedan drugomu kńiževnim jezikom, a i to ne bez jače ili slabije primjese svojih dijalekatskih osobina. Zato sam potpuno uvjeren da se u Dubrovniku nijesu nikada govorili čakavizmi XV^oga^ vijeka, odnosno arhaizmi XVI^oga^. Koliko je bila jaka ikavska tradicija kod kńiževnih ļudi u Dubrovniku dokazuje konstatacija (str. 187) da je Matijašević, prepisujući g. 1759 Zl-ćeve *Pjesni razlike*, bez potrebe katkada okretao jekavske oblike svoje matice na ikavske, kao što je inače to činio i jedan prepisivač u Dubrovniku još u drugoj polovici XIX^oga^ vijeka (v. *Rad* 119, 31).

Nego u pogledu refleksa praslavenskoga *ě* V. hoće prevec da uniformira, ne dopuštajući ni »izuzetaka« ni kolebańa; tako su ńemu svi ikavski oblici, osim poznatih primjerâ gdje je *ě* pred *o* ili pred *j* (*vidio-grijati* itd.), čakavizmi-arhaizmi, premda ikavizama ima, iako u mnogo mańoj mjeri, i u dubrovačkim poveļama XIII.—XV. vijeka i u prozi XVI^oga^. S druge strane ekavizmi su mu također istoga porijekla ili preuzeti iz crkvenoga jezika (str. 243), što je u glavnome sigurno tačno, ali teško da će se tako moći protumačiti svi ekavizmi u Zl-ća i uopće u dubrovačkom dijalektu, kako n. pr. *obećati* (str. 236) ili *tijelo-telesa* (str. 242/43); za *posledńi* (str. 242 u D. Rańine *posledńi*), što ga ima i Đurđević (Đorđić), moglo bi se misliti na disimilaciju, kao što n. pr., opet u Đurđevićevu *Marunku*, nalazimo redovno *Mļet* i *mļetski* a *Mlećanin*. I neke jekavske oblike mislim da treba drukčije tumačiti. Već je spomenuto da gdje Zl. ima *rje* za kratko *rě* (n. pr. *potrjeba* < *potrěba*), V. shvaća to kao nekakvu ortografsku crtu, dok ja držim da nemamo razloga misliti da Zl. nije tako i izgovarao u svojim pjesmama; štaviše vrlo je lako moguće da je on tako uopće govorio. Istina, mlađe *re* mjesto *rje* nalazi se iznimice već kod prvih pjesnika a redovno kod prozaiste B. Gradića (g. 1567), pa bi prema tome trebalo reći da je sredinom XVI. vijeka u dubrovačkom dijalektu sasvim prevladao izgovor *re*, te da su pjesnici od D. Rańine (g. 1563) daļe govorili *re* a pisali arhaizme *ri* i *rje*, — trebalo bi to reći, kad ne bi bilo Marina Držića koji je savremenik B. Gradića a ipak redovno piše *rje*, i to ne samo u stihovima nego i u komedijama u prozi koje su od svih dubrovačkih jezičnih spomenika XVI. vijeka bez ikakve sumńe najbliže pravomu dubrovačkomu govoru i izgovoru; kad dakle on redovno piše *rje*, to dokazuje da je on tako i govorio, a s ńim sigurno i bar jedan dio grada ili stanovništva, dok je drugi dio, kao i B. Gradić, već bio proveo redovno novi izgovor. Bilo je dakle u sredini XVI. vijeka kolebańa među *rje*

i *re*, i to sigurno i u tome smjeru da je isti čovjek ili kod nekih riječi zadržao stariji izgovor a kod drugih proveo noviji, ili da je i istu riječ izgovarao sad sa *rje* a sad sa *re*. Trebalo bi dakle tek vidjeti ne potvrđuje li i prostonarodna dubrovačka proza iz druge polovice XVI. vijeka nije li to kolebańe svojim posļednim titrajima dopirao i do kraja XVI. vijeka, dakle do Zl-ćeva vremena. I za oblike kao *pastijer* < *pastir*, *mijer* < *mir* V. ne vjeruje da su »hiperjekavizmi«, to jest da je tu *i* pred *r* shvaćeno kao *ě*, nego uzimļe da je to *-ijer* upravo talijanski sufiks *-iere*, jer da nema ni jednog primjera da bi se u srphrv. jeziku mijeńalo *i* pred *r* (str. 234); e, primjerâ nema kad se eliminiraju svi primjeri koji baš amo spadaju a koje sam ja skupio u *Der štok. Dialekt* 74; ali da je talijansko *-iere* dalo povoda da se govori *pastijer*, *Trogijer*, *krumpijer*, *vijer*, *mijer*, *pijer*, *špijèrlica* (< tal. *piria* — tu pak nema sufiksa *-iere*!) u dijalektima koji inače ne miješaju ikavski i jekavski izgovor, — toga opet ne mogu ja nikako vjerovati.

Iz oblasti vokalizma navešću još nešto što se tiče refleksa praslavenskoga *ę* u srphrv. jeziku. To je prije svega glagol *-jati* < *jęti*, sa *a* za *ę* poslije *j* kao što često biva u čakavskim dijalektima; složene oblike toga glagola, naročito *prijati*, nalazimo i u dubrovačkoj prozi od XIV. vijeka daļe, pa osobito često u pjesnikâ, a i u nekim hercegovačkim poveļama XV. vijeka. Budući dakle da se taj oblik nalazi i u jezičnim spomenicima koji su inače čisti od čakavskoga uticaja, ja mislim da je to, inače čakavska, osobina koja se je u tome slučaju sobom razvila i u nekom dijelu susjednih štokavskih govora; dabome, tako se tumačeńe protivi zakonu da štokavski govori imaju *e* za *ę*. Ali, ako ne možemo dopustiti nikakvog izuzetka, onda volim kazati da su ti štokavski govori i pisci direktno prihvatili od čakavaca oblik *-jati* i tim zamijenili svoje *-jeti*, negoli pristati uz V-a koji uzimļe (str. 253) da je prema participu *-jam* (< *jьmъ*) načińeno *-jal* (mjesto *-jel*), pa da je opet prema tome *-jal* načińen novi infinitiv *-jati*, koji bi dakle bio postao sasvim drukčije od čakavskoga *-jati* < *-jęti*, — jer da bi sasvim neobični i rijetki oblik *-jam* mogao sebi privući sasvim obični oblik *-jel*, to je nešto što je sasvim nevjerovatno. U oblicima pak *kļati* i *kļaknuti* (< *klęti klęknǫti*), što se nalaze u nekim čakavskim spomenicima i govorima, V. uzimļe da *l* nije, kao inače u srphrv. dosta često, omekšano iza guturalnog konzonanta, nego da je to trag da se je (u čakavskome) negda i poslije tvrdih konzonanta *ę* izgovaralo kao *'a* (str. 255), dok Leskien uzimļe da je i tu *kl* > *kļ*, s čega imamo, kao i iza *č-š-ž-j*, *a* za *ę*, a odakle slijedi da se *kl* u čakavskom ranije pretvorilo u *kļ* negoli se je *ä*, što imamo pretpostaviti kao stariji jedinstveni refleks za *ę* u čakavskom, iza tvrdih konzonanta razvilo u čisto *e* a iza mekih u čisto *a*; to nepriznavańe da je ovdje *kļ* postalo od *kl* navelo je V-na i da krivo tumači oblik *pakļen* uz *paklen*: po ńemu je prvi postao od **paklěn* (str. 332), ali tada u Zl-ća i u drugih dubrovačkih pisaca XVI. vijeka ne bi bilo *pakļen* već *pakljen*. Nikako pak ne mislim da se za potvrdu V-ova tumačeńa oblikâ *kļati* i *kļaknuti* mogu navoditi oblici **resti, kresti, vrebac** što se mjesto **rasti, krasti, vrabac** govore u čakavskim a i u nekim štokavskim govorima; po V-nu naime to su analogije prema *red* (< *rędъ*) koje je postalo od **rad* < *ŕad* (str. 255);

to je vrlo oštroumno kazano, ali može li se vjerovati da su se riječi kao *rasti, krasti, vrabac* (kojima se može dodati i *ukresiti-ukres* mjesto *ukrasiti-ukras* kod nekih dubrovačkih pjesnika XVI. vijeka) povele za **rad-red* s kojim nemaju ni semaziološki ni formalno nikakva posla? Ja volim zato i ovdje kazati da su oblici *resti* itd. zbiļa »inexplicables«.

Za *o* koje je postalo od *-l* iza *r* interesantno je da Zl. redovno biļeži da je dugo: *umró, dopró* itd., što V. s razlogom misli da se ne može drukčije tumačiti nego kao analogija prema *rȅkō* < *rȅkao* (str. 263), nevoļa je samo što nema sigurnih dokaza da je u Dubrovniku XVI. vijeka već bila provedena kontrakcija *-ao* > *-ō*; a kad bismo rekli da je Zl. govorio *rekō* itd. a pisao zastarjeli oblik *rekao*, onda bi bilo donekle čudno da se nije ni jedan put prevario te napisao n. pr. i **umrao*, jer bi značilo pretpostavļati previše gramatičkog osjećańa kod Zl-ća uzimļući da su ga oblici *umrla* itd. zadržali da krivo napravi oblik **umrao*, — a tada otkuda ńemu dužina u *ō*? Rukopis M. Držića tu nam ne pomaže, jer u ńemu nema ovakovih primjera. Svakako ovo je kod ovakoga *-o* < *-l* drugi slučaj da se u jezičnim spomenicima mlađi oblik javļa prije starijega: naime i kod ikavaca u sjevernoj Dalmaciji prije se javļaju oblici kao *slišiā* negoli oblici kao *rekā* prema kojima su oni prvi udešeni (*Rad* 136, 106).

U konzonantizmu (str. 264—361) iznosi V. ponajviše pojedine primjere za razne osobine kojim se odlikuje Zl-ćev jezik, jer, kako je poznato, s te strane nema u razvitku srphrv. jezika znatnijih i općenitijih promjena, pa ću zato i ja ovdje nadovezati samo nekoliko napomena. Da *cesar* ne stoji u vezi sa *cěsaŕь* nije vjerovatno, jer ako je *c* moglo doći prema mletačkom izgovoru (str. 274), nije odanle moglo doći *s* kad je tamo *z*. i s istoga razloga i *česar* ne može biti prema talijanskome *cesare*, gdje imamo *č*, ali zato opet *z*. — U pogledu izgovora *h* V. opet daje previše važnosti tomu što se kod dubrovačkih pisaca XVI. vijeka nalazi katkada naštampano *k* mjesto *h* i *h* mjesto *k*; odatle izvoditi da je u to doba možda moglo biti u Dubrovniku bar parcijalnog miješańa ta dva glasa (str. 280), nije nimalo osnovano: talijanski slagari izgovarali su srphrv. *h* kao *k*; pa su zato i miješali oba znaka. Isto je tako previše rešpekta pred štampom kad se kaže da i *ar*, kojim se u štokavskim spomenicima izražava vokalno *r*, u kojima se dakle do današńega dana drži čisto vokalno *r*, to *ar* može imati i nekakvo fonetsko značeńe (str. 286); drugo je sa *ar* u čakavskih pisaca i sa *er* u kajkavskih: kod jednih i drugih ono *a-e* pred *r* sigurno ima tako fonetsko značeńe, jer se je u tim dijalektima *r̥* razvilo u tom smjeru, samo što ne možemo znati kada se je *r̥* počelo tako razvijati, i prema tome ne možemo niti znati da li kod tih pisaca *ar-er* od samoga početka nešto drugo znači negoli kod štokavaca, ili tek od nekoga vremena. — Za *š* u *oštar* < *ostar* ne treba nam staroslav. alternacija *oštŕǫ-ostriši* pored vrlo običnih primjera gdje u srphrv. od grupa *str-, skr-* biva *štr-*, *škr-* (v. moj *Der štokav. Dialekt* 129). V. hoće i da protumači dubrovački oblik *tòmačiti* (prema *tumačiti*) koji je dosadan izuzetak zakonu da od *l̥* u srphrv. biva *u*: da ńegovo *o* nije postalo od *l̥* nego od *ol* (str. 290), bilo bi dakle postalo od *tolmačiti* kao *òtār* od *oltar;* ali tu opet smeta kvantitet: za *òtār-otára* razumijemo da je *o* od *ol* kratko, jer na drugom slogu pred starim

akcentom ne može biti dužine, ali *tómačiti (sa ō < ol) moglo bi vrlo lijepo biti (isp. *sódat* < *soldato*); naprotiv drugi izuzetak zakonu — ***kobàsica*** mogao bi se tako tumačiti od ***kolbasa***.

Zakon o čuvańu i gubļeńu poluglasâ nije bio nepoznat ni Leskienu, ni Maretiću, ni meni, kako V. misli (str. 296), nego — bar kako ja mislim — zakon o jakom i slabom položaju poluglasa nije nikakvo tumačeńe nego puka konstatacija da se poluglas čuva gdje bi se riječ bez ńega teško izgovarala a gubi gdje se bez ńega može lako da izgovori; pa kako je pojam lakog izgovora sasvim subjektivna stvar, to vidimo da se poluglasi, odnosno ńihovi refleksi, u slavenskom svijetu u raznim krajevima i u razno doba što čuvaju a što gube. Nego to samo pripadom spomińem, a inače u pogledu sloga *v* + poluvokal treba da rečem ovo: kako je bilo već prije poznato, od praslav. *vъzęti-vъzъmǫ* imamo *uzeti* (a prema tome i *uzmem*) i *vazmem* (a prema tome i *vazeti*); dubrovački pjesnici imaju oboje forme, pa V. misli da su se, bar za prvih pjesnika, oboje i govorile, jer da nije vjerovatno da su oblike sa *va-* prvi pjesnici uzeli iz čakavštine kad se radi o tako običnoj riječi (str. 297); to se opet meni čini vrlo nevjerovatnim, jer dubrovačka proza od XIV. vijeka daļe nema n i k a d a *va-*, pa po tome mislim, ne samo da se može, već da se mora reći: ne samo to *va-*, nego uopće s v a k a j e z i č n a o s o b i n a kojom se pjesnički jezik razlikuje od slične osobine u prozi nije postojala u živome dubrovačkome govoru. A što se tiče okolnosti da je pojam »uzeti« vrlo običan, to ne dokazuje da zato moramo priznati i oblik *vazeti* dubrovačkim — i pojam »zašto?« još je običniji, pa su opet pjesnici, i opet samo pjesnici, za ń uzimali vrlo često i čakavsko *zač*, ponajviše, istina, iz metričkih razloga (jer je *zač* za 1 slog kraći od *zašto*), ali su ga opet uzimali; svakako su pak uzimali i *ča*, iako vrlo rijetko (jer je to jednoložan oblik kao i *što*), a *što* je siguruo deset puta običnija riječ od *uzeti*. Nije mi pak jasno kako V. tumači oblik *vadriti* uz *udriti*: ja sam uzimao da je to čakavizam koji je postao miješańem prefiksâ *u-* (< *v-*) i *va-*, kako što tumačim i čakavske oblike *vamriti* i *vagļen* (< *umrěti*, *ugl'enzъ* s etimološkim *u-*: V. (str. 298) misli da je *udriti-vadriti* postalo kontaminacijom glagolâ *udariti* i *ùdrijeti-ȕdrēm* (< *vъdrěti*); ali nije vjerovatno da bi se eminentno tranzitivni glagol *udariti* pomiješao s intranzitivnim, a glavno je da toga intranz. glagola *ùdrijeti-ȕdrēm*, komu V. daje značeńe »faire irruption dans . . .« (str. 251), i nema! krivo je načińen u Broz-Ivekovićevu rječniku (još s participom *ȕdr'o-ȕdrla*! ali s tačnim značeńem »udariti«) prema obliku 3 sing. prez. *udre* u staroj dubrovačkoj poslovici; *udrem* dakle nije postalo od *vъdьrǫ* nego je dubrovački prezens od *udriti*, po svoj prilici prema tako običnom imperativu *udri!* a u povodu za alternacijama kao *plesti-pletem*.

U čakavskom obliku *treti* prema štokavskom *tretji* / *treći* ja ne vidim nikakav fonetski pojav (*tretji* > *treti*, str. 302) nego naprosto analogiju prema svim ostalim rednim brojevima koji svi imaju tvrdu osnovu: *prvi*, *drugi*, *četvrti* itd.; zato u čakavskom i *treto*, *tretoga* itd. Za dubrovačko *stat(i)* V. ima pravo da nije postalo kontrakcijom od *stajati*, kako misle Broz-Iveković, ali opet neće biti prema ńemu načińeno obično *stajati* (str. 303), jer se *stât(i)* izvan Dubrovnika ne govori; *stajati*, mjesto

stojati, udešeno je bez sumńe prema *stāti-stānēm*. I oblici kao *žudjenje* nijesu »etimološko pisańe« (str. 312) nego su stariji oblici načińeni od starijeg pasivnog participa *žudjen*, dok su oblici kao *žuđeńe* noviji prema novijim participima kao *žuđen*, koji su opet postali analogijom prema *roditi-rođen* itd. Za oblik pak *poje* mjesto *pođe*, što ga V. (str. 315) navodi iz Gundulića, ne treba misliti da tu možda stoji mjesto *pô je* (< *pao je*); to je zbiļa »hiperčakavizam« što se nalazi u nekim čakavskim i polučakavskim dijalektima (v. na pr. *Rad* 103, 70). Nema razloga ni da se misli da nije siguran oblik *ļuben* (u značeńu »ļubļeni«) koji se nalazi u pjesnikâ XV. i XVI. vijeka (str. 317): on se nalazi odviše često u dobrim rukopisima a da bi to mogle biti same prepisivačke pogreške; drugo je pitańe kako se ima tumačiti: to bi mogao biti samovoļno od prvih pjesnika prenačińen pasivni particip *ļūbļen*, ali se ne bi razumjelo zašto bi oni baš samo taj particip tako prekrajali, te zato ja mislim da to nije particip nego pridjev *ļùben* < *ļubven*.

U »zakļučku« (»Conclusion«, str. 363—366) V. dobro karakterizira dubrovački kńiževni jezik uopće a napose Zl-ćev, za kojega iznosi ukoliko se je on odalečio od prvih pjesnika, a ukoliko je s druge strane konzervativniji od nešto starijega D. Rańine. Ovdje V. ne govori o tome što je tokom izlagańa na više mjestâ istakao, da se u nekim sitnijim stvarima može konstatovati neka razlika među mlađim Zl-ćevim pjesmama što ih je on sam izdao g. 1597, i među starijim (*Pjesni razlike i Aminta*) što su nam sačuvane u rukopisima, po čemu bi se moglo kazati da je Zl. u starijim godinama bio nešto konzervativniji, iako V. sam priznaje više puta da se neki m l a đ i oblici u tim rukopisima imaju po svoj prilici odbiti na račun prepisivačâ tih rukopisa koji su svi tek iz sredine i druge polovice XVIII. vijeka. Ja pak mislim da s v u d a g d j e g ò d ima neka razlika u jeziku štampanoga izdańa i rukopisà, to treba smatrati samovoļnom promjenom mlađih prepisivača, i to ne samo gdje se radi o mlađim oblicima nego i gdje se, sasvim iznimice, radi i o starijim; tako smo već vidjeli da Matijašević g. 1759 okreće katkada jekavske oblike svoje matice na ikavske itd., a i za buduće vrijeme V. spomińe (str. 346) da isti prepisivač vraća *t* gdje ga matica nema, n. pr. *gledat će* mjesto *gledaće*. Neću time da rečem d a n i j e m o g u ć e da bi bilo, bar od česti, i onako kao V. uzimļe da je moglo biti, samo što bi trebalo da se može to i d o k a z a t i rukopisima iz Zl-ćeva vremena, ili još boļe onim izgubļenim izdańem *Aminte* od g. 1580.

Ja sam ovim svojim napomenama htio pokazati koliko ova oba djela V-nova svojim bogatim sadržajem davaju povoda da se razgovara o raznim pitańima srphrv. historičke gramatike, a iskreno me veseli što svoj prikaz mogu završiti općim sudom da je ovaj tako solidan rad zbiļa na čast autoru što ga je pisao i institutu što ga je izdao.

M. Rešetar.

Проф. Валерій Погорѣловъ: **Изъ наблюденій въ области древне-славянской переводной литературы. III. Опытъ изученія текста Саввиной книги.** (Sborník Filosofické Fakulty University Komenského v Bratislavě Ročník V.) Číslo 46 (1). 1927., 119 стр.

В началѣ своей работы автор объясняет свой интерес к Саввиной книгѣ, как занимающей »совсѣм особое мѣсто в мірѣ рукописей«, при-

чем оригинальность памятника нѣсколько автором преувеличивается: эту оригинальность автор видит в наклонном характерѣ букв, в отсутствіи различія тонких и толстых линій и в особенной графикѣ, выработанной писцом — автор указывает на систему надстрочных знаков над гласными и над буквой н и на »различіе начертаній ѧ и ѧ«. Оригинальными являются отмѣченныя автором особенности потому лишь, что до нас дошли жалкіе отрывки южнословянской письменности X—XI вѣка; поэтому то, что было в дѣйствительности особенностью школы, может казаться индивидуальной чертой одного памятника. Дѣйствительно, употребленіе ѧ и ѧ в Саввиной книгѣ совершенно одинаково с употребленіем этих знаков в недавно открытом Зографском отрывкѣ (ср. Revue des études Slaves VI. 5—39). Наклонный почерк в древне-словянской письменности, хотя и рѣдок, но попадается; палеографы его отмѣтили в Синайском Патерикѣ; легкій наклон вслѣдствіе спѣшности находим в одном из почерков Пандектов Антіоха и в первом почеркѣ Архангельскаго Ев. 1092 года. Что касается отсутствія различія толстых и тонких линій, то я не вижу в этом отношеніи существенной разницы между Сав. книгой и Хиландарскими отрывками или листками Ундольскаго.

Прежде чѣм перейти к самому изслѣдованію памятника с той точки зрѣнія, которая кажется автору наиболѣе правильной, он дѣлает отступленіе по вопросу о традиціонном канонѣ старословянских памятников и вопросу о их классификаціи в связи с критикой моих по этому послѣднему вопросу выводов в статьѣ »Du classement des textes vieux-slaves« Revue des études slaves, tome 2, Paris 1922, p. 175—205).

Мнѣ кажется, что если бы автор не дѣлал этого отступленія, то его книга от этого только выиграла бы, ибо его вопросы и недоумѣнія очень легко разрѣшимы. Отчего, спрашивает он, в канон не входит Остромирово Евангеліе, Болонская или Погодинская Псалтырь или Сборник Святослава 1073 г.; почему с другой стороны входят в канон Супрасльская рукопись или Хиландарскіе отрывки?

Если проф. Погорѣлов заглянет на 43—45 страницы моей книги »Древне-церковнословянскій язык« (1917 г.), то увидит, что у меня в канон входит и Остромирово Евангеліе, и что »в меньшей мѣрѣ сравнительно со всѣми указанными выше памятниками могут служить источниками... остальные церковнословянскіе тексты XI, XII, XIII вв., возникшіе на русской, болгарской и сербской почвѣ« (почему в меньшей мѣрѣ, не требует объясненія). Тут указаны и Болонская Псалтырь, и Погодинская Псалтырь, и Архангельское Евангеліе и другіе памятники. Покойный Вондрак в своей Grammatik der Altkirchensl. Sprache широко пользуется данными памятников, не входящих в старый канон. Почему мы привлекаем и Супрасльскую рукопись или Хил. отрывки, тоже понятно: во-первых, хотя они и не связаны с литературной дѣятельностью Первоучителей, в них отражаются черты традиціоннаго литературнаго языка, созданнаго Кирилл м и Меѳодіем; во-вторых же, нас интересует не только говор Кирилла и Меѳодія, но и черты старословянских говоров X—XI вв., отражающіяся в памятниках этого литературнаго языка.

По поводу различенія діалектов старословянских памятников проф. Погорѣлов недоумѣвает: древне-церковнословянскій язык был язык искусственный — »какіе говоры могли в нем существовать«? (6 стр.).

Но кто же различает говоры в этом искусственном языкѣ? В моей книгѣ »Древне-церковно-словянскій язык«[3] на 224 стр. совершенно ясно говорится, что помимо общей основы уже в древнѣйших памятниках церковно-словянскаго языка отражаются черты различных словянских нарѣчій конца X и XI столѣтія. Это не черты говоров искусственнаго языка, а черты живых говоров переписчиков, которые переписывали памятники этого языка...

Далѣе идет критика моей классификаціи старо-сл. памятников — все в том же духѣ — критика столь же придирчивая, сколь и безплодная. Почему я не говорю, какія произведенія старой словянской литературы связаны с дѣятельностью Кирилла и Меѳодія? — Потому что это в данном случаѣ не мое дѣло. Другое дѣло — вопрос, какіе из старословянских памятников, дошедших до нас, связаны с этой дѣятельностью: это общеизвѣстно (ср. у меня в книгѣ »Древне-церк. сл. язык«[3], стр. 27, 34, 41, 42, 43). Недоволен автор тѣм, что предполагаемые южно-словянскіе говоры не локализованы вполнѣ точно географически; но они локализованы в той мѣрѣ, в какой это в настоящее время возможно. Одни отнесены к Македоніи, другіе к восточной Болгаріи, нѣкоторые, быть может, невозможно в настоящее время локализовать. Почему предполагаю лишь два слоя сверх Кирилло-Меѳодієвской основы? — потому что этот минимум мы имѣем право предположить; вѣроятно, этих слоев было гораздо больше, но так как опредѣлить их с увѣренностью мы не в силах, то безполезно об этом и говорить.

Упрек, что говоры второго слоя остаются без указанія опредѣленнаго мѣста происхожденія, неправилен: мѣсто их происхожденія достаточно опредѣляется у меня по отношенію к группѣ говоров *A* и *B* (т. е. всѣх, кромѣ говора Кіевскаго Миссала) словами »parlers de même type, que le parler des Apôtres, avec *št*, *žd* > *tj*, *dj* et *št* < *skj*, *stj*«.

Странно, что автор считает всетаки невыясненным »считаю ли я намѣчаемые говоры X—XI вв. говорами церковно-словянскаго языка, или это говоры какого либо другого языка, или каких либо других языков«. Это ясно из содержанія всей статьи, ясно и тому, кто знаком со вторым изданіем моей книги »Древне-церк.-сл. язык« (1913 г. 193 стр.) или 3-м изданіем (1917 года, 224 стр.).

Можно согласиться с автором (11 стр.), что изученіе говоров послѣдняго писца каждой рукописи относится к области исторіи языков болгарскаго, русскаго, сербскаго; результаты изученія можно отнести к исторіи отдѣльных языков, но факты даны в эмпирической связи с древне-церковно-словянской языковой основой.

Возражая против »діалектичности« старословянских памятников, автор находит другое объясненіе различій в их языкѣ: они зависят »от различія языка самых писателей (переводчиков или авторов) их« (11 стр.). Автор при этом, очевидно, игнорирует как литературную традицію в языкѣ, так и безсознательное внесеніе писцами черт своего говора.

В концѣ концов, повидимому, вся эта неудачная критика того, что до сих пор дѣлалось по изученію старо-словянских памятников, нужна была автору, чтобы обосновать необходимость »филологическаго изученія дошедших до нас произведеній« (12 стр.). Но кто же станет отрицать необходимость филологическаго изученія старых памятников наряду с лингвистическим? Все дѣло в выводах, а выводы зависят от того, как ведется это филологическое изученіе. В данном случаѣ, филологическое изученіе Сав. книги привело автора к выводам, которые вряд ли могут быть приняты нашей наукой. Изучая текст Сав. книги, проф. Погорѣлов прежде всего приходит к выводу, что памятник этот автограф исправителя; к такому выводу автора привела кропотливая работа по сличенію текста Сав. книги с другими текстами, работа полезная, которою наша наука воспользуется. По поводу этого сличенія можно однако сдѣлать ряд замѣчаній.

Автор, как он сам признает (14 стр.), привлек к сравненію очень ограниченное количество списков: Зографское, Маріинское, Ассеманово, Остромирово Ев., иногда Врачанское. Он сам сожалѣет, что не мог воспользоваться Мирославлевым Евангеліем. Мирославлево Ев., думаю, автору ничего не дало бы, так как оно в своей редакціи текста тѣсно примыкает к древнѣйшим глаголическим памятникам. Но прежде чѣм сдѣлать вывод, что всѣ многочисленныя, приведенныя автором отступленія Сав. книги в чтеніи от древнѣйших южно-словянских списков Евангелія нужно отнести на счет попа Саввы, писца и в тоже время исправителя — слѣдовало бы изучить цѣлый ряд других извѣстных нам текстов евангелія югословянской и русской редакцій, как то Добромирово, Добрѣйшево, Кюстендилское, Трновское, Іоанна-Александра, Архангельское, Юрьевское, Мстиславово, Галицкое, Добрилово Ев. Пока эта работа не сдѣлана, если не полностью, то хотя бы частично, вывод автора не может считаться прочным. Для меня по крайней мѣрѣ a priori гораздо вѣроятнѣе, что Сав. книга представляет лишь одну из копій извѣстной редакціи. Конечно поп Савва, как переписчик, мог внести в свою копію и нѣчто свое, но приписывать ему все, чѣм Саввина книга отличается от редакціи древнѣйших глаголических текстов, было бы пока по меньшей мѣрѣ преждевременно.

Точно также трудно видѣть во всѣх отмѣченных автором отличіях Сав. от других древних текст в редакціонную работу исправителя. Пропуск отдѣльных слов и цѣлых выраженій — пропуск, неоправдываемый греческим текстом, гораздо проще объяснять небрежностъю переписчика, чѣм работой исправителя; в частности пропуск слова вьсего в выраженіи вьсего мира не есть пропуск, а лексическій варіант более поздній. Реминисценціи также можно приписывать не только исправителю, но и переписчику. Значительное количество отличій Саввиной книги представляет замѣну болѣе старых лексических варіантов новыми: сюда относятся только что приведенное мира вмѣсто вьсего мира, горѣ вм. выспрь, испрьва вм. искони, оудависѧ вм. възвѣсисѧ, мѵра вм. хризмы, законьникъ вм. законооучитель, молитисѧ вм. просити, хоупрѫзи вм. акриди, истовы вм. истиньны, жизнь вм. животъ, хоулениѥ вм. власвимиѣ и хоулитъ вм. власвимисаетъ къ нѣкомоу

вм. къ етероу, тѣмь же вм: сего ради, тъчиѫ вм. тъкъмо, вратарь вм. двьрьникъ, истрѣбити вм. оцѣстити, прахнѣнъ вм. зълъ, обитѣль вм. гнѣздо, оброкъ вм. кинсъ, градъ вм. врътъ, наслѣдие вм. достоѣние, краи ризѣ вм. въскрылие ризъ, богатьство вм. сътѧжание, вьсь вм. градьць, повѣдати вм. съвѣдѣтельствовати, послоухъ вм. съвѣдѣтель, не пештисѧ вм. нерадити, жрьдь вм. дрьколь, богатъ вм. домовитъ, господа вм. гостиница, небрѣшти вм. нерадити, пѧтъкъ вм. параскевгиѣ, съ дрързновениемь вм. необиноуѧсѧ, оувѣщати вм. оутолити, съконьчаѭтъсѧ вм. събѫдѫтъсѧ, плънъ вм. исплънь, ближьнии вм. искрьнии, пастоухъ вм. пастырь, мъногашьды вм. мъножицеѭ, приложитъсѧ вм. прилѣпитъсѧ, потъкѫсѧ вм. опьрѣшѧсѧ, прѣжде вм. древле, на вратѣ вм. на крилѣ (црквьнѣмь), възгласи вм. въстрѫби, подроугъ вм. клеврѣтъ, ѣзвы вм. строупы, оубожьство вм. лишение, зъвати вм. възгласити и др. Маловѣроятно, что всѣ эти замѣны старых выраженій новыми сдѣланы одним и тѣм же лицом и именно попом Саввой.

Нѣкоторыя отступленія Сав. от древнѣйших текстов заставляют думать, что писец — поп Савва, конечно знавшій хорошо текст евангелія — апракос, нерѣдко писал по памяти, лишь время от времени заглядывая в оригинал, иногда внося в свой текст свои слуховыя ошибки; так, вѣроятно, объясняются чтенія: бысть гла аггломъ вм. бысть съ аггломь (стр. 16); мироу всемоу вм. мироу семоу; сюда, быть может, относится чтеніе вѣроуѧ въ имѧ вм. вѣроуѭ въ мѧ (15 стр.), также — ни двою ризоу ни мѣди, вм. ни двою ризоу имѣти. Такое объясненіе, вѣроятно, приложимо и ко многим случаям пропуска слов, особенно односложных. У автора всѣ такіе случаи разсматриваются, как редакціонныя измѣненія. Можно сомнѣваться далѣе, что *всѣ* искаженія, пропуски букв или слогов, или же вставка букв относятся к послѣднему переписчику, попу Саввѣ, котораго автор считает исправителем. Так напр., чтеніе отока вмѣсто потока (Io. XVIII. 1), отмѣчаемое автором (15 стр.), находим и в Мирославлевом Ев. Мало похоже на работу исправителя чтеніе ѡ окамененъı, вм. -нии: очевидно, в оригиналѣ писца было -ны с обозначеніем буквой ь редуцированного *i*, а писец, поп Савва, замѣнил ь буквой ъ. Что не всѣ отступленія Сав. от древнѣйших текстов — работа исправителя Симеоновской эпохи, для меня нѣт сомнѣній и в виду таких случаев, как похваль вм. хвалѫ въздавъ (Мѳ. XV 36) или же створь приимѫ вм. сътворь да имамъ (Мѳ. XIX 16): исправитель Симеоновской эпохи употребил бы формы похваливъ, сътворивъ, а не похвалъ, сътворь.

Не могу согласиться и с отдѣльными толкованіями автора; так напр., на 46 стр. (№ 128) автор объясняет чтеніе Сав. и вы створитъ вм. и тъ створитъ предположеніем, что писец прочел т своего глаголическаго оригинала, как в; но во первых глаголическое т не так уж сходно с в, а во вторых тут еще имѣем ы вм. ъ. На 48 стр. (№ 138) автор объясняет чтеніе Сав. въ дворъ вм. вънѫтрь тѣм, что »исправитель замѣнил чуждое ему, очевидно слово (ср. чш. vnitř, vnitro, словац. vnútro) болѣе для него обычным«: почему вънѫтрь чуждо писцу? — в болгарском находим внѫтрѣ (ср. серб. унутра).

На стр. 60 (№ 218) автор объясняетъ чтеніе пакы тъжде вм. паракли̂тъ жде предположеніем, что первые два слога слова паракли̂тъ в глаголическом оригиналѣ исправителя представляли лигатуру, которую писец прочел как па, а л принял за ъ: должно помнить однако, что лигатуры в древнѣйших глаголических памятниках очень рѣдко примѣняются, что такая лигатура букв пара, насколько я знаю, в них не встрѣчается. Я вижу здѣсь простую замѣну, вполнѣ дающую смысл чтенію. Во всяком случаѣ всѣ разночтенія Сав. книги с другими древнѣйшими текстами, как бы они в отдѣльных категоріях случаев ни объяснялись, не дают никаких основаній утверждать, что Сав. книга — автограф исправителя. Чтобы доказать это, нужно привести болѣе осязательные аргументы.

Автор на стр. 80—82 пытается такія непосредственныя доказательства своего положенія найти. Однако, разсматривая эти доказательства, прихожу к заключенію, что они не выдерживают серьезной критики.

1. Мѳ. X 37. нѣсть ми на подобѫ: буква н переправлена писцом из є; исправитель, по объясненію автора, начал писать так, как читалось в его оригиналѣ — нѣстъ мене достоинъ, но написав нѣсть ме, рѣшил передѣлать всю фразу; однако можно предложить другое, болѣе простое объясненіе: в оригиналѣ уже было нѣсть ми на подобѫ, но этому предшествует любѧи оц҃а ли мт҃ре паче мене; под вліяніем этого мене писец начал писать ме . . . послѣ нѣсть, но замѣтил свою ошибку и исправил.

2. Л. XVIII 16: въпидоста -а выправлено из -є; но такую поправку мог сдѣлать простой переписчик: форма на -те, как форма дв. ч., была ему непонятна.

3. Л. XV 15: в словѣ пришъдъ буквы ш и д писаны по разурѣ; писец сначала пропустил слово шьдъ и начал писать слѣдующее -прилѣпи, а замѣтив, ошибку, оставил при, а остальное счистил. Какая же эта работа исправителя?

4. Мр. X 21: в словѣ отпелиже буква о »выправлена из є«, автор дает этому объясненіе со своей точки зрѣнія, но все дѣло в том, что Щепкин в своем изданіи Sav. говорит, что о исправлено из и (а не из є) и дает этому хорошее объясненіе.

5. Іо. XIX 2: писец начал писать отъ тръниѣ, как в других списках, но рѣшил замѣнить это словом трьнѣнъ, поэтому подчистил написанныя буквы и поверх них написал трьн(ѣнъ); однако, ничѣм не доказано, что писец начал писать отът . . .: Щепкин указывает лишь, что буквы трьн писаны самим писцом по разурѣ — писец мог начать ошибочно что нибудь другое напр. вѣп . . .

6. Мѳ. VII 5: вмѣсто изѧти сѫчьць із очесе брата твоего писец написал изѧти сѫкъ брата твоего и, замѣтив пропуск, надписал сверху въ очесе; но опять таки не видно, чтобы это была работа исправителя: въ очесе могло быть уже в оригиналѣ писца.

7. Мѳ. IX 22: вмѣсто дръзаи находим в Саввиной падѣисѧ, причем па надписано сверху; по автору, исправитель начал писать дръзаи, затѣм рѣшил передѣлать в падѣисѧ; но писец просто мог пропустить случайно па, имѣя в оригиналѣ падѣисѧ.

Л. VI 33: вмѣсто тожде в Сав. тако^жде; по автору тожде замѣнено словом тако, а затѣм под вліяніем оригинала приписано сверху жде; с таким же правом, однако, можно предположить, что в оригиналѣ было такожде, и что писец пропустил жде и затѣм дописал его.

9. Мѳ. XXI 15: к слову негодоваша приписано наверху же ибо исправитель забыл, что в началѣ стиха имѣется видѣвъше же; но негодоваша же могло быть в оригиналѣ: видѣвъше же стоит далеко и могло быть забыто.

10. Іо. XIV 6: в фразѣ никътоже придетъ вставлено наверху не (не придетъ); и это не могло быть уже в оригиналѣ писца.

11. Іо. XVI 19: писец замѣнил сътязаете са через въпрашаете, но затѣм под вліяніем своего оригинала прибавил сверху съ, а в концѣ са. С таким же правом можно сдѣлать другое предположеніе: под вліяніем стоящаго в началѣ того же стиха въпрашати писец написал и далѣе въпраша...; замѣтив ошибку, он вышел из положенія добавкой съ и са к формѣ въпрашаете.

12. Л. XV 30: закла емоу тельць оубипитѣны вм. ... питомы; по объясненію автора, нужно читать оуби питѣны, каковыми словами исправитель замѣнил слова закла питомы, забыв вычеркнуть уже переписанное закла. Объясненіе маловѣроятное: исправитель сразу бы замѣнил слово закла словом оуби; притом писец раньше употребил не питѣны а оупитѣны; возможно, что писец случайно написал би вм. пи, а затѣм исправил на пи, забыв выскоблить би.

13. Мѳ. IX 5: речещи вм. рещи автор объясняет так: вм. рещи исправитель написал рече, а затѣм прибавил щи. Спрашивается: как мог исправитель измѣнить так текст, чтобы вм. рещи можно было употребить рече? Автор на этот вопрос не отвѣчает, а между тѣм не исправитель, а писец мог написать рече вм. рещи под вліяніем рече в предыдущем стихѣ. То же самое можно сказать по поводу наречещи са Л. XV 21 (тоже в началѣ стиха имѣем рече).

14. Л. XXIII 34: исправитель хотѣл написать глеть вм. глааше, но написав гле, раздумал и приписал окончаніе имперфекта: явилась форма глеше. Спрашивается, откуда автор знаетъ, что хотѣл поп Савва? притом же глеть здѣсь не подходит; проще здѣсь видѣтъ простую описку: -еше вм. -аше (Sav. любит стяженныя формы).

15. Л. X 30: чл҃къ единъ съхождаще отъ иерслма въ ерихѫ и въ разбоиникы въпаде; по автору, писец начал писать форму съхождаше, но недописав -ше, рѣшил передѣлать эту форму в причастіе, добавив -ще: автор тут забывает, что при подлежащем чл҃къ форма причастія будет съхождаꙗ без -ще; которое могло быть лишь при подлежащем во мн. числѣ.

16. Л. XXIII 34: раздѣлѣѭще же ризы его метаща жрѣбиꙗ: и тут автор видит »контаминацію первоначальной формы имперфекта (метаахѫ) и причастія«; между тѣм так ясно, что метаща явилось под вліяніем предыдущаго раздѣлѣѭще вм. аориста геташа.

Таким образом, автор нисколько не доказал, что Сав. книга »автограф исправителя«.

Также безуспѣшна его попытка доказать, что оригинал попа Саввы был глаголическій (стр. 82—83). Аргументы покойнаго Щепкина были в свое время опровергнуты критикой, а то, что к ним прибавляет проф. Погорѣлов, совсѣм неубѣдительно: о чтеніи пакы тъжде и о чтеніи кы вм. тъ ср. выше, а ошибки в цыфрах, объясняющіяся разницей глаголическаго и кирилловскаго счета, могли быть уже в кирилловском оригиналѣ Сав. книги. Но допустим на время, что проф. Погорѣлов доказал, что Сав. — автограф исправителя, всетаки останется не только недоказанным но и совершенно невѣроятным заключеніе его, что Сав. книга относится к началу X в., что исправитель, поп Савва — один из дѣятелей Симеоновской эпохи. Чтобы доказать это, нужно было бы имѣть вѣскія данныя, относящіяся к палеографической и языковой сторонѣ памятников. Таких данных я у автора не вижу.

В палеографическом отношеніи автор ссылается на формы букв ѧ, ц, щ, ρ, к. Буква ѧ в Сав. книгѣ сохранила старое начертаніе, но такое начертаніе находим и в других памятниках, относимых обычно к XI в.; такое же начертаніе и в Остромир. Ев. 1056—1057 г.; служить указаніем на начало X в. оно не может. Вопрос, было-ли щ в началѣ X в., но помимо того я не вижу в начертаніи этой буквы в Сав. ничего архаическаго: хвостик его обычно спускается под строку; на листѣ 127 об. 9 св. оно стоит на строкѣ, ибо внизу мѣшает дыра в пергаменѣ. Точно также не поражает меня стариной буква ц в Сав.: хвостик ея нѣсколько спускается под линію строки, а впрочем и старое ц, стоящее вполнѣ на линіи строки, не Бог вѣсть какая рѣдкость: его мы найдем не только в Супр. и л. л. Ундольскаго, но и в Добромировом Ев. XII в. Архаично, по мнѣнію автора, ρ: небольшая узкая головка и большею частью прямой тупой конец — »как в надписи 993 года«. Форма надписи 993 года объясняется матеріалом; в буквѣ ρ Сав. хвост гораздо длиннѣе, чѣм в надписи 993 года; небольшая головка — и в Супр.; маленькую головку и тупой прямой конец можно найти и в болѣе поздних памятниках — XII в., напр. в Добромировом Ев.

В буквѣ к автор отмѣчает ту особенность, что она представляет как бы соединеніе двух букв: і и г, но такую же форму находим и в Супр., и в л. л. Ундольскаго, которые во всяком случаѣ не старше XI в. Отдѣльность частей этой буквы, подчеркиваемая автором — обычная черта в памятниках XI—XII вв. — сравни к в младшем почеркѣ Слѣпч. Апостола.

Автор ссылается еще на »невыработанность, неустановленность графики: іотація выражена еще далеко неодинаково; уже существуют знаки ѩ, ю, ꙗ, но в роли послѣдней буквы употребляется ѣ: в началѣ слова (или слога) еще почти постоянно пишется є, но уже есть нѣсколько случаев употребленія и ѥ . . .; для іотированнаго ѧ создан особый знак (ѩ), нѣсколько лишь отличный от неіотированнаго (ѧ, ѧ) . . .« Все это нисколько не указывает на начало X в.: в надписи 993 года еще нѣт ѩ, а вмѣсто него ѫ, и то обстоятельство, что в Сав. уже есть и ѩ, и ꙗ, и ѥ, говорит не в пользу начала X в.

Кромѣ того автор игнорирует такія формы букв в Сав. книгѣ, которыя явно отступают от старины, представленной надписью 993 года,

и указывают на болѣе позднюю эпоху, чѣм конец X в. Это-буквы в с верхней петлей, меньшей, чѣм нижняя, и с болѣе высоким положеніем перекладины, чѣм в надписи 993 года, и с болѣе высоким положеніем косой черты, чѣм в надписи.

И язык Сав. книги отнюдь не свидѣтельствует о началѣ X в.: ср. нерѣдкій в Сав. пропуск полугласных; думать, что полугласные выпадали уже в началѣ X вѣка, было бы черезчур смѣло. Автор пытается и в языковой сторонѣ Сав. найти опору своему мнѣнію, но эта попытка вызывает лишь недоумѣніе. Прежде всего, к чему обзор морфологіи памятника, данный автором на 88—100 стр.? К чему приводить обычнѣйшія формы, как nom. sing. обѣдъ, одежда, дрѣво, дѣло, gen. sing. мѣста, dat. sing. водѣ, инфинитивы на -ти, формы 1 sing. praes. на -ѫ и т. п., — обычнѣйшія формы? Все это можно найти в индексѣ Щепкина, не дает это ничего и даром занимает мѣсто (помѣщеніе в скобках соотвѣтствующих слов других списков не оправдывает приведеніе таких форм). Затѣм автор дѣлает выборку черт, подготовляющих его вывод, что Сав. относится к началу X в. В дѣйствительности, выборка эта не дает ничего в пользу начала X в.

Автор подыскивает в Сав. такія формы, которыя встрѣчаются в литературных произведеніях Симеоновской эпохи, в Супр. рукописи, в Сб. 1073 г., Чудовской Псалтири XI в. и на основаніи этих черт дѣлает вывод, что Сав. писана при царѣ Симеонѣ.

Однако, огромное большинство этих черт мы находим уже в древнѣйших глаголических текстах евангелія. Формы dat. sing. типа ісѵси, иѡсифови, gen.-accus. (раба и т. п.), dat. possessiv. (соль земли и т. п.), формы loc. sing. типа имени рядом с болѣе старыми на -е, формы императива типа оубиѣмъ, глѣте, стяженныя формы прилагательнаго и имперфекта, причастія типа сми, формы 3 л. sing. ѥ, нѣ, окончаніе 3 л. дв. ч. -та вм. болѣе стараго -те, формы аориста типа придохъ, рекохъ, сложныя формы будущаго времени типа имѣти имаши, условное наклоненіе с формой быхъ вм. стараго бимь, все это автор объявляет языковыми особенностями Симеоновской эпохи, а между тѣм все это можно найти уже в древнѣйших глаголических текстах: dat. possessivus — древнѣйшая синтаксическая черта слов. языков, как и древнѣйшее явленіе словянских языков — gen.-accus., как и несомнѣнно черты кирилло-меѳодіевской морфологіи — формы оубиѣмъ, глѣте и образованіе сложнаго будущаго помощью вспомогательнаго глагола имамь. К числу особенностей, выдающих Симеоновскую эпоху, автор относит и »начало разстройства склоненія«, а это разстройство видит в употребленіи аккузатива вм. генетива при отрицательной конструкціи: да не когда прѣткнеши о камень ногѫ своѭ; конечно, в этом нѣт никакого разстройства склоненія, как нѣт и особенности Симеоновской эпохи: ср. в Зогр. Ев. да не когда прѣткнеши о камен . . . ногѫ своѭ (Мѳ. IV 6); ср. русс. »смотри, не разбей голову« или серб. пази да не разби'еш главу и т п. Другой примѣр разстройства склоненія ни самомоу мьнѭ всемѹ мирѹ вьмѣстити пишемыхъ кънигахъ (вм. кънигъ) тоже — мнимый: это случайная ошибка — писец написал кънигахъ под вліяніем предыдущаго пишемъхъ, — параллель

можно указать в Кіевском Миссалѣ (небесьскѣхъ силахъ gen. pl.); если же это — разстройство склоненія, то примѣр этот говорит рѣшительно против начала X в., за XI в. Предположенія разстройства склоненія в болгарском языкѣ уже в началѣ X в. совершенно невѣроятно: оно противорѣчит показаніям наших памятников XI вѣка.

Точно так-же форма живого gen. sing., которую автор считает живою особенностью говора попа Саввы, если это не описка, рѣшительно говорит против начала X в. К числу особенностей Симеоновской эпохи автор относит »описательную форму повелительнаго наклоненія в 1 л. мн. ч.: да оубиемъ«. Я не вижу тут описательной формы повелительнаго наклоненія: это индикатив с союзом да, представляющій предложеніе цѣли (придѣте да оубиемъ — в древнѣйших текстах придѣте оубиѣмъ).

В концѣ концов, кое что в Сав. книгѣ должно быть от эпохи Симеона, от симеоновской редакціи евангельскаго текста. Но грубая логическая ошибка от наличности в текстѣ Сав. книги нѣкоторых лексических или грамматических черт Симеоновской эпохи дѣлать заключеніе, что сама рукопись возникла в Симеоновскую эпоху. Логически столь же возможно другое, а именно, что эти черты попали в текст Саввиной книги из ея праоригинала. Какая из двух возможностей болѣе правдоподобна? На это дает отвѣт с одной стороны палеографическая сторона рукописи, а с другой — правописаніе, в котором отражается фонетика говора попа Саввы. И палеографическая сторона, и фонетика памятника краснорѣчиво опровергают вывод автора о столь глубокой древности рукописи.

Бѣлград, 22/XII 1928. *С. Кульбакин.*

Несколько коньектур к Слову о полку Игореве. (По поводу труда ак. В. Н. Перетца).

Два года назад в Киеве, в издании Украинской Академии Наук, вышла замечательная монография ак. В. Н. Перетца о »Слове о полку Игореве«.[1]) Этот труд несомненно составит эпоху в истории изучения загадочного памятника древне-русской литературы. Автор не только собрал воедино почти все мало-мальски важное и существенное, что было сказано когда-либо и где-либо по поводу происхождения »Слова« и его отдельных частей, не только нарисовал яркую картину княжеско-дружинной среды, на фоне которой оно возникло, но и сделал опыт нового строго-критического и методического издания памятника, осветив почти каждое слово его текста подробным комментарием. В результате автор дал русской науке давно желанную энциклопедию »Слова о полку Игореве«, как бы summa summarum продолжающей расти, как снежная лавина, литературы о драгоценном памятнике, и потому его книга будет долго служить незаменимым справочным пособием не только по вопросам, касающимся самого »Слова« и его текста, но и по многим другим, более

[1]) Ак. Володимир Перетц, Слово о полку Игоревім. Памятка феодальної України-Руси XII віку. Вступ. Текст. Коментар. У Київі 1926, X + 358 стр. Ср. М. Сперанский Slavia VI. 180—182 и VI, 846—847.

или менее смежным проблемам и памятникам древнерусского книжного и устного творчества. Таким широким значением монография ак. Перетца обязана совершенно правильной постановке исследования. Автор везде и всюду в своем произведении рассматривает »Слово« не как *случайный*, хотя и необыкновенно пышный, цветок древнерусской письменности, а как ее *органическое* произведение, как ее »кость от кости и плоть от плоти«. Поэтому, шествуя в лабиринте вопросов »Слова«, ак. П. никогда не прибегаст к сложным этимологическим, мифологическим, социологическим и др. построениям, но старается выходить из встречающихся на его тяжелом пути трудностей почти исключительно при помощи, во-первых, данных славяно русской палеографии; во-вторых, лексикальных свидетельств церковнославянской и древнерусской письменности, а равно и устной поэзии и, в-третьих, показаний стиля произведений книжной и народной словесности, в особенности тех, которые близко стоят по теме и духу к »Слову«. Этот *строжайший реализм* метода исследования представляет главное достоинство монографии П-а и проявляется всюду: и во вступительных параграфах, где автор подводит *общие* итоги разысканиям в области »Слова«,[1]) и в текстуальной реконструкции памятника, и в особенности в многочисленных к нему примечаниях. Как подробны и обширны эти последние, можно судить уже по тому, что они заняли в книге страниц в пять раз более, чем самый текст! Автор с большим критическим тактом, и если можно так выразиться, с тонким вкусом выбирает из целого легиона мнений, догадок и коньектур, которые высказывались в разное время в научной литературе по поводу различных трудных мест »Слова«, наименее, по его мнению, натянутые и простые, изредка он позволяет себе делать и собственные исправления текста, не всегда, как увидим ниже, счастливые, но почти всегда осторожные и обоснованные, но главное место в своем комментарии он уделяет чрезвычайно многочисленным и иногда даже до излишества изобильным (как это уже констатировала единогласно критика) — параллелям из произведений книжной литературы и устной словесности. Благодаря этим сопоставлениям, отныне для редкой фразы или выражения »Слова« нельзя будет указать более или менее точного эквивалента в других писаных и устных памятниках русской литературы. Все же параллели, взятые вместе, доказывают, что поэтический стиль »Слова« гораздо менее оригинален, чем полагали до сих пор, и что он тысячами нитей связан со многими произведениями предшествующей и современной ему литературы. А если так, то должны

[1]) Своей обычной объективности автор изменяет лишь в первом §, посвященном раскрытию особенностей феодального строя Южной Руси в XI—XIII в. в. Но таких настоящих признаков этого строя, как тот, напр., факт, что митрополиты и епископы, как и другие крупные вассалы, имели свое войско (стр. 11), здесь приведено сравнительно очень мало; большая часть страниц занята перечислением разных жестокостей, которые русские князья совершали в войнах между собой и с внешними врагами. Но à la guerre comme à la guerre. Во время войн не сантиментальничают, и во все времена и у всех народов, независимо от уклада их социальной жизни, можно указать еще более разительные примеры зверства.

окончательно потерять почву все еще изредка появляющиеся в научных сочинениях подозрения насчет подлинности »Слова«.[1])

Но как бы высоко мы ни ставили в научном отношении комментарии Перетца, все же ни он сам, ни кто другой не станет утверждать, что он объяснил и восстановил текст »Слова« окончательно. Напротив, и после нового опыта П-ретца многое остается в нем неясным и спорным, и та реконструкция, которую он предлагает в своей книге, не удовлетворит, конечно, никого ни в том палеографическом ее варианте, который он поставил в красный угол построенного им здания, ни в том модернизированном аспекте, который он поместил в его нижнем этаже: в обоих случаях текст »Слова« реставрирован более или менее гадательно, он остается лишь более или менее вероятной гипотезой, и внесенные в него Перетцем исправления и эмендации часто представляют собой лишь замену *х* *у*-м. Но значение его труда от этого нисколько не умаляется. Его заслуга заключается не в том, что он *совершенно* точно воссоздал погибшее здание »Слова о полку Игореве«, а в том, что он окружил его руины лесами, сделанными из самого прочного матерьяла, и указал направление, в каком должны итти дальнейшие работы по реставрации этого изумительного произведения древне-русской литературы.

Ступая по воздвигнутым П-м лесам и следуя по указанному им пути, я и позволю себе в нижеследующем изложении предложить несколько скромных поправок в реконструируемый памятник — поправок, которые, как мне кажется, лучше отвечают стилю и духу той эпохи, когда он возник, чем те, которые принимает автор рассматриваемой монографии.

1. Уже на первых страницах »Слова« одно место восстановлено П-м, по моему мнению, не совсем точно. Именно в обращении певца к Бояну: »О Бояне, соловію старого времени! абы ты сіа плъкы ущекотал . . . свивая славы оба полы сего времени« (стр. 95) он, следуя за Барсовым и многими другими комментаторами, переделывает *славы* в *славію*, но, мне кажется, смысл получится лучший, если мы, вслед за Ржигой (Наук Зб. XXVI, 13), форму *славы*, как засвидетельствованную и первым изданием »Слова« и екатерининской копией, оставим без изменения, а *обаполы*, подражая тому же ученому, будем читать как наречие, в роли какого оно только и встречается в древне-русской письменности. Что касается *свивая*, то я читаю его как *спѣвая*, и все место перевожу так: »*О Боян, соловей старого времени, как бы ты возвеличил эти войны, . . . воспевая славные с обеих сторон деяния этого времени!*« Я позволяю себе полагать, что такое чтение менее искусственно и тяжеловесно, чем предлагаемый П-м перевод »свивая обе половины этого времени«, и это тем более, что указать аналогичные выражения в других памятниках ему не удалось. Правда, Ржига (l. c.),

[1]) Таким скептиком был, напр., покойный Л. Леже, который в своей »Славянской Мифологии« избегает пользоваться свидетельствами »Слова« о древне-русс. богах, как памятника подозрительного по происхождению. Этот скептицизм унаследовал от своего учителя и известный французский славист А. А. Мазон.

в подтверждение чтения *свивая*, ссылается на другое место в Слове, где »девици поють на Дунаи, вьются голоси чрез море до Киева«, но *вьются* (если только это не описка вм. *льются*) не то же, что »свиваются«. Еще менее напоминает интересующую нас фразу приглашение Кирилла Туровского венчать святую церковь »песньми яко цветы«. Эти слова, вполне уместные в устах церковного витии, имеют гораздо менее права на сближение со Словом, как произведением эпическим, чем указанное самим же Ржигой былинное »славы поют«. Поэтому я и после статьи московского ученого настаиваю на своей коньектуре *спѣвая*. Конечно, и я не могу указать глагол *съпѣвати* в др.-русс. письменности, не могу доверять особенно цсл. **съпѣвати**, так как оно приведено Miklosich'ем без указания источника, тем не менее за его существование в языке наших предков достаточно красноречиво ручаются укр. *співати* и косвенно-польск. *śpiewać*. И если современный украинский кобзарь »на гуслях грає, красно співає«, то тем паче мог делать это в XI и XII в. Боян. Поэтому я даже догадываюсь, что в одной из древнейших копий »Слова« *спѣвая* было написано по украинскому произношению *спивая*, которое под пером писцов XVI и XVII в. превратилось в *свивая*, что могло случиться тем легче, что в в это время получило вид четыреугольника, почему и смешивалось иногда с п.

2. Много сомнений возбуждают также чтение и толкование П-а следующего места »Слова«: »спала князю умъ похоти и жалость ему знаменіе заступи искусити Дону велик го« (стр. 97). Автор исправляет *похоти* в *похоть*, а *спала* читает как форму аор 3 л. ед. ч. от глагола ***съпалати**; соответственно с этим, данное место он переводит так: »з палило у князя сильное желание ум . . .«. Но, во-первых, глагол **съпалати** в старой русской письменности не встречается; во-вторых, если бы он существовал, то форма *спала* могла бы означать только »сожгла«, но никак не »запалила«; следовательно перевод Перетца находится в противоречии с элементарными положениями учения о русских глагольных видах. Но поправки П-а не только не верны, но и излишни, так как рассматриваемое место можно понять, не меняя в нем ни одной буквы, если только принять чтение Ек. копии *спалъ*[1]) в смысле »упал, обрушился«. Певец, как бы предвосхищая мысль немецкого философа, что »желание есть отец мысли«, хотел сказать, что »у князя рушился (погиб) рассудок по его (собственному) страстному желанию«. Еще лучше мы поймем фразу, если *похоти* мы изменим в *под хотию*. Тогда все данное место я перевел бы так: »*Рухнул у князя рассудок под его страстным желанием, и жажда испробовать воды великого Дона заняла место* (*зловещего*) *предзнаменования.*«

3. Перед нами одно из труднейших мест Слова о полку Игореве: »Солнце ему (т. е. Игорю) тьмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою; птичь убудися; свистъ зверинъ в стазби, дивъ кличеть връху древа: велитъ послушати земли незнаеме« (стр. 98). Здесь главным камнем преткновения служат слова *в стазби*. П., идя по стопам своих

---

[1]) Как верно указано в книге П-а, противоречие между Пушк. изд. и Ек. копией объясняется тем, что в их оригинале данное слово было написано как спал.

предшественников, читает первую часть этого выражения как *въста*, т. е. как форму 3 л. ед. ч. аор. от *въстати*; и видит в нем не что иное, как сказуемое к *свистъ звѣринъ*. С этим, конечно, нельзя не согласиться. Что касается *зби*, то он исправляет его в *зби' = збися*, которое будто бы является сказуемым к *дивъ* »зловещая ночная птица, гриф.« Хотя эта коньектура встретила одобрение Гудзия (VZ IV 488), однако и при ней остается непонятным, для чего этой птице понадобилось »сбиться«; наоборот, именно теперь ей надлежало бы в родной стихии еще шире расправить свои могучие крылья! В виду этого, я осмеливаюсь предложить следующую догадку. В числе разных других названий диких животных нашим предкам было известно имя **стьбль**, обозначавшее »дикую кошку«. В форме им. п. мн. ч. **стьблеве** я могу указать его, напр., в Житии Андрея Юродивого (в сп. Макарьевск. Чет. Мин.) и в одном сп. книги Царств XVI в.; в форме *стьбло* оно отмечено в сп. 1512 г. »Вопросов и ответов св. Сильвестра и преп. Антония« (Ист. Муз.) в следующем контексте: лисица и *стьбло* и медвѣди ядуще, т. е. »ѣдя лисиц, диких кошек и медведей«. Как я уже показал в другом месте (Изв. XXIII. 1, 176), это *стьбль* нельзя отделять от др.-польск. назв. того же хищного животного *steb*: от этого имени очень рано было образовано уменьшит. *stьbikъ zdbik zbik*. После исчезновения из польских лесов дикой кошки, ее название в виде *žbik* было перенесено на кабана. Но если в польском языке существовало имя *zbik*, то то же имя могло слышаться и в др.-русс. языке. А в таком случае загадочное *зби* объяснится очень просто: его, очевидно, следует читать как *зби'*, а следующее за ним прилаг. *дивъ* »дикий« придется признать его определением. В окончательном же итоге получится такой перевод изучаемого места: *»Солнце заградило ему (Игорю) путь мраком; ночь несет ему грозные звуки; звериный рык поднялся; птицы пробудились; дикая кошка кличет с вершины дерева, — велит прислушаться неведомой земле«*. При таком толковании не только делается понятным *зби*, но и отпадает необходимость отыскивать в *диве* какое-то языческое божество, как это делали мифологи старой школы.

4. Менее трудностей заключает в себе следующее место Слова: »кая раны дорога братіе, забыв чти и живота, и града Чернигова и пр.« (стр. 103). Вслед за А. И. Соболевским, П. видит в *кая* форму 3 л. ед. ч. аориста от глагола *каяти*, а в *дорога братіе* зват. падеж, т. е. обращение к слушателям. Это дает ему право перевести фразу таким образом: »он презрел, дорогие братья, раны, забыв о славе и богатстве« и т. д. Но, насколько мне известно, *каяти* никогда не имеет значения »пренебрегать«, но всегда »порицать, хулить, мстить«; с другой стороны, *братіе* может формально представлять собой р. п. ед. ч., где *е* графически заменяет *ѣ*, а *дорога* может представлять описку вм. *дорогы"*. А если так, то общий смысл получится такой: *»он (Всеволод) отомстил раны дорогой брати, забыв о славе и богатстве и граде Чернигове«* и т. д.

5. »Тогда при Ользе Гориславичи сѣяшеться и растяшеть усобицами, погыбашеть жизнь Даждь-божа внука« (стр. 104). Имя *усобицами* наш автор читает как *усобица ми*, т. е. видит в *ми* т. н. dativus ethicus. Но уже Розанов в своем разборе труда Перетца (Изв. XXXII 297),

а также Ржига (о. с. 12) показали, что такое *ми* в данном месте является совершенно не кстати. Поэтому я позволяю себе задать вопрос: не следует-ли это *ми* читать как союз *ти* »и«? Так как в др.-русских рукописях т часто имеет довольно длинные ушки, то такое *т* могло легко быть принято за м. Если наша догадка верна, то эта замена буквы т буквой м должна была произойти до начала XIV в., когда рассматриваемая фраза попала в запись Апостола 1307 г.: »при сих князех сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша.« Что касается самого союза *ти*, то он, как показал недавно Карский (Symbola grammatica in honorem Ioannis Rozwadowski II 292), довольно обычен в памятниках древне-русской письменности, а в белорусском наречии употребляется и до сих пор в виде союза *ци*. В виду всего этого, едва-ли читатель упрекнет меня в излишней смелости, если я переведу очередное место Слова таким образом: *»Тогда при Олеге Гориславиче сеялась и возрастала усобица и погибало благосостояние (жизнь) Даждь-божа внука«*. Мне кажется, такой перевод лучше передает мысль певца, чем предлагаемый Ржигой (о. с. 13) перевод: »Тогда при Олеге Гориславиче, сеялась, возрастала усобицами и погибала собственность Даждь-божа внука«.

6. Еще более крупное недоразумение вызвало в научной литературе почти тотчас следующее за приведенной цитатой место: »Тогда по русской земле рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупіа себе дѣляче« (стр. 104). Все комментаторы, не исключая и Перетца, видят в кикахуть имперфект от звукоподражательного глагола *кикати* »кричать«. Согласно с этим, Перетц повторяет обычный перевод его как »перекликались«. Но для чего пахарям нужно было »изредка перекликаться« между собою, это остается тайной. По моему же мнению, глагол *кикахуть* не имеет ничего общего с криком. Дело в том, что в современном малорусском языке употребляется глагол *кичувáти* в значении »корчевать«. Этот глагол не ускользнул от внимания Berneker'a (EW I 676), который совершенно верно сблизил его с русс. *кúчка* »выкорчеванные и срубленные пни«, а также с чешск. и словацк. *kyka* »палка, сук.« Простое denominativum от этого слова и представляет то праслав. **kykati*, которое предполагает только что упомянутое мр. *кичувати:* его основное значение было »взрыхлять землю мотыкой или суком«, который, как известно, у наших предков играл роль плуга в его наиболее примитивной форме. В свете этих данных нарисованная певцом Игоря картина запустения русской земли делается еще более эффектной: *»Тогда по русской земле редко оратаи корчевали землю (или вообще пахали), но часто каркали вороны, деля между собою трупы.«*

7. Тяжкий crux для всех толкователей Слова представляет собой первая половина фразы: »Усобица княземъ на поганыя погыбе; рекоста бо братъ брату: се мое а то мое же« (стр. 107). То, что предложил П. для ее объяснения, совершенно не удовлетворяет. Именно он полагает, что усобица означает здесь вообще »войну, поход«, и сообразно с этим переводит цитату так: »война князей с погаными прекратилась, так как сказал брат брату: и это мое, и то мое . . .«. Но, как верно заметил Розанов (l. c.), вкладывать такой неслыханный смысл в слово »усобица«

мы не имеем никакого основания, почему и дальнейшие заключения П-а оказываются в высшей степени натянутыми. Чтобы выйти из затруднения, я предполагаю, что в оригинале »Слова« начало рассматриваемой фразы звучало: »оусобица княземъ наипогана погыбѣл бѣ«. В списках XVI и XVII вв. *наипогана* могло быть написано как *нӥпогана*, *погыбѣль* — *погыбѣл*, а *бѣ-* как *бє*. После пропуска *л* на одной строке оказались рядом два тождественные слога -бє. Но мы знаем, что в случае диттографии пропуск в письме одного из слогов — самое обычное дело. В то же самое время или несколько позже *нӥпоганаѧ* при переписке могло получить вид *напоганаѧ*. Вследствие этого, первоначальное значение превосходной степени этого прилагательного подверглось забвению, и *напоганаѧ* стало осмысливаться как *на поганаѧ*, т. е. как соединение предлога *на* с формой в. п. мн. ч. ср. р.; еще один шаг дальше и *поганаѧ* было переделано в *поганыя*. Но как бы мы ни объясняли процесс искажения фразы, первоначально она могла иметь только один смысл, а именно: »*княжеская усобица самая поганая (т. е. позорная) была гибель; ибо сказал брат брату: и это мое, и то мое.*«

8. Перед нами одно из самых трогательных мест Слова о полку Игореве: »Жены руския восплакашась аркучи: уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смыслити, ни думою сдумати, ни очима соглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати« (стр. 100). Здесь некоторое недоумение вызывает последнее слово: что значит потрепать золотом и серебром? П. видит здесь намек на необходимость для жен тронуть казну для выкупа из половецкого плена их мужей, но едва-ли это так. Ведь при приниженном положении тогдашней русской женщины вряд-ли она могла свободно распоряжаться средствами дома. Между тем ларчик и в этом случае раскроется просто, если мы допустим, что *злато* и *сребро* употреблены метанимически, т. е. вместо »златотканные и сребротканные одежды«. Не подлежит сомнению, что русские князья и их дружина после удачных походов привозили домой в числе всякого рода других трофеев не мало шитых золотом и серебром одежд и вообще тканей, которыми в таком изобилии пользуются восточные кочевники. Эти ткани (напр., плащи, шали, платки и пр.) предназначались, конечно, прежде всего в подарок женам участников похода. И подобно тому как теперь мы нередко говорим: »есть на золоте и серебре«, »ходить в шелках«, »ходить в бархате«, и русские женщины в XII в. могли выражаться »трепать золото и серебро« в смысле »носить шитые золотом и серебром одежды«. Впрочем, и сейчас мы нередко называем платья наших жен и сестр »тряпками«, а в повседневной речи мы часто говорим: »бахрома треплется«, »передник весь истрепался« и т. п. Учитывая все это, я считаю возможным перевести интересующее нас место »Слова« следующим образом: »*жены русские зарыдали, говоря: уже нам своих супругов ни мыслию смыслить, ни думою сдумать, ни глазами увидеть; тем менее* (»ни мало того«) *нам поносить* (или, если хотите, потрепать) *златотканных и сребротканных одежд.*«

9. »Всю нощь с вечера босуви врани възграяху« (стр. 111). Здес заставляет сильно задуматься эпитет *босув*. Перетц, вслед за Вс. Миллером и Барсовым, переделывает его в *бусый* »темносерый« и,

следовательно, видит в *о босув* недописанное 8. Но с этим трудно согласиться не только потому, что эта описка засвидетельствована и в Пушкинском издании и Екатер. копии, но и потому, что тоже слово почти в том же самом виде повторяется ниже как эпитет волка: »и скочи (Игорь) с' него (т. е. с коня) босым влъком« (стр. 126). Все это делает коньектуру П-а мало вероятной с *палеографической точки зрения*, но и в лингвистическом отношении она мало соблазнительна, после того как Преображенский (ЭС I 55) констатировал в родном ему севском говоре *босóй* в значении »волк«; ведь ни в окающих, ни в акающих говорах русс. языка у не могло перейти в *о!* В виду этого, я нахожу более целесообразным сближать *бос* и *босов* не с *бусый*, а с мр. *басувáти* »резвиться, подыматься на дыбы, скакать, идти в галоп (о лошади)« и прилаг. *баский* »резвый, ретивый, рьяный«. Как я уже давно показал в другом месте (РФВ LXV 216), эти слова[1]) восходят к известному иде. корню **bhĕs-* »бурно двигаться«, ср. свн. и нвн. *bisen* »бызовать« (о скоте), свн. *bīse* »сев.-вост. ветер«, нвн. *Biese*, др.-инд. *bá-bhasti* »дует«. Праруск. *bosъ* заключает в себе ступень *-o-* этого корня и, вероятно, означало »мятущийся, рьяный, ретивый, быстрый«. »Согласно с этим, я перевожу *босуви враны* как »мятущиеся вóроны«, а *босым волком* как »рьяным или »быстрым« волком.

10. »Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю, уже връжеся *дивь* на землю« (стр. 112). П. отожествляет подчеркнутое слово с тем дивом, о котором у нас шла речь выше (§ 3), т. е. ищет в нем какую-то зловещую птицу. Но мы уже указали, что в первом случае *дивъ* означало прилагательное »дикий«. Я не нахожу основания не видеть то же прилагательное и в только что цитированном месте: оно употреблено здесь как pars pro toto вм. »дикие, дикари«. В контексте же мы получим такой перевод: »*Уже спустился позор на славу, уже ударило насилье на свободу, уже ринулись дикари (т. е. половцы) на землю.*« Впрочем, если не случайно в первом издании *дивь* напечатано с ь на конце, то в нем можно было бы видеть собирательное и я типа нашего »*дичь*«.

11. »Суть бо у ваю железныи папорзи под шеломы латиньскыми« (стр. 117). Имя *папорзи* П. оставил без определенного объяснения; но Срезневский в своих »Матерьялах« (II 878) сопоставляет это слово с грязовецким *па-порзок* »плечевая кость«. Хотя в Словаре Даля этого слова нет, все же мы не имеем права игнорировать указания Срезневского, тем более, что оно превосходно объясняет смысл фразы: »*зедь у вас обоих железные плечи под латинскими шеломами*«.

12. Среди народов, испытавших силу меча князей Романа и Мстислава, названа между ятвягами и половцами какая-то загадочная *Деремела* (стр. 117). Вслед за Дубенским и Огоновским, П. хочет видеть в ней одно из латышских племен, но насколько мне известно, историческая этнография ничего не знает о таком племени. Поэтому я бы склонился скорее сблизить название *Деремела* с прусск. (или

---

[1]) К ним я присоединяю теперь еще сх. *bàsati* »двигаться туда и сюда«, а также сх. диал. *bȁsiti* »молодечествовать«, *na-bas* »молодцом!« *nà-basit* »сильный, крепкий, ловкий, первый в селе«, о которых ср. Škarić, Semas. studije 1 слл.

ятвяжским?) местным названием в Вост. Пруссии *Dernme* или *Derne*, *Dernen* (соврем. п. *Dziarnowo*), о котором ср. Buga Kalba ir senovė 79, Gerullis Die altpr. Ortsnamen 27. Имя **Dernmela* (где *-ela* есть известный балт. уменьшительный суффикс) могло легко превратиться в русских устах в *Деремела*.

13. »Не тако ли, рече, рѣка Стугна, худую струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, ростре на кусту, уношу князю Ростиславу затвори Днепрь« (стр. 128). Как следует понять выражение *ростре на кусту* и как следует его связать с дальнейшими словами? П., как и многие его предшественники, заменяет *ростре* словом *простре*, но разве смысл места от этого делается яснее? Я полагал бы, что слова *ростре на кусту* можно было бы оставить без изменения, если перевести их »распростерла на кустах«. Поэт этим хотел сказать, что тело юного князя было выброшено Стугной, во время весеннего половодья, на прибрежные кусты. Все же место я бы перевел так: »*Не так-ли, он — сказал — мелководная Стугна (»худую струю имѣя«), пожрав чужие ручьи и речки, распростерла на кустах юношу: князю Ростиславу закрыла (этим) Днепр«.*

Во всех приведенных коньектурах я старался держаться на твердой почве фактов русской палеографии и лексикологии, почему и позволяю себе думать, что их можно отвергнуть, но нельзя назвать чрезмерно смелыми. К сожалению, я не могу сказать того же про ту догадку, которая пришла мне в голову по поводу упоминаемого четыре раза в »Слове« Трояна. Я сам сознаю ее дерзновенность, но, все-таки, не могу отказаться от искушения привести ее здесь. Подобно многим другим своим предшественникам, и П. видит в Трояне реминисценцию о римском императоре Траяне, но эта гипотеза мне всегда казалась крайне неправдоподобной. В самом деле, русская история ничего не знает о том, чтобы восточным славянам пришлось когда-либо испытать силу его оружия, и даже Первоначальная Летопись, подробно рассказывая о расселении славян с берегов Дуная, не проронила ни одного слова о Траяне. Тем более неожиданно столь частое упоминание этого имени в произведении, содержание которого не имеет ничего общего с римской историей. Уже в виду только одного этого, мне кажется более правильным искать в Трояне »Слова« какие-нибудь воспоминания из местной, т. е. русской истории. До известной степени этот постулат можно выполнить, — и вот каким способом.

В украинском языке слышится имя *троян*, означающее то »отца, имеющего трех близнецов«, то »тройку (лошадей)«; с другой стороны, в болг. языке употребляется сущ. *троянка* в значении особого« обрядового хлеба, сделанного из трех отдельных хлебцев, соединенных в один«. Сопоставление этих слов делает несомненным существование в праслав., а, следовательно, и в прарусс. языке имени *троянъ* со значением »чего-то триединого«, »троицы«, »триады«: Однако, принимая во внимание, что »Слово« возникло на украинской территории или на территории, очень близкой к ней, я считаю, все-таки, более правильным искать в нем понятие, близкое к значению современного украинского имени. Таким значением могло быть »отец трех сыновей«. Русская история действи-

тельно знает отца трех сыновей, именно Святослава с его тремя детьми: Ярополком, Олегом и Владимиром. А если так, то я и позволю себе поставить смелый вопрос: не таится-ли под именем Троян именно этот воинственный князь? И если да, то выиграет ли в таком случае наше понимание всех тех четырех мест »Слова«, где упоминается этот персонаж?

Чтобы ответить на этот вопрос, присмотримся поближе к каждому из четырех мест.

I. »... свивая славы обаполы сего времени, рища *в' тропу троѧню* чресъ поля на горы« (стр. 95). Как мы видели выше (§ 1), речь идет здесь о Баяне, воспевающем (не свивающем!) обоюдные славные деяния этого времени, но как понять в таком случае *троянову тропу?* Если верно то, что Троян и Святослав одно и то же лице, то загадка объяснилась бы просто. Боян, воспевая подвиги кн. Святослава, мысленно шел по его следам или тропе через русские равнины (поля) и балканские горы. Повидимому, певец тут намекает на поразительно смелый поход Святослава на Византию, когда он дошел почти до Адрианополя.

II. »Были *вѣчи Троѧни,* минула лета Ярославля, были плъци Ольговы, Ол: га Святославича« (стр. 103). Здесь смысл еще яснее: певец в первых трех словах вспоминает о прошедших веках Святослава и его трех сыновей.

III. »*На седьмом вѣцѣ Троѧни* връже Всеслав жребій о дѣвицю себѣ любу« (стр. 120—121). Конечно, Всеслав жил не семь веков спустя после Трояна-Святослава, но это обстоятельство нисколько не подрывает нашей гипотезы: ведь цифра *семь* есть самое обыкновенное »постоянное« эпическое слово: оно указывает лишь на то, ч о Троян, т. е. Святослав, жил давно, — и только.

IV. »Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила дѣвою *на землю Троѧню,* въсплескала лебедиными крылы на синѣм море у Дону плещучи, убуди жирна времена« (стр. 106—107). A priori слова *на землю Трояню* можно толковать в двояком смысле: в широком значении всей русской земли, как наследия или вотчины кн. Святослава, и в узком смысле ее юговосточной части, прилегавшей к Донцу и Дону. Судя по тому, что Обида, — это живое олицетворение оскорбленного патриотического чувства, — плещет лебедиными крылами на синем море у *Дона,* я решительно склоняюсь ко второму предположению. Патриотическое чувство певца было особенно уязвлено тем обстоятельством, что разгром войска Игоря произошел на том месте, или близ того места, где несколько веков тому назад Святослав сокрушил Хазарское царство, разрушив его столицу — Белую Вежу. За этим разгромом последовал не менее победоносный поход на ясов (осетин), которые в то время жили у Дона и Черного моря). Эти воспоминания и пробудили в авторе »Слова« скорбь о тех счастливых (»жирных«) временах, когда русские не терпели поражения от кочевников, а сами разрушали целые царства. При таком толковании, нет основания заменять слово *убуди* словом *упуди,* как это делает П.

---

[1]) Как верно указал Vasmer (Streitberg-Festg. 399), самое имя Дона перешло в русс. язык через осетинское посредство: др.-ир. *dānu-* должно было бы дать **Dan.*

Итак, все четыре места »Слова«, в которых встречается Троян, объясняются с нашей точки зрения довольно удовлетворительно, — во всяком случае, более удовлетворительно, чем при предположении, что Троян = римский император Траян. Но мало того, наша гипотеза объясняет еще одно загадочное обстоятельство, — это гробовое молчание Слова о Святославе Игоревиче. В самом деле, нельзя не задуматься над вопросом, почему певец Игоря, так превосходно знающий русскую историю и так хорошо осведомленный в междукняжеских отношениях, поэт горящий пламенным патриотизмом, творец »Ироической поэмы« (выражаясь слогом наших старинных литераторов), ни разу не вспомнил в своем произведении о том князе, который был героем par excellence, который представлял собою идеал рыцаря-князя для всей »феодальной Руси«, — вспомним его знаменитое »иду на вы«, — и образец князя-патриота, — вспомним его не менее знаменитое »не посрамим земли русской«. Такой князь не мог не быть глубоко родственным по духу автору »Слова«, и полное молчание именно о нем в его произведении до сих пор представляло совершенно непонятный факт. Если наша гипотеза о тождестве Трояна и Святослава верна, то это молчание оказывается мнимым, кажущимся.

Москва. *Г. Ильинский.*

Ćremošnik Dr. G., **Dubrovačka kancelarija do god. 1300.** Najstarije knjige dubrovačke arhive. Sarajevo 1927. — 23 str. vel. 4ine (zasebni otisak iz »Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini« XXXIX).

Ovim se istim predmetom bio pozabavio Jireček u svojoj raspravi »Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner« koja je izašla u XXV.oj i XXVI.oj knjizi Jagićeva *Archiv-a*, samo što je Jireček tu obuhvatio cijeli srednji vijek, dok se je Ć. stegao na XIII.stu vijek, pa je tako tu partiju mogao mnogo detaljnije obraditi negoli je to Jireček učinio. Ć. dakle nije jednostavno ponavljao što je Jireček već kazao nego je naprotiv za najstarije, pa zato i najvažnije doba znatno dopunio i popunio Jirečekovo razlaganje. Moramo se stoga iskreno veseliti da se je napokon našao ko će, sudeći po ovome prvome vrlo uspjelom ogledu, htjeti i moći da nastavi Jirečekovo proučavanje dubrovačkoga državnoga arhiva, ove najbogatije riznice na slavenskome jugu za historiju balkanskih i susjednih zemalja. Ć. je sigurno uzeo sebi kao zadaću da sistematski prije svega konstatuje š t o j o š i m a u dubrov. arhivu, pa je počeo s najstarijim knjigama koje su se, na žalost u vrlo malom broju, sačuvale poslije velikoga požara od g. 1298 koji je uništio i kneževski dvor i katedralu, gdje su se čuvali javni i privatni dokumenti. A koliko je potrebno da se jednom uredi i valjano popiše blago dubrov. arhiva, već smo znali naročito po Jirečeku, koji je pripadom više puta spominjao kako sadržina pojedinih arhivskih knjiga ne odgovara njihovu natpisu, jer su tek u prvoj polovini XIX. vijeka spisi povezivani u knjige, pa je tom prilikom dosta toga ujedno sastavljano što ne spada zajedno, a i raskinuto što bi trebalo da bude skupa. Zato je i nepouzdan sumarni popis dubrov. arhivalijâ što ga je dao, sada već pokojni upravitelj arhiva, prof. J. Gelcich u XXII.

knjizi ovoga istoga *Glasnika* od g. 1910, jer je i taj popis sastavljan po tim često pogrešnim natpisima; inače, kad sam ja g. 1920 vratio u Dubrovnik veći i važniji dio dubrov. arhiva, što su ga austrijske vlasti bile sklonile u početku svjetskoga rata u štajerski Gradac, konstatovao sam da je taj Gelcich-ev popis i vrlo nepotpun i netačan, jer je kod nekoliko serijâ bilo uistini mnogo više stvarî negoli on spominje. Nepotpunost toga popisa bio je uvidio i Gelcich-ev nasljednik Dr. K. Kovač, pa je on bio počeo temeljito i opširno popisivati i opisivati povelje što su bile ostale u dubrov. arhivu (jer je oko g. 1835 austrijska vlada prenijela oko 5.000 komada u Beč, što su g. 1921 vraćeni, ali zasada zadržani u Srpskoj Akademiji u Biogradu), ali je njegova prerana smrt prekinula taj posao. I tako, ko hoće da radi u dubrov. arhivu treba da sam traži, pa ako ga sreća posluži, nagje, a ako nema sreće, jednostavno ne nagje! Jedino za korespondenciju dubrov. vlade s inostranim vladama i sa svojim zastupnicima u inostranstvu, koja je sakupljena u nekolike stotine svezaka pod natpisom *Acta S. Mariae Maioris* (jer se je u poznije vrijeme čuvala u riznici katedrale Sv. Marije), ima dobra pomoć u indeksu i registru svih tih akta koji je sastavljen oko g. 1835.

Č. je dakle ovim svojim člankom dao prvi prilog za strogo naučni opis i popis dubrov. arhiva, kojim je uvelike zadužio nauku, jer sada bar potanko znamo što ima u sačuvanim najstarijim knjigama, a osim toga prikazao nam je, baš na temelju tih knjiga, i mnogo detaljnije negoli je Jireček htio da učini, kako se je od g. 1278, iz koje su najstariji zapisi, pa do g. 1300 razvijao rad u dubrov. državnoj kancelariji i koji su i kakvi ljudi u njoj poslovali. Naročito je interesantno što je Č. mogao pokazati kako je i u Dubrovniku kancelarski i notarski posao malo pomalo prešao iz ruku domaćih svećenika u ruke stručnjakâ inostranaca; a nije bez interesa i sitna vijest da je g. 1284 svjetina pomogla jednomu plemiću da pobjegne vičući mu »podhi sbogo«, kako je zabilježio kancelar Mlečić (str. 6), to jest *pojdi zbogom*, jer nam je i to nov dokaz da je u Dubrovniku već krajem XIII. vijeka bar prosti narod govorio slavenski.

Nego iz ovoga članka moramo na žalost povući i dvije nepovoljne konstatacije: prije svega, opet jedan nov dokaz naime za to da Smičiklasov *Codex Diplomaticus* nije uvijek sasvim pouzdan; ali to je preveć krupna pogreška da su riječi originala »Mutatio iudicum MCCLXXXIIII. indictione XII« tamo štampane »Mutatio indictionis MCCLXXXIIII. indictio XII.«, čime se promjena sudaca promijenila u promjenu indikcije! A još je žalije što je Č. konstatovao da još i u najnovije vrijeme ginu stvari iz dubrov. arhiva! u jednoj od tih najstarijih knjiga Č. je naime našao da je »izgubljen, ili vjerovatnije ukraden« njen najzanimljiviji komad s izkazima svjedokâ iz g. 1278, što ga je g. 1878 Jireček imao u rukama (str. 13.)! Taj žalosni fakt podsjeća nás glasova što su prije mnogo godina kolali u Dubrovniku da nestaju stvari iz dubrov. arhiva, premda ga je pok. Gelcich inače Argusovim očima čuvao. Pa onda neće mi valjada niko zamjeriti što ću i ja sa svoje strane kazati ovo: u opisu Gelcich-evu navodi se i 6 knjiga *Secreta,* to jest tajnih odluka dubrov. Senata; kad sam ja vratio iz Graca onaj dio dubrov. arhiva koji je bio tamo, mogao sam prije svega konstatovati da se u Gracu nije otvarala ni jedna

od ono 84 skrinje u kojima su ti spisi bili spakovani; kada su pak skrinje u Dubrovniku otvorene, tih 6 knjiga, koje bez sumnje idu megju najinteresantnije knjige cijeloga arhiva, nijesu se našle, a, kako sam pak saznao, nijesu se našle ni u onome dijelu arhiva koji je i za vrijeme rata bio ostao u Dubrovniku u Općinskoj zgradi; regbi dakle da su i one propale! Te dvije žalosne konstatacije — Č.-ovu i moju — u pogledu nestajanja spisâ iz dubrov. arhiva ističem zato, jer one dokazuju kako bi sadašnja uprava, koja s najvećom savjesnosti nastoji da čuva njoj povjereno blago, morala imati i dovoljno prostora i dovoljno personala i dovoljno materijalnih sredstava, da se napokon dubrov. arhiv pristojno smjesti i temeljito uredi, da tako uzmogne potpuno odgovarati svojoj svrsi. *M. Rešetar.*

Do źródeł polskiego romantyzmu. (*Giovanni Maver* »Alle fonti del Romanticismo Polacco«.)

W cyklu szkiców historyczno-literackich, wydawanych przez rzymski »Instytut dla Europy wschodniej« (Instituto per l'Europa orientale) pt. »Piccola Biblioteca Slava« staraniem redaktora tego wydawnictwa Lo Gatty, wyszła jako tomik piąty praca G. Mavera, profesora filologji słowiańskiej w uniwersytecie padewskim.

Jest to drugie z rzędu »polonicum« w tej publikacji: poprzedza je szkic »O nowelistach polskich doby obecnej« pióra E. Damianiego (I narratori della Polonia d'oggi). A ponieważ i Lo Gatto zajmuje się żywo zjawiskami literatury polskiej lat nowszych, przeto można stwierdzić, że polonistyka nowsza znalazła gorliwych pracowników w czołowej trójce italskich slawistów.

Wśród nich krąg zainteresowań polonistycznych prof. Mavera jest bodaj najszerszy i najdalej wstecz sięgający: ostatnia jego praca cofa się aż do drugiej połowy XVIII. wieku i zajmuje się zagadnieniem polskiego romantyzmu.

Samo zagadnienie jest, jak wiadomo bardzo skomplikowane. Ogarnia szereg zjawisk historyczno-porównawczych, zarówno literackich, jak i folklorystycznych, międzynarodowych i rodzimych.

W drobnym szkicu (stron 21) nawet wyliczyć je nie sposób. Toteż Maver poprzestaje na wskazaniu w przypisach najważniejszej literatury przedmiotu, w tekście natomiast zajmuje się tylko jednem, istotnie mało dotąd zbadanem »źródłem« polskiego romantyzmu, wytrysłem na glebie rodzimej w głębi XVIII. wieku. Tem źródłem jest zdaniem autora liryka konfederatów barskich, dopiero w ostatnich czasach zebrana w krytycznie opracowany wybór przez prof. Kolbuszewskiego i ogłoszona drukiem jako 108. tomik krakowskiej »Bibljoteki Narodowej« (serja I.).

Już Mickiewicz w swoich paryskich prelekcjach był zdania, że w poezji Baru objawił się po raz pierwszy w świecie słowiańskim ton prawdziwie liryczny, który rozpoczyna nową epokę.

Zdanie to przypomina i przyjmuje za swoje italski slawista. W poezji konfederatów Barskich dostrzega on słusznie dwa elementy polskiego romantyzmu: wiarę i patrjotyzm — zatem główne pirwiastki późniejszego mistycyzmu i mesjanizmu. Ogniwa łączne pomiędzy tą dawno minoną epoką a natchnieniem romantycznych Konradów widzi prof. Maver w postaci

»romantycznego« generała Kościuszki i w żołnierskich wierszach włoskich legjonistów, których charakter — dotąd zresztą zbyt mało zbadany — tworzy jakby przedłużenie poezji Baru. Z poezją tą wiąże autor nadto gloryfikację przeszłości narodowej w »Bardzie polskim« ks. Adama Czartoryskiego, w »Hymnie do Boga« Woronicza oraz w dziele »moralnego dyktatora« umierającej Polski, Juljana Ursyna Niemcewicza.

To jest linja rodzima, niezależna od literackich wpływów a zawierająca zasadnicze elementy treści patrjotycznej poezji polskiej wielkich emigrantów.

Obok niej i, zdaniem italskiego slawisty niezależnie od niej, rozwija się »preromantyzm« literacki, złożony z tych wszystkich zasadniczych faz, które są wspólne całej Europie w przeddzień romantycznego ruchu, takich jak sielanka Gessnera, akcja Jana Jakóba Rousseau, treny Younga, Ossjanizm, romans sentymentalny, Byron i i. Pełnię polskiego romantyzmu ustala autor zgodnie z przyjętym konwenansem na dwudziestolecie 1830—1850.

Teza italskiego slawisty jest już »sama w sobie« interesująca, jako próba naukowego uzasadnienia cytowanej powyżej opinji Mickiewicza o liryce Barszczan. Inna sprawa, czy przeprowadzenie tej tezy może być uznane za przekonywujące. Osobiście mnie profesor Maver nie przekonał.

Naprzód sąd Mickiewicza nie jest opinją naukowca, opartą na rezultatach ścisłych badań. Jest to impresja ex post. Na wiersze konfederatów barskich patrzy zarówno Mickiewicz, jak i jego wielcy współcześni, przez szkła romantycznej wiary, wypełniając je treścią własnej ideji i mistycznym tonem patrjotycznej egzaltacji. W tem świetle jawi się olbrzymia postać ks. Marka, wyniesiona na piedestał przewodnika uduchowionej garstki tych, którzy »stanęli na placu z Boga ordynansu«. To jest wszystko razem olbrzymia nadbudowa wieszczów-romantyków, o sześćdziesiąt lat zgórą późniejsza, wielokrotnie przerastająca faktyczną podstawę Barszczan.

Niemniej ich fanatyzm religijny i narodowy ma pewne analogje z polskim romantyzmem. Lecz analogje to ogólne, odległe, nawet powierzchowne, jeżeli zestawimy obok siebie z jednej strony dewocję i zaściankowy nacjonalizm »sarmatów« a z drugiej głębię religijnego uniesienia, niezawsze zgodną z kościelną ortodoksją, i szeroki humanitaryzm koncepcji Polski, jako Chrystusa narodów. Sądzę więc, że nawet pokrewieństwo tych dwóch ideji jest tu raczej powierzchowne, aniżeli istotne.

Za bardziej istotną uważałbym bezpośredniość lirycznego wyrazu, która u wielkich romantyków występuje wyraźnie z chwilą, kiedy wyzwolili się od różnych literackich manier, to jest kiedy Mickiewicz np. pozbył się kostjumu sielankowego pasterza a Słowacki oderwał się wreszcie od pozy Byrona. Wówczas rodzą się utwory czystego natchnienia, którego wiew dotyka wyjątkowo także lirykę konfederatów, prostą a mimo to czasem monumentalną, jak np. ów wiersz, cytowany przez prof. Mavera:

Morze się burzy, ziemia się wali,
Miesza się niebo, powietrze;
Niech się świat cały na nas obali,
Wzruszy nas, ale nie zetrze.

Są to coprawda rari nantes w morzu artystycznego niedołęstwa poezji Barszęzan, tem słuszniej jednak prof. Maver zaznacza ich istnienie.

W tych wyjątkowych wypadkach antycypacja romantycznych lotów mogłaby się wydać historycznie uzasadniona. Lecz i to jest raczej pozorne. Pewna wspólność tonu pochodzi bowiem nie z niespodziewanego jak na swój czas rzutu wprzód, ale z relacji wstecznej, mianowicie z przeniknięcia się lekturą psalmów, które żołnierską lirykę konfederatów ogarniają na poziomie wiary gminnej, wielkich zaś romantyków na szczytowej linji lotu hebrajskich proroków, wykonanego z międzynarodowej podstawy biblijnej, stanowiącej jedno ze źródeł europejskiego ruchu romantycznego.

Także i ogniwa łączne, które szkicuje italski slawista, nie wydają mi się zbyt trafne, z wyjątkiem pokrewieństwa genetycznego z późniejszą poezją legjonistów, równie żołnierską, w podobnych warunkach powstającą, formalnie tak samo zaniedbaną, a z romantyzmem nie mającą także żadnej widocznej łączności historycznej.

Pozatem trudnoby było wiązać insurekcję Kościuszki z genezą romantyzmu, ponieważ romantyzm czynu może być jedynie przedmiotem, ale nie podmiotem literackiego przeobrazenia; a w takim razie należałoby także wymienić »romantyczną« śmierć ks. Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery i tyle innych bohaterskich porywów przed rokiem 1830.

Nie widzę również związku historycznego pomiędzy »Bardem« Czartoryskiego, »Hymnem« Woronicza i dziełem Niemcewicza-a poezją konfederatów. Preromantyzm tutaj istnieje, ale w zgoła innej relacji. »Bard« jest utworem polskiego ossjanizmu, jest jednym z wielu w Europie »krzyków barda«, jest elegją patrjotyczną, uformowaną wedle modnego zachodniego wzoru. Wspominając Woronicza należałoby raczej wymienić jego proroczą »Sybillę«, i to na marginesie właściwego zagadnienia genezy romantyzmu. Niemcewicz przez swoje »dumy« antycypuje w Polsce istotnie balladę, ale i w tym wypadku jest to relacja literacka proweniencji angielskiej, nie ma więc nic wspólnego z liryką Barszczan.

Toteż zdaniem mojem nie leży ona na linji polskiego preromantyzmu we właściwem tego słowa znaczeniu. Wiąże się raczej wstecz, z epoką saską i jeszcze dawniejszą pieśnią żołnierską. Od obowiązujących norm literatury Stanisława Augusta odcina się wyraźnie, ponieważ jest »nieuczona«, w znacznej części bezimienna jako produkt twórczości zbiorowej.

Z romantyzmem można ją wiązać tylko w znaczeniu niejako przenośnym, tak jak jeszcze starszą »Psalmodję« Kochowskiego, której prof. Maver nie wymienia, chociaż jej związek z liryką Barszczan jest znacznie bardziej wyraźny, aniżeli inne przytoczone zbliżenia.

Podniesiona fala sentymentu w kierunku gorącego uczucia patrjotycznego (religijność raczej przypomina czasy saskie) oraz bardziej bezpośredni jej wyraz (zresztą we formie nie pozbawiony często znamion epoki sakiej), to byłyby te preromantyczne »antycypacje«, które przyznać można poezji Baru, dopiero obecnie wydobytej z ukrycia przez prof. Kolbuszewskiego (przed nim zwracał na nią uwage prof. Chrzanowski).

Ale do historycznej ewolucji zjawiska, zwanego romantyzmem, tych wierszy włączać nie możemy. Sprzeciwia się temu również fakt rozwoju ideji i formy wielkich romantyków polskich. Niepodobna wykazać, ażeby w podstawach rozwojowych romantyzmu Mickiewicza, czy Słowackiego była również znajomość wierszy żołnierzy Baru. Pojawia się ona dopiero później we formie

bardzo ułamkowej oraz w głębokiem przetworzeniu wedle własnej mistycznej projekcji, która jest bardzo odległa od istotnego charakteru liryki barskiej. Stanowi ona tedy przedmiot romantycznych uniesień-a nie podmiotową ich podstawę na linji historycznej ewolucji zjawiska, choćby w najdalszej tej linji perspektywie.

Marjan Szyjkowski.

Adam Fischer: **Rusini.** Zarys etnografji Rusi. Wyd. Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Lwów—Warszawa—Kraków. 1928, 8°, str. 192.

Přede dvěma lety zahájil Adam Fischer řadu příruček o slovanském národopise přehledem, věnovaným svému rodnému národu, dílem L u d P o l s k i. Nyní, jako pokračování k němu, připojil obdobné dílo o národopise ukrajinském, R u s i n i. Jestliže první knihu vyhradil toliko polskému lidu a jeho kultuře bez zřetele k hranicím polského státu a nepřibíraje jiných národností, žijících na jeho území, nyní doplnil ji shrnutím látky výhradně ukrajinské a to opět celkově, spojuje veškeren ukrajinský lid jak na Ukrajině samé tak i na území Polska. Ukrajinskému národu, kde národopisná práce zůstávala tak dlouho roztříštěna, dostává se tím v nedlouhé celkem době nové syntesy. Před necelými dvanácti lety Th. Volkov uveřejnil ve sborníku »Ukrainskij narod v jego prošlom i nastojaščem« svou významnou syntetickou práci »Etnografičeskija osobennosti ukrainskago naroda,« tím významnější, že to bylo první souhrnné zpracování etnografické na ruské půdě vůbec. Ještě loňského roku znovu bylo vydáno v ukrajinském překladě v Praze. Studii Volkova doplnil a prohloubil po deseti letech Dmitrij Zelenin ve svém celkovém, široce založeném díle o ruském národě, Russische Volkskunde; větev ukrajinská podřízena tu sice širšímu pojmu východních Slovanů, Rusů vůbec, ale materiál získal jak na rozsahu tak i osvětlením vztahů mezi jednotlivými skupinami východoslovanskými. Nová knížka Fischerova druží se k těmto dvěma syntesím jako spis svého významu: jako zpracování nové, doplněné, jako příručka a konečně jako dílo se strany polské pro čtenářstvo polské.

Podobně jako Lud Polski i kniha Rusini určena je především pro studující a vůbec začátečníky a má sloužit úvodem do studia ukrajinského národopisu. Je přirozeno, že v takovéto praktické příručce záleží nejvíce na odborném výběru látky, na přehledném jejím klasifikování a na jasném výkladu. Nejde o řešení vztahů polské a ukrajinské kultury, o určování vlivů a pod., nýbrž o jasné podání zjevů, charakterisujících co nejvšestranněji ukrajinský lid, a tohoto cíle kniha dosahuje.

V rozdělení i ve zpracování látky odpovídá vcelku prvnímu spisu o Polácích, vynechává však již vstupní úvahu o rozsahu a úkolech etnologie přistupujíc ihned k látce samé. První část zabývá se především rozsahem popisované oblasti, která zasahuje daleko mimo hranice dnešní ukrajinské republiky, zvláště do Polska. Dále pojednává o názvu národa a odůvodňuje použití jména Rusini pro Ukrajince vůbec historickou tradicí v Polsku, probírá nářečí, antropologické poměry, rozlišuje etnické skupiny a dotýká se i rozvoje osídlení. Dlužno konstatovati, že na složité poměry ukrajinské je tato kapitola o deseti celkem stránkách velmi zhuštěná. Druhý oddíl knihy věnován je kultuře hmotné. Počínaje nejprostším opatřo-

váním potravy, t. j. sbíráním plodů a různými druhy lovu a rybolovu, které se vyznačují na Volyni, Černigovsku a v Karpatech mnohými starobylými rysy, přechází k chovu dobytka, k různým způsobům pastevectví, k chovu včel a úpravě polí. Za poučným rozborem zemědělského nářadí následuje příprava potravy a popis příslušného nářadí, ve zpracování surovin pojato je i hrnčířství i textilnictví. Kroje popsány jsou podle jednotlivých součástí přehledně a je škoda, že nedostatek místa nedopustil rozlišení i svrchního roucha podle střihů. Zvláště obsažná a poučná je kapitola o domě, sledující jeho typy od nejprostších úkrytů a salaší k domům vyspělejším podle tektoniky i podle rozvoje půdorysu a pilně usilující rozlišiti i jejich krajové rozšíření. Tato stať právě tak jako její pokračování o typech vsí nad jiné obohacuje starší materiál novými poznatky, jmenovitě ze západních končin, kde polští etnografové přispěli nejednou studií k zodpovědění otázek i ruských. Celá kapitola o materielní kultuře končí se přehledem vnitřního zařízení domu, a obsažnou statí o dopravních prostředcích.

Další oddíl pojednává o kultuře sociální, o zvykosloví. Probírají se obyčeje rodinné při čemž znaleckým rozhledem vyznamenává se zvláště kapitola o pohřebních zvycích, dále výbor z obyčejů výročních, samostatně zpracovaných, obyčeje při zakládání domu a pozornost věnována je i lidovému právu. Jestliže kapitoly o materielní kultuře musily zůstati stručnější než u Volkova, pojednání z oborů duchovních pojata jsou podrobněji a mnohostranněji, takže oběma stránkám života dostalo se mnohem rovnoměrnějšího ocenění. Tak čtvrtá část spisu, posvěcená duchovní kultuře, doplňuje celkový obraz o životě lidu i zdařilým nástinem demonologie i kosmologie, uvádí základní praktiky čarování i léčení, zvláště magického, probírá druhy pověstí, písní, hádanek, hudbu, tance i hry.

Tím dovršuje se popisný, programem i obsahem bohatý oddíl spisu a v další kapitole dochází pak na základě probraného materiálu na výsledky, na stručnou charakteristiku, čím se vyznačují jednotlivé kraje Ukrajiny, jaké kulturní oblasti lze v ní rozeznati a kterými zjevy se tyto oblasti navzájem liší, ať jsou to zjevy samobytné, ať přejaté od sousedů nebo pozůstatky staršího kulturního majetku, které z různých příčin se déle udržely, až se staly pro současnost typické. Jako poslední, závěrečná stať následují pak dějiny ukrajinské etnografie, které oceňují práci jak polských sběratelů a badatelů, tak i úsilí Ukrajinců samotných a upozorňují na hlavní literaturu a pracovníky, podstatně doplňujíce jinak hodně zestručněnou bibliografii všeobecnou.[1])

[1]) Autor nemohl ovšem zacházeti do podrobností, přece však připojuji některé práce s české strany o Podkarpatské Rusi: J. Húsek, Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy (Bratislava 1925); A. Kožmínová, Podkarpatská Rus (Praha 1922); S. Makovský, Lidové umění Podkarpatské Rusi (Praha 1925); V. Suk, Příspěvky k anthropologii podkarpatských Huculů, Národop. Věstník XV. 1922. — Církevní architektury týkají se práce zvláště V. Zalozeckého a A. J. Stránského, Dřevěná církevní architektura na Karpatech, Stavitelské Listy 1923; Dřevěné cerkve na Podkarpatské Rusi, Ročenka Kruhu pro pěst. dějin umění 1926—7. — Anthropogeografické příspěvky podal Jiří Král: Podkarpatská Rus (Praha 1924), Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi (Praha 1923), Čorná Hora v Podkarpatské Rusi (Praha 1923), Polonina Rivna v Podkarpatské Rusi (1925), Svidovec v Podkarpatské Rusi, Věstník král. č. spol. nauk II. tř. 1927. — Práce domácích pracovníků soustřeďuje se kol časopisů Naukovyj Zbornik tovaristva »Prosvěta« v Užgorodě (I. 1922) a Podkarpatska Rus' (I. 1923).

Z obsahu, který jsem uvedla, vychází tuším zcela patrně najevo, jak mnohostranné je rozvržení knihy, hledící podati ucelený obraz o životě ukrajinského lidu. Přáli bychom si sice mnohdy obšírnější podání, ale rozměry knihy byly patrně omezeny. V daných poměrech zasluhuje však uznání, kolik věcné látky podařilo se autorovi sloučiti. Všechny obory lidové kultury objasňuje jasně a závažnost výkladu zvyšuje nadto mnohými paralelami a poukazy na původ různých typů, odkud dostaly se na půdu Ukrajiny. Zvláště důležité je však, že autor doplňuje po mnohé stránce práce starší novými údaji, pokud sběratelská práce na Ukrajině i v Polsku zatím postoupila, a že se snaží rozhraničovat krajové rozšíření kulturních zjevů, čímž nová příručka nabývá významu nejen pro polskou etnografickou literaturu, nýbrž pro slovanskou vůbec. *D. Stránská.*

Zur Ergänzung.

Die dankenswerten Ausführungen des Herrn Prof. Dr. M. Rešetar (Slavia VIII, S. 371 ff.) über meine »Untersuchungen zur Čakavština der Insel Krk (Veglia)« könnten in zwei Punkten zu Missverständnissen Anlass geben.

Der verehrte Referent sagt S. 372, dass ich bei der Untersuchung der älteren Denkmäler in Kap. IV—VII, die nach Rešetars Meinung zu ausführlich sei, mich »grösstenteils (aber nicht immer!) wieder nur über die 10 Punkte ausgelassen« hätte, die ich der Betrachtung der heutigen mundartlichen Gliederung von Krk zugrunde legte; aber ich hätte auch »viel von dem gegeben, was mit den Isoglossen und Mundarten des ersten Teiles nichts zu tun« habe. Rešetar bedauert, dass infolgedessen keine »vollständige Studie über die Sprache dieser Denkmäler« gegeben sei, und »wer die Denkmäler, soweit möglich und nötig, für die sbkr. Dialektologie und die Geschichte der sbkr. Sprache überhaupt benutzen will, der wird sie wieder von Grund aus untersuchen müssen«. — Diese Auffassung Rešetars ist unrichtig: Während ich die heutige mundartliche Gliederung der Insel Krk, ausgehend vom Urslavischen, nur nach einigen bestimmten Lautkennzeichen darzustellen versucht habe, so war es andrerseits meine Absicht, die Lautlehre der Urkunden von Insel-Krk (1110 bis 1495), die Lautlehre genau umschriebener Stücke von Vids Brevier (1396), ferner die des Statuts von Vrbnik (16. Jahrhundert) und der Dobrinjer Notariatsakten (1603—1641) mit absoluter Vollständigkeit zu geben, grundsätzlich ungeachtet der heutigen mundartlichen Erscheinungen auf der Insel. Die Annahme Rešetars, dass in meinen Untersuchungen nur eine willkürliche Auswahl aus den lautlichen Merkmalen der genannten Denkmäler geboten sei, beruht also auf einem Irrtum. Dass die von mir behandelten heutigen lautlichen Charakteristika der Insel mit denen der älteren Denkmäler vielfach übereinstimmen, ist demnach fast ein »Zufall«. Ich wäre dem Referenten dankbar gewesen, wenn er mir einen einzigen Fall nachgewiesen hätte, wo eine vom Urslavischen abweichende Lautung (auch in der Schreibung!) innerhalb der älteren Denkmäler von mir nicht bemerkt wäre. — Damit wird auch der Haupteinwand Rešetars: die ungleichmässige Ausführlichkeit im 1. und 2. Teile der Untersuchungen, m. E. hinfällig.

Am Schluss seiner Besprechung lehnt Herr Prof. Rešetar meinen ihm für seine Hilfe bei Abfassung der »Untersuchungen« ausgesprochenen Dank ab, da er keinerlei Hilfe geboten habe. Und doch muss ich meinen Dank aufrecht erhalten, und ich kann ihn mit einer schönen Korrespondenz belegen. Die verschiedenen Anregungen, die Zusendung von Texten, die in deutschen Bibliotheken nicht vorhanden waren, und dergleichen im einzelnen aufzuzählen, erübrigt sich hier.

Münster i. Westf., Heisstr. 10.

Karl H. Meyer.

Corrigenda.

Прошу исправить следующие недосмотры в моей рецензии на книгу Маргулиеса о Супрасльской рукописи в Slavia VIII. 352 сл.:

Стр. 353, строка 6 снизу. **предаѭтъ** в изд. Северьянова — опечатка; в рукописи **прѣдаѭтъ**.

Стр. 355, строка 23 сверху. Вместо **остаенкоу** следует читать **оставеноу**.

Стр. 357, строки 15—16 снизу. Следует читать: „можно думать, что перед начальным *a* (только частичных слов?) в середине фразе после *i* предыдущего слова могло развиваться *j*".

Минск 4. XI. 1929.

Н. Дурново.

Zprávy.

Заметки о книгах по новой русской литературе.[1])

Книги о Л. Н. Толстом.

Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Редакция и примечания *В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского.* Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР. Ленинград, изд. ,,Прибой" 1929 г. 8°, 432 стр. и 3 отд. лл. рис. Ц. 3 р. 30 к.

Опубликованная с большою тщательностью переписка Л. Н. Толстого с известным историком русского искусства В. В. Стасовым обнимает значительный период времени (1878—1906 г. г.). В этой переписке большая часть писем приходится на долю В. В. Стасова; Толстой был сравнительно скуп и в количестве ответных писем (писем Толстого — 97, Стасова — 121) и по объему содержания своих ответов. Однако этим не умаляется значение опубликованной переписки. Она важна не только по рассеянным в письмах Толстого многим мыслям религиозно-философского характера, по его высказываниям о революции (см. чрезвычайно ценное письмо от 20 сент. 1906 г.), его отношениям к отдельным современникам (особенно интересны письма, относящиеся к художнику Н.Н Ге), но и для изучения творческой работы Т-го над отдельными произведениями. Стасов, по своему положению служащего в Публичной библиотеке, был поставщиком книг Т-му, нужных ему при его художественных и религиозно-философских работах. Из переписки выясняются часто источники, которыми пользовался Т. в своих работах (в частности из художественных произведений — ,,Декабристы" и ,,Хаджи Мурат"). Важна переписка и для историка русской общественной мысли, поскольку В. В. Стасов вырисовывается в переписке типичным представителем русской радикальной интеллигенции. Его взгляды на задачи искусства, его оценка напр. Пушкина (см. письмо от 1 ноября 1905 г.), его наивный атеизм (письмо от 9 июня 1894 г.), его типичное ,,просвещенство" — все это прекрасный материал для понимания обстановки, в которой Достоевский, напр., вел свою борьбу с представителями радикальной интеллигенции своего времени. — Письма снабжены хорошо (иногда с излишнею подробностью) составленными примечаниями и следующими указателями: хронологическим указателем писем, произведений Т-го и Стасова, упоминаемых в переписке, и алфавитным указателем имен. Предисловие от Редакции, подписанное *В. Комаровой,* дает формальную справку о печатаемой переписке. Ему предшествует предисловие *Д. Сверчкова* ,,от издательства" (стр. 3—18). Оно стоит на таком примитивном уровне, что его наличие в прекрасно составленном труде Пушкинского Дома может быть объяснено только причинами, лежащими вне вопросов науки и литературы.

Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891. Редакция *С. Л. Толстого.* Примечания *С. Л. Толстого* и *Г. А. Волкова.* Предисловие *М. А. Цявловского.* Издание М. и С. Сабашниковых. М. 1928 г. 8°, VIII и 212 стр. и 1 л. с портр.

---

[1]) См. »Slavia« VII/2, стр. 709—711.

Дневники граф. С. А. Толстой вышли в серии изданий „Записи прошлого, воспоминания и письма", выходящей под ред *С. Бахрушина* и *М. Цявлоского.*

Настоящее издание охватывает только первую часть дневников С. А. Т-ой до 1891 г. Дальнейшие записи вплоть до 14 янв. 1905 г. составят второй том „Дневников". Кроме самих дневников в узком смысле слова, начинающихся с 8 окт. 1862 г., редактор включил в первый том еще „разнородные писания С. А. Т-ой, объединенные под названием „автобиографические записки", это — во первых, отрывок из девичьего дневника 1860 г. под заглавием „Поездка к Троице", во вторых, воспоминания „Женитьба Л. Н. Толстого", написанные в 1912 г. (были напечатаны в газ. „Русск. Слово", 23 сент. 1912 г), в третьих, наконец, записи из тетради „Мои записи разные для справок", охватывающие период 1870-81 г. Последние записи уже отчасти были использованы Бирюковым и Гусевым в их известных биографических работах, а также в части, касающейся истории работы над „Декабристами", М. Цявловским в кн. „Толстой. Декабристы", изд „Огонек", М. 1925 г. Эти записи дают очень ценный материал, в частности для история зарождения и создания ром. „Анна Каренина", „Декабристы" Биографический интерес представляют и записи С. А. Толстой о ссоре Т-го с Тургеневым. О значении самого дневника С. А. Т-ой не приходится и говорить; без него не сможет обойтись ни один исследователь Т-го. Книга снабжена очень тщательно составленными примечаниями.

С. Л. Толстой. Дед и мать Л. Н. Толстого. Очерки жизни, древники, записи и письма по неизданным материалам. Москва, изд „Федерация". 1928 г. Мал. 8°, 154 нум и 6 нен. стр. и 2 отд. лл. с рис Цена 1 р 50 к.

Книга распадается на три части Первая посвящена биографическим разысканиям о деде Т-го, кн. Н. С. Волконском. Она значительно пополняет прежние сведения и вносит исправления в воспоминания самого Т-го о своем деде. Вторая част дает связный биографический очерк матери Т-го, гр М. Н. Толстой-Волконской. В третьей части, наиболее ценной, воспроизведены впервые полностью записки и письма М. Н. Толстой. В частности, здесь напечатан и „Журнал поведения Николеньки", известный уже частями по биографическим материалам. Книга представляет естественное дополнение к основным биографическим источникам Толстого.

А. Л. Толстая. Об уходе и смерти Л. Н. Толстого. Труды Музея-Усадьбы „Ясная Поляна". М. 1928 г 62 стр. Ц. 30 коп.

Первоначально напечатано в IV сборнике „Памятники творчества и жизни". М. 1923 г Воспоминания дочери Т-го, А. Л. Толстой, одной из немногих свидетелей ухода и последних дней Т-го, представляют памятник первостепенной важности для биографии Т-го, тем более, что воспоминания документированы рядом писем Т-го и записей продиктованных им в эти дни мыслей.

Смерть Толстого. По новым материалам. Со вступительной статьей *В. И. Невского.* М., изд. Публичной Библиотеки СССР. имени В. И. Ленина. 1929. 8°, 328 стр. С рис. в тексте. Ц. 2 р. 80 к.

В этом издании воспроизведены телеграммы, прошедшие через телеграфное отделение ст. Астапово в дни болезни и смерти Толстого. В конце имеется указатель имен. Книга не представляет большого значения, так как наиболее существенное из имеющегося в ней уже известно по другим источникам.

Т. А. Кузминская (рожд. Берс). Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. 1846—1862. Предисловие и примечания М. А. Цявловского. Второе издание. М., изд. М. и С. Сабашниковых. 1927 г. 8°. 176 стр. и 1 л. порт. — То же. Воспоминания. 1863—1864. М. 1926. 8°. 180 стр. — То же. Воспоминания. 1864—1868. Л.-М. 1926. 8°. 188 стр.

Воспоминания Т. А. Кузминской вышли в серии изданий ,,Записи прошлого. Воспоминания и письма под редакцией *С. В. Бахрушина* и *М. А. Цявловского*" и входят в состав ,,Трудов Кооперативного товарищества по изучению и распространению произведений Л. Н. Толстого". Воспоминания Т. А. Кузминской-Берс являются не только первостепенной ценности и значения памятником для истории и психологии творчества Толстого, особенно для изучения творческой истории романа ,,Война и Мир", но и значительным историческим памятником своей эпохи. В них содержатся впервые опубликованные письма, как самого Т-го, так и С. А. Толстой, А. Е. Берс и др. Третья часть, кроме воспоминаний, кончающихся 1868 г., содержит еще четыре главы незаконченных воспоминаний 70-х годов. В этой части содержится кое что интересное и о поэте А. А. Фете, напр первоначальная редакция его стихотворения ,,Опять", (нач сл. ,,Сияла ночь . . . ."). Издание снабжено хорошо составленным указателем имен и примечаниями.

В. Ф. Булгаков. Трагедия Льва Толстого. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. Редакция, вступительная статья и примечания *В. Л. Лаврецкого.* Ленинград, изд. ,,Прибой". 1928 г. Мал. 8⁰, 144 стр. С рис. в тексте. Ц. 70 к.

Перепечатана работа *В. Ф. Булгакова* под таким же заглавием, появившаяся впервые в сборн. ,,На чужой стороне", кн. IV (Прага, 1924). Записи из дневника Булгакова вносят значительное смягчение в оценку личности гр. С. А. Толстой, как она представлена в книге В. Г. Черткова ,,Уход Толстого" (М. 1922) и в воспоминаниях А. Б. Гольденвейзера ,,Вблизи Толстого" (М. 1922, т. I. 1923, т. II). В предисловии *В. Л. Лаврецкого* имеется интересное указание на записку В. Г. Черткова, представленную им 8 янв. 1912 г. министру народного просвещения Л. А. Кассо, опубликованную в истор. журнале ,,Дела и Дни" (см. ,,К последним дням жизни Л. Н. Толстого", 1920 г., кн. 1). Записка содержит очень резкую характеристику гр. С. А. Толстой.

Н. Н. Апостолов. Живой Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. С предисловием *Н. Н Гусева.* Москва, изд. Толстовского Музея. 1928 г., больш. 8⁰, 582 стр. и 1 л. рис. С рис. в тексте.

Книга содержит выдержки из разнообразных воспоминаний о Л. Т-м, расположенных по восьми периодам жизни Т-го. Каждому периоду предпослана краткая хронологическая канва. В текст включены также отрывки из писем и отчасти и автобиографические творения самого Т-го. Главное внимание автора сосредоточено на последнем периоде жизни Т-го. Так материал до 1878 г. занимает стр. 7—174, а один последний период от 1878 до 1910 г. занимает стр. 175—564. Примечания к тексту даны очень скупо (стр. 563—570). Главное их значение в том, что они одновременно являются указателем использованных источников. К сожалению, указатель собственных имен, чрезвычайно существенный в таком издании, не всегда надежен (см. Достоевский: стр. 204 вм. 205 и др). Книга очень богата иллюстрациями, но техническое исполнение их стоит не на должной высоте.

А. Островский. Молодой Толстой в записях современников. Редакция и вступительная статья *Б. М. Эйхенбаума.* Ленинград ,,Издательство писателей в Ленинграде", 8⁰, 498 стр. и 6 стр. ненум. Ц. 3 р.

Даны отрывки воспоминаний современников о Толстом, кончая 1862 г. Включены также и автобиографические отрывки из самого Т-го. Предисловие *Б. М. Эйхенбаума* ,,Толстой до Войны и Мира", небольшое по объему (стр. 9—39), содержит в себе ряд интересных мыслей. Б. Эйхенбаум характеризует Т-го, как ,,архаиста", историческая миссия которого и была в охранении традиций 40-х годов. ,,Как архаист, как человек патриархальный, живущий заветами и идеями другого века, враждебно относившийся к историческому повороту 50-х годов, Т. пе-

реживал события этих лет, как катастрофу и не мог к ним приспособиться" (стр. 13). Наряду с интересными положениями, статья содержит ряд пародоксальных утверждений. Весь педагогический период деятельности Б. М. Эйхенбаум рассматривает, как своеобразный способ открыть борьбу с современной ему литературой, и поэтому известная статья Т-го „Кому у кого учиться писать...", объявляется „литературным памфлетом" (стр 37). Спорной представляется и попытка подчинить факты биографического порядка законам эволюции. „Эволюция имеет свои законы и свои пределы Ни Гоголь ни Лермонтов не могли переступить этой границы, а Вяземский, до 80 лет . , . остался в общем представлении писателем 20—30 годов и выбыл из литературы вместе с этой эпохой" (стр. 10). Но этот эволюционный фатализм оказался ведь преодоленным Толстым, да не им одним только. В конце приложен „список источников", использованных в книге (155 №№) и именной указатель к тексту и примечаниям. Однако в указатель не введены упоминаемые ссылки на источники, что уменьшает несомненно его значение Так под „Достоевский" мы не найдем, напр , ссылки на известный отзыв Достоевского о Толстом в письме к А. Н. Майкову от 18 янв. 1856 г. из Семипалатинска Кстати, в этом письме стоят только инициалы Толстого, почему то в тексте книге просто раскрытые. Но ведь Д. и не знал, что говорит о Толстом, а ссылался только на инициалы, которыми он подписывал свои первые произведения в „Современнике".

В. Л. Жданов. Любовь в жизни Льва Толстого. Книга первая. Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1928. 8°. 248 стр. и 3 отд. лл с портр. — Книга вторая. М. 1928 г. 234 стр. и 3 отд. лл. с портр.

Работа В. Л. Жданова является ценным вкладом в биографию Толстого. Она до известной меры пополняет известные биографические работы П. Бирюкова и Н. Гусева, скупо дающие фактический материал о ранних годах жизни Толстого в вопросе о его отношениях к женщинам. Автором использованы для своей работы и дневники С. А. Толстой, что делает его труд более полным, чем работа на ту же тему Т. Полнера (см. „Лев Толстой и его жена. История одной любви." Пар. 1928).

Н. Н. Гусев. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой (1828—1862). Рисунки Э. О. Визеля и М. В. Нестерова. М. 1927 г. Больш. 8°, стр. 456.

Н. Н. Гусев. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения. (1862—1877). Л.—М., издание Толстовского Музея. Б. о. г. (1928 г.). Больш. 8°, 300 стр. С рис. в тексте.

Два тома новой обширной биографии Л. Н. Толстого, принадлежащей перу бывшего секретаря Толстого Н. Н. Гусева являются результатом многолетней работы над литературными и рукописными источниками. Работа Гусева по своим задачам повторяет известную биографию Бирюкова и носит те же черты „иконописности". Вся жизнь Толстого рассматривается под углом зрения его позднейшей моральной высоты и, как в житии, вся предшествующая „святости" жизнь является только подготовительной стадией. Это создает несколько односторонний образ писателя, часто заслоняя и в творчестве и в жизни самоценные моменты. Но все эти недостатки искупаются богатством вновь привлеченного материала, обстоятельностью в изложении биографических фактов и щедрым использованием критических отзывов о творчестве Толстого за обозреваемый период. В очень многих случаях биография Гусева останется надолго первоисточником, так как ему удалось дать в извлечениях много отрывков из еще неопубликованных источников его биографии. В конце каждого тома приложены хронологический указатель главнейших событий жизни Толстого и очень ценный список источников, которыми пользовался автор. Оба тома снабжены также указателем личным, географических имен и названий произведений Толстого, упоминаемых в труде.

Н. Н. Апостолов. Лев Толстой и его спутники. Москва, изд. Комиссии по ознаменованию столетия со дня рождения Л. Н. Толстого. 1928. Мал. 8°, стр. 260. Ц. 1 р. 20 к. С рис. в тексте.

Задача книги, по словам автора: ,,установление характера взаимоотношений между Л. Н. Толстым и крупнейшими его современниками-писателями, которых он лично знал и своеобразно оценивал" (стр. 3). Книга состоит из след. очерков: ,,Пушкин в восприятии Л. Т-го", ,,Лермонтов в восприятии Л. Т-го", ,,Гоголь в восприятии Л. Т-го", ,,Л. Т-й и А. И. Герцен", ,,Л. Т. и И. А. Гончаров", ,,Л. Т. и Н. А. Некрасов", ,,Л Т. и А. Н. Островский", ,,Л. Т. и И. С. Тургенев", ,,Л. Т. и Ф. М. Достоевский", ,,Поэзия Фета и Тютчева в оценке Л. Т-го", ,,Л. Т. и А. П. Чехов", ,,Л. Т. и М. Горький", ,,Л. Т. и Д. В. Григорович", ,,Л. Т. и Н. Г. Чернышевский", ,,Л. Т. и М. Е. Салтыков-Щедрин", ,,Л. Т. и Г. П. Данилевский", ,,Л. Т. и Н. С. Лесков", ,,Л. Т. и А. И. Эртель", ,,Л. Т. и В. С. Соловьев", ,,Л. Т. и В. Г. Короленко", ,,Л. Т. и новая русская литература". Отдельные очерки вводят новый материал и являются часто первой сводкой всего материала об отношениях Т-го к тому или иному писателю. Не все очерки написаны с одинаковою полнотою. Так в очерке ,,Л. Т. и Достоевский" не использованы в должной мере отзывы Достоевского о ,,Детстве и Отрочестве" и ,,Анне Карениной". Отметим ошибку в датировке письма Достоевского, где он попутно вспоминает ром. ,,Война и Мир". Письмо это относится к 12/24 февр. 1870 г., а не к 12/24 дек. 1868 г., как сказано у автора (см. стр. 144).

Н. Н. Апостолов. Лев Толстой над страницами истории. Историко-литературные наблюдения. Москва, Комиссия по ознаменованию столетия со дня рождения Л. Н. Толстого. 1928 г. Мал. 8°, 298 стр. С рис. в тексте. Ц. 1 р. 60 к.

Книга представляет обстоятельную сводку всего, что относится к историческим интересам Толстого. Существенную часть книги составляет исследование источников ром. ,,Война и Мир" и попытка выяснить характер пользования Толстым этими источниками. В этой части книга представляет часто значительный интерес. Отдельная глава посвящена Толстому, как романисту-историку, в частности здесь интересны замечания о связи исторического романа Толстого с ист. романом Пушкина. К книге приложен указатель собственных имен.

Виктор Шкловский. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого ,,Война и Мир". Москва, изд. ,,Федерация". Б. о. г. (1928). 8°, стр. 252 и 7 отд. лл. рис.

Книга В. Шкловского, несмотря на свою спорность во многих частях, представляет несомненный историко-литературный интерес, как по привлеченному к исследованию материалу, так и по вопросу о системе отбора Толстым исторического материала для художественных целей. Книга интересна и под углом зрения вопроса об эволюции т. н. формального метода историко-литературной науки. В. Шкловский, как известно, является одним из основоположников этого метода в русской литературе, и на его последних работах видно, как ,,формальный" метод делает ряд существенных уступок в вопросе о самостоятельности литературного ряда. В данной своей работе В. Шкловский признает не только воздействие материала на формальную сторону произведения, но и наличие известной авторской целевой установки, отразившей его классовую сущность. Здесь видна прямая уступка ,,социологическому" методу, против которого формалисты до последнего времени резко выступали. О характере общих выводов работы и ее методологической установке дают представление следующие слова автора: ,,Лев Николаевич Толстой начал роман — как роман и как роман традиционный. Определенная установка, необходимость включения материалов изменили строение романа. Борьба с традиционной историей, необходимость ее опорочить в интересах своего класса (подчеркнуто мною.

А. Б.) создала для него метод отстранения, который был методом полемики. Одновременно, Толстой осуществлял задание своей группировки стилистическими методами, присущими в литературе другой группировке“ (стр. 237). Что автор понимает здесь под „другой группировкой“ видно из следующего места: „Лев Николаевич, дворянский по идеологии писатель, работал по способу подачи материала методами писателей разночинцев, со снижающей недоверчивостью (?) и психологизацией“ (стр. 239).

В конце книги приложен очень полезный „Библиографический указатель отзывов современников Толстого о романе „Война и Мир“, составленный Вл. Трениным. Небесполезной является также сводка исторических источников Толстого, использованных им при писании романа „Война и Мир“.

В. Л. Львов-Рогачевский. От усадьбы к избе. Лев Толстой. 1828—1928. Москва. изд. „Федерация“. 8", 288 стр.

Книга написана в духе „публицистическом“. Основная ее идея заключена в утверждении, что Толстой в процессе своего развития перешел от идеологии барского помещичье-аристократического класса к защите интересов крестьянского класса. По словам автора: „Здесь победа черной избы, здесь замена барского, усадебного, помещичьего миросозерцания-крестьянским, здесь стремление жить, думать, и чувствовать и умереть „по-мужицки“ (стр. 15). Однако, в самой книге нет последовательного проведения этого тезиса. Она состоит из ряда очерков, представляющих собою обычного типа популярно-научные статьи на темы, вроде: „Руссо XIX века“, „Лев Толстой-эстет“, „Под знаком смерти“ и т. п. Совершенно никакой связи с остальными очерками не имеет статья „Читатели Льва Толстого“, дающая кое-какой материал об отношниях читателей к Толстому. Ценность книги весьма относительная.

Вениамин Булгаков. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Путеводитель. М.-Л., Гос. Изд. 1928 г. 184 стр. С рис. в тексте. Ц. 1 р. 35 к.

Хотя книга носит характер путеводителя по дому-музею в Хамовниках, но в ней, помимо воскрешения бытовой обстановки жизни Т-го, рассеяно много мелких биографических фактов, представляющих самостоятельный интерес. В качестве справочного источника имеют значение приложенные в конце: 1. „Даты событий из жизни семьи Толстых в Москве с 1882 по 1912 год“ (стр. 167—168) и „Пособия к изучению жизни и быта семьи Толстых в Хамовниках 1882—1909 гг.“ (стр. 172—175).

Справочник по Толстому. Даты жизни и творчества, хронология и систематика сочинений, библиография. Составили *С. Балухатый* и *О. Писемская.* М.-Л., Гос. Изд. 1928 г. 124 стр.

Полезный справочник для первоначальной ориентировки в изучении Толстого. Даны: хронологические даты, алфавитный список художественных произведений, хронологический список художественных произведений, систематический указатель философских и общественно-публицистических произведений, указатель литературы о Толстом, „Л. Н. Толстой в театре и кино“, места и учреждения, связанные с Т-м.

Прага, 1. мая 1929 г. *А. Л. Бем.*

Иванъ Евстратиевъ Гешовъ. Спомени и студии. — Българска академия на наукитѣ, София. Печатница П. Глушковъ, 1928. Stran 393. Cena 80 leva, pro cizinu 5 švýc. franků. V komisi Otty Harrasowitze v Lipsku.

Ve smyslu poslední vůle svého bývalého předsedy a štědrého mecenáše *Ivana Evstratieva Gešova* vydala Bulharská akademie nauk po knize o náhledech a činnosti jeho r. 1926 další knihu s jeho vzpomínkami a studiemi. Nová tato kniha, která má v čele opět portrét Gešovův a příslušné ustanovení

z jeho závěti, nepřináší nic nového z pozůstalosti Gešovovy, ani nemění nějak ustálené jeho fysiognomie v bulharských dějinách poslední doby. Je to celkem 21 článků, statí a studií, shromážděných z rozličných bulharských revuí a časopisů, jimiž se velmi dobře doplňuje uvedená kniha o Gešovu z r. 1926, tvoříc k ní dobrý průvodní materiál. Jsou to především poutavé vzpomínky Gešovovy na první bulharské zápasy o církevní samostatnost před osamostatněním politickým, dále zápisky z bojů za svobodu a z vlastního věznění autorova až do vítězství a jeho propuštění na svobodu a první jeho působení diplomatické; zachyceny jsou tu i nové boje o osamostatnění Východní Rumelie, o její sloučení se svobodným již krajem a konečné uskutečnění žádaného sjednocení. Po těchto dokumentárních vzpomínkových črtách a zápiscích z veliké doby přetištěna je řada odborných národohospodářských úvah Gešovových, v nichž dobrý odchovanec anglických škol výkladem o cizích ústavech a soustavách i vymoženostech hledí je zavésti v osvobozené rodné zemi. Bystrý myslitel a duchaplný debatér Gešov obyčejně vychází z nějakého soudobého článku anebo přednášky, aby se všech stran kriticky osvětlil náhledy pisatelovy anebo řečníkovy a ukázal nahromaděním důkazů, přesvědčujícím tlakem čísel a dat mylnost anebo vadnost projeveného náhledu a dospěl sám k náhledu někdy docela protichůdnému, ale jistě správnému. Tak jsou tu zastoupeny otázky finanční a hospodářské, podány tu dějiny zádruhy v západním Bulharsku, sledován rozvoj obchodu a průmyslu, jakož i stav současného zemědělství bulharského, promluveno o otázkách rozpočtových, daňových a jiných, jež dnes nemají té časové naléhavosti jako kdysi, ale mohou býti zejména dnes v mnohém poučné pro vůdčí bulharské rádce a pracovníky. Pro literární dějepis má cenu stať o Východní Rumelii a jejím prvním stálém komitétu (str. 125 a d.; vyšla původně v Per. Spisaniu r. 1904), v níž Gešov uvádí na pravou míru a do správného osvětlení humoristickou črtu »Malko Aritmetika« od soudobého spisovatele Antona Strašimirova, jehož jménem neuvádí.

Jak při první knize Gešovově, o níž jsem tu psal, tak i při tomto svazku bych si přál kritický doprovod vzpomínek a studií od vydavatele, jenž ostatně se ani nepodepsal. Bylo by jistě pro nás velmi zajímavé a poučné dověděti se, jak soudobí Bulhaři přijímali náhledy Gešovovy, zdaž s nimi ve všem byli za jedno, zdali a jak se podařilo náhledy nové uplatnit a co z nich celkově bylo uskutečněno. Ale i tak při čtení Gešovových pamětí a studií je zřejmo, že se tu projevuje duch vynikajících schopností a mimořádných hodnot, duch širokých obzorů, jenž skutečně svému národu prospěl. *Jos. Páta.*

Rud. Lehmann: **Bibliographie zur Geschichte der Niederlausitz.** Brandeburgische Bibliographien Band 3. Berlín 1928, stran XII a 226.

Srv. zprávu B. Šwely v Slavii VII, 215. — Litovati dlužno, že se německý autor omezil téměř výhradně na práce německé přibíraje z lužických prací jen příspěvky z Časopisu Maćicy Serbskeje (a to zásluhou far. B. Šwely), ačkoliv i starý »Łužičan« a »Łužica« obsahují značné množství důležitých statí pro Dolní Lužici. Tak i ze slovanských literatur uvedeno jen velice málo, což dlužno asi vykládati nepřístupností potřebných pramenů. Jinak by musila býti uvedena první cenná sbírka dolnolužických písní, kterou podle záznamů Kucharského vytiskl v Čas. Čes. Musea 1830 Frant. Lad. Čelakovský (ostatně Hórnik o ní psal do Čas. Mać. Serb. 1885, str. 181—185); měl by ovšem také býti uveden lužický oddíl Kubova »Slovanstva ve svých zpěvech« (1885), dále důležitá stať Ad. Černého »O germanisaci a nynějším stavu Srbů dolnolužických« v Athenaeu 1887, jakož i stejně významná pozdější stať B. Šwely ve Slov. Přehl. 1902 »O srbské národnosti v Dolní Lužici« atd. Doufejme, že nám tento nedostatek nahradí nedávno rovněž v Berlíně vydaná obsažná lužická bibliografie Wjacsławkova. Ale i tak vykonal Lehmann záslužné dílo, neboť vysvobodil z úplného zapomenutí nesčíslné množství zapadlých německých statí o Dolní Lužici, jichž autory byli také mnozí Lužičané. Badatelé a noví pracovníci o Lužici najdou tu nejen záznamy o dolnolužických dějinách a vlastivědě, ale i pomůcky pro poznání dolnolužického jazyka, literatury a lidovědy, na nichž mohou budovati dále. Knihu Lehmannovu, v níž osobní i věcné rejstříky usnadňují rychlou orientaci, možno dobře doporučiti všem slavistům. *Jos. Páta.*

Výtahy z časopisů.

Русская речь, новая серия III. »Academia« Ленинград 1928.

Д. Н. Ушаков. Русская орфоэпия и ее задачи (стр. 5—27). Сам автор так намечает содержание своей статьи: „Орфография и орфоэпия — буквенное и звуковое обличья литературного языка. Условность понятия *правильное произношение*. Московское наречие — основа русского литературного языка и русской орфоэпии. Язык и произношение. У кого учиться правильному русскому произношению; буквенные произношения; причины их возникновения и укрепления в речи. Определение правильного русского произношения. Кто в нем заинтересован. Задачи русской орфоэпии. Что сделано для нее сценой, наукой, школой, специальной литературой. Главнейшие правила русского произношения“ (стр. 5). Кроме развития этих положений в статье указан целый ряд практических пособий, могущих до известной степени служить руководством по орфоэпии. Автор подвергает критическому разбору некоторые утверждения этих пособий, отмечая, что самыми основательными трудами по русской орфоэпии до сих пор являются работы В. И. Чернышева. — **В. В. Виноградов.** О слове „ахинея“ в русском литературном языке (стр. 28—46). Полагая, что разбор двух существовавших до сих пор объяснений слова *ахинея* представляет методологический интерес, г. В. дает такой разбор, отмечая что при неясности этимологии и разности определения путей, какими слово пришло в литературный язык, все исследователи (Т. И. Филиппов, Я. Грот, М. Р. Фасмер, М. И. Михельсон, Д. К. Зеленин, Преображенский и н. иные) одинаково считали его заимствованным из греческого языка. Сам автор этимологию *ахинея* из *афинеи* подвергает проверке фонетической (изолированность этого чисто книжного слова в смысле замены *ф* через *х*; последняя известна лишь в собственных именах), сравнительно-морфологической (морфемы *ахин* и *ея*, причем *ея* в функции суффикса для производства от прилагательных отвлеченных имен неизвестен) и семантической („все построение *ахинеи* на *афинее* оказывается воздушным, без всяких документальных исторических и диалектологических подпорок“). Автор обращается к данным самого русского языка, к его диалектам, которым это слово в разных вариантах, оказывается, знакомо. Из диалектов и в литературные произведения попали слова одного и того же морфологического и отчасти семантического ряда: *хинь* (встречается в целом ряде диалектов, кроме того у Лескова, Тургенева — *пошло хинью* ‚в пустую‘), *хинить* ‚хулить, не одобрять‘ (тоже известно ряду говоров, кроме того соотносительно с сербо-хорватским *hiniti* ‚decipere, fallere, simulare‘ и словенским *hiniti se* ‚лицемерить‘, у Миклошича *chyni-*), *охинить*, *хинеть*, *хинять*. Таким образом, по автору, литературную *охинею* должно сближать с *охинить* в основе ‚бранить, порицать, хаять‘. С этой точки зрения слово *охинея* оправдывается фонетически, морфологически (ср. печ*ея*, пряд*ея*, толч*ея*, т. е. суфф. *-ея*, *-ия*, *-ья* у имен лиц ж. и общего р. и имен действия, а также показателя действия или продукта действия — *злобе́я*, *знобе́я*, *ломе́я*, *пухле́я* и т. п. от соответствующих глаголов; отсюда закономерно и *охине́я* при *охини́ть*, как *мелея* ‚чушь, глупость‘). Т. о. *охинея* ‚предмет хулы, брани, то, что достойно порицания, вздорные слова, пустяки, чушь‘ и т. п., так что это не заимствование иностранное, а диалектизм, поднявшийся в нормы не только

разговорного, но и книжного языка в 20—40-е годы, в период натиска на литературную речь диалектической стихии. — **Л. А. Булаховский**. Из жизни омонимов (стр. 47—61). Автор указывает на интерес к вопросу об омонимах, проявленный русскими грамматиками в первой половине XIX стол., и на отношение к этому вопросу научной лингвистики в позднейшее время. Предлагает классификацию омонимов на категории: *морфологическую* (омоморфемы, напр. *живой* — им. п. ед. ч. м. р. и род., дат., твор. ед. ж.р. и под.) и *лексическую* (*a.* одной и той же морфологической категории, напр.: *ключ* от замка и *ключ* ‚ручей‘, *жать* злаки и *жать* ‚сжимать‘ и *в.* разных морфологических категорий — *стекло* предмет и *стекло* прош. вр. от *стекать*, *три* числит. и *три* imp. от *тереть*). Кроме того, можно различать омонимы целостные (*три*, *ключ* и под.) и производные (*засыпать* несовершенный вид и от *засы́пать* и от *заснуть*). Касаясь вопроса об омонимах, необходимо также учесть, относятся ли омонимы к близкой или удаленной сфере понятий и эмоций. В дальнейшем автор выясняет, в какой мере выживают омонимы каждой из намеченных категорий, и намечает пути, которыми язык пользуется для освобождения от омонимности. „Нужно, однако, заметить — пишет автор — что между языками существует различная степень чуткости по отношению к омонимам (лексическим одноименной морф. категории) в зависимости от общего характера их исторической фонетики“ (стр. 51). Так, на пр., чешский яз. проявляет к такого рода омонимам бо́льшую терпимость чем русский. Сам русский язык терпимее к омонимам производным. Судьбы омонимов-инфинитивов в слав. языках автор касается отдельно в своей статье »Sur les effets de l'homonymie dans les langues slaves«, помещенной в Revue des études slaves. — **Б. А. Ларин.** О лингвистическом изучении города (стр. 61—74). Указывается на недостаточное внимание лингвистики к лингвистическому изучению города, который между тем в языковом отношении представляет весьма сложную картину. Наряду с изучением литературных языков и диалектов должны, по мнению автора, изучаться разговорные и письменные городские арго, как третий основной круг языковых явлений. Автор останавливается на особенностях социального состава городского населения, которые должны при исследовании приниматься во внимание, как существенные условия особого языкового быта, гл. обр. социальная пестрота городского населения. При намечающейся тенденции к образованию городского языка „даже большие города еще на перепутьи от языковой раздробленности к широким объединениям“ (стр. 70). Автор так себе представляет арго: это двуязычие, „при котором *арготический ряд принимается за основной и исходный*; а второй языковой ряд надо пока считать искомым (а не утверждать, что им может быть *только* литературный язык, и во всяком случае *второстепенным*,“ стр. 71). Арго, значит, принадлежит смешанным языкам, имеющим свою фонетику и морфологию, но в отношении литературного языка все же не оригинальную; лексика — оригинальна. — **Г. Винокур.** Глагол или имя? Опыт стилистической интерпретации (стр. 75—93). Речь идет об отглагольных существительных с точки зрения их стилистического назначения. Эти отглагольные существительные (ведение, принесение, приближение и т. п.) получили широкое распространение в современной письменной речи и неоднократно в научной литературе подвергались осуждению с точки зрения стилистической, выдвигался лозунг — „назад к глаголу!“ При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что не всегда можно устранить недостатки синтаксических построений заменой отглагольного имени глагольной формой. Здесь прежде всего необходимо исключить случаи с экзистенциальными глаголами, без реального значения (*стать* богатым; *сделаться* больным и т. п.), где не может быть устранена стилистическая дефектность глагольной заменой; задача решается только полным пропуском такого глагольного слова (напр.: Сегодня начался процесс Н. Н., обвиняемых в *совершении* крупных злоупотреблений — Сегодня начался процесс Н. Н., обвиняемых в крупных

злоупотреблениях). Есть, говорит автор, случаи, когда „от глагола надлежит избавиться" (стр. 79), а кроме того необходимо в категории отглагольных имен различать образования типа *значение, содержание* и *играние, совершение* — разные по своему синтаксическому содержанию и стилистическим возможностям. Наконец, есть еще одна категория слов, если не отглагольных, то во всяком случае *глагольных*, как *играл — игра, бороться — борьба* и т. п., субстантивированных, в отличие от первых, до конца. Как раз то обстоятельство, что в словах на *-ание, -ение, -итие* глагольность окончательно не устранена, является причиной стилистической какофоничности рассматриваемых словообразований; этой какофоничности не будет, если на месте слов на *-ение* будут возможные варианты слов глагольных (типа *игра, борьба* и п.). С другой стороны, есть случаи, когда стилистически необходимо избавиться от глагола (напр. в заглавии). Т. о. пользование именными и глагольными конструкциями определяется функционально: в случаях терминирования, каталогизации, оглавлений и т. п. — лучше конструкция именная с до конца устраненной глагольностью; наоборот, в целях повествовательных именная конструкция должна уступить чисто глагольной. Есть отступления от этой классификации, но, если они удачны, всегда стилистически оправданы.

Л. Копецкий.

Balkan-Archiv. Fortsetzung des Jahresberichtes des Instituts für rumänische Sprache. Herausgegeben von Prof. Dr. Gustav Weigand. Časopis, který podle svého programu chce podávati příspěvky k poznání vzájemných vztahů národů balkánských, přináší ovšem také řadu článků, důležitých pro slavistiku. V předmluvě k I. sv. G. Weigand krátce nastiňuje tyto vztahy ve smyslu jazykovém: bulharština měla vliv na rumunštinu po všech stránkách mluvnických, naopak zase rum. na bulh. (střední postpositivní člen, užívání infinitivu, ztráta flexe atd.). Valaši zprostředkovali Bulharům také prvky thrácko-albánské, jejichž přímý vliv se však začíná až od 16. stol. — od doby stěhování Albánců. Turecký vliv se jeví v užívání bulh. aoristu a ve slovníku. Slované balkánští zase měli vliv na řečtinu. Důležitá je zvl. otázka místních jmen.

Band I. Leipzig 1925.

G Weigand: Ortsnamen in Ompoly- und Arányos Gebiet (1–42). Mnohá z místních jmen tohoto území jsou slovanská, a to právě jména nejstarší (srv. *Craiova* < blh. (srb.) *Kraljevo*, *Presaca* < blh. *prě-sěka*, *Dombró* < blh. *dǫbrava* atd.). Slované byli při příchodu Němců do této krajiny rolníky, ale zakládali i města, do nichž se později přistěhovali Maďaři a teprve velmi pozdě Rumuni; Slované sídlili až do hor, jak dosvědčují jména hor (*Prislop, Osri* atd.); při svém příchodu sem převzali také některá antická jména (*Ompoly* < blh. *Ompuly* < *Ampulu* < *Apulum* × *Ampelum*). — **St. Mladenov:** Bemerkungen über die Albaner und das Albanische in Nordmakedonien und Altserbien (43–70). V této krajině mají všecky albánské vesnice slovanská jména, která jim byla dána za vystěhovalectví srb. a bulharského v 17. a 18. století. V okolí Kumanova se jeví slovanský vliv i v albánštině. Jazyk Srbů na Kosovu poli je přechodné nářečí srbsko-bulharské. — **G. Weigand**: Der Admirativ im Bulgarischen (150—152; uveřejněno i anglicky v Slavonic Review II. 567). Admirativ v bulharštině naznačuje překvapení (jako v albánštině) a vyjadřuje se perfektem, na př. **Ти си билъ богатъ човек** ,tys ale bohatý člověk!' o čase přítomném a dvojité složeným perfektem o čase minulém: **Ти си билъ много напрѣдналъ** ,tys velice pokročil!' a bývá také ve větách uvozených **че** a **да**; vyvinul se vlivem albánským v době nové. (St. Romanski v Makedon. pregledu II. 3. 143 sl. chce vysvětliti vznik admirativu z bulh. samotné, k čemuž srv. Balk.-Arch. III. 1927, 296). — **D. Scheludko:** Nordslavische Elemente im Rumänischen (152—172). Doplňuje a opravuje článek H. Brüskeův v Jahresberichte d. Inst. f. rum. Sprache sv. 26.—29. Pro stará přejetí z ukrajinštiny není dost spolehlivých kriterií; výpůjčky rumunské z ukrajinštiny nejsou asi starší 13. století.

Band II. Leipzig 1926.

Walther Scheiner: Die Ortsnamen im mittleren Teile des südlichen Siebenbürgens (1—112). Nejstarší vrstvou místních názvů jsou jména slovanská, která byla později přejata do rum. jednak přímo (*Săliște*), jednak prostřednictvím maďarským nebo německým od sedmihradských Sasů. Kterým slovanským jazykem, zdali bulh. či srb., původní zakladatelé míst slovanských mluvili, nelze zatím rozhodnouti. Odloučení slovan. místních jmen od rumunských jest nesnadné. *Gušterica* je nepochybně bulharské. O stáří těchto názvů je těžko rozhodovati. — **D. Scheludko**: Rumänische Elemente im Ukrainischen (113—146). V době příchodu Rumunů na sever od Dunaje sídlili v Moldavě ještě ukrajinské kmeny. Později se šířili Rumuni na sever a dostali se do Haliče a tak se obě národnosti značně smísily, čímž se dostalo mnoho rum. slov a s nimi i jiných prostřednictvím rumunským, zvláště výrazů ze života pastevského, do ukrajinštiny. Chronologii stanoviti je nemožno, ale výpůjčky jdou hlavně do 16. století (ve vých. Ukrajině) a do 13.—14. stol. u Ukrajinců v Haliči a Maďarsku. Při přejetí zůstává ve většině případů rum. slovo nezměněno, někdy má ukrajinskou koncovku. — **G. Weigand**: Das Suffix *-ul* in den Balkansprachen (147—166). V bulharštině tvoří suffix *-ul* = csl. *-ulь* subst. deverbativa (мрази ‚mrzne': мразуль ‚střechýl') a denominativa (мургъ ‚hnědý': мургулявъ ‚hnědavý') a bývá také spojován s jinými suffixy: *-ul-ec*, *-ul-ica*, *-ul-ka*, *-ul-če*, *-ul-ek*, *-ul-jak*, *-ul-ija*, *-ul-ina*; v srbštině se jeví tento suffix jako masc. *-ulj*, fem. *-ulja* (*metulj* ‚motýl', *grabulja* ‚hrábě') a bývá často ve jménech zvířecích a rostlinných, neboť znamená podobnost k tomu, co naznačuje kmen slova. Jindy je původu italského (< *-olo*) nebo latinského (*-ulus*). Ve jm. osobních jest v srbštině *-ul*, *-ol* původu román., lat., řeckého; podobně v bulharštině.

Band III. Leipzig 1927.

Otto Liebhard: Die Ortsnamen des Seklergebietes in Siebenbürgen (1—96). Z 460 místních jmen tohoto území, která autor uvádí a vykládá, jest asi 90 jmen slovanských (= 19·5%); některá jsou maloruská; u některých nelze stanoviti, kterému jazyku slovanskému přináležela; je v nich zachováno mnoho slovanských hypokoristik, z nichž mnohá již ve slovanských jazycích vymřela. Území Sekelů bylo před příchodem Maďarů obsazeno Slovany, kteří později byli pomaďarštěni. Na mnohá původně slovanská jména pak přistoupilo maď. *falva* ‚ves', *laka* ‚sídlo'. Slovanskému elementu přináležela v pojmenování míst v tomto území důležitá úloha. — **Gust. Weigand**: Etymologien (97—112). Blh. srb. (rum.) *gorun* ‚quercus robur' < *gora-un* (jako *med*: *medun* ‚jako med chutnající granátové jablko') ‚na horách rostoucí strom'; *grъnica* blh., *gránica* srb. ‚dub' (< *grana*, ‚větev, chrast') = ‚větevnatý strom'. Blh.-srb. *kračun*, rus. *koročun* (*karačun*) není z rum., ale náleží k psl. **korčati* ‚kráčeti' a znamená *to, co kráčí' > ‚slunovrat'. U Jihoslovanů se vyvinul význam ‚vánoce.' Ostatní etymologie se týkají slovanských slov, přejatých do rumunštiny. — **W. Scheiner**: Die Ortsnamen im mittleren Teile des südlichen Siebenbürgens (113—172). Pokračování článku z Balk.-Arch. II. 1 nn. I zde je mnoho jmen místních původu slovanského. — **D. Scheludko**: Lateinische und rumänische Elemente im Bulgarischen (252—289). K článku Romanského ‚Lehnwörter lat. Ursprungs im Bulgarischen' v Jb. 15, 89 nn., jehož tvrzení autor opravuje a doplňuje. Balkánská latina neměla znatelného vlivu na bulharštinu; bylo převzato z ní jen něco málo jmen měst a řek: slova *césarь* a *grъkъ* jsou výpůjčky staršího data, než se obyčejně uznává. Mnohé výrazy, jež se dříve pokládaly za balkánsko-latinské, jsou z jazyků románských. Vliv antického pohanského kultu na Slovany byl významný a staršího data než křesťanský. Do csl. se dostalo mnoho latinismů jednak přímo, jednak prostředím řeckým. Italská slova dostala se do bulh. prostřednictvím řeckým nebo dalmatsko-srbským. Asi sto slov je původu rumunského a vztahují se hlavně na pastevství, což však dokazuje jen, že rumunští pastevci také na bulharském území pásli a Bulharům s pastevstvím dali zároveň příslušné výrazy. Jsou to výpůjčky většinou mladé, jen několik málo jich je z prarumunštiny.

Band IV. Leipzig 1928.

Gustav Weigand: Die Wiedergabe der slavischen Laute in den Ortsnamen des Peloponnes (1—52). Slované se přistěhovali na Moreu během 6.—9. století, v době, kdy ještě nenastalo literární období církevně-slovanské, proto jsou zde v místních jménech slov. původu zachovány tvary starší než v csl. Novější jm. místní jsou z následujících století, kdy se tam Slované stěhovali znovu. Jsou charakterisována tím, že v nich není ještě provedena metathese likvid, **za** *ŏ* **je** *a*, **za** *y* (z **ū* je *u*) (později *i ę* > *en (em)*, *ǫ* > *un*): v době velmi mladé muselo nastati nové osídlení slovanské, jak svědčí zcela nové změny hláskové, jež mohly vzniknouti jen severně od Řecka. Hojně je tu místních jmen na *-ιτσα*, v nichž Weigand vidí slov. suffix *-ica*, ale K. Dietrich na str. 139 nn., myslí, že je původu ital. (z *-iccio*). Jaký to byl slovanský dialekt, je nesnadno určiti, ale spíše byl blízký pozdější bulharštině než srbochorvatštině. — **Gust. Weigand**: Texte zur vergleichenden Syntax der Balkansprachen (54—94). Uveřejňuje tři texty v jazycích rum., arum., bulharském, řec., alb. geg. a alb. tosk. a ukrajinském (názvy slovanských textů: Лисичната прѣсжда (bulh.), Егьуптинъ, овчарь и змѣи (makedobulh.) = Циганинъ, овчаръ и змѣй (bulh.), Lámpata, smẽ'gata (makedorum., z Bitolje). Ve 4. části „Zur Syntax des Pronomens" jsou jednotlivé věty v nahoře uvedených jazycích. — **Gust. Weigand**: Neue Bücher zur Kenntnis der makedo-bulgarischen Mundarten und eigene Beiträge (95—103). O Mazonových „Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale", Tassilo Schultheissově vratislavské dissertaci o dialektě místa zvaného Srpci 13 km od Monastiru, jenž se blíží nářečí bitoljskému. — **Gust. Weigand**: Die Namen der rumänischen Dörfer in Altreich (108—177). Skoro všecka jména místní zde sebraná jsou z doby, kdy úřední řečí byla ještě bulharština; jsou tu jména bulharská, která mají převahu, srbská a maloruská. *P. Poucha.*

Литература в русских журналах.[1])

Красная Новь. М. 1927—1928 г. г.

1927. № 2. *В. Вересаев.* Дуэль и смерть Пушкина. Из книги »Пушкин в жизни« (Систематический свод подлинных свидетельств современников). К 90-летию со дня смерти Пушкина (стр. 144—167).

№ 3. *В. Вересаев.* Дуэль и смерть Пушкина (стр. 153—170). См. выше. . . . № 2.

№ 4. *Георгий Чулков.* Молодой Пушкин (стр. 222—225). Об литературных оценках Пушкина в связи с выходом 1 т. »Писем Пушкина« п. р. Б. Л. Модзалевского (Тр. Пушк. Дома Ак. Н. 1926 г.). *Ю. Стеклов.* Вокруг процесса Н. Г. Чернышевского (стр. 129—154). Новый материал, между прочим неизвестное письмо Ч-го к жене от 7. XII. 1862 г. Подтверждается новыми данными ряд подлогов со стороны III отделения для расправы с Ч-м. — *М. Горький.* Н. Г. Гарин-Михайловский (стр. 202—213). Воспоминания.

№ 7. *Ю. Стеклов.* Историко-философские взгляды Н. Г. Чернышевского (стр. 167—202).

№ 8. *Герман Лопатин.* Воспоминания о И. С. Тургеневе. По неизданным записям С. П. Струмилиной-Петрашкевич. С пред. *Н. К. Пиксанова* (стр. 164—176).

№ 9. *Н. Лернер.* Затерянное стихотворение Пушкина (стр. 256—262). Напечатано стих. »Гараль и Гальвина« (нач.: »Взошла луна над дремлющим заливом . . .«). Н. Лернер, вслед за Н. В. Гербелем, считает это стихотворение принадлежащим П-ну и относит его ко времени написания »Колны«, »Эвлеги« и »Осгара«. — *Ю. Стеклов.* Н. Г. Чернышевский и русское общество (стр. 168—200). Статья состоит из двух глав, первая озаглавлена: »Абсолютизм-вот враг« и трактует вопрос об отношении Ч-го к самодержавию, вторая »Чернышевский и дворянско-

---

[1]) См. »Slavia«, VII, 1, стр. 199—204.

буржуазный либерализм« говорит гл. об. об отношении Ч-го к Герцену. — *С. Елпатьевский.* Горький, Чехов и Толстой (стр. 226 237). Личные воспоминания о встречах с упомянутыми писателями.

№ 12. *С. Елпатьевский.* Петербург-Ялта. (Из воспоминаний) (стр. 132—155). Воспоминания относятся к концу 90-х г. г. О пребывании Н. К. Михайловского в Ялте (1897). Вечера у Н. К. Михайловского и М. В. Ватсон. Кружок »Русского Богатства«. Журнал »Мир Божий«. П. А. Бакунин и его жена. Шуберт-Яновская (артистка Малого театра). Артист Градов-Соколов. Е. Ф. Толстая-Юнге (ее воспоминания о Т. Шевченко).

1928 г. № 1. *В. Евгеньев-Максимов.* Н. А. Некрасов и его современники (к пятидесятилетию со дня смерти Н. А. Некрасова) (стр. 168—191). Статья состоит из двух очерков: 1. »Некрасов и Белинский« и 2. »Некрасов и Гончаров«. В первом очерке опубликованы два неизвестных черновика писем Н-ва к М. Е. Салтыкову-Щедрину (1869 г.) и письмо Н-ва к В. П. Боткину от 11 апр. 1847 г. Во втором очерке сообщены новые материалы, рисующие отношение Гончарова к Н-ву. — *Генрик Каменский.* Пшибышевский и Даниловский (стр. 245—253). Поверхностная характеристика творчества Пшибышевского и Даниловского.

№ 3. *Всеволод Иванов.* Сантиментальная трилогия (стр. 233—238). Роль Горького в жизни автора. — *Алексей Демидов.* Из встреч с Максимом Горьким (стр. 238—256). Относится к 1917—18 г. г. — *А. Сеирский.* Встречи (стр. 250—256). Три встречи с Горьким в 1901, 1913 и 1920 г. г. — *В. Фриче.* М. Горький и пролетарская литература (стр. 227—232).

№ 4. *С. Елпатьевский.* Нижний Новгород. (Из воспоминаний) (стр. 128—163). Отдельные главы посвящены воспоминаниям о Н. Ф. Анненском, В. Г. Короленко, Докт. Н. А. Белоголовом, П. Д. Боборыкине, М. М. Ковалевском. — *Д. Тальников.* »Гершензоновская Москва« (стр. 218—240). О кн. »Письма к брату« М. О. Гершензона.

№ 5. *Д. Тальников.* »Горе от ума« перед судом современности (стр. 223 262). Статья, написанная в связи с постановкой Мейерхольдом комедии Грибоедова, имеет самостоятельное значение для изучения комедии. В ней дана история текста под углом зрения »установки на общественно-сатирическое снижение стиля и содержания« комедии. Широко использован материал современных и позднейших оценок комедии критикой. Отдельно автор рассматривает вопрос об отражениях в комедии Г-ва идеологии декабристов. — *Скиталец.* Воспоминания о Горьком (стр. 164—171). I. Горький в деревне (относится к 1900 г.). II. Горький в Финляндии (относится к 1905—6 г. г.).

№ 6. *К. Злинчинко.* Из воспоминаний о М. Горьком (1906—1911) (стр. 165—175).

№ 7. *Л. Клейнборт.* М. Горький как собиратель творческих сил (стр. 160—188). Автор на основании писем и записок писателей из народа и печатного материала дает характеристику той писательской среды, которая формировалась вокруг и под непосредственным воздействием Горького.

Новый Мир. Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Москва. 1925—1927 г. г. и 1928 г. №№ 1—9.

1925 г.. № 1. С. Шпицер. *Жизнеописание Н. А. Некрасова* (стр. 81—90). Напечатана автобиография Н-ва, записанная под его диктовку для М. И. Семевского, 7 июня 1872 г. — В. Брюсов. *Юношеские стихотворения* (стр. 78—80). Три стихотворения периода 1893—94 г. г.

№ 3. Леонид Гроссман. *Крепостные поэты.* (стр. 105—116). Первый очерк посвящен поэту-крепостному Егору Алипанову (р. 1802). — *Неизданные рассказы Н. Г. Чернышевского.* С предисловием П. Е. Щего-

лева (стр. 3—19). Сообщены два рассказа Ч-го: »Это-вовсе не сказка (из Дидро)« и »Приключения друга« 60-х г. г. См. также »Звезда« 1924 г., № 3.

№ 5. Два начала неоконченного романа Л. Н. Толстого из эпохи Петра I. (стр. 3—23). Относится к 1870—73 г. г. — *А. Е. Грузинский*. Работа Л. Н. Толстого над романом из эпохи Петра I. (стр. 24—36). Статья написана на основании изучения рукописных материалов.

№ 6. *А. Е. Грузинский*. К новым текстам из романа »Война и Мир« (стр. 3—19). — Новые тексты из »Войны и Мира« (стр. 20—58). Впервые напечатаны черновики ранних редакций романа Толстого. Особенный интерес представляют два конспекта или списка действующих лиц с отметками при каждом, на основании которых можно себе представить первоначальный план романа.

№ 7. Новые тексты из романа »Война и мир« (стр. 3—32). Окончание, см. выше . . . № 6.

№ 8. *Леонид Гроссман*. Крепостные поэты (стр. 104—118). Продолжение, см. выше . . . № 3. О поэтах-крепостных Михаиле Суханове и Иване Сибирякове.

1926 г. № 1. *Л. Войтоловский*. М. Е. Салтыков. К столетию со дня рождения (130—138). Статья общего содержания, научного интереса не представляет. — *В. Вересаев*. В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский. (Из воспоминаний) (стр. 123—129). — *Вяч. Полонский*. Памяти Есенина (154—161).

№ 2. Из неизданной переписки Л. Н. Толстого. Письма Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову. С предисл. *Н. Гусева* (стр. 123—136). Всего десять писем периода 1876—95 г. г. Письма не вошли в отд. издание писем Т-го к Страхову 1914 г. Напечатаны по копиям, хранящимся у В. Г. Черткова. Весьма ценны по содержанию. Есть отзывы о Тургеневе, Вл. Соловьеве, проф. Масарике и др. — *Сергей Городецкий*. О Сергее Есенине. Воспоминания (стр. 136—146). Охватывают весь период литературной деятельности Есенина. Много ценных биографических фактов.

№ 3. *В. Нечаева*. Поездка в Даровое (стр. 128—144). Автор вначале, делясь своими впечатлениями от поездки в Даровое, место летнего пребывания Достоевского в детстве, дает сводку материала о Даровом и сообщает со слов местных крестьян рассказы о М. А. Достоевском и об обстоятельствах его смерти. В связи с печатаемыми в приложении воспоминаниями М. А. Ивановой, племянницы Д-го, автор подробно говорит об отношениях Д-го к семье В. М. Ивановой и о его пребывании в Люблине под Москвой в 1866 г. Воспоминания М. А. Ивановой, относящиеся к 1866 г., имеют значение для истории создания »Вечного Мужа« Д-го. — *Ал. Белозеров*. Из молодых лет Максима Горького (По новым материалам) (стр. 115—127).

№ 4. *Ал. Белозеров*. Из молодых лет Максима Горького (стр. 123—136). Продолж., см. выше . . . № 3.

№ 5. Три письма И. С. Тургенева к А. П. Ефремову. С предисловием *С. Орловского* (стр. 134—143). Письма относятся к 1840 г. Ценный биографический материал.

№ 6. Из архива Валерия Брюсова. С пред. *Н. Ашукина* (стр. 129—132). Письмо Брюсова к М. Г-вой от 24 сент. 1913 (о положении поэта в России и поэтическом творчестве). — *Борис Анибал*. Около Есенина (стр. 155—158). Гл. обр. о книгах А. Крученых о С. Есенине. — *А. Н. Вознесенский*. Поиски объекта (К вопросу об отношении метода социологического к »формальному«). (стр. 116—128). Статья представляет интерес для оценки т. н. »формального« метода.

№ 7. *Вяч. Полонский*. Мих. Бакунин (К 50-летию со дня смерти) (стр. 117—131).

№ 11. *Леонид Гроссман*. Преступление Сухово-Кобылина (стр. 128—148). Автор на основании изучения подлинного »дела об

убийстве Симон-Деманш« приходит к выводу о виновности известного драматурга А. В. Сухово-Кобылина в убийстве француженки Деманш.

№ 12. *Леонид Гроссман.* Преступление Сухово-Кобылина (стр. 124—141). Окончание, см. выше . . . № 11.

1927 г. № 1. *В. Вересаев.* Заметки о Пушкине (стр. 185—196). 1) Пушкин и Евпраксия Вульф. 2) Княгиня Нина — А. Ф. Закревская.

№ 2. *А. Луначарский.* Ревизор Гоголя-Мейерхольда (стр. 187—195).

№ 4. *В. Вересаев.* Из детских лет. Воспоминания (стр. 88—104).

№ 5. *В. Гиппиус.* Из неизданной переписки Н. Г. Помяловского (стр. 129—133). Письмо П-го (1863) и письма к нему А. Ф. Писемского, Н. А. Некрасова, А. Н. Пыпина. Представляет интерес для истории русской журналистики 60-х г. г. — *Викт. Гольцев.* О преодолении лирики в творчестве Блока (стр. 134—136).

№ 8. *А. Воронский.* Заметки о художественном творчестве (стр. 160—169). Две главки посвящены Л. Н. Толстому: 1) Реализм Т-го, 2) Тайна художественного перевоплощения — в связи с воспоминаниями Т. А. Кузминской »Моя жизнь в Ясной Поляне«.

№ 9. Письма И. С. Тургенева к П. В. Анненкову. Предисловие и примечания *П. Е. Щеголева.* (стр. 155—168). Опубликовано 12 новых писем; первая группа в шесть писем относится к 1854—55 г. г. »Ценные автобиографические высказывания (об М. Н. Толстой), интересные бытовые детали (о пребывании Григоровича, Дружинина и В. П. Боткина в Спасском), отзывы о новинках русской литературы-вот содержание этих писем«, говорит редактор. Остальные шесть писем относятся к 1871—72 г. г. и написаны из Парижа. По содержанию это обращения о разного рода дружеских услугах. — *А. Воронский.* Заметки о художественном творчестве (стр. 177—186). Окончание, см. выше . . . № 8. О воспоминаниях К. С. Станиславского.

№ 10. *П. Е. Щеголев.* Пушкин и мужики (стр 149—169). »Крепостная любовь Пушкина« — биографические факты из жизни Пушкина 1824—25 г. г. Отражения »крепостной любви« в творчестве П-на. Пересмотр традиционного изображения образа Арины Родионовны. Разрушение гипотезы В. Ходасевича о самоубийстве обольщенной П-ым крепостной девушки.

№ 11. *П. Е. Щеголев.* Пушкин и мужики (стр. 162—188). Продолжение, см. выше . . . № 10. Пушкин-помещик. Использованы архивные источники, в частности бумаги вотчинного приказа с. Болдина 1830-х г. г.

1928 г. № 1. Письма Горького к Коцюбинскому. Пред. *Льва Михилидоза* (стр. 182—194). Письма охватывают период 1909—1912 г. Особенно интересно письмо от 21. XI. 1910 г., написанное под впечатлением смерти Л. Н. Толстого. Имеются отзывы о других писателях — Бунине, Чирикове, Сургучеве, Шмелеве и др.

№ 2. *В. Вересаев.* Заметки о Пушкине (стр. 189—204). Продолж. ст. (см. 1927 г., № 1). III. Пушкин и польза искусства. — IV. »Стихи неясные мои«. Заметки посвящены разбору гл. обр. след. произведений П-а: »Пророк« (»Духовной жаждою томим . . .«), »Памятник«, »Воспоминание« (»Когда для смертного . . .«). Вересаев рассматривает »Памятник« П-а, как пародию на »Памятник« Державина. — *Н. А. Некрасов.* Потанин (Отрывок из неизданной повести). С предисловием *К. Чуковского* (стр. 205—219). Продолжение повести »Тонкий человек«, напечатанной в »Современнике« 1855 г., кн. 1. Другой отрывок этой повести напечатан К. Чуковским в сб. »Охотничье сердце« (М. 1927 г.). Время написания повести: 1853 г. Интерес повести для литературной деятельности Н-ва в том, что герой повести Потанин является прототипом бурмистра Гирина (»Кому на Руси жить хорошо«).

№ 3. *Д. Горбов.* Путь М. Горького (К 35- летию творчества) (стр. 171—189). — *В. Руднев.* Горький-революционер (Неизданные материалы) (стр. 190—218).

№ 4. *В. Бурнев.* Горький-революционер (стр. 165—186). Окончение статьи (см. № 3). — *Илья Груздев.* Литературная бурса М. Горького (стр. 146—164). Сотрудничество Г-го въ »Самарской Газете«. Материалы о публицистической деятельности Г-го.

№ 5. *Влад. Бонч-Бруевич.* **Мои встречи с Горьким** (стр. 187—194). — *Вал. Полянский.* Георгий Валентинович Плеханов (стр. 224—233).

№ 6. *А. В. Луначарский.* Тезисы о задачах марксистской критики (стр. 188—196).

№ 7. *П. Щеголев.* **Притчи А. А. Сырнева. Из неизданного романа Н. Г. Чернышевского** (стр. 182—194). Воспроизводятся из романа Ч-го »Повести в повести«. Приведена »вторая« притча, озаглавленная »Проба пера«, в которую, между прочим, входит окончание первой главы повести Гоголя »Нос«. 1862 года.

№ 9. *П. Щеголев.* Встречи с Толстым. (стр. 207—213). Встреча с Т-м в 1894 г. у Г. А. Русанова. Отзыв Т-го о Белинском и о литературе в 95 г. Посещеніе Т-го в 99 г. в связи со студенческими беспорядками. О Б. Н. Чичерине. Письмо к Щеголеву от 8 июня 1908 г. — *П. Герцо.* Из старых воспоминании (стр. 213—220). Посещеніе Т-го в конце 90-х г. г. Отзывы о Грибоедове, Салтыкове-Щедрине, Чернышевском, Чехове, В. Микулич (Л. Веселитской), Гл. Успенской, о стихах Фета и Вл. Соловьева и др. — *П. С. Коган.* Л. Н. Толстой (стр. 185—192). Малозначущая статья общего характера. — *Л. Войтоловский.* Проблема войны и революции в произведениях Л. Н. Толстого (стр. 192—206). О понимании Т-м истории. Статья написана в духе наивного марксизма. — *А. Старчаков.* Неизданный Толстой (стр. 233—237). Отзыв о книге: Л. Н. Толстой. Неизданные произведения. »Федерация«. М. 1928 г. (о комедии »Зараженное семейство«).

Русский Современник. Литературно-художественный журнал, издаваемый при участии: *М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Адр. Эфроса.* **Ленинград. 1924 г.**

№ 1. *Л. Н. Толстой.* О Шекспире. С предисловием и примечаниями *С. Брейтбурга* (стр. 157—160). Сообщается письмо Т-го от 2/15 марта 1907 г. Евгению Райхелю, автору книги »Shakespeare-Literatur« Studie 1887. Напечатано с русского оригинала по копии, хранящейся в Толстовском Музее в Москве. Имеет значение для понимания статьи »О Шекспире и о драме«. — *Ф. Достоевский.* Письма. (Предисловие и послесловие *Н. Л. Бродского*) (стр. 170—189). Опубликованы письма большой биографической ценности по оригиналам Росс. Ист. Муз. Письма адресованы: М. М. Достоевскому (21. VIII. 1855 г., 1. VII. 59 г., 12. XI. 59 г., 8 20. IX. 63 г.), В. М. Карепиной (22. XII. 56), Н. А. Некрасову (3. XI. 62 г.), С. Д. Яновскому (17. XII. 77 г.). — *Ф. Достоевский.* Из Записной книги. Предисловие и пояснения *Н. Л. Бродского* (стр. 190—194). Черновые заметки к роману »Бесы«. Воспроизведено факсимиле страницы рукописи из »Записной книги« Д-го. — *Н. Страхов.* Письма (стр. 195—206). Письма Н. Н. Страхова к Достоевскому 1869—1871 г. г. — *А. Н. Майков.* Письмо к Ф. М. Достоевскому (стр. 207—211). Письмо от 23. IX. 1870 г. — *Ф. Тютчев.* Байрон (Отрывок). Предисловие и послесловие *Георгия Чулкова* (стр. 161—169). Напечатано по автографу стихотворение »Байрон«, датируемое 1827—28 г. г. — *Козьма Прутков (А. К. Толстой).* Стихи и пародии. Предисловие *Л. Модзалевского* (стр. 212—226). — *Леонид Андреев.* Конь в сенате. Водевиль в одном действии из Римской истории (стр. 72—88). — *М. Горький.* Из воспоминаний (стр. 42—66). Между прочим, воспоминания о А. А. Блоке.

№ 2. *Б. Модзалевский.* Пушкин и Стерн. Неизданные строки (стр. 192—193). Сообщаются несколько невключенных строк в »Отрывки из писем, мыслей и замечаний« Пушкина о Стерне. — *Абрам Эфрос.* Рисунки Пушкина (стр. 194—215). Воспроизведено десять

рисунков П-на по тетрадям Румянц. Муз. В статье прослежена связь между пушкинскими рисунками и его творчеством. — *В. Ходасевич.* Амур и Гименей (стр. 216—228). Отражение взгляда П-на на брак и семейную жизнь. — Письма Чехова (К 20-летию со дня его смерти) (стр. 167—186). Перепечатаны с сокращениями письма к О. Л. Книппер-Чеховой, вышедшие в Берлине в изд. »Слово« (1924 г.). — *С. Балухатый.* Чехов и драматическая цензура (По неизданным материалам) (стр. 186—191). Приведены места, подвергшиеся цензуре, по данным архива театров. Центр. библ. русск. драмы. Рапорт цензоров Главн. Упр. по делам печати 1885 г. о запрещении к постановке драматического этюда Ч-ва »На большой дороге«, переделанного им из рассказа »Осенью« (1883 г.). Тексты касаются пьес: »Медведь«, »Иванов«, »Леший«, »Чайка« и »Вишневый Сад«.

№ 3. *Л. Гроссман.* Одна из подруг Достоевского (стр. 248—252). Об Аполлинарии Прокофьевне Сусловой. Сообщено письмо В. В. Розанова о С-вой. — *Ал. Блок.* Поэзия. Статьи. Пьесы и театральные замыслы (стр. 143—171). Ценный материал из литературного наследия поэта. Между прочим черновой набросок поэмы »Возмездие«. — *Г. Блок.* Герои »Возмездия« (стр. 172—186). На основании личных воспоминаний. — *Евг. Замятин.* Воспоминания о Блоке (стр. 187—194).

№ 4. *М. Горький.* О С. А. Толстой (стр. 167—177). Статья написана в защиту С. А. Т-й в связи с книгой В. Г. Черткова »Уход Толстого«. Есть элемент личных воспоминаний о Толстом и его жене. — *Леонид Андреев.* Письма. Предисловие *К. Чуковского* (стр. 122—164). Напечатано 28 писем А-ва к родственникам, гл. обр. к матери А. Н. А-вой и брату П. Н. А-ву, периода 1904—18 г. г. — *Валерий Брюсов.* Письма к П. П. Перцову (стр. 227—235). Восемь писем Б-ва к одному из видных деятелей раннего символизма П. П. Перцову, периода 1899—1906 г. г. Особенный интерес для биографии Б-ва представляют два письма 1904—1905 г. г., рисующие его общественные настроения того времени. — *Г. Винокур.* Хлебников (стр. 222—226). Очерк поэзии родоначальника русского футуризма Велемира Хлебникова. *А. Бем.*

Spisy redakci zaslané.

Baudouin de Courtenay J., 1. Z drobiazgów folklorystycznych, Warszawa, str. 9. — Ze wspomnień i rozmyślań o Słowеńcach i Słowianach w Italji, odbitka z miesięcznika Wiedza i Życie, 1929 č. 6., Warszawa, str. 9.

Bittner Konrád, Herders Geschichtsphilosophie und die Slaven. Veröffentlichungen der Slavistischen Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag (herausgeg. von prof. dr. Fr. Spina und prof. dr. Ger. Gesemann), Reichenberg 1929.

Březina Otokar, Tajemné dálky, 5. vyd. Spolku výtvarných umělců Mánes, Praha 1929, str. 52.

Byzantinoslavica I. roč., sborník pro studinm byzatsko-slovanských vztahů, vyd. byzantolog. komise Slovanského ústavu, red. M. Weingart, Praha 1929, str. 265.

Центрархив РСФСР. Каталог изданий. Государственное издательство. Москва-Ленинград 1928. Str. 96.

Čin, časopis (týdeník) věnovaný kulturním otázkám, I., č. 1, 2, 3, red. J. Fajfr, J. Kopta, B. Koutník, M. Majerová — nakladatelství Čin v Praze 1929.

Der russische Gedanke. Internationale Zeitschrift für russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur herausgegeben von Boris Jakowenko. I. Jahrgang. I. Heft. 1929. Verlag von Friedrich Cohen in Bonn. Str. 112.

Dobrovský a Brno, uspořádal Fr. Wollman a Ev. Dostál, nákl. Výboru I. sjezdu slovan. filologů v Praze, Brno 1929, str. 33.

Dunin-Karwicki St., Promenade à tvavers le château de Łazienki. Książnica-Atlas (Lwów-Warszawa) 1930. Str. 71.

Glasnik Dubrovačkog učenog društva Sveti Vlaho. Knjiga 1. Urednik prof. Antonije Vučetić. Dobruvnik 1929. Str. IV + 187.

J. Horák, Ev. Ljackij, L. N. Tojstoj, sborník statí a přehledů bibliografických, vyd. Slovanský seminář Karlovy university a MŠANO. Praha 1929, str. 217.

J. Horák, M. Murko, M. Weingart. Sborník Dobrovského, nákl. Výboru I. sjezdu slovanských filologů a MŠANO, Praha 1929, str. 429.

Ильинскiй Г. А, Златоструй А. Ѳ. Бычкова XI вѣка Български Старини. Книга X. Издава Българската Академия на Наукитѣ. София 1929 Str. 63 + 8 snímků.

Яворский Ю. А, Национальное самосознание карпаторуссовъ на рубежѣ XVIII.—XIX. вѣковъ. Užhorod 1929, str. 4.

Яворский Ю. А., Повѣсти изъ Gesta Romanorum въ карпаторусской обработкѣ конца XVII-го вѣка. Praha 1929, str. 31.

Яворский Ю. А, Пѣсня-Баллада о Козакѣ и кулинѣ. Užhorod 1929, str. 258.

Jihočeský sborník historický. II. roč. 1. č., vyd. Jihč. společnost pro zachování husit. památek v Táboře. red. odp. dr. F. M. Bartoš. 1929.

Карачевська Л, Ювілейна виставка М. Коцюбинського. Провідник. Чернігівський державний музей. Чернігів 1928 рік. Str. 17 + 3 obr.

Карский Е Ф, Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи. Издательство Академии Наук СССР. Ленинград 1929. Известия РЯС., т. II). Str. 75.

Касьпяровіч Мікола Волаты Вып I. Прычынак да высьвятленьня перадгістарычнай этнолёгіі Беларусі 3 24 картамі і рэзюмэ на нямецкай і расійскай мове Беларуская акадэмія навук. Аддзел гуманітарных навук. Катэдра этнографіі. Менск 1929. Str. 114.

Келтуяла В. А. Слово о полку Ігореве, перевод, примечания и объяснительные статьи. Государственное издательство, Москва-Ленинград 1929.

Jan Kollár, Rozpravy o slovan. vzájemnosti. vyd. prof. M. Weingart, nákl. Slovan. ústavu, Praha 1929, str. 242.

Kopeckij Leontij. Ruská skladba pro Čechy. Zpracování autorových přednášek na Vysoké škole obchodní v Praze. V Praze, Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929. Str. 160.

Kot Stanisław. Szymona Mariciusa z Pilzna korespondencja z lat 1551—1555. Polska akademja umiejętności. Archivum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Serja II. Tom I (ogólnego zbioru XVI), Nr. 2. W Krakowie 1929. Str. XX + 263.

Koutník B., K české literatuře o katalogisaci (Tobolkova pravidla), rozšíř. zvláštní otisk z Č. Osvěty XXVI. č. 1. Praha 1929, str. 15, nákl. autorovým.

Kozierowski Stanisław, Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-śląskiego między Obrą i Odrą a Wartą i Bobrem w świetle nazw geograficznych. Nadbitka: Slavia Occidentalis t. VII—VIII, 1928/29, str. 172—329; 231—391. Poznań 1929. Str. 321.

Linguistique générale et comparée, catalogue 65, 1929. Librairie orientaliste Paul Genthner, Paris.

Masarykův sborník III, 4, časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, vyd. Čin, red. V. K. Škrach, Praha 1929.

Матеріяли до етнології и антропології, збфорник праць присвячений памяті Володимира Гнатюка (Ф. Коллесса), видае етнографічна комісія наукового т-ба Ім. Шевченка у Львові. Львів 1929, str. 372.

Mémoires de la Société néo-philologique de Helsingfors VIII. Helsinki 1929. Société néo-philologique, str. 429.

Mikulski Tadeusz, Henryk Chełchowski, kartka z dziejów literatury polskiej XVII. w., nákl. Towarzystwa naukowego, 1929. Toruň, str. 104.

Obrębska Antonina, Stryj, wuj, swak — w dialektach i historji języka polskiego. Monografje polskich cech gwarowych č. 5. Kraków. Polska akademja umiejętności 1929. Str. 100.

Огієнко Іван, Пам'ятки старослов'янської мови X—XI віків. Студії до української граматики. Видають: Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький. Книга V. Проф. Ів. Огієнко: Історія церковно-слов'янської мови. Том

п'ятий. Найважніщі пам'ятки церковно слов'янської мови. Частина I. Історичний, лінгвістичний і палеографічний огляд з повною бібліографією та альбом 155 зминків з пам'яток з кирилівською транскрипцією. Варшава 1929. Str. 494.

Огієнко Іван. Слов'янське письмо перед Костянтином. Відбитка з „Ювілейний Збірник на пошану акад. М. С. Грушевського", ч. II. ст. 156 - 165. Київ 19_8.

Ostrogorsky Georg, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites. Historische Untersuchungen. 5 Heft. Breslau 19_9. Str. 114.

Otrębski Jan, Z badań nad infiksem nosowym w językach indoewropejskich. Polska akademja umiejętności. Prace Komisji językowej Nr. 15. W Krakowie 1929. Str. 68.

Papoušek Jaroslav, Osvobozenská pavěda. Čin — Praha 1929. Str. 160.

Patrick George Z., Popular poetry in Soviet Russia, University of California Press Berkeley, California 1929, str. 289

Пеневъ Боянъ. Първа българска повесть. Нещастна фамилия на В. Друмевъ. Издава Българската Академия на Наукитѣ. Българска Библиотека. Бр. 18 София 19_9. Str. 187.

Petrov A., Karpatoruské pomístní názvy z pol. XIX. a z poč. XX. st. Карпаторусскія межевыя названія изъ пол. XIX и изъ нач. XX в. V Praze, Česká akademie věd a umění, 1929. Str. 35*+220.

Погодин Александар. Шта траже и шта налазе савремени људи код Достојевског Библиотека Народног универзитета у Београду. 11. св. Београд 1929. Str. 36.

Polívka J., Lidové povídky slovanské, uspoř. J. Horák, V. Tille. vyd. Národopisná společnost československá a MŠANO, Praha 1929, str. 152.

Pražák Albert, Mikuláš Šubič Zrinský a Slováci. Sbírka přednášek a rozprav Extense university Komenského v Bratislavě. Rediguje prof. dr. Richard Horna. Svazek 24. V Bratislavě 1928. Str. 30.

Преображенский Н., Крепостное хозяйство в Чехии XV—XVI веков I. Прага 1928. Str. 101.

Procès-verbaux et mémoires tome I., II., publiés par le comité exécutif du congrès international des bibliothécaires et des amis du livre, tenu à Prague du 28 juin au 3 juillet 1926, rédigé par B. Koutník. Praha 1929, str. 95, 791.

Przegląd wydawnictw. Kwartalnik wydawnictw własnych. S. A. Książnica -Atlas. T. N. S. W. Rok X. Nr 2. Luty — Czerwiec 1929. Str. 17—32.

Радонић Јован, Ђорђе Бранковић, деспот „илирика". Београд 1929. Str. 262.

Raskolnikoffs Tagebuch. Mit unbekannten Entwürfen, Fragmenten und Briefen zu „Raskolnikoff" und „Idiot". Herausgegeben von René Fülöp-Miller und Friedrich Eckstein. Mit sieben Bildbeigaben und einem Faksimile. München (R. Piper & Co. Verlag) 1928. Str. VIII+208.

Ročenka Slovanského ústavu Svazek I. Za rok 1928. Vydává presidium ústavu redakcí jednatelů. V Praze 1929. Str. 184.

Ročenka university Komenského za studijní rok 1927—1928. Redakcí prof. MUDra Jiřího Brdlíka, rektora university ve studijním roce 1927—1928. V Bratislavě 1928. Str. 62.

Рогозин С. С., Об изменении звуков и органов речи в их взаимной зависимости. Г. Ульяновск 19_9. Издание автора. Str. 69 + дополнение (str. 14).

Rychlík Eugen, Українські мотиви в поезії Юлія Словацького. Ніжни Держдрукарня 1929.

Sakâzov Ivan, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte. Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Herausgegeben von Reinhold Trautmann und Max Vasmer. Berlin und Leipzig 1929. Walter de Gruyter & Co. Str. X + 296.

Сборникъ русскаго института въ Прагѣ. Praha 1929.

Сборник статей по вопросам культуры. Труды Северо кавказской ассоциации Научно-исследовательских Институтов № 43. Институт местной экономики и культуры при Сев.-Кав. Государственном Университете. Выпуск IV. Ростов на Дону 1928. Str. 211.

Schaeder Hildegard, Moskau das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der slavischen Welt. Osteuropäische Studien, herausgegeben vom Osteuropäischen Seminar der Hamburgischen Universität 1. Hamburg (Friederichsen, de Gruyter & Co. m. b. H.) 1929. Str. (8)+140.

Sedlaczek Lubomir, Dregowiczanie. Studjum antropologiczne. Przyczynek do paleoetnologji Białej Rusi. Z 9 rycinami w tekście; 2 mapami. Polska akademja umiejętności. Prace Komisji antropologji i prehistorji. Nr. 2. W Krakowie 1929. Str. 55 + 8 příloh.

Senn Alfred, Kleine litauische Sprachlehre. Lehrbücher Methode Gaspey-Otto-Sauer. Heidelberg (Julius Groos, Verlag) 1929. XI + 304.

Senn Alfred, Schlüssel zur Kleinen litauischen Sprachlehre. Lehrbücher Methode Gaspey-Otto- Sauer. Heidelberg (Julius Groos) 1929. Str. 48.

Seweryn Tadeusz, Pokucka majolika ludowa. Polska akademja umiejętności, Prace komisi etnograficznej č. 11, Kraków 1929, str. 106

Скафтымов А., О реализме и сентиментализме в Путешествии Радищева. Отдельный оттиск из Ученых записок Педагогический Факультет, том VII, вып. III. 1929 год.

Slavík Jan, Pekař contra Masaryk. Ke sporu o smysl českých dějin. Praha (Čin) 1929. Str. 56.

Souček Stanislav. Rakovnická vánoční hra. Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Číslo 29. Brno 1929. Str. 255.

Stelè France, I. Politični okraj kamnik, topografski opis. založilo in izdalo Umetnostno-Zgodovinsko Društvo v Ljubljani.

Stelè France, Celjski strop. Umetnostno zgodovinska studija o stropu v „Stari grofiji" v Celju. Celje 1929. Str. 39 a 9 příloh.

Strmšek P., Zur älteren Geschichte der westlichen Südslawen. Maribor 1929. Str. 82.

Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. Volumen I. Cracoviae 1927. Str. XXIV + 336. Volumen II. Cracoviae 1928. Str. 652.

Szafer Władysław, Yellowstone. Kraj gorących źródeł i niedźwiedzi. Z 50 ilustracjami i mapką. Lwów—Warszawa (Książnica — Atlas) 1929. Str. 114+ mapka.

Szober Stanisław, Życie wyrazów. I. Powstawanie wyrazów (nowotwory swojskie i zapożyczenia). Bibljoteczka Towarzystwa miłośników języka polskiego Nr. 8. Gebethner i Wolff (Kraków, Warszawa, Lublin, Lódż, Poznań, Wilno, Zakopane) 1929. Str. 32.

Šamšalović Gustav, Njemačko-hrvatsko-srpski i hrvatsko-srpsko-njemački rječnik s osobitim obzirom na frazeologiju i na stručno nazivlje najvažnijih grana ljudske djelatnosti. I. Njemačko-hrvatsko-srpski dio. Str. 8 + 661. II. Hrvatsko-njemački dio. Str. 794. Též titul německý.

Шелухин Сергий Звидкиля Походить Русь, Praha 1929, str. 128.

Škultéty Joz., O bývalom hornom Uhersku, Turčanský sv. Martin 1929. Str. 40.

Щепотьева М. О., Розписи хат в с. Ходоровцях на Кам'янеччині. Всеукраїнська академія наук. Збірник Іст.-Филолог. відділу № 84. Кабінет українського мистецтва. Київ 1928 Str. 32 + 4 tab.

Шкловський Влад. Б., О словаре лингвистической терминологии, Ленинград 1928. Издание автора. Str. 8.

Šmurlo E., Voltaire et son oeuvre Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand. Publication des archives du ministère des affaires étrengères, Ière serie, no 6. Orbis, Praha 1929, str. 484.

Štůla Fr., Boháč Ant., Kadlec K., Tvrdý Josef, Zeměpisný obraz, statistika, ústavní zřízení a filosofie Slovanstva. Praha, Vesmír 1929.

Тарнавський Вадим, Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. Бібліографічна розвідка. З нагоди 150-х роковин народження письменника (1778—1928). Всеукраїнська академія наук. Збірник Історично-філологічного відділу № 87. Комісія для видавання пам'яток новітнього українського письменства. Київ 1929. Str. XXVIII + 354.

Tavzes Janko, Slovenski preporod pod Francozi. Inavguralna disertacija. V Ljubljani 1929. Str. 54.

Tolstoj in English 1878—1929, compiled by Ant. Yassukovitch. New York 1929. Str. 37.

Travaux du cercle linguistique de Prague, I., II. — I. Mélanges linguistiques dédiés au I[er] congrès des philologues slaves. Str. 245. — II. Jakobson R., Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Str. 118. Praha 1929, Jednota čsl. matematiků a fysiků.

Tync Stanisław, Gołąbek Józef, Czytanki polskie. Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1929. Str. 223.

Tync Stanisław i Gołąbek Józef, Śląsk. Drugi zeszyt regjonalny czytanek polskich. Lwów—Warszawa (Książnica—Atlas) 1929. Str. (4)+130+mapa.

Unbegaun Boris, Catalogue des périodiques slaves et relatifs aux études slaves des bibliothèques de Paris. Avec une préface de André Mazon. Travaux publiés par l'Institut d'études slaves. — IX. Paris 1929. Str. XIV+223.

Волконскій А. М. кн., Имя Руси въ домонгольскую пору. Прага, 1929. Издательское О-во „Единство“. Str. 29.

Всеукраїнська наукова асоціяція сходознавства 1926—1929. Société Ukraïnienne pour l'étude de l'Orient. Редаґував: Ол. Гладстерн. 1929. Str. 42.

Weingart M., Nesmrtelné památce J. Dobrovského, otisk řeči prof. Weingarta (12. I. 29) z Věstníku Č. Akademie XXXVIII. č. 1—3. Str. 16.

Weingart Miloš, Introduzione bibliografica allo studio della Slavistica. Biblioteca italiana e straniera, serie I. n. 1. Udine-Tolmezzo 1929. Str. 93.

Xenia pragensia Ernesto Kraus septuagenario et Josepho Janko sexuagenario ab amicis collegis discipulis oblata. Pragae 1929, Jednota čsl. matematiků a fysiků.

Zawistowicz-Kintopfowa Kazimiera, Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weselnych ze szczególnem uwzględnieniem roli orszaku pana młodego. Polska akademja umiejętności. Prace komisji etnograficznej Nr. 10. W Krakowie 1929. Str. 56.

Zipf G. K., Relative frequency as a determinant of phonetic change. Reprinted from the Harvard studies in classical philology, volume XL, 1929. Str. 95.

Funkcje prefiksu werbalnego *iz-* w języku starosłowiańskim.[1]

Prefiks ten spotyka się dość często, mamy go w złożeniu z czasownikami: *-baviti* (*-bavljati*), *-běgnǫti* (*běgati*), *běžati*, *biti* (*bivati*), *blьvati*, *bosti* (*badati*), *byti* (*byvati*), *bьrati* (*-birati*), *cělěti* (*cělěvati*), *cěliti* (*cěljati*), *čeznǫti* (*-čezati*, *-čazati*), *čisti* (*čitati*), *čistiti*, *čr̥pati*, *dati* (*dajati*), *dělati*, *děti*, *dъxnǫti* (*dyxati*), *dьrati*, *jęti* (*imati*), *jasti*, *gladiti*, *glagolati*, *goniti*, *gorěti*, *gubiti*, *gъnati*, *gybati*, *gynǫti*, *xoditi* (*xaždati*), *xvatiti*, *xytiti*, *iskati*, *iti*, *jasьniti*, *kaziti*, *klati*, *konьčati* (*konьčavati*), *kopati*, *koreniti*, *krasti*, *kupiti* (*kupovati*), *-kusiti* (*kušati*), *kydati*, *kypěti*, *lěsti* (*laziti*), *liti* (*-livati*), *lijati*, *lomiti*, *metati*, *měniti* (*měnjati*), *měnovati*, *měriti*, *ml̥knǫti*, *mǫdrevati*, *mrěti*, *mrъmrati*, *mъknǫti*, *myti*, *mьždati*, *-nemošti* (*-nemagati*), *nesti* (*nositi*), *nuriti*, *obilovati*, *obrěsti* (*obrětati*), *ostriti*, *pasti*, *pěti*, *piti*, *plesti*, *plěti*, *pl̥niti* (*-pl̥njati*), *počiti*, *pověděti* (*povědati*), *praxněti*, *praviti* (*-pravljati*), *prazniti*, *prositi*, *-provrěšti*, *pustiti* (*puštati*), *pytati*, *rastiti*, *rešti*, *ryti*, *sǫčiti*, *sęknǫti*, *sěšti*, *skočiti*, *slěditi*, *stǫpiti*, *sušiti*, *svoboditi*, *sъxati*, *sъxnǫti*, *sypati*, *tajiti*, *tajati*, *tešti* (*tekati*), *tęзati*, *tiskati*, *točiti*, *tonǫti*, *topiti* (*-tapljati*), *tręsti*, *trěbiti* (*-trěbljati*), *trěti* (*-tirati*), *tr̥gnǫti* (*tr̥gati*), *tъliti*, *tъštiti* (*tъštati*), *tьniti*, *uměti*, *vajati*, *valiti*, *vesti* (*voditi*), *vesti* (*vezǫ*), *vęzati*, *věděti*, *věstiti* (*věštati*), *věstovati*, *viti*, *vlěšti* (*vlačiti*), *voliti*, *vračevati*, *vrěšti*, *vyknǫti*, *zobati*, *žešti*, *žiti*.

1. *iz-baviti* (*iz-bavljati*).

Czasownik *izbaviti* spotykamy bardzo często, np. w tłumaczeniu ewangelji: *izbavi ny* = ῥῦσαι ἡμᾶς Mt. 6. 13; Lc. 11. 4, we Fragmentach Kijowskich: *izbavi ny* III. 24, w Psałterzu Synajskim: *izbavljǫ tję* = ἐξελοῦμαί σε 49. 14, w Euchologium: *izbavi mę* 72b 12,

[1] Fragment większej monografji, poświęconej funkcjom prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim.

W pracy tej trzymam się terminologji S. Agrella, Przedrostki postaciowe czasowników polskich = Materjały i Prace Komisyi Językowej Akad. Umiej. w Krakowie t. VIII. Kraków 1918, który bardzo dokładnie i z dużą subtelnością przedstawił funkcje przedrostków postaciowych w dzisiejszej polszczyźnie.

w Supraskim: *plěnъniky izbavite* 67. 24 i t. p. Czasownik ten jest *przechodni* i najczęściej ma przy sobie dopelnienie z przyimkiem *otъ*, odpowiadające takiemuż greckiemu z *ἀπό* i (rzadziej) *ἐκ*, np. *otъ vъsěxъ bezakonnei moixъ izbavi mję = ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου ῥῦσαί με* Ps. 38. 9; *otъ čl(ově)ka nepravedna... izbavi mję = ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου... ῥῦσαί με* Ps. 42. 1. i t. p. *otъ grěxъ našixъ izbavi ny* Fr. Kij. IV. 24; *iže... izbavi i(zrai)lě otъ lъsti vaalovy* Euch. 5[b] 12; *izbavi otъ sněga* Euch. 14[a] 6 i t. p.; *izbavi ny otъ sǫprotiv'nika* Supr. 178. 11; *izbavitъ mę otъ ada = ῥύσεταί με ἐξ ᾅδου* Supr. 487. 22 i t. p. Rzadziej występuje tu określenie z przyimkiem *izъ*, odpowiadające greckiemu z przyimkiem *ἐκ*: *izbavi otъ orǫžъě d(u)šǫ mojǫ iz-d-rǫky pъsъję inočjędǫjǫ mojǫ = ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν ψυχήν μου* Ps. 21. 21; *izbavitъ d(u)šǫ mojǫ iz rǫky adovy = λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου* Ps. 48. 16; 88. 49; *iz-d-rǫky grěšьnikъ izbavitъ ję = ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ῥύσεται αὐτούς* Ps. 96. 10; *izbavi danila iz ustъ lьvovъ* Euch. 85[a] 14; Supr. 226. 1. Wreszcie niekiedy znajdujemy tu określenie w genetiwie bez przyimka; w greckim mamy wtedy taką samą konstrukcję: *da izbavlenъ bǫdetъ... vsego nečista vъkušeniě = ὅπως ῥυσθείη... πάσης ἀκαθάρτου μεταλήψεως* Euch. 22[a] 19; *raboty izbavitъ* Supr. 342. 11; *zapada iz'bavjǫ tvojeję pakosti = τὴν δύσιν ἀπαλλάττω τῆς σῆς ἀπονοίας* Supr. 512. 21. Czasownik ten więc jest *przechodni*, *perfektywny* (czasownika *baviti* niema w zabytkach starosłowiańskich), ma przy sobie dopełnienia z przyimkami *otъ* i *izъ*, funkcja jeszcze wyraźnie *lokalna*, tak sama jak przyimka *izъ*.

Iterativum jest *izbavljati*, które ma taką samą konstrukcję i funkcję, jak *izbaviti* i jest — rozumie się — *imperfektywne*: *izbavlějǫštago otъ istlěnьě životъ tvoi = τὸν λοτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου* Ps. 102. 4; *izbavlějǫtъ ubicǫ(!) = προτιμῶσιν τὸν μιαιφόνον* Fr. Cloza 637; *posъlavъi... s(y)na... otъ sъmrъti izbavlějǫšta* Euch. 24[b] 5; *otъ sъmrъti izbavlěję i* Euch. 27[b] 20; *izbavlěję sę otъ suetьnyxъ ljubьve* Euch. 90[b] 23; *tъ mę izbavъjatъ* Supr. 269. 20; *my otъ ǫzъ (= ada) izbavьjajemъ sę = ἡμεῖς τοῦ ᾅδου λυτρούμεθα* Supr. 468. 10.

2. *iz-běgnǫti* (*iz-běgati*).

izběgnǫti spotyka się tylko we Fragmentach Cloza: *izběgъ sъmrъti = διέφυγον τὸν θάνατον* 314; Euchologium: *izběgni i-sego raba* 46[a] 1; 51[a] 8; *izběgni iz nego* 48[b] 19 i w Supraskim: *izběže*

vьnъ 22. 14; *i nasъ by ognь tъ požeglъ abyxomъ ne izběgli* 23. 2; *k'to xoštetъ… izběgnǫti* 76. 19; *nagъ izběže* = ἔφυγε γυμνός 365. 24. Jest to więc czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny* (*běgnǫti* w zabytkach starosłowiańskich nie występuje), ma przy sobie określenie z przyimkiem *izъ* lub w genetiwie. Funkcja wyraźnie *lokalna*, taka sama, jak przyimka *izъ*.

Iterativum *izběgati* występuje raz jeden w Euchologium: *izběgaite i otъxodite* 45ᵇ 14.

3. *iz-běžati*.

Czasownik ten spotykamy raz jeden w Supraskim: *ne naděita sę izběžati rǫku mojeju* 7. 6. Jest on *nieprzechodni*, zapewne *perfektywny* i ma przy sobie dopełnienie w genetiwie. Funkcja też *lokalna*.

4. *iz-biti* (*iz-bivati*).

Czasownik ten mamy w tłumaczeniu ewangelji: *izbi vsę otroky* = ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας Mt. 2. 16; *izbišę ję* = ἀπέκτειναν Mt. 22. 6; i t. p.; w Psałterzu: *izbi dьbrь solišьskǫjǫ* = ἐπάταξε τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν 59. 2; *izbi gradomь vina ixъ* = ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν 77. 47; *izbi ryby ixъ* = ἀπέκτεινε τοὺς ἰχθύας αὐτῶν 104. 29; *izbi cěsarję krěpъky* = ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς 134. 10 i t. p.; w Euchologium: *izbišę ję* 106ᵃ 24 = Mt. 22. 6; w Supraskim: *ovo ixъ izbišę ovo že prognašę* 197. 8. Jak z przytoczonych przykładów widać, jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja postaciowa jest zdelokalizowana, *dystrybutywno-efektywna*, oznaczająca »czynność dokonaną w różnych momentach czasu i w różnych miejscach«, przytem »z gruntownym, ilościowo-doskonałym rezultatem« (Agrell, l. c. str. 105).

Iterativum *izbivati* spotyka się w Psałterzu: *izbivaaxъ vsję grěšьnyję zemli* = ἀπέκτεινον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς 100. 8 i w Supraskim: *počto boli vašę izbivajete* = τί τοὺς ἀῤῥώστους ὑμῶν ἀποκτείνετε 388. 20 z taką samą konstrukcją i funkcją.

5. *iz-bljuti*.

Ten czasownik spotykamy tylko trzy razy w zabytkach, w Euchologium: *ašte kto izbljuetъ brašenьce* 103ᵃ 11 i *eže estъ izblьvalъ da sъxranitъ na ogni* 103ᵃ 13 oraz w Supraskim: *da my jadъ zmiinъ izbljujemъ* = ἵνα ἡμεῖς ἰὸν ἐξεμέσωμεν τοῦ δράκοντος 484. 10. Jest on *przechodni*, zapewne *perfektywny*. Funkcję ma *lokalną*.

6. *iz-bosti* (*iz-badati*).

W zabytkach czasownik ten spotykamy raz tylko w Psałterzu: *o tebě vragy našję izbodemъ rogy* = ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν κερατιοῦμεν 43. 6. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, prefiks *iz-* ma funkcję zdelokalizowaną, zdaje się, *dystrybutywno-efektywną* (cf. 4).

Iterativum *izbadati* występuje raz tylko: *jakože se byšę někomu orǫžiimъ oči izbadali* Supr. 274. 24, jest *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu — *lokalna*.

7. *iz-byti* (*iz-byvati*).

Czasownik *izbyti* ma w zabytkach starosłowiańskich dwa znaczenia: »zbywać« i »pozbywać się czegoś, uwalniać się«. W pierwszem znaczeniu spotykamy go w tłumaczeniu ewangelji: *ašte ne izbǫdetъ pravъda vaša pače kъnižьnikъ* = ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων Zografski Mt. 5. 20; *izbǫdetъ emu* = περισσευθήσεται Mt. 13. 12; 25. 29; tak samo Supr. 370. 4; 377. 23; *vъzęšę izbyvъšee imъ ukruxъ košъ bi* = ἦρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα Lc. 9. 17; *iže izbyšę ědъšeimъ* = ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν J. 6. 13; w Psałterzu: *ni edinъ otъ nixъ ne izbystъ* = εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη 105. 11. W drugiem znaczeniu mamy: *izbyti otъ nego* = ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ Lc. 12. 58; *izbyvъše otъ našъdъšęję imъ ... jazvy* Supr. 531. 4, *povelě vojevoda ili žъrъše izbyti ti* Supr. 20. 9; *izbǫdi nasъ* 21. 23; *mǫky da izbǫdetъ* 42. 24; *mene izbyti tъštiši sę* 50. 4; *otidetъ izbyvъ* 88. 13; *da izbǫdetъ pečali* 95. 20; *izbǫdǫ mǫky seję* 222. 16 i t. p. Jest to czasownik *nieprzechodni, perfektywny*, ma w drugiem znaczeniu dopełnienie w genetiwie, niekiedy (może pod wpływem greckiego ἀπό) z przyimkiem *otъ*. Funkcja prefiksu *iz-* jeszcze wyraźnie *lokalna*.

Iterativum *izbyvati* występuje też w tych samych dwu znaczeniach; w pierwszem: *koliku naimьnikъ ... izbyvajǫtъ xlěbi* = πόσοι μίσθιοι ... περισσεύονται ἄρτων Lc. 15. 17; *jegda strupy na sebě iměj़ǫštei izbyvaaxǫ* = οἱ τὰ τραύματα αὐτῷ ἔχοντες ... τῶν ὀδυνῶν ἀπηλλάττοντο Supr. 398. 19 (tu w słowiańskiem opuszczono tłumaczenie greckiego ὀδυνῶν). I tu funkcja prefiksu *iz- lokalna*.

8. *iz-bьrati* (*iz-birati*).

Czasownik ten występuje bardzo często w tłumaczeniu ewangelji, np. *izbrašę dobryję* = συνέλεξαν τὰ καλά Mt. 13. 48; *izbъranyxъ radi jęže izbъra* = διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο Mr. 13. 20

i t. p.; w Psałterzu; *izbъra g(ospod)ь siona* = ἐξελέξατο κύριος τὴν Σιών 131. 13 i t. p.; w Euchologjum: *izbъravy ny grěšьnyję . . . vъ službǫ ierěiskǫjǫ* 9ª 2; *dobro dělo i blaženo izbъra* 86ᵇ 2 i t. p.; w Supraskim: *izbъra vy* 257. 22; *dva na desęte ixъ běaše izbьrano* 409. 10 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, tak samo jak niezłożony *bьrati*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *iz-* *lokalna*.

Iterativum *izbirati* znajdujemy raz tylko: *prědъsědanię izbiraaxǫ* = τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο Lc. 14. 7. Jest on tak samo *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

9. *is-cěléti* (*is-cělěvati*).

iscěléti (*icěléti*) jest częste w tłumaczeniu ewangelji: *icělěetъ otrokъ moi* = ἰαθήτω ὁ παῖς μου Lc. 7. 7; *iscělě otrokъ ego* = ἰάθη ὁ παῖς Mt. 8. 13; 15. 28; 17. 18 i t. p.; w Euchologium: *da tělomъ icělěetъ* 26ª 8; w Supraskim: *ašte usьnǫ icělějetъ* = εἰ κεκοίμηται σωθήσεται 314. 11; *jako icělěv'ši jei sъpodobiti sę doiti s(vę)taago* 559. 12; *sii ne možetъ icěléti* 564. 16 i t. p. Czasownik ten jest *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja *iz-* zdelokalizowana *efektywna*, wyrażająca »czynność z gruntownym, ilościowo lub jakościowo doskonałym rezultatem« (Agrell, l. c. 105).

Iterativum *icělěvati* występuje raz w Supraskim: *icělěvaaxǫ* 18. 26.

10. *is-cěliti* (*is-cěljati*).

Bardzo często spotyka się też czasownik *iscěliti* (*icěliti*, *istěliti*). W tłumaczeniu ewangelji, np.: *iscěli ję* = ἐθεράπευσεν αὐτούς Mt. 4. 24; *iscěli mъnogy nedǫžъny* = ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας Mr. 1. 34; 3. 10; 6. 5; Lc. 7. 21; *iscěli sę samъ* = θεράπευσον σεαυτόν Lc. 4. 23; *pridǫ . . . iscělitъ sę otъ nedǫgъ* = ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν Lc. 6. 18 i t. p.; w Psałterzu: *iscěli mję* = ἴασαί με 6. 3; *iscělilъ mję esi* = ἰάσω με 29. 3; *iscěli d(u)šǫ mojǫ* = ἴασαι τὴν ψυχήν μου 40. 5 i t. p; w Euchologium: *vrěždajǫštęję vody solijǫ icělь* 6ᵇ 10; 20ᵇ 9; *icěli raba tvoego sego otъ nedǫga* 24ᵇ 6; 25ᵇ 1; *icěli i otъ . . . bolězni* 28ᵇ 18; 31ª 11; 31ᵇ 8 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *iscěli ězvǫ* 460; w Supraskim: *povelǫ vračemъ icěliti tę* 115. 4; *tъ tę istělitъ* 115. 6; *otrokovicǫ icěli* 518. 10 i t. p. Jest to więc czasownik *przechodni*, miewa często dopełnienie z przyimkiem *otъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *iz-* zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

Iterativum *iscěljati* (*icěljati*) występuje też dość często: w tłumaczeniu ewangelji 2 razy: *straždǫštei . . . iscěléaxǫ sę* = ἐθεραπεύ-

οντο Lc. 6. 18 i *mъnogy nedǫžъny ... iscělěaxǫ* = *πολλοὺς ἀρρώστους... ἐθεράπευον* Mr. 6. 13; w Psałterzu: *iscělějǫšta vsję nedǫgy* = *ἰώμενον πάσας τὰς νόσους* 102. 3; w Euchologium bardzo często: *otъ vsego nedǫga icělějǫšta* 24[b] 4; 15; *tělesa icěléti* 25[a] 5 i t. p.; w Supraskim: *vetъxoje zъlo novyimi blagodatьmi iscěljajǫšti* 428. 18; *iscělěvъšuumu krъvotočivǫjǫ* 457. 8 i t. p. Jest to tak samo czasownik *przechodni*, często z dopełnieniem z przyimkiem *otъ*, *imperfektywny*; funkcja prefiksu *iz-* zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

11. *is-čeznǫti* > *išteznǫti, ičeznǫti* (*ištazati, ičazati*).

Czasownik *išteznǫti* (*ičeznǫti*) spotykamy w tłumaczeniu ewangelji raz jeden: *išteze otъ neju* = *ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν* Lc. 24. 31; w Psałterzu: *ištezǫ* = *ἐξέλιπον* 36. 20; 63. 7; *išteznǫtъ* = *ἐκλιπέτωσαν* 67. 3; *ištezete oči moi* = *ἐξέλιπον* 68. 4 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *vratьnici adovьnii ... ištezǫ* = *ἔφριξαν* 829 = Supr. 450. 2; w Euchologium: *iže ištezošę vъ suetě denie naši* 62[a] 21; w Supraskim: *adova poběda iz'čeze* = *τοῦ ᾅδου τὸ νῖκος ἠφάνισται* 487. 3. Czasownik ten jest więc *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *momentalno-koncentratywna*, wyrażająca czynność »trwającą jedną chwilę«, »nie rozróżniającą oddzielnych stopni procesu« (Agrell, l. c. 103 i 15).

Podobną, bo prawie momentalną funkcję ma też iterativum *ištazati*: i tu koniec czynności jest bardzo bliski początku. Występuje on w Psałterzu: *ištězajǫšte ěko dymъ ištezǫ* = *ἐκλείποντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον* 36. 20; *ěkože ištazaetъ dymъ tako išteznǫtъ* = *ὡς ἐκλείπει καπνὸς ἐκλειπέτωσαν* 67. 3; *ištazaetъ vo sp(a)senie tvoe d(u)ša moě* = *ἐκλείπει εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ ψυχή μου* 118. 81; w Supraskim: *vidъ ego bečьstьnъ izčazaję* = *τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον* 436. 7; *drugyi vъ ǫtrьnixъ priběžištixъ ištazaaše* = *ἄλλος ἐνδότερον ἔφευγεν* 466. 7; *abije že ičazaaxǫ tainyję ixъ strasti* 557. 5.

12. *is-čisti* > *ičisti, ištisti* (*is-čitati, izъčitati*).

Czasownik ten mamy 2 razy w tłumaczeniu ewangelji: *vlasi glavy vašeję vьsi ištьteni sǫtъ* = *πᾶσαι ἠρίθμηνται* Mt. 10. 30; Lc. 12. 7; w Psałterzu: *ičisję vъsję kosti moję* = *ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου* 21. 18; *kъto sъvěstъ ... ěrostь tvojǫ ištisti* = *τίς γινώσκει ... τὸν θυμόν σου ἐξαρίθμησθαι* 89. 11; w Euchologium: *milostь ne ičtena* 63[a] 2. Jest to więc czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *iz-*, zdaje się, zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

Iterativum *izъčitati* spotykamy raz tylko w Supraskim: *izъčitajęi zvězdy nebesъkyję* 179. 18. Czasownik ten jest tak samo *przechodni, imperfektywny* funkcja *iz-* zdelokalizowana, *efektywna*.

13. *is-čistiti* > *ištistiti*.

ištistiti spotykamy tylko w tłumaczeniu ewangelji: *možeši mę ištistiti* = δύνασαί με καθαρίσαι Mt. 8. 2; Mr. 1. 40; *ištisti sę* = καθαρίσθητι Mt. 8. 3; Mr. 1. 41; *ištistišę sę* = ἐκαθαρίσθησαν Lc. 17. 17. Czasownik ten jest *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

14. *is-črpati* > *ičrpati*.

Czasownik ten (iterativum od niepoświadczonego *is-črěti*) mamy raz tylko w Supr.: *ičrъpaně vьsei vodě prispěšę něcii vъ samъ znoi* 549. 20. Jest to czasownik *przechodni, imperfektywny*, funkcja *iz-* jeszcze wyraźnie lokalna, choć zdelokalizowana funkcja *efektywna* (cf. 9) chyba przeważa.

15. *iz-dati* (*iz-dajati*).

izdati znajdujemy tylko w Supraskim; *poveli .. skoro mrъtvaago da izdastъ* 309. 22; *stavitъ sъmrьtь izdati mrъtvaago* 310. 8 i *duxovъnyję dary izdastъ* = πνευματικὰ χαρίσματα ἀντέδωκε 495. 29. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum jest *izdajati*, spotykane w tłumaczeniu ewangelji: *izdaěvъši vъse svoe* = δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς πάντα Mr. 5. 26 (tylko w Ewang. Assemaniego, inne mają: *iždivъši*); *ěže baliěmъ izdaavъši vьse iměnie* = ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον Lc. 8. 43; w Supraskim: *neizdajemaa blagodětь* 95. 8; *ada vidiši... četvrьtodьnьna izdajǫšta* 339. 2. Jest to czasownik *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

16. *iz-dělati*.

izdělati spotykamy tylko raz w Supraskim: *se drěvo ... viděvъ ieremija židy xotęšte xristosu izdělati* 353. 2 niedokładnie przetłumaczone z greckiego: τοῦτο τὸ ξύλον ... θεωρήσας Ἰερεμίας ὑπὸ τῶν ἰουδαίων μέλλον κατὰ Χριστοῦ πελεκᾶσθαι. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *imperfektywny* (*πελεκᾶσθαι*) choć trudno z tego jednego przykładu coś pewnego wnioskować, funkcja prefiksu jest, zdaje się, *efektywna* (cf. 9).

17. *iz-děti.*

Czasownik ten występuje raz tylko w Psałterzu: *pače telьca juna rogy izdějǫšta* = ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα 68. 32. Jest on *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

18. *iz-dъxnǫti* (*iz-dyxati*).

izdъxnǫti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *puštъ glasъ velii i izdъše* = ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν Mr. 15. 37, 39; *se rekъ izdъše* = τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν Lc. 23. 46 i w Supraskim: *jakože narodu mьněti i izdъša* (pewno zamiast *izdъxъša*) = ὥστε τὸν ὄχλον ὑπολαβεῖν ὅτι ἀπέπνευσεν 141. 16; *bez bolězni izdъxnǫ* = ἀπόνως ἀπέπνευσεν 141. 22; *izdъxnǫti i umrěti* = περὶ τὸ ἀποπνεῦσαι καὶ ἀποθανεῖν 149. 28. Czasownik ten więc jest *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna* z odcieniem *koncentratywnym* (cf. 11).

Iterativum *izdyxati* mamy w tłumaczeniu ewangelji: *izdyxajǫštemъ čl(ově)komъ otъ straxa* = ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου Lc. 21. 26 i w Supraskim: *abije izdyxa* = εὐθέως ἀπέψυξεν 234. 2. Jest ono też *nieprzechodnie*, *imperfektywne*, funkcja *iz- lokalno-koncentratywna*.

19. *iz-dьrati.*

Czasownik ten mamy w Supraskim: *izdr(a)sta i is tiny toę* 193. 26, jest on *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

20. *iz-ěsti.*

izěsti znajdujemy w tłumaczeniu ewangelji: *izědy tvoe iměnьe* ὁ καταφαγών σου τὸν βίον Lc. 15. 30; w Euchologium: *čl(ověčь)skyję pьticę izědętъ vasъ* 59ᵇ 10 i w Supraskim: *izě otъ nego* = κατέφαγεν αὐτό 138. 27; *tri smokvi rodi jęže ... starcь ... izě* 300. 27; *zvěrьmi izědena bǫdǫ* 515. 20, 30; *ěkože izědenomъ byti imъ otъ pьsъ* 538. 26. Czasownik ten jest więc *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *rezultatywna*, oznaczająca »osiągnięcie wyniku bez względu na przebieg czynności w czasie« (Agrell, 1. c. str. 103).

21. *iz-ęti* (*iz-imati*).

izęti spotykamy w tłumaczeniu ewangelji, np. *izьmǫ sǫčecь iz očese tvoego* = ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου Mt. 7. 4; Lc. 6. 42; *izьmi brьvьno iz očese tvoego* = ἔκβαλε ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ

σου τὴν δοκόν Mt. 7. 5; Lc. 6. 42 i t. p.; w Psałterzu, np. *izъmetъ ję otъ grěšъnikъ* = *ἐξελεῖται αὐτούς* 36. 40; *izъmi mję otъ vragъ moixъ* = *ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου* 58. 2; *iz'mi nasъ otъ napasti* = *ἐξελοῦ* 70. 15 i t. p.; w Euchologium: *otъ trǫda sego izъmi i* 31ᵇ 10; *izъmi e iz vьsěkoję napasti* 56ᵃ 15 i t. p.; w Supraskim: *iz'mi nasъ ... otъ napasti* 70. 15; *izęti i iz vrětišta* 112. 6; *da ny otъ nepravdy raboty izъmetъ* = *ἵνα ἡμᾶς τῆς ἀδίκου δουλείας ἐξέληται* 480. 12. Czasownik ten jest *przechodni*, ma przy sobie dopełnienie z przyimkami *izъ* lub *otъ*, jest *perfektywny*. Funkcja prefiksu *iz- lokalna*.

Iterativum *izimati* spotykamy w Supraskim: *ježe ti bě dalъ darъ is tvoixъ izemъję ustъ* 426. 12; *is těxъ izemъjǫšte cělьbьnaja bylija* = *ἐξ αὐτῶς ἐκχέοντες τὰ ἀλεξίκακα φάρμακα* 430. 15. I ten czasownik jest *przechodni*, ma przy sobie też dopełnienie z przyimkiem *izъ*, jest *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

22. *iz-gladiti.*

Ten czasownik spotykamy tylko raz w Supraskim: *jakože tělo juno strastьniku izglaždeno* 142. 6 niezupełnie dokładnie odpowiadające greckiemu: *ὁποῖόν τε τὸ σῶμα ἀκμάζοντος ἀθλητοῦ κεκοσμημένου*. Jest to czasownik *przechodni*, zapewne *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

23. *iz-glagolati.*

Spotykamy ten czasownik we Fragmentach Cloza: *mnogo mi izglagola* 480 i *čto semu ravъno možeši izglagolati* 486; w Euchologium: *eže koližьdo izgla(gola)nъ* 72ᵃ 8; *ne izgla(gola)nъ vъ č(lově)k(o)ljubьi tvǫemь* 98ᵇ 21; w Supraskim: *nъ da ne vьsego izglagoljǫ* 7. 30; *tako imъ izglagolavъšemъ* 202. 3; *izglagola to maly jasněje* 562. 21; *jasněje izglagolati* 562. 23. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

24. *iz-goniti.*

Ten czasownik występuje dość często w tłumaczeniu ewangelji, np. *tvoimь imenemь běsy izgonixomъ* = *δαιμόνια ἐξεβάλομεν* Mt. 7. 32; *ašte izgoniši ny* = *εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς* Mt. 8. 31; *o kъnęzi běsъ izgonitъ běsy* = *ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια* Mt. 9. 34; 12. 24; 12. 26; Mr. 3. 22; Lc. 11. 15; J. 10. 3; *běsy mъnogy izgoněaxǫ* = *ἐξέβαλλον* Mr. 6. 13. W Psałterzu mamy tylko 2 wypadki: *izgo-*

njęštei mję = *ἐκδιώκοντές με* 16. 11; *otъ lica vražiě izgonjęštago*[1]) = *ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἐκδιώκοντος* 43. 17. W Euchologium też ten czasownik jest częsty, np. *izgonitъ tę iz nego* 47ᵇ 5, 13; 49ᵃ 5 i t. p.; w Supraskim zaledwie parę razy: *běsi izgonętъ sę* = *δαιμόνια ἐκβάλλεται* 136. 18; *izgonima že vъpade sę vъ pěrovъ* = *συνέβη δέ καταδιωκομένην αὐτὴν πεσεῖν ἐν τῇ τάφῳ* 218. 2; *sego izgonjaxъ* = *τοῦτον ἐξεδίωκον* 305. 29; *i tъ bojaznь izgonitъ* 446. 12. Jest to więc czasownik *przechodni,* miewa dopełnienie z przyimkiem *izъ*, jest *imperfektywny,* funkcja prefiksu *lokalna*.

25. *iz-gorěti.*

izgorěti znajdujemy tylko w Euchologium: *izgorěvъšee grěxy sr(ьdь)ce moe* 78ᵃ 5 i w Supraskim: *vy viděste... ljudiiskǫ zemlǫ... izgorěvъšǫ ognemъ* = *ὑμεῖς ὁρᾶτε... Λυδίας γῆν... κεκαυμένην πυρί* 129. 4; *da živi izgorimъ* = *ἵνα ζῶντες καῶμεν* 131. 12; *gore estь zělo umьrъšu izъgorěti* = *χεῖρόν ἐστι πολὺ ἀποθανόντος καυθῆναι* 131. 13; *pionii... živu izgorěti povelěxomъ* = *Πιόνιον... ζῶντα καῆναι προσετάξαμεν* 140. 24 it. p. Jest to więc czasownik *nieprzechodni, perfektywny,* funkcja prefiksu zdelokalizowana *efektywna* (cf. 9).

26. *iz-gubiti.*

Ten czasownik spotykamy tylko w Supraskim: *izgubišę mnogy* = *ἀπώλεσαν πολλούς* 147. 29; *něsmъ uma izgubilъ* = *οὐκ ἐξέστην τῶν φρενῶν* 149. 30; *da jego izgubętъ* = *ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν* 395. 24; 396. 12; 402. 3; *izgubivъ prъvoje drěvo* = *ἀναπολήσας τὸ ξύλον* 402. 5 (tłumacz słowiański czytał pewno *ἀπολέσας*). Jest to więc czasownik *przechodni, perfektywny,* funkcja prefiksu zdelokalizowana, w pierwszym przykładzie pewno *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4), w pozostałych — *rezultatywno-koncentratywna* (cf. 20 i 11).

27. *iz-gъnati.*

izgъnati jest częste w tłumaczeniu ewangelji, w Euchologium i Supraskim; prócz tego występuje dwa razy we Fragmentach Cloza. W tłumaczeniu ewangelji, np. *izgъna... d(u)xy* = *ἐξέβαλεν* Mt. 8. 16; *iždenete otъ grada vъ gradъ* = *διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν* Mt. 23. 34; *ašte mene izgъnašę i vasъ iždenǫtъ* = *εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν* J. 15. 20 i t. p.; w Euchologium:

[1]) Северьяновъ, Синайская Псалтырь podano w słowniku (str. 261) *izgъnati.*

iždeni iz nego d(u)xъ žędъny 43ª 1; *raži izgъnati otъ nego* 43ª 20 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *otъ samogo sъmysla izgъna ny* II. 131; *iždeni gněvъ* = ἔξελε τὴν ὀργήν 460; w Supraskim: *iždeni běsъ sii otъ člověka sego* 171. 29; *dijavola iz neję izgъnavъša* 460. 20; *izgъna iz grada* 517. 27. Czasownik ten jest więc *przechodni*, ma przy sobie okolicznik z przyimkami *otъ* lub *izъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

28. *iz-gynǫti* (*iz-gybati*).

Ten czasownik znajdujemy dwa razy tylko w tłumaczeniu ewangelji: *izgyblъ bě* = ἦν ἀπολωλώς Lc. 15. 24. 32 i w Supraskim: *jegda . . . sьmrьtь . . . izgybe* = μετὰ τὸ τὸν . . . θάνατον . . . ἀφανισθῆναι 348. 22; *pride isusъ . . . napravitъ izgybъšeje a si izgybъšiimъ blagodětelja pogubiti ištǫtъ* = ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς . . . σῶσαι τὸ ἀπολωλὸς καὶ οὗτοι τὸν τῶν ἀπολωλότων εὐεργέτην ἀπολέσαι ζητοῦσι 402. 19. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana *rezultatywna* (cf. 20).

Iterativum *izgybati* spotykamy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji, mianowicie w Ewang. Sawy: *azъ že gladomь izgybajǫ* = ἀπόλλυμαι Lc. 15. 17, gdzie wszystkie inne mają *gybljǫ*. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *duratywna* (oznaczająca przebieg dłuższy).

29. *is-xoditi*.

Ten czasownik spotykamy bardzo często w tłumaczeniu ewangelji, np. *isxoždaaše k nemu* = τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτόν Mt. 3. 5; *isxodęštaa iz nego* = τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενα Mr. 7. 15; *isxodęštee otъ čl(ově)ka* = τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον Mr. 7. 20 i t. p.; w Psałterzu: *isxodję otъ črъtoga* = ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ 18. 6; *isxodjęštiixъ otъ ustъ moixъ* = τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου 88. 35 i t. p.; w Euchologium: *otъ nego že isxoditъ* 45ª 11; *isxodęštiimъ otъ tělese* 65ᵇ 13; *sъ isxodęštiimь otъ tebe* 93ª 17; we Fragmentach Cloza: *iz ustъ vašixъ da ne isxoditъ* = ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω II. 84; w Supraskim: *otъ ot'ca isxoditъ* 28. 24; *isxodę otъ nego ognь* 129. 6; *isxodęštii otъ zemlę* 129. 8; *isxodęštu iz vody* 235. 19; *isxoždaaše is peštery* 289. 9 i t. p. Jest to więc czasownik *nieprzechodni*, miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *otъ* lub *izъ*, jest *imperfektywny* tak samo, jak niezłożone iterativum *xoditi*. Funkcja prefiksu *lokalna*.

W Supraskim spotykamy też raz pozornie nowe iterativum *isxaždati*, mianowicie: *eže bo zъlo stradati cěsarьstvo bo namъ nebesnoje isxaždaje* = *τὸ μὲν γὰρ κακῶς παθεῖν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν προξενεῖ* 406. 10, co już Leskien[1]) poprawił na *isxodataje(tъ)*.

30. *is-xvatiti.*

Ten czasownik mamy raz tylko w Supraskim: *izъxvati* .... *izъ ogně*... *lota* = *ἐξήρπασας*... *ἐκ πυρὸς*... *τὸν Λώτ* 232. 17. Jest on *przechodni*, ma przy sobie okolicznik z przyimkiem *izъ*, jest, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

31. *is-xytiti.*

To mamy raz w Euchologium: *iz negože mę isxyti* 78ᵇ 14 i w Supraskim: *otъ roda ognьnaago i mǫk' isxytitъ* (zamiast *isxytiti*) *člověka* = *τῶν τῆς γεέννης δεινῶν ἐξαρπάσαι* 514. 4. I ten czasownik jest *przechodni*, miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *izъ* lub *otъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

32. *iz-iskati.*

iziskati spotykamy raz w tłumaczeniu ewangelji: *mъnogo izištetъ sę otъ nego* = *πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ* Lc. 12. 48; raz w Psałterzu: *děla g(ospodь)na iziskana vo vьsěxъ volěxъ ego* = *τὰ ἔργα κυρίου ἐξεζητημένα εἰς τὰ θελήματα αὐτοῦ* 110. 2 i w Supraskim: *g(ospod)a iziskavъ g(ospod)a vidělъ* 92. 10; *obrazy iziskalъ li jesi* = *τοὺς τύπους ἠρεύνησας* 512. 3; *ne iziska* = *οὐκ ἠρεύνησας* 512. 12; *ašte bi dobrě iziskalъ* = *εἰ καλῶς ἐξεζήτησας* 512. 14. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu jeszcze wyraźnie *lokalna*.

33. *iz-iti.*

Jest to bardzo często spotykany czasownik, w tłumaczeniu ewangelji, np. *egda že nečisty d(u)xъ izidetъ otъ čl(o)v(ě)ka* = *ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου* Mt. 12. 43; *išedъ iz domu* = *ἐξελθὼν τῆς οἰκίας* Mt. 13. 1 i t. p.; w Psałterzu: *otъ lica tvoego sǫdъba moě izidetъ* = *ἐξέλθοι* 16. 2; *izide člověkъ na dělo svoe* = *ἐλεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ* 103. 23 i t. p.; w Euchologium: *iziti otъ s(vę)tyję cr(ь)k(ъ)ve tvoeję* 39ᵇ 20; *izidi i sъsǫda sego* 55ᵃ 23; 56ᵃ 2 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *izide iz eďjupta* = *ἐξῆλθον ἐξ Αἰγύπτου* 300; w Supraskim:

[1]) Zur Kritik des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis I, 459.

izide iz nego 18. 18: *nagъ izidoxъ i črěva matere* 64. 13; *izidi izъ člověka* 172. 10; *otъ děvy izide is(usъ)* — ἐκ παρθένου προῆλθεν Ἰησοῦς 428. 12 i t. p. Czasownik ten jest *nieprzechodni*, miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *izъ* lub *otъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

34. *izъ-jasьniti.*

Wyraz ten spotykamy raz tylko w Euchologium: *zěnicǫ slěpymъ izъěsnьšiimь* 53ª 25. Jest to czasownik *przechodni*, pewno *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

35. *is-kaziti.*

To mamy raz tylko w Supraskim: *samo sьmrьtnoje lice iskazilъ* = καὶ αὐτὸ τοῦ θανάτου τὸ πρόσωπον ἠφάνισε 487. 7. Jest on *przechodni*, prawdopodobnie *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, ***rezultatywna*** (cf. 20).

36. *is-klati.*

To spotykamy tylko w tłumaczeniu ewangelji: *junьci moi i upitěnaa iskolena* — οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα Mt. 22. 4, powtórzone w Euchologium 106ª 19. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, pewno *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4).

37. *is-konьčati (is-konьčavati).*

iskonьčati mamy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *ne imate iskonьčati gradъ* = οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις Mt. 10. 23 i kilka razy w Psałterzu, np. *ne vъzvraštǫ sę doiždeže iskonьčajǫtъ sę* = οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλείπωσιν 17. 38; *otъ krěposti bo rǫky tvoeję azъ iskonьčaxъ sję* = ἐγὼ ἐξέλιπον 38. 11; *iskonьčaxomъ sję gněvomь tvoimь* = ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου 89. 7, 9 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, ma przy sobie dopełnienie w narzędniku albo z przyimkiem *otъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *rezultatywna* (cf. 20).

Iterativum jest *iskonьčavati*: *iskonьčavaaxǫ sę* = συνεπληροῦντο Lc. 8. 23. Jest to też czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, prefiks ma chyba funkcję *duratywno-procesywną*, wyrażającą czynność dłuższą, dokonywającą się stopniowo, jako nieprzerwany proces.

38. *is-kopati.*

Ten czasownik mamy dwa razy w tłumaczeniu ewangelji: *iskopa ... točilo* = *ὤρυξεν ... ληνόν* Mt. 21. 33; Mr. 12. 1; *iskopa i položi osnovanie* = *ἔσκαψε καὶ ἔθηκεν θεμέλιον* Lc. 6. 48; w Psałterzu: *iskopa i* = *ὤρυξε* 7. 16; *iskopašę ěmǫ* = *ὤρυξαν βόθρον* 56. 7; w Supraskim: *iskopati rovъ* 5. 9; 112. 3; *is korene iskopati nečьstije* = *τοῦ ἐκριζῶσαι τὴν ἀσέβειαν* 357. 8; *is korene iskopati mnogobožьstvo* = *ἐκριζοῦν πολυθείαν* 357. 15 i t. p. Jest on *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

39. *is-koreniti.*

To znajdujemy raz w tłumaczeniu ewangelji: *vьsěkъ sadъ ... iskorenitъ sę* = *ἐκριζωθήσεται* Mt. 15. 13; w Euchologium: *položixъ tę iskoreniti* 82ª 23; w Supraskim: *iskorenite* = *ἐκριζώσατε* 465. 6; *da trьnije ... iskorenitъ* = *ἵνα τὰς ἀκάνθας ... ἐκριζώσῃ* 483. 29. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalno-efektywna.*

40. *is-krasti.*

To mamy raz tylko we Fragmentach Cloza: *naučъ ... c(ě)s(a)r(ь)stvie iskrasti* = *διδάξας ... πῶς βασίλεια ληστεύεται* 708. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, choć to zresztą z tego przykładu wcale nie wynika, funkcja prefiksu *lokalna.*

41. *is-kupiti* (*is-kupovati*).

iskupiti znajdujemy w Euchologium: *iskupilъ ny esi otъ klętvy* 39ª 17; we Fragmentach Cloza: (*syna*) ... *posъla ... sǫštęję podъ zakonomь iskupitъ* = *ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ* 286; w Supraskim: *za selo moje iskupixъ sę kesaru i bogu mojemu podobaatъ mi iskupiti sę iže o nemъ dlъgu* 106. 19; *pridoxъ otъ klętvy iskupitъ člověka* = *ἦλθον ... ἐξαγοράσαι τὸν ἄνθρωπον* 416. 21; 480. 3; *iskupi sę dlъgu* 552. 1 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, ma przy sobie dopełnienie z przyimkiem *otъ* lub w datiwie, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

Iterativum jest *iskupovati*: *da ... iskupujǫštaago životvorьnojǫ krъvьjǫ svojejǫ mirъ sьcěnętъ trьmъ desętemь mědьnicъ* = *ἵνα ... τὸν ἐξωνούμενον τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ αἵματι τὸν κόσμον συμφωνήσωσι τριάκοντα ἀργυρίοις* Supr. 331. 28. Jest to czasownik też *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

42. *is-kusiti* (*is-kušati*).

Iskusiti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *vъzvedenъ bystь . . . vъ pustynjǫ iskusiti sę otъ nepriězni* = πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου Zogr. Mt. 4. 1; *iskušenu byti otъ starecъ* = ἀποδοκιμασθῆναι Mr. 8. 31; Lc. 9. 22; 17. 25 i t. p.; w Psałterzu, np. *iskusi mję* = δοκίμασόν με 25. 2; *iskusixъ tję* = ἐδοκίμασά σε 80. 8; *iskusišję b(og)a* = ἐπείρασαν 105. 14 i t. p.; w Euchologium, np. *imatъ iskusiti dělo tvoe* 88ᵇ 23; *ešte malo vrěmę iskusi sę* 92ᵃ 22; w Supraskim, np. *jeliko vasъ iskusiste* 89. 11; *ne iskusiši g(ospod)a boga svoego* 165. 15 i t. p. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny,* funkcja prefiksu zdelokalizowana *rezultatywna* (cf. 20).

Iterativum jest *iskušati*, spotykane często w tłumaczeniu ewangelji: *iskušaję i* = πειράζων Mt. 6. 6; 22. 35; Lc. 10. 25; *lice nebu i zemi uměate iskušati a vrěmene sego ne iskušaate* = οἴδατε δοκιμάζειν... οὐ δοκιμάζετε Lc. 12. 56 i t. p.; w Supraskim: *jelikože jemu dovьlěěše iskušaję* 529. 2 i t. p. Czasownik ten jest też *przechodni, imperfektywny,* funkcja prefiksu zdelokalizowana, zapewne *duratywna* (cf. 28).

43. *is-kydati.*

To znajdujemy tylko w Supraskim: *zavisti dušę svojeję . . . ne iskydaješi* 338. 30. Jest to czasownik *przechodni, imperfektywny,* funkcja prefiksu *lokalna.*

44. *is-kypěti.*

I to znajdujemy tylko w Supraskim: *iskypě množьstvo vodъ mnogo* = ἔβλυσεν ὕδωρ πλῆθος πολύ 235. 3. Jest to czasownik *nieprzechodni,* zdaje się *perfektywny,* funkcja prefiksu pewno *lokalna.*

45. *iz-lěsti* (*iz-laziti*).

izlěsti mamy dwa razy w tłumaczeniu ewangelji: *izlězъ is korablě . . . xoždaaše* = καταβάς Mt. 14. 29. i *izlězъšu emu is korablě* = ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου Mr. 5. 2; w Euchologium: *uboi sę ego i izlězi* 49ᵃ 17 i bardzo często w Supraskim: *xotęšte iz grada izlěsti* 26. 23; *izlězъ otъ skvožьnę* 36. 19; *izlěsti is temnicę* = ἐξελθεῖν ἐκ τῆς φυλακῆς 136. 23; *izlězošę že zvěrije vъnъ crьkъve* = ἐξῆλθον δὲ τὰ θηρία ἐκ τοῦ ναοῦ 229. 14, 19; *izlězeši iz' ognja* 540. 12 i t. p. Jest to czasownik *nieprzechodni,* miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *izъ* i *otъ*, jest *perfektywny,* funkcja prefiksu *lokalna.*

Iterativum jest *izlaziti;* spotykamy je w Supraskim: *svojego čismene ne izlazętъ* 95. 1; *ne izlazę iz města* 528. 24; *nikamože*

nikoliže iz neję izlazivъ 561. 18 i t. p. Jest to czasownik *nieprzechodni,* ma też przy sobie okoliczniki z przyimkiem *izъ* lub w genetiwie bez przyimka, jest *imperfektywny,* funkcja prefiksu *lokalna.*

46. *iz-liti* (*iz-livati*).

izliti mamy tylko dwa razy w Psałterzu: *ěko voda izlixъ sję* = ἐξεχύθην 21. 15; *izliite prědь nimъ srьdьca vaša* = ἐκχέετε 61. 9. Jest to czasownik *przechodni,* zdaje się, *imperfektywny,* (*izliite* = ἐκχέετε), funkcja prefiksu *lokalna.*

Iteratívum *izlivatī* mamy w Euchologium: *izlivaję jǫ* 56ᵇ 22; i we Fragmentach Cloza: *krъv(ь) moě izlivaema za vy* = τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχευόμενον 382. Jest on tak samo, jak *izliti, przechodni, imperfektywny* z funkcją prefiksu *lokalną.*

47. *iz-lijati.*

Czasownik ten spotykamy w Psałterzu: *izliěxъ ... d(u)šjǫ mojǫ* = ἐξέχεα 41. 5; *izliě sję blagodětь* = ἐξεχύθη 44. 3 i t. p.; w Euchologium: *izliěti iz nego k věderъ vody* 20ᵇ 5; *izliělъ esi* 64ᵇ 8; *štedroty tvoję izlěi* 85ᵇ 20; we Fragmentach Cloza: *neslavǫ čtomymъ izlьě* = ἀδοξίαν ... κατέχεεν 572; w Supraskim: *izlijaše ognь na zemьjǫ* 6. 18; *struję izьlija* 476. 28; *darъ izlija* = τὴν δωρεὰν ἐξέχεεν 493. 10. Jest to też czasownik *przechodni,* pewno *imperfektywny,* miewa okolicznik z przyimkiem *izъ,* funkcja prefiksu *lokalna.*

48. *iz-lomiti.*

izlomiti znajdujemy w Supraskim: *izlomi nogǫ* 218. 3. Jest to czasownik *przechodni,* chyba *perfektywny,* funkcja prefiksu zdelokalisowana — *rezultatywna* (cf. 20).

49. *iz-metati.*

Mamy ten czasownik raz tylko w Supraskim: *izmeštetъ i vъnъ* = ἐκβαλλόμενος εἰς ἄνω 128. 27, jest on *przechodni,* zdaje się, *imperfektywny,* funkcja prefiksu *lokalna.*

50. *iz-měniti* (*iz-měnjati*).

izměniti spotykamy w Psałterzu, np. *jegda izměni lice svoe* = ὁπότε ἠλλοίωσε 33. 1; *ǫtroba moě izmětъ sję*[1]) = οἱ νεφροί μου

---

[1]) Leskien, Handbuch³ § 113 uważa formę *izmětъ* za prawidłowy defektywny aoryst tak samo, jak *otъvě* i *otъvěšę*; Vondrák, Altkirchsl. Gramm.² str. 5.1, 543 za błąd zamiast *izměnitъ.*

ἠλλοιώθησαν 72. 21; *izměnišję slavǫ ego* = *ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτοῦ* 105.20 i t. p.; w Euchologium: *izměnętъ tę* 91ᵇ 4; we Fragmentach Cloza: *izměni že krъstъ grobъ* = *διεδέξατο δὲ τὸν σταυρὸν ὁ τάφος* 718 i w Supraskim, np. *jednojǫ noštijǫ vьsь věkъ izměnimъ* 91. 7; *izměni sę lice jemu* 159. 16; *tvarь izměni sę* 475. 23 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *rezultatywna* (cf. 20).

Iterativum jest *izměnjati*, spotykane w Supraskim: *xytrostijǫ izměnjaję sę* 7. 23; *lice jego obrazy izměnjaše* = *ἤλασσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ μορφάς* 121. 25. I ten czasownik jest *przechodni*, ale *imperfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *duratywna* (cf. 28).

51. *iz-měnovati sę.*

Ten czasownik mamy dwa razy w Psałterzu: *o izměnujǫštixъ (sję)* = *ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων* 44. 1 i *o izměnujǫštii(xъ) sję* 59. 1 i w Supraskim: *izměnujetъ sę lice tvoje* 159. 29. Jest on *zwrotny*, zdaje się, *imperfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana *duratywna* (cf. 28).

52. *iz-měriti.*

izměriti znajduje się w Psałterzu: *pjędьjǫ izměreny* = *παλαιστάς* 38. 6 i w Euchologium: *iže estъ izměrilъ vodǫ morъskǫjǫ grъstijǫ* 55ᵇ 19. Jest to czasownik *przechodni*, chyba *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

53. *iz-mlknǫti.*

To znajdujemy raz w Psałterzu: *izmlъče grъtanь moi* = *ἐβράγχιασεν ὁ λάρυγξ μου* 68. 4. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu jest zdelokalizowana, chyba *definitywna*, oznaczająca czynność z podkreślonym duratywnym rezultatem (Agrell, l. c. str. 105).

54. *iz-moriti.*

izmoriti mamy tylko w Supraskim: *izmorišę vьsę člověky* 184. 23; *izmori ję* = *ἀπέκτεινεν* 230. 11; *izmori zvěri sije* = *τὰ θηρία ἀπέκτεινεν* 230. 18; *izmori... sije zmije* = *ἀπέκτεινας τοὺς... τούτους δράκοντας* 231. 4; *zvěri sije izmorixъ* = *τὰ θηρία ἀπέκτεινα* 231. 8. Jest to czasownik *przechodni perfektywny*, funkcja prefiksu *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4).

55. *iz-mǫdrevati.*

To znajdujemy raz w Supraskim: *běsy iměјǫštii vъ nixъ běsъ praštajemi izmǫdrevaaxǫ* = *οἱ δαιμονιῶντες αὐτῶν τῶν δαιμόνων ἐλευθερούμενοι ἐσωφρόνουν* 399. 1. O ile z tego jednego przykładu sądzić można, jest to czasownik *nieprzechodni*, *imperfektywny*, jest to bowiem iterativum do niepoświadczonego w zabytkach *izmǫdriti*, mamy tylko w Supraskim *mǫdriši sę slovesy* 49. 15. Funkcja prefiksu jest zdelokalizowana, może *duratywno-procesywna* (cf. 37).

56. *iz-mrěti.*

izmrěti mamy raz tłumaczeniu ewangelji: *izmrěšę bo ištǫštei dušę otročęte* = *τεθνήκασιν* Sawy Mt. 2. 20; i w Supraskim: *my jakože izmrьli běxomъ sъnomъ* = *ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἀπενεκρώθημεν* 79. 16; *zьlě imate izmьrěti* 175. 3; *silojǫ božijǫ izmъrǫtъ* = *θνήξονται* 229. 23; 231. 1; *zvěrije izmьrěšę* = *ἐτελεύτησαν* 230. 9; 231. 15. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4).

57. *iz-mrъmrati.*

To znajdujemy raz tylko v Supraskim: *vьsěxъ izmrьmьrǫtъ črъvьje* = *πάντας λογοθετοῦσιν οἱ σκώληκες* 238. 13. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu może też *dystrybutywno-efektywna.*

58. *iz-mъknǫti.*

izmъknǫti mamy raz jeden w Supraskim: *mǫčęštu sę jakože izmъknǫti kopije* 560. 4. Jest czasownik *przechodni*, pewno *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

59. *iz-myti.*

Czasownik ten spotykamy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *izmъveny ne trěbuutъ tkmo nozě umyti* = *ὁ λελουμένος* J. 13. 10; w Psałterzu: *izmyjǫ lože moe* = *λούσω* 6. 7; w Euchologium: *podobenъ estъ . . . svinьji ěže izmyvъši sę paky vъ kalě* 70ᵃ 12; i w Supraskim: *da viždǫ može li izmyti sebe* 27. 24; *omyvaješi tělo b(o)žije izmyvъšaago vьsę* 457. 10. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

60. *iz-mьždati.*

To mamy tylko raz w Supraskim: *tvarь rǫku mojeju izmьžda* = *τὸ τῶν ἐμῶν χειρῶν ἐσάθρωσε δημιούργημα* 247. 18. Jest to cza-

sownik *nieprzechodni*, zdaje się, *imperfektywny*, funkcja *iz-rezultatywno-totalna* (cf. 20).

61. *iz-nemošti* (*iz-nemagati*).

Czasownik ten znajdujemy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *ne iznemožetъ otъ b(og)a vьsěkъ g lago)lъ* = *οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ* Lc. 1. 37; dość często w Psałterzu, np. *iznemogǫtъ i pogybnǫtъ otъ lica tvoego* = *ἀσθενήσουσι* 9. 4; *ne iznemogǫ* = *οὐ μὴ ἀσθενήσω* 25. 1; *iznemože ništetojǫ* = *ἠσθένησαν ἐν πτωχείᾳ* 30. 11; *kolěně moi iznemožeta otъ posta* = *ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας* 108. 24 i t. p. i w Supraskim: *iznemogošę i padošę* = *ἠσθένησαν* 74. 17; *iznemože* = *πεπάτηται* 112. 12; 467. 13; *vъ toliko iznemogъ* 553. 18. Jest to czasownik *nieprzechodni*, miewa przy sobie dopełnienie w narzędniku lub z przyimkiem *otъ*, jest *perfektywny*; funkcja prefiksu zdelokalizowana, zdaje się *rezultatywno-totalna* (cf. 20).

Iterativum jest *iznemagati*, które spotykamy w Psałterzu i w Euchologium: *egda iznemagaetъ krěpostь moě* = *ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου* Ps. 70. 10; Eu. 62ᵇ 4. Jest to czasownik też *nieprzechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu *duratywna* (cf. 28).

62. *iz-nesti* (*iz-nositi*).

Mamy to w tłumaczeniu ewangelji raz: *iznesěte odeždǫ* = *ἐξενέγκατε στολήν* Lc. 15. 22; w Euchologium: *da iznesetъ zemlě trěvǫ* 12ᵇ 3 i często w Supraskim, np. *iznesi ny iz-d-rěky* = *ἔκβαλε* 81. 4; *da iznesǫtъ vody* = *ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα* 495. 24, 28 i t. p. Jest to więc czasovnik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum *iznositi* mamy w tłumaczeniu ewangelji: *iznositъ* = *προφέρει* Mt. 12. 35; 13. 52; Lc. 6. 45 i t. p. i dość często w Supraskim: *načę . . . iznositi* 187. 29, 30; 188. 3; *iznosętъ riby* = *ἐκβάλλουσι τοὺς ἰχθύας* 496. 5 i t. p. Jest to czasownik *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

63. *iz-nuriti.*

Ten czasownik spotykamy raz w Supraskim: *jaže zmija iznuri vъ porodě* = *ἃ ὄφις ἐσυλαγώγησεν ἐν τῷ παραδείσῳ* 348. 11. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

64. *iz-obilovati.*

Czasownik ten spotykamy raz w Supraskim: *oskǫdějetъ pšenica ne možetъ bo izъobilovati* 266. 12. Jest to czasownik *nieprzechodni*, zdaje się *imperfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, chyba *duratywna* (cf. 28).

65. *iz-obrěsti* (*iz-obrětati*).

Ten czasownik znajdujemy tylko w Supraskim: *pomyšlěše kyję... mǫky izъobrěsti* 50. 23; *koje bi primyšlenije izobrěsti* 88. 30; *takogo města izъobrěsti* 92. 24; *arijanъskǫ xulǫ izobrěte* 186. 14; *izobręštemъ istinǫ* 265. 30. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu jeszcze wyraźnie lokalna, choć pewnie góruje nad nią funkcja *efektywna* (cf. 9).

Iterativum jest *izobrětati*, spotykane raz jeden w Supraskim: *novy i ljuty izobrětajǫšte mǫky* 209. 30. Jest to czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu też jeszcze lokalna, choć pewnie góruje nad nią funkcja *duratywna* (cf. 28).

66. *iz-ostriti.*

izostriti znajdujemy w Psałterzu: *strěly izoštreny* = *τὰ βέλη ἠκονημένα* 44. 6; 119. 4; *ěko britva izoštrena sъtvorilъ esi lestъ* = *ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον* 51. 4 = Supr. 426. 7; *iže izoštrišję... języky svoję* = *ἠκόνησαν... τὰς γλώσσας* 63. 4 i w Supraskim: 426. 7 i *mečь izъoštrenъ* 85. 15. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna* (cf. 9).

67. *is-pasti.*

ispasti spotykamy tylko w Supraskim: *otъkǫdu ispadoste* 107. 24; *i prorokъ* (= *is porody*[1]) *ispadъšaago* = *τὸν ἐκ τοῦ παραδείσου ἐκπεσόντα Ἀδάμ* 349. 19; *otъ kolika mèsta ispade* = *ἀπὸ ποίου χοροῦ ἐξέπεσεν* 410. 8; *ispade is porody* = *ἐξέπεσεν τοῦ παραδείσου* 429. 15; *adama otča domu ispadъša* = *τὸν Ἀδὰμ τῆς πατρῴας ἑστίας ἐκπεσόντα* 429. 23 (tu genetivus *domu* jest pewno dosłownem tłumaczeniem greckiego). Jest to czasownik *nieprzechodni*, miewa przy sobie okolicznik z przyimkami *otъ* lub *izъ*, jest pewno *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

---

[1]) Leskien, Zur Kritik I, 455.

68. *is-pěti.*

ispěti mamy tylko w Euchologium: *psalmъ da ispoetъ* 103[a] 14; 103[b] 22. Jest to czasownik *przechodni*, pewno *perfektywny*, choć trudno z przytoczonych przykładów wnioskować, funkcja prefiksu zdelokalizowana, może *akuratywna*, oznaczająca czynność, wykonaną ściśle, jakościowo doskonale (Agrell, l. c. str. 105).

69. *is-piti.*

ispiti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *ašte i sъmrъtъno čto ispijǫtъ* = κἂν πίωσιν Mr. 16. 18; *čašǫ mojǫ ispieta* = πίεσθε Mt. 20. 23; Mr. 10. 39; w Psałterzu: *ispijǫtъ* = πίονται 74. 9 i w Supraskim: *zlъčь i ocьtъ ispilъ* = ἔπιεν 484. 9. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna.*

70. *is-plesti.*

Ten czasownik spotykamy w Euchologium: *ispletъše věnecь* 49[b] 25 i w Supraskim: *věnьcę isplete sebě* 274. 16; *tъčijǫ silo ispletъ* (?) = μόνον ἀγχόνην πλέξας 363. 3. Jest to czasownik *przechodni*, pewno *perfektywny*, funkcja prefiksu chyba *efektywna.*

71. *is-plěti.*

To znajdujemy tylko raz w tłumaczeniu ewangelji: *da šedъše isplěvemъ ję* = συλλέξωμεν Mt. 13. 28. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

72. *is-pl̥niti* (*is-pl̥njati*).

Czasownik ten występuje często w tłumaczeniu ewangelji, np. *d(u)xa s(vę)taago isplъnitъ sę* = πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται Lc. 1. 15; *isplъnišę oba korablě* = ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα Lc. 5. 7; *isplъnišę sę straxomь* = ἐπλήσθησαν φόβου Lc. 5. 26; *oni isplъnьše gǫbǫ ocьta* = πλήσαντες σπόγγον ὄξους J. 19. 29 i t. p.; w Psałterzu, np. *isplьniši mję veselьě* = πληρώσεις με εὐφροσύνης 15. 11; *tuka i masti isplъni sję d(u)ša moě* = στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου 62. 6; *dlъgotǫ dьnei isplъnǫ i* = μακρότητι ἡμέρων ἐμπλήσω αὐτόν 90. 16 i t. p.; w Euchologium, np. *isplъni radosti i veselié sr(ь dь)ca naša* 17[a] 4; *isplъni ny isplьnь s(vę)taago d(u)xa* 17[a] 17; *isplъni i sъdraviě* 30[b] 4 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *vy-ispl(ъ)niti imъ grěxy* = εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας 62; *isplъnite zemlǫ* = πληρώσατε τὴν γῆν 422; w Supraskim: *isplьnenъ gněva* 45. 18, 21; *božiję blagoděti*

isplьnivъ sę 62. 29; *ty vьse isplьniši* 50. 11 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, miewa przy sobie dopełnienia w narzędniku lub częściej dopełniaczu, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *duratywno-definitywna*, wyrażająca dłuższą czynność, której przebieg sprowadza trwały rezultat (Agrell l. c. str. 106).

Iterativum jest *isplnjati*, które występuje w tłumaczeniu ewangelji: *isplъněję sę prěmǫdrosti* = πληρούμενον σοφίᾳ Lc. 2. 40; w Psałterzu: *isplъnějǫštago blagyimi poxotь tvojǫ* = τὸν ἐμπιπλοῦντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου 102. 5; we Fragmentach Cloza: *slъnьce vьselenǫjǫ isplъněetъ* = ὁ ἥλιος τὴν οἰκουμένην πληροῖ 837 i w Supraskim: *isplьnjajęi člověka* 458. 28. Jest on *imperfektywny*, *przechodni*, ma taką samą konstrukcję i funkcję, jak *isplniti*.

73. *is-počiti.*

ispočiti mamy dwa razy w Supraskim: *mati že jego i ne ispočivъši . . . ide* 43. 27; *ispočixъ i vъzmogoxъ* 118. 24. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja *iz-* zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

74. *is-pověděti* (*is-povědati*).

Ten czasownik spotykamy często w tłumaczeniu ewangelji, np. *ispověmь imъ* = ὁμολογήσω αὐτοῖς Mt. 7. 23; *iže ispověstъ mę . . . ispověmъ i i azъ* = ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ . . . ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτόν Mt. 10. 32; Lc. 12. 8; *ešte kto ispověstъ x(rist)a* = ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν J. 9. 22 i t. p.; w Psałterzu, np. *kъto ispověstъ sję tebě* = τίς ἐξομολογήσεταί σοι 6. 6; *ispověmъ sję g(ospode)vi* = ἐξομολογήσομαι κυρίῳ 7. 18; 108. 30; *ispověmь vьsję xvaly tvoję* = τοῦ ἐξαγγεῖλαί με πάσας τὰς αἰνέσεις σου 72. 28 i t. p.; w Euchologium: np. *ispověmь sę imeni tvoemu* = ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου 77[b] 14 = Ps. 53. 8; *tebě bǫdǫ azъ ispověděnъ vsěxъ moixъ grěxъ* 72[a] 5 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *ěko prъvěe cěsarьstvie ispověděvъ* = ὦ πρῶτος βασίλειαν ἀνακτησάμενε 700; *skoro ispověděvъ.* = ταχέως ὁμολογήσας 713; w Supraskim, np. *nynja ispověždь mně* 23. 5; *se ispověždь imъ* 59. 11; *donьdeže prěžde ispověstъ imę g(ospod)a* = εἰ μὴ πρότερον ὁμολογήσῃ τὸ ὄνομα . . . 152. 1; *boga ispověsi* 237. 20 i t. p. Jest to więc czasownik *przechodni*, bardzo często używany w znaczeniu *zwrotnem* z dativem, *perfektywny*, funkcja jeszcze wyraźnie *lokalna*.

Iterativum jest *ispovědati*, które też występuje w tłumaczeniu ewangelji, np. *ispovědajǫ ti sę* = ἐξομολογοῦμαί σοι Mt. 11. 25;

fariséi radi ne ispovědaaxǫ = οὐχ ὡμολόγουν J. 12. 42; w Psałterzu, np. *nebesa ispovědajǫtъ slavǫ božъjǫ* = διηγοῦνται 18. 2; *ispovědaite sę bogu* = ἐξομολογεῖσθε 135. 26 i t. p.; w Euchologium, np. *ispovědaemъ blagodětь* 4ᵇ 6; *tebě ispovědajǫ sę* 67ᵇ 25 i t. p.; we Fragmentach Cloza: *ispověda svojǫ xulǫ* 189. 12 i t. p. Jest on więc *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu też *lokalna*.

75. *is-praxněti.*

To znajdujemy raz w Supraskim: *kosti jęže otъ mnogъ lětъ ispraxněly běaxǫ* 527. 26. Jeżeli to nie użyte w znaczeniu przymiotnika, to jest to czasownik *nieprzechodni*, zdaje się *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *rezultatywna* (cf. 20).

76. *is-praviti (is-pravljati).*

ispraviti spotykamy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *ispravite pǫtь* = εὐθύνατε τὴν ὁδόν J. 1. 23; w Psałterzu bardzo często, np. *ispravi ... pǫtь moi* = κατεύθυνον 5. 9; *ispravi stopy moję* = κατεύθυνε 39. 3. i t. p.; w Euchologium: *ispravi imъ pǫtь* 18ᵇ 5; *stopy ixъ ispravi* 18ᵇ 13 i t. p.; we Fragmentach Kijowskich: *ispravi ny* IIIᵇ 8; we Fragmentach Cloza: *ne može ego ispraviti* 290; w Supraskim: *ispraviti vьsǫ pravьdǫ* = πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην 416. 19; *ty ne ispraviši mira* = σὺ δὲ οὐ κατορθοῖς τὴν εἰρήνην 423. 3 i t. p. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

Iterativum jest *ispravljati*, np. *ne ispravlěše prědъ očima moima* = οὐ κατεύθυνεν Ps. 100. 7; *ne ispravlěeši mira* = οὐ κατορθοῖς τὴν εἰρήνην Cl. 505; *bolěznijǫ ispravlějǫtъ sę* Eu. 87ᵃ 5; *ježe ljuboplakati to aky slabo i ne mǫžьstvьno ispravьjaję* = ὡς ἀγεννὲς καὶ ἄνανδρον διωθούμενος (tłumacz czyta pewno διορθούμενος) Su. 316. 13. Jest to czasownik *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu *duratywna* (cf. 28).

77. *is-prazniti.*

To mamy we fragmentach Cloza: *isprazni i* 289 i w Supraskim: *adova selišta isprazniтъ* 342. 4. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu *rezultatywna* (cf. 20).

78. *is-prositi.*

Czasownik ten spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *da isprosętъ varavvǫ* = ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν Mt. 27. 20; *isprošъ*

dъšticǫ = *αἰτήσας πινακίδιον* Lc. 1. 63; *isprosi tělo is(uso)vo* = *ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ* Lc. 23. 52; w Psałterzu: *isprosite* (= *isprositi*) *u boga pištǫ sebě* = *ζητῆσαι . . . βρῶσιν αὐτοῖς* 103. 21; w Euchologium: *otъpuštenie grěxomъ sъ vyše isprošъše* 57ᵃ 16 i w Supraskim: *isprosilъ jestъ vasъ sotona* = *ἐξῃτήσατο ὁ σατανᾶς ἡμᾶς* 135. 14; *isprosivъ xartijǫ napisa* = *αἰτήσας χάρτην* 152. 14; *iosife isprošii i priimъ* = *αἰτήσας καὶ λαβὼν* 456. 10. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu jeszcze wyraźnie *lokalna*.

79. *is-provrěšti.*

To spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *dъsky trъžьnikъ isprovrъže* = *κατέστρεψεν* Mt. 21. 12; Mr. 11. 15; w Euchologium: *ada vъskrъseniemь isprovrъgъšimь* 53ᵇ 7 i w Supraskim: *o glasa silo adъ isprovrъgъši* = *ὦ φωνῆς δύναμις ᾅδην διαῤῥήξασα* 317. 7; *jegda xotěaše . . . isprovrěšti ada* 472. 24. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

80. *is-pustiti* (*is-puštati*).

ispustiti spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *ispusti duxъ* = *ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα* 27. 50; w Psałterzu: *ispusti i* = *ἀφῆκεν αὐτόν* 104. 20; w Euchologium: *ispuštei . . . duxъ* 30ᵃ 7; 38ᵇ 16; *ispuštьšaago ězvojǫ vodǫ i krъvь* 50ᵇ 20; we Fragmentach Cloza: *ispusti glasъ* = *ἐξεπήδησε . . . ἡ φωνή* II, 97; *ispuštъšago glasъ* 182 i w Supraskim: *glasъ ispustišę* 86. 6; *da ispuštǫ dušǫ* = *ἵνα ἀπολύσω τὴν ψυχήν* 310. 26; *krъvь i vodǫ ispusti* = *ἐξέπεμψε* 354. 2 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum jest *ispuštati*, spotykane w Supraskim: *glasъ ispuštaaše* 210. 25; *sъvęzьnę ispuštaaxǫ* = *δεσμίους ἀπέλυον* 467. 23 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

81. *is-pytati.*

ispytati mamy w tłumaczeniu ewangelji, np. *ispyta otъ nixъ vrěmę* = *ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον* Sawy Mt. 2. 7; *ispytaite kъnigy* = *ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς* J. 5. 39 i t. p.; w Psałterzu: *g(ospod)ь ispytaetъ pravedьnaego* = *ἐξετάζει τὸν δίκαιον* 10. 5; *ispytašę bezakonenьe* = *ἐξηρεύνησαν ἀνομίαν* 63. 7 i t. p.; w Euchologium: *ispytalъ li esi manastyrь* 92ᵃ 16 i w Supraskim: *xošteši li i rebro mi ispytati* = *θέλεις καὶ τὴν πλευράν μου καταμαθεῖν*

503. 24; *padenьja jego obrazъ ispytavъše* 522. 22. i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna* (cf. 9).

82. *iz-rastiti.*

To znajdujemy raz jeden w Supraskim: *niva ix' mrъtvyję živy aky klasy* . . . *izъrasti* = ἡ χώρα αὐτῶν τοὺς νεκροὺς ζῶντας καθάπερ στάχυας . . . ἐβλάσθησε 388. 11. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

83. *iz-d-rešti.*

izdrešti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *izdreče ei dati* = ὡμολόγησεν Mt. 14. 7; w Psałterzu: *oběty moję jęže izdrěste ustьně moi* = ἃς διέστειλε τὰ χείλη μου 65. 13; we Fragmentach Cloza: *vrěmę estъ* . . . *izdrešti* = καιρὸς ἤδη φρᾶσαι 47; w Supraskim: *vъprošenъ byvъ* . . . *iz'dreče* 61. 21; *ježe imamъ izdrešti* = ὃ ἔχω εἰπεῖν 71. 8; *da javě izdrekǫ* 361. 19 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*; *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

84. *iz-d-ryti.*

Taksamo *przechodni*, *perfektywny* z funkcją *lokalną* jest czasownik *izdryti*, spotykany w Psałterzu: *rovъ izdry* = λάκκον ὤρυξε 7. 16; *izdryetъ sję* . . . *ěma* = ἕως οὗ ὀρυγῇ . . . βόθρος 93. 13.

85. *i(s)-sǫčiti.*

Przechodni, *perfektywny*, z funkcją *efektywną* (cf. 9) jest czasownik *isǫčiti*, spotykany w Psałterzu: *ty isǫči rěky* = σὺ ἐξήρανας ποταμούς 73. 15 i w Supraskim: *jegda isǫčętъ vino* 267. 16 i *isǫči krъvьnyję sǫdy* = ἐχώνευσας τὰ σκεύη τοῦ αἵματος 512. 7.

86. *i(s)-sęknǫti.*

Nieprzechodni, *perfektywny* z funkcją *efektywną* prefiksu jest czasownik *isęknǫti*, spotykany w tłumaczeniu ewangelji: *isęknetъ ljuby mъnogyxъ* = ψυγήσεται Mt. 24. 12; *abie isęknǫ istočьnikъ krъve eję* = εὐθὺς ἐξηράνθη Mr. 5. 29; w Psałterzu: *zaprěti* . . . *morju i isjęče* = ἐξηράνθη 105. 9; w Supraskim: *aky vapǫ sǫštǫ isękšǫ* 193. 13.

87. *i(s)-sěšti.*

Czasownik ten użyty jest w podwójnem znaczeniu: najpierw w znaczeniu »wykuć«: *vъ* . . . *grobě iže isěče vъ kameni* = ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ Mt. 27. 60; *vъ grobъ iže bě isěčenъ otъ kame-*

ne = ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας Mr. 15. 46; *vъ grobě isěčeně* = ἐν μνήματι λαξευτῷ Lc. 23. 53. W tem znaczeniu funkcja prefiksu jest *lokalna*.

Drugie znaczenie jest »wyciąć«: *vragy moję ... isěčete* = κατασφάξετε Lc. 19. 27; *sъ meči da isěkǫtʼ i pročęję* Su. 62. 10; *po jednomu kogoždo ixъ isěkošę* Su. 64. 29; *povelě mečemъ isěšti svętyję* Su. 180. 25; *běaše viděti ... mladeništę jediněmъ želězomъ isěčeny ležęštę* Su. 397. 6. W tem znaczeniu funkcja prefiksu jest zdelokalizowana, *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4). W obu znaczeniach czasownik ten jest *przechodni, perfektywny*.

88. *i(s)-skočiti.*

Również *lokalną* funkcję ma prefiks w czasowniku *iskočiti*, w Euchologium: *iz groba iskočiti* 53ᵇ 4; we Fragmentach Cloza: *ne iskoči d(u)ša is tělese* = οὐκ ἀπέστη τοῦ σώματος ἡ ψυχή 98; w Supraskim: *viděšę ... iskočivъša is krъčaga* 52. 20; *otъ sixъ iskoči ijuda* = ἀπὸ ταύτης ἐξεπήδησεν ὁ Ἰούδας 409. 11 i t. p. Czasownik ten jest *nieprzechodni*, miewa przy sobie określenia z przyimkami *izъ* lub *otъ*, jest *perfektywny*.

89. *i(s)-slěditi.*

Czasownik ten znajdujemy tylko w Supraskim; *islědivъši vъ slědъ jego pride* = ἐξιχνιάσασα τὰ ἴχνη αὐτοῦ 233. 2; *izidoxъ ... islědęšti mojego gospodina* = ἐξῆλθον ... ἐξιχιάσαι τὸν ἐμὸν δεσπότην 233. 16 i t. p. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, *efektywna* (cf. 9).

90. *i(s)-stǫpiti.*

To znajdujemy raz tylko w Supraskim: *apostolьska istǫ(pi)vъ rędu* 426. 14. Jest to czasownik *nieprzechodni*, ma przy sobie okolicznik w genetiwie, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

91. *i(s)-sunǫti.*

Czasownik ten spotykamy raz jeden w Psałterzu: *isuni orǫžie* = ἔκχεον ῥομφαίαν 34. 3; jest on *perfektywny, przechodni*, funkcja prefiksu *lokalna*.

92. *i(s)-sušiti.*

isušiti mamy w Euchologium: *isuši jǫ* 35ᵃ 7; *isuši korenь emu* 35ᵃ 15 i w Supraskim: *isuši jǫ* = ὁ ... ξηράνας αὐτήν 345. 23; *isuši ... istočьnikъ* 392. 16, 17. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

93. *i(s)-svoboditi.*

To spotykamy raz w Euchologium: *da ny otъ rabotъ isvoboditъ* 1[b] 14. Jest to czasownik *przechodni*, ma dopełnienie z przyimkiem *otъ*, jest chyba *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalno-efektywna*.

94. *i(s)-sъxati.*

isъxati mamy raz tylko w Psałterzu: *ěko trěva jędro isъšǫtъ* = ταχὺ ἀποξηρανθήσονται 36. 2. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

95. *i(s)-sъxnǫti.*

Czasownik ten znajdujemy w tłumaczeniu ewangelji: *isъxǫ* = ἐξηράνθη Mt. 13. 6; *isъše smokovьnica* = ἐξηράνθη ... ἡ συκῆ Mt. 21. 19; *isъšetъ* = ἐξηράνθη J. 15. 6; w Psałterzu: *isъše ěko skǫdelъ* = ἐξηράνθη 21. 16; *ěko sěno isoxъ* = ἐξηράνθην 101. 12 i t. p.; w Supraskim: *isъxnǫti smokvi* = ξηραίνεσθαι 345. 22; *prosterъšuumu isъxъšii rǫcě* = τὰς ξηρανθείσας χεῖρας 456. 29; *isъxněјaše* 476. 24. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

96. *i(s)-sypati.*

To znajdujemy w tłumaczeniu ewangelji: *da isypana bǫdetъ vъnъ* = εἰ μὴ βληθὲν ἔξω Mt. 5. 13; *vъnъ isypljǫtъ jǫ* = ἔξω βάλλουσι αὐτό Lc. 14. 35 i w Supraskim: *obrětoxъ i tьmьjanьnicǫ vъ čašǫ isypajǫšta* 297. 20. Jest to czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

97. *is-tajiti (is-tajati).*

Czasowniki te znajdujemy w Psałterzu: *istailъ esi ... dušjǫ ego* = ἐξέτηξας 38. 12; *istaila mję estъ žalostъ tvoě* = ἐξέτηξέ με 118. 139. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

istajati mamy w Psałterzu: *ěko voskъ istaavъ* = ὡσεὶ κηρὸς ὁ τακείς 57. 9; *istaaxъ* = ἐξετηκόμην 118. 158. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

98. *is-tešti (is-tekati, is-těkati).*

Czasownik ten znajdziemy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji; *otъ črěva ego istekǫtъ vody* = ποταμοὶ ... ῥεύσουσι J. 7. 38; w Psałterzu: *istěšję vody* = ἐῤῥύησαν 104. 41 i w Supraskim: *ježe bě sila plьtьskaja istekla* = οἱ ἀποῤῥεύσαντες ἰχῶρες 317. 19; *krьvь jego*

isteče 474. 11; *isteče . . . krъvь i voda iz-d-rebrъ* = πηγάζει γὰρ αἷμα καὶ ὕδωρ 483. 4; *otъ grobъ istekošę* = ἐκ τῶν τάφων ἐξέδραμον 503. 19. Jest to czasownik *nieprzechodni*, ma przy sobie okoliczniki z przyimkami *otъ* lub *izъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum jest *istekati* (*istěkati*), spotykane w Euchologium: *prisnoteky i ne istekajęi* 63ᵃ 16; *istěkajǫtъ lučьšaa* 85ᵃ 25 i w Supraskim: *istekajǫtъ lučьšaja* = πηγάζει τὰ κρείττονα 251. 6. Jest to czasownik *nieprzechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

99. *is-tęʒati.*

istęʒati spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *otemljǫštaago tvoě ne istęʒai* = μὴ ἀπαίτει Lc. 6. 30; *dušǫ tvojǫ istęʒajǫtъ otъ tebe* = ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ Lc. 12. 20; *sъ lixvojǫ istęzalъ e bimъ* = σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα Lc. 19. 23; *azъ istęzavъ prědъ vami* = ἀνακρίνας Lc. 23. 14; *niktože ne sъměaše otъ učenikъ istęʒati ego* = ἀπὸ τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι J. 21. 12; w Psałterzu: (*i*)*stęži mję* = πείρασόν με 25. 2; w Euchologium: *d*(*u*)*šę dlъgy istęzaję* 57ᵇ 21; *istęžǫ ovcę otъ pastyrь* 82ᵇ 9; *imaši istęzanъ byti* 87ᵇ 5 i w Supraskim: *azъ istęzalъ bimъ* = ἂν ἀπῄτησα 377. 15. Jest to czasownik *przechodni*, miewa przy sobie dopełnienie z przyimkiem *otъ*, jest *imperfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *efektywna*.

100. *is-tiskati.*

To znajdujemy w Supraskim: *sъměješi istiskati jǫ* = ἐκμάξαι τολμᾷς πλευράν 457. 8. Jest to czasownik *przechodni*, jak wynikałoby z tłumaczenia ἐκμάξαι = *istiskati*, *perfektywny*, funkcja prefiksu chyba *efektywna*.

101. *is-točiti.*

istočiti znajdziemy w Euchologium: *istoči* 21ᵇ 6; *istočei krъvь ězvojǫ izdrebrъ* 29ᵃ 30; 29ᵇ 11 i w Supraskim: *vodǫ i krъvь istoči otъ rebrъ svoixъ* = ὕδωρ καὶ αἷμα προήκατο 483. 17; *viděxomъ rebro . . . istočivъšu* (=*istočivъšeje*) *krъvь i vodǫ* = εἴδομεν . . . πλευρὰν . . . βλύσασαν αἷμα καὶ ὕδωρ 499. 28. Jest to czasownik *przechodni*, miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *otъ* lub *izъ*, jest, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalno-efektywna*.

102. *is-tonǫti* (*is-topnǫti*).

Czasownik ten spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *istopǫ vъ vodaxъ* = ἀπέθανον Sawy Mt. 8. 32 (inne mają *utopǫ* lub *utopošę*);

ustrъmi sę stado ... vъ ezero i istope = *καὶ ἀπεπνίγη* Lc. 8. 33; w Supraskim: *množaišii že ixъ vъ dunavě ... istopnǫšę* 197. 10; *židove ... istopošę* 401. 3. Jest to czasownik *nieprzechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4).

103. *is-topiti* (*is-tapljati*).

istopiti mamy w Supraskim: *starěišina běxъ korab'nikomъ i istopixomъ sę i pogubixomъ mnogo iměnije* 120. 1. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *dystrybutywno-efektywna*.

Iterativum *istapljati* spotykamy w Supraskim: *o zavisti korabьju ... istavьjajęi* (= *istapьjajęi*) 400. 6. Jest to czasownik też *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu też *dystrybutywno-efektywna*.

104. *is-tręsti*.

To znajdujemy w Psałterzu: *izdrjęšъšu* (= *istręsъšu*) *faraosa ... vъ more črъmьnoe* = *ἐκτινάξαντι Φαραὼ* 135. 15 i w Supraskim: *istręse vъnъ peštьnicǫ* 5. 22; *is pazuxy istręseši* 264. 3; *da sę istręsǫtъ grobi* 425. 1. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

105. *is-trěbiti* (*is-trěbljati*).

istrěbiti mamy raz tylko w Euchologium: *vsjǫ dětělь vražijǫ ... istrěblь volejǫ* 25ᵇ 25, jest on *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *efektywna* (cf. 9).

Iterativum *istrěbljati* mamy w tłumaczeniu ewangelji: *istrěbljęję vъsě brašьna* = *καθαρίζων* Mr. 7. 19. Jest on też *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu też *efektywna*.

106. *is-trěti* (*is-tirati*).

To mamy raz tylko w Psałterzu: *i istrъ vьse drěvo prědělъ ixъ* = *συνέτριψε πᾶν ξύλον* 104. 33 (Severjanow w swojem wydaniu Psałterza poprawia, mojem zdaniem niepotrzebnie, na *i [i] strъ*). Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

Iterativum *istirati* jest w tłumaczeniu ewangelji: *klasy ... ěděaxǫ istirajǫšte rǫkama* = *ψώχοντες ταῖς χερσίν* Lc. 6. 1 i w Supraskim: *i tǫ* (scil. *trěvǫ*) *istirajǫ jaděaše* 529. 1; jest on *przechodni, imperfektywny*, funkcja prefiksu też *efektywna*.

107. *is-trgnǫti* (*is-trgati*).

istrgnǫti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *abьe istrъgnetъ ego* = ἀνασπάσει Lc. 14. 5; w Psałterzu i Euchologium: *ty (i)strъgoi mję ištrěva* = σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός Ps. 21. 19; *tъ istrъgnetъ otъ sěti noʒě moi* = ἐκσπάσει Ps. 24. 15; Eu. 75[a] 16 i w Supraskim: np. *istrъže nogǫ svojǫ* 218. 22; *istrъgyi nozě moi otъ sěti* = ἐκσπάσας 234. 27; *otъ sebe istrъgnǫšę* 364. 24. Jest to czasownik *przechodni* okolicznikiem z przyimkami *izъ* i *otъ*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum *istrgati* jest w Euchologium: *istrъgalъ esi vsę žily ixъ* 31[a] 1 — czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

108. *is-tъkati*.

To mamy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *xitonъ ... sъ vrъxu istъkanъ vьsь* = χιτὼν ... ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου J. 19. 23 i w Supraskim: *odeždǫ vodojǫ i duxomь istъkanǫ* = στολὴν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ὑφανθεῖσαν 348. 9. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna* (cf. 9).

109. *is-tъknǫti*.

To też znajdujemy raz jeden w tłumaczeniu ewangelji: *ašte oko tvoe sъblažnaatъ tę istъkni e* = ἔκβαλε αὐτόν Mr. 9. 47. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

110. *is-tъliti*.

istъliti spotykamy w Psałterzu: *ne istъli* = μὴ διαφθείρῃς 56. 1; 57. 1; 58. 1; 74. 1; we Fragmentach Cloza: *pogubitъ i istъlitъ* 450 i w Supraskim: *kako istьlěnije istьli* = πῶς τὴν φθορὰν κατέφθειρε 463. 5. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu, zdaje się, *efektywna*.

111. *is-tъštiti* (*is-tъštati*).

istъštiti spotykamy raz w Supraskim: *čso istъštivъše sę plačete sę* = τί ζημιωθέντες ἐβαρύνθητε 388. 4. Jest on *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

Iterativum *istъštati* znajdujemy w Psałterzu: *istъštaite istъštaite do osnovanei ego* = ἐκκενοῦτε 136. 7 i w Supraskim: *mǫčitъ ... (n)i obilьně trěbujǫštiimъ sǫštaja istъštajǫštu* (= *istъštajǫštaago*) = οὐδὲ δαψιλῶς τοῖς δεσμένοις τὰ ὄντα κενοῦντα 370. 26. I ten czasownik jest *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

112. *is-tьniti.*

To mamy dwa razy w Psałterzu: *istьnǫ ję ěko praxъ prědъ licemъ větra* = *λεπτυνῶ αὐτούς* 17. 43 i *istьni ję ěko telecь livanьsky* = *λεπτυνεῖ αὐτὰς* 28. 6. I to też jest czasownik *przechodni, perfektywny* z funkcją prefiksu *efektywną.*

113. *iz-uměti.*

izuměti spotykamy tylko w Supraskim: *izъuměvъšii sę dьnьmi zъly vъprašaaxǫ* = *οἱ πεπαλαιωμένοι ἡμερῶν κακῶν ἐπυνθάνοντο* 324. 3. Inne znaczenie ma *izuměti* w *neizuměјemo roždenije* = *ἀνεπινόητος ὁ τόκος* 243. 9. Jest to w pierwszem znaczeniu, zdaje się, czasownki *zwrotny*, w drugiem — *przechodni*, jest *perfektywny*, o funkcji prefiksu trudno coś pewnego powiedzieć, może jest *rezultatywno-koncentratywna* (cf. 20 i 11).

114. *iz-vajati.*

To spotykamy w Supraskim: *kamenije sǫšte člověky izvajani* 177. 7. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefisku pewno *efektywna.*

115. *iz-valiti.*

izvaliti znajduje się dwa razy w Supraskim: *dondeže črěva načьnǫtъ xъtěti izvaliti sę na zemjǫ* 114. 1 i *ǫtrobǫ vьsǫ izvalivъ* 190. 7. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

116. *iz-vesti* (*iz-voditi*).

Bardzo częsty jest w zabytkach czasownik *izvesti;* w tłumaczeniu ewangelji, np. *da izvedetъ dělatelę na žętvǫ* = *ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ* Mt. 9. 38; Lc. 10. 20; *izvěsę vьnъ iz vinograda* = *ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος* Mt. 21. 39; Lc. 20. 15; *izvede i vьnъ iz vьsi* = *ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης* Mr. 8. 23; Lc. 24. 50; J. 19. 13 i t. p.; w Psałterzu, np. *izvedeši mję otъ sěti* = *ἐξάξεις με* 30. 5; *izvede vody is kamene* = *ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας* 77. 16 i t. p.; w Euchologium, np. *izvedi i otъ slěpoty* 33ᵃ 23 i t. p.; w Supraskim: *izvesti i is xrama* 22. 22; *izvesti is temnicę* 76. 2; 134. 10; *izvelъ esi otъ ada dušǫ mojǫ* 461. 28 i t. p. Jest to więc czasownik *przechodni*, miewa przy sobie okoliczniki z przyimkami *izъ* i *otъ*, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna.*

Iterativum *izvoditi* spotyka się w tłumaczeniu ewangelji: *se izvoždǫ i vamъ vьnъ* = *ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω* J. 14. 4; w Psałterzu:

izvodję větry otъ sъkrovištь svoixъ = *ὁ ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ* 134. 7 i t. p.; w Supraskim: *izvodę . . . otъ žitija* = *ἐξάγων . . . τοῦ βίου* 136. 21; *iže dušę is tělesъ izvoditъ* = *ὁ ψυχὰς ἐκ τῶν σκηνωμάτων ἐκσπάσας* 344. 25 i t. p. I to jest więc czasownik *przechodni*, z okolicznikam z przyimkami *izъ* i *otъ*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

117. *iz-vesti* (*iz-vezǫ*).

Ten czasownik znajdujemy raz tylko w tłumaczeniu ewangelji: *izvezъše korablě na suxo* = *καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν* Lc. 5. 11. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

118. *iz-vęzati*.

I to znajdujemy raz tylko w Supraskim: *povelěsta . . . izvęzavъše ję vesti na brěgъ morě* 79. 22. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu zdelokalizowana, pewno *dystrybutywno-efektywna* (cf. 4).

119. *iz-věděti*.

izvěděti występuje w Psałterzu: *tъ bo izvěstъ taina sr(ь)d(ь)ca* = *αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια* 43. 22 i we Fragmentach Cloza: *dobrě izvědǫštei* 76. Jest to czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu chyba *efektywna*.

120. *iz-věstiti* (*iz-věštati*).

izvěstiti znajdujemy tylko w Supraskim: *o nemъže izvěstixomъ sę mnogyimi* = *περὶ ἧ πεπληροφορήμεθα διὰ πολλῶν* 128. 11; *izvěstivъ že si zělo o nemъ o vьsemъ* 171. 1; *semu že izvěstivъšu jemu glagola* 286. 17 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *perfektywny*, funkcja prefiksu pewno też *efektywna*.

Iterativum *izvěštati* spotykamy raz we Fragmentach Cloza: *kako novy izvěštaetъ sę* = *πῶς ἡ καινὴ βεβαιοῦται* 839 = Su. 450. 11 i bardzo często w Supraskim: *ni izvěšta ničьsože* 96. 10; *iže drъznǫ . . . xulǫ mi tolikǫ izvěštati* 360. 21 i t. p. I to jest więc czasownik *przechodni*, *imperfektywny*, funkcja prefiksu może też *efektywna*.

121. *iz-věstovati*.

Ten czasownik znajdujemy w tłumaczeniu ewangelji: *pověstь o izvěstovanyxъ vъ nasъ veštexъ* = *περὶ τῶν πεπληροφορημένων*

ἐν ἡμῖν πραγμάτων Lc. 1. 1 i w Euchologium: *namъ izvěstuję* 82[b] 14. I to jest więc czasownik *przechodni*, chyba *imperfektywny*, funkcja prefiksu pewno też *efektywna*.

122. *iz-viti.*

To znajdujemy raz tylko w Supraskim: *vъzemъ rozvьny izvity tri na vyję svoję vъzloži = λαβὼν κλωστὰς ἁλύσεις τρεῖς περιέθηκε περὶ τὸν τράχηλον ἑαυτοῦ* 125. 3. Jest to więc czasownik *przechodni*, zapewne *perfektywny*, funkcja prefiksu też *efektywna*.

123. *iz-vlěšti* (*iz-vlačiti*).

izvlěšti spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *izvlъkъše i na krai = ἀναβιβάσκοντες* Mt. 13. 48; *izvleče nožъ = ἀνέσπασε* Mt. 26. 51; *izvleče mrěžę = εἵλκυσεν* J. 21. 11 i t. p.; w Psałterzu: *orǫžie izvlěšję grěšьnii = ἐσπάσαντο* 36. 14 i w Supraskim: *izvlěšti ję* 79. 22; *plušta ti izvlěčena bǫdǫtъ* 165. 10; *tělo že izvlěk'še povrъgošę psomъ* 537. 24; *izvlěk'še tělesa svętyixъ* 538. 24. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

Iterativum *izvlačiti* mamy w Supraskim: *povelěšę izvlačiti trьsti iz nego* 270. 9; *izvlačišę trьstije z plъtiję jego* 270. 12. Jest to czasownik *przechodni imperfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

124. *iz-voliti.*

izvoliti mamy w tłumaczeniu ewangelji: *otrokъ moi egože izvolixъ = ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα* Mt. 12. 18; *izvoli sę i mьně pisati = ἔδοξε κἀμοὶ . . . γράψαι* Lc. 1. 3; w Psałterzu: *pǫtь rěsnoty izvolixъ = ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην*. 118. 30; *zapovědi tvoję izvolixъ = τὰς ἐντολάς σου ᾑρετισάμην* 118. 173 i t. p.; w Euchologium bardzo często, np. *g(ospod)i izvolei s(vę)tyję ap(osto)ly svoję bratry byti* 10[b] 5; *izvoli i bl(a)g(oslo)vi stado se* 15[a] 12 i t. p.; we Fragmentach Kijowskich: *b(og)ъ iže . . . izvoli vъplъtiti sę* 11[b] 12 i bardzo często w Supraskim: *jedno izvolite* 59. 15; *za negože sъmrьtь izvoliste* 67. 3 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, *perfektywny*, funkcja prefiksu zapewne *efektywna*.

125. *iz-vračevati.*

To spotykamy dwa razy w Supraskim: *nikolíže sei jęzi izvračujemě byvati* 556. 29; *abьje izvračevana jego sъpodobi* 560. 11. Jest to czasownik *przechodni*, zdaje się, *imperfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

126. *iz-vrěšti.*

izvrěšti znajdujemy w tłumaczeniu ewangelji: *zъlyję izvrъgǫ vonъ* = *τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον* Mt. 13. 48; *izvrъgǫ i vonъ iz vinograda* = *ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος* Mr. 12. 8; *izvrъžetъ sę vonъ* = *ἐβλήθη ἔξω* Mr. 15. 16; w Euchologium: *izvrěšti e vonъ* 19ᵇ 3; *da izvrъžetъ (sę) sana* 102ᵇ 14; *ašte kotoraě žena izvrъžetъ otročę* 103ᵇ 6; w Supraskim: *obręštete těla mojego izvrъžena na suxo* = *εὑρήσετε τὸ σῶμά μου ἐκριφὲν εἰς τὴν γῆν* 154. 24 i t. p. Jest to czasownik *przechodni*, miewa przy sobie okolicznik z przyimkiem *izъ* lub w genetiwie, jest *perfektywny*, funkcja prefiksu *lokalna*.

127. *iz-vyknǫti.*

To spotykamy raz tylko w Supraskim: *niktože ubo pętidesętъ psalma izvyknǫti možetъ* = *οὐδεὶς τὸν πεντηκοστὴν ψαλμὸν ἐκμαθεῖν ἀνέχεται* 355. 16. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

128. *i(z)-zobati.*

I to spotykamy raz tylko w Supraskim: *ot neliže smokvi izoba... starcь gotovьjaše sę* 300. 29. Jest on *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *rezultatywna* (cf. 20).

129. *iz-žešti > izdešti.*

izdešti znajdujemy raz tylko w Supraskim: *prinesošę drъva i ognь i iždegoše vъ rově* 5. 13. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu chyba *efektywna*.

130. *iz-žiti > iždіti.*

To spotykamy w tłumaczeniu ewangelji: *iždivъšju emu vьse* = *δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα* Lc. 15. 14; *izdivъši vьse svoe* = *δαπανήσασα πάντα* Mr. 5. 26. Jest to czasownik *przechodni, perfektywny*, funkcja prefiksu *efektywna*.

Prefiks *iz-* w ogromnej większości wypadków nie wpływa wcale na tranzytywność lub intranzytywność czasowników, z wyjątkiem *izbljuti* (5), *iždіti* (130), które bez prefiksu nie mają przy sobie dopełnień oraz *isprositi* (78), które bez prefiksu ma przy sobie dopełnienie w genetiwie. Czasowniki o funkcji prefiksu lokalnej miewają najczęściej okoliczniki z przyimkami *izъ* lub *otъ*, co zreszta

zdarza się i przy czasownikach o funkcji efektywnej, np. *iscěliti*, *iscěljati* (10), *isvoboditi* (93), *istęʒati* (99), *istoči*… (101).

Czasowniki nieiteratywne z prefiksem *iz-* są w znacznej większości wypadków perfektywne, z wyjątkiem *dělati* (16), *děti* (17), *goniti* (24), *xoditi* (29), które to dwa ostatnie są zresztą iterativa, taksamo jak *kydati* (43); dalej *liti* (46), *lijati* (47), *metati* (49), *měnovati sę* (51), *-mǫdrevati* (55), które też jest zapewne iterativum do niepoświadczonego w zabytkach **izmǫdriti*, *obilovati* (64), *pytati* (81), *sъxnǫti* (95), *sypati* (96) tak samo iterativum do niepoświadczonego w zabytkach *isuti*, które Miklosich (Lexicon 273) cytuje z latopisu ruskiego z XIII w., *tęʒati* (99), *věděti* (119), *věstovati* (121), *vračevati* (125), które i w złożeniu z prefiksem *iz-* pozostają imperfektywne.

Co do funkcyj postaciowych tego prefiksu, to w dużej większości wypadków są to funkcje lokalne (przy czasownikach, oznaczających ruch), lokalno-koncentratywne i efektywne, lokalno-efektywne, oraz dystrybutywno-efektywne, to znaczy, podobnie do polskiego prefiksu *wy-*. Zrzadka tylko występują inne funkcje: rezultatywna, rezultatywno-totalna i rezultatywno-koncentratywna oraz duratywna, duratywno-procesywna, a wyjątkowo tylko momentalno-koncentratywna i akuratywna.

INDEKS.

Czasownik	Konstrukcja	Aspekt	Funkcja prefiksu.
1. *izbaviti*	przechodni, genetivus, *otъ, izъ*	perfektywny	lokalna.
izbavljati	przechodni, *otъ*	imperfektywny	lokalna.
2. *izběgnǫti*	nieprzechodni, genetivus, *izъ*	perfektywny	lokalna.
izběgati	nieprzechodni	imperfektywny	lokalna.
3. *izběžati*	nieprzechodni, genetivus	perfektywny	lokalna.
4. *izbiti*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
izbivati	przechodni	imperfektywny	dystrybutywno-efektywna.
5. *izblъvati*	przechodni	perfektywny	lokalna.
6. *izbosti*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
izbadati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
7. *izbyti*	nieprzechodni, genetivus *otъ*	perfektywny	lokalna.
izbyvati	nieprzechodni	imperfektywny	lokalna.
8. *izbьrati*	przechodni	perfektywny	lokalna.
izbirati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
9. *iscěléti*	nieprzechodni	perfektywny	efektywna.
iscělěvati	nieprzechodni	imperfektywny	efektywna.

Czasownik	Konstrukcja	Aspekt	Funkcja prefiksu.
10. *iscěliti*	przechodni, *otъ*	perfektywny	efektywna.
iscěljati	przechodni, *otъ*	imperfektywny	efektywna.
11. *ištezngti*	nieprzechodni	perfektywny	momentalno-koncentratywna.
ištazati	nieprzechodni	imperfektywny	momentalna.
12. *ištisti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
izъčitati	przechodni	imperfektywny	efektywna.
13. *ištistiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
14. *ičrpati*	przechodni	imperfektywny	efektywno-lokalna
15. *izdati*	przechodni	perfektywny	lokalna.
izdajati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
16. *izdělati*	przechodni	imperfektywny	efektywna.
17. *izděti*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
18. *izdъxngti*	nieprzechodni	perfektywny	lokalno-koncentratywna.
izdyxati	nieprzechodni	imperfektywny	lokalno-koncentratywna.
19. *izdьrati*	przechodni, *izъ*	perfektywny	lokalna.
20. *izěsti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
21. *izęti*	przechodni, *izъ*, *otъ*	perfektywny	lokalna.
izimati	przechodni, *izъ*	imperfektywny	lokalna.
22. *izgladiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
23. *izglagolati*	przechodni	perfektywny	lokalna.
24. *izgoniti*	przechodni, *izъ*	imperfektywny	lokalna.
25. *izgorěti*	nieprzechodni	perfektywny	efektywna.
26. *izgubiti*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna i rezultatywno-koncentratywna.
27. *izgъnati*	przechodni, *otъ, izъ*	perfektywny	lokalna.
28. *izgyngti*	nieprzechodni	perfektywny	rezultatywna.
izgybati	nieprzechodni	imperfektywny	duratywna.
29. *isxoditi*	nieprzechodni, *izъ, otъ*	imperfektywny	lokalna.
30. *isxvatiti*	przechodni, *izъ*	perfektywny	lokalna.
31. *isxytiti*	przechodni, *izъ, otъ*	perfektywny	lokalna.
32. *iziskati*	przechodni	perfektywny	lokalna.
33. *iziti*	nieprzechodni, *izъ*, *otъ*	perfektywny	lokalna.
34. *izъjasьniti (izěsьniti)*	przechodni	perfektywny	efektywna.
35. *iskaziti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
36. *isklati*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
37. *iskonьčati*	przechodni, instrumentalis, *otъ*	perfektywny	rezultatywna.
iskonьčavati	przechodni	imperfektywny	duratywno-procesywna.
38. *iskopati*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
39. *iskoreniti*	przechodni	perfektywny	lokalno-efektywna.
40. *iskrasti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
41. *iskupiti*	przechodni, dativus, *otъ*	perfektywny	lokalna.
iskupovati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
42. *iskusiti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
iskušati	przechodni	imperfektywny	duratywna.
43. *iskydati*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
44. *iskypěti*	nieprzechodni	perfektywny	lokalna.
45. *izlěsti*	nieprzechodni, *izъ*, *otъ*	perfektywny	lokalna.
izlaziti	nieprzechodni, *izъ*	imperfektywny	lokalna.

Czasownik	Konstrukcja	Aspekt	Funkcja prefiksu.
46. *izliti*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
izlivati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
47. *izlijati*	przechodni, *izъ*	imperfektywny	lokalna.
48. *izlomiti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
49. *izmetati*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
50. *izměniti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
izměnjati	przechodni	imperfektywny	duratywna.
51. *izměnovati se*	zwrotny	imperfektywny	duratywna.
52. *izměriti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
53. *izml̥knǫti*	nieprzechodni	perfektywny	definitywna.
54. *izmoriti*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
55. *izmǫdrevati*	nieprzechodni	imperfektywny	duratywno-procesywna.
56. *izmrěti*	nieprzechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
57. *izmrъmrati*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
58. *izmъknǫti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
59. *izmyti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
60. *izmьždati*	nieprzechodni	imperfektywny	rezultatywno-totalna.
61. *iznemošti*	nieprzechodni, *otъ*	perfektywny	rezultatywno-totalna.
iznemagati	nieprzechodni	imperfektywny	duratywna.
62. *iznesti*	przechodni, *izъ*	perfektywny	lokalna.
iznositi	przechodni	imperfektywny	lokalna.
63. *iznuriti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
64. *izobilovati*	nieprzechodni	imperfektywny	duratywna.
65. *izobrěsti*	przechodni	perfektywny	lokalno-efektywna.
izobrětati	przechodni	imperfektywny	lokalno-duratywna.
66. *izostriti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
67. *ispasti*	nieprzechodni, *izъ, otъ*	perfektywny	lokalna.
68. *isposti*	przechodni	perfektywny	akuratywna.
69. *ispiti*	przechodni	perfektywny	lokalno-efektywna.
70. *isplesti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
71. *isplěti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
72. *ispl̥niti*	przechodni, genetivus, instrumentalis	perfektywny	duratywno-definitywna.
ispl̥njati	przechodni, genetivus, instrumentalis	imperfektywny	duratywno-definitywna.
73. *ispočiti*	nieprzechodni	perfektywny	efektywna.
74. *ispověděti*	przechodni, zwrotny, dativus	perfektywny	lokalna.
ispovědati	przechodni, zwrotny, dativus	imperfektywny	lokalna.
75. *ispraxněti*	nieprzechodni	perfektywny	rezultatywna.
76. *ispraviti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
ispravljati	przechodni	imperfektywny	duratywna.
77. *isprazniti*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
78. *isprositi*	przechodni	perfektywny	lokalna.
79. *isprovrěšti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
80. *ispustiti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
ispuštati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
81. *ispytati*	przechodni	imperfektywny	efektywna.
82. *izrastiti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
83. *izdrěšti*	przechodni	perfektywny	lokalna.

Czasownik	Konstrukcja	Aspekt	Funkcja prefiksu.
84. *izdryti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
85. *isǫčiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
86. *isęknǫti*	nieprzechodni	perfektywny	efektywna.
87. *isěšti*	przechodni	perfektywny	lokalna, dystrybutywno-efektywna.
88. *iskočiti*	nieprzechodni, *izъ*, *otъ*	perfektywny	lokalna.
89. *isléditi*	przechodni	perfektywny	efektywna.
90. *istǫpiti*	nieprzechodni, genetivus	perfektywny	lokalna.
91. *isunǫti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
92. *isušiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
93. *isvoboditi*	przechodni, *otъ*	perfektywny	lokalno-efektywna.
94. *isъxati*	nieprzechodni	perfektywny	efektywna.
95. *isъxnǫti*	nieprzechodni	imperfektywny	efektywna.
96. *isypati*	przechodni	imperfektywny	lokalna.
97. *istajiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
istajati	nieprzechodni	imperfektywny	efektywna.
98. *istešti*	nieprzechodni, *otъ*, *izъ*	perfektywny	lokalna.
istěkati	nieprzechodni	imperfektywny	lokalna.
99. *istęʒati*	przechodni, *otъ*	imperfektywny	efektywna.
100. *istiskati*	przechodni	perfektywny	efektywna.
101. *istočiti*	przechodni *otъ*, *izъ*	perfektywny	lokalno-efektywna.
102. *istonǫti*	nieprzechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
103. *istopiti*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
istapljati	przechodni	imperfektywny	dystrybutywno-efektywna.
104. *istręsti*	przechodni, *izъ*	perfektywny	lokalna.
105. *istrěbiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
istrěbljati	przechodni	imperfektywny	efektywna.
106. *istrěti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
istirati	przechodni	imperfektywny	efektywna.
107. *istrъgnǫti*	przechodni, *otъ*, *izъ*	perfektywny	lokalna.
istrъgati	przechodni	imperfektywny	lokalna.
108. *istъkati*	przechodni	perfektywny	efektywna.
109. *istъknǫti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
110. *istъliti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
111. *istъštiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
istъštati	przechodni	imperfektywny	efektywna.
112. *istьniti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
113. *izuměti*	przechodni	perfektywny	rezultatywno-koncentratywna.
114. *izvajati*	przechodni	perfektywny	efektywna.
115. *izvaliti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
116. *izvesti*	przechodni, *izъ*, *otъ*	perfektywny	lokalna.
izvoditi	przechodni, *izъ*, *otъ*	imperfektywny	lokalna.
117. *izvesti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
118. *izvęzati*	przechodni	perfektywny	dystrybutywno-efektywna.
119. *izvěděti*	przechodni	imperfektywny	efektywna.
120. *izvěstiti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
izvěštati	przechodni	imperfektywny	efektywna.
121. *izvěstovati*	przechodni	imperfektywny	efektywna.
122. *izviti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
123. *izvlěšti*	przechodni	perfektywny	lokalna.
izvlačiti	przechodni	imperfektywny	lokalna.

Czasownik	Konstrukcja	Aspekt	Funkcja prefiksu.
124. *izvoliti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
125. *izvračevati*	przechodni	imperfektywny	efektywna.
126. *izvrěšti*	przechodni, genetivus, *izъ*	perfektywny	lokalna.
127. *izvyknǫti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
128. *izobati*	przechodni	perfektywny	rezultatywna.
129. *iždešti*	przechodni	perfektywny	efektywna.
130. *iždíti*	przechodni	perfektywny	efektywna.

Warszawa.

Stanisław Słoński.

Uwaga. Cytaty z tłumaczenia ewangelji podano według Kodeksu Mariańskiego.

Несколько проблем по изучению древней русской литературы.

(Окончание.)

3. Публицистичность литературы и вопрос о литературе и письменности. Роль устного творчества в ассимиляции литературе идеологических мотивов.

Помимо неполной сохранности памятников, их слабой приуроченности по времени, месту и авторам, изучение древней русской литературы определяется и осложняется еще тем, что она в высокой степени публицистична. Историк не может не считаться с этим, как с фактором, создающим методологию, как с таким фактором, от того или иного понимания которого зависит взгляд на сущность »литературы« применительно к русской древности. Насколько литература совпадает с письменностью, насколько, иначе говоря, законно считать литературными памятниками памятники общественной мысли — такого рода вопрос встает при параллели с изучением литературы новой, литературы с совершенно иными составом и меркой, по которой памятники входят в этот состав. Внешним образом различие сказывается в том, что новая литература знает формы творчества, каких не знала или избегала древняя: роман, драму, стихотворную поэзию; те образцы их, какие скудно доходили до древнерусской книжности, не прививались там. Сценическое действо, например, своими элементами скорее могло отойти к скоморохам, т.-е. в область творчества устного, которое не желала поддерживать книга; с другой стороны, художественность формы терялась уже при переводе, как это было с византийскими стихотворными произведениями не только на русской, но и вообще на славянской почве (азбучные молитвы, хроника Манассии, Девгениево деяние, Похвала Богу Георгия Писида и т. д.). Дает себя знать также и отсутствие развитого беллетристического начала в древней русской литературе. Конечно, кое-какие проблески беллетристичности найдутся и в ней. Сюда следует отнести, например, изречения-характеристики в »Словах о злых женах«; уже в первой половине XIII века русский фольклор был, видимо,

источником таких характеристик: общеизвестное Моление Даниила Заточника ссылается в данном случае на мирские притчи. Сюда же нужно отнести в некоторых житиях эпизоды с участием беса, поскольку здесь четий интерес питается интригой борьбы подвижника с бесовскими кознями; в этой области легенды киевские, собранные в патерик Печерского монастыря, и новгородские вокруг личности архиеп. Иоанна-Ильи тоже восходят к домонгольскому периоду. Возможно и вполне естественно, что на четью занимательность бьют отдельные места в повестях. Но беллетристичность, как основание целого жанра, отсутствует вплоть до XVII в., когда она совпадает с прорвавшимся в книгу и ассимилирующимся здесь устным творчеством; задолго раньше уже была заметна смена литературных вкусов у образованного русского общества, для воплощения которой в жизнь недоставало лишь формы, и которая знаменовала собою предрасположение к »новой беллетристике«. Митрополит Даниил (1522—1539) в одном из поучений жалуется, что его современники ». . . вси отъ душеполезныхъ повѣстей уклоняются . . . вси смѣхотворцы, вси кощунницы, вси злоглагольницы . . .« Веком позже про то же самое московское общество можно было говорить, с определенным указанием на цикл облюбованных »смехотворцами« памятников литературы. ». . . И вы всѣ«, пишет (во второй четв. XVII в.) некий Иван Бегичев, обращаясь к кружку лиц московской служилой аристократии: »кромѣ баснословные повѣсти, глаголемыя еже о Бовѣ королевиче, и мнящихся вами душеполезные быті, иже изложено есть отъ младенецъ, иже о куре и о лисице и о прочихъ иныхъ таковыхъ же баснословныхъ повестей и смѣхотворныхъ писмъ — божественныхъ книгъ и богословныхъ дохматъ никакихъ не читали«.[1]) Привкус публицистичного восприятия преследует даже этих любителей новой беллетристики, если придавать значение фразе полемиста, что им ». . . мнятся (баснословные повести) душеполезны быти«. До XVII в. повесть, которая по существу должна была бы быть очагом беллетристики, насквозь проникнута публицистичным духом, совершенно исключающим новеллу, рассказ для рассказа; эпизоды в счет не идут, раз они обнимаются общею тенденцией произведения. Если мы

[1]) См.: А. И. Яцимирский, Послание Ивана Бегичева о видимом образе божием, М. 1898 (из Чт. в Общ. Ист. и Древн. Росс.), отд. отт. стр. 4.

возьмем наиболее возделанную полосу древней русской повести — повесть воинскую, располагавшую собственным запасом формальных (изобразительных) средств — то легко будет усмотреть, что эпические в ней отголоски берутся в меру лишь иллюстраций, служа господствующей, непременно общественной идее. За исключением воинской, оригинальная русская повесть развивалась медленно; ее образцы, примыкающие то к житию, то к поучению, не заходят глубже чем за XIV век.[1]) Относить это приходится главным образом насчет того соотношения средств письменной техники к возможностям литературного творчества, каким характеризуется пергаменно-уставный период. Под влиянием переводных образцов повесть и для оригинальных опытов ее на Руси приобрела тон, тенденцию византийские. Разрабатываются сюжеты либо о святынях, либо о царях и царствах; быт, личность с ее интересами, как отправные точки повествования, поглощены общественной, публицистической тенденцией. Задаваясь причиной, мы опять приходим к мысли об особенностях древнерусского состава грамотных людей, а оттуда и литераторов. По традиции византийского культуртрегерства в первые века книжности и под влиянием того, что книга и после служила всего меньше забаве или развлечению и всего более — серьезным идейным целям, в русло публицистики вошла между прочим и повесть. Высокую степень именно »публицистичности восприятия« можно уловить в кон. XV и нач. XVI в., на литературе отживающих республик, Новгорода и Пскова; легендарные, ими выдвинутые памятники, рассчитаны на идейную защиту от Москвы; между тем, вряд ли следует сомневаться, что для этого были использованы гораздо более древние устные легенды, еще не имевшие того тенденциозного оттенка, какой им придан впослед-

---

[1]) Отсутствие понятия о повести, как обособленном литературном жанре, явствует между прочим из отсутствия соответствующего термина; ср. наоборот последовательно проводимую терминологию церковных памятников. Под »повестью« же древнерусскими авторами и переписчиками обычно подразумевается не тот беллетристический жанр рассказа или новеллы, которому теперь иногда склонны приписывать, по аналогии с XVII—XVIII веками, слишком широкое развитие и для всей предыдущей традиции (Н. К. Пиксанов, Старорусская повесть, М. 1923): подразумеваются самые разнообразные произведения, в том числе летопись (»Се повести временных лет . . .«), сказание о Флорентийском соборе (»Повесть« Симеона Суздальца), канон (Иоанна Дамаскина, »повести от божественного писания«, названный так в Сказании об архиеп. новгородском Феодосии), поучение (Максима Грека: Повесть страшна и достопамятна о совершенном иноческом жительстве), и т. д.

ствии.[1]) К тому же времени, отчасти к той же и территории относятся следы католического влияния в литературе. Среди памятников его находится, как это недавно выяснено,[2]) особая редакция повести о Варлааме и Иоасафе: целью переделки популярнейшего четьего текста было ввести несколько богословских католических понятий в сознание русского читателя. Таким образом литературная, четья занимательность служила к сокрытию публицистической тенденции памятника, который должен был подготовлять почву для более открытой пропаганды, исподволь действовать на умы. Со стороны агентов католицизма этот прием понятен, вызываясь давнею изощренностью внимания русских книжников ко всему, что касалось ненавистного »латинства«.

После подобного рода наблюдений (число их можно было бы увеличить) методологу нельзя не согласиться с тем, что угол зрения на литературу древнюю должен быть иным, чем применяемый к новой литературе. Условность критерия литературности сказывается на каждом шагу знакомства с древнерусскими памятниками; иначе и быть не может по самой природе материала: с одной стороны налицо многовековое пренебрежение реалистическим в творчестве (быт и сатира на быт), воспитавшее и вкусы, и требования от литературы; с другой — постоянные обращения к легендарной фабуле, как к приему доказательства тех или иных идей. В таком конгломерате современная нам оценка того, что »литературно« и что »нелитературно« — совершенно неприменима. И действительно, факты влияния книжных церковных памятников (житие, проповедь, канон) на устное творчество служат самым решительным подтверждением их »литературности« за пределами грамотного класса людей. Лучшие образцы тому — в области духовного стиха, который питается и молитвой, и апокрифическим евангелием, и отреченным житием, и каким-нибудь »худым номоканунцем«. Народное христианство — вот тот мощный промежуточный фактор, соприкасающийся и с письменностью и с устным творчеством, который недостаточно принимают в рас-

---

[1]) О трансформации цикла новгородских легенд см. мою статью: Vasilij Kalika (l'histoire et la légende), в Revue des Études slaves, t. VII (1927), fasc. 3 et 4, p. 224—240.

[2]) См.: Н. П. Попов, Афанасиевский извод Повести о Варлааме и Иоасафе, Изв. отд. русск. яз. и словесн. Ак. Наук СССР, Ленингр. (1927 г.), т. XXXI, стр. 189—230.

чет те, кто склонен отрицать расширенно-литературное значение древнерусской книжности. Не следует забывать, что так называемое двоеверие было особенно жизненным и глубоким в первые века письменности, что оно тогда сказывалось в ряде ассимиляций христианства с языческими культами, ассимиляций прослеживаемых по текстам начиная с XIII—XIV в. (сближения рожаниц с Богородицей), что домонгольское церковное общество было огромным и пестрым по составу, юридически объединяя под своею защитой людей разных социальных слоев и разных племенных типов: представители культуры Киева или Новгорода здесь встречались, например, с провинциалом восточноруссом или даже с выкрестом инородцем. Неудивительно, если результат изустного претворения книги оказывался в этой среде, после ряда передач, крайне своеобразным. И конечно, литературность церковного (в обширном смысле) текста, здесь претворяемого, утрачена лишь позже, когда утрачен магический кристалл народного христианства для сознания класса, завладевшего в новое время литературой.

* * *

4. Вопрос о достоверности метода. Отношение к гипотезе, как к мыслительному приему, на фоне текстуального родства памятников (московская »тихонравовская« школа ученых); отношение к ней же при сюжетном разрезе исследования (А-ндр Н. Веселовский). Значение авторизации памятников или установления их »ближайшей среды«. Гипотетическая приближаемость к факту у Шахматова. Будущее конструктивной гипотезы, как мыслительного и исследовательского приема.

Соотношение гипотезы и факта должно явиться тою проблемой, которая естественно завершает предшествующие методологические наблюдения. По отношению к древности не могут не развиться иные приемы исследования, чем по отношению к новым эпохам. Перед глазами исследователя как бы лежит глубочайшая перспектива, затуманенная расстоянием во времени. Отсутствует обилие источников, воссоздающих обстановку любого литературного факта — обобщается, теряя в детальности, и его аналитическая разработка; понятно, что в таком разрезе операции с сентиметром в руках, сплошь и рядом доступные историку новой литературы, делаются невозможными, при неясности даже основных очертаний лиц и событий и их соотносительной величины. Но в то же время проистекающие отсюда трудности создают методологию, своеобразно осуществляющую искание достоверного. Помимо применимости ко

всякого рода частным случаям, гипотеза приобретает чрезвычайно важное принципиальное значение. Ей, как мыслительному приему, историк древней литературы обязан тем, что при всей археологичности предмета исследования этот последний поддается оживотворению. Историк не может не осмыслять для себя прошлое, критически оценивать и дополнять по домыслу свои первоисточники. Гипотеза оказывается, таким образом, своего рода призмой, сквозь которую ко взгляду исследователя проходит в связном виде исторический материал. Отсюда ясен принципиальный смысл гипотетического мышления, сводящийся к вопросу о творческом интересе (для древней эпохи) историко-литературного труда: дело не в том, близки или далеки во времени от исследователя те или иные лица, события, факты — а в мыслительных приемах, посредством которых подбирается и освещается материал. Хорошо известно, как иногда засушивают новую и новейшую литературную традицию механические нагромождения фактов, и даже не фактов, а всего того, что почему-либо кажется исследователю бесспорным.

Указанные выше особенности древней русской литературы в значительной степени обусловили научную школу исследования, которую по ее центральному деятелю было бы справедливо назвать тихонравовской, а по общему характеру — позитивной и текстуальной. Н. С. Тихонравов († 1893), автор рецензии на »Историю русской словесности« Галахова, как никто другой, дал методологическое обоснование работам своих учеников и последователей. На этой классической рецензии прежде всего ощутительно обнаруживается возобладавшая среди них историко-культурная точка зрения на литературу. В вопросе о литературности материала разница между Тихонравовым и Галаховым сводилась собственно к тому, насколько приложим взятый памятник к миросозерцанию, к его эволюции. Бытовые памятники должны присоединяться к литературе не механически, как было в разбираемой »Истории словесности« с памятниками права или церковной истории, а по мере связей с собственно литературными, т.-е. с теми, где если и преследовалась практическая цель, то посредством известной формы, по понятиям среды и времени художественной. Этого Тихонравов, впрочем, не договаривал, так как связи были очень косвенные, и миросозерцание составляло притом в его глазах самоцель, поясняемую литературными памятниками. На том,

что такое литературность древнерусских памятников, он в отзыве на книгу Галахова не останавливался, молча пользуясь эмпирическими признаками. Проблема формы вообще мало интересовала Тихонравова (вслед за ним холодно относилось к ней и большинство его учеников), заинтересованного прежде всего содержанием литературы в разрезе двух основных культурных влияний на древнюю Русь: византийского и западного. Нужно иметь в виду, что разработка истории формы требует, при развитом исследовательском аппарате, большого запаса наблюдений из разнообразных памятников; но это было не в средствах того времени, когда Галахов писал свою »Историю«, а Тихонравов — свой отзыв. Сущность тихонравовских возражений против Галахова была бы неприменима к истории литературных форм, и она действительно направлена совсем в иную цель: она бьет по эстетической критике памятников, которая у Галахова шла рядом со включением в литературу материала типа исторических актов. Таким образом, взгляды Тихонравова-методолога образовались под углом реакции на тогдашнюю эстетическую критику. Его историко-культурная точка зрения, предполагающая расширенный объем истории древней литературы, вызывалась не только необходимостью заполнять пробелы (момент сохранности памятников), но и публицистичностью книжного творчества. Другой вопрос — насколько глубока получалась историко-культурная перспектива в работах членов тихонравовской школы. Резче всего это видно из взятой в целом физиономии и техники исследования. В то время, как у самого Тихонравова черновая работа (огромная, особенно если принять во внимание неразработанность многих источников) скрыта в примечаниях, а в тексте исследования даются уже историко-литературные из нее выводы, у эпигонов школы вперед выступает редакционно-текстуальный анализ, причем выводы делаются не в манере широких обобщений, а всего лишь в меру выработки затронутых частных вопросов. Ни один из них не решился на крупную синтетическую работу масштаба »Отреченных книг древней России«; приемы синтеза, воспринятые Тихонравовым прежде всею от Ф. И. Буслаева, с обращением к культурным параллелям, у них заметно отходят на задний план.[1]) Устремление к деталям текста,

[1]) Говоря, напр., о Толковой Палее, Тихонравов приводит параллель между нею и западно-европейскими Bibliae pauperum — параллель,

остановки на предварительном разборе редакций и взаимоотношений между разнородными памятниками, подбор возможно большего количества списков, чем-либо отклоняющихся друг от друга — делали то, что гипотезе здесь отдавалось второстепенное, если не самое последнее место. Типичным для психики исследователя-текстуалиста приемом будет здесь сознательное устранение предвзятости: приступая к памятнику, стараются смотреть на него, как на материал, оформляющийся лишь по мере восстановления текстуальной истории. Таким образом невольно начинает игнорироваться польза предпосылки к исследованию. Неудивительно, что это может войти в своего рода научную привычку, так как нередко конечною целью исследования становится именно история текста, не открывающая за собою каких-либо дальнейших перспектив. В результате получается всего лишь филологический препарат, неизвестно еще, пригодный ли для реконструирования живой историко-литературной ткани. Последовательный текстуалист упускает из вида, что имея дело с памятниками, а не с людьми и событиями в первую очередь, он отделен рядом условных величин от подлинной действительности, к которой должно стремиться изучение. Всегда оказывается под вопросом, насколько текстовые препараты истории литературы соответствуют жизненным моментам литературного процесса. Беря по необходимости сохранившееся, не следует, разумеется, обольщаться мыслью, будто бы анализ захватывает литературное прошлое во всей полноте или же интимности. Шла жизнь по иным, более сложным линиям и была гораздо насыщеннее текущими обстоятельствами, чем в состоянии охватить или осветить историко-литературный препарат. Единственным коррективом, которого как раз избегает текстуалист, служит по самому существу дела наблюдение, где только возможно, не над на-

---

вряд ли в его собственных глазах претендовавшую на серьезное аналитическое значение; но она культурно освещает однородные явления на западе и на востоке Европы. Созвучно с А-ндром Веселовским Тихонравов располагал поэзию отреченных книг на обширном общеарийском фольклорном фоне, с привнесением туда и неарийских странствующих мотивов (очерки III, IV, V). Чувствительность к диапазону единого миросозерцания, к внутренним переменам в пределах одного литературного цикла заставляет Тихонравова сделать соответствующий упрек Галахову; напр. по поводу понятий о загробной жизни: ». . . как много исторических перемен должно было совершиться в народном быту и общественном сознании, чтобы на месте хождения Богородицы стала притча о бражнике!« (Сочинения, т. I, стр. 106.)

мятником (как центральным объектом внимания), а над той или иной личностью или над кругом лиц в их литературной обстановке.

Не менее поучительна судьба другого часто применяющегося метода: когда памятники слова берутся по родственности между собою не текстуальной, а сюжетной. Такого рода метод применялся особенно при параллельном изучении материала письменности с фольклорным (не говоря о чисто фольклористических работах, где он всецело господствует). В России крупнейшим и весьма типичным представителем так называемой школы литературного заимствования был бесспорно также один из учеников Буслаева, акад. А-ндр Н. Веселовский.[1]) На длинном ряде его монографий, касавшихся древней русской литературы, мы можем видеть, насколько успешно вообще выполнима задача исследователя в обратном, чем у текстуалиста, разрезе: заведомая историческая связь между текстами присутствует здесь разве в виде исключения, являясь не отправным моментом, а наоборот — искомым. Основной недостаток метода указывался неоднократно и в западно-европейской (напр. у J. Bedièr), и в русской науке (здесь всего больше применительно к Веселовскому — Ягичем, Соболевским, Лободой и другими). »Иногда«, пишет о Веселовском И. В. Ягич: »при очень многочисленных параллелях, приводимых для объяснения данного вопроса, в конце концов все-таки не знаешь, как понимать это накопление параллелей, какое придавать им по замыслу автора значение«.[2]) Параллели, взятые из какой угодно части света, у какого угодно народа, Веселовский способен, типично и для западно-европейского »бенфеиста«, поставить рядом, не задаваясь их взаимоотношением по месту и времени. Отсутствие вывода входит в привычку исследователя, но читатель — неудовлетворенный, если только он не готов удовольствоваться преклонением перед небывалой эрудицией ученого — остается в положении человека, очутившегося в огромном складе разного рода продуктов, среди которых много редких и экзо-

---

[1]) Характеристику метода Веселовского дают: А. И. Соболевский, Памяти А. Н. Веселовского (по случаю десятилетия со дня его смерти: 1906—1916), изд. II отд. Р. Ак. Н., Петр. 1921; Е. В. Аничков, А-ндр Веселовский, Slavia, Ročník I, 2—3 и 4 (Прага, 1922 и 1923); Б. М. Энгельгардт, Александр Николаевич Веселовский, изд. »Колос« (Биографическая библиотека), Петр. 1924.

[2]) История славянской филологии (СПб. 1910), I, 1, стр. 845.

тических, но которые в массе своей — сырье, механически собранное и нагроможденное. Степень доказательности метода видна из того, что Веселовский не переходит в большинстве своих сравнительно-исторических работ за пределы предположения, да и то не мотивированного детально. Даже в тех случаях, когда сюжетные ситуации скрещиваются с именами рассказа (как то было, напр., с параллелью былины о Садке и старо-французского романа о Sadoc'e »Tristan le Léonois«), оставалось все-таки невыясненным, каким путем произошла прививка иноземного памятника или хотя бы изустных его пересказов, переиначиваний. Неясность путей, по каким шло заимствование, обесценивает, в смысле их доказательности, самые параллели. Воспитанная же методом полная свобода гипотетических толкований является, конечно, фактором нежелательным для исследовательской психики. У всех на виду примеры, когда она способствовала возведению любого письменного памятника, любого устного предания к той этнической среде, какая данным ученым специально обследовалась. Одни, как Стасов или Потанин, объясняли все тюркскими и монгольскими влияниями, другие, как в молодости Вс. Миллер, вели влияние на русский фольклор с Кавказа; третьи, специализировавшиеся на еврейской традиции, склонны все возводить к Талмуду и родственной ему литературе; и т. д.

Веселовского нельзя упрекнуть в узости кругозора; стремление найти путь странствующего сюжета также ему не чуждо; мало того, в теоретических своих высказываниях он ограничивал область заимствования.[1]) Но, оперируя с термином »встречных течений« в международной литературе, он приходил, может быть, сам того не замечая, к признанию бездоказательности своего метода, поскольку последний прилагался к конкретным литературным проблемам.[2])

---

[1]) Ср. у Е. В. Аничкова, цит. статья, Slavia I, 4, стр. 528—529.

[2]) Занятия в области памятников древней письменности, с фольклорными им соответствиями (проводимые в международном масштабе) были, как известно, срединным этапом его ученой деятельности. Примирение с хронической недоработанностью вопросов, несмотря на массу привлекавшегося к делу материала, следует объяснять не иначе, чем исходя из личной исследовательской психики Веселовского. Генезис поэзии — вот изначальный интерес, в сфере которого совершенно расплывается, в зависимости от необозримой широты перспективы, любое конкретное задание. На попытках осветить доисторический синкретизм жанров образовалась методология, своеобразно дополнившая и поддержавшая у Веселовского применение теории литературного заимствования.

Идеальною для плодотворного соотношения гипотезы с фактом должна явиться в литературной науке та методология, где элементы рабочей гипотезы, подготовляющие появление того или иного факта, были бы тесно и органически связаны с принципом авторизации памятников. Органический характер этой связи понятен и закономерен: личность, вместе с окружающей ее средой, является ограничительной инстанцией, которая придает гипотезе доказательность, так как суживает круг наблюдаемого действия памятника и перед исследователем ставит вполне определенные задачи; в свою очередь, домысел обычно помогает процессу авторизации — в тех случаях, когда показания памятников, сами по себе взятые, бессильны создать новый литературный факт. Этим объясняется, почему иногда при давнем знакомстве с памятником долго не достигалась »авторизация« (понимаемая здесь в обширном смысле слова): не было сделано сопоставлений, предваряемых рабочею гипотезой и стремящихся к достоверности. В качестве ярких примеров авторизации за последние десятилетия можно указать хотя бы на усвоение А. А. Шахматовым Сказания об Египте — Мисюрю Мунехину, на определение А. И. Соболевским переводчика повести о взятии Царьграда в хронографе не деленном на главы (кн. А. Курбский), на отождествление справщика Синайского патерика »Досифея Осифитие« с Досифеем Топорковым, принадлежащее И. М. Смирнову, и т. д., и т. д.

Русскою наукой за последние же десятилетия накоплены ценные, хотя и несколько односторонние (по господствующему материалу) образцы гипотетического приближения к факту, образцы, которые наблюдаются притом скорее в процессе, чем в завершении. Именно, особенности метода Шахматова, как исследователя древней русской письменности, образовались благодаря его исключительному углублению в летописание, оказавшемуся сродным с его же методологическими навыками, как лингвиста. Не в одной области языка условия благоприятствовали построению праформ: синхронистичная природа летописи,

---

Отсюда удовлетворенность обобщающими терминами, как »встреча« мотивов или сюжетов, удовлетворенность бесконечными литературно-фольклорными параллелями, лишь бы это накопление демонстрировало, что возможность заимствования или самостоятельного сосуществования налицо, что литературная эманация повсеместна — »дух дышит, идеже хощет«.

обилие и разносоставность ее текстов, осознанная традиция, присущая летописному делу, глубокая публицистичность — вот на каких свойствах материала воспитывалась характерная шахматовская реконструкция не дошедших формаций летописи. Во многом, конечно, Шахматов ошибался, сам подчас меняя точку зрения на исследуемый вопрос и по новому строя сеть своих соображений. У самого Шахматова применение его исследовательской манеры по отношению к Толковой Палее оказалось неудачным в связи с иною природой памятника — несинхронистичного, лишенного летописной традиционности, а отсюда — прозрачности состава;[1]) это могло бы послужить хорошим предостережением, если бы только была в том необходимость, чтобы не применять в чистом виде шахматовскую методологию к внелетописному материалу. И все же, за всеми оговорками, как принцип, ставящий во главу угла рабочую гипотезу, сущность шахматовского метода заслуживает полного признания и имеет, вероятно, перед собою блестящее будущее.

Мы привыкли верить показаниям фактического характера, отправляясь от них там, где они встречаются. Но совершенно ясно, что достоверность показаний, идущих от древности, сама по себе требует проверки. Мало ли прямых, казалось бы, свидетельств безвозвратно погребено научным анализом, или же взято под сомнение! Исследовательская мысль властно вторгается сюда, устанавливая рядом с сознательным подлогом фактов их непроизвольно неверное освещение по непониманию происходившего. Эксперимент, дающий естествоиспытателю высокую объективность знания, лежит вне возможностей исторической науки, почему и понятно, что факту историографии в несравненно большей степени присуща связь с гипотетическим мышлением исследователя. В том, что историко-литературный факт контролируется нашим анализом, нужно видеть главное и решительное оправдание реконструкции факта путем гипотезы и при помощи тех или иных фактических намеков, даваемых древней традицией. Оперируя не столько около памятников, сколько около исторических лиц (и таким образом прямее подходя к проблеме создания подлинной истории литературы), исследователь получает значительную гарантию точ-

[1]) А. А. Шахматов, Толковая Палея и русская летопись. Сборник статей по славяноведению, I (СПб. 1904).

ности своих наблюдений. В какой-нибудь одной точке поля исторического зрения совпадений ожидать почти что не приходится, а потому скепсис в этом направлении гораздо менее обоснован, чем опирающаяся на совпадение имен, дат, местностей, приемов литературного творчества конструктивная гипотеза. Несомненное падение числа текстуальных открытий с одной стороны и возрастающий благодаря накопляемому опыту психологизм исследования с другой — убеждают, что путям литературно-археологической науки суждено сойтись на детальной разработке давно открытого материала. Обеспечить прочность вывода в каждом отдельном случае зависит уже от личной исследовательской интуиции, но — как бы то ни было — радость и успех творчества, сопутствующие сближению гипотезы с фактом, могут явится здесь непреходящим условием в большей степени, чем было доступно при тех методах, когда гипотеза была или сведена к минимуму, или действовала где-то в пространстве малообоснованных возможностей.

Москва, 3. XII. 1927 г.

А. Седельников.

Архитектоническая основа романа „Война и мир“.

Говоря об архитектонике литературно-художественного произведения, мы имеем в виду манеру писателя созидать отдельные образы, сводить их в группы и, наконец, из этих групп строить одно гармоническое здание при помощи той или иной внутренне-образующей силы.

Изучение „Войны и мира“, этого величайшего творения, со стороны архитектонической находится сейчас в самой начальной стадии.

Затронуты вопросы о первоначальной схеме романа,[1]) о композиции образов,[2]) об образовании больших „масс“ этого удивительного произведения,[3]) но вовсе еще не стоит в поле внимания научного анализа, что именно является архитектонической основой „Войны и мира“. А между тем вскрытие ее дает возможность понять и распределение характерных психологических черт между главными лицами изумительной портретной галлереи, и расположение основных масс романа, и группировку основных фигур.[4])

---

[1]) Н. Страхов первоначальную схему „Войны и мира“ увидел в „Капитанской дочке“ („Критические статьи“ I. Об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. К. 1908. Стр. 221 и след.); сравнительно недавно Н. Чечулин усмотрел ее в „Базаре житейской суеты“ Теккерея („Основа общего плана романа „Война и мир“. „Исторический вестник“. 1926. № 12). Ср. по этому поводу мысли Н. Н. Апостолова („Лев Толстой над страницами истории“ М. 1928. Гл. X). Н. Н. Апостолов не без основания подрывает связь в преемстве между „Капитанской дочкой“ и „Войной и Миром“: „Капитанская дочка“ написана в тонах романтизированного реализма . . . „Война и Мир“ подчинена более всего сентиментальному натурализму. Толстой идет за традициями семейно-бытовой прозы 18 и 19 вв., за Стерном, Диккенсом и Стендалем, минуя каноны романтической школы.“ (стр. 244 –245).

[2]) В. А. Дружкина. Портретная живопись в романе „Война и мир“ („Толстой и о Толстом“. Сборник 2-ой М. 1926, стр. 140—164).

[3]) Предисловие А. Е. Грузинского к новым текстам из „Войны и мира“ (Библиотека „Огонек“. № 108—109. М. 1926).

[4]) Когда настоящая статья была написана, вышла в свет книга В. Шкловского „Материал и стиль в романе Льва Толстого „Война и Мир“. М. 1928. Некоторая нарочитость при анализе исследуемого романа привела автора к утверждению, что „Лев Николаевич Толстой хотел на-

Об этом произведении можно говорить, как о монументальном творении, где нашли применение приемы писателя-жанриста, живописца-портретиста, скульптора-ваятеля и архитектора-конструктора масс.

Не даром исследовательница композиционных приемов Толстого в ,,Войне и мире" В. А. Дружкина озаглавила свою статью, посвященную этому вопросу, так: ,,Портретная живопись в романе ,,Война и мир", — и не даром один из приемов Л. Н. она назвала ,,архитектурно-стилистическим", подметив умение писателя, несмотря на многочисленность действующих лиц, разместить их так, что, с одной стороны, каждое из них сохраняет выпуклую обрисовку, а с другой — они ,,не зацепляют" друг друга, хотя и группируются близко, как, например, Андрей Болконский и Пьер Безухов в отношении к Наташе.

Очень удачно подметил покойный академик Д. Н. Овсянико-Куликовский прием изображения Андрея Болконского после его внезапного приезда к отцу, который считал его убитым, во время рождения ребенка и смерти жены:[1]) ,,Здесь натура князя Андрея ярко выступает как бы сама собою из краткого, почти лаконического изображения того, как он себя держал в это время . . . Взамен психологического анализа Толстой с огромным эффектом применяет здесь другой прием — так сказать скульптурный, пластический — тот самый, которым изображен (не только в этих сценах, но и вообще) старый князь Болконский."

Вот почему, если о ,,Войне и мире" принято говорить, как о лучшем завершении традиций Пушкинской школы, с священным трепетом относившейся к художественному слову, то об этом произведении можно сказать больше, как о кульминационном пункте русского искусства, нашедшего в слове для своего выражения то, что при других условиях искало бы того же в камне, звуке или красках.

писать роман дворянский, он хотел компенсировать сознание своих современников за крымское поражение. Его Бородино это — Малахов курган, и Наполеон I связан с Наполеоном III так, как он связывался в сознании французских либералов, борющихся с бонапартизмом" (стр. 239). К сожалению, автор не дает никаких фактических данных для обоснования этого гипотетического построения, а потому мы не останавливаемся на этой мысли.

[1]) Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собрание сочинений. III. ГИЗ. 1923. Стр. 89.

Как же строил это бессмертное здание Толстой?

Совершенно обратно работе архитектора, приступив к писанию романа, он вовсе не имел цельного выработанного плана всего произведения. Даже самое название „Война и мир" родилось только в процессе работы,[1]) при чем первоначально превышали интересы „Мира", и только тогда, когда был создан ряд вариантов картин „Мира", начали вырисовываться картины „Войны", много раз и разнообразно переделывалось начало романа, намечались самые разнообразные положения одних и тех же действующих лиц, чтобы из этих положений выбрать в конце концов какое-нибудь одно.

Андрей Болконский первоначально должен был погибнуть в Аустерлицком сражении; в первоначальной характеристике Пьера значится — „храбр, но бестолков и никому никакой пользы", он еще вовсе не выделен из ряда бытовых персонажей, и его черты сливаются с чертами другого намеченного лица, потом не вошедшего в роман, — „Петра"; когда начало романа было уже в печати, впервые только в марте 1865 г., устанавливается отношение Толстого к Наполеону и Александру I, о которых в начальных конспектах романа нет ни одного слова; в первоначальном, уже хорошо разработанном рассказе о пребывании Пьера в плену у французов совершенно отсутствует фигура Платона Каратаева и т. д.

Знакомясь с конспектами, сценами и набросками характеристик отдельных лиц, что Толстой делает по системе своего рода „формуляров" для всех тождественнаго типа [имущественное (положение), общественное, любовное, поэтическое,

[1]) Впервые этот роман так называется в письме А. Е. Берс к Толстым от 9 марта 1867 г. Таким образом нужно признать ошибочной мысль М. А. Рыбниковой: „Замышляя такую громаду, как „Война и мир", Толстой, конечно, должен был иметь в голове стройный план романа" („По вопросам композиции". М. 1924. Стр. 5).

Говоря о плане романа, мы в этом случае пользуемся данными, приведенными А. Е. Грузинским в указанной выше работе. Наше мнение вовсе не противоречит тому, что Толстой подошел к материалу 1812 г. не случайно. Дело в том, что когда Л. Н. начал над ним работать, он, как это мы доказываем, сделал образы „Войны и мира" собеседниками остро-одинокой своей совести в глубинах глубин ее переживаний, на которые он не находил отклика среди близких людей и, прежде всего, у Софьи Андреевны. Вот почему он долго не дает названия своему детищу, вот почему у него в процессе работы резко меняются группировки действующих лиц и их роль в романе, вдруг вырастает новый собеседник, когда психологически исчерпаны ранее выведенные, вот почему таким своеобразным является конец романа, не видневшийся первоначально в его плане.

умственное, семейное], можно прийти к следующему заключению.

В-опервых, сначала встала перед Толстым бытовая сторона жизни, овладевшая им, благодаря богатству накопленного им материала.[1]) Здесь для художника было столько разнообразных и красочных лиц и по воспоминаниям о прошлом, и по живым наблюдениям над современностью, его окружавшею, что его отделка сырого материала прежде всего имела в виду выделение хорошо обработанных частей.

Во-вторых, по связи с этой работой, естественно, на первый план выдвинулись сцены „Мира", где первоначально намеченное главное лицо романа, будущий Пьер Безухов, по признанию самого Толстого, отступил на задний план, а на первый план „стали с равным интересом и молодые, и старые люди, мужчины и женщины того времени".

В-третьих, когда эта часть романа была освещена, Л. Н. начал обрабатывать сцены „Войны", при чем далеко не сразу определилось его отношение к Наполеону,[2]) совсем не ясно еще было первоначально, какое место в общем ходе событий должна была занять „отечественная война",[3]) Платон Каратаев совершенно не виднелся в общем плане работы.

Наконец, в-четвертых, когда перед художником стали образы „Мира" и „Войны", созданные его творческою фантазиею, в силу свойства натуры писателя, заставлявшей все изображаемое жить только в кругу ее тревожных запросов, отдельные части начали находить свое место: сообразно исканиям невольно замыкавшейся в себе непомерно тревожной совести, через образы устанавливалось равновесие

---

[1]) М. Цявловский совершенно справедливо появление первых кирпичей для грандиозного здания связывает со следующими словами С. А. сестрам, еще 11 ноября 1862 г.: „Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить, Левочка, может быть, нас опишет, когда ему будет 50 лет." Теперь известно, какой богатый материал в качестве живой натуры для романа „Война и мир" дала Толстому семья Берс (См. Т. А. Кузминская „Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1868". Лгр. 1925—1926. Т. I—III).

[2]) О нем определенное суждение сложилось только в начале 1865 г. (См. запись в дневнике 19 марта 1865 г.).

[3]) „Отечественная война" стала в центре внимания только весною 1866 г. Во второй половине апреля или первой половине мая этого года Толстой писал Фету: „Я столько положил труда, времени и того безумного авторского усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание, особенно будущее, 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь суждения даже тех, кем дорожу".

между личностью творца и окружающей жизнью, и роман в своеобразном сочетании этих образов явился ответом на то, как осмыслить взаимоотношение микрокосма и макрокосма — человеческой души и необъятного, бесконечного, таинственного мира.

Так созидался Толстым благороднейший храм, где значение целого вырисовывается не в начальном плане работы творца, а в окончательном оформлении, когда все отдельные обработанные части и детали под давлением искавшей равновесия совести писателя стали на свои места и образовали гармонически связанный мир образов. И здесь динамически развертываемые картины „Войны“ растворили человеческую волю в воле Провидения, а бьющие полнотою жизни картины „Мира“ начертили для человека круг той свободы, за гранью которого он обыкновенно не видит скованности своей с тайной мировой железной необходимости. Так в архитектонике романа ясно обозначилась антитеза „Войны“ и „Мира“, а в разорванности души между ними наметилось разрешение проблемы внутренней свободы через заключительный образ Каратаева.

Как известно, Толстой начал писать свой роман, когда считал себя находящимся на вершине счастья. Страницы его дневника за 1862 год, когда он женился, и 1863, когда он приступил к работе над началом „Войны и мира“, пестрят словом „счастье“.[1]) „Неимоверное счастье“ – записывает он в дневнике 25 сентября 1862 г. через два дня после женитьбы; „счастье семейное поглощает меня всего“ — отмечает он 5 января 1863 г.; „мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю“ — читаем запись 8 февраля того же года. В письме из Москвы 8 декабря 1864 г. Толстой писал жене: „Как, Таня, мне хочется закричать: „мама, я хочу в Ясную, я хочу Соню“. Начал писать тебе не в духе, а кончаю совсем другим человеком. Душа моя милая. Только ты меня люби, как я тебя, и все мне ни по чем, и все прекрасно“. Достаточно этих слов, вырванных из целого ряда аналогичных записей, чтобы судить о настроении Толстого. И все же в сложной натуре Толстого **так** было только на поверхности его души, в то время как в глубинах шло другое течение, которое иногда

[1]) См. первую главу книги Н. Н. **Гусева** „Толстой в расцвете художественного гения“. 1928.

вдруг прорывалось наружу, и напрасно он после старался затягивать трещину потоком слов и самоувещеваний; задержать и заглушить в себе это подпочвенное течение он не мог. С особенной силой это сказалось в записи после рождения первого ребенка: „Отдать все — не холостую кутежную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме своей семьи, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего того, что освещает семейную жизнь, и без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуи и т. д. Мне ужасно тяжело... Вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично“ (Разрядка наша).[1])

Насколько Толстой в глубине своей души чувствовал себя одиноким, показывает написанное, но по каким-то причинам не отправленное письмо Ю. Ф. Самарину (10 января 1867 г.).[2]) „У меня есть мои пристрастия, привычки, мои тщеславия, сердечные связи — пишет он здесь — но до сих пор — мне скоро 40 — я все таки больше всего люблю истину и не отчаялся найти ее, ищу и ищу ее. Иногда, и именно никогда больше, как нынешний год, мне не удавалось приподнимать уголки завесы и заглядывать туда — но мне одному и тяжело, и страшно, и кажется, что я заблуждаюсь. И я ищу помощи и почему то невольно один вы всегда представляетесь мне. Уже сначала осени я собирался увидать вас и написать, но все откладывал — но теперь дошло до того, что я пишу свой роман, пишу другое... „надо написать Самарину, надо написать“. Ну вот я и пишу.“

Если мы вспомним, что к тому же времени относится запись в дневнике С. А. Толстой (12 января 1867 г.): „Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет“, что

[1]) В только что вышедшем „Дневнике“ С. А. Толстой (1860—1891. Под. ред. С. Бахрушина и М. Цявловского) в записи 26 марта 1865 г. читаем: „Левочка поэтически любит жить и наслаждаться один; может быть оттого, что в нем поэзия слишком хороша и слишком ее много и он дорожит ею. Это и меня приучило жить своей отдельной, маленькой жизнью души“.

[2]) Ср. слова письма к Фету от 23 января 1865 г.: „Я рад очень, что вы любите мою жену; хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все таки, вы знаете, жена“. Письмо к Ю. Ф. Самарину цитируется по книге Н. Н. Гусева „Толстой в расцвете художественного гения“. Стр. 31.

с весны 1865 г. его роман — психологическая история Александра и Наполеона, что именно в это время он работает с каким-то бешеным напряжением сил, то, может быть, правильным будет следующее заключение: Толстой ушел в роман, потому что в нем и через него нашел выход своему одиночеству, потому что его образы сделал собеседниками своей тревожной души о тайне и смысле жизни. Это хорошо видно хотя бы по той страстной оценке, которую он дает в дневнике Наполеону и Александру: первый — „ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество“, второй — „победа, торжество, величие, grandeur, пугающие его самого, и отыскивание величия человека — души. Путаница во внешнем, а в душе ясность“. (19 марта 1865 г.).[1])

В такой антитезе мы ни мало не узнаем ни Наполеона, ни Александра, но Толстой повернул их к себе теми сторонами характера, которые были ему интересны, и, увеличив их до непомерных размеров, подошел к ним с пытливыми вопросами своей тревожной души о тайне и смысле жизни. Ни тот, ни другой, конечно, не могли дать ему нужного ответа. Понадобились новые собеседники. И их мы видим в поблаженном Андрее Болконском, Пьере Безухом, Кутузове и Платоне Каратаеве.[2])

Так постепенно вырисовывался для Толстого основной план романа. Напоминаем, что Каратаев явился одним из поздних собеседников романиста. Какое же значение тогда должны были иметь судьбы ранее задуманных фигур Болконских и Ростовых, светского аристократического общества петербургских салонов?

[1]) Насколько роман был для Толстого интимным, внутренне-необходимым делом, показывают следующие слова его письма (к Л. А. Берс): „Меня не занимает никогда, как я напечатаю. Только бы было написано, т. е. конечно для меня, чтобы меня не тянула больше эта работа, и я бы мог заняться другой“ (ноябрь — первая половина декабря 1865 г. Разрядка наша).

[2]) Одной из особенностей архитектоники „Войны и мира“ является то, что исторические лица: Наполеон, Александр I, Кутузов, взятые изолированно, вне той концепции, которую мы намечаем ниже, перестают жить. Наполеон кажется просто глупцом, Кутузов - все наперед знающим и понимающим. В общем же, так сказать, спектре образов, который мы обозначаем ниже, Наполеон, как и другие два исторические лица, занимают определенное место, составляя необходимую архитектоническую часть, повернутую к читателю одной определенной стороной.

Ответ простой: тайна жизни, по краю которой ходят Наполеон, Александр I, Пьер, Андрей Болконский, Кутузов и Платон Каратаев, вовсе не у всех перед глазами: одни, как Николай Ростов, честно исполняют свой долг и от всех навязчивых вопросов отмахиваются строгим подчинением существующему порядку вещей, другие, как кн. Василий, суживают свою жизнь до выполнения правил узкого круга, ко всему, кроме себя, безразличных людей высшего светского общества.

Рисуя целую вереницу бытовых образов, Толстой хочет знать, насколько прочны основы жизни тех, кто принимает жизнь такою, как она есть, и не подозревает, что она есть некая тайна.

Вот перед нами два женских образа: Элен и Наташа. Обе — женщины par exellence. Обеим присуще кокетство. Обе любят любовь, победы, ищут ухаживаний, умеют очаровывать, каждая в совершенстве владеет силами женского инстинкта, но у Элен весь ассортимент женских чар проистекает из мутного источника похотливости, тогда как у Наташи все очарование, которым она обдает мужчину, идет от космической силы страсти, ищущей своего завершения в семье, на которую она переносит все могущество своей любви до потери сознания, как перед тем она готова пожертвовать всею своею жизнью, раз это надо, избраннику сердца, герою.

Так психологический анализ помогает Толстому дойти до корней явления и дать ответ на то, где за повседневными проявлениями жизни, иногда будто одинаковыми или мало разнящимися друг от друга, кроется прочный фундамент живой действительности, а где — подгнившая основа. В архитектонике романа, как видим, это дается путем антитезы.

Впитывая в себя огромный исторический материал, Л. Н. пользовался историческими событиями и исторической обстановкой только как удобной формой для выражения своих глубоких переживаний.[1])

[1]) В письме к Н. Н. Страхову, после напечатания „Анны Карениной", в 1876 г. Толстой писал: „Если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою для выражения себя" (разрядка наша). См. Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 гг. Собранные и редактированные П. А. Сергеенко. К-во „Книга". 1910.

Интересно, что первый угадавший в Толстом гениального писателя Н. Н. Страхов, считавший „лучшим своим делом" свою „критическую поэму в четырех песнях — Критический разбор „Войны и мира", много позднее, перечтя этот замечательный роман, писал Л. Н. (27 июля 1887 г.): „Если бы я теперь писал свои статьи об вас, то написал бы иначе. Я не видал тогда, что Вы уже тогда выступили мыслителем и нравоучителем, с полным мировоззрением — так точно, как выступаете теперь. Если Вы давно не читали „Войны и мира", то убедительно прошу и советую Вам — перечтите внимательно это первое и полное выражение стремлений всей Вашей души: Вы увидите, что в сущности они те же, что и теперь, и выражены часто с бесподобною силой и ясностью. Вы вывели на сцену целую толпу людей религиозных, Вы показали, как растет и живет в душе религия, и какую силу она дает людям. Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее, как следует, да и Вы не умели — так мне кажется".[1])

Сам Л. Н. иногда готов признать, что именно историческая сторона романа не совсем его сфера. Так, еще в начале своего писания он сообщал жене из Москвы (8 дек. 1864 г.): „Я помню, как ты мне сказала, что мое военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше."[2]) В наброске, который должен был явиться предисловием к роману, читаем: „Я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12 года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной... Теперь... я решился... писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет от всего этого, и не давая моему труду никакого наименования" (Разрядка наша). В этом же предисловии Л. Н. признавался, что его приковали к писанию „известные стороны жизни, ничтожные для других",

---

[1]) Толстовский музей. II. СПБ. 1914. Стр. 355.

[2]) „Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, и с которой я не справляюсь, как кажется" (Из письма к А. А. Фету от 7 н. 1866 г. См. „Письма Л. Н. Толстого". 1848—1910 г. г. Собранные и редактированные П. А. Сергеенко. К-во „Книга". 1910).

которые „по особенностям своего развития и характера“ он один „считал важными“.

Нам кажется, достаточно и этих цитат, чтобы признать что „историческое“ в данном случае было только удобной формой для выражения сокровенных переживаний и идей. Как, однако, тогда понять слова известного послесловия: „Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами“? Очень обстоятельный анализ исторической стороны романа, произведенный К. Покровским, показал, что этих мест у Толстого очень немного: гораздо чаще писатель старался повернуть историческое лицо к читателю тою стороною, какая ему необходима для иллюстрации общей концепции романа. Такими выступают перед нами Наполеон, Александр, Кутузов, Сперанский, Коновницын, Дохтуров, Милорадович, Ермолов, Раевский и др. Пожалуй, единственными верными исторической действительности портретами вышли масон Баздеев и Растопчин, так как в данном пункте „идеология романа“ как раз нащупала в комплексе явлений 1812 г. то, что ей было нужно: убежденного защитника необходимости „обновления своего внутреннего человека“ и карикатурного носителя идеи le bien publique.

Это о лицах исторических.[1]) Что же сказать о вымышленных образах, умело вдвинутых в исторические рамки?

Там, где Толстой дает дворянский быт (старик Болконский, Николай Ростов, кн. Василий и т. п.), он, рисуя его, как тонкий наблюдатель жизни, нередко по современным ему лицам, не расходится с эпохой, так как 1) быт есть нечто неподвижное, чрезвычайно медленно поддающееся эволюции, а потому, часто зарисовывая своих современников (младшее поколение Ростовых: Наташа, Вера, Соня; Борис, Дру-

---

[1]) В только что опубликованных письмах Толстого к Бартеневу мы встречаемся с интересным случаем, как в великом писателе историк затушевывается художником, можно сказать, бессознательно. Читатель помнит в романе эпизод бросания бисквитов народу Александром I. Как известно, за эту сцену Толстому досталось в свое время от П. А. Вяземского, считавшего такую сцену неправдоподобной. И вот в двух письмах к Бартеневу Толстой уверяет, что он почерпнул этот эпизод „из книги Глинки“. Мало того. Он настойчиво просит Бартенева отыскать это место у Глинки (у него в деревне эта книга затерялась) и напечатать. Однако такого эпизода не оказалось (Сб. Толстой и о Толстом. 4. 1928. Стр. 8—9 и прим. Цявловского к письму № 6.).

бецкой, Ахросимова, внешний облик кн. Андрея и т. п.), Л. Н. не впадает в противоречие с исторической действительностью, а 2) изображение дворянского быта, как увидим, занимало определенное место в архитектонике романа, указанное настроением одинокой тревожной совести писателя, а не интересами бытописателя. При этом любопытно, самый быт дан в двояком преломлении: положительном (семья Ростовых и Болконских) и отрицательном, почти сатирическом (участники петербургских салонов, кн. Василий, Берг и др.), что опять таки было вызвано требованиями архитектоники, проистекавшей из деятельности все того же источника: совести, искавшей прочных основ жизни и подходившей к ней сквозь антитезу ярко набросанных бытовых картин (Москва-Петербург).

Там же, где Толстой дает простор своим сокровенным переживаниям, составляющим основное ядро романа, там резко нарушаются исторические линии великого произведения, и только удивительное убеждающее читателя мастерство чародея не делает расстояния по времени между изображаемой эпохой и такими лицами, как Андрей Болконский, Пьер Безухов и Платон Каратаев.

Об этом прекрасно сказал в свое время в блестящей статье „О романах гр. Л. Н. Толстого“ К. Леонтьев[1]): „В „Войне и мире“ лица вполне верны и правдоподобны только самим себе, психологически, и даже я скажу больше: точность, подробность и правда их общепсихической обработки так глубока, что до этого совершенства, конечно, не дошел бы и сам Пушкин, по складу своего дарования любивший больше смотреть на жизнь à vol d'oiseau, чем рыться в глубинах, выкапывая оттуда рядом с драгоценными жемчужинами и гадких червей натуралистического завода. Что касается до тех же лиц „Войны и мира“ (в особенности до двух главных героев — Андрея и Пьера), взятых со стороны их верности эпохе, то позволительно усумниться“. И далее: „Обоих этих светских людей,

---

[1]) Ничего нового не прибавил позднее Д. Мережковский. См. его „Л. Толстой и Достоевский“ I. 1909. Стр. 167—170. Ср. по этому вопросу мысли П. Анненкова, высказанные еще в 1868 г. („В. Европы.“ Февраль, стр. 794). Цитируемый этюд К. Леонтьева первоначально появился в „Русском Вестнике“ за 1890 г. См. отдельное издание (М. 1911), стр. 128, 133.

выросших отчасти на своей тогдашней русской словесности, или скудной, или подражательной, отчасти на французской литературе, богатой, но напыщенной, он заставил думать мыслями человека гениального, во-первых; во-вторых, лично весьма оригинального и, в добавок, уже пережившего (более или менее) Гете, Пушкина, Гегеля, Шопенгауера, Герцена, славянофилов и, сверх всего, двух весьма тоже тонких в психическом анализе предшественников своих — Тургенева и Достоевского".

Мы подошли, наконец, к основному узлу произведения, откуда идут все главные и второстепенные линии, отчетливо вырисовывающие архитектонику всего здания.

Это, как прекрасно формулировал А. И. Кирпичников, идея „живой любви к человеку в противуположность отвлеченной любви к человечеству".[1])

Уходя в трагический и вечный вопрос о смысле жизни отдельной личности, Толстой искал ответа не вне себя, а внутри. „В своих постоянных исканиях высшей нравственной правды — говорит Д. Н. Овсянико-Куликовский [2]) — Толстой всегда руководился не то сознанием, не то предчувствием, что эта искомая правда погребена где-то глубоко в недрах его собственного духа, засыпанная и придавленная наносными пластами других психических наслоений, отложенных „цивилизацией" вообще и культурой высшего, аристократического класса в частности".

Вот почему, по мнению Толстого, руководствовавшегося этой психологической гипотезой, культурному человеку трудно добраться в себе до источника настоящей жизни и настоящего света, вот почему простому мужику, чуждому сословной культуры и всех наслоений цивилизации, при желании, легче дойти до источника всечеловеческой правды.

Так, как будто центральной фигурой романа становится Пьер Безухов. Однако мы не можем назвать его героем романа, ибо нам с неменьшей полнотой и обрисовкой показаны и другие лица романа: Андрей Болконский, Николай Ростов. При этом каждый из них стоит в центре событий

---

[1]) А. И. Кирпичников. Московское общество в изображении Грибоедова и гр. Л. Толстого (Очерки по истории новой русской литературы. I. 1903. Стр. 411).

[2]) Собрание сочинений. III. Изд. 5-ое. ГИЗ. 1923. Стр. 44.

и включает в свой круг остальных действующих лиц. То же нужно сказать и о героине. Их две: Наташа и княжна Марья. Сам Л. Н., говоря о первоначально задуманном им герое, который должен был быть из „декабристов“, в одном из вариантов „предисловия“ отмечает: „Между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи, личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали с равным интересом для меня и молодые, и старые люди, мужчины и женщины того времени“.

И это станет вполне понятным, если обратить внимание на то, что Л. Н. употребил здесь прием, который мы находим у Гоголя.

Подобно тому, как Гоголь скрыл за действующими лицами „Ревизора“ истинного героя комедии „честное, благородное лицо — смех“, так и Толстой в „Войне и мире“ не облек в плоть и кровь своего главного героя, но заставил его таинственно присутствовать в романе от начала и до конца. Этот герой — раненая совесть, выросшая на почве трагических противоречий и коллизий цивилизации XIX века, тревожно ищущая путей к „правде“ и „простоте“. Ни у самого Толстого, ни у какого-либо другого писателя мировой литературы, ни в одном произведении мы не найдем такой вереницы лиц различных положений, сцен массовых движений, положений отдельных персонажей и в момент их будничной жизни, и в минуты героического подъема, где бы так рельефно вырисовывалась роль ищущей своего исцеления раненой совести.

Мы ее находим и в кругу людей культуры, и среди простых сынов народа, мы видим ее и в поступках отдельных лиц, и в массовых действиях.

Если некоторая часть аристократического общества представлена с заглушенной совестью (Анна Павловна Шерер, кн. Василий, Элен и др.), то это сделано писателем вполне сознательно: на темном фоне, набросанном сатирической рукой Толстого, тем рельефнее выступает мятущаяся тревога „главного героя“, как лейт-мотив проходящая в душевной жизни всех более или менее рельефно выведенных персонажей. Это обычный в романе композиционный прием контраста.

Мы не говорим уже о смятении души Пьера Безухого и Андрея Болконского. Вот перед нами спокойный, как будто уравновешенный, Николай Ростов в стычке с французами, после удара саблей по французскому офицеру, у которого лицо „не для поля сражения“, а „самое простое, комнатное“, вдруг теряет „все оживление“ и чувствует, как открылось ему „что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе“. Вот состояние старика кн. Болконского перед смертью; княжны Марии с ее ужасом „перед своею душевною мерзостью“; Растопчина после расправы с Верещагиным, с „неприятным чувством холода“, пробегающим по спине, и знающим, что в его душе „кровавый след этого воспоминия никогда не заживет“. Вот Тушин, внешне бесстрашно заглядывающий в глаза смерти, а в глубине души таящий перед нею страх, как перед „неизвестностью“.[1]) С инстинктивною тревогой относится к жизни Наташа, всем своим существом после смерти кн. Андрея устремленная „туда, куда ушел он“ и позднее „вбирающая“ в себя то, что вынес из плена Пьер. Своеобразно раскрывается душа Кутузова, сливающаяся с настроением тысяч солдат, думающих под Красным словами полководца: „Пока они были сильны, мы себя не алели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди“. Даже Наполеон, к которому явно враждебен Толстой, что-то новое почувствовал к концу Бородинского дня: „Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения“.

Было бы неполно, если бы мы не отметили еще тревоги коллективной психологии. Это ярко преподнесено читателю в сцене убийства Верещагина и хорошо подчеркнуто в изображении конца Бородинского сражения: „Измученным без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: Зачем для кого мне убивать и быть убитому. Убивайте кого хотите; делайте, что хотите, а я не хочу больше“.

---

[1]) Ср. Г. В. Плеханов „Толстой и природа“ в сборнике „О Толстом“ под ред. В. М. Фриче. М. 1928, стр. 102—105. Толстому „нужно было бессмертие тела. И едва ли не величайшей трагедией его жизни являлась та очевидная истина, что такое бессмертие невозможно“.

Где все это нашел Толстой и подслушал, как не в глубинах глубин своей души, откуда глянула раненая совесть культурнейшего европейца, как таинственный герой, прошедшая сквозь шум битв и скрытый в домах тихий уют, чтобы остановиться на том, к чему пришел Пьер после ряда испытаний: уметь „видеть великое, вечное и бесконечное во всем", смотреть на жизнь не через головы людей в подзорную трубу, а „радостно созерцать вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь", жить, имея перед собой не отвлеченное le bien publique, никому не понятное и незнакомое, а счастье живых людей, с которыми связала судьба.

Так раненая совесть, как „главный герой" романа, вызвала к жизни целую вереницу образов и, перевоплощаясь из одного в другой, прошла сквозь сцены войны и мира, ища целебной живой воды. Именно ею обусловлены архитектонические основные линии всего здания величайшего романа именно она определила динамическое развертывание характеров в ходе событий.[1])

Мы уже говорили о том, что постройка началась образами семейно-бытового характера, сценами „Мира".[2])

Возможно, что именно в данной части сказалось, как на это указывает Н. Чечулин, влияние общего плана „Базара житейской суеты" Теккерея, который, изображая „жизнь самых разных слоев и кругов общества, также рисует две семьи, около которых вращается все действие романа."[3])

[1]) Говоря о раненой совести (отнюдь не больной совести), как сил , вызвавшей к жизни целую вереницу образов и продиктовавшей им место в общей архитектонике романа, мы ни на одну минуту не забываем, что в творчестве Л. Н. играло роль и другое начало, шедшее от „ratio". Оно нашло выражение и в „Войне и мире" через отдельные главы, посвященные толкованию исторического процесса и роли исторических лиц: между развертыванием собственно романа и этими главами такое же отношение, как между живою личностью и схематическим ее рисунком.

[2]) Развертывая картины „Мира", Толстой считал узловым моментом этой части увлечение Наташи Ростовой Анатолием Курагиным. Об этом он дважды пишет Бартеневу. В самом деле это событие дает новое направление действию главных лиц романа: Пьера и кн. Андрея, а также отношению между собой Ростовых и Болконских. Однако есть еще узловой пункт романа, только уже в другой части, в „Войне". Этим узловым пунктом, гораздо более важным для понимания сущности всего произведения, является момент Бородинского сражения и та антитеза, которая тогда создается у Пьера между „Я" и „они".

[3]) К этому можно было бы добавить еще, что Толстой развертывает перед нами сцены „семейного романа" в динамике сменяющихся п ок ле-

Однако, как только мы переходим к сценам „войны" и связанным с нею трагическим коллизиям и переживаниям, перед нами ярко выступает новая игра линий постройки: вместо спокойных и уравновешенных, они становятся напряженными и тревожными. Эту игру и образуют переживания лиц, группирующихся вокруг узловой фигуры Пьера Безухова. Гармоническим разрешением этого напряжения линий является вершинная точка — Платон Каратаев.

Как Виргилий заставляет Данте пройти ряд кругов мрачного ада и чистилища, чтобы достигнуть порога рая с очищенной и просветленной душой, так и Л. Н. проводит свою раненую совесть сквозь мрачный дух Наполеона, сквозь глубочайшие переживания ближе стоящего к Наполеону Андрея Болконского и более далекого Пьера Безухова, сквозь языческое и христианское мироощущение Наташи и княжны Марьи, чтобы затем в силуэтной фигуре Александра I, еще больше грузном образе Кутузова и окончательно в лице Каратаева раскрыть для себя тайну микрокосма, смысл существования отдельной личности. Мы не упоминаем об эскизно-зарисованных по пути двух фигурах: Сперанском и Растопчине. И тот и другой представляют собой разновидности Наполеона меньшего масштаба. Первый, как и Наполеон, живет верою „в силу и законность ума"; второй дает нам окарикатуренного Наполеона, когда старается успокоить себя после расправы с Верещагиным: »Bien d'autres victimes ont péri et perissent pour le bien publique«. Между ним и Наполеоном огромное расстояние, но оба, толкая на убийство, делают это во имя общего блага.

В Наполеоне Толстой увидел высшее выражение европейской рационалистической цивилизации, уверенной в своей силе и хрупкой, как карточный домик. Не найдя

ний, вдвигаемых в определенный архитектонический план, позволяющий каждую фигуру, при сопутствии ей консонирующих, ощущать полнее и рельефнее: старик Болконский, кн. Андрей и его маленький сын Николай в эпилоге (Консерватизм старого князя, хаос противоречий в душе Андрея и порыв к новому у мальчика Николеньки, развертываемые на фоне подчеркиваемой одной породы. Аналогичное изображение на почве единой же породы находим и при обрисовке характеров семьи Ростовых). Совершенно справедливо говорит М. А. Рыбникова: „Великий идейный смысл — провести родовую связь жизни от деда к внуку, от отца к сыну, прерывистость и непрерывность жизни — этот великий замысел, полный жизненной мудрости, полон не меньшего и композиционного основания." („По вопросам композиции". Стр. 7.)

в нем ничего, что отвечало бы его душе, он несколько смягчил рационализм Наполеона и создал образ Андрея Болконского, мятущегося между своим ,,Тулоном", преклонением перед высшим выражением цивилизации и сомнением в том, что именно на этом пути лежит неотысканное человеческое счастье. Наполеон и Сперанский не знают сомнений и колебаний, и им ,,не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что я думаю и все то, во что я верю." Такую черту провел между этими лицами Л. Н.

Оставаясь в вечном колебании между рационалистическими построениями и критикой на них, Андрей Болконский сам не в силах выпутаться из окутавших его душу противоречий. Только тогда, когда в нем слабеет энергия жизни и получает простор идущее из подсознания чувство, его мысли получают неожиданное направление: им овладевает настроение нирваны. ,,Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба — думает князь Андрей, истекая кровью на Праценской горе во время Аустерлицкого боя. — Ничего, ничего нет кроме его. Но и того даже нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу."

Быть может в смерти разрешение всех противоречий?

На таком взгляде Толстой, полный сил и жизненной энергии, остановиться не мог. Не такое разрешение внутренней дисгармонии нужно было ему.

Перед ним стоял вопрос: как оправдать жизнь? как полюбить ее ,,в страданиях, в безвинности страданий"? Ее принимает ведь и покорная по-христиански княжна Марья, и по-язычески влюбленная Наташа. Какая космическая сила живет в них?

И вот перед нами в наростающем динамическом развитии раскрывается душа Пьера. Он ищет в жизни путей, которые бы дали смысл и полноту его личному бытию. Вначале им владеет идея »bien publique«: преклонение перед французской революцией и ее продолжателем Наполеоном, внушение себе, что его задача — исправление рода человеческого, масонство, мысль, что он орудие Провидения, и надежда встречи с Наполеоном в Москве, чтобы убить его — надо отомстить ему за попранные права народа, оскорбленного человечества — а на ряду с этими превыспренними идеями — беспорядочная личная жизнь и полное безделие. Таковы пути личности, ищущей

разрешения вопроса о смысле жизни на узкой арене своей одинокой души, сдобренной отвлеченной идеей общего блага, »bien publique«.

На этом однако Пьер не останавливается. Испытанный им страх смерти в Бородинском бою и вид того, как „они (солдаты) все время до конца были тверды, спокойны", вдруг открывают ему новый мир людей, и его мысли после кровавых видений на-яву приобретают новое направление: „Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека".

Так понадобилась новая фигура, которая должна была привести дисгармонические состояния Пьера, достигшие крайнего напряжения на фоне ужасов Бородинского боя, к какому-нибудь разрешению. И силой гениальной художественной интуиции Толстой открывает для себя образ Платона Каратаева. Теперь прозрение Пьера состоялось в том, что он, так сказать, вобрал в себя это „непостижимое, круглое и вечное олицетворение духа простоты и правды", сбросил „внешнего человека" и ощутил в себе силу, влекущую к любви живой и реальной: так в градации образов от Наполеона, как высшего диссонирующего начала, до Платона Каратаева, как гармонического завершения, под действием скрытого „героя" романа получила свое осуществление основная тема романа, ни у кого не позаимствованная.[1])

---

[1]) Любопытно отметить, что природа в романе подчинена действию той же силы. Высокое недоступное небо Аустерлица вполне гармонирует с далеким от живой жизни состоянием нирваны истекающего кровью кн. Андрея; знаменитый дуб, встретившийся кн. Андрею по дороге в Отрадное, „старый, сердитый и презрительный урод . . . между улыбающимися березами", а потом „весь преображенный", с „шатром сочной, темной зелени", млеющий „чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца", одухотворен силой контрастных переживаний сотканной из противоречий души кн. Андрея; волны, ударяющиеся о дно парома, на котором находятся спорящие Андрей и Пьер, участвуют в беседе друзей и, склоняясь в сторону Пьера, убеждают Андрея своим полосканием: „Правда, верь этому"; „волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какою-то анфиладой мраморных ступеней", показан во время святочного катания сквозь призму переживаний Николая Ростова, сливающего в одну желанную сказку и ряженых на санях и природу под покровом ночной мглы. На всем протяжении романа Толстой нигде собственно не дает пейзажа и описания вещей, кроме самых общих слов, оставляющих впечатление схемы, а не индивидуально-яркой картины. Его интерес прикован к людям (Ср. замечания М. А. Рыбниковой в статье „Приемы письма в »Войне и мире«. Стр. 17—20 в сб. „По вопросам композиции").

В эту пору Толстой больше всего хотел и искал для себя внутренне-гармонической семейной жизни, которой не имел, а потому „семейный" эпилог романа явился своего рода проекцией вглубь той внешней идиллии, которая его окружала. Будто Л. Н. хотел убедить себя в том, что семья — последнее прибежище счастья.

Однако живая жизнь великого писателя дала другой эпилог к его гениальному творению: как бы предвещая разразившуюся через 7 лет после своей смерти революцию, Толстой рвет с мучивший его обстановкой душевного одиночества и унаследованного барства и, уходя от внешнего семейного уюта и всех благ цивилизации, покидает родное пепелище навсегда, чтобы слиться с миллионами безвестных Каратаевых и творить свое личное дело любви где-нибудь в уединении и тиши.

Теперь мы можем сказать, что архитектоника „Войны и мира", поражая антитезами, контрастами, своеобразной группировкой образов, ведущих читателя от переживаний жизненной дисгармонии к ее внутренне-гармоническому разрешению,[1]) не может быть понята вне зависимости от той силы, которая привела в движение всю картину „Войны и мира". Эта сила, как мы уже говорили, раненая совесть самого рафинированного культурного европейца XIX ст.

Начиная свое произведение, автор, как мы говорили, не имел готового плана. Последний развивался в зависимости от действия указанной нами силы, увлекавшей Толстого в сторону исканий гармонического аккорда: первоначально задуманные образы и картины „мира" скоро покрылись сложной архитектоникой „войны", где через призму переживаний Пьера обозначилась антитеза двух символов: Наполеона и Каратаева. Опять таки в виде антитезы развертывающиеся большие полотна „войны", исполненные трагической суровости, и уютные картины „мира", в силу контраста намечающие внутреннюю коллизию у Николая Ростова и кн. Андрея, в душе Пьера сплетаются в один жесткий узел, который развязывается

[1]) После прочтения романа „Война и Мир", под свежим впечатлением С. Рачинский писал Толстому: „Роман Ваш радует меня за Вас как за человека. Он такой здоровый и добрый, и чистый. В нем чуется, что душа Ваша пришла в ясность, что она сплелась со всеми гармониями жизни, что в ней разрешаются ее диссонансы." Письма Толстого и к Толстому. ГИЗ. 1928, стр. 215.

в конце романа через образ Каратаева[2]) и отысканное благодаря ему ощущение внутренней свободы, несмотря ни на что.

Так суровый лик „Войны" с его сухим le bien publique причудливо и ярко сочетался с образом „Мира", где разрешающим аккордом звучит живая любовь к живому человеку.

Одесса, январь 1928 г.

Проф. В. Селинов.

[2]) Борис Эйхенбаум правильно отмечает: „Толстому вообще необходим двойной масштаб: один мелкий долями которого определяются детали душевной и физической жизни, другой крупный, которым измеряется весь массив произведения. Наложением одного на другой обусловлена композиция его вещей. Отсюда — потребность в больших формах. отсюда — в самом начале вопрос о сочетании генерализации с мелочностью. Это сочетание во всей силе и своеобразии развернулось в „Войне и мире" („Молодой Толстой". 1922. Стр. 72).

В поисках слѣдов Варягов-викингов.

I. Руса.

В послѣднее время ученые еще раз занялись вопросами о Варягах, Варягах-Руси, Руси и их слѣдах на всем огромном пространствѣ Россіи и в предѣлах польской этнографической территоріи. Повод подали археологи русскіе и польскіе. Они нашли в землѣ кое-что, по их мнѣнію, варяжское или варяго-русское. Вот, например, что говорит русскій археолог А. А. Спицын: »на Волгѣ . . . Норманны встрѣтили особое значительное племя и основались среди него. При устьѣ Которосли, в районѣ Ярославля, извѣстна группа норманo-русских курганов X вѣка, не менѣе 1500 насыпей; в верховьях этой рѣки и в районѣ Ростовскаго озера их было не менѣе того« (»Сборник статей по русск. исторіи, посвящ. С. Ф. Платонову«, Пб. 1922, стр. 6).

Естественно, рѣчь коснулась названія Руса. Так называется древній город Новгородской губерніи, к югу от озера Ильменя, извѣстный нам уже из древнѣйшей Новгородской лѣтописи, нѣкогда снабжавшій Новгород солью из своего соляного ключа. Откуда взялось его названіе? Двѣ рѣчки, текущія близ Русы — Пола и Полисть, их названія, друг с другом связанныя, ничего нам не дают для объясненія.

Явилась мысль о связи Русы с Русью.

Обычный эпитет Русы — Старая многих привел к заключенію, что город Руса когда-то был центром Варягов-Руси и предшественником Новгорода. Послѣднее названіе указывает на сравнительно-позднее основаніе этого города, на его новизну.

Мы не берем на себя рѣшенія вопроса, почему город Руса носит это свое названіе; но можем считать возможным, что нѣкогда так именовался его соляной ключ; во всяком случаѣ мы имѣем названіе Руса не только в Новгородской губ.; оно принадлежит также рѣчкѣ Курской губ., бассейна Днѣпра. В »Книгѣ большого Чертежа« XVII в. мы читаем: »А ниже Рыльска с правой страны Семи по Путивльской дорогѣ пала

в Семь рѣчка Руса; от Рыльска до Русы 25 верст«. В том же географическом трудѣ находится слѣдующее: »А в Десну рѣку с лѣвые страны, ниже Трубческа, пала рѣка Нерýса; а в Нерýсу пала рѣка Навля«. Названіе Неруса — одно из многочисленных названій рѣк русской территоріи с начальным *не-* (срв. др.-иранск. *ana* »über — hin«, греч. *ἀνά, ἄνω*): Не-рехта при Ректа, Не-уть при Уть, Не-мда при Мда, Не-теша при Теша, Не-трубеж при Трубеж, Не-хава при Хава, Не-варь при Варя и т. п.).

Нельзя не упомянуть и об названіях рѣк То-рýса или Тор-ýса, бассейна Оки, и Труса, бассейна Днѣпра (Калужск. губ.).

Понятно, об связи названія города Руса с названіем Варягов-Русь мы не можем говорить. Но также и связь Русы — Старой Русы — с Новгородом подлежит сомнѣнію. Мы знаем из новгородских документов XVI в. о существованіи в это время в Новгородской области поселка Новая Русь (на рѣкѣ Пшагѣ, в Шелонской пятинѣ). Очевидно, основаніе этого поселка и было причиною появленія при названіи древняго города эпитета Старый.

Сказанное нами выше не должно вести к заключенію, что мы не вѣрим русскому лѣтописному преданію об основаніи Новгорода Варягами. На оборот: мы считаем его достаточно достовѣрным. Но думаем, что Новгород был новым городом по отношенію не к Русѣ, а к хорошо извѣстному по лѣтописям Городищу, гдѣ в историческое время помѣщался двор новгородскаго князя или княжескаго намѣстника. Городище находилось на полуостровѣ рѣки Волхова, почему в скандинавских сагах и именуется Holm-gardhr »остров-город«. Находясь ниже выхода Волхова из Ильменя, оно не могло защищать озера и его притоков от вторженія скандинавских викингов, почему князь-викинг Рюрик поставил при выходѣ Волхова, на обоих берегах этой рѣки, новый город, укрѣпленный стѣнами и снабженный большим мостом между двумя его частями, город по своей формѣ однородный с такими городами Зап. Европы, как Краков, Будапешт.

2. Warężanka.

Проф. R. Ekblom в своей статьѣ »Die Waräger im Weichselgebiet« (Arch. für slav. Ph. XXXIX, 190) говорит: »auf der Grenze zwischen Galizien und dem früheren Russisch-Polen fließt ein kleinerer

Fluß namens Wareżanka», притокъ Буга, басс. Вислы. Это названіе шведскій ученый желаетъ связать съ Варягами, когда-то вторгавшимися въ польскую землю.

Но для этого нѣтъ основанія: польское Wareżanka нельзя отдѣлить отъ русскаго Варужа, какъ называется рѣка въ Витебской губ.; здѣсь русское у можетъ восходить къ носовому гласному; срв. также названія рѣкъ Хоружевка — въ Черниговск. губ., Наружная — въ Орловск. губ. Близкое родство съ названіями Mit-ręga, басс. Вислы, Руга въ Волынск. губ., Ронга, У́-ронга на русскомъ Сѣверѣ едва ли подлежитъ сомнѣнію. Еще названіе Варенга, въ Архангел. губ. Сверхъ того, приходится вспомнить о названіи новгородской рѣчки Веря́жа, которое уже давно русскіе ученые (а также Ekblom) связываютъ съ Варягами. Повидимому, оно восходитъ къ тому же не-славянскому предку, какъ и Wareżanka. Припомнимъ названія рѣкъ Сережа, притокъ Оки, Сереженка, басс. Зап. Двины, Бережа, 1. притокъ Днѣпра, въ Волынской губ., и 2. притокъ Мологи, басс. Волги, названія (какъ и Ве-ряжа) — сложныя.

3. Варягово.

Такъ называется село въ Романовскомъ уѣзда Ярославск. губ. Экбломъ видитъ въ этомъ названіи одинъ изъ слѣдовъ, оставленныхъ Варягами въ Россіи (стр. 186).

Несомнѣнно, связь съ Варягами здѣсь есть. Но приведенное названіе населеннаго мѣста можетъ имѣть два другихъ объясненія.

1. Русскіе въ спискѣ своихъ святыхъ знаютъ двухъ Варяговъ, тѣхъ Варяговъ, которые были убиты въ Кіевѣ до принятія в. кн. Владимиромъ христіанства. Одинъ изъ нихъ носитъ имя Іоаннъ. Такъ какъ Іоанновъ-Ивановъ въ числѣ святыхъ было много, то при сокращеніи часто пользовались не именемъ, а прозваніемъ святаго, и изъ Іоанна Воина, Іоанна Кущника и т. д. дѣлали Воина, Кущника и т. д. Отсюда русскія фамиліи Воиновъ, Кушниковъ. Понятно, Іоаннъ Варягъ могъ превращаться въ Варягъ. Отъ этого поздняго имени, принадлежавшаго обыкновенному русскому помѣщику, могли получаться названія, въ родѣ отмѣченнаго Экбломомъ въ Ярославской губ.

2. Русскіе до XVIII в. часто употребляли какъ личныя имена не имена святыхъ, а разнообразныя названія животныхъ, предметовъ и т. д. и между ними этнографическія названія, нерѣдко книжнаго происхожденія. Въ документахъ XVI—XVII вв.

мы встрѣчаем: »Русинда Мещерин Федоровы дѣти Черемисинова«, Касог (из лѣтописи), Рахманин = Брахман (из Александріи, повѣсти об Александрѣ македонском); отсюда многочисленныя русскія фамиліи в родѣ Половцев, Куманин, Корелин, Русинов, Гречанинов, Тугаринов (= Тохарин?) и т. п. с одной стороны и мѣстныя названія Перминово, Мещерино, Прусово, Корелино, Голятино, Ясино съ другой. Ярославская губ. богата такими названіями.[1]) К ним, вѣроятно, принадлежит и Варягово.

4. Имя одного Варяг-Руса.

Экблом в рунической надписи на камнѣ на о. Готландѣ нашел имя молодого скандинава, убитаго во время путешествія в чужей землѣ какими-то Blakumen: Rōdhfōs (стр. 211). Почему это имя он связывает с Русью, неясно; почему его убійцы Blakumen = Влахи или Румыны — также. Мы бы предпочли видѣть в Blakumen — Половцев, которых старые Нѣмцы называли Blawen, Blauen, что представляет, повидимому, перевод славянскаго слова (чешск. Plavci, др.-русск. Половьци, от прилагательнаго plavý, полов). Это названіе народа, кажется, основано на названіи его главной орды; во всяком случаѣ лѣтописи нам сохранили указаніе, что одна из татарских орд носила названіе Синяя, другая — Золотая; была и Пѣгая орда).

Москва. *А. Соболевскій.*

[1]) Соболевскій, Матеріалы и изслѣдованія в области слав. филологіи и археологіи, Спб. 1910, с. 221.

Кризис Варяжской державы в Киеве.

История пребывания в Восточной Европе Скандинавов-Варягов в IX и первой половине X века по состоянию наших источников[1]) остается вообще легендарной и исторически мало достоверной.[2]) Что же касается удаленной от Скандинавии территории Днепра, мы можем констатировать, что в средине X века, около сороковых годов его, идет на среднем Днепре смена старого племенного уклада жизни новыми формами государственности, основанными на базисе развития здесь торговых отношений транзитного характера, привлекших к Днепру разнообразные народности. В нашей летописи это отражено в виде рассказов о борьбе Игоря, а потом Ольги с Древлянами и об отодвижении Уличей с Днепра на Запад — „межи Бог и Днестр". Вряд ли в этой борьбе Игорь опирался на далеких Варягов, — скорее он связан был с близкими географически и сильными в военном отношении Печенегами.

Во всяком случае эта смена уклада жизни и строя шла путем борьбы, затянувшейся на ряд десятилетий; быть может, она именно подтолкнула Святослава на дунайский поход и затем она безусловно проявилась в войне Ярополка Киевского с Олегом Древлянским. Приход в Киев около 980 г. Владимира — уже несомненно с Варягами — упрочил почву Киевской державы, направил и укрепил торговый варяго-греческий путь, ослабил здесь несколько печенежский нажим и путем христианизации упрочил в Киеве византийско-варяжское влияние. Оно дало главную силу державе Владимира, но не исключало и иных влияний, в частности печенежской степи, — поддержавшей потом Святополка против Ярослава Варяжского, а также, вероятно, помогавшей против него же Мстиславу, пришедшему к Днепру с Хазарами и Касогами.

---

[1]) О них см. в работах А. А. Шахматова.

[2]) Попытка П. Смирнова протянуть ее до VI в. является слепой данью тенденции и легенде в истории — см. его »Волзький шлях і стародавні Руси«, Киев, 1928.

События 1036—1037 гг. упрочили поколебавшееся варяжское значение в Киеве, и вновь построенная в Киеве Ярославом св. София должна была символизировать Киевско-варяжскую державу, экономически связанную с Византией. Однако в Киеве этой державе пришлось итти на компромиссы с ближайшими географически восточными степными воздействиями и в первую очередь с „хазарскими“ купцами, и союз Киева с Черниговом (50—60 гг.) и восточные договоры Киева 1079 и 1094 гг.[1]) усиливали эти воздействия.

Вопреки мнению М. Н. Покровского, революция 1113 г. принесла с собой не „падение варяжского абсолютизма“, а скорее его восстановление: во-первых, об „абсолютизме“ XI в. в Киеве в условиях торгово-купеческой базы державы и наличия веча говорить вообще трудно; во-вторых, Святополк Изяславич (1093—1113 гг.) был вовсе не представителем Варягов, а опирался скорее всего на Восток и степь, как о том говорят факты: брака его в 1094 г. на половчанке-дочери Тугортокана или Тугоркана, близости к нему восточных людей (доверенного конюха Сновида Изечевича — 1097 г. и воеводы „Козарина“[2]) 1106 г.), а также его связи с восточными купцами-солеторговцами (Патерик); в-третьих, брачные узы Мономаха и его первенца Мстислава и долговременное пребывание последнего в Новгороде (так что его скандинавские источники зовут своим именем Гаральда[3])) говорят за варяжскую ориентацию Мономаха. Революция 1113 г. была направлена в первую очередь против восточных купцов, и потому можно думать, что в этом году Мономаху в виду его связей удалось вновь восстановить варяжскую державу в Киеве, севши на Киевском княжеском столе.

Мономах утвердился в Киеве с широкими планами политического использования варяго-греческого пути, что выявилось в агрессивной его политике и в тенденциях „Повести временных лет“ 1116 г.;[4]) но было уже поздно реализовать

---

[1]) О них см. в нашей ст. »Киевская Русь и Хазария« »Slavia«, 1927, VI — 2-3

[2]) В данном случае неважно, считать ли это имя обозначением национальности воеводы или его фамилией или прозвищем, ибо и в последнем случае такое название имело связь с его происхождением.

[3]) B. Leib — »Rome, Kiew et Bizance a fin du XI siécle«. Париж, 1924, стр. 146—147.

[4]) См. введение в »Повести временных лет« Шахматова, Петроград, 1916.

эти планы: данный путь, в связи с началом крестовых походов и ослаблением Византии и иными торгово-географическими устремлениями Варягов, уже отмирал, и Мономаху скоро пришлось этот факт констатировать. Разочарование полное в этом отношении принес Мономаху 1116 г.: поход этого года на Смоленск должен был убедить в слабости теперь торговых связей Днепра с Ловатью и отсутствии здесь Варягов, а неудачи того же года на Дунае должны были рассеять мечты о связи с Варягами и вообще крестоносцами через Дунай. И вот в связи с этим мы видим с 1117 г. новую ориентацию политики Мономаха — на юго-восток, без рассчета на варяжскую поддержку.

Летопись свидетельствует, что именно 1117 г. явился критическим в этом отношении. Под этим годом есть два известия, чрезвычайно характерные в данном отношении. Во-первых, это переселение Мстислава-Гаральда из Новгорода в Белгород вблизи Киева и, во-вторых, приход „Беловежцев в Русь". В этих фактах можно усматривать явные показатели кризиса Варяжской державы в Киеве.

Родственно-связанный с Варягами, прокняживши в союзе с ними много лет в Новгороде (с 1095 г.), Мстислав ушел теперь из Новгорода на юг, очевидно, потому, что вместе с сидевшим в Киеве отцом убедился в ослаблении и даже падении торговых связей варяго-греческого пути. Варяги и Новгород теперь переставали играть свою роль в торговых связях и политических судьбах Киева, и потому вместо опытного и энергичного Мстислава в Новгороде теперь посадили молодого и бесцветного Всеволода, которого потом Новгородцы от себя прогнали. Мстислав ушел из Новгорода в Белгород потому, что увидел бесполезность дальнейшего своего пребывания в Новгороде в интересах Киевской державы, — нужно было в первую очередь наладить отношения на самом юге и юго-востоке – вблизи Киева, на пути от Киева к морю, и в этом отношении получают свое значение другие факты данного момента: во-первых, упомянутый приход в 1117 г. в „Русь" — к Киеву „Беловежцев" — очевидно, в первую очередь хазарско-восточных купцов[1]) (ха-

[1]) Вряд ли приход »Беловежцев« следует считать только одним из эпизодов »отлива восточно-славянского населения с юго-востока« и противопоставлять в данном случае »хазарскую часть населения — славянской« (как это принимает с Голубовским А. А. Шахматов — »Древнейшие

зарская ,,Белая Вежа“), затем изгнание в 1121 г. ,,из Руси“ ,,Береньдичей“, Торков и Печенегов, и брак в том же 1117 г. сына Мономахова Андрея с внучкой половецкого хана Тугоркана.

Таким образом после кратковременного отпора Мономах пошел в половецкую ,,Каноссу“ — по стопам Святополка. Идет, как мы видим, теперь устройство нужной ситуации для развития торговых отношений Киева на юге, на южном участке варяго-греческого пути; тут нужно было соглашение с восточными купцами и Половцами, при чем излишними вблизи Киева признаются те степняки-Берендеи, Торки и Печенеги, которые обычно использовались Киевом для борьбы с Половцами — может быть, в данном случае было исполнено прямое требование Половцев.

И дальше продолжается политика в том же направлении: захват в 1118 г. Владимира Волынского у Ярослава Святополчича и в 1119 г. Минска у Глеба Всеславича. Идет, очевидно, укрепление позиций Киева, уже без ориентации на Варягов, в ближайшем географическом окружении; выявляется стремление к созданию и использованию новых торговых путей и возможностей: в первую очередь через Половцев и Беловежцев — на Дон, затем через Владимир Волынский и Минск — на Запад, отчасти также на Дунай и к Запад. Двине. В связи с этим, видимо, перестраивается и ,,Повесть временных лет“ в 1118 г. в новую редакцию.[1])

Но попытки использования для связей с Варягами Западн. Двины, куда мы видим частые походы Мономаха и Мстислава (1116, 1119, 1128, 1130, 1132 г. г.) не привели ни к чему. Все это были уже судороги Варяжской державы, потерявшей свою базу с падением варяго-греческого пути и ослаблением связей с Норманами и постепенно и очень быстро попадавшей теперь в полную экономическую зависимость от степи: смерть Мстислава в 1132 г. и особенно утверждение в Киеве в 1139 г. Всеволода из Чернигова, — связанного с Хазарами и Половцами, — окончательно символизировали эту смену старой варяжской политики на новую, восточно-степную. Запад на Днепре снова уступил и надолго свое место Востоку. И уже сын

судьбы русского племени«, Петроград, 1919, стр. 34), начало XII в. нужно считать уже поздним временем для этого — к Днепру Хозары двигались и столетием раньше (Мстиславов поход 1023—24 гг.).

[1]) См. у Шахматова в »Повести временных лет« во введении.

Мстислава-Гаральда, Изяслав должен был всецело опираться на Берендеев, Чорных Клобуков и Угров, не вспоминая о Варягах: очевидно, со времени ухода в 1117 г. Мстислава из Новгорода на юг — Варяги, в связи с развитием крестовых походов и новых путей и падением значения Византии, в самом деле перестают сюда ездить в таком количестве, чтобы принимать какое-либо участие в киевских делах.

Так, между 1117 и 1139 г. г. прекратила свое существование варяжская держава в Киеве, просуществовавшая здесь с 1036 г. и имевшая свои зачатки в полулегендарной державе Владимира. Характер новой, реформированной Киевской державы прекрасно вскрывается из данных Ипатьевской летописи, начиная с 40 гг. XII в., свидетельствующих о преимущественной роли в Киеве степняков; отсюда заметное различие в укладе и строе жизни Киевского государства в XI в. и XII в.

Новые работы B. Leib'a („Rome, Kiew et Byzance a la fin du XI-me siécle", Париж, 1924) и и М. Э. Шайтана („Германия и Киев в XI в." — „Летопись занятий постоянной Историко-Археографической Комиссии", вып. 1—34, Ленинград, 1927, стр. 3—26), стремящиеся подчеркнуть несомненные связи Киева с Западом в XI в., своими материалами по существу дают ответ на вопрос, почему варяжское предприятие в Киеве — монархия Ярослава 1036 г. — не вошло прочно в орбиту западных влияний и, несмотря на многочисленные брачные связи князей Киевской Руси с западными королями, в конце концов крепче было связано с Черными Клобуками, Половцами и Хазарами, т. е. больше было обращено лицом на Восток, что, как отмечалось уже, ярко проявилось в эпоху Святополка Изяславича (1093—1113 гг.) и совсем закрепилось по смерти Мстислава-Гаральда в 1132 г.

Источники свидетельствуют, что в XI в. из феодальной Европы в Киев пробирались с трудом — „глухими дорогами", „где даже торговые караваны не всегда проходили благополучно", и что при этом Киев Германии при случае мог дать „столько золота, серебра и драгоценных одежд, что никто не помнит, чтобы когда либо такие богатства сразу привозились в немецкое государство" (в упом. ст. Шайтана на стр. 22, 20, 10—11 и др. — по данным „Vita S. Marianni", „Lamberti Annales" и др.). Поэтому замыслы пап, попытки в этом направлении Генриха IV, Ярослава, Ярополка Изяславича и др. кончались

по существу ничем: Восток в XI—XII вв. для Киева был географически ближе, товарнобогаче и реальнее в лице печенежско-половецко-тюркских воинов и еврейско-арабско-хазарских купцов по сравнению с феодальным Западом того времени, где XII в. был эпохой высшего расцвета феодализма (как это указывает напр. Гизо, Вайц, Флак и др.), — почему мнение проф. Юшкова о проникновении на Русь западного торгового капитала в XII в. (см. его „Феодальные отношения в Киевской Руси“ в „Уч. Зап. Гос. Саратов. Универс.“ т. 3, вып. 4) — неприемлемо и предвосхищает явления последующей эпохи XIII—XIV вв.

А нарушавший это первенство Востока водный путь, приводивший в Киев Варягов, как видим, утратил свое значение в начале XII в., и потому вслед затем скоро пала, после колебаний, и западная ориентация в Киеве, окончательно сменившись к средине XII в. восточной. Иронией судьбы был тот факт, что лично связанные с Варягами Мономах и Мстислав сами же должны были принимать участие в разрушении Варяжской державы в Киеве. Вместе с тем можно провести некоторую аналогию обстановки, создавшейся в Киеве при Мономахе, с положением Ярослава и его сыновей: конечно, к услугам названных ближайших предков Мономаха была военная сила Варягов, которой ему уже недоставало, но организовать державу в Киеве и тогда было невозможно без контакта с восточными купцами, господствовавшими на торговых путях юга и юго-востока. Поэтому Варяжская держава в Киеве все время была сильно осложнена восточными элементами, — недаром же и вассал шведского короля — Ярослав стал называться в Киеве „Каганом“.

Владимир Пархоменко.

„Oliva", izvor pjesme broj 1 u Erlangenskom rukopisu.

Rukopisna pjesmarica hrvatskih, srpskih i bugarskih pjesama, pisana oko godine 1720 i poznata po imenu nalazišta ńena Erlangena, između 217 pjesama sadržava i šest umjetnih, od kojih se dvije, pod brojem 1 i 2, nalaze odmah na početku zbirke.

Pjesma pod brojem 2 počiñe se versom (po modernoj ortografiji)

Протулитје драго врѣме сада нам долази

i odgovara dobro poznatoj pjesmi o »Protuletnoj vugodnosti« s istim početnim versom, koja se nalazi u Miklоušićevim djelima: Stoļetnom kalendaru i Izboru dugovań vsakovrstneh (2. izdańe 1839). O toj pjesmi pisao je u najnovije vrijemo profesor Fancev u Nastavnom Vjesniku kń. XXXVII (za g. 1928—29, br. 1) pa o ńoj nije potrebno da ovdje više govorim.

Pjesma pod brojem 1, koja se počiñe versom

Добар дан вам бог дао мој цвѣту румени,

ima 52 versa i potječe očito iz primorskih strana. Vers 22 (koji je po smislu vezan s v. 21):

[Тужан ја вашу књигу желим примити]
како млад трговац на тргу добити

s pravom dovodi g. Gesemann[1]) u svezu s Lucićevom Robińom i narodnim romancama o Robińi, što ih je spomenuo Ante Radić u studiji o »Narodnom izvoru Lucićeve Robiñe«.[2]) gdje dolaze slični versovi i zakļučuje, da je »neki motiv iz romance ili iz drame o robińi na trgu bio poznat, bar u nejasnom odjeku jedne jedine strofe, i u severnijim krajevima shr. zemļe«.[3]) Ovo je doista moguće i u većoj mjeri nego misli G., jer se Lucićeva drama još u 19 stoļeću o Pokladama predstavljala na Pagu. To svjedoči neki bezimeni pisac, koji je u Zori Dalmatinskoj[4]) priopćio nekoliko odlomaka iz stara oštecena rukopisa te drame, možda baš onoga, iz kojega su glumci dobrovoljci učili svoj tekst. Taj pisac spomiñe, da je taj okrńeni dio prikazanja, koje su Pažani pripisivali svome mještaninu isusovcu B. Kašiću (1575—1650), priopćio zato, jer se ondje »sad ritko kad prikazuje budući pomerli nękoji od obični prikazateljah, a ostali ostarili«.[5]) I u tom paškom tekstu sačuvali su se slični versovi: trgovac (to jest Derenčin) očituje robińi svoju ļubav uz zakletvu:

Tako mi dobiti od terga kog vodim,
Tako mi zdravu bit svuda kuda hodim,
Srce moje trudi ter mi jadno gori,
Od kad mi da čuti tugu ka me mori.[6])

No pored sveze što ju je G. utvrdio dvjema zajedničkim versovima u ER i u Robińi, ima spomenuta pjesma pod brojem 1 mnogo tješnju svezu s drugom hrvatskom umjetnom pjesmom, i to s romantičnom pričom o Olivi, koja je bila

---

[1]) U uvodu k ER CXXII.
[2]) Zbornik za nar. život Južnih Slavena IV, 34—45.
[3]) ER CXXIII.
[4]) Godište III (1846), 156—159.
[5]) Zora Dalm. III, 159.
[6]) Z. D. III, 157.

nekoliko puta štampana (prvi put u Mlecima 1702, a pošljednji put u Spljetu 1889). Od 52 versa u Gesemannovoj pjesmi nalazi se 14, to jest 7—14 i 27—32, u Olivi i to na strani 16 i 47.

Versi 7—14 u ER glase:

Драго срдце моје, љубав се не море
сакрити нигдире, то мудри говоре.
Ја тужан не могу ови труд поднети,
љубав ку вам носим ја ћу вам открити.
ајме веће тужан што ћу учинити?
Ја спати не могу, ни јести, ни пити;
бити ће мојега живота до мало,
тако ме је љубав јур ваша скончала.

U Olivi nalaze se ovi versovi na str. 16, gdje se opisuje, kako se kaštelan zaljubio u Olivu, koj na istome gradu odgaja »mlajahna kraljića«:

[v. 1. Ča ju tad kastelan veće razgljedaše
v. 2. to mu se svaki dan to lipša vijaše...]
. . . .

v. 5. Toliko ga ljubav[1]) Olive cić more[2])
ni jisti, ni piti, ni spati ne more
»Ajme, reče, sada ča ću učiniti?
Ja spati ne mogu, ni jisti, ni piti;
biti će života mojega do mala,
tako me je lipost Olive skončala
[Ali mi je dušu i viru zgubiti
ali ću Olivu na volju ljubiti!
Ako ju za ljubav imiti ne budu,
jeda ju za mito veliko dobudu.«
I tako budući šnom samo jedan dan,
poča govoriti Olivi kastelan:]
»Gizdava divice, ljubav se ne more
nigdire sakriti, to mudri govore;
ja veće ne mogu ovi trud podniti,
ljubav ku ti nošu, ja ću ti otkriti:
[ni va dne, ni v noći ja pokoja nimam,
cić tvoje liposti smrt sada prijimam itd.]

Versovi pak 27—32 u ER glase:

Тко би ми чуо горко уздисање,
од мене несрѣћна имао би смилење.
Ни толико срдце круто каменито,
које не би плакало, знајте, становито;
плакале би цвѣри страшне по среди гор,
плакал би дијамантъ, чувши то, и мрамор

Ovi versovi nalaze se u Olivi na str. 47, v. 27—32, gdje se opisuje, kako Oliva sa svojim novorođenim djetetom, zatvorena u skrińi, luta po moru:

Ko bi ču' gorki plač, gorko uzdihańe,
Olive nesrićne imal bi smiljeńe.
Ni toliko kruto srce kamenito,
ko ne bi plakalo, znajte, stanovito;
plakale bi zviri strašne posridu gor,
plakal bi dijamant, čuvši to, i mramor itd.

Ostalim versovima pjesme pod brojem 1 nijesam ušao u trag. Da im u trag nijesam ušao, kažem to stoga, što se čini, da autor te pjesme nije imao stva.

---

[1]) U originalu (u izdańu od g. 1702 i 1722) glibau mjesto gliubau.
[2]) Radi sroka mjesto mori.

ralačke snage, nego tek reproduktivnu, i jer su šavovi na njegovoj kompilaciji vrlo očiti, isto onako kao na pjesmi br. 20, također poluumjetnoj, koja je sašivena od šest (a možda i više) komada različnih nama poznatih pučkih pjesama. Da bi obje ove pjesme pod brojem 1 i 20 mogle biti od jednoga kompilatora i iz jednoga pisanog izvora prenesene u ER, čini vjerovatnim, pored spomenutoga, i to, što su i u ovoj drugoj upletena, bez ikakove sveze s ostalim sadržajem, četiri versa iz Robinje. To su versovi 24—27:

желим драги желим с тобом говорити
кано млад трговац на тргу добити
тако ти трговче[1]) добити
немој ме сироту на пазар[2]) водити

Da kažem još koju riječ o Olivi. Oliva je djelo nepoznata pisca. Pavle Popović u svojoj studiji o Olivi[3]) i srodnim pripovijetkama u ostalim evropskim literaturama imenuje autorom ove kńižice Krstu Ivanovića,[4]) svećenika iz Budve. No u naslovima svih sedam štampanih izdańa, što ih priopćuje Popović,[5]) nigdje se ne spomińe autor ove dirļive istorije. Popović se pri tome oslonio na tvrdńe Kukuļevića i Ļubića. Autorom ovoga čakavskoga spjeva proglasio je Ivanovića najprije Kukuļević[6]) ne kazavši, otkuda je to doznao. Drugi je Ivanoviću pripisao Olivu Sime Ļubić.[7]) No godine 1856, kad je prvi put pisao o Ivanoviću u svom Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (na str. 178), Ļubić nije još ništa znao o tome, da bi Ivanović bio napisao Olivu. Tu je učeni »abate« od riječi do riječi prepisao ono malo što je o Ivanoviću našao u Appendinijevu djelu Memorie spettanti ad alcuni illustri uomini di Cattaro.[8]) Tu se Oliva ne spomine ni jednom riječju, samo se o kńiževnom radu Ivanovićevu kaže: »Ivanovich Cristoforo di Budua, ecclesiastico . . . alla cognizione delle sacre discipline aggiunse la coltura delle umane lettere, e sopratutto della poesia nazionale. Egli poetava con molta finezza e buon gusto sul principio del 1600. Abbiamo alle stampe un volume di poesie in varî metri. In esse egli canta le vicende e l'esito della guerra di Candia e di Cipro . . .« Zatim Appendini spomińe Ivanovićev nadgrobni spomenik u Mlecima. U Ogledalu Ļubić, istina, kaže za Ivanovića, da je naški (!) napisao Olive kraljice kćeri cesara Juliana, poviest od života, ali ni on, ni Kukuļević ne kažu, da bi to bili našli u Appendinija, kao što tvrdi Popović (koji u ostalom priznaje, da Appendinijeva djela nije imao pri ruci).

Bezimeni pisac Olive bio je Hrvat, — čega Popović ne spomińe, — i naziva svoj jezik hrvatskim. Tako na strani 26 kaže:

. . . za ńe velu lipost ter dobrotu mnogu
ku vam stumačiti hrvaski ne mogu

i na strani 27: . . . kako vam hrvaski sad u pismu poju.[9])

Oliva, priča o ženi, koja radi svoje kreposti trpi nedužna progone, kao Genoveva, i danas je omiljelo štivo dalmatinskih težaka, kako mi kazuje jedan prijatelj s Blata na Korčuli. U obliku prozne usmene priče, koja je potekla iz

[1]) U orig. терговце.

[2]) U orig. базарь. Pisac ER piše i сатарско кобиле mjesto zadarsko kopile i sl.

[3]) Приповетка о девојци без руку. Београд, 1905, na str. 18—20.

[4]) E. Cicogna u svome djelu Delle iscrizioni veneziane III, 142 (Venezia, 1830) naziva Ivanovića kanonikom i navodi ńegovo djelo »Minerva al tavolino« u dva dijela (Venezia, 1688).

[5]) U spom. djelu na str. 11 u biļešci.

[6]) Bibliografia jugoslavenska. I. dio. Bibl. hrvatska (Zagreb 1860), str. 115.

[7]) Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, (Rijeka 1869) str. 405.

[8]) Ragusa, 1811, 48, 49.

[9]) Ističem ovo zato, jer se isti Popović koji oštro povlači demarkacijsku crtu između »srpske« i »jugoslovenske« kńiževnosti, tri godine kasnije sam pobrkao u svojim međašima i Olivu proglasio za »ein serbisches Gedicht« (u Ztschr. f. roman. Philol. 32. Bd. 1908, 312).

ove štampane pjesme, Oliva je kao »srpska narodna pripovijetka« iz Hercegovine bila štampana u Босанској Вили 1893.

Isporedivši ono nekoliko citata iz Olive, što ih navodi Popović u rečenoj studiji, s izdańima od 1702 i 1722, vidi se, da je tekst u pošļedńem izdańu (od 1889), kojim se Popović služio, dosta iskvaren.

Izdańa od 1702 i 1722 slažu se ne samo u razdiobi teksta na 64 stranice, nego i u štamparskim pogreškama. Čini se po tome, da je izdavač obaju ovih izdańa Bartol Occhi, »knigar na rivi Skjavonskoj«,[1]) kao dobar mletački trgovac, obnovom naslovnoga lista nastojao utrti put u čitalačku općinu slovinsku onim eksemplarima prvoga izdańa, koji su mu dvadeset godina proležali neprodani u magazinu. Slučaj nije osamļen, jer je profesor Rešetar slične kńižarske varke uglavio i kod drugih nekih djela jugoslovenske kńiževnosti.

Ante Šimčík.

Ime saracenskoga vladara u žitiju Konstantina filosofa.

U legendi o Konstantinu filosofu spomińe se, kako su filosofu Saraceni, poslije učenih prepirańa o vjeri, pokazali sve bogatstvo svojega vladara, kuće načińene od zlata i srebra i kameńa dragoga i bisera, govoreći: виждь, філософе, дивьною чоудо! сила велика и богатьство мъного Ямероумнино владыкы Срациньска.[2]) U latinskom prijevodu, kojim je izdavač toga žitija popratio staroslovenski tekst, protumačene su te riječi sa ... opes multae Amerumnis, domini Saracenorum, a u »rejstříku« je zabiļeženo: Amerumnes, titul sracinského chalifa Mutavakkila. Slično i u uvodu k svome djelu Pastrnek, prema Konstantinu Porfirogenetu, kaže, da su doista Bizantinci dostojanstvo halifa Mutavakkila (847—861) označivali titulom *Ἀμερουμνῆς*, koji se javļa i u našoj legendi.[3])

U žitiju Konstantina filosofa, što ga je izdao Šafařík, spomińe se na istome mjestu ime saracenskoga vladaoca u obliku: богатьство мнωго амерьмнїино.[4]) Za podlogu svome izdań užitija »prьvago nastavnika slovensku jezyku« uzeo je Šafařík Rilski panegirik Vladislava gramatika, pisan g. 1479 u Žegligovu; na variante u ostalim rukopisima nije se gotovo ni obazirao, »maje zření k věci, ku potřebě historika, nikoli k párání slovíček«.[5])

Miklošić u svome rječniku staroslovenskoga jezika biļeži samo ovo: амеръмнинъ adj. poss. *ἀμερουμνῆ* amermamnis i spomińe primjer iz Šafaříka.

Ova riječ nalazi se i u Suprasaļskom rukopisu, u mučeńu svetoga Teodora, Konstantina,[6]) Vasoja, i družine ńihove, na 7. dan marta. Car Teofil (829—842) digavši vojsku oplijeni slavne gradove bezbožnih Sracina, gdje živļaše i амемоурмнинъ родъ.[7]) i zatim odmah tumači tu riječ ovako: амемоурмниѩ же нарицаѭтъ кнѧза свѣтъ ихъ. тъ бо и прьвъи свѣтьникъ нарицаѥтъ сѧ. Malo daļe. na istoj stranici, opet dolazi ime toga vladara u nominativu: реченыи скврънавъи амемоурмни i tako isto na 57. stranici: скврьнавыи сиї амеиоурьмнии.

Ova riječ dolazi jamačno od poznatoga arapskoga emīr ül mūmenīn,[8]) što znači glavar vjernih (chef des croyants). Prvi našļednik Muhamedov Abu Bekir nazivao se ḫalīfa,[9]) to jest našļednik ili zamjenik (qui remplace, vicaire,

---

[1]) U izdańu od 1722 Schiauonfchoi. Prvo izdańe nemam ovaj čas pri ruci.

[2]) Pastrnek, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda. V Praze, 1902. Na str. 171.

[3]) Spom. dj., 46.

[4]) Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův. V Praze, 1851. Na str. 7.

[5]) Spom. djelo u Připomenutí k istome životu sv. Konstantina, na str. II.

[6]) Za ovoga sveca Vasoja kaže se u muci na str. 62, da je bio блага рода отъ дѣдъ, славенъ же племенемь.

[7]) Северьяновъ, Супрасльская рукопись, С.-Пбгъ, 1904, n. 56.

[8]) Zenker, Dictionnaire turc-arabe-persan I, 98.

[9]) Zenker II, 412.

successeur). Ova druga riječ glasi u vulgarnom govoru kalfa i kao takova ušla je u srpsko-hrvatski jezik. Omer, treći halifa, nije se htio nazivati našl̦ednikom našl̦ednikovim, nego je radije uzeo naslov emīr ül mūmenīn, koji su kao službeni prihvatili i svi negovi našl̦ednici i koji je, kako se iz grčkoga *ἀμερουμνῆς* vidi, bio priznat i u međunarodnom saobraćaju. Konstantinu filosofu, koji je bio odgojen na carskom dvoru u Bizantu, bila je ova grčka oznaka saracenskih halifa dobro poznata, pa ju je bez sumńe i upotrijebio u svojim bil̦eškama o svome saracenskom putovańu, po kojima je pisac žitija sastavio svoje djelo. Završetak arapske riječi na -in biće Bizantinci shvatili kao akusativ sg. a-deklinacije, jer se, kako je poznato, u to doba grčko *η* već izgovaralo kao i. Prema tome je i načińen grčki nominativ spomenute riječi sa završetkom *-ης*.

Ante Šimčik.

Kritiky a referáty.

Des raports linguistiques slavo-roumains. [1]

VII.

Bărbulescu, Ilie: **Curentele literare la Români in perioadă slavonismului cultural.** București, Editura casei școalelor, 1928. P. VII + 423. 8⁰.

— —: **Individualitatea limbii române și elementele slave vechi.** București, Editura casei școalelor, 1929. P. VIII + 534. 8⁰.

M. Bărbulescu, professeur de slavistique à l'Université de Jași, bien connu déjà par ses nombreux travaux sur les rapports slavo-roumains et notamment par son chef-d'œuvre sur l'alphabet cyrillique chez les Roumains,[2] a donné dans ces derniers temps une synthèse de ses recherches sur ce domaine dans deux ouvrages dont nous nous proposons ici d'exposer en détail et les idées et la portée.

Dans le premier, il expose de nouveau sa thèse sur l'origine de l'alphabet cyrillique roumain. Bienque les plus anciens documents écrits en roumain ne soient que les textes-copies du XVI^e siècle, il prouve que l'écriture cyrillique roumaine provient de la médiobulgare[3]) vers la fin du XII^e siècle. Les valeurs de ъ ь = *ă*, de ѫ = *ън* 〉 *în*, *ă*, *î*, de ѧ = *ън*, *e*, *ǐa*, *ea* en font la preuve. ꙑ = *ṇ̥*, signe spécial de cette écriture, n'est, dit-il p. 26, qu'une variante mb. de ѫ.

Il faut bien donner raison à cette argumentation de l'auteur. C'est donc acquis que la cyrillica roumaine est calquée sur la mb. et il ne s'agit maintenant que de savoir où ce calque a été opéré, en Roumanie actuelle ou bien dans les Balkans où nous avons des preuves historiques pour une symbiose bulgaro-roumaine sous le second empire bulgare.

Dans le premier cas, ce ne sont que les monastères et les chancelleries des principautés roumaines qui, ayant commencé par l'écriture slave

---

[1]) V. *Slavia*, VIII, p. 605 et suiv.

[2]) *Fonetica alfabetului cirilic în textele române din vécul XVI și XVII în legatură cu monumentele paleo-, sîrbo-, bulgaro-, ruso- și romăno slave.* Bucuresci, 1904, p. VIII+501.

[3]) Raccourci *mb.* — L'écriture roumaine étant d'origine slave, il est tout naturel que la terminologie roumaine se rapportant aux lettres est d'origine slave elle-aussi. Ainsi on a pour »lettre, écriture« *slovă*. L'expression pour »épeler, balbutier, mühsam hervorbringen (Tiktin)« n'est pas un dérivé de *slovă*, mais de *slovean* (a. 1688) 〈 *Slověninŭ: sloveni* d'où *sloveneţ* »éloquent, lettré« (Damé) = *slovesnic* »beredt« (Tiktin) et *slovenie* »langue slave eccl.« Ce sont les adaptations roum. de »*pismo slověnьsko*«.

avec ce mélange de différentes écoles cyrilliques que M. B. a bien caractérisées, ont fini à une date qu'on ne peut malheureusement pas déterminer de plus près, vu le manque des textes roumains antérieurs au XVI[e] s., par changer simplement de langue dans leur continuation d'employer l'écriture cyrillique. Dans ce cas, aucun rapport entre les Roumains de deux côtés du Danube n'est nécessaire, cela va sans dire.

Pour résoudre cette question, M. B. ne donne que des indications linguistiques, bien précieuses d'ailleurs, se basant sur les comparaisons linguistiques. Un relevé détaillé des mots roumains et des noms de lieu d'origine purement roumaine qui se trouvent dispersés dans les documents slaves cyrilliques de deux principautés serait sans doute très utile à l'étude de l'orthographe cyrillique roumaine, car il est nécessaire de distinguer nettement deux périodes dans les documents dont nous disposons: *a*) les essais d'écrire des mots isolés dans les textes slaves, et *b*) les documents purement roumains où une tradition cyrillique pour le roumain a pu s'établir.

Je ne sais pas si l'on peut donner raison à M. B. lorsqu'il réclame pour la Dacia Traiana la Savina kniga et le Codex Suprasliensis. Suivant lui, ce seraient deux documents d'une haute importance pour la langue et l'écriture slaves dans ce pays au X[e] s. Mais *ro-* au lieu de *ra-* dans les mots roumains *rob, roboată, rovină* et dans ces documents ne décident das du tout dans la localisation de ces documents. C'est parce qu'on trouve *rob* et *robota*[1]) aussi dans les parlers yougoslaves. D'ailleurs, *rovină* »fondrière« n'est pas *ravьnъ*. C'est plutôt *rovina*, dérivé de *rovъ*.[2])

M. B. a, au contraire, sans doute raison en affirmant que le slavonisme roumain n'est pas autochtone dans les principautés (p. 161), que c'est plutôt un courant littéraire slave qui s'est constitué à l'occident de la ligne imaginaire Iskăr-Salonique et qui fut transplanté dans la Roumanie à une époque tardive. Il ne s'agit donc que de savoir si cette transplantation est due aux migrations des Roumains vers le Nord ou simplement à la collaboration des monastères de deux côtés du Danube, ce qui est le plus probable.

L'autre thèse de M. B. consiste dans l'assertion que ce n'est pas l'hussitisme auquel il faut attribuer l'introduction du roumain dans la littérature cyrillique. C'est le contraire qui est vrai. C'est plutôt grâce à la propagande catholique dans les deux principautés qu'il est devenu langue littéraire (p. 103). Nous ne pouvons pas nous prononcer dans cette question très délicate des lettres roumaines,[3]) mais il me semble quand même qu'il faut tenir compte de deux faits essentiels pour l'histoire de cette question: 1° que l'usage des langues locales est devenu général en

---

[1]) Cf. *robotae* dans le *Slavonski urbar* cité chez Mažuranić, *Prínosi* etc. s. v. p. 1253. Cf. ensuite *lòtiti se* pour *latiti se* dans le parler des Ikaviens de Žumberak et *Almus* > *Lom* (fleuve en Bulgarie).

[2]) Tiktin, *Deutsch-rum. Wörterbuch*, s. v.

[3]) Il est très remarquable que la fameuse Psaltirea Scheiană contient à la fin la doctrine catholique sur la Sainte Trinité.

Europe au XVI^e s. de même qu'au XIX^e et que, la première fois, il a été provoqué par le mouvement religieux et la seconde fois par le romantisme; 2^e que, jusqu'au XVI^e s., il y avait parmi les Roumains encore assez de bilinguisme roumaino-slave[1]) qui permettait la compréhension aisée des textes slavonnes. La disparition complète du bilinguisme entraîne tout naturellement l'introduction du roumain.

M. B. repousse, ensuite, avec raison la théorie la plus récente sur les traces de la langue saxonne (sassismes, p. 95) dans les textes rhotacisantes roumaines.

Les documents glagolitiques de quelque étendue n'existent pas chez les Roumains. Il n'y a que quelques traces du glagolitisme dans la manière d'écrire quelques caractères isolés dans les documents provenant des monastères de Putna et Dragomirna. Pour les expliquer, l'auteur invoque (p. 130) l'influence croate ou la voie intermédiaire de la Pologne. Puisqu'il ne s'agit que de quelques graphies isolées qui se sont insinuées dans les textes cyrilliques, il serait, me paraît-il, plus prudent d'abandonner toute pensée à l'existence de l'écriture glagolitique chez les Roumains que de construire des ingénieuses théories.

Il en est de même de l'écriture latine chez les Roumains. L'adaptation de l'orthographe latine au roumain n'existe pas au temps du slavonisme littéraire. Il n'y a, par conséquence, aucune preuve pour l'assertion de l'auteur que c'est le catholicisme qui a voulu introduire cette écriture chez les Roumains. Une inscription roumaine provenant de Čiprovec (Bulgarie) et que je publierai prochainement dans la *Dacoromania* de Cluj prouvera le contraire, que c'est à Čiprovec, centre de la propagande catholique pour les deux principautés, où l'on a essayé à une époque bien tardive de s'adapter à l'écriture cyrillique roumaine plutôt que d'introduire l'écriture latine. Même en Bosnie le catholicisme n'était pas contre l'écriture cyrillique.[2])

Il en est de même de l'écriture grecque (p. 144). Ces quelques lettres écrits en grec ne prouvent rien au sujet de l'emploi de l'alphabet grec en roumain.

La distinction que fait l'auteur de deux écoles de traducteurs dans la littérature bulgare, l'une qui traduit librement et l'autre qui se tient servilement au texte grec, me paraît heureuse. Ce qui est intéressant c'est que l'auteur a réussi à en prouver l'existence aussi dans les traductions roumaines qui ont pour base le texte slave. Au prêtre Gregoire, représentant de l'école de la traduction littérale chez les Slaves, correspondrait l'auteur du Codicele Voroneţean (p. 371 et suiv.), tandis que l'exemple de Jovan l'Exarche, représentant de la traduction libre, serait suivi par le chroniqueur Moxa.

---

[1]) Quant au bilinguisme roumaino-slave en Transylvanie voir mes pensées que j'ai exprimées dans mon compte rendu du livre de M. Kadlec dans l'article *Češka knjiga o vlaškom pravu* paru dans *Glasnik zem. muzeja za B. i H.*, XXX., 310 et suiv. Quant à celui de la Moldavie, voir *Slavia*, VI., p. 761 et suiv. Le problème nécessite des recherches plus approfondies encore.

[2]) Voir Prohaska, *Das kroatisch-serbische Schrifttum in Bosnien und der Herzegowina*, p. 12 et suiv.

Ces deux écoles me paraissent avoir laissé quelques traces dans les mots slaves calqués au grec qui sont entrés même dans l'usage du peuple d'aujourd'hui. Ainsi ser. *putešestvije* «voyage» provient de la traduction servile du grec *ὁδοιπορούσι* = (*vъ*) *putъ šьstvujutь*. A de tels exemples qui ne sont pas encore étudiés il faut ranger aussi les locutions des contes populaires tels que ser. *laža i paralaža*[1]) «menteur parfait» où le renforcement exprimé par *para* est dû au grec *παρά*.

Il est, ensuite, très important que M. B. a pu constater dans les textes slaves provenant de deux principautés le même mélange de quatre écoles d'écriture cyrillique (p. 185 et 244) que dans ceux des pays slaves et que la langue des documents slaves en Mounténie et en Moldavie accuse (p. 255 et suiv., 261) non pas des traces de la langue bulgare telle qu'on la parle à l'est de la ligne imaginaire Iskăr-Salonique, mais de celle de l'ouest de cette ligne, c.-à-d. des macédonismes (= serbismes). C'est d'ailleurs la thèse que l'auteur a amplement développée en 1912 dans son livre intitulé *Rélations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croatie.*

Tout cela prouve à l'évidence que le slavonisme roumain n'est pas autochtone dans les principautés et que son origine doit être cherché dans le patriarchat d'*Ohrid* et dans les monastères serbes d'Athos.

Il faut cependant formuler quelques doutes au sujet de la chronologie du slavonisme roumain. P. 256, l'auteur affirme que l'école bulgaroslave pour laquelle il n'y a pas de textes antérieurs au XIV^e^ s. dans le territoire roumain s'est introduite chez les Roumains déjà vers le XII^e^ s. et non pas au XIV^e^ s. Cette affirmation serait admissible seulement dans le cas où l'on pût prouver que l'orthographe bulgare du XIV^e^ s. fût tout différente de celle du XII^e^ s. et qu'il y a des traces de ces différences dans le territoire roumain. Or, à ce qu'on sait, il n'y en a rien.

Somme toute, l'auteur distingue deux espèces de l'influence graphique slave sur les Roumains: 1⁰ bulgare aux XII^e^—XIII^e^ s.; 2⁰ serbomacédonienne à partir du XIV^e^ s. L'existence de la première est cependant sujette à caution, vu le manque complet des textes. Il ne reste que la seconde.

Il est très curieux de constater que le slave officiel des deux principautés s'appelle serbe (p. 264) et que les Macédoniens eux-mêmes qui sont venus s'établir ici s'appellent Serbes.

A partir de la page 269 l'auteur donne une étude très détaillée sur la langue slave des documents de Mounténie et de Moldavie. L'article postpositif y est très rare. Quand il apparaît, on l'a sous sa triple forme de même qu'en Macédoine (p. 275). L'infinitif en *-ti* (277), *ѣ* > *e*, *ѫ* > *u* et très rarement ъ (280), *k' g'* au lieu de *tš žd* (283), le *l* épenthétique (285), gén. du pronom -га au lieu de -го, la terminaison du pl. prés. en -мо (280) prouvent suffisamment la thèse de M. B. contre la critique superficielle et malveuillante à la fois de M. Mladenov.

Cependant M. B. n'aura pas raison en affirmant que roum. *cochivechi* «enchères» provient de la langue macédonienne plutôt que du

[1]) Voir *Rj. Ak.*, IX., 640.

hong. *kotya vetye.* Le roumain rend en effet hong. *ty* par *chị̥*: cf. *fachĭol* < *fátyol.*[1])

Il est très intéressant de noter qu'en Mounténie les russismes sont très sporadiques avant le XVII^e s., tandis qu'ils sont de beaucoup plus nombreux dans les textes moldo-slaves entre les XIV^e et XVII^e s. (p. 325).

A partir de la page 330 l'auteur examine la langue des textes moldo-slaves. Contre l'opinion du regretté Bogdan il prouve que la base en est la même qu'en Mounténie, c.-à-d. la langue macédo-slave et que sur celle-ci est venu se greffer le russe (p. 337) ou mieux l'ukraïnien. L'ortographe moldo-slave n'est pas russe, mais slave-méridionale (p. 351).

P. 395—415, l'auteur résume en 11 points les résultats de ces intéressantes recherches qui sont, en somme, exacts et que nous avons vu plus haut.

Bienque j'adopte en entier sa thèse sur la provenance de l'écriture cyrillique roumaine, je me permets quand même de souligner, l'importance de quelques faits secondaires dans les recherches de ce genre.

Il me paraît d'abord très important de noter que cette écriture est ignorée des Aroumains. Il en résulte avec nécessité que ce ne sont que les Roumains qui ont réussi à créer des états indépendants qui ont adopté cette écriture et qu'elle ne peut, par conséquent, pas être plus ancienne que ces états. Après la chute des états slaves balkaniques cette écriture trouve l'usage officiel seulement chez les Roumains. Les actes officiels des deux états roumains ne se publient qu'en slave et dans l'écriture cyrillique.

Il est en effet légitime de se demander avec l'auteur si l'écriture cyrillique roumaino-slave suppose l'existence de l'écriture plus ancienne dans les territoires roumains, celle de Savina kniga et du Codex Suprasliensis, s'ils sont daco-slaves comme prétend l'auteur, ou bien si elle est simplement l'importation des Balkans de même que l'organisation politique roumaine, l'institution des voïvodes et des *cnez*. Je crois qu'il résulte indubitablement des recherches de M. B. que l'origine de la cyrillica roumaine est tardive et entièrement slave balkanique. En Moldavie, l'élément russe s'est greffé sur le yougoslave de même que chez les Serbes à partir du XVII^e s.

L'autre fait qu'il faut souligner c'est que, chez les Roumains, la littérature slave précède celle écrite en roumain. Il est tout à fait nécessaire, vu ce fait, de poser la question pourquoi et quand les Roumains commencent à remplacer la langue officiellle sud-slave de nuance macédonienne par leur langue nationale. Quand et dans quelles circonstances est né chez les Roumains la nécessité d'écrire dans leur propre langue? A mon avis, ce n'est ni le hussitisme ni le catholicisme qui peuvent expliquer cette évolution, tout à fait naturelle d'ailleurs. Le principal agent en était, à mon avis, la disparition progressive du bilinguisme. Les Roumains se sont établis, en Transylvanie, en Mounténie et en Moldavie, comme peuple bilingue roumaino-slave. Jusqu'au XV^e s. le bilinguisme roumaino-slave est encore assez fort chez eux. Le slave qui, grâce à être langue de l'église, jouissait d'un grand prestige chez eux, leur est compré-

[1]) Tiktin, *o. c.* 605.

hensible aussi bien que le roumain dénué de tout prestige. Grâce à ce fait, les Roumains emploient le slave dans les affaires officielles. C'est le même cas que le sort de l'anglo-normand en Angleterre. Mais quand une fois le bilinguisme cesse à exister, les nécessités de la vie obligent d'abord les écrivains, ensuite l'église elle-même et puis l'état à le remplacer tout naturellement par le roumain.

On me objectera peut-être que, pour expliquer le cas roumain, il faut invoquer plutôt le sort du latin dans les pays occidentaux de l'Europe que l'anglo-normand en Angleterre. Le latin, langue officielle de l'église, est devenu langue officielle de l'état non seulement dans les pays des langues romanes, mais aussi dans les pays germaniques, slaves et en Hongrie. Aucun fait bilingue en dehors des classes cultivées n'explique l'usage prépondérant du latin au moyen âge. Ce n'est que son prestige ecclésiastique et saint qui en a fait l'instrument linguistique de l'état et de la société cultivée.

En effet, il y a des analogies frappantes entre l'usage du latin en Occident et celui du slave en Roumanie. C'est d'abord le fait que le slave était la langue de l'église roumaine jusqu'au commencement du XVIII^e^ s.[1] De même que le latin était une langue sainte vis-à-vis des langues locales qu'on appelait les plus communément vulgaires, de même le slave de Cyrille et Méthode jouissait du prestige de sainteté vis-à-vis des parlers populaires slaves et du roumain. Grâce à cette auréole, le slavonisme roumain a pu en effet accaparer la vie des états roumains jusqu'au XVI^e^ s. De même que la littérature latine précède en Occident les littératures romanes vulgaires, de même en Roumanie la littérature slave fait suivre la littérature roumaine. Aucun bilinguisme des masses nationales, dirait-on, n'explique ces analogies. Mais s'il en était ainsi, on s'attendrait chez les Roumains à l'emploi du slave écclésiastique et non pas à celui de nuance macédonienne.

Dans cette question, une importance extraordinaire me paraît mériter la préface du psautier slave de 1637 dans laquelle Mathieu Basarab, voévode de Oungro-Valaquie, souligne la communauté religieuse entre les Bulgares, Serbes, Oungro-Valaques et Moldo-Valaques, communauté qui se traduit par l'usage de la même langue religieuse.[2] Je doute fortement si cette communauté aurait pu être sentie si le slave était incompréhensible aux Roumains des temps passés.

L'auteur, d'ailleurs, lui-même avance p. 385-7 l'autre fait extrêmement important pour la connaissance du bilinguisme roumaino-slave. C'est que les auteurs des documents slaves des deux principautés étaient non pas Slaves, mais des Roumains qui intercalaient dans leurs compositions slaves des mots et des phrases entières en roumain.

A ce fait vient s'ajouter l'autre non moins important. C'est que les noms de lieu sont donnés dans les documents roumaino-slaves en deux langues là où la racine est indubitablement roumaine: cf. p. e. a. 1490

---

[1]) Cf. le discours de réception de M. Joan Bianu, *Despre introducerea limbii românești in biserica Românilor,* București 1904.

[2]) 'Bianu-Hodoș, *Bibliografia românescă veche,* I., p. 104.

Палтинова = дѣ(л) палтенѹлѹи [1]) dans un document moldoslave (p. 275). Tout cela mériterait vraiment d'être examiné plus amplement. Pourquoi procède-t-on de cette façon? C'est parce qu'on écrit pour un public bilingue. —

*

M. B. a très bien fait d'avoir fait suivre son intéressant livre sur les courants littéraires en Roumanie à l'époque du slavonisme d'un autre consacré à la question très débattue déjà sur l'élément slave de la langue roumaine. C'est parce que, vu l'origine de l'écriture cyrillique, il serait vraiment légitime de se demander si cet élément n'est pas lui-aussi de la même époque et de la même origine que l'écriture. Si l'écriture est de l'origine post-paléo-slave (= mb.), cet élément ne l'est-il pas lui-aussi? M. B. soutient en effet cette thèse dans le livre consacré à l'individualité du roumain par rapport à l'élément slave. La même idée, il la soutenait déjà dans son opuscule croate paru il y a vingt ans dans la *Jagić-Festschrift*, Berlin 1908. Les plus anciens mots slaves du daco-roumain seraient d'après M. B. tous de l'origine post-paleo-slave (= mb.). Ils auraient commencé à entrer dans le roumain à partir du X^{e} s. Il n'y en aurait aucun plus ancien que ce siècle. Ils ne correspondent pas aux époques de Jordanes et des Saints Apôtres slaves, comme prétendait Miklosich et d'autres. Le territoire où ils ont été empruntés, dit-il, ne sont pas les pays balkaniques, mais la Dacia Traiana.

Les Roumains balkaniques, d'après cette théorie, seraient émigrés de ce pays après le X^{e} s. de sorte que, pour expliquer leurs slavismes, il ne faut pas admettre la même source et le même pays (p. 504). Les Daco-Roumains les empruntent aux Daco-Slaves et les Aroumains aux Bulgares balkaniques.

Pour prouver les éléments essentiels de sa thèse d'une façon plus approfondie que dans son opuscule croate et pour exposer ses vues sur le pays où s'est constitué le peuple roumain, l'auteur a écrit un grand ouvrage de 534 pages.

La méthode qui lui fournit les preuves comporte ces points: 1^{0} en neuf chapitres qu'il consacre aux réflexes roumains des sons les plus caractéristiques de l'élément slave (ъ, ь, ѫ ѧ, ꙑ, ѣ, *tr(l)ъ(ь)t)* et le *l* épenthétique à quoi il ajoute encore -ꙗ(ѣ)нинъ, -*инъ*, l'accent slave et -*вън*-, il établit leurs valeurs au temps de Jordanes et dans le vieux slave eccl., 2^{0} il examine ce qu'auraient dû donner ces valeurs en roumain si les mots en question étaient entrés dans la période paleo-slave; 3^{0} il examine leurs valeurs dans le mb., ce qui lui permet de conclure que c'est justement le mb. qui en est la source, 4^{0} il examine les phonétismes scr. et russe pour écarter ces langues comme sources des plus anciens mots slaves en roumain, 5^{0} il étudie les mêmes phonèmes dans l'élément slave du hongrois pour prouver que pour cet élément il faut revendiquer la même source que pour le roumain et pour avoir une base chronologique plus sûre, parce qu'on sait que les Hongrois ont pris possession de leur pays en 995.

---

[1]) *Rimnicu-Sărat* (Valaquie) s'appelait autrefois *Slam-Rîmnic* avec l'adj. slave (Tiktin, *R. d. Wörterbuch* 1438). La traduction roumaine est récente

C'est donc la méthode du comparatisme linguistique le plus ample qui lui fournit les preuves les plus décisives: 1° dans la question de la chronologie de l'élément slave du roumain, et 2° dans la question du pays où s'est constitué l'individualité linguistique du roumain.

Quant à la seconde question, M. B. avance deux thèses: 1° que le peuple roumain s'est constitué linguistiquement dans un territoire où il n'y avait pas de Slaves, c.-à-d. à l'ouest de l'Olt et dans le Banat, 2° que les langues illyrique et thrace nous étant complètement inconnues, l'élément thraco-illyrique du roumain ne nous aide en rien à résoudre le problème roumain.

Il y a cependant assez de réserves à faire concernant ces deux assertions. Quant à la première, il faut absolument repousser la pensée de l'auteur que dans le territoire à l'ouest de l'Olt il n'y avait pas de Slaves avant le X^e^ s.

La transformation des noms de fleuves anciens tels que *Pathissus* > *Tisza*,[1]) *Tsierna*, *Dierna* > *Cerna*,[2]) *Berzovis* > *Brzava*,[2]) *Tib(m)is*[3]) > **Tьmiš* > scr. *Tamiš*, hong. *Temes*, roum. *Timiș*, *Marisus*[3]) > *Moriš*, hong. *Maros*, roum. *Mureș* etc., les noms de lieu et de fleuves actuels tels que *Luncăveț*, *Cerna*, *Olteț*[4]) etc., *Kraĭova* < *Kraļevo*, *Rîmnic*[5]) < *Rybьnikъ* etc., prouvent à l'évidence qu'il y avait ici des Slaves à la même époque que dans les territoires de *Ampoĭu* et de *Arieș* où les Slaves, à en juger d'après la toponymie,[6]) ont précédé les Roumains. Par contre, il n'y a ici aucun nom ancien de rivière ou de ville qui correspondrait au phonétisme roumain.[7])

Une varia lectio (p. 484) qui se trouve dans deux manuscrits de Jordanes relativement au passage où cet évêque de Ravenne au VI^e^ s., relatant, sans doute d'après les sources officielles byzantines, sur les sites

---

[1]) V. maintenant là-dessus l'article très intéressant de M. Budimir *Pathissus-Тиса* dans *Гласник истор. друштва у Нов. Саду*, v. II., p. 1—15. et celui de M. Melich dans *A honfoglaláskori Magyarország* § 14 et § 16.

[2]) Il faut abandonner la pensée de M. Niederle, *Slov. starožitnosti* v. I., p. 21 etc. qu'il s'agit ici des noms de fleuve d'origine slave. Nous avons ici le même cas que dans *Rastok* en Dalmatie et dans *Buzău* en Moldavie où le nom ancien a été slavisé, cf. *ZONF*, IV., 229 Ann. 1., *Slavia*, VII., 731 Ann. 1.

[3]) Voir l'ouvrage cité de M. Melich, p. 52—59 sur les formes anciennes et modernes.

[4]) Affluents de l'Olt; Ces dénominations ne pouvant pas provenir des éléments slaves du roumain, supposent nécessairement l'existence d'une population parlant le slave. *Olteț* est le déminutif de *Olt*. Cette façon d'appeler les affluents se trouve partout où il y a ou avait des Slaves, p. e. *Neretvica*, affluent de la *Neretva*, *Unac* de l'*Una*, *Mürz* < *Murica* de la Mur en Styria etc. Dans ce cas le roumain emploie le suffixe latin *-ola* > *-oară*, p. c. *Jijioră*, affluent de *Jijiŭ*.

[5]) D'après M. B., la toponymie slave extraordinairement riche de ces contrées s'expliquerait par les migrations slaves de l'est de l'Olt vers l'ouest causées par l'arrivée des Hongrois.

[6]) Voir maintenant la belle étude de G. Weigand, *Ortsnamen im Ompoly- und Arányos-Gebietet*, *Balkan-Archiv*, v. I., p. 1—42.

[7]) Seule exception serait *Dunăre* > *Dunavis*, v. *Slavia*, VII., 722 Ann. 2 et 727., exception qui ne prouve rien pour l'existence des Roumains au Nord du Danube. Le nom de ce grand fleuve est répandu dans les contrées très étendues sous formes tout à fait populaires. Quant à *r* qui comble en roum. l'hiatus, cf. *expavere* > *speria* *REW* 3036 et Tiktin, *Rum.-deutsches Wörterbuch*, p. 34 s. v. *aĭurea* et p. 1468.

des Slaves de son temps, ne prouve absolument rien pour l'existence des Roumains à l'ouest de l'Olt. Dans la variante en question, Jordanes *Get.* chap. V nous dit que les Slaves habitaient tout le pays à partir de « civitate Novi et Sclavino rumunnense et lacu qui appellatur Mursianus[1]) usque ad Danastrum et in boream Viscla ».[2])

Sclavino devrait être aujourd'hui *Slăveni* et *rumunnense* = *Romănaţi*. D'après ce dernier adj. qui est fait de *rumîn* et pas du tout de *Romănaţi*, il paraît que *Sclavino rumunnense* soit une interpolation récente, parce que l'interpolateur avait confondu a civitate noviodunense (= Isaccea) avec civitate Novi, qui correspond à Svištov (Bulgarie) d'aujourd'hui. Qui a habité à l'ouest de civitas Noviodunensis et lacus (stagnum) Mu(o)rsianus, Jordanes n'en dit absolument rien.

Ce que dit Kekauménos au XI[e] s. sur les Roumains balkaniques (p. 496) ne confirme nullement la relation de Jordanes dans la variante examinée comme le voudrait l'auteur. Pour ceux-ci l'auteur byzantin nous apprend simplement qu'ils habitaient autrefois près du Danube là où sont les Serbes à son temps, ce qui confirme plutôt le fait relaté par Constantin Porphyrogénète suivant lequel le pays ἡ τῶν Ῥωμάνων s'étendait jusqu'au Danube.[3])

Même dans le cas où tous les anciens mots slaves du roumain dussent provenir du postpaléoslave et du daco-slave, elles ne prouveraient nullement que la frontière occidentale, qu'une des variantes de Jordanes assigne aux Slaves de son temps, s'est conservée telle quelle pendant les siècles VII[e], VIII[e] et IX[e], c.-à-d. jusqu'au temps où commence à pénétrer l'élément slave du roumain.

Quant, puis, à l'élément thraco-illyrique du roumain, il est inadmissible pour toute saine recherche sur les origines des Roumains d'ignorer 1° les mots que le roumain a en commun avec les Albanais, 2° les phonétismes et les faits lexicologiques et syntaxiques d'origine latine ou balkanique que le roumain partage avec l'albanais et le végliote.

Il importe, ensuite, de distinguer dans la première série des phénomènes deux couches des mots; *a*) tels que *brîu, viezure, mazăre* etc. que le roumain n'a pas emprunté directement à l'albanais, mais où il trans-

---

[1]) Si on voulait considérer adj. *Mursianus* comme dérivé de *Mursa*, ancien nom d'Osijek (Slavonie), le terriotoire des Slaves commencerait à »Sümpfe unterhalb Mursa an der Drau« = od ústí Sávy (totiž mursijských bažin)« d'après les commentaires de M. Niederle, *Slovanské starožitnosti* II., p. 222 et de Dr. W. Martens (qui suivent Rössler, Sitzungsberichte de l'Académie de Vienne 73, 86—88), p. 11 de la traduction allemande de l'ouvrage de Jordanes, ce qui parlerait encore davantage contre l'opinion de M. B. Kulakovskij a prouvé que lacus (stagnum) *Mu(o)rsianus* est à identifier avec un des nombreux marais de l'embouchure du Danube, v. *Журналъ Мин. нар. просв.* v. 358, p. 123 et suiv. Voir aussi Šišić, *Povijest Hrvata* I., p. 187, note 21. *Novi* doit, par conséquent, être la première partie du nom celtique *Noviodunum*, aujourd'hui Isaccea.

[2]) Une explication de la façon dont le texte originaire: *a civitate Novietuno* a fait naître l'interpolation *Sclavino rumunnense* se trouve dans la seconde édition de Jordanes faite par C. A. Closs, Stuttgart 1866, p. 27.

[3]) *De adm. imp.*, éd. Bonn, vol. III, p. 126, 7 et suiv.: *ἡ δὲ καὶ τῶν αὐτῶν Ῥωμάνων διακράτησις ἦν μέχρι τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ.*

forme, indépendamment de l'albanais, un mot illyro-thrace de la même façon qu'un mot latin: **brēnu*, **vĕzula* < i-e. *veǵh* + *la* > alb. *vjeδulε*, **māzala* < i-e. *mād-sala*[1]) > alb. *moδulε*: *b*) des purs emprunts fait à l'alb. tels que *hămă e*)*si* < alb. *hámεs* + roum. *-i* etc.

L'identité du traitement de *a* devant les nasales dans les deux langues alb. et roum. et de celui des groupes consonantiques *cs* et *ct* en alb., végliote et roum. nous autorisent en effet à placer ces trois peuples ensemble dans les pays transdanubiens, dans les deux Mœsies et, en partie au moins, dans l'Illyricum, pays où ils ont pu développer des rapports intenses de symbiose, de commerce ou de nature ecclesiastique etc., rapports qui se sont traduits dans l'identité des faits linguistiques. Le pays thrace, non seulement en tant qu'il est limitrophe au Danube mais aussi dans son intérieur, accuse au temps de Procope une toponymie assez riche d'origine latine. Ce fait obtenu par le comparatisme linguistique anéantit sans pardon la théorie de M. B.

Suivant cette théorie les mots les plus anciens daco-roumains d'origine slave ne sont pas empruntés dans les Balkans. Ils seraient daco-slaves. Cette langue serait, à partir du X[e] s., absolument identique à celle qui était parlé entre Salonique et Constantinople et que les Saints Apôtres ont érigée à la dignité littéraire et sacrale. Les spécimens du daco-slave avant les mots slaves du roumain seraient d'après M. B. **Savina kniga** et **Codex Suprasliensis.**

D'après cette théorie, ce qui nous surprend de prime abord, c'est de voir que le daco-slave subit à partir du X[e] s. les mêmes transformations que le bulgare à l'est et à l'ouest de la ligne imaginaire Iskăr-Salonique. Or, d'après ce que l'empereur Constantin Porphyrogénète nous apprend sur le ser. du X[e] s.[2]) nous savons que c'est justement le X[e] soù l'individualité des langues slaves balkaniques est non seulement en pleine éclosion mais déjà fortement constituée. Seul le daco-slave aurait continué à développer absolument les mêmes traits que le bulgare. Cette considération à elle seule rend invraisemblable la théorie de M. B.

M. B. commence son étude des sons slaves en roumain par établir six catégories des réflexes pour ъ, ь dont la première comprend la disparition des sémivoyelles à la fin et dans le corps des mots, la seconde roum. *ă*, *â* dans ces deux positions, la troisième roum. *o* dans l'intérieur du mot, la quatrième roum. *e* pour ь dans les deux positions, la cinquième roum. *u* et la sixième roum. *ă*, *â* pour ь. Exception faite de quelques mauvais exemples avancés à leur appui, il n'y a rien à objecter contre paraille division.

Il faut seulement rayer de ses listes des exemples tels que *râvnă*, *pâră* etc. qui ne prouvent rien pour le réflexe roumain de -ь final. Ce sont des formations roumaines de *rîvni* et *pîrî* au même titre que *ceartă* de *certa* ou *rugă* de *ruga* etc.[3])

---

[1]) Jokl, *Linguist.- kulturhist. Untersuchungen* etc., p. 183. Cf. maintenant aussi G. Weigand dans *Balkan-Archiv*, v. III, p. 209—213 sur les couches des mots thraces en roumain et en albanais.

[2]) Voir mon étude dans *Starohrvatska Prosvjeta*, n. s., I., p. 161 et suiv.

[3]) Meyer-Lübke, *Roman. Grammatik*, v. II., p. 444.

Les mots d'origine ucraïnienne tels que *hlibă*[1]) pour *hlib* prouvent à l'évidence que *-ă* final des mots slaves peut être ajouté dans une période récente où l'on ne prononçait plus les sémivoyelles à la fin. *-ă* dans *stână*, par conséquent, ne prouve rien au sujet du réflexe roumain pour -ъ final.

D'après M. B. la valeur de ъ, ь aurait été au temps de Jordanes et dans l'époque cyrillo-méthodienne roum. *ă* et *ĕ* réduits s'approchant de *ă*. En se basant sur cela, il donne p. 158 la transcription des six catégories contenant les semivoyelles. Puisque aucun de ces mots ne s'est conservé exactement avec ces valeurs en roumain et qu'ils n'ont pu obtenir leur forme actuelle sur le terrain roumain, il en induit qu'ils ne peuvent provenir d'un temps plus ancien que le X^{e} s.

M. B. a sans doute raison d'expliquer roum. *ă* (*â*), *o*, *e* et la disparition des sémivoyelles (*oțăt, dobitoc, steclă, poftă* etc.) par les phonèmes parallèles du mb. Mais on ne peut pas expliquer roum. *-u*, *-e* (*-ie*) ⟨ -ъ, -ь à la fin de nombre de mots (*cimbru, cinste, trestie* etc.) par le mb., puisque les sémivoyelles finales ont disparu à cette époque. De même, on ne peut pas expliquer *sъto* ⟩ *sută* par le mb. Le réflexe du dernier mot est le même que dans alb. *šul* ⟨ *sъlъ*.[2])

D'ailleurs, il est grande question si ъ de l'a. sl. eccl. était égal à roum. et bulg. *ă* de la langue actuelle. Le grec byzantin fait aussi la différence entre *κράλης* ⟨ краль et *ζουπάνος* ⟨ жоупанъ etc. de même que le roum. dans *cimbru* et *cinste* etc.

En étudiant le vocabulaire slave du roumain, il est indispensable de tenir sous les yeux le fait que le slave de nuance macédonienne était, dans les principautés roumaines, non seulement la langue officielle de l'état, mais aussi de l'église. Or, des mots tels que *becisnic, praznik, braslă* et beaucoup d'autres exprimant des termes officiels et des notions de la vie publique en général ont pu être introduits dans le daco-roum. en effet sur le terrain roumain par les autorités roumaines ou par l'église longtemps après l'époque postpaléoslave indépendamment de la prononciation que de tels mots avaient dans la bouche des Slaves balkaniques.

Les slavismes, par contre, qui sont communs à tous les dialectes roumains et pour lesquels il faut revendiquer l'origine commune datant de l'époque avant la séparation dialectale, ont pour base la symbiose roumaino-slave. Cette symbiose s'étant prolongée durant tout le moyen âge slave, les mots de cette dernière catégorie ont pu changer leur forme ancienne plus tard grâce à cette symbiose et au bilinguisme dont nous avons parlé plus haut.

Un phénomène semblable s'est produit sur le domaine slave chez les mots d'origine dalmate qui ont reçu après coup la forme vénitienne, cf. *cathedra* ⟩ *katrida* changé en *katriga* sous l'influence de ven. *carega*.[3]) Nous verrons que cette vue nous aidera bientôt à expliquer des cas tels

---

[1]) Scheludko, *Balkan-Archiv*, I., 164.

[2]) M. B. n'a pas pris en considération mon compte rendu du livre de M. Conev, *Slavia*, IV., p. 128 et suiv., 326 et suiv.

[3]) Cf. *ZfrPh.* XXXVI., 646 № 2.

que *poruncesc* à côté de *porîncesc*. Or, les plus anciens réflexes roumains pour ъ, ь ont pu changer plus tard sous l'influence des formes qu'accusent le mb. etc.

Les mots slaves du hongrois auraient à prouver la thèse de M. B. L'auteur voit (p. 243) l'identité du traitement des sémivoyelles dans les deux langues. Mais le hongrois, avec son harmonie vocalique, se prête bien souvent mal aux comparaisons avec le roumain. Ainsi pour -ъ, -ь > roum. *-u*, *-e* à la fin, il n'y a pas d'analogies hongroises. Ce n'est que le grec byzantin qui a quelque chose de semblable.

Dans les reflexes roumaines pour les nasales ѫ, ѧ, M. B. distingue très bien trois catégories: 1° *-ân, un* pour ѫ, 2° *in* pour ѧ et 3° *ân (ăn), ian, ia, em, en* pour ѫ, ѧ. Là aussi il y a des réflexes qui ne s'expliquent pas par mb., tels *un* et *in*. Il a sans doute raison en affirment qu'il faut expliquer ѫ, ѧ > *în* par le mélange des yus et par ън du mb. Mais là-aussi il y a des cas qui s'expliquent très bien par les faits roumains, ainsi grec *θύμβρος* > чѫбръ, où, en slave, *θ* > ч correspond à *z* de ital. *zio* < *θεῖος*. Roum. *i* au lieu de *î* est dû à la palatale précédente.

M. B. me paraît procéder trop mécaniquement dans ses recherches. P. 268 il établit la prononciation *on* et *en* pour les nasales slaves sans tenir compte d'un fait extrêmement important précisément ici. C'est que le roumain, pour ce qui est du nasalisme antéconsonantique, coïncidait avec le slave.[1]) ѫ étant une nasale, elle ne pouvait pas donner le même résultat que *poclon, pogon* etc. (p. 273) où il n'y avait pas de nasalisme en slave.

Il y a, ensuite, nombre de mots latins accusant un parallélisme complet avec *poruncesc - porîncesc* (p. 273), c.-à-d. où *în*, *î* d'origine mb. remplacent *un* plus ancien. Ce sont *adînc, lîngă, fîntînă, porîmb* (p. 270), *cătră(e)*, exemples qui parlent éloquemment contre l'affirmation de l'auteur (p. 270) que *on* ne change jamais en *în* sur le terrain roumain. Le même résultat que dans *cătră(e)* on a dans *cît* et *atît* où nous constatons pour *în* le même *î* que dans le bulg. moderne: a. sl. eccl. *kǫšta* > mb. *kъnšta* > b. mod. *kъšta*, a. sl. eccl. *kǫtъ* > mb. *kъnt* > b. mod. *kъt*. Il y a ici sans doute une superposition récente de *în*, *î* sur le plus ancien *un* d'où il s'ensuit tout nécéssairement que *un* < ѫ et *în* < ѧ sont plus anciens que *în*.

Ce sont donc deux couches des réflexes, une plus ancienne et l'autre plus moderne, dont la première peut en effet remonter à l'a. sl. eccl. ou même à l'époque de Jordanes et la seconde à la mb.

M. B. a vraiment donné une série de raisons convaincantes pour l'influence de la dernière. Ainsi pour *ĭan* < ѧ (p. 296) et pour le mélange des ѫ et ѧ, phénomène qu'on voit sûrement dans *cimbru* < *čǫbrъ* (p. 281), mais qu'on ne voit pas dans *pintenog* puisque le premier élément remonte à *pętьno*. Skr. *putonog, putast, putaļ* est une innovation pour laquelle on ne trouve pas d'autres parallèles slaves.

Quant aux réflexes roumains pour ы, M. B. constate deux catégories: 1° *i* qui est la plus commune, 2° *î (ă)* qui est moins commune.

[1]) *Slavia*, VI., p. 123.

D'après Miklosich (p. 319), il croit qu'au temps de Jordanes et de Cyrille et Méthode la valeur de ы était égale à roum. *î* et que partout on devrait avoir ce son si les mots en question remontaient à ce temps.

Il faut tout d'abord remarquer que les réflexes slaves de quelques noms de lieu hongrois et romans prouvent que, au X[e] s., ы était encore une diphthongue. Ainsi *Ujlak* (= *Ville* neuve) 〉 *Ilok* (Sirmie), *Aluip* 〉 *Olib*[1]) (Dalmatie). Roum. *î i* ne sont que des substitutions avec des sons les plus proches au même titre que le grec ou alb. *u*. Nous ne pouvons pas savoir si dans *î* et *i* nous avons à faire avec deux couches chronologiquement différentes. J'admets très volontiers qu'il s'agit ici aussi des emprunts faits au mb.

Pour ѣ M. B. constante 4 réflexes: 1⁰ *ea*, 2⁰ *a*, 3⁰ *e* sous l'accent et dans la position atone, 4⁰ *i*. Je ne peux pas accepter la thèse de l'auteur que, à l'époque de Jordanes et de Cyrille, ѣ avait la valeur *ä* (*ᵉa*) qui aurait dû, suivant lui aboutir à *ie* en roumain. Lat. *iá* 〉 ѣ dans *aciale* 〉 *ocělь*, *rapa* 〉 *rěpa*,[2]) *patriarca* 〉 *podreka*,[3]) mots qui remontent sans doute à la plus ancienne couche des mots latins du slave, nous autorise à penser que la prononciation *e(i)a* était générale dans le yougoslave avant la séparation du bulg., scr. et slov. et que roum. *ea* - *a* comme la substitution la plus proche pour ѣ peut vraiment remonter à la même époque que ces mots d'emprunt latins. Cependant, j'admets fort volontiers que la prononciation mb. *ea* a pu renforcer l'ancienne prononciation, car nous voyons que aroum. *Părleap*, grec. *Πϱίλαπος* pour macédo-sl. *Prilep* 〉 turc. *Perlepe* accuse la forme plus ancienne que les parlers actuels qui disent *Prilep* où *e* 〈 ѣ se prononçait ainsi déjà au temps de l'arrivée des Turcs.

Dans les réflexes du groupe *tr*(*l*)ъ(ь)*t*, M. B. distingue justement une catégorie où *î* se trouve devant *r*(*l*) et l'autre où *î* suit ces consonnes. Il combat avec raison l'opinion de Miklosich qui voyait ici *l̥* ou *r̥* en a. sl. Il admet la prononciation *ăr*, *ĕr* pour le temps de Jordanes et de Cyrille: distinction, dit-il, qui aurait dû se maintenir dans le roumain si les mots slaves remontaient à cette époque (p. 404). Cette affirmation n'est pas justifiée. On peut dire seulement que les réflexes roumains ne font pas de distinction entre ъ*r*(*r*ъ) et ь*r*(*r*ь) de même que les langues yougoslaves. C'est d'ailleurs tout naturel, parce que l'élément slave du romain est du type yougoslave.

P. 395 M. B. affirme que chez les Roumains il n'y a pas eu de métathèse *rî* 〉 *îr* ce qui est contredit par *fîrtat* 〈 *frate* + *atu*.

Ici il faut noter que les mots hongrois du roumain accusant ce type ont les même réflexes. Ainsi *talalni* 〉 *întîlni* de même que les mots latins *vîltoare*, *vîlcea*. Il paraît que les consonnes *r* et *l* jouent un rôle important dans ce groupe.

---

[1]) Voir *Časopis za slov. jezik* etc., VI., p. 6.

[2]) V. mon article *Zum Balkanlatein*, III, dans un de prochains numéros de la *ZfrPh*.

[3]) V. *Časopis za slov. jezik*, III., 24, note 2; *Зборник* de Belić, p. 122, note 5; *Starohrvatska Prosvjeta*, n. s., I., 170 § 17. *Гласник скоп. науч. друштва* IV., p. 339.

Quant aux exemples tels que *joardă, jertfa,*[1]) le premier exprimant un terme agricole est ukraïnien, et l'autre, terme de la langue ecclésiastique, est récent de même que p. e. *odăjdii* = scr. *odežda.*

La disparition du suffixe *-in* indiquant l'individu dans -ꙗ(ѣ)нинъ ne prouve absolument rien en faveur de la théorie de M. B. Ce suffixe pour lequel il n'y avait rien d'analogue dans le sentiment grec et latin a disparu partout dès les temps les plus anciens. Ainsi dans *Sclavus, Σθλαβηνός.*

Quant à l'accent des mots slaves du roumain, M. B. distingue deux types: 1° l'accent roumain sur la pénultième remontant sur l'accentuation finale en slave, 2° les mots roumains qui gardent l'accent slave de la pénultième. En se basant sur le fait que le roumain connaît l'accentuation finale dans *curea* p. e. et que les mots turcs et néogrecs gardent leur accent final en roumain, il postule que le roumain aurait maintenu l'accentuation finale slave dans les mots du premier type s'il l'avait entendue. Cette argumentation n'emporte pas la conviction. D'abord on ne sait pas quand et où les mots du premier groupe ont transposé l'accent de la finale sur la pénultième. Les mots turcs et grecs et *curea* ne prouvent rien pour l'adaptation des mots slaves à l'accent latin. L'accent bulgare occidental (p. 451) d'aujourd'hui ne prouve rien pour le X[e] s.

L'assimilation *вьн* > *mn* ne prouve rien dans la question de la chronologie des mots slaves (p. 459), parce qu'elle a pu se produire sur le (terrain roumain, cf. les différentes formes que revêt en roum. *dumbravnic* Tiktin, *D.-rum. Wörterbuch* s. v.).

P. 468 *dva na desẹte* = *doĭ spre zece* où, suivant lui, il n'est pas nécessaire de voir un calque slave, les vocatifs en *-o* et *-ule, a se ruga* etc. sont en effet sans importance dans la question chronologique que traite M. B. Il peut aussi avoir raison en disant que les éléments roumains du bulgare et des autres langues balkaniques sont de la même époque que les mots postpaléoslaves du roumain.

Dans sa synthèse p. 480 M. B. affirme que les plus anciens slavismes roumains reposent de même que ceux du hong. sur la phonétique de deux dialectes bulgares: *št, žd,* ѣ > *ea, ân* et le mélange des nasales seraient les traits bulg. orientaux, tandis que *âr, âl,* l'accent sur la pénultième, *-oc,* ь > *e* et ѫ > *un* seraient occidentaux. Dans la langue dacoslave qui les a donnés aux Roumains et aux Hongrois (p. 506), ces deux traits ont existé, dit-il, comme des éléments nouveaux susceptibles à servir de base pour la différenciation ultérieure dans le bulgare.

Cette opinion n'est pas prouvée par les mots slaves du roumain. Au lieu de la coéxistence de ces deux traits dans le même territoire et dans le même temps il sera sans doute mieux de croire à la différence chronologique et territoriale des mots slaves du roumain de la même façon que dans le dialecte istro-roum. où il y a des éléments vieux-slaves à côté des štokaviens et čakaviens, c.-à-d. des traces de leurs parcours des territoires yougoslaves.

Cette manière d'envisager la question correspond mieux à l'histoire

---

1) Scheludko dans *Balkan-Archiv,* v. I, p. 165.

des Roumains. Il serait trop surprenant, si leurs migrations étaient restés sans répercussion dans la constitution de leur langue.

La critique que je me suis permis de faire à la théorie de M. B. ne veut pas du tout dire qu'il faut la rejeter en entier. M. B. a sans doute prouvé que l'élément slave du roumain provient peut-être dans sa plus grande partie du postpaléoslave, c.-à-d. des siècles qui suivent le X^{e}. Ce fait s'explique aisément par l'histoire. C'est que dans ces siècles les Roumains organisent leurs états d'après le modèle slave, qu'ils persistent à être adhérants de l'église slave et, surtout, qu'ils sont en grande partie encore bilingues. Les traits très anciens des leurs slavismes dont l'existence ne peut pas être mise en doute ont pu être très facilement effacés par le développement ultérieur du slave au milieu duquel ils vivaient en symbiose. Or, M. B. qui admet pour tous le X^{e} s. comme le point de départ me paraît exagérer trop.

En tout cas, les slavismes roumains ne nous autorisent nullement 1^{0} à placer le berceau des Roumains à l'ouest de l'Olt, 2^{0} à méconnaître l'identité de leur latinité avec celle qui s'est constituée dans les Balkans, pour la plupart dans les territoires limitrophes du limes danubien et de la côte dalmate, latinité dont Procope nous a donné pour le VI^{e} des spécimens très intéressants et qui a servi de base au vegliote et à l'élément latin de l'albanais, et 3^{0} notamment à méconnaître un temps assez prolongé de la symbiose roumaino-albanaise.

Zagreb. *P. Skok.*

Dr. phil. Alfons Marguliés: **Die Verba reflexiva in den slavischen Sprachen.** (Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher. III. Reihe: Texte und Untersuchungen 2.), Heidelberg 1924. XVI + 283 str.

Tímto spisem, v podstatě původně doktorskou dissertací, předloženou r. 1922 na universitě v Královci, zahájil r. 1924 Marguliés svou vědeckou publikační činnost, obsáhlou a nezvykle rychlou, ale poněkud ukvapenou, jejíž překotnosti a neklidu se dostalo však tragického odůvodnění předčasnou smrtí autorovou v dvaatřiceti letech na počátku tohoto roku.

Když r. 1924 vyšla jeho »Verba reflexiva«, byla to po dlouhé době opět jednou práce ze srovnávací syntaxe slovanské; tím lze si patrně vysvětliti, že byla práce Marguliésova s počátku zcela příznivě přijata od F. Spechta v Deutsche Literaturzeitung 1925, 1712 a násl. Ke skeptičtějším poznámkám v stručném referátě Meilletově, jinak příznivém, uveřejněném v Bulletinu de la Société de linguistique (25, 1924, 163—4), přidružila se teprve velmi pozdě zcela odmítavá recense Tanglova v Zeitschriftu f. slav. Phil. (4, 1927, 226—245). A přece práce Marguliésova vychází z některých nesprávných předpokladů, užívá pochybeného methodického postupu a materiál v ní shromážděný a jeho interpretace trpí leckde malou znalostí jazyků slovanských.

Pracoval jsem několik let o práci obdobné, jejíž první část již vyšla;[1])

[1]) Genera verbi v slovanských jazycích I. a II. (Rozpravy Král. čes. společnosti nauk. tř. filos.-histor.-jazykozpyt. Nová řada (VIII.), čís. 2 a 4. V Praze 1928 a 1929. (Předloženo r. 1926). — Cituji: *Genera verbi* a paragraf.

moje dissertace »O zvratných slovesech slovanských« z r. 1917 měla některé chyby společné s pozdější prací Marguliésovou; učil jsem se na jeho chybách; proto, shrnuji-li je dnes, nechci tím znehodnotiti začáteční práci autora, který se již nemůže brániti, ale chci jen co nejobjektivněji ukázati, že nesnáze spojené s řešením jemných otázek syntaktických, a to hned v rozsahu všech jazyků slovanských a v celém jejich historickém vývoji, nelze zdolati způsobem, kterým postupoval autor, ani se znalostí jazyků slovanských, která není úměrná takovému úkolu, a chci upozorniti na to, že linguistika nemůže prostě přijímati pro slovanská slovesa reflexivní závěry práce Marguliésovy a bez kritiky ani jednotlivá její tvrzení, ani její doklady. Proto nepokládám tento značně opožděný referát za zbytečný, třebaže uvedená recense Tanglova zřejmě již ukázala slabiny této práce: recense Tanglova zabývala se více samými výsledky práce, moje pak si všímá především příčin, pro které ztroskotala. Dovolávám-li se častěji své vlastní práce, činím tak jediné proto, abych svou kritiku zestručnil; proto také se omezuji v ní na to, že odmítám názory podle mého mínění chybné, vyložiti positivně své názory měl jsem a budu ještě míti příležitost v práci vlastní.

Z á k l a d n í c h y b y m e t h o d i c k é h o p o s t u p u v práci Marguliésově vidím v tom, že nedbá dostatečně u zkoumaných jazykových jevů **r o z d í l ů č a s o v ý c h a m í s t n í c h.**

Předně nedbá jejich v ý v o j e v d o b ě h i s t o r i c k é, a to nikoliv tak, že by snad posuzoval jevy ty se stanoviska jisté jednotné doby (synchronicky), což je jistě způsob methodicky také zcela oprávněný, nýbrž vycházeje od předslovanského jazykového stavu, vykonstruovaného příliš schematicky, jak dále ukáži, probírá syntaktická fakta slovanských jazyků z doby staré i z doby současné většinou bez rozlišení, v jedné rovině a tím je zkresluje.

Na př. na str. 264, sveden byv prostým výčtem reflexivních sloves hnutí duševních v češtině, časově nerozlišeným, který našel u Miklosiche (Synt. 270: »hořekovati sobě: naříkati sobě; stýskati sobě; obtěžovati sobě; stížiti sobě; toužiti sobě neben toužiti u s. w., libovati si, oblíbiti si gefallen finden, stěžovati si, . . .«) tvrdí Marguliés: »Im čechischen sind, wie Miklosich l. c. anführt, diese Verba (slovesa hnutí duševních) m e i s t mit dem volltonigen dativischen Reflexivpronomen verbunden, wie ***hořekovati sobě, stýskati sobě*** . . . (což je již nesprávná interpretace místa Miklosichova): mitunter auch mit dem enklitischen, so ***libovati si*** . . .« a rozdíl mezi oběma typy, s přízvučným *sobě* a enklitickým *si*, vysvětluje tím, »daß nicht alle diese Fälle čech. als organisch empfunden wurden, daß also die Bildung (typ s dativním *sobě*) zum Teil nur auf Grund der allgemeinen Kasusrektion des Verbums, die hier auch im Aktivum dativisch war, zustande kam«, poněvadž u reflexivního slovesa dativního se dnes většinou užívá formy enklitické: a přece u obou těchto skupin byl v češtině v starším jazyce vesměs dativ *sobě*, v jazyce novém je pak *si* a jde jen o rozdíl časový (srov. má Genera verbi § 78 a násl.).

Podobně nerozlišuje zcela jasné vývojové rozdíly v jazycích slovanských ve významu reflexivních sloves typu dativního a v jejich užívání. I když konstatuje, že jeho kategorie »dativně-dynamického reflexiva«

není doložena v památkách staroslověnských a staroruských, vidí příčinu toho ve vznešené řeči (die hohe Sprache) těchto památek a v tom, že této formy nebylo v jejich řecké předloze (str. 259): v tomto případě lze sice právě jeho typ dynamického dativního reflexiva doložiti ze staroruských památek (v. Genera verbi § 74; také by o nich ztěžka platila obojí příčina Marguliésem uváděná) a rovněž existuje rozdíl v míře, jak užívá podobných typů reflexivního slovesa jazyk lidový a jazyk spisovný, na př. v češtině a ještě jasněji v pol. a rušt. (srov. ib. § 10, 86 a 110), ale přece sotva lze rozšíření tohoto typu v jazycích západních prostě přenášeti do minulých dob všech jazyků slovanských a strus. dativní typ reflexivního slovesa nemá kontinuity s dativním typem v současných jazycích a nářečích ruských.

Jen pojímaje reflexivní sloveso dativního typu bez rozlišení jednotlivých jazyků a dob, mohl Marguliés tvrditi »es gibt keine dativischen Reflexiva tantum« (str. 221); sám pak píše dále na str. 263 o slovese *sъžaliti si* »dieses Verbum ist im Abg. dativisches Reflexivum tantum« a v nové češtině jsou rovněž reflexiva tantum dativního typu (*sednouti si*, *lehnouti si* a j.), též v pol. a j., v. Genera verbi § 109 a násl.

Druhá část naší souhrnné výtky jeho methodickému postupu týká se dvou věcí: jednak toho, že si Marguliés skoro nikdy nevšímá rozdílů mezi jednotlivými jazyky slovanskými, které skutečně u reflexivního slovesa mezi nimi existují i ve formě i ve významu, jednak, že srovnává většinou jen fakta jazyků spisovných. Avšak srovnávací historická jazykověda slovanská pro rekonstrukci starších stadií i pro osvětlení vývoje jednotlivých jazyků nutně vyžaduje, aby se využívalo faktů dnešních lidových nářečí.

Nejmarkantněji vystupuje tento nedostatek v Marguliésově práci v ruštině, kde spisovná ruština zdaleka nemůže representovati nářečí ruská. A tak na př. tím, že si autor nevšímal dialektických forem reflexivního slovesa, uniklo mu, že je vznik synthetické formy ruského slovesa reflexivního mnohem složitější, než jak se mu jeví podle forem jazyka spisovného (totiž prostě ze slovesa spojeného s akusativem reflexivního zájmena, str. 36 n. a 222), a zvláště fakt důležitý pro tento vývoj, že v ruské synthetické formě splynul původní typ akusativní i dativní (srov. Genera verbi § 59 a násl.).

Nedovídáme se proto také ničeho z knihy Marguliésovy o značném rozdílu v užívání dativního typu reflexivního mezi nářečími ruskými, naopak jediný doklad z ukrajinštiny pro jeho dynamické dativní reflexivum vedle četných dokladů z nářečí vrus. (str. 257) sotva prozradí čtenáři, jak běžný je právě tento typ v některých nářečích ukrajinských; rovněž se ničeho nedovídáme o rozšíření dativního typu (s enkl. *si*) v dialektech kajkavských a zčásti i čakavských: kniha uvádí jej z dialektů jihomoravských podle Belićovy studie Dijalekti istočne i južne Srbije (na str. 254), je však doložen i z dialektů sousedních v studii Brochově, Die Dial. d. südl. Serb. a jinde (srov. Genera verbi § 68).

Nedbání jazyka lidového dovedlo pak autora k zcela zvrácenému tvrzení o slovanském passivu, že totiž »das Slavische zum Verbum reflexivum für Passivdiathese nicht gerne greift und in ausgedehnterem

Maße deshalb die absolut eindeutige Periphrase mit dem Passivpartizipium heranzieht« (str. 109, srov. i str. 196 a opět 199): toto tvrzení se zakládá na pozorování jazyků spisovných, zvláště staršího překladového jazyka: v jazyce lidovém je passivum opisem s passivním participiem vyjadřováno celkem zřídka, jediné v nářečích ruských je častější a ve spisovných jazycích samých teprve vývojem v pozdější době historické tohoto opisu přibývalo a přibývá,[1] nehledíme-li ani k faktu, že vazba tato v staré slověnštině a nejstarších doložených obdobích jednotlivých jazyků slovanských není ještě morfologickou slovesnou formou passiva a touto formou se teprve stala v historické době, poměrně pozdní, těchto spisovných jazyků (srov. Genera verbi § 230 n. a 235 n.).

Také velmi málo průkazný pro slovanské jazyky je postup, jehož autor užil v § 25, v němž »zesílené reflexivum« dokládá a vykládá z překladu několika míst evangelských do jednotlivých slovanských jazyků. Takové srovnávání může býti nanejvýš první pracovní pomůckou a i pak je třeba ho užívati velmi opatrně, ale nikdy není bezpečným a průkazným materiálem: na př. v uvedených příkladech v knize Marguliésově je v pol. skoro v polovině dokladů doložen typ *siebie (się) samego (wybaw się samego*, totiž s kongruencí adj. *sam* s objektem a nikoliv se subjektem), který je v polštině skoro jen v překladovém jazyce (srov. Genera verbi § 129). Při tom připomínám, že musíme velmi skepticky hleděti na pravidlo »einem Griechischen Medium entspricht im Altbulgarischen ein einfaches Reflexivum, einem griechischen Reflexivum entspricht im Altbulgarischen ein verstärktes Reflexivum« (str. 69); pravidelná tato tendence má obdobu ve Vukově srbském překladu Písma, v němž se řecké spojení slovesa s pronominem překládá slovesem s refl. zájmenem *sebe* nebo s výrazem *sam se* (v. Boranić v Radu 140, 1899, 138 a násl.), avšak v staroslověnských památkách samých je toto pravidlo provedeno s tak malou pravidelností, že přestává býti pravidlem; i Marguliés sám uznává jeho relativnost (l. c.) a jeho vlastní příklady svědčí proti pravidlu. Srov. ještě na př. za ř. *ἑαυτόν* stsl. *sę* v Lk. 4, 9; 5, 14; 14, 11; 16, 15 (As.): 18, 14; v Apost. act. 16, 27: 23, 12 a 21; 2 cor. 6, 4 a j.

Tyto vady práce Marguliésovy jsou vůbec v slovanské linguistice, zvláště srovnávací, dosti rozšířeny a nejsou tedy chybami jen Marguliésovými; nepřináší však v té věci jeho práce pokrok, ač právě práce monografická může a má zasáhnouti hlouběji, než může souhrnná práce bez prací přípravných.

Další zásadní chybou práce Marguliésovy je to, že úzkostlivě v třídění a při výkladu svého slovanského materiálu lpí jen na formě a naprosto zanedbává skutečný význam formy a možnou jeho různost: lze bez přehánění říci, že je u Marguliésa spojení slovesa s jakoukoliv formou reflexivního zájmena reflexivním slovesem se speciálním rodovým významem.

---

[1]) Srov. v Naší řeči 13, 1929, 193 a násl. poznámky Zubatého o tom, jak se v nejnovější době v spisovné češtině šíří opisné passivum s participiem i o ději abstraktním (opakovaném) místo obvyklého reflexivního slovesa *(povídalo se)*.

A tak — nehledě ani na to, že je u něho reflexivním slovesem každé spojení slovesa s reflex. zájmenem *sę* a jeho střídným tvarem, a to i přízvučným (na př. stsl. Lk. 23, 35 *da sъpasetь i sę*, str. 74), a s dativem reflex. zájmena (na př. čes. z Chelč. *aby sobě i jiným potřebu vydělal*, str. 251) — řadí mezi reflexivní slovesa, tedy zvláštní rodovou formu slovesnou, t. zv. »zesílené reflexivní sloveso« (verstärkte Reflexiva), totiž spojení slovesa s akus. *sebe* nebo s výrazem *sę samъ* i *sebe samъ* (str. 43, 55 a násl.), spojení slovesa s instr. reflex. pronomina (*on sám sebou nevládne* a pod., str. 77 a násl.) a s dativem jasně orthotonickým nebo spojeným s adj. *samъ* (na př. stč. *sami sobě v tom nevěřiece*, str. 260 a násl.), ba i ve spojení jako čes. *zlobil se na sebe* můžeme prý mluviti »von einem doppelten Reflexivum«[1] (str. 76), ač zde všude jde jenom o spojení slovesa s objektem vyjádřeným pronominem reflexivním, ale jinak syntakticky zcela rovnocenným s objektem jiným (na př. rus. *он ранил себя = он ранил тебя*). To sice autor sám patrně uznává, ale pokládá takováto spojení za zcela rovnocenná s »objektivním reflexivem« vůbec (»wie überhaupt bei objektiven Reflexiven das Reflexivpronomen ganz ebenso als Objekt aufzufassen ist, wie ein beliebiges anderes Objekt«, str. 79): pak ovšem neměl vůbec viděti v reflexivu objektivním zvláštní kategorii rodovou; avšak takováto spojení nejsou rovnocenná s objektivním reflexivem typu na př. vrus. *умываться, выкупаться*, abychom vzali případ nejjasnější.[2])

Dále předpokládá, že reflexivní forma slovesná musí vždy míti syntaktický význam, odlišný od aktivní formy slovesné: proto sice připouští, že reflexivum typu **bogatěti sę* mohlo vzniknouti analogií podle sloves typu *bogatiti sę*, ale při tom tvrdí, že »dann den Eindruck eines dynamischen Reflexivums erwecken m u s s« (str. 139); přehlíží fakt, že v jazycích slovanských bývají obě formy vedle sebe beze všeho syntaktického rozdílu (srov. Genera verbi § 101 a 103) a jen velmi nerad to místy připouští (na str. 118 o stsl. *pasti* a *pasti sę*, které přece však uznává za reflexivum dynamické); nikde v své práci nepostřehl důležitý fakt, že reflexivní forma má někdy význam lexikální a nikoliv syntaktický.

O jeho názoru na vztah mezi formou a syntaktickým významem nejlépe svědčí výrok »nicht anzunehmen (ist), daß völlig gleichwertige syntaktische Inhalte in verschiedenen morphologischen Gestalten Verkörperung finden« (str. 135) nebo »(es ist) selbstverständlich, daß einer jeden Verbalform von vornherein ein ganz bestimmter Genusbegriff immaniert« (str. 222).

S tohoto svého hlediska dochází pak ovšem snadno k předpokladu, že všechna slovanská slovesa reflexiva tantum mají rodový význam (o jejich vzniku v. dále) a že není p r a j a z y k o v ý c h m e d i í t a n t u m (str. 219 a násl.). O původu indoevropských medií tantum jest ovšem těžko rozhodovati, ale fakta jazyků indoevropských, uváděná Delbrückem a Brugmannem,[3]) svědčí o opaku, jak již právem namítá Marguliésovi

---

[1]) R e f l e x i v u m u Marguliésa = verbum reflexivum.

[2]) Srov. o této otázce Genera verbi § 106; Marguliés zřejmě nezná výklad Nekrasovův (О значении форм русского глагола, str. 64 n.) ani Ovsjanika-Kulikovského (Синтаксис рус. яз. [2], str. 128 n.).

[3]) Srov. též u Wackernagla, Vorlesungen über Syntax I, 129 a 132 a násl.

Meillet v své recensi: Marguliés si v této otázce, jako i jinde, příliš zjednodušuje poměr mezi formou a jejím významem a nehledí k tomu, že pravděpodobněji nevznikla vždy nová forma teprve pro jistý význam, ale existující forma bývala proň adaptována, jak to při vývoji deklinace častěji ukázal Zubatý (na př. ve Věst. Čes. akademie 10, 1901, 519, 521 a násl.).

A podobných apriorních, ničím nedoložených a nedokazovaných, předpokladů o ide. prajazyce uvádí Marguliés několik. Je to zvláště jeho tvrzení, že ide. prajazyk měl passivum, a to ve formě mediální: dochází k němu zcela deduktivně z předpokladu, že »von den einzeln nichtaktiven Verbaldiathesen ist die passive als fundamentaler Gegensatz zur aktiven, wohl als ursprünglichste anzuerkennen«, a proto myslí, »daß wir darnach trachten müssen, auch fürs Idg. das passive Genus als ursprünglichstes nichtaktives zu statuieren und daß das nicht nur eine Forderung, sondern geradezu eine Notwendigkeit ist« (str. 11, srov. i str. 184 a násl.).

Avšak jednak právě passivum v indoevrop. jazycích není tímto logickým opakem aktiva, nýbrž je výrazem pro děj vyjádřený bez zřetele k agentu (srov. Wackernagel, Synt. Vorles. 1, 143 a Genera verbi § 9), jednak roztříštěnost passivního tvoření v starých ide. jazycích příliš jasně svědčí o opaku; v passivu pak sotva lze hledati původní význam ide. media, jehož význam nejjasněji poslední dobou formuloval Wackernagel v Synt. Vorlesungen I, 124 a násl. U Wackernagla by byl též autor našel (na str. 135 a násl.) lepší výklad o ide. passivu: překvapuje, že Marguliés vůbec zde i jinde pomíjí mlčením Wackernaglův výklad o genus verbi (str. 119—149), ač jinde Wackernaglovy Vorlesungen cituje (na str. 209 a 216). Na nemožnost postupu, jak Marguliés chce dokázati ide. existenci passiva, právem již ukázal Tangl v své recensi a jeho důkazy vyvrátil (str. 227—230). — Důvodem pro nutnou existenci passiva v ide. je autorovi předpoklad kategorie passiva, a tu překvapuje, že autor v badání o konkretních živých jazycích význam i funkci zcela podřizuje formě, v prajazyku pak, u něhož se můžeme opírati jen o formu, získanou srovnáním, postupuje opačně.

Dále soudí, že ide. prajazyk měl reflexivní slovesa s významem rodu objektivního (str. 12), nehledě nikterak na to, že nelze prostě říci místo důkazu, že skutečnost ležela uprostřed mezi stavem jazyků baltoslovanských a germánských na jedné straně a mezi řečtinou a jazyky árijskými na straně druhé, nýbrž že je třeba hodnotiti vzájemně stav doložený v těchto jazycích, že by bylo předem třeba dokázati velmi spornou existenci reflexivního zájmena v ide.[1]) a že nelze prostě spojení slovesa se zájmenem osobním nebo s opisem osoby považovati za reflexivní sloveso.

Z drobných podobných úsudků uvádím alespoň jeden: »ein Nebeneinander von **sēm* und **sē* (ist) unwahrscheinlich« (str. 15), ač přece je v stid. ***mām*** i ***mā***, ***tvām*** i ***tvā***.

Z apriorních jeho úsudků o předhistorickém vývoji slovanském uvádím alespoň tento: »An sich könnte auch das unpersönliche Reflexi-

---

[1]) Srov. Genera verbi § 93.

vum in solchen und ähnlichen Fällen (stsl. *mьnitь ti sę* vedle *mьniši*) das Primäre sein und die Pronomina erst sekundär auftreten; allein dieser Weg scheint mir unwahrscheinlich, ich glaube doch, daß dann, wenn persönliche und unpersönliche Konstruktion bei einem Verbum nebeneinander im Gebrauch sind, die persönliche das Ursprüngliche ist« (str. 218), ale nevyložil proč; podobně soudí, že neosobní passivum vzniklo teprve z osobního (str. 212), srov. proti tomu Wackernagel, Vorlesungen I, 145 a násl., o latině Jiráni, Skladba jazyka latinského I, 114 a násl.; reflexivní forma je tu jistě sekundární, ale jinak právě neosobní passivum je patrně staré.

Překvapuje v obecných úvahách jeho názor o významu forem mediálních v řečtině a forem na *-r* v latině (»scheint mir, wie bei dem objektiven Genus ein bestimmtes akkusativisches Verhältnis, so beim Genus der Beteiligung ein bestimmtes dativisches Verhältnis latent in der Psyche des Sprechenden zu liegen«, str. 248), názor o poměru ide. media a slovanského reflexivního slovesa (»da wir nun im Abg. das Reflexivum als eine Genusform kennen, die in ihrem syntaktischen Gehalt dem idg. und damit auch griech. Medium fast restlos entspricht, so kann man vielleicht annehmen, daß diese Parallelität der Formen im Sprachgefühl der abg. Übersetzer weiterlebte, str. 154) a podobným způsobem vykládá, že vznikla i slovanská reflexiva tantum (str. 219). V prvním příkladě je viděti, jak nebezpečně podléhá autor kategoriím vlastního jazyka, které nesmíme vnucovati jazykům jiným, v druhém příkladě opakuje zesíleně chybu Porzezińského, který si rovněž představoval vznik reflexiv ve funkcích ide. media po ztrátě media, chybu, kterou opravil již Zubatý v Indog. Forsch. Anz. 16, 1904, 64.

Do oblasti psychologické utíká se autor i jinde, překládaje do ní zcela zbytečně jevy jazykové, totiž různé vztahy syntaktické a mnohoznačnost forem, na př. na str. 145—6 v užívání reflexiva dynamického »liegt .. im allgemeinen eine Verteilung nach individuell-sprachpsychologischen Gesichtpunkten vor«, na str. 202 nevyjádřený (gramaticky) agens u passiva je »psychisch unterschwellig«, což není vůbec správné: i nevyjádřený agens může ve vědomí mluvčího existovat, ať je neurčitý (lidé, někdo) nebo určitý, ale nevyjádřený, srov. podobně na str. 215, 160 a j.

Marguliés tím, že nedbá jazykových jevů sémantických (gramatických a lexikálních), je zaváděn v předpokladech o předhistorickém vývoji ke zjevným omylům, jinde ke zbytečným exkursím do psychologie řeči, a naopak v konkretních faktech živého jazyka neměl dosti opory pro syntaktické jejich roztřídění.

A tak se stalo, že autorovi bezpečným kriteriem pro rozlišení eventivního a passivního významu u reflexivních sloves je jenom řecký originál staroslověnských památek, v. str. 105 n., 111 n. a j.; jindy zase zcela formální zjev, totiž o »eventivním« rodu svědčí reflexivní participia aktivní, poněvadž při passivním rodu by se prý užilo participií passivních (str. 108 a násl.). Mezi participia pak beze všeho se řadí i *l*-ové participium, ač syntaktická funkce tohoto participia se již v nejstarších fásích slovanských jazyků oddělila od participií ostatních, par-

ticipium to (obyčejně ve spojení se slovesem *býti*) má funkce verbálního predikátu a ve vazbách participiálních se ho neužívá (srov. Potebnja, Iz zapisok po rus. gram. I—II, 231 a násl.). Tedy o tomto participiu to zcela jasně neplatí, srov. stsl. Mt. 12, 26 *i ašte sotona sotonǫ izgonitъ, na sę razdělilъ sę estъ ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη — proti sobě rozdělen jest* (Kralic). Mt. 15, 5 *iže koližьdo otъ mene polьdzevalъ sę esi ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς* — a me iuvari posses, PsSin. 21, 6 *kъ tebě vozъvašę i sъpasli sę sǫtъ ἐσώθησαν*, Chlud. *sъpaseni byšę*, srov. parafrási v Supr. 77, 28 *k' tebě vъzvachomъ i sъpaseni bychomъ* a p., strus. LětIpat. 6721 *и посла Дмитра ... противоу имъ к Городкоу. Городокъ бо бѣ отложился* a ve všech dnešních jazycích[1] jako č. *vornulo se dříví do sáhů* (Hošek 1, 116). Neplatí však toto kriterium Marguliésovo ani o skutečných participiích aktivních (praesentních a praeteritálních), i ty mívají v reflex. formě význam passivní, srov. stsl. Lk. 7, 30 *ne krьštьše sę otъ nego μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ*, Cloz. 714 *i prьvée sę věnьčavъ στεφθεὶς*, Supr. 533 *nъ vъplъštьša sę otъ svętyję děvy bogorodicę*, Apost. act. 2, 33 Hilf. *desniceju ubo božieju vъznesъ se τῇ δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς*, Tom. *vъznese se*, Šiš. *vъznesenъ* a p., strus. LětLavr. 6545 *имиже* (knihami) *поучащеся вѣрнии людье ...*, 6496 *крестившимъ же ся людемъ* a j.

Rovněž formou veden tvrdí o substantivech verbálních, že se ještě v nich zachovalo vědomí passivního rodu (str. 27) a proto není u nich refl. zájmena (*narození* a pod.); příčina je zde jiná, substantiva právě pro bezrodovost jakožto nomina mohou beze změny formy vyjadřovati různý vztah se stanoviska slovesa: vždyť podobně i jiné jmenné formy slovesné nemají původně rodový význam a proto ani speciální formální vyjádření, a rovněž jej sekundárně ztrácejí, srov. Genera verbi § 188, 206 a 222; jde o jev dávno známý, viz na př. Paul, Prinzipien[5] 279, Wackernagel, Vorlesungen über Syntax 1, 123, pro slovanská participia na př. Fortunatov v Sbor. otděl. russk. jaz. 64, č. 11, 11, Akad. rječnik 1, 514[a], Naše řeč 2, 23 a násl.

Toto nedbání vlastních jevů sémantických v práci Marguliésově souvisí ovšem s pochopitelnou nesnází, kterou má badatel se syntaktickými a sémantickými otázkami v jazyce cizím. Že se pak autor nemohl dosti bezpečně opírati o své jazykové vědomí v jazycích slovanských, o tom svědčí bohužel v jeho knize dosti stop. Na př. mezi reflexivními slovesy objektivními (akusativními) uvádí na str. 47 dluž. doklad *głowišćo se pśigłaźiju*, kde *se* je dativ, na str. 49 srch. doklad *šćer sama sebe lijevu ruku osiječe*, kde opět *sebe* je prostě dativní forma některých štokav. nářečí srch. (jako *tebe, mene*); na str. 267 vyvozuje dokonce z toho srch. příkladu, kterému špatně porozuměl, závěr o zachovaném akusativním objektivním reflexivu v slovanských jazycích

---

[1]) Ukazují to vlastní Marguliésovy doklady pro reflexivum passivní na str. 193 a násl.; je-li dokladů stsl. málo (znám ještě Lk. 1, 4; Supr. 412 *prědalъ sę* = Cloz. 2, 155 *prědanъ bystъ*, Supr. 371 *upravilo sę*, ib. 428 *by sъpasla sę*), souvisí to jediné s užíváním opisného praeterita.

u tohoto typu[1]); na téže stránce se diví dat. *себе* v rus. *выстрелил себе прямо в серце* proti akús. *ударила себя в грудь:* příčina je jasná, sloveso *выстрелить* nemá objektu, značí „*сделать выстрел*" a může míti nanejvýš *все заряды* a pod. jako objekt, nikoliv osobu ubitou výstřelem jako v *застрелить себя* (srov. č. *vystřelit někoho na měsíc* a *zastřelit někoho);* uvádí neexistující reflexivní slovesa v č. dokladech *vlak se jede* (str. 124 pozn.), *dítě se hraje* (str. 180, tak prý se říká v Praze místo *dítě si hraje), co žije a se vládá* (str. 78, s odkazem na Jungmanna, ale tam uvedeno jen se značkou Lindovou) a j.

Jeho překlad dokladů do němčiny leckde svědčí o neporozumění dokladu, na př. srch. *ne pružaj se dalje od gubera* strecke dich nicht weit von der Bettdecke aus (str. 53), ač znamená »nenatahuj se více, než ti stačí deka«, *hraniti* schützen (*pa i sebe i tebe hraniti* und sich und dich schützen, str. 56) místo »nähren«, hluž. *puknyć* schlagen (str. 91), kterýž význam má jen v dětské řeči, jinak »zerplatzen machen«, srch. *zamagliti* Rauch machen (str. 101) místo »benebeln«, *grebisь za kol* halte dich an den Pfahl (str. 120) místo »Pfosten« (u dveří), srch. *ja se počeo gristi* und ich begann zu beissen (str. 121) místo »sich beissen« (totiž »sich grämen«), ukr. *dovbaty* kratzen (str. 122) místo »stochern, meißeln«, stč. *nikte* nirgend (str. 128) místo »niemand« a m. j.

K reflexivním slovesům, která uvádí, připojuje M. vždy také aktivní formu a její význam, ale někde uvádí tak ve spojení dvě zcela různá slovesa, jako č. *procházeti* durchgehen a *procházeti se* spazierengehen (str. 123), rus. *насмотреть кого* erblicken a *насмотреться* sich satt sehen (str. 126), č. *domluviti* a *domluviti se* (str. 128), srch. *sletjeti* herabfliegen a *sletjeti se* zusammenfliegen (str. 163) a pod.

Není také jeho materiál ani úzkostlivě získáván, ani přesně citován. Je přirozené, že užívá materiálu též ze slovníků a z Boranićovy práce (O reflexivnim glagolima u hrvatskom jeziku, Rad 140)[2]), ale nevhodné je, že při takových dokladech uvádí jen Sreznevského Materialy, Gebauerův Slovník staročeský, Boraniće, ač není přece vždy lhostejné, jde-li na př. o doklad z Vukovy sbírky přísloví, písní anebo ze starší literatury dalmatské a dubrovnické a pod. Citování bývá také nepřesné, na př. u slovesa srch. *hitati* a *hitati se* »greifen« na str. 119 poznamenává, že aktivní význam »greifen« je jen v Dubrovníku, dovolávaje se Bernekrova Etym. slovníku; tam však nic o tom není, podobná poznámka je v slovníku Vukově a Brozově (s. v.) a to nejen o aktivním slovese v tomto významu, nýbrž i o reflexivním a podle Akademického rječnika (s. v.) vidíme, že sloveso s tímto významem je vůbec i na západě.

Ještě jeden příklad: na str. 137 uvádí, že je prý v stsl. v evang.

[1]) Tangl v své recensi (str. 233) správně vytýká ukvapenost předpokladu, že jde o starou konstrukci, ale mylně se domnívá, že zde sekundárně vznikl akusativní typ podle převahy akusativních reflexivních sloves; tvar *sebe* stejně jako *mene, tebe* je v těchto nářečí zcela pravidelný dativ i lokál, srov. jen Maretić, Gram. hrvat. jez. 184, Rešetar, Der štokav. Dial. 186, Leskien, Gram. der s.-kr. Sprache 447.

[2]) Překvapuje, že nezná práci Gvozdikovu (**Опыт классификации залогов русского глагола** v **Русск. филол. вест. 51, 1904, 162—228 a 56, 1906, 361—380**); není to práce zdařilá, ale je v ní mnoho rus. materiálu.

textech jen reflexivní *klęti sę* a *klęti* (καταρᾶσθαι) dokládá jen ze Supr., ač je v ev. Mat. 5, 44 (*blagoslovite klъnǫštęję vy τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς* v Zogr., Mar., Assem., Sav. i Ostr.) a rovněž v PsSin. 36, 22.

Rušivě působí v citátech slovanských tiskové chyby; vyvarovati se jim jest ovšem velmi těžké, ale v knize Marguliésově je počet jejich značný[1]; jsou v ní i jiná drobná nedopatření, na př. slovesa v hesle uváděná nesouhlasí přesně s citátem (str. 44, 52, 87, 93, 96, 100, 101 a j.), na str. 73 cituje z Mar. evang. Mt. 4, 6, tedy místo zčásti nedochované v Mar. evangeliu.

Theoretický výklad a třídění citovaného materiálu prozrazuje také na mnoha místech, že autor mu buď dosti jemně nerozuměl anebo byl příliš ovládán svými theoretickými předpoklady; někdy však jde o neporozumění elementární.

Na př. na str. 157 srovnává srch. *stati* a *stati se* se stid. *tišthati* a *tišthatē*, pokládaje *stati se* za reflexivum »dynamické«: toto srch. *stati se* je však jen dialektická forma, vzniklá ze **sъstati sę* (jako čes. *státi se*), které je jinak v srch. rekomponováno v *sastati se*[2]); adverbiální *to* ve větě *dnes bude se to spát* pokládá za formální podmět (str. 216)[3]); někdy uvádí mezi reflexivy objektivními »zesílenými« adjektivem *sám* příklady, kde *sám* tohoto významu nemá; tak již na str. 34 čes. *sám se postavil v košole za keř* (z han. textu: *sezol gatě a položel jich na polo a sám . . .*), srov. možné *sám šel dál* a p.; mezi reflexivy objektivními (»zesílenými«) uvádí příklady jako rus. *двери сами растворилися* (str. 35), *а сам сделался мышкою* (str. 59) a pod.; *считается* pokládá za reflexivum eventivní (stavové) v dokladě, kde je jasně passivní: *он то считает себя очень умным а у окружающих он считается круглым дураком* (str. 106); za reciproční reflexiva pokládá slovesa jako č. *nasytiti se* (*než se nasytili hubiček*, str. 169), které značí »*měli jich už dost*«, srch. *raskakati se* (*raskaka se s njime niz planinu*, str. 239), které značí »dal se do skákání«, srov. čes. *rozkřičeti se*, a pod.

Do kategorie dynamických reflexiv, o níž ještě promluvíme, řadí na př. i slovesa *dějati sę* (jako typ, str. 135), srb. *lijeniti se* »faul sein« (str. 133), strus. *knjažitsja* »dělá se knížetem« (str. 135), rus. *укладываться* »pakovati«, totiž »skládati své věci« a pod.; je-li v srch. literatuře starší zcela ojediněle doloženo *boju* (*boju, moje tužbe odmeću na vetar*) m. *boju se* (str. 242) a podobně *smijati* m. *smijati se*, způsobil to prý dynamický význam reflexivných *bojati se, smijati se*, a je-li v srch. intrans. *krenuti* vedle aktivního *krenuti* a refl. *krenuti se* (»eventivního«), vysvětluje intr. *krenuti* tím, že se eventivní reflexivum cítilo jako reflexivum dynamické a proto vzniklo k němu i nereflexivní sloveso beze

---

[1]) Na př. str. 33 *me* m. *mě*, 35 *sam* m. *sám*, 53 *ně-* m. *ńe-*, 55 *zě* m. *že*, 57 *sam* m. *sám*, 58 *že vesvobodi . . .* m. *že kdo . . .*, 70 *isčeliti* m. *iscěliti*, 72 *wywyższał, uniżon wywyższon*, se *ź* m. *ż*, 98 *skožić* m. *skóżić*, *żali* m. *żali*, 102 *omráčiti* m. *omračiti* (sě), *zrcadlito* m. *-lo* a m. j., někde do nesrozumitelnosti: str. 166 čes. citát *táhal se s ní o coho*.

[2]) Srov. Genera verbi I, str. 131.

[3]) Srov. Zubatý v KZ. 40, 1907, 515 pozn.

změny významu jako u sloves *bojati se* nebo *smijati se* (str. 243 n.): jde přece v obou případech o jev zcela jiný; v prvním jde o pouhou formální a ojedinělou změnu reflexiva tantum, v druhé o fakt v jazycích slovanských častý, že slovesa, zvláště pohybová, mívají význam i objektový i subjektový, srov. č. *táhnouti, vyraziti,* pol. *wrócić* a j.[1])

Souborný obraz, který se snažil Marguliés ze svého materiálu a apriorních úvah podati, rozdělil ve dvě části: v část morfologickou a část syntaktickou.

V části morfologické probírá jednak tvary reflexivního zájmena (dat., akus. a instr.), jednak formu slovesa reflexivního (zvl. poměr mezi reflexivní formou a komponováním slovesa s praefixy, postavení reflexivního pronomina a jeho spojování se slovesem v jedno slovo a formální změny při nahromadění několika sloves reflexivních). Tato část jest zcela stručná, zabírá str. 14 až 40, v čemž je ještě obšírný exkurs o tvarech reflexivního zájmena v staré pruštině. O tvarech slovanských nepřináší nových dokladů: shrnuje jen známé poznatky o jejich původu, málo si všímá jejich vývoje v jednotlivých jazycích slovanských: tak nevyčerpává oblast enkl. dativu *si*, nevykládá pol. dat. *se*, pomíjí tvary ruské kromě tvarů spisovných, rovněž tvary luž. srbské atd. Ve výkladu o formě reflex. slovesa pomíjí otázku o postupném vývoji výrazu synthetického vlastně úplně, ve výkladu o postavení reflexivního zájmena (neúplném) je pravdě nepodobné mínění, že postavení refl. *sę* v stslov. vzniklo vlivem řeckým, překládáním mediálních tvarů slovesných (str. 30 násl.), neboť i akus. *mę, tę* mívají stejné postavení, a dále rozdíl mezi stsl. a východními jazyky na jedné straně a ostatními jazyky slovanskými na druhé, který činí podle toho, zda se opakuje či neopakuje refl. zájmeno u několika reflexivních sloves parataktických nebo na sobě závislých (str. 38 násl.), je umělý; srov. má Genera verbi § 21 a násl. a § 133.

V syntaktické části, podstatné to části knihy (str. 41—271), roztřídil autor reflexivní slovesa slovanská podle jejich »rodového« významu na tyto skupiny: reflexivum objektivní (přímé), eventivní, označující výsledek změny stavu, dynamické (»subjektivní«), které se odlišuje od aktiva změnou intensity v poměru subjektu k ději, recipročni, passivní a neosobní; to jsou kategorie reflexivního slovesa formy akusativní. K těmto kategoriím připojuje skupinu reflexiv tantum, jen formálně odlišnou od dosavadních skupin, ale rodovým významem v nich obsaženou. Reflexivní pak slovesa dativní rozděluje na dvě skupiny: na reflexiva účasti (der Beteiligung) a dativní dynamická reflexiva, kteráž vznikla ze skupiny předešlé. Jest to v podstatě roztřídění, kterého užil Porzeziński v práci Возвратная форма глаголов в литовском и латышском языках (Moskva 1903, Уч. записки Москов. унив. 33), což autor nikterak netají — s tím podstatným rozdílem, že Porzeziński pokládá reflexiva tantum za bezrodá (rodově indiferentní), a dále s rozdílem, způsobeným dvojí formou slovanských sloves reflexivních.

[1]) Srov. Genera verbi § 100 pozn. a § 106.

Kategorie Porzezińského jsou: reflexiva přímá, nepřímá, reflexiva vyjadřující změnu stavu, refl. reciproční, refl. vyjadřující »полноту проявления«, passivní a reflexiva tantum. Kategorii reflexiv označujících »полноту проявления«, shodnou se skupinou sloves, která ve Fortunatovově roztřídění ruských sloves reflexivních (Изв. отдел. русск. языка 4, 1899, 1155) značí »действие, разсматриваемое в отвлечении от об'ектов«, jako rus. *кусаться, проситься,* (dříve *молиться*), Marguliés podstatně rozšířil a značně pozměnil v své kategorii »reflexiv dynamických«. Vyšel od správného pozorování, že slovanská slovesa reflexivní vyjadřují také intensivní zájem subjektu na ději: není to ovšem pozorování nové: Meillet v článku o reflexivních slovesech stsl. v Mém. de la Soc. de lingu. 19, 1916, 290 n. a již ib. 15, 1908 9, 38 násl. srovnává stsl. *moliti sę* (vedle *moliti*) a pod. s významem ide. media, jaký je v stid. *jáǵē* (k *jáǵāmi*), v ř. *θύομαι* (k *θύω*), kde reflexivní formou je vyjádřen »un interêt particulier« subjektu. Takovýto význam přiznává však Marguliés vůbec slovesům uvedené skupiny Fortunatovovy, ba i reflexivní formě sloves intransitivních typu краснеться, která podle Fortunatova nemá vůbec rodového významu (str. 6—7). A poněvadž pak podle jeho názoru každé reflexivní sloveso musí míti rodový význam, učinil tuto skupinu vlastně snůškou všech těch sloves reflexivních (akusativního typu), která nemohl zařaditi do skupin ostatních a která se v reflexivní formě neliší od formy aktivní.

Právem vytýká Tangl podrobně v své recensi (str. 239—242) konfusnost této skupiny: také nejasné její označení »reflexiva dynamická« a ještě nejasnější jeho výklad (das dynamische Genus ist vom aktiven verschieden. . . . der Intensität nach. . . . ; man könnte davon sprechen, daß das dynamische Genus vom aktiven quantitativ verschieden ist, . . . , str. 117) zmatek jen zvyšuje, ale nevidím takového rozporu, jako vidí Tangl, v pojímání významu ide. medií, nazývaných Delbrückem, Brugmannem a j. »dynamickými« (»intensive [körperliche oder geistige] Beteiligung des Subjektes an dem Vorgang zu betonen«, Brugmann, Grundriß² 2, 3, 686) na jedné straně a na druhé straně ide. medií, srovnávaných u Meilleta (v. výše) se slovan. *moliti sę* a p. anebo řaděných u Wackernagla do první jeho skupiny (»eine Handlung, die das Subjekt für sich, in seinem Interesse und Bereich vollzieht«, Synt. Vorlesungen I, 124), takže by se Marguliés vůbec nemohl dovolávati u svých reflexiv dynamických Meilletova typu *moliti sę*; i Wackernagel sám vytýká především nevyjasněný termín »dynamický« (str. 127).[1])

K uvedeným již dříve příkladům jeho reflexiv dynamických, srov. ještě odůvodnění předpokládaného dynamického významu sloves typu *okotiti se* (proti aktivnímu srch. *okotiti* [*dva psa*]): »Wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher Aufmerksamkeit der Landwohner das Werfen des Tieres verfolgt, so wird man wohl in der Annahme nicht fehlgehen, daß wir hier tatsächlich mit der Intensität der Handlung als wesentlichem Faktor zu rechnen haben« (str. 228).

[1]) Své odchylné pojímání reflexiv tohoto typu naznačil jsem v úvodě Gener verbi v § 10.

Ostatní kategorie se stanoviska třídění významů, které má reflexivní forma slovesná, jsou jistě oprávněny, pokud ovšem jde vůbec o zvláštní reflexivní formu slovesnou, třebaže i formálně analytickou, nikoliv jen o spojení slovesa s objektem. Jiná je otázka, jde-li při tom vždy o kategorie rodové: v té věci zatarasil si Marguliés cestu úplně tím, že nerozeznává, že reflexivní forma je významově značně různorodá, jako je opět výraz rodu slovesného v slovanských jazycích mnohotvárný, a ztížil tím, že intransitivnost a transitivnost slovesa pokládá též za významy rodové (nejde v této věci nikterak o novum, jak by se zdálo podle slov Marguliésových na str. 11 a násl., nýbrž o názor dosti obecný, srv. Genera verbi § 8). [1])

Dále zařadění jednotlivých fakt jazykových do jakéhokoliv třídění nemůže se díti bez zřetele k tomu, jde-li o třídění podle původního významu (na př. recipročního u srch. *grebe se mačka*, čes. *kluk se pere*, *tázati se*) nebo o třídění podle významu určité doby historické nebo doby současné.

Celkem lze tedy práci Marguliésově přiznati cenu badatelského pokusu, třebaže předčasného, o řešení otázek velmi nesnadných a o jejich souhrn, poněvadž vždy vědecké badání potřebuje podobných přípravných pokusů; trvalých však a bezpečných výsledků positivních nepřinesla: pro theoretické poznání významu reflexivních sloves slovanských je třeba jí užívati s velikou opatrností, ba ani na její bohatý materiál, snadno přístupný abecedním rejstříkem doložených sloves, nelze spoléhati.

Praha. *Bohuslav Havránek.*

С. А. Еремин и И. А. Фалёв, **Русская диалектология. Хрестоматия с кратким очерком диалектологии и программой для собирания материала по народным говорам.** Под редакцией акад. Е. Ф. Карского. Государственное издательство. Москва-Ленинград 1928; XIV+2 ненум. + 195 стр.

Книга содержит 1. краткий очерк русской диалектологии, которому в начале предпосланы описание ,,литературного великорусского произношения'' и перечень особенностей, общих всем русским языкам и отличающих их от других славянских языков (стр. 1—47); 2. программы для собирания материала по народным говорам (стр. 48—71), и 3. диалектологическая хрестоматия с приложением образцов литературного произношения и словаря. 1-я часть составлена Фалёвым, программы — Ереминым, и хрестоматия — обоими составителями.

Введение в очерк русской диалектологии главы о ,,литературном великорусском произношении'' мотивируется тем, что »научное рассмотрение народных диалектов удобнее и легче вести сравнительно с русским литературным языком, который... более или менее знаком всем грамотным'' (стр. 3). Однако при описании говоров такого сравнения говоров с ,,литературным великоруским произношением'' не даётся.

[1]) Stanovisko, že je třeba odlišovati od rodu slovesného poměr slovesa k objektu, které jsem hájil l. c., je velmi pěkně osvětleno od Karcevského v Système du verbe russe, str. 81 n.

Приходится сильно сомневаться и в том, чтобы описываемое в книге произношение Фалева было более или менее знакомо всем грамотным. Всем грамотным литературный язык знаком главным образом постольку, поскольку он зафиксирован в книгах. Но произношение в книгах не зафиксировано, и литературного произношения, одинаково знакомого всем грамотным, не существует. В каждом крупном центре имеются свои нормы произношения, и то, что́ принимает за нормы Фалёв, не является общепризнанными нормами даже для Ленинграда. Отсюда не следует, что образцового нормированного хотя бы до известной степени литературного произношения не должно быть, но изучение этого произношения не имеет никакого отношения к изучению народных говоров, а знакомство с ним нисколько не облегчит знакомства с народными говорами.

При характеристике „литературного великорусского произношения" в основу положено произношение ленинградское. Не буду спорить о том, в какой мере прав в этом случае Фалёв; во всяком случае, москвичи не откажутся от своего права считаться представителями „образцового" русского произношения. Замечу, что и нормы ленинградского произношения Фалёв представляет себе неясно, отмечая на каждом шагу, что одни говорят так, другие иначе, упоминая даже о таких произношениях, которые он сам же называет индивидуальными, но тщательно избегая указывать на те особенности московского „образцового" произношения, которые отличают это произношение от ленинградского. Не понимаю, зачем засорять описание „литературного произношения" указаниями на такие индивидуальные или областные уклонения от нормы, как произношения *bəká* вместо *byka*, *l'ubit* вместо *l'ubit*, *Faustaf* вместо *Faustəf*, *gazel'i* вместо *gažel'i*, *sem* вместо *śem* и т. п. Неверно, что безударное *o* „встречается в иностранного происхождения словах в индивидуальном произношении". Многие иностранные слова всякий образованный человек произнесёт с неударяемым *o*, в других наоборот, безударное *o* встречается только в индивидуальном произношении, но такое произношение уже нельзя назвать „литературным" или „правильным". Странно читать замечание, что „негубной гласный", произносимый ленинградцами (не москвичами!) в первом предударном слоге на месте орфографических *a* и *o* в „акустическом . . . отношении . . . является средним между *a* и *o*"(стр. 5), со ссылкой на Богородицкого, который пишет в таких случаях a^0. Но последний передаёт так, очевидно, не этот звук, а тот, какой произносит сам: в Казани, где русское население окает, создался особый тип „литературного" произношения, отличный и от московского и от ленинградского.

В главе „Родство русских говоров между собою и отношение их к другим славянским языкам" (стр. 15—18) указаны только немногие черты, характерные для эволюции звуков русских языков до конца X в., а именно, черты, отличающие эту эволюцию от эволюции всех других славянских языков (полногласие, *ž* из *dj*, начальное *o* из *e*, сочетания *or*, *er* и *ol* из слоговых плавных), одна черта, общая с западнославянскими языками (начальные *ro*, *lo* из неакутованных *or*, *ol*) и две черты, общие с южнославянскими языками (*l* из *dl* и *tl*, *cv* из

kю). Другие черты той же эволюции (ср. их перечень у меня, Введение в историю русского языка § 46), равно как и те особенности, какие развились в русских языках позднее X в. и отличают их от остальных славянских языков гораздо больше, не названы. Не сказано даже, что названные автором черты характеризуют не столько нынешние русские языки, сколько их эволюцию в IX—X веках. Ведь для нынешних русских языков эти черты — не более, как ряд словарных соответствий, и то неполных: кроме того, что заимствования из церковнославянского языка значительно сократили запас общих всем русским языкам слов с полногласием, с *ž* из *dj*, с *ro* и *ło* из *or* и *ol*, и что слов с начальным *o* из *e* и *cv* из *kv* ничтожное количество, кроме всего этого полногласие в нынешних русских языках является в разной звуковой форме; рефлексом старого *dj* не всюду является *ž*: в малорусских и белорусских говорах является и *dž*, а кроме того в глаголах и отглагольных образованиях во многих великорусских и украинских говорах такое *ž* или *dž* заменено звуком *ď*; начальное *o* без ударения в акающих говорах дало *a* и *i*; орфографические *ор*, *ол*, *ер* в разных говорах также дали весьма различные рефлексы; начальные *ro*, *ło* без ударения в акающих говорах совпали с *ra* и *ła*. В действительности главное отличие всей совокупности нынешних русских языков от остальных славянских языков совсем не в этом, а в таких чертах, как разноместное этимологическое динамическое или монотоническое ударение (подобное ударение кроме русских языков имеется только в болгарском и некоторых восточных говорах сербского языка), консонатизм, основанный на парности твёрдых и мягких согласных (подобный консонантизм — только в польском языке) и др. (см. у меня, Введение, стр. 216—220).

В очерке диалектологии характеристика великорусских и белорусских говоров представляет сокращение соответствующих отделов „Очерка русской диалектологии", изданного Московской Диалектологической Комиссией в 1916 г., а характеристика малорусских говоров сделана по статье Ганцова „Діялектологічна класифікація українських говорів". Сокращение в отделе о великорусских и белорусских говорах сделано очень неудачно. Многие диалектические черты, свойственные лишь части говоров того или другого из русских языков, трактуются, как характерные для всего данного языка. Так, характерным для всего великорусского языка признаётся отсутствие цеканья (изменения *ť* в *ć*) и дзеканья, тогда как эта особенность произношения отмечена в части северновеликорусских и средневеликорусских говоров; общим всем южновеликорусским говорам названо совпадение *е* с *ѣ*, между тем как до сих пор в части южновеликорусских говоров *е* и *ѣ* различаются; цоканье признаётся исконной чертой всех северновеликорусских говоров; отсутствие цоканья объясняется влиянием литературного языка или южновеликорусских говоров; однако, можно думать, что в некоторых севернорусских говорах цоканье отсутствовало еще при начале русской письменности. Для всего белорусского языка признаются между прочим характерными *dž* в 1-м л ед. ч. глаголов с основой на *-di̯-*, „особая форма" имён женского и среднего рода при числительных 2—4, совпадение

винительного множественного от названий животных с именительным, падежное окончание *-ei* с сохранением твердых или небных согласных в конце основы, отсутствие различия между *o* и *e* в закрытых и открытых слогах: ни одна из этих черт не обнимает более, как половину белорусских говоров. Так же ошибочно всем малорусским говорам приписаны совпадение старых *y* и *i*, окончание инфинитива на *-ti* не под ударением, образование будущего времени с глаголом *му*, сохранение мягкого *ŕ*, аффриката *dž* в 1-м л. ед. ч. глаголов и совпадение винительного множественного имён животных с именительным.

Нельзя говорить в такой общей безоговорочной форме, как это сделано у Фалёва, что „великорусским сочетаниям *ро, ло, ре, ле* между согласными перед открытым слогом (? в открытом слоге ?) соответствуют белорусские сочетания *ры, лы, ри, ли* и украинские *ри, ли*" (22); во первых, во всех случаях, где эти сочетания восходят к старым *ro, lo, re, le,* и в белорусском и в малорусском *o* и *e* сохраняются, во вторых, на месте старых *rъ, lъ, rь, lь* в обоих языках не всегда *y, i,* ср. белорусские *бровы* (хотя *чарнабрывы*), *дровы, слёзы,* укр. *брова́, дрова, сьльози,* и др.

Утверждение, что „в противоположность великорусским говорам в украинских и белорусских диалектах широко распространён »придыхательный приступ« перед начальными гласными (*в, γ, h, j*)" (стр. 22) тоже неточно. Начальное *в* перед старым акутованным *o* обще всем великорусским говорам, тогда как в малорусском *o* в подобных случаях отсутствует. В части великорусских говоров *в*, как и в значительной части белорусских говоров, имеется перед всяким ударяемым *o* и *u*. Придыхание перед начальными гласными вообще (кроме немногих слов) и в малорусском и в белорусском — только в немногих диалектах.

Фалёв почему то думает, что в тех случаях, где наблюдатели отмечают в акающих говорах произношение *e* в первом предударном слоге, это *e* непременно редуцировано. В действительности такое *e* обычно вполне отчетливо (в одних говорах оно звучит открыто, в других закрыто, в третьих различно, в зависимости от положения). Неясно, что́ автор понимает под терминами „яканье", „иканье" и „еканье", и куда он относит те типы произношения, которые я определяю, как яканье диссимилятивное, умеренное, ассимилятивно-диссимилятивное, умеренно диссимилятивное и др.

При классификации малорусских говоров автор не принял во внимание того факта, что статья Ганцова, положенная им в основу, преследует определённую задачу — оправдать свой принцип деления, а потому в ней не говорится о таких чертах, которые для этого деления безразличны, хотя бы сами по себе и были характерны для известной группы говоров. Поэтому у него не говорится, напр., о такой важной звуковой диалектической черте, как сохранение различия между старыми этимологическими *y* и *i*; не сказано о судьбе *o* в новых закрытых слогах в закарпатских говорах и т. д. Но пропуск этих фактов в общем очерке малорусской диалектологии является уже пробелом. Не известно, почему не указаны такие характерные для различения восточноукраинских и западноукраинских говоров приметы, как раз-

личные способы образования будущего времени и возвратного залога (у Ганцова они указаны).

Непонятно, почему автор говоры Подкарпатской Руси и малорусские говоры Словаччины называет угорскими.

„Программа для собирания материала по говорам“ состоит из 1. подробных практически-методологических указаний, 2. очень детальной программы по словарю и 3. трёх небольших программ по фонетике и грамматике, для каждого русского языка отдельно. Эти последние не заменяют собою изданных ранее более подробных программ, но тем не менее являются нелишними. Из пробелов отмечу слишком недостаточную детализацию вопросов об аканье и вообще недостаточное внимание к различиям в произношении, связанным с местом ударения; поэтому, чтобы программы могли быть с успехом применены в области южновеликорусских, белорусских и полесских говоров, они должны быть сильно переработаны.

В хрестоматии даётся 9 образцов „литературного великорусского произношения“, принадлежащих разным лицам. Желательно было оговорить различия в приёмах фонетической транскрипции каждого образца и противоречия между этими транскрипциями и тем, что́ говорит о литературном великорусском произношении Фалёв на стр. 3—14. Белорусское и украинское литературное произношение представлены каждое одним небольшим отрывком.

Народные говоры представлены 75-ю образцами великорусских говоров, 36-ю белорусских и 39-ю малорусских. При указании местности, где сделана та или другая запись, составители стояли перед трудной задачей определить, к какой административной единице принадлежит тот или другой пункт в тех случаях, когда старое административное деление уступило место новому. В виду того, что перемены в административном делении СССР очень значительны, задача эта часто оказывалась почти невыполнимой, и естественно, что встречаются ошибки. Так № 40 записан в д. Парфёнках не Васильевской волости Можайского уезда, а Новопетровской волости Воскресенского уезда. В № 57 вместо *Караван* надо читать *Каравaи*.

Насколько умело сделан подбор текстов, сказать трудно. Просматривая образцы по великорусским говорам, я заметил между прочим отсутствие образчика по говору с ассимилятивным яканьем, хотя такие образцы вообще в печати имеются; может быть, непредставленными остались и некоторые другие типы говоров. Далее, нет ни одного отрывка из чрезвычайно ценных записей Машкина по Обоянскому у. и Тоньшина по Рязанскому у., в то время как имеются записи сомнительной ценности в роде №№ 66, 67, 74 и нек. др. Не знаю, почему среди образцов белорусских говоров нет ни одного отрывка из очень ценных записей Ляцкого из Гайновской волости Минской округи (б. Борисовского уезда). Нет также отрывков из прекрасных записей Добровольского по белорусским говорам Смоленской губ., и вся эта губерния представлена только двумя маленькими и нехарактерными отрывками из записей неведомых наблюдателей. Запись на чисто белорусском говоре под № 155 оказалась в числе образцов украинских

говоров. По чрезвычайно интересным говорам Подкарпатской Руси нет ни одной записи, если не считать маленького отрывка № 160 без указания местности, написанного вполне грамотно на галицком варианте украинского литературного языка и не дающего ни малейших указаний на диалектические особенности того или другого закарпатского говора. Другой отрывок из „Угорской Руси", № 161, записан у закарпатских лемаков в Восточной Словакии.

Неизвестно, почему территория малорусских говоров за рубежом СССР разбита на 3 части: Польша (те украинские земли, которые до войны принадлежали России), Галиция, как будто Галичина сейчас не принадлежит Польше, и Угорская Русь — почему Угорская? Почему было не назвать эти части малорусской территории по-украински: Західня Вкраїна, Галичина и Закарпатська Русь (чешский официальный термин „Подкарпатская Русь" обнимает лишь часть Закарпатской Руси; остальная часть вошла в состав Словакии), ср. в отделе белорусских говоров „Заходняя Беларусь" для белорусских земель, оккупированных Польшей?

В книге очень много опечаток.

Минск, 25. XI. 1928. *Николай Дурново.*

Karl H. Meyer und A. Stojićević: **Serbokroatisches Lesebuch.** Akzentuirte Texte mit vollständigem Wörterverzeichnis. Göttingen 1927.

Strancima koji žele da utvrde i prošire teorisko znanje srpskohrvatskog jezika, stečeno na osnovu jedne od priručnih gramatika, i da se u isto vreme upoznaju sa znatnijim pretstavnicima srpskohrvatske nove književnosti, zaista će dobro doći ova pažljivo sastavljena i ukusno opremljena književna čitanka. Po hronološkom redu javljanja u istoriji literature u njoj su izneti poetski i prozni sastavi šesnaestorice srpskohrvatskih klasičnih pisaca: Petra Petrovića Njegoša (iz Gorskog Vijenca), Ivana Mažuranića (iz Smrti Smailage Čengića), Petra Preradovića (Naša Anka, Moja lađa, Putnik, Miruj, miruj, srce moje), Đure Jakšića (Otadžbina, Kroz ponoć.; Na Liparu), Jovana Jovanovića Zmaja (Ded i unuk, Kaži mi, kaži., Tiho, noći., Pođem, klecam., Brankova želja), Laze Lazarevića (iz pripovetke Prvi put s ocem na jutrenje), Sima Matavulja (Povareta), Ksavera Šandora Đalskog (iz pripovetke Na Badnjak), Josifa Kozarca (iz romana Mrtvi kapitali), Vojislava Ilića (Korintska hetera, Anđeo tuge, Jesen), Silvija Strahimira Kranjčevića (Pjesmo moja, kud si htjela, Radniku, Tri pozdrava, Hrvatica kod koljevke), Jovana Dučića (Zalazak sunca, Bdenje, Dubrovački madrigal), Vladimira Vidrića (Pompejanska sličica, Jutro, Perun), Milana Rakića (Iskrena pesma, U kvrgama, Orhideja), Vladimira Nazora (iz priče Divičin grad), Borisava Stankovića (iz pripovetke Pokojnikova žena). Kratkim biografskim i bibliografskim podacima i karakteristikama pojedinih pisaca uvodi se u štivo, a sitnijim beleškama ispod teksta tumače se nejasna mesta i reči, dialekatski ili arhaični oblici. Iscrpan rečnik na kraju knjige, u koji su ušle sve reči iz tekstova, omogućava čitanje i bez drugih rečnika.

Autori izrično naglašavaju da nisu hteli dati antologiju, već »čitanku koja treba da skrene pažnju na jednu bogatu i izrazitu literaturu, i pretstavi je u dostojnoj svetlosti«. Zbog toga im se na samom izboru pisaca ne može zamerati. Ko sastavlja jednu *čitanku* ima pravo da u nju unese tekstove koje sam smatra za najzgodnije, bez obzira na istoriju literature. No pored svega toga, možda ne bi bilo zgorega da je, kad je već opseg knjige bio ograničen, broj strana posvećenih pojedinim piscima smanjen, a broj pisaca povećan. Zašto, na pr., da Preradović, Jakšić, Zmaj, Vojislav Ilić i dr. (da uzmemo samo pesnike) uđu sa po 5—8 strana, ili 3—4 pesme, a recimo Branko Radičević, Aleksa Šantić i drugi ni sa po jednom? I zašto da se u jednu književnu *čitanku* srpskohrvatsku ne unese bar jedna kratka epska i neka lirska pesma (na pr. Smrt majke Jugovića, Smrt Omera i Merime i sl.)? Tako bi i srpskohrvatska književnost bila svestranije i potpunije pretstavljena, i samo štivo postalo raznolikije i zanimljivije.

Akcenat i kvantitet označeni su, kako se u predgovaru kaže, prema savremenom izgovoru obrazovanih ljudi. U stvari je na taj način obeležen uglavnom izgovor reči književnog porekla, novoobrazovanja i pozajmica iz stranih jezika, kao i narodnih reči koje su iz dialekata ušle u književni jezik posle Vuka, izgovor grupa reči i rečenica. Inače je za osnovno merilo služio sistem koji su kodifikovali Vuk i Daničić. To je uostalom sasvim razumljivo, jer je taj sistem još uvek jedino merilo korektnog izgovora. Autorima je odista pošlo za rukom da u opštim linijama verno pretstave normalni književni izgovor srpskohrvatski. Naročito je za pohvalu činjenica da su štamparske greške, gotovo neizbežne u poslovima ove vrste, svedene na neznatan minimum, tako da se retko i primećuju.[1])

Pojedinostima se, naravno, može štošta i prigovoriti. Na prvom mestu nekim otstupanjima od sistema Vuka-Daničića u akcentu i kvantitetu pojedinih reči, ili celih kategorija, koja su sprovedena svesno i hotimično, na pr. *dȅsiti-dȅsīm* m. V. *dèsiti-dsȅīm, dȍm-dòma* m. V. *dôm-dȍma, dòma* (adv.), m. V. *dȍma, grȍm-gròma* m. V. *grôm-gròma* itd., zatim 2—3 sg. aor. *ȕpūti se* (53) m. V. *ȕpūtī se, nȁmrāči* (55) m. V. *nȁmrāčī, pȍtvr̄di* (57) m. V. *pȍtvr̄dī, ȕdālji* (60) m. V. *ȕdāljī, ȉskāpi* (61), m. V. *ȉskāpī, ȉzrūči* (62) m. V. *ȉzrūčī, prȉpāli* (62) m. V. *prȉpālī, ȕsūdi* m. V. *ȕsūdī, zȁbāci* (88), m. V. *zȁbācī, ȍglāsi* (89) m. V.. *ȍglāsī* itd. Isto tako, i u toliko više, može se prigovoriti otstupanjima o kojima autori ništa ne govore. Takvo je skraćivanje druge dužine iza akcenta u oblicima trpnog i drugih prideva: *òkūpan* (42) m. V. *òkūpān, òkūpano* (119) m. V. *òkūpāno, ùspāvanē* (99) m. V. *ùspāvānē, isprevàljīvane* (44), m. V. *isprevàljīvāne, uzdȑžāvan* (119) m. V. *uzdȑžāvān, òprāvdano* (68) m. V. *òprāvdāno, nèkāzane* (108) m. V. *nèkāzāne, nàslāgan* (73) m. V. *nàslāgān*, pa čak i *skȑhānog* (122) m. V. *skȑhānōg, pȍznātim* (122) m. V. *pȍznātīm, ùspāvanoga* (113) m. *ùspāvānōga* (ali na drugom mestu pravilno i u saglasnosti s Vukom pȍtājnīm (125), *pòkōjnīkovē* (125) i sl.). Zatim povlačenje akcenta u 2—3 l. sg. aorista kod glagola III.

---

[1]) Jedna gruba greška potkrala se i ostala neispravljena na str. 105, u drugom stihu ozgo. Treba čitati: Ostavi dušu nek spokojno *snȇvā*, mesto *spȃvā*.

vrste sa dugim osnovnim vokalom. i glagola IV. vrste sa nastavkom *ē* za osnovu: *cělīva* (42) m. V. *celíva*, *pokaza* (45) m. V. *pokáza*, *ȕkāza* (102) m. V. *ukáza*, *zȁpīta* (45) m. V. *zapíta*, *zȁbēli* (43) m. V. *zabéle*, *zȁbole* (58) m. V. *zabòle*, *pòcrvenē* (sic! 52) m. V. *pocrvène*, *pȍlete* (89) m. V. *polète*, *ȍžive* (86) m. V. *ožíve*, *ȕćūta* (50, 64) m. V *ućúta*; isp. i *ȕzviknu* (56) m. V. *uzvíknu*, prema inače običnom *víknu* (42), *blésnu* (50), *vrísnu* (41), *škrgútnu* (62) i s. Isto tako i neobični oblici imperfekta s akcentom infinitiva: *pítāše* (54) m. V. *pȋtāše*, *ponávljāše* (56) m. V. *pònāvljāše*, *privláčāše* (59), m. V. *prìvlāčāše*, *raspoznávāše* (68) m. V. *raspòznāvāše*, *nízāhu* (69) m. V. *nìzāhu*, *sȅđāše* (63) m. V. *sèđāše*. Najzad oblici part. praes. *dȑžeći* (54) m. V. *držéći*, *lèžéći* (124) m. V. *ležéći*, *bòjéći se* (124, 126) m. V. *bojéći se*, *bèžéći* (125) m. V. *bežéći*.

U principu se protiv odstupanja od sistema Vuka-Daničića, naročito u akcentovanju pojedinih reči, ne može ništa imati. Samo kad se to čini s dovoljnom opreznošću, sasvim objektivno, tako da se stalno ima u vidu izgovor celokupne teritorije srpskohrvatskih govora, izgovor većine kulturnih središta, a ne samo izgovor jednog kraja, ili jednog centra. Ako se u savremenom korektnom izgovoru obrazovanih ljudi, i u većini dialekta sa novom akcentuacijom na pr. mesto Vukova *čȃst-čàsti*, *čèžnja*, *dȑvce* odista i uvek čuje *část-části*, *čéžnja*, *dŕvce* itd. onda se u jednom književnom tekstu taj akcenat može i označiti. Inače, kad god nije sasvim jasno i očigledno da je od dva različita izgovora jedan običniji i rasprostranjeniji, najbolje je i najumesnije ostati pri Vukovu označavanju. Osim toga, izmene se moraju vršiti dosledno, i po stalnim merilima, a ne po prilici, od slučaja do slučaja, da bi se izbegle nejednakosti i kolebanja akcenta u jednoj istoj reči ili kategoriji, i na taj način čitaoci kojima je stalo do toga da nauče normalni srpskohrvatski izgovor ne dovode u zabunu.

Međutim, autori se tih sasvim razumljivih osnovnih zahteva nisu držali dovoljno strogo. Istina, teško je apodiktički tvrditi da se u srpskohrvatskom korektnom izgovoru obrazovanih ljudi jedna reč ili jedan oblik čuje redovno s ovim akcentom, a ne s onim, ili da je u govorima sa novom akcentuacijom neki izgovor rasprostranjeniji od nekog drugog. Ali meni ipak izgleda da su autori katkad otstupajući od sistema Vuka Daničića ujedno otstupili i od običnijeg i opštijeg izgovora. Ja sam na pr. uveren da je Vukovo i Daničićevo *dèsiti*, *dôm*, adv. *dôma*, *grôm*, *rukòvati-rùkujēm*, *prènoćī*, *primàknite*, *prègni* običnije i rasprostranjenije od njihova *dȅsiti*, *dȍm*, adv. *dȍma*, *grȍm*, *rȕkovati-rȕkujēm*, *prenòći*, *prìmaknite* (116), *prȅgni* (94) i sl. Može biti zbog toga što je takav izgovor pravilo i u mom rodnom govoru. Ali bi li autori mogli dokazati da izgovor koji su oni zabeležili nije samo lokalni izgovor G. Stojićevića, nego da ima mnogo veću rasprostranjenost od Vukova? Uostalom, neki ne sasvim retki primeri kolebanja u akcentu i kvantitetu pokazuju da ni oni sami nisu uvek znali koji je izgovor običniji. Na pr. *jùnāštvu* (8) i *junáštvu* (100), *zȁpāda* (13) i *zâpada* (18), *njèga* (111, 112, 119) i *njègā* (77, 103), *njègov* (54) i *njègōv* (47), *sàda* (113, 114) i *sàdā* (80, 87, 107, 118), *tàda* (109) i *tàdā* (119, 125), *nìje* (15, 45) i *nȉje* (13, 45, 47, 71, 81) itd. Zar ne bi bilo bolje da je bar u ovakvim slučajevima sproveden Vukov akcenat?

Za skraćivanje dužina iza akcenta i povlačenje akcenta u 2—3 l. jednine aorista glagola tipa *pokázati* znaju pojedini srpskohrvatski govori, između njih na pr. i beogradski. Ali ti pojavi snakako ne pretstavljaju osobine većine srpskohrvatskih govora, niti opšte usvojeni izgovor obrazovanih ljudi. Osim toga, skraćivanje dužina iza akcenta je u tim govorima *glasovni pojav*, a ne morfološki, sproveden dosledno u svima određenim slučajevima. Autori su, međutim, drugu dužinu skratili samo u nekim oblicima, a u mnogim drugim je ostavili (na pr. u gen. pl. imenica, u raznim pridevskim oblicima, u prezentu itd.). Neku put su, razume se, ostavili čak sve tri dužine iza akcenta.

Što se tiče oblika imperfekta sa akcentom infinitiva (*pítāše, ponávljāše* i sl.), meni bar nije poznato nalaze li se uopšte u našim govorima, ali i ako postoje, nesumnjivo zauzimaju sasvim ograničen prostor.

Otstupanje od filološke tradicije redovnog označavanja prenosa akcenta na proklitiku potpuno je opravdano. Ne zato što je izostavljanje prenosa, kao što se kaže, »tendencija današnjeg govora«, nego zbog toga što je to osobina skoro svih novoštokavskih dialekata. Samo ni u tom pogledu autori nisu bili dovoljno obazrivi. Neki put su izostavili prenos koji je inače dosta običan i u običnom govom, a drugi put ga označili i onde gde je uopšte redak. Akcentovali su na pr. na jednoj strani *po dvâ* (7), *su dvâ* (2), *su sȅdam* (2), *po stô* (6), *kroz ȍblāk* (26) itd. iako se obično izgovara *pȍ dvā, sȕ dvā, sȕ sedam, pȍ stō* (isp. na pr. pri brojanju redovno: . . . *ȉ dvā, ȉ trī ȉ pēt, ȉ sedam, ȍd sto,* pa i kod njih *ȕ trī kȍrāka* (51), iako je, osim toga, trohejski ritam upravo zahtevao da se čita s prenosom (Vȉdi vrâga *sȕ sedam* bȉnjīšāh, *sȕ dvā* mača a su dvȉje krȕne (2), čas pròklinjém lànskī *pȍ sto* pútāh (6), Glȅdao sam *pȍ dvā* medu sȍbōm (7) itd. Na drugoj strani označili su prenos u *sȕ dvije* (2), *međù nama* (5) iako ritam zahteva da se čita bez prenosa (sȕ dvā màča *a su dvȉje* krȕne, što će tȕrska vjȅra *među nàma*), zatim u grupama kao: *ù istī* mah (60), (pored u ȉstī mah 61), *nà sve strâne* (113), *ò svakoj* sitnìci (60), *ì naše* òkove (114), *pò nekoliko* njih (121), *ù ime* oca *ì sina* (60), iako je u ovakvom položaju prenos sasvim redak. Još jedan objektivniji dokaz: U poznatim stihovima Đure Jakšića »I ovaj kamen zemlje Srbije, što preteć suncu dere kroz oblak itd. autori su akcentovali bez prenosa *kroz ȍblāk*. G. prof. Pavle Popović, Beograđanin po rodenju, rekao mi je da je to gruba greška, i da i on uvek izgovara s prenosom *krȍz oblāk.* Razume se da je to u ovom slučaju u jedini pravilni izgovor, uslovljen ritmom.

Najzad, mnogo što šta se može zameriti i načinu na koji su akcenatski interpretirani oblici identični po glasovnom sastavu a različni po akcentu. Priznajem da je neki put teško ustanoviti koji je oblik pisac napisao, aorist ili prezent, određeni ili neodređeni vid prideva i sl. Ali vrlo često sam kontekst upućuje na pravilno čitanje. Označeno je na pr.: i noć *dȕga òvā* (99), *vȅčna* túga njêna (98) òvé rêči *lȁžne* (105), mòji *lépi* dâni (29), njègovo *nȅsigūrno* stúpānje (72), njègove *sȕzne* ȍči (72), tô njêno *nȉsko* i *plítko* dȕševnō stánje (81) itd. iako pokazne i prisvojne zamenice već određuju predmet. S druge strane, neki put je kod nesumnjivih neodređenih oblika pridevskih obeležen akcenat određenog vida:

il *bȉjelā* krîšku sîra (12. m. bijèla), iz cvijeta i iz *b'jȇlā* sv'jȇta (13, m. b'jéla), o sunčȁnū . . . zráku (15, m. sûnčanu), dȍbrū stârcu (15, m. dòbru) i sl. Pridev *mâlī-mâlā-mâlo* ima samo određeni vid i u narodnom i u književnom jeziku, a u njih se javlja i u neodređenom vidu: Mì smo *mâle* (28), polèteće vȅliko i *mâlō* (37). Često su zavisnim padežima zamenice *kȍ* zamenjeni padeži zamenice *kòjī*: *kògā* ste vraga (61, m. *kòga*), drum širok, prav, po *kòmē* vrvi svet (121, m. *kôme*), na njegovu licu, na *kòme* se (64, m. *kôme*), *nȅkog* teškog bolesnika (48, m. *nekog*). Još češće su oblici aorista pri akcentovanju pretvoreni u oblike prezenta. Kao primer da navedem ovaj pasus:

»Pa onda *sȇde* i *spustī* glavu na prekrštene ruke. *Zàspa*«.

Luca, kao uvek, prva na nogama, *zatèčē* (m. *zȁteče*) ga tako. Ona *nàložī* (m. *nȁloži*) vatru i *skȕvā* (praes. = aor.) kavu, pa je *stȁvī* (praes. = aor.) pred njega i *gurnu* ga. Mladić se *ìspravı* (m. *ìspravī*) i *zàgledā se* (m. *zȁgledā se*) u mater, sanjivo, nesvesno. Najposle *ìzvadī* (m. *ȉzvadī*) svoju lepu, novu, metalnu duvanjaru, *sȕvī* malo duvana u hartijicu, i *pȍčē* srkutati i pušiti.

Ove i slične slučajeve moraju primati s rezervom svi oni koji na osnovu ove čitanke budu ozbiljno proučavali srpskohrvatsku akcentuaciju.

G. Ružičić.

Ф. М. Достоевский: **Письма. I. 1832—1867.** Под редакцией и с примечаниями А. С. Долинина. М.-Л., Госуд. изд. 1928 г. 8⁰, 2 ненум. + VI + 594 стр.

Появление первого тома собрания писем Достоевского является крупным событием в изучении этого писателя. До сих пор, кроме известного собрания писем в »Биографии« Миллера и Страхова[1]), хрестоматийного собрания писем в выдержках В. Е. Чешихина-Ветринского[2]), и сравнительно недавно изданных писем к жене[3]) не было более ни менее крупных собраний писем Достоевского. Исследователю приходилось разыскивать письма по отдельным журналам и сборникам, по которым они были разбросаны. Теперь мы имеем перед собою собрание писем, кончая пока 1867 г., в одном томе, научно проредактированных, снабженных необходимым комментарием и примечаниями такого выдающегося знатока наследия Достоевского, как петербургский ученый А. С. Долинин. К сожалению, не по вине редактора, в первый том не вошли относящиеся сюда по времени письма к брату М. М. Достоевскому (около 40), находящиеся в Центрархиве. Это учреждение пожелало, чтобы письма, в его распоряжении находящиеся, были опубликованы в качестве самостоятельного приложения. Приходится только пожалеть, что из-за нелепого требования Центрархива, уже и без того много принесшего вреда делу опубликования литературного наследия Достоевского, нарушен

[1]) Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ѳ. М. Достоевскаго. Спб. 1883.

[2]) Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников и в его письмах. Сост. *В. Е. Чешихин-Ветринский*. Изд. 2-е. М. 1923.

[3]) Письма Ф. М. Достоевского к жене. П. р. и примеч. *И. Ф. Бельчикова*. Общая редакция *В. Ф. Переверзева*. М. 1926.

единственно правильный принцип публикования писем, принцип хронологический. Чтобы покончить с досадными сторонами этого ценного издания, надо сказать еще несколько слов о предисловии ко всему изданию *Георгия Горбачева* (стр. III–VI). Трудно себе представить нечто более безвкусное и с точки зрения научного издания — неприличное, чем это предисловие, написанное, очевидно, в целях »оправдания« появления писем Достоевского, этого — »больного таланта, мистика и реакционера« в »Советской стране, в период культурной революции и ожесточенной борьбы с мистицизмом, идеализмом, упадочничеством и т. д.« (стр. III). Чтобы дать представление об уровне этого предисловия, достаточно сказать, что одним из доводов в защиту напечатания писем Достоевского приводится то, что »Достоевский оставил великолепные образцы антирелигиозной пропаганды« (стр. V). Надо же додуматься до такой нелепости!

Для исследователя жизни и творчества Достоевского первый том писем представляет подлинный клад. Прежде всего он восстанавливает большое число пропусков и искажений, допущенных при издании писем в сборнике Миллера и Страхова. Эти пропуски, сделанные для того, чтобы скрыть от потомства некоторые факты и обстоятельства жизни Достоевского (отношения к первой жене, Марии Дмитриевне, близость к А. П. Сусловой), теперь, благодаря упорной работе редактора над чтением зачеркнутых мест, удалось почти целиком восстановить. Но, к сожалению, кое-что погибло и безвозвратно. »Так пострадали драгоценнейшие письма Достоевского второй половины пятидесятых годов (письма к Врангелю) особенно тяжко в тех местах, где речь идет об его первой жене, Марии Дмитриевне Исаевой« — говорит Долинин. »Здесь некоторые страницы и погибли для нас навсегда; многие покрыты толстыми пластами чернил; строки перечеркнуты в разных направлениях. Огромные усилия были употреблены в течение многих недель, пока наконец стало медленно выглядывать из-за этих варварски изуродованных страниц подлинное живое лицо Достоевского, создававшего в то время, в личной своей жизни, основную сюжетную историю »Униженных и Оскорбленных« (стр. 3). Но и то, что́ удалось восстановить, делает бесспорным многое из того, о чем приходилось только догадываться. Во всяком случае, сейчас уже становится ясным, что облик первой жены Достоевского был далеко не таков, каким его рисовала, напр. Л. Д. Достоевская в своих пристрастных воспоминаниях (см. особенно письма к Врангелю — №№ 76, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 91).

Большой заслугой редактора является и опубликованіе писем Достоевского, разбросанных по многочисленным изданіям, часто мало доступным. Особенно это цѣнно для иностранных исследователей Достоевского, лишенных возможности пользоваться русскими книгохранилищами. Редактор совершенно прав, когда указывает на досадное однообразие в работах о Достоевском выдержек из его писем, почти исключительно опирающихся на собрание Миллера и Страхова. С появлением нового собрания писем в научный оборот будет введено и многое из того ценного, что находилось в до сих пор мало известных письмах Достоевского. А среди них имеются письма чрезвычайной биографической ценности,

как например, письмо к М. М. Достоевскому от 22 дек. 1849 г. (№ 58) из крепости после совершения над ним всего обряда перед смертной казнью или письмо к нему же из Омской крепости от 22 февр. 1854 г. (№ 60).

Но особенное значение имеет опубликование целого ряда совершенно до сих пор неизвестных писем Достоевского. В одном первом томе таких писем я насчитал 47, а всего таких писем А. С. Долинин обещает опубликовать до 150. Среди уже опубликованных следует выделить три письма к Е. И. Якушкину 1857 г. (№№ 97, 103, 106), с данными о литературных планах Д-го того времени, письмо к брату М. М-чу от 25 авг. 1859 г. из Твери (№ 121) с ценными строками о ,,Селе Степанчикове", письмо к артистке А. И. Шуберт от 12 июня 1860 г. (№ 147), окончательно определяющее характер отношений Достоевского к адресату (вот выдержка: ,,я вас люблю очень и горячо, до того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас . . ."), письмо А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 г. (№ 245) с интересными подробностями, относящимися к периоду работы над ,,Игроком".

Большинство писем, где это было возможно, сверены вновь с подлинниками, а таких оказалось до 90%. Редакторская работа стоит на высоте современных эдиционных требований и в этом отношении почти не встречает возражений. Я могу только отметить, с моей точки зрения, неправильное опубликование под двумя отд. №№ двух черновиков, хотя и сильно разнящихся по тексту, но несомненно одного и того же письма к М. В. Родевичу 1864 г. (№№ 214 и 215). Можно указать разве еще на досадный недосмотр в нумерации писем на стр. 255–262, происшедший вследствие того, что одним и тем-же № помечены два рядом стоящих письма (№ 123).

С особой похвалой хочется отметить комментарий редактора к письмам, данный в конце тома (стр. 461—590). Составитель его, на наш взгляд, совершенно правильно, отступает от укоренившегося в России в подобного рода изданиях обыкновения давать подробное разъяснение к каждому имени, встречающемуся в тексте, переходящее часто в самостоятельные небольшие статейки о каждом лице и событии. А. С. Долинин ограничил свое задание только действительным комментарием к данному тексту, давая лишь самые краткие разъяснения, поскольку они требуются для понимания текста и разъяснения обстоятельств с ним связанных. В этом направлении можно было пойти еще далее. Но зато в комментарий введено в сущности почти все, что дает нам современное историко-литературное знание о Достоевском. В сущности, это своеобразная энциклопедия по Достоевскому, вводящая всякого в круг затрагиваемого вопроса. Мы только возражали бы против того, что в комментарий включены и результаты выводов самого Редактора по тем вопросам, которые еще не достаточно отстоялись и не нашли еще себе признания. Там, где нужна еще предварительная научная статья, явно недостаточно одного попутного утверждения ее вывода. К такого рода утверждениям я отношу, напр., предположение, что образ Кароля (героя произведения Жорж Занд ,,Лукреция Флориани") оказал весьма заметное влияние на образ Ордынова из »Хозяйки« (стр. 496) или, на мой взгляд,

слишком категорические утверждения о влияниях Бальзака на отдѣльныя произведения Достоевского (стр. 466). Все это требовало бы предварительного и тщательного научного обследования. Не могу я согласиться, напр., и с мнением, что »Н. А. Спешнев, почти несомненно, послужил прототипом Николая Ставрогина«, впервые, насколько знаю, выдвинутым *В. Лейкиной* (см. »Былое«, 1924, № 25). Правда, есть и своя положительная сторона в подобного рода, м. б. слишком поспешных, выводах: они дают почин к их научной проверке и содействуют этим изучению Достоевского. Фактическая сторона комментария обставлена образцово. Отмечу только недоумение, возникающее в связи с примечанием к письму № 62, где разъясняется, что под »Карьи«, вероятно, надо понимать неправильно названную фамилию немецкого философа-зоолога Каруса. В самом же тексте письма этого имени вовсе нет. Довольно полно указана и литература по вопросам, затронутым в примечаниях. Литература, вышедшая за пределами России, осталась однако неиспользованной, так отсутствует, напр., в примечании к имени Бальзака (стр. 465) указание на ст. *проф. И. И. Лапшина* »Красный Кабачек« Бальзака и »Братья Карамазовы« Достоевского (»Воля Россіи«, 1927, № 2); о влияниях Гсфмана (прим. к письму № 10) писали *Драг. Прохаска* в своей книге »F. M. Dostojevski« (Zagreb 1921), и *В. Джусти* (W. Giusti) в статье: »Dostojevski ed il pensiero tedesco« (Rivista d'Italia, 1926, XXIX, 5).

В заключение еще несколько слов о »Предисловии Редактора« (стр. 1—36). Оно представляется мне, в отличие от комментария, очень неровным. Пытаясь дать на основании писем Достоевского как бы обзор основных проблем его творчества, поставленных в связь с биографическими фактами, автор часто сбивается на попутные вопросы, впадает в полемику с отличными от него взглядами по тому или иному вопросу и на коротком протяжении не достигает ни одной из поставленных себе целей. Намечено в статье много интересных вопросов, высказаны часто весьма ценные мысли, но все это остается недовершенным. Особенно интересным и ценным мне представляется попытка А. С. Долинина связать »телеологически, в единую систему, все крупные произведения Достоевского«, завершенную в стремлении создать »положительно прекрасного человека« (стр. 13). В связи с этим автор высказывает ряд ценных мыслей об »Идиоте« и его месте в этой системе. Надо думать, что здесь сжато высказаны итоги большой работы автора о Достоевском, которая обещает быть очень содержательной. Много места в предисловии А. С. Долинин уделил вопросу о характере связи между »Житием великого грешника« и романом »Бесы«, выступая в этом вопросе противником гипотезы о влиянии первого на второй. И все же остается неясным, почему автор в этом вопросе проявляет столь большую горячность. Ему в конце концов приходится признать, что отдельные мотивы, намеченные в »Атеизме« и в »Житии«, потом находятся и в »Бесах« и в последующих романах Достоевского. Я лично тоже склонен здесь говорить не о влиянии, а о некоем единстве, носившемся в художественном сознании Достоевского, но не находившем своего оформления в единой системе образов. Но все же остается несомненным факт, что

Достоевский в своих позднейших произведениях возвращался к складывавшимся ранее образам, и в этом смысле вполне законна постановка вопроса о соотношении хотя бы »Жития великого грешника« с романом »Бесы«. Я бы не вводил пока, до тщательного изучения рукописей, в эту схему »Идіота«, как то делает автор. Судя по работе проф. *П. Н. Сакулина* о рукописях »Идіота«,[1]) между первоначальным замыслом романа и его позднейшей редакцией лежит такая пропасть, что, м. б., с точки зрения »телеологии« творчества Достоевского здесь правильнее говорить о двух совершенно разных замыслах. Под одним и тем же именем »идіота« здесь фигурируют герои, относящиеся к разным системам символов. К сожалению, работа проф. Сакулина не дает достаточно материала для окончательного суждения по этому вопросу.

Кончая нашу рецензию, хочется еще раз подчеркнуть большое значение сделанной А. С. Долининым работы. Остается пожелать, чтобы появление второго тома не заставило себя долго ждать.

5 сент. 1929 г. *А. Бем.*

Виктор Шкловский: **Материал и стиль в романе Льва Толстого »Война и мир«.** Издательство »Федерация«. Москва. 1928. г. Стр. 249.

Достаточно обьемистая книга В. Шкловского[2]) состоит из 11 глав, к которым в конце присоединено 3 библиографических указателя. Из них для нашего разбора в дальнейшем интересен озаглавленный таким образом: »Источники Толстого«.

Кратко говоря, содержание рецензируемой книги сводится к двустороннему анализу романа »Война и мир«.

Автор сделал попытку выяснить 1) каким материалом располагал Л. Н. при писании своего произведения и 2) какие стилевые приемы были им применены для художественного поднесения читателю эпохи 1812 г.

Что касается первого пункта, мнение В. Шкловского сводится к тому, что Толстой для своего романа в очень ограниченном количестве использовал исторический материал, при том нередко старомодный. »В настоящее время — говорит исследователь — мы знаем список книг, которыми пользовался Л. Н. в то время . . . . Это количество книг приблизительно на две полки — количество не очень большое . . Мнение, что Л. Н. имел очень большое количество материала на руках, это мнение теперешних исследователей; во время написания романа оно не было распространено« (стр. 30). Из этого делается вывод, что романиста интересовала не историческая сторона дела, а совсем другая: »люди »Войны и Мира« это люди Крымской кампании, берущие реванш в истории«, при чем »выбор темы 12-го года был подсказан не только реваншными соображениями Льва Николаевича, но и явно военными интересами« (стр. 15—16). Толстой писал свой роман, как

---

[1]) »Unbekannte Entwürfe zu dem Roman ‚Der Idiot' nach den handschriftlichen Aufzeichnungen Dostojewskis« в книге »Raskolnikoffs Tagebuch«. Münch., Piper-Verl. 1928, S. 135—172.

[2]) См. замѣтку А. Л. Бема в ж. „Slavia“, т. VIII, в. 3, стр. 672—673.

»военный писатель« (стр. 16). Именно »элемент военности и сдвинул Толстого, вероятно, при выборе темы. Он хотел писать нечто историческое, при чем начал двигать вдоль истории, от декабристов назад. От декабристов к преддекабристам, т. е. к военным людям 12-го года и от 12-го года к 1805 году с мотивировкой, что ему неудобно писать о победах, не написав предварительно о поражениях« (стр. 15). Подводя итоги, в конце своей книги В. Шкловский подчеркивает: »Лев Николаевич Толстой хотел написать роман дворянский, он хотел компенсировать сознание своих современников за Крымское поражение. Его Бородино это — Малахов курган, и Наполеон I связан с Наполеоном III так, как он связывался в сознании французских либералов, борющихся с бонапартизмом« (стр. 239).

Итак, в истолковании В. Шкловского »В. и М.« — роман по замыслу военный (не исторический), писавшийся с определенной политической целью патриотически-классового характера.[1])

Что-же вышло из такого замысла?

На этот вопрос отвечают данные, помеченные нами вторым пунктом.

»Есть искусство цитатное, — пишет В. Шкловский — работающее на привычной эмоциональности образов и комбинирующее эти образы. В одном из своих ответвлений это искусство называется романтизмом: это искусство, работающее необычайными вещами. И существует искусство, делающее вещи необычайными, основанное на недоверии к вещам, и таким было искусство Льва Николаевича Толстого« (стр. 119).

Этим, по мнению автора, определилось особое отношение Л. Н. к изображаемой исторической эпохе: исторические события претерпели деформацию и тем большую, чем далее мы от начала романа (стр. 131). Такая деформация явилась в результате применения »метода остранения«, т. е. показывания вещи не в обычном восприятии, а либо через изменение ее внешности, либо через изменение способа ее передачи (стр. 94). Этот стилистический прием, примененный к историческому материалу, помог, по мнению В. Шкловского, преодолеть »традиционную историю«, превратившись в »метод полемики« для »опорочения« ее »в интересах своего класса«.

Однако распространение »приема остранения« на положительных героев романа, кроме Александра I, привело к тому, что намерение компенсировать уязвленное патриотическое настроение дворянства деформированием событий 1812 года в желательном духе пополнилось изображением в новом освещении ряда как будто положительных явлений и вместо »прославления« получилось »обличение« (стр. 238—240). Так »эстетизируя« свой роман, Толстой в процессе работы над ним как бы переключил его на другие рельсы: задуманный, как роман традиционного типа, для прославления дворянского класса в эпоху 1812 года, »В. и М.«

[1]) В более смягченной форме, но приблизительно также судит о романе »В. и М.« друг В. Шкловского, Б. Эйхенбаум. См. его »Лев Толстой«. I. Лгр. 1928. Стр. 385—392. Трудно сказать, кому из них принадлежит первенство в таком истолковании романа, т. к. друзья и авторы не ссылаются друг на друга.

превращается в художественное произведение »обличительного типа« по адресу того же дворянства (»работа по способу подачи материала методами писателей разночинцев«).

Вот отчего, заканчивает исследователь, »В. и М.« это — »как будто язык, возникший на основе другого языка. Кажется, что словарь этого языка, например, романский, а грамматические формы — славянские или германские« (стр. 239—240).

Таково краткое содержание книги В. Шкловского.

Перейдем теперь к анализу его положений.

Действительно-ли исторический багаж Л. Н. в момент писания »В. и М.« был очень легковесен и исчерпывался теми 54 названиями, которые дает автор разбираемого исследования в конце под заголовком »Источники Толстого«[1])? Действительно-ли, как утверждает он, познания Л. Н. по части событий Наполеоновской эпохи и »старомодны«, и недостаточны (»Для сравнения нужно сказать, что в имении Дениса Давыдова было книг по истории Наполеона собрано до полутора тысяч томов.« Стр. 30)?

Вышедшая почти одновременно с рассматриваемой книга Н. Н. Апостолова »Лев Толстой над страницами истории« (М. 1928), наряду с целым рядом других исследований, говорит фактами, а не »мнениями«, как думается В. Шкловскому, о противоположном. Достаточно только отметить, что В. Шкловский не посчитал среди источников »В. и М.« 1) журналов, как, напр. »Русский Архив«, который имеется за несколько лет в библиотеке Л. Н. (Апостолов. Назван. соч. Стр. 33), 2) целого ряда монографий, непосредственно не отразившихся в романе, но оказавших на него косвенное влияние. (Там-же. Стр. 34—38), 3) архивного материала, особенно по масонству в России (Там-же. Стр. 30), наконец, 4) рукописного материала, частным путем попадавшего в поле его изучения, в роде писем В. Волковой, а также воспоминаний разных лиц и семейных преданий.

Все это составляет такой огромный багаж, что внимательный и осторожный исследователь Н. Н. Апостолов целиком прав, говоря: »Толстой перевернул десятки тысяч страниц истории, прежде чем создал свое центральное художественное произведение« (стр. 197).

Итак, торопливое утверждение В. Шкловского, носящее несколько безапелляционный характер, целиком противоречит фактам. При этом еще более удивительно, что автор, отводя современных исследователей, ссылается для подкрепления себя на карикатуру »Искры« (1868, № 16), где среди источников »В. и М.« даны »Аглицкий герой Георг«, »Леонид« Зотова и »Рославлев« Загоскина. Совершенно неожиданно карикатурное изображение получает в глазах исследователя значение действительного факта, и он серьезно повествует: »И »Рославлева« мы действительно должны считать в числе основных источников »Войны и Мира« (стр. 31). Обещая доказать это в »особой главе«, он почему то забывает свою мысль и на протяжении всей книги нигде на доказательствах не оста-

[1]) Тут мы к изумлению своему прочли, что »Письма М. А. Волковой к Ланской« — источник, найденный автором разбираемой книги (?). Стр. 249.

навливается.[1]) Правда, в одном из писем 1864 г. Л. Н. к С. А. читаем (Письма Толстого к жене. 1913): »Зачитался Рославлевым. Понимаешь, как он мне нужен и интересен« (Этих слов В. Шкловский не приводит). Однако можно ли иначе понять эти слова Толстого, если не в том смысле, что его интересовали художественные параллели для той-же исторической эпохи, какую он стремился изобразить. Никакого позаимствования из »Рославлева« Толстой не сделал, а потому никак нельзя считать творение Загоскина в числе источников романа »В. и М.« да еще и »основных«.

С такою же легкостью В. Шкловский подходит и к вопросу о характере »начитанности« Толстого, считая ее для эпохи 1812 года »старомодной«. Он упрекает романиста в использовании, главным образом, Михайловского-Данилевского и Тьера, хотя у него были в руках и Богданович, и Ермолов и т. д. (стр. 34). При этом сам же побивает себя ответом: »Вероятно, это вызвано тем, что всякий писатель деформирует материал, включая его в свое построение, и он выбирает материал не по принципу достоверности, а по принципу удобства материала« (стр. 34—35) — мы-бы сказали: по принципу соответствия архитектонической (композиционной) цели произведения.

Таким образом начитанность Л. Н. тут совсем не причем, ибо он опирался на Михайловского-Данилевского, когда события 1812 г. переплавлял в художественные образы, для которых писателю вольно было выбирать то, что соответствовало его композиционным намерениям, совершенно по существу свободным от каких бы то ни было исторических пут. Об этом сам Толстой между прочим говорил так: »Я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной . . . . Теперь . . . . я решился . . . писать только то, что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выдет от всего этого, не давая моему труду никакого названия« (разрядка наша).

Итак, В. Шкловский не доказал, что Толстой мало знал по истории 12-го года, также как совершенно необоснованно выступил с заявлением о старомодной начитанности Л. Н.

Мы полностью присоединяемся к данным современных исследователей о том, что Толстой прочитал, просмотрел, изучил огромный исторический материал, и тем не менее это не мешает нам вслед за блестящей работой К. Леонтьева не считать »В. и М.« отражением эпохи 12-го года.

На последнем настаивает и В. Шкловский, однако трудно согласиться с ним, когда он утверждает, что »выбор темы 12-го года был подсказан не только реваншными соображениями Льва Николаевича, но и явно военными интересами« (стр. 16). Приводимые автором соображения ни на какой фактический материал не опираются, в то время, как работа А. Е. Грузинского над текстами »В. и М.« доста-

---

[1]) См. стр. 40 и 95, где все указания на заимствования сводятся к цвету одежды Верещагина: синему тулупчику (у Загоскина »сюртуку«). Ср. Н. Н. Апостолова — »Лев Толстой над страницами истории«, стр. 162—164.

точно выявила, как был задуман роман и как началось его выполнение. Любопытно, что первоначальной обработке подверглись сцены и образы »Мира«. Останавливаясь на первоначальном »подробном конспекте«, Грузинский считает нужным подчеркнуть: »Здесь нет однако исторической и батальной стороны«. (См. Л. Н. Толстой. Новые тексты из »В. и М.« Изд. »Огонек«. М. 1926. Стр. 7). Констатируя это свое наблюдение, автор кропотливого анализа над первоначальными текстами »В. и М.« с фактами в руках говорит: »Итак, выяснился сперва замысел »Мира« и уже потом — »Войны« (Вышеназв. работа. Стр. 12).[1])

Эти данные как будто совершенно опрокидывают домыслы В. Шкловского о том, что роман »В. и М.« был задуман, как военный.

С фактами в руках можно теперь говорить о том, что роман »В. и М.« был выражением в художественной форме, с одной стороны, внутреннего душевного разлада, а с другой страстного, могучего стремления к его преодолению, к осуществлению внутренней гармонии через ряд образов от крайне отрицательного Наполеона до крайне положительного Платона Каратаева. Не даром Рачинский, чутко относившийся к Л. Н., по прочтении »В. и М.«, писал ему (4 янв. 1869 г.): »Роман Ваш радует меня за Вас, как за человека. Он такой здоровый, и добрый, и чистый. В нем чуется, что душа Ваша пришла в ясность, что она спелась со всеми гармониями жизни, что в ней разрешаются ее диссонансы.« (Письма Толстого и к Толстому«. 1928. Стр. 215).

И классовая позиция Толстого в его внутренней душевной драме вылилась не в том, что он ради патриотизма хотел развенчать Наполеона I (»опорочить традиционную историю, следуя за либеральными публицистами эпохи Наполеона III«), а в том, что, идя к безвестному Каратаеву, он чувствовал свою невольную привязанность к жизни и быту того аристократического меньшинства, из которого он происходил.

Вот почему было бы совсем неправильно, если бы мы относили »В. и М.« к разряду произведений »обличительных«, как это старается сделать В. Шкловский: дворянский быт дан Л. Н. здесь в двояком преломлении — не только в отрицательном, почти сатирическом (участ-

---

[1]) Б. Эйхенбаум считает, что »загадочный смысл«(?) названия романа объясняется заглавием книги Прудона по международному праву: «La Guerre et la Paix», и потому роман Толстого »не просто исторический, а военный роман«. Однако 1) философия войны Прудона нисколько не походит на »философию истории и войны« Толстого, 2) »формула« — Война и Мир — есть характерная для последнего антитеза, навеянная, конечно, не одним каким-нибудь названием книги. Эйхенбаум спрашивает: »Почему семейные сцены названы »миром« . . Слово »мир« приходится понимать в таком случае, как »тыл«, а это принижает весь смысл названия и делает его неточным«(?) Почтенный автор почему-то игнорирует, что роман имеет не только мирные страницы тыла, но и подлинный мир, которым заняты т. II с XVII гл. до его конца и эпилог. Кроме того, что́ загадочного в наименовании романа, когда в »Записках« хорошо известного Толстому С. Глинки читаем: »В дивный 1812 год мир и война шли рядом« (стр. 15). См. по этому поводу в вышеназванной книге Н. Н. Апостолова стр. 60—61.

ники петербургских салонов, кн. Василий, Берг, Элен и др.), но и несомненно положительном, с определенными симпатиями к известным чертам уклада (семья Ростовых и Волконских).

Такое членение есть результат архитектоники романа, проистекающей из намерения творца доискаться прочных основ жизни, идя от одних слоев общества к другим, автору хорошо известным, через антитезу ярко набросанных бытовых картин.

Итак, трудно согласиться с В. Шкловским в том, как он судит о материале романа »В. и М.« и как он старается истолковать это произведение в свете вольных и невольных намерений автора.

Также трудно признать и правильность анализа романа »В. и М.« с композиционной точки зрения. По нашему мнению, ошибка В. Шкловского заключается в признании архитектонической основой намерение Л. Н. »написать роман дворянский«, »компенсировать сознание своих современников за Крымское поражение«. Эта цель, по мнению исследователя, потребовала для своего воплощения (в форме романа) определенного исторического материала. Материал подвергся определенной стилевой обработке, при чем вначале он не деформировался. Однако по мере необходимости »опорочивать« »традиционную историю« »в интересах своего класса« деформация истории делается неизбежной и тут на помощь приходит созданный Толстым вышеотмеченный, по неудачной терминологии автора, »метод остранения«. Так появляется, по мере развертывания романа, новое сюжетное оформление: вместо того, чтобы давать впечатление »прославления«, стилизованный материал накоплением ряда деформаций создал в конце концов произведение »обличительного« характера.

Мысль В. Шкловского сама по себе интересна, но увлечение »формальным методом« привело исследователя к игнорированию фактов, и потому сделанное построение, при ближайшем рассмотрении, оказывается шатким, как карточный домик.

В самом деле, откуда В. Шкловский взял, что Л. Н. задумал писать роман, как »патриотическую компенсацию«. Никакими фактами это основное положение не подкреплено и является совершенно произвольной гипотезой.

Далее, деформация исторического материала происходит вовсе не потому, что Толстому нужно было »опорочить историю« ради доставления патриотической услады дворянскому чувству, оскорбленному Севастопольским поражением (вряд-ли на такой тенденциозной основе могло получиться что-нибудь выше творений Загоскина), а потому, что исторические восприятия стали в теснейшую связь с трагическими вопросами жизни, которые захватили Л. Н. как раз в период писания романа »В. и М.«, когда внешне писатель находился как будто на верху личного счастья . . . .[1])

Много можно было бы сказать еще и о языке В. Шкловского с такого рода словами, как »заумь«, »затактовый материал« и т. д., но наша рецензия и так разрослась . . .

---

[1]) См. нашу статью в ж. Slavia, VIII/4.

К сожалению в вопросе о стиле романа »В. и М.« Шкловскому не только не удалось правильно разрешить поставленную задачу, но даже и методологически верно подойти к ней.

Одесса. Июнь. 1929. *В. Селинов.*

„Ukrainomanja" Juljusza Slowackiego. Проф. Евген Рихлік »Українські мотиви в поезії Юлія Словацького«, Ніжин 1929, s. 68. (Prof. Eugenjusz Rychlik »Ukraińskie motywy w poezji Juljusza Słowackiego«, Nižin, 1929.)

W ostatnich latach można obserwować ożywiony ruch badań historyczno-literackich na Ukrainie sowieckiej, z kulturalnem centrum w Kijowie, gdzie pracuje ciągle żywo najwybitniejszy historyk ukraiński, Hruszewski, były profesor uniwersytetu we Lwowie.

Ruch ten powinien zwracać o wiele większą uwagę polską, aniżeli to się dotąd dzieje. Pomijając wszelkie względy natury politycznej, wystarczy wszak zaznaczyć, że Ukraina to od wieków najbliższy na wschód teren ekspanzji polskiej pracy cywilizacyjnej, w swojej rozległości i znaczeniu wcale dotąd niedoceniony.

Jest to jeden z tych zasadniczych braków polskiej nauki, na które już nieraz zwracaliśmy uwagę: nie chce ona zainteresować się bliżej sprawą duchowej lokalizacji zbiorowej polskiej pracy cywilizacyjnej w obrębie najbliższych, przyległych ziem słowiańskich, zatem na danym od Boga naturalnym terenie ekspanzji, wzajemnych filjacji, procesu asymilacji i dysymilacji. W zakresie badań historyczno-literackich przeskakuje ta nauka całe złomy nietkniętych niemal a najbardziej nasuwających się zagadnień i ze zbyt wyłączną »orjentacją« zachodnią zlicza, mierzy i waży wszystkie »wpływy« niemieckie, francuskie, angielskie, italskie.

Co zaś myśmy sami dali i cośmy jedynie dać mogli słabszym kulturalnie pobratymcom, z którymi wiąże nas historja, język, pokrewieństwo rasy; jak również cośmy od nich w poszczególnych epokach i rodzajach wzięli, o to w nauce polskiej poza pojedynczemi i oderwanemi spostrzeżeniami (Brückner) niemal nikt się nie troszczy.

Tem przeto pilniej należy, jak sądzę, rejestrować te wypadki, w których wyręczają nas w tej odłogiem leżącej pracy — inni.

Notujemy zatem pojawienie się rozprawy ukraińskiej o ukraińskich motywach w poezji Słowackiego, wydanej w zbiorze prac »Niżyńskiego Instytutu narodowej oświaty«, który posiada katedrę kultury i języka ukraińskiego a swoją działalnością świadczy, że obok centrali kijowskiej działają za Zbruczem także drobniejsze ośrodki rozbudzonego ruchu umysłowego.

Autor wymienionej rozprawy jest właśnie posiadaczem tej katedry a polonistyką na tle porównawczem polsko-ukraińskiem zajmuje się poważnie i nie od wczoraj. Już dawniej ogłosił przegląd nowej literatury o »szkole ukraińskiej« poetów polskich, zajął się polskiemi przekładami »dum« ukraińskich, napisał pracę o bohaterze konfederacji barskiej, Sawie Calińskim, w polskiej literaturze.

Rzecz o Słowackim wyrosła z tego dawniejszego kręgu zainteresowań naukowych autora. Stanowi dalszy epizod w jego ogólnej pracy nad

polsko-ukraińską wzajemnością literacką w okresie romantycznej »ukrainomanji«. Chce ustalić zakres i rodzaj tematyki, filjacje ukraińskich motywów i stylistykę ornamentów.

Coś niecoś o tem już wiemy (niedokładnie i niesystematycznie) w odniesieniu do twórczości głównych mistrzów t. zw. »szkoły ukraińskiej«: Malczewskiego, Zaleskiego i Goszczyńskiego; znacznie mniej i znacznie bardziej ubocznie stwierdza się istnienie śladów »ukrainomanji« literackiej w dziełach Słowackiego, pomimo że istnieje tak bardzo obfita literatura, temu twórcy poświęcona.

Rychlik tę lukę pożytecznie i umiejętnie wypełnia, posługując się i uwzględniając cały, wypracowany aparat polskich badań naukowych, o ile i one tego tematu się dotknęły.

Zbiera naprzód wszystko, co w biograficznej autopsji mogło się było zachować w myśli Słowackiego, zamknięte okresem lat dziecięcych i wczesnej młodości. Już pod tym względem ustala odrębność głównie literackich przeżyć autora »Żmiji« od faktycznego poznania etnograficznego tła przez Zaleskiego i Goszczyńskiego. Odrębność ta — możemy to spostrzeżenie dopełnić i rozszerzyć — sięga jeszcze dalej aż w głąb odmienności typu. Wszak Słowacki jest wogóle twórcą, któremu o wiele więcej podniet literackich dostarcza książka, aniżeli — życie. Kto z bardzo nikłego epizodziku, z wycieczki górskiej w towarzystwie podlotka, potrafił wybudować tęczę »W Szwajcarji«; kto nie będąc nigdy ojcem mógł na podstawie opowiadania lekarza (a bodaj jeszcze więcej na podstawie wspomnień lektury trenów Kochanowskiego) odtworzyć całą głąb cierpień ojca zadżumionych-ten i Ukrainę rekonstruuje sobie nietyle z mglistych wrażeń przeżyć istonych, co raczej znowu z lektury a przedewszystkiem, w okresie późniejszym, z dna tęsknoty za krajem dziecięcych lat.

Z tego samego dna tęsknoty wyrósł i »Pan Tadeusz« i »Wacław« i »Beniowski« i »Sen srebrny Salomeji«. Źródło psychiczne było tosamo — ale kierunek strumieni twórczych, ich realizacja w słowie poetyckiem zgoła różne, jak biegunowo przeciwne były te dwa genjalne typy poetów. Tęsknota Mickiewicza wywabiła odczynnikiem plastycznej wyobraźni realną wizję życia w litewskim zaścianku; tęsknota Słowackiego popędziła pęd twórczy łożyskiem fantazji rozlewnej, nasycanej głównie lekturą — zatem nie wierna reprodukcja obrazu Ukrainy mogła być artystycznym rezultatem istotnych wspomień-lecz indywidualny rozprysk tęczy, sztuczne ognie metafor, »brylantowa« ornamentyka, wreszcie konwencjonalnie pojęty temat dla wyrażenia pewnych haseł demokratycznych piewcy »ludu«, wkońcu (w ostatnim okresie twórczości) surowy materjał dla oparcia mistycznych symbolów.

Taką jest »Ukraina« Słowackiego — zgoła różna od tematyki Zaleskiego i Goszczyńskiego, najsilniej zapewne (i stosunkowo) związana z »Marją« Malczeskiego, skąd właśnie — a nie z istotnej wizji lokalnej — wziął Słowacki konwencjonalnie melancholijny sztafaż oraz pomysł dalszego snucia powieści »ukraińskiej« w »Wacławie«.

Omawia te sprawy ściśle cytowana praca. Zestawia naprzód »ukraińskie« utwory Słowackiego, poczynając »Dumą ukraińską«, kończąc ustępem »W pamiętniku Zofji« z 1846. roku — w ogólnej sumie 11 pozycji, rozrzuconych na całej przestrzeni życia autora »Mazepy«.

Ścisła analiza podaje bardzo pożyteczny słownik ukraińskich motywów w poezji Słowackiego, zestawiony w następujące grupy: Geografja Ukrainy (zaliczał do niej Słowacki także Podole. Wołyń ovar Czerwoną Ruś, Zaporoże, Budziak), przyroda i krajobraz ukraiński; historja Ukrainy: tej używał całkiem dowolnie dla własnych celów artystycznych i ideowych, nie troszcząc się wcale o historyczne fakty. Artystycznie służyła Ukraina polskiemu romantykowi głównie jako realna podstawa dla »*kultu mogił*«; ideowo opierała się o stałą koncepcję »matki Polski« a w zestawieniu »Ukraina-Polska« widział Słowacki jedynie konflikt społeczny: szlachta-lud. Z tego stanowiska oceniał ruchy Chmielnickiego, bunty, rzezie, hajdamaczyznę — i poszczególne postacie (wśród nich zwłaszcza tak ważna dla późniejszej poezji polskiej koncepcja *Wernyhory*).

Zastanawia się następnie autor nad przeróbką wątków etnograficznych w dziele Słowackiego z terenu Ukrainy: typy (np. kozak i jego organizacja, dziewczyna ukraińska, czumak, rybak, płakalnica, lirnik i. i), kultura materjalna, zwyczaje, świat duchów, pieśń ludowa. Tu i ówdzie napotykamy spostrzeżenia natury ogólnej. Tak np. co do literackiego opracowania motywu »rusałki« stwierdza autor, że najstarszą pod tym względem tradycję posiada polska literatura romantyczna, przyczem wytyka innym badaczom ukraińsko-rosyjskim, iż tego faktu nie zauważyli.

Niekiedy jednak i sam nie jest ścisły w podawaniu tradycji wątków. Tak gdy podaje, że legendarną postać śpiewaka Bojana spopularyzował w literaturze polskiej dopiero Bohdan Zaleski — niesłusznie odbiera pod tym względem prymat Kazimierzowi Brodzińskiemu.

Osobny ustęp poświęcił autor analizie »mowy ukraińskiej« Słowackiego, t. j. tego świadomego pokostu słownego i frazeologicznego, którego użyczył Słowacki swoim »ukraińskim« postaciom. Wbrew twierdzeniu Hoesicka doszedł autor — i słusznie, do wniosku, że Słowacki dał w tych wypadkach polsko-ruską mieszaninę językową, bardzo niewiele zapamiętawszy sobie właściwości języka, którego nigdy nie nazywał »ukraińskim«, ale »ruskim«, »chłopskim« albo »po prostu«. Że tak właśnie określał — dodajmy — to dowód, iż ani on, ani jego pokolenie nie posiadało żadnego odczucia jakiejkolwiek narodowej odrębności »ukraińskiej«. Ich romantyczny »ukrainofilizm« nosił charakter czysto *regjonalny*, odpowiadający w zupełności litewskiemu regjonalizmowi Mickiewicza, wypowiedzianemu najpełniej w apostrofie do arcydzieła poezji polskiej: »Litwo! ojczyzno moja . . .«

Ostateczne konkluzje, do jakich dochodzi zajmująca rozprawa ukraińskiego historyka literatury, są następujące: 1. ukraiński element w twórczości Słowackiego nie jest przypadkowy, pojawia się bowiem na całej przestrzeni poezji Słowackiego a w »Beniowskim« i »Śnie srebrnym Salomeji« posiada nawet znaczenie zasadnicze; 2. chociaż bezpośrednich wspomnień ukraińskich zachowała myśl poety niewiele, to jednak starczyły one, ażeby Słowacki wzbogacił tematykę »szkoły ukraińskiej« o niejeden ciekawy motyw nowy; 3. tęsknota doli emigranckiej kierowała myśl do wspomnień dziecięcych a tem samem odświeżała »ukrainofilizm« — tak u Słowackiego, jak i u innych poetów »szkoły ukraińskiej«; 4. w ideologji ukrainizmu Słowackiego tkwi tendencja szlacheckiego nacjonalizmu, usiłująca przeprowadzić dowód wspólnoty interesów polsko-ukraińskich i mającego

nadzieję, że przy pomocy tej wspólnoty nastąpi odbudowa polskiej państwowości; 5. tradycja literacka »szkoły ukraińskiej« i osobiste stosunki z jej przedstawicielami — odegrały rolę pomocniczą przy sformułowaniu »ukrainomanji« Słowackiego i podtrzymały ją przez całe jego życie; 5. Słowacki przejmuje motywy ukraińskie Zaleskiego i Goszczyńskiego, rozbudowuje je na własną rękę a jako mistrz słowa nadaje im refleks oryginalności (przypomnijmy, że jest to zasadnicza cecha transpozycji motywów w poezji Słowackiego wogóle); 7. Słowackiego koncepcja Ukrainy przebyła trzy etapy: idyliczno-romantyczny (pod wpływem Zaleskiego), tragiczno-romantyczny (wpływ Goszczyńskiego) i, wkońcu, mistyczno-mesjaniczny. Ta trzecia faza jest oryginalnym wytworem Słowackiego; 8. Ukraina Słowackiego jest po większej części idealizującem, fantastycznem przeanieleniem. I to wynika z zasadniczej psychiki twórczej, której pod wpływem rzeczywistości zawsze »opadały skrzydła«; »i jestem smutny, jak gdybym miał umrzeć« — skarżył się na to w zwrocie »Do autora Irydjona«. Autor omawianej pracy czyni trafną uwagę, że gdyby nawet Słowacki znał i pamiętał o wiele lepiej Ukrainę — i tak nigdyby jej nie był realistycznie reprodukował. Widział ją w oświetleniu poetyczności wedle zamiłowań własnej fantazji — a także pod ogólnym kątem widzenia całej t. zw. »szkoły ukraińskiej« polskichr omantyków.

Praca Rychlika posiada nadto tendencję, godną życzliwej uwagi. Wypowiada ją autor w jednym dopisku, pisząc: »Chciałbym, ażeby moja rozprawa zwróciła uwagę innych pracowników na polu ukraińskiej literatury na potrzebę porównawczych badań ukraińsko-polskich.«

Możemy to samo życzenie skierować pod adresem polskich historyków literatury, zbyt już chyba przesyconych »wpływologją« odległego zachodu. Tymczasem tuż obok na odległość sięgnięcia ręką a nawet wewnątrz organizmu wyzwolonej Polski — rozciągają się dziewicze niemal terytorja, na których należałoby wreszcie wskazać, jak też daleko sięgnęła poza pługiem i polska myśl artystyczna.

M. Szyjkowski.

Józef Páta: **Zawod do studija serbskeho pismowstwa.** Serbske předźěłane a rozmnožene wudaće z 50 podobiznami. W Budyšinje 1929, 8⁰, str. 288. (Wědomostne Rozprawy Maćicy Serbskeje w Budyšinje, čisło 1).

Niestrudzony badacz literatury łużyckiej, prof. Páta obdarzył naukę słowiańską drugiem, po łużycku opracowanem wydaniem ogłoszonego przed kilku laty w języku czeskim dzieła: Úvod do studia lužickosrbského písemnictví (Praha 1925). Książka zawiera w głównym swym zrębie krytyczno-bibljograficzny przegląd dotychczasowych prac o łużyckiem piśmiennictwie. Jasną jest rzeczą, że równocześnie musiał nam dać autor zwięzły obraz jego rozwoju. Dodajmy, że obraz doskonały. Właściwie rzecz biorąc, otrzymaliśmy w łużyckiej pracy czeskiego uczonego książkę nową, nie jest to drugie przerobione i rozszerzone wydanie w zwykłem tego określenia znaczeniu. Prof. Páta w ostatnich latach badania swoje pogłębił, zebrał mnóstwo nieznanego mu przedtem materjału, umiejętnie skorzystał ze zdobyczy innych pracowników naukowych na niwie łużyckiej oraz z uwag recenzentów, jakie wywołało wydanie pierwsze. Przedstawił

nam tym razem istotnie jak najdokładniej obecny stan wiedzy o literaturze łużyckiej. Dawnych 10 rozdziałów na 148 stronach rozrosło się do rozdziałów 16 na stronach 288.

Rozszerzenie książki poszło jednak nietylko w kierunku bibljograficznym. Wyniki badań rzucił autor słusznie na rozległe tło wielkich prądów religijnych i umysłowych, które od doby reformacji począwszy, na latach powojennych skończywszy, objęły zasięgiem działania także kraj łużycki. Ocenia przytem rolę, jaką w rozbudzeniu i rozwoju łużyckiego życia kulturalnego odegrały. Zwłaszcza cennem jest tutaj wydobycie na jaw religijnego ruchu ludowego z w. XVIII., wywołanego wpływem saskich braci czeskich zgromadzonych w Ochranowie (Herrenhut). Spojrzenie na piśmiennictwo łużyckie i prace jemu poświęcone z tak szerokiego punktu widzenia doprowadziło autora do zmodyfikowania wielu dotychczasowych na nie poglądów i do nowego jego podziału na okresy.

Recenzja, jaką poświęciłem w t. V. Slavii, str. 170—4, pierwszemu wydaniu książki Páty, zwalnia mnie od dokładniejszego zdawania sprawy z łużyckiej jego redakcji. Zwróciłem tylko uwagę na to, co w niej nowego, na to, co wartość książki już przedtem cennej i zajmującej podniosło niezwykle, co uczyniło z niej do pewnego stopnia historję kultury łużyckiej. O ileż ułatwionem stało się teraz, że użyję słów autora: »napisanje systematiskich stawiznow serbskeho pismowstwa z domjaceho stejnišća, na wyšinje dźensnišeje wědy a we wobłuku kaž domjaceje a słowjanskeje, tak też swětoweje historije« (str. 267). Należałoby sobie życzyć — co raz jeszcze z naciskiem podkreślam — by zadania tego podjał się sam Páta. Nikt bowiem nie ma po temu lepszego od niego przygotowania.

Kraków. *Witold Taszycki.*

Silviu Dragomir: **Documente nouă privitoare la relațiile țării românești cu Sibiiul in sec. XV și XVI.** București (s. a.). Стр. 79 + 5 таблиц. (Оттиск из »Anuarul Institutului de istorie națională din Cluj, т. IV).[1])

Сборник изданный г. Драгомиром, содержит 70 слав.-валашских грамот, найденных недавно г. И. Лупашем в архивѣ бар. Брукенталя в Сибинѣ (Hermannstadt). Онѣ адресованы бургомистру и пургарам гор. Сибина и относятся к XV—XVI ст., точнѣе, к 1454—1550 гг. Большинство из них — грамоты валашских воевод (н-ра 1—52, с тѣм, что два послѣдних письма пишет »господжа [госпогя] Басараб воиводы Деспина«) и только 18 писем приходится на долю высших должностных лиц, духовенства и городских общин Рыбника (Râmnic), Долгополя (Câmpulung) и Трговища (Târgoviște). Сборник г. Драгомира дополняет, таким образом, богатѣйший матерьял, опубликованный проф. Богданом,

---

[1]) O tomto díle přinesl náš časopis již recensi St. Mladenova (VI. 766—774), psanou hlavně se stanoviska jazykozpytného. Právní historik O. Markov poslal redakci druhou recensi, kterou otiskujeme, poněvadž přináší nové poznatky. Poslední řádky dokonce ukazují, že i otázka jazyka těchto rumunských listin není tak jednoduchá, jak se představuje v prvé recensi na str. 773. *M. M.*

Іоргой, Милетичем и Никулеску и освѣщающій разностороннія — культурныя, экономическія и политическія — связи Валахіи с саксонскими городами Седмиграда — Брашовом и Сибином — в эпоху XV—XVI ст.

Для политической исторіи грамоты, опубликованныя г. Драгомиром, дают только нѣкоторыя подробности, касающіяся отношеній Валахіи к Венгріи (н-ра 2, 6, 8, 35), Турціи (н-ра 7, 11, 31, 35) и Молдавіи (н. 8), или освѣщающія внутреннія полит. отношенія вал. воеводства (н-ра 36, 51). Впрочем, содержаніе большинства грамот касается торговых сношеній, судебных споров между валахами и сибинскими купцами (напр., н-ра 3, 9, 12, 14, 21, 59, 60, 62 66—70) и взаимных жалоб на злоупотребленія тамож. чиновников (н-ра 1, 23, 38). Весьма значительная часть документов (всего 26 н-ров) представляет собою обычныя рекомендательныя (вѣрительныя) грамоты, которыя выдавались лицам, отправляемым, с тѣми или иными порученіями, из Валахіи в Сибин.

В качествѣ торгово-промышленнаго и культурнаго центра, Сибин имѣл для западной (Малой) Валахіи то-же значеніе, какое имѣл Брашов для восточной (Великой) Валахіи и Быстрица для Молдавіи. Сношенія с ними имѣли весьма разносторонній характер и сохранившаяся переписка бросает поэтому яркій свѣт на различныя стороны жизни румынских государств в средніе вѣка. Нѣкоторыя цѣнныя данныя содержит и матерьял, опубликованный г. Драгомиром.

С точки зрѣнія исторіи правовой культуры значительный интерес представляет борьба вал. воевод и вал. городских общин против остатков круговой отвѣтственности горожан за долги отдѣльных членов общины. Этот правовой обычай (извѣстный и зап. славянам, ср. чешск. obstávka, stavuňk) хорошо извѣстен из памятников средневѣковой Сербіи (»изьмь«). В Сербіи против этого обычая вели упорную, притом весьма успѣшную, борьбу дубровничане: уже грамота Ст. Неманьи запрещает примѣнять »изьмь« и »удаву« к гражданам Дубровника (Jireček, Staat u. Ges. im mittelalt. Serbien, II. 5), а Матвѣй Нинослав (грам. 1240 г. в Mon. serb., 29) постановляет: »да нѣ никѣрѣ изьма на инаго серблина ни на инаго влаха лише на самога исьца«. В валашско-саксонских отношеніях роли перемѣнились. Здѣсь, как видно из цѣлаго ряда грамот (напр. н-ра 12, 13, 25, 27—28), иниціатива к установленію правила о личной отвѣтственности должника за долги и нормы »actor sequitur forum rei« (ср. Mon. serb., стр. 25: »ако вѣруе срьблинь влаха, да се при прѣдь кнеземь (sc. дубровьчькимь), ако вѣруе влахь срьблина, да се при прѣдь баномь«) принадлежит вал. воеводам и вал. гор. общинам. Но сибиняне часто нарушают эти нормы. На это жалуется (н. 67), напримѣр, в 1500(?) г. управа гор. Долгополе (Câmpulung), указывая сибинянам на то, что »запрѣтити прави чловѣци« значит »чинити — тако како не есть закон«. Но, наряду с этим, в Валахіи еще в концѣ XV ст. продолжает оставаться в силѣ извѣстная из сербских источников »удава«, т. е. внѣсудебное задержаніе должника или поручителя в случаѣ неуплаты долга в условленный срок (ср. Ст. Новаковича: Удава или самовласно апшенье за дуг. Б. 1892). О ней говорится в грамотѣ Раду III (н. 3, 1462-1474 г.). Воевода жалуется на то, что сибинскій купец Мартин Рѣнзел взял »нѣкою куплю от еднога турчина, та есть уложил емца

Чурка и брат му Димитрь от Трьговище. И срок му есть минул, а он не хте да пустит, що есть дльжен. А турци доходет та удавит (м. б. удават, от гл. удавати) мои людіе«. Воевода обращается поэтому к сибинянам с просьбою принять необходимыя мѣры »како да платит що есть дльжен и како се есть уцѣнил, ѡти мои людие патит скандалу зло за работу Мартинову«.

О разносторонности связей Валахіи с Сибином свидѣтельствует, напримѣр, грамота воев. Раду VI (н. 47) о присылкѣ дьяка из Сибина, который бы был »добръ писац и книжевен«, просьба митрополита (н. 54) об изготовленіи и присылкѣ четырех »крондири (свѣтильники) малы у един ток«, обращеніе воеводы о присылкѣ мастера, »ере имамо направляти на церкви от що ни требует« (н. 41), грамоты (н. 5, 42), упоминающія о вывозѣ скота из Валахіи в Сибин и о ввозѣ в Валахію оружія (»лѫкове и щитове«), сукна и хлѣба и т. п. Отмѣтим еще одну сторону сибинско-валашских связей. В тяжелыя минуты турецких нашествій, когда негдѣ было »главу подклонити« и во времена внутренних междуусобиц — саксонскіе города и, в частности, Сибин предоставляли право убѣжища валашским изгнанникам и эмигрантам. Но, чтобы быть вполнѣ увѣренными в том, что это право будет им, в случаѣ надобности, предоставлено, отдѣльные бояре старались заранѣе запастись соотвѣтствующей »клетовной книгой«, выданной городом. Такія обязательства принимал на себя часто Дубровник по отношенію к сербским королям и властелям (ср., напр., грам. в Mon. serb., стр. 22: »акѡ ти (Ст. Владиславу) се згоди кое насилые, и прибѣгнеши у градь нашь к намь, да те примемо — сь вьсѣми твоими боляры и с ынѣми вьсѣми твоими — и колико вьзлюбиши прѣбыти у нась, да си прѣбудеши — а зла да ти не учинимо никогаре и т. д.) и о выдачѣ такой именно »клетовной книги« идет, повидимому, рѣчь в грамотѣ (н. 63) логофета Сина.

Чтобы закончить обзор грамот со стороны их содержанія, отмѣтим еще грамоту (н. 46) Раду VI Паисія (1535—1545 гг.), выданную »радї ового сръбского архиепископа именем Павел, понеже есть пришел от московскіе и от ледскіе земли до нас и ходил есть милостинѣ радї, понеже есть имал велику нужду и плененіе откъ турци. И принеслъ есть къ нам листъ от ледскога краля«. Воевода просит сибинян »да га помилуете и книгу ему да учините по дръжави ваше милости — по господарех и по християнех ходити милостиню радї«. В примѣчаніи издатель указывает на то, что грамота касается архіепископа Павла, упоминаемаго в Сопочанском помяникѣ (ср. Голубинскій, Очерк ист. правосл. церквей, стр. 478).

Переходя к оцѣнкѣ издательской стороны сборника г. Драгомира, приходится, к сожалѣнію, установить, что издатель не достаточно внимательно отнесся к тексту публикуемых им грамот. Благодаря приложенным издателем фотографическим снимкам, мы имѣем возможность сличить печатный текст пяти грамот с текстом подлинников и указать на неточности в печатном текстѣ. Так, в грам. н. 4 читаем **вистіар** вм. **вистїıар**, в грам. н. 52 **господем мое братіе** вм. **господе и мое братіе**, **міе** вм. **мї е**, **хокѧмо** вм. **хокѧмꙋ**, в грам. н. 55 (стр. 63) **ми добре разꙋмехмо** вм. **ми ви добре разꙋмехмо**, **мног зло ꙋчинил**

вм. много зло ѹчини (мно[г] зло учи[н]), и ца та есть бехал вм. и цата (т. е. сада или м. б. за та) есть бежал, ако би ѹзел вм. ако є и ѹзел, в текстѣ той же грамоты, на стр. 64, а то гѹбил и ваши лѹдіє вм. а то сѹ били (би[л]) и ваши лѹдіє, воеводіна вм. воєеводїна, штколес вм. отколсе (узе снегь), ѡ що чемо бит а-ц-и вм. ѡ (м. б. ѡт) що чемо бит аци (ми ви чемо би приетинци). Отмѣтим, что слов »ѡ що чемо бит аци« автор не переводит на рум. язык, хотя ясно, что»аци« = »яци« (ср. в словарѣ Даничича s. v.: »što smo jaci«, »služiti što jaki budem«). В грам. н. 56 (стр. 65) читаем: такога и чловѣка трѣбе пищати вм. такогаи чл҃ка трѣбе пѹщати (в смыслѣ посылать ср. »пустих моега чловѣка до вас, Михаи« (н. 2, стр. 12), »пущам до господства ви нашу слугу Шимону« (н. 11). И в данном случаѣ неправильное чтеніе текста отразилось на переводѣ грамоты, в котором читаем: »pe un asemenea om trebue să-l hrăniți« (т. е. такого человѣка слѣдует питать, что показывает, что издатель связывает глагол пищати с существ. пища), вм. такого человѣка слѣдует посылать (для переговоров), т. к. он »речи добрѣ носит и ваше и наше«. В грам. н. 57 читаем ѡт жѹпана Пръвѹл вм. ѡт жѹпан Пръвѹл, братіам вм. братїıам, Єибин вм. Єїбин, ıако вм. ıакож, сице вм. сїце, в грам. н. 67 (стр. 75) прıатели вм. приıатели, комате Бѹде Крѣстеш вм. Бѹдев Крѣстеш, господствѹ ти вм. г-вѹ тї, Ханжш вм. Ханжшѹ.

Недостатком изданія можно считать то, что издатель систематически раскрывает титлы, не слѣдуя в этом вопросѣ примѣру проф. Богдана, который допускал раскрытіе титл только в случаях, не вызывающих никаких сомнѣній. Что издатель в этом отношеніи не всегда прав, показывает, напримѣр, текст грамоты н. 52, в которой читаем »великааго« вм. великага (велика[г]а), или грам. н. 55, в которой (помимо обычнаго раскрытія ст҃он-светон, чл҃вкь-чловѣкь) читаем мног вм. много (мно[г], как учи[н]-учини, вели[с]-весели, Синь[б]-Сибинь) »ѹчинил« вм. ѹчини (учи[н]) и т. д.

Но и перевод грамот не всегда является удовлетворительным. В этом отношеніи приходится, прежде всего, указать на то, что издатель, повидимому по недосмотру, оставляет, сравнительно часто, отдѣльныя слова и даже цѣлыя предложенія без перевода (н-ра 10, 50, 55, 66, 70). Но и впрочем, не всегда можно согласиться с переводом, предлагаемым издателем. Так, в грам. н. 3, слова »турци доходет та удавит мои людіє« (которые поручились за купца-сибинянина) издатель переводить: »Turcii vin și sugrumă (удавить, задушить, suffocare) pe oamenii mei«. Между тѣм, в данном случаѣ рѣчь идет об »удавѣ«, о которой было упомянуто выше, и перевод издателя только затемняет смысл грамоты. В грам. н. 29 (стр. 40) слова »мисмо научили (человѣка посланнаго к королю) да ви учинит съпрѣніе пред висоте кралю« издатель переводит: »suntem gata a vă face pâră la — craiu«, т. е. мы готовы обжаловать вас перед королем, в грам. н. 42 (стр. 53) слова »хокю скала отворит (! вм. затворит), таж не хте минут — в земле господства ви — нища« издатель

переводит: »voiu deschide vămile« т. е. таможню, вм. проход, перевал, рум. pasul (ср. сербо-хорв. скала, скела — trajectus), т. к. рѣчь идет, очевидно, о закрытіи извѣстнаго прохода Красная Башня (Roter-Turm-paß), главнаго пути, который связывал Сибин с Валахіей (ср. Іорга, Gesch. d. rum. Volkes, I. 258, о таких-же угрозах молд. воевод по отношенію Быстрицы ср. Іорга, Doc. rom. din arch. Bistriței, т. I, стр. LI, LVII и т. д.). В грам. н. 68 (стр. 77) положеніе »ако се е нещо закръсмал, а господство ти — направи« издатель переводит: »dacă s'a greșit ceva (т. е. если была совершена какая нибудь ошибка), domnia ta — toemește«, вмѣсто: если (вызванный к суду) пропустил срок (опоздал, ср. цсл. кръсмати, др.-сербск. крьсмати-morari), »а г-во ти направи«, т. е. возстанови срок явки к суду, »ере не есть знал за що га е звал«.

Нѣт сомнѣнія, что в текстѣ той-же грамоты слѣдует читать: »мисмо домишлили (издатель переводит: „am crezut", т. е. мы думали, вм. мы поняли, додумались, что также затемняет смысл грамоты) ере ѧ звал за пру« (прў = прут — явная описка писца), т. е. на суд. разбирательство. Такое чтеніе дѣлает текст грамоты вполнѣ понятным. Отмѣтим, наконец, что в грамотѣ н. 69 (стр. 77) слѣдует, повидимому, читать »що есть бил емца Михнѣ (издатель читает »що есть бил с лица Михнѣ«, фот. снимка этой грамоты, однако, нѣт), тѣм болѣе, что в концѣ грамоты указывается на то, что означенный Михня (Mihnea) »есть — от овуи емцу изваден«.

Опечаток в текстѣ грамот много (особенно частой является замѣна букв Б - В, Д - Л, Н - И) иногда довольно досадных (например, в грам. н. 57, стр. 66 »подарованиим« вм. »подарованним«).

Отмѣчу, наконец, сильное проникновеніе сербских элементов в язык грамот, особенно с XVI ст. (ср., например, измолио (н. 21), узео, я съм прѣпоручіо (16), послао есть све (21), чете оставити, кет жаховати (21), преге, хокю (31), мегю (36) госпогя, господжа, но и госпожда (51, 52) и т. д.).

Труд г. Драгомира посвящен памяти пок. проф. I. Богдана.

Братислава. *О. Марков.*

Українська Академія Наук. Збірник № 72. Акад. *Д. И. Багалій:* **Нарис історії України на соціяльно-економическому грунті.** Том перший. Державне Видавництво України. 1928. Цена 4 руб. Стр. 389.

Данная книга представляет собою лишь начало задуманного трехтомного труда и ставит себе задачу дать очерк истории Украины на основе исторического материализма. В первой меньшей части тома (стр. 5—124), автор дает материал историографический. К сожалению этот материал не имеет своего естественного начала (не касаясь хотя-бы кратко эпохи до Костомарова), не связан вполне генетически, не лишен излишних подробностей (напр. стр. 38—40, 56—61, 65—69 и др.), но в общем представляет несомненный интерес — как по содержанию, так и по выставляемой автором точке зрения. Вторая большая часть тома (стр. 127—388) дает историю Украины, начиная с археологической

доистории и кончая XIV—XV вв. Автор тут располагает большим научным материалом, но, в значительной степени завися от своей старой »Русской Истории« (Москва, 1914 г.), он не всегда успешно примиряет свои старые позиции с новыми. При этом заслуживает упоминания тот факт, что автор по существу не использовал для своих целей историка известных критических работ по летописи акад. А. А. Шахматова. Поэтому отвергая летописное известие о призвании Варягов, далее затем, начиная с Олега (стр. 301 и след.), идет вполне, без колебаний, за летописным текстом.

Основной вопрос экономики Киевской Руси — о роли торговли и землевладения — автор решает скорее, вслед за Юшковым, в пользу землевладения и начало феодализма ищет тут с X в. (стр. 316 и след.). Это помешало автору установить основной стержень социальной и политической жизни Киевской державы и отсюда его колебания.

Особый интерес представляет глава пятая, посвященная верованиям и написанная по поручению автора научным работником специалистом А. Ковалевским. В языческом культе древней Руси он видит две части: годичный цикл любви и цикл сельско-хозяйственный-земледельческий. Останавливаясь на киевском »олимпе« эпохи Владимира Святого — 80 г. X в., автор в боге Хорсе видит влияние Хазарии и степи и вообще в религиозной предхристианской реформе Владимира усматривает объединение культов разных народов и земель, связанных с новоустроенною Киевской державой (стр. 238, 241 и друг.). К этому следует, казалось бы, сделать такой корректив: тут скорее сказалось не объединение земель, какое весьма сомнительно, а влияние различных торговцев, игравших семоидную роль в Киеве — не только теперь, но и после официального принятия христианства, что сказалось в религиозных колебаниях и осложнениях и в титуле »когана«, каковой имел не только Владимир, но и Ярослав. И потом, конечно, победа Владимира над роднею вовсе не разрешила проблемы борьбы леса со степью (стр. 241), — это был лишь один из начальных моментов ее, но этой борьбы вовсе нельзя отожествлять с борьбой Руси со степью, в которую верит автор книги (стр. 201, 317 и др.).

Вообще книга акад. Д. И. Багалея представляет собою целый вклад в скудную еще литературу по истории Украины, значение которого обусловливается громадной научной эрудицией автора.

Владимир Пархоменко.

Академик Алексей Иванович Соболевский.

(род. 8 янв. 1857 г., ум. 25 мая 1929 г.)

В начале 1882 года в стенах Московского Университета происходил диспут. Молодой человек, почти студент, защищал диссертацию на степень магистра. После возражений официальных оппонентов с возражениями выступил маленький гимназист, обнаруживший, к удивлению всех присутствовавших, солидную научную эрудицию и умение владеть научным методом. Молодой человек, защищавший диссертацию, был 25-летний магистрант, впоследствии профессор и академик Алексей Иванович Соболевский, а гимназист — ученик 6-го класса Московской 2-й гимназии Шахматов Алексей, впоследствии академик Алексей Александрович Шахматов. Так произошла первая встреча двух учёных, занявших с этого дня первое место среди исследователей русского языка и удержавших его до самой своей смерти. Почти всё, что после этого диспута в течение следующих 40 лет выходило в России в области изучения русского языка, было связано с каким-нибудь из этих двух имён: это были по большей части их собственные труды и лишь изредка — работы их учеников или последователей, исходивших из положений, выработанных ими, и применявших их методы.

Соболевский и Шахматов работали оба преимущественно в одной области — изучения истории русского языка и старинной славянорусской письменности, но их интересы в данной области, их научное направление и характер работы были резко различны. Соболевский был в большей степени филолог и в меньшей степени лингвист, чем Шахматов, и с этим связаны его интересы к палеографии, бытовой археологии, истории искусства — отраслям, к которым Шахматов не питал никакого интереса; зато Соболевского мало интересовал вопрос о происхождении и эволюции явлений языка, не засвидетельствованных письменными памятниками. Почти все лингвистические работы Шахматова, кроме его университетских курсов по истории склонения, по синтаксису и по современному литературному языку, посвящены истории звуков русских языков и русской исторической диалектологии, понимавшейся Шахматовым, как учение о взаимоотношении между политической и социальной историей народа с одной стороны и диалектическим дроблением языка с другой. Словарным составом языка он почти не интересовался (некоторые соображения о словарном составе русского литературного языка имеются только в его курсе: »Очерк современного русского литературного языка«), а к этимологическим разысканиям питал определённое нерасположение. Из работ Соболевского

только небольшая, хотя и существенная часть посвящена истории звуков: сюда относится его докторская диссертация и ряд мелких заметок, частью перепечатанных в серии его статей »Лингвистическія и археологическія наблюденія и замѣтки«; не меньшее внимание он уделял и вопросам исторической морфологии, которым посвящена его магистерская диссертация »Изслѣдованія въ области русской грамматики«, 1881 г. и ряд мелких заметок, частью перепечатанных в той же серии; главное-же место в его работах с 90-ых годов XIX в. занимает изучение словарного состава древних русских и церковнославянских памятников. Видное место среди его работ во вторую половину его деятельности занимают и этимологические разыскания, в особенности, связанные с толкованием топографических названий. В работах по исторической фонетике Шахматов обращал большое внимание на физиологическое определение звуков, предполагавшихся им для тех или других исторических и доисторических эпох; Соболевский воздерживался от физиологических определений даже тогда, когда приходилось говорить о звуках нынешнего языка, Шахматов, будучи прекрасно знаком со старинными памятниками языка, в основу своих исторических построений клал главным образом живые говоры, учитывая, конечно, и показания памятников; Соболевский оставался на почве данных, представляемых памятниками, и диалектологические данные привлекал лишь постольку, поскольку представляемые ими особенности отчотливо обнаружились уже в памятниках. Выдвигая изучение живых говоров на первое место при построении истории языка, Шахматов сам неоднократно предпринимал диалектологические поездки и был прекрасно знаком с русской диалектологией в значительной степени по личным наблюдениям. Соболевский никогда не предпринимал диалектологических поездок; зато он лично изучил бо́льшую часть крупных собраний славянских рукописей и в России и за границей. И Шахматов и Соболевский работали не только в области изучения языка, но и в области изучения памятников старой славянорусской письменности со стороны историко-литературной и библиографической. И здесь их интересы и задачи были различны. Шахматов интересовался главным образом взаимоотношением текстов и редакций изучаемых им памятников, стараясь реконструировать первоначальный текст и состав памятника путём сравнения текстов. Соболевский совершенно не интересовался вопросами о редакциях и взаимоотношении текстов и не прибегал к их сравнению для реконструкции первоначального вида памятника. Его интересы были направлены к выяснению объёма, состава и источников церковнославянской и русской переводной и оригинальной письменности того или другого периода, места и времени появления известных памятников на славянской и русской почве и национальности или личности авторов и переводчиков.

В своих научных работах Соболевский и Шахматов были представителями двух противоположных научных направлений. Научное направление Шахматова можно определять как конструктивизм. Путём сравнения живых современных говоров между собою и с данными старинных памятников Шахматов стремился воссоздать факты прошлого, не засвидетельствованные памятниками или засвидетельствованные в такой форме, которая не позволяет их вскрыть путём простого статистического

подсчота написаний, имеющихся в памятниках, и объединял воссоздаваемые им факты в стройную систему. Соболевский был решительным противником таких построений. В предисловии к 3-му изданию своих »Лекций по истории русского языка« 1904 г., повторённом и в 4-м издании 1907 года, он определяет характер своих работ такими словами. »Мы не предлагаем ни на чем не основанных гипотез и не предаёмся лингвистическим мечтаниям (вошедшим, увы, в моду в молодую науку о русском языке)«, называя »лингвистическими мечтаниями« сложные построения, характерные для работ Шахматова и его учеников. В своих личных работах по истории языка Соболевский стремится не идти далее тех фактов, которые можно извлечь из непосредственного изучения памятников. Поэтому, его научное направление определяется как реализм.

Все работы Шахматова отличаются обстоятельностью Целые исследования Шахматов посвящал выяснению судьбы отдельных фонетических явлений. Мелких статей, размером меньше печатного листа, у Шахматова почти нет. У Соболевского почти все работы очень невелики по размерам, преобладают мелкие статьи, размером меньше полулиста; сами большие работы состоят обыкновенно из ряда несвязанных между собою небольших статей. Так, небольшая и в целом магистерская диссертация состоит из 9 совершенно независимых очерков, из которых только один занимает 39 страниц. Более обширная докторская диссертация тоже распадается на два небольших независимых очерка. В книге »Матеріалы и изслѣдованія въ области славянской филологіи и археологіи« 1910 года на 274 страницах собрано более 30 мелких статей, совершенно несвязанных между собою. Невелики и университетские курсы Соболевского Он любил писать сжато, избегая деталей и сложных приёмов доказательств.

Шахматов редко выступал с рецензиями, и такие рецензии у него разрастались в целые исследования. При этом в своих рецензиях Шахматов был чрезвычайно деликатен, старался прежде всего отметить положительные стороны разбираемой работы, а ошибки указывал очень мягко, избегая обвинения автора в невежестве или неумении владеть научным методом. Соболевский охотно писал рецензии. Общее число написанных им рецензий уже в 1914 году достигало цыфры 166, и 14 рецензий было им помещено в Известиях и РФВ за время с 1914 до 1929 г. Все они очень невелики по объёму и, по бóльшей части, отличаются резкостью, причём нередко, давая отзыв о книгах, обладающих большими достоинствами, Соболевский отмечает в них только недостатки.

Шахматов часто менял свои мнения по вопросам, над разрешением которых работал; каждое высказанное им однажды мнение было для него лишь этапом в ходе его умственной работы над тем или другим вопросом. Соболевский, раз высказав какое-нибудь мнение, уже никогда его не менял, разве только допускал небольшие изменения в деталях: так, в 1900 году он причислял славянский перевод Бесед папы Григория и католического миссала, сохранённого Киевскими листками, к текстам моравского происхождения, в 1910 году относил их к переводам, сделанным не в Моравии, а в Чехии в X—XI веках.

А. И. Соболевский родился 8 января 1857 г. в Москве. Кончил Московский Университет в 1878 г. В начале 1882 года защитил в Москве

магистерскую диссертацию. В 1883 г. назначен доцентом Киевского Университета и в том же году приступил к печатанью докторской диссертации. По выходе её в 1884 году он защитил её в Харькове в апреле 1884 г. В том же году он был утверждён ординарным профессором Киевского Университета. В 1888 г. переведён на ту же кафедру в Петербургский Университет, где и пробыл до 1908 года. В 1908 году вышел в отставку и скоро после этого переехал в Москву. Кроме Университета читал лекции по палеографии в Петербургском, а позднее — в Московском Археологическом Институтах. Во время войны и первые годы революции читал для желающих курсы в Московском Университете. В Академию был выбран в 1900 году; записка об его учёных трудах была составлена Шахматовым, за год перед тем, в 1899 году, получившим звание ординарного академика. Был членом-корреспондентом Белградской и Софийской Академий Наук и членом многих столичных и провинциальных археологических, исторических, и филологических обществ и комиссий и принимал деятельное участие во всех археологических съездах до 1914 года.

Количество печатных работ Соболевского в 1913 г., как видно из списка, напечатанного в Материалах для биографического словаря действит. членов Академии Наук, вышедших в 1917 году, достигало цыфры 362, преимущественно мелких статей, из них 166 рецензий и несколько некрологов. После 1914 г., благодаря затруднениям, связанным с войной, а также некоторым домашним и семейным осложнениям, научная продуктивность Соболевского сильно сократилась; всёже и за это время им напечатан ряд ценных научных работ, в том числе большие работы »Русско-скифские этюды« и »Славяно-скифские этюды«, ценные привлечением обильного топографического материала, и ряд мелких статей, из которых две появились уже после его смерти в I-ой книжке 2-го тома Известий по русскому языку и словесности.

С. начал свою научную деятельность с работ по истории русского языка. Первой сравнительно крупной его работой была магистерская диссертация »Изслѣдованія въ области русской грамматики«, Варшава 1881 г. (из РФВ), посвящённая рассмотрению некоторых морфологических особенностей русского языка, засвидетельствованных древнейшими письменными памятниками. По словам Шахматова,[1]) им в этой работе »весьма удачно разрѣшено нѣсколько вопросов необыкновенной важности для исторіи русскаго языка«; главным из них является вопрос об окончании род. ед. и им. вин. мн. имён и местоимений женск. рода и вин. мн. имён и местоимений мужеск. рода с основами на мягкие согласные и *j*; С-му первому удалось неопровержимо доказать, что в русском языке так же, как и в западнославянских, в этом окончании с самого начала являлось *ѣ*, а не те гласные, какие получались из о.-сл. *ę*.

»Изслѣдованія« С-го были построены на изучении памятников исключительно по печатным изданиям. Сознавая их недостаточность и неточность, С. еще до своего магистерского диспута, на котором на этот

[1]) Записка об учёных трудах профессора А. И. Соболевского, в приложении к протоколам 2-го Отделения Академии Наук. Сборник, т. 70, 1902.

недостаток было указано Шахматовым, приступил к непосредственному изучению старинных рукописей и продолжал эту работу в течение многих лет, лично пересмотрев и изучив огромное количество старинных русских и южнославянских рукописей почти всех более или менее крупных русских и заграничных собраний. Первым плодом этой работы уже в 1884 г. явилась его докторская диссертация: »Очерки изъ исторіи русскаго языка«, Киев (из »Университетских Известий« 1883 и 1884 г.), где на основании изучения группы рукописей XII—XIV в. в., названных им »галицко-волынскими«, и группы псковских рукописей XIII—XV в. в. он устанавливает характерные особенности отражаемых в них говоров, »галицко-волынского« и псковского, причём особенности первого из них чрезвычайно убедительно ставит в генетическую связь с характерными особенностями нынешнего малорусского языка и мастерским анализом правописания доказывает, что уже в XII в. в этом говоре старое е совпало со старым ѣ при тех же условиях, что и в нынешних украинских говорах. Эта работа С-го открыла собою новую эпоху в истории науки о русском языке и была первым трудом по исторической диалектологии русского языка.[1]) Те диалектические особенности, которые зафиксированы правописанием »галицко-волынских« рукописей, характеризуют говор, обладавший этими особенностями, как южнорусский вообще, не давая прямых указаний на диалектические особенности галицко-волынского говора, отличавшие его от остальных южнорусских. Поэтому Шахматов, высоко ценя открытие С., считал »ошибочным и несколько поспешным« признание данной группы рукописей за галицко-волынские. Но, кажется, С. имел на это известное право. Отмеченные им особенности правописания свидетельствуют не только об особенностях отражаемого ими говора, но и о создании новой орфографической системы. Последняя не могла возникнуть в Киеве, если даже говор местного населения отличался теми же диалектическими особенностями, потому что там были сильны старые орфографические традиции и влияние южнославянского письма. В Галиче, с его тенденцией к автономии и меньшей зависимости от традиций и славянского юга, новая орфография могла установиться скорее. И С. был прав, указывая, что в рукописях несомненно киевских орфография, признаваемая им галицко-волынской, не проводится, но, конечно, его заключение, что отсутствие той же орфографии в остальных южнорусских памятниках свидетельствует об отсутствии передаваемых ею диалектических особенностей в остальных южнорусских говорах, должно быть признано несколько поспешным.

Продолжением »Очерков« являются статьи С-го, дополняющие приведённые им в »Очерках« сведения о галицко-волынском и псковском говорах, и статья »Смоленско-Полоцкий говоръ«, Варш. 1886 (из РФВ); дающая характеристику этого говора на основании смоленских, полоцких и витебских грамот XIII и XIV вв.

В 1888 г. С. издал »Лекціи по исторіи русскаго языка«, первый опыт систематического изложения истории звуков и форм русского языка, который в течение, по крайней мере, 20 лет, до появления литографи-

[1]) Ср. Slavia III. 4, стр. 757—758.

рованных курсов Шахматова оставался единственным руководством в этой области и не утратил своего значения и позднее. »Лекции« переиздавались С-им 3 раза — в 1891, 1903 и 1907 г. г., причём во второе и, в особенности, третье издание было внесено много дополнений и исправлений. По словам Шахматова, »выход Лекций является едва ли не самым видным моментом в истории нашей науки после появления Исторической Грамматики Буслаева«. Они »получили значение последнего слова исторической науки о русском языке, . . . упрочили за С-им славу лучшего знатока этого предмета и выдвинули его на первое место среди прочих исследователей«. Несмотря на сравнительно небольшой объём, Лекции содержат много матерьяла, извлечённого С-им из русских памятников XI—XVII в. В отличие от позднейших курсов, Шахматовского и моего, в основу своего курса С. кладёт исключительно данные этих памятников, не считая возможным делать заключения о прошлом на основании современных живых говоров.

Хотя С. и не занимался непосредственно изучением живых говоров, но интерес к диалектологии не был ему чужд, и уже в первые годы своего преподавания в Петербургском университете он читал студентам специальный курс по русской диалектологии. В 1891 году он напечатал в журнале »Живая Старина« небольшой »Очеркъ русской діалектологіи«, представлявший сжатую сводку имевшихся к тому времени в печати данных по говорам всех трёх русских языков. Для этой сводки им были использованы многочисленные источники, вплоть до провинциальных газет. Часть »Очерка«, посвящённая великорусским и белорусским говорам, была переиздана с дополнениями в 1897 г. под названием »Опытъ русской діалектологіи«. До выхода »Очерка« подобной сводки в русской научной литературе не было.

От работ по исторической диалектологии и истории звуков и форм русского языка С. перешол к работам по изучению состава древнерусской и старославянской переводной, а отчасти и оригинальной письменности. Основываясь на анализе словарного состава памятников, он признал возможным отнести к числу русских переводов домонгольского периода ряд таких переводных произведений, »южнославянское происхождение которых до него но возбуждало никаких подозрений« (Шахматов). В статье »Особенности русскихъ переводовъ домонгольскаго періода«[1]) он называет более 30 памятников, переведённых, по его мнению, русскими; до него только четыре из них признавались русскими переводами. В настоящее время русское домонгольское происхождение большей части переводов, признанных такими С-м, неоспоримо, и только относительно некоторых является сомнение в правильности определения С-го.

От переводной письменности домонгольского периода С. перешол к изучению русской, преимущественно московской письменности XIV—XVII в. Большая часть относящихся сюда статей и исследований, печатавшихся в разное время, собрана в его книге »Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв.«, Спб. 1903; одна статья: »Старшіе переводы рус-

---

[1]) Перепечатана в книге „Матеріалы и изслѣдованія въ области славянской филологіи и археологіи“ 1910.

скихъ католиковъ« перепечатана в »Материалах и Исследованиях«. Еще до С-го в науке было отмечено с одной стороны сильное южнославянское влияние на русскую письменность XIV и XV вв., выразившееся в появлении новой графики, орфографии и стиля и в проникновении на Русь ряда южнославянских переводных и оригинальных памятников, с другой — западное влияние на русскую письменность, начиная с XV в., вызвавшее появление ряда переводов с западнославянских и западноевропейских языков. Заслуга С-го в том, что он дал обширные списки южнославянских памятников проникших на Русь в XIV и XV вв., и переводов с оригиналов западного происхождения, появившихся на Руси с XV в. до начала XVIII, чтó можно было сделать только при том отличном знакомстве с русской рукописной литературой, каким обладал С. Анализ языка, главным образом словарного состава русских переводов XV—XVII вв. с западных оригиналов, подкрепляемый историческими соображениями, позволил С-му установить, с одной стороны, национальность русских переводчиков — великорусов, белорусов или малорусов, с другой — язык тех оригиналов, с которых делались переводы. Между прочим, ему удалось доказать, что некоторые переводы, считавшиеся ранее переводами с польского или латинского языка, на самом деле сделаны с чешского.[1] Несмотря на встречающиеся у С-го иногда ошибки в определении национальности переводчиков и языка оригиналов и недостаточную полноту доводов, в общем работы С-го по изучению древнерусской переводной литературы имеют огромное значение как для истории русских литературных языков, так и для истории древнерусской литературы.

К той же области относится и книга С-го: »Изъ переводной литературы Петровскаго времени«, Спб. 1908.

Меньше сделано С-им в области изучения древнерусской оригинальной письменности, но и здесь хорошее знакомство со старинной рукописной литературой и мастерской анализ языка изучаемых памятников позволили ему открыть и издать несколько оригинальных, по его мнению, произведений древнерусской письменности, установить имена некоторых неизвестных ранее древнерусских писателей и приписать с большей или меньшей вероятностью некоторые анонимные произведения определённым авторам.

Много сделал С. и для изучения старославянского языка и древнейшей старославянской и церковнославянской письменности вообще. Еще в 1891 г. он выпустил небольшой (153 стр.) курс фонетики древнего церковнославянского языка. Позднее он перешол к более детальному изучению старославянских и церковнославянских памятников, главным образом, со стороны словаря. Это позволило ему выделить среди церковнославянских текстов большую группу текстов моравского и чешского происхождения как переводных, так и оригинальных. Одни из них, по его мнению, переведены или составлены в Моравии учениками Мефодия, другие явились позднее, в Чехии в X—XI в.; последние он связывает с деятельностью св. Прокопия Сазавского. Значительная часть пере-

[1]) Старшіе переводы русскихъ католиковъ и др.

водных памятников чешского происхождения сделана, как доказывает С., с латинского; сюда С. относит такие памятники, как Беседы папы Григория, католический миссал, сохранённый Киевскими листками, Никодимово евангелие, житиё Бенедикта Нурсийскаго, житиё Вита и другие переводные произведения, и такие оригинальные славянские, как житиё Мефодия, легенда о св. Вячеславе Чешском и др.[1])

Не прошли мимо внимания С-го и церковнославянские тексты южнославянского происхождения. Он открыл и издал несколько небольших церковнославянских статей, частью переводных, частью оригинальных, относимых им к начальному периоду славянской письменности, т. е. к IX—X вв. Некоторые из этих статей он находит возможным приписывать определённым писателям этого времени.

С. рано приступил к изучению топографических названий в пределах русской равнины, находя, что это изучение способно пролить свет на вопросы о первоначальном населении русской равнины и о языковых явлениях праславянской эпохи. Ряд ранних статей и заметок, посвящённых анализу топографических названий, перепечатан им в »Материалах и Исследованиях«, и в »Лингвистических и археологических наблюдениях и заметках«.[2]) Позднее разыскания С-го в этой области вылились в сравнительно большие работы: »Русско-скифские этюды«, 1922, 125 стр. »Новые русско-скифские этюды«, 1926, 20 стр. и »Славяно-скифские этюды«, 1928—1929, 30 стр.; все три серии печатались в Известиях. Многие соображения, высказываемые С-им в этих работах, вряд ли могут быть приняты, но это не лишает их большой ценности. благодаря привлечённому в них обильному материалу.

Чрезвычайно ценной является статья С-го »Древнія болгарскія стихотворенія IX—X в.«, перепечатанная в »Материалах и Исследованиях« 1910 г. и касающаяся древнеболгарского стихосложения. До С-го никому не приходило в голову, что первые славянские писатели и переводчики IX—X в. были знакомы со стихосложением и писали стихи по правилам греческой версификации. С. первый обратил внимание на старославянские стихотворения IX—X. и определил их стихотворный размер. Как языковед и палеограф, он указал на значение этих стихотворений для истории славянского ударения, а тех из них, которые сопровождаются акростихом, для суждения о первоначальном составе славянской азбуки. К сожалению, уверенность, что акростихи старших церковнославянских стихотворений соответствуют кирилловскому алфавиту, помешала ему сделать правильные выводы из их анализа.

С. был одним из лучших знатоков славянской кирилловской палеографии во всём её объёме и часто читал курсы по палеографии в университете и в археологических институтах. Курс С. по палеографии был издан два раза, в первый раз в двух выпусках в 1901 и 1902 г. и второй раз в 1906 г.

Как палеограф, С. не мог обойти молчанием вопрос о взаимоотно-

[1]) См. »Церковнославянскіе тексты Моравскаго происхожденія« в РФВ. 1899 г., ряд статей в »Матеріалах и Изслѣдованіях« и др.
[2]) РФВ. 1910, 1912 и 1914 г.

шении глаголицы и кириллицы и высказывался по этому вопросу несколько раз. Он принадлежал к числу немногих упорных сторонников первенства кириллицы перед глаголицей и предполагал, что глаголица изобретена учениками Мефодия в Моравии. Такой взгляд на кириллицу и глаголицу помешал ему правильно оценить свидетельство Храбра и показания акростихов старших церковнославянских стихотворений, на которые он первый обратил внимание.

Кроме курсов, исследований и статей, С-му принадлежит ряд изданий старославянских и древнерусских письменных памятников небольшого размера, несколько палеографических изданий снимков с памятников кирилловского письма и большое семитомное издание великорусских народных песен, куда вошли все или почти все песни, напечатанные раньше в разных изданиях, кроме былин, исторических песен, духовных стихов и обрядовых песен (1895—1902).

Автобиографические сведения и список печатных работ С-го, кончая 1913 годом, напечатаны во 2-м томе Материалов для биографического словаря действительных членов И. Академии Наук, Пгр. 1917. Позднейшие работы печатались главным образом в Известиях и в РФВ.

Москва. 21. IX. 1929.

Николай Дурново.

Zprávy.

Řeč při zahájení I. sjezdu slovanských filologů 6. X. 1929 v Praze

(Smetanova síň Obecního domu).

Věda a poesie nesnášejí se vždy nejlépe, ale slovanským filologům formuloval program nadšený pěvec »Slávy dcery« Jan Kollár, přihlížeje k činnosti tehdejších slavistů. Ve svém znamenitém spisu »O literarnéj vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými« zabývá se také prostředky pro dosažení této vzájemnosti a navrhuje v slovenském časopise »Hronka« už r. 1836 »i učené a vzájemné schůzky slavistov ze všech nářečí, každoročně v městě jiného kmene, na způsob schůzek německých zpytatelov přírody.«[1]) Skoro sto let minulo, než se i tato slova Kollárova splnila dnešním zahájením I. Sjezdu slov. filologů. Dlouho nebylo dosti opravdových slavistů a ani poměry nedovolovaly, aby se scházeli. K slovanským sjezdům nejvíce povolaní učenci zdáli se nebezpečnými, slavisté se pokládali hned za panslavisty; v archivu vídeňského ministerstva vnitra viděl jsem dokonce fascikle s nadpisem »Slavistenprocess« a k svému úžasu spatřil, že byli těmito slavisty polští revolucionáři třicátých let minulého století. Nebudeme se proto diviti, že rakouská vláda nedovolila Sjezd slovanských filologů na r. 1901 v Praze, který navrhli čeští učenci na Archaeologickém sjezdu v Kijevě

[1]) Jan Kollár, Rozprávy o slovanské vzájemnosti, vyd. Miloš Weingart, v Praze 1929, str. 154. — Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte konala se po prvé r. 1822 v Lipsku, kde byly přijaty i stanovy, a dále ročně v Halle, Würzburgu, Frankfurtu n. M., Drážďanech, Mnichově, Berlíně, Heidelbergu, Hamburku, ve Vídni (r. 1832, roku před tím se sjezd pro choleru nekonal), ve Vratislavi, Stuttgartu, Bonnu, Jeně (r. 1836), a roku 1837 v Praze, kde byli »Geschäftführer« hrabě K. Sternberg a prof. V. Krombholz; sjezdu se zúčastnilo 392 členů. Hrabě Sternberg měl vůbec vynikající úlohu na sjezdech, čehož bylo vzpomenuto při zahajující schůzi v Berlíně r. 1828 slovy: »der seit mehreren Jahren dieser Gesellschaft eine so auszeichnende Theilnahme zugewendet, und dessen Gegenwart für die diesjährige Versammlung so allgemein ersehnt worden, der aber plötzlich von einer bedenklichen Krankheit ergriffen den Entschluß zu erscheinen, jetzt gänzlich habe aufgeben müssen.« Amtlicher Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin im September 1828 von A. v. Humboldt und H. Lichtenstein. Berlin 1829. Str. 17.

r. 1899. Nato svolala Ruská akademie věd roku 1903 do Petrohradu »Predvariteľnyj (předběžný) sjezd russkich filologov«, kterého se zúčastnili také jiní slovanští a cizí učenci, především tenkráte ve Vídni působící Vatroslav Jagić.[1] Hlavně pod jeho vedením byly toho a následujícího roku konány přípravy pro I. Sjezd slovanských filologů na podzim r. 1904 v Petrohradě, ale rusko-japonská válka zmařila všechny dobře promyšlené plány. Skutkem se stal jen jeden: r. 1908 začala v Ruské akademii vycházeti velká »Enciklopedija slavjanskoj filologii«, ale i tato byla ruskou revolucí až podnes přerušena. Nicméně musíme vděčně vzpomínati svých ruských předchůdců, zvláště proto, že po velkých bojích oddělili slovanskou filologii od historie slovanských národů, pro které měly ruské university po jedné stolici, což nebylo štěstím pro obě tyto vědy. Zato byly tehdy ruskému ministerstvu národní osvěty předloženy tyto žádosti: za prvé, aby každá universita měla jednu řádnou stolici historie a starožitností slovanských, dvě stolice slovanské filologie, jednu pro jazyk, druhou pro literaturu, dále, aby byly na právnických fakultách obnoveny stolice slovanských práv, konečně, aby každá historicko-filologická fakulta měla dva až čtyři lektory živých slovanských jazyků (nářečí!). Tyto podněty zůstanou aktuální pro všechny slovanské země a také náš sjezd se bude zabývati návrhy, aby byly na každé universitě dvě stolice všeobecné slovanské filologie, linguistická a literárně-historická.

Pokračujíce v duchu předběžného petrohradského sjezdu zachovali jsme také krátké, ale proto ne bezvadné jméno Sjezd slovanských filologů. V smyslu řecké alexandrijské školy jsme milovníci slova (*φιλεῖν, λόγος*) a zkoumáme, jak se projevuje v jazycích, lidových podáních a umělých literaturách slovanských národů. Na této jednotě však trváme. Filologie není pro nás jen vykládáním starých textů, nýbrž živé řeči a všech slovesných výtvorů slovanských národů do nejnovější doby. Rozumí se, že tato slovanská filologie musí zůstávati v nejužších stycích se všemi jinými vědami o slovanském světě, se slavistikou v širším slova smyslu, rovněž i s jinými filologiemi, hlavně s klasickou, z které vyšla, a se svými sestrami germánskou a románskou.

Po velkých světových událostech, které přinesly slovanským národům samostatnost a sjednocení, konaly se už různé slovanské

[1]) Viz Предварительный съѣздъ русскихъ филологовъ [10.—15. апрѣля 1903 года]. Бюллетени. С. Петербургъ. Типографія Императорской академіи наукъ. 1903. Lex. 143 str.

sjezdy, také vědecké. Bylo přirozeno, že se v zemi, kde byla na konci 18. století založena slovanská filologie, t. j. v Čechách, pomýšlelo také na Sjezd slovanských filologů, ale pražská slavistika, které se po převratu dostalo nových stolic a prostředků, musela i vnitřně zesíliti a čekala vhodného velkého okamžiku, který by mohl spojiti slovanské filology celého světa.

Století smrti Josefa Dobrovského je opravdu důležitým podnětem pro Prvý sjezd slov. filologů a nejlepší zárukou pro jeho zdar. V největším učenci, kterého dala doba osvícenství slovanskému světu, ctíme patriarchu slavistiky, geniálního a všestranného zakladatele naší vědy. Nebudeme dnes v Praze mluviti o jeho ohromných a ještě nedoceněných zásluhách pro vývoj českého jazyka, písemnictví, národního a slovanského smýšlení, ale chceme zdůrazniti, že měl podobný velký a blahodárný vliv na všechny slovanské národy. Docela přirozeně. Ve svých jazykozpytných rozpravách, n. př. o tvoření slov nebo o slovese, vycházel od stavu všeslovanského k českému, zajímal se o každou literární památku slovanskou a věnoval pozornost slovanským starožitnostem a národopisu. Každé dílo Dobrovského působilo daleko po slovanském a vědeckém světě. Jeho »Slavín« byl opravdu »radostným poselstvím z Čech« do všech slovanských zemí, podle jeho »Lehrgebäude der böhmischen Sprache« a »Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur« psaly se gramatiky a historie písemnictví u jiných slovanských národů. Jeho monumentální »Institutiones linguae slaviae dialecti veteris« položily vůbec základy k vědeckému studiu staroslověnštiny a srovnávacího jazykozpytu slovanského. O všech těchto zásluhách vykládá mnoho sborník »Josef Dobrovský«, který zůstane trvalou památkou našeho sjezdu.[1])

Tak jsme se ve jménu Dobrovského sešli po prvé slovanští filologové z celého světa, ze zemí slovanských i neslovanských, ve větším počtu nežli výbor očekával.

Mesdames, Messieurs!

L'étude des langues et littératures slaves ainsi que les disciplines connexes, science de la nationalité, comme l'ont définie et les romantiques et notre Šafařík, est la science nationale par excellence, mais elle est aussi, comme toute science, internationale. Aussi tenons-nous, avant toute chose, à souhaiter la bienvenue la

---

[1]) Josef Dobrovský. 1753—1829. Sborník statí. Uspořádali Jiří Horák, Matyáš Murko a Miloš Weingart. V Praze 1929. Vel. 8°. IV + 332 str.

plus sincère aux membres de notre Congrès venus de pays non slaves. Nos participants venus de l'Europe occidentale et septentrionale ainsi que l'Amérique sont à nos yeux des collaborateurs particulièrement bienvenus: ils nous apportent les résultats les plus récents de la recherche philologique dans les pays de l'Europe occidentale et abattent la muraille qui a si longtemps séparé les Slaves des pays occidentaux, ignorants de leurs langues et de leurs civilisations. Mieux que les Slaves eux-mêmes, ils ont devant eux l'ensemble du monde slave, ils voient mieux les sommets de la civilisation slave, ils peuvent plus facilement faire la synthèse parce qu'ils n'ont point à s'embarrasser des details; aussi, observateurs placés plus à l'écart des controverses mesquines qui s'élèvent souvent entre les différents peuples slaves, peuvent-ils porter un jugement d'une valeur toute particulière s'ils demeurent sur les hauteurs de l'impartialité. Les Slaves ont reçu de leurs voisins de l'Occident et de l'Orient des valeurs spirituelles, et ils leur en ont fourni. C'est pourquoi tout particulièrement bienvenue est pour nous la présence des Roumains, qui ont employé pendant des siècles le vieux-slave à titre de langue officielle et littéraire et à qui nous devons la sauvegarde de tant de monuments slaves. Les Slaves du Sud et de l'Est ont avec la Grèce les fonds communs de la civilisation byzantine. Avec les congressistes venus de Latvie et de Lithuanie s'affirme la grande parenté des langues slaves avec les langues des pays baltiques.

Nous avons donc beaucoup de liens et d'intérêts scientifiques communs et c'est surtout dans notre domaine que le développement de la collaboration des pays slaves et non slaves peut de la façon la plus heureuse promouvoir la science internationale de la culture humaine et au rapprochement des nations. Qu'ils soient donc les bienvenus nos confrères des pays non slaves, chez nous, dans la patrie de Josef Dobrovský et des études scientifiques slaves!

Jakými slovy mám pozdraviti Vás, kteří přicházíte ze všech zemí, kde zaznívá slovanská řeč, kde vznikla bohatá a krásná lidová píseň lyrická a epická s jinými projevy národního ducha, kde se tvořily slovanské literatury od 9. století a dosáhly světových výšin, jako polská a ruská? Na to nechť odpoví mluva našich srdcí! My všichni cítíme velkost okamžiku, v němž po tolika desítiletích bylo nám dopřáno, abychom se po prvé sešli, navzájem poučili, poradili a navázali osobní styky, což má usnadniti a povznésti naši společnou práci v duchu našich velkých předků. S uspokojením

můžeme říci, že na mohutné stavbě slovanské filologie pracovali dosud s velkým zdarem všichni slovanští národové až do nejmenšího lužickosrbského. Není pochybnosti, že soustředěná, na několik vytčených cílů namířená spolupráce může přinésti ještě větší úspěchy.

Bylo by vděčným, ale velmi těžkým úkolem vylíčiti, jak se vyvíjela slovanská filologie od smrti Dobrovského, ale na to zde není ani místa ani času. Upozorniti chci jen na některé zevnější události, srozumitelné i širším kruhům. Roku 1829 nebylo žádné slovanské akademie kromě ruské, Česká učená společnost ztratila v Dobrovském hlavní sloup a nevydávala ještě dlouho českých spisů, varšavské Towarzystwo przyjaciół nauk zaniklo následujícího roku 1830, v r. 1825 založená Matica srbská měla málo významu pro slovanskou vědu. O rodné řeči se na žádné universitě řádně nepřednášelo; tak zvané stolice češtiny v Praze a zvláště ve Vídni, dále slovinštiny v Štyrském Hradci byly fakticky jen lektoráty. Na právnické akademii v Záhřebě začal teprve r. 1832 student Matija Smodek vyučovati chrvatštině. O nějakém jiném slovanském jazyku není na vysokých školách nikde ani sluchu, ačkoliv žádal Kopitar už v letech 1810 a 1813 stolici »linguae slavicae antiquissimae« pro Vídeň. Dobrovského »Slavín« a »Slovanka« byly ojedinělými zjevy a zakladatelé naší vědy museli si psáti dlouhé dopisy, v kterých nacházíme celé rozpravy, kritiky, referáty a zprávy, čehož nejlepším dokladem je ohromná korespondence Dobrovského i jiných. A když vyšla nějaká kniha, těžce se dostala do jiných zemí. První slavisté psali si celé katalogy slovanských knih a sám Šafařík posílal jich do Ruska na centy.

Jaká změna za sto let! Pro povznesení slavistických studií získaly si zásluhy různé slovanské Matice, nové učené společnosti a zvláště slovanské akademie.

Ruská akademie dostala r. 1852 zvláštní »Otdělenije russkago jazyka i slovesnosti«, které přirozeně věnovalo mnoho pozornosti také jiným slovanským jazykům a literaturám. V tomto směru působily také nové akademie, jihoslovanská v Záhřebě (1866), polská v Krakově (1871), srbská (1886), česká (1890) i bulharská (1910). Úkoly akademie plnilo důstojně také ukrajinské »Tovarystvo imeni Ševčenki« ve Lvově. Po světové válce byla založena v Kijevě Všeukrajinská Akademie nauk podle vzoru petrohradské s velkými ústavy a v Minsku Institut běloruské kultury. Dokonce i poměrně malý národ slovinský zřídil si v Lublani velmi čilé »Društvo za humanistične vede« a chce je přetvořiti v akademii.

Pro systematické pěstování slavistických studií a pro výchovu učeného dorostu byly stejně důležité slovanské stolice universitní. Prvé profesury byly zřízeny v cizině a pro básníky, v Paříži na Collège de France pro Mickiewicze (1841) a ve Vratislavi pro Fr. L. Čelakovského (1842); v tutéž dobu studovali už u Šafaříka v Praze a připravovali se cestami po slovanských zemích první ruští slavisté Bodjanskij, Preis, Srezněvskij a Grigorovič, kterým se dostalo stolic v Moskvě, Petrohradě, Charkově a Kazani. Za Ruskem nemohlo zůstati Rakousko a zřídilo slavistické stolice v Praze (1848), ve Vídni (1849), Krakově, Lvově, Št. Hradci a Černovcích, při čemž se poměr vyvinul tak, že kromě všeobecných stolic ve Vídni byly v zemích vedle všeobecných stolic i stolice příslušného jazyka i literatury (ve Lvově dokonce pro polštinu a maloruštinu). Podobně se zřizovaly stolice v Chrvatsku, Srbsku, Bulharsku a všeobecné v Německu a jiných zemích.

Velký pokrok učinila slovanská filologie po světové válce založením nových universit v Polsku, Československu a v Jugoslavii. Posílena byla slavistika ve Francii, zvláště ve filologickém směru, v Anglii, poněkud i v Německu, docela nové stolice byly zřízeny v Italii a jedna pro slovanskou historii v Řecku.

Kollár, Pogodin, Šafařík a Srezněvskij dožadovali se už slavistického časopisu, ale teprve Jagićovi se podařilo založiti r. 1876 v Berlíně Archiv für slavische Philologie, psaný většinou Slovany. Dnes máme vedle starých a nových slavistických časopisů v různých slovanských zemích v Praze centrální orgán pro slovanskou filologii »Slavii«, psanou hlavně ve všech slovanských a také světových jazycích. Po světové válce se ukazuje rostoucí zájem o Slovanstvo nejvíce v neslovanských časopisech. Ve Francii byla založena docela filologická Revue des études slaves a o slovanských otázkách poučuje Le monde slave, v Německu ožil opět Archiv für slav. Philologie, na novo vznikly Zeitschrift für slavische Philologie, Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven a Osteuropa, v Anglii věnována slovanským kulturním a jiným záležitostem Slavonic Review, Italie má Rivista di letterature slave a Europa Orientale.

Věru, splnilo se mnoho z toho, co prorokoval Kollár v sonetu (Slávy dcera III, 110): Co z nás Slávů bude o sto roků? — Nezapomínejme však, že je tento potěšitelný stav výsledkem namáhavé práce celého století. Na tomto vzestupu slovanských národů a rozkvětu jejich kultury mají vedle spisovatelů, umělců a jiných učenců velkou účast slovanští filologové, kteří bděli nad nejvyššími a nejdražšími

duchovními statky Slovanstva. Sám národ československý počítá je vděčně mezi své buditele. Uvedu jen jeden příklad na to, co znamenala jejich práce jinde: Kopitar získal si největší zásluhy i tím, že nalezl, vychoval a všemožně podporoval geniálního srbského selského samouka Vuka Karadžića, který dokončil dílo prvých srbských osvoboditelů a připravoval další osvobození a sjednocení Srbů, Chrvatů a Slovinců. Nezapomínejme také, v jak těžkých poměrech, hmotných a duševních, pracovali naši předkové. Ještě v l. 1850 až 1854, kdy byl už na vrcholе své slávy, zvolal bolestně Šafařík v dopisech Pogodinovi: Slovanština v Rakousku — žebrota a žebráctví, slavismus pauperismus, Slovanství — žebranství.[1])

Prvý sjezd slovanských filologů vzpomíná vděčně svých velkých učitelů a těch, kteří budili nadšení pro jejich práci a byli jim při ní nápomocni, klaní se jejich světlé památce a položí dnes v Praze věnce na pomníky Dobrovského, Jungmanna a Palackého a na hroby Jana Kollára, Pavla J. Šafaříka a Jana Gebauera. (Všichni přítomní uctili jejich památku povstáním.)

Svou vděčnost dokážeme také tím, že se budeme říditi podle jejich vzorného příkladu. Přednášky a diskuse našeho sjezdu jsou už v tištěných výtazích důkazem, že jsme si vědomi svých povinností; nejdříve vůči vědě vůbec, jejíž pokroky a nejnovější metody pozorně sledujeme. Rádi přijímáme, co je nové dobré, ale budeme také trvati na tom, co se osvědčilo. Vždy musíme pamatovati, že naše věda dosáhla velkých úspěchů srovnávacím studiem cizích jazyků a literatur a ještě větších bedlivým srovnáváním všeho slovanského. Specialisace je prospěšná a nutná, ale při tom se nesmí ztratiti z očí celek. O tom není pochybnosti, že vědecké studium žádného slovanského jazyka není možné bez poznávání sousedních a všech slovanských jazyků. Také v tom jsme dost jednomyslní, že je potřebno srovnávací studium slovanských starožitností a slovanského národopisu po duchovní i materielní stránce. Velmi rozličná jsou mínění o literární historii. Je pravda, že se v kulturním ohledu Slované nejvíce rozešli, ale také tady mají mnoho společného nebo aspoň styčných bodů. Především je velkým celkem církevněslovanská literatura východních Slovanů a větší části Slovanů jižních. Literární činnost slovinských a chrvatských protestantů 16. století byla určena pro všechny jižní Slovany až do Cařihradu. Víme také a vědecké badání ukáže toho ještě více, jak působily vzájemně na sebe literatura

[1]) Korespondence Pavla Josefa Šafaříka, vydal V. A. Francev, I. str. XXXVIII.

česká a polská v starší a novější době: bez literatury polské není myslitelná literatura běloruská a ukrajinská od 16. do 18. století, která oplodila dále moskevskou, a polská romantická literatura vyvolala zvláštní ukrajinskou školu. O tom se nemusíme šířiti, že je slovanské obrození v 19. století dílem silných vzájemných vlivů. I kdyby toho všeho nebylo, museli by se Slované blíže poznávati. Jejich největším neštěstím bylo, že je rozdělila římská a byzantská kultura, ale tyto rozdíly musí býti překonány: nová doba žádá synthesu západu a východu. Jugoslavie nebo dosavadní království Srbů, Chrvatů a Slovinců, tento pro předválečné Rusy a Poláky nepochopitelný stát,[1]) je nejlepším příkladem, jak je tato synthese naprostou nutností, ale ona bude na prospěch také jiným Slovanům a je v zájmu všeho lidstva. To je vznešený cíl, pro který má pracovati naše věda.

Jak vidíte, slovanská filologie nevzpružila jen v době Dobrovského slovanskou myšlenku, nestala se jen Šafaříkovými Starožitnostmi a Slovanským národopisem mohutnou oporou národního uvědomení, ona zasahuje i dnes silně do života slovanských národů. Vůbec si máme býti vědomi toho, že se nezabýváme nějakými mrtvými jazyky a literaturami, nýbrž duchovním životem národů živých. My musíme bohužel přiznávati, že výsledky naší vědy nepřecházejí do škol a života v žádoucí míře. Slovanským jazykům se vyučuje ve školách jako latině a řečtině, a gramatiky, učebnice a slovníky slovanských jazyků se píší pro Slovany tak jako pro cizince. Proto věnuje náš sjezd velkou pozornost vyučování slovanských jazyků, a jsme šťastni, že se přihlásilo k nám velmi mnoho středoškolských profesorů, kteří budou s námi jednati o těch důležitých otázkách. Zde upozorňuji jen na to, k jakým názorům se dopracovali mnozí slavisté. Všeslovanský jazyk je pro nás v Praze český, v Krakově nebo Varšavě je to polský atd. Nebudeme tvořiti nějaké slovanské esperanto, jak se to od nás často žádá. Máme už 11 spisovných slovanských jazyků a nepřejeme si ještě jeden. Lépe je učiti se jakémukoli živému jazyku slovanskému nežli nějakému umělému. Avšak toto učení se má usnadniti všemi vědeckými a pedagogickými prostředky, abychom dosáhli toho, že by aspoň pro hlavní potřeby Slovan rozuměl Slovanu, když každý mluví svým nebo nějakým více rozšířeným slovanským jazykem. Je potěšitelným a pro jiné slovanské země velmi poučným faktem, že v Československu

[1]) Poněvadž jsme se chtěli na sjezdu vyhnouti všemu, co by mohlo vzbuditi nelibost, nebyla tato kritická poznámka proslovena, ale opakující se projevy neporozumění jihoslovanským poměrům doporučuji její otištění

nežádají jen čeští slavisté, nýbrž také naši kolegové na německé universitě, aby každý češtinář, také německý, prokázal při státní zkoušce nebo doktorátu úplnou znalost jednoho většího slovanského jazyka a jeho literatury (ruštiny, polštiny, srbochrvatštiny). Jedním slovem: více slovanství do vědy, do škol a do života! Slovanství ne blouznivého nebo prázdného, ale reálního a činorodého, avšak pojatého s láskou. Pro nás neexistuje spor, který byl mezi Dobrovským a mladší generací, má-li více vládnouti rozum nebo srdce, pro nás platí: rozum i srdce!

Říká se často, že slovanské myšlence zůstali věrni jen Češi. Je pravda, že v českém národě i v poslední době vznikla taková monumentální díla jako Niederlovy Slovanské Starožitnosti a Máchalovy Slovanské literatury, kterým dodal Fr. Wollman synthetické dílo »Slovesnost Slovanů«. Avšak také u jiných Slovanů oživují staré a probouzejí se nové zájmy pro slovanský svět. Upozorňuji jen na Poláky. Polská linguistika, četně a čestně zastoupena také na našem sjezdu, pěstuje velmi zdárně slovanský jazykozpyt, a časopis Ruch słowiański budí širší zájem pro Slovanstvo.

Naši zahraniční a domácí hosté budou míti příležitost pozorovati, co bylo vykonáno pro slovanskou filologii za deset let v obnoveném československém státu. Vděčně vzpomínáme dnes, že filosofická fakulta Karlovy university hned po převratu přijala návrhy slavistických kolegů na rozmnožení stolic slovanské filologie a úpravu slavistických studií. Ministerstvu školství a národní osvěty děkujeme, že uskutečnilo tyto návrhy, takže máme dnes na Karlově universitě vedle všeobecných stolic pro slovanské jazyky a literatury a vedle potřebných stolic pro jazyk a literaturu československou zvláštní stolice pro jazyk a literaturu ruskou, polskou a pro jazyky a literatury jihoslovanské. Zřízení zvláštní stolice pro jazyk a literaturu ukrajinskou, o kterých se už dnes přednáší, je na dobré cestě. Naše universita má dnes 9 lektorátů pro slovanské spisovné jazyky. Dobře zastoupena je také slavistika na nových universitách v Brně a Bratislavě, kde některé stolice čekají ještě nových vědeckých sil. Jednotný slovanský seminář Karlovy university je největší a nejlepší na světě a jeho 10 ředitelů tvoří opravdový slavistický štáb. Velké mezery universitní knihovny vyplnilo dle možnosti ministerstvo školství koupí celých knihoven slovanských. Jeho podporou byl také založen časopis pro slovanskou filologii »Slavia«. Československé vládě děkujeme za zřízení Slovanského Ústavu, který má za úkol studium Slovanstva s kulturního a hospodářského hlediska, a který

začíná svou mnohoslibnou činnost v roku století od smrti Dobrovského souborným vydáním Kollárových Rozprav o slovanské vzájemnosti, této navždy živé a životvorné myšlence. Zvláštními díky jsme zavázáni ministerstvu zahraničních věcí, jež sebralo během let dnes už pozoruhodnou Slovanskou knihovnu. Systematickou spoluprací všech knihoven pražských musíme dosáhnouti toho, aby byla v Praze každá důležitější slovanská kniha.

Nakonec vyšel k našemu sjezdu I. ročník časopisu Byzantinoslavica, věnovaný studiu vlivů byzantských na východní Slovany a velkou část Slovanů jižních. Za tento nový podnik máme děkovati iniciativě a štědré podpoře samého presidenta československé republiky T. G. Masaryka, který je s námi přesvědčen, že pro umírnění různých slovanských sporů potřebujeme důkladnou znalost světa řeckoslovanského.

S potěšením konstatujeme dále, že také pražská německá universita, na níž slovanská filologie dlouho nebyla vůbec zastoupena nebo se musela skrývati pode jménem srovnávacího jazykozpytu, má dnes samostatné slavistické stolice, docentury a četné lektoráty. Její učitelé a žáci pilně publikují vědecké slavistické spisy a profesoři Spina a Gesemann začali letošním rokem úspěšně vydávati Slavische Rundschau, věnovanou kulturním otázkám celého Slovanstva. Tento dobrý příklad nemůže zůstati bez vlivu na Německo, kde se slovanská filologie na universitách pořád ještě nevyvíjí tak, jak by se mohlo očekávati u národa, který pěstuje různé jiné filologie v největší míře.

Tak se dostalo slovanské filologii v obnoveném československém státu nových a pevných základů. Tímto rozmnožením a prohloubením slovanských studií zůstal národ československý věren své minulosti a jeho oběti nebudou marné. Doufáme také, že tento dobrý příklad bude i jinde sledován jako v časích Dobrovského. Přejeme si, aby takových slavistických středisek, jakým je nyní Praha, bylo co nejvíce v slovanském a ostatním světě. Vzájemná práce těchto středisek prospěje každému slovanskému národu, sblíží a přivede Slovany k opravdu bratrskému spolužití, povznese jejich význam ve světě a proklestí cesty vytouženému míru mezi všemi vzdělanými národy. Kéž by naše sjezdy, které se stanou stálou institucí, přispívaly k těmto velkým cílům, kéž by výsledky naší vědy po sto letech byly ještě skvělejší!

Budiž požehnáno dílu našemu i budoucích!

M. Murko.

I. Sjezd slovanských filologů v Praze.

Odborné kruhy slavistické uvažovaly již před válkou o uspořádání sjezdu slovanských filologů, ale provedení tohoto podnětu jistě významného bylo umožněno až po válce, kdy politické důsledky velikých převratů oživily zájem o slovanská studia. První zmínka o sjezdu jest v „Dobrozdání o návrhu rukověti slovanské filologie", podaném prof. Murkem České akademii 27. dubna 1925. (Viz Věstník Čes. akad., roč. (35.) 1925, č. 5/6). Se souhlasem vlády republiky Československé, jakož i vůdčích institucí a osobností slovanských bylo ustanoveno, aby se I. sjezd slov. filologů konal v Praze na pamět stého výročí smrti Jos. Dobrovského ve dnech 6.—13. X. 1929. Na schůzi slavistické komise při semináři pro slovanskou filologii university Karlovy v Praze, konané 8. března 1927, bylo usneseno na návrh prof. Murka, učiniti přípravné kroky k tomuto sjezdu. S počátku se starali o organisaci prvních přípravných prací členové této komise, a to J. Horák, E. A. Ljackij, M. Murko, J. Polívka, M. Szyjkowski a M. Weingart; později byl z odborníků působících na území Československé republiky sestaven přípravný výbor, jehož předsedou byl zvolen univ. prof. Dr. M. Murko, jednatelem univ. prof. Dr. J. Horák, pokladníkem univ. prof. Dr. M. Weingart.

Přípravný výbor rozeslal v listopadu a prosinci 1928 oběžník, v němž naznačil v hlavních rysech program sjezdového jednání; při tom měl na mysli, že je nutno vymeziti pořad tak, aby sjezd zbytečně nezasahoval do oblastí vyhrazených sjezdům historiků, jakož i slovans. geografů a etnografů, které mají svou tradici. Z těchto důvodů navrhl přípravný výbor, aby se při volbě témat k referátům a k přednáškám přihlíželo jen ke 2 hlavním skupinám, t. j.

I. k jazykovědě slovanské,

II. k dějinám literatur slovanských, k nimž by se přičlenila také témata z oboru tradiční literatury lidové.

Z ostatních oborů, blízkých oběma vytčeným skupinám, t. j. ze starožitností, ze zvykosloví, mytologie a z oboru hmotné kultury lidové měla býti pojata do programu sjezdového jen témata mající přímý vztah buď v linguistice nebo k dějinám literatur slovanských a k studiu lidového podání. Přípravný výbor se domníval, že sjezd nejlépe splní své poslání, soustředí-li se program na menší počet témat závažných a bude-li možno věnovati více času diskusi, jíž by se zúčastnili význační odborníci slovanští a cizí.

Přesvědčiv se, že tyto předběžné návrhy došly souhlasu, pokračoval výbor sjezdový, zvolený na 1. schůzi odborníků-slavistů, která se konala 14. února 1929 (jeho složení viz dále v odd. *A*,) v další práci organisační. V dubnu roku 1929 pokročily tyto práce tou měrou, že bylo lze vydati druhý oběžník, obsahující další zprávy o organisaci, jakož i samostatné zprávy o přednáškách sjezdových. Z těchto oběžníků vyjímáme nejdůležitější údaje:

A) ORGANISACE. Protektorát sjezdu přijal T. G. Masaryk, president republiky Československé.

ČESTNÝ VÝBOR:

Dr. E. Beneš, ministr zahraničních věcí.
Dr. A. Štefánek, ministr školství a národní osvěty.
Dr. F. Spina, ministr veřejných prací.
Dr. K. Baxa, primátor hlavního města Prahy.
A. Černý, redaktor „Slovanského přehledu".
Dr. O. Grosser, předseda spolku Deutsche Gesellschaft der Wissenschaft und Künste für die Čechoslovakische Republik.
I. Herrmann, předseda Spolku českých žurnalistů.
Dr. B. Hostinský, rektor university Masarykovy v Brně.
Dr. M. Hurban, předseda senátu.
Dr. K. Hynek, rektor university Komenského v Bratislavě.
Dr. V. Chaloupecký, děkan filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě.
Dr. O. Jiráni, děkan filosofické fakulty university Karlovy v Praze.
P. Lang, profesor.
Dr. J. Máchal, profesor university Karlovy v Praze.

J. Malypetr, předseda poslanecké sněmovny.
Dr. J. Matiegka, rektor university Karlovy v Praze.
Dr. A. Naegle, rektor německé university v Praze.
Dr. L. Niederle, předseda Slovanského ústavu.
Dr. F. Novotny, děkan filosofické fakulty university Masarykovy v Brně.
Dr. L. Okánik, starosta města Bratislavy.
Dr. F. Pastrnek, profesor university Karlovy v Praze.
Dr. J. Pazourek, rektor českého vysokého učení technického v Praze.
Dr. L. Politzer, vicepresident zemské školní rady v Praze.
Dr. V. Pospíšil, guvernér Národní banky československé.
Dr. K. Praschniker, děkan filosofické fakulty německé university v Praze.
Dr. J. Preiss, vrchní ředitel Živnostenské banky v Praze.
A. Prokůpek, předseda Národní rady československé.
Dr. B. Remeš, vicepresident zemského úřadu v Brně.
Dr. J. Scheiner, starosta Československé obce sokolské.
A. Stašek, spisovatel.
K. Tomeš, starosta města Brna.
Dr. F. Vejdovský, předseda Královské české společnosti nauk.
Dr. J. Zubatý, president České akademie věd a umění.

VÝKONNÝ VÝBOR:

A) Presidium.

Předseda: Univ. prof. Dr. Matyáš Murko.
1. místopředseda: Univ. prof. Dr. Jiří Polívka.
2. místopředseda: Prof. Jan Voborník.
Jednatel: Univ. prof. Dr. Jiří Horák.
Pokladník: Univ. prof. Dr. Miloš Weingart.
Zástupce jednatelův: Dr. Stanislav Petíra, asistent slovanského semináře.
Zástupce pokladníkův: Prof. Dr. Josef Kurz.

B) Ostatní členové:

Dr. A. Dolenský, za Spolek bibliotekářů vědeckých knihoven.
Dr. V. Flajšhans za Českou akademii věd a umění.
Prof. Dr. V. A. Francev.
Prof. Dr. J. Frič za Jednotu českých filologů.
Prof. Dr. B. Havránek, zástupce prof. Dra F. Wollmana.
Prof. Dr. M. Hýsek.
Prof. Dr. K. Chotek za Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Prof. Dr. J. Jakubec za Národopisnou společnost československou.
Prof. Dr. J. Janko za Král. čes. společnost nauk.
Dr. J. Javorskij za Ruskou akad. skupinu v republice Československé.
Prof. Dr. O. Kolessa za Ukraj. volnou universitu v Praze.
Prof. E. A. Ljackij.
Prof. Dr. J. Menšík za Klub moderních filologů.
Prof. Dr. L. Niederle za Slovanský ústav v Praze.
Prof. Dr. F. Pastrnek za Matici českou.
Prof. Dr. A. Pražák za učenou společnost Šafaříkovu.
Dr. E. Rippl za „Slavische Rundschau".
Prof. Dr. F. Ryšánek za Slovanský seminář v Bratislavě.
Prof. Dr. S. Sahánek za Matici moravskou.
Prof. Dr. R. Schams za Ústřední spolek československých profesorů.
Dr. E. Schneeweis za Slovanský seminář německé university v Praze.
Prof. Dr. M. Szyjkowski.
Dr. Z. Tobolka za Spolek československých knihovníků a jejich přátel.
Prof. Dr. J. Vajs.
Prof. Dr. V. Vážný za Matici slovenskou.
Dr. J. Volf, ředitel knihovny Národního musea.
Prof. Dr. F. Wollman za Slovanský seminář v Brně.

C) Místní výbor v Brně.

Předseda: Univ. prof. Dr. Frank Wollman.
Místopředsedové: Prof. J. Bílý, prof. Sergěj G. Vilinskij.
Jednatel: Dr. Miloš Noha, asistent Slovanského semináře.

D) Čestný výbor v Bratislavě.

Ministr školství a národní osvěty, Dr. Štefánek.
Rektor university Komenského, prof. Hynek.
Děkan filosofické fakulty, prof. Chaloupecký, prorektor prof. Pražák.
Předseda Učené společnosti Šafaříkovy, prof. Hanuš.
Správcové Slovenské Matice, prof. Vlček a Škultéty.
Krajinský president Drobný a vicepresident Országh.
Primátor města, Dr. Okánik a m. starosta Kraus.
Armádní generál Ing. Škvor.
Pres. Obch. a průmysl. kom., K. Stodola.
Ředitel universitní knihovny, Dr. Emler.
Přednosta škol. ref. min. šk., Dr. Maule.
Přednosta ref. min. v. prací, vl. rada Ing. Janšák.
Min. m. sl. Kallay a Houdek.
Profesoři Bušek a Vážný.
Předseda Slovanské besedy, Dr. Ivanka.
Předseda Svazu sloven. studentstva, Fedor Thurzo.

E) Místní výbor v Bratislavě.

Předseda: Univ. prof. Dr. Josef Hanuš.
Jednatel: Prof. Dr. Václav Vážný.
Ubytovatel: Univ. prof. Dr. Vratislav Bušek.
Ostatní členové výboru: Prof. Dr. J. Baudiš, prof. Dr. V. Chaloupecký, děkan filosofické fakulty, prof. Dr. K. Chotek, prof. V. Pogorělov, prof. Dr. A. Pražák, univ. doc. D. Rapant, prof. J. Rauscher, prof. Dr. F. Ryšánek.

F) Výstavní výbor v Bratislavě.

Předseda: řed. univ. knih., Dr. Emler.
Členové: prof. Bečka, P. Daniševič, m. arch. Dr. Faust, předn. Pam. úřadu, Dr. Hoffmann, univ. as. Dr. Holinka, prof. Húsek, prof. Jirásek, Dr. L. Kühn, v. bibl. Dr. V. Pražák, prof. A. Pražák, ev. sen. Dr. Racz, prof. Šmilauer, prof. Tichý, prof. Vážný, univ. as. Dr. Vilikovský.

Ubytovací odbor:

K. Břeněk, ředitel Svazu hotelierů v Č. S. R.
Hudolf Čumpelík, vrchní komisař ministerstva obchodu.
Doc. Dr. J. V. Klíma.

Zpravodajský odbor:

Christo Borina, bulharský tiskový tajemník.
Vincenc Červinka, redaktor Národních listů.
Jan Grużewski, polský tiskový ataché.
Jan Hejret, redaktor Národní politiky.
Dr. V. Charvát, redaktor Práva lidu.
A. St. Mágr, redaktor Prager Presse.
Jan Münzer, redaktor Lidových novin.
Dr. F. Oberpfalzer, profesor.
P. Váša, redaktor Lidových novin.
Dr. Dragutin Prohaska, tiskový ataché vyslanectví SHS.
Jan Šlejhar, redaktor Č. T. K.

DÁMSKÝ ODBOR:

Předsedkyně: paní Murková.
Ostatní členky odboru: paní Arneriová, paní Dr. Birnbaumová, paní Hýsková, paní Jedličková, slečna Dr. Karasová, paní Dr. Ljacká, paní Mathesiusová, paní Michlová, paní Ostrčilová, paní Paulová, slečna Dr. Paulová, paní Smolařová-Čapková, slečna Dr. Stránská, paní Dr. Šaunová, paní Špíšková, paní Štěrbová-Böhmová, paní Teigová, paní Weingartová.

Práce sjezdové usneseno konati ve třech sekcích:

1. *Sekce literárně historická.*

A) Presidium.

Předseda: Univ. prof. Dr. Jiří Polívka.
Místopředseda: Univ. prof. Dr. Mil. Hýsek.
Jednatel: Dr. Karel Krejčí, asistent slovanského semináře.

B) Členové výboru.

Univ. prof. Ot. Fischer, Vlad. Francev, Jan Jakubec. O. Kolessa, Eug. Ljackij, J. Máchal, J. Mukařovský, Alb. Pražak, Fr. Ryšánek, Edm. Schneeweis, M. Szyjkowski, Jar. Vlček.

2. *Sekce linguistická.*

A) Presidium.

Předseda: Univ. prof. Dr. Emil Smetánka.
Místopředseda: Univ. prof. Dr. Miloš Weingart.
Jednatel: Prof. Dr. Josef Kurz.

B) Členové výboru.

B. Havránek, O. Hujer, R. Jakobson, J. Janko, Vil. Mathesius, E. Rippl.

3. *Sekce pedagogicko-didaktická.*

A) Presidium.

Předseda: Doc. Dr. Jiří V. Klíma.
Místopředseda: Univ. prof. Dr. Miloš Weingart.
Jednatel: Prof. Dr. František Oberpfalzer.

B) Členové výboru.

Odb. rada A. Beringer, prof. J. Čeněk, z. šk. insp. Fr. Holeček, vrch. odb. rada J. Menšík, řed. F. Vaňura, prof. Břet. Vyskočil.

Jednací řeči sjezdové byly: jazyk československý, všechny ostatní jazyky slovanské, dále jazyk anglický, francouzský, italský a německý.

Výbor připravil diskuse o důležitých otázkách zásadních; připojujeme soupis problémů, sestavený podle sekcí. (V závorkách ja vždy uvedeno jméno odborníka, který zahájil diskusi.)

1. *Sekce literárně historická.*

1. Organisace bibliografické práce v oboru literatur slovanských (M. Hýsek).
2. Zásady vědeckého vydávání děl slovanských spisovatelů (E. A. Ljackij).
3. Problémy evoluce a periodisace literatur slovanských a otázky souběžné (J. Máchal).
4. Nejbližší úkoly studia středověkých literatur slovanských (V. Flajšhans).
5. Problémy srovnávacího studia literatur slovanských a lidového podání slovanského, jeho cíle a metody (J. Horák).
6. Synchronická metoda a úkoly studia současných literatur slovanských (A. Novák).
7. Literární věda a linguistika (R. Jakobson).
8. Poetika a stylistika a jejich vztahy k dějinám literárním (J. Mukařovský).
9. Nové směry literární vědy (O. Fischer, F. Wollman).
10. Folklor a literární dějiny (G. Geseman).
11. Archivy lidové prózy a lidové poesie (D. Stránská).
12. Slovník lidových pověr slovanských (E. Schneeweis).

2. *Sekce linguistická.*

(Diskusi o jednotlivých otázkách zahájili členové Pražského linguistického kroužku.)

1. Metodické problémy plynoucí z pojetí jazyka jako systému (synchronická metoda a její poměr k metodě diachronické, srovnávání strukturální proti srovnávání genetickému, nahodilost či zákonitá souvislost vývojových zjevů jazykových) a význam tohoto pojetí pro jazyky slovanské.

2. Úkoly zkoumání jazykového systému, zvláště slovanského: *a*) badání o zvukové stránce jazyka, o slově, *b*) systém slovanské syntaxe.
3. Problémy badání o jazycích různých funkcí (o jazyce spisovném, básnickém, o jazycích zvláštních a o stylech jazyka), zvláště v jazycích slovanských.
4. Aktuální problémy jazyka církevně-slovanského.
5. Problémy transkripce fonetické a fonologické v jazycích slovanských.
6. Zásady linguistické geografie a její užití a poměr ke geografii etnografické na území slovanském.
7. Problémy mezislovanského atlasu, zvláště lexikálního.
8. Metodické problémy slovanské lexikografie.
9. Význam funkční linguistiky pro kulturu a kritiku jazyků slovanských.

3. *Sekce pedagogicko-didaktická.*

1. Metodické zásady diferenčních mluvnic a slovníků slovanských (M. Murko).
2. Užití nových směrů linguistických na školách středních:
 a) při vyučování jazyku mateřskému (B. Havránek),
 b) při vyučování jazykům slovanským (L. Kopeckij).
3. Vyučování: *a*) jazykům, *b*) literaturám slovanským na školách středních, obchodních a jiných odborných (*a*) J. Čeněk, *b*) J. V. Klíma).
4. Studium: *a*) slovanských jazyků, *b*) slovanských literatur na školách vysokých (*a*) M. Weingart, *b*) J. Horák).
5. Výměna a vzájemná korespondence: *a*) studentů vysokoškolských, *b*) středoškolských (*a*) M. Murko, *b*) J. V. Klíma). Jiné prostředky na prohloubení slovanské vzájemnosti (M. Murko).

Kromě toho přípravný výbor vydal Sborník statí o vlivu Josefa Dobrovského na rozvoj filologicko-historických studií u jednotlivých národů slovanských. Do tohoto sborníku bylo přijato 27 článků, jichž podrobný výčet bude podán v publikaci sjezdové.

Pro účastníky domácí i zahraniční byla připravena řada publikací: Výtahy z přednášek, sekce I, II, III; These a poznámky k diskusi, sekce I, II, III; Ročenka Slovanského ústavu v Praze, I; Polívka, Lidové povídky slovanské, I; Bratislava, III, 3/4; Ruch Słowiański, II, 7; Slovanský Přehled, XXI, 7; Travaux du Cercle linguistique de Prague, I, II; Slovanská filologie na Karlově universitě v letech 1918—1929, uspořádal M. Weingart; Jan Kollár, Rozpravy o slovanské vzájemnosti, souborné vydání uspořádal M. Weingart; Dopisy neznámé šlechtičny Josefu Dobrovskému, vydal V. Francev; M. Weingart, Nesmrtelné památce Josefa Dobrovského; J. Dobrovského kritická rozprava o legendě prokopské; Josef Dobrovský, 1753—1829, Sborník statí, uspořádali J. Horák, M. Murko a M. Weingart; J. Horák, J. Polívka; Dobrovský a Brno; J. F. Svoboda, Československá lidová keramika; L. N. Tolstoj, Sborník statí a přehledů bibliografických, uspořádali J. Horák a E. Ljackij; Slavia, VIII, 2; M. Murko, Nynější stav jihoslovanské národní epiky; Národopisný věstník československý, XXII, 2/3; Byzantinoslavica, I; Slawische Rundschau, I, 8; K. Bittner, Herders Geschichtsphilosophie; Slavistische Studien (k 60. narozeninám F. Spiny); podobizna J. Dobrovského (věnovaná redakcí „Prager Presse“).

Kromě toho věnovaly ministerstvo školství a národní osvěty, ministerstvo zahraniční, železnic, obchodu a spořitelna města Prahy soubor publikací rázu propagačního i vědeckého a obecně kulturního. — Na podnět výboru uspořádal Svaz knihkupců v republice Československé jakož i vědecké společnosti československé výstavku publikací slovanských; účastnili se jí také knihkupci jihoslovanští, polští a němečtí. — V nové budově filosofické fakulty byla zřízena pro účastníky sjezdu poštovní expositura a v přízemí byl upraven buffet.

B) CELKOVÝ POŘAD SJEZDOVÝ.

Sobota 5. X. 1929.

Seznamovací večer pro účastníky sjezdu v salonech Společenského klubu v Praze.

V neděli 6. X. 1929 o 10·30 hod. byl sjezd slavnostně zahájen v Smetanově síni Obecního domu města Prahy. Předseda sjezdu uvítal zástupce československé vlády, diplomatického sboru, města Prahy, České akademie věd a umění a jiných

vědeckých ústavů, universit, úřadů státních i samosprávných, kruhů spisovatelských a uměleckých, akademickou mládež a všechny hosty. Potom pronesl řeč (je otištěna na str. 840—849). Pak byl proslov zástupce vlády republiky Československé, ministra školství a národní osvěty, Dr. A. Štefanka, náměstka primátora hl. města Prahy, prof. K. Svobody, presidenta České akademie věd a umění, J. Zubatého za vědecké a kulturní společnosti a ústavy československé. Za Německo pozdravil sjezd Vasmer, za Rakousko Trubeckoj, za Bulharsko Miletič, za Dánsko Karlgren, za Estonsko Linde, za Spojené státy severoamerické Patrick, za Finsko Mikkola, za Francii Boyer, za Anglii Wharton, za Řecko Laskaris, za Italii Bartoli, za Lotyšsko Endzelin, za Litvu Biržiška, za Norsko Broch, za Polsko Nitsch, za Rumunsko Bărbulescu, za Svatou stolici Vajs, za SSSR Sakulin, za Švédsko Ekblom, za Švýcarsko Niedermann, za Jihoslavii Belić, za Ševčenkovu učenou společnost ve Lvově Studynśkyj, za Lužickou Matici Kral.

Na konec přednesl jednatel nejdůležitější zprávy.

Pondělí 7. X. 1929.

Dopoledne: Uvítání účastníku sjezdu. Jménem filos. fakulty univ. Karlovy pozdravil hosty J. S. děkan prof. Dr. O. Jirání. Volby čestných předsedu.

Od pondělka do čtvrtka se konaly schuze plenární a sekční s přednáškami a diskusemi.

V pátek 11. X. odjeli účastníci sjezdu do Brna; tam byli uvítáni v aule Masarykovy university. Prednašku proslovil prof. A. Novák.

V sobotu 12. X. navštíven hrob J. Dobrovského. Pietní vzpomínkovou řeč pronesl St. Souček. Po něm mluvili Mazon, Szober, Deržavin, Ivšić, Šwela, Jocov, Vasmer. — Potom si prohlédli účastníci sjezdu zemskou knihovnu. — V poledne odjeli do Bratislavy.

Tam bylo večer uvítání účastníku sjezdu v auditoriu maximu právnické fakulty a po něm přednáška univ. prof. Dr. Alberta Pražáka: „Slovenská literární přítomnost“.

Neděle 13. X.

Dopoledne: Výstava slovenských památek a prohlídka města. Slavnostní zakončení sjezdu.

Odpoledne: Zájezd na Děvín.

Organisaci společenské stránky sjezdu věnoval přípravný výbor všemožnou péči. V Praze uspořádal ministr škoství a národní osvěty, Dr. A. Štefánek oběd pro účastníky sjezdu, ministr věcí zahraničních, Dr. E. Beneš recepci, rada hl. města Prahy oběd, Slovanský ústav recepci. Výbor sjezdový uspořádal večeři, představení v Národním divadle (B. Smetana, Dalibor) a filmové představení (Českoslovenští spisovatelé).

V úterý 8. října navštívili účastníci výstavu „Josef Dobrovský a jeho vědecké styky“, pořádanou knihovnou Národního musea v Praze.

V Brně místní výbor brněnský uspořádal večeři a lunch, v Bratislavě uspořádal oběd jménem země krajský president Drobný, městská rada v čele se starostou Dr. Ľ. Okánikem večeři, Slovanská beseda a Slovanský klub recepci. Pro účastníky zájezdu do Bratislavy bylo uspořádáno filmové představení „Za slovenským ľudom“. (Pořádal odb. učitel Plicka, zpívalo Akadem. sdružení za vedení univ. prof. Dra D. Orla.)

C) PODROBNÉ POŘADY SEKCÍ.

Podrobný pořad sekce I. (Literárně historické).

Čestné předsednictvo: Bărbulescu, Beaulieux, Bystroń, Lo Gatto, Kidrič, Kozłowski, Laskaris, Maver, P. Popović, Sakulin, Studynśkyj, Šwela.

Zástupci výkonného výboru: O. Fischer, Frič, Hýsek, Jakubec, O. Kolessa, Menšík, Mukařovský, A. Novák, A. Pražák, Ryšánek, Wollman.

I. Diskuse v sekci literárně-historické.

Pondělí (7. X.).

Dopol.: v plenární schůzi:

Tema č. 1. Organisace bibliografické práce v oboru literatur slovanských (M. Hýsek). K tomu poznámky prof. Dra Aleks. Beliće o slovanské bibliografii linguistické. K diskusi připojil svou přednášku prof. S. Siropolko.

Středa (9. X.).

Dopol.: Diskuse o tematech č. 2., 3., 4., 5., 6.

Č. 2. Zásady vědeckého vydávání děl slovanských spisovatelů (E. Ljackij).

Č. 3. Problémy evoluce a periodisace literatur slovanských a otázky souběžné (J. Máchal).

Č. 4. Nejbližší úkoly studia středověkých literatur slovanských (V. Flajšhans).

Č. 5. Problémy srovnávacího studia literatur slovanských a lidového podání slovanského, jeho cíle a metody (J. Horák). K tomu poznámky F. Wollmana. Připojena přednáška A. N. Voznesenského.

Č. 6. Synchronická metoda a úkoly studia současných literatur slovanských (A. Novák).

Čtvrtek (10. X.).

Dopol.: Diskuse o tematech č. 7., 8., 9., 10.

Č. 7. Literární věda a linguistika (R. Jakobson).

Č. 8. Poetika a stylistika a jejich vztahy k dějinám literárním (J. Mukařovský).

Č. 9a. Nové směry literární vědy (O. Fischer).

Č. 9b. Nové směry literární vědy a eidografická metoda (F. Wollman).

Odpol.: Diskuse o tematech č. 10., 11., 12.

Č. 10. Folklor a literární dějiny (G. Geseman).

Č. 11. Archivy lidové prosy a lidové poesie (D. Stránská). Připojil svou přednášku prof. S. Orlov: Archivy slovanských dětských her a písní.

Č. 12. Slovník lidových pověr slovanských (E. Schneeweis).

II. Přednášky v sekci literárně-historické.

Pondělí (7. X.)

Odpol.: Ve třech subsekcích po 5 přednáškách.

Subsekce *A*):

S. J. Kulakovskij: Современные польскіе поэты.

J. Matl: Romantik und Realismus in den südslavischen Literaturen des 19. Jahrhunderts.

G. Maver: Lo studio delle traduzioni come mezzo d'indagine linguistica e letteraria.

A. Pražák: Dnešní stav slovenské literární historie a její další úkoly.

A. M. Smirnov-Kutačeskij: От „мотива" к социологии.

Subsekce *B*):

I. Bărbulescu: Češki naučni duh kod početka rumunjske moderne nauke.

J. Janów: Z literatury polsko-ruskiej XVII. i XVIII. wieku. (Wieczność piekielna, Wielkie Zwierciadło przykładów i urywki innych dzieł v rękopisie Sokolskim.)

A. Jelačić: Iz istorije rusko-jugoslovenskih odnosa i njihova izučavanja.

A. L. Pogodin: Библіографія сербско-русских отношеній.

M. Szyjkowski: Polski udział w czeskiem odrodzeniu.

Subsekce *C*):

N. Cartojan: Livres populaires roumains traduits du slave.

M. Laskaris: Tommaseo traducteur de chants populaires serbes en grec.

J. Ohijenko: Крехівський Апостол 1560-х років.

J. S. Rosenkranz: Тургенев и Салтыков.

K. Treimer: Ю. Зейер и Россія.

Úterý (8. X.)

Dopol.: Ve třech subsekcích po 4 přednáškách.

Subsekce *A*):

1. R. Pletnev: О необходимости изслѣдованія вліанія Евангелія и Св. Писанія в новой литературѣ.

2. L. Bilećkyj: Головні напрями української літературно — наукової критики за остатніх 50 літ.

3. J. A. Javorskij: Значеніе и мѣсто Закарпатья в общей схемѣ русской письменности.

4. J. Páta: Lužickosrbská lidová podání prosaická.

Subsekce *B*):

1. A. Florovskij: Легенда о Чехѣ, Лехѣ и Русѣ в исторіи славянских изученій.

2. J. Gołąbek: „Księgi narodu polskiego" A. Mickiewicza i „Knyhy bytija ukrainskoho narodu" M. Kostomarova.

3. P. Savickij: Мѣстодѣйствіе в русской литературѣ (географическая сторона исторіи литературы).

4. B. Vydra: „Slovo o pluku Igorově", jeho ohlasy a vlivy v literatuře polské a české.

Subsekce *C*):

1. A. Stránský: Památky středověkého umění srbského v epické písni.
2. A. Bem: Достоевский в художественной полемике с Толстым.
3. Z. Rozova: Сумароков и Крылов.
4. M. V. Šachmatov: Сдавянская идея у древне-русских книжников.

Středa (9. X.)
Odpol.: V subsekcích A, B po třech přednáškách, v subsekci *C*) 2 přednášky.

Subsekce *A*):

1. P. P. Panaitescu: La littérature slavo-roumaine (XV^e-XVII^e siècles) et son importance pour l'histoire des littératures slaves.

2. Ol. Kolessa: Розсліди й видання словянских памяток апокріфічної літератури. Методи й завдання.

3. F. Dvorník: La „Vita Constantini" étudiée du point de vue de l'histoire byzantine.

Subsekce *B*):

1. Filaret Kolessa: Карпатський цикль народніх пісень (спільних Лемкам, Словакам, моравським Чехам і Полякам.
2. E. Mahlerová: Русская свадебная песня.
3. G. Patrick: Народная поэзія в Совѣтской Россіи.

Subsekce *C*):

1. I. Svéncyćkyj: Спільні основи розвитку украінського письменства і мистецтва.
2. B. Śwela: Słowjanske stopy w dolnoserbskem pismowstwe.

RESOLUCE SEKCE I.

1.

Saslušavši referat **G. Pogodina** o njegovom radu kod ruskosrpskim odnosima, subsekcija B sekcije I izražava vruću želju, da se rad prof. Pogodina izda i sa zadovoljstvom se prime na znanje da će g. Pavle Popović preporučiti ovo izdanje Srpskoj Kraljevskoj Akademiji.

2.

Резолюція до реферату проф. Дра Олекс. **Колесси**: „Розсліди й видания словянських памяток апокріфічної літератури. — Методи й завдання."

Конгрес призная потребу видати кодекси творів апокріфічної літератури поодиноких словянських народів з додатком відповідних порівнуючих студій — на підставі одноцілого пляну одноціло продуманих методичних основ.

3.

Resoluce bibliografické komise literárně-historické.

Bibliografická komise literárně-historická, zvolená na prvním plenárním zasedání I. sjezdu slovanských lifologů dne 7./X. 1929, navrhuje:

aby 1. každý slovanský národ sestavoval a vydával pravidelně vlastní bibliografii literárně-historickou a národopisnou při některé své vědecké instituci.

Pozn. Kde pro minulost takové bibliografie není, nebo je neúplná, doporučuje se, aby tato mezera byla doplněna.

2. Jest třeba se dohodnouti o jednotném typu takové bibliografie pro všechny slovanské národy; žádá se však, aby byla vědecká a kritická a týkala se jak prací, vydaných knižně, tak i statí časopiseckých a novinářských.

3. Jest nutno umluviti vzájemnou výměnu bibliografických záznamů o pracích, týkajících se jiných slovanských národů.

4. Bibliografie literárně-historických a národopisných prací, týkající se všech národů slovanských buďtež vydávány při Slovanském ústavu v Praze.

5. Žádáme redakci Slavie, jako centrálního časopisu slavistického, aby přinesla soupis všech dosavadních bibliografií slovanských a pravidelně otiskovala seznam bibliografií nových.

6. Dokud požadavek, vyslovený v I. bodě, není splněn, žádáme ji také, aby pravidelně otiskovala bibliografii srovnávacích prací literárně-historických a národopisných a soupis takových prací speciálních, jež jsou směrodajné po stránce názorové nebo metodické.

Komise: A. Teodorov-Balan, S. Siropolko, A. Fischer, M. Hýsek, M. Murko, J. Polívka, P. Sakulin, J. S. Bystroň, A. Bem, F. Kidrič.

4.

Resoluce E. A. Ljackého.

1. V dnešní době jest zapotřebí, aby byla utvořena Mezislovanská knihovna významných spisovatelů ze slovanských spisovatelů v takovém propracování, které by vyhovovalo všem vědeckým požadavkům a usnadnilo rozšiřování děl těchto spisovatelů ve všech slovanských zemích.

2. Žádáme Slovanský ústav, aby vzal na sebe iniciativu a obrátil se na Akademie, vědecko-literární spolky a vydavatelství všech slovanských zemí s návrhem, aby byly utvořeny organisace, které by vzaly na sebe uskutečnění těchto vydání.

3. Jest zapotřebí, aby byla sestavena již teď komise, která by určila: zásady výběru autorů a jejich spisů, které by sem měly býti zařaděny, redakci a úpravu textu, charakter předmluvy, poznámek a slovníku. Tato komise by mohla vypracovati též předběžný rozpočet výdajů k uskutečnění označených vydání.

4. Jest zapotřebí předložiti komisi tyto všeobecné zásady vydavatelské: každá kniha nebo soubor spisů určitého autora má obsahovati:

a) úvod v řeči té země, pro kterou je určen daný autor;

b) původní text autora;

c) poznámky objasňující text v řeči země, pro kterou je určen daný autor;

d) slovník méně běžných slov, který se mění v souvislosti s tím, v jaké blízkosti je ta neb ona řeč k řeči originálu. Velikou úlevou by bylo, kdyby základní text vybraného spisovatele byl tištěn v takovém množství výtisků, které by se srovnávalo s potřebami všech slovanských zemí. Kdyby byl připraven text, každá země by bez zvláštních větších výdajů mohla připojiti k němu předmluvu, poznámky a slovník, čímž by bylo dostiženo značného zlevnění knihy.

5. Kongres považuje za nutné prohlásiti, že se spisům mrtvých autorů má věnovati náležitá péče odborná a že je povinností také nakladatelů soukromých jejich vydání svěřovati odborným znatelům.

6. V souvislosti s myšlenkou vydávání klasiků sjezd souhlasí a podporuje myšlenku utvoření řady příruček jednotlivých historií literatur slovanských s hlediska kulturní vzájemnosti, jaké na příklad právě proponuje prof. Szyjkowski pod titulem „Słowianie“.

Komise: E. A. Ljackij, M. Szyjkowski, M. Hýsek, F. Kidrič, L. Bilećkyj, P. Popović, B. Jocov, J. Páta, D. Prohaska.

5.

Resoluce V. Flajšhanse.

Sjezd račiž doporučiti jednotlivým vědeckým institucím slavistickým co možná urychlené a úplné vydávání textů, hlavně nevydaných a jazykem národním

psaných, ale také těch latinsky a řecky nebo jinými jazyky v jednotlivých oblastech slovanských psaných, jež doplňovaly nebo určovaly literární činnost autorů, jazykem národním píšících.

Pro potřebu linguistickou je potřebí snímků, moderními metodami reprodukčními lacino získaných, podle jednotlivých rukopisů, ale doplněných tak, aby podávaly celý text s nejnutnějším popisem paleografickým a nejstručnějšími daty bibliografickými.

Pro potřebu čtenářů a studujících i odborníků bylo by potřebí textů, pouhých textových transkripcí, na př. podle vzoru klasické Bibl. Teubneriana, tak upravených, aby mohly býti skutečným majetkem každého pracovníka.

Vedle toho by ovšem dále šla veliká vědecká vydání toho asi rázu, jak ukazují pp. Meillet a Vaillant.

6.

Resoluce J. Horáka.

Buďtež zřizovány — hlavně na universitách slovanských — řádné katedry pro srovnávací dějiny literatur slovanských a srovnávacího národopisu.

7.

Resoluce D. Stránské.

Sjezd uznávaje význam archivu lidového podání (t. j. prosy, poesie, her, lékařství, pověr a obyčejů) žádá, aby národopisné instituce v jednotlivých státech (především musea) přičinily se o jejich zřízení. Archivy tyto nechť soustavně shromažďují prameny historické i zápisy ústní tradice, pokud lze za pomoci kartografování. Archivy slovanských zemí nechť organisují spolupráci a zvolení pracovníci se združí k založení ústředí.

8.

Der Kongress der slavischen Philologen in Prag begrüss den Plan des Prager Slavisten **E. Schneeweis,** unter besonderer Mitwirkung von Vakarelski (Sofia), Čajkanović (Belgrad), Chotek (Prag), Fischer (Lemberg) und Zelenin (Leningrad) ein Handwörterbuch des slavischen Volksglaubens herauszugeben und ersucht alle slav. ethnografischen Gesellschaften die Vorarbeiten zu diesem grossen und wichtigen Unternehmen in jeder Beziehung zu unterstützen. Zu diesen notwendigen Vorarbeiten gehört vor allem die Anlage von Archiven des Volksglaubens bei jedem slavischen Volke.

Podrobný pořad sekce II. (Linguistické).

Čestné předsednictvo: Belić, Broch, Buzuk, Ivšić, Kułbakin, Lehr-Spławiński, Mazon, Mikkola, Nitsch, Ramovš, Vasmer.

Zástupci výkonného výboru: Havránek, Hujer, Jakobson, Janko, Mathesius, Smetánka, Weingart.

I. Diskuse sekce linguistické:

Pondělí (7. X.)

Dopol. v plenární schůzi:

Meillet-Vaillant (Paris): De l'édition des anciens textes slaves.

Odpol.: Diskuse o bodech č. 1., 2., 3., a to:

Č. 1. Metodické problémy plynoucí z pojetí jazyka j. systému a význam tohoto pojetí pro jazyky slovanské. (Synchronická metoda a její poměr k metodě diachronické; srovnávání strukturální proti srovnávání genetickému; nahodilost či zákonitá souvislost vývojových zjevu jazykových).

Č. 2. Úkoly zkoumání jazykového systému, zvláště slovanského:

a) badání o zvukové stránce jazyka, o slově,

b) systém slovanské syntaxe.

Č. 3. Problémy badání o jazycích různých funkcí, zvláště v jazycích slovanských (o jazyce spisovném, básnickém, o jazycích zvláštních a stylech jazyka).

Úterý (8. X.)

Dopol.: Diskuse o č. 4. a 5. s přednáškami, a to:

Č. 4. Aktuální problémy jazyka církevné-slovanského.

Č. 5. Problémy transkripce fonetické a fonologické v jazycích slovanských.

Přednášky:

Batowski: Transliteracja alfabetu graždańskiego.

Tesnière: Les signes diacritiques et la transcription phonétique.

Benni: Obecny stan zagadnienia jednolitej transkrypcji fonetycznej.

Trnka: Les systèmes sténographiques pour la notation phonétique de la langue vivante et des discours dialectaux.

Středa (9. X.)

Odpol.: Diskuse s přednáškami o č. 6. a 7., a to

Č. 6. Zásady linguistické geografie a její užití a poměr ke geografii etnografické na území slovanském.

Baudouin de Courtenay: Izoglosy w świecie językowym słowiańskim.

Č. 7. Problémy mezislovanského atlasu, zvláště lexikálního.

Meillet-Tesnière: Projet d'un Atlas linguistique slave.

Skok: Projet d'un Atlas linguistique yougoslave.

Čtvrtek (10. X.)

Odpol.: Diskuse č. 8. a 9. s přednáškami, a to:

Nitsch: O potrzebie organizacji informacyjnej w sprawach słownictwa (s debatou).

Č. 9. Význam funkční linguistiky pro kulturu a kritiku jazyků slovanských.

II. Přednášky sekce linguistické:

Středa (9. X.)

Dopol.: ve třech subsekcích po 5 přednáškách.

Subsekce *A*)

Chlumský: Les sons mouillés et la théorie de l'abbé Rousselot. Transcription des sons mouillés.

Pańkevyč: Фонограф в службі лінгвістики.

Rozov: Еще о праславянских группахъ *tort, tolt, tert, telt.*

Kuraszkiewicz: Nowe problemy w badaniach nad samogłoskami nosowemi w językach słowiańskich.

Smal'-Stoćkyj: Найблизчі завдання славістики.

Subsekce *B*):

Durnovo: К вопросу о времени распадения общеславянского языка:

Lehr-Spławiński a Czekanowski: O dialektach prasłowiańskich.

Kul'bakin: О необходимости составленія полнаго обзора славянских рукописей.

Vajs: Evangeliář Assemanův.

Pogorělov: Западно-славянскіе элементы в Кирилло-Меѳодіевской лексикѣ.

Subsekce *C*):

Zilińskyj: У справі діялектологічноï клясифікаціï украïнських говорів.

Małecki: Słowiańskie osadnictwo Istrji w świetle badań językoznawczych.

Ivšić: Homonimija u lingvističkoj geografiji srpskohrvatskog jezika.

Szober: Wpływ podzielności psychologicznej na układ wyrazów w zdaniu słowianskiem.

Peškovskij: Научные достижения русской учебной литературы в области общих вопросов синтаксиса.

Čtvrtek (10. X.)

Dopol.: ve třech subsekcích po 4 přednáškách.

Subsekce *A*):

Kleczkowski: Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem.

Kowalski: W sprawie metodologji badań zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich.

Balotă: L'ancienne influence slave et les lois phonétiques qui ont préside a la formation de la langue roumaine.

Bubrich: О взаимно-отношениях русского и финских языков.

Subsekce *B*):

Mošin: Главныя направленія въ изученіи варяжскаго вопроса за послѣдніе годы.

Vasmer: Alte geographische Namen zwischen Elbe und Weichsel.

Milewski: Stan obecny i najbliższe cele badań nad językiem wymarłych Słowian między Odrą a Labą.

Húsek: Poměr linguistiky a etnologie.

Subsekce *C*):

Doroszewski: Próba ogólnej klasyfikacji znaczeniowej sufiksów w językach słowiańskich.

Kuryłowicz: Pochodzenie słowiańskich aspektów czasownikowych.

Otrębski: O czasownikach typu st.-c.-słow. *naričǫ naricajǫ, naricati.*

Simovyč: Історичний розвиток українських (здрібнілих та згрубілих) хресних чоловічних імен із окремішньою увагою на завмерлі суфікси.

RESOLUCE SEKCE II.

1.

Resoluce A. Meilleta, A. Mazona a A. Vaillanta.

Конгресс считает необходимым завершеніе точнаго изданія и всесторoннаго изученія отдѣльных ст.-сл. памятников.

Вмѣстѣ с тѣм Конгресс рекомендует словянским Академіям и Ученым обществам всячески поддержать предложеніе проф. Мейе, Мазона и проф. Вайана о критическом изданіи текста отдѣльных произведеній старославянской литературы.

Белич, Дилс, Каринский, Милетич, Мазон, Вайллант, Вайс, Вейнгарт, Кульбакин.

2.

1. I. sjezd slovanských filologu pokládá za nutné, aby církevní slovanské rukopisy byly popisovány systematicky a podle jednotného programu.

2. Tato akce má se díti součinností všech slovanských učených společností, které se zabývají církevně-slovanskými památkami.

3. K přípravě této akce volí se tato komise: Belić, Karinskij, Karskij, Kuľbakin, Maslov, Mazon, Ohijenko, Sľónski, Stankievič, Stojanovič, Teodorov-Balan, Vaillant, Vajs, Vasmer.

3.

Návrh Dr. Batowského.

Wnosi się aby instytucje naukowe wszystkich państw słowiańskich w publikacjach drukowanych alf. łacinskim przy transkrybowaniu nazw — imion osób i miejsc jak i przy cytowaniu poszczególnych zdań z języków słow. uzywających graždanki — posługiwały się jednym jednolitym systemem w transliteracji (bez względu na istniejące odrębności miejscowe w pisowni).

Komise transk. nebyla zvolena.

4.

Resoluce podle návrhu B. Trnky.

Uzná-li shromáždění I. sjezdu slovanských filologů otázku důležitosti tachygrafické transkripce pro jazyky slovanské, navrhuje referent, aby komise pro fonetickou transkripci potvrdila tachygrafický systém referentův a shledá-li jej možným pro převod na jiné jazyky slovanské podle jejich funkční konstrukce, jej předložila druhému sjezdu slovanských filologů.

5.

Návrh A. Tesnièra:

Le I[er] Congres des philologues slaves approuve le projet d'un atlas linguistique du monde slave et décide de nommer immédiatement une commission provisoire chargé d'organiser definitivement le travail.

La commission: Buzuk, Hujer, Nitsch, Tesnière, Miletič, Belić.

6.

Návrh K. Nitsche:

Zjazd zwraca się z prósbą do Akademij, ewent. innych naukowych towarzystw, aby utworzyly u siebie biura, któreby się podęły pracującym nad slownictwem dawać z pewnej ilości miejsc informacje co do geografji wyrazów w danym kraju.

7.

Návrh prof. Paňkevyče.

Subsekce A) linguist. sekce I. sjezdu slovanských filologů vyslechnuvši referát Dr. J. Paňkeviče: Fonograf v službě linguistiky a prodiskutovavši otázku uznává nutnost zapisování všech slov. jazyků a jejich dialektů na fonograf nejlepšího systému (v daném případě systému Pathé), pro budování fonografických archivů všech slov. jazyků a jejich nářečí. Tyto archivy mají sloužiti nejen jako sbírky pro zachování současné řeči živé pro budoucnost, ale zároveň jako prostředek při výkladech slovanských jazyků pro znázornění akustické stránky daného jazyka nebo dialektu.

8.

Na návrh prof. **Vasmera** zvolena komise (Hujer, Rudnicki, Kozierowski, Karinskij, Romanski, Ramovš, Njemčynov, Korduba, Kasperovič, Vasmer), která by se starala o sbírání materiálu toponomastického.

9.

Rezolucija o primenjivanju funkcionalno-strukturalnog ispitivanja jezika.

1. I. Kongres slovenskih filologa u Pragu utvrdio je važnost primene i sinhroničnog i dijahroničnog metoda u ispitivanju jezičkih fakata. On je našao da nema u tome pravcu principske razlike izmedu slovanske linguistike i drugih modernih linguistika.

2. Pošto funkcionalno-strukturalno (a specialno sinhronično) ispitivanje nije stvorilo još potpuno utvrđen sistem naučnog ispitivanja; ali se naročito preporučuje paralelni rad: i na ovakom proučavanju slovenskih jezika i na izrađivanju definitivnog sistema ovakvog ispitivanja.

3. Oba metoda rada, istoriski i sinhronični, dopunjuju se. Od cilja naučnih ispitivanja zavisi, da li će se samo jedan od njih upotrebiti, oba izmence ili oba u isto vreme.

4. Kongres odlučuje da komisija koja je ovu rezoluciju sastavila ostane i dalje u važnosti, sa zadatkom da oprema materijal iz ove oblasti ispitivanja za novi Kongres slovenskih filologa i da se brine o vezi ovakvih studija sa sličnim studijama u oblasti neslovanskih jezika.

Komisiju čine: g. g. Mathesius, Nitsch, Havránek, Doroszewski, Karcevskij, Jakobson, Romanski, Simovyč, kn. Trubeckoj i Belić.

Sekretář komise: Havránek.

10.

Rezolucija o linguističkoj slovenskoj bibliografiji.

I. kongres slovenskih filologa u Pragu prima obavezu pretstavnika slovenskih filoloških časopisa da će svake godine na vreme donositi bibliografiju dela i članaka naučne vrednosti koji se tiču slovenskih jezika, a koji su izašli u dotičnoj državi.

Bibliografija će donositi po utvrđenom planu sadržinu i karakteristiku dela i članaka.

Komisija za utvrđivanje plana: Hujer, Nitsch, Belić, Miletić i Murko.

Podrobný pořad sekce III. (Pedagogicko-didaktické).

Čestné předsednictvo: Gołąbek, Holeček, Kollman.
Zástupci výkonného výboru: Klíma, Oberpfalzer.
Úterý (8. X.)
Dopol.: Diskuse o bodu č. 1., 4*a* a 4*b*, a to:
Metodické zásady diferenčních mluvnic a slovníků slovanských. Ref. Murko.
Studium slovanských jazyků na školách vysokých. Ref. Weingart.
Studium slovanských literatur na školách vysokých. Ref. Horák.

Středa (9. X.)

Odpol.: Diskuse o bodech č. 2*a*, 2*b*, 3*a*, a to:

Užití nových směrů linguistických na školách středních při vyučování jazyku mateřskému. Ref. Havránek.

Užití nových směrů linguistických na školách středních při vyučování jazykům slovanským. Ref. Kopeckij.

Vyučování jazykům slovanským na školách středních, obchodních a jiných odborných. Ref. Čeněk.

Čtvrtek (10. X.)

Dopol.: Diskuse o bodech č. 3*b*, 5*a* ,5*b*, a to:

Vyučování literaturám slovanským na školách středních, obchodních a jiných odborných. Ref. J. V. Klíma.

Z. Markovićeva: Historija slavenskih literatura kao jedan od obligatnih predmeta u srednjim školama svih slavenskih naroda.

Výměna a vzájemná korespondence studentů středoškolských. Ref. Klíma.

Jak se přihlíží k slovanské myšlence na českých učitelských ústavech. Ref. Mrázek.

Výmena a vzájemná korespondence studentů vysokoškolských. Jiné prostředky na prohloubení slovanské vzájemnosti. Ref. Murko.

RESOLUCE SEKCE III.

1.—5.

Pedagogicko-didaktická sekce, vyslechnuvši příslušné referáty i podněty vyslovené v diskusích k nim připojených, usnesla se předložiti plenárnímu zasedání I. sjezdu slov. filologů tyto resoluce (1—5):

O mluvnicích a slovnících slov. jazyků pro Slovany.

1. Při vyučování slovanským jazykum v zemích slovanských jest přihlížeti ke všem výhodám vyplývajícím z podobnosti i rozdílu v jednotlivých jazycích slovanských. Slovanský ústav v Praze nechť vydává za součinnsti odborníků-praktiků mluvnické příručky, chrestomatie a diferenční slovníky upravené zvláště pro potřeby příslušníků slovanských národů.

O vyučování slovan. jazykům na školách středních.

2. Na všech středních školách slovanských států buď věnována zvýšená pozornost nepovinnému vyučování slovanským jazyku. Vedle toho buď zavedeno povinné nebo volitelné vyučování slovanským jazykům na určitých typech škol středních; při tom by se znenáhla zkoušela možnost vytvořiti typ střední školy se základní myšlenkou slovanské humanity.

Do čítanek vyučovacího jazyka slovanského nebo do zvláštních příruček buďte zařaďovány i snadné ukázky textu sepsaných v jiných slovanských jazycích s připojeným stručným výkladem.

V některé vyšší třídě střední školy poučeni buďte žáci o hlavních rozdílech mezi slovanskými jazyky; za tím účelem buď počet hodin vyučovacího jazyka rozmnožen.

Na školách obchodních budiž věnována zvýšená péče těm slovanským jazykům, které mohou míti pro žáky praktický význam, a to v kursech dvouletých po dvou týdenních hodinách, vyjímaje ruštinu, pro niž je potřebí doby delší.

5. Postup **vyučování mateřskému jazyku slovanskému** má vycházeti z jazykové pohotovosti žáků, postupně ji rozvíjeti, a to především o cizích hotových projevech jazykových a vlastními pokusy mluvními i písemnými.

Teoretické poznatky linguistické mají býti jen prostředkem, který uvedenému úkolu napomáhá. Shrnouti je v poznání jazykového systému a seznámiti žáky i se složitějšími funkcemi spisovného jazyka mateřského jest možné jedině na vyšším stupni.

Je třeba, aby i příprava středoškolských profesorů na universitách i učebnice byly upraveny podle těchto požadavků.

4. **Slovanský ústav** v Praze nechť se stane střediskem i vychovatelských snah vedoucích k uskutečňování a pěstování slovanské vzájem-

nosti, jako jest výměna a vzájemná korespondence studentů, výměna profesorů, zájezdy do slovanských zemí a pod.

5. Protože při vyučování mateřskému jazyku na středních školách všech slovanských národů se naskytuje množství společných cílů a snah, nechť **středoškolští profesoři mateřského jazyka v zemích slovanských** vytvoří pevnou organisaci, která by pracovala o prohloubení společných cílů didakticko-metodických.

6.

Resoluce o vyučování slovanským jazykům a literaturám na školách vysokých. (Ref. M. Weingart a J. Horák).

A) **Požadavky theoretické.**

1. Každá universita v zemích slovanských i neslovanských nechť má aspoň dvě obecné kathedry slavistické, a to jednu pro slovanskou linguistiku, druhou pro srovnávací dějiny slovanských literatur. Speciální kathedry pro jednotlivé slovanské jazyky a literatury buďte zřizovány vedle těchto dvou základních katheder.

2. Aspoň jedna universita v každém slovanském státě nechť má vedle těchto dvou obecných katheder a vedle katheder vlastního jazyka a písemnictví ještě kathedry aspoň tří rozšířenějších jazyků a literatur slovanských.

3. V přednáškách a seminárních cvičeních ze slovanského jazykozpytu budiž dbáno také nynějších spisovných jazyků slovanských a výklady z dějin vlastního jazyka buďtež založeny na výsledcích srovnávacího studia jazyků slovanských.

4. Podobně v přednáškách a seminárních cvičeních literárně-historických buďtež soustavně studovány vzájemné vztahy literatur slovanských.

B) **Požadavky praktické.**

1. Každá universita, zejména v zemích slovanských, buď vybavena co největším počtem stálých lektorátů slovanských jazyků; nejmenší počet lektorátů buď tři. Při volbě lektorátů lze se řiditi zvláštními zájmy oné země, ale doporučuje se zřizovati aspoň po jednom lektorátu některého z jazyků západoslovanských, jihoslovanských a východoslovanských.

2. Péče o zřízení a doplnění těchto stálých slovanských lektorátů nechť se děje na náklad toho státu, který platí příslušnou universitu.

3. Je třeba soustavně sledovati praktické vyučování slovanským jazykům na vysokých školách a shromažďovati získané zkušenosti. K tomu účelu navrhujeme zřízení stálé komise při Slovanském ústavě v Praze.

7.

Resoluce o praktickém vyučování slovanských jazyků na universitách československých.

Sekce pedagogicko-didaktická vyslechnuvši referát prof. **Weingarta** a diskusi o něm, přijala tuto resoluci:

1. Sekce pedagogicko-didaktická uznávajíc, že kandidáti profesury jazyka československého jsou dosavadním stavem přetíženi, žádá, aby kandidát jazyka československého byl povinen prokázat praktickou znalost jednoho slovanského jazyka, kromě československého. Zato tento jediný praktický kurs trvejž aspoň tři semestry po sobě jdoucí po dvou hodinách týdně. O úspěšně absolvovaném kurse kandidát dostane prospěchové vysvědčení, kteréž jest podmínkou připuštění ke státní zkoušce z jazyka československého. Doporučuje se absolvovati tento kurs v nižších semestrech. Doporučuje se, aby si kandidáti volili k těmto kursům některý z nejrozšířenějších jazyků slovanských, zejména jazyk srbochorvatský, nebo polský nebo ruský.

2. Je třeba připravovati celkový učebný rámec pro lektoráty každého slovanského jazyka, kde by byl vytčen cíl vyučování a naznačen postup (též zřizování různých stupňů kursů).

8.

Pedagogicko-didaktická sekce I. sjezdu slovanských filologů vyslechnuvši referáty univ. prof. Dra. **M. Murka** a doc. dra **Jiřího V. Klímy** o prostředcích, jak pěstovati slovanskou vzájemnost na školách středních, obchodních i odborných, usnáší se vznésti k Slovanskému ustavu v Praze prosbu, aby se stal střediskem vychovatelských snah, uskutečňovati co nejúčinněji tyto prostředky: výměnu i vzájemnou korespondenci studentů, výměnu profesorů i zájezdy do slovanských zemí.

Přípravná schůze Spolku učitelů jazyka mateřského na středních školách slovanských, jejž doporučila zříditi poslední resoluce sekce pedagogicko-didaktické při I. sjezdu slovanských filologů, konala se ještě při sjezdu v Brně dne 11. října 1929. Přítomni byli z bulharských delegátů dr. Nikola Bobčev a dr. Boris Jocov, z jugoslavských dr. Ant. Breznik a dr. Fr. Vidic, z polských dr. Franciszek Bielak a dr. Józef Gołąbek, z ruských dr. Nikolaj Deržavin, prof. K. Nimčynov a S. Pylypenko, za československé pak jako předseda pedagogickodidaktické sekce doc. dr. Jiří V. Klíma, který byl také zvolen předsedou schůze. Debaty zúčastnili se všichni přítomní a usnesli se na těchto věcech: V otázce organisační byla uznána jako nejvhodnější zásada, aby spolek byl utvořen jako svaz spolků učitelů mateřského jazyka na školách středních, které by se ustavily ve všech zemích slovanských ať již jako spolky samostatné či jen jako sekce nebo odbory při organisacích středoškolských profesorů. Než se tato organisace provede, budou přítomní delegáti fungovati jako prostředníci za jednotlivé země nebo národy slovanské. Slovanský ústav v Praze bude požádán, aby — jako i v jiných úkolech slovanské vzájemnosti — byl s počátku ústředním zprostředkovatelem i těchto styků, než bude provedena přímá a těsnější organisace dotčena. Pro začátek doporučena výměna metodických publikací, čítanek a jazykových učebnic mezi jednotlivými delegáty. Posléze uvažováno o společném časopise pro metodiku jazykového vyučování všech jazyků slovanských. Protože založení takového orgánu musí nezbytně předcházeti pevnější organisace, uvažováno i o tom, aby byl některý z dosavadních časopisů požádán, aby přijímal články z metodiky jazyka mateřského, psané ve všech jazycích slovanských, při čemž zejména poukázáno na Metodickou přílohu Časopisu pro moderní filologii v Praze. Přáním, aby do příštího sjezdu v Polsku byla organisace navrhovaná nejen formálně vybudována, ale mohla se již pochlubiti i positivními výsledky, schůze skončena.

Sjezdový výbor zaznamenává s radostí, že účast při přednáškách a hlavně při diskusích byla vždy velice četná a že při debatách jakož i při jednání o resolucích se obyčejně rozpředl živý rozhovor, jehož se účastnili vynikající odborníci.

Celkový počet účastníků byl 600. V posledním zasedání plenárním, konaném ve čtvrtek dne 10. října 1929, byl jednomyslně přijat návrh, aby se sjezdy konaly vždy ve lhůtách pětiletých a aby druhý sjezd byl konán v Polsku.

Úplná zpráva o sjezdu s přednáškami a s diskusemi bude obsažena v třísvazkovém sjezdovém sborníku, který vyjde ještě v tomto roce a který si mohou koupit i nečlenové.

J. Horák. Stan. Petíra.

Redakce upozorňuje na prospekt sborníku „Byzantinoslavica“, který je přiložen k tomuto sešitu.

Rejstřík osobní.

Do tohoto indeksu nejsou pojata jména z rubriky „Knihy redakci zaslané“, z přehledné bibliografie běloruské (str. 189—191) a ze zprávy o I. sjezdu slovanských filologů (str. 850—865).

Rejstřík věcný.

Rejstřík slov.